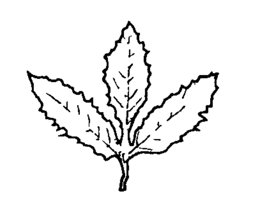


В. А. ЖУКОВСКИЙ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

К. Н. БАТЮШКОВ
П. А. ВЯЗЕМСКИЙ
А. И. ГЕРЦЕН
М. И. ГЛИНКА
Н. В. ГОГОЛЬ
А. В. КОЛЬЦОВ
А. С. ПУШКИН
И. С. ТУРГЕНЕВ
Н. М. ЯЗЫКОВ ...



ЯЗЫК СЕМИОТИКА КУЛЬТУРА

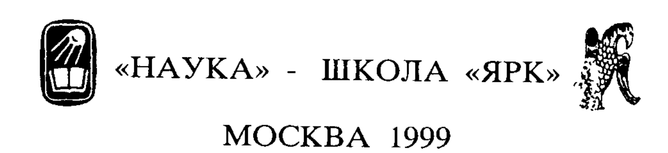


РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
НАУЧНЫЙ СОВЕТ ПО ИСТОРИИ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ

В. А. ЖУКОВСКИЙ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

К. Н. БАТЮШКОВ
П. А. ВЯЗЕМСКИЙ
А. И. ГЕРЦЕН
М. И. ГЛИНКА
Н. В. ГОГОЛЬ
А. В. КОЛЬЦОВ
А. С. ПУШКИН
И. С. ТУРГЕНЕВ
Н. М. ЯЗЫКОВ...

Составление, подготовка текста,
вступительная статья
О. Б. Лебедевой
А. С. Янушкевича



МОСКВА 1999

УДК 882
ББК 83.3(2Рос=Рус) 1-8
Ж 86

*Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)
проект 96-04-16034*

В.А. Жуковский в воспоминаниях современников / Сост., подгот. текста, вступ. статья и коммент. О Б. Лебедевой и А.С. Янушкевича. — М.· Наука, Школа «Языки русской культуры», 1999 — 726 с.
ISBN 5-02-011717-X
ISBN 5-7859-0061-0

Впервые собраны воедино мемуарные свидетельства о В А Жуковском, составившие «мемуарную» биографию русского поэта В книгу вошли воспоминания писателей, художников, родных и друзей К К Зейдлица, П А Плетнева, П А Вяземского А И Тургенева, А С Пушкина и др

ТП 98-II-N106

ISBN 5-02-011717-X
ISBN 5-7859-0061-0

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Стихотворения, посвященные Жуковскому

О. Б. Лебедева, А. С. Янушкевич

«ВОСПОМИНАНИЕ И Я — ОДНО И ТО ЖЕ»

Воспоминания современников о В. А. Жуковском впервые публикуются в одном издании. И это знаменательно: пришла пора внимательно всмотреться в личность одного из замечательнейших русских лириков и понять, почему многие поколения поэтов называли его своим учителем, почему «без Жуковского мы не имели бы Пушкина». Наступило время, когда, отбросив ярлыки и штампы, долгие годы преобладавшие в оценке творчества поэта, можно сказать, чем он был дорог русскому обществу, необходим для его нравственного развития.

Различен облик мемуаристов, писавших о нем, неоднозначна их общественная, литературная позиция. Большинство из них — деятели литературы. Свидетельства А. С. Пушкина и П. А. Вяземского, К. Н. Батюшкова и Н. М. Языкова, А. В. Кольцова и Н. В. Гоголя, А. И. Герцена и И. С. Тургенева помогают увидеть Жуковского в литературной борьбе эпохи, через восприятие его поэзии как наставника и гения-хранителя русских поэтов. Участники Отечественной войны 1812 г. и декабристы дают нам возможность увидеть лицо Жуковского — патриота и гражданина. Композитор М. И. Глинка, художник А. Н. Мокрицкий, журналисты и государственные деятели говорят о различных дарованиях поэта. Звучат голоса его родных, друзей, немецких знакомых. Около 60 свидетельств воссоздают коллективный портрет Жуковского. Этот портрет нельзя считать исчерпывающим: нужен дополнительный фронтальный поиск мемуаров о Жуковском в архивах, в малодоступных отечественных и зарубежных изданиях.

Но и предлагаемая читателю книга воспоминаний о Жуковском имеет свой смысл. Во-первых, она расширяет и конкретизирует наше сегодняшнее представление о «Коломбе русского романтизма в поэзии». Во-вторых, многие из мемуаров, часто и широко цитируемые по разным поводам, имеют важный историко-литературный характер. Они дополняют какие-то эпизоды литературной борьбы и культурного быта эпохи 1800 — 1840-х годов и характеризуют не только героя мемуаров, но и их авторов, многие из которых определяли развитие русской литературы и общественной мысли. В-третьих, самые разнообразные формы воспоминаний и свидетельств (письма, записные книжки, статьи, дневники) воссоздают процесс развития русской мемуаристики, лабораторию ее поисков.

И здесь обнаруживается удивительное соответствие между жанровой эволюцией русской мемуаристики и формами бытования образа памяти и воспоминания в творчестве Жуковского. Вся его поэзия зиждется на культе воспоминания. Сначала он функционирует как эмоциональный обертон поэзии, потом становится практической философией жизни в письмах и дневниках, в позднем творчестве Жуковского воплощается в образцах мемуарного жанра и в эпистолярных размышлениях о его природе. Соответственно этому первые ласточки русской мемуаристики XIX в. — дружеские послания 1810 — 1820-х годов, воскрешающие атмосферу литературного салона и дружеского кружка, позже — дневники и переписка, наконец, в 1830 — 1840-х годах возникает собственно мемуарная проза. Этот параллелизм творчества Жуковского и процесса становления мемуаристики позволяет считать поэта духовным предтечей русской мемуарной прозы.

1

Своеобразие воспоминаний современников о своей эпохе и ее людях определено тремя факторами: общей духовной культурой эпохи, личностью мемуариста и личностью того, кто становится героем мемуаров. Это общее положение, будучи применено к воспоминаниям современников о Жуковском, наполняется совершенно особенным содержанием и индивидуальным смыслом: именно воспоминания о нем, впервые собранные и расположенные в хронологической последовательности, обнаружили сам процесс становления мемуарного жанра в русской словесной культуре XIX в.

Отчасти это объясняется тем, что в 1830 — 1840-е годы, когда начали складываться теория, эстетика и поэтика мемуарного повествования, Жуковский еще жил и творил, но его жизнь и творчество воспринимались не столько как факт современности, сколько как живой памятник только что минувшей литературной эпохи. Однако дело не только в этом. Сам Жуковский, своей личностью, своей поэтической философией и философией жизни, своими размышлениями о сути словесности и своей поэзией, сформировал в эмоциональной культуре современного ему общества культ памяти, являющийся непременной опорной точкой мемуаристики как грани этой культуры. Поэзия Жуковского явилась одним из источников и самых значительных слагаемых той самой духовной культуры первой половины XIX в., в атмосфере которой выросли будущие летописцы этой эпохи, создатели русской мемуаристики того времени. Поэтому можно сказать, что основанием, субстратом и отправным пунктом русской мемуаристики стала поэзия Жуковского, не столько выразившая в себе определенную историко-литературную эпоху, сколько создавшая очень определенную модель эмоциональной куль-

туры человека этой эпохи. Таким образом, все три фактора, обусловливающие своеобразие мемуаров, в данном случае восходят к одной общей первопричине: личности Жуковского и его поэзии, самому верному зеркалу, отражающему личность человека.

В. Г. Белинский недаром заметил, что поэзия Жуковского — это «целый период нравственного развития нашего общества»[1]. В творчестве поэта обнаруживаются истоки целого ряда романтических культов: мотивы дружбы, элегической меланхолии, томления по невыразимому становятся одной из характерных примет массовой поэзии, внедряются в быт литературных салонов и дружеских кружков — так неприметно поэзия Жуковского обогащала эмоциональную жизнь общества. Но еще один культ, воспринятый и глубоко прочувствованный современниками поэта и принесший свои плоды в духовной культуре XIX в., до сих пор ускользает от нас, может быть, в силу своей непрямой, метафорической связи с этой культурой. Это — культ памяти и особого состояния души, воспоминания, лейтмотивный в поэзии Жуковского и делающий его лирику опосредствованной предшественницей мемуаристики как культурного явления, возникшего в середине XIX в.

Романтизм Жуковского с его «очарованным *Там*» и «святым *Прежде*» впервые канонизировал в массовом эстетическом сознании эпохи идею памяти как живой связи времен и воспоминания как синонима нравственности. «Поэзия есть добродетель» и «Воспоминание есть <...> двойник нашей совести» — это исходный и конечный пункты развития идеи воспоминания как необходимого связующего звена духовной преемственности разных эпох в творчестве самого Жуковского. Благодаря ему эта идея укоренилась и в русской мемуарной культуре XIX в., возникшей из стремления ее создателей сохранить для потомства живой облик великих современников.

Прежде чем стать теорией, философией и родом творчества, воспоминание как категория духовной жизни и примета психологического процесса нашло свое воплощение в поэзии Жуковского. В самых ранних одах 1797—1799 гг. («Добродетель», «Герой», «Человек») идея воспоминания, еще не выраженная словесно, организует нравственную и эстетическую концепцию личности, общества и истории. Память как словесный лейтмотив входит в лирику Жуковского, начиная с перевода элегии Т. Грея «Сельское кладбище» (1802): «Любовь на камне сем их память сохранила». С этого момента воспоминание как состояние живущей и творящей души образует устойчивый эмоциональный рисунок элегии Жуковского:

Сижу, задумавшись, в душе моей мечты:
К протекшим временам лечу воспоминаньем...

[1] *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1955. Т. 7. С. 241.

О, дней моих весна, как быстро скрылась ты,
С твоим блаженством и страданьем!

«Вечер», 1806

Однажды оформившись как лейтмотив, категория воспоминания далее дифференцируется, обрастая целым рядом переносных смыслов и оттенками эмоциональных значений; но при этом сохраняется главное: синонимичность воспоминания и поэтической мечты, прекрасного, идеального:

Воспоминанье здесь унылое живет!
Здесь, к урне преклонясь задумчивой главою,
Оно беседует о том, чего уж нет,
С неизменяющей Мечтою

«Славянка», 1815

Не случайно то обстоятельство, что особенная продуктивность мотива воспоминания в лирике Жуковского приходится на 1814—1824 гг. — время неоспоримого первенства его на русском Парнасе, время максимального влияния его поэзии на русский литературный процесс и на формирование поэтических систем его младших современников, среди которых первое место принадлежит Пушкину, органично усвоившему культ воспоминания из поэзии своего учителя. Практически каждое стихотворение Жуковского — от альбомной шутки до эстетического манифеста — организовано мотивом воспоминания, которое постепенно становится синонимом самой жизни:

Мне умереть с тоски воспоминанья!
Но можно ль жить — увы! — и позабыть!

«Воспоминание», 1814

Посвящение к поэме «Двенадцать спящих дев» (1818), «Невыразимое» (1819), «Цвет завета» (1819), «Лалла Рук» (1821), «Воспоминание» (1821), «Мотылек и цветы» (1824) — все эти эстетические манифесты Жуковского выстраивают метафорическую цепочку категорий духовной жизни, которые воплощаются в поэтических лейтмотивах «мечты», «минувшего», «упования», «очарования», где связующим звеном между жизнью и творчеством становится воспоминание, обретающее статус эстетического понятия. Выражением этой сопряженности жизни и поэзии в воспоминании стала знаменитая формула Жуковского «Жизнь и Поэзия — одно» («Я Музу юную, бывало, // Встречал в подлунной стороне...», 1824), во многом определившая впоследствии восприятие личности поэта его современниками. Так воспоминание постепенно становится в творчестве Жуковского философской категорией,

синтезирующей жизненное впечатление, творческий акт и нравственный урок. Афористическим выражением этой философичности стало стихотворение 1829 г. «Памятники»:

То место, где был добрый, свято[1]
Для самых поздних внуков там звучит
Его благое слово и живет
Его благое дело

Здесь уже слышится предвестие поздней концепции поэтической жизни, которую Жуковский выстроил, опираясь на пушкинскую формулу «Слова поэта суть уже дела его» («О поэте и современном его значении», 1848). Так в творчестве самого Жуковского осуществляется своеобразный акт самосознания памяти, воспоминания, постепенно отстраняющихся от поэзии для того, чтобы стать жизнью и гранью общей духовной культуры эпохи. Возникшее как поэтический образ, воспоминание для Жуковского постепенно становится жизненной философией и повседневной житейской потребностью.

Философский аспект идеи воспоминания выразился в том, что сам поэт назвал «философией фонарей»: «Я когда-то сказал: счастие жизни состоит не из отдельных наслаждений, но из наслаждений с *воспоминанием*, и эти наслаждения сравнил я с фонарями, зажженными ночью на улице: они разделены промежутками, но эти промежутки *освещены*, и вся улица светла, хотя *не вся* составлена из света. Так и счастие жизни! Наслаждение — фонарь, зажженный на дороге жизни; воспоминание — свет, а счастие — ряд этих фонарей, этих прекрасных, светлых воспоминаний, которые всю жизнь озаряют»[2].

Эта же философия жизни характерна для статьи «Воспоминание» в цикле «Мысли и замечания» (1850), написанной как комментарий к стихотворению «Воспоминание» 1821 г. Показательно, однако, и то, что эти философские образы воспоминания сформировались у Жуковского довольно рано, в 1815—1821 гг., и то, что это была практическая философия, которая выразилась в осознанном стремлении сохранить черты минувшего в собственной памяти и для потомков. С середины 1830-х годов поэт начинает призывать своих близких к закреплению образов прошлого на бумаге. В этих призывах наглядно воплощается формирование концепции мемуарного жанра в творческом сознании Жуковского. Поэтическое дело становится делом жизни.

Первоначально это стремление закрепить уходящее, воскресить минувшее отливается у поэта в неадекватной форме: первые воспоминания, созданные им, не словесные, а живописные — цикл рисунков пером, изображающих виды его родины, села Мишенского. Побуждением

[2] *Кульман Н К* Рукописи В. А. Жуковского, хранящиеся в библиотеке гр. А. А. и А. А. Бобринских. СПб., 1901. С. 7.

к созданию этих рисунков был один из первых опытов племянницы поэта, детской писательницы А. П. Зонтаг, в литературном оформлении их общих детских воспоминаний: «Мне так стало грустно, что все на родине нашей исчезло, что я вздумал все снова построить на бумаге; как мог что вспомнить, так и нарисовал <...>», — писал ей Жуковский в ноябре 1836 г.[3] Рисунки видов Мишенского — необходимое для него переходное звено от отвлеченно-невещественного поэтического воспоминания к конкретике мемуарного жанра.

В 1830 — 1840-х годах Жуковский, разделивший пушкинское увлечение мемуарной литературой и историческим анекдотом и бывший инициатором предпринятой Пушкиным записи устных рассказов Загряжской, практически становится мемуаристом в своих письмах. Два знаменитых письма поэта 1837 г. — Сергею Львовичу Пушкину и шефу жандармов А. Х. Бенкендорфу — осознаются сегодня как мемуарные источники биографии Пушкина. Не столь широко известные образцы этого жанра — очерки-некрологи «О стихотворениях И. И. Козлова», «К. К. Мердер», биографический очерк «Иосиф Радовиц», письма—отклики на известия о смерти А. И. Тургенева и Н. В. Гоголя, своеобразные надгробные речи друзьям, которые бегло очерчивают контуры их обликов. Поэт, культивировавший воспоминание как эстетическую и нравственную ценность, воплотил этот культ в собственных воспоминаниях о близких спутниках своей жизни:

О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: *их нет*;
Но с благодарностию· *были!*

«Воспоминание», 1821

Для истоков формирования русской мемуаристики как отрасли словесной культуры первостепенное значение приобретают не только поэзия Жуковского, сделавшая воспоминание насущной потребностью эмоциональной жизни, не только его собственные мемуарные опыты, но и его эпистолярные размышления о сущности мемуарного жанра. В этих письмах поэтическая философия воспоминания постепенно переходит в концепцию мемуаристики, в которой Жуковский, как и в поэзии, выступает новатором. Из его рекомендаций «анналисту» их общего прошлого, А. П. Зонтаг, вырастает своеобразная фрагментарная теория романтических мемуаров «без связи», «без порядка», одушевленных настроением и тем не менее связанных с конкретной, в духе поэтической теории романтизма, «местностью». Первая такого рода рекомендация высказана довольно рано: в апреле 1836 г. Жуковский пишет своей

[3] Уткинский сборник. Письма В. А. Жуковского, М. А. Мойер и Е. А. Протасовой. М., 1904. С. 112—113.

«соколыбельнице»: «Я бы вам присоветовал сделать и другое: напишите свои воспоминания или, лучше сказать, наши воспоминания. Для этого не нужно и плана; или вот какой план: сделайте по азбучному порядку роспись имен всех тех, кого знали, и каждый день напишите что-нибудь о ком-нибудь из этого лексикона: пропасть приклеится само собою и постороннего, и мыслей всякого рода, и описаний, и собственных опытов»[4].

Здесь прежде всего обращает на себя внимание то, что для Жуковского мемуары не равны автобиографии в узком смысле, «исповеди», истории души, чего следовало бы ожидать от поэта-романтика. «Пропасть постороннего» — это выражение синтетичности мемуарного типа мышления и творчества, органично сплетающего личностный аспект автобиографии с индивидуальным ощущением эпохи в целом. Насколько устойчив этот тип в сознании поэта, свидетельствует повторная рекомендация, высказанная той же А. П. Зонтаг почти через пятнадцать лет как реакция на ее первые собственно мемуарные опыты: «Вот в чем дело: вы так мило говорите о нашем прошлом, <...> что мне живо захотелось вас из биографа великих мужей древности для детей превратить в нашего семейного биографа. <...> Вы живете там, где каждая тропинка, каждый уголок имеет для вас знакомое лицо и родной голос, <...> — возьмитесь за перо и запишите все, что вспомните. Не делайте никакого плана. Каждый день «что-нибудь, как придет в мысль и в сердце»[5].

Эмоциональный ореол памяти, окружающий пейзаж детства и юности, топография и география Мишенского — вот что в представлении Жуковского может стать источником мемуарного вдохновения. Воспоминания в понимании поэта — хорошо осознанный синтез конкретики и лирического, личностного переживания этой конкретики: «Я бы на вашем месте сделал так: сперва просто написал бы хронологический, табеллярный порядок всех главных событий по годам, как вспомнится. Потом сделал бы роспись всех лиц, нам знакомых (от моего Максима до императрицы). Имея эти две росписи, каждый бы день брал из них какой-нибудь предмет для описания, не подчиняя себя никакому плану, а так, на волю Божию, на произвол сердца, на вдохновение минуты»[6].

Романтический универсализм, стремление стеснить необъятное в единый эмоциональный вздох, синтезировать разные тональности в пределах одного произведения — все эти свойства поэзии Жуковского определяют и его представление о мемуарах. И характерная черта — равно свойственные Жуковскому поэтические интонации бытовой шутки, «галиматьи», домашней поэзии и возвышенно-вдохновенной роман-

[4] Уткинский сборник... С. 111—112.
[5] Там же. С. 123.
[6] Там же. С. 124.

тической мифологии души объединяются в его представлении о диапазоне воспоминаний «от Максима до императрицы». Как стихотворение-отрывок Жуковского равно мгновению самой жизни, как жизнь и поэзия становятся одним в его творческом сознании, так и подобные мемуары предстают в его интерпретации адекватом самой преждебывшей жизни. «Здесь я думал не о сочинении в роде обыкновенных мемуаров нашего времени, которых авторы более или менее жеманятся перед собою, чтоб передать жеманные портреты современникам и потомству; мне хотелось просто пожить в нашем общем прошедшем...» — писал поэт А. П. Зонтаг осенью 1850 г.[7]

Как известно, воспоминания современников особенно ценны не только тем, что из них мы узнаем факты, но и тем, что они показывают отношение к этим фактам. И что интереснее — факты или оценка их, трудно сказать: и в том и в другом живет эпоха. Подправляя одни воспоминания другими, корректируя их с учетом исторической дистанции, объективного смысла события или поступка, который открывается по прошествии времени, помня о субъективизме мемуариста, мы все же наряду с достоверностью ценим в мемуарах отпечаток личности мемуариста, его ярко выраженную индивидуальность. В этом — тождество воспоминаний живых свидетелей современной им эпохе, то, что Жуковский назвал воспоминанием, равным жизни.

Жуковский прожил как литератор и общественный деятель долгую жизнь. Вероятно, именно это побудило его друга и издателя, П. А. Плетнева, который вообще много сделал для организации коллективной кампании по собиранию воспоминаний о своей эпохе, обратиться к поэту в 1849 — 1850 гг. с просьбой писать записки. Ответ Жуковского на эту просьбу свидетельствует о четком понимании жанровой природы мемуаристики: «На этот вызов решительно отвечаю: нет, сударь, не буду писать своих мемуаров. <...> Мемуары мои и подобных мне могут быть только *психологическими*, то есть историею души; событиями, интересными для потомства, жизнь моя бедна; <...> я описал бы настоящее фантастически, были бы лица без образов, и, верно, 9/10 подробностей утратила моя память; а что жизнеописание без живых подробностей? Мертвый скелет или туманный призрак»[8]. Жуковский, говоря его же словами, в высшей степени «имел уважение к истории своего времени» и не хотел писать таких мемуаров, в которых он сам, а не его век вышел бы на первый план повествования — из этого нежелания становится ясным, в чем видел поэт задачу истинных мемуаров.

В этом самоотречении он, конечно же, недооценил событийности своей жизни. Его участие в Отечественной войне 1812 г., его отношение к декабристам, его педагогическая деятельность при дворе, связи с людьми, составлявшими цвет русской и европейской культуры, формируют густо

[7] Уткинский сборник... С. 127.
[8] *Жуковский В. А.* Собр. соч.: В 4 т. М.; Л., 1960. Т. 4. С. 667—668.

насыщенную событиями биографию. Но то препятствие для мемуарного творчества, каким была его поэтическая индивидуальность, Жуковский оценил точно: ему не было необходимости писать историю своей души мемуарной прозой. Он написал ее своей поэзией и таким вошел в сознание и память современников, каким выразился в своем творчестве.

Так, не будучи сам мемуаристом в узком смысле слова, Жуковский своей поэзией, внедрившей в сознание и духовную жизнь общества идею воспоминания, своей практической философией воспоминания, наконец, своими размышлениями о природе мемуарного жанра и специфике мемуарного творчества явился предтечей русской мемуаристики второй половины XIX в.

Эволюция категории воспоминания в творчестве Жуковского от поэтического образа к философскому понятию и эстетике мемуарного жанра отражает общие закономерности роста мемуаристики в русской словесной культуре. Идеи и образы поэзии Жуковского, усвоеннные массовой поэзией, породили своеобразную поэтическую мемуаристику, целую литературу публичной поэтической переписки, сделавшую литературный быт достоянием духовной жизни общества. Философия воспоминания вызвала интерес к историческому анекдоту и устному рассказу, который имел определенное значение для русской мемуаристики, породив своеобразный фольклор в виде устных апокрифов, анекдотов и легенд о писателях. В 1840-х годах возникают первые образцы мемуарного жанра в наследии Жуковского и в русской литературе. Так постепенное развитие образа воспоминания в творчестве Жуковского отразило общий процесс становления литературных мемуаров. И сам поэт стал одним из первых героев воспоминаний, типологию которых во многом определили его личность и поэзия.

2

Поэтическая философия воспоминаний была органично связана и с романтической концепцией двойного бытия, и с формирующимся историческим сознанием, и с элегическим образом мышления. «Очарованное *Там*» Жуковского, «дух минувшей жизни» Гоголя, пушкинское «я время то воспоминал» или «я помню чудное мгновенье» воплощались в поэтическом контексте эпохи десятком вариантов. «Память сердца» как непосредственная эмоциональная реакция оказывалась действительно сильней «рассудка памяти печальной». Поэтическая мемуаристика отражала эмоциональную память, поэтому элегии, песни и романсы, дружеские послания были пронизаны мотивами воспоминания. Элегии на кончину становились поэтическими некрологами, циклы дружеских посланий — летописью литературной и общественной борьбы эпохи, надписи к портретам — биографической миниатюрой.

Жуковский отдает обильную дань всем этим формам. Сравнивая его элегии «На смерть А<ндрея Тургенева>» (1803), «На смерть фельдмаршала графа Каменского» (1809), «На кончину ее величества королевы Вюртембергской» (1819), «Он лежал без движенья...» («А. С. Пушкину», 1837), видишь, как меняется тип «мемориальной элегии»: от общих элегических формул «певец житейских страданий» идет к конкретике фактов, расширенному прозаическому комментарию (примечания к элегии «На кончину ее величества...», письма к отцу Пушкина и Бенкендорфу как дополнение к стихотворению о кончине поэта). Образ умершего оживает в воспоминании о нем; от поэтического некролога Жуковский естественно переходит к мемуарной прозе. Его рассказы о смерти Пушкина, публичное чтение письма о его последних днях в разных аудиториях: в Ореанде у Фикельмонов, в Варшаве у Козловского, в Дюссельдорфе у Рейтернов — делали этот мемуарный материал фактом общественного сознания.

В дружеских посланиях, обращенных к Вяземскому и В. Л. Пушкину, Плещееву и Воейкову, к Батюшкову, отразился тот же процесс бытового заземления, детализации, расширения историко-культурного пространства. В своей совокупности дружеские послания Жуковского 1814—1815 гг. — это содержательные литературные воспоминания, арзамасская поэтическая летопись. В послании «К Воейкову» (1814) воссоздано «пиндопреставление» — аналог заседаний «Беседы»; в обращении к «Ареопагу» (1815) открывается мир арзамасской критики; в цикле посланий «К кн. Вяземскому и В. Л. Пушкину» звучат реквием по Озерову, предвещающий лермонтовскую «Смерть Поэта», и рассказ о Карамзине, который «ждет суда // От современников правдивых, // Не замечая и лица // Завистников несправедливых». Прошлое и настоящее, литературное и бытовое нерасторжимы в этих литературных летописях.

От «Певца во стане русских воинов» идет традиция миниатюрной биографии. Если в «Певце...» Жуковский создал поэтическую галерею портретов героев 1812 года, то впоследствии он склонен давать надписи к портретам поэтов-современников. Арзамасские прозвища стали его пророчеством о грядущих судьбах арзамасцев и символическими знаками личности, а поэтические формулы из посланий — эпиграфами к жизнеописаниям: «Святое имя — Карамзин», «Малютка Батюшков, гигант по дарованью» и т. д.

В орбиту поэтической мемуаристики, рожденной эпохой элегического мышления и самосознания, вошли личность и творчество первого русского романтика. Послания, обращенные к нему, посвящения ему есть почти у каждого русского поэта 1810 — 1830-х годов. В них факты биографические (встречи, расставания) соотносятся с благодарностью за поддержку («Тобой впервые стал Поэтом я...», «И сил мне придал ты своим волшебным словом...», «Не ты ль мне руку дал в завет любви священной?..»); в них вызревают обобщающие характеристики («Тир-

тей славян», «Гораций-Эпиктет», «балладник мой», «новый Грей»). Итогом этой индивидуальной поэтической мемуаристики становится объявленный в 1817 г. «Вестником Европы» конкурс на надпись к портрету Жуковского: «Не угодно ли будет нашим господам стихотворцам (разумеется, общим приятелям Василия Андреевича) прислать к нам надпись для другого портрета?»[9]. Надписи К. Н. Батюшкова, В. Л. Пушкина, Н. Д. Иванчина-Писарева и, наконец, знаменитая пушкинская «Его стихов пленительная сладость...» отразили пик популярности поэзии Жуковского и вместе с тем взлет поэтической мемуаристики. Свое законченное выражение она получила у Ф. И. Тютчева. «Зарифмованное воспоминание» — «17 апреля 1818 года», рассказывающее об одной из первых встреч с Жуковским, написано незадолго до смерти Тютчева, но...

С тех пор воспоминанье это
В душе моей согрето
Так благодатно и так мило —
В теченье стольких лет не изменяло,
Меня всю жизнь так верно провожало...

Поэтическая личность Жуковского, его душевный строй влекут Тютчева к нему. В своем стихотворном некрологе 1852 г. «Памяти В. А. Жуковского» он определит это точно и емко:

Душа его возвысилась до строю:
Он стройно жил, он стройно пел.

Воспоминания о Жуковском не иссякнут в русской поэзии до самого начала XX в. И в стихотворении с характерным названием «Родина русской поэзии», напечатанном в «Вестнике Европы»[10], Вл. Соловьев завершит эпоху поэтической мемуаристики и надписей к портрету Жуковского словами: «О гений сладостный земли моей родной!» А в 1905 г. Александр Блок, считавший Жуковского своим «первым вдохновителем», скажет: «Жуковский подарил нас мечтой, действительно прошедшей „сквозь страду жизни“. Оттого он наш — родной, близкий...»[11].

Другим неиссякающим источником воспоминаний о Жуковском будет дневниково-эпистолярная проза. В недрах и в контексте новой поэтической культуры она имела неповторимое лицо. Автобиографические и автопсихологические признания как форма исповеди и самопознания постепенно обретают характер хроники, записок. На смену дневнику приходит «журнал», на смену письму-исповеди — письмо-

[9] Вестн. Европы. 1817. Ч. 91, № 3. С. 183.
[10] Вестн. Европы. 1897. № 11. С. 347.
[11] Вопросы жизни. 1905, апрель — май. С. 228.

проповедь, письмо-рассказ, письмо-вероисповедание. Журналы-хроники и «философические письма», письма-трактаты выходят из-под личного контроля и становятся фактом общественной мысли (такова была судьба многих писем Жуковского, напечатанных на страницах «Полярной звезды», «Московского телеграфа», «Современника», «Москвитянина»).

В дружеской переписке создается образ Жуковского-поэта, ведутся о нем споры, определяется его общественное и нравственное лицо. В письмах А. С. Пушкина и К. Н. Батюшкова, Н. В. Гоголя, в переписке П. А. Вяземского и А. И. Тургенева, П. А. Плетнева и Я. К. Грота возникает живая личность Жуковского в процессе ее духовного и поэтического становления и в то же время для будущих поколений запечатлены почти с фотографической точностью его характерные черты: это мемуары впрок, заготовки для последующих биографов. В переписке современников 1810 — 1830-х годов Жуковский живет и как участник литературного процесса, и как персонифицированное воспоминание о поэтической молодости. Мемуарное начало в письмах — своеобразные элегии в прозе, где авторы, перефразируя Пушкина, словно постоянно вопрошают: «Жуковский, помнишь ли былое?» В письмах к нему Кольцов и Кюхельбекер, Гоголь и Пушкин вспоминают о встречах с наставником, другом, соратником. Жуковский настолько важное и живое лицо русского литературного процесса, что представить без него дружеское литературное письмо просто невозможно. С ним связывают большие надежды, его призывают обратиться к национальным сюжетам, его критикуют и им восхищаются, благодарят за помощь — одним словом, создается коллективный эпистолярный портрет Жуковского.

Можно спорить, насколько письма, тем более прижизненные, вообще мемуарны. Можно сомневаться в мемуарном характере прижизненных статей о произведениях поэта. Но если эти письма принадлежат Пушкину и Батюшкову, если статья об «Одиссее» написана Гоголем, разве это не лучшие, ярчайшие свидетельства современников о друге-поэте? Поэт всегда увидит в собрате то, чего не смогут увидеть другие. И это «живое о живом» не менее важно, чем воспоминание об умершем.

Мучительный процесс становления форм русской мемуаристики приходится на 1830-е годы. Именно в это время «вопрос о собирании воспоминаний современников привлекает к себе внимание людей, стоявших во главе умственного и литературного движения эпохи»[12]. Все уговаривают друг друга писать записки. В письме к А. Я. Булгакову от 11 апреля 1843 г. Жуковский вспоминает: «Пушкин начал было по моему совету записывать россказни Загряжской — и она умерла, и сам он пропал»[13]. Мемуаротворчество этого периода делает еще первые шаги. Рудименты элегической и дневниково-эпистолярной традиции слиш-

[12] *Тартаковский А. Г.* 1812 год и русская мемуаристика. М., 1980. С. 224.
[13] Библиографические записки. 1858. № 18. С. 549.

ком ощутимы в первых опытах — «Хронике русского» А. И. Тургенева и биографических очерках П. А. Плетнева.

Первые воспоминания о Жуковском были созданы при его жизни. В письмах и дневниках современники, его друзья и знакомые, пытались с эмоциональной непосредственностью запечатлеть его облик: человеческий и творческий портрет. Из письма в письмо, из подневных наблюдений складывался этот мозаичный портрет. Фрагментарность записей и в то же время обобщенность характеристик, хроникальность и одновременно страстность оценок — все это позволило тем, кто не пережил Жуковского (К. Н. Батюшкову и А. С. Пушкину, Н. В. Гоголю и А. И. Тургеневу), сказать о нем свое слово. И в этом смысле им удалось написать свои воспоминания о нем, потому что в дневниках и письмах его друзей подлинность событий, в которых участвует Жуковский, сочетается с их концепцией его характера и творческой индивидуальности. В их мемуарах существует Жуковский — официальный, бытовой — как органичная часть сиюминутного, окружающего их и его мира, как живая реальность. Но он для них прежде всего активный деятель литературного процесса, поэт: «он у нас один», как скажет А. И. Тургенев. Жуковский как бы отождествляется со своим стихотворением, которое для его современников «посол души, внимаемый душою». «Жизнь и Поэзия — одно» — эта формула его поэзии для современников не была бесспорной: они видели зазоры между жизнью и поэзией, но все-таки осмысляли его жизнь через поэзию, и наоборот.

Прижизненные воспоминания, заметки о Жуковском (а здесь нужно вспомнить, что один из важнейших мемуарных источников сведений о его детстве — записки А. П. Зонтаг — был опубликован за три года до смерти поэта) вполне обрели статус мемуаров потому, что исторически через промежуточные формы (письма, «характеры», критико-биографические статьи, надписи к портрету) готовили саму философию и эстетику этого типа мышления вообще и мемуаров о Жуковском в частности.

Немногие близкие по духу и перу друзья, родные пережили Жуковского. Вместе с ним уходили его поколение, эпоха, что очень остро чувствовал намного переживший «многое и многих» П. А. Вяземский. Он вместе с Плетневым взял на себя роль организатора в собирании материалов о Жуковском.

Сама смерть поэта в 1852 г. вызвала к жизни воспоминания о нем. Священник И. Базаров рассказал о его последних днях, малоизвестный журналист Вл. Кривич дал в «Сыне Отечества» репортаж о перезахоронении праха Жуковского в родной земле. Один из наиболее верных адресатов последних лет жизни Жуковского, П. А. Плетнев, преданно любивший поэта, закончил именно в эти дни первый подробный биографический очерк о нем, где попытался сказать о «значении поэзии Жуковского на Руси», ибо «говорить теперь же о подробностях жизни Жуков-

ского было бы нескромно. Разбирать его стихотворения — не ново...» (из письма к Я. К. Гроту от 17 июня 1812 г.).

Вяземский — один из теоретиков мемуарного жанра в России — еще при жизни Жуковского в письме к нему от 1 января 1849 г. говорил: «Напиши воспоминания свои о Карамзине. В эту раму можешь внести и его, и себя, и события современные, и душу свою, и взгляд свой на все и на всех. Тут и литература, и история, и нравственная философия. Это будет живой памятник и ему и тебе. Тут можешь говорить о нем, о себе, о России, о целом мире и о прочем»[14]. И он поддерживает любую инициативу по увековечению памяти Жуковского: помогает издателю «Русского архива» П. И. Бартеневу в публикации писем Жуковского, вербует на эту работу Плетнева, готовит выдержки из бумаг фамильного Остафьевского архива, приводит в порядок свои «Записные книжки». «Это наше дело: мы можем собирать материал, а выводить результаты еще рано»[15] — этому принципу, сформулированному еще в 1830 г., он следует и в 1850 — 1870-е годы. Публикуемый им материал во многом эклектичен, ему не хватает целостности взгляда, но один из самых старых друзей Жуковского стремится донести до людей нового поколения свою концепцию «богатой души» Жуковского, доказать, что «официальный Жуковский не постыдит Жуковского-поэта», открыть «гениальное вздорноречие» Жуковского-арзамасца.

Вяземский, едва ли не первый из писавших о Жуковском после его смерти, почувствовал, сколь полно первый русский романтик «пронес свою личность» сквозь письма, дневники. Поэтому он (а с его легкой руки и другие мемуаристы) опирается на этот материал, обильно его цитирует, документируя им свои воспоминания. Массивы писем в биографическом очерке Плетнева, комментированная публикация парижского дневника Жуковского, подготовленная Вяземским, отрывки из писем в воспоминаниях А. С. Стурдзы, А. О. Смирновой-Россет, И. И. Базарова — не излишество, а плоть мемуаров, своеобразное автомемуарное начало в документальном повествовании. Письма, дневниковые записи органично внедряются в структуру мемуаров, формируя своеобразие нового прозаического жанра и присущего ему типа повествования.

Другой особенностью посмертных мемуаров о Жуковском является активное обращение их авторов к его поэзии. Стихотворения Жуковского существуют в сознании мемуаристов как документальный источник, подтверждающий тот или иной биографический факт: «Из этого стихотворения видно, что...», «Стихотворение доказывает...», «Вот что он сказал об этом сам в стихотворении...». Но чаще всего цитируемые отрывки из стихотворений одушевляют описание биографического облика поэта, открывают «поэзию чувства и сердечного воображения»:

[14] Памятники культуры: Ежегодник — 1979. Л., 1980. С. 63—64.
[15] *Вяземский П. А.* Записные книжки (1813—1848). М., 1963. С. 205.

«Какой-то обаятельный трепет чувствуется в сердце, когда он описывает...», «Вот они, восхитительные стихи Жуковского», «С какою всеоживляющею верностью описывает он...» и т. д. Поэтические вставки в воспоминаниях о Жуковском создают определенное настроение, но главное — они постоянно напоминают: поэт живет в своих творениях; его биография — это поэтическая биография.

Два ряда источников: эпистолярный и поэтический — приближают читателя к человеку и поэту, позволяют услышать его слово и нередко расширяют круг известных материалов его биографии и творческой истории отдельных произведений.

Второй слой воспоминаний о Жуковском был создан его близкими друзьями — Вяземским и Плетневым. Их материалы к биографии Жуковского — свидетельство поисков мемуарного жанра, стиля повествования о поэте, но в них ощутима власть традиции дневниково-эпистолярной мемуаристики — и слишком жива еще память о поэте, чтобы «выводить результаты», «говорить о подробностях жизни». Готовятся материалы, комментируются биографические и поэтические реалии, ведется борьба за «историческую правдивость и точность».

Активизация мемуарных форм повествования в 1860 — 1870-е годы не только определяет рождение высоких образцов — «Былого и дум» Герцена, «Литературных и житейских воспоминаний» И. С. Тургенева, но и отражает процесс общего движения к восстановлению исторической связи эпох. Издание журналов «Русский архив» и «Русская старина», собирательская деятельность П. И. Бартенева и Е. И. Якушкина знаменуют взлет русской мемуаристики. Появление «Записок» А. О. Смирновой-Россет, Ф. Ф. Вигеля, Н. И. Греча, М. А. Дмитриева, декабристов А. К. Розена, Н. И. Лорера, композитора М. И. Глинки и художника А. Н. Мокрицкого знаменует новый этап в осмыслении личности Жуковского. В большом контексте мемуарных книг Жуковский — один из «литературных медальонов» (М. А. Дмитриев), в них приводится эпизод из его жизни (Розен, Лорер, Тургенев, Герцен). Только, пожалуй, у Вигеля и Греча Жуковский предстает как мемуарный герой, проходящий через цепь событий эпохи. Монографически он осмыслен рядом с Пушкиным на страницах ярких воспоминаний А. О. Смирновой-Россет.

Третий слой воспоминаний о Жуковском более свободен от эмпирического документального материала. Мемуаристы 1860 — 1870-х годов больше доверяют памяти, чем их предшественники. Они уже «моделируют личность»[16], исходя из своей концепции героя — в данном случае Жуковского. Особенно это ощутимо у А. О. Смирновой-Россет, которая стремится показать великого поэта «домашним образом», раскрыть его через бытовую атмосферу, через стихию анекдота и шутки.

---

[16] Об этом подробнее см.: *Гинзбург Л. Я.* О психологической прозе. Л., 1977. С. 29—31.

Противоположной целью — увидеть печать поэтического гения в повседневном облике Жуковского — одушевлен критико-биографический очерк П. А. Плетнева. Синтез этих аспектов в какой-то мере удался Ф. Ф. Вигелю и Н. И. Гречу, сумевшим, вопреки своей язвительности и предвзятости по отношению ко многим, не только оценить значение поэтического творчества Жуковского, но и разглядеть природную доброту поэта, его терпимость к чужому мнению.

Портрет Жуковского в мемуарах этого периода становился объемнее. Мемуаристы (И. С. Тургенев, Арнольд, Мокрицкий) дают словесный портрет поэта, ориентируясь на живописные образы Брюллова, Гиппиуса, но под своим углом зрения. Смирнова-Россет, Греч, Вигель воспроизводят речь Жуковского, нередко удачно стилизуя и ее общий тон, и отдельные высказывания. Декабристы Лорер и Розен, историки Отечественной войны 1812 г. И. П. Липранди и Н. А. Старынкевич реконструируют целые сцены с участием поэта. «Поездка в Белев» Погодина и рассказ о селе Мишенском, родине Жуковского, П. М. Мартынова вносят в книгу мемуаров о Жуковском краеведческий аспект. «Живые картины» мемуаристики 1860 — 1870-х годов делают облик русского поэта объемнее и вместе с тем интимнее, хотя в чем-то умаляют масштаб поэтической индивидуальности «Коломба русского романтизма».

Три слоя воспоминаний о Жуковском — прижизненных, посмертных и ретроспективных — три этапа развития русской мемуаристики вообще. Меняются ее формы (ощутимо движение от эпистолярно-дневниковых через документально-источниковедческие к эстетически организованным), но остается неизменным одно: уважение к Жуковскому — человеку и поэту. Создается коллективная летопись его жизни и творчества, его биография.

Постепенно воспоминания о Жуковским обретают свою систему и логику. Обозначаются вершинные события, лейтмотивные ситуации, хронологические гнезда. Жуковский — «певец во стане русских воинов», душа «Арзамаса», «человек с сердцем на ладони», «рыцарь на поле словесности и нравственности», ангел-хранитель русских поэтов, поэт-романтик, живописец, ходатай за униженных и ссыльных, христианин — все эти грани его творческой и человеческой индивидуальности воссозданы в коллективном портрете. От детства до последних дней (пусть с неизбежными пропусками) рассказана его биография.

Последним важным штрихом в коллективной мемуарной биографии Жуковского стала книга К. К. Зейдлица «Жизнь и поэзия В. А. Жуковского. По неизданным источникам и воспоминаниям». В своем окончательном варианте она появилась в 1883 г., к столетнему юбилею поэта. Зейдлицу, хорошо знавшему Жуковского почти на протяжении тридцати лет и ставшему после смерти поэта его «душеприказчиком», было что сказать и вспомнить. В его руках находились и неизвестные бумаги

Жуковского, он имел доступ к неопубликованным источникам, хранившимся у родственников поэта.

Книга Зейдлица — жизнеописание В. А. Жуковского, своеобразный путеводитель по его жизни. Написанная честно, точно, на большом документальном и мемуарном материале, она не отличается особыми художественными достоинствами. Но ее ценность в другом: она — кладезь сведений о поэте, хронологически последовательное изложение его биографии. В этом смысле она стала важнейшим источником для первых исследователей поэзии Жуковского, его биографов; не потеряла своего значения эта книга и сегодня.

С книгой Зейдлица кончилась пора мемуаров о Жуковском; началась эпоха его нелегкой судьбы в литературоведении, издания его сочинений, где воспоминания его современников были и точкой отсчета, и документальным источником, и материалом для текстологического, историко-литературного, реального комментария.

3

И все-таки каким предстает Жуковский в воспоминаниях современников, чем обогатили они представление о нем, поэте и человеке? «Воспоминание и я — одно и то же», — сказал он в стихотворении «К своему портрету». Совпали ли мемуарные свидетельства с его реальным образом, с его портретом?

Только повторяемость мемуарной характеристики может предохранить от риска принять случайное и субъективное за действительное и типическое. О Жуковском вспоминали самые разные люди: его родственники А. П. Елагина и А. П. Зонтаг — и знакомые с ним всего один день И. Е. Бецкий, М. Диев; близкие друзья, спутники всей его жизни А. И. Тургенев, П. А. Вяземский, П. А. Плетнев — и люди, которые стали его друзьями, проговорив с поэтом всего несколько часов и больше уже ни разу в жизни не встретившись с ним, такие, как ссыльные Н. И. Лорер, А. Е. Розен, А. Ф. Бриген; политические ретрограды А. С. Стурдза и Н. И. Греч — и деятели русского освободительного движения А. И. Герцен, декабристы; великие писатели А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев — и священнослужитель И. И. Базаров; соотечественники и иностранцы; слуга Василий Кальянов — и императрица Александра Федоровна. И во всех этих мемуарных свидетельствах о личности Жуковского (за исключением одного-единственного рассказа Н. М. Коншина, да и то переданного им с чужих пристрастных слов) намечаются три точки пересечения, три сферы безусловности, определяющие восприятие личности Жуковского современниками: Поэт, Человек, Гражданин. Очевидно, это единогласие и есть признак объективности того образа Жуковского, который складывается из всей совокупности свидетельств о нем.

Жизнь души Жуковского, мир его эмоциональных переживаний и сфера его поэтической мысли были в его стихах на виду у всей читающей России. Однако эта всеобщая распахнутость сделалась у поэта своеобразной формой замкнутости, потаенности его частной жизни, скрытой от любопытных глаз. В этом смысле характерны эпизодические воспоминания будущего декабриста, а в 1810-х годах камер-пажа императрицы Марии Федоровны А. С. Гангеблова, который часто видал поэта в Павловске: «<...> Жуковский вообще держал себя молчаливо: мне ни разу не доводилось слышать, как он говорит по-русски <...>. В один тихий, ясный вечер <...> Мария Феодоровна вышла на террасу и, полюбовавшись несколько минут луною, велела <...> вызвать к ней из залы Жуковского. „Не знаете зачем?“ — спросил Жуковский, поднимаясь с места. „Не знаю наверное, — отвечал камер-паж, — а знаю, что что-то о луне“. — „Ох уж мне эта луна!“ — заметил поэт. Плодом этой довольно долгой созерцательной беседы поэта с императрицей был „*Подробный отчет о луне*“ с его эпилогом, одним из очаровательнейших созданий Жуковского»[17].

Этот эпизод наглядно очерчивает сферу запретного, скрытого от всех, даже самых близких Жуковскому людей, его поэтическое вдохновение и творческую лабораторию, проникнуть в которую не было дано никому. Характерно, что ни один из мемуаристов даже не пытается воссоздать его творческий процесс; их отношение к тайне творчества как бы усвоило отношение к ней самого Жуковского, парадоксально выразившего эту тайну понятием «невыразимое». Даже коллеги по поэзии, собратья по перу, такие, как П. А. Вяземский, могут лишь остановиться, замереть в изумлении перед «чародейством» его поэзии. Они способны только выразить силу эмоционального воздействия лирики Жуковского, который «читателя своего не привязывает к себе, а точно прибивает гвоздями, вколачивающимися в душу». Стихи Жуковского его современники воспринимали как нечто безусловно данное, а не сделанное. Единственный способ характеристики Жуковского-творца — это или рассказ о пейзаже, вдохновившем поэта (у А. П. Зонтаг описание Мишенского и холма «Греева элегия»), или фиксация обстоятельства, послужившего поводом к написанию того или иного произведения, или констатация самого факта его создания (ср. в письмах Пушкина: «Жуковский пишет гекзаметрами»).

При этом в восприятии всех своих столь разных друзей и знакомых Жуковский — прежде всего поэт. Ореол поэзии как бы светится вокруг его образа, поэтому типологический признак воспоминаний о нем — поэтическая цитата и перифрастическое обозначение его реального облика образом его лирического героя: «певец Светланы», «певец во стане русских воинов», «балладник», «сказочник»; в поздние годы его жизни

[17] Рус. архив. 1866. Т. 3. С. 195, 197.

к этому добавляется «поэт-христианин». Образы поэзии Жуковского накладываются на личность поэта и заметно выделяют его из среды других людей. Особый масштаб поэтической личности Жуковского — вот один из лейтмотивов свидетельств о нем. Даже люди бесконечно далекие от поэзии ощущали этот масштаб с первой встречи, и это ощущение толкало их на неожиданные для них самих поступки. Так, в записках высокопоставленного чиновника В. А. Инсарского Жуковский появляется на один короткий миг, чтобы просиять этим ореолом поэзии: «Киселев приказал мне не принимать решительно никого. Подобное приказание исполнялось потом всеми дежурными самым непреклонным образом. Едва я получил это приказание, входит Жуковский, которого дотоле я никогда не видел. Исполненный благоговения к его имени (лишь только оно было произнесено), я опрометью бросился в кабинет в каком-то смутном убеждении, что пред знаменитым поэтом все возможные министры должны быть почтительны. Когда я доложил о Жуковском, Киселев молчаливо погрозил мне пальцем и велел просить его»[18].

Образы поэзии Жуковского сливались с его реальным обликом и трансформировали этот облик в восприятии современников. «Певец Светланы» неотделим от Жуковского, и это заставляет мемуаристов почувствовать тесную связь поэта и его поэзии. Так, в воспоминаниях А. Д. Блудовой его обычный повседневный разговор уподобляется его поэзии: такой же возвышенный, идеальный, расцвеченный колоритом фантастики и одетый чуть заметным мистическим флером, как и его романтические образы. Любопытно, однако, что люди, знавшие и ценившие домашнюю поэзию Жуковского, его арзамасскую «галиматью» и поэзию «забавного и гениального вранья» (Ф. Ф. Вигель, П. А. Вяземский, А. О. Смирнова-Россет, А. С. Пушкин), видели соответствие и этим стихам в каждодневном поведении поэта, в его способности «расходиться», «разболтаться» самым веселым образом и начать «нести премилый вздор». На пересечении этих двух контрастных обликов, типов бытового поведения возникает более или менее достоверный литературный портрет. Идеально-возвышенный Жуковский неотделим от веселого юмориста, так же как его высокая, серьезная лирика немыслима без субстрата домашней, шутливой, пародийной поэзии.

Одной из главных опасностей, подстерегавшей уже современников, которые попытались запечатлеть в своих воспоминаниях черты личности Жуковского, была опасность канонизации его образа. Надо признаться, что образ Жуковского как бы специально создан для этого; не случайно он так легко принимает на себя хрестоматийный глянец возвышенности, идеальности, безусловности, — может быть, потому, что и возвышенность, и идеальность в самом деле были ему свойственны.

---

[18] Рус. архив. 1873. Т. 1, № 4. С. 575.

Необходимым коррективом в этом отношении служат воспоминания тех людей, которые знали поэта близко, в быту, и чей собственный уровень был достаточно высок, чтобы за репутацией и славой увидеть и оценить обычного земного человека.

В этом плане особенного разговора заслуживают воспоминания А. О. Смирновой-Россет, написанные с ярко выраженной полемической установкой и более всего препятствующие канонизации образа Жуковского своей бытовой живостью. Любопытно, что эта незаурядная женщина, отличавшаяся высокой образованностью и безупречным литературным вкусом, эта ценительница всего лучшего, что было в современной ей литературе, эта наделенная острым литературным чутьем читательница, к чьим суждениям прислушивались Пушкин и Гоголь, Жуковский и Лермонтов, не пытается писать о Жуковском как о поэте. Ее собственный литературный дар не позволяет даже допустить мысли о том, что она не смогла бы этого сделать. Но герой ее воспоминаний о Жуковском — подчеркнуто повседневный бытовой человек: находчивый, остроумный, детски простодушный, слегка влюбленный, добрый и верный друг, любитель анекдота и рискованной шутки.

Единственная ипостась поэтического в облике Жуковского, созданном Смирновой, — это его способность и любовь к писанию «галиматьи», органически свойственная творчеству радость творчества, выражающаяся в раблезианской фантазии шуточных гекзаметров поэта. Трудно предположить, что Смирновой было чуждо высокопоэтическое в Жуковском. Однако она предпочла акцентировать в нем житейское, живое и на первый взгляд незначительное и сделала это сознательно. Мемуары Смирновой, единственные в своем роде, дополняют образ поэта, наделяя его теми чертами, без которых поэтическое становится хрестоматийным. Смирнова тоже сохранила только одну грань личности Жуковского, но ту, без которой все остальное теряет свою жизненность.

Характерно, что даже те люди, которые не могли знать поэзии Жуковского, сразу видели в нем выдающегося человека. В этом смысле своеобразный оселок масштаба его личности — воспоминания его мимолетных немецких знакомых, и особенно воспоминания Адельгейды фон Шорн. Мемуаристка видела русского поэта всего один раз, восьмилетней девочкой, — и уже никогда не забыла этого впечатления.

Воспоминания о Жуковском-поэте, за исключением святая святых — его творческого процесса, дают довольно полное представление о его повседневной литературной жизни. И здесь обращает на себя внимание своеобразная центральность его фигуры в литературном быту Петербурга и Москвы. Без Жуковского не обходится ни одно литературное мероприятие — заседания Дружеского литературного общества и общества «Арзамас», издание журналов «Вестник Европы» и «Сын Отечества», литературные полемики 1810 — 1820-х годов и 50-летний юбилей литературной деятельности И. А. Крылова. Жуковский — одна из самых

заметных фигур в литературных салонах. «Субботы» Жуковского собирают цвет литературных сил. Присутствие Жуковского равнозначно бытию русской литературы.

Особенно показательно кипение литературных страстей вокруг баллад, переводов и самого элегического тона поэзии Жуковского. Его поэтическое новаторство по-разному воспринималось его современниками. Полемика о балладе — и обвинение в отсутствии народности (у оппонентов Жуковского, впрочем, ее было не больше); полемика об элегии — и обвинение в антиобщественности, вопиюще несправедливое; полемика о переводе — и обвинение в отсутствии оригинальности. Все эти обвинения периодически раздаются в адрес Жуковского наряду с восторженными похвалами и нередко они звучат из уст даже таких близких друзей и соратников, как П. А. Вяземский. Жуковский — центральная фигура, вокруг которой бушуют волны полемики, но сам он сторонится их: «Около меня дерутся за меня, а я молчу. <...> Город разделился на две партии, и французские волнения забыты при шуме парнасской бури. Все эти глупости еще более привязывают к поэзии, святой поэзии, которая независима от близоруких судей и довольствуется сама собой»[19].

Высший критерий оценки в этой сложной картине литературного движения — суд и мнение Пушкина. Пушкин, оторванный ссылкой от литературной жизни столиц, страстно желает знать: что Жуковский? что пишет Жуковский? что думает Жуковский о второй главе «Евгения Онегина»? И при всех колебаниях общественного мнения о поэзии Жуковского мнение Пушкина остается неизменным. «В бореньях с трудностью силач необычайный», «Никто не имел и не будет иметь слога, равного в могуществе и разнообразии слогу его», «Гений перевода», «Былое с ним сбывается опять» — вот вехи пушкинской позиции в войне вокруг Жуковского на русском Парнасе.

Жуковский и Пушкин — это сюжет не только литературоведческий, но и биографический, и нравственный. Роль творчества Жуковского в формировании пушкинской поэтической системы исключительно велика. Но еще больше роль Жуковского-человека во всей жизни Пушкина: от счастливого лицейского юношества до трагической гибели поэта Жуковский — неизменный спутник и «гений-хранитель» Пушкина. В истории дружбы двух поэтов, в привычке Пушкина прибегать к помощи и совету Жуковского в любом затруднительном случае, в его безусловной вере в Жуковского — нравственная канва летописи жизни очень доброго и очень мужественного человека, каким предстает Жуковский в воспоминаниях современников, повествующих о его отношениях с Пушкиным (А. И. Тургенев, П. А. Вяземский, В. А. Соллогуб, К. К. Зейдлиц). Факты участия Жуковского в судьбе Пушкина общеизвестны —

[19] Уткинский сборник... С. 18—19.

и здесь дело не только в них, а в их значении для понимания нравственных основ личности Жуковского. Главная сфера безусловности в мозаичной мемуарной биографии поэта — это его легендарная доброта, щедрость, готовность в любую минуту прийти на помощь тому, кто в ней нуждается.

Трудно найти среди мемуаристов хоть одного человека, который не был бы обязан Жуковскому моральной и материальной поддержкой, заступничеством перед сильными мира сего в угрожающих обстоятельствах, ободрением в начале литературного поприща. Вероятно, ни один из писателей ни до, ни после Жуковского не отзывался на такое количество просьб о помощи, протекции, об устройстве на службу, о назначении пенсиона, об облегчении участи и так далее, сколько выполнил их Жуковский. Его благодеяния перечислить просто невозможно: с того момента, как он получил доступ ко двору в качестве официального лица, вся его жизнь была полна ежедневными хлопотами по таким прошениям. Нет необходимости называть имена мемуаристов, засвидетельствовавших этот активный гуманизм поэта: о нем пишут все.

Конечно же, не только официальное положение Жуковского при дворе было причиной все возрастающего количества просьб о помощи: он больше других имел возможностей сделать что-то реальное. Но наличие возможности не есть еще гарантия ее использования. Главная причина репутации Жуковского как всеобщего заступника — свойство его натуры, доброта, которая была и основной гарантией внимания к просящему, и действия во исполнение просьбы.

Насколько устойчивой и общеизвестной была эта репутация, свидетельствует одна любопытная особенность бытования подобных воспоминаний: они имели тенденцию обособляться от своего контекста и из разряда письменных авторских свидетельств переходить в разряд устного анонимного анекдота, поскольку ссылка на свидетеля в данном случае уже не требовалась. Такая судьба постигла рассказ А. О. Смирновой-Россет о благотворительности Жуковского; этот рассказ в 1870 — 1890-х годах кочевал в качестве анонимного предания по страницам периодических изданий.

В подобных анекдотах фиксировались как наиболее типичные также и свидетельства современников о скромности Жуковского, прямо пропорциональной его великодушию. На страницах воспоминаний о Жуковском, подписанных именами А. П. Зонтаг, И. П. Липранди, А. О. Смирновой-Россет, П. А. Вяземского, И. И. Базарова и многих других, возникает образ человека, бесконечно далекого от сует сиюминутной выгоды, карьеры, литературной шумихи и всего прочего, чему, по мнению авторов этих воспоминаний, было так легко поддаться, живя при дворе. Лейтмотивом личности поэта в восприятии его современниками стала чистая душа, детское простодушие в любых обстоятельствах.

Но ставшие анонимными преданиями воспоминания, может быть, еще более выразительны: «В 1840-м году Жуковский приезжал в Москву и жил в ней некоторое время. Друзья и почитатели его таланта задумали угостить его обедом по подписке; <...> когда ему прочли этот список, он попросил, чтобы одно лицо непременно исключили: это был один пожилой профессор. <...> При этом он рассказал, как три года назад, когда наследник-цесаревич, обозревая Москву, посещал в сопровождении Жуковского университетские лекции, этот профессор целый час выводил Жуковского из терпения чтением вслух и в торжественной обстановке чрезвычайно льстивых восхвалений его таланту и т. п. „Этой бани я не могу забыть“, — закончил Жуковский»[20].

Эти качества личности Жуковского: милосердие, добродушие, действенный гуманизм и скромность — неразрывно связаны с той чертой духовного облика поэта, которая впоследствии особенно часто если не вменялась ему прямо в вину, то, во всяком случае, была причиной снисходительного сожаления о его, так сказать, идеологической незрелости. Эта черта — глубокая религиозность поэта, которая к концу его жизни приобрела экзальтированный характер. Особенно рельефно возрастание религиозности поэта и его увлечение богословской литературой описаны теми мемуаристами, которые разделяли веру поэта (А. С. Стурдза, И. И. Базаров). Умолчание о христианстве Жуковского невозможно, осуждение его — безнравственно. «Поэт-христианин», как называли его младшие современники, создал блистательное стихотворное переложение Апокалипсиса и три незавершенные поэмы на библейские сюжеты: «Повесть о Иосифе Прекрасном», «Египетская тьма» и «Агасфер», признать которые принадлежащими к числу лучших поэтических творений Жуковского может помешать только предубеждение. Христианство Жуковского — это не просто глубоко прочувствованные гуманистические заповеди религии, это заповеди, ставшие практической философией жизни и воплощенные в конкретном действии. Вера поэта — неотъемлемое свойство и поэзии, и личности Жуковского, та объективная данность, без которой немыслим целостный облик поэта. Более того, христианство Жуковского — это органичная основа и общественной деятельности поэта, и его гражданской позиции.

Жуковский в сознании современников был не только великим поэтом, добрым человеком, но и важным официальным лицом, воспитателем наследника, будущего императора Александра II. Насколько серьезно Жуковский относился к этой своей миссии, можно узнать из его писем, дневников, планов занятий с наследником. Об этом свидетельствуют и современники, друзья поэта: П. А. Вяземский, А. И. Тургенев. Педагогическое начало было вообще сильно в Жуковском: он учил своих племянниц, Машу и Сашу Протасовых, руководил обучением братьев

[20] Еженедельное новое время. 1879. Т. 2, № 19. С. 382.

Киреевских, занимался русским языком с великой княгиней Александрой Федоровной, стал воспитателем наследника и, наконец, с энтузиазмом молодости отдался образованию собственных детей. Он сам называл эту деятельность «педагогической поэмой» и не отделял ее от поэтического труда. Слава «русского Фенелона», «русского Песталоцци» недаром сопровождала его. Из воспоминаний известно, сколько внимания уделял он разного рода таблицам, специальным разработкам по различным предметам.

Близость ко двору сначала пугала его друзей и современников. Эпиграмма А. Бестужева «Из савана оделся он в ливрею...» лишь в резкой форме выразила это беспокойство. Но из мемуаров становится очевидным, что «Жуковский официальный» не только «не постыдит Жуковского-поэта», как точно скажет Вяземский. Он поистине станет полпредом русской культуры, русской литературы при дворе.

В письме к А. И. Тургеневу от 20 ноября 1827 г. он сказал: «Ни моя жизнь, ни мои знания, ни мой талант не стремили меня ни к чему политическому. Но когда же *общее дело* было мне чуждо?»[21] Из воспоминаний современников складывается облик Жуковского — честного человека, чье мнение в вопросах политики и нравственности было так весомо (и не только для его политических единомышленников, но и для тех, кто считал себя его политическим противником), что на него как на высокий авторитет ссылается не кто иной, как политический вождь декабристов С. П. Трубецкой, оценивая устав тайного общества: «Василий Андреевич Жуковский, которому он был впоследствии предложен для чтения, возвращая его, сказал, что устав заключает в себе мысль такую благодетельную и такую высокую, для выполнения которой требуется много добродетели, и что он счастливым бы себя почел, если бы мог убедить себя, что в состоянии выполнить его требования...»[22].

В 1823 г. Жуковский освобождает своих крепостных, в 1826 — 1827-м принимает самое активное участие в судьбе идеолога декабризма Н. И. Тургенева, составляет «Записку о Н. И. Тургеневе» для царя. Во время путешествия с наследником по России в 1837 г. он пишет императору письмо о необходимости амнистии декабристов и, убеждая наследника в необходимости милосердия, с его помощью стремится облегчить участь ссыльных. Жуковский помогает Герцену (чего Николай I не мог простить поэту), Кольцову, Баратынскому, Милькееву, Диеву, позднее способствует освобождению из крепостной неволи великого украинского поэта Т. Г. Шевченко и родственников А. В. Никитенко. Находясь за границей, он делает все возможное для духовной реабилитации декабристов В. К. Кюхельбекера и А. Ф. Бригена, помогая им напечатать свои произведения.

---

[21] Письма В. А. Жуковского к Александру Ивановичу Тургеневу М., 1895. С. 229.
[22] Записки князя С. П. Трубецкого. СПб., 1906. С. 82.

Этим список его благодеяний далеко не исчерпывается. Как справедливо заметил ему Вяземский: «У тебя тройным булатом грудь вооружена, когда нужно идти грудью на приступ для доброго дела»[23].

Вероятно, для полного представления о гражданской позиции Жуковского есть смысл «выслушать и другую сторону». И, несмотря на принципиально иное отношение к этой позиции представителей другой стороны, объективное содержание свидетельства о ней Николая I не расходится со свидетельствами декабристов: «Тебя называют главою партии, защитником всех тех, кто только худ с правительством»[24].

Современники, конечно, не знали о тех «головомойках», которые устраивал Жуковскому Николай I после очередного ходатайства, но в своих воспоминаниях они почувствовали и передали этот бесконечный «подвиг честного человека». Так, Н. И. Тургенев, человек, не разделявший политических убеждений Жуковского, уже в конце 1840-х годов писал ему: «Я всегда почитал вас как нравственно чистейшего человека. <...> Высокая чистота вашего характера должна была найти равновесие в непреклонности, твёрдости вашего убеждения, для меня выгодного и с истиною согласного, одна соответствовала другой»[25]. И, по существу, об этом же говорят в своих записках, письмах многие современники Жуковского.

Бытовавшее долгое время представление о Жуковском-реакционере, монархисте сегодня отвергнуто многочисленными фактами, документальными источниками. Но воспоминания современников, пожалуй, едва ли не самое сильное свидетельство в пользу общественной прогрессивности поэта. Он разделял идеи просвещенной монархии, был истовым христианином, воспитателем наследника, но это не мешало, а помогало ему бороться за достоинство каждой личности. Когда А. И. Тургенев прочитал письмо Жуковского к Бенкендорфу о причинах гибели Пушкина, он заметил в своем дневнике: «Критическое расследование действия жандармства. И он закатал Бенкендорфу...» То же самое можно сказать о письмах Николаю I и Бенкендорфу по поводу запрещения журнала «Европеец», «Записке о Н. И. Тургеневе» и письме об амнистии декабристов.

В воспоминаниях современников нет далеко идущих выводов, но материал для размышлений об общественной позиции Жуковского они, безусловно, дают. Сама идея действенного гуманизма, которую не просто проповедовал Жуковский, а которой он истово служил, определила его место в истории русской общественной мысли.

Итак, совпал ли портрет, рожденный коллективным творчеством современников Жуковского, с его подлинным обликом? Вероятно, все-

[23] Рус. архив. 1900. № 3. С. 3852.
[24] Рус. старина. 1902. № 4. С. 80.
[25] *Ланский Л.* Из эпистолярного наследия декабристов: Письма Н. И. Тургенева к В. А. Жуковскому // Вопр. лит. 1975. № 11. С. 221.

таки нет. Да это и невозможно. Но современники сделали свое дело: в своих воспоминаниях они запечатлели то, что уже впоследствии восстановить невозможно, — непосредственную реакцию на события, взгляд очевидца. Они знали Жуковского, говорили с ним, видели его в поступках, ощущали его влияние. И как смогли — описали это.

И если Пушкин пророчески предсказал, что «его стихов пленительная сладость пройдет веков завистливую даль», то хочется надеяться, что и воспоминания современников о Жуковском донесли до нас сквозь время живой облик великого русского поэта, очень доброго человека, «рыцаря на поле словесности и нравственности».

В. А. ЖУКОВСКИЙ

В ВОСПОМИНАНИЯХ

СОВРЕМЕННИКОВ

К. К. Зейдлиц

ИЗ КНИГИ «ЖИЗНЬ И ПОЭЗИЯ В. А. ЖУКОВСКОГО. ПО НЕИЗДАННЫМ ИСТОЧНИКАМ И ЛИЧНЫМ ВОСПОМИНАНИЯМ»

<...> Биограф Василия Андреевича Жуковского не может начать ни исчислением его знаменитых предков, ни объяснением его герба: лишь впоследствии времени и сам он узнал, кто был его отец, а на перстне у него обыкновенно вырезывались или лучезарный фонарь, или пчелиный улей, или, наконец, турецкая надпись как символ его личности. <...>

Село Мишенское, одно из многих поместий, принадлежавших Афанасию Ивановичу Бунину, находится в Тульской губернии, в 3-х верстах от уездного города Белева. Благодаря живописным окрестностям этого имения и близости его к городу, владелец избрал его постоянным местопребыванием для своего семейства и, по тогдашним обычаям, обстроил и украсил его роскошно. Огромный дом с флигелями, оранжереями, теплицами, прудами, садками, парком и садом придавал особенную прелесть этой усадьбе, а обстановка — дубовая роща, ручеек в долине, виды на отдаленные пышные луга и нивы, на близкое село с церковью — настраивали чувства обывателей к мирному наслаждению красотой природы. Растительность в этой стороне отличается чем-то могучим, сочным, свежим, чего недостает южным черноземным полосам России. Весна, разрешающая природу от суровой зимы, оживляет ее скоро и радует сердце человека. Даже самая осень своими богатыми урожаями хлебов и плодов приносит такие удовольствия, которые не могут быть испытываемы в более северном, холодном климате. Если же мы к этому припомним старинные, до некоторой степени патриархальные, отношения помещиков между собою и с крестьянами, то понятно, что люди, проведшие вместе юность в селе Мишенском, могли еще в глубокой старости восхищаться воспоминаниями о минувшем житье-бытье. <...>

Все семейство имело обыкновение ездить на зиму в Москву с целою толпой лакеев, поваров, домашнею утварью и припасами. Возвращались в деревню обыкновенно по последнему зимнему пути. Но так как Афанасий Иванович определился на какую-то должность в Туле, то он принужден был совсем переселиться, вместе с семейством, в город. <...>

Васенька поступил полным пансионером в учебное заведение Роде, а по субботам привозили его домой. Так как семейство весной опять переезжало в деревню и оставалось там до осени, то легко можно представить себе, что обучение ребенка не имело настоящей связи и последовательности. Зато все внучки Марьи Григорьевны, три дочери Вельяминовых, четыре дочери Юшковых и девочки из соседства составляли детский кружок, в котором среди игр или прогулок по лугам и рощам умственные и душевные способности развивались не хуже, чем в школьных занятиях. Васенька был единственным мальчиком среди этого женского общества; его любили и взрослые, и дети; ему охотно повиновалась вся женская фаланга; рано начало у него разыгрываться воображение для изобретения игр и шалостей. Он даже ставил своих подруг во фронт, заставлял их маршировать и защищать укрепления, а при случае наказывал непокорных линейкой и сажал под арест между креслами. На зиму весь караван тянулся опять в Тулу, и это повторялось еще года два, пока Марья Григорьевна не отдала Васеньку и Анну Петровну для более постоянных занятий науками в Тулу — к Варваре Афанасьевне Юшковой. <...>

В доме Юшковых собирались все обыватели города и окрестностей, имевшие притязание на высшую образованность. Варвара Афанасьевна была женщина по природе очень изящная, с необыкновенным дарованием к музыке. Она устроила у себя литературные вечера, где новейшие произведения школы Карамзина и Дмитриева, тотчас же после появления своего в свет, делались предметом чтений и суждений. Романами русская словесность не могла в то время похвалиться. Потребность в произведениях этого рода удовлетворялась лишь сочинениями французскими. Романсы Нелединского повторялись с восторгом. Музыкальные вечера у Юшковых превратились в концерты; Варвара Афанасьевна занималась даже управлением тульского театра. Тут-то, собственно, литературное настроение и привилось к Жуковскому, а также и к Юшковым, Анне и Авдотье Петровнам. Первая (впоследствии Зонтаг) сделалась известна изложением Священной истории и рассказами для детей; последняя (позже Елагина) под именем Петерсон напечатала несколько переводных статей в журналах. Василий Андреевич еще на 12-м году от рождения отважился на составление и постановку первой своей трагедии. <...> Анна Петровна на 70-м году жизни с восхищением рассказывала о всех подробностях приготовлений к спектаклю и о самом представлении[1]. Общий восторг так польстил Жуковскому, что он немедленно принялся за новую пьесу: «Павел и Виргиния». Но ожидавшееся трогательное впечатление на зрителей не сбылось, артисты не поняли своих ролей, и вторая трагедия молодого сочинителя потерпела fiasco! Не знающему отличительных черт поэтического гения в Жуковском может показаться, что эти ранние литературные его попытки служили предзнаменованием отличного драматического дарования. Так

было с Гете и Шиллером. Но так бывает не всегда. Жуковский на всю жизнь остался ревностнейшим любителем сценических произведений, превосходно перевел Шиллерову «Орлеанскую деву», но ни самостоятельной комедии, ни трагедии после него не осталось[2]. Ему недоставало того наблюдательного взгляда, которым драматический автор, проникая в глубину человеческого сердца, обнимает житейские дела. Первая литературная неудача подействовала на Жуковского решительно. Он сохранял долго после того какую-то робость и не спешил предавать свои сочинения гласности, представляя их наперед на строгое обсуждение избранному кругу своих подруг и друзей. Нежная критика самого содержания его произведений и природное чутье изящной формы со стороны девственного ареопага, который окружал поэта, направили его на путь целомудренной и задумчивой лирики, и впоследствии благородство и образованность сотрудников его на литературном поприще не допустили его до нерадения относительно правил нравственных и эстетических. Сочинения, не получившие одобрения от его приятелей или даже приятельниц, были изменяемы или устраняемы вовсе. Вот почему муза Жуковского являлась нам всегда облеченною в идеальную красоту, а его требования относительно личной непорочности поэта сделались весьма строгими.

Недаром Пушкин, в недавно найденных строфах «Евгения Онегина», вспоминая о Жуковском и о его влиянии на него, так определил характер певца «Светланы»:

И ты, глубоко вдохновенный,
Всего прекрасного певец,
Ты, идол девственных сердец,
Не ты ль, пристрастьем увлеченный,
Не ты ль мне руку подавал
И к славе чистой призывал[3] <...>

Родные хотели определить Василия Андреевича в какой-нибудь полк. Один знакомый, майор Дмитрий Гаврилович Постников, вызвался записать его в рязанский полк, стоявший гарнизоном в городе Кексгольме. Постников даже уехал туда с мальчиком; но, прожив несколько недель в Кексгольме и проездив месяца четыре, майор возвратился в Тулу отставным подполковником, не записав Жуковского, но только остригши ему его прекрасные длинные волосы, о которых Варвара Афанасьевна и все девицы в доме очень жалели.

После того Жуковский оставался еще несколько времени дома, но в январе 1797 года Мария Григорьевна поехала с ним в Москву и поместила его в Университетский благородный пансион.

Для Жуковского наступала теперь пора выступить из женского, хотя и родного, круга. В Москве началась для него новая жизнь среди юношей, сверстников, одаренных наилучшими качествами ума и сердца. <...>

Это заведение соответствовало как нельзя лучше познаниям, наклонностям и дарованиям Жуковского. Оттуда вышло много весьма замечательных людей, и довольно упомянуть имена одних товарищей Жуковского, учившихся в его время в пансионе, чтобы признать плоды херасковского учреждения превосходными и богатыми. Товарищами Жуковского были: братья Александр и Андрей Тургеневы, Дм. Н. Блудов, Дм. В. Дашков, С. С. Уваров[4]. <...>

Скромная литературная деятельность была тогда единственным развлечением. Так как ввоз иностранных книг был строго запрещен, то старались удовлетворять настоятельной потребности в этом смысле либо контрабандой, либо переводами на русский язык. Сам Карамзин, в последние годы царствования Екатерины II давший новое движение литературе своими оригинальными произведениями в сентиментальном вкусе, в царствование Павла I должен был ограничиться переводами — в том же, однако, сентиментальном направлении. Мы видели, как Жуковский еще ребенком в доме Варвары Афанасьевны Юшковой совершенно бессознательно увлекался таким литературным стремлением современной эпохи. С переселением в Москву, и особенно поступив в Университетский пансион, он попал в самую среду деятелей этой школы. Юшковы и Бунины были дружны с семейством директора заведения, Ивана Петровича Тургенева, внимание которого обратил на себя Жуковский прилежанием и даровитостью. Лично он здесь познакомился с теми людьми, которых прежде чтил только понаслышке. Сыновья Тургенева, Андрей и Александр Ивановичи, вместе с другими тогда еще бодрыми и веселыми товарищами, выше нами упомянутыми, внушали ему чувство горячей привязанности. За идиллическою жизнью в селе Мишенском последовали те близкие дружеские связи, которые так могущественно влияют на развитие душевных сил. <...>

Прежде Жуковский посылал свои стихи в мелкие журналы, а переводы в прозе без подписи имени предоставлял на волю издателям. Теперь он вознамерился предпринять что-нибудь для славившегося в то время журнала Карамзина — «Вестник Европы». Он перевел элегию Грея «Сельское кладбище»[5]. Все мишенское общество молодых девушек с биением сердца ожидало, примет ли Карамзин это стихотворение или нет для напечатания в журнале. Элегия была писана на их глазах; холм, на котором Жуковский черпал свои вдохновения, сделался для них Парнасом; стихи вызвали их безусловное одобрение; недоста́вало одного — выгодного отзыва Карамзина, этого «Зевса на литературном Олимпе», и этот верховный судья на Парнасе похвалил стихотворение и напечатал его в VI книге своего журнала с полным означением имени Жуковского, переменив окончание *ой* на *ий*; с тех пор и сам Жуковской стал подписываться Жуковский. Очень понятно, что эта удача произвела глубокое впечатление не только на весь мишенский круг, но и на

самого поэта. Прежние его произведения как будто перестали существовать для него. <...>

Если юношеский перевод Греевой элегии свидетельствует об удивительной способности Жуковского проникаться поэтическою мыслью другого до такой степени, что она производит на нас впечатление подлинника, — то для биографа эта элегия есть психологический документ, определяющий душевное состояние поэта. Выше мы удивлялись, почему молодой человек, окруженный товарищами и друзьями, истинно его любящими и уважающими, черпает свои вдохновения на кладбищах. Ныне, возвратясь в Мишенское, полное прекрасных воспоминаний его детства, он снова выбирает кладбище любимым местом своей музы. Почему это? Правда, в начале нашего столетия известное сентиментальное настроение духа господствовало в нашем обществе; эта наклонность «юных и чувствительных сердец» к мечтательности могла настроить элегически и нашего друга; но, кроме того, у него могли быть и личные причины: положение его в свете и отношения к семейству Буниных тяжело ложились на его душу. С обеими старшими дочерьми А. И. Бунина он был не так близок, как с Варварой Афанасьевной. Марья Григорьевна любила его, как собственного сына, а девицам Юшковым и Вельяминовым он был самый дорогой брат. Но родная его мать — как она ни была любима своею госпожой — все же должна была стоя выслушивать приказания господ и не могла почитать себя равноправною с прочими членами семейства. Вот обстоятельства, которые не могли не наводить меланхолии на поэта, и он искал себе утешения в поэзии. Когда он приобрел в свете то положение, символом которого он мог избрать на своем перстне лучезарный фонарь[6], тогда и лира его настроилась веселее. <...>

Видя расстроенные дела Екатерины Афанасьевны, Жуковский вызвался давать уроки ее дочерям и обучать их наукам, которые были ему известны, и тем, какие он еще намеревался сам изучить. Дело не обошлось без составления обширного педагогического плана[7]. Преподавание Жуковского, естественно, приняло поэтический характер; оно отличалось тем же и впоследствии, когда он стал наставником при дворе; таково уже было его общее направление. Обучая других, он действительно сам учился и расширял круг своих познаний. Всякий день он отправлялся пешком из Мишенского в Белев давать уроки или читать вместе со своими ученицами лучшие сочинения на русском и иностранных языках; девицы Протасовы более всего и с бóльшим успехом занимались немецким и французским. Потом живопись, словесность, история искусства обогащали их вкус и познания. <...>

Это преподавание продолжалось около трех лет, и что оно было небезуспешно, доказательством тому служат сами ученицы Жуковского, которые впоследствии вступили в такой круг общества, где требования относительно образованности были велики. Я имел счастие знать

их обеих в цвете их жизни. Хотя в течение многолетней врачебной практики я видел многих прелестных и отлично образованных женщин в разных кругах общества, но образы Марии и Александры Андреевен, преждевременно оставивших свет и друзей своих, живы в моей памяти до старости. Вполне понимаю, как Жуковский всею душой привязался к этим существам, из которых, казалось, он ни той, ни другой не давал преимущества. Отношение его к ним было чисто братское; они употребляли между собою простодушное «ты», тогда как матери их он оказывал сыновнее почтение. <...>

Несмотря на полезную и приятную деятельность в Белеве и Мишенском, где Жуковский окружен был родными, вполне уважавшими его труды в кругу семейном и на поприще литературном, он чувствовал, однако, что-то грустное в своем житейском положении; его душа не была удовлетворена. <...>

И вот Жуковский решился принять более деятельное участие в развитии русской словесности, действовать на читателей не только произведениями вдохновения, но возвысить дух публики к познанию истины, которая, по словам его задушевного друга Карамзина, «одна служит основою счастия и просвещения». Он принял на себя редакцию «Вестника Европы»[8]. Переселившись в 1808 году в Москву, он вступил в среду практической жизни и срочной работы, и здесь на время умолкают его жалобные песни. На прощание с своими ученицами он написал к 15-й годовщине дня рождения старшей из них, Марии Андреевны, аллегорическую повесть «Три сестры, видение Минваны»[9]. <...>

В этом подарке ко дню рождения виднеется заря восходящего солнца любви, которое освещало подчас счастливые дни нашего друга. Гении Прошедшего, Настоящего и Будущего, введенные в область его поэтического мира, встречаются с тех пор часто в его стихотворениях. Он намекает на *счастие*, не обозначая его точнее. Но мы находим тому объяснение в статье, которую в то же время он написал и напечатал в «Вестнике Европы» под заглавием «Кто истинно добрый и счастливый человек?». Жуковский прямо отвечает: «Один тот, кто способен наслаждаться семейственною жизнию!» В этом признании хранится ключ к объяснению многих событий в жизни Жуковского. <...>

Мой друг, хранитель-ангел мой,
О ты, с которой нет сравненья.
Люблю тебя, дышу тобой;
Но где для страсти выраженья? < ..>

1-е апреля был день ангела Марьи Андреевны Протасовой, той *Минваны*, с которою, в ее 15-й день рождения, Жуковский простился, посвятив ей аллегорическую повесть «Три сестры». Солнце нежной любви восходило на небосклоне поэта! <...>

Этому возврату к музам мы обязаны целым рядом стихотворений, в которых Жуковский является решительным приверженцем немецкой романтической школы, отцом которой на Руси он иногда и называл себя. Однако же мечтательность, чувствительность, меланхолия, встречаемые в его стихах, не были в нем следствием подражания, но составляют выражение собственного его настроения и следствие обстоятельств. Этот характер лиризма образовался у Жуковского уже с юношества. Умственная возвышенность, нравственная красота, идеальное благородство в сочинениях Шиллера привлекали Жуковского, и он искренне полюбил этого поэта. В стихотворениях Гете он восхищался умением автора в жизни и предметах материальных найти поэтические жемчужины и вставить их в великолепную оправу. С Шиллером он, наверное, подружился бы на всю жизнь, если б имел возможность с ним познакомиться. В Гете он не мог надивиться его строгой красоте, подобно тому как удивляешься красоте мраморной античной статуи. <...>

Между тем Екатерина Афанасьевна Протасова задумала строить в своей деревне, Муратове, жилой дом.

Жуковский сделал план этому строению и взял на себя заведование работами. Для этого он купил маленькую, смежную с Муратовом, деревню за доставшиеся ему от Буниных 10 000 р. и переселился теперь в свой собственный Тускулум[10], где часто навещали его подруги детства, девицы Юшковы и Протасовы. Завелись у него и новые знакомства с соседями Орловской губернии; таким образом, около Жуковского вскоре составилось общество[11], отличавшееся образованностью и веселым характером. Верстах в 40 от Муратова жила в деревне Черни фамилия Плещеевых. Владелец Черни, А. А. Плещеев, был настоящий образец русского помещика начала XIX столетия. Страстный любитель музыки, игравший на виолончели, он перелагал на ноты романсы, которые отлично пела сама Анна Ивановна Плещеева. На домашнем его театре представлялись комедии и оперы, им самим сочиненные и положенные на музыку. <...>

Конечно, и Василий Андреевич участвовал в этих художественных увеселениях; словом, здесь, в глуши России, в Орловской губернии, осуществилось то, что Гете в то самое время представлял в известном своем романе «Wilhelm Meister»* и что он видел при изящном и просвещенном дворе в Веймаре.

У Жуковского, мать которого умерла в одно почти время с Марьей Григорьевной Буниной[12], грустное настроение сменилось веселою бодростью и любовью к жизни. Ученицы его, Марья и Александра Андреевны Протасовы, достигли 17- и 15-летнего возраста. Они выросли под строгим надзором вместе с ними образовавшей себя матери «на лоне дремлющей природы» и могли, при необыкновенной своей восприимчивости

* «Вильгельм Мейстер» (*нем.*).

к научным и изящным впечатлениям, свободно развивать свои дарования. Кто станет удивляться, что у Жуковского то самое расположение, зарю которого мы уже заметили как предвестницу восходящего солнца любви, потребовало непременно какого-нибудь обнаружения или проявления? Тогда только возникла у него мысль о женитьбе на Марье Андреевне Протасовой. Но долго он хранил в глубине души это желание, ни с кем не говорил об этом ни слова и чувства свои передавал только в стихах и посланиях к друзьям:

Есть *одна* во всей вселенной —
 К *ней* душа и мысль об *ней*;
К *ней* стремлю, забывшись, руки —
 Милый призрак прочь летит.
Кто ж мои услышит муки,
 Жажду сердца утолит!

Не много людей осталось в живых из тех, кто знал лично предмет этой *жалобы*; но пусть незнавшие угадывают из следующих стихов, что это было за создание, которое заполнило душу Жуковского святынею смиренной любви. Он пишет Батюшкову:

И что, мой друг, сравнится
С невинною красой?
При ней цветем душой! <...>

В этих словах, в которых не знающие обстоятельств видели одну неопределенную мечту, одну сентиментальную романтику, таится прекрасная действительность, истинный образ того лица, которому поэт в то время посвятил следующую песню, найденную в портфеле Марьи Андреевны[13] после ее смерти:

К НЕЙ

 Имя где для тебя?
Не сильно смертных искусство
Выразить прелесть твою!
 Лиры нет для тебя!
Что песни? Отзыв неверный
Поздней молвы об тебе!
 Если б сердце могло быть
Им слышно, каждое чувство
Было бы гимном тебе!
 Прелесть жизни твоей,
Сей образ чистый, священный,
В сердце, как тайну, ношу.
 Я могу лишь любить,

Сказать же, как ты любима,
Может лишь вечность одна!

Настал роковой 1812 год. Везде в России чувствовали приближение предстоявшей политической бури. Общие несчастия скорее сближают людей и теснее соединяют друзей между собою. Так и Жуковский решился наконец открыть свою любовь и свои намерения жениться на Марье Андреевне: он решился переговорить с матерью и просить руки Маши, решился выполнить, что считал необходимым для счастия человека и писателя, — связать себя тесными семейными узами; заветные мечты поэта близились, таким образом, к осуществлению. Но Екатерина Афанасьевна не только решительно отказала ему, но и запретила говорить об этом с кем бы то ни было, а всего менее с дочерьми ее. Она объявила, что по родству эта женитьба невозможна. Напрасно Василий Андреевич доказывал ей, что законного препятствия не существует, что по церковным книгам он ей не брат и даже не родственник. Но она, опираясь на уставы церкви, не согласилась заведомо нарушить их. Жуковский покорился приговору сведенной сестры — и замолчал.

После этой сердечной катастрофы, расстроившей судьбу его, замолкают и радостные его песни; с упованием на будущее, на «очарованное *Там*», он сочиняет стихи, которые отмечает, неизвестно почему, годом позже в своих изданиях. Об одной песне мы наверное знаем, что она была сочинена уже в 1812 году: это было стихотворение «Пловец». В Россию уже вторглись несметные полки французов, но в Орловской губернии, в доме Плещеева, соседи еще собирались праздновать день рождения хозяина, 3-го августа. Были приготовлены концерт и представление на театре. Все муратовские дамы, конечно, тоже были приглашены. Жуковский пел вышеупомянутую песню, положенную на музыку самим Плещеевым:

Вихрем бедствия гонимый,
Без кормила и весла,
В океан неисходимый
Буря челн мой занесла.
В тучах звездочка светилась;
Не скрывайся! — я взывал.
Непреклонная сокрылась,
Якорь был — и тот пропал.

Без надежды на спасение пловец унывает душой и начинает роптать. Но мощный ангел-хранитель ведет его сквозь ревущие валы и грозящие скалы; вдруг на берегу он видит трех ангелов Небес:

О, кто прелесть их опишет,
Кто — их силу над душой?

Все окрест их небом дышит
И невинностью святой

Поэт разумеет здесь, конечно, трех ангелов: Веру, Надежду и Любовь, и продолжает:

Неиспытанная радость
Ими жить, для них дышать,
Их речей, их взоров сладость
В душу, в сердце принимать!
О, судьба, одно желанье:
Дай все блага им вкусить!
Пусть им радость — мне страданье,
Но — не дай их пережить!

С намерением или без намерения был выставлен этот странный переворот в идеях — не знаем; но он показался Екатерине Афанасьевне непозволительным нарушением ее приказаний — ни с кем не говорить о своей привязанности к ее дочери; она была очень огорчена и принудила Жуковского на следующий день оставить Муратово. Вероятно, еще вслед за обнародованием манифеста о составлении военных сил (в июле 1812 года) он возымел намерение уехать в Москву и вступить в военную службу; но, во всяком случае, была и частная причина его внезапного отъезда из Муратова. После отъезда Жуковского Екатерина Афанасьевна сама объявила племянницам, девицам Юшковым, о любви его и о ее отказе. Они все горячо вооружились против матери, приняли сторону Василия Андреевича и рассказали о всем Плещеевым, а те уже сообщили все самой Марье Андреевне.

12-го августа 1812 года Жуковский поступил в московское ополчение в чине поручика. Вместе с сформированным наскоро Мамоновским полком он 26-го августа, в день Бородинской битвы, находился позади главной армии, в двух верстах за гренадерскою дивизией.

<...> На этом переходе узнал Жуковского товарищ его со времен Университетского пансиона, Андрей Сергеевич Кайсаров, директор полковой типографии в главной квартире. Он через брата своего, полковника Паисия Сергеевича Кайсарова, отрекомендовал Жуковского фельдмаршалу Кутузову для лучшего употребления таланта поэта в канцелярии, нежели во фронтовой службе. Итак, находясь постоянно при дежурстве главнокомандующего армиями, Жуковский, как Тиртей, сопровождал русское войско и только сочинял бюллетени о тех девяти сражениях, в которых он будто бы участвовал, по словам какого-то биографа[14]. <...>

Кутузов воздерживался от напрасного кровопролития. Неприятель и так терял каждодневно сотни людей, бросал орудия, снаряды, подводы, нагруженные кладью. Эти, хотя и легко добываемые, *трофеи* возвыша-

ли дух армии и народа. Всякому становилось ясным, что неприятель должен был совершенно погибнуть от изнурения и терпимых недостатков. Наша армия, напротив, сохраняемая мудрыми распоряжениями полководца, бодрствовала. В лагере под Тарутином было изобилие всех припасов и маркитантов. Всеобщее убеждение, что скоро настанет конец бедствиям отечества, укрепляло дух низших и высших чинов.

Таково было нравственное следствие отступления Кутузова, поэтическим памятником которого была «Песнь во стане русских воинов». Она и в этом значении важна для потомства. Мы слышим в ней не только мысли и вдохновение поэта, но и отголосок ожиданий, понятий и надежд русской армии и народного ополчения. Поэт выразил их вдохновенными словами. Смотря с этой точки зрения на «Песнь во стане русских воинов», мы понимаем энтузиазм, с которым она была принята всеми сословиями русского народа, от простого ополчанина до царского семейства. Императрица Мария Федоровна, прочитав это стихотворение, поднесенное ей И. И. Дмитриевым, приказала просить автора, чтоб он доставил ей экземпляр стихов, собственною рукой его переписанный, и приглашала его в Петербург. <...>

Жуковскому не суждено было сопровождать победоносную нашу армию до границ отечества; после сражения под Красным едва кончил он свое послание «Вождю победителей», как заболел (в ноябре) горячкой, которую перенес благодаря одной силе своей натуры. Уже в декабре он отправился из Красного на родину для окончательного поправления и прибыл туда 6-го января 1813 года[15].

Здесь, кроме любви подруг его детства, многое уже изменилось. Друга своего В. И. Киреевского поэт уже не застал в живых, а вдова его, Авдотья Петровна, вполне предалась отчаянию. Жуковский, сам глубоко огорченный не только потерею друга, но и душевными страданиями вдовы, устно и письменно старался успокоить ее и возвратить к деятельности. Марья Андреевна Протасова видимо слабела от неопределенной грудной болезни. Так как сестры или Плещеевы открыли ей любовь и намерение Жуковского, отвергнутые матерью, а он все не объяснялся с нею, то взаимные отношения между ними сделались какими-то неловкими. Он хотел заниматься, как в прежние времена, «но без душевного спокойствия нельзя трудиться», писал он к Авдотье Петровне. Словом, он не видел исхода из горестного своего положения. Быть может, никто о том не догадывался; но в дневнике своем, когда он в тишине ночи давал простор своим мечтам, мы видим его душевную скорбь и сочувствуем ей. <...>

Но все-таки весь 1813 год прошел в смене порывов надежды и отчаяния. Тут он через Анну Ивановну Плещееву в первый раз объяснился с Марьей Андреевной. Мать, узнав об их объяснении, сильно разгневалась, и в семействе последовали горькие сцены.

В конце 1813 года новое лицо явилось в кругу обитателей Муратова и Черни. Это был Александр Федорович Воейков. Жуковский знал

его как сочинителя остроумных критик и сатирических стихов, которые печатались в разных журналах, в том числе и в «Вестнике Европы». Воейков имел некоторую литературную известность, и публика благосклонно принимала его колкие сочинения. Приехав в Муратово и поселившись на короткое время у Жуковского, он отрекомендовался также в семействах Протасовой, Плещеевых и др. Благодаря своей любезности, ловкости и остроумию, он, хотя не имел никакой наружной привлекательности, вскоре освоился в скромном кружке, нам уже знакомом. Он умел выставить себя на первый план, занимательно рассказывая о своих путешествиях на Кавказе и в других местностях России, так что Жуковский, изображая эти рассказы еще более светлыми красками, составил длинное свое «Послание к Воейкову», в котором наш поэт говорит:

Ты был под знаменами славы. <...>

Добродушный Жуковский, который умел замечать только хорошие свойства в характере своих знакомых, не мог, однако же, в самом начале своего послания не проронить следующих слов, как бы невольно руководимый нравственным чутьем:

Добро пожаловать, певец,
Товарищ-друг, *хотя и льстец*,
В смиренную обитель брата. <...>

От Воейкова не могли ускользнуть отношения Жуковского к Марье Андреевне, и он, будто принимая дружеское участие в них, написал тайком в его дневнике несколько стихов, касающихся этих отношений. Жуковский, вместо того чтобы дать строгий выговор лазутчику чужих книг, написал:

Да кто, скажи мне, научил
Тебя предречь осьмью стихами
В сей книге с белыми листами
Весь сокровенный жребий мой?

Он даже обещал подарить ему этот дневник, когда тетрадь будет написана. Но это обещание осталось неисполненным, ибо спустя несколько месяцев, когда Воейков попросил руки Александры Андреевны Протасовой и вопреки всем предостережениям стал всемогущим у Екатерины Афанасьевны, то он с надменностию начал преследовать своего гостеприимного хозяина[16]. Жуковский удалился на время в Чернь к друзьям своим, Плещеевым. Ободренный советами Лопухина и письменными отзывами знатных духовных лиц из С.-Петербурга и Москвы, он поехал в апреле с Плещеевым в Муратово, чтобы попытать еще раз счастья у Екатерины Афанасьевны, которую некоторые знакомые взя-

лись расположить в его пользу. Но она сдаться на представления не могла и осталась при своих взглядах внешнего формализма, а ходатаи изменили Жуковскому.

«С полною доверенностью, — пишет он 16-го апреля 1814 года к Авдотье Петровне, — я сунулся было просить дружбы там, где было одно притворство, и меня встретило предательство со всем своим отвратительным безобразием».

На дороге, ночуя у одной родственницы, он узнал, что Воейков посватался за Александру Андреевну, что свадьба уже назначена на 2-е июля и что после свадьбы все едут в Дерпт.

«Я поглядел на своего спутника, больную, одержимую подагрой *надежду*, которая скрепя сердце тащится за мною на костылях и часто отстает. „Что скажешь, товарищ?“ — „Что сказать — нам не долго таскаться вместе по белому свету. После второго июля, что бы ни было, мы расстаемся“». <...>

Оставаться долее в Муратове было нестерпимо. И когда Воейков 30-го августа, в день своих именин, которые праздновались в Муратове, позволил себе презрительно обращаться с Жуковским и не был унят Екатериной Афанасьевной, то наш друг решился совсем покинуть свое местопребывание в соседстве с Муратовом и поселиться в Долбине, у искреннейших друзей его и Марии Андреевны — у Анны и Авдотьи Петровны. Здесь он начал жить, как в добровольном изгнании, со всеми пенатами своего потерянного рая, и сочинил целый ряд прекраснейших баллад, посланий и других стихотворений, которые он сам и его подруги назвали «Долбинскими стихотворениями»[17]. Тетрадь их, напечатанная в «Русском архиве» за 1864 год, содержит в себе только, так сказать, домашние стишки, и то не все, для печати они назначены не были, но из них видно, какой целительный бальзам для сердечной раны Жуковского сумели составить долбинские жительницы и как нежная их дружба сохранила для русской словесности нашего лучшего лирического поэта, и притом поэта, исполненного благороднейшим патриотизмом, в высшем смысле этого слова.

Итак, простясь с надеждою, которую Жуковский, однако, не переставал лелеять в сердце, он мало-помалу начал приноравливаться к обстоятельствам и к окружающим его людям. Шуточная и серьезная переписка в стихах, равно как возвышенные творения и переводы долбинские, содержат в себе богатый материал для биографа, а в изложенных нами событиях заключается их лучший комментарий. <...>

Выбор стихов для перевода в точности соответствует настроению духа Жуковского. Таковы, например, «Путешественник» Шиллера и «Алина и Альсим» Монкрифа.

Свадьбу Александры Андреевны, назначенную в июле месяце, пришлось отложить, потому что на приготовление приданого недоставало самого существенного — денег. И вот Жуковский продал свою деревню

возле Муратова одному соседу и все деньги, 11 000 рублей ассигнациями, отдал в приданое своей племяннице и еще с восторгом благодарил Екатерину Афанасьевну за принятие этого подарка. <...>

К 25-му декабря 1814 года было назначено праздновать воспоминание избавления церкви и державы Российской от нашествия галлов и с ними двадесяти языков. Жуковский начал писать для этого праздника и кончил в Дерпте стихи «Певец в Кремле». В них представлен певец русских воинов, возвратившийся на родину и поющий песнь освобождения в Кремле, среди граждан московских, ввиду жертвы, принесенной за отечество, и в тот самый день, когда торжествующая Россия преклоняет с благодарностью колени пред Промыслом, спасшим через нее все народы Европы и все блага свободы и просвещения.

Как ни благозвучны стихи «Певца в Кремле» и как ни разнообразны соответствующие обстоятельствам мысли и картины, но, читая эти стихи, чувствуешь в них что-то искусственное и некоторый недостаток сердечной искренности. Песнь певца в Кремле течет медленно, как широкий поток лавы, который светится пурпурным блеском лишь впотьмах. И немудрено! Жуковский начал свою кремлевскую песнь в Болхове:

«Но здесь не Долбино, — пишет он к Авдотье Петровне, — не низкий уголок, где есть бюро и над бюром милый ангел, не сижу и в долбинском доме подле ваших детей, возле моей шифоньеры, где лежат Машины волосы, глядя на четверолиственник, вырезанный на вашей печати».

Он написал всю песнь отрывками то в Черни, то в Москве и кончил ее в Дерпте в 1816 году, а напечатал отдельным изданием уже в С.-Петербурге в том же году. Последняя строфа, которая должна была бы греметь как раскат грома, похожа на лирическую мечту, напоминающую *тоску по милой*. <...>

Так он уехал и останавливался в Москве у Карамзина. Через несколько времени Протасовы на пути в Дерпт приехали тоже в Москву — проститься с родными. Насилу, с помощью друзей, Жуковский мог получить позволение провожать их в Дерпт, дабы помочь им устроиться на новом их местопребывании. Вероятно, отъезд его из Дерпта в Петербург несколько замедлился, может быть, в той надежде, что ему можно было бы остаться в Дерпте. Но Екатерина Афанасьевна настояла на своем и требовала, чтобы Жуковский поскорее уехал.

Мы не можем кончить первый отдел нашего очерка, не включив в него выдержки из замечательного письма Жуковского к Марии Андреевне, оно есть живой образец благородства и возвышенности мыслей их обоих: говорю: «обоих», потому что с этой поры начинается личное мое с ними знакомство. <...>[18]

С переселением семейства Протасовых в Дерпт родина опустела для Жуковского, хотя там и оставалось у него много друзей и много прекрасных воспоминаний прошедшего. <...>

В январе 1816 года важные события в семействе Протасовых (о которых мы будем говорить впоследствии) требовали присутствия его в Дерпте. С тех пор, за вычетом нескольких недель, он почти два года безвыездно провел в Дерпте. В течение этих трех лет Жуковский вел странную, двойную жизнь, имевшую замечательное влияние на развитие умственных его склонностей. В Дерпте общество и университет отдавали ему полную справедливость как образованному человеку и как знаменитому русскому поэту; университет поднес ему диплом почетного члена. В Петербурге, напротив того, литераторы старого века нападали на него и задевали довольно пошлыми выходками даже на театре. В Дерпте близкие родные показывали ему некоторую холодность и недоверчивость, а в Петербурге посторонние люди, даже при дворе, ласкали и уважали его. В Дерпте он погружался в изучение немецкого языка и словесности, тогда как в Петербурге ратоборствовал в рядах молодых писателей на пользу русского слова.

В 1815 году, когда Жуковский прибыл в Дерпт, тамошний университет переживал только тринадцатый год своего существования. Заведение было юно и имело все добрые и худые качества, свойственные первой эпохе развития университета. Скудость и несовершенство материальных и научных средств заменялись некоторым образом свежею образовательною силой, которая из невыделанного сока производит зародыши, одаренные иногда большею способностью дальнейшего развития, чем в более позднее время. С глубокою благодарностью именно бедные классы жителей балтийских губерний приняли монаршую милость — основание университета в здешнем краю. Отныне и для бедных людей оказалась возможность образовывать своих детей в высшем учебном заведении, что прежде было доступно только для людей богатых, которые могли посылать своих детей за границу. Наука сразу прочно принялась в молодом учреждении. Только один раз в год праздновался общий студентский коммерш, один раз только во время вакаций студенты разъезжались по домам. Обхождение между профессорами, студентами и жителями города было свободное; не знали никаких формальностей, ни науки о визитах и глазетовых перчатках; жили с убеждением, что в маленьком городе, в будущем рассаднике образованности, старый и малый должны действовать к достижению одной образовательной цели. Это настроение общества было по сердцу Жуковскому. Воспоминания о жизни в Москве ожили в нем; он познакомился с профессорами и некоторыми дворянскими семействами. Люди, кончившие курс в Дерптском университете, составляли приятные семейные кружки. Жуковский с благодарностью вспоминал всегда о приятных часах, проведенных им в домах Мантейфеля, Левенштерна, Брюнинга, Нолькена, Липгардта, Штакельберга, Лилиенфельда, Крюднера. Научные сношения имел он с профессорами физики Парротом, археологии и эстетики Моргенштерном, истории Эверсом-младшим, философии Эшем, с библиотекарем К. Пе-

терсоном, с основателем училища по системе Песталоцци Асмусом и с литератором фон дер Боргом, который переводил лучшие русские стихотворения на немецкий язык. В мастерской профессора живописи Зенфа Жуковский занимался искусством гравирования на меди[19], с любителями музыки он устраивал у Екатерины Афанасьевны музыкальные вечера. Сношения с этими людьми не кончились с трехлетним пребыванием Жуковского в Дерпте, но продолжались и впоследствии, когда он снова возвратился в Дерпт из Петербурга. Паррот, уроженец Эльзаса и товарищ Кювье, владевший в совершенстве французским языком, из бесед своих с Протасовыми о физике составил тогда план своего сочинения «Entretiens sur la physique»*, напечатанного в шести томах[20]. Профессор Моргенштерн охотно беседовал с Жуковским о немецкой словесности, думая руководить русского стихотворца в понимании ее красот, и был ему весьма полезен в отношении немецкой библиографии. Кроме того, на вечерних собраниях, на которых Петерсон, прозванный «толстым», и Асмус превосходно читали новейшие произведения немецкой словесности и часто забавляли своих слушателей собственными стихотворными произведениями, например едкою сатирическою комедией (Петерсона) «Принцесса со свиным рылом», — Жуковский укреплялся в знании немецкого языка и литературы. В большом ходу были в ту пору творения Жан-Поля, Гофмана, Тика, Уланда и др., с которыми Жуковский здесь впервые познакомился. В то время, о котором мы говорим, Дерпт еще пользовался возможностью слушать всех артистов, которые на пути из чужих краев в Петербург останавливались здесь и давали концерты. Вкус и таланты, под влиянием этих обстоятельств, могли счастливо развиваться. Были здесь артисты не хуже иностранных и между любителями. Как некогда у Плещеева в Черни, Жуковский и в Дерпте наслаждался музыкою своих стихов, положенных на ноты Вейраухом[21]. Кроме того, поэт посещал некоторые из университетских лекций, например Эверса-младшего, известного автора «Истории древнего русского права». Эверс стоял за гипотезу хазарского происхождения Руси. Его умные замечания и обширные сведения были вообще привлекательны и полезны для Жуковского, который сам занимался всеобщею и русскою историей. В это же время жил в Дерпте, у своего тестя Левенштерна, баварский граф Л. де Брэ (L. de Bray), написавший этюд «Essai critique sur l'histoire de la Livonie»**, посвященный императору Александру I (Dorpat. 1817, 3 части)[22]. Жуковский, переводивший ему некоторые страницы из истории Карамзина, с большим интересом изучал притом и историю балтийских провинций. Из лекций профессора Эшэ, прямого ученика Канта, автора книги «Der Pantheismus»***, Жуковский вынес мало пользы, потому

* «Беседы о физике» (*фр.*).

** «Критический очерк истории Ливонии» (*фр.*).

*** «Пантеизм» (*нем.*).

что отвлеченные философские вопросы, сами по себе темные, еще более были затемнены изложением, не вполне доступным для поэта[23].

Несмотря, однако, на свои ученые и художественные занятия, Жуковский охотно входил в знакомство со студентами и не отказался от посещения торжественного фукс-коммерша, на который он был приглашен вместе с профессорами как почетный гость. Это было 14-го августа 1815 года. Студенты, по принятому обычаю, почтили поэта тостом, и он также отдал долг этому обычаю. Но когда почтеннейший ветеран между профессорами, 80-летний Эверс, профессор богословия, вздумал с ним пить *братство*, «то я, — пишет Жуковский к Авдотье Петровне Елагиной из Петербурга 18-го сентября 1815 года, — был тронут до глубины души и от всей души поцеловал братскую руку. На другой день после студентского праздника отправился я с Воейковым, с Сашей и Машей в коляске за город. Солнце заходило самым прекрасным образом, и я вспомнил об Эверсе и о завещании Эверса. Я часто любовался этим стариком, который всякий вечер ходил на гору смотреть на захождение солнца. Заходящее солнце в присутствии старца, которого жизнь была *святая*, есть что-то величественное, есть самое лучшее зрелище на свете. Мой добрый *шептун* принял образ добродетельного старика и утешил меня в этом виде. Я написал стихи „К старцу Эверсу“, которые вскоре пришлю и вам. Они должны быть дерптские повторения моего „Теона и Эсхина“. В обоих много для меня *добра*».

Этими словами объясняется происхождение послания «К старцу Эверсу»[24] и то, почему во второй половине этого стихотворения Жуковский говорит:

Я зрел вчера: сходя на край небес,
Как Божество, нас солнце покидало — и пр.

Кому неизвестны обстоятельства и невеселое настроение духа Жуковского, тот не поймет, отчего он мог сказать:

Вступая в круг счастливцев молодых,
Я мыслил там — на миг товарищ их —
С веселыми весельем поделиться
И юношей блаженством насладиться.
Но в сем кругу меня мой гений ждал:
Там Эверс мне на братство руку дал...
Благодарю, хранитель-Провиденье!
Могу ль забыть священное мгновенье,
Когда, мой брат, к руке твоей святой
Я прикоснуть дерзнул уста с лобзаньем,
Когда стоял ты, старец, предо мной
С отеческим мне счастия желаньем!..

Немудрено, что мы, свидетели этой трогательной встречи знаменитого русского поэта с почтенным дерптским профессором, с восторгом пожали руки нашему дерптскому гостю и считали его с тех пор и *нашим братом*; немудрено также, что он сохранил по смерть доброе расположение к дерптскому обычаю и даже советовал многим землякам своим учиться в Дерптском университете. Но лучше всего то, что, поживя в Дерпте, Жуковский не сделался, однако, чуждым своему родному языку и коренной России, как не сделались им чуждыми впоследствии Языков, Соллогуб, Даль, Пирогов, Овсянников, Хрептович, Киселев, Якубович и множество других русских, учившихся в Дерпте.

Такова была внешняя сторона дерптской жизни Жуковского. Зато невесела была внутренняя, душевная, сторона его тогдашней жизни. Это мы узнаем из многих писем к Авдотье и Анне Петровнам. Екатерина Афанасьевна, как уже сказано, не хотела, чтоб он оставался в Дерпте. Жуковский, пожертвовав своим счастием и всею правдой обещавшись быть ей братом, а детям ее верным отцом, надеялся приобрести ее доверие к его нравственным правилам и обещаниям; но в этом-то он и ошибся! Воейков, поступки которого, как уже было видно и прежде, не обнаруживали в нем доброго семьянина, все-таки пользовался расположением тещи, потому что потакал ее предрассудкам. «Его я совершенно вычеркнул из всех моих расчетов», — пишет Жуковский. «Будучи товарищем и родным Маши, я мог бы и его любить, как Сашина мужа; теперь же он для меня не существует». Екатерина Афанасьевна не оценила вполне высокой добродетели ни Жуковского, ни дочери своей, этого ангела кротости и любви! Обоим она показала недоверчивость и тем глубоко их оскорбила. Некоторые весьма почтенные лица из высшего духовенства продолжали словесно и письменно уверять Екатерину Афанасьевну, что нет препятствия к исполнению желаний Жуковского; но, несмотря на то, Екатерина Афанасьевна повторяла дочери, что совесть матери не позволяет ей нарушить церковный устав, и, как ангел добродетели, дочь покорилась воле матери. <...>

Жуковский получил назначение быть чтецом у государыни Марии Федоровны. Павловск в то время был средоточием лучших писателей наших. Карамзин, Крылов, Дмитриев, Нелединский-Мелецкий, Гнедич, Жуковский — являлись на вечерних беседах августейшей покровительницы отечественных талантов. Кроме того, нередко приглашаемы были в Павловск Клингер, Шторх, Вилламов, Аделунг. Но Жуковский, живя у своего задушевного друга Блудова и несмотря на самый милостивый прием у государыни, все-таки писал на родину:

«Мое *теперь* — хуже *прежнего*. Здешняя жизнь мне тяжела, и я не знаю, когда отсюда вырвусь. Все, меня окружающее, ничтожно, или я сам *ничто*, потому что у меня ни к чему не лежит сердце, и рука не подымается взяться за перо, чтоб описывать то, что мне как чужое. И воображение побледнело, поэзия от меня отворотилась. Не знаю, когда

она опять на меня взглянет. Думаю, что она бродит теперь или около Васьковской горы, или у Гремячего, или же в какой-нибудь долбинской роще, несмотря на снег и холод. Когда-то я начну ее там отыскивать? А здесь она откликается редко, да и то осиплым голосом.

О Дерпте не хочу писать ни слова. Но когда же удастся говорить? Авось!.. Все еще авось! Если рассказывать, то хоть забавное. Здесь есть автор князь Шаховской. Известно, что авторы не охотники до авторов. И он поэтому не охотник до меня. Вздумал он написать комедию и в этой комедии смеяться надо мною. Друзья за меня вступились. Дашков напечатал жестокое письмо к новому Аристофану. Блудов написал презабавную сатиру, а Вяземский разразился эпиграммами. Теперь страшная война на Парнасе. Около меня дерутся за меня, а я молчу, да лучше было бы, когда бы и все молчали. Город разделился на две *партии*, и французские волнения забыты при шуме парнасской бури».

Но литературная война, о которой упоминает Жуковский, началась ранее времени этого письма и продолжалась еще много лет позже его. Это была борьба между представителями старых литературных преданий, славянофилами, и духом литературной новизны. Новизна, которая вызвала борьбу, состояла в сентиментальном направлении Карамзина, в романтизме Жуковского и в оживлении слога, произведенном школою Карамзина и его последователей. <...>

В противоположность славянофилам последователи Карамзина были по большей части молодые и очень даровитые люди, с современным образованием. Что они были добрыми патриотами, это они несомненно доказали в Отечественную войну, в которой приняли живое участие и которая на время прервала литературные распри; но кончилась война, и литературная распря возникла пуще прежнего. Мы видели, что Жуковский уже в молодости подружился со всеми жаркими защитниками и поклонниками Карамзина. Стихотворения его с восторгом были приняты повсюду. Шишковисты именно на него и обратили свой гнев. Один из самых рьяных представителей партии славянофилов, князь А. А. Шаховской, вывел его на сцену в комедии «Урок кокеткам, или Липецкие воды», подражание французской пьесе «La Coquette»*. В числе карикатурных лиц этой комедии выставлен был жалкий балладник Фиалкин: это был явный намек на Жуковского и его стихи. <...>

При первом представлении этой комедии в Петербурге на Малом театре, 23-го сентября 1815 года, присутствовали Жуковский и все друзья его, потому что знали уже о нападках Шаховского на нашего «балладника». Тут-то и решено было действовать совокупно, основать особое литературное общество и издавать журнал. Хотя издание журнала и не состоялось, но эпиграммами, сатирическими статьями и резкою критикой карамзинисты не остались в долгу у «Любителей русского слова».

* «Кокетка» (*фр.*).

Друзья собирались по субботам у Блудова и читали там, перед печатанием, свои статьи; но формально организованного общества и публичных собраний у них не было. Когда Блудов написал шуточный рассказ «Сидение в «Арзамасе», изданное обществом ученых людей», в котором метко отвечал на выходки князя Шаховского и шишковистов, — то для шутки друзья назвали свои веселые вечеринки «собраниями Арзамасской академии» и положили правилом съедать за ужином хорошего арзамасского гуся. При этой церемонии пели соответствующие песни, например известную кантату на Шаховского, сочиненную Дашковым и каждый куплет которой оканчивался стихом:

Хвала тебе, о Шутовской!

За этим основным правилом последовали вскоре другие правила, собранные Блудовым и Жуковским в виде устава; тут, между прочим, было постановлено следующее: по примеру всех других обществ каждый вновь выбранный член должен читать похвальное слово своему умершему предшественнику; но так как все члены «Арзамаса», без сомнения, бессмертны, то они положили брать напрокат покойников между халдеями «Беседы» и Российской академии. По примеру же ученых обществ составлялись и протоколы заседаний, конечно, в шуточном смысле; тут отличался Жуковский: он составлял из фраз осмеянных сочинителей забавную галиматью. Говорят, что они находились в бумагах А. И. Тургенева. Кое-что из этих *литературных шалостей*, как назвал их Блудов на юбилее князя Вяземского, напечатано в «Русском архиве» 1866 и 1868 годов.

Эти «шалости» предохранили Жуковского от совершенного упадка духа, который обнаруживается из переписки его с Авдотьей Петровною.

«Я теперь люблю поэзию, как милого человека в отсутствии, о котором беспрестанно думаешь, к которому беспрестанно хочется и которого все нет как нет! Я здесь живу очень уединенно; никого, кроме своих немногих, не вижу, и, несмотря на это, все время проскакивает между пальцев. И этой немногой рассеянности для меня слишком много. Прибавьте к ней какую-то неспособность заниматься, которая меня давит и от которой не могу отделаться, — жестокая сухость залезла в мою душу!

О, рощи, о, друзья, когда увижу вас?

Но что ж, если не удастся *сгородить себе какого нибудь состояния*? Если надобно будет решиться здесь оставаться и служить, тогда прощай поэзия и все! Неотвязное слово! Как оно теперь для меня мало значит! А все не расстанешься с ним».

Но вдруг на голову нашего друга неожиданно грянул гром с той стороны, куда устремлены были все мечты поэта, — из Дерпта. Там думали, что новые петербургские виды и отношения совершенно успо-

коили душу его и что он отказался уже от прежних желаний и надежд. Отъезжая из Дерпта в Петербург, он поручил семейство Протасовых покровительству одного приятеля, которого в короткое время своего первого пребывания в Дерпте успел дружески полюбить. Это был профессор Мойер, домашний врач Протасовых. Жуковский откровенно рассуждал с ним о своих отношениях к разным лицам семейства, о необходимости с ними расстаться и вверил судьбу ближайших к сердцу родственников человеку, на которого он полагался как на надежную опору для них в новом местопребывании.

Мойер, по желанию своего отца, бывшего ревельского суперинтенданта, посвятив три года (1803—1805) изучению богословия в Дерпте, по окончании этого курса отправился в чужие края для изучения медицины. Шесть лет провел он там с этой целью, преимущественно в Павии, где подружился с знаменитым профессором хирургии Скарпою, и в Вене, где посещал практические заведения под руководством хирурга Руста и офтальмолога Бэра. Кроме того, будучи отличным пианистом, он очень коротко познакомился в Вене с Бетховеном. Возвратясь на родину, Мойер в 1812 году заведовал хирургическим отделением военных госпиталей, сначала в Риге, потом при университетской клинике в Дерпте, и в 1815 году выбран здесь был профессором хирургии. Он пользовался в Дерпте большим уважением не только сослуживцев, но и общества и привлекал всех образованностью и приветливым своим характером. Принадлежа к какой-то масонской ложе, Мойер сделался в Дерпте главою всех приверженцев масонских идей. По увольнении Клингера от должности попечителя Дерптского университета (в 1817 году) пиетистическое направление, господствовавшее в тогдашнем министерстве народного просвещения, коснулось и Дерптского университета и повело войну против рационализма, но, несмотря на эти обстоятельства, Мойер остался профессором и впоследствии был выбран ректором университета.

Такая личность, по отъезде Жуковского, могла своим спокойным и решительным характером усмирить душевные волнения в доме Протасовых. Мать и дочери искренне уважали его, а зятю стало как-то неловко при таком домашнем друге; он стал нередко уезжать из Дерпта и наконец отпросился на службу в Петербург. Удостоверясь в дружеском расположении Протасовых к себе, Мойер пожелал упрочить эти отношения родственным союзом: он посватался за Марию Андреевну Протасову. Екатерина Афанасьевна благосклонно приняла его предложение, а дочь попросила несколько времени на размышление; она написала к Жуковскому и просила его совета. Это-то письмо и грянуло, как гром, среди веселой жизни нашего арзамасца и потрясло до оснований построенные на *авось* его надежды и намерения! Так как письмо Марии Андреевны дает самое ясное понятие о благородстве и величии души ее, то мы должны сообщить его здесь. Нам станет еще понятнее, как при-

вязанность к такому «неземному созданию» могла на всю жизнь освещать и наполнять душу поэта верою в доброе и прекрасное:

«Дерпт. 8-го ноября 1815. — Мой милый, бесценный друг! Последнее письмо твое к маменьке утешило меня гораздо более, нежели я сказать могу, и я решаюсь писать к тебе, просить у тебя совета так, как у самого лучшего друга после маменьки. Vous dites, que vous voulez me servir lieu de père![*] О, мой дорогой Жуковский, я принимаю это слово во всей его цене и очень умею понимать то чувство, с которым ты его сказал. Я у тебя прошу совета так, как у отца: прошу решить меня на самый важный шаг в жизни, а с тобою с первым после маменьки хочу говорить об этом и жду от тебя, от твоей ангельской души своего спокойствия, счастия и всего доброго. Je veux me marier avec Moier! J'ai eu occasion de voir, combien il est noble, combien ses sentiments sont élevés, et j'espère, que je trouverai avec lui un parfait repos. Je ne m'aveugle pas sur ce que je sacrifie, en faisant ce pas-là, mais je vois aussi tout se que je gagne. D'abord je suis sûre de faire le bonheur de ma bonne maman, en lui donnant deux amis[**]. Милый друг, то, что теперь тебя с нею разлучает, не будет более существовать. В тебе она найдет утешителя, друга, брата. Милый Базиль! Ты будешь жить с ней, а я получу право иметь и показывать тебе самую святую, нежную дружбу, и мы будем такими друзьями, какими теперь все быть мешает. Не думай, ради Бога, чтобы меня кто-нибудь принуждал на это решиться. <...>»

Легко себе представить, какое впечатление эти письма сделали на бедного нашего друга. Он не верил тому, что Мария Андреевна решилась идти замуж добровольно, без принуждения; он подозревал Екатерину Афанасьевну в том, что она была единственною виновницей жертвы дочери. Он оспаривал все уверения Марии Андреевны и умолял ее по крайней мере отсрочить свое решение еще на год:

«Я сам люблю Мойера; я видел его во все минуты прекрасным человеком, я почитаю его способным дать тебе счастие. Но я прошу одного, не по принуждению, свободно, не из необходимости, не для того только, чтобы бежать из семьи и где-нибудь найти приют. Вот мысль, которая убивает меня».

Переписка эта, в 70 мелко написанных страниц в четверку[25], носит на себе отпечаток сильнейшего душевного волнения и исполнена чувств и мыслей, выраженных со всею силою пламенной страсти языком, подобного которому не могло бы создать никакое искусство. Как переписка Шиллера и Гете с любимыми ими женщинами в немецкой литературе, так переписка Жуковского с Марией Андреевною и ее матерью, храни-

---

Вы говорите, что хотите быть мне вместо отца! (*фр.*).

Я хочу выйти замуж за Мойера! Я имела случай увидеть, насколько он благороден, насколько возвышенны его чувства, и я надеюсь, что найду с ним совершенный покой. Я не слепа относительно того, чем жертвую, делая этот шаг, но я вижу также все, что выигрываю. Прежде всего я уверена, что сделаю счастливой свою добрую мать, дав ей двух друзей (*фр.*).

мая, как драгоценное сокровище, у Авдотьи Петровны Елагиной, могла бы занять почетное место в литературе русской; она пленила бы каждого как наружною, так и внутреннюю своей прелестью.

Наконец, не будучи в состоянии представить себе, что дерптские события произошли именно так, как писала Мария Андреевна, Жуковский решился сам ехать в Дерпт и лично удостовериться в случившемся. В январе он прибыл туда и, к удивлению своему, нашел все в другом виде, чем представляла ему испуганная фантазия. После различных объяснений друг наш вышел победоносным героем из прискорбной борьбы между сердцем и рассудком. <...>

Таков был результат поездки Жуковского в Дерпт. В Петербурге кое-как он занимался работами и перепискою с знакомыми и развлекался в кругу любезных арзамасцев, в котором даже казался веселым; а в ночную пору писал стихи:

Кто слез на хлеб свой не ронял,
Кто близ одра, как близ могилы,
В ночи, бессонный, не рыдал,
Тот вас не знает, Вышни силы?![26]

или еще:

Прошли, прошли вы, дни очарованья!
Подобных вам уж сердцу не нажить!
Ваш след в одной тоске воспоминанья;
Ах, лучше б вас совсем мне позабыть!

К вам часто мчит привычное желанье,
И слез любви нет сил остановить!
Несчастие – об вас воспоминанье,
Но более несчастье – вас забыть!

О, будь же, грусть, заменой упованья;
Отрада нам – о счастье слезы лить;
Мне умереть с тоски воспоминанья!..
Но можно ль жить, увы! и позабыть?![27]

Как мощная горная река, промчавшись с ревом и пеною сквозь скалистые ущелья, величественно струится по плоской равнине к морю и в хрустальной глубине своей отражает мирные берега и голубое небо, — так отныне направляется и жизнь нашего друга. «Роман моей жизни кончен; начну ее историю», — говаривал он нередко. В апреле 1816 года мы находим его опять в Дерпте.

«Все идет довольно тихо, — пишет он в Долбино, — историй нет, с Мойером мы совершенно согласны в образе мыслей и чувств. Между нами нет ни малейшей принужденности, ни малейшего недоразумения,

мы говорим свободно о нашем общем деле, о счастии Маши. Такой черты довольно, чтобы дать понятие о его характере». <...>

Свадьбу Марии Андреевны отложили до будущего (1817) года, и Жуковский спешил к Рождеству 1816 года в Петербург. Министр народного просвещения, князь А. Н. Голицын, поднес экземпляр стихотворений Жуковского государю, изложив притом заслуги Жуковского в отношении русской словесности и личные его обстоятельства. И действительно, по словам Плетнева, в России никогда молодое поколение не увлекалось такою пламенною любовью за образцом своим, как это ощутительно было в ту эпоху. Только и говорили что о стихах Жуковского, только их и повторяли наизусть. <...>

Баллада «Вадим», по словам Плетнева, «останется в литературе нашей самым живым, самым верным отголоском прекрасной души поэта, когда все лучшие двигатели вдохновения — молодость, любовь, чистота, набожность и сила — совокупно в ней действовали»[28]. Множество поэтических мыслей Жуковского, набросанных в этой балладе, отзывались впоследствии времени в его письмах, в его стихотворениях, даже в лебединой его песне, в «Агасфере». Как некогда «Певец во стане русских воинов» встретил в патриотизме общества сильнейший отголосок, так точно и стихи «Вадима», полные мечтаний о чудесах, вере и любви, сделали глубокое впечатление на сердца, успокоившиеся после окончания войны и вновь приобретшие восприимчивость к романтическому настроению. Идеальность осветила еще раз, хотя на короткое время, тогдашнее общество, недавно так мастерски очерченное графом Л. Толстым в романе «Война и мир». Войдет ли когда-нибудь эта идеальность снова в жизнь? Бог знает. <...>

Жуковскому никогда не приходила мысль связать себя с императорским двором другими узами, кроме уз благодарности и признательности; но судьба устроила иначе. Под конец 1817 года он был избран учителем русского языка при великой княгине Александре Федоровне... Все его планы переселения в Дерпт или Долбино были отодвинуты в дальнее будущее. В январе 1818 года он отправился в Петербург. <...>

Новая жизнь стала Жуковскому по сердцу; он не только нашел себе деятельность, соответствовавшую его вкусам, дававшую ему довольно времени предаваться и поэтическому творчеству, но нашел еще и то, чего тщетно искал в семье Екатерины Афанасьевны Протасовой, — искренность, как то казалось ему, семейного круга, теплое расположение к себе. <...>

Так, друг наш принял свою учительскую должность не как слуга, оплачиваемый за свои труды, а как поэт, который с полною любовью берется за свой священный подвиг[29]. И встретил он, правду сказать, в своей высокой ученице такую же поэтическую и романтическую душу. Задача Жуковского не могла состоять единственно в том, чтобы познакомить великую княгиню с грамматическими формами русского языка

(он сочинил именно для нее русскую грамматику, напечатанную на французском языке только в десяти экземплярах); ему надлежало открыть перед своею ученицей в языке и в литературе новой ее отчизны такие же сокровища и красоты, какие она находила в своем родном языке. Она так же, как все юное поколение в Германии, после освобождения от французского ига, восторженно любила стихотворения отечественных поэтов и родной язык. Никто лучше Жуковского не мог служить посредником между немецкою словесностью и русским двором. Присутствие славного русского поэта при дворе немало содействовало тому, что в высшем обществе стали более, чем прежде, заниматься русскою литературой и говорить на отечественном языке. Блудову поручено было переложить на русский язык все дипломатические документы с 1814 года, написанные по-французски, и он должен был, с помощью Карамзина и Жуковского, создать для того новый язык или по крайней мере найти в русском языке соответствующие выражения. Перевод славянской Библии на современный язык был принят с большою благодарностью в образованном обществе. По желанию своей ученицы Жуковский переводил многие стихотворения Шиллера, Гете, Уланда, Гебеля на русский язык. Этому обстоятельству русская словесность обязана целым рядом прекрасных баллад, которые и были напечатаны сперва маленькими тетрадями на двух языках с надписью на обороте: «Для немногих». Впоследствии они вошли в разные издания стихотворений Жуковского. Читая эти произведения, чувствуешь, что они родились и вылились из души поэта как будто среди приятной беседы, в присутствии симпатичных людей, которые согрели его душу и, кажется, опять пробудили струны, звеневшие в ней в пору надежды, когда выливались долбинские стихотворения и сиял над ним образ Маши, даря надеждой и восторгом счастливой любви. <...>

В начале апреля 1821 года Жуковский пустился странствовать по Европе. Хотя он обещал друзьям подробное печатное описание путешествия, но, кроме отрывков из писем, посланных к родным, мы ничего не имеем в печати об этих странствованиях[30]. Он рисовал с натуры, особенно в Швейцарии, виды, которые сам после выгравировал на меди, но описания к ним не успел сделать. И в самом деле, во время путешествия ему некогда было этим заняться. Столько новых впечатлений наполняли его душу, что он едва был в состоянии одуматься. Он надеялся в будущем времени повторить это путешествие, которое казалось ему теперь только рекогносцировкой. Но подчас меланхолическая хандра проникала в его душу; так, например, при виде заходящего солнца с Брюлевой террасы в Дрездене он горевал, что «голова и сердце пусты», оттого что река Эльба напомнила ему Оку при Белеве и что Пильницкое шоссе казалось похожим на почтовую дорогу в Москву, словом, оттого, что он находился за границей, а не на родине:

И много милых теней встало![31]

В Дрездене Жуковский познакомился с известным писателем Тиком и живописцем Фридрихом. Об этих любопытных знакомствах наш поэт часто писал к своим друзьям.

«Фридриха нашел я точно таким, каким воображение представляло мне его, и мы с ним в самую первую минуту весьма коротко познакомились. В нем нет, да я и не думал найти в нем, ничего идеального. Кто знает его туманные картины, в которых изображается природа с одной мрачной ее стороны, и кто по этим картинам вздумает искать в нем задумчивого меланхолика, с бледным лицом, с глазами, наполненными поэтическою мечтательностью, тот ошибется: лицо Фридриха не поразит никого, кто с ним встретится в толпе; это сухощавый, среднего роста человек, белокурый, с белыми бровями, нависшими на глаза; отличительная черта его физиономии есть простодушие: таков он и характером; простодушие чувствительно во всех его словах; он говорит без красноречия, но с живостью непритворного чувства, особливо когда коснется до любимого его предмета, до природы, с которою он как семьянин; но об ней говорит точно так, как ее изображает, без мечтательности, но с оригинальностью. В его картинах нет ничего мечтательного; напротив, они привлекательны своею верностью: каждая возбуждает в душе воспоминание! <...> Он ждет минуты вдохновения, и это вдохновение (как он мне сам рассказывал) часто приходит к нему во сне. Иногда, говорит он, думаю, и ничто не приходит в голову; но случается заснуть, и вдруг как будто кто-то разбудит: вскочу, отворю глаза, и, что душе надобно, стоит перед глазами, как привидение, — тогда скорей за карандаш и рисуй!»[32].

Фридрих так понравился Жуковскому, что поэт предложил ему ехать с ним в Швейцарию. Но Фридрих отказался. Вот как Жуковский передает отказ: «Тот Я, который вам нравится, с вами не будет. Мне надобно быть совершенно одному и знать, что я один, чтобы видеть и чувствовать природу вполне. Ничто не должно быть между ею и мною; я должен отдаться тому, что меня окружает, должен слиться с моими облаками, утесами, чтобы быть тем, что я семь! Будь со мною самый ближайший друг мой — он меня уничтожит! И, бывши с вами, я не буду годиться ни для себя, ни для вас».

У Тика все приняли Жуковского с сердечным вниманием; он был на даче у Тика как дома, как с давнишними знакомцами. В Тике он нашел любезное, искреннее добродушие. «В лице его, — говорил Жуковский, — нет ничего разительного, но во всех чертах приятное согласие; виден человек, который мыслит, но которого мысли принадлежат более его воображению, нежели существенности». В первое свидание Жуковский немного поспорил с хозяином по поводу Шекспирова «Гамлета», который казался нашему поэту непонятным чудовищем и в котором, казалось ему, Тик и Шлегель находят более собственное богатство мыс-

лей и воображения, нежели Шекспирово. «Но в том-то и привилегия гения, — сказал ему Тик, — что, не мысля и не назначая себе дороги, по одному естественному стремлению, — вдруг он доходит до того, что другие открывают глубоким размышлением, идя по его следам; чувство, которому он повинуется, есть темное, но верное; он вдруг взлетает на высоту и, стоя на этой высоте, служит для других светлым маяком, которым они руководствуются на неверной своей дороге». Тик читал Жуковскому «Макбета» с большим искусством, особенно места ужасные. Жуковский сравнивал чтение его с чтением Плещеева и нашел, что в выражении чувства Тик уступал русскому чтецу и что лицом Тик вообще не так владеет, как «наш смуглый декламатор». Тик прочитал еще Шекспирову комедию «Как вам угодно», и Жуковский нашел, что он лучше читает комические пиесы, нежели трагические. «Но Плещеев, — писал Жуковский, — кажется мне забавнее, может быть, и потому, что комическое французов ему более знакомо, нежели Шекспирово. Французы прекрасно изображают странное, смешат противоположностями, остротой или забавностию выражений; Шекспир смешит резким изображением характеров, но в шутках его нет тонкости, по большей части одна игра слов; они часто грубы и часто оскорбляют вкус. Сверх того, Тик, как мне кажется, дошел до смешного искусством: его характер более важный, нежели веселый»[33].

В Дрезденскую картинную галерею Жуковский вступил с чувством благоговения; в особенности с трепетом ожидания подходил он к Рафаэлевой Мадонне. Но первое чувство, которое он испытал при входе в галерею, было неприятное: его поразило, как небрежно сохраняются драгоценные сокровища живописи. Тогдашняя Дрезденская галерея похожа была на огромный, довольно темный сарай, стены которого были увешаны почернелыми картинами в худых рамах. Потом, посещая много раз галерею, Жуковский мало-помалу свыкся с этою обстановкой. Из коротких его суждений мы приводим только то, что он писал о картине Карла Дольче «Спаситель с чашею». Эта картина почитается вообще превосходною; но Жуковского более поразил колорит ее, чем исполнение нравственной задачи произведения.

«Стоя перед нею, — говорит он, — по предубеждению, я хотел себя уверить, что в лице Спасителя, благословляющего таинственную чашу, точно есть то, чему в нем быть должно в эту минуту; но темное чувство мне противоречило; наконец Фридрих решил сомнение одним словом: „Это не лицо Спасителя, приносящего себя на жертву, а холодного лицемера, хотящего дать лицу своему чувство, которого нет в его сердце“. И это совершенно справедливо. Здесь одно искусство без души!»

Другая картина, в которой нет ни рисунка, ни колорита, писанная Гранди, понравилась Жуковскому и показалась ему исполненною выражения; но, кажется, — предмет ее был ему просто более симпатичен, чем у Карла Дольче:

«Это Христос, несущий крест, вместе с разбойниками, окруженный толпою зрителей и стражей, и в толпе Богоматерь. Разбойников гонят, и один отбивается с отчаянием. Спаситель утомлен. Богоматерь обессилена горестью, ее несут почти на руках, и вот самая трогательная черта: подле Богоматери стоит женщина с младенцем на руках; но эта женщина, будучи матерью сама, чувствует страдание другой матери и целует тайком ее руку, чтобы облегчить для себя чувство сострадания»[34].

Мнение Жуковского о Рафаэлевой Мадонне давно известно в русской литературе, равно как и описание видов Саксонской и настоящей Швейцарии[35]; это описание не пространно, но Жуковский не мог включать подробности в свои письма, и хорошо сделал, ибо под впечатлением чудесной природы он *написал* и подарил русской словесности «Шильонского узника» Байрона и значительную часть «Орлеанской девы» Шиллера; кроме того, он приготовился к переводу «Вильгельма Телля»[36].

Возвратясь из путешествия по Швейцарии в Берлин, он получил позволение остаться там до января 1822 года. Здесь он окончил «Орлеанскую деву». Он был доволен своею работой, но жалел, что не мог прочитать ее долбинскому своему ареопагу[37]. Проезжая через Дерпт, он восхищал здесь родных чтением некоторых отрывков своей драмы; в Петербурге «цензура, — пишет он в Долбино, — поступила с ней великодушно, quant à l'impression*, и неумолимо, quant à la représentation**! Все к лучшему: здешние актеры уладили б ее не хуже цензуры!»[38].

Вскоре по возвращении в Петербург Жуковский задумал отпустить на волю крепостных людей, которые некогда были куплены на его имя книгопродавцем И. В. Поповым.

«Я не отвечал еще Попову, — пишет он в июле 1822 г. к Авдотье Петровне, — думаю, что он на меня сердится, и поделом! Он даже мог вообразить, что я хочу удержать его людей за собою. Это, с одной стороны, и правда! Я желаю купить их и дать им волю. Другим нечем мне поправить сделанной глупости. Прежде, может быть, я и согласился бы их продать, теперь же ни за что не соглашусь. Итак, милая, узнайте, какую цену он за них полагает. Заплатить же за них ему не могу иначе, как уступив часть из тех денег, которые вы мне должны; в таком случае вам должно будет дать ему вексель, вычтя из моей суммы то, что будет следовать. Прошу вас все это с ним сладить, и как скоро кончите, то пускай он моим именем даст этим людям отпускную, или если нельзя этого сделать в Москве без меня, то пускай пришлет сюда образец той бумаги, которую мне надобно написать и подписать. Я все здесь исполню. Прошу вас поспешить несколько исполнением этой просьбы. Дело лежит у меня на душе, и я виню себя очень, что давно его не кончил. Приложенное письмо отдайте Попову».

---

* что касается впечатления (*фр.*).
** что касается представления (*фр.*).

Заплатив Попову 2400 руб., Жуковский и другому крепостному семейству хотел дать свободу[39].

«Я желаю, — писал он, — дать такую же отпускную моему белевскому Максиму[40] и его детям. Прилагаю здесь записки об их семействе; но для этого надобно мне иметь купчую, данную мне на отца Максимова тетушкой Авдотьей Афанасьевною. Эта купчая мною потеряна; а совершена она была в Москве в 1799, или 1800, или в 1801. Прошу любезного Алексея Андреевича взять на себя труд — достать мне из гражданской палаты копию сей купчей за скрепою присутствующих, дабы я мог здесь написать отпускную. Да нельзя ль уже и форму отпускной прислать, на всех вместе, дабы мне здесь никаких хлопот по этому не было; в противном случае, опять отложу в длинный ящик, и мой несчастный Максим будет принужден влачить оковы эсклава. Похлопочите об этом, душа! А в заплату за этот труд посылаю вам экземпляр своего нового сочинения, не стихотворного и даже не литературного, нет, — Виды Павловска, мною срисованные с натуры и мною же выгравированные a l'eau forte. Этот талант дала мне Швейцария. В этом роде есть у меня около осьмидесяти видов швейцарских, которые также выгравирую и издам вместе с описанием путешествия, если только опишу его».

В другом письме Жуковский сердечно благодарит А. П. Елагину за исполнение его поручений. «Очень рад, что мои эсклавы получили волю!» В том же письме он извещает, что не мог целиком освободить из оков цензуры перевод известных стихов Шиллера «Drei Wörter des Glaubens» («Три слова веры»); а без второй строфы:

«Der Mensch ist frei geschaffen, ist frei,
Und ware er in Ketten geboren»* [41], —

он не хотел печатать их. Вот поступки, которые заслужили ему в ту пору в высших кругах общества название страшного либерала, якобинца!

С 1820 года А. Ф. Воейков, оставив профессорскую должность в Дерпте, переселился на службу в Петербург. Жуковский обрадовался прибытию любезной племянницы, Александры Андреевны, и, конечно, приютил ее у себя; но вскоре после того он, как мы видели, уехал в Берлин. По возвращении из чужих краев, он поселился с семейством Воейкова против Аничкова дворца на Невском проспекте[42]. Лето 1822 года провел он в Царском Селе вместе с Екатериной Афанасьевною Протасовой, которая приехала из Дерпта на время родин дочери. Все они были счастливы вместе. «Depuis que je suis avec Joukoffsky, небо расцвело, — пишет Александра Андреевна Воейкова к Авдотье Петровне, — и Италии не надо; mais nous vivions à reculons, et à tel point, que souvent des heures

---

* Человек создан быть свободным, и он свободен,
Даже если бы он родился в цепях (*нем.*).

entières nous nous rappelons les bons mots du défunt Варлашка — et cela vaut mieux pour tous les deux que la réalité, et surtout l'avenirs»*. <...>

У Жуковского не было определенного дня, в который собирались бы к нему друзья, но вообще они посещали его часто; благодаря присутствию такой любезной, изящной, остроумной хозяйки дома, какова была Александра Андреевна Воейкова, он мог доставить друзьям своим и удовольствия занимательной дамской беседы. Наместо арзамасских литературных шалостей установились у него литературные сходбища при участии любезных женщин. Большая часть старых друзей были женаты, только Жуковский, Александр Иванович Тургенев и Василий Алексеевич Перовский составили холостой центральный кружок, около которого группировались молодые расцветающие таланты: поэты, живописцы, дилетанты музыки. Их поощряла и любезность остроумной Александры Андреевны, и благосклонность добродушного Жуковского в сообщении своих работ. Многие послания, романсы и стихи, посвященные Александре Андреевне Воейковой, читались здесь впервые. Слепой Козлов был у них принят и обласкан, как родной; Батюшков, Крылов, Блудов, Вяземский, Дашков, Карамзин, словом, весь литературный цвет столицы охотно собирался в гостиной Александры Андреевны, в которой Жуковский пользовался властию дяди. Сорокалетний день рождения своего (29-го января 1823 года) он праздновал окруженный множеством друзей и подруг. С арзамасским юмором он объявил, что теперь поступает в чин действительных холостяков, но шутками старался скрывать предстоящую разлуку с милою племянницей, которая положила уехать с детьми в Дерпт к матери и сестре для восстановления здоровья, расстроенного горестною семейною жизнью. Одно это обстоятельство печалило в эту пору нашего друга; он послал в Дерпт следующие строки:

Отымает наши радости
Без замены хладный свет,
Вдохновенье пылкой младости
Гаснет с чувством жертвой лет,
Не одно ланит пылание
Тратим с юностью живой —
Видим сердца увядание
Прежде юности самой[43]

Эта элегическая «Песня» заслужила ему сильный упрек Марии Андреевны Мойер; я знаю это по свидетельству ее самой; вот как она писала мне: «Напишите мне, можем ли мы надеяться, чтобы Jouko приехал. Скажите ему, что это осчастливит меня. Что за дивный человек!

---

* С тех пор как я с Жуковским... но мы живем прошлым, и настолько, что часто целыми часами вспоминаем словечки покойника Варлашки — и это стоит для нас обоих больше чем реальность и тем более чем будущее (*фр.*).

Его прекрасная душа есть одно из украшений мира Божьего. Зачем только он написал свое последнее стихотворение? Стихи просто дурны. Чем более я перечитываю их, тем становлюсь печальнее. Заставьте его искупить этот грех чем-нибудь хорошим». <...>

Великолепные и изящные представления на берлинском театре ввели Жуковского прямо в фантастический мир чудесных событий, которые ярко изображены в драме «Орлеанская дева». Поэтический сомнамбулизм Иоанны был ему по сердцу. Зная наизусть почти всю драму, стоило только выразить по-русски Шиллеровы стихи, и перевод был готов. Таким образом, ему удалось освободить свое произведение от искусственности изложения, которая чувствуется во всяком почти переводе. В первый раз в русской литературе появилась большая драма, писанная пятистопными ямбами без рифм. <...>

В конце февраля 1823 года Жуковский проводил Александру Воейкову с детьми в Дерпт и пробыл там две недели. Не предчувствовалось тогда бедному нашему другу, что эти две недели были последние дни, проведенные им вместе с Марией Андреевною Мойер. 10-го марта возвратился он в Петербург, а 19-го марта известие о преждевременной ее смерти в родах потрясло душу Жуковского и погрузило его на многие годы в тихую меланхолическую грусть. Нельзя описать словами того, что происходило в душе несчастного поэта. Собственные его слова лучше всего изображают его скорбь при этом роковом ударе. Он тотчас поехал в Дерпт. Кому оттуда он мог сообщать горестные свои чувства, как не подруге своей Авдотье Петровне Елагиной? Он и писал к ней, 28-го марта:

«Кому могу уступить святое право, милый друг, милая сестра (и теперь вдвое против прежнего), говорить о последних минутах нашего земного ангела, теперь небесного, вечно, без изменения нашего. С тех пор, как я здесь, вы почти беспрестанно в моей памяти. С ее святым переселением в неизменяемость, прошедшее как будто ожило и пристало к сердцу с новой силой. Она с нами на все то время, пока здесь еще пробудем, не видя глазами ее; но знаю, что она с нами и более наша — наша спокойная, радостная, товарищ души, прекрасный, удаленный от всякого страдания! Дуняша, друг, дайте мне руку во имя Маши, которая для нас существует. Не будем говорить: ее нет! C'est un blasphème*. Слезы льются, когда мы вместе и не видим ее между нами; но эти слезы по себе. Прошу вас ее именем помнить о нас. Это должность, это завещание. Вы были ее лучший друг; пусть ее смерть будет для нас — таинством: где два будут во имя Мое, с ними буду и Я. Вот все! Исполним это! Подумайте, что это говорю вам я, и дайте мне руку с прежнею любовью. Я теперь с ними. Эти дни кажутся веком, 10-го числа я с ними простился, без всякого предчувствия, с какою-то непонятною беспечностью. Я при-

* Это богохульство (*фр.*).

вез к ним Сашу и пробыл с ними две недели, неделю лишнюю против данного мне срока: должно было уехать. Но Боже мой! Я мог бы остаться еще десять дней: эти дни были последние здешние дни для Маши! Боюсь остановиться на этой мысли. Бывают предчувствия для того, чтобы мучить душу: для чего же здесь не было никакого милосердного предчувствия! Было поздно, когда я выехал из Дерпта, долго ждал лошадей, всех клонил сон. Я сказал им, чтобы разошлись, что я засну сам. Маша пошла наверх с мужем. Сашу я проводил до ее дома; услышал еще голос ее, когда готов был опять войти в дверь, услышал в темноте: «Прости». Возвращаясь, проводил Машу до ее горницы; она взяла с меня слово разбудить их в минуту отъезда. И я заснул. Через полчаса все готово к отъезду, встаю, подхожу к ее лестнице, думаю — идти ли, хотел даже не идти, но пошел. Она спала, но мой приход ее разбудил; хотела встать, но я ее удержал. Мы простились; она просила, чтоб я ее перекрестил, и спрятала лицо в подушку, и это было последнее в этом свете!..»

Долго, долго не мог Жуковский забыть образ Маши. Вновь и вновь она являлась перед ним. Это чувство вылито в стихотворении, которое мы считаем едва ли не лучшим из его субъективно-лирических произведений...

Ты предо мною
Стояла тихо,
Твой взор унылый
Был полон чувства,
Он мне напомнил
О милом прошлом;
Он был последний
На здешнем свете.

Ты удалилась,
Как тихий ангел;
Твоя могила,
Как рай, спокойна,
Там все земные
Воспоминанья,
Там все святые
О небе мысли.

Звезды небес'
Тихая ночь!. [44]

Летние месяцы Жуковский обыкновенно проводил вместе с двором либо в Павловске, либо в Царском Селе, а зиму — в столице. Всякий раз, когда только он мог отлучиться от своих занятий при дворе, он спешил уехать на могилу Марии Андреевны, к своему «алтарю», в котором воздвигнул чугунный крест с бронзовым распятием. На бронзовой

же доске вылиты были любимые покойницею слова Евангелия: «Да не смущается сердце ваше» — и проч. (Иоанн, гл. 14, ст. 1) и «Приидите ко Мне, вси труждающиися» — и проч. (Матв., гл. 11, ст. 28). Всякий раз, когда он приезжал из Петербурга в Дерпт, он прежде всего отправлялся поклониться этой могиле, которая находится на русском кладбище, вправо от почтовой дороги; возвращаясь из Дерпта в Петербург, он останавливался тут на прощание с могилою. Во все время пребывания своего в Дерпте он каждый день, один или в сопровождении родных и детей, посещал это для него святое место; даже зимою. Из всех картин, представляющих эту могилу, — он же много и сам их нарисовал и заказывал писать — преимущественно любил он одну, представляющую могильный холм в зимней обстановке: на свежем снегу видны следы; мужская фигура в плаще сидит у памятника. Сколько раз, в течение семнадцати лет, пока не оставил он Россию, побывал он на этом кладбище! И в последние годы жизни, когда он жил за границею, сердце влекло его сюда более, чем когда-либо. Здесь он надеялся устроить и свое последнее земное жилище, но его надежда не сбылась! В особенности грустен был для него один приезд (летом 1824 года), когда он провожал до Дерпта несчастного друга своего Батюшкова для излечения от душевной болезни. «Я еще раз был в Дерпте, — пишет он к Авдотье Петровне, — эта дорога обратилась для меня в дорогу печали. Зачем я ездил? Возить сумасшедшего Батюшкова, чтоб отдать его в Дерпте на руки докторские. Но в Дерпте это не удалось, и я отправил его оттуда в Дрезден, в зонненштейнскую больницу. Уже получил оттуда письмо. Он, слава Богу, на месте! Но будет ли спасен его рассудок? Это уже дело Провидения. В ту минуту, когда он отправился в один конец, а я в другой, то есть назад в Петербург, я остановился на могиле Маши: чувство, с каким я взглянул на ее тихий, цветущий гроб, тогда было утешительным, усмиряющим чувством. Над ее могилою небесная тишина! Мы провели с Мойером усладительный час на этом райском месте. Когда-то повидаться на нем с вами? Посылаю вам его рисунок; все, что мы посадили, цветы и деревья, принялось, цветет и благоухает».

Кроме собственного своего горя, Жуковский начал в это время встречать и другие огорчения. Уже с 1819 года стала заметна перемена в направлении действий правительства. Интриги Шишкова против Дашкова, Голенищева-Кутузова против Карамзина стали отражаться и на арзамасских друзьях. Император Александр I стал недоверчивым и подозрительным. Граф Аракчеев сумел сделаться главным двигателем государственного управления и устранять от близости к особе государя даже таких лиц, которые пользовались прежде полным его расположением и доверием. Так, даже князь А. Н. Голицын, министр духовных дел и народного просвещения, любимец императора Александра, пиетист и мистик, но человек благородных, честных правил, в 1824 году был удален со своего поста. Под его начальством служил один из дру-

зей Жуковского, А. И. Тургенев, и пользовался большою доверенностию князя; он тоже должен был оставить службу. Другой приятель Жуковского, Д. Н. Блудов, ввиду совершавшихся событий, тоже решился выйти в отставку и хотел переехать на житье в Дерпт, чтобы там спокойно заниматься воспитанием детей своих и литературными работами. Вообще, весь кружок арзамасцев приходил в расстройство. Арзамасцы, и в том числе Жуковский, вполне разделяли убеждения Карамзина, что в самодержавии хранится для России самый *надежный* залог могущества и что все противное тому может иметь вредные и даже гибельные для нее последствия. Но при всем том они ясно видели ошибки правительственных лиц и с горьким чувством встречали особенно цензурные стеснения. <...>

По вступлении на престол императора Николая Павловича, Жуковский был избран в наставники великого князя наследника и предполагал ехать вместе со двором на коронацию в Москву.

Между тем личные неприятные обстоятельства, а равно и сидячая жизнь мало-помалу так расстроили здоровье Жуковского, что жалко было смотреть на желтоватое, вздутое лицо его, на слабость и одышку, препятствовавшие ему взбираться на высокую лестницу новой его квартиры в Зимнем дворце. У Жуковского обнаружились большие завалы в печени и водянистые опухоли ног; явилась необходимость лечиться водами за границей. Ему назначено было употребление эмсских вод и покойная жизнь в Германии, с тем чтобы в 1827 году повторить еще раз курс лечения в Эмсе. Он надеялся отдохнуть нравственно и физически. Но жаль было ему отказаться от радостного свидания с родными в Москве и вместе расставаться на целый год с любимым своим питомцем. «Но не поехать за границу нельзя, — писал он, — чувствую, что могу навсегда потерять здоровье; теперь оно только пошатнулось. Если пренебречь и не взять нужных мер, то жизнь сделается хуже смерти. Прошу вас полюбоваться на моего ученика... Дай Бог ему долгой жизни и счастия! Это желание имеет великий смысл!»

В начале мая 1826 г. Жуковский пустился в дорогу. В Берлине он получил горестное известие о кончине Карамзина[45], к которому питал почти сыновнее уважение. В Эмсе и я провел вместе с Василием Андреевичем шесть недель. Воды принесли ему большую пользу. Там находился и Рейтерн, с которым он коротко сошелся, будучи еще в Дерпте[46]. В 1813 году, в сражении под Лейпцигом, Рейтерну оторвало ядром правую руку; тогда он стал рисовать левою рукой, и так удачно, что охотно посвящал все свое время живописи. <...>

Жилище Жуковского не только представляло мастерскую просвещенного художника, но и было убрано с изящною простотой. Большие кресла, диванчики, письменные столы, библиотека — все было установлено так, что тут он мог писать, там читать, а там беседовать с друзьями. На большом письменном столе, у которого он писал стоя, возвышались бюсты царской фамилии, в углах комнаты стояли гипсовые слепки с

античных голов, на стенах висели картины и портреты, которые напоминали ему его любимое прошедшее и отсутствующих друзей. Всякая вещь имела свое назначение, даже для будущего времени, которое он надеялся провести на родине, в кругу родных. В комнатах господствовал такой порядок, что их можно было принять за жилище какого-нибудь педанта, если бы любезный юмор самого хозяина не противоречил такому впечатлению. Жуковский, конечно, вступал уже в возраст старых холостяков; но сердце его, исполненное жаром любви и дружбы, было чуждо черствости, столь часто делающей жизнь несносною как для самих холостяков, так и для окружающих. Тихая меланхолия, наполнявшая душу Жуковского со смерти Марии Андреевны, только изредка выказывалась наружу в беседах с некоторыми друзьями, в обществе же он казался веселым и внимательным. Сидя в турецком халате на диване, с поджатыми под себя ногами, покуривая табак из длинного чубука с янтарным мундштуком, он походил на турецкого пашу, к чему много способствовало сложение его головы и несколько желтоватое лицо его. Широкий, короткий череп с высоким лбом, прямой профиль, квадратный оклад лица, не очень большие глаза, тучное телосложение, наклонность к неге, басовый голос — вот признаки, обнаруживавшие турецкую кровь в организме Жуковского.

Между тем судьба не переставала омрачать горизонт нашего друга густыми облаками, которые наконец собрались в страшную громовую тучу, разразившуюся над его сердцем. Племянница его Александра Андреевна Воейкова, опять переселившаяся из Дерпта в Петербург, начала сильнее прежнего страдать кровохарканием, так что врачи присоветовали ей отправиться в Южную Францию, в Гиер. Это было осенью 1827 года. Жуковский, снабдил ее всеми средствами переехать туда с детьми и прислугою. Но ни климат, ни врачи не помогли болезни, развившейся уже до высокой степени, а отдаление от друзей и родных еще более развило чахотку как бы осиротевшей на чужбине больной. Узнав в Монпелье о горестном положении Александры Андреевны, я поехал в апреле 1828 года в Гиер и вывез больную из скучной стороны на лето в Женеву; здесь она очень поправилась силами и оживилась духом в обществе образованных и любезных людей, каковы Бонштеттен, Эйнар и другие. Оставив сына Александры Андреевны, Андрея, в женевском пансионе, мы на зиму поехали в Пизу, где встретилось несколько русских семейств. Но к весне 1829 года у больной возобновились кровохаркания, и в феврале бедная страдалица скончалась. Мне было суждено быть на ее похоронах единственным представителем близких к ней людей и поставить на ее гробе, на старом греческом кладбище в Ливорно, такой же крест, какой шесть лет тому назад Жуковский поставил на могиле Марии Андреевны[47]. <...>

Несмотря на оказанное друзьями и даже царским семейством участие в горести Жуковского, с этой поры чувство осиротелости вкралось

в сердце его. Тщетно старались развлекать его в семействах Виельгорских, Блудовых, Карамзиных, Дашковых, Вяземских; нежная скорбь о потере постоянно подтачивала душу, и телесные силы его видимо ослабели — не только от подавленного сердечного страдания, но и оттого, что он усиленными работами старался преодолеть свою внутреннюю боль. <...>

Благоприятное влияние имело на душу Жуковского появление в это время новых поэтических талантов, и между ними он давно уже отличал Пушкина. Пушкин в это время (в 1831 году) прибыл из Москвы в Царское Село и решился провести там осенние месяцы. И Жуковский по причине холеры остался здесь с двором долее обыкновенного. <...>

Жуковскому стало веселее в обществе Пушкина; врожденный в нем юмор снова стал проявляться, и тогда написал он три шуточные пьесы: «Спящая царевна», «Война мышей и лягушек» и «Сказка о царе Берендее», напоминающие несколько счастливые времена арзамасских литературных шалостей. В последних двух мы узнаем некоторые намеки на известные литературные личности, которые в ту пору вели перестрелку в разных журналах. Рукопись этих произведений, как и в старое время, была отдана на суждение А. П. Елагиной, и при этом Жуковский писал ей: «Перекрестить Кота-Мурлыку из Фаддея в Федота, ибо могут подумать, что я имел намерение изобразить в нем Фаддея Булгарина»[48]. <...>

По желанию императрицы Александры Федоровны Жуковский предпринял переложение в русских стихах повести Ламот-Фуке «Ундина»[49], писанной в подлиннике прозою. Уже в 1817 году он начал было обрабатывать эту самую повесть для своего альманаха[50], но, дав ей только форму сказки в прозе, не докончил ее. «Ундина» есть одно из лучших произведений Фуке и одно из самых характеристических созданий немецкого романтизма. Еще при первом посещении Берлина Жуковский отыскал и полюбил Фуке[51]. <...>

Тому, кто коротко знаком с характером и жизнью Жуковского, многие места поэмы кажутся как бы прямо списанными с обстоятельств собственной жизни поэта; таково, например, начало V главы:

Может быть, добрый читатель, тебе случалося в жизни,
Долго скитавшись туда и сюда, попадать на такое
Место, где было тебе хорошо, где живущая в каждом
Сердце любовь к домашнему быту, к семейному миру
С новою силой в тебе пробуждалась —

и т. д.

Говоря так, Жуковский прибавляет к описанию старого рыбака и молодой Ундины такие черты, которых нет у Фуке. Они явно взяты из кружка родственных ему лиц; таково, например, описание и самой Ундины:

...Но мирной сей жизни была душою Ундина.
В этом жилище, куда суеты не входили, каким-то
Райским виденьем сияла она: чистота херувима,
Резвость младенца, застенчивость девы, причудливость никсы,
Свежесть цветка, порхливость сильфиды, изменчивость струйки...
Словом, Ундина была несравненным, мучительно-милым,
Чудным созданьем; и прелесть ее проницала, томила
Душу Гульбранда, как прелесть весны, как волшебство
Звуков, когда мы так полны болезненно-сладкою думой. <...> —
и т. д.

1837 год начался для Жуковского и для целой России под несчастным созвездием: 29-го января (в день рождения Жуковского) скончался Пушкин от смертельной раны, полученной на дуэли. Жуковский без соревнования уважал в нем поэта, одаренного гением выше его собственного, любил и оплакивал его, как своего сына. Последние минуты страдальца описаны им с трогательною подробностью в письме отцу великого поэта, Сергею Львовичу Пушкину. На Жуковского была возложена обязанность пересмотреть оставшиеся по смерти Пушкина рукописи и приготовить полное издание его сочинений. <...>

Следующий год и начало 1839 года он находился в свите его высочества, предпринимавшего путешествие по Европе. Некоторые отрывки из писем и описания этого путешествия были напечатаны по смерти Жуковского. В Риме наш друг нашел Гоголя и вместе с ним проводил целые дни, посещая хранилища изящных сокровищ Вечного города или рисуя виды прелестных окрестностей его[52].

Драматическая поэма Фр. Гальма (бар. Мюнх-Беллингаузен) «Камоэнс», только что вышедшая тогда в свет и, может быть, виденная им на Бургтеатре в Вене[53], сделала на него глубокое впечатление, так что поэт тотчас же начал перевод ее на русский язык. Мысли, высказанные в драме Камоэнсом, и некоторые обстоятельства жизни этого знаменитого поэта побудили Жуковского вести работу поспешно, как знамение собственного memento mori*. Действительно, он чувствовал себя не совсем здоровым и был в очень мрачном расположении духа. Портрет, снятый с него в то время в Венеции и присланный мне в подарок, представляет его сидящим в скорбном раздумье у письменного стола[54]. Он подписал под этим портретом последние слова умирающего Камоэнса:

Поэзия есть Бог в святых мечтах земли!

Даже в переводе видно, как много изменилось настроение его духа. Начало драмы по большей части прямой перевод с немецкого; но под конец Жуковский прибавил к подлиннику так много своего, что явно

---

* Помни о смерти (*лат.*).

намекал на самого себя. В рассказах Камоэнса он выпустил обстоятельства, которые не соответствовали событиям его собственной жизни: так, вместо слов Камоэнса, описывающего счастие первой любви к знатной особе при португальском дворе, Жуковский заставляет его говорить так:

О, святая
Пора любви! Твое воспоминанье
И здесь, в моей темнице, на краю
Могилы, как дыхание весны,
Мне освежило душу! Как тогда
Все было в мире отголоском звучным
Моей любви! Каким сияньем райским
Блистала предо мной вся жизнь с своим
Страданием, блаженством, с настоящим,
Прошедшим, будущим! О Боже, Боже! <...>

Соображая все обстоятельства последнего периода жизни Жуковского с этой исповедью Васко Кведеды, мы замечаем, что в то время, когда писан «Камоэнс», у нашего поэта начала ясно проявляться та религиозная мечтательность, которая под старость заменила романтизм его молодости. Поэзия всегда казалась ему даром небесным; но теперь она стала для него прямо «земною сестрой небесной религии». Поэтому Жуковский совершенно переменил последнюю минуту кончины Камоэнса, по Гальму. Вместо гения Португалии над головой умирающего является в образе молодой девы, увенчанной лаврами и с сияющим крестом на груди, сама Религия. <...>

Из всех знакомств, сделанных Жуковским в Италии, самое приятное впечатление произвело на него свидание с Манцони в Милане. «Un comme il faut plein d'attrait, — пишет он к И. И. Козлову, — une finesse, réunie à une cordialité simple, une noblesse sans parade, réunie à une modestie charmante, qui n'est pas le résultat d'un principe, mais le signalement d'une âme élevée et pure*. Таков казался мне Манцони»[55]. В Турине он познакомился с Сильвио Пеллико. «C'est l'homme de son livre**. Лучшая похвала, какую только можно сделать ему»[56].

По возвращении в Россию два радостные события ожидали Жуковского: бородинская годовщина и свидание с родными в Муратове. <...>

Нечаянные события всегда делали на душу Жуковского глубокое впечатление, и если он, повинуясь такому волнению, наскоро набрасывал свои мысли на бумагу, то стихи его выходили особенно удачными. Так и новая «Бородинская годовщина» поражает свежестью картин и

* Человек порядочный и привлекательный, — тонкость, соединенная с простою откровенностью, благородство ненапыщенное, вместе с приятною скромностью, которая не есть результат принципа, а выражение возвышенной и чистой души (*фр.*).

** Это — человек своей книги (*фр.*).

верностью передачи общего настроения. Пусть французские историки приписывают себе победу на Бородинском поле, но в словах русского певца, как на мраморном памятнике, изображена истина. <...>

Другая радость, которая ожидала нашего друга в это самое время, была встреча с дорогими родными в Москву, о которой он извещает Екатерину Ивановну Мойер письмом из-под Бородина: «Катя, душа моя, и прочие души мои, теперь живущие в Москве, я к вам буду вслед за этим письмом, и для этого мне писать к вам более нечего. Ждите меня. После Бородинского праздника все отправимся вместе восвояси по старому тракту. Мойер, мой добрый Мойер отправляется один в Дерпт и будет в Москве скоро после моего приезда. Загуляем вместе! Чистое раздолье!» <...>

Грустное чувство овладевает нами, когда мы перечитываем письма, писанные нашим другом на родину в течение двенадцати последних лет его жизни — с берегов Рейна и Майна. Мы не должны вдаваться в обман, читая некоторые из этих писем. Жуковский, видимо, старался оправдывать любимое свое изречение: «Все в жизни к прекрасному средство!» Но мы и в то время не сходились с ним во взгляде на заграничную жизнь его. Счастие, к которому тщетно он стремился в самую цветущую пору зрелых лет, — мирная, задушевная жизнь на родине, в кругу родных и детей, — это, казалось, должно было неожиданно осуществиться для него на чужбине на 58-м году жизни, как награда за все лишения и труды. Приехав летом 1840 года из Дармштадта в Дюссельдорф для свидания с Рейтерном, Жуковский, в минуту поэтического воодушевления, забыл прежние свои мечты, забыл свое *прошедшее* и обручился с прекрасною восемнадцатилетнею дочерью своего друга. Таким образом, он составил себе свой собственный семейный круг из лиц, которым мягкая, восприимчивая душа Жуковского предалась очень скоро. Но так же скоро почувствовал поэт и разлад с самим собою. Новая жизнь не вязалась с тем, что выработалось в нем, с чем он сжился, — она отрывала его от прежних образов, связей и мечтаний. Сколько ни старался он уверить себя и друзей своих, что именно теперь счастлив и в семейных заботах умиротворил свой дух, узнал, что такое истинное счастие на земле, — сквозь подобные уверения всегда слышалось, что счастие, им достигнутое, не есть вполне то, к которому он стремился в своей молодости, и невольно вспоминал я слова из его же элегии:

Я счастья ждал — мечтам конец,
Погибло все, умолкла лира:
Скорей, скорей в обитель мира,
Бедный певец![57]

Но не будем опережать рассказа.

Воспитание государя наследника и великих княжон было окончено; но Жуковскому пришлось еще сопровождать государя наследника в

Дармштадт, по случаю обручения его с высокою невестою, принцессою Дармштадтскою. Наш друг думал после кратковременного пребывания за границею возвратиться в Россию с тем, чтоб остаток дней своих провести в Муратове с сестрою Екатериной Афанасьевною Протасовой и с ее внуками. Намерение поселиться около Дерпта, в купленном им имении, с тем, чтобы жить там с нею и с семейством Мойера, не могло осуществиться: Мойер, оставив должность профессора, отправился со своею свекровью в имение своих детей, Бунино. Дерпт потерял для нашего друга свое прежнее значение, и только могила Марии Андреевны оставалась там памятником прошедших дней, радостных и горестных. Владеть далее упомянутым имением не доставляло ему уже никакого удовольствия и вело за собою только издержки. Он намерен был продать его.

Но вот он обручился с дочерью Рейтерна, родственники которого жили в Лифляндии, и снова стал подумывать о своем переселении на мызу Мейерсгоф. Он поручил управление этим имением дяде своей невесты, заказал одному архитектору план для перестроек и увеличения и без того уже огромного мейерсгофского дома, но вышло иначе! Краткое пребывание Жуковского в семейном кругу его невесты в Дюссельдорфе побудило его еще раз изменить свои намерения: он отказался от мысли поселиться в Дерпте и решился провести несколько времени за границей, а потом водвориться с молодою супругою в Москве. <...>

Вместе с имением Жуковского я приобрел и всю его мебель и переместил ее тотчас в свою квартиру. Его библиотека и драгоценные коллекции картин, бюстов, рисунков и т. п. должны были до его переселения в Москву перейти на сохранение в Мраморный дверец. Но он передал мне три небольшие свои картины с тем, чтоб они висели у меня над его большим письменным столом так, как прежде они висели у него самого. Это были превосходный портрет покойной Марии Андреевны Мойер, писанный профессором Зенфом в Дерпте; гробница ее на дерптском кладбище и гробница покойной Александры Андреевны Воейковой на греческом кладбище в Ливорно.

Приближался день отъезда Жуковского из Петербурга. В последний раз хотел он отобедать у меня и отведал своего любимого блюда — крутой гречневой каши. После обеда подошел он, грустный, к своему письменному столу. «Вот, — сказал он, — место, обожженное свечой, когда я писал пятую главу „Ундины“. Здесь я пролил чернила, именно оканчивая последние слова „Леноры“: „Терпи, терпи, хоть ноет грудь!“ И в его глазах навернулись слезы. Вынув из бокового кармана бумагу, он сказал: „Вот, старый друг, подпиши здесь же, на этом месте, как свидетель мое заявление, что я обязываюсь крестить и воспитывать детей своих в лоне православной церкви. Детей моих! Странно!“»

Пока я подписывал эту бумагу, Жуковский, опершись на руку, задумчиво смотрел на три упомянутые картины. Вдруг он воскликнул:

«Нет, я с вами не расстанусь!» И с этими словами вынул их из рам, сложил вместе и велел отнести в свою карету. При прощании он подарил мне рельефный свой портрет, который был сделан в 1833 году в Риме[58]. «Береги его, — сказал он, — и поверь словам, которые я вырезал на нем:

Для сердца прошедшее вечно!»[59]

Таким образом, Жуковский оставил Петербург — навсегда!

5-го мая он приехал в Дерпт. Там находился сын Александры Андреевны Воейковой в пансионе — девятнадцатилетний юноша, красивый и здоровый, но оставшийся слабоумным вследствие скарлатины, выдержанной им еще в детстве в Женеве. Жуковский распорядился, чтоб отправить его в Бунино к Мойеру и Екатерине Афанасьевне. После этого Василий Андреевич посетил в последний раз могилу Марии Андреевны и — расстался с милым *прошедшим*.

С глубокою раною в сердце покинул он Россию. На берегах Рейна он надеялся найти целительный бальзам в кругу нового семейства. Наперед, однако ж, он хотел обеспечить будущность трех дочерей покойной Александры Андреевны Воейковой. Разделив полученные от продажи имения 115 000 руб. асс. на три равные части, он назначил их им в приданое. От материнского состояния досталось Воейковым очень мало, так как имение принадлежало слабоумному брату, который находился под опекой дяди, Ивана Федоровича Воейкова. Впоследствии, в 1846 г., вспоминая дни, проведенные с девицами Воейковыми на мызе Эллистфер, близ Дерпта, еще в 1836 г., Жуковский писал ко мне: «В эллистферском доме родилась у меня сумасбродная мысль купить расстроенный Мейерсгоф», из чего, по милости Божией (которая из человеческого безумства творит благо), составился единственный капитал *своим* внучкам в ту именно пору, когда он сам надеялся иметь детей, *было поступком, вполне изображающим доброе сердце нашего друга.* <...>

Еще прежде того, в 1821 году, он впервые посетил Швейцарию, в цвете сил и здоровья. Любопытно сравнить между собою путевые записки этих двух эпох по отношению к тому впечатлению, какое Швейцария произвела на него в обе эти поездки. В 1821 году изящная природа поражает его, не вызывая особенных размышлений; напротив того, во второе посещение Швейцарии, в 1833 году, зрелище величественной природы пробуждает в Жуковском уже более строгие помышления о мироздании; в промежуток между этими двумя эпохами ему удалось несколько расширить круг своих положительных знаний о природе, и это вызвало в нем несколько философских размышлений о ней, хотя, впрочем, отвлеченная работа мысли мало соответствовала складу его ума, как он и сам сознался в этом. <...>

В прекрасной долине между Цюрихским и Люцернским озерами Жуковский посетил одну местность, в которой горные обвалы завалили

несколько деревень и обратили прелестный уголок Гольдау в пустыню, покрытую грудою камней. По словам предания, за несколько веков пред сим рядом с этою местностью также обвалилась гора и также уничтожила несколько селений. Нужно было пройти сотням лет, чтобы развалины могли покрыться слоем плодородной земли, на которой поселилось новое поколение, совершенно чуждое погибшему.

«Вот история всех революций[60], — рассуждает Жуковский, — всех насильственных переворотов, кем бы они производимы ни были, бурным ли бешенством толпы, дерзкою ли властию одного! Разрушать существующее, *жертвуя справедливостию*, жертвуя настоящим для возможного будущего блага, есть опрокидывать гору на человеческие жилища с безумною мыслию, что можно *вдруг* бесплодную землю, на которой стоят они, заменить другою, более плодоносною. И правда, будет земля плодоносна; но для кого и когда? Время возьмет свое, и новая жизнь начнется на развалинах; но это дело его, а не наше; мы только произвели гибель, а произведенное временем из созданных нами развалин нимало не соответствует тому, что мы хотели вначале. Время — истинный создатель, мы же в свою пору были только преступные губители; и отдаленные благие следствия, загладив следы погибели, не оправдывают губителей. На этих развалинах Гольдау ярко написана истина: *средство не оправдывается целью; что вредно в настоящем — то есть истинное зло, хотя бы и было благодетельно в своих последствиях; никто не имеет права жертвовать будущему настоящим и нарушать верную справедливость для неверного возможного блага...* Иди шаг за шагом за временем, вслушивайся в его голос и исполняй то, чего он требует. *Отставать от него столь же бедственно, как и перегонять его.* Не толкай горы с места, но и не стой перед нею, когда она падает; в первом случае сам произведешь *разрушение*, в последнем не отвратишь *разрушения;* в обоих же неминуемо погибнешь. Но, работая беспрестанно, неутомимо, наряду со временем, *отделяя от живого то*, что уже умерло, *питая* то, в чем еще таится *зародыш жизни*, и *храня* то, что *зрело и полно жизни*, ты безопасно, без всякого гибельного потрясения, произведешь или *новое необходимое*, или уничтожишь *старое*, уже бесплодное или вредное. Одним словом, *живи и давай жить*, а паче всего: *блюди Божию правду*... Но довольно о моей горной философии».

Эти мысли Жуковского любопытны не только потому, что определяют взгляды его на исторические события в мире, но и потому еще, что указывают на то, в какое время и при каких условиях они развились в нем; больной, среди семейства Рейтерна, при поэтических работах, он не терял из виду и главной задачи своей внешней и внутренней жизни.

Таково было настроение его духа еще в 1833 году, когда он впервые познакомился с Елизаветою Алексеевною. Он смотрел на нее тогда то взглядом поэта, который писал первые главы «Ундины», то взглядом отца или деда, приятеля ее отца. Молоденькая девушка видела в

почтенном, радушном старике как бы члена своего семейства, уважаемого ее родителями; она прислушивалась к важным беседам обоих стариков; она видела, как ее отец сочувствовал поэтическим произведениям Жуковского; она слышала, как Жуковский хвалил и обсуживал картины ее отца[61]. Все эти впечатления она и перенесла в Дюссельдорф, куда переехали ее родители и где тоже часто упоминалось имя вернейского друга, так как и после пребывания в Швейцарии Жуковский и Рейтерн не прерывали обмена мыслей в переписке. По ходатайству поэта, Рейтерн был назначен придворным живописцем, с дозволением жить за границей, откуда он представлял свои картины к императорскому двору. Жуковский обыкновенно вправлял их в рамы и выставлял у себя. Таким образом, дружба и взаимные услуги связали семейство Рейтерна с нашим поэтом. Могла ли живая, чувствительная девушка не сохранить сердечного воспоминания о своем старом друге и не питать к нему душевного расположения? Дни, проведенные на берегу Женевского озера, без сомнения, озаряли ее душу такими прекрасными впечатлениями, каких недоставало ей дома[62]. Ее мать, урожденная Шварцель, была знакома с некоторыми представителями мрачно-пиетического круга католической пропаганды в Касселе, и вообще в тридцатых и сороковых годах сентиментальный пиетизм был очень распространен преимущественно в женском обществе многих прирейнских городов, и в том числе Дюссельдорфа.

Тот, кто знаком с этим болезненным настроением души, кто видел, какие вредные последствия на умственное и физическое развитие детей оказывает боязливая замкнутость и отчуждение от разумного, мышления в семьях, беспрестанно вздыхающих о людской греховности, тот легко поймет, что появление Жуковского в круге Рейтерна в 1840 году должно было произвести необыкновенное впечатление на Елизавету Алексеевну, которая, несмотря на свое здоровое сложение, отличалась какою-то нервною подвижностью и мечтательностью. Со своей стороны и Жуковский, вступая в дом своего задушевного друга, невольно считал себя как бы помолодевшим; поэтическое воображение воссоздавало перед ним то время, когда он писал:

И заключен святой союз сердцами:
Душе легко в родной душе читать;
    Легко, что сказано очами,
Устами досказать[63].

«За четверть часа до решения судьбы моей, — пишет Жуковский к Екатерине Ивановне Мойер, — у меня и в уме не было почитать возможным, а потому и желать того, что теперь составляет мое истинное счастие. Оно подошло ко мне без моего ведома, без моего знания, послано свыше, и я с полною верою в него, без всякого колебания, подал ему руку».

21-го мая 1841 года совершилась свадьба Жуковского в церкви русского посольства в Штутгарте, а вслед за тем он поселился в Дюссельдорфе, вместе с тестем. Вскоре он начал заниматься своими литературными работами и познакомился с кругом друзей семейства Рейтерна. Друзья, посещавшие его здесь, и в том числе любимая его племянница, Авдотья Петровна Елагина, находили его довольным и веселым в его новой обстановке.

В первый год своей супружеской жизни Жуковский написал три сказки белыми стихами, которые свидетельствуют о довольно веселом настроении его духа. Первая из них, «Об Иване-царевиче и Сером Волке», заимствована из собрания немецких сказок, составленного братьями Гримм, но облечена в русскую народную форму; впрочем, сказка такого же содержания существует у многих народов, в том числе и у русских. Жуковский любил это свое произведение. «Если ты не читал „Ивана-царевича“, — писал он ко мне, — то прошу непременно его прочитать: он также принадлежит к моим любимым детям. С ним я дал себе полную волю и разгулялся нараспашку». И действительно, Жуковский вложил в эту сказку так много оригинального, что она была переведена обратно на немецкий язык и вышла в свет с предисловием Юстина Кернера.

Такою же веселостью отличается и другая сказка, извлеченная нашим поэтом из сборника Гримм: «Кот в сапогах». Но в то же время он перевел из того же собрания и третью сказку: «Тюльпанное дерево», содержание которой отличается грустным характером. Зная, что у Жуковского стихи всегда были отражением душевного его состояния, мы должны думать, что уже тогда грусть начала вкрадываться в его душу, несмотря на радость семейной жизни. <...>

Чувства, которые доныне Жуковский выражал радостными и непринужденными словами и даже гимнами ко Всевышнему, заглушаются пред каким-то неведомым, таинственным страхом. Весьма разительно для нас повторение одного и того же слова в приведенном письме: *верить, верить, верить!*[64] Нас глубоко трогает пламенная вера Жуковского; но нельзя не признать, что в то время, о котором мы говорим, наш друг стал уже выходить из границ тех верований, которые он питал прежде. В статье «Нечто о привидениях», напечатанной после смерти его, он с любовью рассказывает о тех случаях, когда кому-нибудь грезилось видеть наяву или слышать сверхъестественные вещи. Про себя и жену он сообщает подобные случаи, доказывающие усиленную в обоих нервную восприимчивость. <...>

К счастью, Жуковский не вполне предавался подобным странностям. Он продолжал заниматься своими литературными работами, уединяясь в своем кабинете, в котором, казалось, переносился в прежнюю атмосферу своей душевной жизни. Он читал переводы произведений древнеиндийской литературы, сделанные Рюккертом и Боппом, и задумал переложить на русский язык одну из индийских повестей для подне-

сения великой княжне Александре Николаевне. Эту повесть, называемую «Наль и Дамаянти», он кончил в начале 1842 года. После того он принялся за перевод «Одиссеи». В ноябре 1842 года у него родилась дочь, и этим событием, действительно, довершилось семейное счастье нашего друга. Но почти всю осень и часть зимы он, жена его и сам Рейтерн были больны, и это, конечно, было объяснено некоторыми лицами из их круга как посылаемое свыше *испытание за грехи*. Наконец весною 1843 года больные выздоровели, и Жуковский послал к великой княжне Александре Николаевне переписанную набело и исправленную рукопись повести «Наль и Дамаянти» с пояснением, в котором он в ряду сновидений вспоминает все фазисы им пережитой жизни. <...>

Жуковский рассказал индийскую повесть гекзаметром, но не гомеровским, а *сказочным*, о котором говорил, что этот гекзаметр, будучи совершенно отличным от гомеровского, «должен составлять средину между стихами и прозою, то есть, не быв прозаическими стихами, быть, однако, столь же простым и ясным, как проза, так, чтобы рассказ, несмотря на затруднение метра, лился как простая, непринужденная речь. Я теперь с рифмою простился. Она, я согласен, дает особенную прелесть стихам, но мне она не под лета... Она модница, нарядница, прелестница, и мне пришлось бы худо от ее причуд. Я угождал ей до сих пор, как любовник, часто весьма неловкий; около нее толпится теперь множество обожателей, вдохновенных молодостью; с иными она кокетствует, а других бешено любит (особенно Языкова). Куда мне за ними?» <...>

На дороге в Эмс, где Жуковскому с женою назначено было пробыть три недели, он встретился с Гоголем, который и проводил их туда. Из Рима, где Гоголь провел зиму 1842—1843 года, он пишет опять к Жуковскому: «Где хотите провести лето? Уведомьте меня об этом, чтоб я мог найти вас и не разминуться с вами. Мне теперь нужно с вами увидеться: душа моя требует этого». Не получив ответа на эту просьбу, Гоголь в марте 1843 года повторяет: «Желание вас видеть стало во мне еще сильнее». Наконец ему удалось поселиться в Дюссельдорфе и провести осень и часть зимы 1843 года с Жуковским. Из многих писем Гоголя видно, как сильно занимали его религиозные вопросы. И притом он не довольствовался тем, что сам питал в себе религиозное направление; он хотел сообщить его и другим. Около этого времени он поручает С. П. Шевыреву купить четыре экземпляра «Подражания Христу» Фомы Кемпийского, один для себя, а другие — для М. П. Погодина, С. Т. Аксакова и Н. М. Языкова. Живописцу А. А. Иванову он пишет: «Вы еще далеко не христианин, хотя и замыслили картину на прославление Христа и христианства». Одной даме он советует читать «Élévation sur les mystères de la religion chrétienne» и «Traité de la concupiscence»*

* «Восхождение к таинствам христианской религии», «Трактат о вожделении» (*фр.*).

Боссюэ и т. п. Близость такого тревожно настроенного, самим собою недовольного человека не могла не иметь влияния на душу Жуковского, в котором сношения с дюссельдорфскими кружками и без того уже возбудили желание сделать проверку своим религиозным убеждениям. Притом же жена Жуковского опять захворала расстройством нервов и для лечения поехала в Эмс. Вот стечение тех обстоятельств, которые стали тревожить ясную душу Жуковского. <...>

Гоголь сам предавался чрезвычайной хандре; тревожное, нервическое беспокойство и разные признаки общего расстройства его организма стали до того сильны, что доктор Копп посоветовал ему сделать небольшое путешествие — настоящее средство для таких больных, которые только расстраивали друг друга взаимными религиозными утешениями. В начале января 1845 года Гоголь поехал в Париж; здесь в скором времени он получил известие о рождении сына у Жуковского. В ответ на это уведомление Гоголь поспешил подать счастливому отцу совет молить у Бога о ниспослании сил быть ему благодарным. Но радостное семейное событие и без того наполняло душу Жуковского умилением и теплым религиозным чувством. Жуковский и без того был благодарен! Он говорил о своем счастии во всех письмах. <...>

Жуковскому советовали в то время возвратиться с семейством на родину; он согласился было, обрадовался мысли быть опять вместе со *своими* и тотчас же, в июне 1845 года, прислал мне доверенность для того, чтобы получить, по приложенному реестру, вещи его, хранившиеся в Мраморном дворце. Но вышло иначе: он остался во Франкфурте, где, как и в Дюссельдорфе, дом его сделался средоточием всех людей, отличавшихся умом и образованностью, и где часто навещали его русские путешественники. Жуковский жил открыто, даже роскошно, и это не очень нравилось некоторым членам семейного круга; но друг наш имел на то свои причины и слушался советов своего домашнего врача. Комнаты его двухэтажного дома, согретые русскими печами, были наполнены мебелью и книжными шкапами и украшены бюстами царского семейства, антиками и картинами. Он держал экипаж и заботился о туалете своей жены. <...>

Мы часто видели в жизни Жуковского — чем сильнее какая-нибудь мечта тревожила его душу, тем ярче она олицетворялась в его стихотворениях, а потому и в настоящем случае мы решаемся на следующее предположение: нам кажется, что изображенное яркими красками беспокойство капитана Боппа[65] указывает на душевное настроение самого автора. Человек истинно добродетельный и с детства пламенно преданный вере на старости, под пиетическим влиянием окружавшей его среды, был доведен до душевного аскетизма и до такой степени поддался было этому учению, что диалектическими усилиями старался доказать своим друзьям, которые упрекали его в унылости духа, что его меланхолия не есть меланхолия и что у христианина «*уныние* образует

животворную *скорбь*[66], которая есть для души источник самобытной и победоносной деятельности». При таком настроении и при усиливающихся телесных недугах Жуковскому становилось все душнее, скучнее и грустнее за границей, тем более что он не мог еще дать себе ясного отчета о настоящей причине своей душевной скорби, о разладе в его религиозных понятиях. Вдруг, в конце февраля 1846 года, Гоголь опять является во Франкфурте, расстроенный телом и духом; он приписывает поветрию этого года то, что было, может быть, господствующим недугом в кружке друга его Жуковского. <...>

Можно себе представить, что присутствие больного друга тоже не развеселило Жуковского. К счастию, к нему явился А. И. Тургенев и немного разогнал мрачные тучи в доме поэта. В апреле наш друг был бодр духом и принялся писать кое-какие «Размышления»[67]. Ему опять было предписано врачом ехать с женою на лето в Швальбах, куда в июле заехал к нему на несколько дней и Гоголь. Но Жуковскому эти воды принесли мало пользы; зато по возвращении во Франкфурт два приятных известия из России расшевелили его немного: одно — о помолвке Екатерины Ивановны Мойер[68] за сына А. П. Елагиной, Василия Алексеевича, а другое — о пребывании императрицы Александры Федоровны в Германии на пути ее в Палермо. Он тотчас собрался с женою и дочерью в дорогу навстречу государыне и ожидал ее в Нюренберге. Узнав, что она не остановилась в этом городе и пробудет только некоторое время в Берлине, Жуковский отвез жену и дочь в город Гоф и, оставив их там, отправился в Берлин. Из Нюренберга он успел 4/16 сентября 1845 года написать к Е. И. Мойер и В. А. Елагину поздравление их с помолвкой и притом высказал свои мысли о женитьбе. <...>

Остается дополнить эту картину описанием того, как во Франкфурте праздновали день свадьбы Е. И. Мойер. Перед нами пять писем об этом предмете на разных языках (на русском, французском и немецком) к разным лицам в Бунино. Правду сказать, содержание их одно и то же, но это-то более всего и характеризует настроение духа в доме нашего друга. В то время, когда, как думали Жуковские, происходило венчание Екатерины Ивановны и Василия Алексеевича в бунинской церкви, — и Василий Андреевич, и жена его, и дети их молились на коленях за счастие новобрачных, читали те места из Св. Писания, которые по церковному обряду произносятся при совершении таинства, и после того, уже по-немецки, то, что для благочестивых католиков предписано читать на 11/20 января. Еще в шесть часов утра на этот день Жуковский писал Екатерине Ивановне, благословляя вступление ее на путь супружеской жизни, «ведущий к Спасителю прямее другого, потому что мы на нем короче узнаем то добро, какое в душе нашей есть, и то зло, какое надобно из ней истребить; потому что на нем более, нежели на каком другом, встречаются те *испытания*, какие наиболее стремят нас к вере, знакомят нас с упованием на помощь свыше, учат смирению,

наполняют сердце преданностию к воле Божией». К этим словам умиления Жуковский считает, однако, нужным прибавить:

«Но обманывать себя не надобно! Только начнется для тебя настоящая работа жизни: семейная жизнь есть беспрестанное *самоотвержение*, и в этом самоотвержении заключается ее тайная прелесть, если только знает душа ему цену и имеет силу предаться ему (и эта сила нужна гораздо более в *мелких*, ежедневных обстоятельствах, нежели в *высших*, редких). Тебя, однако, милая Катя, такая школа устрашать не может: ты уже с успехом прошла ее нижние классы и теперь переведена в верхний класс с хорошими предварительными знаниями, с большою охотою учиться и доучиться ей с большим естественным для того талантом, так что я могу, не опасаясь ошибиться, тебе предсказать, что со временем ты будешь весьма порядочным профессором своей науки, в чем, конечно, мой почтенный крестник тебе не уступит: он поможет тебе заслужить и получить профессорское звание» — и т. д.

В заключение письма своего Жуковский, уже шутя, приводит несколько строк из переводимого им Гомера. Гомер, говорит он, «зная, как поэт, все предвидящий и все знавший, что некогда переведена будет мною его „Одиссея“, зная также и то, что в то время, как я буду ее переводить, должен будет жениться мой крестник, вот что сказал он, обращаясь мысленно к невесте этого крестника, которую на всякий случай назвал Навзикаей:

О, да исполнят бессмертные боги твои все желанья,
Давши супруга по сердцу тебе с изобилием в доме.
С миром в семье! Несказанное там водворяется счастье,
Где однодушно живут, сохраняя домашний порядок,
Муж и жена, благомысленным людям — на радость, недобрым
Людям — на зависть и горе, себе — на великую славу».

<...> Хотя Жуковский и остался за границей для окончания перевода «Одиссеи», но не имел ни охоты, ни сил приняться за эту работу. Из написанных им в это время вышеупомянутых «Размышлений» видно, что душа его по-прежнему была занята религиозными и отчасти философскими мыслями, 1846-ой год был для Жуковского особенно тяжел. А. И. Тургенев, друг его молодости, провел некоторое время под его кровлею как будто для того только, чтобы проститься с ними и оставить семейству Жуковского живое воспоминание о себе: приехавши в Москву, он заболел и внезапно умер. Из круга дюссельдорфского знакомства Жуковского скончался некто г. Овен, друг Рейтерна, и, кроме того, Радовиц лишился своей единственной пятнадцатилетней дочери. Кончина ее глубоко поразила сердце отца и матери и возбудила истинное сожаление во всем семействе Жуковского. Наконец, в марте месяце, через шесть недель после свадьбы сына, скончался в Москве муж Авдотьи

Петровны, Алексей Андреевич Елагин; эти утраты в кругу близких вызывают в Жуковском мрачные мысли о возможности близкой кончины, и он пишет свое завещание. К тому же тревожила Жуковского и усиливающаяся болезнь Гоголя, жившего в Риме, а многие выражения его в «Переписке с друзьями» возбудили в Василии Андреевиче беспокойство о душевном состоянии друга. «Последняя половина 1846 года была, — как пишет сам Жуковский ко мне, — самая тяжелая не только из двух этих лет, но из всей жизни! Бедная жена худа, как скелет, и ее страданиям я помочь не в силах: против черных ее мыслей нет никакой противодействующей силы! Воля тут ничтожна, рассудок молчит». <...>

Сопровождая Елизавету Алексеевну в Эмс, Жуковский имел удовольствие прожить здесь под одною кровлею с А. С. Хомяковым. «Хомяков — живая, разнообразная, поэтическая библиотека, добродушный, приятный собеседник, — пишет Жуковский к князю Вяземскому. — Он мне всегда был по нутру; теперь я впился в него, как паук голодный в муху: навалил на него чтение вслух моих стихов; это самое лучшее средство видеть их скрытые недостатки; явные все мною самим были замечены, и, сколько я мог, я с ними сладил. К нам подъехал и Гоголь на пути своем в Остенде, и мы на досуге триумвиратствуем».

Жуковский занялся в это же время подготовлением нового издания своих стихотворений, и среди этих занятий душа его как будто помолодела на несколько десятков лет. После окончания лечебного курса в Эмсе, который имел благотворное влияние на Елизавету Алексеевну, Жуковский снова переехал на свою зимнюю квартиру во Франкфурт; около этого времени он послал несколько повестей и первые двенадцать песен «Одиссеи» в Петербург для цензурования и длинное письмо к Гоголю для помещения в «Москвитянине»[69]. Граф Уваров предполагал тогда праздновать 50-летний юбилей литературной деятельности Жуковского, но так как Жуковский не приехал в Россию, то и юбилей его не состоялся[70], а маститый поэт препроводил к Уварову рукопись своей «Одиссеи» с письмом[71] и с благодарностью за такую заботливость «о старом своем сослуживце под знаменами «Арзамаса».

Кроме «Одиссеи» Жуковский возобновил свои труды и над начатою им обработкою «Рустема и Зораба». Повесть эта заимствована Рюккертом из царственной книги Ирана «Шах-Намэ»; Жуковский воспользовался Рюккертовым переложением. Его, видимо, занимал образ Зораба, сына иранца от матери-туранки. В жилах нашего поэта тоже текла туранская кровь.

«Эта поэма не есть чисто персидская, — писал он ко мне. — Все лучшее в поэме принадлежит Рюккерту. Мой перевод не только вольный, но своевольный: я много выбросил и многое прибавил. Прибавил именно то, что тебя ввело в недоумение: явление девы ночью к телу Зораба. Но ты ошибся, приняв эту деву телесную за дух бесплотный. Это не умершая Темина, а живая Гурдаферид, которая пророчила Зорабу

его безвременную смерть и обещала плакать по нем, и исполнила свое обещание. Он, умирая, на это надеялся, а она, как будто почувствовала вдали его желание, принесла ему свои слезы: сердце сердцу весть подает.

И эпизод прощания с конем принадлежит мне. Я очень рад, что тебе пришлась эта поэма по сердцу; это была для меня усладительная работа».

И действительно, приятно было слышать в этой поэме отголосок прежнего романтизма Жуковского. Как будто украдкою взял он из прежних своих произведений вышеупомянутые два эпизода, из которых первый напоминает сходный эпизод в «Песни барда над гробом славянпобедителей», а другой — в балладе «Ахилл». Но в последней повести Жуковского явление таинственной девы у гроба и прощание старика отца с конем умершего сына делают особенно трогательное впечатление на читателя, знающего, в каком смущении сердца поэт писал эти стихи.

Как тяжелые стихи немецкого «Наля» превратились под рукою Жуковского в плавно текущие гекзаметры, так и вместо вялого шестистопного стиха Рюккертова «Рустема» русский поэт избрал для своей повести четырехстопный ямб без рифмы, а в иных местах, смотря по содержанию поэмы (например, в письме оторопевшего от приближения туранских войск к Белому Замку защитника крепости Гездехема), употреблял и живой трехстопный ямб. Вообще изложение у Жуковского сокращеннее, события следуют быстрее одно за другим, выключены некоторые эпизоды, ничего не прибавлявшие к развитию действия. <...>

В прежнее время Жуковский был поэтом совершенно по влечению сердца и высказывал в стихах лишь то, что занимало его душу:

Мне рок судил —
Творца, друзей, любовь и счастье воспевать.
Так! Петь есть мой удел[72].

Но при переводе «Одиссеи» перед глазами его мерцала совсем другая цель. Он употребил для ее достижения целые годы и достиг ее счастливо. Ни о каком своем труде не говорил и не переписывался он так пространно и со столькими лицами, как об «Одиссее». Он не знал греческого языка, по крайней мере в такой степени, чтобы читать свободно самый подлинник. Гомер был ему известен по немецким, французским и английским переводам. По русскому переложению Гнедича познакомился он с «Илиадою», а некоторые эпизоды ее переводил и сам уже прежде 1829 года[73]. На перевод «Одиссеи» смотрел он как на высшую задачу своей поэтической деятельности и притом хотел потешить себя на просторе поэтическою болтовней. Дюссельдорфский профессор Грасгоф, по просьбе Жуковского, переписал «Одиссею» и под каждым греческим словом поставил немецкое слово, а под каждым немецким

грамматический смысл подлинного. «Таким образом, — пишет Жуковский, — я мог иметь перед собою весь буквальный смысл „Одиссеи“ и иметь перед глазами порядок слов. В этом хаотически верном переводе, недоступном читателю, были собраны передо мною все материалы здания: недоставало только красоты, стройности и гармонии. Мне надлежало из данного нестройного выгадывать скрывающееся в нем стройное, чутьем поэтическим отыскивать красоту в безобразии и творить гармонию из звуков, терзающих ухо, и все это не во вред, а с верным сохранением древней физиономии оригинала. В этом отношении и переводной *может* назваться произведением оригинальным»[74]. На такую обработку, какая обозначена в этих строках, Жуковский был всего более способен. Везде в переложении «Одиссеи» он старался сохранить простой сказочный язык, избегая важности славяно-русских оборотов, и по возможности соглашал обороты русского языка с выражениями оригинала. При семилетнем заботливом труде над переводом, при совещаниях со сведущими эллинистами Жуковский значительно освоился с Гомером; и собственное его поэтическое чутье руководило им в понимании древнего певца гораздо лучше, нежели одно глубокое знание греческого языка — многими филологами. Передавая на русский язык девственную поэзию Гомера и гармонию его речи, наш поэт должен был проникать прямо в самый гений Гомера, не находя себе посредника в языке его. Само собою разумеется, что он не имел в виду похвастать перед публикою знанием языка ему чуждого, но этот совестливый, долговременный и тяжелый труд совершен был с полным самоотвержением, чисто ради одной прелести труда. Жуковский хотел пересадить пышный цвет древнего греческого вдохновения на русскую почву, как прежде он поступал с творчеством Древней Индии, переложив «Наля и Дамаянти». <...>

Жуковский был чрезвычайно благодарен всякому, кто хотя немного интересовался его «Одиссеей». <...>

Пришла весна 1851 года. Жуковский стал приготовляться к переезду в Россию и, между прочим, поручил мне заказать мебель к его приезду в Дерпт.

«Еще я должен предупредить тебя, — прибавляет он при этом, — что я скалю зубы на тот высокий стол, который ты купил у меня при отъезде. Если он существует, то ты должен будешь его мне перепродать; он столько времени служил мне, столько моих стихов вынес на хребте своем! Потом, перешед в твою службу, приобрел для меня особенную значительность. Мне будет весело возвратиться к старому другу, если только он существует. Я начал переводить „Илиаду“ и перевел уже первую песнь и половину второй, и если бы так пошло, то весьма вероятно, что я кончил бы всю поэму (которую гораздо легче переводить, нежели „Одиссею“) к моему отъезду в Россию. Но я должен был пожертвовать трудом поэтическим труду *должностному*. С облаков поэта я

опустился на смиренный стул педагога, и теперь в моих руках не лира, а детская указка. Я сделался учителем моей девчонки, и это дело усладительнее всякой поэзии. Но я еще не учу ее порядком, а мы только приготовляемся к учению без принуждения; еще идет у нас учебная гимнастика. Зато и сам про себя готовлюсь к будущему систематическому домашнему преподаванию, то есть по особенной, практической, уморазвивательной методе составляю курс предварительного учения. Думаю, что эта метода будет иметь желаемый успех, сколько могу судить уже несколько и по опыту. Но собрать и привести в порядок все материалы, что необходимо нужно прежде начала курса, стоит большого труда, тем более что уже мне и глаза, и руки, и ноги служат не по-прежнему. Этот-то труд берет все мое время. Но я не отказываюсь от „Илиады", и легко может случиться, что нынешнею зимою ты будешь читать каждую песнь „Илиады", по мере ее окончания, и мне приготовлять свои на нее замечания, по которым буду с смиренною покорностию делать свои поправки. Я уверен тоже, что, если Бог продлит жизни, ты мне поможешь и курс мой учебный привести в большее совершенство и что он пригодится если не старшим из семи твоих крикунов, то по крайней мере последним четырем. Об этом поговорим при свидании. Помоги Бог нам возвратиться на родину!» <...>

Жуковский так торопился возвратиться в Россию, что отложил даже купание в Остенде и хотел поспешить из Баден-Бадена, через Дрезден, Кенигсберг, Ригу, скорее в Дерпт, где поручил мне непременно нанять квартиру; ему особенно нравилось известное Карлово. «Карлово, — пишет он мне в приписке, — было бы весьма мне по сердцу; я этот дом знаю... но злой дух, злой дух!» И слова „злой дух" были последними, которые он писал ко мне твердою рукою, чернилами и пером. Он занемог воспалением глаз, заключившим его на десять месяцев в темную комнату. Русского Гомера постигла та же судьба, какая поразила певца Гомера Греции, бюст которого с незрящими очами стоял в кабинете нашего друга. Правда, с помощью какой-то машинки Жуковский писал кое-какие коротенькие письма, но вообще с того времени он завел обычай диктовать своему секретарю. Он жаловался, что все его работы, и поэтические, и педагогические, как будто разбиты параличом; особенно жаль ему было педагогических: «Остался бы, — пишет он, — для пользы русских семейств практический, весьма уморазвивающий курс первоначального учения, который солидно бы приготовил к переходу в высшую инстанцию ученья. Но план мой объемлет много, а время между тем летит, работа же по своей натуре тянется медленно; глаза и силы телесные отказываются служить, и я при самом начале постройки вижу себя посреди печальных развалин».

При всем том он принялся писать еще свою «лебединую песнь» и избрал сюжетом известную легенду о «Вечном Жиде». Более десяти

лет тому назад ему пришла в голову первая мысль обработать этот сюжет, и он написал первые тридцать стихов. Теперь в затворничестве своем он приступил к осуществлению этого труда. «Предмет имеет гигантский объем, — пишет он к Авдотье Петровне Елагиной, — дай Бог, чтоб я выразил во всей полноте то, что в некоторые светлые минуты представляется душе моей: если из моего гиганта выйдет карлик, то я не пущу его в свет». Осенью 1851 года половина поэмы была написана, и Жуковский был доволен ею; но вдруг работа остановилась вследствие упадка физических его сил. Несмотря на то, он не покидал мысли возвратиться в Россию, хотя бы будущею весною. «В Дерпте, — писал он ко мне, — если Бог позволит туда переселиться, начнется последний период страннической моей жизни, который, вероятно, сольется с твоим: мы оба, каждый своею дорогою, пустились в житейский путь из Дерпта, который и в твоей, и в моей судьбе играет значительную роль; и вот теперь большим обходом возвращаемся на пункт отбытия, чтобы на нем до конца остаться. У нас же там запасено и место бессменной квартиры, налево от большой дороги, когда едешь из Дерпта в Петербург». <...>

Одиссей Гомера возвратился в свою Итаку после двадцатилетнего странствования, наш певец «Эоловой арфы», «Людмилы» и «Светланы», наш вдохновенный певец 1812 года не увидел вновь своей родины: он замолк в краю чужом 12/24 апреля 1852 года...

Бренные останки Жуковского были сперва поставлены в склепе, на загородном Баденском кладбище; в августе того же года старый слуга поэта, Даниил Гольдберг, отвез их, через Любек, на пароходе, в Петербург, и по воле императора Николая они преданы земле в Александро-Невской Лавре, рядом с могилою Карамзина. Вдова Жуковского, Елизавета Алексеевна, осталась еще за границею до июня 1853 года, когда она приехала в Петербург с обоими детьми. Вскоре после того семья покойного поэта поселилась в Москве, и здесь Елизавета Алексеевна, приняв православие, скончалась в 1856 году. Единственный сын поэта, Павел Васильевич Жуковский, посвятивший себя искусству живописи, долгое время проживал в Париже, откуда переселился в Италию, где и проживает по настоящее время.

Я обязан одной почтенной особе сообщением копии с прощального письма Жуковского к жене, писанного или продиктованного им незадолго до смерти:

«Прежде всего из глубины моей души благодарю тебя за то, что ты пожелала стать моею женою; время, которое я провел в нашем союзе, было счастливейшим и лучшим в моей жизни. Несмотря на многие грустные минуты, происшедшие от внешних причин или от нас самих — и от которых не может быть свободна ничья жизнь, ибо они служат для нее благодетельным испытанием, — я с тобою наслаждался жизнью, в полном смысле этого слова; я лучше понял ее цену и становился все тверже в стремлении к ее цели, которая состоит не в чем ином, как в

том, чтобы научиться повиноваться воле Господней. Этим я обязан тебе, прими же мою благодарность и вместе с тем уверение, что я любил тебя как лучшее сокровище души моей. Ты будешь плакать, что лишилась меня, но не приходи в отчаяние: „любовь так же сильна, как и смерть“. Нет разлуки в царстве Божием. Я верю, что буду связан с тобою теснее, чем до смерти. В этой уверенности, дабы не смутить мира моей души, не тревожься, сохраняй мир в душе своей, и ее радости и горе будут принадлежать мне более, чем в земной жизни.

Полагайся на Бога и заботься о наших детях; в их сердцах я завещаю тебе свое, — прочее же в руке Божией. Благословляю тебя, думай обо мне без печали и в разлуке со мною утешай себя мыслью, что я с тобою ежеминутно и делю с тобою все, что происходит в твоей душе. Ж.»* <...>

Мы уже говорили, что Жуковский любил употреблять в разговорах и письмах это изречение и повторял его часто, хотя в несколько измененном виде: «Всё в жизни есть средство» — то к прекрасному, то к добру, то к счастию, то к великому. Мало-помалу он пришел к убеждению, что надобно исключить из этого афоризма слово «радость» и под словом «всё» разуметь *горесть*, указав желанною целью жизни не только *веру*, но и *терпение*. За несколько часов перед смертью он подозвал к себе маленькую дочь свою и сказал ей: «Поди скажи матери, что я нахожусь в ковчеге и высылаю ей первого голубя: это моя *вера*; другой голубь мой — это *терпение*». Уже поздно вечером он сказал теще своей: «Теперь остается только материальная борьба, душа уже готова!» Это были его последние слова[75]. <...>

Если внимательно рассмотреть всю поэтическую деятельность Жуковского, то нельзя не прийти к заключению, что он был преимущественно поэтом личного чувства и, даже принимаясь за переводы с иностранных поэтов, он выбирал те произведения, которые подходили к душевному его состоянию в данный момент, и зачастую видоизменял содержание, согласуя его с тем, что сам пережил. Схватывать явления жизни он не умел и мог произносить суждение лишь там, где дело касалось искусства или прекрасного в природе. Жуковский не обладал ни знанием людей, ни практическою мудростью. В деяниях людей он инстинктивно угадывал сторону добра. При чрезвычайной доброте и благодушии поэт деятельно не противодействовал злу, не выходил борцом против него, а сторонился и как будто не замечал его. Презрение к недобрым людям он выражал тем, что как будто не знал о их существовании.

Встречаясь с людьми, мало придававшими значения церковности, но в то же время признававшими превосходство евангельского учения, Жуковский никогда не имел повода подвергать их воззрения критическому анализу. Для него религия была делом чувства, *стремлением к*

* Подлинник письма — по-французски. — (*Ред.*)

добру — к выполнению добрых дел. Он верил в простоте сердца, и вера сама по себе, не по догматическим формам, укрепляла его. Самые догматические формы и приемы религиозных фанатиков его не интересовали, и он совершенно не замечал всех махинаций фарисействующей братии.

Когда Жуковский, вследствие женитьбы своей и поселения на берегах Рейна, попал в круг людей, анализировавших религию как бы при помощи весов и микроскопа — и поставивших мелкие и узкие результаты свои основами веры, — поэт сначала поддался такому направлению. Исповедовали то все дорогие ему, добрые люди, искренно убежденные в своей греховности, честно и самоотверженно ведшие пропаганду своих несомненно добросовестных воззрений. Но когда в Жуковском проснулось сомнение в истине такого направления, когда ему стало ясным, что он погрешил против *своего* Бога, — то в окружавших его людях он не нашел ни понимания, ни поддержки и был тем глубоко несчастлив. В это же время он сошелся ближе с Гоголем, которого тревожили те же религиозные сомнения. Малообразованный, с спутанными воззрениями на веру, Гоголь не мог внести успокоение и ясность в душу Жуковского. Все более и более впадая в мистицизм, он возбуждал и в поэте один внутренний разлад и внутреннее недовольство.

Но наконец Жуковскому удалось сделать усилие над собою, и он вернулся, таким образом, к простоте веры своих молодых лет. Ему казалось, что он, при ее помощи, счастливо избегнул скал и подводных мелей. Таково было убеждение нашего друга, когда он достиг 68-го года своей жизни, с телом ослабевшим, с опасностью ослепнуть. Поэтическое призвание его было выполнено — он сам приготовил к изданию все свои труды, — оставалось закончить некоторые педагогические работы и перевод «Илиады». В это время стало изменять ему зрение. В темном покое слепой поэт ощутил воскрешение прежних образов с большею силою и яркостью, и его «Агасфер» должен был показать, как поэт, сквозь годы скорби и несчастия, может доходить до ясного религиозного сознания — до счастья и покоя. Смерть застала его именно за этим трудом...

Автор настоящего очерка сочтет себя счастливым, если его перо, быть может, послужит родине Жуковского средством к тому, чтобы сохранить надолго дорогую память о ее поэте, оценить его превосходные душевные качества, которыми была проникнута и самая его поэзия, и, наконец, ту пламенную любовь к этой самой родине, которой он посвящал и всякую лучшую свою мысль, и всякое лучшее свое чувство.

А. П. Зонтаг

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ДЕТСТВЕ В. А. ЖУКОВСКОГО

I

Вы хотите, любезнейший князь Петр Андреевич[1], чтоб я писала к вам о покойном друге нашем все, что знаю, со всей возможной искренностью, прибавляя: «не нам, так детям пригодится». Все, что о нем ни скажешь, годится для всех. Такая возвышенная, благородная душа, такая чистая, добродетельная жизнь, такое горячее, исполненное любовью сердце необходимо должны примерами добродетели наставить на добро всех, кто узнает их. Но описывать их выше сил моих, и я стану вам рассказывать только то, что слышала о нем от его матери и от моей бабушки, которая была ему второю матерью, и о том, чему была после свидетельницей сама, живши вместе с ним с минуты моего рождения по 1815 год. То есть я буду рассказывать, сколько знаю и умею, историю не чувств его, а историю его жизни. Он был старше меня несколькими годами, и о том, что предшествовало до появления моего на свет, я слышала от его матери и от моей бабушки, Марьи Григорьевны Буниной[2].

Дед мой, Афанасий Иванович Бунин (которого я не помню), по словам всех, знавших его, был честнейший, благороднейший человек, но, как по всему кажется, не самой строгой нравственности. Жена же его, Марья Григорьевна, урожденная Безобразова, была для своего века женщиной редкой образованности, потому что читала все, что было напечатано на русском языке, но другого никакого она не знала. Она была необыкновенно умна, а подобной доброты, кротости и терпения мне не удавалось встретить ни в ком другом. От одиннадцати человек детей у них уцелели только четыре дочери: две самые старшие, Авдотья Афанасьевна, замужем за Алымовым, бездетная, и Наталья Афанасьевна, замужем за Вельяминовым, и потом две самые младшие: мать моя Варвара Афанасьевна и Екатерина Афанасьевна. Между старшей сестрой и матерью моей было 14 лет разницы; а Екатерина Афанасьевна была еще двумя годами моложе моей матушки.

В царствование императрицы Екатерины II, когда были ведены Россией такие счастливые войны против Турции[3], мещане города Белева и многие крестьяне, казенные и помещичьи, повадились ездить за нашею армией маркитантами и торговали с большою выгодой. Один крестьянин села Мишенского, находящегося в трех верстах от Белева,

принадлежавшего деду моему и где он преимущественно проживал с своим семейством, также собрался в маркитанты и, пришед проститься с своим господином, спросил: «Батюшка, Афанасий Иванович, какой мне привезть тебе гостинец, если посчастливится торг мой?» Дедушка отвечал ему шутя: «Привези мне, брат, хорошенькую турчанку, — видишь, жена моя совсем состарилась!» Но крестьянин не за шутку принял эти слова. Он торговал очень счастливо и после первого взятия Бендер, кажется в 1774 году, возвратился и привез с собой двух турчанок, родных сестер: 16-ти летнюю Сальху, уже вдову, — муж ее был убит под стенами Бендер — и 11-ти летнюю Фатьму, которая скоро и умерла. Но Сальха, прекрасная, ловкая, смиренная, добронравная, как ни горевала, но осталась покорна своей участи и все надеялась, при размене пленных, возвратиться в отечество. Пленные были возвращены, но о пленных женщинах никто не думал, и Сальха осталась, по своим турецким понятиям, невольницею. Ее очень любило все семейство г. Бунина. Она оставалась при маленьких дочерях его, Варваре и Екатерине Афанасьевнах, которые учили ее говорить по-русски и читать, и под надзором домоправительницы, у которой она научилась хозяйничать. Марья Григорьевна не была хозяйкою, но Афанасий Иванович был великий хозяин и особливо большой гастроном: искусство, с каким Сальха приготовляла все домашние запасы, а особливо ее молодость и красота обратили на себя внимание Афанасия Ивановича. Сальха, как невольница, по своим магометанским понятиям, покорилась ему во всем, но все так же была предана душою Марье Григорьевне, которая, заметя связь мужа своего с турчанкою, не делала ему ни упреков, ни выговоров, а только удалила от Сальхи дочерей своих. Между тем домоправительница умерла, и Сальхе поручено было все хозяйство. Ей дана была прислуга, и дедушка перешел с нею жить в особый флигель. У нее было трое детей, которые все умирали. Она считала себя второю женою, но всегда оставалась покорною первой жене, как госпоже своей, от которой не слыхала никогда неприятного слова. Бабушка не винила ее, зная ее магометанские понятия. Но Сальха, научившись читать, стала размышлять, как сама мне это рассказывала. «Я думала, — говорила она, — что живу, как скотина, без всякой религии; своей не знаю, будучи увезена так молода из отечества, а христианской не хотела принять, в надежде, что когда-нибудь возвращусь домой. Теперь же, когда всякая надежда на возвращение потеряна, буду изучать христианскую религию и приму крещение».

Она усердно училась и потом крестилась. Во святом крещении она была наречена Елизаветою, а по крестному отцу, дедушкиному управляющему, отчество ее было Дементьевна. Тут только увидела она истинное свое положение. Узнала о нем с неописанным горем, но не имела силы разорвать преступной связи. Привязанность ее к Марье Григорьевне сделалась беспредельною; она обожала ее терпение и ангель-

скую кротость. Елизавета Дементьевна жила во флигеле, обедала в своей горнице и приходила к бабушке моей только за приказанием. Она была опять беременна.

В это время было какое-то неудовольствие между нашим правительством и китайским, и торг был прекращен. Чтобы уладить эти дела, был отправлен в Кяхту директором таможни Дмитрий Иванович Алымов, муж старшей моей тетки, Авдотьи Афанасьевны, которая боялась ехать одна в такой дальний, тогда еще совсем дикий, край и на такое долгое время. Чиновников отправляли служить в Сибирь не иначе как на шесть лет. Она выпросила у родителей меньшую свою двенадцатилетнюю сестру, Екатерину Афанасьевну. Мать моя оставалась одна дома, потому что Наталья Афанасьевна жила с мужем там, где он служил. У дедушки жил тогда один бедный киевский дворянин, Андрей Григорьевич Жуковский; он помогал дедушке в хозяйстве; для бабушкиных швей и кружевниц рисовал узоры, а матушке моей аккомпанировал на скрипке. Матушка страстно любила музыку, прекрасно играла на фортепиано, а Жуковский был хороший музыкант; но больше всего он был хороший человек, которого все в доме любили. Впоследствии и я знала этого доброго человека и очень любила его.

Однажды первого числа февраля дедушка уехал в отъезжее поле дня на три. Бабушка знала, что 29 января 1783 года Елизавета Дементьевна родила сына, но, по обыкновению своему, молчала. Матушка сидела возле с работой, когда вошел Андрей Григорьевич и с довольно смущенным видом сказал матушке:

— Варвара Афанасьевна, я пришел звать вас окрестить вместе со мною мальчика, которого я хочу усыновить, — согласны ли вы?

— Если матушка позволит, то я согласна, — отвечала Варвара Афанасьевна.

— Разве это угодно Афанасию Ивановичу? — спросила бабушка.

— Я исполняю его желания, — отвечал Андрей Григорьевич.

— Если так приказал отец, то я позволяю тебе крестить этого ребенка, — сказала бабушка.

— Так пойдемте же во флигель, — говорил Андрей Григорьевич, — там все готово.

— Нет, — возразила бабушка, — уж этого я никак не могу позволить! Вариньке скоро будет четырнадцать лет, она уже не ребенок. Ей неприлично идти во флигель к Лизавете. Но пускай принесут сюда купель и ребенка, и она окрестит его при моих глазах.

Все было сделано по ее приказанию. Когда в купель была налита вода, бабушка подошла попробовать, не холодна ли она, и приказала еще прибавить горячей. Елизавета Дементьевна говорила об этом со слезами на глазах. Младенца окрестили, назвали Васильем, по крестному отцу Андреевичем, и, по усыновлении, фамилия ему была дана — Жуковский[4]. Марья Григорьевна подошла посмотреть прекрасного мальчика

и со слезами благословила его. Она думала о своем единственном сыне, умершем за два года перед тем, в совершенных летах. Этот сын учился в Лейпциге и был гордостью своей матери. Сердце ее, неспособное к зависти и ни к какому неприятному чувству, кажется, с этой минуты усыновило новорожденного.

После сорока дней Елизавета Дементьевна пошла с сыном в церковь, чтобы взять молитву. Возвращаясь домой, она вошла с младенцем своим в гостиную, где сидела бабушка, стала перед нею на колени и с горькими слезами положила к ее ногам малютку. Бабушка взяла его на руки, целовала, крестила и также плакала. С этих пор маленький Васинька сделался любимцем всей семьи. Бабушка часто спрашивала: «Варинька, где же твой крестник? Что так долго не несут его к нам?» У Васиньки была кормилица, мамушка, нянюшка, — одним словом, он пользовался всеми правами сына, и бабушка так любила его, что почти всегда хотела иметь его на глазах. Года через три матушка моя вышла замуж за Петра Николаевича Юшкова, и Васинька остался единственным утешением Марьи Григорьевны и всего бунинского дома. Он вырастал красавцем, добронравным и умным ребенком. Марья Григорьевна не любила отпускать его надолго от себя, потому что мать его хотя и страстно его любила, но была с ним очень строга и беспрестанно его бранила и ворчала на него. Привычку эту она сохранила во всю жизнь свою. Марья же Григорьевна не была ласкова, но снисходительна. Не балуя детей, она позволяла им все невинные их удовольствия в своем присутствии и даже показывала, будто принимает в них участие.

В 1786 году все семейство Буниных, вместе с Петром Николаевичем Юшковым и Варварой Афанасьевной, отправилось пятого июля в Москву для первых родов Варвары Афанасьевны. Поехали на Тулу на своих лошадях и с огромным обозом, как тогда водилось. Но, отъехав только 30 верст, принуждены были остановиться по причине болезни Варвары Афанасьевны. Она задолго до срока, шестого июля, родила маленькую девочку, возле большой дороги, в плетневом сарае. Эта девочка, слабая, хилая, не могла доставить никакой радости родителям — ежеминутно ожидали ее смерти. Однако вышло не так. Бедная, слабая малютка пережила всех. Эта девочка была — я! Марья Григорьевна взяла на свое попечение жалкую внучку. Об этом я упоминаю для того, чтобы сказать вам, почему я сделалась товарищем детства нашего Жуковского.

Дав матушке моей несколько оправиться, вместо того, чтобы ехать в Москву, все возвратились в Мишенское.

Бабушкины попечения обо мне были совершенно успешны; я росла и крепчала. Родители мои не нуждались во мне. Через 11 месяцев после моего рождения Бог дал им другую дочку, потом третью и четвертую, и — все хорошенькие, миленькие[5]. Я же осталась бабушкиной дочкой, товарищем Жуковского, который очень любил меня, часто приходил ко мне в горницу и, когда меня укачивали (потому что тогда

маленьких детей еще укачивали), просил, чтоб его положили ко мне в колыбель, и засыпал возле меня. По утрам же меня приносили в его горницу, чтобы разбудить его, и также клали в его кроватку. Разумеется, этого я не могу помнить, но он помнил это и называл меня своею одноколыбельницей[6], даже незадолго до своей кончины писал ко мне, припоминая, как мы качались в одной колыбели.

Он вырос прекрасным, милым, добрым ребенком. Все любили его без памяти. Для старших он был любимым сыном, а для младших — любимым братом. В нашем семействе было много девочек, а мальчик был только один он. [Он был строен и ловок; большие карие глаза блистали умом из-под длинных черных ресниц; черные брови были как нарисованы на возвышенном челе; белое его личико оживлялось свежим румянцем; густые, длинные черные волосы грациозно вились по плечам; улыбка его была приятна, выражение лица умно и добродушно; во взгляде заметна была, даже и в детстве, какая-то мечтательность. Он был прекрасен, и никто не мог отказать ему в любви, при первой встрече. Таков он остался и в юности!][7]

По прошествии шестилетнего срока тетушки мои возвращались из Кяхты. Так как в Мишенское приезжали часто многие родные и друзья, то Афанасий Иванович очистил флигель для приезжающих (там поместился также и Андрей Григорьевич Жуковский), а сам перешел в большой дом. Из комнаты Елизаветы Дементьевны была только одна дверь, которая отворялась в девичью. Не знаю, почему образ Боголюбския Богоматери принесен был из церкви и поставлен в горнице Елизаветы Дементьевны прямо против двери. Она ушла куда-то по хозяйству, оставив дверь отворенною. Девушки все ушли обедать, и девичья опустела. Маленький пятилетний Жуковский, найдя где-то кусок мелу, уселся в девичьей на полу и принялся срисовывать образ, стоявший в горнице его матери. Никто этого не видал. Конча свою работу, он пришел в гостиную и стал возле бабушки. Скоро возвратились девушки, и всех объял священный ужас, когда увидели на полу изображение иконы. В гостиную вошла моя мамушка, творя молитву и крестясь. Она объявила бабушке, что совершилось великое чудо: что дверь из комнаты Елизаветы Дементьевны была отворена, что в эту дверь икона Пресвятой Владычицы отразилась на полу в девичьей. Никто не смел входить; все стояли прижавшись к стенам. Маленький плутишка не говорил ни слова; но, улыбаясь, выслушал этот рассказ. Бабушка, бывши истинно благочестива, но нисколько не суеверна, взяла мальчика за руку и вместе с ним пошла посмотреть на это чудо. Все девушки стояли в благоговейном молчании и смотрели на меловой рисунок, конечно, очень неискусный, но все-таки похожий на ту икону, с которой был снимок. Хотя бабушка и не ожидала такой удали от маленького мальчика, но тотчас смекнула, в чем было дело, видя его плутовскую улыбку. «Васинька! — спросила она, — не знаешь ли ты, кто нарисовал этот образ?» — «Это

я! — вскричал Васинька, — вот и мел, которым я рисовал его», — и вытащил из кармана кусок мела. «Хорошо, — сказала бабушка, — но ты лучше рисуй карандашом на бумаге, а не мелом на полу, мел скоро стирается!» — и дала ему карандаш и лист бумаги. Васинька уселся рисовать. Все перестали благоговеть перед чудом, но дивились искусству маленького художника. Меловое изображение иконы, к сожалению артиста, поспешили смыть с пола, чтобы не попирать ногами святыни.

Оспу натуральную — тогда еще не было известно вакцины — мне прививали вместе с Жуковским. На мне она была очень сильна, а к нему не принялась, хотя во все время моей болезни он приходил ко мне очень часто и трогал меня. Замечательно, что на нем никогда не было оспы, хотя ему прививали несколько раз и натуральную, и потом вакцину.

Когда Жуковскому минуло 6 лет, дедушка Афанасий Иванович выписал для него из Москвы учителя-немца. Звали его Еким Иванович[8], а фамилии не знаю. Немца этого вместе с его питомцем поместили во флигеле, где было семь комнат. По счастию, в том же флигеле жил и Андрей Григорьевич, который мог слышать все, что происходило у немца. Еким Иванович имел страсть к музыке совсем особенного рода. Он любил чириканье кузнечиков. С помощью дворовых ребятишек ему удалось наловить множество этих редких птичек, для которых вместо клеток он поделал очень затейливые карточные домики и увешал ими все окна классной комнаты. А в этой комнате было четыре окна. Бедный Андрей Григорьевич, который в самом деле был музыкант, принужден был слушать неумолкаемое трещанье кузнечиков; но вместе с тем он часто слышал грубую брань сердитого Екима Ивановича, хлопанье по рукам линейкой и горький плач бедного мальчика. Однажды этот тройной шум был так велик, что Андрей Григорьевич, не могши дале терпеть, пошел в комнату учителя, которого нашел в ужасном гневе. Он даже не обращал внимания на песни своих любимцев и осыпал бранью своего ученика, поставленного голыми коленами на горох. Бедный мальчик, держа в руках немецкую книжку, обливался слезами. «Что такое сделал Васинька?» — спросил Андрей Григорьевич. «Он не учил свой урок и все глядя на моя кузнечик», — отвечал немец, готовя розгу. «Простите его, Еким Иванович, — он еще так мал! И ваши кузнечики его развлекают. Бедняжка не привык к таким строгим наказаниям, — он всегда был окружен нежною любовью и ласками». — «Да, да, избалован мальчик», — сказал Еким Иванович, кладя в сторону розгу и притворяясь, что прощает. Но едва вышел из классной комнаты Андрей Григорьевич, как крик, брань и плач возобновились и Васиньку опять поставили на колени. Тогда Андрей Григорьевич пошел с жалобой на учителя к Марье Григорьевне, потому что Афанасья Ивановича все несколько боялись: он был строг, хотя очень добр и справедлив. Марья Григорьевна не теряя ни минуты пошла во флигель и нашла своего любимца стоящего на коленах на горохе, а учителя в страшном бешен-

стве, готовящегося его сечь. Расспросив, в чем состояло дело, бабушка узнала, что Васинька в отсутствие учителя полюбопытствовал посмотреть один из карточных домиков, в которых сидели пара кузнечиков. Он взобрался на окно, чтобы достать домик, привешенный к верху, рванул его неосторожно, и — домик рассыпался, а кузнечики выпрыгнули в открытое окно. Вот что было причиной гнева грозного Екима Ивановича. Бабушка увела с собою Васиньку, рассказала всю историю дедушке и убедила его, что Васинька еще слишком мал, чтобы выписывать для него немцев-учителей. Всех кузнечиков выпустили на волю, а Екима Ивановича посадили в кибитку и отправили в Москву, к тому самому портному, у которого он был подмастерьем. Пока Андрей Григорьевич сам учил его русской грамоте.

Все семейство имело обыкновение ездить на зиму в Москву и возвращаться в деревню по последнему зимнему пути. Мишенское было всегдашнею резиденцией дедушки, хотя он имел многие деревни гораздо выгоднейшие, особенно в Орловской губернии. Но Мишенское предпочиталось как по прекрасному его местоположению, так и по соседству города, от которого оно только в трех верстах. Ежегодная поездка в Москву была отменена, кажется, потому, что дедушка определился на какую-то должность в Туле, где также служили два зятя его: Николай Иванович Вельяминов, женатый на одной из старших дочерей, Наталье Афанасьевне, но в то время уже вдовый, и отец мой, Петр Николаевич Юшков. Вместо Москвы поехали в Тулу.

Наталья Афанасьевна имела трех дочерей: Авдотью, которая была уже не совсем маленькая; Марья была старше Жуковского двумя годами, Авдотья же годом его моложе. Но меньшая, Анна, осталась шести недель после матери, и бабушка взяла ее к себе. Таким образом, нас было трое детей у бабушки.

В Туле был пансион, содержимый очень хорошим человеком: Христофором Филипповичем Роде. Жуковского стали посылать в этот пансион, сначала как полупансионера; там он учился с мальчиками лучших семейств Тулы и ее окрестностей. Но, будучи еще так мал, не думаю, чтобы он выучился многому. К нему также ходил учитель народного училища Феофилакт Гаврилович Покровский, человек замечательный своими познаниями в науках и литературе. [Он посылал свои статьи в выходивший тогда в Москве журнал под названием «Приятное и полезное препровождение времени»[9] и называл себя «Пустынником горы Алаунской», живущим при подошве горы Утлы.] Это народное училище было посещаемо не только мальчиками низшего сословия, но всеми детьми лучших семейств. Гимназии тогда еще не было.

Через год после нашего водворения в Туле Афанасий Иванович от сильной простуды впал в презлую чахотку и скончался (в марте 1791 г.). Во время болезни своей он сделал духовное завещание, в котором назначил все части своего имения дочерям, предоставив супруге пользо-

ваться всем по смерть, но с тем, чтобы она не могла ничего ни продать, ни заложить. По всей справедливости, он был обязан обеспечить жену, которая продала свою приданую деревню в Пензенской губернии, чтобы доставить мужу возможность приобресть имение выгоднейшее, которое он купил на свое имя. Жуковскому же и матери его Афанасий Иванович не назначил ничего, а, позвав Марью Григорьевну, сказал: «Барыня! (он так всегда называл ее) для этих несчастных я не сделал ничего; но поручаю их тебе». Эта умная, великодушная, добродетельная женщина, имевшая такое влияние на судьбу Жуковского, вполне заслуживала такую неограниченную доверенность. Она обняла рыдающую Елизавету Дементьевну и сказала: «Будь совершенно спокоен на их счет. С Лизаветой я никогда не расстанусь, а Васинька будет моим сыном». Это обещание, данное у смертного одра, было свято исполнено. Все эти подробности я несколько раз слышала от Елизаветы Дементьевны.

Афанасий Иванович скончался в конце марта месяца (1791 г.). Он погребен в Мишенском, возле предков своих, в особой часовне, построенной на том месте, где прежде была церковь.

К шести неделям, в самом начале весны, бабушка поехала в Мишенское. Она взяла с собой Елизавету Дементьевну, Жуковского, самую старшую дочь свою, Алымову (которая по возвращении из Сибири разошлась с мужем и жила у матери), маленькую свою внучку Вельяминову и меня. Катерина Афанасьевна осталась в Туле, у моей матушки.

По дедушке была отправляема ежедневно годовая служба за упокой. Я с Жуковским, вместе с бабушкой, ходили всякий день к обедне. На царских дверях нашей церкви, довольно низко, есть резной херувим. После Херувимской песни, когда затворяют царские двери, Жуковский поставил себе долгом целовать этого херувима в обе полные, розовые щечки и меня водил с собой.

Осенью 1791 года бабушка со всем семейством возвратилась в Тулу, в тот же дом, в котором скончался дедушка. Дом был нанят на три года. Жуковский был не только любимцем бабушки, но и всего семейства. А мы, девочки, младшие его, не только его любили, но и повиновались ему во всем. Мать обожала его, но не могла видеть без того, чтобы не бранить его, и это продолжалось во всю жизнь ее. Жуковский всегда молча и почтительно выслушивал эту брань, по большей части несправедливую. Бабушка же, всегда кроткая со всеми, была с ним ласкова и снисходительна ко всем его детским затеям. Не говорю: шалостям; мне кажется, что шалостей он никаких не делал. Она всегда говорила: «Анюту (т. е. меня) все считают моей любимицей, и не диковинка, что я люблю ее больше прочих детей, — она с минуты своего рождения на моих руках, (другая Анюта, Вельяминова, была отдана тетке Алымовой, которая была бездетна); но я не решу, кого я люблю больше, — Васю или ее? Если бы мой сын, Иван Афанасьевич, был жив, и того я не могла бы любить больше Васи».

А как было не любить его! Он был умный, добрый, прекрасный, терпеливый, кроткий, послушный мальчик.

Возвратясь в Тулу, бабушка поместила Жуковского в пансион Роде уже полным пансионером. Его привозили домой в субботу, после обеда, а в пансион отвозили обратно в понедельник поутру. Всякое воскресенье бабушка давала Жуковскому и мне по десяти копеек медью. Он отдавал свои деньги мне под сохранение и приказывал, чтоб без его позволения я не тратила и своих. Я не смела ослушаться, да, правду сказать, еще и не умела тратить.

Когда кончился год траура по дедушке, самая младшая из дочерей бабушкиных, Екатерина Афанасьевна, вышла (1792 г.) замуж за Андрея Ивановича Протасова. Он имел очень небольшое состояние[10], почему Марья Григорьевна и сочла нужным отдать Екатерине Афанасьевне назначенную ей часть отцовского имения. Но, отделяя одну из дочерей, ей казалось несправедливым удерживать имение прочих детей. Итак, дети Вельяминовы, бывшие еще в опеке у отца, получили свою часть, Авдотья Афанасьевна Алымова свою часть; одна моя матушка не взяла Мишенского, назначенного ей. Батюшка (Юшков) был достаточен и не хотел лишать бабушку той деревни, которую она любила и где привыкла жить. Бабушка назначила очень ничтожный доход для себя, с каждой части по 300 рублей; одна моя матушка, как следует, была исключена от этого налога, потому что не взяла своей части из имения, хотя батюшка охотно был готов давать теще то же, что другие. Он содержал Мишенское, будущую собственность жены, в таком же точно виде, как оно было при Афанасье Ивановиче. Эта деревня, ничтожным своим доходом, не только не могла поддерживать всех строений, оранжерей, прудов, сажалок, но даже не могла прокормить огромную дворню, находившуюся при ней. Раздав имение детям, бабушка требовала, чтобы каждая часть выплатила по 2500 руб. Жуковскому и его матери. Батюшка (Юшков) наравне с прочими выплатил свою долю, что составило капитал в 10 000 рублей, который был отдан Елизавете Дементьевне. Она несколько увеличила его, потому что все содержание Жуковского бабушка взяла на себя. Тогда этот капитал значил что-нибудь, потому что ассигнационный рубль считался на серебро, как теперь; но когда ассигнация упала и серебряный рубль стоил четыре рубля ассигнациями, тогда капитал Жуковского, хотя удвоенный, делался ничтожным, а бабушка не имела уже средств пособить беде. Когда все эти деньги попались в руки Жуковскому, он скоро их истратил[11]. Он умел только сберегать те медные гривны, которые нам давались по воскресеньям, но и то только до поры до времени. И что же он делал на эти копейки?

По прошествии четырех недель у нас собиралось общей нашей суммы целых восемь гривен. Серебра тогда было очень мало в ходу; по крайней мере, я видала у бабушки в кошельке только тогда серебряные

деньги, когда она играла в вист. На всякий же другой расход употреблялась или медь, или ассигнации. Тогда все было дешево. Жуковский на сбереженные нами восемь гривен мог купить много орехов, простых и грецких, и церковных свечек желтого воска. Он очень искусно и осторожно разнимал ореховую скорлупу и наливал ее воском, вставлял светильню и иллюминовал все мои деревянные крепости, города и замки очень великолепно. Не гуляли также мои игрушечные сервизы. Все тарелки и блюдечки наполняла Елизавета Дементьевна вареньем и разными лакомствами. Такие праздники давались по воскресеньям. Жуковский приглашал на них из пансиона любимых товарищей, а бабушка, увидя, какое употребление мы делаем из наших денег, удвоила нашу пенсию, так что всякие две недели мы могли давать праздники. Слава об этих праздниках разнеслась между всеми тульскими ребятишками, и многие очень желали быть приглашенными, между прочим, два сына Афанасья Ивановича Игнатьева. Они не были пансионскими товарищами Жуковского и очень редко с ним видались.

Однажды в воскресенье утром они пришли к Жуковскому, в надежде быть приглашенными на вечер. Бабушки не было дома, и Жуковский принял гостей в бабушкиной спальне, где была и я. Там стояла кровать с завесом. Игнатьевы были очень резвые мальчики и подняли ужасный крик, шум, стук, беготню, возню... Один из них зацепился за меня, смотревшую на них разиня рот, и закричал: «Зачем здесь эта девчонка? Вон ее! Мы ее прибьем!» — и сунулись ко мне, грозя мне кулаками. Я бросилась к Жуковскому, крича: «Васинька, не давайте меня!» Я всегда говорила ему «вы». Он оттолкнул забияк и грозно им сказал: «Я не допущу бить Анюту!» Потом, взяв меня на руки, посадил на бабушкину кровать и закрыл завесом, подоткнув его под пуховик. Я дрожала и плакала, а шалуны хохотали; но Жуковский был очень серьезен. «Так вот что! — сказал один из Игнатьевых, — пусть она будет крепость, мы станем брать ее приступом!» — «А я буду защищать ее», — сказал Жуковский и, взяв линейку, стал с нею, как с ружьем, возле крепости. Гарнизон был вдвое малочисленнее, но лучше вооружен. Нападающие не имели другого оружия, кроме своих кулачишек, которыми они совались к крепости, и были всякий раз отражаемы энергическими ударами линейки. Мальчики орали во все горло, я пищала: «Васинька, они и вас прибьют! Прогоните их, не давайте меня!» Молчал один Жуковский, chevalier sans peur et sans reproche*. Наконец этот шум был услышан Елизаветой Дементьевной и моей мамушкой. Они взошли, и появление взрослых особ в одно мгновение прекратило бой. Игнатьевых не только не пригласили на вечер, но прогнали из дома. С тех пор я никогда их не встречала и даже ничего об них не слыхала. Живы ли они — бывшие тогда шалуны-ребятишки, а теперь дряхлые старики?..

* рыцарь без страха и упрека (*фр.*).

Так жили мы, пока не вышел срок нанятому в Туле дому. Весною переезжали в деревню, а осенью возвращались в Тулу. Жуковский всегда был с нами. В Мишенское летом всегда съезжалось большое общество родных и друзей. Тогда Мишенское было не таково, как теперь. Тогда был огромный дом с флигелями, оранжереи, теплицы, сажалки, пруды; и хотя строение все было деревянное, но при тогдашнем неразделенном имении содержалось в порядке. Теперь все это исчезло. Строение сгнило и развалилось; пруды, сорвав плотины, ушли; сажалки поросли камышом. При моем маленьком состоянии я не могу исправить всего этого — и на что, для кого? Я живу совершенно одна, под скромною соломенною кровлей, близ родных моих, готовая скоро соединиться с милыми сердцу. Мишенское все еще прекрасно своим местоположением, а для меня имеет двойную прелесть своими воспоминаниями. Церковь, где мы вместе молились; роща и сад, где мы гуляли вместе, любимый его ключ Гремячий и, наконец, холм, на котором было переведено первое его стихотворение «Сельское кладбище»[12], вышедшее в свет.

Этот холм сохранил название «Греева элегия».

Поля, холмы родные,
Родного неба милый свет,
Знакомые потоки,
Златые игры первых лет
И первых лет уроки —
Что вашу прелесть заменит?[13]

Дядя мой Николай Иванович Вельяминов оставил вице-губернаторскую должность в Туле и уехал в Петербург, оставив двух старших дочерей с гувернанткою у бабушки под надзором тетки Авдотьи Афанасьевны Алымовой. Жуковский очень подружился с моими кузинами, особливо с Марией Николаевной; но я им не только не завидовала, а, напротив, вместе с ним обожала старшую кузину; удивлялась, однако, их жадности и тому, что для Авдотьи Николаевны самою приятною забавою было бегать и драться с Жуковским, чем она часто ему надоедала. Бабушка моя в эту осень не поехала в Тулу; но матушка моя, приезжавшая всякое лето в Мишенское, возвращаясь в Тулу, увезла с собою Жуковского, для продолжения наук. Мы прожили в деревне и не видали Жуковского до следующего лета, когда матушка привезла его к нам на вакацию. Но и это время не было для него потеряно. С матушкой приехал первый учитель тульского училища, Феофилакт Гаврилович Покровский, который, по мере наших возрастов, учил всех нас чему следовало, Жуковского, кузин моих, родных сестер и меня.

В конце лета матушка уехала, взяв с собою Жуковского и учителя. Но как матушка также взяла гувернантку для сестер, то бабушка сочла лучшим отвезти меня к родителям, чтоб я вырастала не совсем чужою

моему семейству. Тетка моя Алымова осталась в Мишенском с кузинами, а в Тулу отправились бабушка, Елизавета Дементьевна (для свидания с сыном) и я.

Так кончился первый период моей жизни. Мне бы не следовало говорить так много о себе; но все, что случилось в первые годы моего детства, так тесно связано с воспоминанием о Жуковском, что непременно приходится говорить и о себе. Вы, любезный князь, делая извлечение из моих писем, выгородите меня елико возможно. Уж вы лучше меня с этим сладите. Пока прощайте. В следующем письме опишу вам жизнь нашу в Туле, в доме моих родителей.

II

Мы подъехали к батюшкиному (то есть Юшкова) дому во время обеда. Все семейство сидело за столом. Мне было тогда семь лет с половиною, и меня, маленькую девочку, в одну минуту вынули на руках из возка. Я влетела в столовую и начала отпускать книксен перед матушкою, которая, не будучи предупреждена о скором бабушкином приезде, очень испугалась, увидя меня одну, и вместо того, чтобы поцеловать, она оттолкнула меня и побежала на крыльцо, чтоб узнать, что сделалось с бабушкою. Старушка в это время выгружалась из возка. Оробев от неласковой встречи, я пошла уже гораздо тише к батюшке, но и он, сказав мне: «После, Анюта!» — бросился вслед за матушкой. Незнакомая мне старушка-гувернантка, видя мое горестное недоумение, сказала: «Venez ici, ma chere enfant!»* — и хотела посадить меня к сестрам моим. Но и те встретили меня недружелюбно. Катенька была еще мала — о ней и речи нет, — Машенька и Дуняша были дружны между собою. Матушка сказала Машеньке: «Вот скоро приедет сестра ваша, Анюта: ты с ней почти одних лет и должна быть дружна с старшей сестрой» (она была моложе меня на одиннадцать месяцев). Услыша это, Машенька в слезах пришла к Дуняше и говорила: «Как нам быть? маменька приказала мне быть дружной с сестрицей, уж нельзя мне быть дружною с тобой!» И они положили быть тайными друзьями. Вот причина такой холодной встречи, которую, впрочем, я и ожидала, потому что, провожая меня из бабушкина дома, все женщины и девушки очень плакали и говорили: «Как-то дитя наше будет жить в чужом доме... (у родителей-то!) Там никто ее любить не будет».

Вот я и явилась к отцу и матери с убеждением, что ни они и никто меня не будет любить, потому что я в чужом доме. Однако я очень любила батюшку и матушку, особливо последнюю, хотя очень ее боялась, потому что она никогда не приласкала меня.

---

* Иди сюда, мой милый ребенок! (*фр.*).

Приезд наш взбаламутил всех; все вскочили из-за стола, кроме гувернантки и детей. Вошед, я видела, что за столом сидело много, но кто тут был, не успела рассмотреть. Когда, вместе с приезжими, все возвратились в столовую, я увидела, что тут был Жуковский (он выбегал также на встречу бабушки и Елизаветы Дементьевны), и сердце мое запрыгало от радости. Батюшка и матушка меня поцеловали, а я бросилась на шею Жуковскому, восклицая: «Васинька, Васинька!» — и сдерживаемые слезы полились рекой. Он терпеть не мог, чтоб я целовала его, но на этот раз допустил обнять себя. Мне поставили прибор между ним и батюшкой, и, сидя возле него, я не считала себя с чужими.

Как пансион г. Роде уже более не существовал, то Жуковский ходил в училище, где главным преподавателем был Феофилакт Гаврилович Покровский, который, окончив класс, приходил давать к нам уроки — русского языка, истории, географии, арифметики. Жуковский тут повторял слышанное в классе, а французскому и немецкому языкам учился вместе с нами у нашей гувернантки. Бабушка недолго пробыла в Туле. У нас в доме был, следовательно, настоящий пансион. Было множество детей: нас четыре сестры, Жуковский, две маленькие девочки, Павлова и Голубкова, дочь тульского полицмейстера, мальчик наших лет, приходивший учиться с нами, Риккер, сын нашего доктора, и еще три совершенно взрослых девушки, лет по 17, наша родственница Бунина[14], воспитанница гувернантки Рикка и бедная дворянка Сергеева, которая впоследствии была за книгопродавцем Аноховым (всего 16 человек). Все эти три девицы познаниями своими не превосходили нас, маленьких девочек.

В это лето в Мишенское ездила матушка одна, а нас оставляла с гувернанткою в Туле. На следующую зиму (1794—95 г.) бабушка обещала приехать погостить у матушки, и Жуковский к ее приезду готовил великий праздник. Но, увы, гривенная пенсия, производимая нам каждое воскресенье бабушкою, была прекращена! Денег у нас не было, а Жуковскому они были нужны для приведения в действо всех затей. По приезде своем бабушка пожаловала нам, т. е. Жуковскому и мне, по полтора рубля медью. Разумеется, я отдала мои деньги Жуковскому, который на этот раз был министром финансов и внутренних дел. И куда же употребил он нашу казну? — Накупил уже не грецких и не каленых орехов для делания плошек, а золотой, серебряной и других разноцветных бумажек, которые казались ему нужными для всяких костюмов — правда, не очень затейливых. Жуковский сочинил трагедию «Камилл, или Освобожденный Рим», которую мы должны были выучить. Разумеется, он сам взял роль Камилла и огородил себе шлем из золотой бумаги, который моя матушка помогла ему украсить страусовыми перьями. Из серебряной бумаги кое-как слепили что-то похожее на панцирь, надетый сверх его курточки. У него была маленькая сабля вместо боевого меча в правой руке, в левой пика, обвитая разно-

цветною бумагой, с золотым наконечником, и лук! За плечами же висел колчан со стрелами. Матушка моя, убиравшая Камилла, никак не согласилась спрятать под шлем его прекрасные волосы, которыми всегда любовались, но рассыпала их по плечам, и маленький Камилл был прелестен! Я была консул Люций Мнестор. Сестра Марья Петровна была вестник Лентул. Все прочие были сенаторы, Patres conscripti. Костюмы наши были все одинаковы и довольно оригинальны: на головах бумажные шапочки, на самих нас белые сорочки, надетые сверх платьев, ничем не подпоясанные, из широких лент перевязи через плечи и распущенные шалевые платки вместо мантий, собранные у всех и всяких цветов.

О сюжете трагедии говорить нечего, и я не очень помню ее ход; но памятно мне только, что я сидела в большом курульном кресле, на президентском месте, окруженная сенаторами, сидевшими на стульях, ничьи ножки не доставали до полу, и маленькую Катеньку насилу уговорили, чтоб она ими не болтала. Сцена была устроена в зале; вместо кулис были поставлены ширмы и стулья. Но, увы, негде было повесить завес. Освещение же состояло уже не из церковных свечек, а из обыкновенных свечей. С каждого приходящего зрителя, исключая мамушек, нянюшек, сенных краевых девушек и прислуги, взималось по 10 копеек, потому что после спектакля Жуковский хотел угостить актеров. Этот спектакль был сюрпризом для бабушки. Прежде всего нас усадили по местам; потом вошли зрители, которых было человек десять. Я, консул Люций Мнестор, сказала какую-то речь сенаторам о жалком состоянии Рима и о необходимости заплатить Бренну дань; но, прежде нежели почтенные сенаторы успели пролепетать свое мнение, влетел Камилл с обнаженным мечом и в гневе объявил, что не соглашается ни на какие постыдные условия и сейчас идет сражаться с галлами, обещая прогнать их. И в самом деле, он прогнал очень скоро неприятеля. Тотчас по его уходе явился вестник Лентул с известием, что галлы разбиты и бегут. Не успели мы, отцы Рима, изъявить своего восторга, как вбежал победитель и красноречиво описал нам свое торжество. Но вот наступила самая торжественная минута. Наша родственница Бунина, большая, полная, 17-ти летняя девица, одетая так же, как и мы, в белой рубашке сверх розового платья, с перевязью через плечо, распущенною красною шалью вместо порфиры, с золотою бумажною короной на голове и растрепанными волосами, введена была на сцену двумя прислужницами в обыкновенных костюмах (m-elle Рикка и девица Сергеева). Она предстала пред диктатора Камилла и произнесла слабым голосом: «Познай во мне Олимпию, ардейскую царицу, принесшую жизнь в жертву Риму!» (клюквенный морс струился по белой рубашке). Кажется, содействие этой Олимпии решило судьбу сражения. Камилл воскликнул: «О боги! Олимпия, что сделала ты?!» Олимпия отвечала: «За Рим вкусила смерть!» — и умерла[15]. [Тем и кончилась пиеса; зрители громко рукоп-

лескали и требовали вторичного представления. Оно было дано в следующее воскресенье, безденежно, потому что дирекция была довольно богата, чтобы осветить сцену на счет прошлого сбора, но без малейшего улучшения в костюмах и декорациях, которые очень нравились зрителям. Это вторичное представление, равно как и первое, имело совершенный успех. Ободренный столь блистательным началом, Жуковский сочинил драму, извлеченную из «Павла и Виргинии»: «Госпожа де ла Тур». Тут, в первой сцене, приносят завтрак. Госпожа Юшкова, желая потешить автора и всю труппу, вместо завтрака приказала подать прекрасный десерт. Что ж случилось? Все забыли свои роли, все актеры вдруг высыпали из-за кулис и бросились на десерт. Все шумели и ели, не слушая директора, который, с горя, принялся кушать вместе с прочими. Эта неожиданность понравилась зрителям больше самой драмы. Пиеса не пошла далее.

Направление было дано! Вместо того, чтобы слушать математические уроки или решать задачи, сидя в училище, Жуковский сочинял стихи, которыми восхищались все его товарищи; а г. Покровский, требовавший больше всего внимания к математике, с каждым днем все более и более был недоволен своим учеником и наконец объявил г-же Юшковой, что если она не запретит Жуковскому ходить в училище, то он выгонит его, за неспособностью, в пример другим. Это очень огорчило Варвару Афанасьевну, однако она не бранила Жуковского, видя явную несправедливость учителя. На совете между Елизаветою Дементьевною, Марьею Григорьевною и Варварою Афанасьевною было положено записать Жуковского в военную службу с тем, чтобы, считаясь на службе, он продолжал учиться или дома, или в Москве.

Всем казалось, что он имеет самое воинственное расположение, потому что из маленькой своей труппы актеров он сформировал взвод солдатиков и учил их военной экзерциции, строго наказывая за всякую неисправность и ослушание дисциплины. Вместо гауптвахты он сажал маленьких девочек под стол. Решили записать Жуковского в Рязанский пехотный полк, квартировавший тогда в Кексгольме. Этот полк выбран был потому, что майор Рязанского полка, Дмитрий Гаврилович Постников, живший почти в беспрестанном отпуску в Туле, с родными своими, был короткий приятель в доме Юшковых. Ему надобно было явиться в полк, и он предложил взять Жуковского с собою в Кексгольм, чтобы там записать его в свой полк. Новому воину сшили мундир и снарядили как следует. Это восхищало Жуковского; он уехал!

Но в это время все переменилось! Император Павел взошел на престол, малолетних запрещено было записывать в службу.] Проживши несколько недель в Кексгольме и проездивши месяца четыре, майор Постников возвратился в Тулу отставным подполковником, не записав Жуковского и остригши ему его прекрасную длинную косу, о которой Варвара Афанасьевна очень жалела и негодовала на Постникова за то,

что Жуковского не записали в полк. Итак, Василий Андреевич оставался еще несколько времени дома и учился, вместе с детьми Юшковых, у их гувернантки, которая, умевши петь, открыла в нем новое дарование — прекрасный голос и очень верное музыкальное ухо, почему и заставляла его часто петь вместе с собою.

В январе 1797 года Марья Григорьевна Бунина поехала в Москву, чтобы видеть коронацию императора Павла I. Она взяла Жуковского с собой и поместила его в Университетский благородный пансион. С тех пор его жизнь и литературное поприще сделались известны. К этому здесь можно прибавить только то, что в мае этого же года скончалась Варвара Афанасьевна Юшкова, оставя четырех маленьких дочерей. Г-жа Бунина с этих пор жила вместе с зятем своим, а также и мать Василья Андреевича Жуковского, которая никогда не разлучалась с г-жой Буниной. Постоянным местом жительства их было село Мишенское, куда Василий Андреевич всякое лето приезжал на вакацию и где он перевел в 1802 году первую пьесу, которою обратил на себя внимание: Грееву элегию «Сельское кладбище»[16].

[Тут написал он большую часть из лучших произведений своей молодости. Он построил для своей матери дом в Белеве, на берегу Оки, куда иногда перебиралась Марья Григорьевна на осенние месяцы в ожидании зимнего пути, чтоб ехать в Москву. Она переезжала в Белев, чтобы жить в соседстве с меньшею дочерью, Катериною Афанасьевною Протасовой, которая, овдовев, жила с двумя дочерьми в Белеве, в трех верстах от Мишенского. Но Лизавета Дементьевна, имея свой дом, не разлучалась с Марьей Григорьевной. Постоянное жительство Василия Андреевича было Мишенское летом, а зимою московский дом Петра Николаевича Юшкова. Так было до кончины господина Юшкова. Когда этот дом был продан и Марья Григорьевна стала уже нанимать дома для своего приезда в Москву, тогда Василий Андреевич, издававший «Вестник Европы», должен был иметь постоянное жилище в Москве, и он имел его или в квартирé Антона Антоновича Прокоповича-Антонского, или в доме Авдотьи Афанасьевны Алымовой, старшей дочери Марьи Григорьевны.

Но в 1811 году скончалась Марья Григорьевна, через двенадцать дней после нее скончалась и Елизавета Дементьевна. Василию Андреевичу неприлично стало оставаться с двумя осиротевшими девицами Юшковыми, и он переехал жить к Катерине Афанасьевне Протасовой, которая после кончины матери оставила совсем Белев и поселилась в своей орловской деревне[17].

Возвратясь из похода в конце 1812 года больной, изнуренный усталостью, Василий Андреевич жил безвыездно у Катерины Афанасьевны до 1815 года[18], когда он переехал в Петербург. Он приезжал в Мишенское однажды в феврале 1813 года, чтоб схоронить Авдотью Афанасьевну Алымову, которая перед разорением Москвы переехала к племянницам.

Его прекрасная родина — Мишенское, опустела! Замолк веселый шум, строения развалились, оранжереи исчезли, сады вымерзли, пруды высохли, и все в нем стало бедно, пустынно, уныло! Тогда-то как бы в пророческом духе Жуковский написал стихи к опустевшей деревне; эти стихи никогда не были напечатаны и вряд ли сохранились и в рукописи; они начинались так:

О родина моя! Обурн благословенный![19]

Их очень можно применить к родине Василия Андреевича, где уцелел один только Божий храм и стоит неизменившимся свидетелем прошедшего лучшего времени!

Однажды в 1804 или 1805 году Василий Андреевич встретился в Москве, в доме господина Юшкова, с прежним своим учителем Феофилактом Гавриловичем Покровским, который был переведен смотрителем гимназии в Твери. Покровский смешался, видя молодого человека, которого он так притеснял в ребячестве, теперь уже отмеченного публикою по своим дарованиям, любимого и уважаемого. Но Жуковский бросился обнимать своего бывшего учителя, встретил его, как старого друга, с искреннею радостью, не помня прежних неудовольствий! Они долго разговаривали и расстались друзьями. Возвышенная, благородная душа Василья Андреевича не способна питать никакого неприязненного чувства; кроме благодушия, в ней ничто не может вмещаться, и вот почему, дожив до старости, он сохранил какую-то младенческую ясность и веселость. «Блаженны чистие сердцем, яко тии Бога узрят!»[20]

Василий Андреевич, наверху счастия, не забыл никого из прежних знакомых; родные, друзья, даже самые отдаленные знакомые, старинные слуги, все были им или обласканы, или облагодетельствованы; всем оказывал и не перестает оказывать услуги, вспомоществования, какие только от него зависят. Отечество гордится Жуковским, а друзья и родные думают о нем с сердечным умилением и с восторгом любви и благодарности.]

ИЗ ПИСЕМ К А. М. ПАВЛОВОЙ[1]

1

РАССКАЗ О ЖУКОВСКОМ

Исполняя желание твое, милый друг, Анна Михайловна, посылаю тебе анекдот о спасении в Дерпте молодого человека от нищеты и тяж-

кой болезни, которая неминуемо привела бы его к преждевременной смерти. За достоверность этого происшествия могу ручаться. Вот оно:

Это было, кажется, под исход зимы 1815 года[2]. Тогда стихотворения Василья Андреевича Жуковского печатались первым изданием; он скоро надеялся получить за них деньги, которых у него оставалось мало для петербургской жизни, потому что он не занимал еще той должности, которую получил скоро после того. В ожидании денег он поехал в Дерпт, к Екатерине Афанасьевне Протасовой, которая, выдав старшую дочь свою за профессора Дерптского университета Ивана Филипповича Мойера, жила у него. Мойер очень был известен глубокою своею ученостью вообще и в особенности славился как искуснейший хирург и медик. Все теперешние знаменитости по этой части были его учениками, как-то: Пирогов, Иноземцев, Филомафитский и другие; все они чтят память его. А что еще было превосходнейшее в Мойере, это его прекрасная, благородная душа и добрейшее сердце. Мог ли он не быть дружен с Жуковским? И Жуковский поехал к нему, зная, что будет принят радостно всем семейством как друг и близкий родственник.

Один профессор того же университета, в прекрасный день, прогуливался с толпою студентов по улицам Дерпта и на большой улице увидел молодого человека, окутанного шинелью, сидевшего на земле и просившего милостыни. Господин профессор пришел в страшное негодованье! Он объяснил в самой умной, красноречивой речи, как стыдно просить милостыню такому молодому человеку, прибавя, что гораздо лучше работать и жить своими трудами, нежели мирским подаянием. Молодой человек слушал в молчании и только спрятал протянутую руку.

После этого и Жуковский, прогуливаясь, проходил также мимо молодого нищего, который с робостью и у него попросил подаяния. Жуковский достал из кошелька какую-то монету, подал ее нищему и потом сказал: «Ты так молод, почему бы тебе не заняться каким-нибудь делом или не искать места?» Молодой человек залился слезами и, развернув шинель, сказал: «Взгляните, сударь, могу ли я быть годен на что бы то ни было? Я не могу ни стоять, ни ходить!» Ноги его были покрыты ужаснейшими ранами. Жуковский с участием стал его расспрашивать и узнал, что он в Петербурге нанимался у одного господина-немца, который взял его потому, что он говорил по-немецки и что ему нужен был слуга, знающий русский и немецкий языки. Ездивши по дорогам с немецким путешественником в холодную зиму, он отморозил ноги. Далее Дерпта он не мог ехать, а господин его, не имея более нужды в русском слуге в таком краю, где все говорят по-немецки, расчел его и отпустил. Молодой человек, ожидая, что ноги его заживут, жил на квартире. Но раны на ногах становились хуже и хуже; он прожил все, что у него было, и, когда уже не осталось более ничего, он кое-как вышел на костылях и в первый раз решился просить милостыню.

Жуковский был растроган этим рассказом, достал пятирублевую ассигнацию (тогда счет был на серебро) и подал ее больному, который был удивлен такою щедростью. Но Жуковский не был доволен собою. Удаляясь тихими шагами от больного, он думал: «Я живу теперь у Мойера, где ничего не трачу и скоро ожидаю денег из Петербурга за свои сочинения, а этот бедняк скоро истратит пять рублей, и тогда что будет он делать?» И поспешил воротиться к больному. «Послушай, любезный, — сказал Жуковский, — здесь очень хорошие доктора; попроси которого-нибудь из них, чтоб взялся лечить тебя; а вот и деньги на леченье!» И отдал все, что было в его бумажнике; там было двести рублей. Он убежал, не слушая благословений и благодарности молодого человека.

Таких случаев в жизни Жуковского было много, но о большей части из них знает один только Бог и знала его прекрасная душа только в минуту благодеяния: он скоро забывал совершенно о сделанном им добром деле. Но вот как этот случай сделался известен.

Мимо самого того же места, где сидел больной, ехала карета; в этой карете сидел профессор Мойер, доктор медицины и хирургии и начальник университетской клиники. Увидя карету, больной стал кричать изо всех сил: «Стой! Стой! Остановитесь!» Кучер остановил лошадей. Мойер возвращался с дачи, от больной; с ним не было лакея. Он выглянул в окно и спросил у больного: «Что тебе надобно?» — «Я не нищий, — поспешил сказать больной, — я не прошу милостыни; но я очень болен и имею чем заплатить за свое лечение. Милостивый государь! Будьте так добры, рекомендуйте меня доктору, который взялся бы вылечить мои больные отмороженные ноги!»

Это было по части Мойера. Он вышел из кареты, осмотрел больные ноги и сказал больному: «Я сам доктор и буду лечить тебя». — «Я вам заплачу!» — говорил молодой человек. «Ненадобны мне твои деньги! — отвечал Мойер. — Ступай со мной!» И, подняв больного на руки, посадил к себе в карету. Дорогою больной все говорил об уплате за леченье и показывал Мойеру все свои деньги. «Хорошо, — сказал Мойер, — береги их! Я везу тебя в клинику, где лечат без платы, но откуда ты взял столько денег?» Больной рассказал ему, как выслушал речь первого господина и как второй облагодетельствовал его; но он не знал ни того, ни другого. Мойер привез молодого человека прямо в клинику и, поместя его там, воротился домой.

Ни Жуковский, ни Мойер не говорили о случившемся. Как Жуковскому не раз случалось опорожнять свои карманы в руки бедных, так и Мойеру часто приходилось подбирать среди улиц и дорог несчастных больных и помогать им. Для обоих было дело привычное: так не о чем было и толковать.

Спустя несколько времени Мойер сказал Жуковскому: «Вот ты скоро уезжаешь! Как это ты ни разу не полюбопытствовал побывать у

меня в клинике? Пойдем теперь со мною!» И они пошли вместе. Когда они подошли к одной кровати, больной встал и бросился в ноги Жуковскому; потом сказал: «Господин Мойер! Вот тот барин, который отдал мне все свои деньги! Вы два мои благодетели! Вечно буду за вас молить Бога!»

Больной был вылечен. От находившихся тут студентов, пришедших на лекцию, узнали имя и красноречивого профессора, не давшего больному ничего, кроме благих советов. Все это я написала одним духом и не имею силы перечитывать; поправьте слог и ошибки сами. Желаю Анне Васильевне полного успеха в ее предприятии, а тебя, милый друг, обнимаю и прошу сказать много хорошего всем своим.

Удивляюсь только, что Анна Васильевна, так мало будучи знакома с Жуковским, берется писать жизнь его. Ты, друг мой, которая знала его гораздо больше, конечно, за это не взялась бы. Да и я, до 1815 года жившая вместе с ним, никак не решаюсь за это взяться, несмотря на все просьбы князя Петра Андреевича Вяземского. Почему бы Анне Васильевне не взяться за работу гораздо легче и которую тот же Тургенев Ив. Серг. мог бы ей доставить: переводить для журналов? Ее переводы, верно, были бы хороши, тогда как в наших журналах печатают предурные переводы, особливо с английского.

Прощай, моя душа. Да сохранит тебя Господь! От всей души твоя

Анна Зонтаг.

2

<...> Я испугалась, читая твое последнее письмо! Неужели я могла сказать что-нибудь, что заставило тебя думать, что добрый наш Жуковский изменился в душе? Если я сказала что-нибудь похожее, то: je fais amende honorable*. Я не перечитываю моих писем и не помню того, что пишу, потому что пишу под влиянием того чувства, которое владеет мною в эту минуту. И легко может статься, что я сказала что-нибудь несправедливое насчет нашего друга, потому что мне горько было, что так давно от него нет никакого известия. Ко мне он не пишет; это решено! И я не ждала письма к себе, а хотя бы он написал к сестре моей, дал бы о себе какую-нибудь весточку! Вот он и написал, и что ж? — Он был очень болен; боялись, чтоб у него не сделалась водяная в груди. Теперь ему лучше, и я пишу к тебе в день его рождения.

Конечно, обстоятельства его много переменились с тех пор, как он отдал все свои деньги больному нищему, а с обстоятельствами, по необходимости, должны перемениться и действия человека. Тогда он был один, молодой человек, известный только по своему прекрасному даро-

* я приношу повинную (*фр.*).

ванию. Тогда ему было не совестно занять мундир у приятеля, чтобы представиться императрице Марии Феодоровне[3]; тогда ему нисколько не было предосудительно искать обеда у знакомых, если не было его дома; и всякой был счастлив, видя Жуковского за столом своим. На что ему были деньги? Разве на то, чтобы купить новую книгу. — Но после, хотя он стал и богаче и имел уже доход верный, ему стало невозможно так транжирить. Он был не только известный поэт, но сделался и государственный человек, воспитатель наследника русского престола. Тут уж он обязан был к некоторому представлению. И несмотря на то, он содержал больную Воейкову, свою крестницу, в чужих краях по самую смерть ее[4], он составил для старшей ее дочери из собственных денег капитал в 40 000 р. асс., он давал пенсии многим известным мне людям, и, наконец, в 1839-м году, во время Бородинской годины, где он должен был присутствовать со всем двором, он продал свою карету, чтобы выкупить на волю одного очень даровитого музыканта, известного в Москве, которого барин его определил в *повара*. Теперь же он женат и имеет двух детей. Деньги его нужны для семейства, и, несмотря на то, разве он не отделил 1000 р. асс. от пенсии, которую получает от императрицы Александры Феодоровны, в мою пользу, потому что узнал, что после кончины Егора Васильевича я осталась в очень тесных обстоятельствах, и эту пенсию отделил так, что я не могла от того отказаться, потому что получила и треть годовой пенсии, и уведомление об этом из императрицыной канцелярии. Узнав о Машенькиной свадьбе[5], разве он не прислал ей на приданое все то, что получил за «Наля и Дамаянти»?[6] И это уже будучи женат. О! Жуковский сохранил, среди всех каверз, которыми был окружен, всю ту же чистую, благородную, незлобивую душу. Теперь, может статься, она еще светлее прежнего, потому что он сделался очень набожен. Если бы Господь привел свидеться с ним хотя еще раз на сем свете! <...>

3

<...> Какая у тебя еще свежесть воображения! Целый огород засеяла стихами! Они очень бы понравились Жуковскому, который сам любил писать такого рода стихотворения и потом так добродушно, бывало, валяется над ними со смеху. Например, он однажды, посылая из Петербурга в Дерпт цветных бумажек кузине моей Воейковой, написал (тогда был генерал-губернатор остзейских губерний маркиз Паулуччи):

Сашка, Сашка!
Вот тебе бумажка,
Желаю тебе благополучия
Не только в губерниях Паулуччия,
Но во всякой губернии и уезде

По приезде и по отъезде.
Когда я чихну, ты скажи: здравствуй!
А я тебе скажу: благодарствуй![7]

Кто бы ждал таких стихов от Жуковского? Они очень его забавляли и нравились ему. Добрый Жуковский! Я недавно получила от него письмо. Кажется, у него все благополучно, но о возвращении своем он не говорит ни слова. <...>

С. П. Жихарев

ИЗ «ЗАПИСОК СОВРЕМЕННИКА»

Часть I. ДНЕВНИК СТУДЕНТА

1805

16 января, понедельник. Сегодня у Антона Антоновича[1] встретил Жуковского. Чуть ли не будет он сотрудником Каченовского в издании «Вестника Европы»[2], по крайней мере, Антон Антонович этого желает. Как удивился Жуковский, когда я прочитал наизусть новые стихи его, которые нигде еще не напечатаны и никому не были читаны, кроме самых его близких. Антон Антонович очень забавлялся этим и «вот (сказал) каковы-та у нас студенты-та: все-та на лету ловят; а кабы поменее-та по театрам шатались, так бы и в математике-та не отставали». Я сгорел: не в бровь, а прямо в глаз; да, впрочем, за дело, за дело: что за бессчетный студент! Однако ж не теряю надежды: Андрей Анисимович вдолбит что-нибудь в бедную мою голову во время вакаций. Но как отстать от театра?

1806

21 января, воскресенье. Добродушный хитрец Антон Антонович в самом деле думает, что я ничем не занимаюсь, кроме театра. Я пришел просить его о выдаче мне студенческого аттестата, а он свое: «А больше учиться-та не хочешь?» — «Не хочу, Антон Антоныч». — «Как Митрофанушка-та: не хочу учиться, хочу жениться?» — «Хочу, Антон Антоныч». — «Небось туда же в дармоеды-та, в иностранную коллегию?» — «Туда и отправляюсь, Антон Антоныч». — «Ректора-та попроси, а я изготовить аттестат велю. А новые стихи-та Жуковского знаешь?» — «Знаю, Антон Антоныч». — «Ну-ка прочитай-ка».

…Поэзия, с тобой
И скорбь и нищета теряют ужас свой!
В тени дубравы, над потоком,
Друг Феба с ясною душой
В укромной хижине своей,
Забывший рок, забвенный роком,
Поет, мечтает — и блажен!
И кто, и кто не оживлен
Твоим божественным влияньем?

Цевницы грубыя задумчивым бряцаньем
Лапландец, дикий сын снегов,
Свою туманную отчизну прославляет
И неискусственной гармонией стихов,
Смотря на бурные валы, изображает
И хладный свой шалаш, и шум морей,
И быстрый бег саней,
Летящих по снегам с оленем быстроногим.
Счастливый жребием убогим,
Оратай, наклонясь на плуг,
Влекомый медленно усталыми волами,
Поет свой лес, свой мирный луг,
Возы скрыпящи под снопами
И сладость зимних вечеров,
Когда, при шуме вьюг, пред очагом блестящим,
В кругу своих сынов,
С напитком пенным и кипящим,
Он радость в сердце льет
И мирно в полночь засыпает,
Забыв на дикие бразды пролитый пот...[3]

«Полно-та, полно-та! — вскричал мой Антонский, развеселившись, — уж вижу, что знаешь. Когда успеваешь выучивать-та? все с актерками танцуешь-та!» — «Я стихов не учу, Антон Антоныч, сами в память врезываются». <...>

ДНЕВНИК ЧИНОВНИКА

1807

24 марта, воскресенье. <...> Но что больше удивляет меня, что почти все эти господа здешние литераторы[4] ничего не читали из сочинений Мерзлякова и Жуковского, и вот тому доказательство: за ужином А. С. Шишков сказывал, что Логин Иванович Кутузов читал ему Грееву элегию «Сельское кладбище», переведенную братом его Павлом Ивановичем[5], и Шишков находит перевод очень хорошим и близким к подлиннику. Я заметил, что Павел Иванович перевел эту элегию после Жуковского, которого перевод несравнительно превосходнее. «Не может быть!» — возражал Александр Семенович. «Говорю сущую правду, — отвечал я, — и, если угодно, прочитаю ее вам когда-нибудь, чтоб вы могли посудить сами: я знаю ее наизусть». — «Так, пожалуйста, нельзя ли теперь?» — подхватил нетерпеливый Гаврила Романович[6]. И вот я прочитал во всеуслышание всю элегию от первого до последнего стиха, стараясь, сколько возможно, сохранить всю прелесть мелодических стихов нашего мос-

ковского поэта. Когда я кончил, все смотрели на меня как на человека, отыскавшего какую-нибудь редкую вещь или нашедшего клад; элегию хвалили, но вместе удивлялись и моей памяти: я сказал, что стихи Жуковского сами невольно врезываются в память, между тем как стихи П. И. Кутузова запомнить очень трудно.

Эта выходка стоила мне, однако ж, дорого: меня обнесли винегретом, любимым моим кушаньем.

М. А. Дмитриев

ИЗ КНИГИ «МЕЛОЧИ ИЗ ЗАПАСА МОЕЙ ПАМЯТИ»

В. А. Жуковский воспитывался в Университетском благородном пансионе (ныне 4-я гимназия); там получил он звание студента и слушал потом лекции университета[1].

Здесь надобно сказать, однако, что в то время воспитанники пансиона получали звание студента не по экзамену в университете, а объявлялись студентами на пансионском акте, который был всегда в конце декабря, и после этого допускались к слушанию лекций. Это продолжалось до декабрьского акта 1811 года. Так был объявлен студентом и Н. В. Сушков[2], наш Шекспир. Так получил звание студента и Жуковский; но с той разницею, что Жуковский, как я сказал, посещал потом университетские лекции и приобрел те высшие знания, которые приобретаются только в университетах и которые недоступны пансионерам. С 1812 года, когда и я был сделан студентом, нас в июне месяце потребовали уже на экзамен и экзаменовали в университете. — Помню, что довольно было страшно! Наставник наш в латинском языке Ф. С. Стопановский приготовил было нас к изъяснению Горациевой оды: Pindarum quisquis studet aemulare, но ректор, добрейший, впрочем, человек, И. И. Гейм, вскочил в ярости, подозревая подготовку к экзамену, вырвал у него книгу и раскрыл на другом месте. Однако, слава Богу, сошло с рук благополучно.

Тогда (и во время Жуковского, и в мое) в Университетском благородном пансионе обращалось преимущественное внимание на образование литературное. Науки шли своим чередом; но начальник пансиона, незабвенный Антон Антонович Прокопович-Антонский, находил, кажется, что образование общее полезнее для воспитанников, чем специальные знания: по той причине, что первое многостороннее и удовлетворяет большему числу потребностей, встречающихся в жизни и в службе. По тогдашним требованиям этот взгляд был совершенно современный. Вспомним еще, что домашнее воспитание вверялось тогда иностранцам; что французский язык (наделавший нам много вреда, потому что вносил нам и французские идеи) был тогда первым условием воспитания; вспомним это, и мы непременно должны будем согласиться, что предпочтительное познание языка отечественного и его литературы было тогда вполне разумно и вполне полезно.

Вместе с образованием литературным в пансионе обращалось особенное внимание на нравственность воспитанников. Жуковский был отличен и по занятиям литературным, отличен и по нравственности: немудрено, что, соединяя эти два качества, он был во всем отличным.

К исполнению этой цели, соединения литературного образования с чистою нравственностью, служило, между прочим, пансионское общество словесности[3], составленное из лучших и образованнейших воспитанников. Оно составилось при Жуковском. Жуковский был один из первых его членов и подписался под уставом, под которым подписывались и после него все члены, по мере их вступления. Это общество собиралось один раз в неделю, по средам. Там читались сочинения и переводы юношей и разбирались критически, со всею строгостию и вежливостию. Там очередной оратор читал речь, по большей части о предметах нравственности. Там в каждом заседании один из членов предлагал на разрешение других вопрос из нравственной философии или из литературы, который обсуживался членами в скромных, но иногда жарких прениях. Там читали вслух произведения известных уже русских поэтов и разбирали их по правилам здравой критики: это предоставлено было уже не членам, а сотрудникам, отчасти как испытание их взгляда на литературу. Наконец, законами общества постановлено было, между прочим, *дружество* между членами и ненарушимая *скромность*, к которой приучались молодые люди хранением тайны; тайна же эта состояла в том, чтобы не рассказывать другим воспитанникам о том, что происходило в обществе, и не разглашать мнений членов о читанных там произведениях воспитанников. Где этот драгоценный устав? Где та доска, на которой писались имена первых воспитанников, которая висела в зале и передавала имена их позднейшим поколениям воспитанников? Жуковский, в последнее время посетив пансион, спросил об ней. Ее уже не было! Грустно было его чувство.

Антонский *всегда* присутствовал в заседаниях общества в качестве почетного члена. Другие почетные члены были лица известные: попечитель университета, И. И. Дмитриев, Карамзин и другие; случалось, что и они заезжали в среду к Антонскому и неожиданно для воспитанников приходили в собрание их общества и сидели до конца. Сердце радовалось: и у них, видя возрастающих литераторов, и у воспитанников пансиона, видя внимание к себе таких людей! — Так в то время приготовлялись молодые люди в литераторы.

Первые опыты Жуковского в поэзии принадлежат ко времени его воспитания. Они были помещаемы в журналах «Приятное и полезное препровождение времени» (1797 и 1798) и «Ипокрена» (1798). За это замечание я обязан одному юному критику моих «Мелочей». Потом они были помещаемы в «Утренней заре», составлявшейся из трудов воспи-

танников пансиона[4]. И. И. Дмитриев, знавший его и прежде, особенно обратил на него внимание по выслушании на пансионском акте его пиесы «К поэзии». Он после акта пригласил его к себе и с этого времени больше узнал и полюбил его[5]. Угадывая его сильный талант, с тех пор он никогда не пропускал недостатков молодого поэта без строгих замечаний. Щадя способности слабые и немощные, он почитал делом поэтической совести не скрывать недостатков и уклонений от вкуса тех молодых поэтов, которые имели достаточно сил для овладения своим искусством. Таким образом, и к этой пиесе «К поэзии» в стихах:

Поет свой лес, свой мирный луг,
Возы, скрыпящи под снопами, —

он заметил Жуковскому, что пение предполагает сладкозвучие, что оно мелодия, что оно не выражает *скрипа*, хотя и есть инструмент, называемый скрипка. Молодой Жуковский жадно выслушивал замечания Карамзина и Дмитриева и много воспользовался их строгими замечаниями.

Грееву элегию «Сельское кладбище» перевел Жуковский тоже еще в пансионе первый раз в 1801 году, по замечанию гр. Д. Н. Б-ва[6], *не четырехстопными ямбами*, как я напечатал прежде, а шестистопными и принес свой перевод к Карамзину для напечатания в начинающемся в 1802 году «Вестнике Европы»; но Карамзин нашел, что перевод нехорош. Тогда Жуковский решился перевести ее в другой раз. Этот перевод Карамзин принял уже с восхищением; он был напечатан в «Утренней заре» и в «Вестнике Европы», в последней, декабрьской книжке 1802 года. Он был посвящен автором другу своей юности Андрею Ивановичу Тургеневу. Таким образом, известный нам перевод был второй, а последний, гексаметром, вышедший уже в старости поэта, должно считать *третьим*. Такова была настойчивость молодого поэта в стремлении к совершенству, и таких-то трудов стоил ему тот превосходный стих, та мастерская фактура стиха, которыми мы восхищаемся ныне.

Об этом-то Андрее Ивановиче Тургеневе вспоминает Жуковский в послании к брату его Александру Ивановичу, а вместе и об отце их Иване Петровиче.

Где время то, когда наш милый брат
Был с нами, был всех радостей душою?
Не он ли нас приятной остротою
И нежностью сердечной привлекал!
Не он ли нас тесней соединял?
Сколь был он прост, не скрытен в разговоре!
Как для друзей всю душу обнажал!
Как взор его во глубь сердец вникал!

Высокий дух пылал в сем быстром взоре.
Бывало, он, с отцом рука с рукой,
Входил в наш круг — и радость с ним являлась.
Старик при нем был юноша живой;
Его седин свобода не чуждалась...
О нет, он был милейший наш собрат;
Он отдыхал от жизни между нами;
От сердца дар его был каждый взгляд,
И он друзей не рознил с сыновьями.
....
Один исчез из области земной
В объятиях веселия надежды.
Увы! Он зрел лишь юный жизни цвет;
С усилием его смыкались вежды.
....
Другой... старик... сколь был он изумлен
Тогда, как смерть, ошибкою ужасной,
Не над его одряхшей головой,
Над юностью обрушилась прекрасной![7]

Андрей Иванович Тургенев был и сам поэт. В «Собрании русских стихотворений», изданных Жуковским в 1811 году (часть 4-я), помещена прекрасная его *элегия*, начинающаяся так:

Угрюмой осени мертвящая рука
Уныние и хлад повсюду разливает,
Холодный, бурный ветр поля опустошает,
И грозно пенится ревущая река![8]

По окончании курса учения и по выходе из пансиона Жуковский несколько времени все еще жил у Антонского. Пансион был на Тверской (ныне дом Шаблыкина). Главные ворота были тогда в Газетный переулок, а не на Тверскую; эта сторона двора не была еще застроена нынешним фасом. Тут была по переулку кирпичная ограда; у самых ворот был маленький флигель, выкрашенный белою краскою, в котором, отдельно от воспитанников, жил Антонский. Тут, в маленькой комнате, жил у него Жуковский по окончании курса, пансионского ли только или и университетского, этого не помню.

Здесь, как я слышал в пансионе, написал он «Людмилу». Между воспитанниками, восхищавшимися ее ужасными картинами, существовало даже предание, что будто Жуковский писал эту балладу по ночам, для большего настроения себя к этим ужасам. Может быть, это предание было и неверно; но оно свидетельствует о том, как сильно действовала «Людмила» на воображение читателей, особенно молодых сверстников автора и их преемников.

Жуковский, это известно, был небогат; в это время он должен был трудиться и из денег. Здесь перевел он (1801) повесть Коцебу «Мальчик у ручья»; (1802) поэму Флориана «Вильгельм Телль» с присовокуплением его же сицилийской повести «Розальба». Потом, по заказу Платона Петровича Бекетова, который имел свою типографию, перевел он с Флорианова же перевода — Сервантесова «Дон-Кишота», который был напечатан (1804—1806) с картинками и с портретами Сервантеса и Флориана, на хорошей бумаге, как все издания Бекетова, в шести маленьких томах[9]. Перевод отличается необыкновенно хорошим слогом, мастерством в передаче пословиц Санхо-Пансы и хорошими стихами в переводе романсов. Жаль, что он не напечатан в полном собрании переводов в прозе Жуковского. Переводы Жуковского — это памятник русского языка. Кто не изучал прозы Карамзина и Жуковского, последнего особенно в переводах, тот не скоро научится русскому стилю. Я не говорю, чтоб писать именно их слогом, хотя и ему некогда еще было устареть: я знаю, время изменяет и язык и слог; но основания их слога, чистота грамматическая, логическая последовательность речи, выбор слов и точность выражений, наконец, их благозвучие — это основания вечные, которые должны оставаться и при вековом изменении русского языка и слога русских писателей. Иван Иванович Давыдов, в своем *опыте о порядке слов*[10], в примере правильного расположения речи приводит всегда Карамзина; и, конечно, ученый академик делает это не по пристрастию!

В одном журнале («Б. д. ч.», 1852, в июньской книжке) была напечатана статья о Жуковском[11]. Там сказано, что Жуковский «попал в школу Карамзина и сделался его сотрудником по изданию «Вестника Европы».

Никогда этого не бывало; никогда Жуковский не был сотрудником Карамзина, и никого не было у Карамзина сотрудников. Как можно сообщать такие известия наугад и без справок? А с тех пор, как принялись наши журналы (т. е. со времени смирдинских изданий русских авторов) делать *открытия* в русской литературе за минувшие десятилетия нынешнего века, с тех пор так много вошло в историю нашей литературы известий, утверждающихся на догадках и слухах! Карамзин трудился над изданием «Вестника» один. Он печатал стихи и статьи, присылаемые посторонними; но не только не было у него, по-нынешнему, сотрудников, но даже и постоянных участников. Подобные известия показывают только, что пишущие ныне в журналы мало даже знают то прежнее время. Кого нашел бы Карамзин в сотрудники, если бы и искал? Кто тогда, в 1802 и 1803 годах, мог бы писать по-карамзински? Это была бы такая пестрота в его журнале, которая тогда бросилась бы в глаза: это было такое время, когда русский журнал не был еще фабрикой. Сам Жуковский был тогда еще девятнадцатилетний юноша. В двух годах «Вестника» он только и напечатал Грееву «Элегию» (1802)

да начало повести «Вадим Новгородский» (1803), которая не была кончена.

Жуковский начал несколько участвовать в «Вестнике Европы» с 1807 года[12]; в нем напечатал он 17 басен[13], в которых много достоинства: они отличаются верностию разговорного языка, поговорочною формою некоторых выражений и непритворною веселостию. Очень жаль, что Жуковский не поместил их ни в одном из полных изданий своих сочинений; может быть, потому, что этот род поэзии казался ему совершенно различным с общим характером его стихотворений. (Ныне напечатаны они в последних трех томах сочинений Жуковского[14].) Постоянное же участие его в «Вестнике» началось с 1808 года. В этом году он помещал в нем много переводов, которые после были изданы отдельно. В 1809 году он сделался уже сам издателем «Вестника»[15], а в 1810 году издавал его вместе с Каченовским. Все эти годы «Вестника» были превосходны: отличались интересными статьями, изяществом слога.

В том же журнале сказано: «Есть люди, которым с самого рождения улыбалось счастие и которые до самой могилы не знают ни горя, ни печали. Таких счастливцев немного на свете, и к ним-то принадлежит, между прочим, и Жуковский, который до последней минуты сохранил ровность характера и вовсе не знал разочарования в своей довольно долгой жизни».

Жуковский, напротив, много терпел и мало знал дней светлых. Он терпел и от недостаточного состояния, терпел и горе любящего сердца. Последнее выражено им во многих местах его стихотворений; между прочим, в следующих стихах, относящихся прямо к истории его жизни, к обстоятельству, известному всем, знавшим его в молодых его летах:

С каким бы торжеством я встретил мой конец,
Когда б всех благ земных, всей жизни приношеньем
Я мог — о сладкий сон! — *той счастье искупить,*
С кем жребий не судил мне жизнь мою делить![16]

Едва ли не под конец своей жизни Жуковский успокоился в первый раз, узнавши семейное счастие, которое очень поздно озарило его любящую душу.

Там же сказано: «Еще в 1802 году Жуковский предвидел свою будущность и очень удачно предсказал то, что мог (бы) сказать в последней строке, написанной пред самою смертию:

Мой век был тихий день; а смерть успокоенье![17]

Нет! Разве последнее только справедливо; ибо всем нам известна мирная, христианская кончина Жуковского. Но век его, т. е. большая

часть его жизни, не был тихим днем; вернее сказать, что он изобразил жизнь свою в стихах к Филалету:

Скажу ль?.. Мне ужасов могила не являет;
И сердце с горестным желаньем ожидает,
Чтоб Промысла рука обратно то взяла,
Чем я безрадостно в сем мире бременился,
Ту жизнь, которой я столь мало насладился,
Которую давно надежда не златит.
К младенчеству ль душа прискорбная летит,
Считаю ль радости минувшего — как мало!
Нет! Счастье к бытию меня не приучало;
Мой юношеский цвет без запаха отцвел!

Все мы помним тот период нашего стихотворства, когда все наши молодые поэты, будто бы по следам Жуковского, бросились в разочарование. В этом ложном разочаровании он, конечно, не был виноват; его взгляд на жизнь был для него истинным, хотя, конечно, жалобы на неудовлетворяемость ее нередко встречаются во всех произведениях первой половины его жизни. Отчего же? Оттого именно, что он мало знал радостей!

Как можно заключать a priori* о жизни автора и о состоянии души его? Надобно знать подробности первой; а заключать о характере и чувствах по стихам автора можно только или взявши в совокупности все им написанное, или зная достоверно общие черты его жизни.

Кто-то заметил мне в каком-то журнале, что не стоило труда опровергать замечания «Библиотеки для Ч.». — Что стоило труда писать, то стоит труда и опровергать. У меня были замечены малейшие неисправности. Почему же не заметить и у другого ложного сведения о литераторе или ложного умозаключения о его жизни?

Очень похвально, что мы обратились нынче к исследованиям жизни и характера наших знаменитых поэтов. Но я боюсь, чтоб этими исследованиями, или a priori, или по немногим признакам и приметам, мы не ввели в заблуждение наших потомков. По большей части эти исследования, встречающиеся в журналах, бывают похожи на разбор иероглифов или стрельчатого письма, которым исследователь начинает учиться из самого разбора. Повторяю сказанное и прежде мною: все это оттого, что пресеклась наследственная нить преданий; что между Жуковским, Пушкиным и нынешним временем был промежуток, в который литература наша отторглась от памяти прежнего. Пушкин был последний из наших поэтов, примыкавший к родословному дереву наших литераторов и к непрерывной летописи преданий нашей литературы. Прежде

* до опыта, без доказательств (*фр.*).

долго созревали, долго наслушивались, пока не начинали сами говорить и писать; а нынче начинают с того, что других учат. Это началось с Полевого, который писал и о том, что знает, и о том, чего не знает, следуя пословице: смелость города берет!

Напрасно «Современник», журнал, прекрасный по составу своему и достойный уважения, упрекает меня в том, что будто я обнаруживаю нелюбовь мою к новой нашей литературе[18]. Нет! всякий просвещенный человек знает, что литература изменяется вместе с ходом времени; что она не только не может стоять на одном месте, но и не должна. Я, с моей стороны, не только признаю в нынешней литературе все, что встречу хорошего; но, может быть, никто, моих лет, не восхищается с таким жаром всем хорошим. Не многие, может быть, читали с таким увлечением и радовались так, как я, читая «Записки охотника» и романы «Обыкновенная история» и «Львы в провинции»[19]. Знаю, что ни в карамзинское время, ни в первые десятилетия нынешнего столетия не было и не могло быть таких произведений; но знаю и то, что в то время не было тех уклонений от изящного вкуса и от истины суждений, какие встречаются ныне.

Я узнал Жуковского или в конце 1813, или в начале 1814-го[20], наверное не помню. Я приехал тогда в Москву из Петербурга и жил вместе с моим дядею; а Жуковский приезжал туда на некоторое время после своей службы в ополчении и при главнокомандующем армиею. Постоянное же его место жительства было тогда и до 1815 года у родных его, в Белеве. Это видно и из послания к нему Батюшкова, писанного около этого времени:

Прости, балладник мой,
Белева мирный житель!
Да будет Феб с тобой,
Наш давний покровитель!

В то время, когда я в первый раз видел Жуковского у моего дяди (т. е. 1813 или 1814 года), у него были уже приготовлены к печати два тома его сочинений (изданные в 4 долю, с виньетами в 1815 и 1816 годах). Он давал моему дяде свою рукопись на рассмотрение, она была и у меня; я читал ее и помню, что в ней была уже баллада «Старушка» из Саути, которой, однако, нет ни в одном из первых изданий. Она была напечатана уже гораздо позже. Елена Петровна Балашова, жена министра, сказывала мне, что Жуковский читал эту балладу у них в доме, что она не понравилась многим дамам, слушавшим это чтение, и что они отсоветовали Жуковскому ее печатать[21].

В 1815 году Жуковский жил в Дерпте. В это время жил там Александр Федорович Воейков, бывший там профессором русской словесности.

Об этом свидетельствуют его послание «Старцу Эверсу» (Густаву, дяде известного исследователя предметов русской истории) и примечание автора, в котором сказано: «Писано после праздника, данного студентами Дерптского университета». Из самого послания видно, что он был на этом празднике лично:

Там Эверс мне на братство *руку дал*:
Могу ль забыть священное мгновенье,
Когда, мой брат, к руке твоей святой
Я прикоснуть дерзнул уста с лобзаньем,
Когда *стоял ты*, старец, *предо мной*
С отеческим мне счастия желаньем.

Об этом же свидетельствует то, что в числе подписчиков на журнал В. В. Измайлова «Российский музеум», издававшийся в 1815 году, при имени Жуковского поставлено, что он подписался в *Дерпте*.

Написавши «Певца в стане русских воинов», Жуковский прислал его в Петербург к Александру Ивановичу Тургеневу, который его тогда же и напечатал. В том же, 1813 году «Певец» был напечатан и вторично. Вот история второго издания.

Императрица Мария Федоровна, восхищавшаяся «Певцом», поручила Ивану Ивановичу Дмитриеву напечатать его вторым великолепным изданием на собственный ее счет и отослать от ее имени Жуковскому бриллиантовый перстень. Жуковский прислал к нему рукописного «Певца», умноженного именами военных людей, которых в первом издании не было. Алексей Николаевич Оленин нарисовал три прекраснейшие виньетки, которые были отлично выгравированы; и в таком виде явилось в том же году 2-е издание. Оно у меня есть. По поручению Ивана Ивановича Дмитриева им занимался Дмитрий Васильевич Дашков, бывший впоследствии тоже министром юстиции. Два министра юстиции, настоящий и будущий, занимались изданием стихов молодого стихотворца. Дашков писал и примечания к «Певцу», которые и доныне печатаются с буквами Д. Д.[22] <...>

Послание Жуковского к Батюшкову, начинающееся так:

Сын неги и веселья,
По Музе мне родной!
Приятность новоселья
Лечу вкусить с тобой! —

было написано в ответ на послание Батюшкова, известное под названием «Мои Пенаты».

Все Послания Жуковского к Пушкину писаны не к Александру Сергеевичу, как некоторые нынче думают: автор «Руслана и Людмилы» был тогда еще в Лицее. Они писаны к дяде его, автору сатиры «Опасный сосед», певцу Буянова, Василию Львовичу Пушкину.

Послание к Вяземскому и Пушкину (тоже Василию Львовичу), которое начинается так:

Друзья! Тот стихотворец-горе,
В ком без похвал восторга нет! —

начиналось в рукописи так:

Ты, Вяземский, прямой поэт!
Ты, Пушкин, стихотворец-горе![23]

В то время, когда писана большая часть посланий Жуковского, мы находим множество посланий наших поэтов друг к другу. Жуковский, Батюшков, Воейков, к. Вяземский, В. Пушкин, Д. В. Давыдов, все менялись посланиями. Все они были в неразрывном союзе друг с другом; все ставили высоко поэзию, уважали один другого. Не было между ними ни зависти, ни партий. Молодые, только что начинавшие стихотворцы, понимая различие их талантов, смотрели, однако, на них как на круг избранных. Как было не процветать в то время поэзии!..

Когда в последний раз Жуковский был в Москве в 1841 году, все московские поэты встрепенулись от радости, как будто с возвращением его в Москву возвратилось прежнее время светлого вдохновения[24]. Его приезд был для всех занимающихся литературою истинным праздником. Некоторые из них вздумали почтить возвращение в Москву старейшего любимого поэта стихами. Все эти стихи вылились прямо из сердца и были выражением полного чувства любви и уважения и к поэту, и к человеку. Все эти стихи были собраны в один альбом, который я сам привез к Жуковскому. Надобно было видеть его чувство при взгляде на содержание этого альбома! На другой же день он поехал с благодарностию к Авдотье Павловне Глинке[25]: она первая была свидетельницею, как подействовал на него этот скромный памятник любви и уважения. Этот альбом и после его кончины сохранялся у супруги Жуковского[26].

Не многие из наших поэтов действовали столь долго и постоянно на поприще литературы, как Жуковский. Его поэтические труды захватывают полстолетия, всю первую половину нынешнего века (с Греевой элегии 1802 и по его кончину 1852). Жуковский, как все великие поэты, не покорялся ни примерам предшественников, ни требованиям современников: он проложил путь собственный и вел читателей за собою.

И потому, мне кажется, неверно сказано в той же статье журнала, упомянутой мною выше: «И тот народ, который в начале столетия восхищался элегиею Грея „Сельское кладбище“ в двадцать пятых годах этого столетия (какие это *двадцать пятые годы?* В целом столетии всего один год двадцать пятый), — тот же народ захотел уже познакомиться с *характером персидской поэзии*, а в половине столетия *вдруг* бросил эти мелкие игрушки, чтобы его достойно ознакомили с „Илиадою“ и „Одиссеею“».

Все это фантазия критика! Ничего этого наш нечитающий народ не хотел и не хочет; у нас есть читатели, но эти читатели — не народ! Да и те нетребовательны, а хорошо, если бы они и то читали, что, не спрашиваясь их, напишут лучшие из наших писателей. Чтение большинства составляют у нас журналы и переводы романов; а в доказательство спросите в книжных лавках: много ли продано «Одиссеи» и «Илиады»? — Вам будут отвечать: «Не продается!» Зачем фантазировать, говоря о поэте, о литературе, о народе? Эти предметы требуют правдивой заметки истории, а не фантазии критика...

И. П. Липранди

И. Н. СКОБЕЛЕВ И В. А. ЖУКОВСКИЙ В 1812 ГОДУ

Отрывок из воспоминаний

Ивана Никитича Скобелева я близко знал в 1806 и 1809 годах. Он был тогда поручиком и полковым квартирмейстером 26 егерского полка. Шеф последнего генерал-майор Иван Матвеевич Эриксон[1] часто начальствовал авангардом и отрядами, а я находился при нем и жил в общем с ним балагане. Скобелев заведовал хозяйством шефа и по нескольку раз в день должен был угощать Эриксона водкой, так как он пил немного, но очень часто, по обычаю Финляндии, его родины. Водки он обыкновенно спрашивал у заведовавшего хозяйством его и любимца своего (за необыкновенную подчиненность и храбрость) Скобелева, и не иначе, как следующим образом: «Ну, козел! Пора хлебнуть суппу» (супп по-шведски глоток, чарка водки). Как теперь вижу я Ивана Никитича, как он с черными сухарями на жестяной тарелке в одной руке и в другой с большою оплетенною фляжкою входит, согнувшись, в двери балагана. Само собою разумеется, что после генерала все мы должны были хлебнуть, в противном случае не дотронувшийся до рюмки непременно услышал бы: «Пей, козел!» Кстати замечу, что все офицеры полка собирались к котлу генерала: это был уже обычный порядок того времени.

Вскоре по окончании войны Эриксон умер. Полк ушел в Россию, а я оставался в Новой Финляндии — сначала в Торнео, потом на Аландских островах и в Або, а наконец, с половины 1810 до начала 1812 года, в Вазе и часто в Улеаборге и пр. Во все это время, а равно и в течение кампании этого года, до Тарутина, я не слыхал о Скобелеве, тем более что 26 егерский полк не был в составе главной армии, в которой находился я.

По обязанности обер-квартирмейстера 6-го корпуса (Дохтурова) я должен был ездить каждый день, а иногда и по 2 раза, из Тарутина в Леташевку, где была главная квартира фельдмаршала Кутузова. Однажды, получив приказание от К. Ф. Толя и выезжая из этой маленькой деревушки, совершенно неожиданно встретил я Скобелева.

Мы встретились как старые сослуживцы; я сошел с лошади, и мы вошли в маркитантский балаган. Здесь я узнал от него, что по смерти Эриксона он вышел в отставку, поступил в штат петербургской полиции, где скоро ему наскучило, и он взялся за старое; что третьего дня

приехал он с фельдъегерем, имея письмо к Кутузову от его супруги, который и оставил его при дежурстве, и что вчера он назначен квартиргером главной квартиры. На замечание мое, что с фельдъегерем, вероятно, он приехал налегке, он подтвердил это, присовокупив, что, к счастию, напал на больного милиционера, у которого есть повозка в четыре лошади, самовар и т. п., и прибавил: «Да и ему будет не худо, у квартиргера всегда какая-либо избенка, лачуга или баня найдется и прикроет от мороза». Поговорив еще немного, мы расстались.

После Бородинского сражения московское ополчение большею частью было прикомандировано к корпусам, и преимущественно к 6-му; начальник же ополчения граф Ираклий Иванович Марков помещался при главной квартире. Почти всякий день он приезжал в Тарутино к Д. С. Дохтурову, где часто и ночевывал. Из состоявших при нем лиц чаще других приезжали Кругликов, Костромитинов и Караулов. После обеда они обыкновенно отправлялись к адъютантам Дохтурова, которые почти все были москвичи (Римский-Корсаков, Нелединский-Мелецкий, Шкурин, князь Вяземский, Новиков, Нащокин, Мельгунов, Н. М. Дохтуров — племянник генерала и др.).

В один из моих приездов в Леташевку, выйдя из избы К. Ф. Толя вместе с другими обер-квартирмейстерами, я встретил Д. Н. Бологовского, исправлявшего должность начальника штаба 6-го корпуса; он попросил меня подождать его, пока он зайдет к генералу Коновницыну, — и тут же вошел в одну из изб, но тотчас вернулся, узнав, что Коновницын поехал к кому-то обедать, версты за 3. Мы пошли пешком с тем, чтобы сесть на лошадей за деревушкой. У ворот одной избенки сидел кто-то в шинели, с красным шерстяным платком около шеи. Бологовский и сидевший господин встретились, как близкие знакомые, самым дружеским образом. Из разговора их мне нетрудно было угадать, что пред нами «больной милиционер», о котором говорил Скобелев. Дмитрий Николаевич выговаривал ему за то, что он ни разу не приехал в Тарутино; после некоторых отговорок и ссылок на боль горла милиционер согласился ехать с нами. Пока он вышел переодеваться и приказал оседлать лошадь, мы остались у ворот, но и здесь я не спросил фамилии приглашенного. В Тарутине я подъехал к корпусному командиру — доложить ему о своей поездке, и так как время приближалось к обеду, то в числе прочих пришел и Бологовский с приехавшим к нам гостем. Дохтуров принял последнего как старого знакомого и расспрашивал о многих общих им знакомых, как это делал и Бологовский во всю дорогу. Когда штаб собрался и пришел генерал Талызин, то оказалось, что почти все более или менее были знакомы с неизвестным мне милиционером и приглашали его переехать из Леташевки к ним. Но приглашение было отвергнуто именно на том основании, что он очень хорошо приютился к квартиргеру главной квартиры. Здесь только я спросил о его фамилии и узнал, что это В. А. Жуковский, но решительно не обратил на него никакого внимания, ибо до того вре-

мени никогда не слыхал о нем, и даже после того, в несколько приездов моих, мне не пришлось обменяться ни одним словом, — и знакомство наше ограничилось только тем, что, встречаясь иногда на улице в Леташевке или проезжая мимо его ворот, у которых он часто сиживал, мы обменивались поклонами. Однажды Скобелев остановил меня и зазвал к себе пить чай, но в числе нескольких лиц, тут же живших, Жуковского в тот день не было дома, и на мой вопрос о нем Скобелев отвечал, что кто-то «утащил его», присовокупив: «Он славный барин!»

Дней через десять после этого корпус Дохтурова выступал к Малоярославцу, а дня через четыре после сражения, въезжая на рассвете с другими обер-квартирмейстерами в Полотняные заводы для получения дислокации, я увидел стоящий среди улицы с поднятым верхом экипаж в четыре лошади и несколько вьючных и верховых лошадей[2]. Заглянув в экипаж, я увидел закутанного Жуковского; мы поклонились, и здесь я в первый раз заговорил с ним, спросив, где он остановился. В. А. отвечал, что ожидает Скобелева, который расписывает мелом квартиры. Я догнал товарищей. Толь еще не приезжал. Мы вошли в избу, назначенную для дежурства; здесь обер-квартирмейстер 7-го корпуса штабс-капитан Иван Александрович Фон-Визин спросил меня, с кем я остановился разговаривать. Узнав, что с Жуковским, он пригласил меня идти к нему, пока приедет еще кто-нибудь для диспозиции; к нам присоединился еще К. Иванов, и мы вышли, — но экипаж уже исчез. Зная, с кем Жуковский останавливается, я спросил первого попавшегося унтер-офицера, который тотчас и указал нам квартиру Скобелева. Его не было еще дома, а Жуковский сидел за столом перед погребцом и приготовлялся пить чай. С Фон-Визиным они были очень коротки. Скоро принесен был большой медный с кипящей водой чайник, — но едва только мы принялись было за стаканы, как вошел Скобелев и объявил нам, что сейчас встретился с Толем, вследствие чего мы поспешили уйти. Для 6-го корпуса назначена была квартира версты за три. Как 6-му, так и 7-му корпусам должно было проходить через Полотняные заводы; отправив в назначенные для них деревни дивизионных квартирмейстеров, Фон-Визин потащил меня допивать чай. Мы действительно еще застали самовар и пробыли у Скобелева часа два, но в это время наше небольшое общество разделилось на две беседы: Жуковский с Фон-Визиным, а я со Скобелевым. Дорогой Иван Александрович меня несколько ознакомил с значением Жуковского, в котором до того времени я видел только скромность, доходящую даже как бы до стыдливости. После этого свидания я не имел случая видеть его до Красного. Здесь, в три дня, что корпусная квартира была в одном месте с главной, я каждый день виделся с ним или у Дохтурова, или у Бологовского. В Копысе пришлось мне опять пить у него чай, по тому же случаю, как и на Полотняных заводах, а на другой день закусывать — по приглашению Скобелева:

этот последний праздновал три награды, им полученные в каких-нибудь два месяца. Затем мы встречались только на пути до Вильны, где я один раз обедал с ним у графа Ираклия Ивановича Маркова.

Теперь разъясню отношения, существовавшие между Скобелевым и Жуковским. Вначале это было тайной; после Красного начали о ней поговаривать, но никто не решался довести ее до сведения Кутузова, для которого помянутые отношения оставались неизвестными до Калиша. Еще в Леташевке кто-то из сопостояльцев Скобелева и Жуковского принес из дежурства какие-то бумаги, на которые нужно было отвечать. Ответ на одну из них почему-то затруднял автора. Товарищи старались помочь ему, но все как-то не клеилось. Наконец спросили мнения Жуковского, бывшего свидетелем толков о сущности приготовляемого предписания, и он удовлетворил их. Через несколько дней войска выступили из Леташевки, и Жуковский был уже единственным постояльцем у Скобелева и затем спутником в переходах, помещая его в свой экипаж. На одном из первых ночлегов, когда дежурство еще не вернулось, Скобелеву дали что-то написать; он принес работу к себе, но, как ни старался, не мог ее выполнить; Жуковский вызвался написать вместо него, и бумага совершенно удовлетворила Коновницына и Кутузова: это был первый литературный опыт Скобелева. Коновницын обратил на него внимание и уже на каждом переходе давал ему постепенно более и более важную по сему предмету работу; Жуковский исполнял ее, как он впоследствии говорил Бологовскому, для развлечения от скуки. Под Вязьмой Коновницын в первый раз поручил Скобелеву написать коротенький приказ, который изумил всех своим слогом и ясностью, отличавшими его от всех прочих, выходивших из дежурства. Под Красным одна из изготовленных бумаг, поднесенных Кутузову для подписи, так ему понравилась, что он спросил Коновницына: «Откуда, душа моя, ты взял такого златоуста?» Коновницын отвечал, что это Скобелев, присовокупив: «Тот самый, которого княгиня прислала при письме к вашей светлости». По словам Бологовского, и в особенности Маевского и Данилевского, Коновницын уже знал тогда, что пишет не Скобелев, а Жуковский, но хотел польстить князю. Как бы то ни было, но на сказанные слова Коновницыным Кутузов ответил: «Познакомь меня с этим златоустом»[3]. Скобелев был тотчас представлен, обласкан, осыпан наградами и после того в Копысе в первый раз получил уже устное приказание написать проект какой-то бумаги, который он и представил через несколько часов. Кутузов, выслушав написанное, при Коновницыне и Кайсарове, принял вид чрезвычайно недовольный и, обратившись к Скобелеву, гневно сказал ему: «В другой раз не теряй времени на проекты и пиши прямо набело и представляй к подписи» — и затем присовокупил, отнесясь к Коновницыну: «Ты береги этот клад». При этом и Кайсаров нашел удобным заметить князю, что «так и княгиня его называет».

От Копыса до Вильны написано было несколько бумаг, не имевших особенного значения, но в Вильне Кутузов по нескольку раз в день призывал Скобелева и задавал ему темы, которых тот положительно не понимал и всякий раз испрашивал дозволения у фельдмаршала записывать то, что приказывалось, на что и получал с похвалой дозволение. В Вильне были написаны: донесение государю, приказ по армии, — но в особенности интересны сношения Кутузова с Платовым, относительно пожертвования отбитого церковного серебра в пользу церкви; сношения с митрополитом и пр. Замечательно, что эти истинно патриотические факты не нашли места в истории г. Богдановича[4], хотя они есть у Данилевского и пр.

Наконец последовала разгадка литературного достоинства Скобелева. В Вильне, по зачислении части московского ополчения в полки, остальная вместе с начальником оного графом Марковым получила повеление возвратиться на родину, а армия двинулась за границу. Скобелев, уже полковник, увешанный орденами и осыпанный денежными наградами и почестями, должен был расстаться с скромным Жуковским.

До Калиша не приходилось писать ничего имеющего сериозное значение. Кутузов приказал не затруднять Скобелева: он берег этого «златоуста», этот «клад» для важных дел. Они скоро представились: вступление пруссаков в союз с нами потребовало громкого приказа по армии — с примесью политических воззрений. Кутузов призвал Скобелева, велел ему сесть и записать главные темы, долженствовавшие быть обработанными для приказа. Отпустя «златоуста», фельдмаршал прибавил: «Смотри, брат, это первый приказ, который Европа переведет на свой язык; не ударь же нас лицом в грязь, напиши с вечера, а поутру просмотри, да пораньше и пришли ко мне». Скобелев исполнил, а когда принялся читать собственное свое сочинение, то Кутузова начало, как говорится, передергивать, но он выдержал, не желая оскорбить гения, и, напротив, очень милостиво заметил, что, вероятно, в первом заграничном городе он погулял с товарищами, и затем, сделав кое-какие замечания относительно изложения, совершенно противного тому смыслу, который он поручил выразить, присовокупил: «Поди-ка отдохни хорошенько, да исправь и принеси — если успеешь, то после обеда, а нет — то непременно вечером: завтра рано надо разослать приказ сегодняшним числом».

Самонадеянность Скобелева была так велика, что он, не дождавшись вечера, принес приказ тотчас после обеда, когда от фельдмаршала не все еще разошлись. При слушании приказа на лице Кутузова изображалось гневное нетерпение; некоторые из присутствующих, не знавшие прежнего автора, писавшего под псевдонимом Скобелева, удивлялись, другие, которые знали или по крайней мере подозревали тайну, но хранили молчание, конечно, потому, что «златоуст» был рекомендован княгиней, улыбались, посматривая друг на друга. Кутузов довольно грозно сказал Скобелеву, что он забыл, что ему приказано было отдохнуть и

принести приказ вечером с теми поправками, которые замечены, велел ему идти и исполнить это к восьми часам.

Когда Скобелев вышел, Кутузов продолжал разговор о нем, причем мало-помалу начали говорить ему о ходивших слухах, что будто бы все прежние бумаги, так нравившиеся Кутузову, писал живший вместе с Скобелевым Жуковский и пр. Фельдмаршал тотчас послал за Скобелевым и с свойственною ему сдержанностью ласково спросил, правда ли то, что ему рассказывают. Скобелев не решился запираться и признался во всем, испрашивая прощения. Откровенность Скобелева понравилась князю; улыбаясь, он заметил только, что, «значит, не ты златоуст, а Жуковский, а тебя чуть ли не много назвать и медноустом. Ступай, братец, извини только за поклеп мой, что ты ночью подкутил. За одно тобою недоволен, что ты прежде не сказал мне, что златоуст-то твой товарищ; мы бы его не упустили». Данилевский прибавляет, что будто послан был фельдъегерь в Вильну с письмом к графу Маркову, которому поручалось предложить Жуковскому прибыть в главную квартиру, но его уже не застали в Вильне, а вскоре затем умер и фельдмаршал. Этого последнего обстоятельства А. И. Данилевский не внес почему-то в записку, озаглавленную им «Собственно для меня»[5]. Относительно же проекта приказа, написанного Скобелевым, Данилевский утверждал, что приказ этот находится у него, и не раз обещал (1840—1845) показать его мне и еще кое-кому из своих знакомых. По смерти Данилевского были назначены несколько лиц для разобрания его бумаг, не знаю, попал ли и этот приказ в архив в числе исторических материалов или остался без внимания. Данилевский в описываемый момент находился при главной квартире, в распоряжении Толя, и отданный приказ был переписан у него.

Вслед за вышеприведенным случаем Скобелев и исправлявший должность генерал-аудитора Маевский получили полки, и так как они были отлично храбрые штаб-офицеры, то и не замедлили получить Георгиевские кресты и доставить полкам своим знаки отличия. Можно полагать, что с того времени желание сделаться литератором запало в голову Скобелева. Независимо служебных его сношений, в которых всегда искал блеснуть, он начал издавать «Чтение для солдат», состоявшее из различных рассказов, которые предписано было по вечерам читать в ротах. Однажды, приехав на выход во дворец, Скобелев остановился перед двумя очень красивыми унтер-офицерами, стоявшими на часах, и начал их расхваливать генерал-адъютанту П. Н. Ушакову, начальнику гвардейской пехоты. Здесь между многими случились Бологовский и брат мой. На вопрос Скобелева, читают ли они солдатские рассказы[6], унтер-офицер отвечал утвердительно; затем он спросил, нравятся ли им эти рассказы. Часовой молчал. Тогда Павел Николаевич Ушаков приказал ему отвечать на вопрос. Унтер-офицер, не зная, что имеет дело с автором рассказов, ибо гвардия его еще не видала, отвечал: «Никак

нет, ваше высокопревосходительство». Скобелев пожелал узнать — почему. Опять молчание и опять приказание отвечать. «Теперь и бабы наши не говорят таким языком», — отвечал унтер-офицер. Скобелев не отставал, — ему хотелось немедленно какой-нибудь цитаты, и она последовала: «Как же, ваше превосходительство, кто ж теперь из солдат скажет: вот я тебе из носу пущу малину!» Трое из названных лиц одинаково рассказывали мне этот забавный случай: впрочем, тогда все знали это.

Н. А. Старынкевич

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

Надо быть полячишкой, чтобы статью, смерть Жуковского возвещающую, памяти его посвященную, напечатать под заголовком «Журнальная всякая всячина»[1].

И ни один из этих северных варваров, из этих неевропейских людей, не разругал полячишку, не дал подлецу в писк. — Как бывший европейский человек, я не спустил ему, издалека выбил его порядочно, пустил к нему грамотку анонимную, — разругал, как мерзавца.

Жуковский не в 1783-м — не в том году, в начале которого пришел я на свет, — но в конце 1784-го года родился[2], а потому более чем годом был моложе меня, как же смеет (Булгарин) называть его «старцем маститым»? Мы вместе учились в Московском университетском пансионе, пробыли в нем около 5-ти лет: три, или почти три, провели в одном росте[3] и, следовательно, в одной и той же зале, в одном отделении, пока его из полублагонравного перевели в благонравное, а меня, грешного, в то же время за большую шалость в исправительное отправили[4]. — Жуковский был всегда тих и скромен, как непорочная девушка; мне не удалось никогда быть ни тихим, ни скромным, сколько ни было у меня амбиции попасть в благонравные. «Гони натуру в дверь, она в окно ворвется». Сидев в классах, и даже в русской словесности выше Жуковского, я имел великую охоту не уступать ему и в поведении, но злодейка натура всегда превозмогала; от юности моея мнози обуревали мя страсти. Портило меня в особенности то, что мне дозволено было ходить из пансиона в университет учиться латыни, и частенько вместо латинского класса бывал я в иных классах: особенно жаловал я цыганок и потому не только всегда отыскивал их, но и жилища их посещал[5].

<...> Жуковский служил недолго, едва ли два только года. Он по выходе из пансиона определился в бывшую тогда в Москве Соляную контору, коею заведовал родственник его по жене Вельяминов-Зернов, то есть Зернова была в родстве с матерью Жуковского, надворною советницею Буниною[6]. Жуковского нашли в конторе неспособным к делам и занимали его более перепискою бумаг набело. Ему поручена была однажды бумага длинная, и велено было переписать того же дня. Жуковский ушел домой, не кончив ее; на другой день экзекутор арестовал его на два дня и скинул с него сапоги, чтоб не мог выйти. Обиженный и разгневанный, Жуковский оставил службу[7].

<...> В 1812 году при образовании земского войска, призванного на защиту Отечества, Жуковский вступил в московское ополчение. Это

ополчение присоединилось к армии под командою Ираклия Ивановича Маркова... почти накануне Бородинского сражения. Оно прибыло к армии со своим, как оно называлось, комиссариатом, то есть со своими запасами, которыми наделило его московское дворянство. Пришло с ополчением до тысячи повозок, тот комиссариат составлявших... Для освобождения дороги к Москве от повозок милиции, для доставления армии, а особенно ее многочисленной артиллерии, средства скорее достигнуть до позиции, в которой хотели дать новое сражение, истреблено было много повозок из так называемого комиссариата милиционного, много отправили на проселочные дороги вправо и влево; дошло до Москвы так малое число их, что прибывшие туда запасы едва достаточны были на три дня для несчастного горемычного ополчения. О нем с того времени ни малейшего не было принимаемо попечения со стороны интендантского ведомства. Да и не могло оно заниматься им, хотя б добрую имело волю. И армия во всем нуждалась, ибо *ничего* не было приготовлено на том пути, по которому она пошла, выступив из Москвы.

<...> К тому, что переносила армия, пока подвезли ей хлеба и мяса, прибавим страдания злосчастного ополчения. В нем развились разные болезни, а особенно эпидемический кровавый понос. Этот понос охватил и Жуковского, неразлучно шедшего со своим ополчением. — У Кутузова при кухне его состоял привезенный им с собой из Санкт-Петербурга бывший там частным полицейским приставом известный фигляр Скобелев, переименованный в то время из титулярных советников по-прежнему в штабс-капитаны. Узнав о болезни Жуковского, которого он знал лишь по сочинениям его, отправился он тотчас к Жуковскому в лагерь ополчения, отрекомендовал себя как великий почитатель его талантов, предложил ему свои услуги и уговорил переехать к нему в главную квартиру Кутузова в сел. Леташевку, где у Скобелева, как заведующего кухнею, была просторная и прекрасная квартира[8]. Жуковский вскоре оправился, но, прежде чем он укрепился в силах, Наполеон начал свою ретираду. Армия наша оставила Тарутино, а главная Кутузова квартира оставила Леташевку свою. Жуковский, положивши твердо оставаться на службе по изгнании французов, а потом ни шага не сделать за границу[9], отправился при главной квартире в экипаже Скобелева и в этом экипаже прибыл наконец в Вильно, где по получении донесений, что и Макдональд выгнан из России, объявил твердое намерение расстаться с армиею и ехать восвояси на святую Русь.

Во время преследования французской армии случились между прочими следующие по штабу армии происшествия.

Князь Кутузов привез с собою служившего у него в С<анкт>-П<етер>бурге во время командования земским ополчением надворного советника Андрея Кайсарова[10], брата пресловутого генерала Паисия Сергеевича Кайсарова. Он возложил на сказанного Андрея Кайсарова управление армейскою типографиею и составление бюллетенов, коими хотел моро-

чить Россию. По побеге французов из гор. Красного бедный Андрей Кайсаров, пораженный ужасным положением французов, а особенно взятых в плен, умиравших сотнями в продолжение нескольких часов, не полагая, не дозволяя себе мыслить, чтобы они могли добраться до границ наших, никакого не имея понятия ни о случайностях войны, ни о числе французских войск, сделал грубую ошибку: написал в бюллетене, изданном в гор. Красном, что французы мерзнут, гибнут, что толпами, как мухи, падают и остается только подбирать их. Один из наших генералов, имевших доступ к Кутузову, достал экземпляр этого бюллетена и представил его с таким замечанием своим, что если бы под конец удалось Наполеону уйти хоть с малою частию своих войск, то в целой России восстал бы на нас крик, и особенно в народе, для чего не подобрал он мертвых мух, а с другой стороны, уменьшает он славу побед своих, приписывая истребление французской армии только холоду и голоду. Кутузов, найдя это замечание справедливым, разгневался на всех его окружавших, хотя бюллетены никому до опубликования не были показываемы; Андрея Кайсарова тотчас удалил от всех должностей; приказал захватить в типографии все экземпляры отпечатанного бюллетена, приказал сжечь их под надзором Скобелева и у всех, кто только успел достать этот бюллетен, тотчас отобрать его, объявив в главной квартире, что если впоследствии найдется у кого хоть один экземпляр, то утаивший его будет посажен под арест и потом уволен из армии. Тут наступили новые хлопоты — надлежало сочинить новый бюллетен; многим предложено было заняться дальнейшею их редакциею: между прочими предложено было и мне. Все отказались; я, с моей стороны, тихомолком, ночью, ушел в арьергард, откуда был вызван. Вызвался только один взять на себя писать «буллетины» — безграмотный Скобелев. Ему сперва не хотели вверить этой работы, но наконец превозмогли уверения его, что он мастерски «выпишется», и дали ему на пробу написать один. Он занял этим делом бедного Жуковского, который, таким образом, в продолжение преследования французов от Красного до Вильно написал несколько хороших бюллетенов, из коих особенно замечателен бюллетен о *шестых* числах, пагубных для Наполеона; он же написал два прекрасных письма, оба от Кутузова: одно к атаману Платову касательно отобранного казаками у французов награбленного ими в русских церквах серебра и золота, которое казаками было пожертвовано на украшение Казанского в С<анкт>-П<етер>бурге собора, другое к помещице села Тарутино Анне Никитишне Нарышкиной о сохранении в целости бывшего тарутинского лагеря со всеми укреплениями, какие возведены были нашими солдатами[11]. Скобелев и эти письма и бюллетены присвоил себе. Но слава его продолжалась недолго. При выступлении армии из Вильно за границу Жуковский объявил, что далее не пойдет с войсками, что, согласно своему обету, он с изгнанием французов из России слагает с себя военный мундир и возвращается на родину. Скобелев употреблял все возможные

хитрости к удержанию Жуковского при армии; он выпросил ему у Кутузова орден св. Анны 2-го класса, исходатайствовал хорошее содержание, если пойдет с армиею далее. Но все старания, все уловки Скобелева остались безуспешны, 1-го/13 генваря мы перешли в Мерече Неман. Надлежало Скобелеву это важное происшествие ознаменовать «буллетином». Первый, который Скобелев изволил «отхватать» сам, уничтожил его, сломил ему шею. Начинался он так: «Да воскреснет Бог и расточатся враги Его — и расточились». Кутузов, по обыкновению, подписал, но главная квартира возопила. Обратили внимание Кутузова на ту галиматью; он наконец поверил тому, что не Скобелев писал прежние бюллетени, что напрасно представлял он Скобелева царю как автора тех бюллетенов и писем к Платову и Нарышкиной, что напрасно от Красного до Вильно вывел он Скобелева за одни бюллетены его из армейских штабс-капитанов в полковники Литовского гвардейского полка; разругал его по-российски и велел не показываться себе на глаза[12]. Составление бюллетенов было поручено сперва адъютанту Коновницына Ахшарумову, а потом, в Калише, возвратившемуся из отпуска Данилевскому (впоследствии генерал-лейтенанту), автору «Описания Отечественной войны».

<...> Андрей Кайсаров... оставив главный штаб армии вследствие несчастного бюллетена своего, взялся не за свое дело. Не быв никогда в военной службе и в штаб попавши как офицер милиционный, он вздумал пойти под начальство брата генерала Паисия в партизаны. При взятии отрядом их в Саксонии небольшого французского парка он задумал взорвать этот парк на воздух, не умел сделать этого — и сам вместе с парком взлетел на воздух.

Все вообще сожалели о нем как о человеке прекрасных качеств и отличного образования[13].

Ф. Н. Глинка

ИЗ «ОЧЕРКОВ БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ»

<...> Любовь к отечеству вызвала мирных поселян на священное ратование. Нельзя было смотреть без чувства на такой избыток доброй воли. Появление этих войск перенесло нас далеко в старые годы. Один офицер, которого записки остались ненапечатанными, говорит: «Казалось, что царь Алексей Михайлович прислал нам в сикурс свое войско! В числе молодых людей, воспитанников Московского университета, чиновников присутственных мест и дворян, детей первых сановников России, пришел в стан русских воинов молодой певец, который спел нам песнь, песнь великую, святую, песнь, которая с быстротою струи электрической перелетала из уст в уста, из сердца в сердце; песнь, которую лелеяли, которою так тешились, любовались, гордились люди XII года! Этот певец в стане русских был наш Кернер[1], В. А. Жуковский. Кто не знает его песни, в которой отразилась высокая поэзия Бородинского поля?»[2] <...>

ИЗ «ПИСЕМ РУССКОГО ОФИЦЕРА»

18 декабря <1812 г.>

Я два раза навещал одного из любезнейших поэтов наших, почтенного В. А. Жуковского. Он здесь, в Вильне, был болен жестокой горячкой: теперь немного обмогается. Отечественная война переродила людей. Благородный порыв сердца, любящего Отечество, вместе с другими увлек и его из круга тихомирных занятий, от прелестных бесед с музами в шумные поля брани. Как грустно видеть страдание того, кто был таким прелестным певцом во стане русских и кто дарил нас такими прекрасными балладами! Мой друг! Эта война ознаменована какой-то священной важностью, всеобщим стремлением к одной цели. Поселяне превращали серп и косу в оружие оборонительное; отцы вырывались из объятий семейств, писатели — из объятий независимости и муз, чтоб стать грудью за родной предел. Последние, подобно трубадурам рыцарских времен или бардам Оссияна, пели и под шумом военных бурь.

И. И. Лажечников

ИЗ «ПОХОДНЫХ ЗАПИСОК РУССКОГО ОФИЦЕРА»

Часто в обществе военном читаем и разбираем «Певца в стане Русских», новейшее произведение г. Жуковского[1]. Почти все наши выучили уже сию пиесу наизусть. Верю и чувствую теперь, каким образом Тиртей водил к победе строи греков. Какая Поэзия! какой неизъяснимый дар увлекать за собою душу воинов! Желал бы даже спросить Певца, в какой магии почерпнул он власть переносить душу сию, куда он хочет, и велеть ей чувствовать по воле непостоянных прихотей его?.. Захочет — и я в стане военном, под покровом ясного вечера, среди огней бивуака, беседую с друзьями за круговою чашею о славе наших предков. Певец, настроив душу мою к какому-то унылому о них воспоминанию, вскоре ободряет ее, говоря, что память великих не слез, но подражания достойна. — Велит — и я переношу сердце на милую родину,

Страну, где мы впервые
Вкусили сладость бытия.
Поля, холмы родные,
Родного неба милый свет,
Знакомые потоки,
Златыя игры первых лет
И первых лет уроки:
Что вашу прелесть заменит? —
О родина святая!
Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя?
....
Там все — и проч.

Трогательное, сладчайшее воспоминание об Отечестве! Какое сердце, в самом деле, не дрожит, читая сии стихи? Надобно точно быть в удалении от милой родины, под непостоянным небом чуждых земель, среди ужасов войны и под всегдашним надзором смерти, чтобы живо чувствовать всю прелесть этих стихов. Кто лучше нас, бездомных странников, ощущает всю красоту и силу их? Они невольно извлекают слезы и велят сердцу вырываться на кровавый пир против врагов Отечества и за друзей незабвенных!

Все добродетели военные прелестно изображены Поэтом: какою неизъяснимою силою влечет он подражать им! каким клеймом уничи-

жения означен у него малодушный. — Он не принадлежит к собратству храбрых; он чуждый всякому русскому. Хотите ли видеть изображение истинного героя? — Вот оно:

Тот наш, кто первый в бой летит
　　На гибель сопостата;
Кто слабость падшего щадит
　　И грозно мстит за брата!
Он взором жизнь дает полкам;
　　Он махом мощной длани
Их мчит во сретенье врагам,
　　В среду шумящей брани!
Ему веселье — битвы глас!
　　Спокоен под громами:
Он свой последний видит час
　　Бесстрашными очами!

Читая изображение лучших полководцев нынешней войны, думаешь, что Певец в самом деле родился в шумном стане военном, возрос и воспитывался среди копий и мечей, сопровождал храбрых в грозные, кипущие битвы, замечал отличительные черты их мужества и ныне их воспевает. — Какой воин, особенно родившийся под сению кремлевских стен, какой воин не воскипит огнем мужества, внимая восторженному сим чувством Певцу? — Неувядаемы цветы, которые бросает он на славные могилы Кульнева, Кутайцева и Багратиона, и стонущие над ними звуки его лиры столько же бессмертны, как и дела их. — Поэту знакомы, конечно, все прелести дружбы: для того-то он так хорошо описывает ее.

Многие говорят, что чувство сие более не существует на свете: — сделаю в его пользу небольшое отступление от предмета моего. — Советую им заглянуть в стан военный: там верно увидят они дружбу, покоящуюся под щитом прямодушия и чести. Военным не знакома двуличная учтивость; светское притворство чуждо открытой душе их; низкое корыстолюбие было всегда их первым врагом. Когда храбрый воин подает вам свою руку, верьте, что он подает вам тогда сердце свое. Когда он говорит вам: будь мне другом! — тогда знайте, что он, для ваших нужд, готов вынуть последний рубль на дне своего кошелька; что он в пылу битв, не рассуждая об опасностях, не делая расчислений, станет за вас грудью и, для сохранения вашего имени, почтет жизнь свою должною жертвою. Оресты и Пилады не чрезвычайные явления между военными. Если бы господа новейшие философы потрудились перешагнуть за порог мирного их кабинета и заглянуть в дымные бивуаки, где последний сухарь делится пополам для брата, где несколько воинов защищаются одним соломенным щитом от бурь и ненастья и часто одним плащом согреваются; если бы мудрецы сии последовали за храбрыми в

борьбу грозных битв, где друг выручает друга из объятий смерти, то невольно бы признались они, что священное, великое чувство дружбы еще в свете обитает.

Но любовь — краса, богатство и награда воина — еще прелестнее в устах Поэта.

Любовь одно со славой!

Пускай судьба сблизит два существа непостижимою тайною взаимности: пускай свяжет сердце их узлом чистых, вечных наслаждений, познакомит их с блаженством земного и небесного рая — и тогда пусть отделит одно существо от другого, чтобы препоручить его опасностям брани, на защиту милой!

Тот смело, с бодрой силой
На все великое летит!
Нет страха, нет преграды!
Чего, чего не совершит
Для сладостной награды?..
....
Отведай, враг, исторгнуть щит,
Рукою данный милой!..
Святой обет на нем горит:
Т в о я и за могилой!

И умереть приятно за ту, с которою нам так сладостна была жизнь!

Когда ж предел наш в битве пасть,
Погибнем с наслажденьем!

Из строфы: *Доверенность к Творцу* — и следующей за нею можно составить прекрасный военный катехизис. Строфа: *Но светлых облаков гряда* — самая картинная![2] Нельзя изобразить живее восход зари, час перед битвою, звук вестового перуна, тревогу в стане; невозможно лучше приготовить сердце к томной безвестности будущего жребия нашего — жребия, который развяжет на кровавом поле узел нашей жизни и счастливейших ее мечтаний.

Время и место не позволяют мне разобрать все красоты Певца; они бесчисленны! труд сей принадлежит постоянному обитателю мирного кабинета. Довольно сказать, что «Певец во стане русских» сделал эпоху в русской словесности и — в сердцах воинов!

В. А. Жуковский прибыл теперь в Вильну с главною квартирою[3]; делив с защитниками Отечества все трудности нынешней войны, он делит с ними здесь и славу. Мне сказывали, что он был опасно болен, но что молитвами Муз и попечениями их лучший цветок Парнаса оживает. — Чего не делает слава? Целая страна, целый народ плачут у болезненного

одра великого человека, между тем как холодный долг роет каждый день могилы людей безвестных, и путник с равнодушием мимо их проходит!

1815

Дерпт, 9 марта. <...> Незабвенна будет для меня беседа, составленная мною для известного нашего литератора А. Ф. Воейкова, — беседа, в которой дети Марсовы угощали по-своему русского поэта. Зато как часто, как приятно угощал нас по-своему же Александр Федорович и на кафедре, на которой ходили его слушать наши генералы и простые офицеры[4], и в кругу его любезного почтенного семейства, где дарили нас ласками, приязнью, равнявшеюся даже с красотой стихов самого Жуковского (которого любят здесь — и везде читают). Записан в сердце моем день, когда я узнал и сего скромного, несравненного Певца нашего — Поэта, коего гению поклонялся я с самого малолетства! <...>

Дерпт, 12 марта. В пребывание мое здесь В. А. Жуковский и А. Ф. Воейков изъявили желание иметь Историю города сего, достойного примечания по месту, занимаемому им в летописях наук и политики. Я трудился тогда над сею Историею; но хотя и обещались сии знаменитые литераторы быть снисходительными, я не смел показать им трудов моих, по робости, свойственной молодым писателям, не надеющимся на знания и способности свои. <...>

Т. Толычева

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

<...> Протасовская деревня Муратово населялась все более и более[1]. Екатерина Афанасьевна была рада каждому приращению своего семейства: она привыкла жить среди многочисленного кружка и в эту тяжелую эпоху придерживалась более чем когда-либо поговорки, что на людях и смерть красна. Однако туман, стоявший над Россией, начал редеть: известия о наших победах за границей разгоняли понемногу общее уныние, особенно для тех, которые не имели близких в рядах войска. Жуковский, принужденный вследствие тяжкой болезни оставить военную службу[2], приехал также в Муратово, куда его влекла, кроме родственных связей, любовь к одной из дочерей Екатерины Афанасьевны. Общество постоянно увеличивалось. Наши помещики принимали охотно к себе пленных, и несколько французов жило у Протасовых. Все старались облегчить участь этих несчастных, многие с ними дружились; часто природная их веселость брала верх над горькими обстоятельствами, и они оживляли общество своими разговорами и остротами.

Из числа тех, которых приютило Муратово, двое постоянно вели междоусобную войну. Один был Мену, племянник известного генерала того же имени, который принял в Египте начальство над армией по смерти Клебера, перешел в исламизм, чтобы угодить мусульманам, женился на мусульманке, был разбит англичанами и по возвращении во Францию принят с почетом Наполеоном и назначен губернатором в Пьемонт. Племянник гордился незавидной славой дяди и был ярым бонапартистом. Политический его враг, генерал Бонами[3], получивший под Бородином двенадцать ран штыком, не скрывал, наоборот, своей ненависти к Наполеону и предсказывал, что «этот самозванец» загубит окончательно Францию. Раз за обедом, на который Екатерина Афанасьевна пригласила многих соседей, предложили тост за здоровье императора Александра. Бонами выпил молча, но Мену встал и сказал, подымая свой бокал: «Je bois à la santé de l'empereur Napoleon»*.

Эта вызывающая выходка сильно подействовала на присутствующих. Все сочли себя оскорбленными, послышались с разных сторон раздраженные голоса, мужчины окружили Мену. Дело приняло бы, вероятно, неблагоприятный оборот, если б в него не вмешался вечный примиритель — Жуковский: он напомнил всем о снисхождении, которое заслу-

---

* Пью за здоровье императора Наполеона (*фр.*).

живало положение пленных, находившихся под русским кровом, и успокоил раздраженных.

Декабрь подходил к исходу; собирались встретить весело Новый год. Жуковский приготовил стихи. Увеселенья начались с игр и жмурок. Бегая друг за дружкой, молодые люди поглядывали, в ожидании сюрприза, на таинственный занавес, прикрепленный между двух колонн, поддерживавших переходы верхних этажей через большую высокую залу. В данную минуту занавес поднялся, и перед зрителями явился Янус. На его затылке была надета маска старика; голову окружала бумага, вырезанная короной; над лбом было написано крупными буквами число истекавшего года 1813, над молодым лицом стояла цифра 1814. Обе надписи были освещены посредством огарка, прикрепленного к голове римского бога. Его роль исполнял один из крепостных людей, которому приказано было переносить, не морщась, боль от растопленного воска, если он потечет на его макушку. Старик Янус поклонился обществу и промолвил:

Друзья, я восемьсот —
Увы! — Тринадесятый,
Весельем не богатый
И очень старый год.

Потом он обернулся к публике молодым своим лицом и продолжал:

А брат наследный мой,
Четырнадцатый родом,
Утешил вас приходом
И мир вам даст с собой[4].

В ответ на слова Януса прозвучала полночь, выпили шампанское и сели за ужин.

Наконец пришлось праздновать взятие Парижа; мир казался ненарушимым, и все вздохнули свободно. Пора было разъезжаться по углам и приниматься за покинутый образ жизни. Юшковы и молодая вдова Киреевская с семейством собрались домой; Жуковский ехал с ними[5]. Один из муратовских соседей, Алексей Александрович Плещеев[6], пригласил их погостить на перепутье у него и отпраздновать день рождения его жены.

Плещеев был человек богатый, славился хлебосольством, мастерством устраивать parties dé plaisir* в великолепном селе своем Черни, держал музыкантов, фокусников, механиков, выстроил у себя театр, сформировал из своих крепостных труппу актеров и обладал сам замечательным сценическим искусством. Он не мог жить без пиров и забав: каждый день общество, собиравшееся в Черни, каталось, плясало и играло в

* увеселения (*фр.*).

Secrétaire[7]. Отличавшийся особенным остроумием был провозглашаем le roi ou la reine du Secrétaire*. Королевская роль выпадала чаще всего на долю Анны Петровны Юшковой. Лишь только ее избрание было решено общим советом, она надевала самый лучший свой наряд и остальные члены общества обращались в ее придворных. Они принимали ее приказания, вели ее торжественно к обеду и носили на себе надписи, означавшие их должности: тут были телохранители, пажи и пр. Француз mr. Visard, гувернер маленьких Плещеевых, играл обыкновенно роль хранителя печатей (канцлера), и на груди его красовалась надпись: «Garde des sots»** вместо «sceaux»***[8]; каламбур относился к воспитанникам, с которыми он не умел ладить.

Хозяйка дома, Анна Ивановна Плещеева, рожденная графиня Чернышова, была красавица. Муж очень ей угождал, что не мешало ему ухаживать за другими. В день ее рождения он задал пир, который сохранился еще в устных преданиях и дает понятие об образе жизни богатых помещиков того времени. После обедни, на которую съехались ближние и дальние соседи, хозяин предложил прогулку. Пошли на лужайку, где, к общему удивлению, стояла выросшая за ночь рощица.

Когда виновница пира к ней приблизилась, роща склонилась перед ней и обнаружился жертвенник, украшенный цветами; возле него стояла богиня, которая приветствовала Анну Ивановну поздравительными стихами. Потом богиня и жертвенник исчезли, и на место их явился стол с роскошным завтраком. По выходе из-за стола Плещеев спросил у жены и гостей, расположены ли они воспользоваться хорошею погодой, и привел их к канавке, за которой возвышалась стена. Вход в ворота был загорожен огромной женской статуей, сделанной из дерева. «Madame Gigogne, voulez-vous nous laisser entrer?»****— закричал хозяин. Но негостеприимная madame Gigogne размахивала руками вправо и влево и кивала грозно головой. Тогда явился монах и стал творить над ней заклинания, разумеется по-французски. Побежденная madame Gigogne упала во весь рост через канаву, и спина ее образовала мост. С своей стороны, монах превратился в рыцаря и приглашал гостей войти. Когда они перешагнули за ворота, целый город представился их взорам. Тут возвышались башни, палатки, беседки, качели. Между ними стояли фокусники с своими снарядами и сновали колдуньи, которые предсказывали каждому его будущность. Под звуки военной музыки маневрировал полк солдат. На их знаменах и киверах стояла буква N, так как Плещеев звал свою жену Ниной. Лавочники приглашали посетителей взглянуть на их товары и подносили каждому подарок. Для крестьян были приготовлены лакомства всякого рода. У одной из башен стоял молодец, который зазывал к

* королем или королевою секретарей (*фр.*).

** хранитель дураков (*фр.*).

*** печати (*фр.*).

**** Мадам Жигонь, позволите ли нам войти? (*фр.*)

себе гостей. «Voulez-vous entrer, mesdames et messieurs, — кричал он, — voulez-vous entrer nous vous férons voir de belles choses»*. У него была устроена камер-обскура, все входили и глядели поочередно сквозь стеклышко на портрет Анны Ивановны, вокруг которого плясали амуры.

Обед был, разумеется, роскошный: потом общество получило приглашение на спектакль. Давали «Филоктета», трагедию Софокла, переложенную на французский язык[9], потом трагедию-фарс под заглавием «Le sourd ou l'auberge pleine»**. На этом представлении отличился сам Плещеев, который дополнял комедию своими остротами и морил со смеху публику. За спектаклем следовали иллюминация, танцы и ужин.

Но этот день, посвященный таким блестящим забавам, чуть было не навлек неприятностей на амфитриона[10]. Из числа его гостей нашлись люди, которым показалась сомнительною буква Н, стоявшая на знаменах и киверах солдат, маневрировавших в импровизированном городе. В этой злосчастной букве прочли не имя Нины, а Наполеона. Насчет Плещеева стали ходить такие неприятные толки, что губернатор счел долгом пригласить его к себе. Плещеев объяснил ему дело и обещался быть осторожнее.

---

* Не угодно ли вам войти, милостивые дамы и господа, не угодно ли вам войти, мы вам покажем прекрасные вещи (*фр.*).

** «Глухой, или Наполненная гостиница» (*фр.*).

А. П. Петерсон

ЧЕРТЫ СТАРИННОГО ДВОРЯНСКОГО БЫТА

К рассказам и анекдотам г-жи Толычевой...

В усадьбе Киреевского, в селе Долбине, при сахарном заводе жил сахаровар Зюсьбир, из Любека; полевым хозяйством управлял англичанин мистер Мастер, который, так же как и жена его, говорил очень плохо по-русски. Шутов и шутих, дураков и дур, сказочников и сказочниц при молодом барине не было. Видно, они перевелись еще при старом; ибо Василий Иванович, из сожаления к ним и уважения к отцу, не прогнал бы их. Но у соседних старых помещиков вся эта увеселительная прислуга бар, упоминаемая в «Причуднице» Дмитриева[1], еще существовала. Так, у Марьи Григорьевны Буниной, в соседнем селе Мишенском, жил еще тогда дурак Варлам Акимыч, или Варлашка[2], — не остряк, не шут, а просто дурак совершенный, который в наше время возбуждал бы сожаление и отвращение; а тогда и священник села забавлялся исповедовать его и выслушивать грехи его: лиловые, голубые, желтые и т. п. Одет Варлашка был в кофту или камзол, оканчивающийся юбкою, наглухо сшитою, и весь испещрен петухами и разными фигурами. Но между дворовыми в Долбине оставались еще Арапка и гуслист. Гуслист настраивал фортепьяны и игрывал по святочным вечерам, на которые в барскую залу собирались наряженные из дворовых (кто петухом простым или индейским, журавлем, медведем с поводырем балагурным, всадником на коне, бабой-ягой в ступе с пестом и помелом и пр.). Нарядиться журавлем было проще всего: выворачивался тулуп, в рукав продевалась длинная палка, к концу ее и рукава навертывалась из платка голова и привязывалась другая палка, представлявшая клюв; наряженный надевал тулуп себе на голову и спину и ходил сгорбившись, держа свою шею в руках, то поклевывая по полу, то поднимая ее вверх, треща по-журавлиному с прибаутками. Являлись в замысловатых иногда личинах. Однажды камердинер Киреевского явился Езопом[3] и рассказывал наизусть басни Хемницера с своими прибаутками. Другой комнатный предстал в облачении архиерея и, поставив перед собой аналой, начал говорить проповедь с шутливым, хотя приличным, тоном и содержанием; но Василий Иванович его остановил и удалил из залы: он был очень набожен. Из 15 человек мужской комнатной прислуги 6 были грамотны и охотники до чтения (это за 70 с лишком лет до теперешнего времени); книг и времени у них было достаточно, слушателей много. Во время домовых богослужений, которые бывали очень часто

(молебны, вечерни, всенощные, мефимоны и службы Страстной недели), они заменяли дьячков, читали и пели стройно, старым напевом; нового Василий Иванович у себя не терпел, ни даже в церкви. В летнее время двор барский оглашался хоровыми песнями, под которые многочисленная дворня девок, сенных девушек, кружевниц и швей водили хороводы и разные игры: в коршуны, в горелки, «заплетися, плетень, заплетися, ты завейся, труба золотая» или «а мы просо сеяли», «я поеду во Китай-город гуляти, привезу ли молодой жене покупку» и др.; а нянюшки, мамушки, сидя на крыльце, любовались и внушали чинность и приличие. В известные праздники все бабы и дворовые собирались на игрища то на лугу, то в роще крестить кукушек, завивать венки, пускать их на воду и пр. <...>

К весельям деревенской жизни надо прибавить, что церковь села Долбина, при которой было два священника (оба неученые: замечательно, что в те времена неученые предпочитались ученым; неученые были проще, обходительнее, внимательнее к крестьянам и даже поучительнее, понятнее и воздержнее, нежели тогдашние ученые, заносчивые), славилась чудотворною иконою Успения Божией Матери. К Успеньеву дню[4] стекалось множество народу из окрестных сел и городов, и при церкви собиралась ярмарка, богатая для деревни. Купцы раскидывали множество палаток с красным и всяким товаром, длинные, густые ряды с фруктами и ягодами; не были забыты и горячие оладьи и сбитень. Но водочной продажи Василий Иванович не допускал у себя. Даже на этот ярмарочный день откупщик не мог сладить с ним и отстоять свое право по цареву кабаку. Никакая полиция не присутствовала, но все шло порядком и благополучно. Накануне праздника смоляные бочки горели по дороге, ведшей к Долбину, и освещали путь, а в самый день Успения длинные, широкие, высокие, тенистые аллеи при церкви были освещены плошками, фонариками, и в конце этого сада сжигались потешные огни, солнца, колеса, фонтаны, жаворонки, ракеты поодиночке и снопами, наконец, буран. Все это приготовлял и всем распоряжался Зюсьбир. Несмотря на все эти великолепия, постромки у карет, вожжи у кучера и поводья у форейтора были веревочные.

К. Н. Батюшков

ИЗ ПИСЕМ

Н. И. Гнедичу. *3 января 1810 г. <Москва>*

<...> Видел, видел, видел у Глинки весь Парнас, весь сумасшедших дом[1]: Мерз<лякова>, Жук<овского>, Иван<ова>, всех... и признаюсь тебе, что много видел. <...>

Н. И. Гнедичу. *16 января <1810 г. Москва>*

<...> Скажу тебе, что я отдал Жуковскому твое послание ко мне с моим ответом[2], кой-где оба поправив. Он тебя любит ... ибо он один с толком <...>

Н. И. Гнедичу. *9 февраля 1810 г. Москва*

<...> В «Вестнике» я напечатал твое и мое послание. С Жуковским я на хорошей ноге, он меня любит и стоит того, чтоб я его любил...

<...> Какову мысль мне подал Жуковский! Именно — писать поэму: «Распрю нового языка со старым», на образец «Лютрена» Буало, но четырехстопными стихами[3]<...>

Н. И. Гнедичу. *<17 марта 1810 г. Москва>*

<...> Спасибо за «Илиаду». Я ее читал Жуковскому, который предпочитает перевод твой Кострову. И я сам его же мнения <...>

Поверь мне, мой друг, что Жуковский истинно с дарованием, мил и любезен и добр. У него сердце на ладони. Ты говоришь об уме? И это есть, поверь мне. Я с ним вижусь часто, и всегда с новым удовольствием <...>

Н. И. Гнедичу. *1 апреля <1810 г. Москва>*

<...> Жуковского я более и более любить начинаю <...>

<...> Пришли, пожалуйста, отрывок из Мильтона о слепоте[4], я его отдам напечатать Жуковскому: и его, и меня этим одолжишь <...>

Н. И. Гнедичу *<1810 г. Москва>*

<...> Здесь ничего нового нет. Глинка со всеми поссорился. Мерзляков читал 4-ю песнь Тасса, в которой истинно есть прекрасные стихи. Жуковский — сын лени, милый, любезный малый <...>

П. А. Вяземскому. 7 *июня. Полночь <1810 г. Москва>*

<...> Я буду к вам в понедельник или во вторник и притащу девицу Жуковскую[5], которую я видел сегодни... Кстати, В. Л. Пушкин прислал послание к Жук<овскому>... A propos. Joukovsky a été bien malade.

Un mal affreux s'est emparé de son derrière — c'est bien sérieux, ce que je vous dis là. Le médecin l'a menacé d'un coup d'apoplexie et lui a fait donné force lavements, et le voilà de nouveau rendu aux muses et à ses amis. Je l'ai trouvé ce matin fêtant le plat de légumes et un gros morceaux de viande rôti, capable de nourir une dizaine du matelots anglais affaimés. Il est toujours le même, c'est a dire, aussi chaste et plus chaste encore qu'avant sa maladie <...>

Joukovsky a fait imprimé un long Kyrielle sur la mort de Bobroff[6], cela cadre à merveille avec votre épigramme qui sera tout à côte*.

П. А. Вяземскому. *29 июля <1810 г. Хантоново>*

<...> Уведомь меня, как течет время в вашем Астафьеве, что делает деятельный Жуковский, стало ли у тебя чернил и бумаги на этого трудолюбивого жука? Я к нему писал, адресуя письмо в *Типографию*. Если это не эпиграмма, то, видно, мне по смерть не писать!

<...> И сообщи мне свои тайные мысли о Жуковском, ***который, между нами сказано будь, великий чудак***[7]. Где он, в Белеве или у вас? — не влюблен ли <...>

Н. И. Гнедичу. *<Декабрь 1810 г. Хантоново>* <...> О Жуковском ничего не знаю. Я с ним жил три недели у Карамзина[8] и на другой или третий день уехал в деревню. Он в Белеве, верно, болен или пишет. Пришли что-нибудь в «Вестник», а к нему писать буду <...>

Н. И. Гнедичу. *<Февраль — начало марта 1811 г. Москва>*

<...> Пришли 9-ю песнь; я ее прочитаю и сделаю свои замечания, если хочешь — с Жуковским, который тебя любит и почитает, а между тем и бранит за то, что ты ему не высылаешь «Перуанца» с поправками <...>[9]

<...> Жуковский написал балладу, в которой стихи прекрасны, а сюжет взят на Спасском мосту <...>[10]

Н. И. Гнедичу. *13 марта <1811 г. Москва>*

<...> Я отдал «Перувианца» Жуковскому, который тебя истинно любит. Добрый, любезный и притом редкого ума человек! Он хотел тебе прислать поправки <...>

Кстати, Жуковский был сильно болен. Болезнь подошла к нему сзади. Я говорю это совершенно серьезно. Врач пугал его апоплексическим ударом и, прописав сильный клистир, вернул его музам и друзьям. Сегодня утром я застал его угощающимся тарелкой овощей и огромным куском жареного мяса, достаточным, чтобы накормить десяток голодных английских матросов. Он не изменился, то есть остался столь же целомудренным, или стал еще более целомудренным, чем до болезни...

Жуковский печатает длинную литанию на смерть Боброва, она прекрасно дополняет твою эпиграмму, которая будет напечатана рядом (*фр.*).

<...> Кажется, перевод мой не хуже подлинника. «Гаснет пепел черных пней»[11] — взято с натуры, живописно и очень нравится Жуковскому и всем, у кого есть вкус <...>

Н. И. Гнедичу. *<Конец апреля 1811 г. Москва>*

<...> «Собрание стихотворений» Жуковского ты можешь купить в Питере: у меня теперь нет лишних денег, вот почему тебе и не посылаю <...>

<...>Ты удивляешься, что Жуковский, будучи со мной знаком, ничего моего не поместил[12]. Я его люблю, как и прежде, потому что он имеет большие дарования, ум и самую добрую, благородную душу <...>

<...> Державин написал письмо к Тургеневу, в котором он разбранил Жуковского и осрамил себя. Он сердится за то, что его сочинения перепечатывают, и между прочим говорит, что Жуковский его ограбил, ибо его книги не расходятся, а Жуковский насчет денег такая же живая прореха, как ты и как я <...>

Кстати об издании Жуковского. Скажу тебе, что его здесь бранят без милосердия. Но согласись со мною: если выбирать истинно хорошее, то нельзя собрать и одного тома <...>

П. А. Вяземскому. *<Август — сентябрь 1811 г. Хантоново>*

Ты бранишь *Библию*, Morton[13], и зачем? Неужели ты меня хочешь привести в свою веру: я не Жуковский и не люблю спорить, а ты похож на этих шалунов, которые

A faux titre insolents et sans fruit hasardeux
Pissent au bénêtier, afin qu'on parle d'eux.

*Régnier**

Н. И. Гнедичу. 7 *ноября <1811 г. Хантоново>*

<...> «Мечта» понравилась, но, конечно, не всем <...> Жуковский ее называет арлекином[14], весьма милым: я с ним согласен <...>

П. А. Вяземскому. *Числа не знаю. <Ноябрь 1811 г. Хантоново>*

<...> Будучи болен и в совершенном одиночестве, я наслаждаюсь одними воспоминаниями, а твое письмо привело мне на память и тебя, и Жуковского, и наши вечера, и наши споры, и наши ужины, и все, что нас веселило, занимало, смешило, начиная от Шишкова до слуги Пушкина <...>

<...> Что с Жуковским сделалось? Он вовсе перерождается. Теперь надобно ему подраться с кем-нибудь на пистолетах, увезти чью-

---

* Фальшивым и дерзким образом и с бесплодной отвагой
Смеются над благом, чтоб о них говорили.

Ренье (фр.).

нибудь жену, перевести Пиронову оду к Приапу, заболеть приапизмом и, наконец, застрелиться; последнее он может отсрочить до тех пор, пока я и ты не отправимся за Стикс, ибо что нам делать без него, а он, злодей, и без нас живет припеваючи <...>

<...> Скоро ли будет к вам Жуковский?..

П. А. Вяземскому. *19 декабря <1811 г. Хантоново>*

<...> Когда будет в вашей стороне Жуковский *добрый мой*[15], то скажи ему, что я его люблю, как душу <...>

П. А. Вяземскому. *1 июля 1812 г. <Петербург>*

<...> Что делает Балладник?[16] Говорят, что он написал стихов тысячи полторы, и один другого лучше![17] Вот кстати, говоря о нашем певце Асмодея[18], сказать можно: чем черт не шутит![19] Пришли мне Жуковского стихов малую толику <...>

П. А. Вяземскому. *<Июль 1812 г. Петербург>*

<...> Я читал балладу Жуковского[20]: она очень мне понравилась и во сто раз лучше его «Дев», хотя в «Девах» более поэзии, но в этой более grâce* и ход гораздо лучше. Жаль, впрочем, что он занимается такими безделками: с его воображением, с его дарованием и более всего с его искусством можно взяться за предмет важный, достойный его. Пришли мне его послание ко мне, сделай одолжение — пришли <...>

П. А. Вяземскому. *3 октября <1812 г. Нижний Новгород>*

<...> ...любить умею моих друзей, и в горе они мне дороже. Кстати о друзьях: Жуковский, иные говорят — в армии, другие — в Туле[21]. Дай Бог, чтобы он был в Туле и поберег себя для счастливейших времен. Я еще надеюсь читать его стихи, милый друг, надеюсь, что не все потеряно в нашем отечестве, и дай Бог умереть с этой надеждою <...>

П. А. Вяземскому. *<Январь 1813 г. Нижний Новгород>*

<...> Благодарю за стихи Жуковского. Они прекрасны. Второе послание к Арб<еневой> лучше первого[22], в нем виден Жук<овский> как в зеркале; послание к Бат<юшкову> прелестно. Жуковский писал его влюбленный. Редкая душа! редкое дарование! душа и дарование, которому цену, кроме тебя, меня и Блудова, вряд ли кто знает. Мы должны гордиться Жуковским. Он наш, мы его понимаем. И Василий Львович плакал, читая его стихи <...>

Н. Ф. Грамматину. *<Январь 1813 г. Вологда>*

<...> Князь Вяземский прислал мне стихи Жуковского: два послания к его знакомке г-же А<рбеневой> и послание ко мне, ответ «Пена-

* изящества (*фр.*).

там»: *дивная* поэзия, в которой множество прелестных стихов и в которой прекрасная душа — душа поэта дышит, видна как в зеркале! <...>

П. А. Вяземскому. *9 мая 1813 г. Петербург*

<...> Теперь скажу тебе приятную весть. Жуковс<ки>й в Белеве. Прислал оттуда к Дмитриеву своего «Певца» с поправками и с посвящением государыне Елизавете Алексеевне[23], которая написала к Ивану Иванов<ич>у лестный для Жуковского рескрипт и *перстень*. Это его должно обрадовать. Пиши к нему в Белев <...>

П. А. Вяземскому. *10 июня 1813 г. <Петербург>*

<...> Жуковского «Певца» государыня приказала напечатать на свой счет. Готовят виньеты. Дашкову поручил Дмитриев сделать замечания. Я рад сердечно успехам нашего балладника: это его оживит. Но жалею, что он много печатает в «Вестнике». Переводом Драйдена[24] я не очень доволен: «Певец» — романс — лучше всего. Пора ему взяться за что-нибудь поважнее и не тратить ума своего на безделки; они с некоторого времени для меня потеряли цену, может быть, оттого, что я стал менее чувствителен к прелести поэзии и более ленив духом. Притом же наш приятель имеет *имя* в словесности: он заслужил уважение просвещенных людей, истинно просвещенных, но славу надобно поддерживать трудами. Жаль, что он ничего путного не напишет прозою. Это его дело. Подстрекай его самолюбие как можно более, не давай ему заснуть в Белеве на балладах: вот подвиг, достойный дружбы, достойный тебя!.. Посылаю тебе, из благодарности за поправки, две басни Крылова, которые, может быть, тебе еще не известны. Жуковский не все счастливо поправил; иное испортил, а иное еще лучше сделал и подал мне новые мысли <...>

П. А. Вяземскому. *17 мая 1814 г. <Париж>*

<...> ...я с удовольствием воображаю себе минуту нашего соединения: мы выпишем Жуковского, Северина, возобновим старинный круг знакомых и на пепле Москвы, в объятиях дружбы, найдем еще сладостную минуту, будем рассказывать друг другу наши подвиги, наши горести, и, притаясь где-нибудь в углу, *мы будем чашу ликовую* передавать из рук в руки <...>

А. И. Тургеневу. *<Октябрь — ноябрь 1814 г. Петербург>*

Вот... мои замечания на стихи Жуковского[25]. Не мое дело критиковать план, да и какая в этом польза? Он не из тех людей, которые *переправляют*. Ему и стих поправить трудно. Я мог ошибаться, но если он со мной в иных случаях будет согласен, то заклинаю его и музами, и здравым рассудком не лениться исправлять <...>

П. А. Вяземскому. *10 января <1815 г. Петербург>*

<...> Дашков здесь. Он сказывал мне, что Жуковско<го> стихи несовершенно понравились нашим Лебедям и здешние Гуси ими не будут восхищаться[26]. Что нужды! Зато Нелединс<кий> плакал, читая их перед императрицей, которой они очень нравятся. Вот лучшая награда. Ошибки в стихах нашего Балладника примечены быть могут и ребенком: он часто завирается. Но зато! зато сколько чувства! какие стихи! и кто говорил с таким глубоким чувством об императоре? Так, любезный друг! Государь наш, который, конечно, выше Александра Македонского, должен то же сделать, что Александр Древн<ий>! Он запретил под смертною казнию изображать лицо свое дурным художникам и предоставил сие право исключительно Фидию. Пусть и государь позволит одному Жуковскому говорить о его подвигах. Все прочие наши одорифмователи недостойны сего... Один хороший стих Жуковск<ого> больше приносит пользы словесности, нежели все возможные сатиры <...>

П. А. Вяземскому. *<Январь 1815 г. Петербург>*

<...> Спешу сказать тебе, что Жуковскому дали Анну 2-й степени[27]. Поздравляю с этим и его, и тебя, и себя. Это мне сказал Тургенев, но еще не верное, он слышал в канцелярии военного министра и просил на всякий страх поздравить Жуковского. Я писал к нему в Белев...

П. А. Вяземскому. *Февраля <1815 г. Петербург>*

<...> Что есть у меня в мире дороже друзей! и таких Друзей, как ты и Жуковский. Вас желал бы видеть счастливыми: тебя благоразумнее, а Жуковского рассудительнее. Я горжусь вашими успехами; они мои; это моя собственность; я был бы счастлив вашим счастием...

<...> Посоветуй Жуковскому приехать сюда для собственной его выгоды. Притолкай его в Петербург. Я говорю дело. Но жить ему здесь не надобно. По крайней мере, так я думаю, и он сам согласен.

П. А. Вяземскому. *<Вторая половина марта 1815 г. Петербург>*

<...> От Жуковского я получил письмо. Я называю его — угадай как? Рыцарем на поле нравственности и словесности. Он выше всего, что написал до сего времени, и душой и умом. Это подает мне надежду, что он напишет со временем что-нибудь совершенное. В последней пиесе «Ахилл» стихи прелестны, но с первой строки до последней он оскорбил правила здравого вкуса и из Ахилла сделал Фингала. Это наш Рубенс. Он пишет ангелов в немецких париках. Скажи ему это от меня <...>

Е. Ф. Муравьевой. *21 мая 1815 г. <Деревня>*

<...> Бога ради, пошлите за Жуковским и допросите его, что сделал он с бумагами. Если по первому зову не явится (он на это мастер, я знаю), в таком случае пошлите ему это письмо для улики. Оно, как фурия, пробудит спящую в нем совесть и лишит его сна и аппетита. Шутки в сторону, я его извинять более не могу за леность и беспечность насчет издания[28]. Как литератор он виноват; как человек, которому вы доверяли по одному уважению к его дарованиям и редкой его душе, он виноват еще более <...>

Е. Ф. Муравьевой. *11 августа 1815 г. Каменец*

<...> Радуюсь, что вы на даче, что Жуковский возьмется кончить начатое дело, и благодарю вас за «Эмилиевы письма» <...>

Н. И. Гнедичу. *<Первая половина июня 1815 г. Деревня>*

<...> Радуюсь, что Жуковский у вас и надолго. Его дарование и его характер — не ходячая монета в обществе. Он скоро наскучит, а я ему еще скорее, и пыльные булевары, и ваши словесники, и ладан хвалебный. Познакомься с ним потеснее: верь, что его ум и душа — сокровище в нашем веке. Я повторяю не то, что слышал, а то, что испытал. Проси его, чтобы он ко мне написал несколько строк на досуге. Я имею нужду в твоей дружбе, в его дружбе. Вот мои единственные сокровища, одно, что мне оставила фортуна! <...>

П. А. Вяземскому. *11 ноября 1815 г. <Каменец-Подольский>*

<...> Ни Дашков, ни Гнедич, ни Жуковский, никто ко мне не пишет из Петербурга; и, я думаю, это Заговор молчания. Но Бог с ними. Из журнала я увидел, что Шах<овской> написал комедию и в ней напал на Жук<овского>[29]. Это меня не удивило. Жуковский недюжинный, и его без лаю не пропустят к славе <...> Время сгложет его [Шаховского] желчь, а имена Озерова и Жуковского и Карамзина останутся <...> Радуюсь, что удален случайно от поприща успехов и страстей, и страшусь за Жуков<ского>. Это все его тронет: он не каменный. Даже излишнее усердие друзей может быть вредно. Опасаюсь этого. Заклинай его именем его гения переносить равнодушно насмешки и хлопанье и быть совершенно выше своих современников <...> Он печатает свои стихи[30]. Радуюсь этому и не радуюсь. Лучше бы подождать, исправить, кое-что выкинуть: у него много лишнего. Радуюсь: прекрасные стихи лучший ответ Митрофану Шутовскому <...>

А. И. Тургеневу. *<Середина января 1816 г. Москва>*

<...> Еще раз прошу *удостоить меня ответом*, как можно скорее: и если у вас руки поленятся, то заставьте писать Жуковского. Для

дружбы — все, что в мире есть[31], даже ответ на письмо! Скажите ему, чтоб он не унижался до эпиграмм и забыл забвенных вкусом, не его врагов, а врагов смысла, вкуса и всего прекрасного <...>

Н. И. Гнедичу. *<Начало августа 1816 г. Москва>*

<...> Надобно бы доказать, что Жуковский поэт; надобно, говорю, пред лицом света: тогда все Грибоедовы исчезнут[32] <...>

И. А. Вяземскому. *14 января 1817 г. <Хантоново>*

<...> Уведомь меня, где Жуковский; мне к нему крайняя нужда писать о деле для него интересном. Если бы он был в Петербурге! Как бы это кстати было для моего издания[33]: он, конечно, не отказался бы взглянуть на печатные листы и рукопись. Я теперь живу с ним и с тобою. Разбираю старые письма его и твои и еще некоторых людей, любезных моему сердцу <...>

П. А. Вяземскому. *<Январь 1817 г. Хантоново>*

Может поэзия, дружество и все прекрасное воскликнуть: триумф! Давно я так не радовался. Наконец Жуковский имеет независимость[34] и все, что мы столь горячо желали, сбылось. Хвала царю, народу и времени, в которое Карамзин и Жуковский так награждены!.. Желаю счастия нашему Жуковскому, желаю, чтобы он вполне оправдал высокое мнение мое о его высоком таланте: желаю, чтобы он не ограничил себя балладами, а написал что-нибудь достойное себя, царя и народа <...> Поэму, поэму! Какую? Она давно в голове его, а некоторые рассеянные члены ее в балладах <...> Поздравь его за меня <...>

Н. И. Гнедичу. *<Январь 1817 г. Хантоново>*

Не могу тебе изъяснить радости моей: Жуковского счастие как мое собственное! Я его люблю и уважаю. Он у нас великан посреди пигмеев, прекрасная колонна среди развалин. Но твое замечание справедливо: баллады его прелестны, но балладами не должен себя ограничивать талант, редкий в Европе. Хвалы и друзья неумеренные заводят в лес, во тьму <...> За твою критику надобно благодарить, а не гневаться. Уверен, что в душе сам Жуковский тебе благодарен <...>

<...> На портрет ни за что не соглашусь <...> Крылов, Карамзин, Жуковский заслужили славу: на их изображение приятно взглянуть <...>

П. А. Вяземскому. *4 марта <1817 г. Хантоново>*

<...> Благодарю Жуковского за предложение трудиться с ним[35]: это и лестно, и приятно. Но скажи ему, что я печатаю сам и стихи, и прозу в Петербурге и потому теперь ничего не могу уделить от моего

сокровища, а что вперед будет — все его, в стихах, разумеется <...> Я согласен с тобою насчет Жуковского. К чему переводы немецкие? Добро — философов <...> Слог Жуковского украсит и галиматью, но польза какая, то есть *истинная польза?* Удивляюсь ему. Не лучше ли посвятить лучшие годы жизни чему-нибудь полезному, то есть таланту, чудесному таланту, или, как ты говоришь, писать журнал полезный, приятный, философский. Правда, для этого надобно ему переродиться. У него голова вовсе не деятельная. Он все в воображении <...>

П. А. Вяземскому. *23 июня <1817 г. Хантоново>*

<...> Радуюсь, что ты <...> отдохнул с людьми, ибо это, право, люди: Блудов, <...> Тургенев <...>, Северин <...>, Орлов <...>, Жуковский, исполненный счастливейших качеств ума и сердца, ходячий талант! <...>

П. А. Вяземскому. *28 августа <1817 г. Петербург>*

<...> Осенняя погода выжила меня из деревни: надобно было отправиться или в Петербург, или в Москву; дал преимущество Петербургу, который, между нами будь сказано, мне не льнет к сердцу, хотя в нем все и Жучок наш. Вчера я был у Карамзина с ним и с Тургеневым <...>

<...> Жуковский вступает в новую придворную должность[36]. Радуюсь истинно, что ему удалось это. Он очень мил; сегодня пудрит свою голову à blanc*, надевает шпагу и пр. et tout le costume d'outchitel**, а вчера мы с ним целый день смеялись до надсаду. Он пишет и, кажется, писать будет: я его электризую как можно более *и разъярю* на поэму. Он мне читал много нового — для меня по крайней мере. Я наслаждаюсь им. Крайне сожалею, что тебя нет с нами <...>

П. А. Вяземскому. *<Начало февраля 1818 г. Петербург>*

<...> Я уже написал Жуковскому, что не могу взять на себя издание твоих стихов <...> Жуковский все сладит: поручи ему, но поручу!..

А. И. Тургеневу. *<Начало июня 1818 г. Москва>*

<...> Получил письмо ваше <...> Я изумился, прочитав его <...> Между тем входит Жуковский, только что приехавший из Белева. Он напирает с доводами, с доказательствами, и мы *решились*. Жуковский пишет письмо к государю[37]. Вот он сидит там за столиком, полуодетый, а я за другим, в ожидании письма <...>

<...> Только в июле можно купаться в море, следственно, я должен спешить в Крым. Но Жуковский уговаривает дождаться ответу <...>

<...> Не знаю, останусь ли здесь до 25-го, Жуковский решит <...>[38]

---

* набело (*фр.*).

** в полном наряде учителя (*фр.*).

А. И. Тургеневу. *13 июня <1818 г. Москва>*

<...> Я решился немедленно отправиться в Одессу вопреки Жуковскому, который советовал остаться в Москве и ожидать ответу вашего <...>

Е. Ф. Муравьевой. *13 июня <1818 г. Москва>*

<...> Жуковский советовал остаться и ожидать здесь ответа, на что я не согласился, ибо здоровье мое есть главное мое попечение <...> С Жуковским я говорил о себе: он вам перескажет мои слова <...>

А. И. Тургеневу. *<Исход июня 1818 г. Полтава>*

<...> Жуковскому мой поклон. Утешьте злодея: скажите ему, что баллада из Шиллера прелестна, лучший из его переводов, по моему мнению; что перевод из «Иоганны» мне нравится как перевод мастерской, живо напоминающий подлинник; но размер стихов странный, дикий, вялый <..> Но «Горная песня» и весь IV-й нумер мне не нравится[39]. Он напал на дурное, жеманное и скучное. Вот моя исповедь. Но обнимите его за меня очень крепко; это ему приятнее моей критики и, может быть, умнее <...>

А. И. Тургеневу. *12 июля (1818 г.) Одесса*

<...> Не шутка — надолго отправиться из родины![40] Надобно мне и свои дела устроить, да и с Жуковским поспорить кой о чем <...> которого обнимаю от всего сердца. Он давным-давно у вас и с вами: завидую ему и вам <...>

А. И. Тургеневу. *30 июля 1818 г. Одесса*

<...> Поклон Жуковскому! Знает ли он стихи Мейстера: оду его на победу России?..

<...> И я утешаюсь мыслию, что из сих голых степей, опаленных солнцем, увижу сосны Петербурга, прелестную Неву и вас с Жуковским; с последним беседую, то есть перечитываю <...>

А. И. Тургеневу. 19 *августа <1818 г.> Одесса*

<...> Человек всегда с удовольствием вспоминает о тех, которым был полезен. Обнимаю вас и Жуковского, от всего сердца обнимаю <...>

А. И. Тургеневу. *<10 сентября 1818 г. Москва>*

<...> Воейков пишет гекзаметры без меры. Жуковский (!?!?!?!) — пятистопные стихи без рифм, он, который очаровал наш слух, и душу, и сердце... Обнимаю, обнимаю Жуковского, которого браню и люблю, люблю и браню <...>

А. И. Т у р г е н е в у. *<1818 г. Петербург>*

Благодарю за III нумер «Для немногих», который прочитал с удовольствием, и за Сегюра; возвращаю его. Скажу мимоходом: как мой ум (по словам А. И. Тургенева) ни мелок, ни поверхностен, а все-таки недоволен мелкими стихами нашего Жуковского и мелкою философиею Сегюра. Но рассказ в Сегюре и описания в Жуковском прелестны: вот сходство между ними. Поищем разницы. Сегюр выписался, Жуковский никогда не выпишется, если мы не задушим его похвалами <...>

Д. Н. Б л у д о в у. *<Начало ноября 1818 г. Петербург>*

Мы видимся часто, хотя Карамзин и вступил в Российскую академию и на днях будет читать речь в ее услышание. Жуковский и Филарет также членами *оной Академии*[41]. Но первый за эту честь заплатил дорого: так простудился, что по сю пору лежит и бредит. Болезнь его может превратиться в неизлечимую, если он не вспотеет вовремя. Шутки в сторону, он болен <...> Возвратимся к Академии. На другой день торжествен<ного> вступления в оную Жуковс<кий> явился к нам бледен, как мертвец, как вышедший из Трофония пещеры, рассказывал нам чудеса и поручил мне возвестить вам о своем нисшествии в лимб академический <...> «Северная почта» возвестила публике: что Жук<овский> и Фил<арет> поступили на *упалые* места, и редактор оной заметил, что слова *упалые места* есть собственное выражение Академии. Упалое место, говоря о праздных местах, пустых или порожних академических, очень забавно, и замечание редактора остро и зло <...> Жуковск<ий> пишет глаголы и погрузился в грамматику <...>

С. С. У в а р о в у. *Май 1819 г. Неаполь*

<...> Поздравляю любителей поэзии <...> с прекрасными стихами Жуковского на смерть королевы[42]. Они сильны, исполнены чувствительности, одним словом — достойны Жуковского и могут стать наряду с его лучшими произведениями. Но — воля его! — можно пожелать более изобретения и менее повторений его же собственных стихов. Как бы то ни было, поздравляю его, обнимаю и радуюсь его новому успеху <...>

Д. В. Дашков

ИЗ ПИСЬМА К П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

26-го ноября 1815. <...> я едва успеваю бывать в «Арзамасе», в этой милой отчизне, где мы всегда об вас вспоминаем. Секретарь наш Светлана[1], который как будто бы нарочно сотворен для сего звания, верно, уведомил уже вас, что в самое первое собрание[2] вы избраны par acclamation´ сочленом нашим: следовательно, я не нарушу ужасной присяги нашей, говоря с вами откровенно. Из великодушия и чистейшей любви к ближним (хотя ближние сии часто бывают чересчур глупы) мы положили, чтобы каждый новопринимаемый член выбирал для первой речи своей одного из живых покойников «Беседы» или Академии *заимообразно* и *напрокат* и говорил бы ему похвальную надгробную речь[3]. До сих пор таких мертвецов отпето у нас пять[4], и Светлана превзошла сама себя, отпевая петого и перепетого Хлыстова[5]. То-то была речь![6] То-то протоколы! Зачем вас нет с нами! Очередной председатель у нас всякую неделю новый и по именному указу, как в Академии, — отвечает оратору пристойным приветствием, в *котором искусно мешает похвалы ему с похвалами усопшему* (выражение церемониала)[7]. Опять новое торжество для Светланы! Ей пришлось принимать Громобоя — Жихарева[8], который, бывши прежде сотрудником «Беседы», должен был по общему нашему постановлению отпевать сам себя. Поле было, конечно, богатое, но исполнение превзошло ожидания наши. Атрей[9] представлен был в виде *некоего царственного волдыря*[10] на лице бывшего поганого беседчика, а остальные 27 трагедий, комедий, трагикомедий, драм, опер и водевилей, сочиненные и переведенные им, представлены волдырьками и сыпью, окружающими большой нарост. Словом, было чего послушать. Неоцененный секретарь наш недаром жил так долго с Плещеевым и удивительно как навострился в галиматье[11]. Любимое его выражение: арзамасская критика должна ехать верхом на галиматье[12]. <...> Нельзя ли вам, любезный сочлен, достойно воспеть все это? Жуковский то и дело твердит: ей, быть *Беседиаде*[13]! <...>

´ единодушно (*фр.*).

Ф. Ф. Вигель

ИЗ «ЗАПИСОК»

Младший сын г-жи Турчаниновой, по совету сестры, учился в Университетском пансионе; к нему пришли товарищи и начали при мне читать «Московские ведомости», лежавшие на столе. В них было помещено известие об экзамене[1], за несколько дней перед тем в сем пансионе происходившем, и имена учеников, получивших награды. Двум только даны были золотые медали: <...> имя другого ученика, целой России после знакомое, имя Жуковского, было тогда столь же мало известно. Уверяли, будто он поляк; другие утверждали, что он малороссиянин; он сам долго не мог решиться, чем ему быть, и оставался покамест русским, славя наше отечество и им славимый. После восторгов, произведенных во мне его стихами, мне нечего раскаиваться в зависти, которую возбудило во мне имя его в первый раз, как я его услышал.

В это же время (и все в той же Москве) сделались известны два молодых стихотворца, Мерзляков [А. Ф.] и Жуковский. Мерзляков возгремел одой молодому императору при получении известия о кончине Павла[2], и она найдена лучшею из десяти или пятнадцати других, написанных по случаю сего происшествия.

Далее слава его не пошла; известность его умножилась. Он был ученейший из наших литераторов и под конец профессор в Московском университете, много и правильно писал, но читали его без удовольствия.

Впоследствии я тоже попытался и нашел в нем мало вкуса, много педантства.

Участь Жуковского была совсем иная. Как новый, как ясный месяц, им так часто воспетый, народился тогда Жуковский. Я раз сказал уже, что, не зная его, позавидовал золотой его медали. Потом много был о нем наслышан от друга его, Блудова и, хотя лично познакомился с ним годом или двумя позже описываемого времени[3] не могу отказать себе в удовольствии говорить о столь примечательном человеке.

Бездомный сирота, он вырос в Белеве, среди умного и просвещенного семейства Буниных. Знать Жуковского и не любить его было дело невозможное, а любить ребенка и баловать его почти всегда одно и то же; но иным детям баловство идет впрок; так, кажется, было и с нашим поэтом. Когда он был уже на своей воле, и в службе и в летах, долго оставался он незлобивое, веселое, беспечное дитя. Любить все близко его окружающее, даже просто знакомое, сделалось необходимою его привычкой. Но в этой всеобщей любви, разумеется, были степени, были мера и

границы; ненавистного же ему человека не существовало в мире. Избыток чувств его рано начал выливаться в плавных стихах; а потом вся жизнь его, как известно будет потомству, была песнь, молитва, вечный гимн божеству и добродетели, дружбе и любви. Какое любопытное существо был этот человек! Ни на одного поэта он не был похож. Как можно всегда подражать и всегда быть оригинальным? Как можно так трогательно, всею душой грустить и потом ото всего сердца смеяться? Не знаю, право, с чем бы сравнить его? С инструментами ли или с машиною какою, приводимою в движение только посторонним дуновением? Чужеязычные звуки, какие б ни были, немецкие, английские, французские, налетая на сей русский инструмент и коснувшись в нем чего-то, поэтической души, выходили из него всегда пленительнее, во сто раз нежнее. Лишь бы ему не быть подлинником: дайте ему что хотите, он все украсит, французскую ничтожную песенку обратит вам в чудо, совершенство, в «Узника» и «Мотылька»[4], и мне кажется, если б он был живописец, то из «Погребения кота»[5] умел бы он делать chef d'oeuvre.

<...> Что касается до меня, то скажу без хвастовства и скромности, что и у меня была одна сторона чистая, неповрежденная, и ею только мог я прислониться и сколько-нибудь прильнуть к такого рода людям. Жуковский меня любил, но не всегда и не много дорожил моею приязнью; тем приятнее мне отдавать ему справедливость. <...>

Французская труппа с Филисой из Петербурга находилась тогда на время в Москве; я пошел ее смотреть во вновь открытый деревянный, обширный, прекрасный театр на Арбатской площади, который был отстроен взамен сгоревшего старого каменного Петровского театра и который через четыре года сам должен был сделаться жертвою пламени. Одного только знакомого встретил я там; и то довольно нового; обрадовался же я Жуковскому, как будто век с ним жил. Цвет поэзии в нем только что совершенно распустился, и в непритворных, неискусственных, веселых разговорах благоухала вся душа его. Мне показалось, что я в Петербурге во французском театре сижу с Блудовым; об нем мы не наговорились, поневоле должен был я несколько лишних дней пробыть в Москве. <...>

Жуковский еще мало был известен в первое пятилетие Александрово. Куда ему было вступать в полемику, когда всю жизнь он ее чуждался? Просторечивый и детски или, лучше сказать, школьнически шутливый, он уже был тогда весь исполнен вдохновений, но, стыдливый, скромный, как будто колебался обнаружить их перед светом. Не помню, в 1803 или 1804 году[6] дерзнул он показаться ему. Первый труд его, перевод Греевой элегии «Сельское кладбище», остался не замечен толпою обыкновенных читателей[7]; только немногие, способные постигать высокое и давать цену изящному, с первого взгляда в небольшом творении узнали великого

мастера. Года два спустя узнали его и, не умея еще дивиться ему, уже полюбили, когда, подобно певцу о полку Игореве, в чудесных стихах оплакал он падших в поражении Аустерлицком[8]. Видно, в славянской природе есть особенное свойство величественно и трогательно воспевать то, что другие народы почитают для себя унизительным; доказательством тому служат и сербские песни.

В белевском уединении своем, где проводил он половину года, Жуковский пристрастился к немецкой литературе и стал нас потчевать потом ее произведениями, которые по форме и содержанию своему не совсем приходились нам по вкусу. Упитанные литературою древних и французскою, ее покорною подражательницею (я говорю только о просвещенных людях), мы в выборах его увидели нечто чудовищное. Мертвецы, привидения, чертовщина, убийства, освещаемые луною, да это все принадлежит к сказкам да разве английским романам; вместо Геро, с нежным трепетом ожидающей утопающего Леандра[9], представить нам бешено-страстную Ленору со скачущим трупом любовника![10] Надобен был его чудный дар, чтобы заставить нас не только без отвращения читать его баллады, но, наконец, даже полюбить их. Не знаю, испортил ли он нам вкус; по крайней мере создал нам новые ощущения, новые наслаждения. Вот и начало у нас романтизма.

Много говорил я о нем и о таланте его во второй части записок моих. Боюсь повторять себя, но о необыкновенном человеке всегда сыщется сказать в прибавках что-нибудь новое. В беседах с короткими людьми, в разговорах с ними часто до того увлекался он душевным, полным, чистым веселием, что начинал молоть премилый вздор. Когда же думы засядут в голове у него, то с исключительным участием на земле начинает он искать одну грусть, а живые радости видит в одном только небе. Оттого-то, мало создавая, все им выбранное на ней спешил он облекать в его свет. Все тянуло его к неизвестному, незримому и им уже сильно чувствуемому.

Не такою ли нежною тоской наполнялись души первых христиан? От гадкого всегда умел он удачно отворачиваться, и, говоря его стихами, всю низость настоящего он смолоду еще позабыл и пренебрег[11]. В нем точно смешение ребенка с ангелом, и жизнь его кажется длящимся превращением из первого состояния прямо в последнее. Как я записался о нем и как трудно расстаться мне с Жуковским! Когда только вспомню о нем, мне всегда становится так отрадно: я сам себе кажусь лучше. <...>

Весной того же года [1815] решился наконец Жуковский переехать в Петербург на житье. Ему предшествовала выросшая его знаменитость, и он особенно милостиво был принят у вдовствующей императрицы, которая любила в нем Певца обожаемого ею, могущественного, препрославленного сына своего[12]. Несмотря на новый образ жизни, Пе-

тербург не мог показаться ему чужбиной: недра дружбы ожидали его в нем. Тщеславный и ленивый Тургенев [А. И.][13], который выслуживался чужими трудами и плел себе венок из чужой славы, конфисковал его в свою пользу и дал ему у себя помещение.

Желая им похвастаться и им угостить, в один весенний вечер созвал он на него всех коротких знакомых своих. Я рано прийти не мог: принадлежа к Оленинскому обществу[14], я счел обязанностью в этот день видеть первое представление Расиновой «Ифигении в Авлиде»[15], коей переводчик, Михаил Евстафьевич Лобанов, был один из приближенных к Алексею Николаевичу. Публика приняла трагедию хорошо; а как один партер с некоторого времени имел право изъявлять народную волю (что шалунам и крикунам было весьма приятно), то она не упускала случая сим правом воспользоваться, и потому-то, вероятно, шумными возгласами вызвали переводчика. Ничтожество и самолюбие были написаны на лице этого бездарного человека; перевод его был не совсем дурен, но Хвостов, я уверен, сделал бы его лучше, то есть смешнее.

С Крыловым, с Гнедичем и с самим венчанным свежими лаврами поэтом, после представления, явились мы к Тургеневу. Но, о горе! Приход последнего едва был замечен. На Жуковском сосредоточивались все любопытные и почтительные взоры присутствовавших: он был истинным героем празднества. В помутившихся глазах и на бледных щеках Лобанова выступила досада, которую разве один я только заметил. Быстрый переход от торжества к совершенному невниманию действительно жестоким образом должен был тронуть его самолюбие. <...>

На этом вечере, в кругу не весьма обширном, мог я ближе разглядеть одного молодого еще человека, которого дотоле встречал в одних только больших собраниях. Щеголяя светскою ловкостью, всякого рода успехами и французскими стихами, Сергей Семенович Уваров старался брать первенство перед находящимися тут ровесниками своими, и его откровенное самодовольствие несколько смирялось только перед остроумием Блудова и исполненным достоинства разговором Дашкова. <...>

Барич и галоман во всем был виден, оттого-то многим членам «Беседы» он совсем пришелся не по вкусу: некоторые из них, более самостоятельные, позволяли себе даже подсмеиваться над ним. Это его взорвало, но покамест принужден он был молчать. Приезд Жуковского не нравился большей части беседчиков, что и подало Уварову мысль вступить с ним в наступательный и оборонительный союз против них.

Он обманулся в своих расчетах: Жуковский так же, как и Карамзин, чуждался всякой чернильной брани. Не менее того ошиблись в нем [Жуковском] и петербургские его естественные враги. В наружности его действительно не было ничего вселяющего особое уважение или удивление; в обхождении, в речах был он скромен и прост: ни чванства, ни педантства, ни витийства нельзя было найти в них. Оттого в одно время

успехам его завидовали, а особу его презирали. Оленинская партия не въявь, но тайно также не благоволила к нему. Тогда-то Шаховскому (и кому же иному?) вздумалось одним ударом сокрушить сие безобидное, по мнению его, творение его и всю знаменитость и всех друзей его.

Мы обыкновенно день именин Дашкова и Блудова, 21 сентября, праздновали у сего последнего; Крылов и Гнедич тут также находились за обедом. Афишка в этот день возвещала первое представление 23-го числа новой комедии Шаховского в пяти действиях и в стихах под названием: «Липецкие воды, или Урок кокеткам». Для любителей литературы и театра известие важное; кто-то предложил заранее взять несколько нумеров кресел рядом, чтобы разделить удовольствие, обещаемое сим представлением; все изъявили согласие, кроме двух оленистов.

Нас сидело шестеро в третьем ряду кресел: Дашков, Тургенев, Блудов, Жуковский, Жихарев и я. Теперь, когда я могу судить без тогдашних предубеждений, нахожу я, что новая комедия была произведение примечательное по искусству, с которым автор победил трудность заставить светскую женщину хорошо говорить по-русски, по верности характеров в ней изображенных, по веселости, заманчивости, затейливости своей и, наконец, по многим хорошим стихам, которые в ней встречаются. Но лукавый дерзнул его ни к селу ни к городу вклеить в нее одно действующее лицо, которое все дело испортило. В поэте Фиалкине, в жалком вздыхателе, всеми пренебрегаемом, перед всеми согнутом, хотел он представить благородную скромность Жуковского; и дабы никто не обманулся насчет его намерения, Фиалкин твердит о своих балладах и произносит несколько известных стихов прозванного нами в шутку балладника. Это все равно что намалевать рожу и подписать под нею имя красавца; обман немедленно должен открыться, и я не понимаю, как Шаховской не расчел этого. Можно вообразить себе положение бедного Жуковского, на которого обратилось несколько нескромных взоров! Можно себе представить удивление и гнев вокруг него сидящих друзей его! Перчатка была брошена; еще кипящие молодостью Блудов и Дашков спешили поднять ее.

<...> Любопытно было в это время видеть Уварова. Он слегка задет был в комедии Шаховского и придрался к тому, чтоб изъявить величайшее негодование. Мне кажется, он более рад был случаю теснее соединиться с новыми приятелями своими. Мысленно видел он уже себя предводителем дружины, в которой были столь славные бойцы, и на челе его должен был сиять венец, в который, как драгоценный алмаз, намерен был он вставить Жуковского. <...>

В одно утро несколько человек получили циркулярное приглашение Уварова пожаловать к нему на вечер 14 октября. В ярко освещенной комнате, где помещалась его библиотека, нашли они длинный стол, на котором стояла большая чернильница, лежали перья и бумага; он обставлен был стульями и казался приготовленным для открытия

присутствия. Хозяин занял место председателя и в краткой речи, хорошо по-русски написанной, осуществляя мысль Блудова, предложил заседающим составить из себя небольшое общество «Арзамасских безвестных литераторов». Изобретательный гений Жуковского по части юмористической вмиг пробудился: одним взглядом увидел он длинный ряд веселых вечеров, нескончаемую нить умных и пристойных проказ. От узаконений, новому обществу им предлагаемых, все помирали со смеху; единогласно избран он секретарем его. Когда же дело дошло до президентства, Уваров познал, как мало готовы к покорности избранные им товарищи. При окончании каждого заседания жребий должен был решать, кому председательствовать в следующем: для них не было даже назначено постоянного места; у одного из членов попеременно другие должны были собираться. <...>

Арзамасское общество, или просто «Арзамас», как называли мы его, сперва собирался каждую неделю весьма исправно, по четвергам, у одного из двух женатых членов — Блудова или Уварова. С каждым заседанием становился он веселее: за каждою шуткою следовали новые, на каждое острое слово отвечало другое. С какой целью составилось это общество, теперь бы не поняли. Оно составилось невзначай, с тем, чтобы проводить время приятным образом и про себя смеяться глупостям человеческим. Не совсем еще прошел век, в который молодые люди, как умные дети, от души умели смеяться, но конец его уже близился.

Благодаря неистощимым затеям Жуковского «Арзамас» сделался пародией в одно время и ученых академий, и масонских лож, и тайных политических обществ. Так же, как в первых, каждый член при вступлении обязан был произнесть похвальное слово покойному своему предшественнику; таковых на первый случай не было, и положено брать их напрокат из «Беседы». Самим основателям общества нечего было вступать в него; все равно каждый из них, в свою очередь, должен был играть роль вступающего, и речь президента всякий раз должна была встречать его похвалами. Как в последних, странные испытания (впрочем, не соблюденные) и клятвенное обещание в верности обществу и сохранении тайн его предшествовали принятию каждого нового арзамасца. Все отвечало одно другому.

Вечер начинался обыкновенно прочтением протокола последнего заседания, составленного секретарем Жуковским, что уже сильно располагало всех к гиларитету [веселости], если позволено так сказать. Он оканчивался вкусным ужином, который также находил место в следующем протоколе. Кому в России не известна слава гусей арзамасских? Эту славу захотел Жуковский присвоить обществу, именем их родины названному. Он требовал, чтобы за каждым ужином подаваем был жареный гусь, и его изображением хотел украсить герб общества.

Все шло у нас не на обыкновенный лад. Дабы более отделиться от света, отреклись мы между собою от имен, которые в нем носили, и заимствовали новые названия у баллад Жуковского. Таким образом, наречен я Ивиковым Журавлем, Уварова окрестили Старушкой, Блудова назвали Кассандрой, Жуковского — Светланой, Дашкову дали название Чу, Тургеневу — Эоловой Арфы, а Жихареву — Громобоя. <...>

Пока неуважение света и даже знакомых постигало его [Шаховского], избранный им спокойный и безответный его противник Жуковский все более возвышался в общем мнении. Ему, отставному титулярному советнику, как певцу славы русского воинства[16], по возвращении своем государь пожаловал богатый бриллиантовый перстень с своим вензелем и четыре тысячи рублей ассигнациями пенсиона[17]. Такую блестящую награду сочла «Беседа», не знаю почему, для себя обидною; а «Арзамас», признаться должно, имел слабость видеть в этом свое торжество. <...>

<...> говорил я уже о первой встрече моей с Васильем Львовичем Пушкиным, о метромании его, о чрезмерном легковерии: здесь нужно прибавить, в похвалу его сердца, что всегда верил он еще более доброму, чем худому. Знакомые, приятели употребляли во зло его доверчивость. Кому-то из нас вздумалось, по случаю вступления его в наше общество, снова подшутить над ним. Эта мысль сделалась общим желанием, и совокупными силами приступлено к составлению странного, смешного и торжественного церемониала принятия его в «Арзамас»[18]. Разумеется, что Жуковский был в этом деле главным изобретателем; и сие самое доказывает, что в этой, можно сказать, семейной шутке не было никакого дурного умысла, ничего слишком обидного для всеми любимого Пушкина. <...>

В следующее заседание приглашены были некоторые более или менее знаменитые лица: Карамзин, князь Александр Николаевич Салтыков <...> и, наконец, Юрий Александрович Нелединский-Мелецкий. Все они, вместе с отсутствующим Дмитриевым, единогласно выбраны почетными членами, или почетными гусями: титул сей, разумеется, предложен был Жуковским. <...> В этот же день потешили и Пушкина. Некогда приятель и почти ровесник Карамзина и Дмитриева, сделался он товарищем людей по меньшей мере пятнадцатью годами его моложе. Надобно им было чем-нибудь отличить его, признать какое-нибудь первенство его перед собою. И в этом деле помог Жуковский, придумав для него звание старосты «Арзамаса», с коим сопряжены были некоторые преимущества[19]. Из них некоторые были уморительны и остались у меня в памяти; например: место старосты «Вота», когда он налицо, подле председателя общества, во дни же отсутствия — в сердцах друзей его; он подпи-

сывает протокол... с приличною размашкою; голос его в нашем собрании... имеет силу трубы и приятность флейты, и тому подобный вздор.

Я полагаю, что если б это общество могло ограничиться небольшим числом членов, то оно жило бы согласнее и могло долее продлить свое существование: но Жуковский беспрестанно вербовал новых. Необходимо их представить здесь.

Первого назову я Дмитрия Александровича Кавелина. Гораздо старее Жуковского, он, однако же, учился с ним вместе в Московском университетском пансионе, который оставил гораздо прежде него. <...> Придравшись к прежнему соученичеству, он очень ласкался к Жуковскому и предложил ему печатать свои сочинения в типографии своего департамента. Он был человек весьма неглупый, с познаниями, что-то написал, казался весьма благоразумным, ко всем был приветлив, а, не знаю, как-то ни у кого к нему сердце не лежало. Действующее лицо без речей, он почти всегда молчал, неохотно улыбался и между нами был совершенно лишний. Жуковский наименовал его Пустынником. Безнравственность его обнаружилась в скором времени; постыдные поступки лет через семь или восемь до того обесславили его, что все порядочные люди от него удалились, и в России, где общее мнение ко всем так снисходительно, к нему одному осталось оно немилосердно. Как будто сбылось пророчество Жуковского: около него сделалась пустыня, и он всеми забыт.

Одного только члена, предложенного Жуковским, неохотно приняли. Не знаю, какие предубеждения можно было иметь против Александра Федоровича Воейкова. Я где-то сказал уже, что наш поэт воспитывался в Белевском уезде, в семействе Буниных. Катерина Афанасьевна Бунина, по мужу Протасова, имела двух дочерей, которые, вырастая с ним, любили его, как брата; говорят, они были очаровательны. Меньшая выдана за соседа, молодого помещика Воейкова, который также писал стихи, и оттого-то у двух поэтов составилась более чем приязнь, почти родство[20]. <...>

Еще одного деревенского соседа, но вместе с тем парижанина в речах и в манерах поставил Жуковский в «Арзамас». В первой молодости представленный в большой свет, Александр Алексеевич Плещеев пленил его необыкновенным искусством подражать голосу, приемам и походке знакомых людей, особенно же мастерски умел он кривляться и передразнивать уездных помещиков и их жен. С такою способностью нетрудно было ему перенять у французов их поговорки, все их манеры; и сие делал он уже не в шутку, так что с первого взгляда нельзя было принять его за русского. <...>

Плещеев был от природы славный актер, сам играл на сцене и других учил, находили, что это чрезвычайно способствовало просвещению того края. <...> Деревня их находилась в соседстве с Белевом, а сверх того, и госпожа Протасова по мужу приходилась теткой Плещееву,

почему и Жуковский всегда участвовал в сих празднествах. Когда, овдовев, Плещеев приехал в Петербург, он возвестил его нам как неисчерпаемый источник веселий; а нам то и надо было. <...> По смуглому цвету лица всеобщий креститель наш назвал его Черным Враном. <...>

В нем [Николае Тургеневе] не было ни спеси, ни педантства: молодость и надежда еще оживляли его, и он был тогда у нас славным товарищем и собеседником. В душевной простоте своей Жуковский, как будто всем предрекая будущий жребий их, дал Николаю Тургеневу имя убийцы и страдальца Варвика. <...>

В начале 1817 года был весьма примечательный первый выпуск воспитанников из Царскосельского: не многие из них остались после в безвестности. Вышли государственные люди, как, например, барон Корф, поэты, как барон Дельвиг, военно-ученые, как Вальховский, политические преступники, как Кюхельбекер. На выпуск же молодого Пушкина смотрели члены «Арзамаса» как на счастливое для них происшествие, как на торжество. Сами родители его не могли принимать в нем более нежного участия; особенно же Жуковский, восприемник его в «Арзамасе», казался счастлив, как будто бы сам Бог послал ему милое чадо. Чадо показалось мне довольно шаловливо и необузданно, и мне даже больно было смотреть, как все старшие братья наперерыв баловали маленького брата. <...> Я не спросил тогда, за что его назвали Сверчком: теперь нахожу это весьма кстати: ибо в некотором отдалении от Петербурга, спрятанный в стенах Лицея, прекрасными стихами уже подавал оттуда свой звонкий голос. <...>

Я не могу здесь умолчать о впечатлении, которое сделала на меня Марья Андреевна Мойер[21]. Это совсем не любовь; к сему небесному чувству примешивается слишком много земного; к тому же мимоездом, в продолжение немногих часов влюбиться, мне кажется, смешно и даже невозможно. Она была вовсе не красавица, разбирая черты ее, я находил даже, что она более дурна; но во всем существе ее, в голосе, во взгляде, было нечто неизъяснимо-обворожительное. В ее улыбке не было ничего ни радостного, ни грустного, а что-то покорное. С большим умом и введениями соединяла она необыкновенные скромность и смирение. Начиная с ее имени, все было в ней просто, естественно и в то же время восхитительно. Других женщин, которые нравятся, кажется, так взял бы да и поцеловал; а находясь с такими, как она, в сердечном умилении все хочется пасть к ногам их. Ну, точно она была как будто не от мира сего. Как не верить воплощению Бога-человека, когда смотришь на сии хрупкие и чистые сосуды? В них только могут западать небесные искры. «Как в один день все это мог ты рассмотреть?» — скажут мне. Я выгодным образом был предупрежден насчет этой женщины; тут поверял я слышанное и нашел в нем не преувеличение, а ослабление истины.

И это совершенство сделалось добычей дюжего немца, правда, доброго, честного и ученого, который всемерно старался сделать ее счастли-

вой; но успевал ли? В этом позволю я себе сомневаться. Смотреть на сей неровный союз было мне нестерпимо; эту кантату, эту элегию никак не умел я приладить к холодной диссертации. Глядя на госпожу Мойер, так рассуждал я сам с собой: «Кто бы не был осчастливлен ее рукой? И как ни один из молодых русских дворян не искал ее? Впрочем, кто знает, были, вероятно, какие-нибудь препятствия, и тут кроется, может быть, какой-нибудь трогательный роман». Она недолго после того жила на свете: подобным ей, видно, на краткий срок дается сюда отпуск из места настоящего жительства их. <...>

В. Ф. Одоевский

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

Мы теснились вокруг дерновой скамейки, где каждый по очереди прочитывал «Людмилу», «Эолову арфу», «Певца во стане русских воинов», «Теона и Эсхина»; в трепете, едва переводя дыхание, мы ловили каждое слово, заставляли повторять целые строфы, целые страницы, и новые ощущения нового мира возникали в юных душах и гордо вносились во мрак тогдашнего классицизма, который проповедовал нам Хераскова[1] и еще не признавал Жуковского...

Стихи Жуковского были для нас не только стихами, но было что-то другое под звучною речью; они уверяли нас в человеческом достоинстве, чем-то невыразимым обдавали душу — и бодрее душа боролась с преткновениями науки, а впоследствии — с скорбями жизни. До сих пор стихами Жуковского обозначены все происшествия моей внутренней жизни, — до сих пор запах тополей напоминает мне «Теона и Эсхина» <...>

И. И. Козлов

ИЗ «ДНЕВНИКА»

1819

14 января. <...> Жуковский мне принес свои сочинения; обедал с нами. <...>

4 февраля. <...> Пришел Жуковский: мы беседовали чрезвычайно интересно — я был очень взволнован. Мы вместе читали Child Harold[1] и несколько строф из «Освобожденного Иерусалима»[2]. Я ужасно счастлив, что понимаю эти два языка. <...>

6 февраля. <...> Чудные стансы Жуковского к почившей в. к. Екатерине Павловне[3]. <...>

11 марта. <...> Читал с Жуковским «Гяура»[4]. Как я люблю этого милого Жуковского! — Я много занимаюсь английским языком.

20 июля. <...> Я страдал. Столь любимый мною Жуковский прибыл из Павловска. Я ему читал мой перевод «Bride of Abydos»[5]. Он мне дал прекрасные стихи, которые он написал для великой княгини по поводу цветка[6]. <...>

31 августа. <...> Lecoque мне принес мою «Абидосскую невесту», великолепно переписанную и переплетенную. Жуковский мне прислал (из Павловска) «Мазепу»[7]. <...>

2 сентября. <...> Я был разбужен посылкой от Тургенева: письмо Жуковского к Лонгинову на мой счет меня чрезвычайно тронуло; я сохраню навсегда память о нем[8]. <...>

23 сентября. <...> Жуковский оставался у меня долго. Он мне сообщил, что императрица пожаловала мне перстень. <...>

24 сентября. <...> Милый Жуковский привез мне от имени царствующей государыни императрицы бриллиантовый перстень за мою «Абидосскую невесту». Это — топаз, окруженный бриллиантами. <...>

26 декабря. <...> Был Жуковский и принес мне «Манфреда»[9] (3 и 4 песню «Чайльд-Гарольда», — у меня есть 1-я и 2-я) и от доброго дружеского чувства подарил мне эти восхитительные творения лорда Байрона, поэта моего сердца. Это новогодний подарок. Я его благодарил от всей души. Я перечел ему его романическую балладу[10]: она действительно очаровательна. Затем я с ним беседовал. <...>

1825

18 января. <...> Иша[11] прочитал мне Евангелие о Мытаре и Фарисее[12]. Пришел Жуковский. Мы декламировали стихи. Да благословит нас Бог в новом нашем жилище, всюду и всегда. <...>

29 января. <...> Я был у Светланы[13]. Это было рождение милого Жуковского. Слушал чудную игру на фортепиано (M-elle Хвостова). <...> Были моя жена и Алинька[14], чудный Жуковский, А. Перовский, Хвостов, моряк Бестужев[15], Кавелин, Гнедич и Лев (Пушкин). Рассказывали множество историй о мертвецах. Читали «Цыган»[16].

30 января. <...> Перовский читал мне «Исидор и Анна»[17], свою повесть. У нас обедали Светлана, дорогой именинник Жуковский, Софья Ивановна и Алексей Перовский. Пили шампанское за здоровье Жуковского. Приятно разговаривали о чудесных происшествиях до 7 часов. Мой брат[18] и Плетнев зашли на минуту.

11 апреля. День моего рождения. Я пил чай и кофе с женой и детьми. Расцеловался с ними. Дочь моя прочла мне Евангелие... Пришел мой милый г. Жуковский, подаривший мне соч. Moore[19]; за обедом пили шампанское. Я отдыхал. Декламировал стихи Байрона и, простившись с детьми, ушел к себе. <...>

14 апреля. Гнедич; потом милый Жуковский принес «Чернеца»[20]. Первый его экземпляр я дал своей жене. Княгиня Зинаида получила тоже экземпляр книги. <...>

25 апреля. Жуковский принес мне деньги за «Чернеца». Благодарение Богу! Спасибо и ему. <...>

26 апреля. День моей свадьбы. Иша и Алинька читали мне Евангелие. Жуковский, Ал. Перовский, Плетнев, Лев (Пушкин), Алекс. Тургенев пришли к чаю. Жена пришла с нами беседовать.

27 апреля. <...> Дельвиг, вернувшийся из Витебска. Жуковский читал продолжение «Евгения Онегина». <...>

3 мая. Иша прочел мне Евангелие от Иоанна о слепом, получившем исцеление[21]... Тургенев, Жуковский. Вечером Лев, Дельвиг, Грибоедов: человек умнейший, каких мало. <...>

7 мая. Плетнев мне прочел всего моего «Чернеца». Вечером я имел чрезвычайную радость увидеть и обнять Светлану и Catiche[22], вернувшихся из Дерпта, после чаю они уехали в Царское Село. Были Алекс. и Сергей Тургеневы, Жуковский и г-жа Вейдемейер и Ал. Перовский. <...>

9 мая. Завтракал с Тургеневым и А. Перовским. Потом пришел Жуковский, принесший мне от нашей ангельски доброй великой княгини Александры чудные бронзовые часы и прелестного Шиллера (в изящном переплете). Я написал ей письмо... Вечером милые Тургеневы,

Жуковский, Перовский, Дельвиг, Плетнев, Лев, жена моя и дети, мы все были в сборе. Позже прочли отрывок из «Энеиды», переведенный Жуковским, и его балладу «Кассандра». Мы расстались в 2 ч. ночи. Благодарение Тебе, Господь мой Иисус Христос.

12 мая. Тургенев, Жуковский, Пушкин (Лев), Дельвиг и Кюхельбекер пили чай. Много смеялись. Дельвиг так уморительно бесил Кюхельбекера. Позже декламировали стихи.

25 мая. Дельвиг остался обедать. Около 6 час. Тургенев и Жуковский, который едет в Павловск и Царское. Лев (Пушкин) принес мне чудное послание ко мне своего брата Александра[23], что мне доставило чрезвычайное удовольствие.

1830

6 августа. Жуковский читал мне письмо Тургенева. Милый кн. Вяземский пришел провести со мной часок перед отъездом в Москву. <...>

1832

8 января. <...> Campod'onico (аббат) читал мне Данте (Béatrice). Вечером Андрей М.[24], Жуковский и я, — мы рассказывали легенды, сколько интересные, столько и религиозные. <...>

10 января. <...> Сегодня у нас с Жуковским был длинный и сериозный деловой разговор, а затем было немного и поэзии. <...>

26 февраля. Приехал милый Жуковский с Катиш В., вышедшей из института. Я с нежностью и болью в сердце поцеловал это милое дитя моего лучшего друга, бедной Светланы. <...>

1833

16 февраля. Ночью я страшно страдал. Получил с великим удовольствием письмо от милого Жуковского[25]. Слушал его с восторгом. Женевское озеро. Байрон. Сколько поэтических воспоминаний на берегах этих вод, столь прекрасных и романтичных. <...>

1834

30 января. <...> Милый мой именинник Жуковский по обыкновению пришел к нам обедать. Мы пили шампанское за его здоровье. Катиш В. была с нами. Позже жена с дочерью и с Катиш пошли на вечер к Жуковскому.

4 февраля. <...> Милый Жуковский подарил мне свой бюст[26] очень похожий: «Ты, брат Иван, ощупай меня хорошенько — рожу мою и узнаешь». Моей жене он подарил свой портрет[27].

14 февраля. Я остался в постели, сильно страдая. Пришли Жуковский, Гаевский. Ст. Шемиот читал мне Томаса Мура. Аполлон читал мне сказку Пушкина «О мертвой царевне и семи богатырях».

1837

19 марта. <...> Жуковский с Катей и Сашей Воейковыми. Я от всего сердца обнял милых и любезных дочек моей дорогой Alexandrine.

2 мая. Друг Жуковский меня посетил. Мы сердечно расцеловались. Он уезжает с вел. кн. наследником. <...>

29 июля. Жуковский пишет мне преинтересные письма из-за границы. Я чувствую себя скверно: я плохо отдыхаю.

3 ноября. Я получил еще письмо от Жуковского: очень интересное, как всегда. — Я очень страдал.

18 ноября. Дорогой Жуковский, друг сердца, которого я люблю — Бог видит — как, был очень тронут, увидав меня вновь сегодня. <...>

1838

17 ноября. Приступ лихорадки; я остался в постели в большом возбуждении. Я написал письмо задушевное, серьезное моему другу Жуковскому.

22 ноября. Я получил письмо от моего Жуковского — бесконечно интересное и полное самой нежной дружбы. Он мне много рассказывает о Венеции и о Манцони[28], который произвел на него сильное впечатление. Манцони говорил ему также обо мне и показывал ему мои сочинения, мною поднесенные и бережно, по его словам, хранимые.

1839

12 января. С граф. Матв. Вьельгорским мы много говорили об его интересном племяннике[29] и о милом Жуковском: оба в Италии — ради здоровья. <...>

7 ноября. Жуковский приехал пить чай со мной; он со мной говорил о своем «Камоэнсе»[30], который он мне пришлет, о моих детях, обо всем, что у меня на сердце: он взял на себя все, с большею, чем когда-либо, нежностью дружбы. Я не знаю, как и благодарить Бога. <...>

4 декабря. Мы долгие часы оставались вдвоем с Жуковским — никогда его ненарушимая дружба своею нежностью не доставляла мне такой святой радости. Он читал мой перевод из Lamennais, — я ему прочел мой сонет[31], и, поговорив еще о моем завещании и все уладив, он мне прочел своего «Камоэнса», чудный chef d'oeuvre, меня приведший в восторг. Он меня также очень уговаривал писать легенды, как я и собираюсь.

23 декабря. <...> Приехал Жуковский. Я был так счастлив!

25 декабря. Мой сын и дочь читали мне Евангелие. Затем Жуковский читал мне стихи, оставался очень долго — беседовал с моей женой. Я читал свою «Молитву». Это был один из прелестнейших вечеров в моей жизни, — такой приятный и интересный! Весь этот чудный праздник был так счастлив для меня.

28 декабря. <...> Мне доставило большое удовольствие то, что у Алиньки было вчера вечером развлечение и что сын мой видел великолепный и изящный дом графини Завадовской, который осматривал также и Жуковский. Это — перл художественного изящества и тонкого вкуса во всех мелочах, начиная с лестницы. Залы Людовика XIV и XV отличаются роскошью и законченностью; кабинет ее — восхитителен. Жуковский сказал: «Так хорошо и мило и изящно-красиво, что не знаешь, как и быть: разве взять ноги в руки». <...>

1840

11 января. <...> Днем приходил милый Жуковский, мы пили чай, и я ему читал отрывки из «Чернеца». <...>

12 января. <...> Вечером, по уходе Жуковского, я много размышлял, молился, оканчивая всегда свой день благословением и благодарением Богу. Слава Богу, ночь моя была довольно спокойна. <...>

19 января. <...> Я страдал и был очень возбужден. Пришли графиня Лаваль, Жуковский и почтенный Муравьев. <...> Я выпил с ними еще чашку чая. Вечер был очень интересен, говорили о предметах религиозных и поэтических. <...>

Н. М. Языков

<ИЗ ПИСЕМ К РОДНЫМ>

1823

25 февраля. <...> Третьего дня прибыла сюда Воейкова; с ней и Жуковский. Я необходимо должен познакомиться с обоими. Вот тебе описание первой: представь себе женщину... нет, лучше не представляй ничего — я Воейкову видел мало, вскользь, говорил с нею мало[1] — и потому прошу подождать до следующей почты; завтра, нет — лучше сегодня, иду к ней, где познакомлюсь и с Жуковским. Ты узнаешь много нового по многим частям моих писем, которые сделаются для тебя гораздо интереснее: я уже горжусь их будущим содержанием и наперед торжественно объявляю себя твоим победителем — разумеется, только в предметах для писем. <...>

5 марта. <...> Я очень хорошо познакомился с Жуковским (о Воейковой буду писать в следующем письме); он меня принял с отверстыми объятиями (в обоих смыслах), полюбил, как родного; хвалил за то, что я не вступил в университет в начале текущего года, ибо (по словам его, а я им верю) чем дольше пробуду в Дерпте, тем больше и проч. Он мне советует, даже требует, чтоб я учился по-гречески; говорит, что он сам теперь раскаивается, что не выучился, как мы, и что это обстоятельство очень сильно действовало на его стихотворения. <...>

Жуковский очень прост в обхождении, в разговоре, в одежде, так что, кланяясь с ним, говоря с ним, смотря на него, никак не можно предположить то, что мы читаем в его произведениях. Заметь: он советовал мне (то же, что ты, — каково?) не верить похвалам, доколе мое образование не докажет мне, что они справедливы. <...>

Жуковский советовал мне никогда не описывать того, чего не чувствую или не чувствовал: он почитает это главным недостатком новейших наших поэтов; итак, я хорошо делал, что не следовал твоему предложению стихотворствовать о любви. Впрочем, может быть, скоро буду писать стихи, вдохновенные этой поэзией жизни, но уверяю тебя, что тогда не изменю предыдущему замечанию Жуковского. Он завтра или послезавтра едет в Петербург; Воейкова остается здесь месяца на два или на три — вот мне содержание для писем, и хвала за то Провидению, ибо это не будет общим местом. <...>

11 марта. <...> Скоро получишь ты мои литературные замечания о Воейковой. Теперь еще здесь Жуковский, и я, находившись у нее в присутствии последнего, не имел времени (потому что рыбак рыбака и

пр.) вникнуть в этот столько даже и для тебя, ей незнакомого, занимательный предмет. <...> Иду обедать к Парроту: ему рекомендовал меня Жуковский[2]. <...>

21 марта. <...> здесь случилось происшествие, неприятное почти целому городу: умерла от родов сестра Воейковой, жена профессора Мойера. Признаюсь с горестию, что я был в тот день не в состоянии ничего написать, кроме бессмыслицы; она была женщина чрезвычайно хорошо образованная и совершенно счастливая; все, кто ее знал, любили, уважали ее, — и вдруг и проч.; остались маленькие дети, отчаянный муж, мать и сестра. Не правда ли, что этакие случаи заставляют думать об том, что почти всегда нами забыто? Я пишу стихи на ее смерть[3] но, может быть, одни вы будете их видеть и читать: причину этому найдете в их точке зрения. Верно, Жуковский сюда опять приедет. <...>

23 марта. <...> Сюда опять приехал Жуковский; не знаю, надолго ли? я еще не видал его. Смерть сестры Воейковой совершенно расстроила здесь многое, многих и, может быть... нет, лучше угадай. Точно жаль, что рок слеп и что он беспрестанно доказывает это. Вот что было хотел я написать на смерть этой особы, которой я никогда не забуду, потому что в первый раз видел в женщине столько доброты, познаний — вообще великолепную совокупность. <...>

4 апреля. <...> В доме и душе той особы, об которой уже было писано, водворилась глубокая печаль, и даже моя коммуникация поредела вследствие первой.

Жуковский здесь, тоже чрезвычайно тоскует: он, как говорят некоторые критики, был влюблен в покойницу и, верно, напишет стихи на смерть ее[4]. Я его редко вижу; он еще с неделю пробудет здесь. <...>

10 апреля. <...> Вчера я был у Жуковского; он необыкновенно печален вследствие смерти г-жи Мойер, проживет здесь еще с месяц: итак, я надеюсь иногда проводить это время довольно приятно; он со мной обходится очень дружественно, и я даже не знаю, чем заслужил такую его благосклонность. <...>

2 мая. <...> Жуковский скоро отсюда едет (он говорит, что издает свое путешествие по Швейцарии[5], которым Перевощиков восхищается). Воейкова остается здесь на все лето. <...>

6 мая. <...> Круг моего знакомства значительно суживается: Жуковский завтра едет, Илличевский тоже завтра отправится в чужестранию. Один Княжевич пробудет здесь еще довольно для разделения моих литературных планов и восторгов. <...>

1824

6 апреля. <...> Вчера читал я перевод Жуковским «Орлеанской девы»; это важный и редкий подарок нашей бедной литературе: стихи

Жуковского и смыслом и звучностию, возможно, близки к Шиллеровым и служат новым, хотя уже не нужным доказательством, что первый мог бы и сам произвести что-нибудь оригинальное и классическое на том поле, куда он так хорошо пересаживает красоты чужие. Советую тебе, Александр, купить для Параши[6] это издание стихов Жуковского: оно гораздо больше содержит, гораздо лучше (прекрасно) напечатано, чем прежние. Притом же для одной «Орлеанской девы» можно иметь и прочие части тому, кто не может из подлинников почувствовать всю красоту поэзии Шиллеровой — сильной и возвышенной! Мне Жуковский досадил в этом переводе только тем, что употребляет некоторые иностранные слова — и притом все такие, которым в нашем языке есть совершенно равносильные: напр., армия, партия, нация, марш; хотя они нисколько не мешают верности перевода, но что в них, когда есть свои и благозвучнейшие: воинство, сторона, народ, ход? В этом же издании находятся и все в прежних не бывшие его переводы и сочинения, рассеянные по журналам, и сверх того перевод целой второй книги «Энеиды» (этого я еще не читал). Дай Бог, чтоб он ее всю перевел! Это труд, достойный его дарований и даже бессмертия в какой бы то ни было словесности: ибо Жуковский, верно, переведет хорошо. <...>

12 апреля. <...> Жуковский подарил мне новое издание своих стихотворений: я очень рад: это доказывает нечто для меня нехудое и сохраняет в моем кармане тридцать рублей денег. <...>

11 мая. Вчера приехал сюда Жуковский и с ним Батюшков: последний будет здесь лечиться. <...>

24 мая. <...> Здесь теперь Жуковский, он завтра едет в Петерб<ург>. Батюшков же отправляется в Германию, в Зонненштейн, где какой-то известный лекарь имеет целый пансион сумасшедших и их вылечивает. Здешние медики отказались от него[7]. <...>

А. И. Дельвиг

ИЗ КНИГИ «ПОЛВЕКА РУССКОЙ ЖИЗНИ. ВОСПОМИНАНИЯ»

<...> Когда Жуковский написал «Замок Смальгольм»[1], все прельщались этим стихотворением, и, между прочим, Пономарева, которая раз сказала Дельвигу, что он не в состоянии написать ничего подобного. Дельвиг, конечно, в шутку отвечал, что, напротив, ничего нет легче, и, ходя по комнате, с книгою, в которой был напечатан «Замок Смальгольм», он его пародировал очень удачно. Впоследствии появилось много пародий на это стихотворение[2]. Приведу только несколько стихов из пародии, составленной Дельвигом:

До рассвета поднявшись, извощика взял
Александр Ефимович с Песков
И без отдыха гнал чрез Пески, чрез канал
В желтый дом, где живет Бирюков.
В старом фраке был он, был тот фрак запылен
Каким цветом, нельзя распознать:
Оттопырен карман, в нем торчит, как чурбан,
Двадцатифунтовая тетрадь.
Вот к полудню домой возвращается он
В трехэтажный Моденова дом,
Его конь опенен, его Ванька хмелен
И согласно хмелен с седоком.
Бирюкова он дома в тот день не застал —

и проч.[3]

Далее:

Подойди, мой Борька, мой трагик плохой,
И присядь ты на брюхо мое;
Ты скотина, но, право, скотина лихой,
И скотство понутру мне твое.

Для объяснения этих стихов скажу, что упомянутый в них Александр Ефимович был Измайлов, известный тогда баснописец и издатель журнала «Благонамеренный», о котором Пушкин в «Онегине» сказал, что он не может себе представить русскую даму с «Благонамеренным» в руках[4]. Измайлов любил выпить, и потому он в пародии представлен возвращающимся домой пьяным, из этого делается заключение, что «не

в литературном бою, а в питейном дому был он больно квартальным побит».

На одном из вечеров Дельвига он прочитал эту пародию Жуковскому, который ее не знал прежде. Она понравилась Жуковскому и очень его забавляла.

<...> В «Северных цветах» 1829 г. была помещена повесть под заглавием «Уединенный домик на Васильевском острове», подписанная псевдонимом «Тит Космократов», сочиненная В. Титовым (ныне членом Государственного совета). Вскоре по выходе означенной книжки гуляли по Невскому проспекту Жуковский и Дельвиг; им встретился Титов. Дельвиг рекомендовал его как молодого литератора Жуковскому, который, вслед за этой рекомендацией, не подозревая, что вышеупомянутая повесть сочинена Титовым, сказал Дельвигу: «Охота тебе, любезный Дельвиг, помещать в альманахах такие длинные и бездарные повести какого-то псевдонима». Это тем более было неловко, что Жуковский отличался особым добродушием и ко всем благоволительностью.

<...> Книгопродавец Смирдин, переводя свой магазин в новое помещение, пригласил к обеду на новоселье до 120 человек. Между ними были Крылов, Жуковский, Плетнев, Сомов, Воейков, Греч, Булгарин. Дельвига в это время уже не было в живых. После обеда, когда порядком выпили, некоторые из гостей потребовали, чтобы Воейков прочитал строфы, написанные им в последнее время в дополнение к весьма знаменитому тогда его стихотворению «Сумасшедший дом». Воейков, сидевший против Греча и Булгарина, долго отказывался, но наконец согласился и прочел следующее:

Тут кто? Греч, нахал в натуре,
Из чужих лохмотьев сшит,
Он цыган в литературе,
А в торговле книжной жид.
Вспоминая о прошедшем,
Все дивлюся я тому,
Да зачем он в сумасшедшем,
Не в смирительном дому?
Тут кто? Гречева собака
Увязалась как-то с ним,
То Булгарин-забияка,
С рылом мосичьим своим.
Но на чем же он помешан?
Совесть ум убила в нем;
Все боится быть повешен
Или высечен кнутом.

На этом Воейков остановился. Когда говорили ему, что есть еще несколько стихов о Булгарине, он уверял противное, но наконец согласился исполнить общее требование и прочел следующие стихи:

Сабля в петле, а французский
Крест зачем же он забыл?
Ведь его он кровью русской
И предательством купил.

Как нарочно, в этот день Булгарин в петлице фрака имел анненскую саблю, а французского креста на нем не было.

Последние стихи, прочтенные Воейковым, были про Полевого:

Он благороден, как Булгарин,
Он бескорыстен так, как Греч.

Эта сцена разнеслась по городу и дошла до императора, который был ею недоволен, что, как говорили, и выразил Жуковскому.

<...> По прибытии на станцию Ченстохово на Варшавско-Венской железной дороге, я нашел там поэта Василия Андреевича Жуковского, остановившегося переночевать.

Я остался с ним до следующего поезда; мы поехали в Варшаву в одном вагоне.

Жуковский, конечно, вспоминал при мне о прежнем житье-бытье, о поэтах Пушкине и Дельвиге. Кроме того, его очень занимала мысль, что по мере того, как человечество ищет все большей и большей свободы, оно делается более и более рабом новых условий жизни, так что путешественник на железных дорогах обращается во что-то подобное почтовому конверту.

В Варшаве Жуковский остановился в гостинице «Рим», а я, по обыкновению, в английской гостинице. Мы виделись ежедневно. В одно из моих посещений я нашел у него только что произведенного свиты его величества генерал-майора графа Ламберта, бывшего в 1861 г. очень короткое время наместником Царства Польского и столь постыдно оставившего этот пост.

Ламберт, которого считали человеком умным, уверял, что все европейские беспорядки 1848 и 1849 гг. происходят оттого, что слишком многим лицам дается образование; что следует давать образование только заранее определенному, ограниченному числу молодых людей. Можно себе представить, какое неприятное впечатление производила эта мысль на Жуковского, но Ламберт, утверждая, что излишнее образование уже явно дало дурные плоды, находил необходимым попробовать давать в наших университетах и гимназиях образование, согласно его мысли, только ограниченному числу молодежи.

30 августа я видел в православном соборе Жуковского в мундире, разукрашенном звездами и крестами, стоявшего подле наследника, своего прежнего воспитанника, который, равно как и государь, видимо, были огорчены за несколько дней перед этим последовавшей кончиной великого князя Михаила Павловича.

Н. М. Коншин

ИЗ «ЗАПИСОК»[1]

Имя Жуковского стало мне известным в детстве вместе с его «Людмилой». Еще ходя в курточке, я твердил:

Радость, счастье, ты увяло;
Жизнь-любовь, тебя не стало!
...Расступись, моя могила!
Гроб, откройся... полно жить!
Дважды сердцу не любить[2].

Суета корпуса, с его Математикой и пригонкой амуниции, с его маршировкой и чисткой — важнейшими предметами учения тамошнего, закрыли от меня Жуковского, как тучи и ненастье закрывают солнце. Мальчик-офицер 1812 года, в Орле, уже у ног красоты, я опять увидел его в «Светлане», которая мне не понравилась; и в «Песни арапа над могилою коня»: лучше этой песни я не мог представить себе ничего: я выучил ее на память и декламировал поминутно. Наконец, является «Певец во стане русских воинов». Эта поэма, по моему мнению, достойная Георгия 1-й степени, делала со мной лихорадку, как делает даже и теперь, через 35 лет после. Жуковский блистал передо мной в лучах прекрасного Божия солнца, освещающего для немногих земной рай: мир поэзии.

Прозаически оконченная война 1812 года, размежеванием полюбовным немцев, этих низких, продажных союзников, достойных соотчичей наших булошников, сапожников, лекарей и разного рода выходцев и выскочек, — прохолодила и сердце и голову; нас поблагодарили манифестом и приняли в руки.

В 1817 году я надел фрак и приехал в Петербург. Здесь я узнал «Песнь барда Победительных»[3], он мне не понравился, а «Послания к Александру» я даже не мог дочитать, да и теперь едва ли дочитал.

Жуковский был взят к в. к. Александре Феодоровне; попал в милость ко двору. В это время Пушкин написал ему на дверях:

Штабс-капитану Гете, Грею,
Томсону, Шиллеру привет!
Им поклониться честь имею,
Но сердцем истинно жалею,
Что никогда их дома нет[4].

В это время, немного спустя, Рылеев переделал его «Певца»[5], и уже святое имя Жуковского явилось в пародии; я ее не помню, только удержались некоторые стихи:

...Надел ливрею
И руку жмет камер-лакею;
С указкой втерся во дворец:
Бедный певец![6]

Приехав в Финляндию, сойдясь с Баратынским, я имел уже на столе сочинения Жуковского; его элегии дышали небом, которого он был избранный сын: я любил его, несмотря на его глупые «Отчеты о луне»[7], к сану поэта, священника, вовсе не идущие; я любил того Жуковского, который трогал душу в переданных им поэтах немецких; того Жуковского, который воспел 1812 год и — по моему мнению — умер; он и должен бы был умереть тогда, чтобы жить вечно, представителем великой эпохи.

В 1830[-х] годах я жил в Царском Селе; Жуковский показался мне лично: он был при воспитании наследника.

Толстый, плешивый здоровяк, сказочник двора, он не имел уже в глазах моих никакого достоинства. Его звали добряком; он ходил с звездами и лентами: вовсе ими не чванился, вид имел скорее конфузный, нежели барский; но перед ним не остановишься и не спросишь — кто это, как я остановился здесь перед Сперанским.

Однажды барон Розен (поэт)[8], бывший секретарем при наследнике[9] и, следовательно, зависевший от Жуковского, рассказывал мне следующий анекдот. — Нашел я, говорит он, латинское письмо к Жуковскому, года два назад полученное, валяющимся между бумагами и прочитал его. Старик-пастор, у которого он в юности гостил, где-то в Германии, которого любил, как отца, а дочерей — как ангелов, его оживляющих для поэзии, писал ему, что он лишается всего, если не заплатит кредиторам двух, трех тысяч гульденов, но что, веря прекрасному, веря его сердцу, верит, что он ему поможет, ибо слышал, что он из бедного юноши теперь в милости у русского царя.

Барон говорит, я побежал к нему и торопливо спрашиваю, что он сделал по этому письму, ибо сроки, данные пастором, все уже прошли.

— Я не понял письма, — отвечал хладнокровно Жуковский, — и ничего не сделал, а теперь уже поздно, — и предложил Розену сигарку[10].

Человек, которого сердца не пошевелили огненные черты картин юности, уже — не поэт.

После я не видал уже Жуковского: знаю, что он женится недавно, имеет дочь и, тайным советником, живет в Пруссии.

Сей друг, кого и ветр в полях не обгонял,
Он спит, на зыбкий одр песков пустынных пал![11]

П. А. Вяземский

ПО ПОВОДУ БУМАГ В. А. ЖУКОВСКОГО

(Два письма к издателю «Русского архива»)

I

Вы просите меня, любезнейший Петр Иванович[1], дать вам некоторые пояснения относительно к бумагам В. А. Жуковского, которые напечатаны в нашем «Русском архиве». Охотно исполняю желание ваше. Начну с того, что вы совершенно справедливо замечаете, что полная по возможности переписка Жуковского, т. е. письма, ему писанные и им писанные, будет служить прекрасным дополнением к литературным трудам его. Вместе с тем будет она прекрасным комментарием его жизни. За неимением особенных событий или резких очерков, которыми могла бы быть *иллюстрирована* его биография, эта переписка близко ознакомит и нас, современников, и потомство с внутреннею, нравственною, жизнью его. Эта внутренняя жизнь, как очаг, разливалась теплым и тихим сиянием на все окружающее. В самых письмах этих есть уже действие: есть в них несомненные, живые признаки душевного благо-растворения, душевной деятельности, которая никогда не остывала, никогда не утомлялась. Вы говорите, что печатные творения выразили далеко не все стороны этой удивительно богатой души. Совершенно так. Но едва ли не то же самое бывает и со всеми богатыми и чисто-возвышенными натурами. Полагаю, что ни один из великих писателей, и вместе с тем одаренных, как вы говорите, «общечеловеческим достоинством», не мог выказаться, и высказаться вполне в сочинениях своих. Натура все-таки выше художества. В творении, назначенном для печати, человек вольно или невольно принаряживается сочинителем. Сочинитель в памяти чуть ли не актер на сцене. В сочинении все-таки невольно выглядывает сочинитель. В письмах же сам человек более налицо. Художник, разумеется, не убивает человека, но, так сказать, умаляет, стесняет его. Все это говорится о писателях, которые отличаются и великим художеством, и великими внутренними качествами. С писателями средней руки бывает часто напротив. Они, по дарованию своему, когда оно есть, могут высказываться более и вымазывать более, чем натура их выносит. Дарование их, то есть талант, то есть врожденная уловка, есть прикраса, а не красота: это часто блестящее шитье по основе неплотной, быть может и дырявой.

Из бумаг, сообщенных вами, каждая имеет цену и достоинство свое. Но на меня живее всего подействовали письма Батюшкова. Другие будут читать эти письма, а я их слушаю. В них слышится мне знакомый, дружественный голос. На него как будто отзываются и другие сочувственные голоса. В этом *унисоне*, в этом стройном единогласии сдается мне, что слышу я и свой голос, еще свежий, не притупленный годами. При этом возрождении минувшего припоминаю себе ближних и себя. Это частое и временное воскресение из мертвых. Да и кто же и здесь, на земле, хотя отчасти, не живет уже загробною жизнью? В жизни каждого таится уже несколько заколоченных гробов.

Где прежний я, цветущий, жизнью полный?[2] —

сказал, кажется, Жуковский. Где они? Где оно, это время, которое оставило по себе одни развалины, пепел и могилы? Для людей нового поколения эти развалины, эти могилы и остаются развалинами и могилами. Разве какой-нибудь археолог обратит на них мимоходом одно буквальное внимание: холодно и сухо исследует их и пойдет далее искать других могил. Но если, на долгом пути своем, странник, попутчик товарищей, от которых отстал, которых давно потерял из виду, наткнется в степи на могилу одного из них, эта могила, пепел, в ней хранящийся, мгновенно преобразуются в глазах его в дух и плоть. Эта могила ему родственная: тут часть и его самого погребена. Могила уже не могила, а вечно живущая, вечно нетленная святыня. В виду подобных памятников запоздалый странник умиляется и с каким-то сладостно-грустным благоговением переживает с отжившими для света, но для него еще живыми года уже давно минувшие.

И тут не нужны воспоминания ярко определившиеся, не нужны следы, глубоко впечатлевшиеся в почву. Довольно безделицы, одного слова, одной строки, чтобы вызвать из нее полный образ, всего человека, все минувшее. Любовнику достаточно взглянуть на один засохший цветок, залежавшийся в бумажнике его, чтобы воссоздать мгновенно пред собою всю повесть, всю поэму молодой любви своей. Дружба такой же могучий и волшебный медиум...

<...> В письмах Батюшкова находятся звездочки (на стр. 350 и 361). Эти звездочки в печати то же, что маски лицам, которым предоставляется сохранять инкогнито...

Восстановление имени моего наместо загадочных звездочек нужно и для истории литературы нашей. Оно хорошо объяснит и выставит напоказ, какие были в то время литературные и литераторские отношения, а особенно в нашем кружке. Мы любили и уважали друг друга (потому что без уважения не может быть настоящей, истинной дружбы), но мы и судили друг друга беспристрастно и строго, не по одной литературной деятельности, но и вообще. В этой нелицеприятной, независимой

дружбе и была сила и прелесть нашей связи. Мы уже были арзамасцами между собою, когда «Арзамаса» еще и не было. Арзамасское общество служило только оболочкой нашего нравственного братства. Шуточные обряды его, торжественные заседания — все это лежало на втором плане. Не излишне будет сказать, что с приращением общества, как бывает это со всеми подобными обществами, общая связь, растягиваясь, могла частью и ослабнуть: под конец могли в общем итоге оказаться и арзамасцы пришлые, и полуарзамасцы. Но ядро, но сердцевина его сохраняли всегда всю свою первоначальную свежесть, свою коренную, сочную, плодотворную силу.

Напечатанное на странице 358-й *письмо неизвестного лица*[3] к неизвестному лицу есть письмо Батюшкова ко мне. Стихи, разбираемые в нем, мои. «Не помяни грехов юности моея». Я этих стихов и не помянул, т. е. не напечатал: они со многими другими стихотворениями моими лежат в бумагах моих и не торопясь ожидают движения печати.

Стихи, упоминаемые в примечании на той же 358 странице, взяты из куплетов, сочиненных Д. В. Дашковым[4]. После первого представления «Липецких вод» было устроено в честь Шаховского торжественное празднество, помнится мне, в семействе Бакуниных[5]. Автора увенчали лавровым венком и читали ему похвальные речи. По этому случаю и написаны Куплеты Дашкова. Иные из них очень забавны. Когда-нибудь можно бы их напечатать, потому что все, относящиеся до комедии «Липецкие воды» и до общества «Арзамас», принадлежит более или менее истории русской литературы. Тут отыщутся некоторые черты и выражения физиономии ее в известное время. Напечатанное в «Сыне Отечества» и упоминаемое в страницах 356 и 357 «Письмо к новейшему Аристофану», то есть к князю Шаховскому, есть тоже произведение арзамасца Чу, то есть Д. В. Дашкова.

Теперь от чисто литературной стороны повернем к политической, также по поводу бумаг Жуковского, и поговорим о братьях Тургеневых. Но оставим это до следующего письма.

II

На странице 318 (Русский архив, 1875, кн. III) сказано: «Три последние брата (Тургеневы) после 14-го декабря 1825 года принадлежали к числу опальных людей» — и проч. Это не совсем так. Опалы тут не было. Николай Иванович был не в опале, а под приговором верховного уголовного суда. Не явясь к суду после вызова, он должен был, как добровольно не явившийся <...>, нести на себе всю тяжесть обвинений, которые приписывались ему сочленами его по тайному обществу, и, между прочими, если не ошибаюсь, — Пестелем и Рылеевым. Братья Александр и Сергей не принадлежали к обществу. После несчастия брата

они сами добровольно отказались от дальнейшей своей служебной деятельности. Сергей Тургенев вскоре потом умер, Александр потом сохранил придворное звание свое. <...>

Император Николай не препятствовал и Жуковскому, человеку, приближенному ко двору и к самому царскому семейству, быть в сношениях с другом своим Николаем Тургеневым и упорно и смело ходатайствовать за него устно и письменно. Тем более не мог он негодовать на двух братьев Тургеневых за то, что они по связям родства и любви не отреклись от несчастного брата своего. В то время рассказывали даже следующее. Вскоре по учреждении следственной комиссии по делам политических обществ Жуковский спрашивал государя: «Нужно ли Николаю Тургеневу, находящемуся за границею, возвратиться в Россию?» Государь отвечал: «Если спрашиваешь меня как частного человека, то скажу: лучше ему не возвращаться». Не помню в точности, слышал ли я этот рассказ от самого Жуковского или от кого другого, а потому и не ручаюсь в достоверности этих слов. Но, по убеждению моему, они не лишены правдоподобия. — А вот другое обстоятельство, которое живо запечатлелось в памяти моей. Жуковский рассказывал мне следующее и читал мне письма, относящиеся к этому делу[6]. Спустя уже несколько времени Тургенев, по собственному желанию своему, изъявил готовность приехать в Россию и предать себя суду. Он писал о том Жуковскому, который поспешил доложить государю. Император изъявил на то согласие свое. Дело пошло в ход, но по силе вещей, по силе действительности не могло быть доведено до конца. Не состоялось оно, между прочим, и потому, что не только трудно было, но положительно несбыточно, по прошествии нескольких лет, возобновить бывшее следствие и бывший суд. <...>

На той же странице сказано, что Жуковский «имел отраду убедить предержащие власти в политической честности своего друга». Кажется, и это не совсем так. Если под словом честности разуметь в этом случае совершенную невинность, политическую невинность, то нет сомнения, что после убеждения предержащих властей свободное возвращение в Россию Тургенева было бы разрешено; но этого не было и быть не могло. Сам Жуковский в одной докладной записке своей государю пишет: «Прошу на коленях Ваше Императорское Величество оказать мне милость. Смею надеяться, что не прогневаю Вас сею моею просьбою. Не могу не принести ее Вам, ибо не буду иметь покоя душевного, пока не исполню того, что почитаю священнейшею должностию. Государь, снова прошу о Тургеневе; но уже не о его оправдании: если чтение бумаг его не произвело над Вашим Величеством убеждения в пользу его невиновности, то уже он ничем оправдан быть не может». Далее Жуковский просит, по расстроенному здоровью Николая Тургенева, разрешения выехать ему из Англии, климат коей вреден ему, и обеспечить его от опасения *преследования*. «По воле Вашей, — продолжает Жуковский, — сего

преследования быть не может; но наши иностранные миссии сочтут обязанностью не позволять ему иметь свободное пребывание в землях, от влияния их зависящих». Докладная записка, или всеподданнейшее письмо, заключается следующими словами: «Государь, не откажите мне в сей милости. С восхитительным чувством благодарности к Вам, она прольет и ясность, и спокойствие на всю мою жизнь, столь совершенно Вам преданную». Голос дружбы не напрасно ходатайствовал пред государем, с той поры Николай Тургенев мог безопасно жить в Швейцарии, во Франции и везде, где хотел, за границею. Мы привели выписку из прошения Жуковского, чтобы доказать, что если он был убежден в политической невиновности Тургенева, то *предержащие власти* не разделяли этого убеждения.

Не знаю, о каких оправдательных бумагах Тургенева говорит Жуковский в письме своем к государю; но помню одну оправдательную записку, присланную изгнанником из Англии. В бытности моей в Петербурге был я однажды приглашен князем А. Н. Голицыным вместе с Жуковским, и, вероятно, по указанию Жуковского, на чтение вышеупомянутой записки. Перед чтением князь сказал нам, улыбаясь: «Мы поступаем немного беззаконно, составляя из себя комитет, не разрешенный правительством; но так и быть, приступим к делу». По окончании чтения сказал он: «Cette justification est trop à l'eau de rose»*. Князь Голицын был человек отменно благоволительный; он вообще любил и поддерживал подчиненных своих. Александра Тургенева уважал он и отличал особенно. Нет сомнения, что он обрадовался бы первой возможности придраться к случаю быть защитником любимого брата любимого им Александра Тургенева; однако же записка не убедила его. По миновении стольких лет, разумеется, не могу помнить полный состав ее; но, по оставшемуся во мне впечатлению, нашел и я, что не была она вполне убедительна. Это была скорее адвокатская речь, более или менее искусно составленная на известную задачу; но многое оставалось в ней неясным и как будто недосказанным. <...>

По стечению каких обстоятельств, неизвестно, но Николай Тургенев был в Петербурге членом тайного политического общества. Если и не был он одним из деятельнейших членов, одним из двигателей его, то сила вещей так сложилась, что должен он был быть одним если не единственным, то главным лицом в этом обществе.

<...> Мы уже заметили выше, что серьезных политических деятелей в обществе почти не оказывалось. Тургенев, может быть, и сам был не чужд некоторых умозрительных начал западной конституционной идеологии: но в нем, хотя он и мало жил в России и мало знал се практически, билась живая народная струя. Он страстно любил Россию и страстно ненавидел крепостное состояние. Равнодушие или по крайней

* В этом оправдании слишком много розовой воды (*фр.*).

мере не довольно горячее участие членов общества в оживотворении этого вопроса, вероятно, открыло глаза Тургеневу, а открывши их, мог он убедиться, что и это общество, и все его замыслы и разглагольствия ни к чему хорошему и путному повести не могут.

Вот что, между прочим, по этому поводу говорил Жуковский в одной из защитительных своих докладных записок на высочайшее имя в пользу Тургенева (ибо он был точно адвокатом его пред судом государя).

«По его мнению (т. е. Тургенева), которое и мне было давно известно, освобождение крестьян в России может быть с успехом произведено только верховною властью самодержца. Он имел мысли свободные, но в то же время имел ум образованный. Он любил конституцию в Англии и в Америке и знал ее невозможность в России. Республику же везде почитал химерою. Вступив в него (в общество), он не надеялся никакой обширной пользы, ибо знал, из каких членов было оно составлено: но счел должностью вступить в него, надеясь хотя несколько быть полезным, особенно в отношении к цели своей, то есть к освобождению крестьян. Но скоро увидел он, что общество не имело никакого дела и что члены, согласившись с ним в главном его мнении, то есть в необходимости отпустить крепостных людей на волю, не исполняли сего на самом деле. Это совершенно его к обществу охладило. И во всю бытность свою членом он находился не более пяти раз на так называемых совещаниях, в коих говорено было не о чем ином, как только о том, как бы придумать для общества какое-нибудь дело. Сии разговоры из частных, то есть относительных к обществу, обыкновенно обращались в общие, то есть в разговоры о том, что в то время делалось в России, и тому подобное».

Далее Жуковский говорит в той же записке:

«Если он был признаваем одним из главных, по всеобщему к нему уважению, то еще не значит, чтобы он был главным действователем общества. На это нет доказательств»[7].

<...> Жуковский гораздо короче знал Николая Тургенева. Все защитительные соображения, приводимые им в записках своих, вероятно, сообщены были ему самим Тургеневым. Принимать ли все сказанное на веру или подвергать беспристрастному и строгому исследованию и анализу, не входит в нашу настоящую задачу. Могу только от себя прибавить, что, по моему убеждению, Тургенев был в полном смысле честный и правдивый человек: но все же был он пред судом виновен: виновен и пред нравственным судом. <...>

Я здесь несколько распространился в общих и частных соображениях, во-первых, потому, что такая за мною водится привычка и слабость; а во-вторых, потому, что мне казалось нужным сказать при случае мнение мое в спорном и несколько загадочном деле.

К событиям и лицам более или менее историческим нужно, по мнению моему, приступать и с историческою правдивостью и точностью.

Сохрани Боже легкомысленно клепать и добровольно наводить тени на них; но нехорошо и раскрашивать историю и лица ее идеализировать; тем более что, возвышая иных не в меру, можно тем самым понижать других несправедливо. История должна быть беспристрастною и строгою возмездницею за дела и слова каждого, а не присяжным обвинителем и не присяжным защитником.

ЖУКОВСКИЙ В ПАРИЖЕ. 1827 ГОД. МАЙ. ИЮНЬ

I

Жуковский недолго был в Париже: всего, кажется, недель шесть[1]. Не за весельем туда он ездил и не на радость туда приехал[2]. Ему нужно было там ознакомиться с книжными хранилищами, с некоторыми учеными и учебными учреждениями и закупить книги и другие специальные пособия для предстоящих ему педагогических занятий. Он был уже хорошо образован, ум его был обогащен сведениями, но он хотел еще практически доучиться, чтобы правильно, добросовестно и с полною пользою руководствовать учением, которое возложено было на ответственность его. Собственные труды его, в это, так сказать, приготовительное время, изумительны. Сколько написал он, сколько начертал планов, карт, конспектов, таблиц исторических, географических, хронологических![3] Бывало, придешь к нему в Петербурге: он за книгою и делает выписки, с карандашом, кистью или циркулем, и чертит, и малюет историко-географические картины, и так далее. Подвиг, терпение и усидчивость поистине не нашего времени, а бенедиктинские. Он наработал столько, что из всех работ его можно составить обширный педагогический архив. В эти годы вся поэзия жизни сосредоточилась, углубилась в эти таблицы. Недаром же он когда-то сказал:

Поэзия есть добродетель![4]

Сама жизнь его была вполне выражением этого стиха. Зиму 1826 года провел он, по болезни, в Дрездене. С ним были братья Тургеневы, Александр и Сергей[5]. Сей последний страдал уже душевною болезнью, развившейся в нем от скорби вследствие несчастной участи, постигшей брата его, Николая. Все трое, в мае 1827 года, отправились в Париж, где Сергей вскоре и умер[6].

Связь Жуковского с семейством Тургеневых заключена была еще в ранней молодости. Беспечно и счастливо прожили они годы ея. Все, казалось, благоприятствовало им: успехи шли к ним навстречу, и они были достойны этих успехов. Вдруг разразилась гроза. В глазах Жуковского опалила и сшибла она трех братьев, трех друзей его. Один осужден законами и в изгнании. Другой умирает пораженный скорбью, по почти бессознательною жертвою этой скорби. Третий, Александр, нежно любящий братьев своих, хоронит одного и, по обстоятельствам служебным и политическим, не может ехать на свидание с оставшимся братом, который, сверх горести утраты, мог себя еще попрекать, что он был невольною причиною смерти любимого брата. Жуковский остается один сострадателем, опорою и охраною несчастных друзей своих.

В письмах своих к императрице Александре Феодоровне он живо и подробно описывает тяжкое положение свое. Он не скрывает близких и глубоких связей, соединяющих его с Тургеневыми[7]. И должно заметить: делает он это не спустя несколько лет, а, так сказать, по горячим следам, в такое время, когда неприятные впечатления 14-го декабря и обстоятельств с ними связанных могли быть еще живее. И все это пишет он не стесняясь, ничего не утаивая, а просто от избытка сердца и потому, что он знает свойства и душу той, к которой он пишет. Вообще переписка Жуковского с императрицею и государем, когда время позволит ей явиться в свет, внесет богатый вклад если не в официальные, то в личные и нравственные летописи наши. «Несть бо тайно еже не явится». Когда придет пора этому явлению и то, что пока еще почти современно, перейдет в область исторической давности, официальный Жуковский не постыдит Жуковского-поэта. Душа его осталась чиста и в том, и в другом звании. Пока можно сказать утвердительно, что никто не имел повода жаловаться на него, а что многим сделал он много добра. Разумеется, в новом положении своем Жуковский мог изредка иметь и темные минуты. Но когда же и где и с кем бывают вечно ясные дни? Особенно такие минуты могли падать на долю Жуковского в среде, в которую нечаянно был он вдвинут судьбою. Впрочем, не все тут было делом судьбы или случайности. Призваньем своим на новую дорогу Жуковский обязан был первоначально себе, то есть личным своим нравственным заслугам, дружбе и уважению к нему Карамзина и полному доверию царского семейства к Карамзину. Как бы то ни было, он долго, если не всегда, оставался новичком в среде, определившей ему место при себе. Он вовсе не был честолюбив, в обыкновенном значении этого слова. Он и при дворе все еще был «Белева мирный житель»[8]. От него все еще пахло, чтобы не сказать благоухало, сельскою элегией, которою он начал свое поэтическое поприще. Но со всем тем он был щекотлив, иногда мнителен: он был цветок «не тронь меня»; он иногда приходил в смущение от малейшего дуновения, которое казалось ему неблагоприятным, именно потому, что он не родился в той среде, которая окружала и

обнимала его, и что он был в ней пришлый и, так сказать, чужеземец. Он, для охранения личного достоинства своего, бывал до раздражительности чувствителен, взыскателен, может быть, иногда и некстати. Переписка его в свое время все это выскажет и обнаружит. Но, между тем, и докажет она, что все эти *маленькие смущения* были мимолетны. Искренняя, глубокая преданность, с одной стороны, с другой — уважение и сочувствие были примирительными средствами для скорого и полного восстановления случайно или ошибочно расстроенного равновесия.

Мы выше уже сказали, что печальны и тяжки были впечатления, которые встретили Жуковского в Париже, в этой всемирной столице всех возможных умственных и житейских развлечений и приманок. Вот что писал он императрице: «Je passerai tout le mois de Juin à Paris: mais je sens que je ne profiterai pas autant de mon séjour, que je l'aurais pu faire avant notre malheur»* (т. е. смерти Тургенева). Говоря о собственном расположении своем в эти дни грусти, он прибавляет: «C'est comme une maladie de langueur, qui empêche de prendre aucun intérêt à ce qui vous entoure»**.

Между тем жизнь берет или налагает свое. Движение, шум и блеск жизни пробуждают и развлекают человека от горя. Он еще грустит, но уже оглядывается, слышит и слушает. Внешние голоса отзываются в нем. Жуковский кое-что и кое-кого видел в Париже: и видел хорошо и верно. Несмотря на недолгое пребывание, он понял или угадал Париж. Он познакомился со многими лицами, между прочим, с Шатобрианом, с Кювье, с философом и скромным, но прекраснодеятельным филантропом Дежерандо. Но более, кажется, сблизился он с Гизо[9]. Посредниками этого сближения могли быть Александр Тургенев и приятельница Гизо, графиня Разумовская (иностранка). Впрочем, самая личность Гизо была такова, что более подходила к Жуковскому, нежели многие другие известности и знаменитости. Гизо был человек мысли, убеждения и труда: не рябил в глаза блесками французского убранства. Он был серьезен, степенен, протестант вероисповеданием и всем своим умственным и нравственным складом. Первоначально образование свое получил он в Женеве. Земляк его по городу Ниму, известный булочник и замечательный и сочувственный поэт, Ребуль, говорил мне: и по слогу Гизо видно, что он прошел чрез Женеву. Гизо был человек возвышенных воззрений и стремлений, светлой и строгой нравственности и религиозности. Среди суетливого и лихорадочного Парижа он был такое лицо, на котором могло остановиться и успокоиться внимание путешественника, особенно такого, каким был Жуковский. Как политик, как министр, почти управляющий Франциею, он мог ошибаться; он ставил принципы не в

* Я проведу весь июнь месяц в Париже, но чувствую, что пребыванием моим я не воспользуюсь, как бы я это сделал до нашего несчастия (*фр.*).

** Это вроде расслабляющей болезни, которая не дозволяет принимать какое-нибудь участие в том, что делается вокруг (*фр.*).

меру выше действительности, а человеческая натура и, следовательно, человеческое общество так несовершенны, такого слабого сложения, что грубая действительность, le fait accompli*, совершившееся событие налагают свою тяжелую и победоносную руку на принципы, на все логические расчеты ума и нравственные начала. Но, проиграв политическую игру, он за карты уже не принимался: он уединился в своем достоинстве, в своих литературных трудах, в своей семейной и тихой жизни. Не то что бойкий и богатый блестящими способностями соперник и противник его по министерской и политической деятельности[10]: тот также проигрался, но, находчивый и особенно искательный, он, однако же, не мог найти себе достойное убежище в самом себе. Вертлявый, легко меняющий убеждения свои, он снова начал играть по маленькой, чтобы отыграться, и кончил тем, что связался с политическими шулерами и опять доигрался до нового проигрыша, до нового падения. Другие видные лица в Париже также не смогли особенно привлечь Жуковского. Шатобриан, несмотря на свои гениальные дарования, был бы для него слишком напыщен и постоянно в представительной постановке. Поэт Ламартин, тогда еще не политик, не рушитель старой Франции и не решитель новой, был как-то сух, холоден и чопорен. По крайней мере, таковым показался он мне, когда позднее познакомился я с ним. Малые сношения мои, также позднее, с Гизо были, однако же, достаточны, чтобы объяснить и оправдать в глазах моих сочувствия к нему Жуковского.

II

Мы сказали выше, что Жуковский хотя и мимоходом, но ясно и верно разглядел Париж. Выберем некоторые отметки из дневника его.

«Камера депутатов. Равель, председатель, благородная, красивая наружность. Председательствует с большим достоинством и отменным навыком. Заседание было не весьма интересно. Взошел на кафедру Себастьяни. Он ужасно декламировал и, декламируя, горячился. Il parle en acteur**. От непривычки к дебатам французы видят на трибуне сцену, в себе актеров, а в посетителях партер. Нет ничего столь мало убедительного, как пышное красноречие. Одна ясность, одно красноречие положительное и самобытное (l'éloquence des choses), одно вдохновение, вспыхнувшее разом и неподготовленное, могут произвести действие и, что называется, de l'effet. Те же недостатки, которые господствуют в палате депутатов, поражают вас и в театре. С другой стороны, казалось бы, что французы рождены для публичных прений. Никто не ловит на лету так легко, как француз, каждую мысль, каждое слово. Я это часто замечаю на улице. Спросишь прохожего о чем-нибудь: тотчас готов ответ, самый

* совершившийся факт (*фр.*).
** Он говорит как актер (*фр.*).

короткий, ясный и приличный. Французы могли бы быть очень красноречивы, если б желание метить на эффект не убивало эффекта». Замечание остроумное и глубоко верное.

«Сей дар быстрой понятливости и живой восприимчивости составляет главную принадлежность характера их и вместе с тем их недостаток. Натура при этом как будто лишила их потребности углубляться в предметы, потому что они так легко постигают и схватывают их. Надобно иметь большой навык слушать и удерживать в памяти слышанное, чтобы с приятностью следовать за дебатами. Я очень многого не слыхал, многого и не слушал, а смотрел на слушающих. Из министров были Виллель, Корбьер, Пэроне и Шаброль. На стороне министров большинство. Но, несмотря на то, во время заседаний им крепко достается: в глаза судят их без пощады. Эти часы должны быть для них тяжелы; но, кажется, они к этой пытке уже привыкли».

«Несмотря на свой гасконский выговор, Виллель говорит приятно, ибо просто, и редко позволяет себе фразы. Его антагонист Гид де Невиль горячился, как ребенок».

«Бенжамен Констан напоминает Фридриха. Прекрасный профиль, худощав, несколько неуклюж, говорит без претензии, но хорошо, ибо также не делает фраз...»

«Был у Дежерандо. Он живет в глухом переулке. Горница, в которой мы были, весьма небольшая; стены покрыты рисунками видов из Италии. Есть и картины, между коими особенно заметны „Волхвы“ и „Святое семейство“ Перужжио. На столе стоит прекрасный бюст хозяина, работы Кановы, и бронзовый Наполеона, также Кановы. Дежерандо — лицо доброго философа. Несколько рассеян и задумчив, привлекательной внешности. Он повел нас в школу глухонемых. Пробыли в ней слишком короткое время: с охотою Тургенева торопиться нельзя ничего видеть и слышать. Вот в каком порядке устраиваются отношения между наставниками и воспитанниками. Начальные основания: язык движений и соединение понятий с письменными знаками. Сами воспитанники выдумывают свои знаки. Понятия о временах: знак рукою вперед — будущее; знак рукою пред собою — настоящее; знак рукою за себя — прошедшее. В высших классах сами воспитанники помогают учителям и служат мониторами. Но что меня наиболее поразило, то была девушка глухонемая от рождения и ослепшая на 13-м году. Теперь ей более 30-ти лет. В этом состоянии полного *одиночества* она не только сохранила первые воспоминания, но и приобрела новые понятия. Она счастлива внутреннею жизнью, которая вся религиозная. Правда, она окружена такими людьми, которые могут с нею выражаться посредством осязания и которым может она знаками сообщать мысли свои и ответы. Дежерандо взял ее за руку. Она его узнала в минуту и выразила знаками, положив руку на сердце, что это он. Спросили, любит ли ее Дежерандо. Она отвечала утвердительно и прибавила, что сама очень

любит его. Я взял ее за руку. Спросили: кто? Она отвечала, что не знает. Знаками сказали, что я учитель великого князя, наследника русского престола. Она поняла. — Спрашивается, что бы она была, если бы не пользовалась 13 лет зрением? Теперь предметы имеют для нее некоторую форму; тогда эту форму сообщило бы ей воображение. Они не были бы сходны с существенным; но всё каждый предмет имел бы своей отдельный, ясный знак, и все бы мог существовать язык для выражения мысли, ощущения, ибо язык есть выражение внутренней жизни и отношений к внешнему. Здесь торжествует душа».

«Был на лекции Вильменя. Превосходно о „Генриаде“ и эпопее. Оратор говорил о других эпических поэтах, представляя их историю и историю их гения: изобразил то, чем Вольтер не был, и то, чем он был. Превосходное изображение Данте и Камоэнса. Сравнение Вольтера с Луканом. Вильмень говорит: эпическая поэма есть выражение мысли всего народа, целой эпохи и вместе с тем высшее творение великого гения. Происхождение „Генриады“ — не век Генриха IV, а Вольтеров век...»

«Поутру писал к императрице. Обедал у Гизо. — Французы умеют схватывать смешное и выражать его. Они этим наслаждаются. Мистификация есть важное дело для француза, но он не злостно-насмешлив. У нас десятой части нельзя того сделать, что делают здесь, не быв осмеянным...» (Разумеется, Жуковский говорит здесь не о нравственных поступках, а об ежедневных явлениях жизни: chez nous on cherche à tourner en ridicule. Ici on est bienveillant: on n'attaque que la preténtion*). Вот также верная и схваченная на лету заметка.

Париж самый гостеприимный, снисходительный город. Хозяева дают гостям полную волю жить как угодно и делать что угодно. Не то что в Англии и особенно в Лондоне. Париж издавна такое скопище иностранцев и заезжих, что он успел ко всем и ко всему приглядеться. После Лондона едва ли не Петербург самый взыскательный и самовластительный город. Мы иностранцев любим и во многом подражаем им, простой народ также к ним привык; но мы вообще готовы подсмеивать их, во всех обычаях и повадках, которые еще не успели у нас обрусеть и получить право гражданства. Француз человек веселый. Русский насмешливый. Француз иногда осмеивает, но потому, что он смеется. Русский смеется потому, что он осмеивает. Но пойдем опять вслед за Жуковским.

«Поутру в заседании полиции исправительной. Дело студентов медицины. Председатель Дюфур. Вопросы неясные и сбивчивые. Тон грубый. Образ расспросов очень пристрастен. Неприличие смешивать политическое с полицейским. Красноречие французов всегда тенденциозно...»

---

* У нас стараются во всем найти смешное. Здесь же больше благосклонности: нападают только на претенциозность (*фр.*).

Жуковский в Париже усердно посещал театры. Он вообще любил театр, а в Париже театр более, чем где-нибудь, способствует изучению народа, нравов, обычаев, уровня умственных и духовных сил и свойств современного общества. Сказано было, что литература — выражение общества; это так, но не вполне и не всегда. Театр скорее имеет прав присвоить себе это определение. Литература говорит, драма действует. Литература — картина, драма — зеркало. Это особенно применяется к Парижу. В старину Расин гениально выразил царствование Людовика XIV-го с пышностью его, рыцарством, поклонением женщине, со всею его царедворческою обстановкою. В век Вольтера драма была преимущественно философическая. Ныне Корнели, Расины, Мольеры не родятся. Есть таланты в обращении, но эти монеты до потомства не дойдут: они не обратятся в медали. Нет уже классического чекана, а романтического и не бывало. Драмы В. Гюго пародия на романтизм. А между тем парижское народонаселение живет утром политическими журналами, а вечером спектаклями. Один из главных представителей нынешнего театра, Дюма-сын, все вертится около женщин полусвета или полумрака и около седьмой заповеди. И не так, как делали старики доброго минувшего времени. Чтобы посмеяться и поповесничать, а с доктринерскою важностью, с тенденциозностью, с притязаниями на ученье новой нравственности. Уморительно-скучно в исполнении: уморительно-смешно в преднамерении.

Вот некоторые театральные выдержки из дневника Жуковского. Кажется, чуть ли не в первый день приезда его был он во Французской опере. «Давали „La prise de Corinthe“, оперу Россини. Музыка оперы прекрасная, но не новая: все слышанное в других операх его. Пение французов, после итальянцев, кажется криком; в их пении более декламации: все, что мелодия, — крик. Но я слушал с удовольствием певца Нурри. В игре французов вообще заметно желание производить эффект жестами и их разнообразием. У немцев иногда слишком явное старание рисоваться, но игра их вообще проще. Французы скрывают свое кокетство лучше, но зато они беспрестанно на сцене. Все картина...»

«Балет „Joconde“. Танцы прелестны, но более всего аплодируют сильным прыжкам».

«Во Французском театре „Радамист и Зенобия“ (трагедия старика Кребильона, переведенная у нас, кажется, Висковатым[11]: „Висковатый пред Кребильоном виноватый“, — сказал во время оно В. Л. Пушкин). Трагедия теперь в упадке. Дюшенуа произвела надо мною неприятное впечатление. Она старуха. И не могу вообразить, чтобы когда-нибудь была великою актрисою». (Мнение Жуковского не соглашается здесь с общим парижским и почти европейским мнением. Дюшенуа не красива была собою, а между тем, по отзыву многих, соперничала с красавицею Жорж и в некоторых ролях даже побеждала ее. Жуковский в молодости был поклонником актрисы Жорж, во время бытности ея в

Москве[12]. Может быть, не хотел он и не мог изменить своим прежним впечатлениям и воспоминаниям). «Да, в трагедиях французских нельзя быть *актером* (то есть действующим лицом, хотел сказать Жуковский). Все дело состоит в декламации стихов, а не в изображении всего характера с его *нюансами*, ибо таких характеров нет в трагедиях французских. Их лица суть не что иное, как представители какой-нибудь страсти. Как в баснях Лев представляет мужество, Тигр жестокость, Лисица хитрость, так, например, Оросман, Ипполит, Орест[13] представляют любовь в разных выражениях; но характер человека тут не виден. От этого великое однообразие в пиесах и в игре актеров. Актер должен много творить от себя. чтобы дать своей роли что-нибудь человеческое. Таков был один Тальма. За трагедией следовала забавная комедия „Le jeune mari". В комедии французы не имеют соперников. Удивительный ensemble».

Нельзя вниманию не остановиться на метком и беглом, но глубоко обдуманном суждении о французском театре вообще и о французской трагедии в особенности. Как жаль, что Жуковский не имел времени или охоты посвятить себя трудам и обработке критики. Из него вышел бы первый, чтобы не сказать единственный, учитель наш в этой важной отрасли литературы, которая без нея почти мертвый или неоцененный капитал.

«Меропа[14]. Застал последнюю сцену и не пожалел. M-lle Duchenois не говорит моему сердцу. Дебютант Varlé (кажется, так, в рукописи не хорошо разберешь) в роли Эгиста — несносный крикун. Зато и партер без вкуса. Аплодируют тому, что надобно освистывать. Исмена была как бешеная в описании того, что происходило во храме, что совершенно противно натуре. А партер все-таки хлопает, ибо каждый стих отдельно был выражен с пышностью. Франция не имеет трагедии; она в гробе с Тальмою: он один оживлял пустоту и сухость напыщенных французских трагедий». О Тальме Жуковский говорит на основании общих отзывов и суждений о превосходной и новыми понятиями обдуманной игре этого актера. Застать его он уже не мог. Тальма умер в 1826 году.

Возвращаясь к несочувственным впечатлениям Жуковского, скажу и я, по воспоминаниям молодости, что игра актрисы Дюшенуа могла и не нравиться Жуковскому, особенно в роли Меропы, потому что m-lle Georges была великолепна именно в этой роли.

Хотя и не совсем кстати, а не могу утерпеть не передать здесь одно предание. Одна московская барыня, восхваляя Жорж, говорила, что особенно поражена она была вдохновением и величавостью ея, когда в роли Федры сказала она:

Mérope est à vos pieds.

«Давали „La dame blanche". Музыка Боельдье прелестная, но пиеса глупая».

«Театр Федо. „L'amant jaloux". Музыка Гретри (представленная в первый раз в 1778 г.). Музыка еще не устарела».

«В Théâtre Français. „Le Cid". Почтенный старик Корнель. Простота и сила его стихов. Нет характера. Одни отрывки. Все говорят по очереди. Многое прекрасно, часто не к месту. После комедия „Les trois quartiers". Простодушие Жоржеты, благородная вежливость графини, пошлость негоцианта, бесцеремонность банкира (ton degagé), пошлость и плоскость выскочки (parvenu), гибкость прихлебателя (la souplesse du parasite), все было выражено в совершенстве. Смотреть и слушать истинное наслаждение».

Этим заключим мы выдержки из парижского дневника Жуковского. Разумеется, видел он все, что только достойно внимания: библиотеки, музеи, картинные галереи: тут он с любовью смотрит и записывает все, что видел, — здания, храмы, различные учреждения и проч. Дневник его не систематический и не подробный. Часто отметки его просто колья, которые путешественник втыкает в землю, чтобы означить пройденный путь, если придется ему на него возвратиться, или заголовки, которые записывает он для памяти, чтобы после на досуге развить и пополнить. Может статься, Жуковский имел намерение собрать когда-нибудь замечания и впечатления свои и составить из них нечто целое. Нередко встречаются у него отметки такого рода: «У Свечиной: разговор о Пушкине». «С Гизо о французских мемуарах». Тут же: «Он вызвался помочь мне в приискании и покупке книг». «Разговор о политических партиях: крайняя левая сторона под предводительством Лафайета, Лафита, Бенжамен Констана. Крайняя правая сторона: аристократия согласна сохранить хартию, но с изменениями. За республику большая часть стряпчих, адвокатов, врачей, особенно в провинции».

Иногда ограничивается он именными списками. Например: «Обед у посла. Комната с Жераровыми амурами. Портрет государя Доу. Великолепный обед. Виллель, Дамас, Корбьер, Клермон-Тоннер, Талейран, фельдмаршал Лористон, папский нунций, весь дипломатический корпус; из русских: Чичагов, Кологривов (брат князя Александра Николаевича Голицына), князь Лобанов (вероятно, известный наш библиофил и собиратель разных коллекций), Дивов, князья Тюфякин, Долгоруков, граф Потоцкий».

Жуковский не ленив был сочинять, но писать был ленив, например письма. Работа, рукоделье писания были ему в тягость. Сначала вел он дневник свой довольно охотно и горячо: но позднее этот труд потерял прелесть свою. Заметки его стали короче, а иногда и однословны. Это очень понятно. Кажется, надобно иметь особенное сложение, физическое и нравственное, совершенно особую натуру, чтобы постоянно и аккуратно вести свой дневник, изо дня в день. Не каждый одарен свойством приятеля Жуковского, Александра Тургенева: этот прилежно записывал каждый свой шаг, каждую встречу, каждое слово, им слышанное. К нему также применяется меткое слово Тютчева о другом

нашем любознательном и методическом приятеле: «Подумаешь, что Господь Бог поручил ему составить инвентарий мироздания»[15]. В журналах-фолиантах, оставленных по себе Тургеневым, вероятно, можно было бы отыскать много пояснений и пополнений к краткому дневнику Жуковского.

Выписываем еще одну заметку, которая не вошла в рамы вышеприведенных выдержек, но она, кажется, довольно оригинальна.

«Палерояль есть нечто единственное в своем роде. Это образчик всей французской цивилизации, всего французского характера. Взгляни на афиши и познакомишься с главными нуждами и сношениями жителей; взгляни на товары — получишь понятие о промышленности; взгляни на встречающихся женщин и получишь понятие о нравственной физиономии. Колонны Палерояля, оклеенные афишами, могут познакомить с Парижем. Удивительное искусство привлекать внимание размещением товаров и даже наклейкою афиш».

Совершенно верно и поныне. Французы мастера хозяйничать и устраиваться дома. Они, кажется, ветрены; но порядок у них, часто ими расстроиваемый, снова и снова восстановляется, по крайней мере в вещественном, внешнем отношении. После Июльской революции 30-го года Пушкин говорил: «Странный народ! Сегодня у них революция, а завтра все столоначальники уже на местах и административная махина в полном ходу»[16].

Поговорка: товар лицом продается, выдумана у нас, но обращается в действительности у французов. В торговле применяется она у нас только к обману и надувательству, но вообще она мертвая буква. Мы и хорошее не умеем приладить к лицу. О худом и говорить нечего: мы не только не способны окрасить его, а еще угораздимся показать его хуже, чем оно есть.

Быть в Париже, посещать маленькие театры и не затвердить несколько каламбуров — дело несбыточное. Вот и их занес наш путешественник в свой дневник. Для соблюдения строгой точности и мы впишем их в свои выдержки.

«В комедии „Глухой, или Полная гостиница“ актер спрашивает:

Que font les vaches à Paris?
— Des vaudevilles (des veaux de ville).
Quel est l'animal le plus âgé?
— Le mouton, car il est lainé*.

(Lainé, шерстистый)».

---

* Что делают коровы в Париже? — Городских телят (игра слов: veau de ville — городской теленок, звучит так же, как слово «водевиль»).

Какое животное самое старое? — Баран, потому что он самый шерстистый (игра слов: l'ainee — старший, lainee — шерстистый) (*фр.*).

Жуковский пе пренебрегал этими глупостями. И сам бывал в них искусник.

Теперь заключим переборку нашу выпискою, в которой показывается не парижский Жуковский, а просто человек. Вся заметка немногословная, но знаменательная и характеристическая:

«Спор с Тургеневым и моя бессовестная вспыльчивость».

За что был спор, неизвестно: но, по близкому знакомству с обоими, готов я поручиться, что задирщиком был Тургенев. Жуковский, в увлечении прения, иногда горячился; но Тургенев, без прямой горячности в споре, позволял себе сознательно и умышленно быть иногда задорным и колким. Он как будто признавал эти выходки принадлежностями и обязанностями независимого характера. Эта стычка между приятелями не могла, разумеется, оставить по себе злопамятные следы. Но покаяние доброго и мягкосердого Жуковского в *бессовестной вспыльчивости* невольно напоминает мне басню Лафонтена в переводе Крылова «Мор зверей». Смиренный и совестливый Вол кается:

Из стога у попа я клок сенца стянул.

Теперь придется и мне сделать пред читателем маленькую исповедь как для очистки своей совести, так в особенности для очистки Жуковского. Некоторые из беглых заметок его писаны на французском языке. Впрочем, их не много. Не знаю, как и почему в работе моей переводил я их иногда набело по-русски. Нечего и говорить, что я строго держался смысла подлинника, но, вероятно, выражал я этот подлинник не так, как бы выразил его сам Жуковский. В том нижайше каюсь.

Дневник Жуковского кое-где иллюстрирован рисунками или набросками пера его: так, например, Théâtre Français и другие очерки, которые трудно разобрать. Вообще Жуковский писал хотя и некрасиво, но четко, когда прилагал к тому старание, но про себя писал он часто до невозможности неразборчиво.

ИЗ СТАТЬИ «ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ И ВОСПОМИНАНИЕ О ГРАФЕ РОСТОПЧИНЕ»

<...> Когда в 1842-м году Жуковский поступал в ополчение, Карамзин, предвидя, что едва ли выйдет из него служивый воин, просил Ростопчина прикомандировать его к себе. Ростопчин отказал, потому

что Жуковский заражен якобинскими мыслями[1]. К слову пришлось: скажу, что и я подвергся такому же подозрению. В одном письме его нашел я следующую заметку о себе: «Вяземский, стихотворец и якобинец <...>.

ИЗ «ОБЪЯСНЕНИЙ К ПИСЬМАМ ЖУКОВСКОГО»

На этой почте все в стихах, А низкой прозою ни слова[1], —

говорит Жуковский. Впрочем, поэт здесь отыскивается и в *почтовых* стихах. Вместе с поэтом отыскивается хладнокровный и дельный прозаик, тонкий и верный критик, грамматик, педагог, не только ценитель и судия содержания, но и строгий браковщик каждого выражения, придирчиво-внимательный до мелочи к каждому отдельному слову. И все это с изумительной легкостию и свободою облекается в живые стихи, пересыпается острыми и веселыми шутками, а иногда и блестящими искрами поэзии. Предлагаемые здесь три стихотворения[2], конечно, не вплетут новых листков мирта и лавра в венок «Певца во стане русских воинов», певца «Светланы», переводчика «Одиссеи» и песнопевца «Странствующего Жида», поэмы, по моему мнению занимающей место первенствующее не только между творениями Жуковского, но едва ли и не во всем цикле русской поэзии. Со мною не многие согласятся. Надо признаться, что эта поэма, эта прерванная смертью лебединая песнь великого поэта[3] мало обратила на себя внимания литературных наших судей и читателей, вскормленных на другой пище и лакомых до другой поэзии. Возвращаясь к упомянутым письмам, нельзя не заметить, что для полной оценки дарования Жуковского и подобные стихи имеют свое значение и неминуемо должны входить в общий итог поэта. А таких стихов должно быть много под спудом, если они временем не растрачены и не истреблены. В них Жуковский, поэт-мечтатель, поэт-идеалист, явился поэтом *реальным*, гораздо ранее эпохи процветания так называемой *реальной*, или *натуральной*, школы. Одно только должно принять здесь в соображение. Он в своей домашней поэзии, нараспашку, все-таки остается лебедем, играющим на свежем и чистом лоне светлого озера, а не уткою, которая полощется в луже на грязном дворике корчмы или харчевни. На днях отыскал я письмо его, без означения месяца и числа, но, вероятно, относится оно к тому же времени или около того, когда писаны были предлагаемые здесь стихотворения. Вот что он, между прочим, пишет: «Посылаю тебе вместо красного яичка начало нашей переписки с Плещеевым[4] (к сожалению, не нахожу ее в бумагах своих).

Мы побожились друг с другом не переписываться иначе как в стихах. Это послание не первое: я уже много намарал к нему вздору, — но это, кажется, вышло не вздорное. Критиковать его тебе позволяется, и я за слог его не стою, ибо оно написано в два утра с половиною и писано как письмо на почту. По этой скорости оно изрядное. Плещеев пишет ко мне на него ответ, на который, натурально, и с моей стороны должен последовать ответ же. Из этого выйдет со временем переписка двух соседей на двух языках». Плещеев писал французские стихи, хотя твердо знал и русский язык и хорошо знаком был с нашею словесностию. Карамзин еще в молодости писал ему известное послание[5].

Было время, что Жуковский живал у Плещеева в орловской деревне[6]. Тут, вероятно, стихам и разным литературным проказам и шуткам был весенний и полный разлив. В деревне был домашний театр: на нем разыгрывались произведения двух приятелей. Помню, что Жуковский говорил мне о какой-то драме своей: содержанием ее были несчастные любовные похождения влюбленного и обманутого Импрезарио. Ему изменила любовница его. Режиссер труппы приходит к нему и предлагает репертуар для назначения пиесы к следующему представлению. Сердитый и грустный содержатель все отвергает. Наконец, именуется известная в то время драма Ильина «Лиза, или Торжество благодарности». На это Импрезарио восклицает в порыве отчаяния:

Нет благодарности! нет торжества! нет Лизы!
Все женщины одни надутые капризы — и пр., и пр.[7]

Тогда же разыграно было тут же драматическое представление его под заглавием «Скачет груздочек по ельничку» (из старинной русской песни)[8]. Знаю об этом произведении только по одному заглавию. Но можно представить себе, какое открывалось тут раздолье своевольному и юмористическому воображению Жуковского. Надобно было видеть и слышать, с какою самоуверенностию, с каким самодовольствием вообще скромный и смиренный Жуковский говорил о произведениях своих в этом роде и с каким добродушным и ребяческим смехом певец «Сельского кладбища», меланхолии, всяких ведьм и привидений цитовал места, которые были особенно ему по сердцу. Жуковский не только любил в часы досуга и отдыха упражняться иногда в забавном и гениальном вранье, но уважал эту доблесть и в других. В нашем обществе был молодой человек, который также превосходно отличался по этой части. При встречах с ним он вызывал его на импровизацию и на представление в лицах какой-нибудь комической сцены. Он заслушивался его, любовался им и, в восторге вскрикивая, помирал со смеху: да ты просто Шекспир! Жаль, если вся эта поэзия безвозвратно утрачена[9]. Кажется, в нынешнем году распечатаны будут все ящики, оставшиеся доныне нетронутыми после кончины его. Может быть, и найдется в них если не

все написанное им (потому что, сколько мне известно, он был не очень бережлив в отношении к своим письменным и литературным пожиткам), но по крайней мере откроется хоть что-нибудь еще неизвестное и уцелевшее. <...>

<...> Начну с того, что вы совершенно справедливо замечаете, что полная по возможности переписка Жуковского, т. е. письма, ему писанные и им писанные, будут служить прекрасным дополнением к литературным трудам его. Вместе с тем будет она прекрасным комментарием его жизни. За неимением особенных событий или резких очерков, которыми могла бы быть иллюстрирована его биография. Эта переписка близко ознакомит и нас, современников, и потомство с внутреннею нравственною жизнью его. Эта внутренняя жизнь, как очаг, разливалась теплым и тихим сиянием на все окружающее. В самых письмах этих есть уже действие: есть в них несомненные, живые признаки благорастворения, душевной деятельности, которая никогда не остывала, никогда не утомлялась. Вы говорите, что *печатные творения выразили далеко не все стороны этой удивительно богатой души*. Совершенно так. Но едва ли не то же самое бывает и со всеми богатыми и чисто-возвышенными натурами. Полагаю, что ни один из великих писателей, и вместе с тем одаренных, как вы говорите, *общечеловеческим достоинством*, не мог выказаться, и высказаться вполне в сочинениях их. Натура все-таки выше художества. <...>

ИЗ «СТАРОЙ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»

<...> В издаваемом им в то время «Вестнике Европы» Жуковский печатал мастерские и превосходные отчеты о представлениях девицы Жорж, как он называл ее[1]. В этих беглых статьях является он тонким и проницательным критиком, как литературным, так и сценическим; нет в них ни сухости, ни пошлой журнальной болтовни, ни учительского важничанья. Это просто живая передача живых и глубоких впечатлений, проверенных образованным и опытным вкусом. Перечитывая их и читая новейшие оценки театрального искусства и движения, нельзя не сознаться, что журналы и газеты наши по крайней мере в этом отношении ушли далеко, но только не вперед. <...>

В приятельском кружке говорили о многих благих мерах, предпринимаемых правительством, которые, по обстоятельствам и по силе вещей (как говорят французы), по внутренним причинам, по личным особенностям, не достигают указанной и желаемой цели. На это Жуков-

ский сказал: «Наш фарватер годен только пока для мелких судов, а не для больших кораблей. Мы часто жалуемся, что корабль, пущенный на воду, не подвигается, не замечая, что он попал на мель». Вот Крылову прекрасная канва для басни. <...>

Тургенев имел прекрасные, глубокие внутренние качества, но, как бывает вообще и с другими, имел свои слабости. <...> Например, он хотел выдавать себя за человека, способного сильно чувствовать и предаваться увлечениям могучей страсти. Ничего этого не было. <...> Однажды, в припадке притязания на таковую страстность, бесновался он пред Жуковским. «Послушай, любезнейший, — сказал ему друг его, — ты напоминаешь мне людей, которые расчесывают малейший пупырышек, вскочивший на их лице, и растравляют его до настоящей болячки. Так и ты: работал, работал в сердце своем, да и расковырял себе страсть». <...>

Кто-то заметил, что профессор и ректор университета, Антонский, имеет свойство — полным именем своим составить правильный шестистопный стих:

Антон Антонович Антонский-Прокопович. <...>

Пожалуй, оно и так; но Россия не должна забывать, что Антонский умел первый угадать и оценить нравственные качества и поэтическое дарование своего воспитанника в Благородном пансионе при Московском университете. Этот скромный воспитанник не обращал на себя внимания и особенного благоволения начальства, какое иногда оказывается по родственным связям и положению в обществе. Нет, сочувствие к неизвестному еще Жуковскому было со стороны Антонского совершенно бескорыстное и свободное. Это сочувствие — чистая и неотъемлемая заслуга, которую литературные предания должны сохранить. Когда Жуковский вышел из пансиона и был без средств и без особенной опоры, Антонский, так сказать, призрел его и приютил в двух маленьких комнатках маленького, принадлежащего университету домика в Газетном переулке[2]. Жуковский всегда сохранял к нему сердечную признательность, приверженность и преданность. <...>

А сам Крылов! Можно ли не помянуть его в застольной летописи? Однажды приглашен он был на обед к императрице Марии Феодоровне в Павловске. Гостей за столом было немного. Жуковский сидел возле него. Крылов не отказывался ни от одного блюда. «Да откажись хоть раз, Иван Андреевич, — шепнул ему Жуковский, — дай императрице возможность попотчевать тебя». — «Ну а как не попотчует!» — отвечал он и продолжал накладывать себе на тарелку. <...>

<...> выведем еще ученого и не менее благочестивого немца. До имени его дела нет. Он был однажды за вечерним чаем у Карамзиных в Царском Селе. Приезжает туда же княгиня Г<олицын>а, которой он не знал. Зашла речь о Жуковском и сочинениях его. Княгиня говорит, что его обожает. Немец перебивает ее и спрашивает: «А позвольте узнать, милостивая государыня, вы девица или замужняя?» — «Замужняя». — «В таком случае осмелюсь заметить, что замужняя женщина ничего и никого обожать не должна, за исключением мужа». <...> Нелишним будет притом вспомнить, что княгиня лет пятнадцать и более жила уже врозь с мужем. Вопрос и нравоучение немца были тем смешнее.

Жуковский в «Певце во стане русских воинов» сказал между прочим:

И мчит грозу ударов
Сквозь дым и огнь, по грудам тел,
В среду врагов Кайсаров.

Батюшков говорил, что эти стихи можно объяснить только стихом из того же «Певца во стане русских воинов»:

Для дружбы — все, что в мире есть.

Жуковский припоминал стихи Мерзлякова из одной оперы италиянской, которую тот, для бенефиса какого-то актера, перевел в ранней молодости своей:

Пощечину испанцу Титу
Во всю ланиту!

Он, то есть Жуковский (на ловца и зверь бежит), подметил в опере Керубини следующий стих. Водовоз, во Французской опере, спасает в бочке, во время парижских смут, несчастного, приговоренного к смерти и прикрывавшего себя плащом, и поет: «Il est sauvé, l'homme en manteau»*. В русском переводе отличный и превосходный актер Злов должен был петь:

Спасен, спасен мой друг в плаще.

Этот стих долго был у нас поговоркой. <...>

А вот еще жемчужина, отысканная Жуковским, который с удивительным чутьем нападал на след всякой печатной глупости. В романе «Вертер» есть милая сцена: молодежь забавляется, пляшет, играет в фанты, и между прочими фантами раздаются легкие пощечины, и Вертер замечает с удовольствием, что Шарлотта ударила его крепче, нежели других. Между тем на небе и в воздухе гремит ужасная гроза. Все немножко перепугались. Под впечатлением грозы Шарлотта с Верте-

* Он спасен, человек в плаще (*фр.*).

ром подходят к окну. Еще слышатся вдали перекаты грома. Испарения земли, после дождя, благоуханны и упоительны. Шарлотта, со слезами на глазах, смотрит на небо и *на меня*, говорит Вертер, и восклицает: «Клопшток!»[3] — так говорит Гете, намекая на одну оду германского поэта[4]. Но в старом русском переводе романа[5] Клопшток превращается в следующее: «Пойдем играть в короли» (старая игра). Что же это может значить? Какой тут смысл? — спрашиваете вы. Послушайте Жуковского. Он вам все разъяснит, а именно: переводчик никогда не слыхал о Клопштоке и принимает это слово за опечатку. В начале было говорено о разных играх: Шарлотта, вероятно, предлагает новую игру. *Клапштос* выражение известное в игре на биллиарде; переводчик заключает, что Шарлотта вызывает Вертера сыграть партийку на биллиарде. Но, по понятиям благовоспитанного переводчика, такая игра не подобает порядочной даме. Вот изо всего этого и вышло: пойдем играть в короли.

Жуковский очень радовался своему комментарию и гордился им.

К празднику Светлого Воскресения обыкновенно раздаются чины, ленты, награды лицам, находящимся на службе. В это время происходит оживленная мена поздравлений. Кто-то из поздравителей подходит к Жуковскому во дворце и говорит ему: «Нельзя ли поздравить и ваше превосходительство?» — «Как же, — отвечает он, — и очень можно». — «А с чем именно, позвольте спросить?» — «Да со днем Святой Пасхи».

Жуковский не имел определенного звания по службе при дворе. Он говорил, что в торжественно-праздничные дни и дни придворных выходов он был *знатною особою обоего пола* (известное выражение в официальных повестках). <...>

Какой сильный и выразительный язык и какие верные, возвышенные мысли! Жуковский, за некоторыми невольными руссицизмами, прекрасно выражался на французском языке. С ним, вероятно, свыкся он и овладел им прилежным чтением образцовых и классических французских писателей. Не в Благородном же пансионе при Московском университете, не от Антонского, не из Белева мог он позаимствовать это знание. Замечательно, что три наши правильнейшие и лучшие прозаики, Карамзин, Жуковский и Пушкин, писали почти так же свободно на французском, как и на своем языке. <...>

Жуковский однажды меня очень позабавил. Проездом через Москву жил он у меня в доме. Утром приходит к нему барин, кажется, товарищ его по школе или в года первой молодости. По-видимому, барин очень скучный, до невозможности скучный. Разговор с ним мается, заминается, процеживается капля за каплею, слово за словом, с длинными промежутками. Я не вытерпел и выхожу из комнаты. Спустя несколько времени возвращаюсь: барин все еще сидит, а разговор видимо не

подвигается. Бедный Жуковский видимо похудел. Внутренняя зевота першит в горле его: она давит его и отчеканилась на бледном и изможденном лице. Наконец барин встает и собирается уйти. Жуковский, по движению добросердечия, может быть, совестливости за недостаточно дружеский прием и вообще радости от освобождения, прощаясь с ним, целует его в лоб и говорит ему: «Прости, душка!»

В этом поцелуе и в этой *душке* весь Жуковский.

Он же рассказывал Пушкину, что однажды вытолкал он кого-то вон из кабинета своего. «Ну, а тот что?» — спрашивает Пушкин. — «А он, каналья, еще вздумал обороняться костылем своим». <...>

У графа Блудова была задорная собачонка, которая кидалась на каждого, кто входил в кабинет его. Когда, бывало, придешь к нему, первые минуты свидания, вместо обмена обычных приветствий, проходили в отступлении гостя на несколько шагов и в беготне хозяина по комнате, чтобы отогнать и усмирить негостеприимную собачонку. Жуковский не любил этих эволюций и уговаривал графа Блудова держать забияку на привязи. Как-то долго не видать было его. Граф пишет ему записочку и пеняет за продолжительное отсутствие. Жуковский отвечает, что заказанное им платье еще не готово и что без этой одежды с принадлежностями он явиться не может. При письме собственноручный рисунок: Жуковский одет рыцарем, в шишаке и с забралом, весь в латах и с большим копьем в руке. Все это, чтобы защищаться от заносчивого врага. <...>

Жуковский похитил творческий пламень, но творение не свидетельствует еще земле о похищении с небес. Мы, посвященные, чувствуем в руке еще творческую силу. Толпа чувствует глазами и убеждается осязанием. Для нее надобно поставить на ноги и пустить в ход исполина, тогда она поклоняется. К тому же искра в действии выносится обширным пламенем до небес и освещает окрестности.

Я не понимаю, как можно в нем не признавать величайшего поэтического дарования или мерить его у нас клейменым аршином. Ни форма его понятий и чувствований и самого языка не отлиты по другим нашим образцам. Пожалуй, говори, что он дурен, но не сравнивай же его с другими или молчи, потому что ты не знаешь, что такое есть поэзия. Ты сбиваешься, ты слыхал об одном стихотворстве. Ты поэзию разделяешь на шестистопные, пятистопные и так далее. Я тебе не мешаю: пожалуй, можно ценить стихи и на вес. Только, сделай милость, при мне не говори: поэзия, а стихотворство. <...>

«Хотя, с одной стороны, уже одно имя автора ручается за благонамеренность его сочинения, с другой — результат всех его суждений в рукописи (за исключением только некоторых отдельных мыслей и вы-

ражений) стремится к тому, чтобы обличить с верою в Бога удалившегося человека от религии и представить превратность существующего ныне образа дел и понятий на Западе, тем не менее вопросы его сочинения духовные слишком жизненны и глубоки, политические слишком развернуты, свежи, нам одновременны, чтобы можно было без опасения и вреда представить их чтению юной публики. Частое повторение слов: *свобода, равенство, реформа*, частое возвращение к понятиям: движение века вперед, вечные начала, единство народов, собственность есть кража и тому подобных, останавливают на них внимание читателя и возбуждают деятельность рассудка. Размышления вызывают размышления: звуки — отголоски, иногда неверные. Благоразумнее не касаться той струны, которой сотрясение произвело столько разрушительных переворотов в западном мире и которой вибрация еще колеблет воздух. Самое верное средство предостеречь от зла — удалять самое понятие о нем». (Заключение мнения генерала Дубельта, посланное в Главное правление цензуры о последних сочинениях Жуковского 23 декабря 1850.)[6]

ИЗ «ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК»

1830

24-го июня. Вчера был у меня Жуковский, ехавший в Петергоф; перебирали всякую всячину. Он обедал у меня. Говоря об Алекс<андре> Тургеневе и об одной любви его, он сказал: да он работал, работал и наконец расковырял себе страсть. <...>

6-го июля. <...> Жуковский говорит, что у нас фарватер только для челноков, а не для кораблей. Мы жалуемся, что корабль, пущенный на воду, не подвигается, не зная, что он на мели. Вот канва басни. Он мне говорил это, возражая на мнение о бездействии Д.[1], которым я недоволен как обманувшим ожидания[2]. <...>

18-го августа, Остафьево. <...> У меня были два спора, прежарких, с Ж<уковским> и П<ушкиным>. С первым за Бордо и Орлеанского. Он говорил, что должно непременно избрать Бордо королем и что он, верно, избран и будет. Я возражал, что именно не должно и не будет. Si un dîner rechauffé ne valut jamais rien, une dynastie rechauffée vaut encore moins...* [3]

Если подогретый обед никуда не годится, то подогретая династия того менее (*фр.*).

1831

14-го сентября. Вот что я написал в письме к П<ушкину> сегодня и чего не послал: «Попроси Жуковского прислать мне поскорее какую-нибудь новую сказку свою. Охота ему было писать *шинельные* стихи (стихотворцы, которые в Москве ходят в шинели по домам с поздравительными одами) и не совестно ли «Певцу во стане русских воинов» и «Певцу в Кремле» сравнивать нынешнее событие с Бородином?» <...>

15-го сентября. Стихи Ж<уковского> навели на меня тоску. Как я ни старался *растосковать* или *растаскать* ее и по Немецкому клубу и черт знает где, а все не мог. Как можно в наше время видеть поэзию в бомбах, в палисадах[4]. Может быть поэзия в мысли, которая направляет эти бомбы, и таковы были бомбы наваринские, но здесь, по совести, где была мысль у нас или против нас. <...> Как ни говори, а стихи Ж<уковского> — une question de vie et de mort*, между нами. Для меня они такая пакость, что я предпочел бы им смерть. Разумеется, Ж<уковский> не переломил себя, не кривил совестью, следовательно, мы с ним не сочувственники, не единомышленники. Впрочем, Ж<уковский> слишком под игом обстоятельств, слишком под влиянием лживой атмосферы, чтобы сохранить свои мысли во всей чистоте и девственности их. Как пьяному мужику жид нашептывал, сколько он пропил, так и в той атмосфере невидимые силы нашептывают мысли, суждения, вдохновения, чувства. Будь у нас гласность печати, никогда Ж<уковский> не подумал бы, Пушкин не осмелился бы воспеть победы Паскевича[5]. <...>

1832

20-го мая. <...> Мы на днях говорили у Софии Бобринской о невозможности перевести немецкое: Heimweh**. После нескольких попыток дельных начали мы выражать это слово карикатурою. Жуковский предложил: *домогорье*. Я сказал: уж лучше *зимогорье*. <...>

1841

21 июня/3 июля. <...> В одно время с выпискою из письма Ж<уковского> дошло до меня известие о смерти Лермонтова. Какая противоположность в этих участях. Тут есть, однако, какой-то отпечаток Провидения. Сравните, из каких стихий образовалась жизнь и поэзия того и другого, и тогда конец их покажется натуральным последствием и заключением. Карамзин и Жуковский: в последнем отразилась жизнь

---

* вопрос жизни или смерти (*фр.*).
** тоска по родине (*нем.*).

первого, равно как в Лермонтове отразился Пушкин. Это может подать повод ко многим размышлениям. — Я говорю, что в нашу поэзию стреляют удачнее, чем в Лудвига-Филиппа: вот второй раз, что не дают промаха. <...>

Для некоторых любить отечество — значит дорожить и гордиться Карамзиным, Жуковским, Пушкиным и тому подобными и подобным. Для других любить отечество — значит любить и держаться Бенкендорфа, Чернышева, Клейнмихеля и прочих и прочего.

1847

15 августа. <...> Наше время, против которого нынешнее протестует, дало, однако же, России 12-й год, Карамзина, Жуковского, Державина, Пушкина. Увидим, что даст нынешнее. <...>

1851

29 апреля. <...> Жуковский в письме к Плетневу говорит: «Хвала света есть русалка, которая щекотаньем своим замучивает хохотом до смерти». <...>

1854

16 октября. Швейцария. Веве. <...> На возвратном пути я зашел в Verné искать дом, в котором Жуковский провел одну зиму. И эта попытка была удачнее. Он жил в доме Pillivet, который теперь хозяином того же дома. Первый дом на левой руке, когда идешь из Веве. Он тут с семейством Рейтерна провел зиму 1831 на 1832 год. Тут делали ему операцию (кажется, лозаннский лекарь), чтобы остановить его геморроидальное кровотечение, угрожавшее ему водяною болезнью. Помню, как выехал он больной из Петербурга. Опухший, лицо было как налитое, желто-воскового цвета. Хозяин сказал мне, что у него долго хранилась в шкапе доска, на которой написано было что-то по-русски рукою Жуковского, и что выпросила себе эту доску великая княгиня Анна Федоровна. Полно, она ли? Не Елена Павловна ли или Мария Николаевна! В Женеве разыщу. В этом доме Жуковский, вероятно, часто держал на коленях своих маленькую девочку[6], которая тогда неведомо была его суженая и позднее светлым и теплым сиянием озарила последние годы его вечеревшей жизни. Этот романтический эпизод хорошо вклеивается в местности, сохранившей живую память Руссо. Жуковский был *очищенный Руссо.* Как Руссо, и он на шестом десятилетии жизни испытал всю силу романической страсти; но, впрочем, это была не страсть, и осо-

бенно же не романтическая, а такое светлое сочувствие, которое освятилось таинством брака. Я был в Verné 10 октября 1854 года, но не видал комнаты, в которой жил Жуковский: жильца-англичанина не было дома, и комната была заперта ключом. <...>

ИЗ СЕДЬМОЙ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ
(дополнение)

1828

3-го июля. <...> Пушкин уверял, что обвинение в развратной жизни моей в Петерб<урге> не иначе можно вывести как из вечеринки, которую давал нам Филимонов и на которой были Пушкин и Жуковский и другие. Филимонов жил тогда черт знает в каком захолустье, в деревянной лачуге, точно похожей на бордель. Мы просидели у Филимонова до утра. Полиции было донесено, вероятно на основании подозрительности дома Филимонова, что я провел ночь у девок[1]. — Вслед за перепискою Голицына, Жуковский вступился за меня, рыцарским пером воевал за меня с Бенкендорфом, несколько раз объяснялся с государем[2]. <...>

1829

5-го *августа.* Что есть любовь к отечеству в нашем быту? Ненависть настоящего положения. В этой любви патриот может сказать с Жуковским: «В любви я знал одни мученья»[3].

Какая же тут любовь, спросят, когда не за что любить? Спросите разрешения загадки этой у строителя сердца человеческого. За что любим мы с нежностию, с пристрастием брата недостойного, сына, за которого часто краснеем? Собственность — свойство не только в физическом, но и в нравственном, не только в положительном, но и в отвлеченном отношении действует над нами какою-то талисманною силою.

ИЗ СТАТЬИ «ЖУКОВСКИЙ. — ПУШКИН. — О НОВОЙ ПИИТИКЕ БАСЕН»

В Пушкине нет ничего Жуковского, но между тем Пушкин есть следствие Жуковского[1]. Поэзия первого не дочь, а наследница поэзии последнего, и, по счастию, обе живы и живут в ладу, несмотря на искательства литературных стряпчих щечил[2], желающих ввести их в ссору и тяжбу — с тем, чтобы поживиться насчет той и другой, как обыкновенно водится в тяжбах.

С удовольствием повторяем здесь выражение самого Пушкина об уважении, которое нынешнее поколение поэтов должно иметь к Жуковскому, и о мнении его относительно тех, кои забывают его заслуги: *дитя не должно кусать груди своей кормилицы*[3]. Эти слова приносят честь Пушкину как автору и человеку!

ИЗ ПЕРЕПИСКИ С А. И. ТУРГЕНЕВЫМ

(По материалам Остафьевского архива князей Вяземских)

П. А. Вяземский — А. И. Тургеневу

24 августа 1818. <...> Присылай мне стихов Жуковского: этот магнит приподымает меня немного с земли. <...>

1 мая 1819. Что делает Жуковский? Я сегодня читал его целое утро и наслаждался «Аббадоною»[1]. Вообще главный его недостаток есть однообразие выкроек, форм, оборотов, а главное достоинство — *выкапывать сокровеннейшие пружины сердца и двигать их.* C'est le poète de la passion, то есть страдания. Он бренчит на распятии: лавровый венец его — венец терновый, и читателя своего не привязывает он к себе, а точно прибивает гвоздями, вколачивающимися в душу. <...>

А. И. Тургенев — П. А. Вяземскому

14 мая 1819. <...> Я намерен подписать под портретом Жуковского: «Бренчит на распятии». <...>

П. А. Вяземский — А. И. Тургеневу

7 августа 1819. <...> Этот обер-черт Жуковский. <...> Как можно быть поэтом по заказу? Стихотворцем — так, я понимаю; но чувствовать живо, дать языку души такую верность, когда говоришь за другую душу, и еще порфирородную, я постигнуть этого не могу! Знаешь ли, что в Жуковском вернейшая примета его чародействия? — Способность, с которою он себя, то есть поэзию, переносит во все недоступные места. Для него дворец преобразовывается в какую-то святыню, все скверное очищается пред ним; он говорит помазанным слушателям: «Хорошо, я буду говорить вам, но по-своему», и эти помазанные его слушают. Возьми его «Славянку», стихи к великой княгине на рождение, стихи на смерть другой[2]. Он после этого точно может с Шиллером сказать:

И мертвое отзывом стало
Пылающей души моей[3].

«Цветок»[4] его прелестен. Был ли такой язык до него? Нет! Зачинщиком ли он нового у нас поэтического языка? <...> Что вы ни думали бы, а Жуковский вас переживет. Пускай язык наш и изменится, некоторые цветки его не повянут. Стихотворные красоты языка могут со временем поблекнуть, поэтические — всегда свежи, всегда душисты. <...>

А. И. Тургенев — П. А. Вяземскому

13 августа 1819. <...> Я восхищался уродливым произведением Байрона: «Манфред», трагедия. Жуковский хочет выкрасть из нее лучшее[5]. Между тем и «Орлеанская ---»[6] его, которую на немецком --- Шиллер, поспевает. Удивительная верность в переводе и, следовательно, в поэзии. <...>

П. А. Вяземский — А. И. Тургеневу

15 августа 1819. <...> Есть много забавного и поэтического в стихах Жуковского, но мало создания: надобно было бы накормить вымыслами, а то как-то голо и худощаво, тем более что длинно, даже и чувства мало. <...>

Конец августа. <...> Я и не знал, что Жуковский ее [«Орлеанскую деву»] переводит. Я предпочел бы «Вильгельма Телля»[7]: можно его прекрасно орусачить. <...>

А. И. Тургенев — П. А. Вяземскому

2 сентября 1819. <...> Нас для него [Жуковского] не много; ибо многие знают его только по таланту, а *он у нас один.* От себя одного я, может быть, бы этого не сказал; или, быть может, сказал бы, ибо надобно поверить временем показания чувства; а с ним я давно живу и чув-

ствую, чувствую и живу, и он знает, что меня *мороз Зимнего дворца не прохватит*. <...>

П. А. Вяземский — А. И. Тургеневу

5 сентября 1819. <...> Жуковский слишком уже мистицизмует, то есть — слишком часто обманываться не надобно: под этим туманом не таится свет мысли. Хорошо временем затеряться в этой глуши беспредельной, но засесть в ней и на чистую равнину не выходить напоказ — подозрительно. Он так наладил одну песню, что я, который обожаю мистицизм поэзии, начинаю уже уставать. Стихи хороши, много счастливых выражений, но все один склад: везде выглядывает ухо и звезда Лабзина[8]. Поэт должен выливать свою душу в разнообразных сосудах. Жуковский более других должен остерегаться от однообразия: он страх как легко привыкает.

11 октября 1819. <...> Я все это время купаюсь в пучине поэзии: читаю и перечитываю лорда Байрона, разумеется, в бледных выписках французских. Что за скала, из коей бьет море поэзии! Как Жуковский не черпает тут жизни, коей стало бы на целое поколение поэтов. <...> Но как Жуковскому, знающему язык англичан, а еще тверже язык Байрона, как ему не броситься на эту добычу! <...>

А. И. Тургенев — П. А. Вяземскому

22 октября 1819. <...> Ты проповедуешь нам Байрона, которого мы все лето читали[9]. Жуковский им бредит и им питается. В планах его много переводов из Байрона. <...>

П. А. Вяземский — А. И. Тургеневу

7 ноября 1819. <...> Дай Бог, чтобы Жуковский впился в Байрона. Но Байрону подражать не можно: переводи его буквально или не принимайся. В нем именно что и есть образцового, то его безобразность. Передай все дикие крики его сердца; не подливай масла в яд, который он иногда из себя выбрасывает, беснуйся, как и он, в поэтическом исступлении. Я боюсь за Жуковского: он станет девствовать, а никто не в силах, как он, выразить Байрона. Пускай начнет с четвертой песни «Пилигрима»[10]; но только слово в слово, или я читать не буду. Передай ему все это. <...>

12 декабря 1820. <...> Жуковский тоже Дон-Кишот в своем роде. Он помешался на душевное и говорит с душами в Аничковском дворце, где души никогда и не водилось. Ему нужно непременно бы иметь при себе Санхо, например меня, который ворочал бы его иногда на землю и носом притыкал его к житейскому. Как Жуковский набил руку на душу, чертей и луну, так я набил ее на либеральные блестки. <...>

А. И. Тургенев — П. А. Вяземскому

16 февраля 1821. <...> Ты себя не обидел в параллели с Жуковским и Батюшковым, но есть и справедливое нечто. Только не надобно на Жуковского смотреть из одной только точки зрения, с которой ты на него смотришь, — гражданского песнопевца. У него все *для души*: душа его в таланте его и талант в душе. Лишь бы она только не выдохнулась. Но ее бережет дружба, самая нежная и для тебя невидимая. Я ее узнал, и все мои надежды на Жуковского оживают. В нем еще будет прок. Он не пропадет ни для друзей, ни для России. Вчера я послал к нему твое к нему послание, подражание Буало[11]. <...>

П. А. Вяземский — А. И. Тургеневу

25 февраля 1821. <...> И конечно, у Жуковского всё душа и всё для души. Но душа, свидетельница настоящих событий, видя эшафоты, которые громоздят для убиения народов, для зарезания свободы, не должна и не может теряться в идеальности Аркадии. Шиллер гремел в пользу притесненных; Байрон, который носится в облаках, спускается на землю, чтобы грянуть негодованием в притеснителей, и краски его романтизма часто сливаются с красками политическими. Делать теперь нечего. Поэту должно искать иногда вдохновения в газетах. Прежде поэты терялись в метафизике; теперь *чудесное*, сей великий помощник поэзии, на земле. Парнас — в Лайбахе[12]. <...>

11 июня 1824. <...> Неужели Жуковский не воспоет Байрона? Какого же еще ждать ему вдохновения? Эта смерть, как солнце, должна ударить в гений его окаменевший и пробудить в нем спящие звуки! Или дело конченое? Пусть же он просится в камер-юнкеры или в вице-губернаторы! <...>

27 октября 1824. <...> Где этот «Courrier de Londres», из которого выписаны статьи о Дмитриеве и Жуковском. Между нами: скажи Жуковскому, чтобы он не очень спесивился европейской известностью своею. <...>

19 января 1836. <...> Русская веселость, например веселость Алексея Орлова и тому подобная, застывает под русским пером. Форма убивает дух. Один Жуковский может хохотать на бумаге и обдавать смехом других, да и то в одних стенах «Арзамаса». <...>

14 февраля 1836. <...> Жуковский перекладывает на русские гекзаметры «Ундину». Я браню, что не стихами с рифмами; что он Ундину сажает в озеро, а ей надобно резвиться, плескаться, журчать в сребристой речке. <...>

А. И. Тургенев — П. А. Вяземскому

17/5 июня 1839. <...> С Жуковским провел я несколько приятных, задушевных минут, но только минут; они повеяли на меня прежним сердечным счастием, прежнею сердечною дружбою. Этому способствовал и его новый перевод Греевой элегии гекзаметрами, которую он продиктовал мне и подарил оригинал руки его, на английском оригинале написанный. Я почти прослезился, когда он сказал мне, что так как первый посвящен был брату Андрею, то второй, чрез сорок лет, хочет он посвятить мне. Мы пережили многое и многих, но не дружбу: она неприкосновенна, по крайней мере в моей душе, и, выше мнений и отношений враждебного света, недоступна никакому постороннему влиянию. <...> Перевод Жуковского гекзаметрами сначала как-то мне не очень нравился, ибо мешал воспоминанию прежних стихов, кои казались мне почти совершенством перевода; но Жуковский сам указал мне на разницу в двух переводах, и я должен признать в последнем более простоты, возвышенности, натуральности и, следовательно, верности. Les vers à retenir также удачнее переведены, и как-то этого рода чувства лучше ложатся в гекзаметры, чем в прежний размер, коего назвать не умею. <...>

8/20 сентября 1844. Франкфурт-на-Майне. <...> Слушаю «Одиссею» Жуковского. Простота высокая и свежесть запаха древности так и наполняет душу! Что за колдун Жуковский! Знает по-гречески меньше Оленина, а угадывает и выражает Гомера лучше Фосса. Все стройно и плавно и в изящном вкусе, как и распределение и уборка кабинета, салона его. Стихи текут спокойно, как Гвадалквивир, отражая гений Гомера и душу Жуковского. <...>

А. И. Тургенев

ИЗ «ДНЕВНИКА» (1803)

25/13 января. <...> Сегодня Бутервек[1] на лекции описывал характер Петрарки и платоническую любовь его к Лауре. Какое разительное сходство с характером Жуковского! Кажется, что если б мне надобно было изобразить характер Жук<овского>, то бы я то же повторил, что Бутервек говорил о Петрарке. И Жук<овский> точно в таком же отношении к *Св....*[2], в каком Петрарка был к его Лауре, или к M-me de Sade[3].

2 июля. <...> По крайней мере я Мерзлякова[4] и Жук<овского> никогда, никогда не забуду, никогда не истребится во мне к ним то, что я теперь чувствую. Пусть разборчивая холодность займет место разгоряченного воображения и юной пылкости; но она тем больше удостоверит меня, и холодный рассудок сожмет, может быть, мое сердце для других, но — не для них, и согревающее дружество оттает и в старости оледенелое сердце, бедное сердце, — и издалеку, может быть (Бог знает, куды вихрь времени и обстоятельств может занести нас), и издалеку теплота дружбы будет действительна на грудь мою; дай Бог, только дай Бог, чтобы эти простые сердечные ощущения не затмились, дай Бог, чтобы не переменились они. На Мерзлякова грудь я надеюсь, как на вечную гранитную скалу. Жуковский добр, очень добр: лишь бы только мрачная злоба людей не впечатлела, не врезала в мягкое его сердце недоверчивости, ненависти к людям. Он от доброты же своей может или возненавидеть или полюбить человечество; первое обыкновенно чаще случается. но он, кажется, не вынесет продолжительного, беспрестанного отвращения к людям; это чувство может задавить его, и для того, хоть он вечно будет обманываться в людях, — он вечно будет любить их.

ИЗ ПИСЕМ К БРАТУ, Н. И. ТУРГЕНЕВУ

(1808—1810)

23 июля 1808. <...> Жуковский еще более мне полюбился, и я дружбу его почитаю лучшим даром Промысла. По талантам, по душе и по сердцу — редкий человек и меня любит столько же, сколько я его. <...>

20 декабря 1809. <...> Жуковский пишет прекрасно об игре Жорж[1], которая... восхищает теперь Москву своим трагическим талантом. Ни-

когда еще на русском такой умной и тонкой критики не бывало, как критика Жуковского. Прекрасный талант! <...>

15 октября 1810. <...> С Жуковским мы теперь довольно часто переписываемся, и я хочу обратить ему и себе в привычку писать друг к другу и давать отчет в своих упражнениях, проектах. Он теперь занимается русской ист<орией>[2], и я снабжаю его отсюда по сей части. Если он при своих талантах будет соединять глубокие познания, то со временем он перещеголяет всех наших литераторов, ибо и теперь уже во многом перещеголял. Лат<инский> и греч<еский> языки лишают его средств в усовершенствовании и к возведению себя на степень классических авторов; но за лат<инский>, кажется, он принимается и с помощию хорошего учителя может еще успеть в нем. Неужели Судьба никогда в этой жизни не сведет нас всех вместе? Нас немногих? Нет, мы непременно должны определить место и время всеобщего свидания и ожидать этой минуты с твердым уверением, несмотря ни на какие препятствия, — увидеть друг друга и пожить вместе, хотя бы то стоило некоторых пожертвований. <...>

ИЗ «ДНЕВНИКОВ» (1825—1826)

1825

6 августа. <...> В 8 часов утра приехали мы в Пирну и, оставив здесь коляску, пошли в Зонненштейн по крутой каменной лестнице, в горе вделанной[1]. Нам указали вход в гофшпиталь, и первый, кого мы издали увидели, был Батюшков. Он прохаживался по аллее, вероятно, и он заметил нас, но мы тотчас вышли из аллеи и обошли ее другой дорогой. Нас привели прямо к доктору Пирницу, а жена его, урожденная француженка, нас ласково встретила. Мы отдали ей письма Жук<овского> и Кат<ерины> Фед<оровны>[2] для доставления Ал<ександре> Ник<олаевне>. <...>

Она [Александра Николаевна] видела только один раз брата, провела с ним целый день, но он сердился на нее, полагая, что и она причиною его заточения. Он два раза писал ко мне, но Ал<ександра> Ник<олаевна> изорвала письма. Если я не ошибаюсь, то он, кажется, писал ко мне о позволении ему жениться. Жук<овского> любит. Да и кто более доказал ему, что истинная дружба не в словах, а в забвении себя для друга. Он был нежнейшим попечителем его и сопровождал его до Дерпта и теперь печется более всех родных по крови, ибо чувствует родство свое

по таланту[3]. — Везде нахожу тебя, Жуковский, но более и чаще всего — в своем сердце. My heart untravelled fondly turns to there!*

27/15 декабря. <...> Получил письмо от моего милого Жуковского[4], и сердцу моему стало легче. Он не писал ко мне тогда, как дни его текли в безмятежном положении души; но когда бедствие настигло его и Россию, в сердце его отозвалось старое, прежнее чувство его ко мне, которое во мне никогда не затихало. Жалею, что не мог отвечать ему с курьером, который уехал в 5-м часу. Посол желал, чтобы я опять остался у него обедать и перевел для него письмо Жуковского. <...>

1826

Берлин. В пять часов утра 13 июля выехал я из Петербурга — в самый день казни![5] <...> остановился в той же скромной комнате, где за 4 месяца с 1/2 жил один в страшном беспокойстве за братьев и поспешал в Россию, где ожидали меня — смерть Карамзина, болезнь Жуковского и несомнительность в обвинениях на брата[6] и в... <...> Подожду возвращения сюда Сережи[7]. Отчуждение же к<нязя> Пут<ятина> из России привело меня к мысли о Н<иколае> и о всех нас. Что, если судьба приведет жить и умирать вне отечества, далеко от Кар<амзиных>, Жук<овского>, Жих<арева> и еще немногих! И как возвратиться к тем, кои... <...>

Вчера, 17 августа, Жуковского приезд сделал меня как-то тихо счастливым, и я поверил и будущему лучшему, когда в настоящем может быть еще для меня столько счастия, и, может быть, осень и зиму с ним! Недостает одного Н<иколая>. Но когда же в этом мире счастие сердца было совершенно! <...>

Дрезден. Мы приехали сюда в 10-м часу утра 31 августа. Жуковский приехал 11 сентября. <...>

30/18 сентября: <...> Читаем Mignet «Histoire de la Révolution française»[8] и вместе с сим заглядываем и в биографию генерала Фуа и в речи его, а когда дошли до эмиграции, то прочли в Ласказе записку, которую он делал для Наполеона о кобленцских эмигрантах, кои мечтали, под предводительством своих принцев, произвести переворот в революции французской и восстановить падающую монархию. <...>

* Мое неизменное сердце с любовью обращается к тебе! (*англ.*).

ИЗ ПИСЕМ К БРАТУ, Н. И. ТУРГЕНЕВУ (1827)

21 марта. Дрезден. Сию минуту принес ко мне для тебя Жуковский сочиненную им басню в прозе, тебе посвященную. Вот копия. Оригинал сохраню и пришлю к тебе при первом случае.

«Кусок золотой руды лежал в горниле на сильном огне. Голик смотрел на него из угла и так рассуждал сам с собою: „Бедное золото! жаль мне тебя! Как тебя жгут и мучат. Какому жестокому тирану досталось ты в руки!“ Между тем огонь погас, и золото вышло чистым из горнила. Из него сделали крест, и люди стали в нем обожать символ спасения! Глупый голик! тебе ли судить о золоте! Положи в огонь тебя — затрещишь! разлетишься дымом! и после тебя останется горсточка пепла! А золото? и в самом пылу огня не роптало оно на судьбу свою! Оно верило Тому, Кто положил его в горн; знало, что без огня не быть ему чистым, и даже радовалось жгучему пламени, которое возвышало его достоинство. Огонь палит! это правда! Но золото *должно быть чистым.* Кто осмелится сказать, видя по очищенным: *жаль, что его клали в горн?* Голик может охать, смотря на огонь, потому что он голик! Но тот, кто сам золото, скажет смиренно: *огонь на минуту! а чистота навсегда!* Золотою *рудою* можно остаться в темном недре земли, но на белом свете надобно быть *чистым золотом.* Это то же, что сказал один практический мудрец: *чистой совести* довольно, чтобы умереть; но жить нельзя без достоинства. Посвящено Николаю Ивановичу Тургеневу»[1].

Жуковский сам хотел переписать свой аполог для тебя. Хотя последние слова и не совсем так, как они в письме у тебя, но он их хотел напомнить. Ты сказал: «Чувство чистой совести достаточно для смерти. Чувство нравственного достоинства необходимо для жизни». Спасибо, милый брат, за твои письма. С ними и жить и умереть можно. Но, право, жить весело. Здесь Жуковский, а вдали ты. Авось и вместе все будем. Между тем будем очищаться.

21 июня. Париж. <...> Жуковского эти судебные сцены более интересуют, нежели все прочее в Париже[2]. <...>

26 июня. Париж. <...> Жуковский несколько раз прежде думал и сегодня, вспомнив об участи бедного демидовского Швецова[3], о котором вчера со слезами говорил мне, хотел просить тебя записать мысли твои о рабстве в России, если не для близкого, то для отдаленного будущего. <...>

22 июля. Эмс. Пожалуйста, позволь или прикажи гр<афине> Разум<овской> доставлять мне копии с твоих писем к ней; она совестится и не хочет присылать мне их, а нам с Жук<овским> это не только наслаждение, но и больше: он со слезами на глазах вчера пришел ко мне с

письмом твоим и, говоря о словах твоих в отношении к его любви к брату Андрею, ко мне и к Сергею, — он сказал с чувством, что ты забыл *главное* теперь, то есть себя, что в тебе видит он для себя более; что он нашел подтверждение в твоем характере, в твоих чувствах, всего, о чем только мог мечтать, когда мечтал о предметах высокой нравственности, о душе человеческой, о высокой простоте ее и о ее назначении; что ты для него все подтвердил, объяснил, возвысил и человека, и его самого для него. Сегодня просил он у меня копии всех твоих писем, кои я получать буду. Прежние он давно, моей руки, имеет и теперь читает их вместе, для составления résumé для себя самого и для приведения еще в большую ясность идей своих о твоей невинности, дабы представить их с такою же ясностию и другим. <...> Желал бы доставить тебе копию с записки, которую Жук<овский> начал составлять и частию составил уже для себя по твоему делу[4]. <...>

16 августа. <...> Я забыл сказать тебе, что вчера, в 1-й раз после Петербурга, прочел я статью твою «Нечто о крепостном состоянии в России»[5] и нашел в ней столько проницательного, полезного по нашему делу, что намерен переписать здесь или в Лейпциге копию и дать Жук<овскому>, означив год сочинения: 819, в дек. <...>

8 сентября. Лейпциг. В полночь приехал Жуковский. Мы свиделись в 6 час. утра, ибо он не хотел будить меня. Он зажился три дня в Веймаре в беседе с Гете, от которого и я получил милое слово чрез канцлера Мюллера, который писал ко мне. Жуковский жалеет, что меня не было с ним у Гете. Он был необыкновенно любезен и как отец с ним. Жуковскому хотелось, чтобы я разделил эти минуты с ним; ибо он говорит, что Гете и Шиллер образовали его; а с ними вместе он рос и мужался с нами, Тургеневыми, и душевное и умственное образование получал с нами, начиная с брата Андрея; что только в чужих краях укрепилась душа его, между прочим, и твоими письмами, и что здесь началось европейское его образование, и я жалею, что не был с ним в Веймаре, хотя и многого бы лишился, что приобрел в Лейпциге; но Гете — незаменим. Я не знаю, что я чувствую, глядя на Жуковского и видя его любовь и к тебе. Мы уже много о тебе говорили. <...> Я прочел Жуковскому несколько строк из твоего сочинения об освоб<ождении> кр<естьян> в Р<оссии>. Он хочет иметь оригинал твой, и я даю его. У меня останутся две копии. Вот стихи Жук<овского>, оставленные им в Веймаре у Гете:

Творец великих вдохновений![6] <...>

<...> Читая твои письма в Дрездене и после, Жуковский часто мне говаривал, что он обязан тебе, твоему несчастию самыми высокими минутами в жизни[7]. Милый С.[8] всякий раз радовался, восхищался его к тебе любовью, особливо при чтении твоих писем, — и точно, подобно тебе, несчастия нашего не почитал несчастием и плакал иногда со мною от радости, от счастия иметь тебя братом и Жуковского другом <...>

17 декабря. <...> Я буду везде и исполню за себя и за тебя долг признательности, дружбы, почти неимоверной в наше время, если бы еще не было Жуковского. <...>

ИЗ «ХРОНИКИ РУССКОГО»

15/3, 21 /9 января 1827 г. <Дрезден.> <...> Идем по трескучему шестиградусному морозу смотреть большой портрет Жуковского, вчера живописцем Боссе[1] конченный. Жуковский представлен идущим в деревьях: вдали Монблан и его окрестности. Портрет сей выставлен будет в Петерб<ургской> академии. Сходство большое! Но я сначала не был доволен выражением. Авось Боссе исправил по моим замечаниям. <...>

У нас здесь русский поэт, юноша Бек. В стихах его, хотя и весьма молодых, виден уже истинный талант и какой-то вкус, тем же талантом угаданный. Он же и живописец и едва ли не музыкант. Не знаю, удастся ли мне прислать тебе стихов его. Жуковский не советует ему писать стихи для печати, полагая, что это слишком рано заронит в нем искру авторского самолюбия и увлечет его к занятиям, кои должны быть для него теперь ему чужды. <...>

21 марта 1836. Париж. Гр. St. P<riest> сказывал мне, что тот же книжный откупщик предлагал ему [Шатобриану] 150 000 (!!) за Мильтона[2] и «Историю английской словесности», рассрочивая платеж на несколько сроков; Шатобриан задумался; пришел Лавока с 36 000 франков чистоганом, и Шатобриан отдал ему труд свой за эту сумму. В этом отношении он вроде Ж<уковского>, с тою разницею, что он не шарлатанит и не делает расчетов за год вперед своим расходам, в белых разграфованных тетрадках красными чернилами; но в семействе и здешнего поэта «*нет сирот!*». Он и жена его призирают их в хорошо устроенной обители, как наш везде, от Белева до Дерпта. <...>

21/9 июня 1836. Веймар. <...> Тифурт — святыня германского гения, ковчег народного просвещения. Поэзия влиянием своим на современников Гердера, Шиллера и Гете созидала историю, приготовляла будущее Германии и сообщала новые элементы для всей европейской литературы, для Байрона и Вортсворта, для исторического ума Гизо и Фориеля (о нем сказал кто-то: «C'est le plus allemand des savans français»*, для души, которая все поняла и все угадала и все угаданное и постигнутое в Германии передала Франции и Европе, для души — Сталь; наконец, для нашего Жуковского, которого, кажется, Шиллер и Гете, Грей и Вортс-

* Среди французских ученых он наиболее проникнут немецким духом (*фр.*).

ворт, Гердер и Виланд ожидали, дабы воскликнуть в пророческом и братском сочувствии:

Мы все в одну сольемся душу.

И слились в душу Жуковского. — Этому неземному и этому *лучшему* своего времени «dem Besten seiner Zeit», этой душе вверили, отдали они свое лучшее и будущее миллионов! Гений России, храни для ней благодать сию. Да принесет она плод свой во время свое. <...>

<...> в 6 часов зашел ко мне Мюллер, и мы отправились в дом Гете. <...> В альбуме нашел я имена посетителей этой святыни и русские стихи к Гете. <...>

В этом же альбуме отыскал я несколько милых мне имен: 25 августа 1833 [г.] был здесь и Жуковский. <...> В альбуме Гете к именам посетителей присоединил я и свое и написал на память четыре стиха переводчика «Вертера», покойного брата Андрея, на 16-летнем возрасте им к портрету Гете написанные:

Свободным гением натуры вдохновенный,
Он в пламенных чертах ее изображал
И в чувствах сердца лишь законы почерпал,
Законам никаким другим не покоренный[3].

Здесь желал бы я друзьям русской литературы, коей некогда Москва и в ней университет были средоточием, напомнить о том влиянии, какое веймарская афинская деятельность имела и на нашу московскую словесность. Несколько молодых людей, большею частию университетских воспитанников, получали почти все, что в изящной словесности выходило в Германии, переводили повести и драматические сочинения Коцебу, пересаживали, как умели, на русскую почву цветы поэзии Виланда, Шиллера, Гете, и почти весь тогдашний немецкий театр был переведен ими; многое принято было́ на театре московском. Корифеями сего общества[4] были Мерзляков, Ан<дрей> Т<ургенев>. Дружба последнего с Ж<уковским> не была бесплодна для юного гения. Она увековечена в посвящении памяти его первого и превосходного перевода поэта[5].

Не упоминая о других первых спутниках жизни, заключу словами спутника поэта: «Где время то?»[6]... Но кто не помнит стихов Жуковского?

1 апреля/20 марта 1838. <Париж.> <...> В трагедии Брифо «Сигизмунд, царь Аустразии» много прекрасных стихов. <...> Я упомнил еще несколько счастливых стихов: «A côté du héros on respire la gloire»*. Или о человеке, подобно Жуковскому: «Et citer ses vertus, c'est conter son histoire»**.

Рядом с героем все дышит славой (*фр.*).

Перечислить его добродетели — значит рассказать историю его жизни (*фр.*).

4 августа/23 июля <1840. Веймар.> <...> После обеда обходил парк и был у домика Гете: он был заперт, и все пусто вокруг него: одни розы благоухали бессмертием... Ввечеру пил чай у Липмана и беседовал с ним о России, о Жуковском, о поэзии. <...>

10 июля/28 июня 1841. Шанрозе. <...> За час перед тем я получил письмо от Жуковского, из Дюссельдорфа, первое по наступлении его законного счастия! И какое письмо! Душа Жуковского тихо изливается в упоении и в сознании своего блаженства. Я понял, читая его, по крайней мере половину моей любимой фразы: «Le bonheur est dans la vertu, qui aime... et dans la science, qui éclaire»*[7].

1844

<...> 9 января меня навестил молодой русский писатель, Б<ецкий>[8]. Я узнал, что он издатель харьковского журнала «Мелодика и антология из Жана-Поля Рихтера», которую сегодня он принес мне. Он рассказывал мне о своем путешествии в Германию и в Бельгию: он путешественник и писатель и обещал мне отрывки из журнала своего для «Москвитянина»: например, посещение его Жуковского, где видел и Гоголя (уже после меня); их беседа с вдовою Жана-Поля Рихтера в Барейте, от коей узнал много любопытных подробностей о германском юмористе, или отрывок из путешествия по Бельгии, где осматривал знаменитую тюрьму, со всеми отраслями промышленности. — Если он принесет мне отрывок о Жане-Поле, то я постараюсь отыскать в журнале 1825 или 1827 года (не помню) мое посещение самого Жана-Поля в Барейте[9]... Я бы желал, чтобы г. Б<ецкий> доставил мне для «Москвитянина» посещение его и описание салона и образа жизни Жуковского: это по всему принадлежит «Москвитянину», ибо и гений Жуковского — истый москвитянин, и Москва была его колыбелью. При первом свидании я напомню об этом г. Б<ецкому>. При сем случае он может известить читателей ваших и о Гоголе, который гнездится над переводчиком «Одиссеи» и читает перевод ее вслух переводчику; думает, что Гоголь *ничего* не пишет: так ему показалось, но Жуковский извещал меня, что он все утро над чем-то работает, не показывая ему труда своего. <...>

* Счастье заключается в добродетели, которая любит... и в науке, которая освещает (*фр.*).

ИЗ «ДНЕВНИКА» (1832—1837)

1832

9 апреля. <...> Вечер у Карамзиных с Жуковским и Пушкиным.

15 апреля. <...> Обедал у Жуковского с Карамзиными, Вяземским, Пушкиным.

11 мая. <...> Был в Академии наук на раздаче Демидовских премий... Возвратился с Жуковским. Гулял с ним же в саду; с Пушкиным был у Хитрово, болтал с Фикельмон об Италии.

15 мая. <...> Кончил вечер у князя Вяземского с Пушкиным и Жуковским.

4 июня. <...> У Жуковского с Пушкиным о журнале[1]. Обедал с князем Вяземским.

18 июня. <...> В час сели на первый пароход. Велгурский, Мюральт, Федоров с сыном провожали нас... В час — тронулся пароход. Я сидел на палубе — смотря на удаляющуюся набережную, и никого, кроме могил, не оставлял в Петербурге, ибо Жуковский был со мною[2]. Он оперся на минуту на меня и вздохнул за меня по отечестве: он один чувствовал, что мне нельзя возвратиться... Петербург, окрестности были далеко; я позвал Пушкина, Энгельгарда, Вяземского, Жуковского, Викулина на завтрак и на шампанское в каюту — и там оживился грустию и самым моим одиночеством в мире...

1834

6 ноября. День смерти Екатерины II. <...> Обедал и кончил вечер у Смирновых, с Жуковским, Икскулем и Пушкиным. Много о прошедшем в России, о Петре, Екатерине.

9 ноября. <...> Обед у Гец с Дружининым, Мюральтом, Жуковским, Пушкиным, Шилингом, Штакельбергом, Яценко и пр.

16 ноября. <...> Обедал у новорожденной Карамзиной с Жуковским, Пушкиным, Кушниковым. Последний о Суворове говорил интересно. Проврался о гр. Аракчееве по суду Жеребцова, «лежачего не бьют», и казнивший беременных женщин спасен от казни, а сидевшие в крепости — казнены![3]

17 ноября. <...> Обедал у Смирновой с Пушкиным, Жуковским, [текст испорчен] и Полетика. Пушкин о татарах: умнее Наполеона.

21 ноября. <...> с Пушкиным осмотрел его библиотеку. Не застал ни Жуковского, ни Мюральта. Осматривал магазины. (Купить ложки с

черню и с бирюзой.) Обедал у Смирновых с Жуковским и Пушкиным и Скалоном.

24 ноября. <...> Вечер с Жуковским, Пушкиным и Смирновыми, угощал Карамзину у ней самой концертом Эйхгорнов; любезничал с Пушкиной, и с Смирновой, и Гончаровой. Но под конец ужасы Сухозанетские[4], рассказанные Шевичевой, возмутили всю мою душу.

29 ноября. <...> Обедал у графа Бобринского с Жуковским, Пушкиным, графами Матвеем и Михаилом Велгурскими, князем Трубецким. Любезничал умом и воспоминаниями с милой и умной хозяйкой[5]. Обед Лукулла и три блюда с трюфелями отягчили меня.

10 декабря. <...> вечер у Жуковского до 3-го часа: Пушкин, Велугорский, Чернышев-Кругликов, Гоголь. [пропуск] напомнил о шутке брата. Князь Адуевский. Пили за здоровье *Ивана Ник.*[6]

1836

26 ноября <...> вечер у Бравуры, у Вяземских, у Козловского и опять у Вяземских. Объяснение с Эмилией Пушкиной. Жуковский, Пушкин.

27 ноября <...> У Хитровой. Фикельмон, Al. Tolstoy о Чадаеве. Обед у Вяземских — с Жуковским и Пушкиным в театре. Семейство Сусанина[7]; открытие театра, публика. Повторение одного и того же. Был в ложе у Экерна. Вечер у Карамзиных, Жуковский!

6 декабря. Брал возок. В 11-м часу был уже во дворце. Обошел залы, смотрел на хоры. <...> К Карамзиным. Жуковский журил за Строганова[8]: но позвольте не обнимать убийц братьев моих, хотя бы они назывались и вашими друзьями и приятелями! О записке Карамзина[9] с Екатериной Андреевной, несмотря на похвалу, она рассердилась — и мы наговорили друг другу всякие колкости, в присутствии князя Трубецкого, который брал явно мою сторону. Заступилась против меня за Жуковского, а я называл его ангелом, расстались — может быть, надолго! <...>

11 декабря. <...> обедал у князя Никиты Трубецкого с Жуковским, Вяземским, Пушкиным, князем Кочубеем, Трубецким, Гагариным и с Ленским, болтал умно и возбуждал других к остротам.

22 декабря. <...> Вечер на бале у княгини Барятинской, — мила и ласкова. Приезд государя и государыни, с наследником и прусским принцем Карлом. Послал протопить или нагреть залу вальсами. Государь даже не мигнул мне, хотя стоял долго подле меня и разговаривал с княгиней Юсуповой <...> Киселев, Мейендорф не узнают меня; княгиня Юсупова начала дружный разговор, и мы познакомились. Мила своею откровенностию о ее положении на бале. Я и Жуковский в толпе: кому больнее? Мое положение. Опочинина обещала приехать. Тон глупее дела! Пушкины. Утешенный Вяземский.

24 декабря. <...> Обедал в Демуте. У графини Пушкиной с Жуковским, Велгурским, Пушкиным, графиней Ростопчиной, Ланская, княгиня Волхонская с Шернвалем, граф Ферзен. <...>

25 декабря, Рождество Христово. <...> Был у Жуковского. Как нам неловко *вместе!* Но под конец стало легче. <...> К Карамзиным. С Пушкиным, выговаривал ему за словцо о Жуковском в четвертом № «Современника» (забыл Барклая)[10].

29 декабря. <...> Кончил вечер у князя Вяземского с Жуковским, с которым в карете много говорил о моем здесь положении.

30 декабря. <...> В Академию: с Лондондери об оной; с Барантом, его избрали в почетные члены. Фус прочел отчет, Грефе о языках: много умного и прекрасного, но слишком гоняется за сравнениями и уподоблениями. Жуковский, Пушкин, Блудов, Уваров о Гизо. <...> к Карамзиным, где Пушкины.

1837

17 генваря. <...> Обед у Карамзиных с Полетикой, Жуковским, Вяземским. Разговор о либерализме. Жуковский просил портрета и оскорбился вопросом: на что тебе? <...> на вечер к княгине Мещерской, где Пушкины, Люцероде, Вяземский.

21 генваря. <...> Жуковский примечает во мне что-то не прежнее и странное, а я люблю его едва ли не более прежнего <...>

27 генваря. <...> Скарятин сказал мне о дуэле Пушкина с Геккерном; я спросил у Карамзиной и побежал к княгине Мещерской: они уже знали. Я к Пушкину: там нашел Жуковского, князя и княгиню Вяземских и раненного смертельно Пушкина, Арндта, Спасского — все отчаивались. Пробыл с ними до полуночи и опять к княгине Мещерской. Там до двух и опять к Пушкину, где пробыл до 4-го утра. Государь присылал Арндта с письмом, собственным карандашом: только показать ему: «Если Бог не велит нам свидеться на этом свете, то прими мое прощенье (которого Пушкин просил у него себе и Данзасу) и совет умереть христьянски, исповедаться и причаститься; а за жену и детей не беспокойся: они мои дети, и я буду пещись о них». Пушкин сложил руки и благодарил Бога, сказав, чтобы Жуковский передал государю его благодарность. Приезд его: мысль о жене и слова, ей сказанные: «Будь спокойна, ты ни в чем не виновата».

28 генваря. <...> Был на похоронах у сына Греча; опять к Пушкину, простился с ним. Он пожал мне два раза, взглянул и махнул тихо рукою. Карамзину просил перекрестить его. Велгурскому, что любит его. Жуковский — все тот же. <...>

29 генваря. День рождения Жуковского и смерти Пушкина. Мне прислали сказать, что ему хуже да хуже.

В 10-м часу я пошел к нему. Жуковский, Велгурский, Вяземский ночевали там. <...>

В 2 $^{3}/_{4}$ пополудни поэта не стало: последние слова и последний вздох его. Жуковский, Вяземский, сестра милосердия, Даль, Данзас, доктор закрыл ему глаза. Обедал у графа Велгурского с Жуковским и князем Вяземским <...>

30 генваря. День ангела Жуковского. <...>

31 генваря. <...> Знать наша не знает славы русской, олицетворенной в Пушкине. Слова государя Жуковскому о Пушкине и Карамзине: «Карамзин ангел». <...>

1 февраля. <...> В 11 часов нашел я уже в церкви обедню, в 10 1/2 начавшуюся. Стечение народа, коего не впускали в церковь, по Мойке и на площади. Послы со свитами и женами. <...> Жуковский. Мое чувство при пении. Мы снесли гроб в подвал. Тесновато. Оттуда к вдове: там опять Жуковский. Письмо вдовы к государю: Жуковского, графа Велгурского, графа Строганова просит в опекуны. <...>

2 февраля. <...> Жуковский приехал ко мне с известием, что государь назначает меня провожать тело Пушкина до последнего жилища его. Мы толковали о прекрасном поступке государя в отношении к Пушкину и к Карамзину. После него Федоров со стихами на день его рождения и опять Жуковский с письмом графа Бенкендорфа к графу Строганову, — о том, что вместо Данзаса назначен я, в качестве *старого друга* (ancien ami), отдать ему последний долг. Я решился принять и переговорить о времени отъезда с графом Строгановым. <...> Встретил князя Голицына, и в сенях у князя Кочубея прочел ему письмо, и сказал слышанное: что не в мундире положен, якобы по моему или князя Вяземского совету? Жуковский сказал государю, что по желанию жены. <...> К Жуковскому: там Спасский прочел мне записку свою о последних минутах Пушкина. Отзыв графа Б<енкендорфа?> Гречу о Пушкине. Стихи Лермонтова — прекрасные. Отсюда домой. <...>

8 марта. <...> Жуковский читал нам свое письмо к Бенкендорфу[11] о Пушкине и о поведении с ним государя и Бенкендорфа. Критическое расследование действия жандармства. И он закатал Бенкендорфу, что Пушкин погиб оттого, что его не пустили ни в чужие края, ни в деревню, где бы ни он, ни жена его не встретили Дантеса.

Н. И. Греч

ИЗ «ЗАПИСОК О МОЕЙ ЖИЗНИ»

<...> Пушкин любил Кюхельбекера, но жестоко над ним издевался. Жуковский был зван куда-то на вечер и не явился. Когда его спросили, зачем он не был, он отвечал: «Мне что-то нездоровилось уж накануне, к тому пришел Кюхельбекер, и я остался дома». Пушкин написал:

За ужином объелся я,
Да Яков запер дверь оплошно,
Так было мне, мои друзья,
И кюхельбекерно, и тошно

Кюхельбекер взбесился и вызвал его на дуэль. Пушкин принял вызов. Оба выстрелили, но пистолеты заряжены были клюквою, и дело кончилось ничем. <...>

<...> Карамзинолатрия[1] достигла у его чтителей высшей степени: кто только осмелился сомневаться в непогрешимости их идола, того предавали проклятию и преследовали не только литературно. Гораздо легче было ладить с самим Карамзиным, человеком кротким и благодушным, нежели с его исступленными сеидами[2]. Дух партии их был так силен, что они предавали остракизму достойнейших людей, дерзавших не обожать Карамзина, но и приближали к себе гнусных уродов, подделывавшихся под их тон, как, например, вора Жихарева, воришку Боголюбова, мужеложника Вигеля, величайшего в мире подлеца Воейкова[3]. Второю собинкою[4] этого круга был Жуковский. Его любили, честили, боготворили. Малейшее сомнение в совершенстве его стихов считалось преступлением. Выгоды Жуковского были выше всего. Павел Александрович Никольский, издавая «Пантеон русской поэзии»[5], не думал, что может повредить Жуковскому, помещая в «Пантеоне» его стихотворения. Александр Тургенев увидел в этом денежный ущерб для Жуковского, которого сочинения тогда еще не были напечатаны полным собранием, и однажды, заговорив о них с Гнедичем на обеде у графини Строгановой, назвал Никольского вором. Гнедич вступился за Никольского. Вышла побранка, едва не кончившаяся дуэлью. Никольский, узнав о том, перестал печатать в «Пантеоне» сочинения Жуковского. <...>

<...> В 1820 году Жуковский принес ко мне русский перевод одной сказочки Перро, переведенной с французского ученицею его, великою княгинею Александрою Федоровною, и просил, чтоб я напечатал ее

в своей типографии в числе десяти экземпляров, но с тем, чтоб эта книжка не была в обыкновенной цензуре, что он говорил об этом князю Голицыну, и князь, изъявив свое согласие, обещал известить меня официально о напечатании ее без обыкновенных формальностей. Великая княгиня хотела по этой книжечке учить читать своего сына. Я напечатал книжечку. Нет извещения от Голицына. Жуковский пишет из Павловска, что в<еликая> к<нягиня> ждет оттисков. Что тут делать? Я повез рукопись к цензору Тимковскому, и он подписал ее. Вслед за этим послал экземпляры Жуковскому. Вдруг поднялась буря. Голицын, забыв (?) об обещании, данном Жуковскому, написал к военному губернатору графу Милорадовичу, что в типографии Греча напечатана книга, не дозволенная цензурою, и просил поступить с содержателем типографии на основании законов. Г<раф> потребовал у меня объяснения. Я представил рукопись, одобренную Тимковским за две недели пред тем, и сказал, что одобрение не выставлено на заглавном листке по ошибке фактора типографии. Дело тем и кончилось. Хорошо было, что я не положился на словесное позволение министра: было бы мне много хлопот. Добрый Жуковский очень сожалел о неприятности, сделанной мне, и говорил мне, что выговаривал князю [Голицыну], а тот извинился, что запрос, им подписанный, был составлен без его ведома в его канцелярии. <...>

<...> [О юбилее Крылова.] Стали считать и нашли, что он трудился на Парнасе долее пятидесяти лет. Тут я предложил отпраздновать его юбилей[6]. Мысль эту приняли с единодушным восторгом. Составили план празднества и назначили членов-учредителей комитета. Выбраны были: А. Н. Оленин, граф Мих. Ю. Виельгорский, К. П. Брюллов, Кукольник, Карлгоф и я[7]. <...> Дело поступило для исполнения в III Отделение государевой канцелярии, которое, найдя, что оно подлежит исполнению со стороны министерства народного просвещения, отправило его к Уварову. Что же он сделал? В досаде на то, что не он был избран председателем комитета, он исключил из числа учредителей графа Виельгорского, Брюллова, Кукольника и меня и назначил на место их Жуковского, князя Одоевского и еще кого-то из своих клевретов. Я не знал этого и, слышав только, что государь принял наше предложение с удовольствием, ждал официального о том уведомления. Вдруг получаю письмо от Жуковского с уведомлением об имеющем быть юбилее и с препровождением пятидесяти билетов для раздачи желающим в нем участвовать. Это меня взбесило. Устранили учредителей юбилея от участия в нем и еще дразнят. Я возвратил билеты Жуковскому при письме, в котором объявил, что не только не берусь раздавать билеты, но и сам не пойду на юбилей. В этом случае я поступил неосмотрительно: мне надлежало бы самому пойти к Жуковскому и с ним сбъясниться. <...> Воейков напечатал в «Инвалиде», что мы с Булгариным не хотели участвовать в юбилее.

Жуковский, не зная истинного положения дела, возразил в «Инвалиде», что прислал ко мне билеты за несколько дней и я от них отказался[8].

<...> С Жуковским объяснился я о деле юбилея не прежде 1843 года, когда посетил его, проезжая чрез Эмс. Это объяснение происходило в присутствии Гоголя. Между тем Жуковский, по случаю того же юбилея, чуть не рассорился с Уваровым. В речи своей на юбилее Жуковский упомянул с теплым участием о Пушкине[9], которого Уваров ненавидел за стихи его *на выздоровление Шереметева*[10]. Уваров приказал подать к себе из цензуры, в рукописи, все статьи о юбилее и исключил из них слова Жуковского о Пушкине. Жуковский жестоко вознегодовал на это и настоял на том, чтоб речь его (не помню, где именно) была напечатана вполне[11]. <...>

<...> Александр Воейков вышел из службы при императоре Павле, начал шалить, играть, пить и спустил все свои две тысячи душ; шатался среди самого гнусного общества, ездил по разным губерниям и как-то заехал в Белев, где жил Жуковский, знакомый с ним по Москве[12]. Воейков имел природное остроумие и дар писать стихи, знал с грехом пополам французский язык и более ничего. В Белеве втерся он в круг Жуковского, который имел удивительную слабость к пустым людям, терпел их и помогал им[13]. <...>

В 1812 году пошел он было в ополчение, но был ли на действительной службе и какие совершил подвиги — неизвестно[14]. Он воротился, по окончании войны, в Россию, в Белев, где готовилось ему неожиданное и незаслуженное счастие. Там жила одна почтенная дама, Катерина Афанасьевна Протасова, урожденная Бунина, мать Александры Андреевны и Марии Андреевны. Должно знать, что отец ее, Бунин, вне брака прижил Василия Андреевича Жуковского. Жуковский жил у сестры, как сын родной, и, весьма естественно, влюбился в одну из дочерей ее, Марью Андреевну. Я не знал ее лично, а слышал, что она не была такая красавица, как сестра ее, но также женщина умная, милая и кроткая. Жуковский, на основании буквы законов, мог бы вступить в брак с нею; но Катерина Афанасьевна, боясь греха, не соглашалась выдать дочь за дядю, и это препятствие к исполнению его единственного желания, к достижению счастия и отрады в жизни внушило ему то глубокое уныние, то безотрадное на земле чувство, которым дышат все его стихотворения. Шиллер был счастливее его.

Марья Андреевна вышла впоследствии замуж за достойного человека, дерптского профессора Мойера, составила его счастие, но сама жила недолго. Александра Андреевна сделалась предметом страсти Воейкова. <...> Непритворная, как казалось, горесть его тронула весь женский мир, к которому, по мягкости сердца, принадлежал и Жуковский; <...> Воейков посватался, и Сашеньку за него отдали. <...> Вот Жуковский

написал Александру Тургеневу: «Спаси и помилуй! найди место Воейкову, нельзя ли на вакансию Андрея Кайсарова?» (убитого при Рейхенбахе). Тургенев привел в движение свою артиллерию, и Воейков был определен ординарным профессором русской словесности в Дерптском университете. Он был совершенный невежда: на лекциях своих, на которые являлся очень редко, не преподавал ничего, а только читал стихи Жуковского и Батюшкова, приправляя свое чтение насмешками над Хвостовым, Шишковым и пр. Немцам, ненавидящим трудный русский язык, это было на руку. <...>

В 1820 году поступил попечителем Дерптского университета князь Карл Андреевич Ливен. <...> Воейков опять обратился к Жуковскому и Тургеневу.

«Подлецы немцы, — писал он, — ненавидящие всех русских и особенно патриотов и честных людей, обнесли меня у Ливена. Как благородный человек (он всегда так величал себя), я не мог снести гласного оскорбления и принужден выйти. Я писал к нему не доносы, а благонамеренные советы».

Стали искать места Воейкову. Жуковский вспомнил, что за четыре года пред тем я предлагал ему [Жуковскому] сотрудничество в «Сыне Отечества», обещая 6000 руб. в год. Тогда он отказался, имея в виду место у великой княгини, а теперь вздумал предложить мне Воейкова. Приехал ко мне, стал выхвалять дарования своего друга, его прилежание и т. п. и убеждал взять его в сотрудники, уверяя, что мне будут помогать своими трудами он сам, Жуковский, Батюшков, князь П. А. Вяземский, В. Л. Пушкин, Н. И. Тургенев, Д. Блудов и все друзья его. Я не знал Воейкова вовсе, но, воображая, что профессор должен же быть человек знающий и грамотный, согласился на предложение. <...> Воейков стал заниматься в редакции «Сына Отечества», но ни одно из обещаний Жуковского, ни одно из моих ожиданий не исполнилось. <...> Сотрудничество его в «Сыне Отечества» продолжалось с половины 1820 до начала 1822 года. <...>

В конце 1820 года занемогла великая княгиня Александра Федоровна и с великим князем отправилась в Берлин. Жуковский поехал с ними, присылал иногда стихи свои, но сериозно не принимал участия в журнале. Друзья его охладели к Воейкову. <...> Он обязан был всем своим существованием несравненной жене своей, прекрасной, умной, образованной и добрейшей Александре Андреевне, бывшей его мученицею, сделавшейся жертвою этого человека. Всяк, кто знал ее, кто только приближался к ней, становился ее чтителем и другом. Благородная, братская к ней привязанность Жуковского, преданная бессмертию в посвящении «Светланы»[15], известна всем. <...>

Лишь только приехал из-за границы Жуковский, я обратился к нему <...> и убедительно просил освободить меня от Воейкова. В то

время Пезаровиус удалился от «Русского инвалида». Жуковский успел доставить место редактора Воейкову и принудил его отказаться от участия в «Сыне Отечества». <...>

Забавна была притом одна проделка с ним Булгарина. Воейков, желая показать превосходство «Инвалида» над «Сыном Отечества», выставил в нем, что на «Сын Отечества» 750 подписчиков, а на «Инвалид» — 1700. Булгарин воспользовался этим и подал в Комитет 18 августа прошение об отдаче ему в аренду издания этой газеты, обязуясь платить вдвое против того, сколько получают от Воейкова. <...> Семейство Воейкова пришло в ужас. Жуковский приехал ко мне и просил отклонить беду, угрожающую друзьям его. Я взялся уговорить Булгарина. При этом случае Жуковский сказал мне: «Скажите Булгарину, что он напрасно думал уязвить меня своею эпиграммою; я во дворец не втирался и не жму руки никому. Но он принес этим большое удовольствие Воейкову, который прочитал мне эпиграмму с невыразимым восторгом»[16].

Дело уладилось. Булгарин взял назад свое прошение, Воейков просил меня сблизить его с бешеным поляком, чтоб покончить все раздоры. Мы поехали с ним к Булгарину. Когда мы вошли в кабинет, Булгарин лежал на диваны и читал книгу. Воейков подошел к нему и, подавая палку, сказал: «Бейте меня, Фаддей Венедиктович, я заслужил это; только пожалейте жену и детей!»

Редкое явление в истории литературы! Впрочем, Воейкову доставалось по спине и натурою. Однажды обедали у него в Царском Селе Жуковский, Гнедич, Дельвиг и еще несколько человек знакомых. Речь зашла за столом о том, можно ли желать себе возвращения молодости. Мнения были различные. Жуковский сказал, что не желал бы вновь прейти сквозь эти уроки опыта и разочарования в жизни. Воейков возразил: «Нет! Я желал бы помолодеть, чтоб еще раз жениться на Сашеньке...» (Это выражено было самым циническим образом.) Все смутились. Александра Андреевна заплакала. Поспешили встать из-за стола. Мужчины отправились в верхнюю светелку, чтоб покурить, и, по чрезвычайному жару, сняли с себя фраки. Воейков пришел туда тоже и вздумал сказать что-то грубое Жуковскому. Кроткий Жуковский схватил палку и безжалостно избил статского советника и кавалера по обнаженным плечам. А на другой день опять помогал ему, во имя Александры Андреевны.

«Беда наша, — сказал я однажды, — если Александра Андреевна в беременности захочет поесть хрящу из Гречева уха. Приедет Жуковский и станет убеждать: сделайте одолжение, позвольте отрезать хоть только одно ухо или даже половину уха; у вас еще останется другое целое, а вместо отрезанного я вам сделаю наставку из замши. Только бы утолить голод Александры Андреевны».

Обширное поле подвигам Воейкова открылось после 14-го декабря. <...> В конце декабря пришел ко мне Владислав Максимович Кня-

жевич и принес письмо, полученное им от неизвестного, в котором изъявлялось удивление, что при арестовании бунтовщиков и злодеев оставили на воле двух, важнейших: Греча и Булгарина. Адрес написан был рукою Воейкова, и записка запечатана его печатью, о которой я упоминал выше. Я тогда лежал больной в постеле, послал за Жуковским и, когда он приехал, отдал ему произведение его друга и родственника. Жуковский ужаснулся и сказал, что уймет негодяя, но, видно, не успел. <...>

Недели через две Алексей Николаевич Оленин получил письмо из Москвы от тамошнего военного генерал-губернатора, князя Д. В. Голицына, о ругательных письмах и доносах, полученных там многими лицами. <...> В этих письмах опять называемы были Греч и Булгарин заговорщиками и бунтовщиками[17]. <...>

В это время вошел в комнату секретарь его, известный археограф и разборщик рукописей, А. И. Ермолаев. Оленин дал ему письмо и сообщил о своем недоумении.

«Я знаю эту руку, — сказал Ермолаев. — Это рука пьяницы (Иванова, Григорьева, что ли, не знаю), которого мы выгнали из канцелярии». <...>

Через час привели пьяного писаря, и он объявил со слезами, что это точно его рука, что он написал двадцать копий этого письма по пяти рублей за каждую, по требованию Воейкова, и запечатал их, а адресы подписывал уже потом сам сочинитель. И тут дело пошло обычным чередом: послали не за обер-полицмейстером, а за Жуковским. Воейкова пожурили вновь и подвели под милостивый манифест — прекрасных глаз Александры Андреевны. <...>

А. Д. Блудова

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

<...> Из ежедневных посетителей и друзей моих самый милый, добрый и любезный был Василий Андреевич Жуковский. Он для меня был такое же предвечное существо, как отец и мать, как Дада и Гаврила[1], которые для меня не имели начала, которые, казалось, всегда существовали и никогда не были детьми, ни даже очень молодыми людьми, а всегда *большими*, что-то вроде первого человека, сотворенного совершеннолетним. По-немецки мне бы хотелось сказать о Жуковском: ein Urfreund. И батюшка, и матушка всегда были такие веселые, когда приходили в детскую с Жуковским, а Жуковский был так добр, так ласков, шутлив. <...>

«Душа моя — Элизиум теней», — сказал некогда Тютчев[2]. И сколько, сколько их восстает около меня[3] и роится в моей памяти, пока пишу я эти строки в полночный час, при однообразном стуке этих дедовских часов, переживших столько поколений, стольких славных, стольких сильных, стольких доблестных и прелестных человеческих лиц! Тут и поэтический образ Александры Андреевны Воейковой: молодая, прекрасная, с нежно-глубоким взглядом ласковых глаз, с легкими кудрями темно-русых волос и черными бровями, с болезненным, но светлым видом всей ее фигуры, она осталась для меня таким неземным видением из времен моего детства, что долго я своего ангела-хранителя воображала с ея чертами. И возле нее, верные ей до гроба и по смерти, друзья ее: Жуковский, с своим добродушным и веселым смехом, с своими шутками, с балагурством, столь не похожими на меланхолию его стихов. <...>

<...> Когда батюшка жил холостым в Петербурге, он получал очень скудное содержание (а натура его была русская, тароватая), и в два первые месяца у него выходила почти вся треть. Он берег ровно столько денег (по рублю на вечер), чтобы всякий день ходить в театр, который он страстно любил: вместо же обеда, завтрака и ужина он с своими любимыми друзьями, Жуковским и А. И. Тургеневым, довольствовался мороженым с бисквитом у кондитера Лареды, где у него был открытый кредит (эту кондитерскую я еще помню, в конце Невского проспекта, где-то за Полицейским мостом). Но 19-ти летний аппетит не мог насытиться мороженым. «И частехонько бывало, — рассказывал Гаврила, — они, мои голубчики, приходят домой, когда я варю себе обед: проходят мимо и говорят: „Ах, Гаврило, как славно пахнет! Должно быть, хорошие щи!“ А я уже знаю: у меня и щей довольно, и приварок есть на всех; и они, бывало, так-то убирают! Видно, что голодные!»[4] <...>

Но особенно отрадно и рельефно рисуется дорогое нам веселое и доброе лицо Жуковского, которого продолжали мы видать по-прежнему

часто, у нас, у гр. Виельгорских, у Мердера, при дворе, иногда и у него самого в его квартире Шепелевского дворца, где нас очень занимали картины, странные, своеобразные, с каким-то оттенком привидений и почти невещественности, как баллады; между прочим, небо, одно небо, без земли и без моря, неопределенное, пустынное, и на нем только видно, как филин летит[5]. Одна черта в разговоре Жуковского была особенно пленительна. Он, бывало, смеется хорошим, ребяческим смехом, не только шутит, но балагурит, и вдруг, неожиданно, все это шутовство переходит в нравоучительный пример, в высокую мысль, в глубоко-грустное замечание: а по временам его рассказы касались чудесных случаев, и он умел уносить нас в область загробную или в поднебесную высь, с таким полным убеждением, что иногда он казался таким же странным и почти сверхъестественным, как лица в его рассказах. <...>

<...> Однако ж двух интереснейших и вместе с тем самых легких, т. е. тоненьких, книжек я не хочу оставлять до завтра, а посылаю сегодня же: стихи Жуковского и Пушкина на взятие Варшавы и другое стихотворение Жуковского: «Русская слава»[6]. Много прекрасного в тех и других, особливо в последнем, которое можно было назвать галереею мастерских картин военной русской истории. Вы все, без сомнения, будете ими восхищаться: одна другой лучше, разительнее. Какая живость, какая верность в изображениях и особливо какая сила в слоге. Право, в иных стихах больше мыслей, нежели слов, и как трогателен конец! Чтобы вы его совершенно поняли, надобно вам рассказать, каким образом написаны эти стихи. В конце июля, как вы знаете, в военных Новгородских поселениях было довольно сильное возмущение. Государь сам, по обыкновению, презирая все опасности, поскакал туда и точно своим присутствием, своею твердостию прекратил начинавшийся и уже ознаменованный многими ужасами мятеж. Он выехал из Царского Села 25 июля поутру, и тот день и следующий прошли без известий: по крайней мере, Жуковский не знал ничего. Вдруг 27 июля, рано утром, его будят и сказывают, что императрица благополучно родила великого князя. Он накинул на себя фрак и побежал узнать вернее о здоровье ее; — все с мыслью, что государь еще в Новгороде, посреди бунтующих. Кого же первого он встречает в коридоре? Самого императора, с новорожденным на руках. Жуковский тут же, в своем поэтическом и, как можно надеяться, пророческом восторге, поздравляя государя, со слезами сказал ему: «Ваше величество! Это счастливый кризис в делах ваших; нам Бог послал нового ангела»[7].

Стихи Жуковского, однако, не всем понравились. Помню между прочим, что ходило по городу острое словцо (как рассказывал нам батюшка). Стихи начинаются «Была пора». И критики сказали:

Была пора Жуковскому писать,
Пришла пора ему и перестать. <...>

А. О. Смирнова-Россет

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ О ЖУКОВСКОМ И ПУШКИНЕ»[1]

<...> Василия Андреевича я увидела в первый раз в 1826 г. в Екатерининском институте, при выпуске нашего 9-го класса[2]. Императрица Мария Федоровна делала наши экзамены с торжественностью, в своем присутствии и до публичного экзамена. На этот публичный экзамен собрались митрополиты (на нашем был еще и Сестренцевич), академики и литераторы. Учителем словесности был П. А. Плетнев, друг Пушкина, любимец императрицы Марии Федоровны, человек вполне достойный ее внимания и особой благосклонности. Экзамен, благодаря его трудам, мы сдали очень хорошо. Тут прочитаны были стихи Нелединскому и Жуковскому, их сочинения. Императрица Мария Федоровна оказывала обоим аттенцию и во время экзамена или словами или взглядами спрашивала их одобрения. После экзамена подан был завтрак (dejeuner à la fourchette), и так как это было на масленице, то оба поэта преусердно занялись блинами. Этот завтрак привозился придворными кухмистерами, и блины, точно, пекли на славу во дворце. Нас всех поразили добрые, задумчивые глаза Жуковского. Если б поэзия не поставила его уже на пьедестал, по наружности можно было взять его просто за добряка. Добряк он и был, но при этом столько было глубины и возвышенности в нем. Оттого его положение в придворной стихии было самое трудное. Только в отношениях к царской фамилии ему было всегда хорошо.

Он их любил с горячностью, а императрицу Александру Федоровну с каким-то энтузиазмом, и был он им всем предан душевно. Ему, так сказать, надобно было влезть в душу людей, с которыми он жил, чтобы быть любезным, непринужденным, одним словом, самим собою.

Хотя он был как дитя при дворе, однако очень хорошо понимал, что есть вокруг него интриги, но пачкаться в них он не хотел, да и не умел. В 1826 году двор провел Великий пост в Царском Селе, также и часть лета. Потом все отправились на коронацию в Москву, и я Жуковского не помню[3]. Лето 1828 года двор опять был в Царском Селе. Фрейлины помещались в большом дворце, а Жуковский в Александровском, при своем царственном питомце, и опять я с ним не сблизилась и даже мало его встречала. В 1828 же году императрица Александра Федоровна уезжала в Одессу, а наследник и все меньшие дети остались под присмотром своей бабушки в Павловске.

Где был Жуковский[4], не помню. Только у обеденного стола императрицы Марии Федоровны (который совершался с некоторою торжественностью и на который всегда приглашались все те, которые только в придворном словаре значились *особами*) я его никогда не видела.

По возвращении государя из Турции и государыни из Одессы двор поселился в Зимнем дворце. Мария Федоровна скончалась[5], город был в трауре; все было тихо, и я, познакомившись с семейством Карамзиных, начала встречать у них Жуковского и с ним сблизилась. Стихи его на кончину императрицы были напечатаны и читались всеми теми, которые понимали по-русски. Жуковский жил тогда, как и до конца своего пребывания, при дворе, в Шепелевском дворце (теперь Эрмитаж)[6]. Там, как известно, бывали у него литературно-дружеские вечера[7]. С утра на этой лестнице толпились нищие, бедные и просители всякого рода и звания. Он не умел никому отказать, баловал своих просителей, не раз был обманут, но его щедрость и сердолюбие никогда не истощались. Однажды он мне показывал свою записную книгу: в один год он роздал 18 000 рублей (ассигнациями), что составляло большую половину его средств.

Он говорил мне: «я во дворце всем надоел моими просьбами и это понимаю, потому что и без меня много раздают великие князья, великие княгини и в особенности императрица; одного Александра Николаевича Голицына я не боюсь просить: этот даже радуется, когда его придешь просить: зато я в Царском всякое утро к нему таскаюсь». Один раз, после путешествия нынешнего государя, Жуковский явился ко мне с портфелем и говорит: «Посмотрите, какую штуку я выдумал! Я так надоел просьбами, что они, лишь как увидят меня, просто махают руками. Надобно 3000 рублей ассигнациями, чтобы выкупить крепостного живописца у барина. Злодей, узнавши, что я интересуюсь его человеком, заломил вишь какую сумму. Вот что я придумал: всю историю представил в рисунках. Сидят Юлия Федоровна Баранова и великая княгиня Мария Николаевна, я рассказываю историю. Все говорят: „Это ужасно! Ах, бедный! Его надобно высвободить“. Картина вторая: я показываю рисунки, восхищаются: „C'est charmant, quel talent!“»* Картин этих было несколько, и, разместив всех, приложив своих денег, он собрал с царской фамилии деньги и послал их в Оренбург, где томился художник у невежды барина, который не ценил его живописи[8].

Жуковский любил рассказывать про свою жизнь в деревне в Белевском уезде, про дурака Варлашку, который не умел обходиться с мужскою одеждою и ходил в фланелевой юбке; как Варлашка, уходя спать на чердак, с лестницы всякий вечер кричал: «Боюсь» — и прочий вздор. Не знаю, всем ли известны пером нарисованные виды этой деревни, в которой он жил в молодости: необыкновенная прелесть в них!

Очаровательно, какой талант! (*фр.*).

Они были после литографированы[9], и вся коллекция у меня. Один знаток-англичанин мне говорил, что в этих линиях слышится необыкновенный художественный талант. — Шутки Жуковского были детские и всегда повторялись; он ими сам очень тешился. Одну зиму он назначил обедать у меня по средам и приезжал в сюртуке; но один раз случилось, что другие (например, дипломаты) были во фраках: и ему и нам становилось неловко. На следующий раз он пришел в сюртуке, за ним человек нес развернутый фрак. «Вот я приехал во фраке, а теперь, братец Григорий, — сказал он человеку, — уложи его хорошенько». Эта шутка повторялась раза три, наконец и ему и мне надоела, но Жуковский говорил, что в передней она всегда имела большой успех, и очень этим восхищался. Этого Григория он очень полюбил, когда я ему сказала, что он играет очень дурно на дрянной скрипке. «Как же это так, на дурной скрипке? Надобно бы ему дать хорошую».

При совершенном неумении наживаться, он хорошо распоряжался своими маленькими доходами и вел свои счеты с немецкою аккуратностью. Вообще в его чисто русской натуре было много германизма, мечтательности и того, что называют Gemüthlichkeit*. Он любил расходиться, разболтаться и шутить в маленьком кружке знакомых самым невинным, почти детским манером. Комнаты его, в третьем этаже Шепелевского дворца, были просто, но хорошо убраны. «Только, говорил он, жаль, что мы так живем высоко, мы чердашничаем». У него были развешаны картины и любимый его ландшафт работы Фридриха[10] — еврейское кладбище в лунную ночь, которое не имело особенного достоинства, но которым он восхищался. Как живопись, так и музыку он понимал в высшем значении; но любил также эти искусства по какой-нибудь ассоциации воспоминания. Так, однажды он мне писал: «Буду у вас обедать, а после обеда пусть m-lle Klebeck мне споет:

Land meiner seligsten Gefühle,
Land meiner Jugend**[11].

Не забудьте, что тут рядом сядет „Воспоминание“.

Тот, кому так дорого было воспоминание, у которого память сердца[12] так была сильна, мог написать эти прелестные стихи:

О милый гость, святое *Прежде*,
Зачем в мою теснишься грудь?
Могу ль сказать живи надежде,
Скажу ль тому, что было: будь?[13]

---

* добродушие (*нем.*).
** Страна моих сердечных чувств,
Страна моей юности (*нем.*).

Лунная ночь, с ее таинственностью и чарами, приводила его в восторг. Отношения его к старым товарищам, к друзьям молодости, никогда не изменялись. Не раз он подвергался неудовольствию государя за свою непоколебимую верность некоторым из них. Обыкновенно он шел прямо к императрице, с ней объяснялся и приходил в восторге сообщить, что «эта душа все понимает». «У государя, — говорил он, — первое чувство всегда прекрасно, потом его стараются со всех сторон испортить; однако, погорячившись, он принимает правду». Такой-то натуре пришлось провести столько лет в коридорах Зимнего дворца!

Но он был чист и светел душою и в этой атмосфере, ничего не утратив, ни таланта, ни душевных сокровищ.

Эти сокровища, так щедро Богом дарованные, сбереженные в полной чистоте и святости, сделали его высшим духовным человеком, каким он был в последние годы своей жизни. Письмо Базарова о его кончине свидетельствует об этом[14].

До 1829 года я не сближалась с Василием Андреевичем. В наш фрейлинский коридор ходили всякие люди просить помощи и подавать прошения, вероятно полагая, что мы богаты и могущественны. Но ни того, ни другого, в сущности, не было. Однажды забрался ко мне серб, князь Божулич-Надин. Его дочь была со мною в институте; он желал возвратиться на родину и был в совершенной нищете. Таких денег у нас не было, и я решилась попросить Жуковского прийти ко мне и рассказала историю бедного серба.

Так как вы хотели иметь шуточные его письма, то вот вам его ответ:

«Милостивая государыня, Александра Иосифовна! Имею честь препроводить к вашему превосходительству сто рублей ассигнациями на счет того путешествующего сербского мужа, о котором с таким трогательным красноречием, при сиянии звездообразных очей своих, вы соблаговолили мне проповедовать во время сладкосердечного моего пребывания в тесном жилище вашего превосходительства. Сие денежное пособие, извлеченное мною из собственного моего портфеля, будет мною собрано с их императорских высочеств: но для сего нужно мне иметь подробное описание той странствующей особы, о коей так благодетельно вы заботитесь, милостивая государыня. Итак, соблаговолите отложить вашу лень, столь усыпляющую ваше превосходительство, и миниатюрною ручкою вашею начертите несколько письменных каракулек, в коих означьте имя и обстоятельства оного сербского мужа, привлекшего на себя вашу благотворительность. Примите уверение в истинном благопочитании, с коим лично имею честь пресмыкаться у ног ваших. *Бык*»[15].

Тотчас по присылке денег и письма он сам явился и говорит: «А каково я написал, ведь вышло хорошо!» — «Как можно тратить время на такой вздор!» — «О, ведь я мастер писать такие штуки!» Сто рублей

были его, потом он собрал еще, и серба мы снарядили в путь на родину. С этой поры у нас начались частые дружеские отношения и постоянные шутки, такие же детские и наивные, как письмо.

Вот еще и другое:

«Милостивая государыня, Александра Иосифовна! Начну письмо мое необходимым объяснением, почему я отступил от общепринятого обычая касательно письменного изложения вашего почтенного имени. Мне показалось, милостивая государыня, что вас приличнее называть *Иосифовною*, нежели *Осиповною*, и сие основывается на моих глубоких познаниях библейской истории. В Ветхом завете, если не ошибаюсь, упоминают о некотором Иосифе Прекрасном, сыне известного патриарха Иакова (он был продан своими злыми братьями)[16]. Вы, милостивая государыня, будучи весьма прекрасною девицею, имеете неотъемлемое право на то, чтобы родитель ваш именовался *Иосифом* Прекрасным, а не просто *Осипом*, слово несколько шероховатое, неприличное красоте и слишком напоминающее об *осиплости*, известном и весьма неприятном недуге человеческого горла.

Кончив сие краткое предисловие, обращаюсь к тому, что вооружило гусиным пером мою руку для начертания нескольких строк к вам, милостивая государыня, строк, коим, признательно сказать, я завидую, ибо они обратят на себя ваши звездосверкающие очи и, может быть, сподобятся произвести вашу зевоту, которая хотя и покривит прелестные уста ваши, но все не отнимет у них природной их прелести: ибо они останутся прелестными и тогда, когда вы, милостивая государыня, соблаговолите растянуть их на пол-аршина в минуту зевоты или надуть их, как добрую шпанскую муху, в минуту гнева. Чтобы кончить и выразить в двух словах все, что теперь у меня на сердце, скажу просто и искренно: все ли в добром здоровье и будете ли дома после семи часов?

С глубочайшим почтением и таковою же преданностью честь имею быть, милостивая государыня, покорнейший слуга *Бык-Жуковский*».

Часть лета 1830 года мы провели в Петергофе, а потом в Царском Селе до сентября. Тут уже мы часто видались с Жуковским, но в 1831 году в Царском мы видались ежедневно. Пушкин с молодой женой поселился в доме Китаева на Колпинской улице. Жуковский жил в Александровском дворце, а фрейлины помещались в Большом дворце. Тут они оба взяли привычку приходить ко мне по вечерам, то есть перед собранием у императрицы, назначенным к 9 часам. Днем Жуковский занимался с великим князем или работал у себя. Пушкин писал, именно свои сказки[17], с увлечением: так как я ничего не делала, то и заходила в дом Китаева. Наталья Николаевна сидела обыкновенно за книгою внизу. Пушкина кабинет был наверху, и он тотчас нас зазывал к себе. Кабинет поэта был в порядке. На большом круглом столе перед диваном

находились бумаги и тетради, часто несшитые, простая чернильница и перья; на столике графин с водой, лед и банка с крыжовниковым вареньем, его любимым (он привык в Кишиневе к дульчецам[18]). Волоса его обыкновенно еще были мокры после утренней ванны и вились на висках; книги лежали на полу и на всех полках. В этой простой комнате, без гардин, была невыносимая жара, но он это любил, сидел в сюртуке, без галстука. Тут он писал, ходил по комнате, пил воду, болтал с нами, выходил на балкон и привирал всякую чепуху насчет своей соседки графини Ламберт. Иногда читал нам отрывки своих сказок и очень серьезно спрашивал нашего мнения. Он восхищался заглавием одной: «Поп — толоконный лоб и служитель его Балда». «Это так дома можно, — говорил он, — а ведь цензура не пропустит»[19]. Он говорил часто: «Ваша критика, мои милые, лучше всех; вы просто говорите: этот стих нехорош, мне не нравится». Вечером, в 5 или 6 часов, он с женой ходил гулять вокруг озера или я заезжала в дрожках за его женой; иногда и он садился на перекладинку верхом и тогда был необыкновенно весел и забавен. У него была неистощимая mobilité de l'esprit*. В 7 часов Жуковский с Пушкиным заходили ко мне: если случалось, что меня дома нет, я их заставала в комфортабельной беседе с моими девушками. «Марья Савельевна у вас аристократка: а Саша, друг мой, из Архангельска, чистая демократка. Никого в грош не ставит». Они заливались смехом, когда она Пушкину говорила: «Да что же мне, что вы стихи пишете, — дело самое пустое! Вот Василий Андреевич гораздо почетнее вас». — «А вот за то, Саша, я тебе напишу стихи, что ты так умно рассуждаешь». И точно, он ей раз принес стихи, в которых говорилось, что

Архангельская Саша
Живет у другой Саши.

Стихи были довольно длинны и пропали у нее.

В это время оба, Жуковский и Пушкин, предполагали издание сочинений Жуковского с виньетками[20]. Пушкин рисовал карандашом на клочках бумаги, и у меня сохранился один рисунок, также и арабская головка его руки. Жуковский очень любил вальс Вебера и всегда просил меня сыграть его; раз я рассердилась, не хотела играть, он обиделся и потом написал мне опять галиматью. Вечером Пушкин очень ею любовался и говорил, что сам граф Хвостов не мог бы лучше написать. Очень часто речь шла о сем великом муже, который тогда написал стихи на Монплезир[21]:

Все знают, что на лире
Жуковский пел о Монплезире

---

* подвижность ума (*фр.*).

И у гофмаршала просил
Себе светелочки просторной,
Веселой, милой, нехолодной — и пр.

Они тоже восхищались и другими его стихами по случаю концерта, где пели Лисянская и Пашков:

Лисянская и Пашков там
Мешают странствовать ушам.

«Вот видишь, — говорил ему Пушкин, — до этого ты уж никак не дойдешь в своих галиматьях». — «Чем же моя хуже», — отвечал Жуковский и начал читать:

Милостивая государыня, Александра Иосифовна!
Честь имею препроводить с моим человеком
Федором к вашему превосходительству данную вами
Книгу мне для прочтения, записки французской известной
Вам герцогини Абрантес. Признаться, прекрасная книжка!
Дело, однако, идет не об этом. Эту прекрасную книжку
Я спешу возвратить вам по двум причинам: во-первых,
Я уж ее прочитал; во-вторых, столь несчастно навлекши
Гнев на себя ваш своим непристойным вчера поведеньем,
Я не дерзаю более думать, чтоб было возможно
Мне, греховоднику, ваши удерживать книги. Прошу вас
Именем дружбы прислать мне, сделать
Милость мне, недостойному псу, и сказать мне, прошла ли
Ваша холера и что мне, собаке, свиной образине,
Надобно делать, чтоб грех свой проклятый загладить и снова
Милость вашу к себе заслужить? О Царь мой небесный!
Я на все решиться готов! Прикажете ль — кожу
Дам содрать с своего благородного тела, чтоб сшить вам
Дюжину теплых калошей, дабы, гуляя по травке,
Ножек своих замочить не могли вы? Прикажете ль, уши
Дам отрезать себе, чтобы, в летнее время хлопушкой
Вам усердно служа, колотили они дерзновенных
Мух, досаждающих вам неотступной своею любовью
К вашему смуглому личику? Должно, однако, признаться:
Коли я виноват, то неправы и вы. Согласитесь
Сами, было ль за что вам вчера всколыхаться, подобно
Бурному Черному морю? И сколько слов оскорбительных с ваших
Уст, размалеванных богом любви, смертоносной картечью
Прямо на сердце мое налетело! И очи ваши, как русские пушки,
Страшно палили, и я, как мятежный поляк, был из вашей
Мне благосклонной обители выгнан! Скажите ж,
Долго ль изгнанье продлится? Мне сон привиделся чудный.
Мне показалось, будто сам дьявол, чтоб черт его побрал!
В лапы меня ухватил...

Пользуюсь случаем сим, чтоб опять изъявить перед вами
Чувства глубокой, сердечной преданности, с коей пребуду
Вечно вашим покорным слугою, Василий Жуковский[22].

У него тогда был камердинер Федор (который жил прежде у Александра Ивановича Тургенева) и вовсе не смотрел за его вещами, так что у него всегда были разорванные платки носовые, и он не только не сердился на него, но всегда шутил над своими платками. Он всегда очень любил и уважал фрейлину Вильдермет, бывшую гувернантку Александры Федоровны, через которую он часто выпрашивал деньги и разные милости своим protégés, которых у него была всегда куча. M-lle Вильдермет была точно так же не сведуща в придворных хитростях, как и он: она часто мне говорила: «Joukoffsky fait souvent des bévues; il est naif, comme un enfant»*, — и Жуковский точно таким же образом отзывался об ней. На вечера, на которые мы ежедневно приглашались, Жуковского, не знаю почему, императрица не звала, хотя очень его любила. Однажды он ко мне пришел и сказал: «Вот какая оказия, всех туда зовут, а меня никогда; ну как вы думаете: рассердиться мне на это и поговорить с государыней? Мне уж многие намекали». — «Ведь вам не очень хочется на эти вечера?» — «Нет». — «Разве это точно вас огорчает?» — «Нет, видите, ведь это, однако, странно, что Юрьевича зовут, а меня нет». — «Ведь вы не сумеете рассердиться, и все у вас выйдет не так, как надобно, и скучно вам будет на этих вечерах; так вы уж лучше не затевайте ничего». — «И то правда, я и сам это думал, оно мне и спокойнее и свободнее». Тем и кончилась эта консультация.

Когда взяли Варшаву, приехал Суворов с известиями[23]: мы обедали все вместе за общим фрейлинским столом. Из Александровского прибежал лакей и объявил радостную и страшную весть. У всех были родные и знакомые: у меня два брата на штурме Воли. Мы все бросились в Александровский дворец, как были, без шляп и зонтиков, и, проходя мимо Китаева дома, я не подумала объявить об этом Пушкину. Что было во дворце, в самом кабинете императрицы, я не берусь описывать. Государь сам сидел у ее стола, разбирал письма, писанные наскоро, иные незапечатанные, раздавал их по рукам и отсылал по назначению. Графиня Ламберт, которая жила в доме Олениной против Пушкина и всегда дичилась его, узнавши, что Варшава взята, уведомила его об этом тогда так нетерпеливо ожидаемом происшествии. Когда Пушкин напечатал свои известные стихи на Польшу, он прислал мне экземпляр и написал карандашом: «La comtesse Lambert m'ayant annoncée la première prise de Varsovie, il est juste qu'elle reçoive le premier exemplaire, le second est pour vous»**[24].

---

* Жуковский часто попадает впросак: он наивен, как дитя (*фр.*).

** Графиня Ламберт первая возвестила мне о взятии Варшавы: справедливо, чтобы она получила первый экземпляр. Второй для вас (*фр.*).

От вас узнал я плен Варшавы
Вы были вестницею славы
И вдохновеньем для меня.

Quand j'aurais trouvé les deux autres vers, je vous les enverrai»*. Писем от Пушкина я никогда не получала. Когда разговорились о Шатобриане, помню, он говорил: «De tout ce qu'il a écrit il n'y a qu'une chose qui m'aye plu; voulez-vous que je vous l'écris dans votre album? Si je pouvais encore croire au bonheur, je le chercherais dans la monotonie des habitudes de la vie»**[25].

В 1832 году Александр Сергеевич приходил всякий день почти ко мне, также и в день рождения моего принес мне альбом и сказал: «Вы так хорошо рассказываете, что должны писать свои записки», — и на первом листе написал стихи: «В тревоге пестрой и бесплодной» — и пр.[26] Почерк у него был великолепный, чрезвычайно четкий и твердый. Князь П. А. Вяземский, Жуковский, Александр Ив. Тургенев, сенатор Петр Ив. Полетика часто у нас обедали. «Пугачевский бунт» в рукописи был слушаем после такого обеда. За столом говорили, спорили; кончалось всегда тем, что Пушкин говорил один и всегда имел последнее слово. Его живость, изворотливость, веселость восхищали Жуковского, который, впрочем, не всегда с ним соглашался. Когда все после кофия уселись слушать чтение, то сказали Тургеневу: «Смотри, если ты заснешь, то не храпеть». Александр Иванович, отнекиваясь, уверял, что никогда не спит: и предмет и автор бунта, конечно, ручаются за его внимание. Не прошло и десяти минут, как наш Тургенев захрапел на всю комнату. Все рассмеялись, он очнулся и начал делать замечания как ни в чем не бывало. Пушкин ничуть не оскорбился, продолжал чтение, а Тургенев преспокойно проспал до конца[27].

Вы желаете знать мое понятие о Жуковском, т. е. нечто в роде portrait littéraire et historique***. Я никогда ничего не писала, кроме писем, и мне трудно теперь писать. Однако вот мое мнение. Жуковский был в полном значении слова добродетельный человек, чистоты душевной совершенно детской, кроткий, щедрый до расточительности, доверчивый до крайности, потому что не понимал, чтобы кто был умышленно зол. Он как-то знал, что есть зло en gros****, но не видал его en détail*****, когда и случалось ему столкнуться с чем-нибудь дурным. Теорией религии он начал заниматься после женитьбы; до тех пор вся его религия была практическое христианство, которое ему даровано Богом. Он втуне при-

* Когда найду две другие строки, пришлю их вам (*фр.*).
** Из всего, что он написал, мне понравилось только одно; хотите, чтобы я написал это вам в альбом? «Если бы я мог еще верить в счастье, я искал бы его в однообразии житейских привычек» (*фр.*).
*** литературного и исторического портрета (*фр.*).
**** в целом (*фр.*).
***** в частности (*фр.*).

нял и втуне давал: и деньги, и протекцию, и дружбу, и любовь. Те, которые имели счастье его знать коротко, могут отнести к нему его же слова:

О милых спутниках — и т. д.[28]

Разговор его был простой, часто наивно-ребячески шуточный, и всегда примешивалось какое-нибудь размышление, исполненное чувства, причем его большие черные глаза становились необыкновенно выразительны и глубоки. <...>

ИЗ «ЗАПИСОК»

Когда после первых родов императрицу послали в Эмс, она жила на перепутье два месяца в своем милом Берлине и очень веселилась. Тогда дан был знаменитый праздник Ауренцоб, или Магическая Лампа[1]. Государыню носили на паланкине; она была покрыта розами и бриллиантами. Многочисленные ее кузины окружали ее; они брали ее крупные браслеты и броши и были точно субретки в сравнении с ней. В их свите был Жуковский и Василий Перовский[2], который надеялся затопить свое горе в блеске и шуме двора. Когда он узнал, что Софья Самойлова вышла замуж за Алексея Бобринского, он не мог скрыть своего огорчения и, в избежание шуток, прострелил себе указательный палец правой руки. Он мне сам сказал: «Графиню Самойлову выдали замуж мужики, а у меня их нет; вот и все». Он мне рассказывал всю историю, как они садились за столом в Павловске против Софьи Самойловой, делали шарики и откладывали с Жуковским по числу ее взглядов.

ИЗ «АВТОБИОГРАФИИ»

<...> Я вздумала писать масляными красками деревья с натуры, но Жуковский меня обескуражил, сказав, что мои деревья похожи на зеленые шлафроки.

<...> Почти все вечера я проводила всегда у Карамзиных. Екат<ерина> Андр<еевна> разливала чай, а Софья Ник<олаевна> делала бутерброды из черного хлеба. Жуковский мне рассказывал, что когда Н<иколай> М<ихайлович> жил в китайских домиках, он всякое утро ходил вокруг озера и встречал императора с Александром Николаевичем Го-

лицыным. Император останавливался и с ним разговаривал иногда, а Голицына, добрейшего из смертных, это коробило. Вечером он часто пил у них чай. Екат<ерина> Андр<еевна> всегда была в белом капоте, Сонюшка в малиновом балахоне. Пушкин бывал у них часто, но всегда смущался, когда приходил император. Не любя семейной жизни, он всегда ее любил у других, и ему было уютно у Карамзиных: все дети его окружали и пили с ним чай. Их слуга Лука часто сидел как турка и кроил себе панталоны, государь проходил к Карамзиным, не замечая этого. «Карамзин, — говорил Жуковский, — видел что-то белое и думал, что это летописи». У нас завелась привычка панталоны звать «летописи». Жуковский заставил скворца беспрестанно повторять: «Христос воскрес». Потом скворец ошибется и закричит: «Вастиквас», замашет крыльями и летит в кухню. Александра Федоровна терпеть не могла Наполеона. Государь [Николай] часто его хвалил. Княгиня Трубецкая, чтобы польстить государыне, сказала: «Это был тиран, деспот». Догадалась, что сказала невпопад, и сконфузилась. Я Жуковскому сказала: «Эта дурища при слове „деспот“ сконфузилась, и с ней сделался „вастиквас“. Все это было принято в нашем арго. <...>

Жуковский <...> говорил [мне]: «Прелестная Иосифовна, потому что вы прямо дитя от Иосифа Прекрасного, [почему] гневаетесь на меня, свиную образину?» <...>[1]

Тогда у Карамзиных вечером собирались те, что мы называем les jeunes gens distingués (избранные молодые люди). <...> Что касается дам, всякий вечер там были три графини Тизенгаузен, племянницы Палена, m-me Карамзина очень сблизилась в Ревело с их матерью. Они были очень красивы, но у них были слишком длинные ноги, и Жуковский сказал о них: «Они очень хороши, но жаль, что нижний этаж вверх просится».

Жуковский просил меня познакомиться с Николаем Ивановичем Тургеневым. <...> Я очень хорошо знаю и часто вижу его брата Александра, он очень дружен с Жуковским. Однажды на вечере императрицы государь мне сказал: «Вы часто видаете Тургенева, это враг нашей фамилии». — «В. в., неужели вы думаете, что если бы я была в этом убеждена и если бы он когда-нибудь осмелился сказать слово против вас, я бы его принимала? Это прекрасный, но заурядный человек, он презабавный болтун. Однажды он говорил Жуковскому: „Я искал Бога в природе, в храмах...“ — „И все ты врешь, — сказал Жуковский, — никогда и нигде ты его не искал“. — „Да, — сказал император, — Жуковский уговорился с ним ехать за границу, наставник моего сына едет с этим либералом“». Я Жуковского предупредила, он пошел к императрице, которая всегда улаживает его промахи, и тем дело кончилось. Он страдал сильным геморроем и поехал в Швейцарию со своим другом,

безруким Рейтерном, который прекрасно пишет левой рукой акварели. Он ему выхлопотал пенсию[2]. <...> я забыла тебе сказать то, что никому никогда не говорила: Жуковский хотел на мне жениться. — «И ты предпочла Смирнова?» — «Аттанде-с, аттанде-с, Смирнов тогда не показывался на нашем горизонте и преспокойно веселился во Флоренции. Жуковский вечно шутит. Я ходила вокруг озера и слышу поодаль голос: он был у греческого мостика — и кричит мне: «Принцесса моего сердца, я сделан генералом, хотите быть моей генеральшей?» — «Сама генеральша, прежде вас, фрейлины — 4-го класса». В этот день Плетнев приехал давать уроки великим князьям, и мы его пригласили к нам обедать. После обеда он мне вдруг говорит: «Вы начинаете скучать во дворце, не пора ли вам выйти замуж?» — «За кого? Разве за камер-лакея, кроме уродов вроде флигель-адъютанта Элпидифора Антиоховича Зурова или Юрьевича, мы никого не видим». — «А Василий Андреевич? Он мне дал поручение с вами поговорить». — «Что вы, Петр Александрович, Жуковский тоже старая баба. Я его очень люблю, с ним весело, но мысль, что он может жениться, мне никогда не приходила в голову. Да я не хочу выходить замуж, а что мне скучно, так я скучаю, недаром Пушкин говорит:

Что ж делать, бес,
Вся тварь разумная скучает»[3].

Потом уж я была замужем, по обыкновению, сидела у лампы, пришел Жуковский, и болтали до десяти часов; уходя, он мне сказал: «Вот видите, как мы приятно провели вечер, это могло быть всякий день, а вы не захотели». — «Бедный Жуковский». — «Не жалейте его, он женился на дочери Рейтерна и очень с ней счастлив, несмотря на то что ей двадцать лет, а ему пятьдесят пять[4]. Жаль только, что она страдает нервами; у меня есть его комические письма, я прочту их тебе». <...>

Как доказательство, что я ничего не умею делать кстати, приведу пример. Жуковский, Перовский и я, мы всегда ужинали за маленьким столом. Принесли сливы. Перовский сказал:

Charmante brune,
Accepte cette prune*.

Я спросила Жуковского: «А мне что сказать?» Он ответил:

Charmant, homme,
Accepte cette pomme**.

---

* Очаровательная брюнетка,
Возьмите эту сливу (*фр.*).

** Очаровательный мужчина,
Возьмите это яблоко (*фр.*).

<...> Кстати или некстати в Петербург приехал из деревни старик Скарятин и был на бале у графа Фикельмона. Жуковский подошел к нему и начал расспрашивать все подробности убийства. «Как же вы покончили наконец?» Он просто отвечал, очень хладнокровно: «Я дал свой шарф, и его задушили». Это тоже рассказывал мне Пушкин[5]. <...>

«Пушкин — любитель непристойного». — «К несчастью, я это знаю и никогда не мог себе объяснить эту антитезу перехода от непристойного к возвышенному, так же как я не понимаю, как вы и Жуковский можете говорить о грязных вещах. А вы еще смеетесь?» — «Еще бы, когда я вспоминаю историю Жан-Поля Рихтера, которую он [Жуковский] рассказывал, говоря: „Ведь это историческое происшествие". А вот этот рассказ. Великий герцог Кобург-Готский пригласил Жан-Поля провести у него несколько дней и написал ему собственноручное очень милостивое письмо. После обильного обеда, не найдя никакой посуды и тщетно проискав ее во всех углах коридоров, в которых он мог бы облегчить себя от своей тяжести, он вынул письмо великого герцога, использовал его, выбросил за окно и спокойно заснул. На другой день великий герцог пригласил его к утреннему завтраку на террасу, показывал ему цветники и статуи. „Самая красивая — Венера, которую я приобрел в Риме, — и дальше: — Вы будете в восхищении". Но, о ужас! Подходят к Венере — у нее на голове письмо герцога, и желтые потоки текут по лицу богини. Герцог приходит в ярость против своих слуг, но подпись: „Господину Жан-Полю Рихтеру" — успокаивает его. Вы представляете себе смущение бедного Жан-Поля. Читали ли вы его столь скучные рапсодии?» — «Я пробовал, но я никогда не мог понять его „Изола Белла"». — «Жуковский говорил мне, что дом Рихтера полон канареек, может быть, ему диктовали канарейки?»[6]

<...> «Происшествие с Жан-Полем имеет свои достоинства, потому что доказывает, какие комфорты в этой хваленой Германии». — Плетнев всегда ему [Жуковскому] говорил: «Знаем, знаем, вы мне рассказывали тысячу раз эту гадость». Мадам Карамзина заставила его выйти из-за стола за этот анекдот. Так как он родился в сочельник (Sylvesterabend)[7], то раз на Новый год был обед в его честь. Аркадий, разумеется, присутствовал на этом банкете, Полетика, Вяземский и г. Кушников со своим сестрами, «кузиночки», как звали сестер. Жуковского просто-напросто выслали в гостиную и посылали ему туда кушанье, но пирожного и шампанского не дали. Этот большой младенец серьезно рассердился, прочитав наставление m-me Карамзиной, он уехал. Полетика тоже упрекал madame Карамзину <...>

<...> После Эрмитажа у нее [императрицы] всегда бывал ужин. Как-то мы должны были танцевать у нее, и в<еликий> к<нязь> Михаил тоже. Жуковский никогда не бывал на этих вечерах. Однажды он наив-

но спросил меня: «Как вы думаете, должен ли я обидеться или нет, потому что Юрьевича всегда зовут?» — «Конечно нет, вы не сумеете сердиться, и вам гораздо веселее в Царском, у меня, с Пушкиным». — «Да, милая, я очень рад, что меня не зовут».

В этот вечер в Эрмитаже случилось происшествие. Внезапно умер граф Марков около государя. Старик Корсаков, его современник, упал в обморок, из страха отменили представление, за которым в этот вечер должен был следовать ужин в Эрмитаже. Вечер должен был быть длинный. <...> Катрин, которая еще не была замужем, и Софи [Карамзина] всегда присутствовали. Софи сказала мне: «Милая Сашенька, я хочу провести вечер у вас с Жуковским». — «Софи, я очень рада, потому что на этих вечерах так скучно, что можно проглотить язык». Великий князь подошел к нам, и я ему сказала: «Ваше высочество, приходите ко мне чай пить, на вечерах такая скука, что мочи нет». — «Как же это сделать? Императрица меня звала». — «А вот как... Мы ее проводим до Арабской, а оттуда по Салтыковской лестнице проберемся в наш коридор, а вы выйдете». Мы провели время в беседах очень весело. Марья Савельевна подала нам чай, смеялись над Жуковским и великим князем, обсуждали политику и ровно в двенадцать разошлись.

На другой день я была дежурная. В экипаже императрица молчала и имела недовольный вид. Я ей сказала: «Ваше величество больны или дурно настроены?» — «Это вы приводите меня в дурное настроение. Где вы провели вечер с Михаилом, Жуковским и Софи Карамзиной?» — «Но как ваше величество узнали это?» — «Через журнал швейцара». — «Правда, я забыла, что швейцар все записывает». — «Но ты [говоришь], что во дворце ты смела принимать только в<еликого> к<нязя> Михаила Павловича и Жуковского?»

<...> у меня в Петербурге Григорий-ламповщик, который приводит в восторг Жуковского, потому что пиликает на скрипке и играет на варганке. <...>

<...> Жуковский говорил, что русская шутка только тем и хороша, что повторяется.

Я узнала, что он [Гоголь] был в коротких сношениях с Виельгорским. Они часто собирались, там объедались, и Жуковский называл это «макаронными утехами». Ник<олай> Вас<ильевич> готовил макароны, как у Лепри в Риме: «Масло и пармезан, вот что нужно».

Гоголь сказал нам, что карниз «Петра» [собора св. Петра в Риме] так широк, что четвероместная карета могла свободно ехать по нем. «Вообразите, какую штуку мы ухитрились с Жуковским, — обошли весь карниз. Теперь у меня пот выступает, когда я вспомню наше пешее хождение». <...>

Гоголь вздумал читать мне «Илиаду», которая мне страшно надоедала, что он и сообщил Жуковскому. Последний в записочке из Эмса написал мне: «Правда ли, что вы даже на „Илиаду“ топочете ногами?»

Он [Гоголь] приехал в Баден, где нашел Алекс<андра> Ив<ановича> Тургенева. Этот смехотвор чуть ли не утонул в Муре и выкупал мой чай, присланный Жучком: «Примите его от Гоголя в знак дружбы и уважения вашего быка, бычка, Васеньки Жуковского».

Из Ниццы все потащились на север, я говела в Париже, Гоголь в Дармштадте[8]. Мы съехались во Франкфурте. Он жил в Саксенгаузене у Жуковского, а я в Hôtel de Russie, на Цейле. Несчастный сумасшедший Викулин в Hôtel de Rome, Жуковский посещал Викулина всякий день, платил в гостинице и приставил к нему человека. Викулин пил, чтобы заглушить приступы своей болезни, и тем еще более раздражал свои нервы. После визита в Hôtel de Rome Жуковский приходил ко мне и рассказывал все старые, мне известные анекдоты. В особенности любил происшествие Jean Paul Richter у герцога Кобургского. «Знаем, знаем», — говорили мы. Гоголь грозил ему пальцем и говорил: «А что скажет Елизавета Евграфовна[9], когда я скажу, какие гадости вы рассказываете?» Жену Жуковского приводило в негодование, когда он врал этот вздор.

Я разбирала свои вещи и нашла, что мой portefeuille, capo d'ôpera (образцовое произведение) английского магазина, был слишком велик, и, купив себе новый, маленький, у жида на Цейле, предложила Гоголю получить мой в наследство. «Вы пишете, а в нем помещается две дести бумаги, чернильница, перья, маленький туалетный прибор и место для ваших капиталов». — «Ну, все-таки посмотрим этот пресловутый portefeuille». Рассмотрев с большим вниманием, он мне сказал: «Да это просто подлец, куда мне с ним возиться». Я сказала: «Ну, так я кельнеру его подарю, а он его продаст этому же жиду, а тот впихнет русскому втридорога». — «Ну нет! Кельнеру грешно дарить товар английского искусства, а вы лучше подарите его в верные руки и дайте Жуковскому: он охотник на всякую дрянь». Я так и сделала, и Жуковский унес его с благодарностью.

Зимой 1840-го года Гоголь провел месяц или два в Петербурге. Гоголь обедал у меня с Крыловым, Вяземским, Плетневым и Тютчевым. Для Крылова всегда готовились борщ с уткой, салат с пшенной кашей или щи и кулебяка, жареный поросенок или под хреном. Разговор был оживленный. Раз говорили о щедрости к нищим. Крылов утверждал, что подаяние не есть знак сострадания, а просто дело эгоизма. Жуковский противоречил. «Нет, брат, ты что ни говори, а я остаюсь на своем. Помню, как я раз так, из лености, не мог есть в Английском клубе даже поросенка под хреном».

Императрица всегда желала познакомиться с Иваном Андреевичем, и Жуковский повел его в полной форме библиотекаря имп<ераторской> библиотеки, в белых штанах и шелковых чулках. Они вошли в приемную. Дежурный камердинер уже доложил об них, как вдруг Крылов с ужасом сказал, что он пустил в штаны. Белые шелковые чулки окрасились желтыми ручьями. Жуковский повел его на черный дворик для окончания несвоевременной экспедиции. «Ты, брат, вчера за ужином, верно, нажрался всякой дряни». Он повел его в свою квартиру в Шепелевский дворец, там его вымыли, кое-как одели и повезли его домой.

Он [Гоголь] жил у Жуковского во Франкфурте[10], был болен и тяготился расходами, которые ему причинял. Жуковскому он был нужен, потому что отлично знал греческий язык, помогал ему в «Илиаде». Вас<илий> Андр<еевич> просил меня сказать великой княгине Марии Николаевне, чтобы она передала его просьбу государю[11]. Она родила преждевременно, позабыла мою просьбу и сказала: «Скажите сами государю». На вечере я сказала государыне, что собираюсь просить государя, она мне отвечала: «Он приходит сюда, чтобы отдохнуть. Вы знаете, он не любит, когда с ним говорят о делах. Если он будет в добром настроении, я вам сделаю знак и вы сможете передать свою просьбу». Он пришел в хорошем расположении и сказал: «Газета „Des Débats“ печатает глупости. Следовательно, я поступил правильно». Я ему сообщила поручение Жуковского, он отвечал: «Вы знаете, что пенсии назначаются капитальным трудам, а я не знаю, удостаивается ли повесть „Тарантас“». Я заметила, что «Тарантас» — сочинение Соллогуба, а «Мертвые души» — большой роман. «Ну, так я его прочту, потому что позабыл „Ревизора“ и „Разъезд“».

В воскресенье на обычном вечере Орлов напустился на меня и грубым, громким голосом сказал мне: «Как вы смели беспокоить государя и с каких пор вы — русский меценат?» Я ответила: «С тех пор, как императрица мне мигнет, чтобы я адресовалась к императору, и с тех пор, как я читала произведения Гоголя, которых вы не знаете, потому что вы грубый неуч и книг не читаете, кроме гнусных сплетен ваших голубых штанов[12]». За словами я не лазила в карман. Государь обхватил меня рукой и сказал Орлову: «Я один виноват, потому что не сказал тебе, Алеша, что Гоголю следует пенсия». За ужином Орлов заговаривал со мной, но тщетно. Мы остались с ним навсегда в разладе. Я послала за Плетневым, мы сочинили письмо к Уварову и запросили шесть тысяч рублей ассигнациями. Плетнев говорил, что всегда дают половину, у нас уж такой обычай. Между тем мы отписали Гоголю и требовали, чтобы, отложивши лень, он послал Уварову благодарственную писулю[13], когда получит желаемую пенсию. Я после узнала, что он писал и государю. Получивши тысячу серебром, т. е. три тысячи пятьсот руб., он поехал в Иерусалим[14]. <...>

«У Мойера я в первый раз слышал прелестные романсы Вейрауха». — «Я их знаю, их всего шесть, но это жемчужины. Жуковский их очень любит, в особенности „Land meiner seligsten Gefuhle"* и „Стремление на восток". А я люблю: „У бедных пастырей в селенье"». — «Я их люблю все. Мой вкус к живописи развился тоже у Мойера, у него были пейзажи Фридриха, их нельзя сравнить с пейзажами Рюисдаля, которые я потом видел в Эрмитаже, но в них царствует какая-то тихая грусть». — «У Жуковского есть картина Фридриха „Еврейское кладбище", — действительно, выражается грусть, но там недостает божественного креста, который нас мирит со смертью».

* «Страна моих душевных чувств» (*нем.*).

Н. М. Смирнов

<ИЗ ЗАПИСОК. ЖУКОВСКИЙ>

У нас часто проводят вечера Жуковский, А. С. Пушкин и А. И. Тургенев, которые, верно, самые любезнейшие из всех тех, которых мы встречаем в петербургских вечерах[1]. Жуковский более молчалив и очень любит слушать, но когда развеселится, рассказывает очень оригинальные особенные смешные анекдоты. Он был одним главным членом Арзамасского общества, кажется, даже журналистом. Сие общество состояло из шутников, буффонов, буффонили на словах и на бумаге, Блудов, Тургеневы, Жуковский и многие другие были сего общества.

Жуковский, можно сказать, имеет девственную душу; он всегда спокоен и на вид кажется угрюм, когда же развеселится, смеется du rire d'un brave homme , кто его один раз увидит, уверится по одному его лицу в спокойной, доброй и чувствительной душе. Я никогда не видал его в гневе или в пылу какой-нибудь страсти, никогда не слыхал его даже говорящим скоро или отрывисто, в самых даже спорах. Тронутый иногда обращением холодным двора, он никогда не жалуется, старается оправдывать сие тем, что он домашний при дворе, или даже сам говоря, что такой-то поступок должен бы его рассердить, но что он сердиться не умеет и чувствует только печаль. Ему теперь за сорок лет, и уже давно собирается жениться; находил на своем веку много женщин, которые ему нравились, но они никогда для него не были более как милые творения (любимое слово его), он никогда не ощущал пылкой страсти[2], которая была бы довольно сильна, чтоб заставить его решиться на такое важное дело, и до сего времени боялся даже, что состояние его не довольно обеспечено, чтобы завести семейство. В нынешнем году ему дали пенсию пожизненную в *** руб. в год, и его друзья поздравляли его, что он довольно теперь богат для женатого даже человека, но он, кажется, останется только другом милых творений, а любовником быть не в его природе. Самое горячее чувство его к своему августейшему воспитаннику, чувство по роду и предмету совершенно приспособленное его душе[3]. <...>

Душа Жуковского, хотя никогда не ощущает страсти, способна чувствовать, т. е. понимать самые воспламененные чувства. При рассказе прекрасного, высокого, возвышенного лицо его оживится и слово плавно вылетает из души его. Когда рассказывает про женщину, которая ему нравится или каким-нибудь чувством, или талантом, или улыбкою, или взором, «милое творение» — прибавляет он с вздохом, полным нежности.

смехом простака (*фр.*).

Он большой охотник до музыки, целые часы готов слушать Бетховена, Моцарта, он гармоническими звуками погружается в сладкую мечтательность, лицо его одето вниманием, и душа его плавает в гармонии. Верный друг всем приятелям, коих у него очень много, он, ходатайствуя о них, может выйти из своего хладнокровия и разгорячиться, для себя он беспечен. Для него не замечательно, что он живет высоко и что высокая лестница вредна его здоровью; зато его кабинет обширный и наполненный приятными воспоминаниями, предметами, таблицами разных родов и шкалами, портфелями, им выдуманными и которые составляют у него всегда большой расход. Я мог бы собрать в нем еще тьму подробностей, любопытных для потомства, каков поэт и наставник одного русского царя, но боюсь дать слишком большой объем сим запискам. Прибавлю только, что он был другом Карамзина, Петра Вяземского, Пушкина и что Мердер и он друг друга понимали и ценили.

М. И. Глинка

ИЗ «ЗАПИСОК»

<...> По вечерам и в сумерки любил я мечтать за фортепьяно. Сентиментальная поэзия Жуковского мне чрезвычайно нравилась и трогала меня до слез (вообще говоря, в молодости я был парень романического устройства и любил поплакать сладкими слезами умиления). Кажется, что два тоскливых моих романса «Светит месяц на кладбище»[1] и «Бедный певец»[2] (слова Жуковского) были написаны в это время (весною 1826 года).

[1828]

<...> Я с ним [Е. П. Штерич] вскоре подружился, и нередко с Сергеем Голицыным (Фирсом) мы посещали его в Павловске, где он жил в летние месяцы. Там представили меня знаменитому нашему поэту Василию Андреевичу Жуковскому[3].

[1830]

<...> Написал романс «Голос с того света», слова В. А. Жуковского[4].

[1832]

<...> Тою же весною один знакомый Соболевского сообщил мне в Милане слова двух романсов: «Победитель» Жуковского[5] и «Венецианскую ночь» Козлова: я тогда же написал их.

[1833]

<...> Написал два романса: «Дубрава шумит» (Жуковского)[6] и «Не говори: любовь пройдет» (Дельвига).

[1834]

<...> Сверх того запала мне мысль о русской опере. Слов у меня не было, а в голове вертелась «Марьина роща»[7], и я играл на фортепьяно

несколько отрывков сцен, которые отчасти послужили мне для «Жизни за царя».

[ЗИМА 1834—1835 гг.]

Я жил тогда домоседно, и тем более, что склонность к Марье Петровне[8] нечувствительно усиливалась; несмотря на это, однако же, постоянно посещал вечера В. А. Жуковского. Он жил в Зимнем дворце, и у него еженедельно собиралось избранное общество, состоявшее из поэтов, литераторов и вообще людей, доступных изящному. Назову здесь некоторых: А. С. Пушкин, князь Вяземский, Гоголь, Плетнев были постоянными посетителями. Гоголь при мне читал свою «Женитьбу». Князья Одоевский, Вельегорский и другие бывали тоже нередко. Иногда вместо чтения пели, играли на фортепьяно, бывали иногда и барыни, но которые были доступны изящным искусствам.

Когда я изъявил свое желание приняться за русскую оперу, Жуковский искренно одобрил мое намерение и предложил мне сюжет «Ивана Сусанина». Сцена в лесу глубоко врезалась в моем воображении; я находил в ней много оригинального, характерно русского. Жуковский хотел сам писать слова и для пробы сочинил известные стихи:

Ах, не мне, бедному,
Ветру буйному

Из трио с хором в эпилоге[9]

Занятия не позволили ему исполнить своего намерения, и он сдал меня в этом деле на руки барона Розена, усердного литератора из немцев, бывшего тогда секретарем е. и. в. государя цесаревича...[10] Жуковский и другие в насмешку говорили, что у Розена по карманам были разложены вперед уже заготовленные стихи <...> Барон Розен ретиво приступил к делу, и, из уважения к В. А. Жуковскому, мне нельзя было избегнуть его содействия <...>

Жуковский, хотя не писал для либретто, не изменил, однако ж, внимательному участию в труде моем; он объяснил машинисту и декоратору Роллеру[11], как устроить эффектно последнюю сцену в Кремле, вместе ездили мы в мастерскую (atelier) Роллера. Жуковский внимательно рассматривал и расспрашивал. Успех вполне увенчал дело, и в последней сцене вырезанные из картона разнородные группы отдаленной толпы превосходно обманывают зрение и кажутся продолжением оживленной толпы народа, стоящего на авансцене.

<...> Я также часто виделся с Жуковским и Пушкиным. Жуковский в конце зимы с 1836 по 1837 год дал мне однажды фантазию

«Ночной смотр»[12], только что им написанную. К вечеру она уже была готова, и я пел ее у себя в присутствии Жуковского и Пушкина[13].

<...> В заключение этого периода жизни моей считаю нелишним привести здесь стихи, сочиненные в честь мою на дружеском вечере у кн. Одоевского Жуковским, Пушкиным, кн. Вяземским и Соболевским.

<...> Во время выздоровления в начале 1849 года я был на вечере, устроенном князем П. А. Вяземским по случаю 50-летней деятельности В. А. Жуковского на его литературном поприще. Блудов читал стихи князя Вяземского по этому случаю, мы пели также хор в честь Жуковского, сочиненный графом Михаилом Юрьевичем Вельегорским. На этом вечере присутствовал также государь император Александр Николаевич (бывший тогда цесаревичем), и я имел счастие быть им замеченным и почтенным ласковыми расспросами обо мне.

И. В. Киреевский

ИЗ ПИСЕМ К РОДНЫМ[1]

12 января 1830. Я приехал в Пбрг вчера в два часа. В конторе дилижансов меня ждали уже два письма: одно от А. П.[2], другое от Жуковского. — Первая приискала для меня квартиру, а Василий Андреевич звал переехать прямо к нему. Я так и сделал. Жуковский обрадовался мне очень и провел со мною весь вечер, расспрашивал обо всех вас, радовался моему намерению ехать учиться и советовал ехать в Берлин, хотя на месяц. «Там на месте ты лучше увидишь, что тебе делать: оставаться в Берлине или ехать в Париж». Последнее, однако, кажется, ему не нравится. Я послушаюсь его, поеду в Берлин, проведу там месяц, буду ходить на все лекции, которые меня будут интересовать, познакомлюсь со всеми учеными и примечательными людьми, и если увижу, что берлинская жизнь полезнее для моего образования, нежели сколько я ожидаю от нее, то останусь там и больше... Разговор Жуковского я в связи не припомню. Вот вам некоторые отрывочные слова, которые остались у меня в памяти; вообще каждое его слово, как прежде было, носит в себе душу, чувство, поэзию. Я мало с ним разговаривал, потому что больше слушал и старался удержать в памяти все хорошо сказанное, т. е. все похожее на него; а хорошо сказано и похоже на него было каждое слово.

При нем невольно теплеешь душою, и его присутствие дает самой прозаической голове способность понимать поэзию. Каждая мысль его — ландшафт с бесконечною перспективою. Вот что я запомнил из его разговора: «Изо всех нас твоя мать переменилась меньше. Она все та же, по крайней мере так кажется из ее писем. Все, кажется, она пишет *одно* письмо. — Ты будешь со временем писателем, когда поучишься хорошенько. Теперь об этом еще и думать рано. У тебя в слоге, сколько я читал твои сочинения, есть свой характер;— виден человек мыслящий, но еще молодой, который кладет свои мысли на прокрустову постель. Но со временем это качество может быть полезно, ибо это доказывает привычку думать. Теперь тебе надо наблюдать просто, бескорыстно. Теории только вредны, когда мало фактов. Замечай сам все и не старайся подвести под систему твои наблюдения: бойся вытянуть карлу и обрубить ноги великану. Впрочем, слог твой мне нравится. Знаешь ли, у кого ты выучился писать? У твоей матери. Я не знаю никого, кто бы писал лучше ее. Ее письма совсем она. Она, М. А. и А. А.[3] — вот три. А. А. писала прекрасно, elle avait du génie dans son style*». Тут приехал Г. П. Опухтин, и я ушел в ту комнату, которую Жуковский отвел для меня.

---

* в ее стиле был талант (*фр.*).

Мне бы хотелось описать вам эту комнату[4], потому что она произвела на меня сильное впечатление своими картинами. Горница почти квадратная. С одной стороны два окна и зеркало, перед которым бюст покойной прусской королевы[5], прекрасное лицо и хорошо сделано. Она представлена сонною. На другой стене картины Фридрихса[6]. Посередине большая: ночь, луна и под нею сова. По полету видно, что она видит: в расположении всей картины видна душа поэта. С обеих сторон совы висят по две маленьких четвероугольных картинки. Одна подарок Александра Тургенева, который сам заказал ее Фридрихсу. Даль, небо, луна, — впереди решетка, на которую облокотились трое: два Тургенева и Жуковский. Так объяснил мне сам Жуковский. Одного из этих мы вместе похоронили[7], сказал он. Вторая картинка: ночь, море и на берегу обломки трех якорей. Третья картина: вечер, солнце только что зашло, и запад еще золотой; остальное небо, нежно-лазуревое, сливается с горою такого же цвета. Впереди густая высокая трава, посредине которой лежит могильный камень. Женщина в черном платье, в покрывале, подходит к нему и, кажется, боится, чтобы кто-нибудь не видал ее. Эта картина понравилась мне больше других. Четвертая, к ней, это могила жидовская. Огромный камень лежит на трех других меньших. Никого нигде нет. Все пусто и кажется холодно. Зеленая трава наклоняется кой-где от ветра. Небо серо и испещрено облаками; солнце уже село, и кой-где на облаках еще не погасли последние отблески его лучей. Этим наполнена вторая стена против двери. На третьей стене четыре картины, также Фридрихсовой работы. На одной, кажется, осень, внизу зеленая трава, наверху голые ветви деревьев, надгробный памятник, крест, беседка и утес. Все темно и дико. Вообще природа Фридрихсова какая-то мрачная и всегда одна. Это остров Рюген, на котором он жил долго. Другая картина — полуразвалившаяся каменная стена; наверху, сквозь узкое отверстие, выходит луна. Внизу, сквозь вороты, чуть виден ландшафт: деревья, небо, гора и зелень. Третья картина: огромная чугунная решетка и двери, растворенные на кладбище, которое обросло густою, непроходимою травою. Четвертая картина: развалины, образующие свод посередине колонны, подле которой стоит, облокотившись, женщина. Она обернулась задом, но видно по ее положению, что она уже давно тут, давно задумалась, засмотрелась ли на что-нибудь, или ждет, или так задумалась, — все это мешается в голове и дает этой картине необыкновенную прелесть. Между дверью и окном Мадонна с Рафаэлевой — чей-то подарок. Две стены комнаты занимает угловой диван, подле которого большой круглый стол — подарок прусского принца. Он сам разрисовал его. Когда Опухтин уехал, я опять пришел к Жуковскому. Ему принесли «Северную пчелу», и разговор сделался литературный. Про Булгарина он говорит, что у него есть что-то похожее на слог, и, однако, нет слога; есть что-то похожее и на талант, хотя нет таланта; есть что-то похожее на сведения, но сведений нет; одним словом, это какой-то восковой чело-

век, на которого разные обстоятельства жизни положили несколько разных печатей, разных гербов, и он носится с ними, не имея ничего своего.

«Выжигин» ему крепко не нравится, также и «Самозванец»[8]; он говорил это самому Булгарину, который за то на него сердится. «Юрий Милославский»[9] ему понравился очень. Я показывал ему детский журнал[10] и сочинения. Он прочел *все*, с большим удовольствием, смеялся и особенно радовался повестью, которую хвалил на каждом слове. Расспрашивал об нашем житье-бытье, взял мою статью[11] на ночь и улегся спать. На другой день говорил, что она ему не понравилась. Опять прокрустова постель, говорит он. Где нашел ты литературу? Какая, к черту, в ней жизнь? Что у нас своего? Ты говоришь об нас, как можно говорить только об немцах, французах и проч. Душегрейка ему не понравилась[12], о Баратынском также, одним словом, он почти ничего не похвалил. Говорит, однако же, что эта статья так же хорошо написана, как и первая, и со временем из меня будет прок, только надобно бросить прокрустову постель.

<...> Потом я отправился к Титову и Кошелеву. Обедали мы вместе с Жуковским, который остался дома нарочно для меня; расспрашивал про Долбино, про Мишенское. Все дома. говорит он, все следы прежнего уже не существуют. В Москве я не знал ни одного дома; они сгорели, перестроены, уничтожены: в Мишенском также, в Муратове также. И это, казалось ему, было отменно грустно. После обеда он лег спать в моей комнате: я также. Ввечеру он отправился в Эрмитаж, а ко мне пришел Кошелев и увел меня к Одоевскому, где ждал Титов. Кошелев и Титов оба зовут меня переехать к ним; но кажется, что я не стесняю Жуковского. — Здесь я останусь до следующей середы, до 22-го января. <...>

14 января 1830. <...> Ввечеру явились Тит<ов> и Одоевс<кий>, с которыми мы сидели до часу ночи. Жуковский, который сидел вместе с нами, был очень мил, весел, любезен, — несмотря на то, что его глаза почти слипались, как говорит Вася, ибо он обыкновенно ложится в 10 часов. Он рассказывал много интересного про свое путешествие, про Жан-Поля[13], говорил об «Истории» Полевого, об «Юрии Милославском» и пр., словом, выискивал разговор общезанимательный. Я еще не описал вам его образа жизни, потому что не хорошо знаю его и не успел расспросить всего подробно. <...>

15 января 1830. <...> Пушкин был у нас вчера и сделал мне три короба комплиментов об моей статье. Жуковский читал ему детский журнал, и Пушкин смеялся на каждом слове, — и все ему понравилось. Он удивлялся, ахал и прыгал; просил Жуковского «Зиму»[14] напечатать в «Литературной газете», но Жуковский не дал. На «Литературную газету» подпишитесь непременно, милый друг папенька; это будет газета достоинства европейского; большая часть статей в ней будет писана Пушкиным, который открыл средство в критике, в простом извещении

об книге быть таким же необыкновенным, таким же поэтом, как в стихах. В его извещении об исповеди амстердамского палача[15] вы найдете, как говорит Жуковский, и ум, и приличие, и поэзию вместе.

<...> Жуковского опять нет дома, у него почти нет свободной минуты; оттого немудрено ему лениться писать. Вчера, однако, мы виделись с ним на минуту поутру и вместе провели вечер с Пушкиным.

17 января 1830. <...> Вчера Жуковский сделал вечер[16], как я уже писал к вам; были все, кого он хотел звать, выключая Гнедича, место которого заступил Василий Перовский, и, следовательно, число 12 не расстроилось. Жуковский боялся тринадцати, говоря, что он не хочет, чтобы на моем прощальном вечере было несчастное число. Чтобы дать вам понятие о Крылове, лучше всего повторить то, что говорит об нем Жуковский, т. е. что это славная виньетка для его басен: толстый, пузатый, седой, чернобровый, кругломордый, старинный, в каждом движении больше смешной, чем острый. <...>

20 января 1830. <...> вчера я еще раз осматривал Эрмитаж. Я употребил на это три часа; стоял перед некоторыми картинами более $^{1}/_{4}$ часа и потому все еще не видал большей половины как должно. Оттуда я отправился к Dubois, это род Andrieux[17], где меня ждали Титов и Кошелев; оттуда к Одоевскому, потом домой, где проспорил с Васильем Андреевичем до 1-го о фламандской школе, и, кажется, опять оставил о себе такое же мнение, какое он имел обо мне после первого нашего свидания в 26 году. Но я не раскаиваюсь; когда-нибудь мы узнаем друг друга лучше. Он читал мне некоторые стихи свои давнишние, но мне неизвестные: к фрейлинам, к Нарышкину, на заданные рифмы и проч.[18] Cette profanation de génie m'a choqué*. Теперь он не пишет ничего, и тем лучше. Поэтическое дело[19] важнее поэтических стихов. Но, окончивши, ему опять хочется возвратиться к поэзии и посвятить остальную жизнь греческому и переводу «Одиссеи».

<...> Жуковский надавал мне кучу рекомендательных писем в Берлин и Париж[20], кроме того, подарил мне свою дорожную чернильницу и ящик с складными перьями. Он читал письма Петрушины[21] и говорит об них с большим чувством. В самом деле, письма брата так хороши, что по ним можно узнать его. Жуковский обещается писать к вам после моего отъезда, и я уверен, что сдержит слово[22]. <...>

27 января 1830. Вот он я, в Риге. Вчера к вечеру приехал и вчера же отправился с письмом от Жук<овского> к прокурору Петерсону[23], которым studiosus Петерсон[24] стращал станционных смотрителей. Этот прокурор Петерсон принял меня как родного, как друга. <...> Когда я отдал ему письмо от Жуковского и назвал свое имя, он вскочил, бросился обнимать меня и пришел в совершенный восторг. Когда первый порыв его кончился, прерванная музыка доигралась, то он повел меня в

* Эта профанация гения меня шокировала (*фр.*).

другую комнату, прочел письмо Жуковского, говорил много об нем в Дерпте, с большим чувством, с большою душою, и, растроганный разговором и воспоминанием, достал кошелек, который подарила ему А. А.[25] при прощании, и поцеловал его со слезами, говоря, что это лучшее сокровище, которое он имеет. На другой день этот кошелек отдавал мне на память. <...>

1836 год. <...> Поблагодарите хорошенько нашего доброго Жуковского. Стало быть, и здесь, между собак, карт, лошадей и исправников, можно жить независимо и спокойно под крылом этого гения-хранителя нашей семьи. Пожалуйста, напишите об нем побольше, его слов, его мнений, всего, куда брызнет его душа. <...>

И. С. Тургенев

ИЗ «ЛИТЕРАТУРНЫХ И ЖИТЕЙСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ»

В предыдущем (первом отрывке) я упомянул о моей встрече с Пушкиным; скажу кстати несколько слов и о других, теперь уже умерших, литературных знаменитостях, которые мне удалось увидеть. Начну с Жуковского. Живя — вскоре после двенадцатого года — в своей деревне в Белевском уезде, он несколько раз посетил мою матушку[1], тогда еще девицу, в ее мценском имении; сохранилось даже предание, что он в одном домашнем спектакле играл роль волшебника, и чуть ли не видел я самый колпак его с золотыми звездами в кладовой родительского дома. Но с тех пор прошли долгие годы — и, вероятно, из памяти его изгладилось самое воспоминание о деревенской барышне[2], с которой он познакомился случайно и мимоходом. В год переселения нашего семейства в Петербург — мне было тогда 16 лет — моей матушке вздумалось напомнить о себе Василию Андреевичу. Она вышила ко дню его именин красивую бархатную подушку и послала меня с нею к нему в Зимний дворец[3]. Я должен был назвать себя, объяснить, чей я сын, и поднести подарок. Но когда я очутился в огромном, до тех пор мне незнакомом дворце, когда мне пришлось пробираться по каменным длинным коридорам, подниматься на каменные лестницы, то и дело натыкаясь на неподвижных, словно тоже каменных, часовых; когда я наконец отыскал квартиру Жуковского и очутился перед трехаршинным красным лакеем с галунами по всем швам и орлами на галунах, — мною овладел такой трепет, я почувствовал такую робость, что, представ в кабинет, куда пригласил меня красный лакей и где из-за длинной конторки глянуло на меня задумчиво-приветливое, но важное и несколько изумленное лицо самого поэта, — я, несмотря на все усилия, не мог произнести звука: язык, как говорится, прилип к гортани — и, весь сгорая от стыда, едва ли не со слезами на глазах, остановился как вкопанный на пороге двери и только протягивал и поддерживал обеими руками — как младенец при крещении — несчастную подушку, на которой, как теперь помню, была изображена девица в средневековом костюме, с попугаем на плече. Смущение мое, вероятно, возбудило чувство жалости в доброй душе Жуковского; он подошел ко мне, тихонько взял у меня подушку, попросил меня сесть и снисходительно заговорил со мною. Я объяснил ему наконец, в чем было дело, — и, как только мог, бросился бежать.

Уже тогда Жуковский как поэт потерял в глазах моих прежнее значение; но все-таки я радовался нашему, хотя и неудачному, свиданию и, придя домой, с особенным чувством припоминал его улыбку, ласковый звук его голоса, его медленные и приятные движения. Портреты Жуковского почти все очень похожи; физиономия его не была из тех, которые уловить трудно, которые часто меняются. Конечно, в 1834 году в нем и следа не оставалось того болезненного юноши, каким представлялся воображению наших отцов «Певец во стане русских воинов», он стал осанистым, почти полным человеком. Лицо его, слегка припухлое, молочного цвета, без морщин, дышало спокойствием; он держал голову наклонно, как бы прислушиваясь и размышляя; тонкие, жидкие волосы всходили косицами на совсем почти лысый череп; тихая благость светилась в углубленном взгляде его темных, на китайский лад приподнятых глаз, а на довольно крупных, но правильно очерченных губах постоянно присутствовала чуть заметная, но искренняя улыбка благоволения и привета. Полувосточное происхождение его (мать его была, как известно, турчанка) сказывалось во всем его облике.

Несколько недель спустя меня еще раз свел к нему старинный приятель нашего семейства. Воин Иванович Губарев[4], замечательное, типическое лицо. Небогатый помещик Кромского уезда, Орловской губернии, он во время ранней молодости находился в самой тесной связи с Жуковским, Блудовым, Уваровым; он в их кружке был представителем французской философии, скептического, энциклопедического элемента, рационализма, словом, XVIII века. Губарев превосходно говорил по-французски, Вольтера знал наизусть и ставил выше всего на свете; других сочинителей он едва ли читал: склад его ума был чисто французский, дореволюционный, спешу прибавить. Я до сих пор помню его почти постоянный громкий и холодный смех, его развязные, слегка циничеcкие суждения и выходки. Уже одна его наружность осуждала его на одинокую и независимую жизнь: это был человек весьма некрасивый, толстый, с огромной головою и рябинами по всему лицу. Долгое пребывание в провинции наложило на него наконец свою печать; но он остался «типом» до конца, и до конца, под бедным казакином мелкого дворянчика, носящего дома смазные сапоги, сохранил свободу и даже изящество манер. Я не знаю причины, почему он не пошел в гору, не составил себе карьеры, как его товарищи. Вероятно, в нем не было надлежащей настойчивости, не было честолюбия: оно плохо уживается с тем полуравнодушным, полунасмешливым эпикуреизмом, который он заимствовал от своего образца — Вольтера; а таланта литературного он в себе не признавал; фортуна ему не улыбнулась — он так и стушевался, заглох, стал бобылем. Но любопытно было бы проследить, как этот закоренелый вольтерьянец в молодости обходился с своим приятелем, будущим «балладником» и переводчиком Шиллера! Большего противоре-

чия и придумать нельзя; но сама жизнь есть не иное что, как постоянно побеждаемое противоречие.

Жуковский — в Петербурге — вспомнил старого приятеля и не забыл, чем можно было его порадовать: подарил ему новое, прекрасно переплетенное собрание полных сочинений Вольтера[5]. Говорят, незадолго до смерти — а Губарев жил долго — соседи видали его в его полуразрушенной хижинке, сидевшего за убогим столом, на котором лежал подарок его знаменитого друга. Он бережно переворачивал золотообрезные листья любимой книги — и в глуши степного захолустья искренно, как и в дни молодости, тешился остротами, которыми забавлялись некогда Фридрих Великий в Сан-Суси и Екатерина Великая в Царском Селе. Другого ума, другой поэзии, другой философии для него не существовало. Это, разумеется, не мешало ему носить на шее целую кучу образов и ладанок — и состоять под командой безграмотной ключницы... Логика противоречий!

С Жуковским я больше не встречался!

В. А. Соллогуб

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

<...> Другой наш преподаватель, и преподаватель тоже весьма симпатичный, был наш учитель русского языка [П. А.] Плетнев, впоследствии ректор Петербургского университета и издатель «Современника». Петр Александрович был человек высокого роста, крепко сложенный и приятной наружности. Он был другом Жуковского и приятелем Пушкина. Этим различием и определяется характер Плетнева. Тихая мечтательность творца «Светланы» была ближе к его природе, чем страстность величайшего нашего поэта. Плетнев говорил тихо, как будто бы стыдливо. Жуковский был самоувереннее и по своей тогдашней знаменитости литературной, и по своему положению при дворе. Но душа Жуковского, как и душа Плетнева, были, так сказать, прозрачные, хрустальные. От них как будто веяло чем-то девственным, непорочным <...>

<...> Тут он [Пушкин] прочитал мне всем известное письмо к голландскому посланнику[1]. Губы его задрожали, Глаза налились кровью. Он был до того страшен, что только тогда я понял, что он действительно африканского происхождения. Что мог я возразить против такой сокрушительной страсти? Я промолчал невольно, и так как это было в субботу (приемный день кн. Одоевского)[2], то поехал к кн. Одоевскому. Там я нашел Жуковского и рассказал ему про то, что слышал. Жуковский испугался и обещал остановить отсылку письма[3]. Действительно, это ему удалось: через несколько дней он объявил мне у Карамзиных, что дело он уладил и письмо послано не будет. Пушкин точно не отсылал письма, но сберег его у себя на всякий случай. <...>

<...> Отличительным свойством великих талантов бывает всегда уважение к настоящему или даже мнимому превосходству. Гоголь благоговел перед Пушкиным, Пушкин перед Жуковским. Я слышал однажды между последними следующий разговор. «Василий Андреевич, как вы написали бы такое слово?» — «На что тебе?» (надо заметить, что Пушкин говорил Жуковскому *вы*, а Жуковский Пушкину *ты*)[4]. «Мне надобно знать, — отвечал Пушкин, — как бы вы написали». — «Как бы написали, так и следует писать. Других правил не нужно».

Жуковский был типом душевной чистоты, идеального направления и самого светлого, тихого добродушия, выражавшегося иногда весьма оригинально. Возвратившись из Англии[5], где он восхищался зеленеющими тучными пастбищами, он говорил с восторгом: «Что за край! Вот

так и хочется быть коровой, чтоб наслаждаться жизнью». Когда в 1837 году сгорел Зимний дворец, половина, на которой жил Жуковский, уцелела каким-то чудом. Жуковский был этим очень недоволен и, возвратясь в свою комнату, обратился к ней с досадой: «Свинья, как же ты-то смела не сгореть!»[6] Жуковский был очень дружен с Плетневым, и по их протекции Гоголь получил место при Петербургском университете[7], но, кажется, прочитал только две лекции. <...>

А. С. Пушкин

ИЗ «ДНЕВНИКА 1833—1835 гг.»

1833

24 ноября. Обедал у К. А. Карамзиной, видел Жуковского[1]. Он здоров и помолодел. <...>

17 [*декабря*]. Вечер у Жуковского. Немецкий amateur*, ученик Тикова, читал «Фауста» — неудачно, по моему мнению. <...>

1834

8 марта. Вчера был у Смирновой, ц. н.[2], анекдоты. Жуковский поймал недавно на бале у Фикельмон (куда я не явился, потому что все были в мундирах) цареубийцу Скарятина и заставил его рассказывать 11-е марта. Они сели. В эту минуту входит государь с гр. Бенкендорфом и застает наставника своего сына, дружелюбно беседующего с убийцею его отца! Скарятин снял с себя шарф, прекративший жизнь Павла I[3]. <...>

7 апреля. «Телеграф» запрещен[4]. Уваров представил государю выписки, веденные несколько месяцев и обнаруживающие неблагонамеренное направление, данное Полевым его журналу. (Выписки ведены Брюновым, по совету Блудова.) Жуковский говорит: — *Я рад, что «Телеграф» запрещен, хотя жалею, что запретили.* «Телеграф» достоин был участи своей; мудрено с большей наглостию проповедовать якобинизм перед носом правительства, но Полевой был баловень полиции. Он умел уверить ее, что его либерализм пустая только маска. <...>

16-го [*апреля*]. Вчера проводил Наталью Николаевну до Ижоры. Возвратясь, нашел у себя на столе приглашения на дворянский бал[5] и приказ явиться к графу Литте. Я догадался, что дело идет о том, что я не явился в придворную церковь ни к вечерне в субботу, ни к обедне в Вербное воскресение. Так и вышло: Жуковский сказал мне, что государь был недоволен отсутствием многих камергеров и камер-юнкеров и сказал: «Если им тяжело выполнять свои обязанности, то я найду средство их избавить». <...>

10 мая. Несколько дней тому получил я от Жуковского записочку из Царского Села. Он уведомлял меня, что какое-то письмо мое ходит по городу и что государь об нем ему говорил. Я вообразил, что дело идет о

---

* любитель, дилетант (*фр.*).

скверных стихах, исполненных отвратительного похабства и которые публика благосклонно и милостиво приписывала мне. Но вышло не то. Московская почта распечатала письмо, писанное мною Наталье Николаевне, и, нашед в нем отчет о присяге великого князя, писанный, видно, слогом неофициальным, донесла обо всем полиции. Полиция, не разобрав смысла, представила письмо государю, который сгоряча также его не понял. К счастию, письмо показано было Жуковскому, который и объяснил его. Все успокоилось. <...>

21 [*мая*]. Вчера обедал у Смирновых с Полетикой, с Вельгорским и с Жуковским. Разговор коснулся Екатерины. Полетика рассказал несколько анекдотов[6]. <...>

2 июня. <...> Вчера вечер у Катерины Андреевны. Она едет в Тайцы, принадлежавшие некогда Ганибалу, моему прадеду. У ней был Вяземский, Жуковский и Полетика. <...>

3-го июня обедали мы у Вяземского: Жуковский, Давыдов и Киселев. Много говорили об его правлении в Валахии. <...>

1835

Февраль. <...> Кстати об Уварове: это большой негодяй и шарлатан. Разврат его известен. <...> Он крал казенные дрова, и до сих пор на нем есть счеты (у него 11 000 душ), казенных слесарей употреблял в собственную работу[7], etc. etc. Дашков (министр), который прежде был с ним приятель, встретив Жуковского под руку с Уваровым, отвел его в сторону, говоря: «Как тебе не стыдно гулять публично с таким человеком!» <...>

ИЗ ПИСЕМ

П. А. Вяземскому. *Около (не позднее) 21 апреля 1820 г. из Петербурга в Варшаву*

<...> Читал ли ты последние произведения Жуковского, в Бозе почивающего? Слышал ли ты его «Голос с Того света»[1] — и что ты об нем думаешь? Петербург душен для поэта. <...>

Ему же. *2 января 1822 г. из Кишинева в Москву*

<...> Жуковский меня бесит — что ему понравилось в этом Муре? чопорном подражателе безобразному восточному воображению? Вся «Лал-

ла Рук»[2] не стоит десяти строчек «Тристрама Шанди»[3]; пора ему иметь собственное воображенье и крепостные вымыслы. <...>

Н. И. Гнедичу. *27 июня 1822 г. Из Кишинева в Петербург*

<...> Жуковскому я также писал, а он и в ус не дует. Нельзя ли его расшевелить?[4] <...> С нетерпением ожидаю «Шильонского узника»[5]; это не чета «Пери» и достойно такого переводчика, каков певец Громобоя и Старушки[6]. Впрочем, мне досадно, что он переводит и переводит отрывками — иное дело Тасс, Ариост и Гомер, иное дело песни Маттисона[7] и уродливые повести Мура. Когда-то говорил он мне о поэме «Родрик» Саувея[8]; попросите его от меня, чтоб он оставил его в покое, несмотря на просьбу одной прелестной дамы. Английская словесность начинает иметь влияние на русскую. Думаю, что оно будет полезнее влияния французской поэзии, робкой и жеманной. <...> Так-то пророчу я не в своей земле — а между тем не предвижу конца нашей разлуки. Здесь у нас *молдованно* и тошно[9]; ах, Боже мой, что-то с ним делается — судьба его меня беспокоит до крайности — напишите мне об нем, если будете отвечать. <...>

Л. С. Пушкину и О. С. Пушкиной. *21 июля 1822 г. Из Кишинева в Петербург*

<...> Что Жуковский, и зачем он ко мне не пишет? <...>

Л. С. Пушкину. *4 сентября 1822 г. Из Кишинева в Петербург*

<...> Кстати об стихах: то, что я читал из «Шильонского узника», прелесть. С нетерпением ожидаю успеха «Орлеанской ц———»[10]. Но актеры, актеры! — 5-стопные стихи без рифм требуют совершенно новой декламации. Слышу отсюда драммоторжественный рев *Глухо-рева*. Трагедия будет сыграна тоном «Смерти Роллы»[11]. Что сделает великолепная Семенова, окруженная так, как она окружена? Господь защити и помилуй — но боюсь. Не забудь уведомить меня об этом и возьми от Жуковского билет для 1-го представления на мое имя. <...>

Н. И. Гнедичу. *27 сентября 1822 г. Из Кишинева в Петербург*

Приехали «Пленники»[12] — и сердечно вас благодарю, милый Николай Иванович. <...> Перевод Жуковского est un tour de force*. Злодей! в бореньях с трудностью силач необычайный![13] Должно быть Байроном, чтоб выразить с столь страшной истиной первые признаки сумасшествия, а Жуковским, чтоб это перевыразить. Мне кажется, что слог Жуковского в последнее время ужасно возмужал, хотя утратил первоначальную прелесть. Уж он не напишет ни «Светланы», ни «Людмилы», ни прелестных элегий 1-ой части «Спящих дев». Дай Бог, чтоб он начал создавать. <...>

* представляет собою чудо мастерства (*фр.*).

Л. С. Пушкину. *1—10 января 1823 г. Из Кишинева в Петербург*

<...> Скажи ради Христа Жуковскому — чтоб он продиктовал Якову строчки три на мое имя. <...>

П. А. Вяземскому. *11 ноября 1823 г. Из Одессы в Москву*

Вот тебе и «Разбойники»[14]. Истинное происшествие подало мне повод написать этот отрывок. <...> Некоторые стихи напоминают перевод «Шильонского узника». Это несчастие для меня. Я с Жуковским сошелся нечаянно, отрывок мой написан в конце 1821 года. <...>

А. И. Тургеневу. *7 декабря 1823 г. Из Одессы в Петербург*

<...> Жуковскому грех; чем я хуже принцессы Шарлотты[15], что он мне ни строчки в три года не напишет. Правда ли, что он переводит «Гяура»?[16] <...>

Л. С. Пушкину. *13 июня 1824 г. Из Одессы в Петербург*

<...> Жуковского я получил[17]. Славный был покойник, дай Бог ему царство небесное! <...>

Ему же. *1—10 ноября 1824 г. Из Тригорского в Петербург*

<...> Скажи от меня Жуковскому, чтоб он помолчал о происшествиях, ему известных. Я решительно не хочу выносить сору из михайловской избы[18] — и ты, душа, держи язык на привязи. <...>

Ему же. *Первая половина ноября 1824 г. Из Михайловского в Петербург*

<...> Здесь слышно, будто губернатор приглашает меня во Псков. Если не получу особенного *повеления*, верно, я не тронусь с места. Разве выгонят меня отец и мать. Впрочем, я всего ожидаю. Однако поговори, заступник мой, с Жуковским и с Карамзиным. <...>

Ему же. *Начало 20-х чисел ноября 1824 г. Из Михайловского в Петербург*

Скажи моему гению-хранителю, моему Жуковскому, что, слава Богу, все кончено. Письмо мое к Адеркасу у меня[19], наши, думаю, доехали, а я жив и здоров. <...>

К. Ф. Рылееву. *25 января 1825 г. Из Михайловского в Петербург*

<...> Согласен с Бестужевым во мнении о критической статье Плетнева[20], но не совсем соглашаюсь с строгим приговором о Жуковском. Зачем кусать нам груди кормилицы нашей? потому что зубки прореза-

лись? Что ни говори, Жуковский имел решительное влияние на дух нашей словесности; к тому же переводный слог его останется всегда образцовым. Ох! уж эта мне республика словесности. За что казнит, за что венчает?[21] <...>

Л. С. Пушкину и П. А. Плетневу. *15 марта 1825 г. Из Михайловского в Петербург*

<...> Ошибки правописания, знаки препинания, описки, бессмыслицы прошу самим исправить — у меня на то глаз недостанет. — В порядке пиес держитесь также вашего благоусмотрения. Только не подражайте изданию Батюшкова — исключайте, марайте сплеча[22]. Позволяю, прошу даже. Но для сего труда возьмите себе в помощники Жуковского, не во гнев Булгарину, и Гнедича, не во гнев Грибоедову. <...> Виньетку бы не худо: даже можно, даже нужно — даже ради Христа сделайте: именно: *Психея, которая задумалась над цветком.* (Кстати: что прелестнее строфы Жуковского: *Он мнил, что вы с ним однородные* и следующей[23]. Конца не люблю.) <...> Что сказать вам об издании? Печатайте каждую пиесу на особенном листочке, исправно, чисто, как последнее издание Жуковского. <...>

Л. С. Пушкину. *27 марта 1825 г. Из Михайловского в Петербург*

<...> Я «Телеграфом» очень доволен[24] — и мышлю или мыслю поддержать его. Скажи это и Жуковскому.

Ему же. *Первая половина мая 1825 г. Из Михайловского в Петербург*

<...> Письмо Жуковского наконец я разобрал. Что за прелесть чертовская его небесная душа! Он святой, хотя родился романтиком, а не греком и человеком, да каким еще! <...>

А. А. Бестужеву. *Конец мая — начало июня 1825 г. Из Михайловского в Петербург*

<...> Век Екатерины — век ободрений: от этого он еще не ниже другого. Карамзин, кажется, ободрен; Жуковский не может жаловаться, Крылов также. <...>

Так! мы можем праведно гордиться: наша словесность, уступая другим в роскоши талантов, тем пред ними отличается, что не носит на себе печати рабского унижения. Наши таланты благородны, независимы. С Державиным умолкнул голос лести — а как он льстил? <...>

Прочти послание к Александру (Жуковского 1815 года). Вот как русский поэт говорит русскому царю[25].

А. А. Дельвигу. *Первые числа (не позже 8) июня 1825 г. Из Михайловского в Петербург*

<...> что делает Жуковский? Передай мне его мнение о 2-ой главе «Онегина» да о том, что у меня в пяльцах. <...>

П. А. Вяземскому. *25 мая и около середины июня 1825 г. Из Михайловского в Москву*

<...> Но ты слишком бережешь меня в отношении к Жуковскому. Я не следствие, а точно ученик его, и только тем и беру, что не смею сунуться на дорогу его, а бреду проселочной[26]. Никто не имел и не будет иметь слога, равного в могуществе и разнообразии слогу его. В бореньях с трудностью силач необычайный. Переводы избаловали его, изменили; он не хочет сам созидать, но он как Voss — гений перевода. К тому же смешно говорить об нем как об отцветшем, тогда как слог его еще мужает. Былое сбудется опять[27], а я все чаю в воскресении мертвых. <...>

И. Ф. Мойеру. *29 июля 1825 г. Из Михайловского в Дерпт*

Сейчас получено мною известие, что В. А. Жуковский писал вам о моем аневризме и просил вас приехать во Псков для совершения операции[28]; нет сомнения, что вы согласитесь; но умоляю вас, ради Бога не приезжайте и не беспокойтесь обо мне. Операция, требуемая аневризмом, слишком маловажна, чтоб отвлечь человека знаменитого от его занятий и местопребывания. Благодеяние ваше было бы мучительно для моей совести. Я не должен и не могу согласиться принять его; смело ссылаюсь на собственный ваш образ мыслей и на благородство вашего сердца.

Позвольте засвидетельствовать вам мое глубочайшее уважение как человеку знаменитому и другу Жуковского.

П. А. Вяземскому. *10 августа 1825 г. Из Михайловского в Ревель*

<...> Жуковский со мной так проказит, что нельзя его не обожать и не сердиться на него. <...>

Ему же. *13 и 15 сентября 1825 г. Из Михайловского в Москву*

<...> зачем не хочу я согласиться на приезд ко мне Мойера? — я не довольно богат, чтоб выписывать себе славных докторов и платить им за свое лечение, — Мойер друг Жуковскому — но не Жуковский. Благодеяний от него не хочу. <...>

Ему же. *Около 7 ноября 1825 г. Из Михайловского в Москву*

<...> Жуковский говорит, что царь меня простит за трагедию[29], — навряд, мой милый. Хоть она и в хорошем духе писана, да никак не мог упрятать всех моих ушей под колпак юродивого. Торчат! <...>

В. К. Кюхельбекеру. *1—6 декабря 1825 г. Из Михайловского в Москву.*

<...> Не понимаю, что у тебя за охота пародировать Жуковского[30]. Это простительно Цертелеву, а не тебе. Ты скажешь, что насмешка падает на подражателей, а не на него самого. Милый, вспомни, что ты если пишешь для нас, то печатаешь для черни; она принимает вещи буквально. Видит твое неуважение к Жуковскому и рада. <...>

П. А. Плетневу. *4—6 декабря 1825 г. Из Михайловского в Петербург*

<...> В столицу хочется мне для вас, друзья мои, — хочется с вами еще перед смертью поврать; но, конечно, благоразумнее бы отправиться за море. Что мне в России делать? Покажи это письмо Жуковскому, который, может быть, на меня сердит. Он как-нибудь это сладит. <...>

Ему же. *Вторая половина (не позднее 25) января 1826 г. Из Михайловского в Петербург*

<...> Кстати: не может ли Жуковский узнать, могу ли я надеяться на высочайшее снисхождение, я шесть лет нахожусь в опале, а что ни говори — мне всего 26. <...>

Ему же. *7 (?) марта 1826 г. Из Михайловского в Петербург*

<...> При сем письмо к Жуковскому в треугольной шляпе и башмаках. Не смею надеяться, но мне бы сладко было получить свободу от Жуковского, а не от другого — впрочем, держусь стоической пословицы: не радуйся нашед, не плачь потеряв. <...>

П. А. Вяземскому. *Около 25 января 1829 г. Из Петербурга в Пензу*

<...> Был я у Жуковского. Он принимает в тебе живое, горячее участие, арзамасское, не придворное[31]. Он было хотел, получив первое известие от тебя, прямо отнестися письмом к государю, но раздумал, и, кажется, прав. Мнения, слова Жуковского должны иметь большой вес, но для искоренения неприязненных предубеждений нужны объяснения и доказательства — и тем лучше, ибо князь Дмитрий[32] может представить те и другие. Жуковский сказывал мне о совете своем отнестися к Бенкендорфу. А я знаю, что это будет для тебя неприятно и тяжело. Он, конечно, перед тобою неправ; на его чреде не должно обращать внимания на полицейские сплетни. <...> Сделай милость, забудь выражение *развратное его поведение*, оно просто ничего не значит. Жуковский со смехом говорил, что говорят, будто бы ты пьяный был у девок, и утверждает, что наша поездка к бабочке-Филимонову[33], в неблагопристойную Коломну, подала повод этому упреку. <...> Аминь, поговорим о другом.

<...> Каково «Море» Жуковского — и каков его Гомер[34], за которого сердится Гнедич, как откупщик на контрабанду. <...>

П. А. Плетневу. *Около (не позднее) 29 октября 1830 г. Из Болдина в Петербург*

<...> Что моя трагедия? отстойте ее, храбрые друзья! Не дайте ее на съедение псам журнальным. Я хотел ее посвятить Жуковскому со следующими словами: я хотел было посвятить мою трагедию Карамзину, но так как нет уже его, то посвящаю ее Жуковскому. Дочери Карамзина сказали мне, чтоб я посвятил любимый труд памяти отца. Итак, если еще можно, то напечатай на заглавном листе

Драгоценной для россиян памяти
Николая Михайловича
Карамзина
сей труд, гением его вдохновенный,
с благоговением и благодарностию посвящает
А. Пушкин.

Ему же. *26 марта 1831 г. Из Москвы в Петербург*

<...> Знаешь ли что? мне мочи нет хотелось бы к вам не доехать, а остановиться в Царском Селе. <...> С тобою, душа моя, виделся бы я всякую неделю, с Жуковским также — Петербург под боком — жизнь дешевая, экипажа не нужно. <...> Мне сказывали, что Жуковский очень доволен «Марфой Посадницей», если так, то пусть же выхлопочет он у Бенкендорфа или у кого ему будет угодно позволения напечатать всю драму, произведение чрезвычайно замечательное <...>

Ему же. *Около (не позднее) 14 апреля 1831 г. Из Москвы в Петербург*

<...> Обними Жуковского за участие, в котором я никогда не сомневался. Не пишу ему, потому что не привык с ним переписываться. С нетерпением ожидаю новых его баллад. Итак, былое с ним сбывается опять. Слава Богу! Но ты не пишешь, что такое его баллады, переводы или сочинения. Дмитриев, думая критиковать Жуковского, дал ему прездравый совет. Жуковский, говорил он, в своей деревне заставляет старух себе ноги гладить и рассказывать сказки и потом перекладывает их в стихи. Предания русские ничуть не уступают в фантастической поэзии преданиям ирландским и германским. Если все еще его несет вдохновением, то присоветуй ему читать Четь-Минею, особенно легенды о киевских чудотворцах; прелесть простоты и вымысла! <...>

П. А. Вяземскому. *1 июня 1831 г. Из Царского Села в Москву*

<...> Однако ж вот тебе и добрая весть: Жуковский точно написал 12 прелестных баллад и много других прелестей. <...>

Ему же. *11 июня 1831 г. Из Царского Села в Москву*

<...> Жуковский все еще пишет. Он перевел несколько баллад Соувея, Шиллера и Гуланда. Между прочим, «Водолаз», «Перчатку», «Поликратово кольцо» etc. Также перевел неконченную балладу Вальтер Скотта «Пильгрим»[35] и приделал свой конец: прелесть. Теперь пишет сказку гекзаметрами вроде своего «Красного карбункула»[36], и те же лица на сцене. Дедушка, Луиза, трубка и проч. Все это явится в новом издании всех его баллад, которые издает Смирдин в двух томиках. Вот все, чем можно нам утешаться в нынешних горьких обстоятельствах.

М. П. Погодину. *Конец (27—30) июня 1831 г. Из Царского Села в Москву*

<...> Вы знаете, что у нас холера; Царское Село оцеплено, оно будет, вероятно, убежищем царскому семейству. В таком случае Жуковский будет сюда и я дождусь его, чтоб вручить ему вашу посылку. Напрасно сердитесь вы на него за его молчание. Он самый неаккуратный корреспондент и ни с кем не в переписке. Могу вас уверить, что он искренно вас уважает. <...>

П. А. Плетневу. *Около (не позднее) 11 июля 1831 г. Из Царского Села в Петербург*

<...> Грустно мне было услышать от Жуковского, что тебя сюда не будет. Но так и быть: сиди себе на даче и будь здоров. Россети черноокая[37] хотела тебе писать, беспокоясь о тебе, но Жуковский отсоветовал, говоря: он жив, чего ж вам больше? <...>

М. П. Погодину. *Конец июля 1831 г. Из Царского Села в Москву*

<...> Уведомляю Вас только, что поручение Ваше, касательно «Статистики Петра I», исполнено; Жуковский получил экземпляры для великого князя и для себя; экземпляром, следующим великому князю Константину, расположил он иначе. Жуковский представит его императрице. <...>

П. А. Вяземскому. *3 августа 1831 г. Из Царского Села в Москву*

<...> В Сарском Селе покамест нет ни бунтов, ни холеры; русские журналы до нас не доходят, иностранные получаем, и жизнь у нас очень сносная. У Жуковского зубы болят, он бранится с Россети; она выгоняет его из своей комнаты, а он пишет ей арзамасские извинения гекзаметрами.

..чем умолю вас, о царь мой небесный —
......прикажете ль? кожу
Дам содрать с моего благородного тела вам на калоши,
......прикажете ль? уши
Дам обрезать себе для хлопушек — и проч.[38]

Перешлю тебе это чисто арзамасское произведение. <...>

Ему же. *14 августа 1831 г. Из Царского Села в Москву*

<...> Услыша о сем радостном для «Арзамаса» событии, мы, царскосельские арзамасцы, положили созвать торжественное собрание. Все присутствующие члены собрались немедленно, в числе двух. Председателем по жребию избран г-н Жуковский, секретарем я, сверчь. Протокол заседания будет немедленно доставлен Вашему арзамасскому и камергерскому превосходительству (такожде и сиятельству). Спрашивали члены: зачем Асмодей не является ни в одном периодическом издании? Секретарь ответствовал единогласно: он статьи свои отсылает в «Коммерческую газету» без имени. Спрашивали члены: давно ли Асмодей занимается Коммерческой? выигрывает ли он в коммерческую? Председатель ответствовал единогласно же: в коммерческую выиграл он ключ[39], и теперь Асмодей перейдет к банку. <...> У Жуковского понос поэтический хотя и прекратился, однако ж он все еще ——— гекзаметрами. <...>

Ему же. *3 сентября 1831 г. Из Царского Села в Москву*

<...> Жуковский все еще пишет; завел 6 тетрадей и разом начал 6 стихотворений[40]; так его и несет. Редкий день не прочтет мне чего нового; нынешний год он, верно, написал целый том. Это хорошо было бы для журнала. <...>

Вчера Дона Соль[41] получила при мне и Жуковском письмо от своего брата; он от имени Катерины Андреевны спрашивает у Жуковского его мнения: приезжать ли ей в Петербург или оставаться в Москве. Жуковский сказал, что если б он имел сто языков, то все бы они заговорили: приезжайте к нам, к нам, к нам. Себялюбие в сторону, я точно того же мнения; холера в Петербурге прекратилась, а у вас опять начинается. <...>

Ему же. *Середина (около 15) октября 1831 г. Из Царского Села в Москву*

<...> Жуковский и Россети в Петербурге. Жуковский написал пропасть хорошего и до сих пор все еще продолжает. Переводит одну песнь из «Marmion»[42], славно. <...>

И. В. К и р е е в с к о м у. *11 июля 1832 г. Из Петербурга в Москву*

<...> донос, сколько я мог узнать, ударил не из булгаринской навозной кучи, но из тучи. Жуковский заступился за вас с своим горячим прямодушием[43].<...>

Н. Н. П у ш к и н о й. *8 октября 1833 г. Из Болдина в Петербург*

<...> Коли увидишь Жуковского, поцелуй его за меня и поздравь с возвращением и звездою: каково его здоровье? напиши. <...>

Е й ж е. *21 октября 1833 г. Из Болдина в Петербург*

<...> Жуковского и Вьельгорского, вероятно, ты уже видела. Что Жуковский? Мне пишут, что он поздоровел и помолодел. Правда ли? Что ж ты хотела женить его на Катерине Николаевне? <...>

В. Ф. О д о е в с к о м у. *30 октября 1833 г. Из Болдина в Петербург*

<...> Вы обрадовали меня известием о Жуковском. Дай Бог, чтоб нынешний запас здоровья стал ему лет на пять; а там уж как-нибудь да справится. <...>

Н. Н. П у ш к и н о й. *Около (не позднее) 14 июля 1834 г. Из Петербурга в Полотняный завод*

<...> На днях хандра меня взяла; подал я в отставку. Но получил от Жуковского такой нагоняй, а от Бенкендорфа такой сухой абшид, что я вструхнул и Христом и Богом прошу, чтоб мне отставку не давали[44]. <...>.

Н. М. К о н ш и н у. *21—22 декабря 1836 г. Из Петербурга в Царское Село*

<...> Жуковского увижу и сдам ему Вас с рук на руки. С Уваровым — увы! я не в таких дружеских сношениях, но Жуковский, надеюсь, все уладит[45]. <...>

А. М. Тургенев

<В. А. ЖУКОВСКИЙ В МОСКВЕ В 1837 ГОДУ>

22 июля 1837 г. Москва

Вчера условились мы как можно ранее отправиться на Воробьевы горы. В четвертом часу пополуночи 27 числа (вторник) я был уже в Кремлевском дворце в комнатах чистой души Андреевича[1]; сказал слуге его разбудить молодца: это, правду сказать, помедлилось несколько. В. А. лег поздно спать, однако же в 5 часов с четвертью мы уже стояли на верху Воробьевых гор. Столь раннее путешествие предпринято в намерении снять московские виды. Кто не знает величественного, прелестного вида с Воробьевых гор на Москву, того можно назвать жалким человеком в мире. Но мы были немного опечалены. Густое, непроницаемое облако коричневого изсветла цвету покрывало Москву белокаменную — как пеленою. Что делать — утро пропало! Ожидая, что облако это восходящее солнце разложит, мы послали в селение на Горах за молоком и черным хлебом. Скоро принесли нам кувшин свежего, холодного и вкусного молока, два ломтя черного хлеба, два стакана; мы съели по куску хлеба, выпили по стакану молока. Между тем густое облако кое-где поредело, обнаружилось несколько предметов; чистая душа уселся в тени столетнего вяза и начал снимать вид[2], а я, не умея рисовать, любовался прекрасными видами, смотрел на Москву, погруженный в задумчивость, с каким-то неизъяснимым душевным удовольствием и вспомнил о прошедшем, вспомнил о своей молодости, о бывших со мною на Воробьевых горах случаях и о том, что я был здесь в 1800 году. Тридцать семь лет протекло с того времени. А кажется, как будто все вчера только было! День был прежаркий, солнце начало несносно палить, и было еще надобно в 9-м часу В. А. быть в Донском монастыре.

В девять часов государь наследник обещал в монастырь приехать. Чистая душа сказал мне: «Ну, брат Михалыч, едем в Донской; надобно будет сюда еще приехать, и думаю, после обеда, под вечер, снимать вид лучше, — теперь нельзя рисовать: все предметы кажутся в тумане, красками это было бы превосходно». Сели в карету и покатили в Донской монастырь. <...>

Государь наследник изволил из Даниловского монастыря поехать осматривать Голицынскую больницу, а оттуда его высочество изволил

отправиться в манеж Александрийского дворца, где его высочеству было благоугодно выбрать и испытать себе коня на маневры. Времени было много. Чистая душа Андреевич уселся в саду в тени и начал чертить карандашом виды. К счастью, явился к нему главный садовник дворцовых оранжерей и садов, deutscher Mann und zwar aus Bamberg gebürtig*. Щедрый немчин вмиг представил русский самоварец, и пошло пированье! — чай со сливками, белым хлебом, сухарями был нам очень по душе, — и мне и Андреевичу и есть и пить не шутя хотелось. <...>

Услужливый gefälliger** немчин-садовник принес тарелку черных превкусных вишен. Как они были кстати, как я их ел! Признаюсь по-графски, — да я, сказать правду, более 20 лет таких крупных, вкусных вишен, какие дал наш бамбергский уроженец, не ел! Не много из них досталось чистой душе Андреевичу. Ему и некогда было — он рисовал. Вишни почти все за мной остались.

В три часа кончил Андреевич свое рисование, и мы отправились в город. На другой день, т. е. 28-го числа (среда), назначили ехать в Коломенское, Симонов монастырь, в Новоспасский, куда его высочество изволило ехать осмотреть местоположение и древности, какие где еще остались.

28 июля. Среда. Москва

В 4 часа пополуночи 28-го числа разбудил я камердинера Андреевича, который сказал мне: «Дайте уснуть В. А., его превосходительство изволили поздно лечь почивать». На 28-ое во всю ночь лил сильный дождь, все в природе освежилось, отдохнуло от жаров, простоявших беспрерывно 10 дней и доходивших до 27—28 градусов в тени; на солнце, сказывали мне, было 35 и до 37. Это по-нашему, по-астрахански. Жажда меня не томила в жар; я не знаю, что такое томиться от жажды, как то видно над другими, однако же заметил, что я поутру и вечеру пил чаю почти вдвое обыкновенной моей меры. Все небо было еще покрыто облаками, ветер дул сильно с юга, казалось — без дождя не обойдется, и я думал, что путешествие наше будет отложено.

В 5 часов слуга разбудил Андреевича, карета была уже готова, чистая душа скоро прихолился, оделся, и мы отправились через коломенскую заставу. Ехали менее часа.

Я увидел село Коломенское ровно через 37 лет, а Василий Андреевич видел это прелестное, очаровательное место, может быть, в первый раз в жизни. <...>

Василий Андреевич в Коломенском снимал виды с двух мест, был доволен своею работою и прохладою погоды. По милости его и мое короткое туловище узрит потомство! Он заставлял меня становиться два или три раза в некотором от себя отдалении, чтобы и мой прекрасный стан поместить в рисунок. <...>

---

* немец и даже уроженец Бамберга (*нем.*).

** любезный (*нем.*).

Слава русской поэзии, друг мой Жуковский, сидит с карандашом под сосною и чертит каракули в десяти шагах от меня!!! Wunder, Wunder — grosser Gott!* Неужели достопамятная среда <...> в жизни моей 28 июля, день, в который было столь много воспоминаний о великом, о старине нашей, — день, в который мы видели село Коломенское, отыскивали под углом церкви надгробный камень Осляби и Пересвета[3], были, сидели и рисовали у Лизина пруда[4] и были в гостях у пьяного архимандрита! неужели об этом не узнает потомство?

Совсем было забыл: у Лизина пруда Андреевич, сидевши под березой, снимал вид с церкви старого Симонова, в которой под углом заложены два камня предлинные и пребольшие, покрывающие прах двух богатырей, посланных князю Димитрию Донскому святым архимандритом Сергием, ныне чудотворцем Радонежским, на битву с Мамаем на поле Куликово.

....

От Лизина пруда поехали мы в Новоспасский монастырь. Здесь под церковью осматривали гробницы предков царского рода Романовых. Тут же погребены князья Сицкие и царевичи и царевны сибирские да митрополит Сарский и Подонский. <...>

29-го июля

Встретил Андреевича, шедшего с крыльца. «Мы едем завтра в Воскресенск, — тебе со мной нельзя, мне навязали Муравьева[5] со мной ехать». — «В добрый час тебе — ступай благополучно», — сказал я другу и пошел к себе писать Ермолафию. <...>

1-е августа 1837 г. Москва

В 8 часов пополуночи сегодня, 1-го августа, был я у друга Андреевича в Кремле. Высоко живет — две большие лестницы прежде должно влезть, чтобы до него добраться. Видно, 60 моих годов начинают требовать к себе уважения; войдя к другу, я почувствовал в 1-й раз, что верноподданные крепостные мои ноги очень хотели, чтобы я сел и тем освободил от ноши.

Великий князь завтра изволит ехать в Троицкую лавру. «Если что не помешает, Михалыч, мы едем вместе». — «Хорошо, еду», — сказал я. Андреевич облекся во вся тяжкая, то есть мундир и все ордена, отправился в Николаевский дворец к цесаревичу, и я спустился на площадь пред Грановитою палатою, хотел идти в Успенский собор, да не пустили: нас, отставных, on traite en canaille**. <...>

---

* Чудо, чудо — великий Боже! (*нем.*).

** считают канальями (*фр.*).

2-ое августа 1837 г. Москва

Понедельник, 2-го августа, пополуночи в 3 часа и три четверти взобрался я к другу Андреевичу в Кремлевском дворце: карета дорожная, шестью конями запряженная, стояла у крыльца: у ямщиков нашиты номеры на шляпах, и смотритель-почтальон при них сказал мне: все готово. Комнатный слуга и постельник (камердинер) еще спали; взбудив народ, велел подать себе огня и расположился в креслах с сигарою в зубах. Андреевич лег спать в 2 часа, кряхтел, когда его будили, однако скоро встал, скоро снарядился. Ему подали кофе, а мне чай; в половине шестого часа, благословяся, мы покатили в лавру Троицкую к святому Сергию чудотворцу.

Вместо трех перемен было три прибавлено, и мы в три часа двадцать минут приехали в Сергиевский Посад — от Москвы 61 да от Кремля до заставы, верно, 7 верст, итого 68 в три часа двадцать минут: семнадцать верст в час — быстро ехали; двадцать минут времени прошло при переменах лошадей. На козлах с кучером торчал лакей придворный, и поэтому во всех селах по дороге священники в облачении, с животворящим крестом, со хоругви нам выходили, осеняли нас святым крестом, а эклезиярхи звонили во все колокола без пощады! В селе Рахманове стоял на коне служка монастырский и, едва завидел нашу карету, во всю прыть пустился скакать в монастырь подать весть о прибытии цесаревича в село Рахманово.

Высокопреосвященный митрополит Филарет спешил возложить одежды, облачение и архимандриты, и иереи и всем собором пошел к святым вратам ожидать прибытия его высочества. Мы догадались, что скакун-служка наделает в Лавре кутерьму, думали-придумывали, как бы это упредить, да как? косматый послушник летел пред нами вихрем! Скоро вскакали мы в Посад и не без затруднения могли заставить ямщиков остановиться потому, что во всех церквах звонили во все колокола и из всей силы. — Мы вышли из кареты и поспешили к стоящему пред церковью священнику с святым крестом — диакон с кадилом, усердствующие православные держали хоругви — сказать, что великий князь едва ли еще через час изволит прибыть. Не тут-то было. Священник осенял крестом, диакон кадил, дьячок и пономарь пели. Что было делать? Дожидаться, пока окончат всю проделку? Наконец умолкло пение, но колокола звонили. Андреевич толковал священнику, что мы — не великий князь, что его высочество не прежде изволит прибыть, как через час. Уймитесь звонить, отцы святые. На это со всею простотою души сказал диакон: «Да уймись звонить, слышишь, в Лавре в царь звонят».

Карете велели тихо спускаться с горы, сами пошли пешком, стараясь уверить, что его высочество еще не прибыл. Но смотрим: чины всей ратуши в мундирах нас встречают! С этими господами было нетрудно изъясниться: у них не было колоколов. Пошли мы далее. Сойдя с горы,

друг чистая душа увидел уголок, сказал мне: «Михалыч, вот здесь бы порисовать — прекрасный вид, да где бы приютиться?» Я указал ему лавку подле будки: «Садись здесь, — сказал ему, — тебе и солнце печь не будет». Он приютился, а я пошел в Лавру уведомить митрополита, что прибыл г. Жуковский, а его высочество государь наследник изволит прибыть не прежде как через час. <...>

ЗАМЕТКА А. М. ТУРГЕНЕВА, НАПИСАННАЯ ПОСЛЕ СМЕРТИ В. А. ЖУКОВСКОГО

Не только мы, знавшие чистоту души в Бозе почившего друга нашего, да и те, которые знали его по виду, которым он был чужд, услышав последнюю весть о нем, сказали: праведен был человек сей на земле! Потеря наша в сем мире невозвратна, но, доколе будем здесь существовать, память о нем будет для нас священна, образ его незабвенным, не изгладится в помыслах наших. Он — Жуковский — всегда останется с нами, всегда присутственным в душе нашей.

Прискорбно будет всем русским, если тело его усопшего оставят в земле чуждой, если не воздвигнут памятника, свидетельствующего о доблестях и достоинствах его позднейшему потомству.

В последнем его письме ко мне, полученном в ноябре прошлого года (1851), он говорил о непрестанном его желании возвратиться на родину и сказал: «Смотри, Ермолаф, не сыграй ты со мной шутки, не убеги до моего возвращения».

А. В. Кольцов

ИЗ ПИСЕМ

А. А. Краевскому. *16 июля 1837 г. Воронеж*

Седьмого июля был у нас, в Воронеже, дорогой гость, великий князь, и с ним Василий Андреевич Жуковский[1]. Я был у него, он меня не забыл. Ах, любезный Андрей Александрович, как он меня принял и обласкал, что я не нахожу слов всего вам пересказать. Много, много, много, — и все хорошо, прекрасно! Едва ли ангел имеет столько доброты в душе, сколько Василий Андреевич. Он меня удивил до безумия. Я до сих пор думаю, что это все было со мной во сне, да иначе и думать невозможно. Жаль, что не могу всего рассказать вам подробно; словом, чудеса... Дай Бог ему доброго здоровья. Я благоговел перед ним. Приезд Василия Андреевича в Воронеж много меня осчастливил. Не только кой-какие купцы, и даже батенька не верил кой-чему, теперь уверились. И ничего, слава Богу! Много бы, много вам об этом надобно поговорить, да не могу; душа чувствует, да высказать не может. Словом, мне теперь жить и с горем стало теплей дюже. <...>

В. А. Жуковскому. *2 мая 1838 г. Москва*

<...> Бывало, в тесной моей комнатке поздно вечером сидел один и вел беседу с вами, Пушкиным, князем Вяземским и Дельвигом[2]. Как хорошо тогда мне было! Какою полной жизнью жила моя душа в беспредельном мире красоты и чувства! На легких крылах вашей фантазии куда не уносился я мечтою! Где не был я тогда! Бывало, скоро свет, а я сижу да думаю, не сводя глаз с портретов ваших: как хороши эти люди, Боже мой! как хороши! Где же живут они? Небось в Москве да Питере? Где это Москва да Питер? Ох, если б мне удалось побыть в них! Уж как-нибудь, а посмотрел бы я из них хоть на одного. Пришло время, был я на Москве и на Питере, видел всех милых мне людей издавна, был у вас, благоговел пред вашею святынею. <...>

В. Ф. Одоевскому. *15 февраля 1839 г. Воронеж*

<...> Кроме минуты священного унынья, если были когда-нибудь в моей жизни прекрасные минуты, которые навсегда остались памятными мне, то все они даны мне вами, князем Вяземским и Жуковским: вы могучею рукою разогнали грозную тучу, вы из непроходимого леса моих горьких обстоятельств взяли меня, поставили на путь и повели по нем. <...>

В. А. Жуковскому. *1 декабря 1839 г. Воронеж*

Ваше превосходительство, милый и любезный наш поэт Василий Андреевич! Дело, в котором вы по доброте души вашей приняли живое участие, наконец, слава Богу, получило решительный конец; иск свалился с плеч моих долой; большая беда прошла, и моя свобода, и свобода отца моего еще у нас. Как тяготило, мучило меня и все семейство и старика отца это проклятое дело![3] Семь лет и день и ночь — история одна, и, если бы не вы, что бы с нами было? И все значенье цифры смяло б до нуля. Бывши мальчиком еще, уча наизусть ваши творения, душой сживаясь с ними, по ним любя всех вас, думал ли я в ту пору, что придет время: увижу вас, обласкан буду вами, и как обласкан! и что милый поэт России примет меня под свое покровительство, что в мутную пору матерьяльных обстоятельств примет меня под свою защиту и отведет от беззащитной головы страшную тучу, выведет из мрака моего забвения, укрепит доброе имя, даст другое мнение, лицо и жизнь: думал ли я когда-нибудь? Даже до этих пор, часто в сладком воспоминании воскрешая прожитое время в Петербурге, ваши ласки, внимание, покровительство, ваше посещение Воронежа, оживляя вас самих у себя дома, в своем городе, — думаешь и сам не знаешь, что это было: сон или быль? волшебная сказка или святая истина? Выше всех понятий возвысили вы меня, и что же я, — чем заплатил вам за все это и чем заплачу за все, что сделано вами для меня? Ничем, — ровнехонько ничем... Тяжело быть должным — и не иметь никакой возможности заплатить долга; одной же искренней душевной благодарности, горячего чувства весьма недостаточно, мало, чтоб уничтожить всю силу моих желаний. Надеяться на будущее? Но что же будущее мне даст? Кругом туман и тьма; какой, откуда луч засветит мне? Возможно ли для самой мочной воли олицетворить себя до невозможности? Есть чудеса и будут, но для меня они уж исключенье: ужасное сознанье робкой думы: «будь то, что будет!» До тех пор примите вновь от меня за сделанное добро одну искреннюю, чистую, горячую благодарность от моей души. Больше ее я ничего не могу вам ни сделать, ни сказать; нет жизни у меня для вас, кроме этой жизни... Чувствую, что лучше бы было мне приехать нарочно в Питер и благодарить вас лично, но этого я не могу сделать теперь. <...>

Чтобы не наскучить вам многим, посылаю одну пьеску[4], которую, если вам понравится, хотел бы посвятить вашему имени... Вы милый наш поэт, поэт народной жизни русского духа и человек государственный! Соединить эти две великие крайности довольно трудно и тяжело, а вы соединили их <...> Поэтому каждый час вам, кроме моих безделок, необходимо дорог для дел великих и святых...

Вновь за принятое покровительство в моем деле приношу вам благодарность, — не ту благодарность, которая холодно выговаривается в холодной букве, но ту благодарность, которая долго и глубоко живет в

теплой груди сознательного человека; которая меньше выговаривается, но в тысячу раз больше чувствуется на каждом шагу нашей жизни. <...>

В. Г. Белинскому. *27 генваря 1841 г. Москва*

<...> Жуковский в Москве. Я у него был[5]; говорил мне, что он слышал, что я немного знаю философию, жалеет об этом; советует бросить все к черту. «Философия — жизнь, а немцы — дураки» — и проч.[6] <...>

В. Ф. Одоевскому. *22 марта 1841 г. Воронеж*

<...> Наскучил я вам своими просьбами или нет, угодно ли вам быть моим покровителем или не угодно, — не знаю сам. Имея нужды, лезу с ними к вам, прошу вас. Да и кого ж мне больше просить о них? У меня, кроме вас, князя Вяземского и Василия Андреевича Жуковского, никого нету, кому бы мог передать их так, как вам. Кто, кроме вас, был и будет ко мне так снисходителен, как вы? Не один месяц, а годы, — целые годы подтвердили эту истину. Каковы вы были ко мне в первый, точно таковы же остались и в последний раз: хороши, ласковы и добры. Василий Андреевич Жуковский, бывши у нас в Воронеже, просил обо мне нашего губернатора Лодыгина; по его просьбе Лодыгин был ко мне всегда хорош, делал мне много добра. Кой-какие люди, Бог знает из чего, на всяком шагу делали мне неприятности; но под защитою Лодыгина наконец делать их мне перестали, и все у нас с ними пошло мирно и покойно. <...>

М. Ф. де Пуле

ИЗ КНИГИ «АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КОЛЬЦОВ В ЕГО ЖИТЕЙСКИХ И ЛИТЕРАТУРНЫХ ДЕЛАХ И В СЕМЕЙНОЙ ОБСТАНОВКЕ»

<...> Здесь будет кстати рассказать о приезде в Воронеж, в июле 1837 г., наследника цесаревича (ныне государя императора Александра Николаевича), в свите которого находился В. А. Жуковский. Пишущий эти строки был тогда учеником III класса, когда воронежскую гимназию посетил наследник[1]. Внимание гимназистов было обращено на двух лиц, находившихся в свите великого князя, обворожившего всех своею приветливостью, — на Жуковского и Арсеньева[2]: одного они знали как поэта, другого как автора географического учебника. На другой день посещения гимназии наследником гимназисты, к своему удивлению, были вновь собраны в гимназии: это удивление разъяснилось тогда, когда уже все были в сборе. Оказалось, что Жуковский и Арсеньев пожелали быть в гимназии вторично, запросто. <...> Особенно понравился всем В. А. Жуковский (несомненно и устроивший это посещение) — ученикам и учителям. С последними он беседовал особенно, и речь его была о Кольцове: он говорил о его общественном положении, о его стремлении к самообразованию и о трудностях, соединенных с этим; он советовал и даже просил воронежских педагогов, как людей просвещенных, сблизиться с поэтом-прасолом. Кому из писателей и чем не был полезен Жуковский, этот добрейший и благороднейший из людей и поэтов! Приезд наследника произвел большой переполох в семье Кольцовых. Квартира его высочества была в доме губернского предводителя дворянства (В. В. Тулинова), находящемся на той же улице, где и дом Кольцовых. В самый день приезда цесаревича является к Кольцовым жандарм и требует к губернатору Алексея Васильевича. Семья нашего поэта страшно перепугалась, но этот испуг сменился восторгом, когда объяснилось, в чем дело, — когда узнали, что Алексея Васильевича просил к себе Жуковский, встретивший его чрезвычайно ласково. Великий князь наследник пробыл в Воронеже, сколько помнится, более двух суток, употреби их на осмотр городских достопримечательностей и, кажется, на смо квартировавшей в губернии драгунской дивизии. Все свое свободное врем Жуковский проводил с Кольцовым. Он был у него в доме, познакомился с семьей, пил чай. Весь город видел, как знаменитый поэт и воспитатель

наследника престола прогуливался (пешком и в экипаже) по городу вместе с поэтом-прасолом, где и над чем они останавливались, где присаживались для отдыха, — как, напр., на Острожной горе, с которой открывается прекрасная заречная панорама[3]. Уже не говоря о родных Кольцова, весь город изумлялся тому, что было у всех на глазах. Удивлялся всему и гимназический мир (учителя и ученики), удивлялись совету Жуковского, данному Кольцову, — собирать песни и сказки[4]: совет этот, назад тому сорок лет, поражал даже образованных людей, по крайней мере провинциальное большинство. Если представление Кольцова государю Николаю Павловичу (через Жуковского) считать фактом, то представление его наследнику цесаревичу, в Воронеже или Петербурге, тем менее может подлежать сомнению. <...>

Посещение Жуковского до сих пор хранится в памяти родных Кольцова, но уже приняло легендарный характер. Вот рассказ о нем, недавно записанный для нас (М. И. Некрасовым) со слов одного из них. На вопрос: не помнит ли он чего о Жуковском? рассказчик отвечал: «Это о том, что приезжал с государем, когда он был маленьким? Как же, помню! Вот этот самый Жуковский и спрашивает Василья Василича Тулинова — он тогда был губернским предводителем: „Покажите мне, — говорит, — Кольцова“. А его, Алексея-то Василича, тогда никто не знал. „Какого Кольцова? — спрашивает Василий Василич, — есть у нас, — говорит, — Кольцов, который скотом торгует“. — „Я, — говорит Жуковский, — не скоту говорю и не о скотах, тебе говорю“... Делать нечего, — послали жандарма и привели Алексея Василича. А он был тогда так себе, простой: в длинном сюртуке, волосы в скобку, вот как у меня. Как пришел Алексей Василич, а гостей у Жуковского страсть! „А, друг мои Алексей Василич! — и сейчас его в кабинет, а гостям и говорит: — Ну, мне теперь не время, приходите завтра“. Долго они промеж себя разговаривали. Жуковский хотел было вести его к государю, но Алексей Василич отговорил его. А потом они сели в коляску и поехали по присутственным местам. Ну тут же узнали все Алексея Василича, весь город. Да что и говорить! К нему езжали и другие, вот хоть сенатор Глинкин!» <...>

А. И. Герцен

ИЗ «БЫЛОГО И ДУМ»

Наследник будет в Вятке! Наследник едет по России, чтоб себя ей показать и ее посмотреть! Новость эта занимала всех, но всех более, разумеется, губернатора. <...>

Между разными распоряжениями из Петербурга велено было в каждом губернском городе приготовить выставку всякого рода произведений и изделий края и расположить ее по трем царствам природы. Это разделение по царствам очень затруднило канцелярию и даже отчасти Тюфяева. Чтоб не ошибиться, он решился, несмотря на свое неблагорасположение[1], позвать меня на совет.

— Ну, например, мед, — говорил он, — куда принадлежит мед? Или золоченая рама, как определить, куда она относится?

Увидя из моих ответов, что я имею удивительно точные сведения о трех царствах природы, он предложил мне заняться расположением выставки. <...>

В восьмом часу вечера наследник с свитой явился на выставку. Тюфяев повел его, сбивчиво объясняя, путаясь и толкуя о каком-то *царе* Тохтамыше. Жуковский и Арсеньев, видя, что дело не идет на лад, обратились ко мне с просьбой показать им выставку. Я повел их.

Вид наследника не выражал той узкой строгости, той холодной, беспощадной жестокости, как вид его отца; черты его скорее показывали добродушие и вялость. Ему было около двадцати лет, но он уже начинал толстеть.

Несколько слов, которые он сказал мне, были ласковы, без хриплого, отрывистого тона Константина Павловича, без отцовской привычки испугать слушающего до обморока.

Когда он уехал, Жуковский и Арсеньев стали меня расспрашивать, как я попал в Вятку, их удивил язык порядочного человека в вятском губернском чиновнике. Они тотчас предложили мне сказать наследнику об моем положении, и действительно, они сделали все, что могли. Наследник представил государю о разрешении мне ехать в Петербург. Государь отвечал, что это было бы несправедливо относительно других сосланных, но, взяв во внимание представление наследника, велел меня перевести во Владимир: это было географическое улучшение: семьсот верст меньше. <...>

ИЗ ПИСЕМ

Н. А. Захарьиной. *15—19 мая 1837 г. Вятка*

<...> Сейчас с бала, где был наследник[1]. Ночь поздняя, и я устал ужасно. Поздравь меня, князь был очень доволен выставкой, и вся свита его наговорила мне тьму комплиментов, особенно знаменитый Жуковский, с которым я час целый говорил; завтра в 7 часов утра я еду к нему[2]. — Много ощущений, но все смутно, ни в чем еще не могу дать отчета, и ты, ангел, не брани, что на этот раз вместо письма получишь белую бумагу.

Ей же. *28 мая 1837 г. Вятка*

<...> Я обдумываю новую статейку «I Maestri», воспоминание из моей жизни, Дмитриев и Жуковский. <...>

Ей же. *18—23 июня 1837 г. Вятка*

<...> Я был очень угнетен этими гадкими людьми, и вдруг мне явилась светлая полоса. Великий поэт оценил меня, надежды заблистали, и я радовался, — так еще я мал и ничтожен. <...>

Ей же. *28—30 июня 1837 г. Вятка*

<...> Сейчас прочел я «Ундину» Жуковского[3] — как хорош, как юн его гений. Я пришлю ее тебе. Вот два стиха, служащие лучшим выражением моего прошлого письма, продолжением его:

В душной долине волна печально трепещет и бьется;
Влившись в море, она из моря назад не польется.

Мы два потока; ты — широкий, ясный, отражающий вечно голубое небо, с солнцем. Я — бурный, подмывающий скалы, ревущий судорожно, — но однажды слитые, не может быть раздела. <...>

Мои «Maestri» исправлены, эта статья очень хороша. <...> Эта статья «I Maestri» — первый опыт прямо рассказывать воспоминания из моей жизни — и она удачна. «Встреча», которая у тебя[4], — частный случай; эта уже захватывает более и представляет меня в 1833, 1835, 1837 году — годы, отмеченные в ней тремя встречами: Дмитриев, Витберг и Жуковский.

Ей же. *16 августа 1837 г. Вятка*

<...> Ну, скажи, можно ли было надеяться, что в этой Вятке я найду себе защитника, и где же — возле самого престола, и кому обязан я этим — великому человеку, Жуковскому. <...>

Ей же. *9 декабря 1837 г. Вятка*

<...> Жуковский читал «I Maestri»[5] — желал бы знать мнение поэта. <...>

Ей же. *14 декабря 1837 г. Вятка*

Ну, прощай же, прощай, город, в котором прошли почти три года моей жизни. <...> Здесь стоял я у изголовья несчастного Витберга, здесь видел поэта во всей славе — Жуковского. <...>

Ей же. *11 января 1838 г. Владимир*

<...> Жуковский, прочитав «I Maestri», сделал **на тетради отметки,** вот драгоценность — жаль, что я не видал. <...>

Ей же. *13 января 1838 г. Владимир*

<...> Арсеньев и Жуковский работают[6] — **и вдруг удастся им, меня** возьмут в Петербург. <...>

Ей же. *15 января. Ночь*

Любопытны некоторые сближения чисел. В мае месяце ты целую неделю грустишь ужасно, наконец вечером 18 числа с каким-то восторгом пишешь, что радость снова посетила твою душу, что ты опять тверда и высока. В эту самую минуту я стоял перед наследником, и Жуковским, и Арсеньевым — это была одна из решительнейших минут моей жизни[7]. <...>

Ей же. *30 января 1838 г. Владимир*

<...> Жуковского отметки не на твоем экземпляре, а на папенькином, — у тебя с ним сходен вкус: он поставил черту против последних строк[8]. <...>

А. Л. Витбергу. *24 февраля 1838 г. Владимир*

<...> Вы угадали, Жуковский вымарал пять последних строк в «I Maestri». <...>

Н. А. Захарьиной. *11 марта 1838 г. Владимир*

<...> Шиллер — вот твой автор, еще кто? — Жуковский — и только. <...>

А. Л. Витбергу. *Конец мая 1838 г. Владимир*

<...> Вам, верно, будет очень приятно узнать, Александр Лаврентьевич, как высокие души симпатизируют. Василий Андреевич Жуковский не забыл встречи с вами[9], он говорил в Москве везде о том, что жалеет, что храм будет не ваш, предлагал даже спросить вашего мнения о новом проекте[10] и вообще отзывался как поэт Жуковский. <...>

Ему же. *13 сентября 1839 г. Москва*

<...> Я виделся здесь с Жуковским, но особенно замечательного сказать не могу. <...>

Ему же. *Около 12 октября 1839 г. Владимир*

<...> Виделся я с Жуковским[11], но как-то в шуме, в вихре, когда все в Москве торопилось, суетилось и Василий Андреевич торопился, суетился. <...>

Н. А. Герцен. *17 декабря 1839 г. Петербург*

<...> Сегодня мне счастье, с утра пошло хорошо, я был у Жуковского — он тот Жуковский, о котором писано в «Maestri».

Ей же. *20 декабря 1839 г. Петербург*

<...> Еду сейчас к Жуковскому, там решим, что сделать еще, и куда определиться, и как и пр., и пр.

А. Л. Витбергу. *3 января 1840 г. Владимир*

<...> Только что приехал и спешу уведомить вас, что я в Петербурге виделся с В. А. Жуковским, который принимает в вас участие художника и поэта[12]; я говорил ему насчет ваших финансов, и он поручил написать вам следующее: напишите к нему письмо, известите, что получили право выезда и что не едете оттого, что нет средств. — Он в большой силе. Меня, кажется, скоро переведут в министерство внутренних дел. <...>

В. К. Кюхельбекер

ИЗ «ДНЕВНИКА»

1832

2 июля. С удовольствием я встретился в «Вестнике» с известною «Элегиею» покойного Андрея Тургенева[1] (брата моих приятелей); еще в Лицее я любил это стихотворение, и тогда даже больше «Сельского кладбища», хотя и был в то время энтузиастом Жуковского. <...> Несчастна Россия насчет людей с талантом: этот юноша, который в Благородном пансионе был счастливый соперник Жуковского и, вероятно, превзошел бы его, — умер, не достигнув и двадцати лет.

16 июля. «Вадим» Жуковского[2] (в прозе, а не 2-я часть «Двенадцати спящих дев») — ученическое произведение, но спасибо Жуковскому, что он тут в введении вспомнил столь рано отцветшего Андрея Тургенева, которого я никогда не знавал, но память которого была мне всегда — не знаю почему — любезна. <...>

12 августа. В дурном и глупом, когда оно в величайшей степени, есть свой род высокого — le sublime de la bêtise[*], то, что Жуковский называл «чистою радостью», говоря о сочинениях Х<востова>[3]. <...>

23 августа. В книжках «Вестника» на 1807 год попадаются басни Жуковского мне вовсе неизвестные, также и эпиграммы[4]; некоторые из них очень недурны: жаль, что Жуковский исключил их из собрания своих стихотворений, — они по крайней мере разнообразили бы издание, которое теперь состоит из пьес большею частию на один и тот же тон — уныло-таинственный. Достойно примечания, что единственная басня не выброшенная — «Сон могольца» — именно никуда не годится».

29 августа. Принесли мне последний том «Вестника» на 1807 и три тома того же «Вестника» на 1808 год. Должно признаться, что сии три тома, изданные Жуковским, по красивой, почти роскошной наружности, особенно картинкам, каких и ныне у нас мало, чуть ли не занимают первого места между русскими журналами, не исключая и «Телеграфа»[5]. Выбор статей также, кажется, лучше, чем у Каченовского (сверх того должно заметить, что уже и 1807 года издания «Вестник» гораздо лучше первых годов Каченовского единственно от содействия Жуковского).

3 октября. <...> Читаю «Вестник» на 1811 год, изданный уже одним Каченовским, без участия Жуковского: при Жуковском Каче-

---

[*] возвышенное в глупости (*фр.*).

новский чинился, знал честь, — но тут он опять из рук вон — сущий лакей!

27 октября. В «Певце во стане русских воинов»[6] есть точно прекрасные строфы: но не распространить, а сократить его должно было: именно выкинуть все приторные сладости о любви, о младенческих играх, о поэтах, что тут ни к селу ни к городу. Лучшие места: Платов и смерть Багратиона; хорошо также, что говорится о Кутайсове, хотя оно и не совсем у места. <...>

4 ноября. Прочел я еще послание Жуковского к императрице Марии Федоровне[7] и его же послание к Воейкову[8]. В первом стих:

И близ него наш старец, *вождь судьбины,* —

мне напомнил, что раз, читая вместе что-то написанное Мерзляковым, я слышал от Жуковского очень справедливое замечание о словах *судьба* и *судьбина.* Первое — синоним слову *рок* — есть сила, раздающая жребии; а второе — синоним слову *жребий* — есть доля, участь, достающаяся какому-нибудь человеку, племени, народу в особенности; и их никак не должно употреблять одно вместо другого, как то он здесь употребил[9].

Второе послание, без сомнения, одно из лучших произведений Жуковского. Какая разница между ним и несносным посланием к Батюшкову[10]!

22 ноября. <...> Жуковского перевод Шиллеровой баллады «Der Graf von Habsburg»[11] мастерской, он чуть ли не из лучших переводов Жуковского (если даже не лучший). <...>

1833

7 апреля. Начал эпилог к своей поэме[12], размером же выбрал для того октаву, — но не совершенно ту, которую у нас первый стал употреблять Жуковский[13], потому что в моей октаве после первого станса следует стих мужеский. <...>

3 июля. Наконец нашел я в «Сыне Отечества» прелестную балладу Катенина «Наташа»[14]. Она, по моему мнению, принадлежит к лучшим на нашем языке. Есть, конечно, и в ней небольшие небрежности, но за каждую небрежность в «Наташе» готов я указать на такую же или даже большую в хваленых наших балладах, не исключая и «Светланы». <...>

10 августа. Нетрудно находить прекрасные стихи в сочинениях Пушкина, Жуковского, Грибоедова; но выписывать их считаю бесполезным, потому что их довольно много и, сверх того, они всем известны. <...>

15 августа. <...> сказка Глинки[15] — подражание «Овсяному киселю» Жуковского. Жаль, что Федор Николаевич никак не может или

не мог в то время (в 17, 18-м годах) удержаться от подражаний. Едва Жуковский перевел несколько Гетевых оттав[16] оттавами, как и Глинка тотчас счел обязанностию написать несколько оттав («Осеннее чувство»): едва начал ходить по рукам еще рукописный Жуковского «Кисель», как у Глинки уж и готова сказка «Труд и Бедность» (в которой много и труда, и бедности). <...>

16 августа. И нынешнее мое чтение было занимательное: прочел я <...> «Овсяный кисель» Жуковского, образец истинной простоты (в этой пиэсе мне все показалось прелестным, даже самый экзаметр, хотя я ныне решительный ненавистник этого размера). <...>

14 сентября. Описание несчастий фон Б...в в «Сыне Отечества»[17] меня сильно растрогало: особенно подаяние, о котором Греч упоминает, подаяние малютки-кантониста этому бедному семейству. Как все забывается! я уже потом вспомнил участие, какое я принимал в хлопотах за этих страдальцев, и как я за них чуть-чуть не поссорился с Ж<уковским>, которого, впрочем, побудительные причины были самые благородные.

20 сентября. <...> Прочел я еще несколько отрывков, напечатанных в «Сыне же Отечества», из «Отчета о луне» Жуковского[18]. Это, конечно, то, что Г<рибоедов> называл мозаическою работою: но в этой мозаике есть и чистое золото. <...>

6 октября. <...> Отрывок «Цеикс и Гальциона»[19] принадлежит, без сомнения, к самым лучшим метаморфозам Овидия. Перевод Жуковского мне во многих отношениях очень нравится: даже экзаметр у него как-то разнообразнее и в то же время отчетливее, чем у Гнедича. Зато «Отчет о солнце»[20] — редкая ахинея; одному только Воейкову в «Послании к жене» назначено было судьбою превзойти этот отчет в прозаизмах и многословии. Жуковского стихотворение «Жизнь»[21] и Глинки аллегория в прозе «Знакомая незнакомка» — не без достоинства; вопреки всему, что бы можно было сказать противу сего рода, мистика — близкая родня поэзии, и произведения, в которых она участвует, должны непременно стать выше большей части *умных* прозаических посланий и многих даже модных элегий.

27 ноября. <...> Статья Одоевского (Александра) о «Венцеславе»[22] всем хороша; только напрасно он Жандру приписывает первое у нас употребление белых ямбов в поэзии драматической: за год до «Русской Талии» были напечатаны «Орлеанская дева» Жуковского и первое действие «Аргивян». <...>

1834

1 ноября. <...> Жуковский переложил экзаметрами Шиллеров «Ein frommer Knecht war Fridolin...»[*][23]. Истинно не знаю, что об этом сказать,

[*] «Фридолин был скромный слуга...» (*нем.*).

однако не подлежит никакому сомнению, что с изменением формы прелестной баллады немецкого поэта и характер ее, несмотря на близость перевода, совершенно изменился.

1840

21 октября. Наконец привелось мне в дневнике говорить не о Коцебу, не о Шписе, не о Поль де Коке, а о Жуковском, которого 4-е издание[24] попалось мне в первый раз в руки в 1840-м г. В «Леноре» есть превосходные строфы; она, без сомнения, выше и «Людмилы», и «Ольги» Катенина; есть кое-какие и слабые места — но в мире нет ничего совершенного. Переделка «Батрахомиомахии»[25] в своем роде прелесть, особенно спасибо поэту, что он так удачно воспользовался русскою сказкою в лицах «Как мыши кота погребают». «Сказка о спящей царевне» мне кажется несколько слабее пушкинских хореических сказок. Зато «Царь Берендей» очень и очень хорош; из нового это после «Кота Мурлыки» самое лучшее. «Перчатка» — образцовый перевод, хотя, кажется, размер подлинника и не соблюден. Даже анекдот — «Неожиданное свидание» — рассказан умилительно прекрасно. «Две были и еще одна» (с аллеманского) не без большого достоинства, однако, по-моему, уступают старому моему знакомцу «Красному карбункулу»[26]. Жуковский едва ли не примирил меня опять с экзаметром, впрочем, все же не до такой степени, чтобы я сам стал когда-нибудь опять или писать, или даже одобрил его экзаметрических переводов «Фридолина» и «Сражения с Змеем» Шиллера, в которых рифма и романтический размер не одни украшения, а нечто такое, с чем душа моя свыклась с самого младенчества. Жена a propos de царевиче Белая Шубка[27] говорит, что белые мыши в Баргузине не редкость. <...>

23 октября. Есть два рода занимательности: когда читаешь книгу и не бросаешь ее, потому что хочешь узнать, чем-то все это кончится, или когда какое-нибудь творение уже знаешь, тогда только для того перечитываешь его страницы, чтоб опять насладиться теми из них, которые при прежних чтениях шевелили тебе душу. К первому роду занимательности способна даже самая глупая сказка, самый нелепый роман, напр<имер> «Амазонка» Фан дер Фельде или «Египетские таинства» Шписса. Другого рода занимательность уже всегда порука за дарование автора и за неподложную красоту сочинения; ее-то я вчера, сегодня и третьего дня встретил в «Красном карбункуле», который сряду перечел три раза, и всякий раз с новым наслаждением. <...>

9 ноября. Кюхельбекер в Акше получил письмо от *Жуковского из Дармштадта*[28], и письмо, которое показывает высокую, благородную душу

кстати о (*фр.*).

писавшего. Есть же, Боже мой, на твоем свете — люди! Сверх того, он прислал мне свои и Пушкина сочинения.

Письмо Жуковского писано в день рождения Миши, а получено на другой день Михайлова дня.

1841

21 февраля. (...) «Воздушный корабль», прелестная пиэса Зейдлица[29], перевод Лермонтова, живо напоминает «Ночной смотр», кажется Уланда, переведенный Жуковским. (...)

ИЗ ПИСЕМ

В. А. Жуковскому. *24 мая 1838 г. из Баргузина*

(...) Дойдут ли эти строки? вот вопрос, с которого начинаю все письма не к самым близким своим родственникам; вопрос мучительный, особенно в теперешнем случае, когда пишу к вам, почтенный Василий Андреевич, потому что изо всех, кто знавал и любил меня, — юношу, почти отрока, в живых очень, очень немногие, а вы в числе этих немногих из писателей для сердца моего занимаете первое место. Не считаю нужным уверять вас, что и без всякой другой причины это обстоятельство для меня очень важно: не дорожить расположением Жуковского было бы не только неблагодарно, было бы просто глупо. Итак, горжусь воспоминанием той дружбы, которой удостоивали вы меня с 1817 года. Вы ободряли меня при первых моих поэтических опытах; в начале моего поприща вы были мне примером и образцом. И теперь отрадно мне говорить самому себе (здесь другому этого не расскажешь): Жуковский читывал мне своего «Вадима»[1] строфами, когда еще его дописывал; Жуковский пересылал мне из Москвы свое «Для немногих»; из 10 отпечатанных экземпляров его грамматических таблиц один достался на мою долю...[2] Потом обстоятельства, мнения, люди отдалили меня от вас[3]; но и в 25-м году я нашел в вас то же сердце, столь благородное, столь мне знакомое[4]. Затем случились мои огромные заблуждения и мои несчастия, не менее огромные. Искупил ли я в ваших глазах первые последними? <...>

Ему же. *Ноября 10-го дня. 1840 г.*

<...> Благородный, единственный Василий Андреевич! Я знавал людей с талантом, людей с гением, но Бог свидетель! никто не убедил

меня так живо в истине, высказанной вами же, что Поэзия есть добродетель![5] <...> Приношу вам сердечную благодарность и за ваш дорогой подарок[6]. Ваши сочинения воскресили для меня все мое былое: при «Ахиллесе» я вспомнил, что я первый, еще в Лицее, познакомил с ним Пушкина, который, прочитав два раза, уже знал его наизусть; «Вадима» читал мне в вашем присутствии Д. Н. Блудов, по строфам, в той квартире, которую занимали вы оба в 17-м году, близ Аничковского мосту[7], и где увидел я вас в первый раз в жизни; пиэсы, отпечатанные сначала в тетрадях «Для немногих»[8], перенесли меня в скромное жилище Плетнева, куда, бывало, спешу, как только получу их из Москвы, чтобы похвастать ими перед хозяином, Дельвигом, Баратынским и поделиться с товарищами наслаждением, какое они проливали мне в душу. — Из новых пиэс я уже успел прочесть некоторые; особенно поразили меня: гениальная переделка начала «Батромиомахии», мощная «Ленора», превосходная сказка о царе Берендее и прекрасные баллады «Суд над епископом» и «Роланд оруженосец»; а из лирических «Русская слава», которая в своем роде chef d'oeuvre. Не говорю уже о милой, прелестной «Ундине»: я уже ее знал прежде и просто в нее влюбился. Не полагаю, почтенный друг (позвольте мне, изгнаннику, и теперь еще так называть вас!), что вы совершенно равнодушно прочтете и эти строки: в них говорит о творениях Жуковского un rimeur de la vieille école, один из тех, которые у Жуковского училися не пренебрегать чистотой языка и стихосложения, предметом, по-видимому, слишком ничтожным для гениальных нерях нынешнего поколения. <...>

Ему же. *21 декабря 1845 г. из Кургана*

<...> смею считать себя одним из не совсем недостойных представителей того периода нашей словесности, который, по самой строгой справедливости, должен бы назваться вашим именем, потому что вы первые нам, неопытным тогда юношам, и в том числе Пушкину, отворили дверь в святилище всего истинно прекрасного и заставили изучать образцы великих иностранных поэтов. Никто из ваших преемников никогда не передавал ни Шиллера, ни Гете, ни Байрона в таком совершенстве, как вы. Собственные ваши сочинения все живые свидетели души высокой, изящной и благородной. Вы остались и поныне жрецом того храма, в который нас впустили. После нас наступили другие мнения и толки, расчеты и соображения не совсем литературные — не мое дело судить, выиграла ли тут наша словесность. <...>

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ, ОБЪЯСНЕННАЯ СТАРИКОМ УЧИТЕЛЕМ СВОЕЙ ДВЕНАДЦАТИЛЕТНЕЙ УЧЕНИЦЕ

Жуковский меня старше: он пользовался славою лучшего современного поэта России, когда я и не вступал еще в свет. Ребенком я изучал его стихотворения: они согревали мое сердце, питали воображение. Наконец я покинул мирный приют, в котором вырос, — и первым моим желанием было увидеть самого поэта лицо к лицу, познакомиться, сблизиться с ним. В 1817 году привел меня к нему покойный Гнедич. Жуковский жил тогда в доме одного моего приятеля и находился в покоях хозяина; пошли доложить ему о нашем приходе. И по сию пору с наслаждением вспоминаю тот благоговейный трепет, с каким осматривал я его мебель, его книги, его кабинет, то святилище, где в то время создавал он своего чудно-прекрасного «Вадима».

Он вошел: в его добродушных, задумчивых глазах я прочел душу такую, каких не много. И он полюбил меня, он удостоил меня своей дружбы. Потом... Но зачем вспоминать то, за что заплатил я двадцатилетними страданиями? Жуковский не лишил меня своего сердечного участия и тогда, когда я пал в бездну злополучия.

Н. И. Лорер

ИЗ «ЗАПИСОК ДЕКАБРИСТА»

Василий Андреевич Жуковский обещал своему державному воспитаннику, когда он ляжет почивать, пойти наведать своих старых знакомых, но его высочество пожелал, чтоб он немедленно исполнил это, и Жуковский тотчас же прибежал к Нарышкиным. С каким неизъяснимым удовольствием встретили мы этого благородного, добрейшего человека! Он жал нам руки, мы обнимались. «Где Бригген?» — спросил Василий Андреевич и хотел бежать к нему, но мы не пустили и послали за Бриггеном. Когда он входил, Жуковский со словами: «Друг мой Бригген!» — кинулся к нему на шею[1].

Целая ночь пролетела незаметно для нас. Жуковский смотрел на нас, как отец смотрит на своих детей. Он радовался, видя, что мы остались теми же людьми, какими были, что не упали духом и сохранили человеческое достоинство. Между прочим, он удивлялся Сибири, не предполагая ее никогда в таком цветущем состоянии и довольстве[2]. Он сказал нам, что наследник еще в Тобольске справлялся у князя Горчакова, где он может видеть сосланных за 14 декабря, и, получив от генерал-губернатора сведение, что в Кургане нас поселено 7 человек, приказал подать себе список поименный. Еще один луч надежды озарил наши сердца. Наступило утро, стали благовестить к обедне, Жуковский ушел будить наследника. Только что он ушел, как прибегает к нам опять объявить, что его высочество желает, чтобы и мы были в церкви. Мы не заставили себе повторить этого приказания и, исправив немного наши туалеты, отправились. Е<лизавета> Петровна[3] для такого праздника сняла свое обычное черное платье и облеклась в светлое.

Тут, в храме Божием, имели мы счастие в первый раз видеть нашего любезного наследника. Он стоял на ковре один, скромно и усердно молился. Ему едва минуло 18 лет, и он был прекрасен... Жуковский собрал нас в кучу и поставил поближе к наследнику. Вот надежда России, вот наша надежда! Мы искренно желали ему счастия, благополучия и благословения Божия.

По окончании обедни наследник пристально посмотрел на нас, поклонился и вышел из церкви. Экипажи были готовы, он сел в коляску с генерал-адъютантом Кавелиным, перекрестился и уехал в дальний путь — в Россию. <...>

Два совершенно различных человека сопутствовали наследнику в качестве руководителей и наставников: Жуковский и Кавелин. Сравнению их посвящаю несколько строк. Бригген, о котором я уже несколько

раз говорил, служил с Кавелиным в Измайловском полку, они были товарищами, друзьями, оба капитанами и ротными командирами, и Бригген принял даже роту от Кавелина, когда сей последний был назначен к в<еликому> к<нязю> Николаю Павловичу. При этом случае Кавелин сознался Бриггену, что в ротном ящике недостает 6 тыс. рублей, им промотанных, но Бригген внес свои собственные и дал товарищу квитанцию в принятии роты. К тому же надобно прибавить, что сам Кавелин принял Бриггена в члены тайного общества. После таких дружеских, близких отношений так ли должны были встретиться старинные друзья, из которых один возвысился, а другой пал? Кавелин даже не спросил о Бриггене, и когда узнал его в церкви, то только кивнул ему головой, на что, конечно, Бригген отвечал тем же. Какая разница с Жуковским! И этот достойнейший человек делит свои заботы о сердце наследника русского престола с таким бездушнейшим человеком! Не знаю, за какие заслуги Кавелин был сделан с.-петербургским губернатором. К счастью, [он] вскоре сошел с ума и умер.

В разговоре нашем с Жуковским Нарышкин сказал ему, что ни он сам, ни товарищи его не просят, да и не смеют просить для себя никакой милости, но ходатайствуют, ежели им это позволено, за изгнанника чужой земли 72-летнего князя Воронецкого, которого одно желание — умереть на родине, на Волыни. «Ежели возможно, Василий Андреевич, представьте это дело наследнику и сделайте еще одно добро, к которому вы всегда готовы», — прибавил Нарышкин. Жуковский пожелал видеть Воронецкого, я за ним сбегал, и Жуковский, выслушав всю историю бедного старика, обещал доложить наследнику. Воронецкий целовал колени доброго человека. Жуковский сдержал свое обещание: вскоре Воронецкому возвратили свободу, и он вернулся в Волынскую губернию.

А. Е. Розен

ИЗ «ЗАПИСОК ДЕКАБРИСТА»

У крыльца моего стояли дрожки исправника. «Кто приехал?» — «Генерал!» — ответил кучер. Народ называет генералом всякого превосходительного, будь он врач, профессор или начальник департамента внешней торговли. К величайшей радости, увидел у себя достойнейшего Василия Андреевича Жуковского; он утешал жену мою, ласкал полусонных детей, с любовью обнимал их, хотя они впросонках дичились и маленькая дочь заплакала. Когда я объявил ему о неуспешных попытках лично просить цесаревича и что генерал Кавелин советовал написать прошение, то он сказал мне: «Вы теперь не успеете: сейчас едем, но будьте спокойны, я все представлю его высочеству, тринадцать лет нахожусь при нем и твердо убедился, что сердце его на месте; где он только может сделать какое добро, там сделает его охотно». Недолго можно было нам беседовать. Жена моя в прежнее время встречалась с ним у Карамзиных[1]. Он удивился, что мы уже читали в Сибири его новейшее произведение «Ундину»[2]; с похвалою отозвался о некоторых ему известных стихотворениях А. И. Одоевского[3]; до крайности сожалел, что в Ялуторовске не мог видеться с И. Д. Якушкиным[4], и просил меня написать ему, как это случилось. Не доехав двух станций до Ялуторовска, имел он несчастье, что ямщики его переехали женщину, не успевшую отбежать с дороги, и колесом передавили ей ногу. Жуковский приказал остановиться, помог перенести бедную женщину в карету, отвез ее до следующей станции, дал ей денег и написал земскому начальству, чтобы оно всячески позаботилось о ее излечении и проч.[5] В это время цесаревич далеко опередил его, и он не мог пробыть в Ялуторовске ни одной минуты, догоняя поезд. Душе отрадно было свидание с таким человеком, с таким патриотом, который, несмотря на заслуженную славу, на высокое и важное место, им занимаемое, сохранял в высшей степени смирение, кротость, простоту, прямоту и без всякого тщеславия делал добро где и кому только мог. И после свидания в Кургане он неоднократно просил за нас цесаревича; одно из писем своих заключил он припискою: «Будьте уверены, не перестанем быть вашими старыми хлопотунами»[6]. Словами не умею выразить вполне благодарность за его деятельное участие; оно, наверно, уже доставило ему одно из лучших наслаждений. Все, что он говорил о характере наследника, служило залогом будущего счастья России. Родственники и знакомцы, увидевшие Жуковского по возвращении его в Москву и в Петербург, спросившие его, как он нас нашел и как переносим участь свою, получили в ответ: «Со смирением и с тер-

пением». Жуковский был поражен частью виденной им Сибири и ее жителями: он вместо хижин, бедности и уныния нашел красивые села, довольство и бодрость; рассказал нам, что и наследник приятно поражен был дружною радостью и живою преданностью, с коими народ ссыльный встретил его от Тюмени до Кургана, как лучше и живее не могли бы его встретить в городах при Волге.

М. Я. Диев

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ «БЛАГОДЕТЕЛИ МОИ И МОЕГО РОДА»

<...> Василий Андреевич Жуковский, известный поэт. Когда наследник престола, цесаревич Александр Николаевич, 13 мая 1837 года, по прибытии в Нерехту, проехал в собор, Василий Андреевич Жуковский, приняв мою историю о Владыках новгородских[1] от Константина Карлыча Бошняка, встретил на квартире цесаревича и показал мою историю, сказав: «Каковы здесь сельские священники!» По вызове меня цесаревичем в квартиру, когда его императорское высочество изволил обедать, Василий Андреевич обласкал меня и потом при представлении моем цесаревичу передал ему, что я на жалованье законоучительское приобрел библиотеку, много рукописей. Он много содействовал к тому, что тогда я был от его высочества награжден золотыми часами. Во всю бытность цесаревича в квартире я находился около часа времени безотлучным при Василии Андреевиче, который, выезжая из Нерехты, историю о Владыках читал в коляске дорогою. <...>

Василий Андреевич с родным братом Константина Карловича, Александром Карловичем Бошняком, обучался в Московском университете[2] и по своей бедности получал вспоможения от родной бабушки Бошняков, Марьи Семеновны Аже[3], которую по признательности во всю жизнь называл матерью. Когда же Василий Андреевич узнал о кончине Александра Карлыча, то при свидании с Константином Карлычем сказал: «Ты будешь отныне на его месте моим братом...»

А. Н. Муравьев

ИЗ КНИГИ «ЗНАКОМСТВО С РУССКИМИ ПОЭТАМИ»

Но всего дороже для меня, в доме тетушки[1], было знакомство с В. А. Жуковским, который, как добрый ангел, являлся везде, где только нужно было утешать. Трудно вообразить себе существо более чистое и нравственное: в зрелом и уже почти старческом возрасте сохранил он всю девственность мыслей и чувств, и все, что истекало из его благородного сердца, носило на себе отпечаток первобытной, как бы райской невинности; казалось, в течение долгой жизни мир обошел его и миновал, со всеми своими житейскими соблазнами, и он остался чуждым всякой страсти, всякого честолюбия. Таков был Жуковский, дитя по своим чувствам, опытный старец по глубоким думам. Всякое горе и всякую надежду близко принимал он к сердцу, стараясь помочь каждому сколько мог, по своему близкому отношению ко двору, как воспитатель наследника престола. Мне особенно он памятен по тому живому участию, какое принял в моих литературных начинаниях. Я приступал тогда к изданию «Путешествия по Святым местам»[2], и, несмотря на многообразные занятия, Жуковский не отказался прочитать мою рукопись и заметить мне искренно погрешности слога; но в вопросах церковных он смиренно обращал меня к опытной мудрости митрополита Московского[3], что и послужило началом моего знакомства с сим великим Святителем. Когда же неожиданный успех увенчал сие первое мое творение, Жуковский радовался от души, как бы за собственный труд, и поручал его вниманию других именитых литераторов. <...>

Немного времени спустя Жуковский, будучи за границей, услышал о неудаче моей трагедии «Битва при Тивериаде»[4], написанной мною во время турецкого похода, под влиянием Востока крестоносцев, которая упала на сцене при первом ее представлении: это совершенно убило во мне расположение к драматической поэзии. Сочувствуя моему огорчению, Василий Андреевич написал, с берегов Рейна, добродушное письмо к другу своему, слепому поэту Козлову, и просил его передать мне, чтобы я не упадал духом и не оставлял поэзии, по моему искреннему к ней расположению[5]. Что для него был безвестный юноша, только что выступивший на литературное поприще, на котором сам уже пожал обильные лавры? — и, однако, он не остался равнодушен к его неудаче! <...>

Успех «Путешествия по Святым местам» ввел меня в литературный круг Петербурга, когда бывали собрания у Жуковского. Он меня познакомил с слепым поэтом Козловым, которого поэма «Чернец» при-

обрела ему большую известность. Разбитый параличом, лежал он на болезненном одре, по счастию еще окруженный семьею, в которой Жуковский принимал живое участие, ради его бедности. Но Козлов был поэт в душе и, несмотря на истощение физических сил, только и мечтал о поэзии и беспрестанно сочинял стихи, которые с большим воодушевлением говорил нам наизусть на своих вечерах. К нему сбиралось еженедельно несколько присных, иногда и писателей, и часто бывала тут графиня Лаваль, тетка княгини Зинаиды Волконской, которая покровительствовала поэту, по любви своей к литературе и ради его беспомощного положения. Бывали иногда Жуковский и Плетнев, и мне доводилось читать пред ними отрывки из моего путешествия или стихи[6]. <...>

Помню, какое трогательное слово сказал однажды Жуковский, чтобы утешить болящего: «Ты все жалуешься на свою судьбу, друг мой Иван Иванович; но знаешь ли, что такое судьба? — это исполин, у которого золотая голова, а ноги железные. Если кто, по малодушию, пред ним падет, того он растопчет своими железными ногами; но если кто без страха взглянет ему прямо в лицо: того осияет он блеском золотой головы!» Как это глубоко и проникнуто загадочною мудростию Востока! Козлов заплакал и потом переложил слова сии на стихи[7]. По смерти бедного страдальца, Жуковский испросил пенсию его дочери и напечатал полное издание всех его стихотворений. — Такова была ангельская его душа. <...>

В поместье Гончаровых посетил печальную вдову Пушкина Жуковский, который принимал большое участие в ее судьбе и был недалеко в Калуге с цесаревичем[8]. Ему показалось странным, что я там нахожусь во время глубокого ее траура, потому что не знал моих коротких отношений с ее братом. «Что вы здесь делаете? — спросил он, — не лучше ли вам ехать в Москву, чтобы нам сопутствовать и объяснить цесаревичу ее древнюю святыню». С радостию принял я столь лестное предложение и поспешил в Москву. Там представил меня Жуковский государю наследнику, и, в его свите, объехал я все обители столицы и ее окрестности. В Новом Иерусалиме особенно требовал от меня Жуковский подробных объяснений, так как я недавно обозревал древний и мог сравнивать оба святилища; он содействовал к тому, что великий князь украсил мрамором и лампадами внутренность Святого гроба в Воскресенске. После этой замечательной для меня поездки я опять довольно долго не видал поэта, который уехал за границу, и там было наше последнее свидание. <...>

На обратном пути чрез Германию посетил я, во Франкфурте-на-Майне, уже болящего Жуковского[9]. Тут остановился я на два дня единственно для того, чтобы насладиться его обществом, как бы предчувствуя, что это было в последний раз. Погруженный совершенно в заботы семейные, он сам как бы делался ребенком для своих малолетних детей и переводил для них с немецкого различные сказки, «Кот в больших сапогах»[10] и другие подобные, с обычною своею грацией в живом слоге. От-

радно было смотреть на этого поэтического старца, угасавшего в звуках своей лиры, на берегах любимого им Рейна. Он только что окончил свой знаменитый перевод «Одиссеи» и мечтал о «Илиаде», хотя не знал еллинского языка; для этого приготовил себе подстрочный перевод Фоссовой «Илиады». Собственная душевная простота влекла его к патриархальной простоте слепца Омира, который совершенно пришелся ему по душе. Но вместе с тем его христианское чувство, проникнутое глубоко философской думой, в самых очаровательных формах поэзии, внушило ему последнюю чудную поэму «Вечного Жида»[11], где хотел он изобразить нравственное, религиозное направление современной ему эпохи, и это была его лебединая песнь. Он сам, однако, чувствовал, что уже угасает, и не хотелось ему умереть на чужбине; все его задушевные думы стремились на родину, но не суждено было исполниться сердечному желанию поэта. Ангел смерти тихо закрыл глаза земному своему собрату в стране чужой и унес его в небесное отечество.

Я. К. Грот

ИЗ ПРИМЕЧАНИЙ К «ОЧЕРКУ ЖИЗНИ И ПОЭЗИИ ЖУКОВСКОГО»

<...> Здесь я говорю по собственным своим воспоминаниям. Вскоре после появления в «Современнике» (январь 1838 г.) моего перевода «Мазепы» Байрона (который еще в рукописи был прочитан Жуковским)[1] Василий Андреевич через Плетнева попросил меня к себе. Он жил тогда в так называемом Шепелевском доме (части Зимнего дворца, где ныне императорский музей). Я поднялся к нему в верхний этаж этого высокого здания и застал его работающим, в халате, стоя перед конторкой. Он принял меня очень приветливо, похвалил мой перевод, расспрашивал о моих занятиях и, между прочим, советовал изучать историю Карамзина как лучший источник истинной поэзии. Потом он водил меня по своим комнатам и показывал на подоконниках множество картонок, в которых хранились автографы его сочинений. Сбираясь ехать за границу в свите наследника, он намерен был в Швеции познакомиться с Тегнером[2] и взял у меня рукопись уже почти оконченного мною перевода «Фритиоф-саги»[3]. Это свидание произвело на меня глубокое впечатление, и я тогда же написал сонет, который, однако ж, не только не поднес ему, но и никому до сих пор не сообщал. Кстати, помещаю его здесь, в примечаниях к моей академической речи:

ЖУКОВСКОМУ

Благодарю тебя, возвышенный поэт!
Едва ступил я шаг на поприще мне новом,
И вот уж слышу я твой ласковый привет,
И сил мне придал ты своим волшебным словом.

Благодарю! священ мне будет твой совет:
Я душу закалить хочу в труде суровом,
Награды только в нем искать даю обет;
От суетности он пусть будет мне покровом.

Хвала судьбе: сбылись давнишние мечты:
Того, чье имя мне так драгоценно было,
Кто пел так сладостно, так нежно, так уныло,

Того узнал и я: сей глас, сии черты
Не в силах я забыть; а с памятью их милой
Мне будет спутником и гений красоты.

(1838)

В следующем году Жуковский оказал мне важную услугу. В то время я еще служил в государственной канцелярии, но страстно желал перейти на ученое поприще, и именно в Финляндию, где открывались виды на университетскую кафедру по русской литературе. Узнав о том, Жуковский вытребовал у меня записку о плане будущих моих занятий и сам отвез ее к тогдашнему министру, статс-секретарю Великого Княжества Финляндского барону Ребиндеру. Таким образом Жуковский помог мне сделаться из чиновника ученым. <...>

<...> При складе своего ума, при своей наклонности к чудесному и сверхъестественному, Жуковский, между прочим, пристрастился к средневековому миру, к сказкам о рыцарях и их замках, о духах и привидениях. Это была одна из тех областей поэзии, которая пришлась наиболее по вкусу тогдашней русской молодежи. Явилось бесчисленное множество подражателей этого направления литературы. Даже в учебных заведениях молодые люди упражнялись в сочинении рыцарских сказок такого рода, в рисовании к ним картинок с замками, луной и гробницами. Говорю опять по своим воспоминаниям: поступив, в 1823 году, в Царскосельский лицейский пансион, я видел подобные произведения пера и кисти в тетрадях моих товарищей. Одним из любимых романсов, которые пелись тогда в этом заведении, рядом с «Черною шалью» Пушкина было положенное на музыку стихотворение Жуковского «Дубрава шумит»[4]. <...>

Т. Г. Шевченко

ИЗ «ДНЕВНИКА»

<...> В 1839 году Жуковский, возвратившись из Германии с огромною портфелью, начиненною произведениями Корнелиуса, Гессе и других светил мюнхенской школы живописи[1], нашел Брюллова произведения слишком материальными, придавляющими к грешной земле божественное выспреннее искусство[2] и, обращаясь ко мне и покойному Штернбергу, случившемуся в мастерской Брюллова, предложил зайти к нему полюбоваться и поучиться от великих учителей Германии. Мы не преминули воспользоваться сим счастливым случаем и на другой же день явились в кабинете германофила. Но Боже! Что мы увидели в этой огромной развернувшейся перед нами портфели! Длинных, безжизненных мадонн, окруженных готическими тощими херувимами, и прочих настоящих мучеников и мучеников живого улыбающегося искусства. Увидели Гольбейна, Дюрера, но никак не представителей живописи девятнадцатого века. До какой степени, однако ж, помешались эти немецкие идеалисты-художники. <...>

Незабвенные золотые дни, мелькнули вы светлым, радостным сновидением передо мною, оставив по себе неизгладимый след чарующего воспоминания. Мы были тогда с Штернбергом едва оперившиеся юноши и, рассматривая эту единственную коллекцию идеального безобразия, высказывали вслух свое мнение и своим простодушием довели, до того кроткого, деликатного Василия Андреевича, что он назвал нас испорченными учениками Карла Павловича и хотел было закрыть портфель перед нашими носами, как вошел в кабинет князь Вяземский и помешал благому намерению Василия Андреевича. Мы продолжали с невозмутимым равнодушием перелистывать портфель и были награждены за терпение первоначальным эскизом «Последнего дня Помпеи», ловко начерченным пером и слегка попятнанным сепиею. За этим гениальным очерком, почти не измененным в картине, следовало несколько топорных чертежей Бруни[3], которые ужаснули нас своим заученным однообразным безобразием. И где и из какого тлетворного источника почерпнул и усвоил г. Бруни эту ненатуральную манеру? Неужели это одно желание быть оригинальным так страшно обезобразило произведения неутомимого Бруни? Жалкое желание. Грустный результат. И этот человек мечтал еще равняться с Карлом Великим! (Так обыкновенно называл Брюллова В. А. Жуковский.) <...>

ИЗ ПИСЬМА РЕДАКТОРУ ЖУРНАЛА «НАРОДНОЕ ЧТЕНИЕ»

<...> В 1837 году Сошенко представил меня конференц-секретарю Академии художеств В. И. Григоровичу с просьбой — освободить меня от моей жалкой участи. Григорович передал его просьбу В. А. Жуковскому. Тот сторговался предварительно с моим помещиком и просил К. П. Брюллова написать с него, Жуковского, портрет, с целью разыграть его в частной лотерее. Великий Брюллов тотчас согласился, и вскоре портрет Жуковского был у него готов. Жуковский с помощью графа М. Ю. Виельгорского устроил лотерею в 2500 рублей ассигнациями, и этою ценою куплена была моя свобода в 1838 году, апреля 22[1]. <...>

А. В. Никитенко

ИЗ «ДНЕВНИКА»

1834

Январь 7. Барон Е. Ф. Розен принес мне свою драму «Россия и Баторий»[1]. Государь велел ему переделать ее для сцены, и барон переделывает. В. А. Жуковский помогает ему советами[2]. От этой драмы хотят, чтобы она произвела хорошее впечатление на дух народный.

1837

Февраль 22. Был у В. А. Жуковского. Он показывал мне «Бориса Годунова» Пушкина в рукописи, с цензурою государя. Многое им вычеркнуто. Вот почему печатный «Годунов» кажется неполным, почему в нем столько пробелов, заставляющих иных критиков говорить, что пьеса эта — только собрание отрывков.

Видел я также резолюцию государя насчет нового издания сочинений Пушкина. Там сказано:

«Согласен, но с тем, чтобы все найденное мною неприличным в изданных уже сочинениях было исключено, а чтобы не напечатанные еще сочинения были строго рассмотрены».

Март 31. В. А. Жуковский мне объявил приятную новость: государь велел напечатать уже изданные сочинения Пушкина без всяких изменений. Это сделано по ходатайству Жуковского. Как это взбесит кое-кого. Мне жаль князя[3], который добрый и хороший человек: министр Уваров употребляет его как орудие. Ему должно быть теперь очень неприятно.

1840

Февраль 26. <...> ездил к Жуковскому, который на будущей неделе отправляется с наследником за границу и просил меня побывать у него поскорее. Он отдал мне на цензуру сочинения Пушкина, которые должны служить дополнением к изданным уже семи томам[4]. Этих новых сочинений три тома[5]. Многие стихотворения уже были напечатаны в «Современнике». Жуковский просит просмотреть все это к субботе. Тяжелая работа! Но надо ее исполнить.

— Я слышал, — между прочим сказал мне Жуковский, — что вы намерены писать характеристики русских поэтов; это хорошее дело. Я готов помочь вам материалом.

Я поблагодарил и действительно намерен воспользоваться его предложением. Жуковский просил прислать ему то, что я уже написал о нем.

28 <февраля>. Опять был у Василия Андреевича. Застал его больным. Разговор о литературе. Он прочел мою характеристику Батюшкова[6] и очень хвалил ее.

— Вы успели сжато и метко выразить в ней всю суть поэзии Батюшкова, — сказал он.

Потом Жуковский жаловался на «Отечественные записки»[7], которые превозносят его до небес, но так неловко, что это уже становится нелестным.

— Странно, — прибавил он, — что меня многие считают поэтом уныния, между тем как я очень склонен к веселости, шутливости и даже карикатуре.

Еще много говорил о торговом направлении нашей литературы и прибавил в заключение:

— Слава Богу, я никогда не был литератором по профессии, а писал только потому, что писалось.

1841

Март 11. <...> Боже великий! Что за порядок вещей! Вот я уже полноправный член общества, пользуюсь некоторой известностью и влиянием и не могу добиться — чего же? Независимости моей матери и брата! Полоумный вельможа имеет право мне отказать: это называется правом! Вся кровь кипит во мне, я понимаю, как люди доходят до крайностей!.. Жду с нетерпением приезда из Москвы Жуковского[8]: может быть, его влияние в состоянии будет что-нибудь сделать. <...>

23 <марта>. Сегодня был у Жуковского и просил его содействия по делу о моей матери и брате. Он с негодованием слушал мой рассказ о моих неудачных попытках по этому случаю и открыто выражал свое отвращение к образу действий графа и к обусловливающему их порядку вещей. Василий Андреевич обещался пустить в ход весь свой кредит. Я с моей стороны не постою ни за какой суммой выкупа, если последний потребуется, — чего бы мне ни стоило скопить ее. Боже мой! Боже мой! Лишь бы не изнемочь в борьбе...

Апрель 3. Праздники. Прекрасные, ясные, теплые дни — теплые, насколько они могут быть такими в Петербурге до вскрытия Новы. Сегодня состоялся акт в университете. Речь моя имела успех, хотя я читал дурно.

От Жуковского еще никаких вестей.

9 <апреля>. Сегодня наконец спала с моего сердца невыносимая тяжесть: наконец моя мать — моя праведная, благородная, возвышенная мать — и брат мой могут заодно со мной свободно дышать. Граф Шереметев уже подписал отпускную, без выкупа: сегодня я получил о том извещение. Кому я этим обязан: Жуковскому или наконец решимости самого графа? Во всяком случае, все прошлое забыто и прощено. <...>

14 <апреля>. Дело о матери моей и брате кончилось так хорошо только благодаря вмешательству Жуковского. Да благословит его Бог! Сегодня я был у него и благодарил его[9]. <...>

1843

Май 10. Жуковский прислал мне на цензуру свою новую пьесу: «Наль и Дамаянти», эпизод из индейской поэмы «Магабараты»[10]. Что сказать о ней? Гекзаметры прекрасны: свежий, стройный, роскошно благоухающий язык. Но фантастическое здание поэмы не сразу может прийтись по вкусу нашим европейским требованиям.

1852

Май 10. <...> Погодин спрашивал у министра разрешение окружить в «Москвитянине» черным бордюром известие о смерти Жуковского. Министр разрешил. <...>

Ноябрь 10. Читал А. С. Норову мою статью о Жуковском[11]. Она понравилась ему. Я еще летом обещал ее Краевскому[12]. Теперь о том проведали издатели «Современника» и предлагают мне гораздо более выгодные условия. С тем же являлся ко мне и редактор «Библиотеки для чтения». Но не подобает изменять своему слову. Я только написал Краевскому, что, так как у него уже была статья о Жуковском, не предпочтет ли он отказаться от моей? Краевский отвечал, что никогда ни под каким видом не желает отказаться от моей статьи и просит прислать ему ее. Ну, так тому и быть.

27 <ноября>. Был вчера у цензора (А. В.) Фрейганга с моей статьей о Жуковском. Он согласился, чтобы она была представлена ему на рассмотрение в корректуре. Я прочитал ему несколько страниц заключения. Он заметил одну фразу, которую, по его мнению, надлежало изменить, или, вернее, не фразу, а два слова: «движение умов». <...>

1853

Январь 8. <...> Меня встретил Плетнев с изъявлениями благодарности и прочее за мою статью о Жуковском, которую уже прочел в первом номере «Отечественных записок».

— Вы попали прямо в суть дела, — сказал он мне, — и превосходно определили Жуковского со всех сторон. Особенно хорошо определены у вас отношения его к обществу. Я сам старался везде показывать, что деятельность писателя есть гражданская заслуга.

До меня вообще доходят вести, что статья моя принята в публике очень хорошо. Это ободряет меня на писание дальнейших очерков.

1855

Октябрь 18. <...> Получил высочайшее повеление о назначении меня членом комитета под председательством Д. Н. Блудова для рассмотра посмертных сочинений Жуковского[13], которые хотят издать. Другие члены: Плетнев, князь Вяземский, Корф (Модест Андреевич) и <Ф. И.> Тютчев.

19 <октября>. Был у графа Блудова. Он очень приветлив. Говорил о Жуковском с большим уважением, так же как и о всей литературе карамзинского периода. Меня порадовала его живость и теплота отношения ко всему, что касается ума, знания и поэзии. <...>

27 <октября>. <...> был у графа Блудова, где состоялось сегодня собрание комитета по рассмотру сочинений Жуковского. Собрались: Корф, Плетнев, Тютчев. Граф Блудов очень любезен. Толковали, как приняться за рассмотрение сочинений Жуковского. Положено разделить их на части, которые каждый член по прочтении доставит другому. <...>

1856

Май 7. Обедал у графа Блудова. Сообщил ему, что у меня готово предисловие к дополнительному изданию сочинений Жуковского. Он назначил время, чтобы прочесть вместе. <...>

Июнь 3. <...> Вечером в субботу приглашал меня к себе граф Блудов вместе с бароном П. К. Клодтом, князем Вяземским и Тютчевым для обсуждения проекта памятника, который собираются воздвигнуть на могиле Жуковского. <...>

1857

Февраль 24. Воскресенье. Заседание комитета у графа Блудова по изданию сочинений Жуковского. Читано было примечание графа к поэме «Агасфер». <...>

Декабрь 25. Среда. Граф Блудов пригласил меня сегодня на открытие надгробного памятника Жуковскому. Была отслужена панихида в церкви и на могиле. Памятник сделан еще по указанию вдовы Жуковского из черного гранита, в виде гробницы. По сторонам тексты из Св. писания. Он показался мне массивным и неуклюжим.

А. Н. Мокрицкий

ИЗ «ДНЕВНИКА ХУДОЖНИКА»

1836

7 ноября. <...> Зашел к Брюллову вручить ему экземпляр Милленя от переводчика[1]. У него застал я Жуковского, Пушкина, Барона Брамбеуса[2]. Хороший квартет, подумал я, глядя на них.

1837

3 марта. <...> После обеда пошел к Брюллову. «Весьма кстати», — сказал он, садясь за стол и подавая мне письмо, писанное Жуковск<им> к отцу Пушкина[3], в котором изложены подробно предсмертные часы, самая смерть и последствия. Желание и интерес узнать правдивые подробности кончины всякого велик<ого> человека были столь велики, что я не жалел, потеряв класс.

19 марта. <...> С Лопухиным был Пашков, брат того Пашкова, что играл в оратории. Не знаю, как тот играет, этот же поет прекрасно, он чаровал нас своим волшебным пением. В. А. Жуковский, бывший здесь, был в восторге. Ему понравился один русский романс, и он просил петь его в другой раз. <...>

31 марта, среда. <...> Вечером, после чаю, отправился я к Брюллову с письмом от Михайлова. Он послал меня за Вас<илием> Ива<новичем>[4], и, когда тот пришел, я предложил им рассмотреть дело Шевченко. Показал его стихотворение, которым Брюллов был чрезвычайно доволен, и, увидя из оного мысли и чувства молодого человека, решился извлечь его из податного состояния и для этого велел мне завтра же отправиться к Жуковскому и просить его приехать к нему. Не знаю, чем-то решат они горячо принятое участие. <...>

1 апреля. Поутру, после чаю, пошел я к Жуковскому и переврал ему приглашение Брюллова. Вместо завтрего я пригласил его сегодня к трем часам. <...>

2 апреля. <...> После обеда призвал меня Брюллов. У него был Жуковский, он желал знать подробности насчет Шевченка. Слава Богу, дело наше, кажется, примет хороший ход. <...>

Брюллов начал сегодня портрет Жуковского[5], и препохоже.

1838

24 февраля. С утра я уже был в мастерской. Брюллов продолжал портрет Демидовой[6]. Большая картина «Христос»[7] ждала высшего вдохновения. <...>

Скоро приехал Жуковский, приятно было видеть, с каким благоговейным восторгом стоял он перед картиною, и, сильно тронутый выражением головы Спасителя, он обнимал художника, поздравлял его с счастливым исполнением идеи. И подметил, чего еще недостает к созданию этой великой картины, которая по сюжету и выполнению станет наряду с первыми произведениями бессмертных живописцев. Спустя полчаса как приехал Жуковский, дают мне знать, что поэт Кольцов у Васил<ия> Ивановича. Об этом сказал я Брюллову и просил позволить представить ему степного певца, сочинения которого любил художник. Он стал было извиняться, что не может теперь, что ожидает велик<ую> княжну, но Жуковский молвил слово в пользу Кольцова, и я ввел в студию дорогого гостя. Василий Андреевич отрекомендовал его Брюллову и тотчас, обращаясь к картине, сказал: «Вот тебе сюжет, Алексей Васильевич, выскажи его прекрасными стихами!» Но пораженный поэт, казалось, не слышал слов. Он смотрел на гениальное творение, и слезы душевного восторга дрожали на глазах, устремленных на картину. Его восхищало также первое свидание с великим художником, которого жаждал он видеть. Благодаря художника за счастие, которым он подарил его, Кольцов, вручая ему экземпляр своих сочинений, просил принять посильный дар от трудов своих. Здесь было еще одно рукописное сочинение. Жуковский, любопытствуя, раскрыл. И что же? Это было новое его сочинение «Великое слово»[8], в котором распятый Христос выражал собою предвечное слово: «Да будет!»[9] «Как кстати!» — сказали мы в одно слово. Жуковский прочел вслух. Можно себе представить, каким чувством все мы были проникнуты в эти незабвенные минуты!

27 марта. Воскресенье. <...> Дорезвясь до усталости, он [Брюллов] бросился на софу, а меня заставил читать «Квентина»[10] и постепенно стал засыпать, как приходит лакей и докладывает, что Жуковский пришел. Делать было нечего, ворча, встал он и пошел вниз. Жуковский просил его не женироваться* и писать. Позвали натурщ<ика>, и Брюллов принялся писать, а Жуковский приловчился на кушетке против картины с цигаркою. Обещал сидеть смирно и ни слова не молвить. Недолго продолжалось это красноречивое молчание. Верно, трудно восхищаться молча. Первый нарушил молчание, и поэты наши разговорились порядком: капелла Сикстина, Микеланджело и Рафаэль были предметом их разговора. Было что послушать мне, стоявшему здесь с напряженным вниманием. Брюллов при этом случае рассказал, что в

* стесняться, беспокоиться (от *нем.* genieren (sich)).

Риме сделал он для дюка тосканского в альбом акварель-рисунок, изображающий Рафаэля, входящего в капеллу Сикстину, когда на стене сделаны очерки Микеланджелом. Жуковский скоро уехал. <...>

25 апреля. <...> Часа в два пошел я к Брюллову, застал его в рабочей [комнате] на диване с «Пертской красавицей»[11]. Подсел я к нему с цигаркой, он читал, а я слушал. Скоро пришел Жуковский с гр<афом> Виельгорским. Пришел Шевченко, и Василий Андреевич вручил ему бумагу, заключающую в себе его свободу и обеспечение прав гражданства. Приятно было видеть эту сцену[12]. <...>

27 апреля. Вчера поутру начал я копировать портрет Жуковского, до трех часов. В три приехал Жуковский для сеанса, а я ушел гулять и обедать. <...>

Я продолжал портрет Жуковского. Подошел Брюллов и, глядя на мою работу, сказал, что хуже этого ничего не писали: «Гадость, батюшка!» <...>

28 апреля. Сегодня поутру писал я у Брюллова, как пришедший Путята известил нас, что наследник в Академии и, может быть, зайдет к Брюллову. Точно, не прошло полчаса, как его высочество пожаловал к нам. Мы с Шевченком приняли его, ко мне обратился он с восторгом о Брюллове, потом смотрел большую картину, отзывался с похвалою. Рассмотрев все с большим вниманием, спросил, можно ли пройти в другие комнаты. Пошли, увидел он портрет Жуковского и был им чрезвычайно доволен. <...>

30 апреля. Вчера поутру, после девяти часов, пошел я к Брюллову писать Жуковского. <...> В три часа приехал Жуковский. Я ушел обедать и в пять часов, вместо класса, пошел доканчивать портретец, ан вышло не по-моему: два часа бился я с сюртуком, и то напрасно. Сегодня только огляделся, что у меня все наврано, и вот я снова перечертил все и, кажется, приладил как должно. Написал одну руку, другую подготовил. Ох, как трудно копировать его, зато какая польза подделываться под его правильную кисть. С его работы учимся смотреть на натуру. В письме у него от начала до конца везде видна кисть, до самых мелких подробностей. Этак не многие умеют читать и передавать натуру — притом изящество форм, грация естественная и характерность как в целом, так и в частях. В портрете Жуковского высказан он совершенно. Вы видите дородного мужчину, покойно сидящего в креслах, спиной облокотился он к стенке кресел. Голова, несколько склонясь в правую сторону, наклонена вперед. Руки сложены так, что кисти, покоясь выше колен (auf dem Fuss*), правая покрывая левую, оставляют пальцы ее видными. В правой держит он перчатки[13]. Лицо спокойное, взор устремленный внимательно, но кажется, занят внутренне. На челе дума не тяжкая, но

* на коленях (*нем.*).

отрадная, успокоительная. Он весь, кажется, обдумывая подвиг свой, покоится после понесенных трудов. В этой почтенной главе с обнаженным челом созревали прекрасные его творения и надежные материалы для воспитания царственного юноши. Свежесть и приятные черты лица показывают, что жизнь его проходила без разрушительных бурь. Сильные страсти слегка только касались его нежного сердца, но светлый разум и теплая вера вскоре исцеляли язвы, ими нанесенные. Он жил и любил, но благородные и возвышенные чувства не покидали его никогда. Изящное питало душу его, всегда расположенную к добру. Художник выразил все это. Взгляните на эти уста — они беседуют с вами, они подают вам мудрый совет или произносят утешение, но вот изрекли они два-три стиха: *к портрету.*

Воспоминание и я — одно и то же,
Я — образ, я — мечта,
И становлюся я
Чем старе, тем моложе..
Чем старе становлюсь, тем я кажусь моложе. .[14]

Взгляните теперь на эти прекрасные руки, эти белые нежные руки. Не удивляйтесь — их орудие было легкое перо, за которое брались они, отрываясь от златострунной лиры. <...>

Ю. К. Арнольд

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

В продолжение этой же зимы увидел я на вечерах у кн. Одоевского и других еще литературных деятелей, напр<имер> Василия Андреевича Жуковского. <...>

По собственному желанию Жуковского, кн. Одоевский представил меня маститому поэту, который весьма приветливо подал мне руку и пригласил меня побывать у него. Этим драгоценным для меня позволением воспользовался я, конечно, с восторгом и в течение зимнего сезона 1840—41 годов был три раза у Василия Андреевича. Во второй раз по предварительно им высказанному желанию привез я ему экземпляр изданной при «Пантеоне» моей музыки к его «Светлане»[1] и должен был ему проиграть, а где и пропеть ее. До этого времени я, как само собою разумеется, прежде не имел случая встречать где-либо знаменитого «певца во стане русских воинов», но у отца моего была изданная художником Г. Ф. Гиппиусом в начале двадцатых годов «Галерея знаменитых мужей России»[2]. Это была коллекция портретов (в настоящую величину) превосходной литографической работы. Между ними были портреты также Карамзина и Жуковского. Последнему в то время, когда Гиппиус его срисовал, было лет уже под сорок; но на литографическом портрете он является далеко более молодым, с лицом несколько продолговатым и сухощавым, с большими, огненной жизни исполненными глазами и с густыми, волнистыми, свободно слева направо перекинутыми волосами. На широком лбе лежат следы глубоких дум; около губ парит меланхолическая и в то же время гордая улыбка. И вот шестнадцатью или семнадцатью годами позже увидел я наконец самого поэта; на тот портрет, однако же, он уже не походил. Самое лицо-то пополнело; черты лица просветлели, и румянец бодрой старости играл на щеках; обнаженный лоб, обрамленный только с боков подстриженными, к вискам гладко причесанными, слегка уже поседевшими волосами, показался мне более высоким и широким, но вместо следов бурных дум на этом лбе царила величественная тишина поэта-философа; в глазах светились душевный мир и истинное благодушие, а улыбка, парящая на губах, выражала вместо гордости — теплую приветливость; вместо меланхолии — сердечное довольствие счастливого семьянина[3].

Е. А. Жуковская

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

Я полюбила Жуковского, когда мне было еще 12 лет от роду. Это было на Женевском озере, где Жуковский проводил лето для поправления своего здоровья[1]. Мысль, что я только с ним могла бы быть счастлива, поселилась во мне с первой минуты, как я его узнала. Мысль эта была тогда совсем ребяческая. Даже и теперь я стыжусь, когда подумаю, что я в 12 лет могла иметь подобную мысль. Но это было какое-то непреодолимое предчувствие, что-то невольное, чего себе объяснить не умеешь; тем более что он не подал мне никакого повода к тому. Он ласкал меня, как ребенка, и более ничего. Но вот он уехал в Россию; я осталась и чувствовала, что остаюсь одна, без него. — Шесть лет прошло с тех пор, и шесть лет не могли изгладить из души моей этой мысли. — Я чувствовала сама всю странность моих чувств. Я старалась уверять себя, что это наконец смешно, потому что совсем невозможно. И мой разум был совершенно согласен с тем, но сердце говорило другое, даже и не сердце, но (опять повторяю) что-то такое непостижимое для меня самой, как будто какое-то предназначение свыше, которое раз, но ясно сказало мне: «Ты должна быть его». Шесть лет боролась я всеми силами души моей против этой мысли, которая часто представлялась мне каким-то искушением. — Не раз, сидя одна, я силилась вслух повторять самой себе: «Нет! Нет! Нет! Это невозможно». Но вместе с звуком слов моих разлеталась и уверенность в невозможности надежд моих. Наконец в 1840 году Жуковский снова приехал за границу с государем цесаревичем. Один слух о том, что он будет к нам, потряс меня до глубины души. — Я ожидала от этого приезда решения судьбы моей. Наконец он был у нас. Мне было тогда 18 лет; но он по-прежнему ласкал меня, как дитя: он дарил мне конфекты. Между тем в это посещение он сказал отцу моему: «Знаешь, что я думаю? Мне кажется, что я был бы счастлив, если бы дочь твоя была мне женою!»[2] Эти слова так удивили отца моего, что он принял это почти за неуместную шутку и потому сухо отвечал: «Какая странность так думать о ребенке!» На это Жуковский замолчал. Я об этом ничего не знала. С тем мы опять расстались. Теперь только я почувствовала, что борьба моя с собою кончилась. Я была побеждена моею мыслию. Одно чувство наполняло меня теперь, это то, что дума моя принадлежит ему навеки, хотя бы то навсегда осталось ему неизвестным. Во мне поселилось убеждение, что мне суждено или жить с ним, или умереть. Я видела в этом задачу моей жизни, мое назначение на земле, без осуществления которого мне не оставалось ничего более на этом свете. Внут-

ренняя борьба моя не могла более скрываться от внимания моих родителей, и я должна была сознаться в своих чувствах перед моею матерью. Ее добрые советы и наставления немного помогли моему положению. Ей удалось только убедить меня в невозможности исполнения моих мечтаний. С тех пор я стала жить надеждою на соединение души моей с его душою в вечности. Часто, глядя на небо, говорила я самой себе: моя душа живет уже с ним там! Но вот прошло несколько месяцев, и Жуковский снова посетил нас. Его приняли и на этот раз как старого друга нашего семейства. Раз вечером, как обыкновенно часто случалось, попросил он меня принести ему перо и чернила. Это было в сумерках, и я уверена, что только вечерний полумрак позволил ему произнести при этом никогда мною не ожиданные от него слова: "Хочу ли я быть его женою?» Но тут же, как бы испугавшись сам, он прибавил: "Однако не отвечайте мне тотчас ни да, ни нет; потому что это такой важный шаг, что об этом надо сперва крепко подумать». Каково же было его удивление, когда я тут же отвечала ему, что мне нечего было думать, что эта дума росла во мне шесть лет и созрела до того, что во мне давно уже на этот счет живет одно только: да. Здесь он позвал отца моего, и он возложил на нас обоих свою единственную руку[3]. Мы были обручены. Вслед за тем Жуковский уехал в Петербург и целую зиму пробыл там. Но здесь начались его письма ко мне, и что это за письма! В них-то излилась душа его вполне, как она есть!

А. Ф. Бриген[1]

ИЗ ПИСЕМ

М. А. и А. А. Б р и г е н. *Курган, 27 января 1844*

<...> Я принялся за работу, которая всецело меня захватила. Это перевод «Записок Кесаря»[2] на русский язык. <...> Перевод, который, по всей вероятности, будет закончен лишь в январе будущего года, я намереваюсь посвятить Жуковскому[3], которого вы любите как поэта, а я, восхищаясь гением, люблю еще более как человека. Этот достойный человек дружбу проявлял ко мне всегда, а участие в последний раз, когда я видел его в Кургане, сопровождающего наследника. <...>

В. А. Ж у к о в с к о м у. *Курган, 6 апреля 1845*

Милостивый государь, Василий Андреевич! Будучи еще молодым человеком, когда, по словам Вальтера Скотта, «была молодость и была надежда на счастливую жизнь», восхищался я прекрасными вашими стихами, воспоминание коих и теперь, когда я уже приближаюсь к старости и все радостные мечты жизни превратились в бесцветную прозаическую сущность, оставило во мне самое приятное впечатление. Когда же, по дружеским моим сношениям с Тургеневым, имел я случай от них узнать, что изящные стихи ваши суть только слабый отголосок той высокой невыразимой Поэзии, которая таится в прекрасной душе вашей, полюбил я вас всем сердцем, как принадлежащего к тому малому числу истинных поклонников муз, у которых великий дар слова не есть только [нрзб.]. Занятия по службе и недосуги суетной столичной жизни лишили меня счастья более с вами сблизиться, когда бывший мне добрый приятель Василий Алексеевич Перовский[4] меня с вами познакомил. Но судьбе угодно было вознаградить меня дивным образом за эту потерю свиданием с вами в Кургане в то время, как вы сопровождали цесаревича наследника. Слеза, которая в эту минуту навернулась на глазах ваших и которую, конечно, и ваш ангел-хранитель в свое время не забудет, запечатлелась навсегда в душе моей. Позвольте мне, почтеннейший Василий Андреевич, хоть слабым образом выразить мою признательность за эту слезу участия и не откажите мне в следующей покорной моей просьбе.

Занимаясь постоянно в продолжение пятнадцати месяцев, перевел я с латинского языка на русский «Записки Юлия Кесаря». <...>

Представив заглавие моего перевода, обращаюсь я к вам с сердечною моею просьбою увенчать труд мой лестным для меня позволением вам его посвятить. Изукрашенный вашим именем, получит он при всех

своих несовершенствах более цены, и согласие ваше осчастливит человека, который душою и сердцем вам принадлежит. По известным причинам имя переводчика, принадлежащего к касте париев, должно оставаться неизвестным; но, посвятив вам мой труд, самая эта таинственность имеет для меня что-то приятное. Мне кажется, что без этой примеси моей личности приношение мое будет полнее[5]. <...>

М. А. Б р и г е н. *Курган, 7 сентября [1845]*

<...> При этом письме посылаю вам, мое дорогое дитя, ответ вашего любимого поэта на мое письмо[6]. Пусть оно заменит свадебный подарок. Прошу вас сохранить его как воспоминание о столь памятном времени для вас лично, для меня, для всего нашего семейства. Это документ, значение которого вы в состоянии оценить, и я уверен, что вы прочтете его с удовольствием. В нем полностью проявляется доброе сердце и прекрасная душа Жуковского. Я не вдаюсь в подробности по поводу этого письма, вы прочтете его и сможете сами судить.

Я получил от царя разрешение на публикацию моего Кесаря, но с условием, что в заглавии труда не будет указано мое имя. Это ограничение мне приятно, т. к. я чувствую себя столь ничтожным с этим колоссом античности, что с готовностью воспользуюсь этим предписанием, чтобы отойти в тень. Жуковский занят переводом «Одиссеи», прислать которую он мне обещал так же, как и прочие свои сочинения[7]. Я ему напишу завтра и сообщу также о вас, моя дорогая дочь. Но лишь чрез две недели пошлю, согласно его распоряжению, рукопись тома моего Кесаря генералу Дубельту. <...>

М. А. Т у м а н с к о й. *Курган, 30 ноября 1845*

<...> Я был уверен, что письмо Жуковского вызовет те чувства, которые вы выражаете по этому поводу. Я очень рад, что смог выразить также мою нежность к вам, посылая его письмо и мое уважение к тому, кого люблю и почитаю всем своим сердцем. <...>

Второй том моего Кесаря уже закончен, а работа, которой я займусь, еще не определена. Возможно, это будет Саллюстий. Я жду, что мне скажет Василий Андреевич[8], и тогда мы посмотрим. <...>

В. А. Ж у к о в с к о м у. *Курган, 22 августа 1847*

<...> При последнем письме вашем получил я вовсе неожиданно 141 р. сер. и догадался только по подписи на адресе, что деньги присланы вами. Благодарю вас, добрейший Василий Андреевич, за это вспомоществование и скажу от искреннего сердца, что, по уважению и приверженности моей к вам, чувство быть вам обязану благодарностью, которое по гордости нашей всегда более или менее отяготительно, для меня же не только не отяготительно, но имеет особенную приятность. Великий чародей и отгадчик Тацит, так разительно знавший все таинственные проделки, скрывающиеся в этом маленьком уголке, называемом чело-

веческое сердце, сказал, что человеку свойственно ненавидеть того, кто обидел. По закону существенной противоположности, или, говоря языком Шеллинга, по закону поляризации, можно столь же справедливо сказать, что человеку свойственно любить, кому он делает добро. Признав это за истину неоспоримую и смотря с этой точки, благодеяние ваше делается для меня неоценимым. И мысль, что, сделав мне добро, вы невольным образом меня более полюбите, для меня так усладительна, как усладительна тихая лунная ночь для трости, колеблемой бурными ветрами в пустыне. Благодарю вас за это чувство, вы мне сделали тут прекрасный подарок. <...>

М. А. Туманской. *Туринск, 22 мая 1852*

<...> Известие о смерти несравненного Жуковского меня очень взволновало. Эта потеря оставляет пустоту в моем существовании, которая ничем не может быть восполнена. Нужно было знать эту прекрасную, совершенно христианскую душу, чтобы суметь оценить все то, что она заключала в себе прекрасного и великодушного. Воспоминания об его расположении ко мне и интересе, который он проявлял, мне дороги, тем более что мне случилось видеть равнодушие там, где я надеялся встретить доброжелательность и дружбу, на которые, как я полагал, имел некоторое право, в то время как несравненный Жуковский, с которым у меня никогда не было близких отношений, знал меня только благодаря моей связи с семьей Тургеневых[9], отец которых был приемным отцом Жуковского. <...>

Л. А. Гербель. *Курган, 21 апреля 1857*

<...> Вчера был день кончины моей незабвенной маменьки, а 12-го доброго моего Жуковского. <...> 6 тыс. р. асс. прислал мне незабвенный Жуковский.

Н. И. Тургеневу. *СПб., 9-го января 1859*

<...> Недавно читал я посмертные соч<инения> Жуковского, изд<анные> Блудовым. Некоторые статьи, как, напр<имер>, о Радовице[10], и другие сделали во мне неприятное впечатление. Удивительно, что религия, основанная на любви и на свободе, может клониться к абсолютизму в уме такого доброго человека, как Жуковский. Я не говорю о его сердце. Оно чисто и светло, как стекло, и, вероятно, заставляло его часто быть в разладе с самим собою. <...>

Н. В. Гоголь

ИЗ СТАТЬИ «В ЧЕМ ЖЕ, НАКОНЕЦ, СУЩЕСТВО РУССКОЙ ПОЭЗИИ И В ЧЕМ ЕЕ ОСОБЕННОСТЬ»

<...> Но при всем том мы сами никак бы не столкнулись с немцами, если бы не явился среди нас такой поэт, который показал нам весь этот новый, необыкновенный мир сквозь ясное стекло своей собственной природы, нам более доступной, чем немецкая. Этот поэт — Жуковский, наша замечательнейшая оригинальность! Чудной, высшей волей вложено было ему в душу от дней младенчества непостижимое ему самому стремление к незримому и таинственному. В душе его, точно как в герое его баллады Вадиме[1], раздавался небесный звонок, зовущий вдаль. Из-за этого зова бросался он на все неизъяснимое и таинственное повсюду, где оно ни встречалось ему, и стал облекать его в звуки, близкие нашей душе. Все в этом роде у него взято у чужих, и больше у немцев, — почти всё переводы. Но на переводах так отпечаталось это внутреннее стремление, так зажгло и одушевило их своею живостью, что сами немцы, выучившиеся по-русски, признаются, что перед ним оригиналы кажутся копиями, а переводы его кажутся истинными оригиналами. Не знаешь, как назвать его — переводчиком или оригинальным поэтом. Переводчик теряет собственную личность, но Жуковский показал ее больше всех наших поэтов. Пробежав оглавление стихотворений его, видишь: одно взято из Шиллера, другое из Уланда, третье у Вальтер Скотта, четвертое у Байрона, и все — вернейший сколок, слово в слово, личность каждого поэта удержана, негде было и высунуться самому переводчику; но когда прочтешь несколько стихотворений вдруг и спросишь себя: чьи стихотворения читал? — не предстанет перед глаза твои ни Шиллер, ни Уланд, ни Вальтер Скотт, но поэт от них всех отдельный, достойный поместиться не у ног их, но сесть с ними рядом, как равный с равным. Каким образом сквозь личности всех поэтов пронеслась его собственная личность — это загадка, но она так и видится всем. Нет русского, который бы не составил себе из самих же произведений Жуковского верного портрета самой души его. Надобно сказать также, что ни в ком из переведенных им поэтов не слышно так сильно стремленье уноситься в заоблачное, чуждое всего видимого, ни в ком также из них не ви-

дится это твердое признание незримых сил, хранящих повсюду человека, так что, читая его, чувствуешь на всяком шагу, как бы сам, выражаясь стихами Державина:

Под надзирание ты предан
Невидимых, бессмертных сил
И легионам заповедан
Всех ангелов, чтоб цел ты был[2]

Переводя, производил он переводами такое действие, как самобытный и самоцветный поэт. Внеся это новое, дотоле незнакомое нашей поэзии стремление в область незримого и тайного, он отрешил ее самую от материализма не только в мыслях и образе их выраженья, но и в самом стихе, который стал легок и бестелесен, как видение. Переводя, он оставил переводами початки всему оригинальному, внес новые формы и размеры, которые стали потом употреблять все другие наши поэты. Лень ума помешала ему сделаться преимущественно поэтом-изобретателем, — лень выдумывать, а не недостаток творчества. Признаки творчества показал он в себе уже с самого начала своего поприща: «Светлана» и «Людмила» разнесли в первый раз греющие звуки нашей славянской природы, более близкие нашей душе, чем какие раздавались у других поэтов. Доказательством тому то, что они произвели впечатленье сильное на всех в то время, когда поэтическое чутье у нас было еще слабо развито. Элегический род нашей поэзии создан им. Есть еще первоначальнейшая причина, от которой произошла и самая лень ума: это — свойство *оценивать*, которое, поселившись властительно в его уме, заставляло его останавливаться с любовью над всяким готовым произведением. Отсюда его тонкое критическое чутье, которое так изумляло Пушкина. Пушкин сильно на него сердился за то, что он не пишет критик[3]. По его мненью, никто, кроме Жуковского, не мог так разъять и определить всякое художественное произведение. Это свойство разбирать и оценивать отражается в его живописных описаниях природы, которые все его собственные, самобытные произведения. Взявши картину, его пленившую, он не оставляет ее по тех пор, покуда не исчерпает всю, разъяв как бы анатомическим ножом ее неуловимейшую подробность. Кто уже мог написать стихотворенье «Отчет о солнце»[4], где подстережены все видоизменения солнечных лучей и волшебство картин, ими производимых в разные часы дня, равно как с такой же живописной подробностью изобразить в «Отчете о луне»[5] волшебство лунных лучей, с целым рядом ночных картин, ими производимых, — тот, разумеется, должен был заключить в себе в большой степени свойство *оценивать*. Его «Славянка» с видами Павловска[6] — точная живопись. Благоговейная задумчивость, которая проносится сквозь все ее картины, исполняет их того греющего, теплого света, который наводит успокоенье

необыкновенное на читателя. Становишься тише во всех своих порывах, и какой-то тайной замыкаются твои собственные уста.

В последнее время в Жуковском стал замечаться перелом поэтического направленья. По мере того как стала перед ним проясняться чище та незримо-светлая даль, которую он видел дотоле в неясно-поэтическом отдалении, пропадала страсть и вкус к призракам и привиденьям немецких баллад. Самая задумчивость уступила место светлости душевной. Плодом этого была «Ундина», творенье, принадлежащее вполне Жуковскому. Немецкий пересказчик[7] того же самого преданья в прозе не мог служить его образцом. Полный создатель светлости этого поэтического созданья есть Жуковский. С этих пор он добыл какой-то прозрачный язык, который ту же вещь показывает еще видней, чем как она есть у самого хозяина, у которого он взял ее. Даже прежняя воздушная неопределенность стиха его исчезла: стих его стал крепче и тверже; все приуготовлялось в нем на то, дабы обратить его к передаче совершеннейшего поэтического произведения, которое, будучи произведено таким образом, как производится им, при таком напоенье всего себя духом древности и при таком просветленном, высшем взгляде на жизнь, покажет непременно первоначальный, патриархальный быт древнего мира в свете родном и близком всему человечеству, — подвиг, далеко высший всякого собственного создания, который доставит Жуковскому значение всемирное. Перед другими нашими поэтами Жуковский то же, что ювелир перед прочими мастерами, то есть мастер, занимающийся последнею отделкой дела. Не его дело добыть в горах алмаз — его дело оправить этот алмаз таким образом, чтобы он заиграл всем своим блеском и выказал бы вполне свое достоинство всем. Появленье такого поэта могло произойти только среди русского народа, в котором так силен гений восприимчивости, данный ему, может быть, на то, чтобы оправить в лучшую оправу все, что не оценено, не возделано и пренебрежено другими народами. <...>

ОБ «ОДИССЕЕ», ПЕРЕВОДИМОЙ ЖУКОВСКИМ

(Письмо к Н. М. Я.....ву)[1]

Появление «Одиссеи» произведет эпоху. «Одиссея» есть решительно совершеннейшее произведение всех веков[2]. Объем ее велик; «Илиада» пред нею эпизод. «Одиссея» захватывает весь древний мир, публичную и домашнюю жизнь, все поприща тогдашних людей, с их ремеслами,

знаньями, верованьями... словом, трудно даже сказать, чего бы не обняла «Одиссея» или что бы в ней было пропущено. В продолжение нескольких веков служила она неиссякаемым колодцем для древних, а потом и для всех поэтов. Из нее черпались предметы для бесчисленного множества трагедий, комедий; все это разнеслось по всему свету, сделалось достоянием всех, а сама «Одиссея» позабыта. Участь «Одиссеи» странна: в Европе ее не оценили; виной этого отчасти недостаток перевода, который бы передавал художественно великолепнейшее произведение древности, отчасти недостаток языка, в такой степени богатого и полного, на котором отразились бы все бесчисленные, неуловимые красоты как самого Гомера, так и вообще эллинской речи; отчасти же недостаток, наконец, и самого народа, в такой степени одаренного чистотой девственного вкуса, какая потребна для того, чтобы почувствовать Гомера.

Теперь перевод первейшего поэтического творения производится на языке, полнейшем и богатейшем всех европейских языков.

Вся литературная жизнь Жуковского была как бы приготовлением к этому делу. Нужно было его стиху выработаться на сочинениях и переводах с поэтов всех наций и языков, чтобы сделаться потом способным передать вечный стих Гомера, — уху его наслушаться всех лир, дабы сделаться до того чутким, чтобы и оттенок эллинского звука не пропал; нужно было мало того что влюбиться ему самому в Гомера, но получить еще страстное желание заставить всех соотечественников своих влюбиться в Гомера, на эстетическую пользу души каждого из них; нужно было совершиться внутри самого переводчика многим таким событиям, которые привели в бо́льшую стройность и спокойствие его собственную душу, необходимые для передачи произведения, замышленного в такой стройности и спокойствии; нужно было, наконец, сделаться глубже христианином, дабы приобрести тот презирающий, углубленный взгляд на жизнь, которого никто не может иметь, кроме христианина, уже постигнувшего значение жизни. Вот скольким условиям нужно было выполниться, чтобы перевод «Одиссеи» вышел не рабская передача, но послышалось бы в нем *слово живо*, и вся Россия приняла бы Гомера, как родного!

Зато вышло что-то чудное. Это не перевод, но скорей воссоздание, восстановленье, воскресенье Гомера[3]. Перевод как бы еще более вводит в древнюю жизнь, чем сам оригинал. Переводчик незримо стал как бы истолкователем Гомера, стал как бы каким-то зрительным, выясняющим стеклом перед читателем, сквозь которое еще определительней и ясней выказываются все бесчисленные его сокровища.

По-моему, все нынешние обстоятельства как бы нарочно обстановились так, чтобы сделать появление «Одиссеи» почти необходимым в настоящее время: в литературе, как и во всем, — охлаждение. Как очаровываться, так и разочаровываться устали и перестали. Даже эти судорожные, больные произведения века, с примесью всяких непереварив-

шихся идей, нанесенных политическими и прочими броженьями, стали значительно упадать; только одни задние чтецы, привыкшие держаться за хвосты журнальных вождей, еще кое-что перечитывают, не замечая в простодушии, что козлы, их предводившие[4], давно уже остановились в раздумье, не зная сами, куда повести заблудшие стада свои. Словом, именно то время, когда слишком важно появленье произведенья стройного во всех частях своих, которое изображало бы жизнь с отчетливостью изумительной и от которого повевало бы спокойствием и простотой почти младенческой.

«Одиссея» произведет у нас влияние как *вообще на всех*, так и *отдельно на каждого.*

Рассмотрим то влияние, которое она может у нас произвести *вообще на всех*. «Одиссея» есть именно то произведение, в котором заключились все нужные условия, дабы сделать ее чтением всеобщим и народным. Она соединяет всю увлекательность сказки и всю простую правду человеческого похождения, имеющего равную заманчивость для всякого человека, кто бы он ни был. Дворянин, мещанин, купец, грамотей и неграмотей, рядовой солдат, лакей, ребенок обоего пола, начиная с того возраста, когда ребенок начинает любить сказку, ее прочитают и выслушают без скуки. Обстоятельство слишком важное, особенно если примем в соображение то, что «Одиссея» есть вместе с тем нравственнейшее произведение и что единственно затем и предпринята древним поэтом, чтобы в живых образах начертать законы действий тогдашнему человеку.

Греческое многобожие не соблазнит нашего народа. Народ наш умен: он растолкует, не ломая головы, даже то, что приводит в тупик умников. Он здесь увидит только доказательство того, как трудно человеку самому, без пророков и без откровения свыше, дойти до того, чтобы узнать Бога в истинном виде, и в каких нелепых видах станет он представлять себе лик Его, раздробивши единство и единосилие на множество образов и сил. Он даже не посмеется над тогдашними язычниками, признав их ни в чем не виноватыми: пророки им не говорили, Христос тогда не родился, апостолов не было. Нет, народ наш скорей почешет у себя в затылке, почувствовав то, что он, зная Бога в его истинном свете, имея в руках уже письменный закон Его, имея даже истолкователей закона в отцах духовных, молится ленивее и выполняет долг свой хуже древнего язычника. Народ смекнет, почему та же верховная сила помогала и язычнику за его добрую жизнь и усердную молитву, несмотря на то что он, по невежеству, взывал к ней в образе Посейдонов, Кронионов, Гефестов, Гелиосов, Киприд и всей вереницы, которую наплело играющее воображение греков. Словом, многобожие оставит он в сторону, а извлечет из «Одиссеи» то, что ему следует из нее извлечь, — то, что ощутительно в ней видимо всем, что легло в дух ее содержания и для чего написана сама «Одиссея», то есть что человеку везде, на всяком

поприще, предстоит много бед, что нужно с ними бороться — для того и жизнь дана человеку, — что ни в каком случае не следует унывать, как не унывал и Одиссей, который во всякую трудную и тяжелую минуту обращался к своему милому сердцу, не подозревая сам, что таковым внутренним обращением к самому себе он уже творил ту внутреннюю молитву Богу, которую в минуты бедствий совершает всякий человек, даже не имеющий никакого понятия о Боге. Вот то *общее*, тот живой дух ее содержания, которым произведет на всех впечатление «Одиссея» прежде, чем одни восхитятся ее поэтическими достоинствами, верностью картин и живостью описаний; прежде, чем другие поразятся раскрытием сокровищ древности в таких подробностях, в каких не сохранило ее ни ваянье, ни живопись, ни вообще все древние памятники; прежде, чем третьи останутся изумлены необыкновенным познанием всех изгибов души человеческой, которые все были ведомы всевидевшему слепцу; прежде, чем четвертые будут поражены глубоким ведением государственным, знанием трудной науки править людьми и властвовать ими, чем обладал также божественный старец, законодатель и своего и грядущих поколений; словом — прежде, чем кто-либо завлечется чем-нибудь отдельно в «Одиссее» сообразно своему ремеслу, занятиям, наклонностям и своей личной особенности. И все потому, что слишком осязательно слышен этот дух ее содержания, эта внутренняя сущность его, что ни в одном творении не проступает она так сильно наружу, проникая все и преобладая над всем, особенно когда рассмотрим еще, как ярки все эпизоды, из которых каждый в силах заменить главное.

Отчего ж так сильно это слышится всем? Оттого, что залегло это глубоко в самую душу древнего поэта. Видишь на всяком шагу, как хотел он облечь во всю обворожительную красоту поэзии то, что хотел бы утвердить навеки в людях, как стремился укрепить в народных обычаях то, что в них похвально, напомнить человеку лучшее и святейшее, что есть в нем и что он способен позабывать всякую минуту, оставить в каждом лице своем пример каждому на его отдельном поприще, а всем вообще оставить пример в своем неутомимом Одиссее на общечеловеческом поприще.

Это строгое почитание обычаев, это благоговейное уважение власти и начальников, несмотря на ограниченные пределы самой власти, эта девственная стыдливость юношей, эта благость и благодушное безгневие старцев, это радушное гостеприимство, это уважение и почти благоговение к человеку как представителю образа Божия, это верование, что ни одна благая мысль не зарождается в голове его без верховной воли высшего нас существа и что ничего не может он сделать своими собственными силами, словом — всё, всякая малейшая черта в «Одиссее» говорит о внутреннем желании поэта всех поэтов оставить древнему человеку живую и полную книгу законодательства в то время, когда еще не было ни законодателей, ни учредителей порядков, когда еще

никакими гражданскими и письменными постановленьями не были определены отношения людей, когда люди еще многого не ведали и даже не предчувствовали и когда один только божественный старец все видел, слышал, соображал и предчувствовал, слепец, лишенный зрения, общего всем людям, и вооруженный тем внутренним оком, которого не имеют люди!

И как искусно сокрыт весь труд многолетних обдумываний под простотой самого простодушнейшего повествования! Кажется, как бы собрав весь люд в одну семью и усевшись среди них сам, как дед среди внуков, готовый даже с ними ребячиться, ведет он добродушный рассказ свой и только заботится о том, чтобы не утомить никого, не запугать неуместной длиннотой поученья, но развеять и разнести его невидимо по всему творению, чтобы, играя, набрались все того, что дано не на игрушку человеку, и незаметно бы надыхались тем, что знал он и видел лучшего на своем веку и в своем веке. Можно бы почесть все за изливающуюся без приготовления сказку, если бы по внимательном рассмотрении уже потом не открывалась удивительная постройка всего целого и порознь каждой песни. Как глупы немецкие умники[5], выдумавшие, будто Гомер — миф, а все творения его — народные песни и рапсодии!

Но рассмотрим то влияние, которое может произвести у нас «Одиссея» *отдельно на каждого*. Во-первых, она подействует на пишущую нашу братию, на сочинителей наших. Она возвратит многих к свету, проведя их, как искусный лоцман, сквозь сумятицу и мглу, нанесенную неустроенными, неорганизовавшимися писателями. Она снова напомнит нам всем, в какой бесхитростной простоте нужно воссоздавать природу, как уяснять всякую мысль до ясности почти ощутительной, в каком уравновешенном спокойствии должна изливаться речь наша. Она вновь даст почувствовать всем нашим писателям ту старую истину, которую век мы должны помнить и которую всегда позабываем, а именно: до тех пор не приниматься за перо, пока все в голове не установится в такой ясности и порядке, что даже ребенок в силах будет понять и удержать все в памяти. Еще более, чем на самих писателей, «Одиссея» подействует на тех, которые еще готовятся в писатели и, находясь в гимназиях и университетах, видят перед собой еще туманно и неясно свое будущее поприще. Их она может навести с самого начала на прямой путь, избавив от лишнего шатания по кривым закоулкам, по которым натолкались изрядно их предшественники.

Во-вторых, «Одиссея» подействует на вкус и на развитие эстетического чувства. Она освежит критику. Критика устала и запуталась от разборов загадочных произведений новейшей литературы, с горя бросилась в сторону и, уклонившись от вопросов литературных, понесла дичь. По поводу «Одиссеи» может появиться много истинных дельных критик, тем более что вряд ли есть на свете другое произведение, на которое можно было бы взглянуть с таких многих сторон, как на «Одиссею». Я

уверен, что толки, разборы, рассуждения, замечания и мысли, ею возбужденные, будут раздаваться у нас в журналах в продолжение многих лет[6]. Читатели будут от этого не в убытке: критики не будут ничтожны. Для них потребуется много перечесть, оглянуть вновь, перечувствовать и перемыслить: пустой верхогляд не найдется даже, что и сказать об «Одиссее».

В-третьих, «Одиссея» своей русской одеждой, в которую облек ее Жуковский, может подействовать значительно на очищение языка. Еще ни у кого из наших писателей, не только у Жуковского во всем, что ни писал он доселе, но даже у Пушкина и Крылова, которые несравненно точней его на слова и выражения, не достигала до такой полноты русская речь. Тут заключались все ее извороты и обороты во всех видоизмененьях. Бесконечно огромные периоды, которые у всякого другого были бы вялы, темны, и периоды сжатые, краткие, которые у другого были бы черствы, обрублены, ожесточили бы речь, у него так братски улегаются друг возле друга, все переходы и встречи противуположностей совершаются в таком благозвучии, все так и сливается в одно, улетучивая тяжелый громозд всего целого, что, кажется, как бы пропал вовсе всякий слог и склад речи: их нет, как нет и самого переводчика. Наместо его стоит перед глазами, во всем величии, старец Гомер, и слышатся те величавые, вечные речи, которые не принадлежат устам какого-нибудь человека, но которых удел вечно раздаваться в мире. Здесь-то увидят наши писатели, с какой разумной осмотрительностью нужно употреблять слова и выражения, как всякому простому слову можно возвратить его возвышенное достоинство уменьем поместить его в надлежащем месте и как много значит для такого сочинения, которое назначается на всеобщее употребление и есть сочинение гениальное, это наружное благоприличие, эта внешняя отработка всего: тут малейшая соринка заметна и всем бросается в глаза. Жуковский сравнивает весьма справедливо эти соринки с бумажками, которые стали бы валяться в великолепно убранной комнате, где все сияет ясностью зеркала, начиная от потолка до паркета: всякий вошедший прежде всего увидит эти бумажки именно потому же самому, почему бы он их вовсе не приметил в неприбранной, нечистой комнате.

В-четвертых, «Одиссея» подействует в любознательном отношении как на занимающихся науками, так и на не учившихся никакой науке, распространив живое познание древнего мира. Ни в какой истории не начитаешь того, что отыщешь в ней: от нее так и дышит временем минувшим; древний человек как живой так и стоит перед глазами, как будто еще вчера его видел и говорил с ним. Так его и видишь во всех его действиях, во все часы дня: как приготовляется он благоговейно к жертвоприношению, как беседует чинно с гостем за пировою критерой[7], как одевается, как выходит на площадь, как слушает старца, как поучает юношу: его дом, его колесница, его спальня, малейшая мебель в доме, от

подвижных столов до ременной задвижки у дверей, — все перед глазами, еще свежее, чем в отрытой из земли Помпее.

Наконец, я даже думаю, что появление «Одиссеи» произведет впечатление на современный дух нашего общества вообще. Именно в нынешнее время, когда таинственною волей Провидения стал слышаться повсюду болезненный ропот неудовлетворения, голос неудовольствия человеческого на все, что ни есть на свете: на порядок вещей, на время, на самого себя. Когда всем, наконец, начинает становиться подозрительным то совершенство, на которое возвели нас наша новейшая гражданственность и просвещение; когда слышна у всякого какая-то безотчетная жажда быть не тем, чем он есть, может быть, происшедшая от прекрасного источника быть лучше; когда сквозь нелепые крики и опрометчивые проповедования новых, еще темно услышанных идей, слышно какое-то всеобщее стремление стать ближе к какой-то желанной середине, найти настоящий закон действий как в массах, так и отдельно взятых особях; словом, в это именно время «Одиссея» поразит величавою патриархальностию древнего быта, простой несложностью общественных пружин, свежестью жизни, непритупленной, младенческою ясностью человека. В «Одиссее» услышит сильный упрек себе наш девятнадцатый век, и упрекам не будет конца, по мере того как станет он поболее всматриваться в нее и вчитываться.

Что может быть, например, уже сильней того упрека, который раздастся в душе, когда разглядишь, как древний человек, с своими небольшими орудиями, со всем несовершенством своей религии, дозволявшей даже обманывать, мстить и прибегать к коварству для истребления врага, с своею непокорной, жестокой, не склонной к повиновенью природой, с своими ничтожными законами, умел, однако же, одним только простым исполнением обычаев старины и обрядов, которые не без смысла были установлены древними мудрецами и заповеданы передаваться в виде святыни от отца к сыну, — одним только простым исполнением этих обычаев дошел до того, что приобрел какую-то стройность и даже красоту поступков, так что все в нем сделалось величаво с ног до головы, от речи до простого движения и даже до складки платья, и кажется, как бы действительно слышишь в нем богоподобное происхождение человека? А мы, со всеми нашими огромными средствами и орудиями к совершенствованию, с опытами всех веков, с гибкой, переимчивой нашей природой, с религией, которая именно дана нам на то, чтобы сделать из нас святых и небесных людей, — со всеми этими орудиями, умели дойти до какого-то неряшества и неустройства, как внешнего, так и внутреннего, умели сделаться лоскутными, мелкими от головы до самого платья нашего и, ко всему еще в прибавку, опротивели до того друг другу, что не уважает никто никого, даже не выключая и тех, которые толкуют об уважении ко всем.

Словом, на страждущих и болеющих от своего европейского совершенства «Одиссея» подействует. Много напомнит она им младенчески прекрасного, которое (увы!) утрачено, но которое должно возвратить себе человечество, как свое законное наследство. Многие над многим призадумаются. А между тем многое из времен патриархальных, с которыми есть такое сродство в русской природе, разнесется невидимо по лицу русской земли. Благоухающими устами поэзии навевается на души то, чего не внесешь в них никакими законами и никакой властью!

ИЗ ПИСЕМ

А. С. Данилевскому. *(1831.) Ноября 2. СПб.*

<...> Все лето я прожил в Павловске и Царском Селе. Стало быть, не был свидетель времен терроризма, бывших в столице[1]. Почти каждый вечер собирались мы: Жуковский, Пушкин и я. О, если бы ты знал, сколько прелестей вышло из-под пера сих мужей. У Пушкина повесть, октавами писанная: «Кухарка»[2], в которой вся Коломна и петербургская природа живая. — Кроме того, сказки русские народные — не то, что «Руслан и Людмила», но совершенно русские. Одна писана даже без размера, только с рифмами и прелесть невообразимая[3]. — У Жуковского тоже русские народные сказки[4], одне экзаметрами, другие просто четырехстопными стихами, и, чудное дело! Жуковского узнать нельзя. Кажется, появился новый обширный поэт и уже чисто русской. Ничего германского и прежнего. А какая бездна новых баллад! Они на днях выйдут[5]. <...>

В. А. Жуковскому. *Гамбург, 28 июня <н. ст. 1836>*

Мне очень было прискорбно, что не удалось с вами проститься перед моим отъездом, тем более что отсутствие мое, вероятно, продолжится на несколько лет. Но теперь для меня есть что-то в этом утешительное. Разлуки между нами не может и не должно быть, и где бы я ни был, в каком бы отдаленном уголке ни трудился, я всегда буду возле вас. Каждую субботу я буду в вашем кабинете[6], вместе со всеми близкими вам. Вечно вы будете представляться слушающим меня читающего. Какое участие, какое заботливо-родственное участие видел я в глазах ваших!.. Низким и пошлым почитал я выражение благодарности моей к вам. Нет, я не был проникнут благодарностью; клянусь, это что-то выше, что-то больше ее; я не знаю, как назвать это чувство, но катящиеся в эту минуту слезы, но взволнованное до глубины сердце говорит, что оно одно из тех чувств, которые редко достаются в удел жителю земли!

Каких высоких, каких торжественных ощущений, невидимых, не заметных для света, исполнена жизнь моя! Клянусь, я что-то сделаю, чего не делает обыкновенный человек. Львиную силу чувствую в душе своей и заметно слышу переход свой из детства, проведенного в школьных занятиях, в юношеский возраст. <...>

Ему же. *12 ноября <н. ст. 1836. Париж>*

<...> Пришлите мне портрет ваш. Ради всего, что есть для вас дорогого на свете, не откажите мне в этом, но чтобы он был теперь снят с вас. Если у вас нет его, не поскупитесь, посидите два часа на одном месте; если вы не исполните моей просьбы, то... но нет, я не хочу и думать об отказе. Вы не захотите меня опечалить. Акварелью в миниатюре, чтобы он мог не сворачиваясь уложиться в письмо, и отдайте его для отправления Плетневу. <...>

Ему же. *Октябрь 30 <н. ст.>. Рим. 1837*

<...> Я получил данное мне великодушным нашим государем вспоможение[7]. Благодарность сильна в груди моей, но излияние ее не достигнет к его престолу. Как некий бог, он сыплет полною рукою благодеяния и не желает слышать наших благодарностей. <...> Но до вас может досягнуть моя благодарность. Вы, всё вы! Ваш исполненный любви взор бодрствует надо мною! Как будто нарочно дала мне судьба тернистый путь, и сжимающая нужда увила жизнь мою, чтобы я был свидетель прекраснейших явлений на земле. <...>

А. С. Данилевскому. *31 декабря <н. ст. 1838.> Рим*

<...> На днях приехал наследник, а с ним вместе Жуковский[8]. Он все так же добр, так же любит меня. Свиданье наше было трогательное: он весь полон Пушкиным. <...>

В. Н. Репниной. *Рим. 1839. Генваря 18 <н. ст.>*

<...> Я же так теперь счастлив приездом Жуковского, что это одно наполняет меня всего. Свидание наше было очень трогательно. Первое имя, произнесенное нами, было: Пушкин. Поныне чело его облекается грустью при мысли об этой утрате. Мы почти весь день вместе обсматривали Рим с утра до ночи, исключая тех дней, в которые он обязан делать этот курс с наследником. Он весь упоен Римом и только жалеет на короткость времени. Появление его здесь для меня точно сновидение. Наслаждаюсь своим сном и боюсь и подумать о пробуждении. <...>

А. С. Данилевскому. *5 февраля <н. ст. 1839.> Рим*

<...> Я начинаю теперь вновь чтение Рима, и, Боже, сколько нового для меня, который уже в четвертый раз читает его. Это чтение теперь имеет двойное наслаждение оттого, что у меня теперь прекрасный товарищ. Мы ездим каждый день с Жуковским, который весь влюбился в него и который, увы, через два дни должен уже оставить его. Пусто мне

сделается без него. Это был какой-то небесный посланник ко мне, как тот мотылек, им описанный, влетевший к узнику. <...> До сих пор я больше держал в руке кисть, чем перо. Мы с Жуковским рисовали на лету лучшие виды Рима. Он в одну минуту рисует их по десяткам и чрезвычайно верно и хорошо[9]. <...>

В. А. Жуковскому. *Неаполь. 1848. Генварь 10 <н. ст.>*

<...> Вот уже скоро двадцать лет с тех пор, как я, едва вступавший в свет юноша, пришел в первый раз к тебе, уже совершившему полдороги на этом поприще. Это было в Шепелевском дворце. Комнаты этой уже нет. Но я ее вижу как теперь, всю, до малейшей мебели и вещицы. Ты подал мне руку и так исполнился желаньем помочь будущему сподвижнику! Как был благосклонно-любовен твой взор!.. Что нас свело, неравных годами? Искусство. Мы почувствовали родство, сильнейшее обыкновенного родства. Отчего? Оттого, что чувствовали оба святыню искусства. <...> И, может быть, будущий уездный учитель словесности прочтет ученикам своим страницу будущей моей прозы непосредственно вослед за твоей, примолвивши: «Оба писателя правильно писали, хотя и не похожи друг на друга». <...>

Ф. И. Тимирязев

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

<...> Находясь в отставке, И. С. Тимирязев <...> более всего прожил в Москве, и к этой эпохе главным образом относится его сближение со многими видными деятелями того времени и с избранным кружком наших великих поэтов и литераторов. Князь П. А. Вяземский жил в то время в Москве, и, находясь с ним в самых искренних и дружеских отношениях, отец мой сблизился с Жуковским, Пушкиным, с дядею его Василием Львовичем, с Соболевским, с графом Толстым (Американцем), Нащокиным, Денисом Давыдовым и с блестящею молодежью того времени. Особенно ценил он и дорожил отношениями к Вяземскому, Пушкину и Жуковскому. Он часто говаривал, что любил всею душою первого, восхищался и гордился вторым и почти благоговел перед последним. <...>

Здесь будет нелишне упомянуть о частном случае, не лишенном известного интереса, ради участия в нем Жуковского. В 1840 году отец мой, по обыкновению, довез нас до Москвы, а сам отправился в Петербург по делам службы. Между прочим, он захотел составить мне маленькую библиотеку детских книг и учебников, так как с наступлением восьмилетнего возраста меня уже начали понемногу сажать за учение. Он как-то высказал свое намерение при Жуковском, который тотчас объявил ему: «Я сам выберу все книги для твоего сына; поедем вместе». И действительно, в назначенный день и час Василий Андреевич отправился с отцом по книжным магазинам. Он тщательно подобрал все, что находил нужным и полезным, и, когда выбор был окончен, он во главе всех купленных книг положил иллюстрированное издание своей «Ундины»[1], надписав предварительно на заглавном листе собственноручно следующие слова: «Моему юному другу, на память от автора». Этот экземпляр «Ундины» по сие время хранится мною как драгоценное воспоминание о нашем незабвенном поэте. <...>

В это время, 1848 г., по почину князя П. А. Вяземского возникла мысль отпраздновать торжественно 50-ти летний юбилей литературной деятельности В. А. Жуковского[2]. Сам юбиляр находился за границею, по случаю болезненного состояния своей жены; но все друзья его и товарищи по литературе решили отпраздновать этот день — 29-го января, собравшись на литературный вечер к князю Вяземскому, причем к этому случаю подготовлены были разные речи и стихотворения в честь отсутствующего виновника торжества, и, между прочим, графом М. Ю. Вьельгорским. Отец мой, весьма естественно, готовился присутствовать на этом чествовании столь высоко чтимого им поэта. <...> Августейший воспитанник Жуковского цесаревич Александр Николаевич выразил непременное желание принять участие в этом торжестве. <...>

И. Е. Бецкий

ИЗ «ДНЕВНИКА». ЗАПИСЬ О СВИДАНИИ С В. А. ЖУКОВСКИМ ВО ФРАНКФУРТЕ

Утром в 9-м часу узнали мы, что здесь живет наш любимый, высокоуважаемый поэт В. А. Жуковский, переехавший сюда из Дюссельдорфа. Я имел счастие, еще бывши студентом, видеть его однажды в аудитории Московского университета. Теперь обрадовался неожиданному случаю поклониться славному русскому писателю и просил к<нязя> В. П. Г<олицына> представить меня писателю, чье имя привыкло уважать с ребячества все наше молодое поколение. Он живет на набережной, на другой стороне моста, в двухэтажном небольшом домике, окнами на Майн.

Василий Андреевич принял нас в своем кабинете. Какое простое, радушное обращение! И как еще молодо выражение лица русского лирика, отражение души чистой, поэтической, достойной наследницы Шиллерова вдохновенья. Вот он, наша родная гордость, один из последних представителей славной эпохи в истории русской поэзии, наш русский Шиллер! Я передам вам все, что минутное посещение позволило мне услышать из уст нашего Поэта; эти страницы останутся для меня драгоценнейшим воспоминанием, а для вас, верно, занимательнейшими в моих записках.

Узнавши, что я недавно ездил в Барейт поклониться праху Жан-Поля и навестить его добрую старушку-вдову, Василий Андреевич подарил меня взаимно следующим рассказом о своем знакомстве с германским гением.

«Я нарочно заезжал в 1820 году в Барейт, чтоб видеть немецкую знаменитость[1]. Он принял меня в гостиной. Ни жены, ни детей не было дома. После первого знакомства я просил его, чтобы он показал мне комнату, где он занимается, стол, на котором увидели свет и „Титан“, и „Hesper“, и бессмертная „Левана“[2]. Он повел меня в свой кабинет. В гостиной видны были следы женских рук, чинность, порядок, чистота; здесь же совсем противное, страшный беспорядок. У окошка стоял стол, поперек комнаты; на столе навалены книги и бумаги*; от стола проведена была маленькая лестница в большую клетку любимых им канареек,

* Все эти бумаги находятся теперь в руках зятя Ж.-П., в Мюнхене, у Эрнста Ферстера, который и теперь занимается продолжением лучшей биографии Ж.-П., известной в Германии.

пользовавшихся полною свободою. На полу лежал большой пудель и толстый кот; подле стола стояли полки с ящиками, по которым были разложены кучи заметок, под разными названиями: „Morale“, „Histoire“, „Philosophie“ и проч., и пр.[3]. Я просил показать что-нибудь из этой литературной амальгамы; смотрю — намарано, перечеркнуто, разрисовано, и ему одному, может быть, понятно, и то покуда горячо. „Да помилуйте, — воскликнул я невольно, — кто же что-нибудь разберет?“».

Он объяснил мне, что из всего этого хаоса он извлекает свет, когда он сочиняет, т. е. вставляет в свое сочинение готовую мысль, идущую к делу.

— Хорошо, покуда вы живы и сами хозяйничаете в этой мудреной кухне; а когда вас не будет и угаснет светильник, кто же рассудит нам ваши мысли? Тут никто и толку не доберется: надобно же думать о потомстве...

Добродушный немец улыбнулся. Я изъявил желание видеть, как именно он занимается, как читает.

— Как читаю, — отвечал мне Жан-Поль. — А вот сейчас увидите...

С этими словами немец мой схватил обеими руками белого пуделя, лежавшего у ног, уложил друга на одном конце дивана и улегся сам, положив свою голову на послушное, вероятно, чистоплотное животное, и начал читать вслух...»

При этих словах В. А. я невольно вспомнил о славном нашем комике, А. А. Шаховском. У того бывало в комнате не один, а десять пуделей, и все одного цвета и огромного роста.

Но если я из Франкфурта перенесусь в Россию, письму моему не будет конца. Возвращаюсь к рассказу В. А. Он напомнил мне статью Филарета Шаля, когда-то переведенную мною на студенческой скамье; он также упоминает о лоскутках и заметках, но французскому критику угодно было уложить их в огромный сундук, и, вероятно наслышавшись о домашней жизни Жан-Поля, а может быть, и по собственному соображению, он приплел сюда небывалых голубей, будто ворковавших и кокетничавших у ног Жан-Поля в дымной комнате, и пр., и пр. Француз не может не прибавить, такова уж у него натура, и потому ему нипочем превратить канарейку в голубя: и это называется у них avoir trop d'imagination*. Но что всего досаднее, это маньер их переводить. Для них текст великого писателя — канва, по которому воображение рисует свои собственные узоры! Может быть, они и прекрасны, да зачем же свою фабрику держать под чужою фирмою. — Таков перевод «Титана» Филарета Шаля.

Что же касается до вставочных мыслей в сочинениях Жан-Поля, то их легко заметить в любом его романе. Отсюда характер какой-то мозаичности, особенно способствовавший стольким изданиям на всех

* иметь избыток воображения (*фр.*).

европейских языках в роде антологий, мыслей, извлеченных из его творений.

Я изъявил В. А. свое сожаление, что не имею под рукою антологии из Ж.-П. Р<ихтера>, недавно изданной кем-то в России[4], потому что, сообщивши ему один экземпляр, я осчастливил бы тем переводчика, которому, без сомнения, очень лестно было бы знать, что его маленькая книжечка лежит на столе переводчика «Орлеанской девы».

— Если перевод хорош, — отвечал мне Жуковский, — переводчик может быть полезным русской литературе, продолжая свои занятия. Он очень труден, его скорее сочинить надобно, чем переводить. Целого сочинения перевести даже невозможно, и едва ли кто стал бы теперь читать целый роман: нельзя отрицать в этом писателе гениального человека, но у него мало того, что называется правдою; слог его слишком манерен и воображение необузданно...

Я был так рад видеть и слышать В. А., что мне было не до опровержения мнения, с которым я не вполне был согласен... К тому же Жан-Поля прочесть, все его 60 томов, не поле перейти; а без этого едва ли можно судить о многосторонности этого необыкновенного человека...

Услышавши от меня, что я думаю вести подробные записи своего путешествия по Германии, Голландии, Бельгии и пр., и пр., и не зная, чем ограничиваться в своих описаниях, словно в море купаюсь и берегов не вижу, Василий Андреевич заметил мне: «Главный совет мой: пишите, что видите, и потому пишите, что видели, а не описывайте того, чего не видели. Вы в первый раз в чужих краях?»

— В первый раз открытыми глазами вижу чужие края, — отвечал я, — но я до 12 лет жил в Париже.

— Ну, то был только сон, а теперь вам и сон *в руку*...

Из кабинета он провел нас в гостиную; комната убрана с необыкновенным вкусом; по стенам портреты нашей царской фамилии, с которыми русский хозяин никогда не расстается, этажерки с бюстами, пейзажи — и *русские книги!* Глаза разбежались и остановились невольно на самом сходном портрете нашего поэта, какой только можно себе представить. Он писан дюссельдорфским художником Hildebrant'ом, масличными красками, в большом размере. Рядом с ним висит портрет молодой супруги В. А. необыкновенной красоты[5]. И на том и на другом равно прекрасных изображениях — *книга*, как необходимый атрибут, священные символы их существования.

— Время ехать, — сказал мой спутник, и я с горьким сожалением должен был расстаться с В. А. Он провожал нас до самой коляски...

Увижу ли его опять? Приведет ли Бог счастие подолее поговорить с ним?.. Бог один знает. Все свидания на земле, минута — прошла, и бедный человек уж боится, дождется ли опять другого свидания.

(Записано на станции в Дюссельдорфе)

ИЗ НЕМЕЦКИХ ВОСПОМИНАНИЙ О В. А. ЖУКОВСКОМ

Генрих Йозеф Кениг

В Брунненхалле я встретил князя Вяземского, который уже знал, что меня интересует Жуковский. Как только мы вышли на свободное место, он громко позвал поэта и представил меня ему.

Я увидел приветливого человека, при взгляде на которого кажется, что когда-то уже встречал его в Германии; при этом, однако, трудно вспомнить, где именно: в кругу ли высших чиновников, на церковной ли кафедре или в конторе большой фабрики. Он не выглядит чуждым среди нас — этот значительный человек рыхлого сложения, с несколько наклоненной головой и с открытым, бледным лицом. Он и говорит с немецким спокойствием и добродушием, как человек, которому истина дороже всего, и притом такая истина, которая никому не причинит огорчения. Он совершенно доволен нашими *литературными картинами России*[1]; однако заметил, что было бы лучше, если бы страницы, посвященные Булгарину и его приспешникам, не были такими грубошерстными, и не потому, что они причиняют несправедливость этим людям, а потому, что, будучи изгнаны жгучей крапивой, они станут поносить чужие лавры и всю книгу. Если бы не это, можно было бы еще подсыпать им колючек. В разговоре Жуковского поэт открывается не столько в пламенном воображении, сколько в блестящих мыслях.

Не сочтите меня пристрастным, если русского поэта Жуковского я представил вполовину немцем. Гораздо интереснее наблюдать на примере этой личности, как ярко сказывается немецкая натура, даже и будучи смешана со славянской. Благодаря этому удивительному явлению можно сказать, что Жуковский действительно наполовину принадлежит нашей родине, поскольку его родила немецкая девушка[2]. Любовь консервативна! <...>

Август Теодор Гримм

<...> Но еще серьезнее она [Александра Федоровна] занялась изучением русского языка под руководством Жуковского. К тому времени уже прославленный поэт своей нации, Жуковский более вдавался с вели-

кой княгиней в оживленные беседы о России, чем в правильное и регулярное изучение грамматики, и так же увлекся немецкой литературой под влиянием своей ученицы, как она под его влиянием увлеклась русской. Душа Жуковского была детски добродушной и девственно-трепетной, его доброта — безграничной, обращение в обществе — оживленное или, напротив, смущенное, рассеянное, но в конечном счете всегда побежденное его добротой, особенно в таких обществах, которые были родственны его душе и лишены каких-либо острых придворных интриг. Во всем придворном окружении Жуковский выделил прежде всего высокую женственность великой княгини, и во все последующие годы она осталась для поэта идеалом женщины. <...>

К этому времени воспитание наследника и великой княгини Марии Николаевны было предметом забот императора и императрицы. Еще будучи великим князем, император выбрал для своего сына военного наставника, полковника Кадетского корпуса Мердера, а для классического образования <—> русского поэта Василия Андреевича Жуковского[1]. В первые годы своего правления император чувствовал больше чем когда-либо, что воспитание наследника престола должно быть иным, нежели было его собственное. Прежде всего, он требовал в отношении воспитания ответственного и полномочного начальника, не кавалеров, как это было в его случае, а гувернера, единственного, не спускающего с воспитанника глаз, и только в том случае, если бы гувернеру просто не хватило возможностей, он мог бы прибегнуть к услугам помощника, который заменял бы его на уроках, но полностью был бы подчинен ему. Его собственное вступление на престол[2] убедило его, что при всестороннем образовании императора на первом месте должны быть военные качества. Юный наследник престола должен был поэтому испытывать все трудности и лишения лагеря и войны: его постель должна была быть жесткой, а пища — простой, его отдых должен был состоять в военных играх, тело должно было закаляться в упражнениях всякого рода. Всем начальникам он должен был выказывать военное послушание, и император имел обыкновение сам наказывать его, если послушание было нарушено. В то время как император имел в виду воспитание будущего военного властителя, императрица старалась воспитать в своем сыне высокую человечность, сердечность и доброту, облагородить его природные качества. И для этих целей во всей империи не нашлось бы другого человека, исполненного столь же глубокого, даже детского добродушия, как Жуковский. Она понимала, что высшая ценность любого нравственного воспитания заключается в том благородном образе мыслей, который должен открываться навстречу миру, и что это нисколько не мешает другим качествам, которых требует призвание, более того — они лишь возвышаются благородством. Жизнь властителя, даже счастливейшего, требует целого ряда сухих занятий, которые даже благороднейшую душу скорее подавят, чем поднимут. Поэтому можно считать,

что это счастье, когда молодой принц вооружен познанием высших ценностей жизни, если он рано научится подниматься над прозой жизни, потому что его собственное призвание заставляет его скорее спуститься к ней, потерявшись в частностях, вместо того чтобы взирать на нее всеохватывающим оком. Жуковский не был ученым, он не мог преподавать сам никакой науки[3], он был поэт, и даже больше того: он был благороднейший, чистейший человек, все существо которого дышало высшей гуманностью; он был свободен от малейшего честолюбия, которое особенно при дворах изъязвляет всю внутреннюю жизнь. В свое призвание он погрузился вполне, прилагая много усилий и усердия, входил в методы подчиненных ему учителей, даже в различные воспитательные системы ; его понятия о них часто более мешали, нежели способствовали; его взгляды иногда были фантастичны, однако его личное благодетельное влияние на его воспитанника было слишком сильным: он был как бы переводчиком высокой, благородной души императрицы и ее возвышенных чувств. Жуковский был первым человеком, который вполне оценил редкую натуру императрицы и провозгласил ее высоким идеалом женственности. С самого рождения наследника Жуковский был предназначен к своей высокой миссии, и он годами готовил себя как в путешествии за границей[4], так и в общении со своим будущим воспитанником и в наблюдении над ним. Он выбрал и различных учителей из воспитательного заведения, которое в те годы процветало в Петербурге под руководством священника-реформиста Иоганна фон Мюральта. <...>

Великая княжна Ольга Николаевна

<...> Что же касается Жуковского, второго воспитателя Саши, то он был совсем другим (чем Мердер. — *О. Л.*): благие намерения, планы, далекие цели, системы, много слов и отвлеченных рассуждений. Он был поэт и следовал идеалам. Слава создателя плана воспитателя императорского наследника досталась ему не по праву[1]. Меня охватывал ужас, когда он входил во время урока и задавал мне один из своих вопросов, например на уроке закона Божьего: «Что такое символ?» Я молчу. «Вы знаете слово „символ“?» — «Да». — «Прекрасно, отвечайте же!» — «Я знаю символ веры, credo...» — «Хорошо, что же означает символ веры?» Мне 59 лет, и такой вопрос еще и сегодня поверг бы меня в смущение. Что же мог ответить на него ребенок? Жуковский вслух читал маме отрывки из своих заметок о воспитании, и после столь долгих чтений она его спрашивала, как говорится, в лоб: «Чего же вы, собственно, хоти-

те?» И тогда бывала его очередь молчать. Я охотно оставляю ему прелесть чистой души, поэтическое воображение, дружелюбное и человечное расположение духа и трогательную веру. Но в детях он ничего не понимал. Выбирая учителей, он оказал доверие священнику Мюральту, руководителю лучшего частного пансиона в Петербурге[2]. Благодаря хорошим профессорам и практическому складу ума Мердера рапсодические опыты Жуковского не причинили вреда. Позже я полюбила его, когда он уже был женат на Элизабет фон Рейтерн. Этот брак сблизил его со строгим протестантом Рейтерном и пламенным католиком Радовицем[3]. Он сам, будучи православным, был мало просвещен в науке своей церкви. Итак, он начал штудировать теологию, чтобы не уступать в дискуссиях обоим названным достойным мужам. К этому времени Радовиц опубликовал свой прекрасный «Диалог о бытии Бога в государстве и церкви»[4]. <...>

Мартин Вильгельм Мандт[1]

<...> Кто столь долго и подробно, как я, наблюдал состояние воспитания при дворе, конечно, согласится со мной, если я скажу, что в длинной веренице учителей и воспитателей, которая за 20 последних лет прошла по большой сцене петербургского двора, можно едва выделить одну или две фигуры, заслуживающие особенного внимания. Коротко говоря, в первую очередь к ним принадлежит старый Жуковский. <...>

Адельгейда фон Шорн

<...> Я едва могу вспомнить этот праздник[1] — лишь один человек, один образ вновь и вновь всплывает в моей памяти. Я сидела у стола, раздался звонок, и мы услышали мужской голос, доносящийся снаружи. Услышав какое-то имя, моя мать вскочила с радостным возгласом и бросилась к двери. Большой стареющий господин с полным удлиненным лицом, прекрасными глазами и кротким, любезным выражением вошел с мамой в комнату. Она встретила его так сердечно, что я никогда не забуду ни имени его, ни облика. Это был Жуковский, воспитатель императора Александра II, один из величайших поэтов, когда-либо рожденных Россией, и замечательный человек. Он раньше часто бывал в

Веймаре со своим воспитанником[2] и очень подружился с моими родителями. Человеку редко удается сделать столь много для возвышения и образования своего народа, как это удалось Жуковскому. Он привил нынешнему императору человеколюбивые чувства, и впоследствии это привело к отмене крепостного права. Что же касается самого Жуковского, то он давно даровал свободу крестьянам своего поместья[3]. <...>

Иосиф Радовиц

<...> Месяцы, которые я провожу во Франкфурте, имеют много привлекательного для моего личного удовлетворения. Герхардт Рейтерн и Жуковский переселились со своими семьями во Франкфурт с 1845 года[1]. Все, что может дать верная дружба и проникновенная братская любовь, я нахожу в этих прекрасных душах. Наша жизнь проходит в редкостном единении, которое кажется просто чудом при столь различных характерах и отношении к жизни. Наше взаимное доверие не знает границ, мы всё переживаем сообща, грустим и радуемся друг с другом в равной мере, касается ли это одного или другого. Когда я нахожусь в этом кружке, меня захлестывает еще чувство молодости, такое, какое может излиться только из юной свежести и теплоты переживаний. После того, что Бог даровал мне в жене и детях, ни за одно приобретение в жизни я не благодарю его так проникновенно, как за эти души, которые он привел ко мне. <...> Жуковский — один из чистейших и благороднейших людей, которых я когда-либо встречал в жизни: благотворение — это его величайшая радость, а мне каждый его разговор — благотворение; как поэт он будет жить до тех пор, пока на земле жива истинная поэзия. <...>

Юстинус Кернер

<...> Когда я летом 1851 года, больной, приехал в Баден-Баден, я нашел теплоту, смягчившую мои страдания не столько в целебных источниках, сколько в источнике сердца с холодного севера; в его-то изобилие теплоты, силы, чистоты и детского простодушия я погрузился как в целебный источник. И это было сердце русского поэта Жуковского.

Знакомство с этим благородным, этим столь богато одаренным духовно человеком было, после мрачной и холодной для меня во мно-

гих отношениях зимы, истинным дуновением весны в больном, оцепеневшем от хлада лет сердце. Он, творец стольких прелестных стихотворений на языке своей родины, он, счастливый переводчик всех баллад Шиллера на этот язык и, более того, создатель русской «Одиссеи», — он, оказывается, был уже давно другом и поверенным моих маленьких песенок; и прекрасными летними вечерами, которые я провел с ним в кругу его благородных друзей, он дружелюбно открыл слух и сердце новым плодам моего вдохновения. И своими новыми созданиями он поделился со мной, и когда он увидел, как я восхищен его красочной детской сказкой «Об Иване-царевиче и Сером Волке», то передал мне ее, чтобы увидеть ее переведенной мною для немецких читателей. <...>

Адольф Фридрих фон Шак

<...> В городе балкон одного дома напомнил мне о человеке, которого я не мог назвать своим другом, потому что он был вдвое старше меня, но которого я тем не менее чрезвычайно почитал за его сердечную доброту и щедрую духовную одаренность. На этом балконе он наслаждался первыми мягкими дуновениями весны после того, как зиму провел на одре болезни[1]. Он казался уже воспрянувшим к жизни, как вдруг его внезапно унесла смерть. Это был русский поэт Жуковский, бывший воспитатель российского императора. После того, как его воспитанник вступил на трон, он жил во Франкфурте, потом на берегах Мура[2], и я часто посещал его в обоих местах. По его желанию я перевел немецкими стихами несколько его лирических стихотворений, которые он сначала перевел мне французской прозой. Что случилось с этими моими переводами и появились ли они в печати, мне неизвестно[3]. Из прочих созданий его воображения я знаю только поистине милую сказку «О Сером Волке», которую один из его друзей перевел стихами на немецкий язык[4]. По уверениям его соотечественников, в России его поэзия очень ценится. <...>

А. С. Стурдза

ДАНЬ ПАМЯТИ ЖУКОВСКОГО И ГОГОЛЯ

Если гармония между настроением души и силою творческого ума составляет идеал поэта и мыслителя истинно великого, — то Карамзину и Жуковскому неотъемлемо принадлежит в сем отношении венец первенства. В жизни и деятельности Жуковского, продолжавшихся к чести и пользе России около 50 лет, сияло без затмения редкое сочетание младенческого незлобия с умом и дарованием изобильным, обладавшим вполне тайною изящного. В нем мысли и чувства, слово и жизнь, самостоятельность творческого дара и необыкновенная переимчивость всего прекрасного в созданиях других поэтов — такое невиданное в одном лице сочетание достоинств, по-видимому противоположных, — вот что составляет нравственную физиономию Жуковского. Сердечная теплота, от которой изливался чистый свет, придавала его существу неизъяснимую любезность и прелесть. А непринужденная снисходительность его к поступкам и слабостям людей обезоруживала всякое самолюбие и притупляла жало зависти и злорадства. Вся жизнь его, мирная и благотворная, так верно отразилась в христианской его кончине, что даже не знавшему Жуковского нетрудно было бы угадать характер его земного бытия по признакам его последних дней, описанных с такою любовию и мудростию в письме священника[1], преподавшего умирающему напутственные таинства.

Тело Жуковского покоится в родной земле, вблизи могил Карамзина, Крылова, Гнедича и других знаменитых современников усопшего. Отныне друзья-почитатели незабвенного, без сомнения, займутся собиранием материалов для его биографии, и этот труд, добросовестный и подробный, приложит лучезарную печать к драгоценному и блестящему свитку его творений. С своей стороны — и я принесу не богатую, но чистую дань его любезной памяти. Жизненные пути наши сходились по временам и опять расходились на длинные расстояния времен и мест. Разлуку нашу восполняла дружеская переписка, довольно часто, впрочем, перерываемая обстоятельствами. Певца во стане русских воинов[2] я уже знал и любил в созвучиях прекрасной души его несколько лет прежде первой нашей встречи. Впечатление от нее было прочно. Жуковский ценил во мне любителя словесности древней, а я учился изяществу русской речи в его бессмертных стихах, в его стройной и обдуманной прозе, в неподражаемых его подражаниях. Однако я полюбил в Жуковском человека едва ли не более, чем великого писателя.

Кроме сношений моих с ним в обеих столицах, мне посчастливилось принять и угостить его в Одессе, в моем доме[3]. Совершая путешествие по России, в свите государя наследника, Жуковский заехал к нам и отпраздновал на моей приморской даче, в семейном моем кругу, 30-го августа, радостное тезоименитство августейшего его питомца. Как теперь помню, мы мирно пировали в саду, под густою тенью виноградных лоз, заслонявших от нас палящие лучи южного солнца. Потом мы не раз встречались друг с другом в городе. Там-то я впервые узнал, что великий поэт имел дар и привычку рисовать карандашом наскоро, но очень удачно картинные виды, попадавшиеся ему во время путешествия. Как-то, заметив, что угольный балкон моего дома доставлял точку зрения самую верную на одесскую пристань, он захотел снять этот вид. Мы стали оба на балконе; он взглядывал на море и стоя чертил карандашом, меж тем как беседа текла тихою струею и взаимно нас занимала. Рассказывая мне порядок своих занятий при великом князе наследнике, метод преподавания им истории, а также характеристику людей и мест во время странствования, Жуковский был увлекателен, потому что его милое простодушие нисколько не мешало проблескам прямого глубокомыслия. Беседуя с ним, я часто замечал с тайною радостию, что в этой прекрасной душе, так щедро одаренной душелюбцем, уже зачинался, возрастал и созревал для неба внутренний человек, т. е. христианин, достойный сего имени, — малейшие, по-видимому, обстоятельства возводили его к прямой цели нашего бытия... Так, он рассказал мне, что в Южной Германии где-то он подружился с почтенною семьею искренних христиан, которых в присутствии его постигла свыше тяжкая скорбь. Эти добрые люди, муж и жена в преклонных летах, лишились вдруг единственного сына. Жуковский умилялся при воспоминании о них и несколько раз повторял мне слова злополучной четы. Но повторял с каким-то невыразимым и глубоким сочувствием. Вот эти простые слова, которые врезались в душу его чертами огненными: «В нашей горести одно только утешает нас, что на смерть нашего любимца была воля Божия». Утешение, находимое злополучными родителями в покорности воле Господней, было с тех пор для нашего поэта лучом, озарившим в очах его высшую область духовного мира. Во время той же беседы, переходя от одного предмета к другому, я заметил, что мой милый гость очень не любил привычку нашего простого народа хвалиться так называемою самоучкою. Видно, во время путешествия по России ему наскучили хвастливые мастера всякого дела, вменявшие себе случайную самоучку в великую заслугу. Он приписывал этой наклонности поверхностное знание и несовершенство, замечаемое у нас в искусствах и ремеслах. Сам он любил изящную во всем оконченность, которую он сумел привить отечественному языку. Даже бесчисленные его подражания поэтам иноземным много способствовали к достижению столь высокой цели. Но Жуковский подражал и перенимал чужое потому только, что

влюблялся во все изящное и прекрасное. В нем сочувствие нисколько не препятствовало вдохновению: хотелось ли гению его провещать избытком собственного вдохновения, — звуки, полные мысли, обильно лились из целебного источника его души — подражатель исчезал, и в творениях его проявлялся независимый и самородный гений. Впрочем, поблагодарим Жуковского за то, что он усвоял нам чужие сокровища, расширял круг наших понятий и наслаждений и, заимствуя у современных литератур, постоянно оправдывал любимую поговорку французского сатирика: il ne traduit point, il joute avec son auteur — он не переводит, но борется с своим подлинником...

Но к чему так долго распространяться о благотворных успехах и заслугах великого писателя, всеми у нас признаваемых? Не лучше ли будет разоблачить в Жуковском внутреннюю деятельность христианской души, воссозидавшейся по образу Создателя? Для сего мы приведем несколько отрывков и выписок из последнего дружеского письма незабвенного ко мне, которое вместе с прежними берегу как святыню. Письмо это было написано в Бадене в начале 1850 года; оно наполняло три листочка, в ответ на разные письма и посылки мои, выпрошенные у меня им самим. Кстати также заметить нашим читателям, что в дружеских письмах, не обдуманных заранее, всего вернее, как в чистом зеркале, отражается внутренний наш человек, без всяких прикрас или ухищрений нашего самолюбия, иногда и бессознательных. Не то бывало с историческими записками, подготовляемыми на досуге для потомства. В них люди более или менее известные, рисуя самих себя, нехотя передают собственный облик свой, несколько приукрашенный, в назидание будущих читателей. В дорогом письме, из которого я теперь кое-что извлекаю, Жуковский, получив кое-какие труды мои духовного содержания, заговорил со мною о *едином на потребу* и о самом себе совершенно безыскусственно и от избытка чистого сердца. Вот некоторые мысли его: «Сию минуту получил ваше любезное письмо... и отвечаю на него немедленно, *не откладывая*, дабы не случилось со мною того же, что случилось после получения вашего последнего письма, — я отложил ответ до завтра, и это завтра продолжилось до нынешнего дня. Я ужасный лентяй на письма. Все, что вы мне обещали прислать, мною уже довольно давно и получено, и прочтено... Читал с великим удовлетвореньем вашу маленькую брошюру (le double parallèle*[4]. <...> это чтение произвело во мне об вас Heimweh**; как бы было хорошо для меня теперь пожить вместе с вами, чтобы часто беседовать о таком предмете, который теперь для нас обоих есть главный в жизни, который для вас всегда стоял на первом ее плане, а для меня так ярко отразился на ее радужном тумане весьма недавно, только тогда, как я вошел в уединенное святилище се-

* двойная параллель (*фр.*).
** тоску по родине (*нем.*).

мейной жизни. Этот чистый свет, свет христианства, который всегда мне был по сердцу, был завешен передо мною прозрачною завесою жизни. Он проникал сквозь эту завесу, и глаза его видели, но все был завешен, и внимание более останавливалось на тех поэтических образах, которые украшали завесу, нежели на том свете, который один давал им видимость, но ими же и был заслонен от души, рассеянной их поэтическою прелестию. — Вот вам моя полуисповедь, — целой исповеди не посылаю. На это не имею времени; да издали она будет и бесконечна. Если б мы были вместе, многое из этой исповеди вас бы удивило: в душе человеческой много непостижимых загадок, и никто не разгадает их. Кроме самого Создателя души нашей...» Из вышеприведенных задушевных слов поэта-христианина видны не только лестная его доверенность ко мне, но вместе и редкая правдивость его сердечных излияний, ознаменованных печатью зрелого и глубокого верования. Очевидно, Сердцеведец незримо вел его за руку, возводя от силы в силу, к вожделенной и верховной цели нашего земного бытия. Но мы обратимся снова к выпискам, составляющим главное достоинство моего рассказа. Из последующего читатели увидят, что Жуковский, на старости лет, при семейных и литературных занятиях, уделял, однако же, время на преимущественное чтение духовных книг, и особенно тех, которые находились у него под руками, соблюдая притом неуклонно заповедь апостола: вся искушая, доброе держите. Вот его слова: «У нас, православных, нет такого богатства христианской литературы, как у католиков и протестантов. Как много чудно-прекрасного у сих последних, хотя они все строят, не имея никакой базы, но в убеждении, что имеют самую лучшую. Им и в голову не приходит, что в христианстве право freyer Forschung* также уничтожает всякую возможность иметь неподсудимый авторитет, или, что все равно, церковь, как в политическом мире уродливая база народного самодержавия (souveraineté du peuple) уничтожает всякую возможность общественного порядка. Несмотря на это, как много чистых христиан между протестантами! Я многое читаю <...>, и это чтение тем для меня назидательнее и убедительнее, что я все истинное с шаткой базы переношу на мою твердую, с базы протестантизма на базу православия...» Мы увидим далее в том же письме, что Жуковский, нисколько не отставая от своего главного призвания в жизни, т. е. переводя «Одиссею» и исполняя долг верного наставника при детях своих, все-таки успевал духовное чтение усвоивать самому себе посредством христианских рассуждений, впрочем недоконченных и неизданных. Опять привожу его собственные слова в доказательство отрадной истины, мною замеченной!.. «В последнее время, — пишет он, — в промежутках моего главного труда, т. е. моего перевода „Одиссеи“, я набросал на бумагу несколько разного рода рассуждений в прозе[5]; в том числе есть некото-

* свободного исследования (*нем.*).

рые содержания христианского. Все это теперь пересматриваю и привожу в порядок. Мне хотелось бы со временем выдать эти отрывки. Но мои рассуждения о предметах христианства требуют особого пересмотра, надобно представить их на суд ума, просвещенного ученым православием; я невежда в теологии: думаю, что можно быть православным христианином и без обширной теологической учености; но пустить в ход свои мысли должно только по прямой дороге, указанной нашею церковью, а для этого нужен путеводитель опытный. Все, что церковь дала нам один раз навсегда, то мы должны принять безусловно верою также один раз навсегда. В это дело нашему уму не следует мешаться; ему принадлежит только акт этого принятия, или, вернее, протокол этого принятия, и потом применение его к практической жизни. Иной философии быть не может, как философия христианская, которой смысл от Бога к Богу. Философия, истекающая из одного ума, есть ложь. Пункт отбытия всякой философии (point de départ) должно быть Откровение... У меня в виду со временем написать нечто под титулом: Философия невежды. И этот титул будет чистая правда. Я совершенный невежда в философии; немецкая философия была мне доселе и неизвестна и недоступна; на старости лет нельзя пускаться в этот лабиринт: меня бы в нем целиком проглотил минотавр немецкой метафизики — сборное дитя Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля и пр., и пр. Хочу попробовать, что могу написать на белой бумаге моего ума, опираясь на одне откровенные, неотрицаемые истины христианства. Теперь за этот труд приняться еще не могу! Я занят другим делом, азбукою; начал учить сам свою дочку и хочу для нее составить полный курс домашнего систематического, приготовительного учения, по собственной методе, которая мне кажется весьма практическою...» Если не ошибаюсь, то нравственный облик Жуковского как человека мыслящего и верующего, как нежного и заботливого семьянина и вместе христианина, пользующегося временем для вечности, ясно виднеется в приведенных нами отрывках последнего письма его ко мне. Из небольшого абзаца читатели наши, конечно, выведут заключение, что собрание всех писем незабвенного к друзьям было бы немалою услугою не только для отечественной словесности, но вместе и для народного духа. По крайней мере, я смею думать, что эта переписка, всегда искренняя, всегда обильная мыслию и чувством, объемлющая собою полвека, не уступала бы содержанием и даже изяществом тому, что отыщется поэтического в его бумагах. Как бы то ни было, слава Жуковского будет возрастать у нас, как все истинно благое, по мере отдаления нашего от его могилы. Завеса любезной скромности, которою усопший прикрывал сокровище своего сердца и гения, снимется постепенно и будет утешать нас в нашей утрате. Жуковскому не удалось исполнить желания, которым пламенело сердце: я разумею — возвратиться заживо на родину. Помню не без сожаления, что в моих письмах я довольно сильно и настойчиво убеждал его ускорить обрат-

ный путь в отечество, где наперед радовались его прибытию все благомыслящие люди. Но семейные обстоятельства остановили его; и Россия, в единственный замен своих надежд, восприяла в недра свои одни его останки. Не забудем, впрочем, что после него остались супруга и двое детей, получивших от отца первые залоги всего истинного и прекрасного в душе человеческой. Нельзя не любить их издали и заочно; нельзя каждому из нас, друзей покойного, не пожелать им истинного счастия на земле, — я разумею сходства возможно близкого с отцом и наставником; нельзя не надеяться и уповать, что последнее видение Жуковского на одре смертном, когда он причащался вместе с любимцами души своей, оправдано будет вполне вожделенным событием. И подлинно, в преддверии вечности, в самое священно-тайное мгновение земного бытия, вдохновенный поэт увидел перед собою внутренними очами Христа, осенявшего его детей в ту минуту, когда преподавалась им чаша спасения. Предчувствие веры чистой, младенческой и простой, без сомнения, сбудется. Ибо вера, по свидетельству самой истины, есть обличение вещей невидимых. <...>

П. А. Плетнев

ИЗ «ПИСЬМА К ГРАФИНЕ С. И. С. О РУССКИХ ПОЭТАХ»

<...> Я перехожу к новому периоду нашей поэзии. Представляя вам *Жуковского*, я начинаю говорить о таком поэте, который дал совсем другое направление своему искусству. Соединяя превосходный дар с образованнейшим вкусом, глубочайшее чувство поэзии с совершенным познанием таинств языка нашего, все правила стихотворства со всеми его видоизменениями и отступлениями от условий места и времени, он дал нам почувствовать, что поэзия, кроме вдохновения, должна покоряться труднейшему искусству: не употреблять в стихе ни одного слова слабого или неравносильного мысли, ни одного звука неприятного или разногласного с своим понятием, ни одного украшения преувеличенного или принужденного, ни одного оборота трудного или изысканного. Он подчинил свое искусство тем условиям, которые придают блеск и языку и поэзии. Одним словом: это первый поэт *золотого века* нашей словесности (если непременно надобно, чтобы каждая словесность имела свой золотой век). Он сделал поэзию самым легким и вместе самым трудным искусством. Прекрасные поэтические формы готовы для всех родов, и всякий может написать теперь несколько легких, благозвучных, даже сильных стихов: но кто будет ими доволен, сравнив целое произведение с образцом всех наших новейших поэтов? В характере его поэзии еще более, кажется, пленительного, нежели в самых стихах. Представьте себе душу, которая полна веры в совершенное счастие! Но жизнь бедна теми чистыми наслаждениями, каких она повсюду ищет. Ее оживляет надежда, потому что мы никогда не перестаем верить тому, что истинно любим. Тогда всякое чувство облекается какою-то мечтательностию, которая преображает землю, смотрит далее, видит больше, созидает иначе, нежели простое воображение. Для такой души нет ни одной картины в природе, ни одного места во вселенной, куда бы она ни переносила своего чувства, и нет ни одного чувства, из которого бы она ни созидала целого, нового мира. Вот пример: «Весеннее чувство»[1]:

Легкий, легкий ветерок!
Что так сладко, тихо веешь? <...>

Самая веселая картина весны, хотя легкая, живая, но яркая и верная, между тем располагает уже нас к задумчивости, даже к некоторому унынию. Поэт умел овладеть нашею душою, потому что он сам глубоко чувствует предмет свой. Пленяя все наши чувства, он не забывает серд-

ца, которое не может наслаждаться настоящим, не воспоминая прошедшего: а в прошедшем всегда больше для нас прелести, нежели в настоящем. Наконец, он доставляет приятную пищу самому воображению, накидывая покрывало на свой мечтательный мир. Он настраивает все способности души к одному стремлению: из них, как из струн арфы, составляется гармония. Вот в чем заключена тайна романтической поэзии![2] Она основывается на познании поэтического искусства и природы человека. С таким направлением поэзии Жуковский соединяет высочайшее искусство живописи всех картин природы, в которых каждая черта проникнута, освещена его душою. И вот чего, кажется мне, недостает Ламартину! Он только понял приемы романтической поэзии, применился к ее краскам и увлекся направлением. Между тем у Жуковского она созрела в душе: и оттого он с такою же легкостию и верностию передает чувствования Шиллера, Байрона, как и свои собственные. <...>

ПУТЕШЕСТВИЕ В. А. ЖУКОВСКОГО ПО РОССИИ

О событии, на которое мы решились наконец обратить внимание читателей своих, конечно, никто не вправе говорить, кроме самого путешественника. Его живописному перу надобно предоставить изображение впечатлений во время путешествия столько же поучительного, как и обширного[1]. Но обстоятельства, кажется, оставят надолго нашего поэта в долгу перед отечеством и всеми почитателями его таланта. Эти прекрасные страницы истории, в свое время не вышедшие в свет, будут считать отложенным капиталом литературы. Между тем для порядка позволим себе только отметить происшествие, которое уже слишком любопытно и тем, что оно было.

В. А. Жуковский, в прошлом, 1837 году, имел счастие находиться в свите государя цесаревича наследника престола во время путешествия его императорского высочества по России. Воображая человека с этим талантом, с этими знаниями и с этим направлением ума (что из творений его так знакомо все каждому), можно представить живо, как действовало на него путешествие. Ежели зрелище столь разнообразное, как Россия, и столь близкое к сердцу, как отечество, для каждого из нас в самых обыкновенных обстоятельствах становится источником лучших и неизгладимых воспоминаний, назидательных уроков и часто благотворных помыслов, то в какой степени, при торжественном шествии августейшего первенца обожаемого нами монарха, оно поражало чувства, восхищало душу и двигало сердце поэта! С истинным талантом,

какого бы он роду ни был, природа соединяет много преимуществ, до которых нам, простым людям, ничем не дослужиться. Важнейшее из них состоит в том, что у человека с талантом ни одно из живых впечатлений не остается бесплодным. Его можно сравнить с доброю почвою земли, в которой каждая капля воды, ее освежающая, в будущем готовит какое-нибудь произрастание. Не сожалейте, что в эпоху прекрасных событий поэт молчит; что, посреди всеобщего восторга, он как бы не пользуется дарами судьбы. Он не властен воспротивиться действию благодатных явлений. Независимо от его воли все примется — и плод созреет. Если бы мы потребовали от него отчета, назначив ему и время, и самые виды деятельности, то с высоты, на которую природа поставила художников, мы низвели бы его в разряд ремесленников. Пока он живет, в его душе все действует. Не замечая сам, он возвращает обществу те сокровища, которыми оно его обогащает. Вслушивайтесь в его суждения, разбирайте его слова, рассматривайте каждую часть новой его картины или очерка, замечайте самый образ его мыслей и поступков: если дано вам тонкое чувство критики, вы поймете, в какой черте и сколько выражается у него из этих давно исчезнувших для нас впечатлений.

Итак, если бы мы и не дождались от нашего поэта отдельных записок или сочинения другого роду, где он представил бы изображение величественного и умилительного зрелища, мы убеждены, что принадлежащее нам погибнуть не должно и не может.

Как поэт, В. А. Жуковский первый у нас призвал природу с нежнейшими ее красками и оттенками для полной красоты поэзии сердца и воображения. Он каждое чувство и каждое действие, изображаемое им, обставляет живыми картинами природы, списанными со всею художническою точностию. Сколько новых богатств в этом отношении открыли ему области, прилежащие к обеим сторонам Урала, на всем протяжении хребта его! Не говорим уже о Крыме и Южном его береге, который поэт изучил во всех отношениях. В самой средине России, по направлениям бесконечных ее рек, которых прибрежные страны путешественник имел случай столько раз видеть и при истоках и при устьях благотворных вод их, какими сокровищами запаслось его воображение! В помощь ему он работал даже карандашом своим. Нам удалось взглянуть на драгоценное собрание очерков различных мест и предметов, привезенное В. А. Жуковским из путешествия[2]. Это занятие он столько же почти любит, как и поэзию. Знатоки всегда удивлялись верности его взгляда, уменью выбирать точки, с которых он представляет предметы, и мастерству схватывать вещи характеристически в самых легких очерках. Все, получившие в особом прекрасном издании его «Виды Павловска»[3], конечно, согласятся с нами, до какой степени он живописец не только с пером в руке, но и с карандашом. Подобным образом он представил в очерках места, где провел свое детство и где писаны были некоторые из первых его стихотворений.

По этой способности сливаться душою со всем прекрасным в природе и воплощать все прекрасное в живых образах можно до некоторой степени вывести заключение о собранных им сокровищах другого рода, о том, как он должен был принимать в сердце моральные картины, одушевление всех сословий вообще и каждого лица отдельно. Конечно, этого нельзя, мгновенно схвативши, и передать мгновенно, как физический какой-нибудь предмет; но великое счастие быть исполненным подобных ощущений! Для нас он еще не отделил этого от себя; но там, где происходило действие, он, без сомнения, был в числе самых оживленных органов, посредством которых всякое высокое чувствование и возрастает, и всех электризует. Для человека сколько-нибудь образованного и одно имя его есть призвание ко всему доблестному и прекрасному. К литературным заслугам (давшим ему в Европе столь почетное место) судьба вызвала его присоединить другие, новые заслуги, по которым имя его к потомству пойдет в ряду имен, драгоценнейших для России. Таким образом, в Белеве (родине поэта) его приезд произвел всеобщий восторг. Жители единодушно почтили его изъявлением самых искренних приветствий[4]. И где он мог не встретить этого чистосердечного радушия?

Образующееся юношество и образователи, окружая его в наших цветущих общественных рассадниках света и добра, с каким восхищением должны были тесниться около поэта, там, где их уроки ежедневно оживляются его произведениями! Мысль, замечание, слово, даже взгляд великого писателя становятся незабвенными для возникающего таланта. Вспомним рассказ Пушкина о прибытии Державина в Лицей. Молодое сердце, в присутствии одушевителя своего, верует несомненнее в событие благородных своих желаний. Ободренный приветом того, в ком видит истинную судью давних, может быть и одиноких, трудов, юноша начинает светлую эпоху литературной жизни.

Чтобы оправдать последнее предположение наше, мы расскажем здесь занимательное происшествие, действительно случившееся с В. А. Жуковским в эту поездку. В одном из самых отдаленных от столицы городов явился к нему молодой человек[5] и просил взглянуть на его стихотворения, которых было переписано довольно много. Он пришел один, никем не представленный. За исключением очень понятной застенчивости и даже робости, в нем незаметно было этого всегда неприятного подобострастия и ни одного из тех смешных приемов, которые нередки в провинциях. Между тем из разговора с ним открывалось, что он самый бедный человек, не имел возможности образовать себя, а еще менее заменить недостаток учения порядочным обществом. Но в его словах и во всей его наружности нельзя было не чувствовать того достоинства, в которое природа облекает человека с мыслию и характером. Он говорил откровенно о любви своей к поэзии, не вверив до сих пор ни одному существу своей тайны. Его стихи в самом деле вы-

ражали то, что дает человеку жизнь в полном смысле созерцательная, — глубокое религиозное чувство и стремление к высокой философии.

Легко понять, с каким участием наш поэт начал смотреть на молодого человека. Обласкав и одобрив его, он употребил особенное старание, чтобы начальник его по службе, при первой поездке своей в Санкт-Петербург, не отказался и его взять с собою. В начале нынешнего года он уже был здесь. Между тем, пока придумываемы были и вновь передумываемы разные предположения, как бы устроить лучше судьбу его, В. А. Жуковский желал, чтобы он изложил для него на бумаге историю внутренней жизни своей и определительнее бы высказал, на что хочет решиться для поправления будущей судьбы своей. Мы с удовольствием передаем читателям этот любопытный ответ, ничего не переменяя в первом опыте прозы поэта: пусть чистосердечный его язык и оригинальный взгляд на предметы сохранят всю свою свежесть.

«Вашему превосходительству угодно, чтобы я рассказал свою историю. Постараюсь объяснить себя, как буду в состоянии.

Если не заблуждаюсь, природа наделила меня привязанностью к звукам, но между тем назначила родиться и жить в такой сфере, где ничто не могло способствовать своевременному пробуждению и образованию этого инстинкта, где более всего раздается безмолвие для души, где менее всего слышится музыка слова. Не гармонический тот класс, из которого я происхожу. Отец мой не имел никакого состояния и умер, оставив меня трехлетним ребенком на руках матери, в совершенной бедности. Мать моя приняла довольно горя, пока мне нужно было подняться из столь слабого младенчества. О воспитании говорить нечего. Одиннадцати лет из уездной школы отдали меня на службу, в одно губернское место, где надлежало мне доучиваться почерку и грамоте, перебеляя черновые сочинения канцелярских писателей. Не много можно было почерпнуть из той словесности, какую видел я перед собою. Наша приказная фразеология, в отдаленных и низших местах, нельзя сказать, чтоб отличалась вкусом. Но так как я очень мало еще смыслил, то и эта незавидная проза казалась мне высоким красноречием. Умственное любопытство тех, с которыми я находился в обществе, ограничивалось также не весьма изящным чтением: старые сказки, давно забытые повести ходили между ними в обращении; да тем делиться не имели они готовности, стараясь наслаждаться скрытно. Поэтому очень мало приводилось мне читать, не говоря уже о чем-нибудь порядочном. Первая хорошая книга, которая попалась мне в руки, была — басни Крылова: я им чрезвычайно обрадовался, так что вытвердил их наизусть, и помню большую часть теперь. По ним я стал учиться рифмам и излагать стихами разные сказки. Решительное желание сделаться стихотворцем овладело мною при чтении Плутарха, когда мне было от роду лет шестнадцать: я воспламенился и с величайшим усердием ло-

мал голову над рифмами: не разумея стоп и размера, утешался только созвучиями; необузданный стих мой содержал иногда слогов двадцать, ударение прыгало и садилось произвольно. Хотя я приметил нестройность в этой отчаянной музыке, однако долго не отгадывал, отчего у меня выходила такая нескладица, и это доставляло мне порядочную пытку. Целые ночи были проведены в усилиях открыть тайну. <...>

Но желания велики, а крылья слабы. Часто умственное бессилие наводило на меня глубокую тоску, часто мучился я недоверчивостью и сомнением и тем более скрывал мою тайну.

Вот пронесся слух о путешествии государя наследника и что ваше превосходительство находитесь в свите. Наш город пробудился: все приготовлялось. Я тоже не был в бездействии: я решился сделать себе насилие, преодолеть робость. Пересмотрел мои опыты, собрал все, что находил из них лучшего, поправил, переписал и пошел с тетрадью к вашему превосходительству, как только вы приехали. Мог ли я сделать лучше? Я нес подарок мой со смятением, но поддерживался, утешался мыслию, что услышу правду и верный приговор себе.

И ваше превосходительство признали во мне способности. Это для меня крайне утешительно и лестно. Вы с добродушием тогда спросили: чего бы я мог желать себе? Конечно, если действительно существует во мне что-нибудь похожее на природные дарования, я желал бы обработать их, воспитать способности учением, распространить силы познаниями. Но где средства?

И вот я в Петербурге. Не за тем ли я сюда явился, чтобы решить задачу жизни, начать новый период? Но как осуществить надежды, сделать поворот? Средства учения здесь существуют, надобно приняться за все, потому что ничего не знаю. <...>

В таких обстоятельствах, к исполнению моего желания и вашей воли, существует разве один способ, одно средство: надобно искать такого рода службы, при которой бы, с отправлением обязанности, соразмерной моим способностям, я мог иметь время для учения. Ваше превосходительство с редким добродушием вызвались принять участие в этом. Вы заботитесь обо мне, занимаетесь моей судьбою. Это сильно меня трогает и смущает, потому что прав мало имею. <...>

Ваше превосходительство лучше знает, что для меня нужно. Если мои способности возбуждают внимание, если от них можно чего-нибудь надеяться, прошу вашего участия: доставьте мне место, где бы, исполняя свою обязанность, я мог иметь книги и время. Благодарить вас иначе не буду в силах, как усердным стремлением достигнуть успехов и оправдать благодеяние.

Теперь сказано все. Я открылся вашему превосходительству с чистосердечием ребенка, объяснил все обстоятельства, не утаив тревоги, которая наполнила душу при соображении моей судьбы. Вопрос так меня

затруднил, столько внушил мне странного и грустного, что я смеялся над собой и плакал. Плакал и говорил: „Господи, помоги мне, грешному! Может быть, я ложно усиливаюсь, может быть, увлекся я мечтательным своим воображением: исцели меня от болезни ума!“ И долго не мог собрать моих мыслей, не зная, на что решиться, искал слов и не умел, с чего начать историю, как приступить к объяснению. Это тем более меня смущало, что я еще не принимался за прозу, кроме канцелярской: вырабатывал единственно стих».

Борьба между решимостью, которой требовал холодный рассудок, и влечением сыновнего сердца, по-видимому, оканчивалась. Приискана была должность, позволявшая заниматься постоянно систематическим учением. Но так неверен себе человек, сильно чувствующий и преследуемый воображением, что в самую минуту исполнения искренних и давних своих желаний он упал духом, обнят был угрызениями совести и не нашел в себе силы победить нравственного влечения туда, где ему виделась покинутая, одиноко дряхлеющая мать его: он пожертвовал всем своим будущим, чтобы доставить ей хотя бедную отраду в ее последние годы. Кто бы не оценил этого высокого самоотвержения? Он отправился на свою родину, сопровождаемый участием и благословениями своего покровителя, который нашел еще средство примирить его сердце с бунтующим рассудком: он составил прекрасное, самое полное собрание русских книг, которые считал необходимыми для его образования собственным чтением, послал свой подарок вслед за ним — и, таким образом, в жилище его, казалось, водворил друзей безмолвных, но утешительных...

Благоприятный случай открыл нам только одно, что могли бы внести в свой рассказ о путешествии. Но сколько бы подобного услышали мы, если бы посреди нас заговорили все, все, кого судьба, в разных обстоятельствах, на этом пространстве, в течение всех месяцев поездки, приводила к человеку с такою душою?

ИЗ ПИСЕМ К Я. К. ГРОТУ

30 августа 1840. <...> От Ал<ександры> Ос<иповны>[1] (в четверг 29 августа) заехал я к князю Вяземскому. Ему из-за границы жена прислала писанное к ней письмо Жуковского, который ее извещает, что он женится. Есть в Швейцарии наш русский офицер без руки, отрубленной на войне еще в 1812 году, по имени *Рейтерн*. Он знаменитый теперь живописец дюссельдорфской школы. На его-то дочери или родственнице (в письме не означено) женится Жуковский[2]. Его письмо самое страстное. Он воскрес. В невесте видит ангела, посланного для

обновления его жизни. С каким красноречием описывает он ее чистую любовь и свое блаженство. Признаюсь, я ему позавидовал, особенно в том, что он еще может так сильно чувствовать и любить. Трогательнее всего, что у Провидения он просит теперь: «жизни! жизни!» <...>

8 октября 1840. <...> Во вторник (8 октября) поехал в Царское Село. Живописица[3] немножко надулась, что я опоздал к ней получасом. Я тоже капельку надулся. При разговоре о Жуковском, про которого ей вздумалось сказать что-то неблагосклонное, я принял смелость выразиться так: «Люди, как здесь мы находящиеся, родятся всякий день, а Жуковские раз в столетие. Кто не ценит Жуковского, тот более теряет, нежели он, — подобно тому, как кто, смотря на звезду, будет говорить: это грязь, — так звезда ничего не утратит, а говорящий затмит себя». Так и расстались холодненько, прочитав несколько мелких пьес Пушкина.

8 ноября 1840. Журнал[4]. Вторник (5 ноября). Был в Царском Селе. Прежде чтения великая княжна Ольга Николаевна рассказывала мне все про Жуковского и его невесту. Теперь и она на его стороне. Невеста, как они узнали по ее письму к кому-то, не только влюблена в Жуковского, но считает себя недостойной этого счастья, которое послал ей Бог. За два года перед сим у Жуковского мелькнула мысль, когда он смотрел на нее, что только одна она могла бы составить его счастье как жена. После никогда он об этом не думал. В нынешнее пребывание его в Дюссельдорфе отец и мать ее первые заметили, что он что-то думает про их дочь. Наконец он им решился сказать. Они не противились, но определили, чтобы он сам переговорил с нею. Два месяца не было у него духу приступить к этому. Однажды, гуляя с нею в саду, он вынул маленькие часы и, показывая ей, сказал: «Видите вы эти часы? Они измеряют время, следовательно, и жизнь. Хотите ли вы их принять от меня, а с ними и время и жизнь мою?» Вместо ответа она повисла на его шее и уже целовала его. Видно, как ее душа была готова к принятию этой поэтической души 60-ти летнего юноши. Раз, шутя, он, быв только с ее матерью и с нею, сказал, что для чужих будет первую выдавать за жену свою, а вторую за дочь, — невеста так рассердилась, что он насилу выпросил у нее прощение. Если она ведет себя умно, он зовет ее Эльзой; когда она шалит, он уже называет ее Бетси, — а когда она задурачится, он кричит только: Bête*! Таких мелочей я много наслышался от милой живописицы, не перестававшей маслить черкеса. <...>

Вечером (так как Жуковский был уже в городе) я решился отыскать его. <...> От него [Ф. Ф. Корфа] отправился я к Карамзиным. Вошел я в ту минуту, когда Жуковский кончил рассказ о своем сватовстве. Зная уже многое от великой княжны Ольги Николаевны, я не хотел упрашивать его повторять. Он привез и портрет невесты, писан-

* глупышка! (*фр.*)

ный в Дюссельдорфе знаменитым Зоном[5]. Вообразите идеал немки. Белокурая, лицо самое правильное, потупленные глаза, с крестиком на золотом шнурке, видна спереди из-под платья рубашечка; края лифа у платья на плечах обшиты тоже чем-то вроде золотого узенького галуна; невыразимое спокойствие: мысль, ум, невинность, чувство — все отразилось на этом портрете, который я назвал не портретом, а образом. <...> От Карамзиных мы возвращались в его карете. Я еще несколько расспрашивал его о невесте. Она не мечтательница; у нее совсем ясный ум; росту она немножко ниже Жуковского, следовательно, с меня. Портрет ее писали тогда, когда Жуковский ей читал книгу. На картине лицо взято в профиль, отчего ее глаз совсем не видать. Они темно-серые. Цвет лица чистый, белый. Черты большие. Линия от подбородка идет ко лбу, образуя тупой угол, что придает лицу выражение умное и интересное[6]. Жуковский здесь проживет шесть месяцев и, кончив дела свои, уедет в Германию на два года. После уже, как он думает, переселится в Россию. Я ему рассказывал о Рунеберговом сравнении закрытого человека с шиповником; он его нашел прелестным. <...>

Пятница (8 ноября). <...> Перед обедом был у Жуковского. Он мне читал письмо к нему короля Прусского! Прелесть! Государь говорит частному лицу: «Надеюсь, что никогда не заставлю краснеть вас при мысли, зачем вы обнимали меня как друга. Знаю, что, посылая вам орден, я мешаю вас с толпою, но я свято исполняю узаконение отца моего» — и проч.[7] Жуковский и все в восторге от него. Дай Бог!

12 ноября 1840. <...> Опять заехал к Жуковскому. Я написал для него письмо к Урсину. Он мне говорил, что хочет из «Ивангое» сделать поэму в стихах[8].

13 ноября 1840. <...> Много новых подробностей рассказывал он [Жуковский] насчет его женитьбы на Рейтерн. Слушая его, действительно начинаешь верить, что она ему предназначена свыше. Ее тайная, глубокая любовь к нему — для меня что-то неизъяснимое. Даже ее знакомые согласны, что она только с ним и может быть счастлива. Ни отец, ни мать не имели никакого влияния на решимость ее. Она таила от всех любовь свою и открылась ему мгновенно, не дав ему докончить объяснения. <...>

26 ноября 1840. <...> Жуковского не надо осуждать за переделку романов в поэмы. Он думает о человечестве, а не о себе. Для первого все истинное, прекрасное должно переходить из образа в образ. Разделения наши родов суетны и мелки. Что ни сделает истинный поэт — все будет дар искусству, т. е. миру. <...>

10 декабря 1840. 4 часа пополудни. О переводах я не совсем согласен с вами. Жуковский целую жизнь переводит. Это не значит, что он

не действует по своему призванию. Он сходится в ощущениях с другим — и переживает сам то, что было жизнию другого. <...>

19 декабря 1840. Пишу это письмо наудачу. Если завтра уже не застану Константина Карловича[9], который наконец отправляется к вам, то не пошлю его по почте: начинаю в самом деле опасаться придирок за самые невинные шутки. Жуковский мне рассказал странный и самый огорчительный случай. Один чиновник, женатый, написал куда-то к своему отцу о нелепом слухе, здесь носившемся, и о чем, наконец, принуждены были напечатать в «Северной пчеле» для прекращения толков, будто у Синего моста будочник убил человека. На почте прочитали это и объявили графу Бенкендорфу, что вот человек, распространявший повсюду дурные слухи на правительство. Этому чиновнику приказали выехать из Петербурга и не въезжать в обе столицы. Мудрено ли, что и за другую самую невинную весть нападут и отравят жизнь навсегда? <...>

24 января 1841. Журнал. Среда (22 января). Вчера вечером Муравьевой[10] не застал я дома. Мы было собирались прочитать вместе Жуковского «Элегию на смерть королевы Виртембергской». Христианская поэзия едва ли произвела что выше этого создания.

4 февраля 1841. Вот некоторые обстоятельства, необходимые для уразумения стихотворения Жуковского на смерть Екатерины Павловны. Три первые строфы из «Мессинской невесты» Шиллера; «Кого спешишь ты, прелесть молодая» — и проч. относится к императрице Александре Феодоровне, у которой он сидел в кабинете, когда император Николай Павлович постучался, чтобы ее вызвать и объявить о смерти королевы Виртембергской. «Судьба смеяться любит нам» — и проч. говорится о том, что, когда в городе и во дворце все знали об этой смерти, Мария Феодоровна одна не знала, ибо никто не имел духу ей объявить. Она даже более обыкновенного была успокоена насчет больной дочери, которая незадолго до смерти своей написала к ней, что ей лучше. «Ты, знавшая житейское страданье» — и проч. обращено к императрице Елизавете Алексеевне, которая тогда, быв за границей, ехала по назначению обедать к Екатерине Павловне в день, в который пришлось ей умереть. «Чего ты ждешь?» — и проч. говорится к мужу королевы, и после ее смерти не верившему своему несчастию, сидевшему над мертвою и ждавшему, что она очнется. Но и без этих частностей вчитайтесь в такие, например, строфы: «И вот сия минутная царица!» — или: «Что ей дерзнет сказать язык земной?» — или: «Несчастье наш учитель, а не враг» — или: «Святой символ» — и проч. Короче: попробуйте это все теперь читать с кем-нибудь — тогда увидите эффект. Но читайте немножко с музыкой, а не так, как иногда вы любите профанировать стихи. <...>

17 марта 1841. <...> Опять приходится мне браниться с тобой, что ты мало изучаешь трех русских поэтов, возвысивших русский стих

по самому механизму его до nec plus ultra*. Возьми какую угодно антологическую пьесу Пушкина, Батюшкова и Жуковского да и сравни ее со своими: тогда ты поражен будешь, как их пьесы печатлеются в голове, а твои не поражают совсем читателя. Ты скажешь: у тебя свой слог. Так, но есть для антологии общие красоты. Греки, римляне, немцы и французы в антологическом роде все равны, когда кто из их писателей достигал совершенства. Поверь, что в моем энтузиазме к Пушкину или Жуковскому нет пристрастия, а одна штудировка их, которая раскрыла передо мной все стороны их изумительных совершенств. Я уверен, что ты их пьесы едва по содержанию помнишь, а я знаю до малейшего оттенка всякий в них эпитет или другое что. Им-то я обязан, могу смело сказать, редким чутьем замечать в чужих и своих стихотворениях все тонкости красот и слабых мест, все уклонения от надлежащей потребности стиха и все приближения к его достоинству. Изучение их образует не только ум, но самый слух. Для меня, как для меломана, все важно в стихе, и кто этого не понимает или кто считает это лишним, тот, по мне, не совсем поэт. <...>

18 марта 1841. <...> Перед вечером был у меня князь Вяземский, а вечером сидел Жуковский, воротившийся из Москвы. Он мне все говорил о своем будущем. Оно страшит его, потому что много внезапностей. Между тем и уверенность, что жизнь не случай, а определение высшее, успокаивает.

2 апреля 1841. <...> Жуковский писал и пишет размером древних по чутью, не учась. Оттого и легко найдешь у него разваливающиеся надвое стихи, какие приводишь в письме. Но повторяю: это не особая система учения, а отсутствие его. Несмотря на эту неправильность, чтение стихов его, в которых теория подмечает явные ошибки, поэтическому уху и эстетическому вкусу гораздо более нравятся, нежели Мерзлякова и прочих ученых, знавших всю подноготную о древнем метре. «Разорение Трои», «Цеикс и Гальциона», «Аббадона», при всей огромности своей и ошибках переводчика против законов древнего экзаметра, могут быть прочитаны одним духом с начала до конца. Правильные же стихи иного ученого никак не вынесешь и на полстранице. <...>

13 апреля 1841. Журнал. Суббота (12 апреля). Поутру написал к Жуковскому о том, что вечером будет у меня Левшин, и звал его ко мне чай пить. Обещал. Между тем извещает, что собирается в Российскую академию по случаю кончины Шишкова, надеясь со мною там видеться, в уверенности, что я член их Академии. В половине 9-го прибыл Кодинец и Левшин. Жуковский явился только в 9. Он был в духе. Много болтали о чужих краях, где видались Жуковский и Левшин. После чаю

---

* до последней степени, до предела (*лат.*).

Жуковский отправился к Карамзиным на проводы Лермонтова[11], который снова едет на Кавказ по миновении срока отпуска своего. <...>

24 февраля 1842. <...> Комментарии мои на Жуковского и Пушкина едва ли могут быть интересны в печати. Они будут касаться преимущественно частных, домашних обстоятельств, при которых писаны пьесы. Это хорошо рассказывать другу во время чтения пьес. Публике придется слишком много пояснять такого, что не для нее важно. <...>

14 октября 1842. <...> Я недавно сам поражен был новою мыслию, пришедшею мне в голову случайно, что у нас в России по части литературы только и было две школы: Ломоносова и Карамзина. Последняя дала нам все, что только было и есть у нас истинно прекрасного. Считай с Дмитриева, иди к Жуковскому и кончи хоть Гоголем: ведь это все люди одной идеи. Они живут не для публики, а для искусства. Других школ нет. Там только сброд, сумятица, безвкусие и корыстолюбие. <...>

11 сентября 1843. <...> Прежде нежели я отправился утром на дачу, ко мне явился мой старый друг Баратынский[12] с 14-летним сыном Львом. <...> У Баратынского очень много натурального ума — и в его взгляде на нашу литературу есть что-то независимое и отчетливое. Между прочим, я помню его отзыв о Жуковском и Лермонтове. Они, сказал Баратынский, в некотором смысле равны И. И. Дмитриеву. Как последний усвоил нашей литературе легкость и грацию французской поэзии, не создав ничего ни народного, ни самобытного, так Жуковский привил нашей литературе формы, краски и настроения немецкой поэзии, а Лермонтов (о стихах его говорить нечего, потому что он только воспринимал лучшее у Пушкина и других современников) в повести своей показал лучший образец нынешней французской прозы, так что, читая его, думаешь, не взято ли это из Евгения Сю или Бальзака. <...>

1 июля 1844. <...> Вот тебе дополнение к статье об арзамасцах. Они образовались, как я сказал, против Шаховского за комедию «Новый Стерн», где осмеян Карамзин, и «Липецкие воды», где есть намеки на лучшую школу. Также и против Шишкова, а следовательно, и против всей Российской академии. Арзамасцы должны были воевать за книгу «О старом и новом слоге»[13]. У них был закон — похоронить того, кого Академия выберет в свои члены. Вот когда Карамзин до этого дожил, то Жуковский говорил в честь его надгробное похвальное слово, которое начиналось, как у Феофана: «Что видим, что делаем, о сынове российские? Карамзина погребаем» — и проч. Так как энтузиазм к Жуковскому был особенно в числе причин основания общества, то каждый арзамасец, вступая в члены, брал себе новое имя — и всегда какое-нибудь из баллад Жуковского, например: А. Тургенев — *Громобой*, А. Пушкин — *Сверчок* (в балладе «Пустынник»), В. Пушкин — *Чу!*[14], Уваров — *Старушка* и т. д. <...>

15 июля 1844. <...> Создание, как «Наль и Дамаянти»[15], не входит в характеристику современной жизни. Оно исчезает в толпе глупостей — и оттого его даже не читают. Но Жуковский все-таки прав, что написал его и напечатал, а не ограничился тем, чтобы передать эту рукопись для прочтения избранным (как ты заключаешь). Жуковский совершил свое призвание и внес в мир посланное ему небом для сообщения миру. <...>

12 февраля 1847. <...> Жуковский непременно летом приедет сюда, даже один, если жена его не выздоровеет. У него ужасная меланхолия. Ему исполнилось 64 года в тот день, когда он писал ко мне. Он все боится за себя и за судьбу семейства своего. 13-й песни «Одиссеи» не начинал еще он, хотя прошло почти два года, как он кончил перевод первых 12-ти. Но за всем тем столько в его письме есть выражения веры, надежды и любви в Провидение, что нельзя без умиления читать этого. Я говорил ему, что хотелось бы мне написать его биографию и чтобы он сообщил мне что-нибудь о себе. Он отвечает, что вся его биография в его сочинениях и что если я туда прибавлю то, что знаю из личных с ним сношений, то выйдет полная биография. Он прибавляет, что это не будет самая верная, потому что, в сущности, он не так высок, как я его представляю. <...>

19 марта 1847. <...> Легко сказать, пиши о Жуковском и Пушкине. Ведь это не Крылов, где разложил хронологически его издания — да и валяй, что придет в голову, где выпуклость анекдотов совсем закроет недостаток тонкости ума и вкуса. Жуковский и Пушкин — это вся наша новейшая литература: это наши Шиллер и Гете. Дотронься до них, так надобно будет приподнять всё и всех. <...>

17 мая 1847. <...> Вчера утренний кофе пил я у вашего канцлера[16]. Мне хотелось особенно переговорить с ним касательно Жуковского, от которого накануне я получил письмо. Теперь жене Жуковского сделалось лучше. Сам он непременно приедет летом в Россию и в продолжение июля и августа будет в Петербурге, почему и спрашивал меня, где я проведу эти два месяца. Но жене его доктор Копп еще не позволяет покидать Германию. Тебе известно, что в нынешнем году ровно 50 лет, как явилось в печати первое сочинение Жуковского. Мне хотелось сообщить это известие августейшему его воспитаннику, в предположении, не примет ли он участие в составлении литературного праздника. Великий князь охотно изъявил на то согласие свое и даже поручил мне на бумаге изложить для него мои о том мысли. Мне и хотелось этого. Возвратясь домой, я написал записку и при письме отправил ее к цесаревичу. В записке я сказал, что Жуковский не менее Крылова знаменит для России, что он даже разнообразнее и выше его для образованной части русских. Сверх того он наставник великого князя наследника. Поэтому справедливо и ему оказать почесть, которой удостоен был Крылов. Но как в характере литературных трудов господствуют у него ис-

ключительно чистота, вкус, нравственная грация и другие совершенства возвышенной души, то не шумные праздники и рукоплескания ему приличны, а то, что поможет навсегда утвердить эти качества в молодых поколениях. Итак, я предлагаю посредством общего сбора составить капитал, которого процентами можно бы навсегда содержать семерых молодых людей, по одному в словесном отделении философского факультета в каждом из семи университетов, находящихся в пределах Русской империи. Я нарочно включил сюда Дерптский и Александровский университеты, чтобы имя Жуковского нигде не было в России чуждым. Распорядителями этого юбилея я назвал Михаила Виельгорского, Блудова, Уварова и Вяземского как лиц, с которыми из остающихся в живых Жуковский наиболее связан был в продолжение 64-летней жизни его[17]. <...>

5 февраля 1849. <...> По отъезде твоем, в субботу (день рождения Жуковского, ему исполнилось 66 лет), Вяземский отпраздновал у себя юбилей в честь 50-летней Жуковского музы. Гостей собралось на вечер к нему человек 80, мужчин и дам. Канцлер ваш почтил этот праздник своим присутствием. Сперва граф Блудов прочитал Вяземского стихи, написанные в честь Жуковского и напечатанные в «Академических ведомостях». Потом пропели «Боже, царя храни!», далее были петы шуточные стихи Вяземского, в честь Жуковского же. Вот отрывки из них:

Он чудесный дар имеет
Всех нас спаивать кругом:
Душу он душою греет,
Ум чарует он умом
И волшебно слух лелеет
Упоительным стихом.

Рефрен:

Наш привет ему отраден,
И от города Петра
Пусть нагрянет в Баден-Баден
Наше русское ура!

После того положили составить род протокола собрания. Заглавие: 29 января 1849 г. Все присутствовавшие, начиная с великого князя наследника, на этом листе подписали свои имена (кавалер и дама). Положено: отправить этот лист подлинником к Жуковскому[18]. <...>

16 марта 1849. <...> Я уже толковал тебе, почему о Крылове всякий бы, кто хоть несколько знал его, написал интересный рассказ. Это было лицо в высшей степени по всему, как говорится, рельефное. Жуковский, Баратынский и подобные им люди слишком выглажены, слишком обточены, слишком налакированы. Их жизнь и отношения совпа-

дают в общую форму с жизнию и отношениями всех. Притом же Крылов жил и умер без роду и племени. Нечего церемониться, какой бы смешной случай ни пришлось рассказать. Попробуй это сделать с Карамзиным, например. Претензий не оберешься. <...>

14 апреля 1849. <...> Сегодня в № 9, книжке 1 «Москвитянина» 1849 г. прочел я презанимательную статью о детстве Жуковского[19]. Полагаю, что ее писала Анна Петровна Зонтаг, племянница поэта. Для меня тем это драгоценно, что дает материал для биографии Жуковского в такой период, когда я не знал его лично. Конечно, и тут не высказано многое, даже существенное, — но спасибо и за то, что есть. Советую тебе прочитать это все со вниманием. Упоминаемый тут Афанасий Бунин был отцом нашего славного поэта. Как трогательно видеть, что Жуковского мать и жена Бунина неразлучно жили в теснейшей дружбе до смерти, которая приняла их в свои объятия почти вдруг, разделив только 12 днями. <...>

21 мая 1849. <...> Ты полагаешь, будто Жуковский читал и дополнил статью «Москвитянина». Этого не может быть, да и надобности не было. Зонтаг, вероятно, сама все помнит и может написать о детстве его еще более. Вяземский, напротив, полагает, что эта статья, по нескромности, даст Жуковскому на некоторое время неприятное впечатление. Он говорит, что все это можно писать только об умершем авторе, а человеку живому неприятно, когда без ведома его разоблачают семейные его тайны. <...>

10 сентября 1849. Едва ли основательно предположение твое, чтобы дюссельдорфский профессор[20], будучи не во всем согласен с другими толкователями Гомера, ввел Жуковского в столь смешные промахи, какие усиливаются в переводе найти редактор и сотрудники «Отечественных записок»[21]. При немецких пособиях, какие теперь есть для чтения Гомера, не только профессору немецкому или даже простому немцу — дилетанту русскому невозможно сбиться с надлежащего пути разумения текста. Оттого-то и смешны мне толки о переводе Жуковского, о смысле и вообще о значении слов. Эту трудность всякий школьник победил бы, принявшись за перевод Гомера. Критике следовало бы говорить, везде ли Жуковский счастливо воспроизвел на русском языке поэзию Гомера. Ведь Жуковский сам не без основания сказал, что его переводы получают характер оригинальных созданий от восприемлемости души его поэтических красот подлинника. <...>

21 сентября 1849. Все, что ни говорим мы друг другу о труде Жуковского, сходится в заключении на одно. И я и ты утверждаем, что для верности перевода необходимо прежде всего знать по лексикону значение каждого слова и еще по грамматике употребление его. То и другое вполне сообщено было Жуковскому комментариями дюссельдорфского эллиниста. Но тут не кончена история поэтического перевода. Как поэт,

Гомер часто позволяет себе то, что и у нас позволяли себе Крылов и Пушкин. Этого вполне никому нельзя почувствовать, кроме поэта же. Вот тут-то Жуковский и становится камнем преткновения для критика-прозаика. Его судить могли бы только равные ему поэты, каковых у нас ныне не имеется. <...>

15 марта 1850. <...> Сообщу тебе недавно поразившие меня слова Жуковского из письма, полученного мною на днях (с некоторого времени он стал писать ко мне аккуратно по два раза в месяц, прося, чтоб и я делал то же). Вот эти слова: «Наука жизни есть *признание* воли Божией — сперва *просто признание*, что она выше всего и что мы здесь для покорности; потом *смирение в признании*, исключающее всякие толки ума или страждущего сердца, могущие привести к ропоту; потом *покой в смирении* и целительная *доверенность;* наконец, сладостное *чувство благодарности* за науку страдания и живая любовь к Учителю и его строгому учению. Вот четыре класса, которые необходимо должны мы пройти в школе жизни». <...>

15 сентября 1851. <...> Жуковский два раза писал мне в последнее время. Он был наготове к отъезду сюда; но за два дня до путешествия напал на здоровый его глаз (другой давно ослабел) ревматизм: ему завязали глаза и начали лечить его. И вот более месяца он все пишет с помощью давно придуманной им на случай слепоты машинки, при завязанных глазах. Теперь, по позднему времени, ему и думать нельзя о возвращении. Холод и блеск снега доконали бы совсем его зрение. Но для него никогда не пропадает время. Он уведомил меня, что в слепоте начал писать собственную свою поэму[22]. О содержании ее не хочет говорить до времени. Вдохновение так в нем животворно, что в короткое время успел написать он половину (около 800 стихов). Если конец будет таков же, как и начало, прибавляет он в письме, то эта поэма сделается лучшею, высокою, лебединою его песнию. После примется он за перевод «Илиады»[23], из которой успел уже перевести две песни. Затем займется окончанием элементарного своего курса воспитания[24], который сам признает за важное творение. Вот истинный жрец муз, несмотря на преклонность лет и недуги старости. <...>

21 мая 1852. <...> В этом же выпуске «Известий» напечатана первая часть большой статьи моей о Жуковском[25], которую начал я до известия о его кончине, а только по случаю 5-го издания сочинений его. Мне очень любопытно слышать о ней отзыв твой. Я старался избежать всех обыкновенных форм критики, или так называемых разборов. Моя главная цель — распространить как можно более собственных идей моих об искусстве и поэзии, а также доказать, что на Жуковского надобно смотреть не просто как на романтика или на отличного переводчика, а как на поэта в высшей степени самостоятельного и повиновавшегося особому призванию, для которого он был послан к нам в Россию. <...>

17 июня 1852. <...> Я очень обрадовался, что в первой статье моей о Жуковском ты покритиковал только крутой переход мой к нему от Ломоносова. Надобно тебе чистосердечно признаться, что, говоря о влиянии поэзии (не стихов и не языка их) на общество, я от Ломоносова до Жуковского не вижу никакого движения. Карамзин и Дмитриев были гладкие стихотворцы, но так же без аромата и без глубины чувства, как все их предшественники, исключая Державина, которого я везде выгораживал. Дело в том, что мне хотелось не разбирать сочинения Жуковского, а говорить о нем как о творце нового в России мира. И в других двух статьях того же держусь я. Боюсь одного: не отзовется ли это чем-нибудь смешным или бессвязным? За истину оснований моих я не робею, потому что готов отстаивать их против целого света. Пишу я, как ты знаешь, прямо набело. От этого легко запутаться или недосмотреть чего. Иной и совсем ничего не поймет тут. Пожалуй, скажут: да где же тут Жуковский-то? Ты постарайся стать на мою точку зрения и свежим глазом подмечай, не кривляюсь ли я в своей походке. Так же искренно скажи, попадаются ли тут хоть изредка свежие мысли о предмете, которых не умели высказать другие. Не пересыпал ли я сверх нужды метафизических толкований? Их я не люблю и очень боюсь, а вижу, что от них не убережешься. Говорить теперь же о подробностях жизни Жуковского было бы нескромно. Разбирать его стихотворения не ново. Читать возгласы в роде Давыдова — пошло (заметил ли ты, как мы не согласны с ним? Он уверяет, что после Карамзина, очистившего язык литературный, или книжный, Жуковский дошел до какого-то языка народного; а я тут же утверждаю, что ни у кого нет столько слов книжных и церковнославянских, как у Жуковского). Я все сосредоточил на идее значения поэзии Жуковского в России. Для меня он творец поэзии у нас, — более творец, нежели Пушкин. Он снял покров со всего. В его храме зажглись свечи на алтарях божеств всех народов древнего и нового мира. Будь у меня талант Вильмена — я готов бы написать несколько книг о значении Жуковского в русской литературе. Пушкин высказал только себя, а Жуковский принес себя в жертву пользе нашей и, отказавшись от славы, весь век трудился для нашей пользы. Конечно, великое дело прибавить к поэтам всемирным новое имя, как сделал Пушкин; но для общего блага выгоднее лицом к лицу свести на одну доску всех поэтов мира, как поступил Жуковский. Может быть, его и забудут, но то, что он внес в нашу литературу, развило ее неимоверно. Это разлив Нила, который ушел опять в свои берега; а между тем без него зачахла бы целая страна. В самом деле, до него пятьдесят лет писали сотни поэтов, а все только повторяли друг друга, каркали, как вороны: явился Жуковский — и все оживилось и расцвело.

Кто не проникнулся Жуковским, как Пушкин, Дельвиг и Баратынский, тот не приобрел истинного чутья в поэзии. Посмотри на Кукольника и всю фалангу новых поэтов: что это за люди? Отчего и сам Давы-

дов, усиливаясь хвалить Жуковского, говорит о нем, как говорил бы Плаксин с братиею? Оттого, что эти люди не возлелеяли в сердце убеждения к истинной красоте поэзии Жуковского. Они его знают по обязанности, а не по любви. Мы, люди двадцатых годов, жили в стихах Жуковского, как нынешняя молодежь живет в цирке и других подобных тому местах. Когда я стал знать жену мою, ей до меня никто не выяснил, что такое в поэзии Жуковский? А теперь она его наизусть знает и чувствует, что в нем за сокровища для сердца и освящения всякой мысли. Значит, не потому он хорош, что в двадцатых годах не было для нас другого поэта, а потому, что и нынешнему поколению стал он росою, если бы верхогляды потрудились наклониться к этим перлам, сошедшим на землю с неба. <...>

3/15 июля 1859. Париж. <...> 20-го мая, через Гейдельберг и Карлсруэ, мы прибыли в столь славящийся и для меня особенно памятный по письмам Жуковского Баден-Баден. Здесь я отыскал человека, служившего покойному поэту. Он всех нас свел в тот дом, где жил Жуковский, и мы долго с неодолимою грустию стояли в той комнате, где он так назидательно и умилительно скончался. После Гольберг (слуга) ездил с нами на кладбище, чтобы видели мы самую могилу, в которой около двух месяцев оставался с покойником гроб, перевезенный ныне в Невский монастырь. И в Баден-Бадене охраняется эта священная для русских могила: на ней зелень, цветы и на камне надпись: «О милых спутниках, которые сей свет присутствием своим животворили, не говори с тоской *их нет*, а с благодарностию *были*»[26].

О ЖИЗНИ И СОЧИНЕНИЯХ В. А. ЖУКОВСКОГО

I

Ни в одной литературе не было поэта, с которым можно бы сравнить Жуковского. Большую часть своих стихотворений он перевел с иностранных языков. Но эти переводы вполне равняются оригинальным сочинениям как по свободному их изложению на русском языке, так и по силе действия их на читателя. Самые известные и более других уважаемые переводчики достигали только до того, что со всею верностью передавали на своем языке значение подлинника: Жуковский сообщил переводам своим жизнь и вдохновение оригиналов. Оттого каждый перевод его получал на нашем языке цену и силу самобытного

сочинения. Этот необыкновенный талант доставил ему средство к великому преобразованию литературы нашей. До него она была однообразна и почти бесцветна. Жуковский расширил область ее, дал лучшие образцы различных тонов поэзии, усвоил нам первоклассные произведения древних и новых стихотворцев и поравнял нас в поэзии с образованнейшими современными народами.

Отличительная черта таланта Жуковского состояла в удивительном сочувствии ко всему прекрасному в изящных искусствах. Этою способностью он превышал всех известнейших поэтов. Но она одна не возвела бы его на ту высоту, на которой он стоит в русской литературе. Его надобно назвать творцом нового русского языка, которого особенности состоят у него в самых верных выражениях для каждой черты описываемого им предмета, в необыкновенной благозвучности речи, в свободном, но всегда правильном ее течении, в сочетании слов и их украшении, столь неожиданном и увлекательном, что каждая мысль является новым созданием, наконец, в искуснейшем употреблении то краткости, то обилия периодов, смотря по свойству излагаемых идей. В нашем языке более, нежели в каком-нибудь другом, разных слов, изображающих один и тот же предмет. Одни из них составляют принадлежность языка церковнославянского, другие собственно называемого русского, третьи образовались в каком-нибудь отдельном периоде истории, четвертые в особом сословии и так далее. До Жуковского писатели предпочитали слова избранные, т. е. употреблением утвердившиеся в общем книжном языке, что сообщило литературе одноцветность и принужденность. Живо сочувствуя бесконечно разнообразным красотам природы и красоте образцов всемирной поэзии, Жуковский воспользовался сокровищами нашего языка и внес в свои стихотворения это разнообразие выражений, которое необходимо для красок и живости передаваемых им бесконечно различных образов.

Есть другая черта в его таланте, свидетельствующая, что он как поэт достигнул бы необыкновенной высоты и тогда, когда бы ограничился сочинением одних собственных стихотворений, не увлекаясь совершенствами других поэтов. В таланте его над всеми качествами преобладало самобытное стремление к осуществлению идеальной красоты, грации, мысли возвышенной. Оно безотлучно сопровождает его и видимо в каждой черте его труда. Самые переводы его потому и действуют на читателя, как оригинальные сочинения, что творящая сила переводчика глубоко проникает в его чувства, в его понимание подлинника и в выражение его. Она, подобно солнечному лучу, ничего не отнимает у предметов, на которые действует, ничего им не прибавляет, но в то же время наводит на них тот восхитительный свет, от которого все они становятся приятнее и блистают равно озаренные. В этой силе самобытности заключается изъяснение того влияния, которым Жуковский произвел эпоху в нашей словесности.

II

К довершению столь прекрасных способностей Жуковский воспитал в душе своей религиозное чувство, чистейшую нравственность и высокое понятие о достоинстве человека. Ими он был руководим в течение всей жизни, и они составляют незыблемое основание его поэзии. Как ни разнообразны стихотворения его по содержанию своему, по формам, краскам и тону — все они сохраняют какой-то семейный отпечаток в общем своем направлении: везде присутствие чистоты, любви к природе, к нравственному порядку; везде успокоение духа, верование в лучшие качества человеческого сердца; везде ожидание тех утешительных обетований, которыми жизнь и смерть примирены и равно освящены для души христианина. Жуковский, казалось, избрал девизом своей поэзии только три слова: Вера, Надежда и Любовь. Он прошел все возрасты жизни, видел различные изменения судьбы, вслушался во все учения — и остался верен тому, что выражают эти всеобъемлющие слова. Они внушили ему то увлекательное красноречие, то могущественное убеждение, которому так отрадно покоряться и с которым чувствуешь в себе и силу и отраду. Человек, глубоко принявший в сердце поэзию его, не только сохраняет благородный энтузиазм к славе чистой, к деятельности бескорыстной, к мыслям возвышенным и к чести непреклонной, но и самое понятие об искусствах, и в особенности о поэзии, у него неразлучно с представлением совершенства нравственно-идеального, а в идеях, образах, положениях и в самом слоге он всему предпочитает силу истины, поэтическое создание, голос чувства и верность выражения. Посреди явлений господствующего ныне вкуса, увлекаемого яркими, но ложными красками, напыщенностью фраз и своеволием воображения, еще сильнее отзываются в чистом сердце святыня действительного вдохновения, картины, списанные с природы, и гармонические звуки, дружные спутники поэзии Жуковского.

Нельзя было и ожидать, чтобы на этой высоте поэзии, с идеями, чувствованиями и изображениями столь утонченными и в нашей литературе совершенно новыми, при слоге и языке, без предварительных опытов вдруг созданном для стихотворений, Жуковский сделался равно доступен всем классам читателей и вошел бы в разряд народных поэтов. Он сам это ясно сознавал, печатая некогда переводные свои стихотворения под заглавием «Для немногих»[1]. Во всех изящных искусствах, а в поэзии и преимущественно, есть совершенства, есть красоты, постигаемые людьми только приготовленными к тому воспитанием, чтением, обществом или особенною восприимчивостью души. Никакие объяснения критики не настроят ума и сердца к постижению и ощущению самых верных, самых неподдельных, живых и светлых красот, являющихся в тонких и легких очертаниях, в свободных и грациозных движениях, в сочетании звуков и слов, сладостно и трепетно прикасающих-

ся к утонченному слуху, если читатель природою или тщательным воспитанием не возведен на одну высоту с поэтом. Итак, неудивительно, что Жуковский как поэт и как писатель произведениями своими вполне действовал только на круг людей, так сказать, избранных. Для приятного занятия читателей, ищущих в книге развлечения, отдыха, иногда и средства незаметно провести время, он не оставил ничего. Но успехам искусства, обогащению литературы, внушению чистых, высоких и назидательных идей, развитию и окончательному совершенствованию языка он способствовал едва ли не более всех русских писателей.

III

Жуковский целую жизнь посвятил трудам умственным. Отдавшись им с первой молодости, он до последнего дня своего считал их главным своим призванием. Им назначал он лучшую часть дня, т. е. утро, и потому никогда не вставал от сна позже пяти часов[2], как бы поздно ни ложился, иногда принуждаемый к тому какими-нибудь особенными обстоятельствами. Этот недостаток сна, необходимого для здоровья, он старался вознаградить перед обедом, когда сон не тяжел и безвреден. Рукописи его, как у всех лучших писателей, сохраняют следы глубокого внимания и самой строгой отделки, что видно и в рукописях Пушкина. Одна посредственность довольствуется первым выражением, первым словом, попавшимся под перо. Что в теории называют следами быстрого вдохновения, то на практике оказывается неумолимостью вкуса и непреклонностью воли гениального ума. Любовь к искусству, как и всякая страсть, жертвует всеми своими силами для достижения цели. Каким привыкли мы видеть Жуковского в его стихах, таков он был и в отношении ко всему, окружавшему его в кабинете. Безвкусия или беспорядка он не мог видеть перед собою. У него все приготовляемо было с определенною целью, всему назначалось место, на всем выказывалась отделка. Чистые тетради, перья, карандаши, картоны, книги в приятном размещении ожидали руки его. Огромный высокий стол, у которого работал он стоя, уставлен был со всевозможными прихотями для авторского занятия. Куда бы он ни переселялся, даже на несколько недель, первою его заботою было устроение такого стола. Самую большую и удобнейшую из своих комнат он всегда выбирал для кабинета, который особенно любил украшать бюстами[3].

Люди, отличавшиеся какими бы то ни было талантами, даже только резкими особенностями ума, составляли любимое его общество, когда он был свободен. Но утро, как драгоценность, он охранял для своих трудов. В дружеском собрании вечером, когда душа поэта ничем не была тревожима, он являлся по большей части веселым и шутливым. Забавные рассказы, сам ли он предавался им или слушал других, долго и

живо могли занимать его. Сколько верен был он своему призванию в уединенные часы занятий, столько же казался непохожим на самого себя в дружеском развлечении. Но так как размышление и опыты жизни рано или поздно оказывают свое действие, то и в характере поэта постепенно являлось возобладание той мудрости, которая положила такой чистый венец на последние его годы. Пушкин говаривал: «Один глупец ни в чем не переменяется»[4]. Спокойное, даже строгое воззрение на жизнь в эпоху зрелости ума не есть утрата душевных сил, изумлявших нас в юноше, а естественное возвышение его духа.

IV

Жизнь Жуковского не представляет заманчивого разнообразия, которое особенно нравится в рассказах об исторических лицах. Она сосредоточена была в тишине кабинета на трудах мысли и вдохновения. Наибольшую часть ее поэт провел бессемейно. Только детство и старость его озарены были теми радостями, которые животворят нас в милом родном кругу. Он родился 29 января 1784 года[*5] в селе Мишенском, в трех верстах от Белева, уездного города Тульской губернии. Многочисленная семья, посреди которой он явился на свет, богата была детьми и до него, но все девочками. По этому случаю он с рождения сделался общим любимцем. К счастью, природа наделила его такими прекрасными качествами, что излишняя нежность родителей и всего семейного круга не только не избаловала его, но быстрее развила в нем добрые наклонности и замечательные способности. Черты и выражение лица его, рост и вся вообще наружность не напрасно заставляли ожидать от мальчика чего-то необыкновенного. Самые первые наклонности его предсказывали в нем будущее развитие вкуса и таланта. Если бы с первых лет начали постоянно занимать его рисованием или музыкою, без сомнения, на каждом поприще он достигнул бы высокого совершенства: так в нем было сильно чувство изящного.

В раннем еще детстве Жуковский лишился своего отца. Он остался на попечении матери. Сестры были гораздо старше его, так что дочери их сделались его совоспитанницами. Эти семейные обстоятельства подействовали, во-первых, на образование души его, которая всегда отличалась нежностью, благородством, набожностью и каким-то рыцарством, во-вторых, на укрепление самой чистой любви и дружбы между ним и его племянницами. В родственном их союзе было что-то более знаменательное, нежели обыкновенно представляется у других, оттого ли, что развивающийся талант уже отражался на окружающих его, или природа прекрасно образовала каждое из них существо.

Это показание основано на словах одного собственноручного письма Жуковского. — *П. П.*

Первые опыты собственно называемого учения не принесли большой пользы Жуковскому, потому что наставники не угадали его призвания. Из него хотели сделать математика, а он все оставлял для поэзии. Страсть к сочинениям театральным обыкновенно прежде всего раскрывается в детях с живым воображением. Она овладела и Жуковским, лишь только поместили его в тульское народное училище. Ревностный к должности своей учитель, Феофилакт Гаврилович Покровский, выведен был из терпения невнимательным учеником и решился, в назидание товарищам Жуковского, исключить его из училища. Это происходило в 1796 году. Для спасения чести любимца своего родные записали будущего поэта в Рязанский пехотный полк, квартировавший тогда в Кексгольме. Надобно между тем заметить, что, по старинному обыкновению, Жуковский на втором году, после рождения своего уже записан был в Астраханский гусарский полк сержантом, а в 1789 году произведен в прапорщики и даже принят (разумеется, на бумаге) в штат генерал-поручика Кречетникова младшим адъютантом; но через три месяца уволен по прошению от службы без награждения чином. Выбор нынешнего нового пути, не совсем понятный для нас, изъясняется тем, что между знакомыми родных Жуковского в Туле жил в постоянном отпуску майор Рязанского полка Дмитрий Гаврилович Посников, который вызвался устроить судьбу мальчика. Его одели в мундир и отправили в Петербург для дальнейшего следования по назначению. Здесь, в Зимнем дворце, поэта ожидало впечатление, о котором любил он рассказывать, удержав его навсегда в памяти. По случаю большого выхода ему достали местечко на хорах, откуда в первый и в последний раз на веку своем удалось ему видеть императрицу Екатерину II. Кто знает, не переносился ли он своею мыслью к этой минуте, когда говорил перед кончиною, изображая себя в виде Лебедя:

Но не сетуй, старец, пращур лебединый:
Ты родился в славный век Екатерины[6].

V

Между тем восьмое ноября[7] изменило положение всех малолетних дворян в России, считавшихся в военной службе. Жуковский снова очутился в Туле, где пробыл только до начала 1797 года. В январе родные его отправились с ним в Москву, чтобы остаться там до коронации нового императора. Благородный пансион Московского университета избран был местом окончательного образования и воспитания Жуковского. Основанный в 1770 году кураторами Мелиссино и Херасковым[8], пансион сделался рассадником замечательных людей в России. При поступлении туда Жуковского главным лицом в пансионе был извест-

ный педагог и профессор А. А. Прокопович-Антонский. Между товарищами своими по воспитанию поэт встретил тех избранных по уму и сердцу, которые до конца жизни его остались его друзьями. Все здесь способствовало к развитию счастливых дарований. По истечении годичного курса наук ученики обязаны были сами достойнейших «из своего круга избрать в почетные директоры неклассных своих занятий и увеселений. В присутствии кураторов и ближайшего начальства своего они подносили избранным товарищам лавровые венки и давали обещание следовать охотно их распоряжениям. Жуковский, пробыв менее двух лет в пансионе, удостоен был этого отличия. Празднество, совершавшееся 14 ноября 1798 года по случаю освящения новопостроенного при пансионе каменного флигеля, происходило в присутствии куратора М. М. Хераскова. Таким образом, один поэт благословил другого на служение высокой поэзии и чистой добродетели.

Начало литературных успехов Жуковского надобно отнести ко времени пребывания его в пансионе. Известно, что с 1782 года при Московском университете существовало так называвшееся «Собрание университетских питомцев». В свободные часы от должностных занятий студенты сходились для чтения литературных опытов своих. В особом журнале было печатаемо лучшее. Подобное общество образовалось и в пансионе, под названием «Собрания благородных воспитанников Университетского пансиона». Так как начальство пансиона почитало самыми верными успехами воспитанников только извлекаемые из свободной их деятельности, наблюдая за нею внимательно, но со стороны, то и дозволено было молодым любителям словесности, по их собственным соображениям, приготовить самим начертание устава общества. Товарищи избрали Жуковского в редакторы устава[9]. Последствия этой юношеской забавы оказались самыми замечательными для русской литературы. Она с первого года текущего столетия начала принимать в свои произведения лучшие краски, лучшее направление, тон и формы языка. Известнейшие действователи на поприще литературы нашей образовались в этой школе, так что Москва не без основания приписывает себе развитие новых начал в умственном и эстетическом образовании отечества.

VI

В пансионе Жуковский оставался до октября 1800 года. Тогда куратором был И. П. Тургенев, отец молодых Тургеневых, учившихся в пансионе вместе с нашим поэтом, который приобрел не только дружбу сыновей, но и родительскую нежность их отца. В доме бывшего начальника своего Тургенева Жуковский встретился с Карамзиным и Дмитриевым, с этими писателями, которые сделались для него образцами вкуса.

Они уже тогда почувствовали, чем может со временем явиться этот молодой человек, только что вышедший из детства. Карамзин такое находил удовольствие в его обществе, что после кончины первой жены своей пригласил Жуковского на целое лето с собою в Свирлово, и таким образом утвердилась между ними привязанность, основанная на взаимном уважении. В последствии времени Карамзин же положил основание нежной дружбе между Жуковским и князем П. А. Вяземским, не изменявшейся в продолжение всей их жизни.

Несмотря на несомненное призвание свое к занятиям литературным, Жуковский не уклонился от общего служебного пути и получил место в Москве же в Главной Соляной конторе, где состоял до апреля 1802 года, дослужившись тут до чина титулярного советника. Вышедши в отставку[10], он покинул самую Москву. Его влекло к себе Мишенское со всеми воспоминаниями его детства. Там еще жили родные его, у которых он, и в пансионе бывши, проводил свои вакации каждое лето. Замечательно, что первые стихи, написанные им по прибытии в деревню, вдруг поставили его в разряд лучших поэтов русских. Это было «Сельское кладбище», напечатанное в «Вестнике Европы», начавшемся тоже в 1802 году, под редакцией Карамзина, который на другой год, говоря о Богдановиче и его «Душеньке», так точно приводил в разборе своем один стих из элегии Жуковского, как бы это было всем известное место из Ломоносова или Державина. В Мишенском и Белеве написаны были и другие его стихотворения, оконченные прежде 1808 года. В первом из этих мест оставалось семейство сестры его В. А. Юшковой, бывшей крестною его матерью, которой дочь, А. П. Зонтаг, сама приобрела известность в нашей литературе прекрасными сочинениями для образования детей, во втором же месте поселилась другая сестра его, К. А. Протасова. Одной из дочерей ее, бывшей в последствии времени в замужестве за известным стихотворцем нашим А. Ф. Воейковым[11], посвящены: первая часть «Двенадцати спящих дев» и «Светлана». Там некогда бывал у него Батюшков[12]. Эти два таланта, яркие и современные, связаны были самою искреннею дружбою. Лучший брат не мог более принять на себя попечений, какие оказал Жуковский в начале болезни, которая до сих пор не покидает несчастного друга его. В одном из грациозных посланий своих Батюшков, прощаясь, говорит Жуковскому:

Прости, балладник мой,
Белева мирный житель!
Да будет Феб с тобой,
Наш давний покровитель,
Ты счастлив средь полей
И в хижине укромной.
Как юный соловей
В прохладе рощи темной

С любовью дни ведет,
Гнезда не покидая;
Невидимый поет,
Невидимо пленяя
Веселых пастухов
И жителей пустынных:
Так ты, краса певцов,
Среди забав невинных,
В отчизне золотой
Прелестны гимны пой![13]

В Белеве, на берегу Оки, Жуковский построил дом матери своей, где она провела тихую свою старость и скончалась в 1811 году.

В первые годы литературной жизни поэт нередко бывал в необходимости трудиться из платы над переводами в прозе, как человек недостаточный. Он умел, однако же, примирять нужду с потребностью таланта. Этой разборчивости вкуса мы обязаны переводом «Дон-Кихота», напечатанным в первый раз в 1805 году, а во второй в 1815. Он воспользовался трудом Флориана, автора, столь уважавшегося в его время. Как ни странно теперь думать, что первоклассный поэт руководствуется второстепенным кудреватым писателем, при всем том истинное дарование вывело переводчика на прямую дорогу, и в книге его до сих пор много достоинств неотъемлемых. Говоря о первых переводах Жуковского в прозе, кстати упомянуть здесь об одном из них, неизвестном для многих, тем более что это обстоятельство относится к 1801 году. Вот в каких забавных выражениях сам Жуковский, незадолго до своей кончины, сообщил о том в одном письме. «Некогда в Москве обанкротившийся Зеленников трактовал меня преобидно. Для него я перевел за 75 рублей „Мальчика у ручья". Эту сумму он выплачивал мне по 5 р., по 7 р. с полтиною и т.д.». И это сочинение (Коцебу) в то время принадлежало автору, любимому современным обществом. Русский перевод печатался тоже два раза (во второй раз в 1819 г.).

Карамзин два года издавал «Вестник Европы». Он передал его Панкратию Сумарокову, едва год выдержавшему труды редакции, которая перешла тогда к известному профессору Каченовскому. От него-то с 1808 года Жуковский принял «Вестник Европы» в свое заведование. Он возвратил изданию ту жизнь и занимательность, которыми оно всех привлекало к себе при его основателе. Перебирая этот журнал, убеждаешься, что он был действительный посредник между читателями и своею эпохой. В нем ничто не забыто, ничто не упущено. Как драгоценная летопись современности, «Вестник» указывает на все явления истории, литературы и общественной жизни. Конечно, лучшим украшением журнала были собственные сочинения и переводы редактора. Но он, как талант, как законный судия в деле и как образцовый писатель, не бесплодно употреблял свои способы, чтобы произведениям других при-

дать правильность, точность и силу выражения, без которых нет физиономии ни в стихах, ни в прозе. Журнал тогда не был складочным местом дюжинных романов. Он обогащал ум читателя указаниями, а не губил его времени. Если мы встречаем в журнале Жуковского так называемое «чтение легкое», необходимое для известного круга людей, оно никого не отводило от главной цели издания, очищая вкус и нравы. Это были по большей части собственные его переводы небольших повестей, выбранных с таким умом, что их чтение до сих пор может служить лучшею школою образования. Жуковский, взявши на себя редакцию журнала, принужден был снова переселиться в Москву. Дом бывшего наставника его, А. А. Прокоповича-Антонского, служил ему родным приютом. Но для облегчения трудов по редакции, особенно в летние месяцы, когда Белев и Мишенское так приятно рисовались в его воображении, с 1809 года он принял к себе в сотрудничество опять М. Т. Каченовского[14], что продолжалось и в 1810 году, т. е. до прекращения Жуковским журнальной деятельности. Как ни краток был период прямых сношений его с публикою, он доставил поэту твердое и блестящее положение в общем мнении. Карамзин и другие лица, умом своим и образом мыслей составлявшие венец избранного общества, признали в молодом человеке лучшую надежду русской литературы.

VII

Освободившись от срочной работы, вообще неприятной для человека с высшими понятиями о литературных занятиях, Жуковский начал жить только для поэзии. С его именем соединялось в тогдашнем молодом поколении предчувствие какого-то рассвета. Стихи его быстро переходили из рук в руки и являлись часто в печати там, куда автор еще не показывался. Так, в 1807 году в Петербурге издано было особою брошюрою стихотворение его «Песнь барда над гробом славян-победителей». Теперь, когда скончалась мать его, он поселился в Муратове (Орловской губ., Болховского уезда), деревне сестры своей, К. А. Протасовой, переехавшей туда из Белева с семейством. Сельская жизнь постоянно влекла его к тихим своим удовольствиям. От полноты души высказался он, когда написал (1805):

Мне рок судил брести неведомой стезей,
Быть другом мирных сел, любить красы природы,
Дышать под сумраком дубравной тишиной
И, взор склонив на пенны воды,
Творца, друзей, любовь и счастье воспевать.
О песни, чистый плод невинности сердечной!
Платон, кому дано цевницей оживлять
Часы сей жизни скоротечной:

Кто в тихий утра час, когда туманный дым
Ложится по полям и холмы облачает
И солнце, восходя, по рощам голубым
Спокойно блеск свой разливает,
Спешит, восторженный, оставя сельский кров,
В дубраве упредить пернатых пробужденье
И, лиру соглася с свирелью пастухов,
Поет светила возрожденье!
Так, петь есть мой удел...[15]

Ничего очаровательнее представить нельзя, когда вообразишь эту эпоху его. Общественной жизни он узнал столько, чтобы не сделаться мизантропом и не сожалеть о ней. Славы на его долю досталось более, нежели он мог желать по исключительной своей склонности к простоте и тихим семейным радостям. Он окружен был обществом людей, которые любили его искренно и наслаждались его счастием как собственным. Равная их образованность и одинаковый вкус искали сходных занятий и удовольствий. Там-то изучен был Шиллер — и, может быть, еще нигде не оказывалось столько поклонения его гению. Жуковскому исполнилось двадцать шесть лет. И в обыкновенном человеке эта пора развивает благороднейшие и нежнейшие сочувствия. Что же должно было, при столь благоприятных обстоятельствах, развиться в душе поэта? Он полон был вдохновения, счастья и высокой, необыкновенной любви. Ощущения свои, столь же чистые, как и живые, столь же сильные, как и возвышенные, он изобразил тогда преимущественно в «Послании к Батюшкову» и в первой части «Двенадцати спящих дев». Но еще не верное представление образовалось бы о полной картине жизни Жуковского в деревне, если бы не было упомянуто здесь, что к семейству, посреди которого он жил, дружба и уважение привлекали из соседства многих других лиц, которые умели делить благородные забавы ума. Так, например, семейство А. А. Плещеева содействовало к разнообразию их общих удовольствий. Музыка, театр и чтение драматических писателей столько же были по вкусу всех, сколько все показывали в них успехов. Особенно сам А. А. Плещеев неподражаемо действовал как дилетант, как артист и как декламатор[16].

Давно занимался Жуковский составлением сборника[17], который бы можно было назвать соединением всего лучшего в русской поэзии. Наподобие греческой антологии, такие сборники задолго до него известны были в литературах немецкой, французской и английской. Они предназначаются в пособие исторической и теоретической части литературы. Взявши из каждого поэта, который по таланту своему достоин изучения, одно замечательнейшее или то, что составляет цвет его поэзии, составитель антологии определяет, кого надобно почитать принадлежащим истории и чем он останется памятен на ее страницах. В то же время избранные стихотворения, если только соблюдено будет предыду-

щее условие, непременно составят подтверждение правил науки и представят образцы, как исполнять требования теории. Отсюда следует, что за издание подобной книги только и может взяться истинный талант, классический писатель, знаток всего, что совершалось в истории словесности. Никто не усомнится, что у Жуковского все были права на это предприятие. Но самая его идея так еще была тогда нова в нашем отечестве, что Державин, как известно из частной переписки, восставал против сборника Жуковского, находя в исполнении покушение на права собственности. Красноречиво и со всею юридическою логикою отвечал ему А. И. Тургенев[18]. Сборник не был остановлен и начал с 1810 года являться в свет. Он называется: «Собрание русских стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских и из многих русских журналов». В последствии времени явилось множество таких сборников. Но так как у подражателей, лишенных дарования и знаний, самый лучший пример обращается в повод к предприятиям бесплодным и даже смешным, то и не удивительно, что размножение их охладило к ним общее внимание.

VIII

В июле 1812 года обнародован был высочайший манифест о составлении военной силы. Сердце поэта встрепенулось. Он в следующем же месяце поступил в московское ополчение в чине поручика. Постоянно находясь при дежурстве главнокомандующего армиями князя Кутузова-Смоленского, Жуковский уже в ноябре того же года, за отличие в сражениях, награжден был чином штабс-капитана и орденом св. Анны 2-й степени. Он сопровождал главную квартиру до Вильно, где занемог опасною горячкою и в состоянии беспамятства был там оставлен с другими больными. В декабре 1812 года ополчение было распущено, и он получил увольнение от московской военной силы. Изнуренный усталостью и еще не выздоровевший, он возвратился к своим в Муратове. Но этот короткий период его жизни внес в историю такое бессмертное дело, о котором никогда не забудет Россия. После отдачи Москвы неприятелю, перед сражением при Тарутине, Жуковский написал стихотворение «Певец в стане русских воинов». Впечатление, произведенное им не только на войско, но и на всю Россию, неизобразимо. Это был воинственный восторг, обнявший сердца всех. Каждый стих повторяем был как заветное слово. Подвиги, изображенные в стихотворении, имена, внесенные в эту летопись бессмертных, сияли чудным светом. Поэт умел избрать лучший момент из славных дел всякого героя и выразил его лучшим словом: нельзя забыть ни того, ни другого. Эпоха была беспримерная — и певец явился достойным ее. Вот что после сказал он сам о ней:

На лиру с гордостью подъемлет взор певец...
О дивный век, когда певец царя — не льстец,
Когда хвала — восторг, глас лиры — глас народа,
Когда все сладкое для сердца: честь, свобода,
Великость, слава, мир, отечество, алтарь,
Все, все слилось в одно святое слово: Царь![19]

Может быть, патриотический энтузиазм никогда и нигде не доходил до такой силы и всеобщности, как у нас в Отечественную войну. В один год «Певца» вышло два издания. Итак, не удивительно, что сочувствие к энтузиазму поэта повсеместно выразилось в высшей степени. Императрица Мария Феодоровна, прочитав это стихотворение Жуковского, поднесенное государыне И. И. Дмитриевым, приказала просить автора, чтобы он доставил ее величеству экземпляр стихов, собственною рукою его переписанный, и приглашала его в Петербург. Не чувствуя себя еще в силах на поездку, он отправил требуемый экземпляр, прибавивши новое стихотворение, начинающееся словами:

Мой слабый дар царица ободряет...[20]

Только в 1815 году Жуковский наконец прибыл сюда. Немедленно удостоенный самого милостивого приема у государыни, он тут же получил назначение быть у нее чтецом. Павловск тогда сделался средоточием лучших писателей наших: Карамзин, Крылов, Дмитриев, Нелединский, Гнедич и Жуковский являлись на вечерних беседах августейшей покровительницы отечественных талантов.

IX

С этой поры все, окружавшее поэта, было для него ново: неизменными остались его вдохновение, любовь к поэзии и чистое, природою для простоты взлелеянное сердце. Друзья сладостной сельской жизни его также покинули Муратово. К. А. Протасова переехала в Дерпт, куда А. Ф. Воейков назначен был профессором русской словесности в университете. Старшая дочь ее, Марья Андреевна, вышла замуж за профессора Мойера. Там она и скончалась в 1823 году. Это было существо неземное. Воспоминание о ней всю жизнь наполняло душу поэта чем-то небесным. Жуковский в Петербурге сперва жил у Д. Н. (графа) Блудова, которого дружба с детских лет не покидала его до кончины. А. А. Плещеев, овдовев, переехал с детьми сюда же. С ним и поэт устроил общую себе квартиру, возложив на него холостое хозяйство свое и потому в шутку называя его своею женою. Они поселились у Кашина моста[21] за каналом в угловом доме. Сюда по субботам собирался на вечер к Жуковскому избранный кружок тогдашних писателей и любителей про-

свещения. Было что-то редкое в этом братстве и общении лучших талантов и лучших умов столицы. Разговор, естественно, склонялся на то, чем преимущественно занимались гости. Совершенствование произведений ума и вкуса столько же у всех было на сердце, как слава и благосостояние отечества. Писатели, уже пользовавшиеся общим уважением, и молодые люди, едва выступившие на свое поприще, но увенчанные надеждою, все с одинаковою откровенностью высказывали мысли свои, потому что равно любили искусство и искали только истины. Так называвшееся Арзамасское общество, в котором из-под шуточных форм юношеской причудливости много блеску, остроумия и свежести сообщилось русской литературе, видимо продолжало существование свое на вечерах Жуковского. Главнейшие подвижники идеи прекрасного и здесь были те же. Они только возмужали в суждениях и серьезно принялись за дело. Еще до отъезда Батюшкова в Италию тут же явился Пушкин с первыми песнями «Руслана и Людмилы». Каждую субботу приносил он новую песнь. Сколько предметов открывалось для тонких замечаний и дружеских, но тем не менее строгих суждений!

В течение 1816 года Жуковский привел к окончанию первое издание стихотворений своих, написанных в разное время. Они явились в двух томах и приняты были всеми с восхищением. В России никогда молодое поколение не увлекалось с такою пламенною любовью за образцом своим, как это ощутительно было в описываемую эпоху. Только и разговаривали о стихах Жуковского, только их и повторяли друг другу наизусть. Это можно сравнить разве с энтузиазмом к Гете в Германии. Когда министр народного просвещения и духовных дел князь А. Н. Голицын представил императору Александру Павловичу экземпляр этих стихотворений, государь выразил автору совершенное свое удовольствие, пожаловавши ему брильянтовый перстень с вензелевым своим изображением и 4000 руб. ежегодного пожизненного пенсиона. Царские милости встретили в душе автора такой отзыв, который достоин известности. Он до сих пор тайно сохранялся в одном частном письме его из Дерпта. «Пенсион, который дал мне государь (говорит он другу, вызывавшему его оттуда в Москву), который я считаю наградою за добрую надежду, налагает на меня обязанность трудиться, дорожить временем и успокоить совесть свою, написав что-нибудь важное. Слава достойная есть для меня теперь то же, что благодарность. Чтобы работать порядком, надобно сидеть на месте, а чтобы написать что-нибудь важное, надобно собрать для этого материалы. У меня сделан план: он требует множества материалов исторических. Того, откуда я их почерпнуть должен, с собою взять не могу — а время между тем летит. Что, если оно улетит и умчит с собою возможность что-нибудь сделать? Я столько потерял времени, что теперь каждая минута кажется важною. Вся моя протекшая жизнь есть не иное что, как жертва мечтам — жалкая жертва! и боюсь, не потерял ли я уже возможности пользоваться настоящим.

Мне нельзя перетащить с собою всех своих книг; а большая часть их будет мне нужна если не для чтения, то для справок. Сверх того, я беру здесь лекцию, именно для моего плана весьма важную. Она продолжится от февраля до конца мая и должна облегчить мне большой труд. Одним словом, в нынешнем и будущем году я должен написать что-нибудь важное: без этого душа не будет на месте. Я не должен обмануть надежды царской».

X

Между тем как Жуковский с такою строгостью судил себя и готовился к новому поэтическому труду с такою добросовестностью, судьбе угодно было послать неожиданный оборот кабинетным его занятиям. Ему было суждено соединить с живою поэзиею тихую педагогию. Он избран был для преподавания уроков русского языка государыне великой княгине, ныне императрице Александре Феодоровне. Ничего нет назидательнее, как созерцание и изучение жизни великого человека, особенно во время переходов его с одного поприща на другое, когда он должен не только показать новые силы ума, но и быстро усвоить новые способы занятий. В этих-то случаях Жуковский и представляет собою образец, достойный подражания. С удивительным спокойствием и терпением он принялся за обработывание грамматики русского языка[22] и особенно за исследование глаголов его, этой загадки, до сих пор вполне не разгаданной. Жуковский чувствовал, что надобно собственным взглядом и собственными соображениями переселить науку в душу свою, когда приходится в ее лабиринт вводить другое лицо. Чужая система, как бы хороша ни была она, не срастается органически с нашими суждениями. Слова, приготовленные для нас чужим умом, как-то неубедительны в устах наших. Им следует выработаться в нашей душе и звучать силою собственного убеждения нашего. Он ревностно обработал каждую часть русской грамматики и так облегчил спряжения, что ему самому весело было с любопытствующими рассматривать узоры этих иероглифов. Об одном нельзя не пожалеть: Жуковский в продолжение следующих годов жизни много составил руководств и пособий по разным наукам, а ничего не издал для общего употребления. Сперва удерживался он естественною скромностью, а наконец продолжительная разлука с друзьями и отечеством не допустили его до исполнения мысли, которую он лелеял и о которой беспрестанно говорил в своих письмах. «Чтобы обратиться к моим педагогическим занятиям (которые не без поэзии), — писал он в последнее время, — я желал бы составить полный курс домашнего, систематического учения, составить его так, чтобы он мог пригодиться и в других семействах, чтобы отцы и матери могли им пользоваться, не прибегая к помощи наемников. Но удастся ли это? Глаза служат плохо;

работать долго стоя, как я привык прежде, уже не могу: ноги устают; сидя работать также долго не могу: кровь бежит в голову. И как нарочно, думая, что в 1848 году отправлюсь в Россию, я все свои педагогические работы отослал вместе с нужными книгами в Петербург. Надобно начинать снова; время не терпит. А когда буду на месте — как узнать? Еще не знаю, *где будет мое место!*» В другом письме об этом же предмете он говорит: «Я не намерен печатать ничего в прозе, кроме разве моих грамматических таблиц, моей живописной азбуки, моей живописной Священной истории, моей мнемонической арифметики и моего исторического атласа древней истории, который постараюсь привести к окончанию до моего отъезда из Бадена». Еще замечательнее то красноречие, с которым защищал он свою педагогию, когда вызывали его от нее к поэзии. «Не горюйте (отвечает он в одном письме), что я, отложив поэзию, принялся за детскую азбуку. В этом занятии глубокая жизнь. Первое воспитание, первые понятия детей принадлежат, как святейшее, не разделимое ни с кем сокровище, отцу и матери. Кому можем мы уступить эту прелесть первого знакомства с первыми проявлениями душевной и мысленной жизни нашего младенца? Что сильнее может утвердить союз сердец между родителями и детьми, как не этот *совокупный* вход, *одних обратно*, в детские их лета, воскресающие перед ними в младенчестве их детей, а *других вперед*, на первый, свежий, только начинающий расцветать луг их лучших лет, рука в руку с отцом и матерью, которые одни могут с ними играть на этом лугу, забывая свои зрелые или старые лета?» Далее он прибавляет: «Нет, мой милый! это педагогическое занятие не есть просто механическое преподавание азбуки и механический счет — это педагогическая поэма, в которую все входит и которой никто не может сочинить с таким единством, как сам отец, если только он имеет к тому призвание». Уже по этим отрывкам можно судить, как он был способен увлечься новым трудом, совсем на новом поприще, и сколько в глубокой душе его лежало умственных сокровищ!

XI

Как ни строго исполнял Жуковский свои обязанности в новой должности, поэтически деятельная мысль его изобрела средство слить в одно занятие поэзию и языкоучение. Августейшая слушательница уроков его помнила наизусть лучшие небольшие стихотворения из первоклассных немецких поэтов. Преподаватель русского языка, одаренный необыкновенным талантом воссозидать всякое произведение поэзии на языке отечественном, не изменяя не только идей и красот его, но сохраняя даже в каждом стихе число и порядок его слов, начал переводить эти перлы поэзии. Можно вообразить всю занимательность и прелесть

преподавания, когда основанием урока служило чтение восхитительных стихов на двух языках; когда одни и те же мысли, рассказы, описания, картины незаметно печатлелись в уме, обогащая память не звуками без образов, а проникающими в душу словами, из которых при каждом по-русски оставалось все то, что так было неразлучно при нем же по-немецки. В этом счастливом настроении ума нетрудно уже было дополнять его приобретения указаниями на таблицы склонений и спряжений. Можно поэтому сказать, что вернее Жуковского никому не удавалось приводить в исполнение знаменитое Горациево правило: *приятное с полезным*. Переводы для особого назначения, вылившиеся из-под пера поэта, он хранил как что-то освященное и потому напечатал их в самом небольшом числе экземпляров. Они выходили тетрадками в 12-ю долю листа на прекрасной бумаге с белою оберткою, где стояла на двух языках надпись: «Для немногих». В продаже никогда их не было. Их получили от автора некоторые особы, дорогие для его сердца.

Вторая часть «Двенадцати спящих дев» кончена в 1817 году. Автор напечатал всю балладу отдельно, прибавив, кроме посвящения «Вадима» Д. Н. Блудову, стихи, которые написал перед своим «Фаустом» Гете[23], когда кончил «Елену». Жуковский воспользовался тем обстоятельством, что между началом и окончанием баллады его также очутился значительный промежуток времени, как и у Гете при сочинении знаменитой драмы. Конечно, никто не прочтет без умиления этих очаровательных строк по-русски. В них есть места пленительнее самого подлинника. Баллада же останется в литературе нашей самым живым, самым верным отголоском прекрасной души поэта, когда все лучшие двигатели вдохновения: молодость, любовь, чистота, набожность и сила, совокупно в ней действовали.

Как писатель в прозе Жуковский занимает в нашей литературе одно из первых мест. По своему призванию отдавшись вполне стихотворству, не много успел он обработать прозаических сочинений; но и они показали в нем законодателя прекрасного русского языка и светлого мыслителя. Пушкин, говоря о критических его сочинениях, признавал в нем лучшего по этой части писателя в России. Особенно драгоценны для нас, как образцы повествований, его переводы повестей, помещенные им в «Вестнике Европы». Никто живее его не умел чувствовать и вернее передавать красот местности, разнообразия характеров, оттенков народности и других принадлежностей, которыми талант возвышает над обыкновенными явлениями каждое свое создание. Итак, не удивительно, что переводы и сочинения Жуковского в прозе начали являться в отдельных изданиях. Первые напечатаны в 1816—1817 г., а вторые в 1818, в Москве. Здесь, в Петербурге, готовили между тем второе издание его «Стихотворений», которое тоже в 1818 году вышло в трех уже томах.

Успехи Жуковского в литературном мире привлекли к нему внимание разных ученых обществ, которые, одно перед другим, спешили внести имя его в свои летописи как имя члена своего. Так, например, в 1816 году это было в Дерптском университете, в 1818 в Российской академии, в 1829 в Санкт-Петербургском университете и проч.

XII

Как ни приятною казалась жизнь поэта, посвященная прекрасным трудам, которые увенчиваемы были повсеместными успехами, однако же судьба умела приготовить ему еще лучшие удовольствия. Наступил 1821 год — и Жуковский, в числе особ, сопровождавших великого князя, ныне благополучно царствующего императора, и августейшую супругу его, отправился за границу. Не суетные развлечения питали душу поэта: прекрасная природа повеяла на него плодотворным вдохновением. Никогда поэтическая деятельность его не являлась столь производительною, как в продолжение этой поездки. Он успел в один год, не считая мелких стихотворений, подарить русской литературе три поэмы. Вот их заглавия: «Орлеанская дева» Шиллера, «Пери и ангел» Мура и «Шильонский узник» Байрона. Равные по своим поэтическим красотам, они представляют удивительное разнообразие по самому характеру поэтов и по содержанию стихотворений. Такое приобретение разветвило направление и нашей поэзии. Мы особенно почувствовали успехи в языке нашем и в искусстве с появлением «Орлеанской девы», соединяющей в себе все тоны поэзии и все очарование драмы, развитой свободно и так счастливо примиряющей историю с поэзиею. Великолепные празднества, приготовленные в Берлине в честь августейших гостей, равно вдохновляли поэта. «Лалла Рук» Мура навела берлинский двор на мысль устроить чудный маскарад в восточном вкусе[24]. Представление героини поэмы удостоила принять на себя государыня великая княгиня. Стихи Жуковского, изображающие Лалла Рук, восхитительны:

Мнил я быть в обетованной
    Той земле, где вечный мир;
Мнил я зреть благоуханный.
    Безмятежный Кашемир;
Видел я: торжествовали
    Праздник розы и весны
И пришелицу встречали
    Из далекой стороны.

И блистая, и пленяя —
    Словно ангел неземной —
Непорочность молодая

Появилась предо мной;
Светлый завес покрывала
Отенял ее черты,
И застенчиво склоняла
Взор умильный с высоты.

Все — и робкая стыдливость
Под сиянием венца,
И младенческая живость,
И величие лица,
И в чертах глубокость чувства
С безмятежной тишиной —
Все в ней было без искусства
Неописанной красой[25]

Но когда он описывает ее как олицетворение самой поэзии, какой-то обаятельный трепет чувствуется в сердце.

Так пролетела здесь, блистая
Востока пламенным венцом,
Богиня песней молодая
На паланкине золотом

Как свежей утренней порою
В жемчуге утреннем цветы,
Она пленяла красотою,
Своей не зная красоты.

И нам с своей улыбкой ясной,
В своей веселости младой,
Она казалася прекрасной,
Всеобновляющей весной.

Сама гармония святая —
Ее нам мнилось бытие,
И мнилось, душу разрешая,
Манила в рай она ее.

При ней все наши мысли — пенье!
И каждый звук ее речей,
Улыбка уст, лица движенье,
Дыханье, взгляд — все песня в ней[26].

Из одного места в письме Жуковского к другу ближе и точнее можно узнать, какими удовольствиями пользовался он во время пребывания своего за границей. «Самая лучшая эпоха жизни моей после разлуки с вами[27] (говорит он) есть 1821 год. Я постранствовал по Европе: провел веселые полгода в Берлине; потом видел часть Германии, преле-

стный Дрезден с его живописными окрестностями; обошел пешком Швейцарию; прошел через Сен-Готар в Италию; был в Милане; плавал по Lago Maggiore; любовался Боромейскими островами; через Симплон и Валлис прошел к подошве; видел великолепие и прелесть природы на берегах восхитительных швейцарских озер; плавал по Рейну; любовался его великолепным водопадом, его замками, его богатыми виноградниками — и все это оставило на душе то волнение, какое оставляет быстрый сон, исчезающий в минуту удовлетворения. Не описываю вам подробностей — может быть, вы будете иметь их печатные. Путешествие сделало меня и рисовщиком: я нарисовал au trait* около 80 видов, которые сам выгравировал также au trait. Чтобы дать вам понятие о моем искусстве, посылаю мои гравюры павловских видов. Также будут сделаны и швейцарские; только при них будет описание».

XIII

По возвращении в Петербург Жуковский поселился ближе к Аничкину дворцу, сперва в Итальянской улице, где ныне Михайловская площадь, а потом на Невском, прямо против дворца[28]. Там и здесь собственные комнаты его были в квартире семейства А. Ф. Воейкова, который в 1820 году перешел на службу сюда, оставив дерптскую кафедру. В это время у Жуковского не было определенного дня, в который бы собирались к нему друзья его. Зато он каждый день видел многих из них, навещавших его. Свободные вечера проводимы были по большей части у Карамзина, где, как в центре умственной деятельности, соединялись тогда представители высшей образованности и вкуса. В первом году по прибытии из-за границы Жуковский отдельно издал поэму «Шильонский узник», приготовляя уже к печатанию все стихотворения свои третьим изданием, которое и явилось 1824 года.

Посреди вседневных трудов своих, педагогических и литературных, он еще принужден был в этот период жизни бороться с напором тягчайших сердечных испытаний. В 1823 году суждено ему было видеть друга своего, поэта Батюшкова, в болезненном расстройстве души. Жуковский был готов на все решиться, чтобы лично содействовать избавлению страждущего от ужасного его положения. Нельзя представить ничего трогательнее слов Жуковского, которые сохранились в одном его письме в Николаев[29] во время пребывания Батюшкова в Симферополе. «Хочу поручить вашему нежному попечению друга (писал он), которому друг и вы заочно, ибо знаете его душу. Говорю о нашем поэте Батюшкове. Он теперь находится в Симферополе. Не смею назвать его болезни помешательством: этого слова не хочется ни произносить, ни

* контуром (*фр.*).

писать. Но его болезнь похожа на помешательство. Он сделался дик, отчуждился от всех друзей: подозрение овладело его душою; он уверен, что его окружают какие-то тайные враги, хотят лишить его чести и очернить пред правительством. Теперь слышу, что еще новое к этой мысли присоединилось: желание смерти. Болезнь такого рода, что требует нежной, осторожной и терпеливой попечительности. Но он один в Симферополе; об нем заботится находящийся там доктор Мюльгаузен, и сам губернатор П. знает о нем и хлопочет. Отсюда скоро поедет к нему родственник Ш. Подумайте, не можете ли вы что-нибудь сделать? Ему нужны осторожные попечения. Болезнь нравственная — более, нежели физическая. Не можете ли вы съездить в Симферополь, когда будет там Ш.? На месте легче знаешь, что нужнее всего сделать. Увидите сами и можете решиться, чем принести пользу гибнувшему. Напишите в Симферополь (по получении этого письма) хотя к самому П., чтоб он уведомил вас, тут ли Ш., и съездите туда сами, если можно. Надобно или вытащить Батюшкова из Крыма, или вверить его надежному попечению. Вероятно, что вы получите это письмо тогда уже, когда Ш. или кто иной из родных будут уже с ним. Вам стоит только прямо списаться с П. Прошу вас уведомить меня, на что вы решитесь».

Сильнейшее испытание тогда же потрясло душу нашего поэта. Старшая дочь К. А. Протасовой, М. А. Мойер, скончалась в Дерпте. Со времени переселения своего в Петербург Жуковский там видел как бы новое для себя Мишенское. Ежегодно ездил он туда на поэтический отдых среди родных, столь милых его сердцу. Умершая была между ними существом незаменимым. Кто знал всю цену души ее, тот, верно, применит к этому идеальному созданию восхитительные стихи Жуковского, как бы в предчувствии теперешнего события за семь лет им написанные:

Не узнавай, куда я путь склонила,
В какой предел из мира перешла...
О друг, я все земное совершила:
Я на земле любила и жила.

Нашла ли их, сбылись ли ожиданья?
Без страха верь; обмана сердцу нет;
Сбылося все; я в стороне свиданья,
Я знаю здесь, сколь ваш прекрасен свет.

Друг! на земле великое не тщетно!
Будь тверд, а здесь тебе не изменят;
О милый, здесь не будет безответно
Ничто, ничто: ни мысль, ни вздох, ни взгляд[30].

Невозможно описать, до какой степени растерзана была душа его скорбью, когда он возвратился сюда, проводивши драгоценный прах до последнего земного жилища. Только тот может ясно представить его

состояние, кто знал трогательную привязанность его ко всему, доносившему до него сладостный отзыв далеко отодвинувшегося детства и милых о нем воспоминаний. Все письма его к родным наполнены умилительным лепетом этой младенческой до старости души, отовсюду порывавшейся к первым ее друзьям, к первому ее счастью. В 1824 году, после известия, что у А. П. Зонтаг родилась дочь, Жуковский писал так: «Какая-то Немезида преследует меня[31]. Я наказан небом за мою непростительную лень писать письма. Я точно писал к вам два раза по получении известия о вашей крошке — но вы не получали моих писем. Поделом мне: но за что же вам огорчение? Ибо вам, верно, весело было бы слышать поздравительный голос своего брата и друга. Итак, хотя поздно, поздравляю вас с вашим милым товарищем. Дай Бог, чтобы она долго, долго жила на вашу радость; чтобы пережила вас, но только тогда, когда вы уже будете довольны жизнью и сами захотите в другую сторону. Когда-то увидимся мы в здешней стороне — право, и надежды нет! Ваш прекрасный Крым как будто далекая мечта для меня. Хотелось бы заглянуть в очарованный край — далек! далек! Хотелось бы взглянуть на вас, на моего представителя прежних, лучших лет, — но нам суждено стариться розно. Когда увидимся, то заметим друг на друге, что долго были в разлуке. Перемены нравственной во мне не найдете — тот же дитя, житель уединения. Но теперешняя жизнь остановила меня на одном месте; я не переменился и не подвинулся вперед, следовательно, остался назади — а все прежнее исчезло...»

XIV

Переход к новой, священной обязанности, к новым, важнейшим занятиям стройно и твердо на одном предмете сосредоточил все помыслы, все заботы высоко-прекрасной души поэта. Императору Николаю Павловичу, по вступлении на престол, благоугодно было избрать его в наставники при воспитании великого князя наследника. Может быть, после добродетельного Фенелона ни одно лицо не приступало к исполнению этой должности с таким страхом и благоговением, как Жуковский.

Его воображение, ум и сердце, измеряя великость предстоящего подвига, уже заранее обнимали все его части, разлагали все в подробности, совокупляли в целое — и не было для них другой цели, кроме блага, чести и достоинства. Со времени поступления в преподаватели русской словесности при великой княгине он причислен был по службе к министерству народного просвещения и в 1823 году произведен сперва в коллежские асессоры, а после в надворные советники. Ныне государь, в награду ревностной службы Жуковского, изволил пожаловать ему орден св. Владимира 3-й степени. Некоторым образом можно заглянуть

в душу поэта нашего и усмотреть, что в ней происходило, когда прочитаем следующие его строки из письма к одному другу: «Ваше письмо точно было голос с того света[32], а тем светом я называю нашу молодость, наше бывалое, счастливое *вместе*. Как давно не говорили мы друг с другом! Как давно мы розно! Неужели мы стали друг для друга чужие? Не я этот вопрос делаю! Я не могу его сделать себе на ваш счет, ибо неестественно прийти ему в голову: сердце не пропустит — сердце, в котором всегда, всегда живо братское к вам чувство и благодарность за ваше нежное товарищество в лучшие годы жизни, и дружба, которая никогда не переставала быть чувством настоящим и не принадлежащим одному воспоминанию. Но мы не пишем друг к другу — вот настоящая разлука! Мы не знаем, что с нами делается. Все, что нас окружает, чуждо для каждого из нас. Чувствую это несчастье — и никак не умею помочь ему. Со всеми *моими* у меня одно! Сколько раз принимался начинать переписку — и все понапрасну! Я от этой болезни неизлечим и чувствую с горем, как она мучительна и убийственна. Она клевещет на меня перед моими друзьями. Они полагают, что паралич, заключающийся в одних моих пальцах, которые почти разучились водить пером в последние дни, перешел в мою душу. Нет! душа еще жива, а письма не пишутся. Теперь почти сделалось для меня невозможным сохранить какую-нибудь точность в переписке. Моя настоящая должность берет все мое время. В голове одна мысль, в душе одно желание! Не думавши не гадавши я сделался наставником наследника престола. Какая забота и ответственность (не ошибайтесь: наставником, а не воспитателем — за последнее никогда бы не позволил себе взяться) ! Занятие, питательное для души!

Цель для целой остальной жизни! Чувствую ее великость и всеми мыслями стремлюсь к ней! До сих пор я доволен успехом; но круг действия беспрестанно будет расширяться! Занятий множество; надобно учить и учиться — и время все захвачено. Прощай навсегда поэзия с рифмами! Поэзия другого рода со мною, мне одному знакомая, понятная для одного меня, но для света безмолвная. Ей должна быть посвящена вся остальная жизнь. Вам объяснять этого нет нужды: мы с вами взросли на одних идеях. Итак, дайте мне *отпуск* насчет моего письменного молчания и не наказывайте меня своим».

В деле первоначального воспитания и учения, обыкновенно еще сливающихся в одну задачу, весь успех зависит от уменья развивать равномерно телесные и душевные способности, ничего не покидая в бездействии и ни к чему не приступая преждевременно. Это, по-видимому, простое и для всякого ума ясное правило представляет в применении своем величайшие затруднения. В них-то вперен был тогда заботливым умом своим весь Жуковский. Во все часы дня никто иначе не находил его, как за предварительными работами и предначертаниями.

Не доверяя легкомысленно одной опытности своей, своим только знаниям и живому постижению прекрасного своего ума, он читал все, что мог найти полезного по этой части, советовался с известнейшими в столице педагогами и совершенствовал план свой день ото дня лучше и прочнее. Августейшему питомцу совершилось тогда семь лет. Сколько можно было придумать для этого нежного возраста занятий, легких, но необходимых в полном кругу постепенного учения, все устроил предусмотрительный наставник. Он до того простер пламенную свою ревность в святом деле, что первые уроки каждого предмета передавал сам, желая на опыте убедиться, действительно ли они соответствуют его предположениям. Озабочиваясь между тем разделением этого труда между достойнейшими по каждой части лицами, без чего занятия не получили бы законной своей характеристики и сам он из наблюдателя превратился бы в сухого энциклопедиста, Жуковский с полным беспристрастием, с удивительным вниманием и осторожностью избрал людей, которые должны были действовать под его главным надзором.

XV

Великому делу начало было положено. Перед поэтом-педагогом вдали виднелись новые труды, слышались новые вопросы и обнимали душу его новые заботы. Он был изнурен физически и сознавал необходимость обширнейших приобретений по части педагогии. Чтобы восстановить слабое здоровье свое и тут же извлечь пользу для своей должности, в 1826 году он снова собрался за границу. Это был год, в который Россия лишилась Карамзина. Жуковский всегда питал к нему уважение, переходившее в чувство какого-то благоговения, потому что он совершенно введен был в святилище души историографа. Собравшись в свою поездку в апреле, поэт не предвидел, что уже в мае великая душа покинет землю. «Кто знал внутреннюю жизнь Карамзина (слова Жуковского), кто знал, как он всегда был непорочен в своих побуждениях, как в нем все живые, независимые от воли движения сердца были, по какому-то естественному сродству, согласны с правилами строгого разума; как твердый его разум всегда смягчен был нежнейшим чувством; какой он был (при всей высокой своей мудрости) простосердечный младенец и как верховная мысль о Боге всем владычествовала в его жизни, управляя его желаниями и действиями, озаряя труды его гения, проникая житейские его радости и печали и соединяя все его бытие в одну гармонию, которая только с последним вздохом его умолкла для земли, дабы навеки продолжаться в мире ином; словом, кто имел счастье проникнуть в тайну души Карамзина — для того зрелище смерти его было освящением всего, что есть прекрасного и высокого в жизни, и подтверждением всего, что вера обещает нам за гробом».

В октябре 1827 года Жуковский возвратился из-за границы в Петербург. «Я недаром (говорит он в одном письме) ездил за границу[33]: воды мне помогли. Я воротился совсем не тот, каков поехал. Между тем видел много прекрасных сторон: жил целую зиму в Дрездене, который сам по себе и по прелестным окрестностям весьма приятен. Жил на Рейне и объездил берега Рейна, живописные и унизанные развалинами древних рыцарских замков. Заглянул я в Париж, который можно назвать бездною деятельности. Нахожу, что лечиться такою методою весьма весело — но дорого. Впредь, если надобно будет за болезнью сдвинуться с места, поеду к вам в Одессу. Как бы желал вас видеть и порадоваться вашей милою, семейною, счастливою жизнью! Итак, хоть одному из нашего прежнего круга удалось найти то, что ему надобно. Жребий этот выпал вам и поделом! Вы его стоите!» Удовольствия поездки, о которых здесь упоминает Жуковский, он, видимо, схватил на лету. Все его внимание обращено было на изучение разных систем воспитания. Особенно проведенная им зима в Дрездене посвящена была этому занятию. Ни одного стихотворения он не написал ни в 1826, ни в 1827 году: так свято чтил он обязанности долга своего. Зато портфель его и библиотека приняли много сокровищ, привезенных из путешествия. В его отсутствие только явилось вторым изданием Собрание сочинений и переводов его в прозе, напечатанных в 4-х томах в Петербурге.

Развивая общую деятельность сотрудников своих по начертанному им плану учения наследника, Жуковский в то же время озабочен был приготовлением отдельных соображений, по которым надлежало устроить преподавание наук великим княжнам Марии Николаевне и Ольге Николаевне. Высокая доверенность их императорских величеств возложила на него и эту лестную обязанность. Он получил для жительства своего комнаты в той части Зимнего дворца, где ныне с баснословным великолепием устроен Императорский музеум. Ежедневно, лишь только должны были начинаться уроки, наставник порфирородных детей являлся для присутствия при них — и, полный внимания, оживленный участием, за всем следовал неослабно. Ничего нельзя вообразить умилительнее картины, какую представляло это соединение, с одной стороны, людей в зрелом возрасте, стройно, ясно и назидательно излагающих важные истины, занимательные события или увлекательные описания, а с другой — жадное внимание отроческого возраста, ищущего всему причины и усиливающегося все усвоить в своей естественной любознательности. Жуковский был неутомим в изыскании средств, которые бы, облегчая приобретение, в то же время и укрепляли его в уме и памяти. Его жилище превратилось в мастерскую ученого-художника, где по особенным планам готовились все пособия для классных комнат. Но ни одна наука так не занимала его, как «история»[34], эта по преимуществу наука царей. Обработыванию ее пособий он посвятил наибольшую часть драгоценных изобретений своих. В неусыпных тру-

дах его незаметно протекло полных пять лет со времени последнего его путешествия. Ежегодно производились испытания во всех пройденных предметах. Августейшие родители, с доверенными особами, приглашаемыми по уважению специальных сведений их в разных частях преподаваемых наук, каждый раз присутствовали на экзаменах. Успехи, к общему нашему счастью, находимы были соответствующими ожиданиям родителей. Благоволение монарха выражалось для всех ощутительно. Жуковский в течение этого периода достигнул чина действительного статского советника.

XVI

Воцаренная им гармония в педагогических занятиях и счастливое движение всех частей учения смягчили наконец суровые его заботы. Он начал пользоваться некоторыми свободными часами и ловить быстрые минуты вдохновения. В первый раз в это время оно слетело к нему для изображения картины, глубокою скорбью поразившей всю Россию. Это было трогательное успокоение от долгих подвигов благотворительности императрицы Марии Феодоровны. Жуковский, у гроба государыни, в ночь, накануне погребения тела ее, излил свои чувствования как верный истолкователь того, чем трепетало сердце каждого русского. С какою всеоживляющею верностью описывает он появление нового ангела, который нам послан Провидением взамен отлетевшего!

Взор его был грустно-ясен,
Лик задумчиво-прекрасен;
Над главою молодой
Кудри легкие летали,
И короною сияли
Розы белые на ней;
Снега чистого белей
На плечах была одежда;
Он был светел, как надежда,
Как покорность небу, тих —
И на крылиях живых,
Как с приветственного брега
Голубь древнего ковчега
С веткой мира, он летел...[35]

Много других стихотворений написано им в это же время. Любопытно обратить внимание на два из них. В каждом характеристически изобразилось все уважение поэта к гениальным произведениям. Еще в первой молодости он напечатал подражание Бюргеровой «Леноре». Теперь показалось ему, что добросовестнее с его стороны будет, если он эту

прелестную балладу передаст во всей точности оригинала, удержав даже самую форму стихов ее, — что и исполнил[36]. Балладу Шиллера «Кубок» он начал переводить тоже в давнюю пору своего стихотворства[37]. Но при самом начале он заметил тогда, что перевод его не может сравниться с подлинником. Это и было причиной, что он оставил свой труд исконченным. Почувствовав наконец убеждение, что ныне, после стольких опытов, достаточно сил его и искусства на достойное выполнение раннего предприятия, он приступил к делу и кончил его прекрасно.

Новая утрата в семейном кругу его, так заметно распадавшемся, последовала в феврале 1829 года. После кончины М. А. Мойер вся родственная любовь его обращена была на ее сестру, А. А. Воейкову. Существо поэтическое, оживлявшее попечениями нежнейшей дружбы должностные труды и заботы Жуковского, она по слабости здоровья принуждена была уехать из Петербурга, чтобы под благодатным солнцем Италии оживить исчезавшие свои силы. Суждено было иначе — и она, отправившись за границу, не увидела более ни милого отечества, ни милых друзей своих.

В 1831 году первое появление в Петербурге холеры было причиною, что высочайший двор, по отбытии своем на осень из Петергофа в Царское Село, оставался здесь долее обыкновенного. Жуковский, нигде не ослабляя строгого исполнения своей обязанности, случайно попал туда на новую для себя дорогу в поэзии. В это время из Москвы прибыл в Царское Село Пушкин и решился провести там осенние месяцы. Он только что женился. Ему отрадно было насладиться новым счастьем в тех местах, под теми липами и кленами, которые лелеяли его лицейскую молодость. Понятно, что не проходило дня, в который бы поэты не рассказывали друг другу о тех своих занятиях, о которых еще в древности говорили, что утро им особенно благосклонно. Пушкин в эту эпоху увлечен был русскими сказками. Он тогда, между прочим, написал своего «Салтана и Гвидона». Жуковский с восхищением выслушивал игривые рифмы своего друга. Чтобы не отстать от него, он и сам принялся за этот род поэзии. Таким образом, появились «Берендей», «Спящая царевна» и «Война мышей с лягушками». В это же время написаны и вместе изданы «Три стихотворения на взятие Варшавы» Жуковского и Пушкина. Баллады свои и повести в стихах Жуковский напечатал в 1831 году отдельною книгою.

XVII

Продолжительные занятия, не прерываемые какими-либо развлечениями или переменою образа жизни, снова начали неблагоприятно действовать на здоровье Жуковского, вообще расположенного к недугам людей, не покидающих кабинета. Не только телесное ослабление

отнимало у него силы к продолжению трудов — на самом характере его и на расположении духа видимо отражалось расстройство здоровья. Это побудило его в 1832 году предпринять третье путешествие за границу. Тем удобнее он мог на это решиться, что в сердце своем сознавал прочность, правильность и благоуспешность учения, уже развитого по его началам в образовании государя наследника. Жуковский в нынешний раз не был стеснен в своих мыслях и свободно мог как лечиться, так и заниматься поэзиею. Ему удалось прекрасно исполнить и то и другое. В собрании стихотворений его год нынешней поездки красуется на таких произведениях, которые внесли в нашу литературу удивительную прелесть. В особенности ничто не может сравниться с неподражаемою простотою «Романсов о Сиде»[38], с этою неувядающей поэзиею народа, которого рыцарские доблести и христианские чувствования так сияют в европейской истории. Большую часть времени своего Жуковский провел тогда в Швейцарии. Он жил с семейством давнишнего друга своего, прусского полковника Рейтерна, не подозревая, что в толпе детей, окружающих уважаемого и любимого им отца, таится существо, которому через восемь лет Провидением суждено озарить лучшим счастьем последние годы жизни нашего поэта.

Письма Жуковского, в которых изображает он тогдашнюю жизнь свою, рисуя картины природы, чудно переносят в настроение души его и в созерцание действующих на нее предметов. «Теперь 4 января (стар. ст., 1833), — говорит он в одном письме, — день ясный и теплый[39]; солнце светит с прекрасного голубого неба; перед глазами моими расстилается лазоревая равнина Женевского озера; нет ни одной волны; не видишь движения, а только его чувствуешь: озеро дышит. Сквозь голубой пар подымаются голубые горы с снежными, сияющими от солнца вершинами. По озеру плывут лодки, за которыми тянутся серебряные струи, и над ними вертятся освещенные солнцем рыболовы, которых крылья блещут, как яркие искры. На горах, между синевою лесов, блестят деревни, хижины, замки; с домов белыми змеями вьются полосы дыма. Иногда в тишине, между огромными горами, которых громады приводят невольно в трепет, вдруг раздается звон часового колокола с башни церковной: этот звон, как гармоника, промчавшись по воздуху, умолкает — и все опять удивительно тихо в солнечном свете; он ярко лежит на дороге, на которой там и здесь идет пешеход и за ним его тень. В разных местах слышатся звуки, не нарушающие общей тишины, но еще более оживляющие чувство спокойствия; там далекий лай собаки, там скрып огромного воза, там человеческий голос. Между тем в воздухе удивительная свежесть; есть какой-то запах не весенний, не осенний, а зимний; есть какое-то легкое горное благоухание, которого не чувствуешь в равнинах. Вот вам картина одного утра на берегах моего озера. Каждый день сменяет ее другая. Но за этими горами Италия — и мне не видать Италии! Между тем живу спокойно и делаю все, что от

меня зависит, чтобы дойти до своей цели, до выздоровления. Живу так уединенно, что в течение пятидесяти дней был только раз в обществе. Вероятно, что такое пустынничество навело бы наконец на меня мрачность и тоску; но я не один. Со мною живет Рейтерн и все его семейство. Он усердно рисует с натуры*, которая здесь представляет богатую жатву его кисти, а я пишу стихи, читаю или не делаю ничего. С пяти часов утра до четырех с половиною пополудни (время нашего общего обеда) я сижу у себя или брожу один. Потом мы сходимся, вместе обедаем и вечер проводим также вместе. В таком образе жизни много лекарственного. Но прогулки мои еще весьма скромны; еще нет сил взбираться на горы. Зато гуляю много по ровному прекрасному шоссе, всякий день и во всякую погоду. Теперь читаю две книги. Одна из них напечатана моими берлинскими знакомцами, Гумблотом и Дункером, довольно четко, на простой бумаге, и называется: Menzel's Geschichte unserer Zeit**, а другая самою природою на здешних огромных горах, великолепным изданием. Титула этой последней книги я еще не разобрал. Но и то и другое чтение приводит меня к одному и тому же результату». Он сравнивает перевороты мира физического с переворотами политического мира и с удивительною ясностью, с полною убедительностью выводит главные истины, свидетельствующие, до какой степени его философия дружна с христианством.

XVIII

Есть другое письмо Жуковского, писанное в одно время с приведенным и во многих местах касающееся тех же предметов, вызвавших те же выражения. Но так как он в нем разговаривает с другом своего детства (Анною Петровной Зонтаг), то здесь душа его высказывается живее, переходя свободно от картин к шуткам, а от шуток к делам семейным или к воспоминаниям о прошлом. Здесь он виден точно таким, как его помнят друзья его в своем обществе. «29 *января (10 февраля) 1833. Верне.* Вы, верно, думаете обо мне на берегу Черного моря[40] в этот день, а я думаю об вас на берегу Женевского озера. Вероятно, и около вас то же, что вокруг меня, то есть весна (посылаю вам первую фиалку, сорванную нынче в поле). Ваш Эвксин величественнее моего Лемана, но, верно, не живописнее своими утесами; а таких деревень, какие здесь, — у вас и в помине нет. Зато в вашу гавань влетают на парусах стопушечные корабли; шум торговли и разнообразие народов отличают вашу пристань: восточные костюмы напоминают вам о „Тысяче одной ночи“,

* Тогда же был сделан и прекрасный портрет Жуковского. Поэт стоит перед открытым окном; его сигара дымится, и он в задумчивости смотрит на возносящиеся перед ним вершины гор. — *П. П.*

** «История нашего времени» Менцеля (*нем.*).

и подчас вести о чуме приводят вас в беспокойство. Здесь все тише и однообразнее; нет такого величия в равнине озера, которого гранитные высокие берега кажутся весьма близкими; лазурь его вод не столь блистательна; волны его не столь огромны, и рев его не так грозен во время бури: вместо кораблей летают по нем смиренные челноки, оставляя за собою струю, и над ними вьется рыболов. Но природа везде — природа, то есть везде очаровательна. Какими она красками разрисовывает озеро мое при захождении солнца, когда все цвета радуги сливают небо и воды в одну великолепную порфиру! Как ярко сияет, по утрам, снег удивительной чистоты на высоких темно-синих утесах! Как иногда прелестна тишина великолепных гор, при ярком солнце, когда оно перешло уже за половину пути и начинает склоняться к закату, когда его свет так тихо, так *усыпленно* лежит на всех предметах! Идешь один по дороге; горы стоят над тобою под голубым безоблачным небом в удивительной торжественности; озеро как стекло, не движется, а дышит; дорога кажется багряною от солнечного света: по горам блестят деревья; каждый дом, и в большом расстоянии, виден; дым светло-голубою движущеюся лентой тянется по темной синеве утесов; каждая птица, летящая по воздуху, блестит; каждый звук явственно слышен; шаги пешехода, с коим идет его тень, скрып воза, лай собаки, свист голубиного полета, иногда звонкий бой деревенских часов... все это прелесть! Но я вам принялся описывать то, что у меня перед глазами, не сказав ни слова о себе. И не скажу ни слова, ибо все сказал в письме к сестре, которое вы получите вместе с вашим. Два раза петь одну песню скучно, а мне хотелось непременно что-нибудь прочирикать вам в день моего рожденья — итак, будьте довольны маленьким отрывком швейцарского ландшафта, который, сам не знаю как, сбежал с пера моего на бумагу. Дело в том, что ныне мне стукнуло 49 лет и пошел пятидесятый год — плохо! Я не состарился и, так сказать, не жил, а попал в старики. Жизнь моя была вообще так одинакова, так сама на себя похожа и так однообразна, что я еще не покидал молодости, а вот уж надобно сказать решительно „прости“ этой молодости и быть стариком, не будучи старым. Нечего делать! Но мне некогда говорить о себе; поговорим об вас. Плетнев уведомляет меня, что вы прислали еще том своих повестей; между ними есть одна, которая много слез выманила из глаз его, — одна, в которой наше прошлое описано пером вашим. Я просил его, чтоб он велел как можно мельче переписать для меня эту повесть и прислал бы в первом письме. Хочу, у подошвы швейцарских гор, посидеть на том низком холмике, на коем стоял наш мишенский дом с своею смиренною церковью, на коем началась моя поэзия Греевой элегиею. А вам скажу одно: пишите как можно более! У вас в душе много богатства, в уме ясности и опытности. Вы имеете решительный дар писать и овладели русским языком. Я хочу для вас не авторской славы: хочу для вас сладости авторской жиз-

ни, а для читателей ваших истинной пользы. Как умная мать, которая знает свое ремесло, ибо выучена ему любящим сердцем, здравым умом и опытом, пишите о том, что знаете сами в науке воспитания: теперь повести, а со временем соберите в одну систему и правила, коим сами следовали. Передайте свою тайну другим матерям: поле, которое можете обработать, неограниченно и неистощимо. Для распространения и приведения в порядок мыслей своих загляните в лучшие книги (но весьма не многие) для воспитания и нравственной философии и потом бросьте их — и пишите свое. Вы не обманетесь и не обманете других, ибо напишете свое, взятое из существенной жизни и только обдуманное простым умом, не отуманенным предрассудками и умствованием. Этот совет посылаю вам вместо подарка в день рождения».

Год и три месяца пробыл Жуковский за границею. В Швейцарии же написал он первые три главы «Ундины», которой окончание отодвинуто было обстоятельствами до 1836 года. В начале сентября 1833 года прибыл он к своей должности и с новыми силами принялся за ежедневные труды.

XIX

Оставалось совершиться последнему, важнейшему периоду великого дела. Все части приведены были в такое положение, чтобы в 1837 году, свободно и в полноте, они достигли своего окончания. При Божьей помощи ревностно шел путеводитель к своей цели с подкрепленными силами в душе. Поэзия была отложена. Только 1834 год, столь памятный торжеством присяги государя наследника, указал поэту на его лиру. Его умилительная песнь[41], оканчивающаяся прекрасным обращением к России, перешла в достояние народной памяти. «Многолетие государю» и «Три народные песни»[42] явились тогда же. В последние годы учения августейшего воспитанника Жуковский только предоставил право полного издания Сочинений своих в стихах и прозе, которое было четвертое и явилось в восьми томах: из них семь напечатаны в 1835 году, а последний в 1837 году, все в Петербурге. Правда, было одно лето, которое удалось ему вполне посвятить поэзии. Это случилось в 1836 году. Он провел тогда часть летних месяцев близ Дерпта. Там-то взялся он за покинутую «Ундину». Вот как сам он рассказывает о судьбе ее. «Повинуясь воле, которую мне было особенно приятно исполнить, я рассказал русскими стихами „Ундину“[43]. В 1833 году, находясь в Швейцарии и живя уединенно на берегу Женевского озера (в деревеньке Верно близ Монтре), написал я первые три главы этой повести. По возвращении моем в Россию занятия другого рода надолго отвлекли меня от начатого поэтического труда — и только в нынешнем (1836) году я мог опять за него приняться. Последние главы „Ундины“ написаны в сель-

ском уединении близ Дерпта (в Элистфере), где я провел половину лета и мог по-прежнему посвятить досуг своей поэзии». Скромный намек поэта *на исполнение воли*, в чем заключалось его особенное удовольствие, сделается для внимательного читателя ясным, когда он сравнит посвятительные перед «Ундиною» стихи[44] с другим его стихотворением, явившимся в 1819 году, под заглавием: «Праматерь внуке»[45].

При начале 1837 года Жуковский принял в сердце глубокую рану. Ему суждено было присутствовать при кончине Пушкина, которого последние минуты описал он в трогательно-красноречивом письме к отцу незабвенного поэта[46]. Жуковский наравне со всеми оплакивал преждевременную утрату великого русского писателя — и в то же время сердце его разрывалось от другой скорби: в Пушкине он терял как бы сына своего. Еще в Лицее Пушкин был для него предметом нежнейших попечений, не только по причине развивавшегося в молодом человеке таланта, но и по давнишним дружеским отношениям Жуковского к отцу его и дяде. Вышедши из Лицея, Пушкин для Жуковского был приятнейшим, необходимым существом. Они, как первоклассные поэты, понимали друг друга вполне. Им весело было разделить друг с другом каждую мысль. Никто вернее не мог произнести приговора о новом плане, о счастливом стихе, как они вместе. «Как жаль, что нет для меня суда Пушкина (сказал Жуковский, читая разборы перевода своей „Одиссеи“)! В нем жило поэтическое откровение»[47]. За несколько лет перед нынешним событием Жуковский возобновил у себя литературные субботы, на которых некогда его друзья в первый раз приветствовали у него вступление на горизонт блестящего светила поэзии. Многие из тогдашних посетителей певца «Светланы» опять к нему явились; но еще многочисленнее было молодое поколение талантов. Они все радушно были принимаемы добрым хозяином. Им всем у него было равно весело и равно полезно. Живой, острый и окрепший в мышлении ум Пушкина блистал в разговорах светлостью идей, быстротою соображений и верностью взгляда. Никто, конечно, не оценил его с большею истиною, как Жуковский в следующих немногих словах: «Россия лишилась своего любимого национального поэта. Он пропал для нее в ту минуту, когда его созревание совершилось; пропал, достигнув до той поворотной черты, на которой душа наша, прощаясь с кипучею, иногда беспорядочной силою молодости, тревожимой гением, предается более спокойной, более образовательной силе зрелого мужества, столь же свежей, как и первые, может быть, не столь порывистой, но более творческой. У кого из русских с его смертью не оторвалось чего-то родного от сердца? Слава нынешнего царствования утратила в нем своего поэта, который принадлежал бы ему, как Державин славе Екатеринина, а Карамзин славе Александрова»[48].

XX

Зима 1837 года употреблена была Жуковским на совокупные работы с К. И. Арсеньевым по составлению «Путеуказателя» для путешествия государя наследника по России[49]. Вот что было сказано в 1838 году в «Современнике» об этом труде: «В „Путеуказателе“ изложены все важнейшие примечательности на пути его высочества. Каждый переезд, достопамятные на нем места, любопытное селение или город, даже частные лица, сделавшиеся известными по каким-нибудь полезным предприятиям, все уже в системе, предварительно мелькавшее воображению путешественника, ожидало его воззрения и новой мысли. „Путеуказатель“ не только облегчал выбор предметов любопытства, но служил как бы нитью для собственных идей его высочества, на которой они в порядке и полноте нанизывались для будущих соображений». 2 мая из Царского Села государь цесаревич изволил с своею свитою отправиться в это путешествие, которое неиспытанною радостью должно было наполнить сердца всех русских. Две трети года посвящены изучению отечества, не в кабинете, а лицом к лицу со всяким замечательным предметом. Можно вообразить, сколько живых, сладостных, потрясающих душу ощущений протеснилось по сердцу поэта в продолжение всей поездки. Ему трогательная приготовлена была встреча в Белеве, где память о нем свято сохраняется и одним поколением передается другому. В «Современнике» того же 1838 года, где с подробностью изображено путешествие государя наследника по России, отдельно представлено и о путешествии Жуковского с его высочеством. Там, между прочим, сказано: «Воображая человека с этим талантом, с этими знаниями и с этим направлением ума (что из творений его так знакомо все каждому), можно представить живо, как действовало на него путешествие! Ежели зрелище столь разнообразное, как Россия, и столь близкое к сердцу, как отечество, для каждого из нас в самых обыкновенных обстоятельствах становится источником лучших, неизгладимых воспоминаний, назидательных уроков и часто благотворных помыслов, то в какой степени, при торжественном шествии августейшего первенца обожаемого нами монарха, оно поражало чувства, восхищало душу и двигало сердце поэта!»

Жуковский из путешествия по России прибыл в Петербург 17 декабря 1837 года. Он рассказывал, что уже в Тосне, за 50 верст от столицы, увидел зарево, а в десяти верстах узнал, какое бедствие в городе...[50] Нашедши в комнатах своих все в целости, так, что ничто даже с места не было тронуто, он с трогательным простодушием говорил: «Мне было как-то стыдно!»

В 1839 году предстояло ему отправиться в другое путешествие, также в свите государя наследника, который намеревался предпринять обозрение Европы. Нет надобности пояснять, какие приготовления занимали тогда Жуковского. Сколько важнейших предметов, сколько историче-

ских лиц заранее являлось ему — и он чувствовал необходимость все привести для себя в полную систему, в ясное сознание. Он ни в чем не способен был к труду легкому, а тем менее поверхностному. Ум его, глубоко проникающий во все явления жизни гражданской и нравственной, соединял великие последствия с созерцанием чудной картины народов, какая ожидала их впереди. Самая местность, если только в ее характере было что-нибудь яркое и поражающее наблюдательность, вызывала его к исследованиям. В «Современнике» 1838 года помещены отрывки под названием «Очерки Швеции»[51]. Они до такой степени живописны, верны с природою края и проникнуты одушевлением художника, что нельзя довольно надивиться, как Жуковский мог забыть их, не включив в собрание сочинений своих в прозе, изданных им в 1849 году. Эти отрывки заимствованы из длинного, истинно поэтического «Письма» его, которое из Стокгольма он прислал тогда великой княжне Марии Николаевне. По одному этому образчику можно судить, как он был полон каждого предмета, с которым готовился встретиться, и какое сочувствие разгоралось в его душе ко всему виденному.

XXI

Во время путешествия по Европе в 1838 году Жуковский в подражание Гальму написал драматическую поэму «Камоэнс». На заимствованном основании он воздвигнул собственное здание, в котором возвышенные его идеи сияют изумительным светом. То, что высказывается из глубокой души его о тщете земной славы, о чистоте поэтического призвания, ни с чем не может быть сравнено у других поэтов. Тогда же, бывши в Англии, он близ Виндзора посетил кладбище, подавшее Грею мысль написать его знаменитую элегию. Воспоминание о первом стихотворении, занимавшем нашего поэта в Мишенском, и вид трогательного места, освященного вдохновением Грея, так подействовали на его сердце, что он снова принялся за это стихотворение и в другой раз передал его нам, но уже во всей безыскусственной прелести стихов подлинника[52].

Надобно еще указать на один пропуск в упомянутом выше издании прозы Жуковского*. Он, впрочем, сам заметил его и вот что сказал в одном своем письме, присланном сюда из Баден-Бадена в октябре 1850 года: «Странное дело сделалось; подивитесь моей памяти. Я на сих днях купил русскую грамматику, напечатанную в Лейпциге на немецком языке: половину этой книги составляет хрестоматия, выбор

* Не могу умолчать и еще о двух пропусках, пришедших мне теперь на память. В «Современнике» 1840 года (т. XVIII) есть прекрасная характеристика «Стихотворений И. И. Козлова», составленная Жуковским, и в том же журнале 1844 года (т. XXXVI) «Письмо» его о кончине великой княгини Александры Николаевны, превышающее все, написанное им в прозе. — *П. П.*

отрывков в стихах и прозе. Из моих творений немец взял только отрывок „Певца в стане русских воинов“ (который теперь мне самому весьма мало нравится); а в прозе напечатал мое „Письмо о Бородинском празднике“, о котором я вовсе забыл и сам теперь не помню, к кому оно было написано и где напечатано. А что оно напечатано — в том убеждает меня его появление в немецкой грамматике. Если бы я знал об его существовании, то внес бы его в том „Прозы“, ибо описание очень живо и тепло и мне самому решительно напомнило о самом событии. Знаете ли вы об этом письме? Если знаете, скажите, где оно гнездится?» Здесь речь идет о стихотворении «Бородинская годовщина», перед которым в «Современнике» 1839 года Жуковский напечатал отрывок «Письма» своего тоже к великой княгине Марии Николаевне, после праздника в воспоминание двадцатипятилетия Бородинской битвы. Второе у него названо: «Молитвой нашей Бог смягчился». Оно излилось из его сердца по выздоровлении великой княжны Ольги Николаевны от тяжелой болезни. «Письмо» же и «Бородинская годовщина» действительно принадлежат к числу лучших произведений его таланта. Одно место из «Письма», вообще исполненного удивительной живости и величественных картин, по всем правилам должно войти в очерк жизни автора. «Вечер этого дня, — говорит он, — провел я в лагере[53]. Там сказали мне, что накануне в армии многие повторяли моего „Певца в стане русских воинов“, песню, современную Бородинской битве: признаюсь, это меня тронуло до глубины сердца: но в этом чувстве не было авторского самолюбия. Жить в памяти людей по смерти не есть мечта: это высокая надежда здешней жизни. Но меня вспомнили *заживо*; новое поколение повторило давнишнюю песню мою на гробе минувшего. Это еще более разогрело мое устаревшее воображение, в котором шевелился уже прежний огонек, пробужденный всем виденным мною в этот день. А живой разговор с К. Г., с которым я встретился в лагере и который своим поэтическим языком доказывал мне, что певцу русских воинов, в теперешнем случае, должно помянуть времена прошлые, дал сильный толчок моим мыслям. Возвратясь из лагеря, я в тот же вечер написал половину моей новой Бородинской песни, а на другой день, на переезде из Бородина в Москву, кончил ее; она была немедленно напечатана; экземпляры отосланы в лагерь, и эта песня прочитана была в армии на празднике Бородинского Помещика. И так привел Бог, по прошествии четверти века, на том же месте, где в молодости душа испытала высокое чувство, повторить то же, что в ней было тогда, но уже не в тех обстоятельствах. Чего, чего не случилось в этот промежуток времени между кровавым сражением Бородинским и мирным величественным его праздником! С особенным чувством смотрел я в этот день на нашего молодого, цветущего Бородинского Помещика, который на празднике русского войска был главным представителем поколения нового».

Стихи «Бородинской годовщины» можно уподобить самому торжественному «Requiem», погружающему душу в созерцательную меланхолию. Перед мысленным взором нашим в стройном шествии являются те незабвенные лица, те чудные события, которыми увековечена память 1812 года. Встреча с ними не приводит нас в радостный трепет, как в «Певце», но вызывает из глубины души тихое благоговение и слезы благодарности.

И тебя мы пережили,
И тебя мы схоронили,
Ты, который трон и нас
Твердым царским словом спас,
Вождь вождей, царей диктатор,
Наш великий император,
Мира светлая звезда!
И твоя пришла чреда!

О година русской славы!
Как теснились к нам державы!
Царь наш с ними к чести шел.
Как спасительно он ввел
Рать Москвы к врагам в столицу!
Как незлобно он десницу
Протянул врагам своим!
Как гордился Русский им!

Вдруг... от всех честей далеко,
В бедном крае, одиноко,
Перед плачущей женой,
Наш владыка, наш герой,
Гаснет царь благословенный —
И за гробом сокрушенно,
В погребальный слившись ход,
Вся империя идет.
....

Всходит дневное светило
Так же ясно, как всходило
В чудный день Бородина:
Рать в колонны собрана —
И сияет перед ратью
Крест небесной благодатью,
И под ним в виду колонн
В гробе спит Багратион.

Здесь он пал, Москву спасая, —
И, далеко умирая,
Слышал весть: Москвы уж нет!

И опять он здесь, одет
В гробе дивною бронею,
Бородинскою землею:
И великий в гробе сон
Видит вождь Багратион.
....

Память вечная, наш славный,
Наш смиренный, наш державный,
Наш спасительный герой!
Ты обет изрек святой:
Слово с трона роковое
Повторилось в дивном бое
На полях Бородина:
Им Россия спасена.

Память вечная вам, братья!
Рать младая к вам объятья
Простирает в глубь земли:
Нашу Русь вы нам спасли.
В свой черед мы грудью станем;
В свой черед мы вас помянем,
Если царь велит отдать
Жизнь да общую нам мать.

XXII

Кто не согласится, сообразив многие из обстоятельств жизни Жуковского, что в пути своем он шел по какому-то указанию руки незримой, но его не покидавшей? Сам он глубоко в душе своей сознавал это — и со всею преданностью, с исполненным благодарности сердцем приступал ко всему, к чему ни призывал его неслышимый, но понимаемый им тайный голос. Никогда, однако же, это святое убеждение так могущественно в нем не действовало, как в важнейшем событии жизни его, совершившемся в 1840 году. Ему исполнилось пятьдесят шесть лет. Государю своему как подданный, своему отечеству как гражданин, свету как поэт — он отслужил сорок лет верно, честно и славно. Высокое звание наставника наследника престола он слагал с себя безмятежно, с чистою совестью, сопровождаемый признательностью монарха, нежною любовью августейшего питомца и справедливою благодарностью соотечественников. Вообразить нельзя ничего прекраснее этой доли! С одной стороны так. Но войдите в его душу, младенчески нежную, рожденную для тихого семейного счастья и пропустившую его в благородных порывах возвышенного труда и тревожного вдохновения. Будущее не представляло ли воображению его мертвого одиночества, приюта молчаливо-

го и безответных занятий, без цели, без разделения, без радостей? Он стоял на рубеже: возврат к пройденному невозможен; впереди темная неизвестность. И что же? Последующие события жизни его доказали, что кажущиеся нам уклонения от желаемого его душою жребия были необходимыми средствами к достижению его. Необходимо было, чтобы он ни одного мгновения не утратил для других обязанностей, посвятивши всего себя единственной, важнейшей. Необходимо было, чтобы чистая поэзия сохранила в нем всю юность и весь жар сердца. Все это необходимо было, чтобы, увенчанный двойным венком лучших заслуг, явился он достойным всего энтузиазма возвышенной души. Таким-то путем наконец он приведен был к тому счастью, для которого был создан.

Императорский двор в мае 1840 года, погруженный в глубокую скорбь кончиною добродетельнейшего из государей, Фридриха-Вильгельма III, короля Прусского, находился в Берлине. Жуковский при каждой поездке за границу обыкновенно посещал друга своего Рейтерна, который в это время с семейством своим жил в Дюссельдорфе. Старшая дочь его, Елизавета, соединяла в себе все, что может воспламенить сердце и увлечь воображение поэта. Ум ее, характер, образованность и красота, в лучшем значении классическая, не остались, конечно, без внимания у поэта нашего, хотя привычка к детям, которые растут на наших глазах, часто заставляет нас считать их всю жизнь не выходящими из детства. Дочери Рейтерна исполнилось 19 лет. Ее отец, по чувству дружбы, никогда не произносил иначе имени Жуковского как с энтузиазмом. Приезды поэта составляли эпохи радостей для всего семейства. Не говоря о славе, которую в Германии приобрело его имя и которую так лестно соединять с особой нашего круга, самая наружность Жуковского казалась привлекательною при выразительности всей его физиономии, при оживленности разговоров его, при этом таланте и уме, разрешающем труднейшие вопросы и явно предпочитающем наружному блеску мирное счастье и семейные наслаждения. Одним словом: Провидение здесь указало разрешиться судьбе поэта и другого существа, избранного ему в товарищи на остаток его жизни. Жуковский собственными словами яснее представит это происшествие. 28 августа 1840 года, из Дюссельдорфа, он писал к А. П. Зонтаг: «Благословите вашего старого товарища с колыбели вашей. Счастье жизни наконец с ним встретилось, хотя поздно, но такое, какого он желал, о каком мечтал так часто и о котором перестал уже мечтать. Это счастье нашло его само. Он видел его мимоходом, пленялся им мимоходом и не позволял себе ни искать его, ни желать его! А милостивый Бог дал ему это счастье без его искания. Помолитесь же, чтобы Он благоволил и сохранить ему. За год перед этим мы были вместе в Москве. Мне между вами было́ так приятно, как дома! Теперь я на чуже; но мне и теперь так же приятно, как было тогда, с тою только разницею, что вся моя личная жизнь помолодела и в душу мою влилось никогда не испытанное чувство двойной жизни, ко-

торая всему на свете дает настоящее значение и достоинство. Я теперь в Дюссельдорфе, подле моей невесты. Die Seele ist gestickt*. Это слово (которое нельзя ни на русский, ни на французский перевести) довольно верно выражает мое теперешнее положение. Кто моя невеста? как все это сбылось со мною? узнаете из приложенного длинного письма**, написанного в Муратове. Я знаю, какой на него отголосок будет отвечать мне из вашего сердца, мой милый, верный друг! Может быть, со временем Бог сведет нас всех опять вместе. Об одном прошу Его с надеждою, со страхом и покорностью, чтобы Он сохранил мне жизнь: она мне стала мила неизъяснимо. Я верю своему счастью. Оно так просто и чисто — и то, что имею своею целью, так смиренно! Но, признаться, часто из этого ясного, мирного света, который меня теперь окружает, выглядывает строгое лицо смерти, и невольно грусть обвивается вокруг сердца. „Liebe ist stark, wie der Tod“***, — написал мне друг на Евангелии перед моим отъездом в Дюссельдорф. Как эти слова, Liebe è Tod, близки одно к другому! На земле нет счастья без любви, но его нет также и без смерти. И та и другая необходимы для того, чтобы оно было. Одной душа говорит: не покидай меня! Другой душа говорит: не уноси меня! Одна дает счастью его прелесть; другая дает ему его достоинство. Но мысль, что всему на земле должен быть конец, приводит в трепет. Есть, однако, против всех этих тревог лекарство — и самое простое. Оно заключается в молитве Господней. Кто может читать „Отче наш“ так, как оно дано нам свыше, тому на земле ничто не страшно и все доброе верно». Может быть, люди осуждали поэта; но он повиновался голосу, который слышался ему свыше. За свою покорность он получил награду ни с чем на земле не сравнимую: одиннадцать лет он был счастливейшим семьянином и перед кончиною благословил дочь и сына на подвиги добра и христианского благомыслия.

XXIII

Счастье, улыбавшееся Жуковскому во взорах милой его невесты, повеяло на душу его тою поэзиею, которая, для всех веков, для всех народов, олицетворила идеал супруги в образе Дамаянти. Он с невыразимым наслаждением принялся за Рюккерта, чтобы с его помощью угадать подлинник и подобрать из русского языка равносильные выражения для той девственной, первообразной красоты, которою полна ин-

---

* Душа переполнена (букв.: задохнулась) (*нем.*).

** Если достойная рука примется когда-нибудь за составление полной биографии Жуковского, чего нельзя не желать для чести России, а тем более для общего назидания, то упоминаемое «Письмо» составит в книге лучшую ее часть: оно содержит занимательнейший рассказ поэта о приятнейших для него десяти годах его жизни. — *П. П.*

*** Любовь сильна, как смерть (*нем.*).

дейская повесть «О Нале и Дамаянти». Наше приобретение с появления этой поэмы — во всем смысле истинное сокровище. Это — открытие нового мира с новыми богатствами всех царств природы. Поэт вводит нас в страну Солнца и чудес, где люди, звери, растения, горы, реки и все видимое как бы утаены были от общих испытаний творения и живут под законами одной всемощной фантазии. Надобно было созидать все новое для повествования о новообретенном крае. Тут явился Жуковский истинным образователем языка, раздвинув область его во все стороны. Он посвятил этому труду приятнейших для сердца своего три года. Кто с полным вниманием вникнул в глубокий смысл стихов его «Посвящения»[54], тот, конечно, понял значение важнейших эпох исторической жизни его, которой нить так поэтически он привязал к любимому труду своему.

До совершения свадьбы Жуковский из Дюссельдорфа отправился в Петербург. Сколько радости друзьям его доставило светлое его счастье! Но верное далекому прошлому сердце поэта влекло его в родную Москву, где условились собраться тамошние его близкие. В январе 1841 года он уже был между ними[55]. Это соединение представляло одну из тех картин, которые никогда не забываются. Много протекло лет с тех пор, как Жуковский видел вокруг себя лица столь ему милые. Но сколько у него судьба навек отняла из них, товарищей молодости его! Тогдашнее его посещение Москвы было для него последнее в жизни. Он не предчувствовал, что дальнейший путь ни разу не приведет его опять сюда, в объятия дружбы и нежной привязанности.

По возвращении в Петербург он занялся приготовлениями к отъезду за границу, где ожидала его невеста и тихая семейная жизнь, еще им не испытанная и тем более желаемая. Здесь ничто уже не могло удержать его. Он видел совершение всего, что должно было увенчать последние желания души его на прощании с покидаемой прежней жизнью и прежними ее заботами. Жуковский имел счастье присутствовать при бракосочетании наследника и сердцем его избранной невесты. Милости царские к наставнику порфирородного первенца превзошли ожидания всех. Государь соизволил, чтобы Жуковскому до смерти предоставлено было все, чем он пользовался по должности наставника. Ему позволено жить там, где он найдет для себя удобнее и приятнее. Особенная сумма назначена была на первое обзаведение хозяйства его. Он был произведен в тайные советники. Но самою неоцененною для себя наградою почитал Жуковский высочайшее повеление, чтобы он и в отсутствие свое всегда считался состоящим на службе при цесаревиче. По собственному выражению Жуковского, государь устроил его будущее, как добрый, заботливый отец.

Еще в последние годы действительной службы он был пожалован кавалером орденов: св. Станислава и св. Анны 1-й степени и св. Владимира 2-й степени. К этим лестным знакам благоволения государя за

ревностное исполнение должности скоро, во время путешествия Жуковского за границею в свите наследника, присоединены были знаки отличия со стороны иностранных государей, желавших выразить свое уважение к наставнику царского сына. Он был украшен орденами первой степени: в Швеции шведской Полярной Звезды, в Дании Данеброга, в Ганновере Гвельфов, в Австрии Железной Короны, в Виртемберге Фридриха, в Бадене Церингенского Льва, в Саксонии Саксонским — за заслуги. В Веймаре он получил орден Белого Сокола, а в Нидерландах Нидерландского Льва второй степени. От покойного короля Прусского Фридриха-Вильгельма III Жуковскому, еще в 1829 году, пожалован был орден Красного Орла второй степени, а в 1838 ему прислана звезда того же ордена, вместо которой ныне царствующий король Прусский, при вступлении своем на престол, изволил пожаловать ему брильянтовую звезду, а в 1842 году орден Pour le mérite*, за мирные заслуги.

Отъезд Жуковского из Петербурга в Дюссельдорф был назначен. 21 апреля 1841 года он писал: «Я еду через десять дней[56], то есть 30 апреля или 1 мая. Надеюсь, что 21 мая в Штутгарте будет моя свадьба. В этот день вспомните обо мне. Число это уже вырезано на обручальных кольцах, которые прислала мне сестра и для которых все мои сложились».

XXIV

Новая жизнь началась в полном смысле поэтически. В Дюссельдорфе, почти за городом, в виду Рейна, наняты были два домика, разделенные садом. В одном жил Рейтерн с своею семьей. Он во всем значении слова художник. Живопись — жизнь его. В другом поселился Жуковский с женою, с поэзиею своею и всеми радостями счастливейшей жизни. Каждое существо этой поэтической колонии всей душою привязано было к исполнению долга, возлагаемого на нас религиею, обществом, семейством и призванием. К обеду и вечером сходились все вместе. Тихая веселость, покойная совесть и светлый ум чудно животворили маленькое их общество. 16 (28) февраля 1843 года Жуковский сам нарисовал картину нового своего счастья:

...я увидел
Себя на берегу реки широкой;
Садилось солнце; тихо по водам
Суда, сияя, плыли, и за ними
Серебряный тянулся след; вблизи
В кустах светился домик; на пороге
Его дверей хозяйка молодая
С младенцем спящим на руках стояла...

* **За достоинство** (*фр.*).

И то была моя жена с моею
Малюткой дочерью...
И ныне тихо, без волненья льется
Поток моей уединенной жизни.
Смотря в лицо подруги, данной Богом
На освященье сердца моего,
Смотря, как спит сном ангела на лоне
У матери младенец мой прекрасный,
Я чувствую глубоко тот покой,
Которого так жадно здесь мы ищем,
Не находя нигде; и слышу голос,
Земные все смиряющий тревоги:
Да не смущается твоя душа.
Он говорит мне, *веруй в Бога, веруй*
В Меня[57].

Высочайшую прелесть этих стихов составляют не самые стихи и даже не мысли в них изложенные, потому что у многих поэтов можно найти стихи еще лучше, а отличные мысли вызывает плодовитый ум иногда из души очень холодной. Нет: высочайшая прелесть этих стихов состоит в истине ощущений поэта. Он со всевозможным спокойствием сердца, вкушающего тихие семейные радости, высказывается безыскусственно, верно, с простотою младенца и с благоговением мудреца. Точно так, еще несколько прежде, писал он о своем новом счастии к другу детства своего и своей старости, Александру Ивановичу Тургеневу, который, прочитав его письмо, невольно воскликнул: «Какое письмо! Душа Жуковского тихо изливается в упоении и в сознании своего блаженства. Читая его, я понял по крайней мере половину моей любимой фразы: „Le bonheur est dans la vertu qui aime... et dans la science qui éclaire“»*[58].

Жуковский, устроив, таким образом, тот желанный покой, о котором говорит в приведенных стихах, покой души и жизни, не ослабил своей умственной и поэтической деятельности, а возвел ее на новую степень совершенства. Мысль достигла в нем той зрелости, какую сообщает ей только долговременная и постоянная созерцательность, руководимое опытами изучение природы и человека, а более всего полное принятие в сердце христианских истин и откровения. Язык нашего поэта явился окончательно крепким, ясным, точным и освобожденным от всех искусственных украшений. Вкус его, сроднившийся с древними, особенно с Гомером, указывал ему на труды высокие и поучительные, на труды плодотворные для искусства и человечества. Приобретение совершенств, столь важных для великого таланта, не привело бы Жуковского к этому обилию последствий, которыми ознаменовалась его деятельность в последние одиннадцать лет, к неимоверному обогащению русской литературы

* Счастье в добродетели, которая любит... и в науке, которая просвещает (*фр.*).

истинными сокровищами, если бы он не приютил себя и своей семьи в прекрасно-мирном уголку маленького городка, освободившего его от неизбежных развлечений каждой столицы.

О перемене в поэтическом настроении своем Жуковский в 1843 году сообщил редактору «Современника» в письме, придавши этому известию шуточный тон, который в частных письмах его остался неизменным до последнего дня его жизни. «Другая перемена или новость (писал он) в моей жизни есть то, что я под старость принялся за болтовню и сказки, и присоседился к древнему рассказчику — Гомеру, и начал вслед за ним, на его лад, рассказывать своим соотечественникам „Одиссею“. Будут ли они охотно слушать наши рассказы — не знаю; но мне весело лепетать по-русски за простодушным греком, подлаживаться под его светлую, патриархальную простоту и — видя в этом чисто поэтическом потоке чистое отражение первобытной природы — забывать те уродливые гримасы, которыми искажают ее лицо современные самозванцы поэты. Шепну вам (но так, чтобы вы сами того не слыхали), что я совсем раззнакомился с рифмою. Знаю, что это вам будет неприятно; из некоторых замечаний ваших на Милькеева вижу, что вы любите гармонические формы и звучность рифмы, — и я их люблю: но формы без всякого украшения, более совместные с простотою, мне более по сердцу. Мой Гомер (как оно и быть должно) будет в гекзаметрах: другая форма для „Одиссеи“ неприлична. Но я еще написал две повести, ямбами без рифм, в которых с размером стихов старался согласить всю простоту прозы, так чтобы вольность непринужденного рассказа нисколько не стеснялась необходимостью улаживать слова в стопы. Посылаю вам одну из этих статей („Маттео Фальконе“)[59] для помещения в „Современнике“. Желаю, чтобы попытка прозы в стихах не показалась вам прозаическими стихами».

XXV

Императорская Академия наук в отчете Отделения русского языка и словесности за 1845 год (Жуковский утвержден действительным членом отделения с основания его в 1841 году) подробно изложила мысли Жуковского о переводе Гомера, о повестях его для юношества и о собираемых им сказках. Так как эти сведения заимствованы из писем Жуковского к двум академикам[60], из которых один издавал «Современник», а другой «Москвитянин», то для полноты очерка жизни поэта здесь приводятся подлинные слова его. «Перевод Гомера, — говорит Жуковский, — не может быть похож ни на какой другой. Во всяком другом поэте-художнике встречаешь беспрестанно с естественным его вдохновением и работу искусства. Какая отделка в Виргилии! Сколько целых страниц, где всякое слово живописно, поставлено на своем месте,

и сколько отдельных стихов, поражающих своею особенною прелестью! В Гомере этого искусства нет: он младенец, постигнувший все небесное и земное и лепечущий об этом на груди своей кормилицы-природы. Это тихая, светлая река без волн, чисто отражающая небо, берега и все, что на берегах живет и движется. Видишь одно верное отражение, а светлый кристалл, отражающий, как будто не существует. Переводя Гомера, недалеко уйдешь, если займешься фортуною каждого стиха отдельно; ибо у него нет отдельных стихов, а есть поток их, который надобно схватить весь во всей его полноте и светлости. Надобно сберечь всякое слово и всякий эпитет и в то же время все частное забыть для целого. И в выборе слов надобно соблюдать особенную осторожность: часто самое поэтическое, живописное, заносчивое слово потому именно и негодно для Гомера. Все имеющее вид новизны, затейливости нашего времени, все необыкновенное здесь не у места. Надобно возвратиться к языку первобытному, потерявшему уже свою свежесть оттого, что все его употребляли, заимствуя его у праотца поэзии. Надобно этот изношенный язык восстановить во всей его первобытной свежести и отказаться от всех нововведений, какими язык поэтический, удаляясь от простоты первобытной, по необходимости заменил эту младенческую простоту. Поэт нашего времени не может писать языком Гомера: будет кривлянье. Переводчик Гомера ничего не может занять у поэтов нашего времени в пользу божественного старика своего и его молоденькой музы. Относительно поэтического языка я попал в область общих мест, и из этих одряхших инвалидов поэзии, всеми уже пренебреженных, надлежит мне сделать живых, новорожденных младенцев. Но какое очарование в этой работе, в этом подслушивании рождающейся из пены морской Анадиомены, ибо она есть символ Гомеровой поэзии; в этом простодушии слова, в этой первобытности нравов, в этой смеси дикого с высоким, вдохновенным и прелестным; в этой живописности без всякого излишества, в этой незатейливости выражения; в этой болтовне, часто излишней, но принадлежащей характеру безыскусственному, и в особенности в этой меланхолии, которая нечувствительно, без ведома поэта, кипящего и живущего с окружающим его миром, все проникает; ибо эта меланхолия не есть дело фантазии, создающей произвольно грустные, ни на чем не основанные сетования, а заключается в самой природе вещей тогдашнего мира, в котором все имело жизнь пластически могучую в настоящем, но и все было ничтожно, ибо душа не имела за границей мира своего будущего и улетала с земли безжизненным призраком; и вера в бессмертие, посреди этого кипения жизни настоящей, не шептала своих великих, все оживляющих утешений».

«Мне хочется (продолжает поэт) сделать два издания „Одиссеи русской“: одно для всех читателей, другое для юности. По моему мнению, нет книги, которая была бы приличнее первому, свежему возрасту, как чтение, возбуждающее все способности души прелестью разнообразною.

Только надобно дать в руки молодежи не сухую выписку в прозе из „Одиссеи“, а самого живого рассказчика Гомера. Я думаю, что с моим переводом это будет сделать легко. Он прост и доступен всем возрастам и может быть во всякой учебной и даже детской. Надобно только сделать выпуски и поправки; их будет сделать легко — и число их будет весьма невелико. К этому очищенному Гомеру я намерен придать род Пролога: представить в одной картине все, что было до начала странствия Одиссеева. Эта картина обхватит весь первобытный, мифологический и героический мир греков. Рассказ должен быть в прозе. Но все, что непосредственно составляет целое с „Одиссеею“, то есть Троянская война, гнев Ахиллесов, судьба Ахилла и Приамова дома, все должно составить один сжатый рассказ гекзаметрами, рассказ, сшитый из разных отрывков „Илиады“, трагиков и „Энеиды“ и приведенный к одному знаменателю. В этот рассказ вошли бы, однако, некоторые песни „Илиады“, вполне переведенные. Таким образом, „Одиссея для детей“ была бы в одно время и живою историею Древней Греции, и полною картиною ее мифологии, и самою образовательною детскою книгою».

О повестях для юношества[61] Жуковский представил следующие свои соображения: «Собрание повестей для юношества (пока еще не существующих, кроме двух-трех) я намерен издать особо. Они будут писаны или ямбами без рифм, или моим сказочным гекзаметром, совершенно отличным от гекзаметра гомерического, — и этот слог должен составлять средину между стихами и прозой, то есть, не быв прозаическими стихами, быть, однако, столь же простым и ясным, как проза, так чтобы рассказ, несмотря на затруднение метра, лился как простая, непринужденная речь».

Для образца русских народных сказок Жуковский доставил из-за границы для напечатания одну под названием «Сказка об Иване-царевиче и Сером Волке». В ней удалось ему на одну нить нанизать самые поэтические причуды нашей народной фантазии и оживить эти перлы единством события, завлекательного и характерного. «Мне хочется, — прибавляет автор, — собрать несколько сказок, больших и малых, народных, но не одних русских, чтобы после их выдать, посвятив взрослым детям. Я полагаю, что сказка для детей должна быть чисто сказкою, без всякой другой цели, кроме приятного, непорочного занятия фантазии. Надобно, чтобы в детской сказке (не для первого, а для второго возраста) все было нравственно чисто; чтобы она своими сценами представляла воображению одни светлые образы, чтобы эти образы никакого дурного, ненравственного впечатления после себя не оставляли — этого довольно. Сказка должна быть так же жива и возбудительна для души, как детские игры возбудительны для сил телесных. При воспитании сказка будет занятием чисто приятным и образовательным; и ее польза будет в ее привлекательности, а не в тех нравственных правилах, которые только остаются в памяти, редко доходят до сердца и могут сравниться

с фальшивыми цветами, которые (если их дать преждевременно в руки) своею мертвою красотою делают нас не столь чувствительными к живой, благовонной свежести цветов естественных. Не знаю, впрочем, отвечают ли те сказки, которые мною составлены, тому идеалу детских сказок, которые я имею в мысли. Если не отвечают, то они все будут привлекательным чтением для детей взрослых, то есть для народа».

XXVI

Соединяя в одно целое мысли и предложения Жуковского о переводе «Одиссеи» и о других его занятиях, встречающиеся в разных письмах его, более и более убеждаешься, каким сокровищем явятся для потомства эти труды и эта жизнь человека с высшим умом, с неутомимою деятельностью и с бескорыстною любовью к искусству, когда их обратим в образец для жизни и трудов собственных! Всего изумительнее быстрота в исполнении его предприятий, жажда к трудам новым, неистощимость в начертании планов, день ото дня разнообразнейших, будто бы дни и часы, быстрее улетающие в последние годы, сильнее и неотступнее потрясали всю систему плодотворной его деятельности. Еще было бы все это понятнее, если бы Жуковский, устроив быт свой, не знал наконец никаких тревог и думал только об ученых и поэтических своих занятиях. Напротив: на его долю, как и всем, много досталось тяжелых испытаний. За счастье, которым наделяет Небо супругов, даруя им детей, он принужден был отдать весь покой свой, тревожась о доставлении выздоровления матери младенцев. Он приведен был наконец в необходимость покинуть тихий Дюссельдорф и поселиться во Франкфуртена-Майне, чтобы находиться ближе к лучшим врачам. Упорство болезни в такой мере противодействовало всем пособиям науки и нежнейшим супружеским попечениям, что более половины последних годов Жуковского отдано было опасениям, изысканиям новых средств и мучительному чувству безотвязной скорби. К этим домашним, внутренним тревогам в последствии времени присоединились внешние от политических событий. Невозможным оказалось пребывание и во Франкфурте, где безначалие и буйство утвердили свое средоточие. После трудных переездов, томительных для тихого семейства, Жуковский утвердился в Баден-Бадене. Посреди стольких смущений, от которых страдал он душевно и телесно, еще лежала на его сердце тоска по отчизне. Каждый год в мыслях приготовлял он себе радость свидания с друзьями и родиной; но недуги больной требовали отсрочки и пребывания в климате более умеренном. Эта борьба желаний с противодействием неотвратимых обстоятельств давно могла в слабом характере и в душе, готовой к унынию, истребить самое помышление об умственных и поэтических трудах, обыкновенно сопровождаемых только внутренним миром и яс-

ностью мысли. Но чем сильнее тяготело над ним бремя испытаний, тем выше возносили душу его упование на Господа и преданность в Его волю.

В 1847 году Жуковский приготовил к изданию два тома своих стихотворений, назвав их в печати «Новыми». Кроме повестей и сказок, тут явилась поэма: «Рустем и Зораб» и первая половина «Одиссеи». Рюккерт во второй раз увлек его на Восток, Но немецкий переводчик был для него не более как путеуказатель. Жуковский, живо сочувствуя высоким красотам персидской поэмы, сохранил в труде своем ту удивительную простоту, те глубоко важные черты, тот металлический стих и ту раздирающую сердце силу характеров[62], которые так поражают нас в первобытной поэзии.

Едва успел он в конце 1848 года расположиться на постоянное жительство в Баден-Бадене, немедленно приступил ко второй половине «Одиссеи». Тогда же развернулось перед ним множество других планов. Невозможно без удивления читать тогдашних писем его*: какой-то внутренний двигатель колеблет его воображение и неодолимо влечет его в безграничную даль на новые подвиги. «Если буду здоров (писал он 20 декабря, стар. ст., 1848) и чего не случится в моей семье, я кончу „Одиссею“. Работа снова пошла живо. Она началась в ноябре, когда я совсем устроился в Бадене, — и к половине декабря я уже перевел четыре песни (одна из них почти отпечатана). Если так пойдет, то в начале марта все может быть кончено. Помолите Бога за меня и за моих. По окончании „Одиссеи“ примусь за прозу. Это будет совсем новое для меня поприще с особою целью. Если Бог даст несколько лет жизни, то могу ими добрым образом воспользоваться. С поэзиею пора проститься. Мы расстанемся, однако, без ссоры. Напоследях она мне послужила верою и правдою. Мне кажется, что моя „Одиссея“ есть лучшее мое создание: ее оставляю на память обо мне отечеству. Я русский паук, прицепился к хвосту орла Гомера, взлетел с ним на его высокий утес — и там в недоступной трещине соткал для себя приютную паутину. Могу похвастать, что этот совестливый, долговременный и тяжелый труд совершен был с полным самоотвержением, чисто для одной прелести труда. Не с кем было поделиться своим поэтическим праздником. Один был у меня немой свидетель — гипсовый бюст Гомеров, величественно смотревший на меня с печи моего кабинета. Было, однако, для меня и раздолье, когда со мною жил Гоголь: он подливал в мой огонек свое свежее масло; и еще — когда я пожил в Эмсе с Хомяковым и с моим милым Тютчевым: тут я сам полакомился вместе с ними своим стряпаньем».

---

* Необходимым нахожу привести здесь некоторые отрывки из его ко мне писем, написанных из Баден-Бадена в ту эпоху. — *П. П.*

«Будущие прозаические занятия (продолжает в этом же письме Жуковский) мне улыбаются. Уже у меня готово на целый толстый том. Материалов довольно для будущего — и есть великий замысел, о котором поговорим, когда Бог велит свидеться. И еще для одного поэтического создания есть план*. Оно было бы достойным заключением моей поэтической деятельности. Но не знаю, слажу ли с предприятием мысленным. Приходило в голову, и не раз, искушение приняться за „Илиаду“, дабы оставить по себе полного собственного Гомера. Мысль была та, чтобы перевести все по теперешней методе с подстрочного немецкого перевода и потом взять бы из перевода Гнедичева все стихи, им лучше меня переведенные (в чем, разумеется, признаться публике). Таким образом, два труда слились бы в один — но не по летам моим приниматься за такой долговременный труд, который овладел бы всею душою и отвлек бы ее от важнейшего — от сборов в другую дорогу. Я даже и начал было Пролог к „Одиссее“ — сводную повесть о войне троянской[63]. Стихов 200 гекзаметрами написано. В эту повесть вошло бы все лучшее, относящееся к войне троянской и к разным ее героям, — все, заключающееся в „Илиаде“, в „Энеиде“ и в трагиках; но от этого труда я отказался. Со временем напишу этот Пролог в прозе к новому изданию „Одиссеи“».

XXVII

11 октября ст. ст. 1849 года, кончив уже печатание второй части «Одиссеи» и отправив ее сюда, Жуковский писал о ней: «Вы, конечно, сетуете на меня за мое долгое молчание; и я за него на себя сетую, тем более что все собирался написать к вам: все хотелось поговорить с вами о моей „Одиссее“. Скажите мне слова два о второй части. Я переводил ее con amore**, и работа шла неимоверно быстро: менее, нежели во 100 дней, переведены были и даже отпечатаны все двенадцать песней. Поправка шла рядом с переводом: я поправлял в корректуре, что гораздо лучше и вернее, нежели в манускрипте, и почти всегда имел шесть корректур каждого листа (это было возможно по причине близости Бадена, где я жил, от Карлсру, где производилось печатание). И как будто свыше было определено, чтобы тишина в Бадене продолжалась до окончания труда моего. Последний лист был отпечатан и несколько корректур его было уже отправлено в Карлсру, как вдруг вспыхнул мятеж, который принудил меня немедленно переехать с семьею в Страсбург. Туда

* Это относится к последней поэме его «Странствующий жид». Он не успел кончить лучшего труда своего. Нельзя не заметить здесь, что поэзия составляла необходимое условие, или, точнее сказать, дыхание жизни Жуковского. В начале этого письма он прощается с нею — и в то же время готовится писать новую поэму. — *П. П.*

** с любовью (*итал.*).

явился и Рейф из Карлсру. Он также бежал от мятежа, но не забыл мне привезть последнюю корректуру, которая и подписана была в Страсбурге. Несмотря на бунт, все экземпляры были немедленно отправлены по Рейну в Мангейм, из Мангейма в Кельн, а из Кельна по железной дороге в Штетин — и я уже давно имею известие от Шлецера, что все благополучно отправлено в Петербург. Но из Петербурга нет никаких вестей. И я прошу вас убедительно дать мне какое-нибудь известие. Мое бегство в Страсбург не позволило мне сделать эрраты. Некоторые места мною поправлены в самом тексте. Некоторые опечатки надлежало бы непременно заметить: но напечатанию всего этого положила препятствия вооруженная баденская вольница. И если этот бунт принудил мою жену бросить начатое ею лечение, которое взяло было хороший ход, то он же принудил нас повидаться с Альпами — и мы спокойно прожили посреди их великолепия в тихом приюте Интерлакена, в виду чудной Снежной Девы, между двух прекрасных озер, Бриэнцкого и Тунского. Наше пребывание в Швейцарии продолжалось от 14 мая до 26 июля. Горный воздух был полезен жене — и она могла, по возвращении в Баден, снова начать прерванный курс лечения. Но уже ей нельзя было и думать о поездке в Россию с наступлением осени, тем более что одна часть лечения кончилась, другая должна теперь необходимо начаться и будет продолжаться до зимы. Необходимость этого лечения заставила меня съездить в Варшаву, дабы изложить пред государем императором мои жалкие обстоятельства. Его величество удостоил принять меня несказанно милостиво и позволил мне остаться за границею столько времени, сколько потребуют обстоятельства. Теперь я опять на неопределенное время должен отложить свидание с отечеством и с вами, добрые мои друзья! Велит ли Бог мне вас увидеть? Думал ли я, покидая Россию для своей женитьбы, что не прежде возвращусь в нее, как через десять лет? И дозволит ли Бог возвратиться? Моя заграничная жизнь совсем не веселая, не веселая уже и потому, что непроизвольная; причина, здесь меня удерживающая, самая печальная — она портит всю жизнь, отымает настоящее, пугает за будущее: болезнь жены (а нервическая болезнь самая бедственная из всех возможных болезней), болезнь матери семейства и хозяйки дома уничтожает в корне семейное счастье. Да и сам я не в порядке: швейцарский воздух мне был не впрок; там начали немного шалить и мои нервы; пропал мой всегдашний верный товарищ — сон, и сделалось у меня что-то похожее на одышку. Поездка в Варшаву меня поправила: сон возвратился, одышка не так сильна. Но есть какой-то беспорядок в кровообращении, от чего биение сердца и нервы продолжают пошаливать. Доктор изъясняет все это геморроем и утверждает, что скоро все придет в порядок. Я и сам не нахожу в себе решительной болезни. Теперь передо мною целая зима. Надеюсь, что она здесь, в Бадене, под покровом прусской армии, пройдет спокойно, хотя мы все живем здесь на волканическом грунте. Прошлая зима была

для меня благоприятна: она была поэтически благотворна. Что произведет нынешняя? не ведаю и еще ни на какую работу не решился, хотя перед глазами и много планов. С поэзией пора проститься. Надобно приниматься за прозу. У меня довольно написано философских отрывков: они могут составить толстый том — и еще многое хочется написать. На это может быть употреблена нынешняя зима, если только Бог даст здоровья. Я сообщу вам после то, что мне пишет о моей „Одиссее“ Фарнгаген фон Энзе (теперь один из первых критиков в Германии). Он знает прекрасно и греческий и русский язык. Если он мне не льстит, то могу считать мою работу удачною»[64].

Со времени появления в печати первого сочинения, написанного Жуковским еще в детстве, в 1849 году исполнилось ровно пятьдесят лет. Этим обстоятельством воспользовался князь П. А. Вяземский, чтобы в Петербурге отпраздновать юбилей авторской жизни отсутствующего друга. Днем празднества было избрано 29 января, день рождения Жуковского. Приглашены были в квартиру князя все друзья поэта, бывшие тогда в столице. Собрание осчастливено было присутствием наследника, удостоившего принять участие в торжестве в честь своего наставника. Учредитель праздника написал на этот случай два стихотворения. Одно было прочитано, а для другого написана музыка — и его пропели. Все лучшие желания отсутствующему поэту выражались единодушно, непритворно и с общим восторгом, который собранию сообщил беспримерное одушевление. Чтобы порадовать сердце отдаленного друга, приготовили чистые листы, на которых присутствовавшие (дамы и мужчины, попарно) собственноручно написали имена свои. Их на другой же день отправили в Баден-Баден с описанием юбилея.

Государь, в изъявление благоволения своего к пятидесятилетним трудам Жуковского, изволил пожаловать поэту, в бытность его в Варшаве, орден Белого Орла при следующей грамоте: «В ознаменование особенного Нашего уважения к трудам вашим на поприще отечественной литературы, с такою славою в течение пятидесяти лет подъемлемым, в изъявление душевной Нашей признательности за заслуги, Нашему Семейству вами оказанные. Всемилостивейше жалуем вас кавалером Императорского и Царского ордена Нашего Белого Орла».

XXVIII

После поэзии ничем с такою любовью и с таким увлечением не занимался Жуковский за границею, как воспитанием детей своих. Всю цену и важность этого предмета он полагал в надлежащем развитии души и ее способностей. Если бы Господу угодно было продлить жизнь его, он посвятил бы все остальные годы свои педагогике в высшем ее значении. Письма его наполнены рассказами о тех средствах, какие он

придумывал для начального обучения дочери, так как сын его, будучи моложе сестры, не мог еще принимать участия в уроках. Ничто ближе и вернее не покажет нам этого во всех отношениях несравненного человека, как собственные его рассказы, и потому весь период жизни его вне отечества только и может быть удовлетворительно представлен в выписках из сообщенных им самим сведений. 15 февраля (стар. ст.) 1850 года он говорит: «Я теперь имею на руках большую работу. Если бы вы невидимою тенью посетили меня в моем кабинете — за чем бы вы меня застали? За азбукою и четырьмя правилами арифметики; за приведением в порядок букв, складов, за составлением живописной азбуки, за облегчением первых уроков счета, за составлением полного систематического курса домашнего учения, который систематически должен обнять все те предметы, которые дети могут и должны изучить дома, от самих родителей. С Нового года я начал учить дочь. Занятие сухое: русские буквы и склады, писать по-русски, считать. Но по той методе, которую я себе составил, мое милое дитя учится не только прилежно, но и весело. К этим двум предметам присоединены библейские повести: мать их рассказывает, а я потом их повторяю. Мы употребляем простой язык Святого писания, доступный младенцу так же, как и мудрецу; рассказываем одни факты без всякого нравственного применения — это применение придет само по себе, если только чистая роса святых фактов падет свежо на восприимчивое детское сердце. Вера христианская исходит из смиренного принятия откровенных фактов, а не из умственного убеждения. С чтением и счетом (которые не будут сухим, механическим, а самодеятельным занятием) перейду к моему систематическому курсу. Не буду учить ни географии, ни естественной истории, ни математике, ни грамматике, ни слогу — все это составит одну цель постоянного умственного развития: дитя будет не получать, а брать своею собственною силою».

«И над этим-то курсом я теперь работаю, что меня чрезвычайно занимает. Я уже на опыте над моею дочкой изведал, что метода моя хороша. Правда, она умный ребенок и с нею легко; но это легко с умным ребенком происходит также и оттого, что при наставлении наставляешь действовать ум и чувство, которые бы заупрямились (и в умном ребенке сильнее, нежели в другом), если бы оставить их в покое. Павла я не допускаю еще к занятию, и это тем для него полезнее, что он ни минуты не бывает без занятия. Надобно подслушать, что они с утра до вечера болтают, какие вдвоем выдумывают игры и какое важное участие принимают в их жизни их куклы! Павел весь я — и лицом, и свойствами, и характером. Дай Бог жизни, чтобы привести его к началу прямой дороги; идти же по ней придется ему без меня».

В этом же письме, где излилось столько родительской нежности и тонкой педагогической наблюдательности, поэт Жуковский не мог не обратиться к новым подробностям о переводе второй части «Одиссеи».

чем больше он передает их нам, тем ощутительнее становится мера его таланта. «Вы называете мой перевод второй части „Одиссеи“ подвигом исполинским (прибавляет он): это особенно в том отношении правда, что моя работа была постоянная и без всякого внешнего подкрепления. Первые двенадцать песней переведены во Франкфурте. Там (как я уже писал вам) жил в моем доме Гоголь. Я читал ему мой перевод. Он читал его мне и судил о нем как поэт. Потом я читал его вместе с Хомяковым, наконец с Тютчевым. Ничего этого я не имел, переводя вторую часть „Одиссеи“ в Бадене. Никто бы лучше моей жены не оценил труда моего и не дал мне совета — у нее и душа и чутье поэтическое; но я еще не выучил ее по-русски, и ни с кем из русских, мною встреченных в Бадене, не приходило мне и в мысли познакомить моего лавроносного старца Гомера. Я был вполне одинок... У меня такая беспамятность, что я почти ни слова не помню из „Одиссеи“. Знал только наизусть одну первую песнь; но теперь думаю, что и ее не буду уметь прочитать без книги. Я могу читать мой перевод как чужой. Это было со мною и во время моей работы. Окончив песнь, я отсылал ее в типографию, и, когда приносили ко мне корректуру, я читал ее как нечто вовсе для меня новое — и это было почти так со всякою корректурою. От этого и ошибки ярче бросались в глаза. Вот и теперь, перечитав ваши письма и полакомившись не вашими похвалами, а вашею поэтическою симпатиею, мне захотелось развернуть вторую часть „Одиссеи“, и я прочитал песни стрельбы из лука и убийства женихов как нечто не только не мною писанное, но и как нечто никогда мною не читанное. И мне стало грустно, что эта прелесть труда для меня миновалась. Нет сомнения, что во всяком создании поэтическом самое сладостное для поэта есть самый акт создания и что *продолжение* работы убедительнее самого ее *совершения*».

XXIX

Как ни бодро защищался неутомимою своею деятельностью наш поэт от приближавшихся к нему недугов старости — год от году становилось заметнее ослабление сил его телесных. Но мощный дух не ослабевал в нем до его кончины. На припадки болезней Жуковский смотрел обыкновенно с равнодушием и даже подшучивал над собою. Рассказывая о какой-нибудь новой уступке организма своего действию болезни, он принимает вид человека, счастливо приготовившегося к удачному отпору, после которого надеется выйти из беды. В июне 1850 года Жуковский послал сюда собрание новых сочинений своих в прозе, решившись прибыть с семьею в Россию в конце осени. Между тем состояние здоровья не позволило совершиться предположениям его. «Вы зас-

тавляете (пишет он 20 октября стар. ст. того же года) меня поститься. С тех пор, как я писал к вам с Рейфом и послал свои манускрипты, — от вас ни слова. Уж не сердитесь ли вы на меня за то, что я опять обманул ваше ожидание и еще на зиму остался в Бадене? Смягчите свой гнев: я поступил весьма благоразумно, что не поехал. Жене это сделает большое добро. Ей надобно и зимою продолжать свое лечение. Я начинаю надеяться, что она наконец отдохнет от своего многолетнего страдания. Хорошо вам звать меня и судить и осуждать меня в отдалении, не зная, что со мною делается. Бывают несказанно тяжелые минуты, и бывают часто. Я на них не ропщу: это минуты поучительные и образовательные. Но в шестьдесят лет труднее учиться, нежели в молодые лета, хотя и яснее знаешь, что наша жизнь нам только на то и дана, чтобы учиться, учиться доброю волею, даже без надежды выучиться, а только для того, чтобы угодить Учителю, творя Его волю».

«Хорошая сторона необходимости остаться здесь, впрочем для меня весьма неприятная (ибо мне надоела кочевая жизнь на чуже), есть та, что я, если Бог позволит, надеюсь хорошо воспользоваться баденским уединением — и вы, опять повторяю, погладите меня по головке при нашем свидании: привезу и стихов и прозы. Теперь моя эпистолярная деятельность должна прекратиться. У меня работы по горло, и мне беспрестанно говорит тайный голос: спеши! Не то чтобы это был голос смерти; нет: но глаза слабеют, и слух тупеет. Что, если мне назначено, не кончив начатого, ослепнуть и оглохнуть? Итак, надобно не терять времени, а между тем и приготовить себя к этой томительной жизни. Не скажу, чтобы она меня ужасала. Весьма вероятно, что ее и не будет. Воля Божия. Но надобно быть готовым. Я уже выдумал себе машину для писания в случае слепоты. Надобно придумать отвод и от глухоты. Между тем постараюсь воспóльзоваться, сколько можно, собою, пока я еще цел. Для этого надобно только строго экономить временем».

В продолжение этих лет Жуковский успел кончить пятое (последнее при жизни его) издание полного собрания Сочинений своих в стихах и прозе, напечатанное в Карлсру, и отправил его в Петербург, куда окончательно приготовился переехать и сам с семейством. Все было уложено. Это происходило в первой половине июля 1851 года. Но за два дня перед тем, который он назначил для отъезда в Россию, подагрическая материя бросилась в его глаз. Чтобы сохранить другой, ему завязали оба глаза, и началось продолжительное лечение. Тогда-то он начал пользоваться своею машинкою и с этого времени писал свои письма не чернилами, а карандашом и крупными буквами, в которых почти нельзя узнать его прежнего почерка. 25 августа стар. ст. 1851 года он писал между прочим: «За шесть недель перед этим я должен был выехать из Бадена — вдруг напал на глаз ревматизм, и я еще по сию пору не знаю, когда выеду. Пишу к вам с закрытыми глазами, пользуясь мною выду-

манной на слепоту машинкой. Отвечайте мне поскорее: письмо ваше или застанет меня в Бадене, или его перешлют мне в Дрезден». Нетерпеливое желание возвратиться в отечество уничтожало в мыслях его самую опасность болезни, которою он страдал. Заметно, что он считал свой припадок кратковременным и легким. Наконец 13 сентября (стар. ст.) того же года, в письме, еще собственноручном и по-прежнему карандашом начертанном, он начал говорить как выведенный из своего неведения. «Вот уже более восьми недель, как сижу взаперти, в темноте, и не могу ни читать, ни писать, ни пользоваться воздухом. Все прекрасные дни лета мною потеряны — и наконец решилось дело тем, что мне об отъезде в Россию теперь и думать нельзя. Уже осень. Холод мне вреден. Солнечного света еще не могу терпеть; а после белизна русского снега и совсем доконала бы глаз. Эта беда случилась со мною дня за два до назначенного мною выезда. Я вижу в ней, однако, указание Провидения. Она особенно может послужить к добру для моей жены, которая весьма еще далеко от исцеления. Несмотря на это, я бы поехал непременно. Моя болезнь обратила отъезд в совершенную невозможность. И жена моя уже воспользовалась моим затворничеством, чтобы в продолжение четырех недель прекраснейшей погоды брать ванны, в текучей воде, чего бы ей нельзя было сделать, если бы мы поехали. И зима будет ей, вероятно, полезна в отношении ее лечения. Для меня же перспектива не веселая: мои работы будут жестоко хромать от невозможности употреблять глаза; ибо моя болезнь может продолжаться еще недели. Постараюсь взять против этого меры: я человек изобретательный! Вот, например, я давно уже приготовил машинку для писания на случай угрожающей мне слепоты. Эта машинка пригодилась мне полуслепому. Могу писать с закрытыми глазами. Правда, написанное мне трудно самому читать. В этом мне помогает мой камердинер. И странное дело! Почти через два дня после начала моей болезни загомозилась во мне поэзия, и я принялся за поэму, которой первые стихи мною были написаны назад тому десять лет, которой идея лежала с тех пор в душе не развитая и которой создание я отлагал до возвращения на родину, до спокойного времени оседлой семейной жизни. Я полагал, что не могу приступить к делу, не приготовив многого чтением. Вдруг дело само собою началось: все льется извнутри. Обстоятельства свели около меня людей, которые читают мне то, что нужно и чего сам читать не могу, именно в то время, когда оно мне нужно для хода вперед. Что напишу с закрытыми глазами, то мне читает вслух мой камердинер и поправляет по моему указанию. В связи же читать не могу без него. Таким образом, леплю поэтическую мозаику и сам еще не знаю, каково то, что до сих пор слеплено ощупью, — кажется, однако, живо и тепло. Содержания не стану рассказывать: дай Бог кончить! Думаю, что уже около половины (до 800 стихов) кончено. Если *напишется* так, как *думается*, то это будет

моя лучшая лебединая песнь*. Потом, если Бог позволит кончить ее, примусь за другое дело — за „Илиаду“. У меня уже есть точно такой немецкий перевод, с какого я перевел „Одиссею“: и я уже и из „Илиады“ перевел две песни. Но во всю прошедшую зиму и весну я не принимался за эту работу: я был занят составлением моего педагогического курса — который в своем роде будет замечательное создание — и наработал пропасть; но все еще только одно начало. Нынешнею зимою этой работой заняться не могу: глаза не позволят. Надобно много читать и особенно много рисовать, что для больных глаз убийственно. Для „Илиады“ же найду немецкого лектора. Он будет мне читать стих за стихом. Я буду переводить и писать с закрытыми глазами, а мой камердинер будет мне читать перевод, поправлять его и переписывать. И дело пойдет как по маслу»**.

XXX

Выздоровление не приходило. Но Жуковский не переставал заниматься, как мог, и еще все думал о переезде в Россию. Его участие в событиях, касавшихся отечества и друзей его, по-видимому, возрастало по мере его приближения к смерти. Даже с любовью входил он в рассмотрение новых явлений литературы нашей, если они казались ему

* В «Журнале министерства народн. просвещ.» 1852 года, № 1, в «Литературных прибавлениях» напечатан подробный рассказ священника Иоанна Базарова о «Последних днях жизни Жуковского». Там есть изложение и неоконченной поэмы, о которой говорит здесь поэт. Я уже упоминал выше, что она называется «Странствующий Жид». — *П. П.*

* Представляет ли история другое лицо, в котором бы, при столь грустных обстоятельствах, сохранилось столько душевной тишины, непоколебимой веры в благость Провидения, сосредоточенности и распорядительности в уме, ровной и беспрерывной деятельности, поэтической теплоты и трогательной сердечной веселости? Приведенное «Письмо», одно, останется памятником, которого прочнее и красноречивее едва ли что придумать можно для бессмертия поэта. Следующая приписка к нему вполне довершает характеристику Жуковского. Я старался каждое 1-е и 15-е число месяца сообщать ему что-нибудь из того, о чем любил он узнавать. Теперь он прибавляет: «Прошу вас не сложить с себя ветхого человека, а, напротив, возвратиться к ветхому человеку, то есть к тому, который во время оно обещал писать ко мне два раза в месяц и несколько времени был верен этому обещанию, не требуя моих ответов. Ваши письма теперь мне нужнее стали. Мое положение требует помощи. Можно прийти в уныние. Что, если бы не сохранил мне милосердный Бог возможности заниматься? Итак, пишите, пишите!» Если бы все, бывшие в переписке с поэтом нашим, согласились соединить в одну книгу те письма его, которые ознаменованы, как литературные произведения, занимательностью и совершенствами общими, — это, без сомнения, послужило бы столько же к сохранению чистой памяти Жуковского, сколько и к прекрасному обогащению русской литературы, не говоря уже о пользе общей. — *П. П.*

достойными внимания. Это беспримерное сохранение в гармонии душевных сил придает последним письмам его высокую цену. Но он в скором времени принужден был покинуть и карандаш свой, и свою машинку, которыми до сих пор пользовался для переписки: она продолжалась не его рукою, а только с его слов, им диктованных. Первое из этих писем касается Екатерины Андреевны, жены Карамзина, особы, бывшей для Жуковского, как и для всех знавших ее, существом высшего достоинства. «Благодарю вас всем сердцем, — говорит он в письме 24 октября (стар. ст.) 1851 года, — за два письма ваших. Я бы отвечал немедленно на первое, которое глубоко поразило меня известием о нашей общей утрате; но я был в это время увлечен пошлою прозою переборки на другую квартиру. Не буду об этом ничего говорить теперь: завтра буду писать к самим Карамзиным; а вас только благодарю за то, что вы своим письмом мне дали так живо присутствовать на этом пиршестве погребения. Нет ничего торжественнее и умилительнее этих проводов на тот свет души, умилившей здешний свет своею чистою жизнью. Каков новый удар для бедного Вяземского! Надо благодарить Бога, что это случилось после его отъезда. В Петербурге удар этот слишком бы сильно отозвался в его сердце. Он теперь в Париже. Я еще оттуда не имею прямого о нем известия, но слышу, что ему вообще лучше. А вы держитесь постоянно вашего благого намерения писать ко мне каждое 1-е и 15-е число месяца. Уведомляйте меня о том, что у вас и с вами делается. Это будет отрадно мне, слепому. Мой глаз совсем не выздоравливает. Вероятно, что это пошло на целую зиму».

Едва прошло две недели, как Жуковский в новом письме предается новым предположениям касательно занятий своих и переезда в отечество: так владела им сила духа. 7 ноября (стар. ст.) 1851 он писал: «За месяц или за полтора перед этим был у меня ваш приятель Коссович. Он мне очень понравился. Я сообщил ему мое желание иметь образованного классически русского, который бы мог со мною заняться составлением домашнего предварительного курса учения по моей методе, отчасти вам известной. Коссович назвал мне Бартенева, кандидата Московского университета. Не знаете ли вы и не можете ль осведомиться о сем Бартеневе? Иль не знаете ль кого из воспитанников Педагогического института, способного, классически образованного и достаточно восприимчивого, чтобы постигнуть мою мысль, которой исполнение могло бы сделаться полезным не одним моим детям, но и отечеству в семейственном воспитании? От княгини Вяземской я получил письмо из Парижа. Вяземский мрачен, но, к счастью, дело не так дурно, как я воображал. Вяземскому не сидится на месте. Он бы хотел покинуть Париж и переехать ко мне в Баден. Но этому и я противлюсь: Баден пуст и скучен, а я полуслепой не буду ему полезен — и гроб его дочери, здесь погребенной, не поможет мне развеселить его. Я зову его в Баден на ап-

рель месяц*; сам же, слепой или зрячий, с первою возможностью в мае отправлюсь в Россию».

В письме Жуковского, присланном ровно через двадцать дней после предыдущего, есть мысли, которые должны быть сохранены для потомства как завет мудреца. «В продолжение моей десятилетней заграничной жизни я узнал по опыту, что можно любить поэзию, не заботясь ни о какой известности, ни даже о участии тех, чье одобрение дорого. Они имеют большую прелесть; но сладость поэтического создания сама себе награда. Благодарю вас за доставление стихов Майкова. Я прочитал их с величайшим удовольствием. Майков имеет истинный поэтический талант. Я не читал его других произведений. Слышу, что он еще молод. Следовательно, перед ним может лежать еще долгий путь. Дай Бог ему приобресть взгляд на жизнь с высокой точки, то есть быть тем поэтом, о котором я говорю в моем письме к Гоголю, и избежать того эпикуреизма, который заразил поэтов и осквернил поэзию нашего времени. Глаза мои все еще в том же положении. Об Вяземском не могу ничего сказать вам нового».

Чем ближе наступало время, в которое суждено было нашему поэту вдруг окончить все так неизменно и так сладко занимавшее его целую жизнь, тем заметнее обращались мысли его к судьбе русской литературы и тем чаще вспоминал он в письмах о литераторах русских. Всегда оживлялась душа его непритворною радостью при появлении нового таланта в отечестве: так он чужд был самой тени опасения совместничества, а тем менее чувства, похожего на зависть. В новых успехах искусства он видел распространение общей пользы, благотворное влияние на нравы и ступени к славе отечества. Никто искреннее его не любил Карамзина, Крылова, Батюшкова, Пушкина и Гоголя. В последние месяцы жизни своей он так заботился о распространении верных, чистых начал в литературе, как будто защищал только что начатое им поприще, как будто жизнью своею и своими творениями не успел еще утвердить незыблемой истины. В письме 7 декабря (стар. ст.) 1851 года он, между прочим, пишет: «Не знаете ли чего о Гоголе? Он для меня пропал. Я бы давно к нему писал, но не знаю, куда к нему писать. Говорят, что он кончил вторую часть „Мертвых душ“ и что это чудесно хорошо. Если будет напечатано, пришлите немедленно. Скажите от меня Майкову, что он с своим прекрасным талантом может начать разряд новых русских поэтов, служащих высшей правде, а не материальной чувственности. Пускай он возьмет себе за образец Шекспира, Данте, а из древних Гомера и Софокла. Пускай напитается историею и знанием природы и более всего знанием Руси, той Руси, которую нам создала ее

* Странное обстоятельство. Он за полгода назначает другу срок прибытия к себе — а этот апрель был сроком его земной жизни: Жуковский скончался 12 апреля (стар. ст.) 1852 года. — *П. П.*

история, Руси богатой будущим, не той Руси, которую выдумывают нам поклонники безумных доктрин нашего времени, но Руси самодержавной, Руси христианской — и пускай, скопив это сокровище знаний, это сокровище материалов для поэзии, пускай проникнет свою душу святынею христианства, без которой наши знания не имеют цели и всякая поэзия не иное что, как жалкое сибаритство — русалка, убийственно щекочущая душу. Таково мое *завещание* молодому поэту. Если он с презрением оттолкнет от себя тенденции, оскверняющие поэзию и вообще литературу нашего времени, то он с своим талантом совершит вполне назначение поэта. Но довольно. Чтобы заплатить вам чем-нибудь за ваши хлопоты, посылаю вам новые мои стихи, биографию Лебедя, которого я знавал во время оно в Царском Селе. Об нем я вспомнил, увидя в Бадене великую княгиню Марию Николаевну, которая была для меня явлением Руси на чужой стороне. Мне хотелось просто написать картину Лебедя в стихах, дабы моя дочка их выучила наизусть; но вышел не простой Лебедь. Посылаю его вам. Может быть, в его стихотворной биографии вы найдете ту же старческую хилость се автора, какою страдал описанный им Лебедь. Во всяком случае, прошу принять благосклонно эту лепту вдовицы».

XXXI

Следующее письмо представляет две чрезвычайно замечательные черты. Одна из них должна быть сохранена как лучшее свидетельство самой бескорыстной любви Жуковского к поэзии, любви, которая очистила душу его от всякого самолюбия и заставила его признавать пользу в такой критике, на которую мог бы он по всем правам не обращать и внимания, — обстоятельство, поучительное для молодого поколения литераторов. Эта черта одна может объяснить многое в блестящих успехах, в которых, конечно, нельзя отказать литературе нашей предшествовавшего периода. Другая черта послужит дополнением к характеристике Гоголя. Этот необыкновенный писатель и неразгаданный человек, изумивший современников неистощимостью тончайшего анализа в произведениях своих, иногда до такой степени был на себя не похож, что трудно приложить к одному и тому же лицу эти две крайности. Здесь разумеются многие из его писем, когда он не определял в них для себя исключительной темы. Тут он явился как бы лишенным не только своего таланта, но и самого обыкновенного уменья быть занимательным. Над таким-то его письмом Жуковский, по всегдашней веселости, в младенческой душе своей здесь шутит так грациозно. Письмо Жуковского писано 23 января (стар. ст.) 1852. «Вы просите от меня уведомлений о поступках моего глаза. Мне нельзя им похвалиться: он все продолжает парализовать мою жизнь. Вот уже семь месяцев, как я не могу

ни читать, ни писать и ничем порядочно заниматься. У нас не было холодной зимы, но зато постоянная скверная, сырая погода, которая действует гораздо хуже холода на подагру и ревматизм, обхватившие бедный, давно ослепший глаз мой. И поэзия от этого позачахла. Благодарю вас за критику на моего Лебедя; я сам не был доволен теми стихами, которые вы забраковали, и поправил их — хорошо или дурно, не знаю. Посылаю вам Лебедя с *прибавкою**. От Вяземского получил еще письмо, грустное. Гоголь наконец по двухлетнем молчании написал ко мне — и я из его письма узнал с восхищением, что он живет в Москве, на Никитском бульваре, в доме Талызина. Я начинаю думать, что я всех моих друзей и приятелей обидел, подарив им по экземпляру моих сочинений: почти ни один мне не откликнулся... Но вас прошу продолжать писать ко мне».

Последнее письмо Жуковского в этой переписке помечено в Бадене 5 марта (стар. ст.) 1852 года. Оно все посвящено скорби его о кончине Гоголя. Два писателя, летами столь разделенные и так дружно соединенные гениальностью душ, почти в одно время покинули землю. Долго России ждать полной замены этих утрат. «Какою вестью (говорит Жуковский) вы меня оглушили! и как она для меня была неожиданна! Весьма недавно я получил еще письмо от Гоголя, и сбирался ему отвечать, и хотел дать ему отчет в моей теперешней стихотворной работе, то есть хотел поговорить с ним подробно о моем „Жиде", которого содержание ему было известно, который пришелся бы ему особенно по сердцу — и занимаясь которым я особенно думал о Гоголе... И вот уже его нет! Я жалею о нем несказанно собственно для себя: я потерял в нем одного из самых симпатических участников моей поэтической жизни и чувствую свое сиротство в этом отношении. Теперь мой литературный мир состоит из четырех лиц, из двух мужского пола и из двух женского: к первой половине принадлежите вы и Вяземский, к последней две старушки — Елагина и Зонтаг. Какое пустое место оставил в этом маленьком мире мой добрый Гоголь! Я жалею об нем еще для его начатых и неконченных работ: для нашей литературы он потеря незаменяемая. Но жалеть ли о нем для него? Его болезненная жизнь была и нравственно мучима. Настоящее его призвание было монашество. Я уверен, что если бы он не начал свои „Мертвые души", которых окончание лежало на его совести и все ему не давалось, то он давно бы был монахом и был бы успокоен совершенно, вступив в ту атмосферу, в которой душа его дышала бы легко и свободно. Его авторство, по особенно-

* Так выразился он о книжке стихотворений своих, напечатанных им незадолго до кончины, под заглавием: «Стихотворения, посвященные Павлу Васильевичу и Александре Васильевне Жуковским». Это было издание во вкусе того, как некогда печатались книжки «Для немногих», и заключало на шестнадцати страничках только шесть стихотворений, которых заключением служило «Боже, царя храни!». Тут же напечатан и его «Царскосельский лебедь». — *П. П.*

му свойству его гения, в котором глубокая меланхолия соединялась с резкостью иронии, было в противоречии с его монашеским призванием и ссорило его с самим собою. По крайней мере, так это мне кажется из тех обстоятельств, предшествовавших его смерти, которые вы мне сообщаете. Гоголь, долгие часы стоящий на коленах пред образами, отказывающийся от пищи и кротко говорящий тем, которые о нем заботились: оставьте меня; мне хорошо, — как это трогательно! Нет, тут я не вижу суеверия: это набожность человека, который с покорностью держится установлений православной церкви. Что возмутило его страждущую душу в последние минуты? я не знаю. Но он молился, чтобы успокоить себя. И, конечно, ему было в эти минуты хорошо, как он сам говорил, — и путь, которым он вышел из жизни, был самый успокоительный и утешительный для души его. *Оставьте меня; мне хорошо!* Так; никому нельзя осуждать по себе того, что другому хорошо по его свойству. И эта долгая молитва на коленях есть нечто вселяющее глубокое благоговение. Так бы он умер, если бы, послушавшись своего естественного призвания, провел жизнь в монашеской келье. Теперь, конечно, душа его нашла все, чего искала. Перейдем теперь к земному. Надобно нам, его друзьям, позаботиться об издании его сочинений, об издании полном, красивом, по подписке в пользу его семейства (у него, кажется, живы мать и две сестры). Если публиковать теперь подписку, то она может быть богатая. Позаботьтесь об этом. Если бы я был в России, то бы дело разом скипело».

XXXII

Постоянно памятуя и исполняя все, соблюдаемое православными христианами, Жуковский еще в феврале 1852 года пригласил из Штутгарта священника нашего Иоанна Базарова, чтобы он прибыл в Баден-Баден на шестой неделе Великого поста для приобщения его с детьми Святых Таин. Болезненное состояние глаза не позволяло ему самому оставить место жительства его. Перед наступлением означенного срока он уведомил своего духовного отца, что некоторые обстоятельства вынуждают его переменить распоряжение и отложить исполнение христианского долга до Фоминой недели. Об этой внезапной перемене первого распоряжения прекрасно выразился отец Иоанн: «Добрый старец не знал того, что это второе распоряжение было свыше от премудрой воли Божией, предназначавшей ему вкусить эту последнюю радость земной веры христианина за два дня перед переходом его в вечную жизнь, где он должен был *истее причаститися в невечернем дни Царствия Христова*».

Развитие и ход болезни Жуковского, по рассказу очевидца, следовали таким образом: 1 апреля (стар. ст.) 1852 года, во вторник на Свя-

той неделе вечером, он занемог и лег в постель ранее обыкновенного, а именно в 9 часов. В среду он только к вечеру оставил постель. Как обыкновенно, все его домашние собралися в его кабинет и провели вместе несколько часов. Жуковский принимал живое участие в разговорах и сам многое рассказывал про старинное свое житье-бытье. В четверг тоже. В пятницу болезнь усилилась и обнаружилась яснее. Доктора назвали ее подагрическою лихорадкою (ein Gichtfieber). Подагра, от которой у Жуковского в последнее время так жестоко страдали глаза, бросилась вовнутрь. В пятницу и субботу он не покидал постели и был чрезвычайно беспокоен. Казалось, он страдал более нравственно, нежели телесно. В воскресенье больной вышел на полчаса — это было в последний раз! Лихорадка усилилась: ночи были мучительны; сон совершенно пропал. Силы явно исчезали, тем более что больной почти без умолку разговаривал с теми, которые окружали его постель: предметом же его разговоров были жена и дети.

Отец духовный прибыл в понедельник на Фоминой неделе, 7 апреля (стар. ст.), и нашел Жуковского в постели больным. Его предуведомили, что больной еще желает отложить исполнение христианского долга, чтобы совершить его с детьми в праздник апостолов Петра и Павла, в день именин сына своего. В 11-м часу утра, во вторник, отец Иоанн вошел в спальню Жуковского, который, жалуясь на расстройство мыслей, объявил о необходимости отсрочки св. причастия. Но когда духовник изъяснил ему различие в обстоятельствах человека здорового, приходящего к Иисусу Христу для принятия св. причастия, и человека больного, к которому Господь приходит сам и требует только отворить ему двери сердца, тогда, в слезах, произнес Жуковский: «Так приведите мне Его, этого Святого Гостя». На следующий день, в среду, после исповеди и причащения с детьми, больной видимо сделался покойнее и, подозвав ближе к себе дочь и сына, сквозь слезы сказал им с умилением: «Дети мои, дети! Вот Бог был с нами! Он сам пришел к нам. Он в нас теперь. Радуйтесь, мои милые!» И в четверг было ему легче прежнего. В этот день три раза, перед отъездом отца духовного, он разговаривал с ним. Каждое слово его выражало глубокое сознание того, что́ с ним происходит. «Вчера и сегодня (сказал он при первом прощании) мне легко на душе. Это блаженство — принять в себя Бога, сделаться членом богосемейства... Мысль радостная, блаженная. Но не станем ею восхищаться. Это не игрушка! Она должна оставаться, как сокровище, в нас. Вы на пути (проговорил больной при втором прощании): какое счастье идти куда захочешь, ехать куда надо! Не умеешь ценить этого счастья, когда оно есть; понимаешь его только тогда, когда нет его». В третий раз при прощании он пожал руку и сказал: «Прощайте... Бог знает, увидимся ли еще. Ах, как часто и я отходил так от одра друзей моих и уже больше их не видал...» В пятницу утром, чувствуя, что силы покидают его, он с нежностью, но и с большим усилием благословил

жену и детей своих. Вечером, смотря на свою дочь, он еще мог произнести: «Ковчег готов — и вот летят мои два голубя: то вера и терпение». В ночь на субботу, в час и тридцать семь минут, неровное и тяжелое дыхание больного внезапно прекратилось: чистая душа его отлетела в одну из тех обителей, которых в дому Отца нашего на небесах уготовано много.

Погребение усопшего происходило в понедельник, 14 апреля, в шесть часов пополудни. Кроме русского священника за гробом шел римско-католический декан города Бадена, желая всенародно выразить то чувство уважения, которое вселил в сердца чужеземцев наш бессмертный поэт добродетельною своею жизнью. Тело его поставлено было в склепе на загородном баденском кладбище. По желанию вдовы Жуковского, которой более всех известно, как пламенно любил свое отечество певец 12-го года, его тело перевезено было в Петербург. Здесь, в Александро-Невской лавре, в присутствии наследника и великой княгини Марии Николаевны, при многочисленном стечении почитателей и друзей поэта, 29 июля отпета была над ним панихида. Слезы августейших особ, оплакивавших утрату наставника их и друга, смешались со слезами поклонников незабвенного поэта на его гробе, который, наравне с друзьями его, нес и царственный первенец из церкви до самой могилы, где Жуковский покоится ныне подле Карамзина.

ИЗ СТАТЬИ «ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНИЯ ИВАНА АНДРЕЕВИЧА КРЫЛОВА»

Субботы В. А. Жуковского

Характер и движение литературных отношений в Санкт-Петербурге заметно изменились в тот же, 1816 год, когда последовала кончина Державина. Много было до этих пор преимуществ на стороне Москвы, где жили Карамзин и Жуковский — одушевители молодого поколения писателей. Они переселились теперь в северную столицу. Около них начали между собою соединяться люди, чувствовавшие призвание к литературе и понимавшие важность благородных умственных занятий. <...>

Куда спешили Вяземский, Жуковский, Батюшков, Гнедич, Пушкин, там же, между графом С. Румянцевым, Сперанским, Олениным, сидели Уваров, Дашков, Блудов. Это самое общество раз в неделю, по субботам, собиралось на вечер к Жуковскому. Сфера идей, тон суждений, краски

языка естественно согласовались с понятиями, стремлениями и умом лиц, соединенных в собрании.

Здесь и Крылов являлся как общий друг. Его практический ум и тонкое соображение находили для себя много пищи независимо от приятного развлечения, представляемого разнообразием гостей, любивших его одинаково. Еще заметнее отдавался он игре своего остроумия и любезности по субботам у Жуковского, где отсутствие дам, чтение литературных новостей и большая свобода в отношениях развязывали его всегдашнюю осторожность. Между лучшими русскими писателями, со времен Ломоносова до смерти Пушкина, всегда заметно было искреннее дружелюбие. Ни тени той взаимной зависти, в которой обвиняют соперников. Это низкое чувство никому не знакомо было в их кругу, всегда оставаясь только в низшем слое литературном. Крылов сознавал в Жуковском талант независимый и энергический. Он постоянно сохранял к нему в душе чувство братства и дружбы. Шутя и любезничая с ним, Крылов бывал особенно приятен. Раз на одном из этих вечеров он стал искать чего-то в бумагах на письменном столе. «Что вам надобно, Иван Андреевич?» — спросили его. «Да вот какое обстоятельство, — сказал он, — хочется закурить трубку; у себя дома я рву для этого первый попадающийся мне под руку лист, а здесь нельзя так: ведь здесь за каждый лоскуток исписанной бумаги, если разорвешь его, отвечай перед потомством». Есть очень любопытная картина[1], представляющая кабинет Жуковского, когда после он жил в той части Зимнего дворца, которая называлась Шепелевским домом. На ней видишь группы людей в разных положениях. Это портреты литераторов и других лиц, собиравшихся у него. Всех заметнее и живописнее тут Крылов рядом с Пушкиным.

В. Кальянов

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О НЕЗАБВЕННОМ В. А. ЖУКОВСКОМ

Писано для себя и моих детей

1-го сентября 1847 года я поступил на службу к В. А. для переписки бумаг; — а через год ему угодно было, чтобы я был его камердинером и вместе с тем вроде маленького секретаря, как он сам иногда выражался.

И так шло время до 12/24 апреля 1852 года, то есть до того печального для многих дня — до дня его кончины. — Еще за три дня до того он приказал мне, чтобы я имел постоянно в кармане две серебряные монеты и тотчас, как последует смерть, — закрыл ему глаза и положил на них серебряные монеты; он говорил: я не хочу, чтобы я был для других страшен[1]. — И вот пришла эта грустная минута — и как трудно было мне исполнить эту заповеданную им мне честь, печальную и горестную для меня. — Закрыть глаза, Тому! кого я так с благодарностию любил за многие его благодеяния. Тому! кто год еще назад сделал меня свободным гражданином, дал возможность возвратиться в отечество и свободными глазами смотреть на свет Божий, — Тому! кто был мне посаженым отцом и благословил меня на брак. Тому! кто был восприемником моего первого сына. И, наконец, закрыть глаза Тому, который меня тоже любил и обо мне заботился, как добрый отец; — это я видел и знал, потому что он сам говорил мне, что мое будущее, когда возвратимся в Россию, он надеется улучшить. — Судьба же решила не возвращаться ему более в Россию, чтобы жить там. — Но он и в последние дни перед смертию еще заботился обо мне и сказал: если я умру, то ты останешься служить моему семейству, я об этом распорядился и поручил тебя моему семейству, а тебе поручаю мое семейство, служи честно и береги их, — они тебя не оставят. —

Я часто думал и прежде — за что он так добр ко мне? Я делаю то, что я должен? Но потом я узнал, что он доволен мною за то, что я много ему облегчаю, где могу. — Например, когда он, бедный, страдал болезнию глаз, он не мог даже писать писем; — но он диктовал, а я писал; — но адреса ему нужно было самому писать, потому что я тогда очень мало знал даже говорить по-немецки. Но я изучил французские письменные буквы, потому что В. А. писал адреса не немецкими, а французскими буквами; потом я с каждого написанного им адреса списывал или, вернее, срисовывал копию и хранил их у себя, а впоследствии знал все

адреса, и ему не нужно было самому писать. — И эту ничтожную услугу он ценил. Другой господин считал бы это за ничто.

Мир праху твоему, великий благодетель!

Как жаль, что Бог не продлил твоей жизни до 19 февраля 1861 года[2], — тогда бы возрадовался ты душою, — видя, что твое давнишнее желание исполнилось. — И увидел бы много миллионов, освобожденных из крепостничества, — и мог бы сказать: теперь отпусти раба Твоего, Владыко, с миром, — я видел милость Твою и спасение народа. — И видел любовь и заботу отца России, — царя-освободителя своих подданных. — А если жить еще нужно, то только не дожить до дня 1-го марта 1881 года[3]. — До дня, когда наш милостивейший император и добрейший изо всех бывших на земле монархов, — твой воспитанник, — сделавший так много добра для своего народа, — умер мученическою смертию, — тогда бы твоему доброму сердцу не перенести этого горя. —

ВОСПОМИНАНИЯ О ДОБРЫХ ДЕЛАХ В. А. И О ЛЮБВИ ЕГО К БЛИЖНИМ

Много случалось видеть его добрых дел и много видеть благодарных ему людей, которым он помогал в их просьбе, когда видел, что дело справедливое. Я же записываю только некоторые из них, которые, кажется, не были в печати. — Так, например:

В 1848 году летом мы были на водах в Эмсе. Приезжает из Дюссельдорфа художник с целию принести В. А. благодарность за его содействие. Дело в том, что художнику было заказано из России несколько картин, и на значительную сумму. — Он их написал и отправил, но, не получая долго денег, он написал еще раз, и опять долго ждал, но ответа все не было. Он знал, что деньги эти верны, но они ему были очень нужны. Он еще зимою приезжал к В. А. во Франкфурт и просил его об этом похлопотать. Теперь же он приезжал благодарить В. А. за то, что по милости его он получил все, что ему следовало. — Это художник мне сам рассказал.

Случалось и так, что В. А. и без просьбы принимал участие в судьбе человека.

В 1851 году в Баден-Бадене крестьянский мальчик из деревни Лихтенталь, лет 10 или 12, ходил по кухням и предлагал свои услуги, кому угодно снять портрет карандашом за 30 крейцеров, и вдобавок не отнимая много времени от службы, в полчаса времени. — Многие снимались

и были очень довольны. — Слава о нем дошла и до В. А. (то есть до доброго покровителя талантам). В. А. приказал пригласить его к себе. Он нарисовал В. А. в полулежачем положении на кушетке. В. А. был доволен его работою, дал ему более чем следовало и расспросил: будет ли он продолжать учиться, но мальчик сказал, что они бедны и не могут платить за учение. В. А. расспросил имя и фамилию его — и после этого написал об нем письмо герцогу Баденскому, рассказывая о способностях его маленького подданного, его бедном положении и советуя обратить на него внимание и помочь ему.

После был слух, что мальчик был определен на казенный счет.

В 1852 году, уже после смерти В. А., мне говорил господин Рейф, живущий в Карлсруэ, следующее: я, говорит, тоже обязан В. А., когда я составлял словари, то мне не хотели выдать премию, которая мне следовала, но благодаря только ходатайству и старанию В. А. я получил. —

МОЯ БЛАГОДАРНОСТЬ В. А. ЗА НРАВОУЧЕНИЕ

В 1849 году летом мы жили в Швейцарии, в Interlaken. В. А. часто по утрам уходил к подножию горы Jungfrau, где рисовал виды. Однажды, уходя, он сказал мне, чтобы я попросил хозяина гостиницы переменить мебель в его комнате и дать ему другую из комнаты напротив, никем не занятой. — Я переговорил с хозяином, который неохотно на это согласился (он, может быть, и сделал бы это без моего усердия), — но я хотел ускорить дело и угодить В. А., для чего позволил себе сказать хозяину, что если не перемените мебель, то мы переедем в другую гостиницу. Мебель была переменена, и я ждал похвалы от В. А., и, по возвращении его домой, я доложил, что мебель переменена и что хозяин неохотно соглашался, но я сказал ему, что тогда Вы переедете в другую гостиницу, и он тотчас согласился. Но вместо похвалы получил от доброго В. А. хорошее нравоучение, которое никогда не забуду. Он сказал мне: как же ты смел лгать, — ведь я не говорил тебе, что если не переменят мебель, то перееду в другую гостиницу; зачем говоришь неправду, — разве не знаешь, что лгать и скверно и грешно. Я удивился! И долго думал. Как же это так! Когда я служил у других господ и получал приказание что-либо исполнить, — но если было нелегко выполнить так, как приказано, — то принимал меры вроде этого, — и они никогда не замечали мои пороки и не объясняли мне, что так делать дурно, — но они были довольны тем, что сделано так, как они желали. Но наконец я додумался до того, что

В. А. любит одну правду; и не хочет, чтобы другие тоже ложными путями старались делать ему угодное. И понял я, что В. А. хочет быть не только господином над слугой, но и отцом и наставником. —

Благодарный Ему *В. Кальянов*

У Василия Андреевича и доброй его супруги Елизаветы Алексеевны — и во Франкфурте, и в Баден-Бадене, везде были у каждого свои пенсионеры, получающие вспомоществование, кто ежемесячно, кто еженедельно, — и кроме того, ни один нуждающийся не уходил без помощи.

Вот уже 35 лет со дня кончины В. А. В течение этого времени мне иногда случалось встречать людей, еще помнящих о его благодеяниях. Я же всю жизнь искал человека, подобного В. А., — и хотя много видел очень добрых людей на земле, но подобного Василию Андреевичу еще не встречал.

А. И. Кошелев

ИЗ «ЗАПИСОК»

<...> Заканчивая рассказ о петербургской моей жизни, я считаю нужным сказать еще несколько слов о замечательных людях, с которыми я был там в сношениях. Особенно я любил В. А. Жуковского, который ко мне был очень расположен, вероятно вследствие того, что друг его, Авд<отья> Петр<овна> Елагина, меня ему особенно рекомендовала. Чистота его души и ясность его ума особенно к нему привлекали. По вечерам я встречал у него Крылова, Пушкина, бар. Дельвига и других; беседы были замечательны по простоте и сердечности. Сам Жуковский, хотя жил в Петербурге и к тому же при дворе, поражал чистотою своей души.

<...> Зимою 1850—1851 года, когда жена моя с детьми проводила зиму в Баден-Бадене, и я туда поехал в феврале[1]. Там я нашел В. А. Жуковского, с которым я прежде был в сношениях довольно коротких, а в это время особенно сблизился. Наши беседы были ежедневные и весьма продолжительные. Много мы с ним гуляли и всего более говорили о ближайшем будущем для России; и он меня в этом отношении весьма успокаивал, утверждавши, что наследник престола (нынешний император) одарен значительным здравым смыслом, весьма добр и исполнен благонамеренности. Все это вполне подтвердилось впоследствии. Для большего меня в том удостоверения он давал читать мне собрание писем великого князя к нему. Одно из них поразило меня своею дальновидностью и своим изложением. Письма эти писались, как видно, без всякого приготовления; мысли излагались по мере и в том порядке, в каком они приходили в голову, и в письмах много было помарок. В упомянутом особо меня поразившем письме вот в чем было дело. Жуковский писал к наследнику о том, чтобы побудить императора к освобождению Иерусалима и ко взятию его под общее управление всех христианских держав. Наследник ему отвечает, что он вовсе не разделяет мнение своего наставника насчет того, что такое событие желательно. «Пусть враги Христа, — говорит он, — оскверняют это священное место своими действиями; это все-таки сноснее, чем осквернение его интригами и враждою христианских держав; а это неминуемо при нынешнем положении католичества». Письмо это, довольно длинное, проникнуто было замечательным здравым практическим смыслом.

Жуковский с особенным удовольствием сообщал о своих предположениях насчет устройства своей дальнейшей жизни. Он хотел поселиться в Москве[2] и предпринять разные литературные труды. Он расспрашивал меня о московской молодежи, об университете, об Обществе любителей российской словесности[3] и высказывал желание и надежду содействовать к оживлению умственной деятельности в Москве. Мы отпраздновали в Баден-Бадене день рождения (29 января) В. А. Жуковского*, и я, по моим делам, должен был отправиться в Россию. К великому прискорбию, не суждено было мне более с ним свидеться: он скончался 12 апреля 1852 года.

---

* Насчет дня рождения В. А. Жуковского возникли в последнее время недоумения и разногласия. В разрешение их сообщаю письмецо, мною от него полученное.

«За 68 лет перед сим, т. е. 1783 года января 29, случилось, что я родился. Нынче я праздную этот день с моими родными. Прошу вас у нас отобедать и быть за моим семейным столом представителем России. Прошу и вашу супругу. Мы обедаем в три часа ради моего тестя. Прошу вас отвечать, можете ли быть к нам, — преданный *В. Ж.*»

И. И. Базаров

ВОСПОМИНАНИЯ О В. А. ЖУКОВСКОМ

Знакомство мое с В. А. Жуковским началось за границею в 1843 году, вскоре после того, как он переселился из Дюссельдорфа на житье во Франкфурт-на-Майне[1]. Не могу забыть первого впечатления, которое произвел на меня этот и тогда уже маститый старец. Это было в первый раз в моей жизни, что я приблизился к человеку, которого мы с раннего детства привыкли уважать как классического поэта. Признаюсь, авторитет его вначале сильно подавил меня своим весом, и в первые минуты я боялся за себя, чтобы мне не показаться в глазах этого великого мужа слишком ничтожным. Но добрая душа Жуковского не могла не проникнуть настоящей причины моей застенчивости перед ним: он снисходительно оценил мою скромность и, как отец, снабдил меня добрыми советами на жизнь и приличную мне деятельность. Я тогда только что вступил в мою должность.

В это самое время В. А. занимался переводом «Одиссеи». Он радовался было встретить во мне знатока греческого языка и предлагал мне быть помощником в труде его. Но когда я отвечал, что в наших духовных школах изучают преимущественно язык греческих отцов церкви, он обратился снова к своему убеждению, что ему суждено верно подслушивать Гомера, не слыша его речей лицом к лицу.

Принимая живое участие во всем отечественном, В. А. равно интересовался и нашим духовным образованием. Рассказы мои об успехах образования духовного юношества в России в последнее время радовали его сердечно. Он справедливо видел в этих успехах новую зарю будущего счастья и величия России. Для него церковь была святым началом русской жизни. Как при этом случае, так не раз и после говорил он мне с восторгом о величии нашей Православной церкви, которая, по его мнению, выражается особенно в ее искренности. Он любил сравнивать ее с Римско-католическою и был очень доволен, когда раз в разговоре о сем предмете я выразил ему характеристику этих двух церквей в коротких словах, сказав, что церковь Римская есть суровая госпожа для своих поклонников, тогда как церковь Православная есть нежная мать чад своих. Любимым автором его в этом отношении был Стурдза. Всякий философский взгляд на православие занимал его чрезвычайно. Так, уже в последний год своей жизни он обратился ко мне с просьбою перевести для него на немецкий язык одну рукопись, в которой неизвестный автор с силою самого глубокого убеждения выставляет всю возвышенность и чистоту учения Православной церкви. «Рукопись эта, — писал он ко

мне от 29 ноября (11 декабря) 1851 года, — по своему содержанию достойна того, чтобы издать ее в свет; но если в ней заключаются такие места, которые не согласны с учением нашей церкви, то на такие места нужно сделать возражения, дабы вместе с истиною не пустить в свет заблуждения». Рукопись эта была мною переведена, но смерть Жуковского не дала исполниться его желанию видеть оную напечатанною.

Не менее ценил он и все то, что могло бы принести пользу и нашим соотечественникам по части христианского назидания. В 1848 году занимался он чтением книги Штира, под заглавием «Die Reden des Herrn Jesu» («Речи Господа Иисуса»)[2]. Книга эта написана в самом строгом христианско-консервативном тоне одним из так называемых в Германии *верующих* (пиетистов) богословов и отличается глубоким прозрением в смысл слов Иисуса Христа; но, по общей участи всех немецких книг, и это хотя более назидательное, нежели ученое, творение преиспещрено словами еврейскими, греческими и латинскими, так что для не знающего этих языков смысл этой книги делался решительно недоступным. Я помог в этом отношении покойному, и вот в каких словах благодарил он меня за это: «Благодарю вас душевно за труд, который вы на себя взяли и который так совестливо исполнили. Ваши замечания на Штира тем более заставляют меня желать, чтобы вы занялись пересадкою этого плодоносного дерева на нашу русскую почву. Штир — чистый, глубокомысленный и глубокоученый христианин, что в его словах не сходно с нашим исповеданием, на то можно указать с надлежащим опровержением; но то, что в нем со всеми исповеданиями согласно, то будет для нас сокровищем; и вы сделаете большое дело, сделав это сокровище доступным нашим русским, православно-верующим». На мои возражения против этого предложения В. А. отвечал мне следующее: «Благодарю вас за ваше письмо, в котором вы с такою основательностию выражаете свое мнение о книге Штира. Я с вами во всем совершенно согласен. Но я и не полагал, чтобы Штира можно было перевести вполне на русский язык. Я думал только, нельзя ли у него извлечь многое, могущее быть весьма назидательным для православных читателей. Самое необходимое для сохранения нашего чистого православия состоит в том, чтобы не вводить никаких самотолкований в учение нашей церкви: авторитет ее должен быть без апелляции. В этом отношении должна действовать одна вера, покоряющая разум. С другой стороны, этот покорный разум должен вводить веру в практическое употребление жизни; без этого введения веры в жизнь не будет живой веры. Вот чего бы я желал для большего, действительнейшего распространения чистого православия, дабы оно, проникнув все действия ежедневной жизни, было источником, оживлением и хранением нравственности домашней и публичной. Мы видим, что здесь, в Германии, от дерзкого самотолкования произошло безверие[3], но от нетолкования происходит мертвая вера — почти то же, что безверие; и едва ли мертвая

вера не хуже самого безверия! Безверие есть бешеный, живой враг: он дерется, но его можно одолеть и победить убеждением. Мертвая вера есть труп; что можно сделать из трупа?»

Не раз эта же тема была предметом наших разговоров с покойным. Жуковский был христианином не столько по убеждению (ибо, как он часто сам говорил, богословию он не учился), сколько по сродному его сердцу чувству ко всему духовно-изящному и божественно-высокому. Поздно, быть может, для него развилось в нем чувство глубокого убеждения в нужде веровать и умом; но его мягкой душе нетрудно было преклонить разум в послушание веры. Как часто выражалась эта внутренняя борьба его с естественным человеком в нем самом в непритворных, искренних вздохах о потерянных годах беспечной молодости! Он всегда говорил, что жить душою он начал только с той поры, как вступил в семейный круг. Его прошедшее, столь обильное полезною и высокою деятельностию, пред взором возродившейся внутреннею жизнию души его было слишком незначительно для того, чтобы на нем утвердить лестницу к пределам чистого созерцания духовного, к которому ведет одно христианство. Но зато он умел и смирять себя. Раз я застал его с катехизисом в руках. «Вот, — говорил он мне, — к чему мы должны возвращаться почаще. Тут вам говорят, как дитяти: слушайся того, верь вот этому! и надо слушаться!» «О, авторитет великое дело для человека! — повторял он нередко. — Что такое церковь на земле? Власть, пред которой мы должны склонять свою гордую голову. Мы должны быть пред нею все как дети!» Напрасно иногда я старался наводить его на ту мысль, что для бытия церкви на земле есть и другие высшие основания, кроме одного испытания послушания людей. Он всегда останавливал меня словами: «Без послушания нельзя жить на земле!»

Но так строг он был только для себя. Во всяком другом он уважал убеждение. С его добрым сердцем несовместно было навязывать другому мнение, которого тот не имел по внутреннему убеждению в противном. Это доказывалось столькими опытами из его домашней жизни. Рассказывает же его человек, служивший при нем до последней минуты[4], что он после самого строгого выговора за ту или другую неисправность подзывал его к себе и с ласкою друга укорял его за то, что он не возражал ему ничем. «Ведь вот ты, братец, смолчал; а глядишь, я и не совсем был прав. Зачем же ты не сказал мне ничего в ответ?» Но еще более ценил он убеждение в других, когда дело касалось внутренних верований человека. В последние дни его жизни готовилось ему самое радостное событие[5] в его семействе, которым он не успел насладиться, но радость близкого исполнения оного он взял с собою во гроб. Событие это было следствием долгой внутренней борьбы любимой им особы. Он страдал вместе этою борьбою, но его уважение к самому характеру этой священной борьбы, место которой есть святилище души, не позволяло ему положить на весы колебавшихся мнений полновесную истину его собственных убеждений,

которая одна решила бы участь избрания. «В деле веры, — писал он мне по этому поводу 3/15 июля 1851 года, — никто со стороны мешаться не должен: здесь все должно происходить без посредника между Богом и душою!» Вот каково было убеждение его на этот счет, и вот как много он умел смирять себя пред священными чувствами души! Но Бог, возносящий смиренных и уничижающий гордых, увенчал и его смирение, восполнив своею благодатью оскудение средств к произведению такого великого события, каково обращение души к Богу в истине!

Быть может, нескромно будет рассказывать пред другими чувства, глубоко сокрытые в сердце; но чем иногда не готова бывает пожертвовать душа из благодарности и уважения к лицу, о котором так охотно говорится и слушается все, что только выставляет в яснейшем свете его характер и тем больше приближает к нам его образ, сделавшийся теперь уже достоянием потомства! Вот слова его, незабвенные для меня, стоящие внимания и каждого, кто не имел случая близко знать доброе сердце Жуковского. «Не могу не выразить вам, — писал он мне после моей потери от 11/23 июня 1850 г., — того участия, которое произвело во мне известие о несчастии, вас постигшем[6]. Так Богу угодно! в этом слове и единственно возможное изъяснение наших земных бедствий, и единственное в них утешение. Вы это знаете мыслию, делом и вашим священническим назначением, с которым так согласна ваша душа и ваша практическая жизнь. Прошу вас сказать мне о себе слово. Я не опасаюсь, чтобы исполнение этой просьбы для вас было обременительно; напротив, думаю, что, говоря о своем горе с людьми, которые понимают и разделяют его, отнимаешь у него часть его тяжести. Помоги вам Податель креста нести Им поданный крест и быть перед Ним в минуты его испытания таким, как Он того требует!» Я повторяю: эти слова незабвенны для меня, но так же многозначительны и для всякого другого, кто захотел бы вполне оценить мягкое сердце Жуковского, полное христианского смирения перед Богом и искреннего участия в судьбе ближнего!

Жуковского как поэта и писателя я знал менее и уверен, что ничего не мог бы прибавить к оценке его с этой стороны, когда он так вполне оценен всеми представителями нашего отечественного литературного мира. Только раз я имел случай быть свидетелем его справедливой скорби насчет холодности большей части нашей отечественной публики к высоким произведениям литературы. Это было в 1850 году, перед моим отъездом на побывку в Россию. «Что вы думаете, — говорил он мне, — мою „Одиссею“ так и приняли с радостью в России? Вот поезжайте и узнаете, что и сотый человек из читающих не брал ее в руки. Ее даже порядочно не оценили и в журналах. Нашелся один только добрый человек, который по крайней мере указал мои ошибки[7], а то другой поскалил зубы, а иной наговорил чепухи». Этот горький отзыв автора одного, можно сказать, из творений своих, которое довершило его славу, невольно тронул меня, особенно когда я собственным опытом убедился, при-

ехав в Россию, что то была сущая правда. И потому мне была больше нежели понятна самая шутка покойного, когда он после, в ответ на мое известие, что один из знакомых мне немцев в Висбадене для того только решился выучиться русскому языку, чтобы прочитать «Одиссею» в переводе Жуковского с подлинником в руках, писал ко мне следующее: «Очень рад, что моя поэтическая слава заглянула в Висбаден и что Винтер (имя этого немца), хотя и холоден быть должен по своему имени, с таким жаром принял участие в моей гиперборейской „Одиссее". Что это была не совсем шутка, я имел случай убедиться в том из многих последующих отзывов его о судьбе его „Одиссеи"». «Конечно, — говорил он мне раз, — „Одиссея" не пойдет со мною в вечность; она останется на земле, как все земное; но впечатление ее, но те плоды, которые она должна принести, со мною неразлучны будут и за гробом».

Если бы я должен был писать панегирик Жуковскому, то я не умолчал бы здесь преимущественно о делах его милосердия, которых я сам был свидетелем, — но не о тех делах милосердия, которыми часто отличаются люди достаточные, уделяя бедному излишнее от себя; нет, дела милосердия Жуковского были не делами только рук его, но преимущественно делами его души. Хорошо помогать ближнему не жалея средств, которые мы имеем в руках! Но много ли найдется таких людей, которые бы за другого протягивали сами руку, преклоняли бы свою голову, может быть не привыкшую к поклонам, испытывали бы с охотою неприятное чувство отказа и все это делали бы бескорыстно, из одного только желания добра ближнему? В. А. Жуковский все это делал и, умирая, жалел еще о том, что он не успел устроить судьбу человека, ему вовсе чужого. Вот истинная любовь, какой требовал от нас Спаситель!

Оканчивая здесь мои воспоминания о Жуковском, которые я решился сохранить для будущего, считаю нелишним сообщить, что у меня в руках находятся подробности о самой важнейшей эпохе в его жизни — его первом знакомстве и последовавшем затем вступлении в брак с девицею Рейтерн, списанные мною со слов самой ныне вдовы Жуковского[8]. Но как эти подробности не принадлежат современникам, то они сохранятся у меня для потомства, которое, конечно, еще долго будет принимать живой интерес во всем, что касалось жизни знаменитого русского поэта. Тому уже времени будут, конечно, принадлежать и письма Жуковского к своей невесте, о которых говорила мне его ныне вдовствующая супруга, что в них-то излилась вся поэтическая душа Жуковского.

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ ПРОТОИЕРЕЯ»

<...> Поступив в Висбаден молодым священником, я не имел еще случая совершать многих треб церковных. Первые крестины, которые мне довелось совершить, были в семействе В. А. Жуковского и князя А. А. Суворова, которые оба проживали в это время во Франкфурте. Помню, как князь Суворов боялся за свою маленькую дочку, чтобы молодой неопытный священник не утопил ее в купели. <...> Когда вслед за тем были у Жуковского крестины его новорожденного сына Павла[1] и зашла речь об этом страхе присутствовавшего при этом князя Суворова, Василий Андреевич рассказал очень характерный для того времени анекдот.

— В одну поездку с наследником по России[2] остановились мы в одной деревне. У священника этого села как раз были крестины, и он просил чрез меня его высочество быть восприемником его новорожденного. Наследник согласился и поручил мне быть его представителем при крестинах. Конечно, был приглашен для этого соседний священник. Наш батюшка, как хозяин, хлопотал вокруг своего новорожденного и не заметил, как начался обряд крещения. Но вдруг, опомнившись, он опрометью бросился из комнаты и скрылся. После крестин я спрашиваю его: «Скажите, батюшка, отчего это отец не может присутствовать при крещении своего ребенка?» И что ж, вы думаете, он мне ответил? «Совестно, ваше превосходительство!» — И Жуковский залился при этом своим добрым смехом, прибавив: — Точно он напакостил тут!

При этом и Суворов, и Жуковский оба обратились ко мне за изъяснением этого непонятного обычая. Я отвечал, что другого основания для этого нельзя придумать, как то, чтобы при крещении дать более значения восприемникам, которые делаются, по выражению нашего народа, крестным отцом и крестною матерью новокрещенного.

Мне не раз приходилось беседовать с В. А. Жуковским о подобных предметах. Консервативный в своих верованиях, он любил осмыслить каждое действие, каждый обычай церковный. Для него авторитет церкви был свят, и он старался держаться его даже в таких вещах и предметах, которые сами по себе допускали свободное рассуждение. Помню, как-то раз мы разговорились с ним о загробной жизни и дошли до мысли о возможности распределения людей по воскресении по различным планетам, как вдруг он сам остановил себя словами: «Но об этом не следует рассуждать, когда церковь ничего нам не сказала о том».

Мои воспоминания о Жуковском были напечатаны в «Русском архиве»[3], и потому я не повторяю их здесь. Припомню только одно обстоятельство, назидательное для меня самого. Как первые крестины были для меня в доме Жуковского, так и первая исповедь, которую мне пришлось совершать, была также над ним. Я не забуду, как меня, моло-

дого и неопытного духовника, подавлял собою авторитет этого тогда уже маститого поэта, которого мы изучали в школах как одного из важнейших корифеев нашей отечественной литературы. Выслушав его глубокую, можно сказать высокохристианскую, исповедь, я не мог ему ничего другого сказать, как сознаться в своей молодости и пастырской неопытности перед ним. В ответ на это он поцеловал мне руку, сказав: «Лучше этого урока смирения вы и не могли мне преподать». <...>

В числе знаменитых русских того времени мне случилось встретиться с графом Блудовым. <...> Блудова я встретил в семействе Жуковского во Франкфурте. Помню, как он стыдил его за то, что дети его тогда не говорили по-русски. «Вот посмотрите, — говорил он, обращаясь ко мне, — наш русский бард, наш Гомер, который читает свою „Одиссею" среди семьи своей, и семья его не понимает; сам он подслушал Гомера, не понимая ни слова по-гречески. Но тут его не поймут ни жена, ни дети, как бы звучно он ни читал им эту эпопею».

Бедный Жуковский в ответ на это показывал ему и мне придуманные им самим таблицы, по которым он собирался учить детей своих по-русски.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЖИЗНИ ЖУКОВСКОГО

Конечно, печальная весть о кончине нашего маститого поэта Жуковского достигла и до вас. Бог судил мне быть свидетелем его предпоследних минут: они были так христиански назидательны и так поэтически высоки, что я считаю своим священным долгом поделиться моими собственными впечатлениями, которые я собрал у смертного одра нашего поэта-христианина, во-первых, с вами, а через вас[1] — и со многими другими, которые уважали в Василии Андреевиче его талант, его душу, его многополезную жизнь.

Еще в начале Великого поста я получил приглашение от В. А. Жуковского приехать к нему на шестой неделе[2] для приобщения его с детьми Св. Таин, так как болезнь его глаза не позволяла ему самому выехать из Бадена. Но в то время, как я собирался уже отправиться к нему, получаю от него письмо, в котором он писал ко мне: «Обстоятельства, которых я не ожидал и которых мне переменить нельзя, принуждают меня обратиться к вам и просить вас переменить наше распоряжение насчет приезда вашего к нам в Баден. Не можете ли вы приехать в понедельник на Фоминой неделе и пробыть до четверга, в который день я мог бы причаститься Св. Таин вместе с моими детьми?» Добрый старец, пиша эти строки, не знал того, что это распоряжение было свыше, от премудрой воли Божией, предназначавшей ему вкусить эту последнюю

радость земной веры христианина за два дня пред переходом его в вечную жизнь, где он должен был «истее причаститися в невечернем дни Царствия Христова».

7/19 апреля, в понедельник Фоминой недели[3], я прибыл в Баден-Баден и нашел Василия Андреевича в постеле очень больным. Домашние его все были погружены в печаль; какое-то мрачное предчувствие лежало безотчетно на сердцах всех. Супруга его наперед предварила меня, что он раздумывает теперь принять Св. Тайны, надеясь в Петровский пост[4] исполнить это святое дело со всем благоговением и рассчитывая особенно на радость, ожидавшую его тогда в семейном кругу[5]. В этот день, так как уже было довольно поздно, я не мог его видеть.

На другой день, в 11 часу утра, я вошел к нему в спальню. Его первые слова были: «Ну, теперь нечего делать, надо отложить. Вы видите, в каком я положении... совсем разбитый... в голове не клеится ни одна мысль... как же таким явиться перед Ним?» Произнося эти слова, он постоянно хватал себя за голову, как будто действительно его мысли не клеились в ней. Выслушав его, я отвечал: «Но что бы вы сказали теперь, если бы сам Господь захотел прийти к вам? Разве отвечали бы Ему, что вас нет дома?» Вместо ответа он заплакал. «В святом таинстве, — продолжал я, — надо различать две стороны: раз человек приходит к И. Христу, ища покаянного душою примирения с ним; в другой раз Он Сам приходит к человеку и требует только отворить Ему двери сердца». — «Так приведите мне Его, этого святого Гостя», — проговорил он сквозь слезы. Подошла его супруга. Он взял ее за руку и значительно, с расстановкою говорил ей: «Вот он (указывая на меня), как полномоченный от Бога, хочет привести ко мне Господа, ко мне, недостойному. Как я буду счастлив иметь Его в себе!» Я обещал на другой день приготовить его детей исповедью и причастить их вместе с ним у его кровати. Здесь он начал мне говорить, как он учил детей своих по изобретенным им таблицам. Потребовал самые таблицы; но руки его были слабы, напряжение мысли затрудняло его. Я успел уговорить его оставить это до будущего времени. «Да, — говорил он, — вы должны будете приехать ко мне. Мне очень нужно видеть вас у себя недели две-три». В это время вошла снова его супруга и стала его упрашивать, чтобы он успокоился и не говорил так много. Но он с приметною досадою отвечал: «Ах, мой друг, что ты так заботишься об этом (указывая на тело свое) бренном трупе? Душа наша важнее всего». Однако я поспешил его оставить и, осведомившись вечером, узнал, что он был потом в бреду и забытьи.

9/21 апреля, в среду, после исповеди детей, я являюсь к нему, чтобы приготовить его к принятию Св. Таин. Он встретил меня словами: «Вчера меня мучила мысль: как чудовище, не хочет отойти от моей кровати; точно дубиной разбивает душу. Это — дьявольское искушение, idée fixe*,

* навязчивая идея (*фр.*).

которая нас сводит с ума, — мысль: что будет с детьми моими, с женою моею после меня!» Я напомнил ему веру в Промысл Божий, милость к нему государя, его заслуги престолу и отечеству. «Да, — отвечал он, — это убеждение есть». Слезы докончили его исповедь. «Жизнь, все жизнь, — продолжал он как бы про себя, — исполненная пустоты». Наконец я ввел к нему детей его. Он вместе с ними прочитал Молитву Господню и исповедание перед причащением. Причастились дети, принял и он причащение. Тотчас же в нем заметна стала перемена. Он умилился, подозвал детей и сквозь слезы стал говорить им: «Дети мои, дети! Вот Бог был с нами! Он Сам пришел к нам! Он в нас теперь! радуйтесь, мои милые!» Он очень был встревожен умилением; я поспешил его оставить; затем он уснул спокойно.

10/22 апреля, в четверг, поутру, я вошел к нему, и на вопрос мой о его здоровье он отвечал: «Вчера и сегодня мне легко на душе. Это блаженство принять в себе Бога, сделаться членом Бого-семейства... Мысль радостная, блаженная! Но не станем ею восхищаться. Это не игрушка! Она должна оставаться, как сокровище, в нас». Потом он просил меня приехать в июне или даже в мае. Я обещался приехать как можно скорее. Спустя несколько часов я еще раз зашел к нему. «Вы на пути, — сказал он мне, — какое счастье идти куда захочешь, ехать куда надо. Не умеешь ценить этого счастия, когда оно есть; понимаешь его только тогда, когда нет его. Мне бы хотелось (продолжал он), чтобы вы знали, что после меня останется. Я написал поэму; она еще не кончена; я писал ее, слепой, нынешнюю зиму. Это „Странствующий жид“, в христианском смысле. В ней заключены последние мысли моей жизни. Это моя лебединая песнь. Я бы хотел, чтобы она вошла в свет после меня. Пусть она пойдет в казну детей моих. Я начинал было переводить ее, диктуя сам, по-немецки. Но Кернер[6] берется перевести ее по-немецки в стихах. Пусть ее переделывает по-своему, пусть прибавляет, — но мысль мою он поймет. Я бы желал, чтобы вы знали и мою методу учения по таблицам. Я испробовал ее над детьми моими. Воображение их так сильно было приковано к событию, что они плакали, когда я рассказывал им последнюю вечерю Господа, его Гефсиманскую молитву. Но вы приедьте ко мне, и тогда я покажу вам эту методу в подробности».

Перед самым отъездом моим он еще раз прислал за мною. Я вошел. Он в одной руке держал лист бумаги, в другой — карандаш. «Я хочу писать к государю, — говорил он, обратясь ко мне. — Василий (позвал он человека), мы с тобою будем работать ночью. Теперь еще рано. Который час?» — «Три часа», — отвечали ему. «Как идет время!» Потом, обратившись ко мне, он начал говорить: «Я смерти не боюсь. Я готов схоронить жену, детей. Я знаю, что я их отдал Богу. Но думать, что ты сам уходишь, а их оставляешь чувствовать одиночество, — вот что больно!» Потом, помолчав, продолжал: «Но зачем я задерживаю вас такими скучными мыслями! Мне надо устроить дела мои. У меня все разбро-

сано, в беспорядке. Верно, оставить все жене, привести в порядок. Мне уже нельзя; вы видите, в каком я положении!» При прощанье он пожал мне руку и сказал: «Прощайте!.. Бог знает, увидимся ли еще». Я было возразил против этого надеждою, но он отвечал: «Ах! Как часто и я отходил так от одра друзей моих и уже больше их не видал!.. Бог с вами! Благодарю вас за эти три дня, в которые вы мне принесли столько радости». Я вышел.

12/24 апреля я был в Карлсруэ у И. П. Озерова. По причащении детей его, я готовился уже отправиться обратно в Стутгардт, как приходит известие, что В. А. Жуковский скончался в ночь с пятницы на субботу в 1 ч. и 37 минут пополуночи. Вслед за тем получил и я письмо от человека, находившегося неотлучно при покойнике до самой последней минуты. Он извещал меня, что еще в пятницу вечером никто не мог думать, что наш почтенный старец так скоро кончит жизнь свою. В час пополудни мы отправились вместе с г. Озеровым в Баден; с нами вместе прибыл из Франкфурта старик Рейтерн, безрукий воин русской службы, которому не суждено было принять последний вздох своего друга и зятя. Вошед в комнату, где лежал представльшийся еще в кровати, обставленный кругом цветами и обвитый большою гирляндою из неувядаемой зелени, я думал видеть более усталого певца, тихим сном покоившегося на лаврах, нежели обыкновенного мертвеца. Кротость и спокойствие, сиявшие на лице его, ясно свидетельствовали о той тихой кончине, какую ему послал Бог. Из рассказов того же человека я узнал, что он с пятницы на субботу к вечеру был больше в забытьи; однако узнал и жену, и детей своих; к ночи же уснул и спал самым покойным сном, пока в половине второго часа пополуночи два последние вздоха, отличавшиеся от обыкновенного дыхания спящего человека только тем, что они следовали реже один за другим, не окончили его телесного существования на земле... Мы начали литию. Продолжение пасхального попразднества как нельзя лучше шло к настоящему случаю; и когда я, стоя лицом к лицу умершего, возгласил: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав»[7], — то мне казалось, что он сам еще внимает сему торжественному гимну сквозь охладевшие черты еще жившего выражением лица своего. Признаюсь, никогда еще и мне самому не доводилось чувствовать всю великость истины, заключавшейся в этой торжественной песни воскресения, как в эту минуту, над бренным остатком человека, которого душа была глубоко проникнута живою верою во Иисуса Христа!..

После службы супруга Жуковского еще раз с восторгом вспомнила о той святой радости, которой он был исполнен после причащения Св. Таин. «Разве вы не знаете, — говорила она мне, — что с ним было чудо? Он мне сам говорил, что видел Иисуса Христа, который явился ему в телесном виде». Я понял вполне это видение, ибо был свидетелем его сердечного восторга по принятии Св. Таин. Редко можно встретить подобного чело-

века, который бы так безбоязненно смотрел в глаза смерти, как смотрел на нее наш поэт-христианин и христианин-философ Жуковский. С самого первого дня своей болезни, которая серьезно началась с 1/13 апреля, он уже стал помышлять о переходе в другой мир. Еще за три недели до своей смерти, в кругу друзей своих, рассуждал он о блаженстве соединения с Богом через И. Христа, ожидающем христианина за гробом. С ними же окончательно обсудил он и будущность своего семейства, вскоре долженствовавшего осиротеть. Как спокойно обдумывал он свою кончину, видно особенно из одного завещания его своему человеку. «Василий, — говорил он ему уже лежа в постели, — ты, когда я умру, положи мне сейчас же на глаза по гульдену и подвяжи мне рот; я не хочу, чтобы меня боялись мертвого». В таких простых словах кто не увидит выражения того добродушия, которое было постоянным характером его при жизни и которое не слетело с лица его и после того, как душа оставила его тело?

14/26 апреля мы собрались все вокруг тела покойного. Ее императорское высочество государыня великая княгиня Ольга Николаевна[8], по первому телеграфическому известию в Стутгардт о кончине столь уважаемого старца, отправила в Баден своего секретаря Н. Ф. Аделунга для выражения своего соболезнования осиротевшему семейству и своих певчих для отпевания тела покойного. Приехали также из Стутгардта кн. Щербатов и Н. М. Докучаев, из Карлсруэ И. П. Озеров; собрались и все русские, находившиеся в это время в Бадене. Здесь перед отпеванием мы еще раз собрались в кругу семейства: вдова Жуковского, безрукий Рейтерн, тесть покойного, с своею супругою, г-жа Сидов и я. Каждому из нас равно дороги были последние слова Жуковского, но для всех вместе самое большое утешение составляла мысль о его истинно христианской кончине. Так, г-жа Жуковская рассказала нам, что, накануне смерти своей, в пятницу, он уверял ее еще раз, что он видел И. Христа. «Да, друг мой, — говорил он ей, — это было не видение, я видел Его телесным образом; я видел Его, как Он стоял сзади детей моих в то время, когда они приобщались Святых Таин. Он будет с ними. Он мне Сам сказал это». После подошла к нему г-жа Сидов, и он, взглянув на нее, сказал: «Скажите мне, какие мощи на вас? Нет, я серьезно спрашиваю вас, есть ли на вас мощи?» Она действительно имела на себе крест с частию древа Господня: но, по собственному ее признанию мне, никто не знал о том, кроме нее самой. Она вынула этот крест и дала ему облобызать оный, что он и сделал с большим благоговением. В пятницу же, поздно вечером, он подзывает к себе маленькую дочь свою, Сашу, и говорит ей: «Поди скажи матери: я теперь нахожусь в ковчеге и высылаю первого голубя — это моя вера, другой голубь мой — это терпение»[9]. Уже поздно вечером, когда он находился в забытьи и с трудом узнавал своих, он заметил подле себя тещу свою и говорит ей: «Теперь остается только материальная борьба; душа уже готова!» И это было последнее слово

Жуковского, который, как зрелый плод, был бережно снят Десницею Божиею с древа земной жизни его...

В понедельник, 14/26 апреля, в 4 часа, мы совершили отпевание над телом усопшего при многочисленном стечении народа. Потом вынесли гроб, и в 6 часу тронулся с места погребальный поезд. По городу гроб несли на руках; впереди шли певчие с пением «Святый Боже!» и несли на пяти подушках тридцать орденов и знаков отличий, русских и иностранных; я шел в полном облачении, а за мной следовал римско-католический декан города Бадена в своей духовной форме — почесть исключительно оказанная памяти Жуковского, имя которого давно уже известно стало в Германии. Его похоронили на загородном баденском кладбище в склепе. Останется ли тело его там или будет перенесено куда в другое место, но, во всяком случае, и это временное место погребения великого поэта русского будет увековечено памятником[10], и, верно, всякий русский, бывающий в Бадене, посетит это место и с благоговением прочтет: здесь было погребено тело Жуковского*.

Сколько я мог узнать, после смерти Жуковского осталось довольно сочинений. Так, кроме его поэмы «Странствующий жид», осталась еще одна песнь «Илиады» и много мелких произведений, большею частию в прозе. О «Странствующем жиде» я с любопытством расспрашивал у писца, которому Жуковский диктовал эту поэму, и узнал от него, что в этой поэме покойный Василий Андреевич, взяв за основание известную легенду о Вечном жиде, изобразил всю чудную историю народа еврейского со времени его отвержения Богом до последней судьбы его, открытой в Апокалипсисе.

Судя по некоторым тирадам, которые писец его мог запомнить, это должно быть чудное произведение созревшего, но никогда не постаревшего гения Жуковского. Можно себе представить все величие картин, когда знаешь, что он ведет своего странника по всем векам, бросает его во все страшные мировые перевороты, в которых погибали целые племена и народы и оставался один только он, все с тою же печатию отвержения на лице, все с теми же неизнашиваемыми одеждами на теле, все с тою же грустию в сердце о неизбежном мучении на земле. Наконец наш бессмертный поэт приводит его на остров Патмос, где он встречает старца Иоанна, который открывает ему последнюю судьбу его[11]. По рассказам писца, Жуковский писал эту часть почти словами Апокалипсиса[12], перелагая их только в свой классический гекзаметр. К сожалению, эта великая поэма не докончена. Но и это, конечно, не без особого Промысла Божия: ибо если Ему угодно было внушить своему избранному певцу такое вдохновение — а в этом мы не смеем сомневаться, — то

* Как известно, Жуковский похоронен в Невской лавре. Памятник, воздвигнутый над его могилою, по общественной подписке, содержит в себе, к сожалению, неверные обозначения дня и года его рождения. Он родился 29 генв. 1783 г.

Его же премудрости прилично было и остановить трость книжника-скорописца на том пределе, дальше которого еще не возносилось ведение человека, озаренное даже Духом Святым. Насчет перевода «Илиады» В. А. Жуковский еще за полтора года перед сим сообщил мне по секрету, что имеет мысль перевести и «Илиаду», как он переводил «Одиссею». «Для этого, — говорил он, — я беру в руки Гнедича, прочитаю из него страницу или две, потом прочитаю то же самое по-немецки и затем начинаю писать сам по чутью, с каким я переводил и „Одиссею". Выходит иногда, что мой стих сходится от слова до слова со стихом Гнедича, и тогда я замечаю, что это все-таки стих мой; а в другой раз я поправляю свой перевод по Гнедичу и тогда тут же делаю выноску, что это не мой стих. Но (прибавил он) вы пока об этом не говорите никому».

В 1850 году я был тоже в Бадене по делу и оставался там несколько дней. Пользуясь этим временем, Василий Андреевич просил меня просмотреть некоторые написанные им статейки религиозного содержания[13]. «Я хочу, — говорил он мне, — попробовать, нельзя ли сделаться философом, не учившись философии, а только зная одно Священное писание. Но как я догматике не учился, то вы посмотрите хорошенько, не сделал ли я какой ошибки против догматов. Можно хорошо понимать христианство: но мы живем в церкви и без церкви жить не можем. Человеку нужна власть; надобно, чтоб над ним был авторитет, который бы всегда имел право сказать ему: ты заблуждаешься. Что сталось с протестантством после того, как Лютер отверг церковь? Церковь его была тогда и больна, и развращена: да он, восстав против злоупотреблений, действовал так, что подрывал самые основания церкви. И вот теперь в Германии смотрите, что делается в протестантстве. Что такое церковь? Это круг, в котором можешь обращаться сколько хочешь с твоим разумом; но не выходи за пределы этого круга. А вне церкви что? Безграничная пустота, простор для блуждающих». Эти мысли были любимою темою его частых собеседований со мною. Христианство было для него всегдашним предметом глубоких изучений.

В заключение я не могу не вспомнить и с своей стороны о каком-то предчувствии близкой потери для России ее заслуженного поэта. Это было в феврале нынешнего года. Василий Андреевич прислал мне маленькое собрание своих стихотворений, всего на восьми печатных осьмушках, посвященных им своим детям: Павлу Васильевичу и Александре Васильевне Жуковским. В этой брошюрке было всего шесть стихотворений, из которых первые два: «Птичка» и «Котик усатый», сложены им для первого учения детей своих русскому произношению. Но надобно было, чтобы, получивши эту книжку, я развернул ее на пятом стихотворении «Царскосельский лебедь». Это была уже не детская басня, но какое-то таинственное описание прежде знакомого лебедя, который жил, был молод, состарился в одиночестве, пропел свою лебединую песнь.

А когда допел он, на небо взглянувши
И крылами сильно дряхлыми взмахнувши,
К небу, как во время оное бывало,
Он с земли рванулся... и его не стало
В высоте... И навзничь с высоты упал он;
И прекрасен мертвый на хребте лежал он,
Широко раскинув крылья, как летящий,
В небеса вперяя взор уж негорящий[14].

Прочитав это стихотворение и перевернув страницу, на которой последний (VI) номер составлял «Боже, царя храни!», я невольно подумал: неужели это в самом деле предчувствие скорой кончины его самого, так поэтически изображенной в этих последних строках?[15] Как бы то ни было, но после, когда я стоял над бездыханным телом Жуковского, мне невольно вторились его три последние стиха:

И прекрасен мертвый на хребте лежал он,
Широко раскинув крылья, как летящий,
В небеса вперяя взор уж негорящий...

Вл. Кривич

НА КЛАДБИЩЕ АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ ЛАВРЫ 29-го ИЮЛЯ 1852 ГОДА

О дети, о друзья, на мой спокойный прах
Придите усладить разлуку утешеньем.
В сем гробе тишина; мой спящий взор закрыт;
Мой лик не омрачен ни скорбью, ни мученьем,
И жизни тяжкий крест меня не бременит.
Спокойтесь, зря мою последнюю обитель;
Да мой достигнет к вам из гроба тихий глас,
Да будет он моим любезным утешитель;
Открыто мне теперь все тайное для вас.
Стремитесь мне вослед с сердечным унованьем,
Хранимы Промысла невидимой рукой:
Он с жизнью нас мирит бессмертья воздаяньем;
За гробом, милые, вы свидитесь со мной[1].

Это голос нашего ветерана-поэта, которого мы недавно похоронили, голос нашего Жуковского. Идите, русские люди, и поклонитесь праху поэта; этот прах теперь покоится не в чужой земле, не между чуждых гробов, а покоится на родине, подле другого драгоценного нам праха, близ гробов многих знаменитых русских людей. Поэт любил мечтать о прекрасной загробной жизни, которая дается в дар любящим все прекрасное, и вот он дождался: его прекрасная душа теперь наслаждается и вечно будет наслаждаться этою жизнию; а его могилу с любовью будут посещать и наши внуки, и правнуки, и все грядущие поколенья. Завидная участь! но такова участь всех, кто может от чистого сердца сказать вместе с Жуковским:

Не в радостях быстрых, не в ложных мечтах
　　Я видел земное блаженство,
Что может разрушить в минуту судьба,
Эсхин, то на свете не наше;
Но сердца нетленные блага: любовь
　　И сладость возвышенных мыслей...
При блеске возвышенных мыслей я зрел
　　Яснее великость творенья;
Я верил, что путь мой лежит по земле
　　К прекрасной, возвышенной цели[2].

Я не был в церкви, где стоял гроб Жуковского, не видал печальной церемонии при отпевании, потому молчу об этом, в надежде услышать от других красноречивые описания. В то время я бродил по кладбищу, беспрестанно подходя к новой могиле, уже готовой принять прах поэта. Здесь стояли два могильщика, приготовив полотно для спуска гроба; приходившие беспрестанно к ним обращались с вопросами, и они часто указывали на соседнюю беломраморную гробницу, перед которою всякий останавливался с благоговением, произнося имя Карамзина. Прошло с лишком двадцать шесть лет, как по всей Руси пронеслась горестная весть об утрате историка русского народа; двадцать шесть лет назад эта могила была еще свежая, и много горячих слез на нее падало; в двадцать шесть лет много памятников окружило эту славную могилу, и наконец возле нее осталось только одно праздное место. Теперь и оно занято, но занято прахом славного поэта, который был не чужд Карамзину, проходя с ним по одному поприщу — благородному и возвышенному: он может назваться родным братом Карамзина. Где же лучше всего, как не тут, можно было избрать место для могилы Жуковского? Эти две могилы родственны между собою точно так же, как в некотором от них отдалении родственны две славные могилы, перед которыми с благоговением останавливаются русские люди, могилы Гнедича и Крылова. Друзья и сослуживцы при жизни, оба эти поэта дружно и благотворно действовали на своем поприще: один нас знакомил с богатою гомеровскою поэзией[3], подарив нам книгу, по которой несколько веков вся Греция воспитывала свой дух, по которой и мы часто воспитываем свое сердце и развиваем свой эстетический вкус; другой знакомил русских людей с самим собою и, показывая им все их стороны, заставил их с уважением смотреть на самих себя. Оба они зараз исполняли великую задачу: один старался, чтобы русский человек сознал самого себя, — как необходимое дело для всякого духовного развития; другой старался, чтобы русский человек узнал то, что было вне его сферы, другой мир, другую жизнь, и чрез то получил бы возможность ясно сознавать свою общечеловеческую сторону и только под ее строгим влиянием развивать свою народность. Такую же связь в действии, на одном и том же поприще, мы замечаем между Карамзиным и Жуковским: оба они особенно действовали на наше сердце, возбуждая в нас эстетическое чувство; один увлекал прекрасною, гармоническою, простою речью, до него неслыханною, другой — прекрасным поэтическим стихом, также прежде неслыханным; один нас знакомил с нашею собственною историей, заставил нас оглянуться на наше прошедшее и сознать нашу многозначительную историческую личность; другой нас знакомил с чужим поэтическим и вместе историческим развитием; один в нас возбуждал прекрасное чувство народное, другой прекрасное чувство общечеловеческое, знакомив с поэзией сердца, с его тайными и высокими стремлениями, с его отрадами и страданиями, с его грустью и сладкими надеждами. И их ли не следует

соединить одним венком? Их ли могилам не прилично быть вместе? Но я обращаюсь к своим наблюдениям. Могила, приготовленная для Жуковского, была выложена кирпичом, выбелена известью и украшена прекрасными цветами — украшение весьма приличное для могилы поэта. Вокруг нее беспрестанно толпился народ. Сюда приходили старики, бывшие свидетелями первой славы Жуковского, с увлечением молодости запомнившие каждый его стих; сюда приходили молодые люди, узнавшие о Жуковском уже на школьных скамейках, привыкшие с его именем соединять чистый романтизм, туманную мечтательность и грусть по сердечной утрате; они никогда не видели Жуковского, но представляли себе его маститым благочестивым старцем, который мог назваться почтенным дедом для их поколения; сюда прибегали и дети, с невинным любопытством заглядывая в могилу и восхищаясь более ее цветами; они еще ничего не могли знать о Жуковском, но будет время, когда их юные сердца сильно забьются при этом имени, когда они признают свое с ним родство, потому что Жуковский по преимуществу поэт юности и любви; будет время — и вспомнят они этот день и этот час, когда они с детским любопытством заглядывали в могилу Жуковского, и тогда расскажут о том своим меньшим братьям и товарищам. Сюда приходили и дамы, которые, может быть, не раз мечтали девическими мечтами над поэзией Жуковского, и, может быть, не раз при чтении в их глазах блестели слезы. Я наблюдал над выражением лиц всех взрослых приходящих и на всех читал одно, читал, что они хорошо знают, кто был Жуковский, и пришли на его могилу не из простого любопытства, а из любви и сочувствия к поэту, пришли на погребение человека родного. Смотря на все это, я невольно припоминал прекрасные стихи Пушкина о Жуковском, который называл певца «Руслана и Людмилы» своим учеником, превзошедшим учителя. Я думал, как было бы прилично читать эти стихи на памятнике Жуковского:

Его стихов пленительная сладость
Пройдет веков завистливую даль,
И, внемля им, вздохнет о славе младость,
Утешится безмолвная печаль
И резвая задумается радость[4].

Я прислушивался к голосам и в некоторых из них мог разобрать повторение тех же самых стихов и выражение того же самого желания. Не раз слышал я шепот почтенных людей: славный был человек Василий Андреевич, прекрасный человек! и чаще всего: он был добрый человек. Да, он был добрый, и может ли поэт быть недобрым человеком. Поэт всегда сходит в могилу увенчанный двойным венком — венком певца и венком доброго, великодушного, сострадательного и милосердого человека. И эти две славы от современников переходят в другие поко-

ления. Я помню и всегда буду помнить тот вечер, когда я посетил Званку, жилище Державина на берегу Волхова: добрые крестьяне не могли понять моего чувства как чувства к славному родному поэту; они не знали, что между нами Державин славится славой поэта; между ними он славится только славою доброго человека, доброго барина. И как приятно, как отрадно было слышать тот общий голос, голос старика и молодого, по прошествии 34 лет после смерти доброго поэта; все единодушно говорили: добрый был человек Гаврило Романович, дай Бог ему царство небесное! И, верно, еще много лет будет жить эта слава доброго человека на берегах Волхова и утешать собою всех добрых людей. Верно, и о Жуковском долго не забудется та же слава, верно, со слезами благодарности многие будут о нем вспоминать как о великодушном и добром человеке и передавать о том весть своим детям. Слава его как поэта никогда не забудется. Я был свидетелем прекрасного чувства и о нем расскажу вам, мои читатели.

Я стоял близ кладбищенских ворот, прислонившись к одному памятнику; входит дама, лет около тридцати, одетая просто, оглядывается во все стороны и, не видя того, чего искала глазами, обращается ко мне с просьбою показать ей могилу Жуковского. Я провел ее к могиле. Увидав цветы, украшавшие внутренность еще праздной могилы, она убедительно просила могильщика достать ей на память один цветочек. Могильщик отказал, имея, вероятно, в виду, что если все захотят последовать ея примеру, то наконец в могиле не останется ни одного цветка. Но она не отставала, просила его самым нежным, умилительным голосом, говорила, что она уезжает за полуторы тысячи верст, что ей приятно увезти с родины хотя один листик из цветов, украшающих могилу поэта Жуковского; просила не какого-нибудь роскошного цветка, а листик от самого простого из всех, какие там были. И могильщик не мог более отказывать такой просьбе, молча спустился в могилу и достал ей маленький цветочек. Бережно она завернула его в свой платок, как какое-нибудь сокровище. Конечно, скоро увянет и засохнет этот цветок, но, верно, и засохший он будет храниться долго-долго где-нибудь в почетном месте, тесно связывая с собою воспоминание о поэте. Вот прекрасная дань славе поэта! И нужно сказать, что русские умеют уважать память своих замечательных отживших писателей. Как часто случается на могиле того или другого писателя видеть венки и разложенные цветы и как радостно смотришь на это, зная, что никого из кровных родных не осталось после покойника; чья же рука могла украсить его могилу? Вот и теперь роскошный свежий венок колеблется на памятнике дедушки Крылова; и какой добрый внук мог бы лучше украсить могилу своего родного деда? Всякий невольно с умилением останавливается перед этим памятником и долго на него смотрит и, верно, благодарит того, чья рука позаботилась принести прекрасный венок. А сколько таких венков на

славных могилах бывает в праздник Александра Невского, когда сюда стекается не одна тысяча народу! Спасибо вам, русские люди!

В половине первого часа гроб Жуковского торжественно внесли на кладбище, которое наполнилось народом. Погребение осчастливили высочайшим присутствием его императорское высочество наследник цесаревич со своею августейшею сестрою ея императорским высочеством великою княгинею Мариею Николаевною. Здесь можно было видеть много заслуженных людей, трудящихся на различных поприщах; все здесь были почитатели поэта, все теснились к его могиле, чтобы бросить горсть песку, чтобы сказать над гробом: мир твоему праху! С этого дня эта свежая могила будет долго украшаться прекрасными цветами, которые нарочно будут с собою приносить русские люди в знак памяти о поэте.

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть
И равнодушная природа
Красою вечною сиять[5].

М. П. Погодин

ПОЕЗДКА В БЕЛЕВ

Авдотья Петровна[1] сидела за пяльцами, вышивая шелками одежду на престол в Дерпт, с таким искусством, которое принесло бы честь молодой мастерице. <...>

После первых приветствий и сообщения московских, впрочем не очень и любопытных, новостей, разговор обратился тотчас к Жуковскому. Вся комната была полна воспоминанием о нем. Мы встали. Вот три картины, которые висели всегда над его письменным столом: портрет друга его молодости, его суженой, которой, однако, судьба не допустила принадлежать ему, Марьи Андреевны Протасовой, вышедшей потом замуж за дерптского профессора Мойера, ее могила в Дерпте; могила старшей сестры ее, «Светланы», Александры Андреевны, бывшей за А. Ф. Воейковым. Об этих картинах упоминает Зейдлиц в биографии Жуковского, который, отъезжая в чужие края, оставил было их у него в Петербурге, потом воскликнул в задумчивости, между тем как Зейдлиц подписывал у него какую-то деловую бумагу: «Нет, я с ними не расстанусь!» С этими словами он вынул их из рам, сложил и велел отнести в свою карету[2]. С тех пор они висели у него всегда перед глазами в его кабинете, а по кончине его достались А<вдотье> П<етровне>. Тут же портрет Александры Андреевны Воейковой и картина, представляющая Жуковского с А. И. и Н. И. Тургеневыми, у решетки Летнего сада, на проводах Сергея Ивановича[3]. На другой стороне портрет Жуковского почти во весь рост и портрет дочери Анны Петровны Зонтаг с ее мужем. <...>

<...> К портретам, приводившим живо на память прошедшее время, присоединились три тома писем Жуковского, обнимающих всю его жизнь и хранящихся в особом кивоте у А. П., и, наконец, живые рассказы, которых не заменяют никакие картины и никакие писания.

Мне хотелось узнать об отношениях Воейкова к семейству Протасовых. Жуковский привез его после путешествия, а познакомился с ним в Москве, вскоре по выходе из пансиона.

Мягкость, нерешительность, какая-то особая мистическая покорность обстоятельствам или воле Провидения, как он сам говорил, вот отличительные свойства Жуковского, бывшего не способным ни к каким энергическим действиям. Эта мягкость помешала ему соединиться с предметом любви своей и побудила согласиться на брак ее с посторонним человеком.

Авдотья Петровна была особенно дружна с Марьей Андреевной. Она увидела ее в день ее смерти 1823 года, и вот каким образом: в деревне у нее сильно занемог ребенок, сын Рафаил двух лет, которого она горячо любила. Однажды он сильно страдал, сидя на своей кроватке.

Она не спускала с него глаз, но вдруг нечаянно взглянула на дверь и видит так живо входящую Марью Андреевну, что бросается к ней навстречу, восклицая: «Маша!» Но в дверях никого и ничего не было. Ей сделалось дурно. В эту самую ночь, в этот самый час скончалась в Дерпте Марья Андреевна[4]. <...>

Зашла речь о детях Жуковского. Не странно ли располагается судьба русских людей. Дети Жуковского должны бы, кажется, здесь, в Белеве, найти себе приют, на руках у друзей их отца! Нет, они отброшены на берега Рейна и едва ли знают настолько русский язык, чтоб понимать сочинения своего отца. Авдотья Петровна годами не имеет от них известия.

Так воспитаны отдельно дети Карамзина и очутились в конных артиллеристах. О детях Пушкина и говорить нечего: где они, что они! Какое сношение имеем мы с детьми Хомякова, о которых так горячо писал ко мне Шевырев из Италии. Мы только встречаемся с ними случайно. Молодое поколение вообще как будто чуждается старых друзей. Грустно, а ничего не сделаешь, как говорят наши деловые люди. Мы были гораздо привязаннее к старому, старым и старине: вот, например, — готовишься уже на том свете встретиться с Жуковским, а нет, и на этом еще с удовольствием посещаешь место его рождения и воспитания; собственные же дети и знать их не хотят. Впрочем, может быть, это старческое мое брюзжание.

<...> Мы сделали план с Н. А.[5], чтоб завтра, в пятницу, отобедать пораньше и тотчас поехать в Белев, завернуть по дороге в Мишенское, колыбель Жуковского, в Белеве взять тройку, чтоб ехать через Козельск в Оптину пустынь. <...> В субботу поутру, после обедни, из Оптиной пустыни отправиться в Долбино, навестить вдову Ивана Васильевича[6] и осмотреть места, где провел он последние годы своей жизни. <...> План наш был исполнен, но только в первой его части. Утро в пятницу прошло в воспоминаниях о всех членах замечательного семейства и о наших общих друзьях, которых число беспрестанно уменьшается. После раннего обеда мы тотчас отправились.

Мишенское находится в трех верстах от дороги, немного в сторону. Заросший травою двор, ветхие службы, низенький одноэтажный дом, полуразвалившиеся флигеля, запущенный сад — все это уже не в том виде, как было, когда родился и жил здесь Жуковский. Одна церковь сохранилась совершенно. И холм в ее соседстве, с крутым обрывом над обширною, ровною луговиною, — холм, на котором Жуковский перевел «Сельское кладбище», Грееву элегию, напечатанную Карамзиным в «Вестнике Европы» 1803 года[7].

Уже бледнеет день, скрываясь за горою,
Шумящие стада толпятся над рекой,
Усталый селянин медлительной стопою
Идет, задумавшись, в шалаш покойный свой[8].

Место действительно живописное, с видимой далью. Молодому впечатлительному юноше можно было прийти в восторг!

С неизъяснимым удовольствием припоминал я здесь разные стихотворения Жуковского и всю жизнь его, с которою особенно познакомил теперь нас, его соотечественников, Зейдлиц.

Характер Жуковского есть наше сокровище. Никто больше его не подходит к Карамзину, впрочем одною стороною. Карамзин — тому нет уже образца.

Мишенское, село почти подгородное, где Жуковский родился, воспитывался, где открылся его талант и где он сделал первые опыты, где погребен его отец и его друзья, должно бы быть как-нибудь обращено на общественное доброе дело. Владетельница его, дочь Анны Петровны Зонтаг, рожденной Юшковой, племянницы по матери Жуковского, в замужестве за австрийским чиновником, поселившаяся в Австрии, уступит охотно господскую усадьбу с садами и службами под благотворительное заведение. Пусть бы здесь воспитывались бедные белевские девочки, а в Белеве мальчики. Выручка от сочинений Жуковского могла бы быть обращена хоть отчасти на содержание. Много соберут друзья и родные. Остальное, верно, будет рад пожаловать августейший воспитанник. А всего лучше приобрести Мишенское сыну Жуковского и здесь поселиться. <...>

Было еще светло. Мы отправились осмотреть так называемый дом Жуковского[9], выстроенный им для его матери, где он жил с нею, впрочем, одну только зиму. Князь Вяземский думает устроить здесь училище. Дом этот находится почти за городом — и, разумеется, должен быть возобновлен, если помещать в нем какое-нибудь заведение. Выстроенный с лишком 60 лет назад, он теперь чуть держится. Здесь жил Жуковский зиму 180.. года[10]. К этим покоям относятся следующие места из писем Марьи Андреевны Мойер, друга души его со времен детства, от которой он должен был отказаться, повинуясь непреклонной воле ее матери, не хотевшей нарушить закон о родстве, хоть и не совсем близком (из письма Зейдлица).

Мы обошли все комнаты в верхнем этаже, где помещается хозяин, бедный чиновник, обремененный многочисленным семейством. Ему очень хочется освободиться от дома, составляющего все его достояние. Передать ему цену — доброе дело в память о Жуковском. При доме есть порядочный сад, то есть пустырь с несколькими яблонями, заросший травою, где можно развести сад. Училище по отдаленности от средины города устроивать здесь нельзя: учеников сюда и калачом не приманишь, а разве приют, где дети жили бы безвыходно или по крайней мере оставались на целый день, — или, наконец, перевести сюда городскую библиотеку Жуковского. Что-нибудь, а надо делать поскорее.

Нынешний государь был в этом доме еще наследником в 1837 году[11], подарил тогдашнему владельцу, какому-то чиновнику, золотую табакерку и сказал: «Береги же дом Жуковского!» Добрый человек так

возгордился, что к нему приступу не было. Потом, по отъезде великого князя, он поскакал по городу без шляпы, держа пожалованную табакерку над головою, и начал вести себя непристойно, делать разные грубости начальникам. Напрасно они увещевали его. «Наследник велел мне беречь дом Жуковского», — твердил он в ответ и оправдание. Ему велели подать в отставку. «Никто не может меня отставить. Мне наследник велел беречь дом Жуковского», — повторял он беспрестанно и написал грубое письмо к губернатору[12].

Между тем смерклось, домой мы воротились уже поздно вечером, и разговор обратился опять к старине. Авдотья Петровна рассказала нам несколько примечательных случаев из жизни покойных обитателей этой исторической местности.

Жуковский был в Белеве в последний раз в 1837 году, путешествуя с наследником, нынешним государем. Не доезжая Москвы, он испросил себе увольнение на несколько дней, чтоб посетить свою родину. Авдотья Петровна только что воротилась тогда из-за границы, где во Франкфурте-на-Майне была свидетельницею городских приготовлений поднесть лавровый венок осьмидесятилетнему Гете[13]. Она вздумала увенчать таким венком и Жуковского в его родном городе и сообщила эту мысль обывателям. Венок был заказан в Москве по ее рисунку: числом листов соответствовал числу лет Жуковского, вставленными изумрудами изображались капли росы. В Туле наследник узнал как-то о приготовленном торжестве и сказал Жуковскому, что его собираются увенчать в Белеве. Жуковский написал тотчас Авдотье Петровне, чтобы она убедила белевцев отложить их намерение: иначе он не приедет. Это очень огорчило Авдотью Петровну, но делать было нечего, и она должна была оставить свою мысль, стоившую ей очень дорого. Жуковскому была поднесена хлеб-соль на серебряном блюде. Его встретил весь город; вечером была иллюминация, и он прогуливался по бульвару, окруженный толпою.

Обед в пятницу приготовлен был в библиотеке Жуковского. Она украшена была, как и портрет Жуковского, цветами и зеленью. При входе играла музыка, крыльцо окружено толпами народа. <...>

<РЕЧЬ М. П. ПОГОДИНА НА ОБЕДЕ, ДАННОМ В ЕГО ЧЕСТЬ>

Я приехал в Белев на пути в Киев, чтоб посетить дорогих друзей, из которых, осмеливаюсь так назвать, старшая, Авдотья Петровна Елагина, была добрым гением всех моих товарищей, старших и младших, во все

продолжение нашей литературной и общественной жизни, от которой все мы, в случае нужды, получали всегда и советы, и одобрение, и утешение.

Второй моей целью было увидеть места, освященные началом поэтической деятельности Жуковского, который, вслед за Карамзиным, имел благотворное влияние на все наше поколение, теперь уже отживающее свой век. Мне хотелось увидеть места, где, в кругу родных, получил он первые самые сильные впечатления, где он делал первые свои опыты, произнес первые звуки, которые впоследствии отозвались на судьбе всей русской словесности — и на душе его августейшего воспитанника, нынешнего государя-освободителя. Вот в какой связи находится Белев с современною русскою жизнию и, следовательно, всею русскою историею.

И вам угодно было, Мм. гг., чтобы в этих приснопамятных местах я получил такой лестный для меня знак внимания и сочувствия к моим посильным трудам или хоть к добрым намерениям!

Не стану говорить, какое новое удовольствие ощущаю в эти минуты, удовольствие неожиданное и тем более сладкое.

В 1845 году я имел честь принимать участие в открытии памятника Карамзину в Симбирске. За столом мне привелось высказать желание, чтобы в Симбирске всегда находились люди, готовые идти по следам Карамзиных, Дмитриевых, Тургеневых, Языковых, тамошних уроженцев. Здесь, в Белеве, позвольте мне пожелать, чтоб духовное наследство Жуковского и, если могу присоединить к нему Киреевских, его близких родных и последователей, — эта искренняя горячая любовь к добру, просвещению, свободе, благородной, человечной, благочестивой, всегда здесь не только не оскудевала, но развивалась, процветала и распространялась на пользу и славу Отечества. <...>

Кстати, приложу здесь краткую записку о Жуковском[1], написанную Авдотьей Петровной для Шевырева и найденную мною в его бумагах. Содержание сходно с запискою ее покойной сестры Анны Петровны Зонтаг[2], написанной для меня и напечатанной в «Москвитянине», но с некоторыми новыми подробностями. Впрочем, повторение таких сведений не мешает, а сходство служит подтверждением достоверности.

Жуковский родился в 1783 году, в двух верстах от Белева, в селе Мишенском, известном в округе живописным своим местоположением. Из первого его младенчества дошел до меня один только рассказ. Старушка наша мама, входя однажды в большую гостиную, обомлела от изумления, увидя на полу, в дверях, явление Богородицына образа: образ этот висел в углу, высоко на стене, и Жуковский, стоя на четвереньках, срисовал его через всю горницу, мелком на полу. В 90-м году переехал он из Мишенского в Тулу (где мой отец, П. Н. Юшков, служил). Сперва ходил он в народное училище, но оттуда был выгнан за неспособностью;

потом учился дома, у Филата Гавриловича Покровского (печатавшего некоторые статьи в «Приятном и полезном препровождении времени», под именем Пустынника Алаунской горы), у г-на Жоли и иных. Тут начал он писать стихи и трагедии. Первая была, кажется, «Камилл, или Освобожденный Рим»; вторая — «Г-жа де Латур», из «Павла и Виргинии». Первую сыграли благополучно все дети между собою; представление второй неудачно кончилось, потому что зрители вместо платы принесли актерам конфект. В 96-м записали Жуковского в военную службу, и г. Постников, капитан Кексгольмского гренадерского полка*, отвез его в этот полк в Финляндию и через 2 или 3 года[3] привез назад в Тулу чуть ли не офицером в отставке. Тут начались у нас разные военные игры. Жуковский с линейкой в руках учил нас, девочек, маршировать; были сражения и пр. В 97-м, после кончины моей матери, Жуковский написал оду «К добродетели». Тогда же переселились мы все из Тулы в Мишенское и стали ездить ежегодно в Москву. В Москве Жуковский вступил в Университетский благородный пансион и скоро стал писать много и печатать в журналах, при пансионе издаваемых: «Утренняя заря» и пр., о которых может рассказать вам Антонский. Чуть ли не в тот же год стали они собираться к Воейкову на дачу на Девичье поле; установили литературное общество, и каждый член приносил еженедельно что-нибудь своего, для прочтения; Жуковский, двое Тургеневых, Андрей и Александр; двое Кайсаровых, Андрей и Михаил, Родзянка, который после сошел с ума, Воейков, Афросимов, Сухотин и многие другие. Мерзляков был главным руководителем и председателем. Кайсаров писал протоколы их заседаний. Скоро это общество сделалось подозрительно полиции и рассеялось, но, конечно, тут положено основание всему литературному поприщу Жуковского. В это же время, несмотря на ученье пансионское, Жуковский был записан в Соляной конторе и служил кем-то. Летом, уезжая в деревню, переводил он комедии Коцебу[4], некоторые немецкие романы, «Мальчик у ручья»[5] (который потому и назван «Мальчик у ручья», что начинается так: «Вильям сидел у ручья и плакал»), и Флорианова «Дон-Кихота». В 802 напечатал он первый важный стихотворный перевод свой: Грееву элегию, в «Вестнике» Карамзина; и потом, ободряемый похвалою Карамзина, сочинил также для «Вестника» повесть «Вадим Новогородский», которую не кончил, огорчившись смертью Андрея Тургенева, памяти которого и посвятил первый труд свой; половину года проводил он в Мишенском, там написал «Людмилу», «Громобоя» и прочитывал почти ежедневно стихи свои старушке, нашей бабушке, которая ими радовалась. — В 808 принял на себя издание «Вестника Европы» и, кажется, два года издавал его один («Марьина роща»), потом с Каченовским, которому наконец передал его совсем. В

---

* Нашлось письмо Жуковского из Кексгольма, где он описывает прибытие туда Суворова.

805 еще построил он собств<енный> дом, но провел там (вместе с семьей своей) только один год или, лучше сказать, одну зиму. В 811, после смерти бабушки, поселился он подле Орла, в деревне у тетки моей Протасовой[6], и тут написал послания «К Филалету», «К Батюшкову» и многие мелкие стихотворения. В 12-м, 2 августа, уехал к армии, не в силах будучи выносить слухи о победах и приближении французов. В Бородинском сражении был он в строю, в полку, собранном почти из волонтеров, на которых большое впечатление производили долетавшие к ним ядра. После взятия Москвы Кайсаров представил Жуковского Кутузову; с тех пор он был при нем, писал бюллетени, однако ж они не нравились и большая часть переделывалась Скобелевым на иной лад[7]. — После сражения при Красном занемог он сильной горячкой и долго не мог оправиться; тут отпустили его домой, он воротился к нам 6-го генваря 813, на себе испытав ужасы и бедствия этой войны. Весь 13-й год жили мы под Орлом, в деревне Протасовой; тут написал он послание Воейкову, перевел «Ивиковых журавлей», «Адельстана», «Светлану», «Пустынника» и почти все романсы и песни. В 14-м переехал он ко мне подле Белева же и тут написал «Эолову арфу», «Ахилла», перевел прочие баллады, «Библию», «Аббадону» и написал «Послание к Александру», за которое получил перстень и приглашение явиться в Петербург, что он, однако же, не сделал. В 15-м, в марте, уехал в Дерпт, где также у него было приятное литературное общество. В 16-м был назначен учителем рус<ского> языка к Александре Федоровне[8], в 17-м родился Александр Николаевич. Извините; мне скучно писать о Жуковском одни числа, а больше не смею. Его каждый день своею возвышенностию и чистотою мог бы служить образцом сердцу, стремящемуся к добру; если б попросить у него позволения написать его биографию, вероятно, можно бы сказать иное. Такая *жизнь*, не только недоступная пороку, но деятельно-прекрасная, могла бы служить опорою тем, кто постоянную возвышенность не считает мечтательным бредом, или *поэзией*. [Думаю, что о первой юности может многое сказать вам Антонский; я просила еще одного человека (очень скучного педанта, потому к вам его и не посылаю *собственнолично*) написать, что он знает о тех годах, когда издавался «Вестник». Авось вы что-нибудь и составите.]

Н. П. Барсуков

ИЗ КНИГИ «ЖИЗНЬ И ТРУДЫ М. П. ПОГОДИНА»

<...> Авдотья Петровна Киреевская возвратилась с детьми в Долбино. Сюда в начале 1813 года переехал Василий Андреевич Жуковский, ее близкий родственник, воспитанный с нею вместе, который еще с детства был с нею дружен. Жуковский прожил здесь почти два года[1]. В конце 1815 года он оставил свою белевскую родину; поехал в Петербург для издания своих стихотворений, надеясь возвратиться скоро, думая посвятить себя воспитанию маленьких Киреевских и вместе с тем принять на себя опекунские заботы[2]. Жуковскому, однако, не суждено было возвратиться в Долбино и поселиться «среди соловьев и роз». Он остался в Петербурге, вступил в службу при дворе; но и оттуда писал в свое любезное Долбино: «Знаете, что всякий ясный день, всякий запах березы производит во мне род Heimweh*»[3]. <...>

Несколько лет, проведенных вблизи такого человека, каков Жуковский, не могли пройти без следа для братьев Киреевских. Иван развился весьма рано. <...> Десяти лет Иван Киреевский был коротко знаком со всеми лучшими произведениями русской словесности и так называемой классической французской литературы, а двенадцати он хорошо знал немецкий язык. Конечно, тихие долбинские вечера, когда Жуковский почти каждый раз прочитывал что-нибудь, только что им написанное, должны были иметь сильное влияние на весь строй его будущей жизни; отсюда, быть может, его решительная склонность к литературным занятиям, идеально-поэтическое настроение его мыслей. Для Ивана Киреевского Жуковский всегда оставался любимым поэтом. Излишне, кажется, говорить об их дружеских отношениях, не изменявшихся во все продолжение их жизни. Жуковский горячо любил Киреевского, вполне ценя и его способности, и возвышенную чистоту его души. При всех литературных предприятиях Киреевского Жуковский спешил являться первым и ревностным сотрудником и, если обстоятельства того требовали, энергическим заступником[4]. Зная Киреевского, он всегда смело мог ручаться за благородство его стремлений, за искренность его желаний блага. Впоследствии Жуковский писал А. П. Елагиной: «...в вашей семье заключается целая династия хороших писателей — пустите их всех по этой дороге! Дойдут к добру. Ваня — самое чистое, доброе, умное и даже философское творение. Его узнать покороче весело»[5]. <...>

---

* тоска по родине (*нем.*).

<...> Все это [споры по поводу издания «Московского вестника»] огорчало Погодина и наводило на него даже уныние, апатию, но Жуковский явился его утешителем. «Благодарю вас, — писал он ему, — от всего сердца за ваше любезное письмо и за ваши литературные подарки. Будучи в чужих краях, я не мог познакомиться с вашим журналом — он где-то гуляет по Европе, а до меня не добрался. Здесь, в Петербурге, я просмотрел все книжки с большим удовольствием. Вы сами хороший работник и имеете умных сотрудников. Я от всей души пожалел о Веневитинове — чистый свет угас слишком скоро. У него было много прекрасного в душе, нравственного и поэтического. Шевырев прекрасная надежда. Хомяков поэт. В час добрый. Об вас не говорю. Вы вооружитесь не на шутку, чтобы действовать как настоящий рыцарь на поле славы литературной. Учитесь у Европы, но действуйте для России, для ее верного блага. Комментария на это не нужно — он был бы слишком долог, вы сделаете его сами. Не заглянете ли к нам в Петербург? Я бы рад был вас увидеть. Простите. Сохраните мне ваше дружеское расположение». <...>

<...> Запрещение «Европейца» огорчило всех благородных людей того времени и возбудило их справедливое негодование. <...> Но более всех оскорблен был Жуковский. Он, по свидетельству А. П. Елагиной[6], позволил себе выразиться пред императором Николаем I, что за Киреевского он ручается. «А за тебя кто поручится?» — возразил государь. Жуковский после этого сказался больным. Императрица Александра Федоровна употребила свое посредство. «Ну, пора мириться», — сказал государь, встретив Жуковского, и обнял его. <...>

Из многих разговоров, толков, пересудов и споров о чаадаевской статье в памяти Д. Н. Свербеева осталось слово о ней Жуковского: «Порицать Россию за то, что она с христианством не приняла католичества, предвидеть, что католическою была бы она лучше, — все равно что жалеть о черноволосом красавце, зачем он не белокурый. Красавец за изменением цвета волос был бы и наружностью и характером совсем не тот, каков он есть. Россия, изначала католическая, была бы совсем не та, какова теперь; допустим, пожалуй, что католическая была бы она и лучше, но она не была бы Россиею»[7]. <...>

<...> Во время пребывания Жуковского в Москве[8] Погодин часто с ним виделся. Слушал его рассказы об «Арзамасе», о смерти Пушкина, об его молодости. Вместе с тем Погодин ужасно досадовал «из самолюбия», что ему не удалось вместе с И. И. Дмитриевым и Жуковским побывать в Английском клубе. В то же время он убеждал Жуковского «приняться за переложение Киево-Печерского Патерика».

В это время друзья и почитатели Жуковского задумали в честь его дать праздник, устройством которого занимался Шевырев и писал Пого-

дину: «1) Цыган. 2) Лишних никого не будет, кроме знакомых Жуковского, приятелей и литераторов незнакомых. Но зато заплатим подороже. 3) Ужин будет славный, готовит повар покойного Василия Львовича Пушкина — воспоминание. 4) Не худо бы и сегодня вечером побывать в Сокольниках, чтобы видеть, как устроится дело. 5) О куплетах что же? — Мне некогда. Ты съездил бы к Баратынскому, который приглашен. 6) Приглашать надобно в половине 9 или в 8 часов. 7) Съезди к Жихареву — он живет на Пресне, в средней Пресненской улице, на даче Толстой. 8) Вы все ленивы, неповоротливы вы, живете за тысячу верст, и никто не хочет наведаться и пособить делу. Ты даже забыл о Загоскине, Верстовском, Аксакове, Гениште, за которых взялся».

Погодин, желая украсить этот праздник присутствием старого наставника Жуковского — престарелого А. А. Прокоповича-Антонского, писал ему на лоскутке бумаги: «Московские знакомые Жуковского дают ему завтра вечер — не угодно ли вашему превосходительству принять в том участие». На том же лоскутке Антонский отвечал: «Для праздников я уже не гожусь, а от дружеской беседы не отрекаюсь — и, когда назначите время и место, приеду». К сожалению, нам неизвестны подробности об этом празднике[9]. <...>

<...> Как в основании «Московского вестника» — свидетельствует Погодин — принимал непосредственное участие Пушкин, так «Москвитянин» обязан почти своим существованием Жуковскому[10]. На обеде у князя Д. В. Голицына решено было издание. Просвещенный московский градоначальник взялся ходатайствовать об этом деле вместе с Жуковским, потому что разрешение издавать журнал сопряжено было тогда с великими затруднениями. <...>

<...> Одновременно с выходом первого нумера «Москвитянина», в январе 1841 года, посетил Москву Жуковский, которому, как мы уже видели, журнал сей обязан своим основанием, как некогда «Московский вестник» был тем же обязан Пушкину.

Покончив свои обязанности воспитателя государя наследника цесаревича Александра Николаевича, Жуковский переселился на берега Рейна и Майна и там нашел себе подругу жизни, в лице осьмнадцатилетней дочери своего старого друга Рейтерна Елизаветы Алексеевны. До отъезда в чужие края, но будучи уже женихом, Жуковский посетил Москву для свидания с людьми, близкими ему по плоти и духу. В день Богоявления приехал он в Москву. «Разумеется, — свидетельствует Погодин, — все литераторы и не литераторы носят его на руках. Обедам и вечерам нет конца. Всякому хочется видеть у себя и угостить знаменитого гостя, воспитанника и певца Москвы».

Приезд Жуковского оживил его старого наставника А. А. Прокоповича-Антонского: почти забытого, его стали теперь навещать[11]. «Ез-

дил к Антонскому, — записывает Погодин в своем „Дневнике“, — и услышал от него множество любопытных подробностей. Заезжал к Жуковскому, но не видал его. К Антонскому. Толковали с Масловым, как бы устроить юбилей ему. Заезжал к А. П. Елагиной, слушал ее рассказы о Жуковском, который становится перед портретом своей любезной и рассматривает ее молча».

20 января в честь Жуковского А. Д. Чертков дал обед, на который были приглашены Свербеев, Хомяков, Глинка, Шевырев, Орлов, Дмитриев и Погодин; а на другой день был «великолепный ужин у Хомякова»[12]. На этот ужин был также приглашен и Погодин. «Жду тебя сегодня вечером, — писал ему Хомяков, — на чай и трапезу. Будет Жуковский». Ужин был великолепный. По описанию Погодина, «с невиданною стерлядью, спаржею и дичиною в перьях, с лучшими винами».

Но обед у Черткова и вечер у Хомякова сошли для Погодина неблагополучно. О последствиях для него от ужина Хомякова вот что он пишет в своем «Дневнике»: «Съел и выпил чуть ли не лишнее. Но главное, в комнате было очень жарко, на дворе с лишком 20° морозу. Я ехал в изношенной шубе и простудился. Притом воротился домой в 3 часа. Жуковский рассказывал о Карамзине». <...>

Но вскоре Погодин оправился и имел возможность быть на обеде у А. А. Прокоповича-Антонского. «Набрались, — записывает Погодин в своем „Дневнике“ (под 1 февраля 1841 года), — люди пяти поколений: Антонский восьмидесяти лет, Жуковский шестидесяти, Давыдов и Маслов по пятидесяти, я сорока и Шевырев тридцати пяти. Разговор об имени „Москвитянина“ и других грамматических вопросах, об языке, о толковании св. Августина на вопрос Пилатов, *что есть истина*, о терминах философических».

В февральской книжке «Москвитянина» Погодин имел неосторожность описать обед, данный Чертковым. Сказав о том, что в честь Жуковского «обедам и вечерам нет конца», Погодин, между прочим, писал: «Разговор зашел за столом о привидениях, духах и явлениях, и очень кстати, пред их родоначальником, который пустил их столько по святой Руси в своих ужасно-прелестных балладах. Все гости рассказали по нескольку случаев, им известных, кроме любезного Михаила Николаевича Загоскина, который слушал все внимательно и, верно, уже разместил их в уме у себя по повестям и романам. Но нет, извините, мой добрый тезка, я перебиваю их по праву журналиста, и в следующей книжке они явятся у меня — рассказанные самими хозяевами».

Эта заметка Погодина возбудила протест Д. Н. Свербеева и недовольствие Жуковского. <...> Заметкою Погодина был недоволен и М. А. Дмитриев, который писал ему: «Ваши известия о Жуковском и об обеде — ни на что не похожи! То есть просто ни к селу ни к городу и вне всяких приличий! Я первый *ахнул*, прочитав ее! Вот и судья праведный». Огорченный неудовольствием Жуковского, Погодин написал ему повинную.

Ответ был доставлен ему А. П. Елагиной, при следующей записочке: «Я сообщила ваше письмо Жуковскому; посылаю вам ответ его, не думаю, чтобы он был вам очень неприятен; уважая вас искренно, Жуковский счел за долг высказать вам свое мнение. Сама эта искренность доказывает вам, что вы не в *опале* и что, вероятно, крестник будет с крестом, — только не теперь!» Сам же Жуковский писал Погодину: «Вы спрашиваете у Авдотьи Петровны, любезный Михаил Петрович, сердит ли я на вас или нет? Отвечаю: не сердит, ибо не могу предполагать, чтоб вы хотели мне сделать вашею статьею неприятность. Но должен вам признаться, что сама статья ваша для меня весьма неприятна. Во-первых, в ней нет истины: меня здесь *на руках не носят, никто не дает мне ни обедов, ни вечеров;* я приехал сюда для своих родных и весьма мало разъезжаю. Зачем же представлен я таким жадным посетителем обедов и балов? Что же касается до выражения вашего: *родоначальник привидений и духов, пущенных по России в прелестных балладах* (данное вами мне прозвание), то иной примет его за колкую насмешку. И я сам, хотя и не даю этому выражению такого смысла, уверен, что оно многих заставит на мой счет посмеяться. Не помню, рассказал ли я какой анекдот на описанном вами обеде, но, во всяком случае, прошу вас моего рассказа не печатать. И вообще было бы не худо в журналах воздерживаться от печатания того, что их издатели слышат в обществе: на это они не имеют никакого права. Иначе журналы сделаются печатными доносами на частных людей перед публикой. Никому не может быть приятно видеть свою домашнюю жизнь добычею общества или читать в печати то, что им было сказано в свободном и откровенном разговоре короткого общества. С именем автора можно печатать только то, что сам автор напечатать позволит. Сообщать о ком-нибудь какое-нибудь известие — верное ли оно или только слух — можно только с его согласия. Печатать письма, кем-нибудь писанные или полученные, нельзя без позволения того лица, к кому они относятся. Без соблюдения этих правил журналы сделаются бичом и язвою общества. Наши журналы в этом еще не дошли до совершенства английских и французских, и слава Богу. Примите благосклонно мое мнение, сказанное вам искренно в ответ на письмо ваше, и опять покорно прошу вас ни речей моих, ни статей моих, ни писем ко мне или мною писанных без моего ведома в журнале вашем не печатать»[13].

Живший в доме А. П. Елагиной Д. А. Валуев по этому поводу писал Языкову: «Погодин наживает себе неприятности за свою нелепость. Жуковский обедал у Черткова: обед, после которого он просил А. П. Елагину что-нибудь поесть; а Погодин напечатал, что Жуковского закормили; описание обеда, разговоров присутствующих, в том числе поместил и Свербеева. Свербеев написал ему формальное письмо с просьбою вперед не делать. Пошли споры, объяснения, извинения и т. д. Жуковский тоже просил оставить его в покое: от друзей не убережешься. Жуков-

ский уехал вчера от нас. Стремится к своей невесте. Дай Бог ему счастия и не обмануться в надежде». <...>

<...> Из Геттингена, чрез Минден, Кассель и Франкфурт, Погодин отправился в Дюссельдорф[14]. <...>

В это время в Дюссельдорфе проживал Жуковский. Само собою разумеется, Погодин счел долгом посетить его. Вот рассказ нашего путешественника об этом посещении. Дом, в котором живет Жуковский, «помещается за городским гулянием, в одно жилье с вышкою, под сенью густых высоких деревьев, в большом саду, к которому прилегает Горациев огород. Описать его покои — выйдет ода. Древний и новый мир, язычество и христианство, классицизм и романтизм являются на стенах его в прекрасных картинах: здесь сцены из Гомера, там жизнь Иоанны д'Арк; впереди дрезденская и Корреджиева Мадонна, молитва на лодке бедного семейства, Рафаэль и Дант, Сократ и Платон. В Помпее археологи называют один дом домом поэта по каким-то неясным приметам, но дом Жуковского с первого взгляда никому нельзя назвать иначе».

Весь день Погодин провел с Жуковским и «донес ему о состоянии русской литературы — о „Мертвых душах" Гоголя и мнениях, произведенных ими, о сочинениях преосвященного Иннокентия, о трудах Павского и Востокова, о гениальном творении Посошкова и изданиях Археографической комиссии, наконец, о нелепом направлении некоторых непризванных писак, которые смелою рукою дерзают метать плевела на нашу чистую ниву». С своей стороны, Жуковский прочел Погодину две песни Гомеровой «Одиссеи» в своем переводе и объяснил ему правила, коих при переводе держится; потом прочел несколько отрывков из Рюкертовой поэмы «Наль и Дамаянти», коею он перенесет нас в Индию; «таким образом, — замечает Погодин, — дополнит мир поэзии, открытый им для своих соотечественников. В самом деле, куда не водил он нас, чего нам не показывал? Древность в „Одиссее", в отрывках из „Илиады", „Энеиды", в „Превращениях" Овидия, средние века в „Орлеанской деве", в балладах Шиллера, романсах о Сиде. Германия, Англия, Испания стали нам равно знакомы. Сколько есть еще у него планов для новых произведений. Кто не пожелает усердно, горячо, чтоб он успел их кончить все на славу русской словесности, чтоб задумал еще новые... А я, — продолжал Погодин, — с своей стороны опять приставал к нему, чтоб он взялся за „Патерик", воспел основание Печерской церкви, для которого Нестор и Симон представляют ему такие живые краски, такое богатое, полное расположение!» <...>

<...> В это время (1850 г.) в «Allgemeine Zeitung» Жуковский напечатал, в форме извлечений из писем русского на родину, статью под заглавием «Английская и русская политика». Статью эту он прислал в

редакцию «Москвитянина» для перевода на русский язык. Желание Жуковского было исполнено Шевыревым. Как статью политического содержания, московская цензура отправила ее на усмотрение Главного управления цензуры. «Думаю, — писал В. И. Назимов князю П. А. Ширинскому-Шихматову, — что воспитатель его высочества наследника цесаревича и вместе с тем наш знаменитый поэт, которого творения проникнуты высоким нравственным чувством и благоговением ко всему, чем велико и сильно наше отечество, не имеет нужды пред вашим сиятельством в моем ходатайстве за благонамеренность его последнего сочинения».

Вполне соглашаясь с В. И. Назимовым, князь Ширинский в своей всеподданнейшей докладной записке писал, между прочим, следующее: «Статья (Жуковского) сама по себе есть красноречивое и в высшей степени благонамеренное сочинение, исполненное преданности к престолу и любви к отечеству. Но как в ней весьма с невыгодной стороны представляется современная политика Англии и порицаются в сильных выражениях действия лорда Пальмерстона, то Главное управление цензуры и не может дозволить печатания означенной статьи без высочайшего разрешения. Как по этому уважению, так и по содержанию сочинения „Английская и русская политика“, заслуживающего внимания вашего императорского величества, всеподданнейше представляя оное на высочайшее благоусмотрение, имею счастие испрашивать повеления».

На этой записке император Николай I, в Петергофе 2-го июня 1850 года, начертал: *Не должно печатать.*

Это глубоко огорчило и оскорбило Жуковского. «То, что вы пишете о цензуре, — писал он Плетневу, — действует на душу, как удушие на горло, не потому, что оно касается до меня лично, а потому, что это есть общее бедствие». <...>

<...> В 1851 году старший сын Николая Аполлоновича и Евгении Петровны Майковых, Аполлон Николаевич, написал свое знаменитое произведение «Три смерти» и посвятил его отцу своему. <...>

«О печатании новых стихотворений Майкова, — писал Плетнев Погодину, — при нынешней цензуре нечего и думать, хотя в них ничего нет, кроме высокой и прекрасной исторической истины. Я отправил их для прочтения Жуковскому. Жду, что он скажет. Теперь в нем вся наша поэзия и критика». Жуковский, познакомившись с произведением Майкова, писал 15 ноября 1851 г. Плетневу: «Благодарю вас за доставление стихов Майкова; я прочитал их с величайшим удовольствием. Майков имеет истинный поэтический талант; я не читал его других произведений; слышу, что он еще молод: следовательно, пред ним может лежать еще долгий путь. Дай Бог ему понять свое назначение, дай Бог ему приобресть взгляд на жизнь с высокой точки, то есть быть тем поэтом, о котором я говорю в моем письме к Гоголю, и избежать того эпикуреиз-

ма, который заразил поэзию нашего времени». В другом письме к Плетневу, от 7 декабря 1851 года, Жуковский пишет как бы духовное завещание А. Н. Майкову: «Скажите от меня Майкову, что он с своим прекрасным талантом может начать разряд новых русских талантов, служащих высшей правде, а не материальной чувственности; пускай он возьмет себе в образец Шекспира, Данте, а из древних Гомера и Софокла; пускай напитается историей и знанием природы и более всего знанием Руси, той Руси, которую нам создала ее история, — Руси, богатой будущим, не той Руси, которую выдумывают нам поклонники безумных доктрин нашего времени, но Руси самодержавной, Руси христианской, и пускай, скопив это сокровище знаний, это сокровище материалов для поэзии, пускай проникнет свою душу святынею христианства, без которой наши знания не имеют цели и всякая поэзия не иное что, как жалкое сибаритство — русалка, убийственно щекочущая душу. Такое мое *завещание* молодому поэту: если он с презрением оттолкнет от себя тенденции, оскверняющие поэзию и вообще литературу нашего времени, то он с своим талантом совершит вполне назначение поэта».

Заметим, что эти строки написаны Жуковским за четыре месяца до его блаженной кончины. О впечатлении, произведенном на Майкова этими вдохновенными словами, Плетнев довел до сведения Жуковского: «Майков оживотворен тем, что вы о нем ко мне писали. Я с ним прочитал вместе вашего „Лебедя“, и он в восторге от него». <...>

29-го января 1849 года исполнилось шестьдесят шесть лет В. А. Жуковского. «Уже два года как Россия, — писал Шевырев, — готова праздновать пятидесятилетний юбилей его литературной деятельности, если считать ее с того первого стихотворения, которое напечатал он в 1797 году, в „Приятном и полезном препровождении времени“. Празднество совершилось бы, если бы возвратился празднуемый в отечество. Но между тем недавно достойный друг Жуковского, который по нем представитель нашей словесности, князь П. А. Вяземский, праздновал у себя в доме то торжество, которого ждет и желает Россия. Оно совершилось в кругу друзей и близких почитателей Жуковского. Нам сообщены некоторые подробности об этом празднике от А. Я. Булгакова, которому передал их очевидец П. П. Новосильцов. Князь Вяземский одушевил этот вечер своими прекрасными стихами, в которых мыслию обозрел всю прекрасную жизнь Жуковского. Эти стихи прочитаны были графом Д. Н. Блудовым и сильно тронули всех. Затем собеседник и друг поэта граф Михаил Юрьевич Виельгорский, которого имя также любезно многим, своим одушевленным голосом прочел куплеты, которых слова принадлежат князю Вяземскому: „Ты, Вьельгорский! Влагой юга кубок северный напень!..“, а музыка самому певцу. Хор певцов и певиц светского общества сопровождал его. Не можем не упомянуть о том, что тут же раздавались голоса Львова и Глинки. Все участвовавшие в этом вечере

исполнены были одних чувств: любви к Жуковскому, желания ему возвращения на родину и здоровья его супруге, от чего зависит возврат его. Список всех тех, которые приняли участие в этом празднике, был немедленно написан ими и отправлен к Жуковскому».

В изъявление «сердечного сочувствия и уважения к бывшему своему наставнику» этот вечер князя Вяземского почтил своим присутствием государь наследник цесаревич.

На этот прекрасный праздник князь П. А. Вяземский пригласил и находившихся в то время в Петербурге Ю. Ф. Самарина и И. С. Аксакова. Не знаем, как отблагодарил за это внимание Самарин, что же касается Аксакова, то вот что он писал своему отцу (от 31-го января 1849 г.): «В субботу Самарин получил записку от Вяземского, где он приглашает его и меня, хотя я у него и не был, к себе на вечер для празднования юбилея Жуковского по случаю пятидесятилетия его литературной деятельности. Мы отправились и, к удивлению, нашли почти всех в белых галстухах и орденах: скоро узнали мы, что на этом вечере будет наследник; тут было множество народу: был Киселев, Блудов и вообще цвет петербургских придворных умов. Приехал наследник, и Блудов прочитал стихи Вяземского, на сей случай написанные. Стихи очень плохи. Блудов читал их, беспрестанно прикладывая лорнет к глазам и тряся голос для эффекта. Если б мне не было противно и досадно, мне было бы смешно. Да, я забыл сказать, что все началось пением „Боже, царя храни"; коли бывшие тут артисты, Оболенские (Дмитрий и Родион), Бартенева и некоторые другие дамы. Когда Блудов читал стихи, то некоторые дамы прослезились, несколько раз раздавался ропот неудержимого восторга из уст этих чопорных фигур в белых галстухах; когда кончилось чтение, то послышались жаркие похвалы: „C'est charmant, c'est sublime!"* После этого пропеты были куплеты стариком Виельгорским, после каждого куплета хор повторял refrain:

Наш привет ему отраден,
И от города Петра
Пусть домчится в Баден-Баден
Наше русское ура!

Надо было видеть, с каким жаром эти белые галстухи кричали: *наше русское ура*... После этого подан был лист бумаги, на котором все посетители должны были написать свои имена, начиная с наследника. Делать нечего, и я вписал свое имя, только почти предпоследним. Наконец великий князь уехал, и тогда Глинка-музыкант стал петь разные свои романсы. <...> Это только меня и утешило. Предоставляю вам судить, что испытал и почувствовал я в первую половину вечера. Среди этого старого общества я чувствовал себя новым человеком, совершенно ему

* Прекрасно, возвышенно! (*фр.*).

чуждым; среди воздаяний этой старой Поэзии во мне пробуждалось сознание того нового пути, по которому пошла моя стихотворная деятельность. <...> Я решительно не хотел сближаться с этим обществом. <...> Глинка, немножко подпив за ужином, пел испанские мелодии и свои сочинения с необыкновенным одушевлением. Это поистине гениальный художник. Я познакомился с ним и завтра читаю ему „Бродягу". <...> Вяземский просил Самарина и меня написать об этом вечере статью и послать в „Москвитянин". Мы отказались под предлогом ссоры с Погодиным. Он, конечно, понял, почему мы отказались, и, видимо, огорчился. Впрочем, говорят, что официальность вечера было не его дело, а сюрприз, сделанный ему его женою. Был тут и Ф. Н. Глинка»[15].

Но это нисколько не помешало Аксакову вскоре после того навестить князя Вяземского, и последний «ни слова о своем вечере», а только пригласил Аксакова прочесть у него «Бродягу».

Совершенно противоположное впечатление из этого вечера вынес Плетнев, который (от 28-го февраля 1849 года) писал виновнику торжества: «Все мы праздновали у Вяземского день вашего рождения. <...> Такого прекрасного праздника я не запомню. Все одушевлены были одним чувством — чистою, нежною любовью к вам и благодарностью к хозяевам. Притом это собрание представляло цвет общества, вкуса и благородства». <...>

<...> Возвращение Жуковского в отечество было искренним желанием всех его друзей и почитателей. «Обещание ваше, — писал ему Шевырев, — подарить нас всех свиданием с вами на следующую весну очень утешительно. Будем молить Бога, чтобы сбылось оно. Присутствие ваше здесь необходимо и для добра нашей литературы. Вы поддержали бы в молодом поколении деятелей, которые хранят красоту слова и остаются верны вашим преданиям. Нельзя утаить, что большая часть молодого поколения идет не тою стезею. Это художники без *идеала*. Они сами от него отрекаются, полагая его в действительности. Грустное, отчаянное самоубийство искусства — вот что видно в них! Не знаю, как мы спасемся от этой беды и выйдем на настоящий путь. Всего более огорчает и поражает меня ранняя гибель многих молодых дарований. Журнальная Сцилла и Харибда так скоро поглощает их и делает жертвами своего бумажного водоворота. Едва лишь появится молодой человек с новою, свежею повестью, как в ту же минуту какой-нибудь журналист вербует его в поставщики повестей, и все кончено».

Гоголь же писал Жуковскому из Москвы: «Мне все кажется, что хорошо бы тебе завести подмосковную. В деревне подле Москвы можно жить еще лучше, нежели в Москве, и еще уединеннее, чем где-либо. В деревню никто не заглянет, и чем она ближе к Москве, тем меньше в нее наведываются, — это уже такой обычай; так что представляются две

выгоды: от людей не убежал и в то же время не торчишь у них на глазах»[16].

Но, к сожалению, Жуковскому далее Варшавы не довелось быть в России. Родионов писал Погодину: «Вам, может быть, известно, что В. А. Жуковский приезжал в Варшаву для свидания с государем и получил снова отпуск до весны. Рвется он домой; наскучила ему Германия».

Со своей стороны, Погодин, желая принести дань своего уважения Жуковскому, обратился к А. П. Елагиной с просьбою написать о Жуковском в «Москвитянине», но Елагина отклонила от себя это поручение и писала Погодину (27-го февраля 1849 г.): «Благодарю вас за письмо ваше, за известия обо всех, за „Москвитянина" и даже за предложение написать о Жуковском. Я сообщу это предложение сестре Анне Петровне, может быть, ей это будет по сердцу, а я покуда никуда не гожусь. Извините, не могу еще перебирать нашей жизни. <...> Моя вся душа была связана с его душою, мы любили одно и стремились вместе. Просто не могу. Головные боли еще к тому же соединились, я насилу гляжу и движусь».

Вскоре после того Погодин получил статью под заглавием «Несколько слов о детстве В. А. Жуковского» при следующем письме от А. П. Зонтаг: «Узнав от Авдотьи Петровны, что вы желали бы иметь некоторые сведения о детстве Василья Андреевича Жуковского, беру смелость доставить вам несколько слов об этом предмете. Если вы найдете их достойными быть помещенными в „Москвитянине", то прошу вас исправить слог и выражения и все, что вам покажется нужным, кроме фактов совершенно справедливых. Их признает такими и сам Василий Андреевич. Прошу вас также не угадывать имени автора, и если угадаете, то не выставлять его под статьею, ежели вы удостоите ее печати»[17]. Несмотря на это, Погодин почему-то приписал эту статью А. П. Елагиной, которая по поводу этого ошибочного предположения писала ему: «Статью о Жуковском прислала не я, а знаменитая писательница для детей Анна Зонтаг, которая и обладает Мишенским. Досадно мне, что вы приняли это за мой слог, я писала бы серьезнее: Жуковский стоит того. — Дом батюшки Петра Николаевича был в Мертвом переулке у Успенья на Могильцах и продан сестрою Анной Муханову Алексею Ильичу, которому принадлежит и доселе. Многое, многое об моем Жуковском хорошо бы рассказать вам, но мы дождемся его, и тогда, конечно, лучше можно написать его биографию с его позволения. А он в мае будет в России, в июне, может быть, в Москве. Не сетуйте на разногласие в действиях, без единомыслия не может быть согласия, а ведь мы для того должны *возлюбить друг друга*. Где же это взять. <...> Жуковский в Университетском пансионе был дружен с Тургеневыми и знаком с отцом их; когда поехал в 1815 году в Петербург, то его там знали по его посланию к императору Александру, и тотчас Тургенев и Блудов представили государыне Марии Феодоровне. У меня есть о том письмо его. Карамзин

16. В.А. Жуковский в воспоминаниях...

женат был прежде на Протасовой и потому знаком со всем нашим домом. Но обо всех этих подробностях может написать вам сестра, а я не прежде расскажу, как увидевшись с Жуковским, которому не желаю сделать какую-нибудь неприятность».

Как бы то ни было, но статья «Несколько слов о детстве В. А. Жуковского» была напечатана в «Москвитянине». Жуковский, как известно, родился в селе Мишенском, Тульской губернии, Белевского уезда, в трех верстах от уездного города. Автор с грустью в заключение замечает: «Его прекрасная родина — Мишенское, опустело! Замолк веселый шум, строенья развалились, оранжереи исчезли, сады вымерзли, пруды высохли, и в нем стало бедно, пустынно и уныло! Когда-то как бы в пророческом духе Жуковский написал стихи к запустевшей деревне. Эти стихи никогда не были напечатаны и вряд ли сохранились в рукописи; они начинаются так:

О родина моя! О бурн благословенный!

Их очень можно применить к родине В. А. Жуковского, где уцелел один только храм и стоит неизменившимся свидетелем прошедшего времени».

Шевырева поставило в тупик слово *бурн*[18], и за разъяснением он обратился к Погодину, который отвечал: *«О бурн благословенный!»* Я не понимаю сам, но в подлиннике именно так. <...>

<...> «Еще утрата, — писал Шевырев Погодину. — Грустно и больно! <...> Кончина Жуковского, кончина праведника, спокойная и радостная. Есть письма жены к А. П. Елагиной. Неделю ослабевал, читал молитвы, приобщался, имел видение — и скончался совершенно спокойный, оставляя детей на попечение Божие».

Под 24 апреля 1852 года Погодин записал в своем «Дневнике»: «К Елагиной. Известие о смерти Жуковского. Что за черный год! Плакали. С Хомяковым и Свербеевым». Друг и товарищ Жуковского А. Я. Булгаков писал Погодину: «Верю горести вашей. Какой же русский не даст сердечной слезы Жуковскому? Мог бы он еще пожить и много прибавить томов к незабвенным своим сочинениям. Конечно, лета его были более чем зрелые, но память его была свежа, ум светл, сердце молодо, страсть к трудам велика. Я тотчас подумал о бедном Вяземском, коего здоровье и без того не в цветущем состоянии, но, к крайней моей радости, получил от него весьма успокоительное письмо. Он знает уже о потере нашей общей. <...> Вдова нашего доброго Василия Андреевича пишет мне, между прочим, что как скоро соберется с духом, то сообщит друзьям своего мужа все подробности его кончины». <...>

«Образ блаженныя кончины Жуковского, — писал Стурдза Погодину, — наполнял мои бессонные ночи тем живее и поучительнее, что я читал описание его последних дней в превосходном письме его духовни-

ка священника Базарова. Следовало бы, по-моему, всем нашим журналам перепечатать этот правдивый рассказ очевидца, в котором христианская смерть проповедует христианам о жизни вечной»[19].

За несколько месяцев до блаженной кончины Жуковский писал:

Лебедь благородный дней Екатерины
Пел, прощаясь с жизнью, гимн *свой* лебединый;
А когда допел он — на небо взглянувши
И крылами сильно дряхлыми взмахнувши —
К небу, как во время оное бывало,
Он с земли рванулся... и его не стало
В высоте... и навзничь с высоты упал он;
И прекрасный мертвый на хребте лежал он,
Широко раскинув крылья, как летящий,
В небеса вперяя взор уж не горящий[20].

Графиня Е. П. Ростопчина почтила память Жуковского стихотворением, под заглавием «Прощальная песнь Русского Лебедя, посвященная семейству и друзьям», и напечатала оное в «Северной пчеле», при следующем письме к Булгарину: «Прошу вас, Фаддей Бенедиктович, напечатать в „Северной пчеле“ это поминовение признательной дружбы тому, кого и вы, и я, и все, что на Руси не заражено безрассудным поклонением уродливому в ущерб прекрасному и высокому, должны чтить и оплакивать как первого и лучшего из современных уцелевших до сих пор поэтов наших, как примерного, благороднейшего и добрейшего человека».

Само собою разумеется, Погодин остался очень недоволен, что это стихотворение было напечатано в «Северной пчеле», и написал к графине Ростопчиной укорительное письмо, на которое немедленно же получил следующий ответ: «Не *злой дух* внушил мне те слова, которые вы называете письмом к Булгарину, а я припискою в редакцию для доставления официальной статьи для не менее официальной газеты; не *злой дух*, а негодованье против тех, кто громко говорили и кричали, что Жуковский не имеет никакого значения ни для литературы, ни для России, что он умер давно — и что незачем о нем тужить, он, видимо, рифмоплет, а так как он кабаков и залавок не описывал, грязи не воспевал, то в нем нет ничего *общечеловеческого*, вовсе никакой *гуманности*, ни *конкрета*, ни *субъективности*, ни *абсолюта*, словом, ничего такого, что нынче признается *гениальностью*. Вы сами слышали и читали эти возгласы, — что ж вы дивитесь, что они воспламенили во мне сердце поэта и душу друга, искренно преданного высокому покойнику? *Можете*, и *прошу* вас, показывать эти строки — оглашать их; я горжусь моим разногласием с новою литературою, с партиею прозы, материальности и *простоты*, и всеми любителями, превозносителями и производителями *грязи* и *не-*

чистоты как в петербургских журналах, так и в московских беседах; говорю смело свое мнение». <...>

Погребение Жуковского описал почтенный археограф М. А. Коркунов в следующем письме своем к Погодину: «Жуковский в России, в нашей русской земле, но вещее слово его умолкло навеки, только песни, сложенные им прежде, поются по-прежнему, и, верно, еще долго, очень долго будут петь их во всех концах необъятной России. Жуковский на родине, но не для песен: вокруг него раздается теперь многозначительное пение русского духовенства... Как встретили его друзья, спросите вы, знавшие его лично? Не знаю; я видел только проводы и слезы, слезы наследника русского царства и его сестры. В повестке, полученной мною, сказано было, что 28 июля, в 5 часов пополудни, будет вынос тела Жуковского из Федоровской в Духовскую церковь. Товарищ министра народного просвещения, А. С. Норов, узнав об этом, пригласил меня ехать вместе с ним. В 5 часов мы были в Невском монастыре. Федоровская церковь, в которой я не бывал прежде, очень, очень невелика; она находится близ монастырской стены, отделяющей Лавру от Духовной академии. В этой-то церкви мы нашли духовника их величеств протопресвитера В. Б. Бажанова с другими духовными лицами и студентов С.-Петербургского университета. В 6 часов, по прибытии преосвященного Макария, епископа Винницкого, пропета была лития над усопшим; вслед за тем снят парчовый покров и гроб Жуковского, обитый фиолетовым бархатом и серебряными позументами, перенесен, в предшествии духовенства, товарищем министра народного просвещения и университетскими студентами в Духовскую церковь и поставлен на том самом месте, где отпевали Крылова. Тут была отслужена панихида. На другой день, 29 июля, я приехал в Невский монастырь, в начале 12 ч. Литургию совершал ученый богослов наш, преосвященный Макарий; в церкви на правой стороне находились почетнейшие лица столицы: товарищ министра народного просвещения, академики, знаменитый Рикорд, Греч, Краевский и многие другие русские литераторы; на левой — ректор, профессоры и студенты университета. Хоры были заняты дамами. К началу панихиды прибыли его императорское высочество государь наследник цесаревич и ея императорское высочество великая княгиня Мария Николаевна. Гроб Жуковского несли до могилы: его императорское высочество, русские ученые и литераторы; за гробом следовали ея императорское высочество и многочисленная толпа лиц разного звания. Жуковский похоронен подле Карамзина, недалеко от могил Крылова и Гнедича».

Гроб Жуковского вдохновил одного из студентов С.-Петербургского университета, впоследствии известного профессора, Ореста Федоровича Миллера, и он написал прекрасное стихотворение «На смерть Жуковского» и напечатал оное в «Северной пчеле»:

И он угас, наш старец, духом юный,
Наш лебедь сладостный, наш голубь чистотой!
. . . .
. . . .
Святым доверием к нему руководимый,
Царь первенца ему с надеждою вручил,
И памятник себе, вовек не сокрушимый,
В душе наследника он сам соорудил.

В то время, когда в Александро-Невской лавре опускали в могилу Жуковского, ближайший друг его граф Д. Н. Блудов, с своею дочерью графинею Антониной Дмитриевною, путешествовал по Западной Европе; но и на чужбине они поминали Жуковского. 18 августа 1852 года П. И. Бартенев писал Погодину: «Посылаю вам выписку из письма ко мне графини Антонины Дмитриевны: „Во Франкфурте, на днях, мы имели грустное утешение читать несколько стихов, оставшихся после Жуковского. Кроме неоконченной большой поэмы, которой только отрывки остались, есть много маленьких пьес. Две особенно мне понравились, одна: „Розы“ — по христианскому, глубоко утешительному чувству, другая: „Египетская тьма“ — по силе стихов и мрачной фантазии картины. — Самые первые стихи поэмы „Странствующего жида“ прекрасны, но вряд ли позволит цензура, а остальные трудно разобрать теперь, пока не сделана копия чисто. Дети Жуковского премилые, а мальчик семилетний — живой портрет Василия Андреевича. Если будете писать М. П. Погодину, попросите его сказать от меня графу Уварову, что этот мальчик совершенный двойник того портрета Кипренского, который в Поречье“. Я передал вам больше, нежели поручила графиня, в надежде, что вы с удовольствием прочтете известие об оставшихся драгоценностях». <...>

Едва опустили в могилу Жуковского, как благодарная муза Клио вступает в свои права. В «Москвитянине» того же 1852 года появляются «Воспоминания о В. А. Жуковском»[21], с следующим примечанием Погодина: «Года три тому назад была напечатана в „Москвитянине“ статья о детстве Жуковского. Она так любопытна, — писал Погодин, — что мы решаемся перепечатать ее теперь; недавняя кончина незабвенного нашего поэта возвышает цену всякого о нем воспоминания; — впрочем, известная статья обновляется здесь еще многими новыми подробностями, сообщенными тогда же редактору „Москвитянина“ ее автором, по поводу его вопросов, но не напечатанными в то время вследствие других соображений».

«Воспоминания» эти вызвали следующие любопытные строки М. А. Дмитриева в письме его к Погодину (из села Богородского, 3 ноября 1852 г.): «Статья о Жуковском хотя и была прежде напечатана, но

интересна и пришлась кстати. Только в ней сказано, что Жуковский не был в Дерпте. Нет, он был в то время, как Воейков был профессором, и, кажется, в 1815 году. Там он познакомился с Эверсом, что свидетельствует его послание „К старцу Эверсу" и примечание, в котором сказано: „писано после праздника, данного студентами Дерптского университета". — Из самого послания видно, что он был на этом празднике лично:

Там Эверс мне на братство *руку дал.*
Могу ль забыть священное мгновенье,
Когда, мой брат, к руке твоей святой
Я прикоснуть дерзнул уста с лобзаньем,
Когда *стоял ты*, старец, *предо мной*
С отеческим мне счастия желаньем?

Я узнал Жуковского или в конце 1813 года, или в начале 1814 и помню, что он потом был в Дерпте, а стихи свидетельствуют, что это было в 1815 году. Жена Воейкова А. А. Протасова, которой посвящена „Светлана". У них-то и был Жуковский в Дерпте. После того, где сказано, что Жуковский прислал „Певца" к Тургеневу, надобно было прибавить, что он его тогда же и напечатал. Это было 1-е издание 1813 года. А в статье, кажется, смешаны два издания. Вот история второго: императрица Мария Феодоровна, восхищавшаяся „Певцом", поручила И. И. Дмитриеву напечатать его вторым великолепным изданием и отослать от ее имени к Жуковскому бриллиантовый перстень. Вследствие этого, по письму Ивана Ивановича, Жуковский прислал к нему рукописного „Певца", умноженного именами военных людей, которых в первом издании не было. Алексей Николаевич Оленин нарисовал прекраснейшие три виньета, которые были отлично выгравированы; и в таком виде явилось в том же году второе издание. Оно у меня есть. По поручению И. И. Дмитриева им занимался Дмитрий Васильевич Дашков, бывший впоследствии тоже министром юстиции. Два министра юстиции, настоящий и будущий, занимались изданием стихов молодого стихотворца. Дашков писал и примечания к „Певцу", которые и доныне печатаются с буквами: ДД. Но посвящение императрице: „Мой слабый стих царица одобряет!", которое Жуковский прислал к И. И. Дмитриеву вместе с „Певцом" и которое он хотел поместить в начале этого издания, государыня, по скромности, не позволила напечатать; оно было издано уже после. Я сказал: „по скромности", потому что так выразился мне об этом мой дядя. Но я скажу: „по христианскому смирению", потому что в этом посвящении говорится о благодеянии государыни сиротам и всем призреваемым и воспитываемым в ее заведениях». <...>

В другом письме Дмитриев писал Погодину: «О Жуковском, однако, мало пишут в журналах; но много врут! В „Библиотеке" напечатано,

что он был сотрудником Карамзина в издании „Вестника Европы", а у Карамзина никогда и никого не было сотрудников! Так и видно, что нынешнее поколение начинает свои литературные сведения с Лермонтова; что даже и Жуковский им уже не знаком»[22].

Признавая необходимость собирать материалы для биографии Жуковского, князь П. А. Вяземский писал (из Дрездена, 19 ноября 1852 г.) Плетневу: «И нам с вами хорошо бы это сделать. <...> С нами пропадут и все предания. Они у нас на сохранении и должны быть переданы нами в сохранности обществу и потомству, в надежде, что и у нас когда-нибудь да будут общество и потомство». <...>

П. М. Мартынов

СЕЛО МИШЕНСКОЕ, РОДИНА В. А. ЖУКОВСКОГО

Река Большая Выра[1] берет свое начало в Лихвинском уезде (Калужской губернии), отчасти примыкающем вместе с Козельским к Белевскому; она течет с запада на восток и недалеко от Мишенского, в четверти версты выше Белева, впадает в Оку с левой стороны. Большая Выра, изобильная водою и глубокая при мельничных плотинах, не протекает собственно в Мишенском, а, прихотливо извиваясь, омывает вблизи сочные, богатые могучей растительностью луга этого села, прилегающие к Большой Болховской (Орловской губернии) дороге и изобилующей своими преданиями Васьковой горе; самая же гора, окаймленная с обеих сторон лесом, есть продолжение той возвышенности, на которой, в одной версте, немного правее, лежит Мишенское. Возвышенность эта, прорезанная пятью холмами, вся покрыта небольшим лесом, оканчивающимся с одной стороны Болховскою дорогою, а с другой — сельскою церковью и господскою усадьбою; внизу же усадьбы и села, к стороне города, по Выре, тянется луговая местность, соединяющаяся с громадным пространством заокских лугов, так что с Мишенской господской возвышенности виднеются: направо — все лучшие заречные виды; на север — Жабынская пустынь, на восток — Красная часовня, немного южнее — село Темрянь. И все это, нужно сказать, пестрится в отдалении или группами отдельных рощей, или сплошным лесом. Неудивительно, что здешняя живописная природа, которой Жуковский, вдали от родины, посвящал немало стихов, могла в свое время благотворно повлиять на восприимчивую и впечатлительную душу поэта. Затем западная, левая сторона, окрестностей заслонена возвышенностью (до 1839 года тут была роща), на которой, недалеко от полей деревни Фатьяновой, расположен амфитеатром город Белев; возвышенность эта тянется до городского бассейна, после которого начинается опять луговая низменность. По окраине возвышенности идет дорога в город.

Из Белева в Мишенское ведут две дороги: одна — горная, мимо Петропавловского кладбища, другая — нижняя, по Берестовой улице, мимо Никольской часовни и общественных конюшен, построенных для квартировавшего здесь в 80-х годах прошлого столетия гусарского Чорбы полка. Последняя, без всякого сомнения, служила покойному Василию Андреевичу его обычным путем, когда он, во время своей молодости, в 1806— 1809 годах, хаживал из Мишенского в Белев для обучения родных своих племянниц, Марии и Александры Протасовых. Обе озна-

ченные дороги скрещиваются в деревне Фатьяновой, отделенной от Мишенского только небольшим лугом, принимающим направо, по котловине Выры, и налево, к Оке, большие размеры, как сказано выше. С этого луга и снят прилагаемый здесь вид церкви села Мишенского с господскою усадьбою и школою. Правее же, за оврагом, лежит самое село, и тоже на возвышенности; огороды крестьян, тянущиеся к деревне Фатьяновой, представляются как бы покатистыми. А внизу их поросшая осокою местность: это старый пруд, теперь засорившийся и почти не имеющий воды. Про него-то Жуковский писал Елагиной:

Ты помнишь ли наш пруд спокойной?..[2]

За селом, к мельнице Бунина, идет опять овраг, параллельный оврагу, отделяющему деревню от господской усадьбы (в верховьях его лежит пруд речки Семьюнки); в этом овраге, у подошвы горы, исстари существовал колодезь, именуемый Гремячим. Название свое колодезь получил недаром: по свойству почвы, истекающая вода его, говорят, издавала когда-то сильное журчание. На нашей памяти около колодезя была устроена деревянная часовня с иконою, а под нею висели крестики. Сюда приезжали и приходили больные для купания в колодезе. Когда же был истреблен на вершине горы лес, вода иссякла, а о существовавшей часовне не осталось даже и памяти. При Жуковском Гремячий колодезь[3] был, вероятно, в полном ореоле своей целебной славы, так как почва, вследствие большого произрастания на ней леса, была тогда гораздо влажнее.

Ближайшие к Мишенскому селения следующие: села — Каменка (на Выре) и Лиховиши, деревни — Фатьяново, Рязанцево, Карлово, Кузнецово, Ровное (на Выре), Собакино, Васьково и Колизна. В 5 или 6 верстах, в верховьях Выры, лежит село Долбино (Лихвинского уезда), где жил покойный ученый И. В. Киреевский, близкий родственник Жуковского; тут поэт родственно проводил время и написал стихотворения, озаглавленные «Долбинскими»[4]. В настоящее время Долбино из рода Киреевских, вместе с Ровным, перешло во владение почетного гражданина Прохорова.

Из Мишенского, лежащего как бы в стороне, можно проехать только в село Бакино и деревню Шишкино; если же взять восточнее (левее), то на Большую Болховскую дорогу, идущую по Белевскому уезду до сельца Шамордина. В 4-х верстах от Шишкина и в 8 — от Мишенского, в деревне Пронине, живет родственница Жуковского — Левицкая-Бунина, по мужу Волченецкая.

Все постройки Мишенского расположены первым строителем его с величайшею, по-видимому, осмотрительностию на случай пожара: господскую усадьбу с ее помещениями и церковью отделяет от домов и усадеб крестьян на довольно большое расстояние пруд речки Семьюнки

и затем, против самой церкви, — сухой овраг ее; подобный же овраг отделяет и кладбище с домами духовенства. Иначе сказать, владелец, крестьяне и духовенство изолированы друг от друга таким образом, что пожар в деревне не страшен для господской усадьбы и кладбища, и наоборот.

О времени основания Мишенского точных указаний нет; но, по некоторым имеющимся в виду данным, можно делать предположение, что оно основано в конце XVI или начале XVII столетия. Наименование свое село получило, как можно догадываться, от какого-то Михаила (сокращенное Миша)[5], как большая часть наших урочищ. Мишенское, принадлежавшее прежде сильным в свое время боярам Воейковым, затем со временем перешло, по-видимому, Буниным; в XVII столетии из рода последних нам известны Андрей и Артемий Романовы: при обновлении закрывшейся Жабынской пустыни, в конце того столетия, они много делали пожертвований житом, за что, как жертвователи, и записаны были для поминовения в местный синодик. Отсюда становится понятным, почему в часовню над прахами Буниных, изображенную на нашем рисунке, попал памятник XVII столетия (что увидим ниже) над крепостным Воейковых, Тихоном Соловцовым: в 1662 году, в год смерти Соловцова, Мишенское принадлежало Ивану Прокофьевичу Воейкову. Прахи самих Воейковых, можно допустить, лежат в той же часовне, но только без памятников. Кроме рода Буниных[6], теперь уже угасшего, в здешнем уезде существовал род Левицких-Буниных, но со смертию несколько лет тому назад неженатого и бездетного Николая Осиповича род Левицких-Буниных тоже пресекся, а родовое имение его, Пронино, поступило во владение сестры его, вдовы Волченецкой. В 60, 70 и 80-х годах прошлого столетия Мишенское принадлежало богатому помещику Афанасию Ивановичу Бунину, человеку уже немолодому, имевшему чин надворного советника и владевшему поместьями в Орловской губернии. Во время наместничества в Тульской губернии (в 1777 году) генерал-поручика Кречетникова первым предводителем дворянства был избран П. Н. Янов (должность его, как видно по бумагам, исправлял большею частию судья уездного суда Петр Юшков, впоследствии зять Бунина); вторым предводителем белевское дворянство избрало самого Афанасия Ивановича. По общему отзыву людей, знавших Бунина лично, это был человек добрый, честный, но притом энергический. Воля и энергия сказываются даже в красивом почерке Бунина, оставшемся в деловых бумагах дворянской опеки; по необыкновенной свежести подписи можно полагать, что Бунин подписывал или тушью, или чернилами особого состава.

Благодаря живописным окрестностям селения и близости города (менее 3-х верст), владелец избрал Мишенское постоянным местопребыванием для своего семейства и, по обычаю того времени, как человек богатый, роскошно обстроил и украсил его. Огромный дом на одном из

лесистых холмов, с флигелями, службами, оранжереями, теплицами, садом и парком, делал Мишенское помещичьим раем; к довершению этой материальной обстановки, здесь были и предметы вдохновения: тенистая дубовая роща за парком, тянувшаяся по холмам до самой Васьковой горы, и ручеек в долине, теперь иссякший; наконец, и сама гора с ее народным преданием, тогда еще свежим, о виновнике ее наименования, разыгравшихся когда-то тут кровавых драмах и кладе... Великолепный парк с дорожками и вековыми, изредка, елями, прилегающий к господскому саду, остался целым и теперь. Религиозный Бунин позаботился отдать дань и предметам веры: в 1784 году воздвигнул каменный храм[7] на месте существовавшего ветхого деревянного; храм этот, весьма простой сельской архитектуры, замечателен своими роскошными для церкви хорами, отделанными по красному фону золотом и свидетельствующими, что у Бунина, при его вполне барственной обстановке, были и свои певчие. Усердием, вероятно, владелицы хоры содержатся в приличном виде и в настоящее время. В церковном алтаре хранится старое Евангелие на пожелтевшей от времени бумаге, напечатанное в 1627 году, при Михаиле Федоровиче, благословением отца государя, патриарха кир Филарета. Кроме того, есть несколько старых икон. Священник села Мишенского, о<тец> Сытин, обязательно сообщивший нам некоторые факты и сведения для составления этой статьи, указывал в Никольском приделе два образа, написанные будто бы, по преданию, Жуковским в молодости: один — местный в иконостасе, святого Николая Чудотворца, хорошей для простого любителя работы, другой — над царскими вратами, круглый, Благовещения Пресвятыя Богородицы, значительно повредившийся. По достоинству живописи последний образ далеко уступает первому и мог быть только произведением самоучки. Четыре евангелиста внизу царских врат, не очень давней, по-видимому, работы, по словам о<тца> Сытина, писаны будто бы дочерью умершей Зонтаг, Мариею Егоровною Гутмансталь, владелицею Мишенского. Способность к художеству, как видно, в роде Буниных наследственная. Только недавно, при переделке настоящей церкви, сняты с царских врат ее те резные херувимы, к которым, после Херувимской песни, Жуковский, в детстве своем, подводил обыкновенно Анюту Зонтаг для целования их в обе щечки и приподнимал ее, чтобы она могла это сделать беспрепятственно.

Мишенский причт (священник и дьячок) имеет в своем пользовании 42 десятины церковной земли, и сверх того к приходу Покровской мишенской церкви приписано 400 прихожан мужского пола. Метрические книги о родившихся начинаются 1783-м годом; в «тетради», выданной в этом году белевским духовным правлением священнику Петру Петрову (без фамилии) с причтом, значится записанным рождение Василия Андреевича таким образом: «Той же вотчины (Мишенского) у

дворовой вдовы, Елизаветы Дементьевой, незаконнорожденный сын Василий, 30-го января». Рождение и крещение Жуковского записано третьим, после каких-то двух крестьян, рожденных в январе 1783-го года. Неизвестно, по какой причине умолчано в «тетради» о крестном отце новорожденного; у всех остальных детей имена восприемников упомянуты в своем месте. Когда же Сальха, мать поэта, приняла св<ятое> крещение и почему она носила отчество «Дементьевны», нигде не видно, а что она, при рождении своего сына, считалась крепостною Бунина, в этом, по смыслу записи, нет никакого сомнения. Впоследствии, когда «Васенька» подрос, то он сделался общим любимцем всех Буниных, со включением даже и их прислуги, но наименование «турчонок»[8] (не в оскорбительном, разумеется, смысле) долго оставалось при ребенке.

В глубине леса, за парком, остался неприкосновенный холм[9], сохранивший название «Греева элегия», по случаю того, что Жуковский, в детстве, перевел на нем свое первое для печати стихотворение «Сельское кладбище» Грея. Возвышенность эта насыпана рабочими под надзором Жуковского не без цели: прежде с нее открывался лучший вид на Белев, заслоненный от господской усадьбы, как выше сказано, возвышенностью с левой стороны ее; в настоящее время насыпь поросла почти непроходимым лесом. Место это всегда посещается любителями сельских прогулок, а особенно детьми из учебных заведений, имеющими привычку вырезывать на коре деревьев начальные буквы своих имен и фамилий. Искателями кладов насыпь вся изрыта, и, разумеется, напрасно... Легендарная молва про зарытый клад, так сказать, гнездится в среде окрестных жителей, и легковерные из них, чтобы не быть смешными, решаются трудиться ночью — искать в земле то, чего в ней никогда не сохранялось...

Затем, на все остальное, существовавшее при Бунине, неумолимое время положило свою тяжелую руку и не оставило решительно ничего. Когда, после смерти Афанасия Ивановича, Мишенское досталось по дележу наследникам, то получаемые с него доходы не могли поддержать больших построек и огромной дворни; все это рушилось и разбрелось. Внучка Бунина, известная писательница Анна Петровна Зонтаг, по смерти мужа долго жила одинокою в небольшом деревянном домике, теперь необитаемом и забитом. Все утверждают, что в домике этом, поддерживаемом владелицею Мишенского, жила Елизавета Дементьевна, мать поэта, до 1810 года, иначе сказать, до того времени, пока сын выстроил ей в Белеве, для жительства, собственный дом. Другие же идут далее: они утверждают, что в домике этом родился Василий Андреевич. Дом действительно из довольно старых, как можно видеть и по рисунку (с левой стороны главного здания, где бегут дети), но сказать о последнем что-либо утвердительно мы не решаемся. Тридцать лет тому назад от дома шла к церкви, по саду, густая, сросшаяся аллея, с подчиненною дорож-

кою; причем пред главным зданием господского дома, спереди и сзади его, виднелись куртины с цветами. Со смертию Зонтаг, в 1864 году[10], поредела аллея и заросла дорожка к церкви; о цветах не может быть даже и помина. Все отзывается пустотою и безлюдием, которые на всякого постороннего могли бы наводить тоску, если бы не противодействовала тому красота великолепной природы, окружающая усадьбу со всех почти сторон. Против самого господского дома растут деревья, в летнее время почти заслоняющие его от взора проходящих по дороге; видно, что на этом месте существовал когда-то цветник. Дом построен из дерева и, по-видимому, давно; камнем он обложен впоследствии, для прочности. Во внутренность дома ведут два крыльца: парадное, с лицевой стороны, и черное, от флигеля, где живет теперь управляющий имением (на рисунке — с правой стороны). Здание с трех сторон имеет по четыре окна, а одна стена его — глухая. Парадных комнат три: зал (большой), гостиная и диванная; две спальни расположены в стороне, ближе к входу с крылец. Прекрасная библиотека покойной Зонтаг долго хранилась в большом доме, но теперь она разобрана, а оставшиеся книги не стоят даже и наименования книг, хотя они хранятся в тех же шкафах. Только кой-какие портреты и картины, между которыми две-три хороших, красят стены пустого дома. Портрет какого-то монаха, благовидной наружности, обращает на себя внимание; передают, что это бывший петербургский духовник Зонтаг. Два портрета в гостиной[11] (один из них поменьше) завешены кисеею; они, стало быть, дороже других портретов для владелицы дома, если так бережно сохраняются. И действительно, на одном изображен муж Анны Петровны, генерал Зонтаг, давно умерший, а на другом (по уверению многих) нарисовано изображение матери Жуковского, Елизаветы Дементьевны. Тут же, в столике, хранится и какая-то предсмертная работа Зонтаг, составляющая, по-видимому, дорогое воспоминание для ее дочери и любопытство для посторонних посетителей.

Мы, с своей стороны, сомневаемся, что на одном из портретов (меньшем) нарисована мать Василия Андреевича, и сомневаемся недаром вот почему: во-первых, турчанка Сальха, как мы знаем из биографии Жуковского, привезена была в Мишенское 16-ти лет, в возрасте полного физического развития для восточной женщины, на портрете же видим миловидную девочку лет 10—11; во-вторых, краски портрета слишком свежи и ярки для 100-летнего изображения, и, в-третьих (это главнейшее), «Васенька» был общим любимцем в семье Буниных и их всех родственников, но мать его, при всей очевидной пользе ее для дома господ (она была и экономкою, и надсмотрщицею над плетеньями ковров), не могла занимать в господской семье такого видного положения, чтобы владельцы, кто бы они ни были, решились написать ее портрет и тратиться на это. Пассивностью положения своей дорогой матери возмущался иногда и сам добрейший Василий Андреевич.

В настоящее время земля при селе Мишенском, мельница и лес принадлежат дочери Зонтаг, Марье Егоровне, выданной в замужество за австрийского подданного Людвига Гутмансталя-Бенвенути; муж и жена живут в собственном замке Вексель-Штейне, близь Триеста[12]. Вид города Триеста, вероятно, по этому случаю висит с другими картинами на стене диванной. Гутманстали, по рассказам жителей села, люди весьма богатые и Мишенское, по-видимому, держат в своих руках только по родственным воспоминаниям. Сам Людвиг Гутмансталь занимает в Австрии какое-то весьма видное место. Муж и жена, как полагать надобно, оба уже люди пожилые. У Марьи Егоровны считается в Мишенском земли 408 десятин с саженями, а крестьяне вышли с наделом 337 десятин 770 сажен. В 50-ти дворах села считается около 500 душ обоего пола. Хозяйством заведует управляющий. Близь церкви, на окраине холма, выстроена недавно сельская школа, в которой было до 70 обучавшихся; при этом замечательно, что у покойной Зонтаг школа существовала 35 лет тому назад, еще при пресловутом крепостном праве, враждебно относившемся к грамотности крестьян...

Супруги Гутманстали прежде ездили в Россию довольно часто; в последний раз они приезжали лет семь или восемь тому назад, по смерти Елагина, служившего местным предводителем дворянства. Как мы слышали, Гутманстали намеревались было приехать в Мишенское и нынешним летом, но намерение это почему-то не осуществилось. Владельцы Мишенского обыкновенно приезжают не прямо в свое поместье, а в сельцо Уткино, к Е. И. Елагиной, их ближайшей родственнице; Елагина по рождению дочь М. А. Протасовой от профессора Дерптского университета Мойера. Тут невольно вспоминаются высокие и благородные чувства поэта, внушенные ему в молодости матерью Елагиной. Муж последней (брат предводителя), тоже умерший, усердно занимался отечественною историею и написал известную «Белевскую вивлиофику», трактующую о древностях уезда. Затем, пообжившись как следует в Уткине, Гутманстали приезжают на несколько дней в Мишенское, и пустынная господская усадьба, разумеется, на некоторое время оживляется...

Об остальных постройках на господской усадьбе не стоит и упоминать: они немногочисленны. Каменный скотный двор лежит далее, по дороге в Шишкино; господская же рига выстроена еще далее, против сельского кладбища, отделенного от нее рвом, поросшим молодыми березками, что придает местности живописный вид.

На кладбище, сзади которого протекает небольшая речка Семьюнка, выстроена деревянная часовня незатейливой архитектуры; там лежат под каменными памятниками прахи: самого Афанасия Ивановича Бунина, отошедшего в вечность в 1791 году, 75 лет, и дочери его, Варвары Афанасьевны, умершей в 1797 году, 29 лет; она была в замужестве за Петром Юшковым. От этого брака родилась Анна Петровна, впоследствии Зонтаг, одноколыбельница, как она себя называла, Жуковского и

участница во всех его детских играх; к ним присоединялась иногда, вместе с другими, и та девочка, которая жила у священника Петра Петрова. Мраморный памятник самой Зонтаг — ближайший ко входу. Кроме того, виднеется несколько каменных безымянных плит.

На памятнике рано похищенной смертью матери Зонтаг, Варвары Афанасьевны, бывшей вместе с тем и крестною матерью Жуковского, существует следующая эпитафия:

Чей прах скрывает здесь сей камень под собою?
Кто прямо мать была, супруга — мужу, бедным — друг?..
Но к горести их всех, болезненной судьбою,
Она в селенья радости свой испустила дух.

Мы не знаем, кто сочинитель этого надгробия, но по циклу стиха и по особенному душевному настроению автора догадываемся, что творец его — Жуковский, имевший в это время 14 лет.

В той же часовне, при входе налево, находится небольшой из плитняка памятник с следующею надписью, выбитою вязью: «Погребен раб Божий Тихон Иванов Салавцов, Иванов человек, Прокофьевича Воейкова. А подпись сию писал Иван Куликовский, лета 7170 (1662 г.) июня в 28 день».

Все памятники XVII столетия, а также и XVI, какие нам доводилось читать в разных местах над прахами знатных бояр, отличаются величиною и массивностью; памятник же крепостного Соловцова в сравнении с ними есть чисто детский памятничек. Миниатюрностью камня, вероятно, высказывалось ничтожество общественного положения отошедшего в другой мир человека... Неизвестно только то, кто пригородил памятник стеною часовни, чтобы сохранить его: сами ли Воейковы или позднее те лица, которые хоронили Бунина. Укажем теперь на те стихотворения Жуковского, которые живописуют местность Мишенского, в самом деле прекрасную. Вспоминая в Дерпте о дорогой родине, Жуковский пишет:

Там небеса и воды ясны!
Там песни птичек сладкогласны!
О родина, все дни твои прекрасны!
Где б ни был я, но все с тобой —
Душой.
Ты помнишь ли, как под горою,
Осеребряемый росою,
Светился луг вечернею порою
И тишина слетала в лес —
С небес?
Ты помнишь ли наш пруд спокойный,
И тень от ив в час полдня знойный,

И над водой от стада гул нестройный,
И в лоне вод, как сквозь стекло, —
Село?
Там на заре пичужка пела,
Даль озарялась и светлела, —
Туда, туда душа моя летела;
Казалось сердцу и очам —
Все там!..

Это Жуковский писал Авдотье Петровне Елагиной, сестре Зонтаг, а своей племяннице (от другого мужа, В. Киреевского, у нее был сын И. В. Киреевский). Под псевдонимом Петерсон она переводила статьи для журналов.

Привязанный до болезненности к Мишенскому, Жуковский следующим образом описывает свои чувства к родине:

Друзья, любите сень родительского крова!
Где ж счастье, как не здесь, на лоне тишины,
С забвением сует, с беспечностью свободы?
О, блага чистые, о, сладкий дар природы!
Где вы, мои поля? Где вы, любовь весны?
Страна, где я расцвел в тени уединенья,
Где сладость тайная во грудь мою лилась,
О, рощи, о, друзья, когда увижу вас?
Когда, покинув свет, опять без принужденья
Вкушать мне вашу сень, ваш сумрак и покой?
О, кто мне возвратит родимые долины?..[13]

Своей милой родины Жуковский не забывал и при громе пушек, когда сделался «Певцом во стане русских воинов»; он говорит:

Отчизне кубок сей, друзья!
Страна, где мы впервые
Вкусили сладость бытия,
Поля, холмы родные,
Родного неба милый свет,
Знакомые потоки,
Златые игры первых лет
И первых лет уроки,
Что вашу прелесть заменит?
О, родина святая,
Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя?

Когда через 22—23 года, именно в 1838 году, Жуковский проездом был в Белеве со своим царственным воспитанником, в Бозе почившим

императором Александром II, то прожил в Мишенском несколько дней и, разумеется, с любовию осмотрел те прекрасные места, где провел свое детство и первую молодость; по рассказам очевидцев, некоторые места, связанные с печальными событиями, вызвали у впечатлительного Василия Андреевича слезы... Все родные собрались у Зонтаг для встречи дорогого родственника, и встреча вышла не только торжественная, но и семейно-трогательная[14]. Затем, по инициативе некоторых дворян и горожан, поэту оказана была торжественная встреча в городском саду, причем сад роскошно иллюминовали, так как приезд Жуковского состоялся вечером. Восторженные белевцы хотели было украсить голову Жуковского серебряным венком, но виновник торжества скромно уклонился от подобного рода овации. Мастер, делавший венок, жив и теперь[15]. В саду долго после того существовала на главной аллее арка в память этого посещения с надписью: «В память посещения В. А. Жуковского, 1838 год». Объезжая с наследником престола разные общественные учреждения, Василий Андреевич, кал педагог, не преминул завернуть один и в уездное училище, но по случаю вакационного времени, помнится, учения не было. Смотритель же училища, Успенский, вместе с другими чиновниками имел счастие представляться наследнику престола. В письме (1837 года) к бывшему в то время белевскому городскому голове А. Ф. Новикову Жуковский, выразив свою благодарность здешним жителям за их особенно радушный прием, именует сам себя «гражданином» Белева. Письмо это, написанное с величайшею сердечною теплотою, так присущею Жуковскому, нам довелось читать у наследников Новикова, лет 35 тому назад. Копия же с него, к искреннему сожалению, где-то затерялась и потому воспроизведена быть не может. Через бывшего тогда уездного предводителя Жуковский, без всякого сомнения, благодарил и белевское дворянство, почтившее его столь радушным приемом.

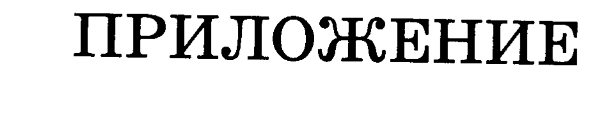
В 1810 году Василий Андреевич устроил для матери своей дом в Белеве; она отошла от Буниной, по-видимому, при ее еще жизни. Полагать надобно, что местность города покойный поэт знал как свои пять пальцев; он выбрал самую лучшую и по чистоте воздуха, и по заокским живописным видам. Местность эта находится в Казачьей слободе, на Ертовской улице, на высоком берегу Оки. Сколько стихов Жуковского обязано этой вдохновляющей местности своим существованием! Дом выстроен был деревянный, двухэтажный, на каменном фундаменте (на углу), с тремя окнами в каждом этаже, из коих среднее, наверху, полукруглое, что имеет странный вид. Елизавета Дементьевна, приписанная к белевскому мещанскому обществу, умерла почти в одно время с Марьею Григорьевною, которой она была гораздо моложе. В 1822 году в опустевшем доме помещались по найму уездный и земский суды с дворянскою опекою, пока переделывались старые обгоревшие развалины теперешнего помещения отделения окружного суда и земской управы с опекою.

Затем дом Жуковского перешел во владение протоколиста опеки Емельянова; по просьбе последнего, нам помнится, из царского кабинета высылались деньги на поддержку здания, приходившего в ветхость. При доме существовал плодовый сад, уничтоженный весенними морозами 1837 года. Старый дом поэта, в 1837 году, осчастливил своим посещением царь-освободитель Александр II, тогда еще наследник престола, во время его путешествия по России. С верхнего этажа августейший путешественник вместе с окружавшею его свитою любовался живописными заокскими окрестностями, простирающимися вверх по Оке верст на 15. Жуковский, в свою очередь, рассказывал наследнику престола разные моменты из его жизни в этом доме вместе с покойною матерью, а также говорил о сочинениях, написанных им в этом доме. Тогдашним владельцем Емельяновым был предложен государю наследнику завтрак; предложение было принято с большою благосклонностью. При отъезде наследник подарил Емельянову богатую табакерку. Обветшалый дом, по инициативе князя Вяземского, друга умершего поэта, правительство приобрело у наследников Емельянова за 3 тысячи рублей, перестроило его заново по плану и фасаду старого и открыло в нем, в конце 1872 года, ремесленное училище. Впоследствии, при увеличившемся комплекте учеников, дом оказался чрезвычайно тесным; была найдена возможность при частном пособии выстроить для школы гораздо большее помещение — каменный двухэтажный дом. В этом доме, приспособленном только вчерне, и помещается теперь училище, а в небольшом домике Жуковского живут преподаватели. На нашем рисунке виднеется фасад училищного дома. Среди усадьбы Жуковского существовала усадьба и деревянный дом, весьма странной архитектуры, бывшего дядьки Василия Андреевича, Михаила Ивановича Зверева. Зверев впоследствии, а именно в 20-х годах, занимался составлением деловых бумаг и слыл в Белеве за умного и трезвого человека; по каким-то обстоятельствам Зверев даже платил гильдию. Преданный дядька ухаживал за Васильем Андреевичем и во время обучения его в Университетском пансионе и после того — в Мишенском и в Белеве, а затем и в Орловской губернии, где покойный приобрел себе маленькую деревеньку, смежную с владением Екатерины Афанасьевны Протасовой — деревнею Муратовою. По рассказам вдовы умершего Зверева, которую нам довелось знать лично, Василий Андреевич сначала помогал ей присылкою на каждое просимое письмо ее, а затем она потеряла его из виду: два подросшие сына могли содержать больную женщину без посторонней помощи.

Заслуги Жуковского, бесспорно, принадлежат всей России; но тем не менее мы, белевцы, вправе называть достойного поэта своим согражданином, не потому только, что он родился близь города, но и потому, что лучшие годы своей молодости он провел в Белеве. Жизнь на родине, так сказать, послужила дорогому «певцу во стане русских воинов» проч-

ным фундаментом, чтобы незыблемо основать на нем свое будущее высокое значение как на литературном поприще, так и на служебном. Заслуги Жуковского, не отдавая, может быть, себе в том ясного отчета, чувствуют сейчас с благодарностью миллионы беднейших обитателей громадной России!..

Прошло почти 100 лет со смерти Афанасия Ивановича, но понятия «бунинская мельница», «бунинский луг» и проч. и теперь не сходят с уст как окрестных жителей Мишенского, так и собственно городских: народная память, видно, переживает самую смерть!..



ПРИЛОЖЕНИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ЖУКОВСКОМУ

А. И. ТУРГЕНЕВ

1. <В. А. ЖУКОВСКОМУ>

Смиренный жизни путь цветами устилая,
Живи, мои милый друг, судьбу благословляя,
И ввек любимцем будь ее.
Блаженство вольности, любви, уединенья
И муз святые вдохновенья
Проникнут сладостью все бытие твое.
А мне судьба велит за счастием гоняться,
Искать его, не находить,
Но я не буду с ней считаться,
Коль будешь ты меня любить.

1803

К. Н. БАТЮШКОВ

2. К ЖУКОВСКОМУ

Прости, балладник мой,
Белёва мирный житель![1]
Да будет Феб с тобой,
Наш давний покровитель!
Ты счастлив средь полей
И в хижине укромной.
Как юный соловей
В прохладе рощи темной
С любовью дни ведет,
Гнезда не покидая,
Невидимый поет,
Невидимо пленяя
Веселых пастухов
И жителей пустынных, —
Так ты, краса певцов,
Среди забав невинных,
В отчизне золотой
Прелестны гимны пой!

О! пой, любимец счастья,
Пока веселы дни
И розы сладострастья
Кипридою даны,
И роскошь золотая,
Все блага рассыпая
Обильною рукой,
Тебе подносит вины,
И портер выписной,
И сочны апельсины,
И с трюфлями пирог —
Весь Амальтеи рог[2],
Вовек неистощимый,
На жирный твой обед!
А мне... покоя нет!
Смотри! неумолимый
Домашний Гиппократ,
Наперсник Парки бледной,
Попов слуга усердной,
Чуме и смерти брат,
Поклявшися латынью
И практикой своей,
Поит меня полынью
И супом из костей;
Без дальнего старанья
До смерти запоит
И к вам писать посланья
Отправит за Коцит!
Всё в жизни изменило,
Что сердцу сладко льстило;
Всё, всё прошло, как сон:
Здоровье легкокрыло,
Любовь и Аполлон!
Я стал подобен тени,
К смирению сердец,
Сух, бледен, как мертвец;
Дрожат мои колени,
Спина дугой к земле,
Глаза потухли, впали,
И скорби начертали
Морщины на челе;
Навек исчезла сила
И доблесть прежних лет.
Увы! мой друг, и Лила
Меня не узнает.
Вчера, с улыбкой злою,
Мне молвила она
(Как древле Громобою[3]

Коварный Сатана) :
«Усопший! мир с тобою!
Усопший! мир с тобою!» —
Ах! это ли одно
Мне роком суждено
За древни прегрешенья?..
Нет, новые мученья,
Достойные бесов!
Свои стихотворенья
Читает мне Свистов[4];
И с ним певец досужий,
Его покорный бес[5],
Как он, на рифмы дюжий,
Как он, головорез!
Поют и напевают
С ночи до бела дня;
Читают и читают
И до смерти меня,
Убийцы, зачитают!

1812

3. К ПОРТРЕТУ ЖУКОВСКОГО

Под знаменем Москвы, пред падшею столицей
Он храбрым гимны пел, как пламенный Тиртей[1];
В дни мира, новый Грей[2],
Пленяет нас задумчивой цевницей.

1817

4

* * *

Жуковский, время все проглотит,
Тебя, меня и славы дым[1],
Но то, что в сердце мы храним,
В реке забвенья не потопит!
Нет смерти сердцу, нет ее!
Доколь оно для блага дышит!..
А чем исполнено твое,
И сам Плетаев[2] не опишет.

1821

В. Л. ПУШКИН

5. К В. А. ЖУКОВСКОМУ

Licuit semperque licebit
Signatum praesente notâ producere nomen.
Ut silvae foliis pro nos mutantur in annos,
Prima cadunt; ita verborum vetus interit aetas,
Et juvenum ritu florent modò nata vigentque.

*H o r a t. Ars poetica**

Скажи, любезный друг, какая прибыль в том,
Что часто я тружусь день целый над стихом?
Что Кондильяка я и Дюмарсе читаю,
Что логике учусь и ясным быть желаю?
Какая слава мне за тяжкие труды?
Лишь только всякой час себе я жду беды;
Стихомарателей здесь скопище упрямо.
Не ставлю я нигде ни *семо,* ни *овамо*[1];
Я, признаюсь, люблю Карамзина читать
И в слоге Дмитреву стараюсь подражать.
Кто мыслит правильно, кто мыслит благородно,
Тот изъясняется приятно и свободно.
Славянские слова таланта не дают,
И на Парнас они поэта не ведут.
Кто русской грамоте как должно не учился,
Напрасно тот писать трагедии пустился[2];
Поэма громкая, в которой плана нет[3],
Не песнопение, но сущий только бред.

Вот мнение мое! Я в нем не ошибаюсь
И на Горация и Депрео ссылаюсь:
Они против врагов мне твердый будут щит;
Рассудок следовать примерам их велит.
Талант нам Феб дает, а вкус дает ученье.
Что просвещает ум? питает душу? — чтенье.
В чем уверяют нас Паскаль и Боссюэт,
В Синопсисе[4] того, в Степенной книге[5] нет.
Отечество люблю, язык я русской знаю,
Но Тредьяковского с Расином не равняю;

---

* Всегда было и будет впредь позволено использовать слова, освященные употреблением. Как леса на склоне года меняют листья и опадают те, что появились прежде, так проходит пора старых слов и в употреблении цветут и крепнут вновь появившиеся. *Гораций. Поэтическое искусство (лат.).*

И Пиндар наших стран тем слогом не писал,
Каким Боян в свой век героев воспевал[6].

Я прав, и ты со мной, конечно, в том согласен;
Но правду говорить безумцам — труд напрасен.
Я вижу весь собор безграмотных славян,
Которыми здесь вкус к изящному попран,
Против меня теперь рыкающий ужасно,
К дружине вопиет наш Балдус[7] велегласно:
«О братие мои, зову на помощь вас!
Ударим на него, и первый буду аз.
Кто нам грамматике советует учиться,
Во тьму кромешную, в геенну погрузится;
И аще смеет кто Карамзина хвалить,
Наш долг, о людие, злодея истребить».
Не бойся, говоришь ты мне, о друг почтенный.
Не бойся, мрак исчез — настал нам
век блаженный!
Великий Петр, потом Великая Жена,
Которой именем вселенная полна,
Нам к просвещению, к наукам путь открыли,
Венчали лаврами и светом озарили.
Вергилий и Омер, Софокл и Эврипид,
Гораций, Ювенал, Саллюстий, Фукидид
Знакомы стали нам, и к вечной славе россов
Во хладном Севере родился Ломоносов!
На лире золотой Державин возгремел,
Бессмертную в стихах бессмертных он воспел;
Любимец Аонид и Фебом вдохновенный,
Представил Душеньку в поэме несравненной[8].
Во вкусе час настал великих перемен:
Явились Карамзин и Дмитрев-Лафонтен[9]!
Вот чем все русские должны гордиться ныне!
Хвала Великому! Хвала Екатерине!
Пусть Клит рецензии тисненью предает —
Безумцу вопреки. Поэт всегда Поэт.

Итак, любезный друг, я смело в бой вступаю;
В словесности раскол, как должно, осуждаю.
Арист[10] душою добр, но автор он дурной,
И нам от книг его нет пользы никакой;
В странице каждой он слог древний выхваляет
И русским всем словам прямой источник знает, —
Что нужды? Толстый том, где зависть лишь видна,
Не есть Лагарпов курс[11], а пагуба одна.
В славянском языке и сам я пользу вижу,
Но вкус я варварский гоню и ненавижу.

В душе своей ношу к изящному любовь;
Творенье без идей мою волнует кровь.
Слов много затвердить не есть еще ученье,
Нам нужны не слова — нам нужно просвещенье[12].

1810

6. НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ В. А. ЖУКОВСКОГО

Он стал известен сам собой;
На лире он любовь, героев воспевает;
Любимец муз соединяет
Прекраснейший талант с прекраснейшей душой.

1817

7. К В. А. ЖУКОВСКОМУ

Товарищ-друг! Ты помнишь ли, что я
Еще живу в сем мире?
Что были в старину с тобою мы друзья,
Что я на скромной лире,
Бывало, воспевал талант изящный твой?
Бывало, часто я, беседуя с тобой,
Читал твои баллады и посланья:
Приятные, увы, для сердца вспоминанья!
Теперь мне некому души передавать:
С тобою, В<яземски>м, со всеми я в разлуке;
Мне суждено томиться, горевать
И дни влачить в страданиях и скуке.
Где Б<лудо>в? Где Д<ашко>в? Жизнь долгу посвятив,
Они заботятся, трудятся;
Но и в трудах своих нередко, может статься,
Приходит им на мысль, что друг их старый жив.
Я жив, чтоб вас любить, чтоб помнить всякий час,
Что вас еще имею;
Благодаря судьбу, я в чувствах не хладею.
Молю, чтоб небеса соединили нас.

9 января 1830

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ

8. ПОСЛАНИЕ К ЖУКОВСКОМУ ИЗ МОСКВЫ В КОНЦЕ 1812 ГОДА

Итак, мой друг, увидимся мы вновь
В Москве, всегда священной нам и милой!
В ней знали мы и дружбу и любовь,

И счастье в ней дни наши золотило.
Издетства, друг, для нас была она
Святилищем драгих воспоминаний;
Протекших бед, веселий, слез, желаний
Здесь повесть нам везде оживлена.
Здесь красится дней наших старина,
Дней юности, и ясных и веселых,
Мелькнувших нам едва — и отлетелых.
Но что теперь твой встретит мрачный взгляд
В столице сей и мира и отрад? —
Ряды могил, развалин обгорелых
И цепь полей пустых, осиротелых —
Следы врагов, злодейства гнусных чад!
Наук, забав и роскоши столица,
Издревле край любви и красоты
Есть ныне край страданий, нищеты.
Здесь бедная скитается вдовица,
Там слышен вопль младенца-сироты;
Их зрит в слезах румяная денница,
И ночи мрак их застает в слезах!
А там старик, прибредший на клюках
На хладный пепл родного пепелища,
Не узнает знакомого жилища,
Где он мечтал сном вечности заснуть,
Склонив главу на милой дщери грудь;
Теперь один, он молит дланью нищей
Последнего приюта на кладбище.
Да будет тих его кончины час!
Пускай мечты его обманут муку,
Пусть слышится ему дочерний глас,
Пусть, в гроб сходя, он мнит подать ей руку!
Счастлив, мой друг, кто, мрачных сих картин,
Сих ужасов и бедствий удаленный
И строгих уз семейных отчужденный,
Своей судьбы единый властелин,
Летит теперь, отмщеньем вдохновенный[1],
Под знамена карающих дружин!
Счастлив, кто меч, отчизне посвященный,
Подъял за прах родных, за дом царей,
За смерть в боях утраченных друзей;
И, роковым постигнутый ударом,
Он скажет, свой смыкая мутный взор:
«Москва! Я твой питомец с юных пор,
И смерть моя — тебе последним даром!»

Я жду тебя, товарищ милый мой!
И по местам, унынью посвященным,
Мы медленно пойдем, рука с рукой,

Бродить, мечтам предавшись потаенным.
Здесь тускл зари пылающий венец,
Здесь мрачен день в краю опустошений;
И скорби сын, развалин сих жилец,
Склоня чело, объятый думой гений
Гласит на них протяжно: нет Москвы!
И хладный прах, и рухнувшие своды,
И древний Кремль, и ропотные воды
Ужасной сей исполнены молвы!

1813

9. К ТИРТЕЮ СЛАВЯН

Давно ли ты, среди грозы военной,
Младой Тиртей[1], на лире вдохновенной
Победу пел перед вождем побед[2]?
И лаврами его означил след?
Давно ли ты, воспламенен героем,
Воспел его, с бестрепетным покоем
Стоящего пред трепетным врагом?
О, сколь тебе прекрасен перед строем
Казался он с израненным челом![3]
И ты прочел в священном упоенье
На сем челе судьбины приговор:
Успех вождя и пришлеца позор,
И ты предрек грядущих дней явленье!
Но где тобой обещанный возврат?
Где вождь побед? Увы! и стар и млад,
Предупредя дрожащий луч денницы,
Во сретенье к нему не поспешат!
Не окружат победной колесницы
И спасшей их отмстительной десницы
К устам своим не поднесут стократ!
И каждый шаг его не огласят
Языком чувств, хвалою благородной!
Не придет сей желанный нами день!
Внезапно смерть простерла ночи тень[4]
На путь вождя, путь славы лучезарной!
Спасенья муж свой зоркий взгляд смежил,
И тесный гроб — великого вместил!
Обвей свою ты кипарисом лиру,
Тиртей славян! И прах, священный миру,
Да песнь твоя проводит в мрачный свод,
И тень его, с безоблачных высот
Склонясь на глас знакомых песнопений,
Твой будет щит и вдохновенья гений.

1813

10. К В. А. ЖУКОВСКОМУ

(Подражание сатире II Депрео)[1]

О ты, который нам явить с успехом мог
И своенравный ум, и беспорочный слог,
В боренье с трудностью силач необычайный[2],
Не тайн поэзии, но стихотворства тайны,
Жуковский! от тебя хочу просить давно.
Поэзия есть дар, стих — мастерство одно.
Природе в нас зажечь светильник вдохновенья,
Искусства нам дают пример и наставленья.
Как с рифмой совладеть, подай ты мне совет[3].
Не ты за ней бежишь, она тебе вослед;
Угрюмый наш язык как рифмами ни беден,
Но прихотям твоим упор его не вреден,
Не спотыкаешься ты на конце стиха
И рифмою свой стих венчаешь без греха.
О чем ни говоришь, она с тобой в союзе
И верный завсегда попутчик смелой музе.
Но я, который стал поэтом на беду,
Едва когда путем на рифму набреду;
Не столько труд тяжел в Нерчинске рудокопу,
Как мне, поймавши мысль, подвесть ее под стопу
И рифму залучить к перу на острие.
Ум говорит одно, а вздорщица[4] свое.
Хочу ль сказать, к кому был Феб из русских ласков, —
Державин рвется в стих, а втащится Херасков[5].
В стихах моих не раз, ее благодаря,
Трус Марсом прослывет, Катоном — раб царя,
И, словом, как меня в мороз и жар ни мечет,
А рифма, надо мной ругаясь, мне перечит.
С досады, наконец, и выбившись из сил,
Даю зарок не знать ни перьев, ни чернил,
Но только кровь во мне, спокоившись, остынет
И неуспешный лов за рифмой ум покинет,
Нежданная, ко мне является она,
И мной владеет вновь парнасский сатана.
Опять на пытку я, опять бумагу в руки —
За рифмой рифмы ждать, за мукой новой муки.
Еще когда бы мог я, глядя на других,
Впопад и невпопад сажать слова в мой стих;
Довольный счетом стоп и рифмою богатой,
Пестрил бы я его услужливой заплатой.
Умел бы, как другой, паря на небеса,
Я в пляску здесь пустить и горы и леса[6]
И, в самый летний зной в лугах срывая розы,
Насильственно пригнать с Уральских гор морозы.

При помощи таких союзников, как встарь,
Из од своих бы мог составить рифм словарь
И Сумарокова одеть в покрове новом;
Но мой пужливый ум дрожит над каждым словом,
И рифма праздная, обезобразив речь,
Хоть стих и звучен будь, — ему как острый меч.
Скорее соглашусь, смиря свою отвагу,
Стихами белыми весь век чернить бумагу,
Чем слепо вклеивать в конец стихов слова,
И, написав их три, из них мараю два.
Проклятью предаю я, наравне с убийцей,
Того, кто первый стих дерзнул стеснить границей
И вздумал рифмы цепь на разум наложить.
Не будь он — мог бы я спокойно век дожить,
Забот в глаза не знать и, как игумен жирный,
Спать ночью, днем дремать в объятьях лени мирной.
Ни тайный яд страстей, ни зависти змея
Грызущею тоской не трогают меня.
Я Зимнего дворца не знаю переходов,
Корысть меня не мчит к брегам чужих народов.
Довольный тем, что есть, признательный судьбе,
Не мог бы в счастье знать и равного себе,
Но, заразись назло стихолюбивым ядом,
Свой рай земной сменил я добровольным адом.
С тех пор я сам не свой: прикованный к столу,
Как древле изгнанный преступник на скалу
Богами брошен был на жертву хищной власти,
Насытить не могу ненасытимой страсти.
То оборот мирю с упрямым языком,
То выживаю стих, то строфу целиком,
И, силы истоща в страдальческой работе,
Тем боле мучусь я, что мучусь по охоте.
Блаженный Н<иколев>, ты этих мук не знал.
Пока рука пером водила, ты писал,
И полка книжная, твой знаменуя гений,
Трещит под тяжестью твоих стихотворений.
Пусть слог твой сух и вял, пусть холоден твой жар,
Но ты, как и другой, Заикину товар.
Благодаря глупцам не залежишься в лавке!
«Где рифма налицо, смысл может быть в неявке!» —
Так думал ты — и том над томом громоздил;
Но жалок правилам кто ум свой покорил.
Удачный выбор слов невежде не помеха;
Ему что новый стих, то новая потеха.
С листа на лист, резвясь игривою рукой,
Он в каждой глупости любуется собой.
Напротив же, к себе писатель беспристрастный,
Тщась беспорочным быть, — в борьбе с собой всечасной.

Оправданный везде, он пред собой не прав;
Всем нравясь, одному себе он не на нрав.
И часто кто за дар прославлен целым светом,
Тот проклинает день, в который стал поэтом.
Ты, видя подо мной расставленную сеть,
Жуковский! научи, как с рифмой совладеть.
Но если выше сил твоих сия услуга,
То от заразы рифм избавь больного друга!

Август 1819

11. ПЕСНЬ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В. А. ЖУКОВСКОГО

В этот день дал Бог нам друга —
И нам праздник этот день!
Пусть кругом снега и вьюга
И январской ночи тень —
Ты, Вьельгорский, влагой юга
Кубок северный напень!
Все мы выпьем, все мы вскроем
Дно сердец и кубков дно
В честь того, кого запоем
Полюбили мы давно!

Будь наш тост ему отраден,
И от города Петра
Пусть отгрянет в Баден-Баден[1]
Наше русское ура!

Он чудесный дар имеет
Всех нас спаивать кругом:
Душу он душою греет,
Ум чарует он умом
И волшебно слух лелеет
Упоительным стихом.
И под старость, духом юный,
Он все тот же чародей!
Сладкой песнью дышат струны,
И душа полна лучей.

Будь наш тост ему отраден,
И от города Петра
Пусть отгрянет в Баден-Баден
Наше русское ура!

Нас судьбы размежевали,
Брошен он в чужой конец,
Но нас чувства с ним связали,
Но он сердцем нам близнец;
Ни разлуки нет, ни дали
Для сочувственных сердец.

Нежной дружбы тайной силой
И судьбе наперелом
В нас заочно — друг наш милый,
И мы жизнью сердца — в нем.
Будь наш тост ему отраден,
И от города Петра
Пусть отгрянет в Баден-Баден
Наше русское ура!
Тихо-радостной тоскою
В этот час объятый сам,
Может статься, он мечтою
К нам прильнул и внемлет нам
И улыбкой и слезою
Откликается друзьям!
Радость в нем с печалью спорит,
Он и счастлив и грустит,
Нашим песням молча вторит
И друзей благодарит.
Будь наш тост ему отраден,
И от города Петра
Пусть отгрянет в Баден-Баден
Наше русское ура!

Январь 1849

В. Ф. РАЕВСКИЙ

12. ИЗ «ПЕСНИ ВОИНОВ ПЕРЕД СРАЖЕНИЕМ»

<...> Пусть дети неги и порока
С увялой, рабскою душой
Трепещут гибельного рока,
Неразлучимого с войной,
И спят на ложе пресыщенья,
Когда их братья кровь лиют.
Постыдной доле их — презренье!
Во тьме дни слабых протекут!
А нам отчизны взор — награда
И милых по́ сердцу привет,
Низвергнем сонмы супостата,
И с славой нам восплещет свет!..
Краса певцов, наш бард любимый,
Жуковский в струны загремит,
И глас его непобедимых
Венком бессмертья отличит.
И юный росс, приникший слухом
К его цевнице золотой,

Геройским вспыхивает духом
И, как с гнезда орел младой,
Взлетит искать добычи бранной
Вослед испытанным вождям...
О други! близок час желанный,
И близок грозный час врагам, —
Певцы передадут потомству
Наш подвиг, славу, торжество.
Устроим гибель вероломству,
Дух мести — наше божество!

1812—1813

А. Ф. ВОЕЙКОВ

13. К Ж<УКОВСКОМУ>

Ты, который с равной легкостью,
С равным даром пишешь сказочки,
Оды, песни и элегии;
Муз любимец и учитель мой
В описательной поэзии![1]
Добрый друг, открой мне таинства!
Где ты взял талант божественный
Восхищать, обворожать умы,
Нежить сердце, воображение?
Не Зевес ли положил печать
На челе твоем возвышенном?
Не Минерва ль обрекла тебя
При рожденье чистым музам в дар?
Нам талантов приобресть нельзя,
Мы с талантами рождаемся.
Все пиитики, риторики,
Все Лагарпы, Аристотели
Не соделают поэтами.
Что наука? Кормчий смысленный,
Искушенный и воспитанный
В школе времени и опытов;
Но без ветра морем плыть нельзя
И писать без дарования.
Ты поэтом родился на свет,
В колыбели повит лаврами.
Родился — и улыбнулася
Мать-природа сыну милому,
И все виды для очей твоих
В красоту преобразилися,

И все звуки для ушей твоих —
В сладкогласие небесное.
Представляешь ли Фантазию,
Как она по свету рыскает,
Подостлавши самолет-ковер,
Алый мак держа в одной руке,
А в другой ширинку белую, —
Претворяешь в пурпур рубище,
В пышный храм шалаш соломенный,
Узы тяжкие железные
В вязь легчайшую, цветочную.
Все блестящи краски радуги
На палитру натираешь ты,
Все цветы, в полях растущие,
Разноцветны, разновидные,
Рвешь, плетешь из всех один венок
И венчаешь им прелестную
Дщерь Зевесову — Фантазию.

Со друзьями ли беседуешь
Под покровом кленов сетчатым,
На ковре лугов узорчатом,
Где ручей журчит по камушкам,
Где шум сладкий бродит по лесу, —
Ты, сливая голос с лирою,
Поощряешь к наслаждениям,
К сладострастию изящному.
«О друзья мои![2] — вещаешь ты. —
Жизнь есть миг, она пройдет, как сон,
Как улыбки след прелестныя,
Как минутный Филомелы глас
Умолкает за долиною.
Посмотрите, как за часом час
Оставляет нас украдкою.
И как знать? Быть может, завтра же
Мы уснем в могиле праотцев;
Так почто же дни столь краткие
Отравлять еще заботами,
Подлой страстью сребролюбия
Домогаться пресмыканием
Мзды за низкость жалких почестей?
Насладимся днем сегодняшним!
В чаше радости потопим грусть
И, стаканом об стакан стуча,
Смерть попросим, чтоб нечаянно
Посетила среди пиршества,
Так, как добрый, но нежданный друг».

Иль с Людмилою тоску делишь
О потере друга милого.
Иль с Светланою прелестною
Вечерком крещенским резвишься,
Топишь в чашу белый ярый воск
И, бросая свой золот перстень,
Ты поешь подблюдны песенки[3].

О соперник Гете, Бюргера!
Этой сладкою поэзией,
Этой милой философией
Ты пленяешь, восхищаешь нас;
Превосходен и в безделицах,
Кисть Альбана в самых мелочах.
Но почто же, мой почтенный друг,
Ты с цветка лишь на цветок летишь
Так, как пчелка златокрылая,
Так, как резвый мотылек весной?
Ты умеешь соколо́м парить
И конем лететь чрез поприще.
Состязайся ж с исполинами,
С увенчанными поэтами;
Соверши двенадцать подвигов:
Напиши четыре части дня,
Напиши четыре времени[4],
Напиши поэму славную,
В русском вкусе повесть древнюю, —
Будь наш Виланд, Ариост, Баян!
Мы имели славных витязей,
Святослава со Добрынею;
А Владимир — русско солнышко,
Наш Готфред или Великий Карл;
А Димитрий — басурманов бич;
Петр — Сампсон, раздравший челюсть льва,
Великан между великими;
А Суворов — меч отечества,
Затемнивший славой подвигов
Александра, Карла, Цесаря;
А Кутузов — щит отечества,
Мышцей крепкою, высокою
Сокрушивший тьмы и тысячи
Колесниц, коней и всадников
Так, как ветр великий севера
Истребляет пруги алчные,
Губит жабы ядовитые,
Из гнилых болот излезшие
И на нивах воссмердевшие;
А Плато́в, который так, как волхв,

Серым волком рыщет по лесу,
Сизым орлом по поднебесью,
Щукой зоркой по реке плывет
И в единый миг и там и здесь
Колет, гонит и в полон берет!

Выбирай, соображай, твори!
Много славы, много трудностей.
Слава ценится опасностью,
Одоленными препятствами.
В колыбели сын Юпитеров
Задушил змей черных зависти,
Но зато Иракл на небо взят;
И тебе, орел поэзии,
Подле Грея, подле Томсона
Место на небе готовится!

7 января 1813

14. ИЗ «ДОМА СУМАСШЕДШИХ»

Вот Ж<уковск>ий! — В саван длинный
Скутан, лапочки крестом,
Ноги вытянувши чинно,
Черта дразнит языком.
Видеть ведьму воображает:
То глазком ей подмигнет,
То кадит и отпевает,
И трезвонит и ревет[1].

1814—1830

А. С. ПУШКИН

15. К ЖУКОВСКОМУ

Благослови, поэт!.. В тиши парнасской сени
Я с трепетом склонил пред музами колени.
Опасною тропой с надеждой полетел,
Мне жребий вынул Феб, и лира мой удел.
Страшусь, неопытный, бесславного паденья,
Но пылкого смирить не в силах я влеченья,
Не грозный приговор на гибель внемлю я:
Сокрытого в веках священный судия*,
Страж верный прошлых лет, наперсник муз любимый

---

* Карамзин.

И бледной зависти предмет неколебимый
Приветливым меня вниманьем ободрил;
И Дмитрев слабый дар с улыбкой похвалил;
И славный старец наш, царей певец избранный*,
Крылатым гением и грацией венчанный,
В слезах обнял меня дрожащею рукой
И счастье мне предрек, незнаемое мной.
И ты, природою на песни обреченный!
Не ты ль мне руку дал в завет любви священный?
Могу ль забыть я час, когда перед тобой
Безмолвный я стоял, и молнийной струей
Душа к возвышенной душе твоей летела
И, тайно съединясь, в восторгах пламенела[1], —
Нет, нет! решился я — без страха в трудный путь,
Отважной верою исполнилася грудь.
Творцы бессмертные, питомцы вдохновенья!..
Вы цель мне кажете в туманах отдаленья,
Лечу к *безвестному*[2] отважною мечтой,
И, мнится, гений ваш промчался надо мной!

Но что? Под грозною парнасскою скалою
Какое зрелище открылось предо мною?
В ужасной темноте пещерной глубины
Вражды и зависти угрюмые сыны,
Возвышенных творцов зоилы записные
Сидят — бессмыслицы дружины боевые.
Далеко диких лир несется резкий вой,
Варяжские стихи визжит варягов строй.
Смех общий им ответ; над мрачными толпами
Во мгле два призрака склонилися главами[3].
Один на груды сел и прозы и стихов —
Тяжелые плоды полунощных трудов,
Усопших од, поэм забвенные могилы!
С улыбкой внемлет вой стопосложитель хилый:
Пред ним растерзанный стенает Тилемах;
Железное перо скрыпит в его перстах
И тянет за собой гекзаметры сухие,
Спондеи жесткие и дактилы тугие.
Ретивой музою прославленный певец,
Гордись — ты Мевия[4] надутый образец!
Но кто другой, в дыму безумного куренья,
Стоит среди толпы друзей непросвещенья?
Торжественной хвалы к нему несется шум:
Он — он под рифмою попрал и вкус и ум;
Ты ль это, слабое дитя чужих уроков,
Завистливый гордец, холодный Сумароков,

* Державин.

Без силы, без огня, с посредственным умом,
Предрассуждениям обязанный венцом
И с Пинда сброшенный, и проклятый Расином?
Ему ли, карлику, тягаться с исполином?
Ему ль оспоривать тот лавровый венец,
В котором возблистал бессмертный наш певец,
Веселье россиян, полунощное диво*?..
Нет! в тихой Лете он потонет молчаливо,
Уж на челе его забвения печать,
Предбудущим векам что мог он передать?
Страшилась грация цинической свирели,
И персты грубые на лире костенели.
Пусть будет Мевием в речах превознесен —
Явится Депрео, исчезнет Шапелен[5].

И что ж? всегда смешным останется смешное;
Невежду пестует невежество слепое.
Оно сокрыло их во мрачный свой приют;
Там прозу и стихи отважно все куют,
Там все враги наук, все глухи — лишь не немы,
Те слогом Никона печатают поэмы,
Одни славянских од громады громоздят,
Другие в бешеных трагедиях хрипят,
Тот, верный своему мятежному союзу[6],
На сцену возведя зевающую музу,
Бессмертных гениев сорвать с Парнаса мнит.
Рука содрогнулась, удар его скользит,
Вотще бросается с завистливым кинжалом,
Куплетом ранен он, низвержен в прах журналом, —
При свистах критики к собратьям он бежит...
И маковый венец Феспису ими свит.
Все, руку положив на том «Тилемахиды»,
Клянутся отомстить сотрудников обиды,
Волнуясь, восстают неистовой толпой.
Беда, кто в свет рожден с *чувствительной* душой!
Кто тайно мог пленить красавиц нежной лирой,
Кто смело просвистал шутливою сатирой,
Кто выражается правдивым языком
И русской глупости не хочет бить челом!..
Он враг отечества, он сеятель разврата!
И речи сыплются дождем на супостата.

И вы восстаньте же, парнасские жрецы,
Природой и трудом воспитанны певцы
В счастливой ереси и вкуса и ученья,
Разите дерзостных друзей непросвещенья.

---

* Ломоносов.

Отмститель гения, друг истины, поэт!
Лиющая с небес и жизнь и вечный свет,
Стрелою гибели десница Аполлона
Сражает наконец ужасного Пифона.
Смотрите: поражен враждебными стрелами,
С потухшим факелом, с недвижными крылами
К вам Озерова дух взывает: други! месть!..
Вам оскорбленный вкус, вам знанья дали весть —
Летите на врагов: и Феб и музы с вами!
Разите варваров кровавыми стихами;
Невежество, смирясь, потупит хладный взор,
Спесивых риторов безграмотный собор...

Но вижу: возвещать нам истины опасно,
Уж Мевий на меня нахмурился ужасно,
И смертный приговор талантам возгремел.
Гонения терпеть ужель и мой удел?
Что нужды? смело *в даль,* дорогою прямою,
Ученью руку дав, поддержанный тобою,
Их злобы не страшусь; мне твердый Карамзин,
Мне ты пример. Что крик безумных сих дружин?
Пускай беседуют отверженные Феба;
Им прозы, ни стихов не послан дар от неба.
Их слава — им же стыд; творенья — смех уму;
И в тьме возникшие низвергнутся во тьму.

1816

16. ЖУКОВСКОМУ

Когда, к мечтательному миру
Стремясь возвышенной душой,
Ты держишь на коленах лиру
Нетерпеливою рукой;
Когда сменяются виденья
Перед тобой в волшебной мгле
И быстрый холод вдохновенья
Власы подъемлет на челе, —
Ты прав, творишь ты *для немногих*[1],
Не для завистливых судей,
Не для сбирателей убогих
Чужих суждений и вестей,
Но для друзей таланта строгих,
Священной истины друзей[2].
Не всякого полюбит счастье,
Не все родились для венцов.
Блажен, кто знает сладострастье

Высоких мыслей и стихов!
Кто наслаждение прекрасным
В прекрасный получил удел
И твой восторг уразумел
Восторгом пламенным и ясным.

1818

17. К ПОРТРЕТУ ЖУКОВСКОГО

Его стихов пленительная сладость
Пройдет веков завистливую даль,
И, внемля им, вздохнет о славе младость,
Утешится безмолвная печаль
И резвая задумается радость.

1818

М. В. МИЛОНОВ

18. К В. А. ЖУКОВСКОМУ

(*На получение экземпляра его стихотворений*[1])

Желанный дар из рук любимого поэта,
Стань в ряд с Державиным в почетный уголок;
Пусть ищет кто другой забав ничтожных света:
В вас сердца моего утеха и урок!
При вашем имени о свете забываю
И, силою благой фантазии влеком,
В мир лучший, в мир другой мечтой перелетаю,
Который лишь душам возвышенным знаком,
Где все, что на земле возможет быть прелестно
И радости небес для сердца прорицать,
Рукою собрано поэзии чудесной –
Олимп, где жрец ее дерзает обитать!
Туда меня, поэт, твой гений увлекает...
О, если бы его имел я силу крил!
Венец его в лучах бессмертия сияет:
Он лиру лишь добру и славе посвятил.
Пускай достоинства свет видит равнодушно, –
Поэту ль от него отличия искать?
Пусть будет он сокрыт от знатности бездушной,
Пусть будет злость его и зависть помрачать –
Не знает низких средств души высокой сила,
Он будет лишь одно прекрасное любить,

Судьба его сама от смертных отличила,
И чувств его ничто не может изменить!
Завиден для меня путь, избранный тобою,
Стезя, ведущая так близко до сердец.
Скажи, исполненный когда самим собою,
Страсть к славе и добру, поэзии мудрец,
С волшебной силою ты передать желаешь
И чувства упоить сей страстию благой, —
Скажи мне, не в себе ль награду обретаешь?
И высший смертных долг исполнен уж тобой!
Ты любишь и поешь в восторге добродетель.
Круг мирных дел певца пускай судьба стеснит,
Но дух его парит, величия свидетель,
И с гордостью венок достоинству дарит.
Как живы для меня, поэт, твои картины,
Наставник в коих твой, натура, вся видна:
Сей вечер сумрачный, сходящий на долины,
И обаяния владычица, луна,
Что, медленно взойдя в среду небес обширных,
Сребристою струей рассекла мрачный ток,
Близ коего один, в мечтах, при звуках лирных,
Ты внемлешь быстрых лет катящийся поток,
И время отдает тебе минувши годы,
Надеяся тобой украсить в мире след,
О, нежных сердца чувств, поэт любви, природы!
Минуты сей восторг дороже многих лет!
С какою прелестью своей неизъяснимой
Ты благ утраченных нам кажешь скорбный вид!
Он скрылся, призрак сей, вовек невозвратимый,
Но живо моему он сердцу говорит!
И к праху самому, дух нежный, пламенея,
Мечтание пред ним слиялось с бытием —
Я зрю: горит лучом столб бледный мавзолея,
И гений внемлет глас при камне гробовом!
Верь: лучший наш удел — сия страна мечтаний,
Где мысль, свободна уз, полет свой соверша,
Бросает свет на путь тернистый испытаний —
И чувствует свое величие душа.

1818

19

* * *

Жуковский, не забудь Милонова ты вечно,
Который говорит тебе чистосердечно,
Что начал чепуху ты врать уж не путем.

Итак, останемся мы каждый при своем —
С галиматьею[1] ты, а я с парнасским жалом,
Зовись ты Шиллером, зовусь я Ювеналом;
Потомство судит нас, а не твои друзья,
А Блудов, кажется, меж нами не судья[2].

М. Милонов,
обнимающий с почтением Жуковского
3 сентября 1818

И. И. КОЗЛОВ

20. К ДРУГУ В<АСИЛИЮ> А<НДРЕЕВИЧУ) Ж<УКОВСКОМУ> ПО ВОЗВРАЩЕНИИ ЕГО ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ[1]

Опять ты здесь! опять судьбою
Дано мне вместе быть с тобою!
И взор хотя потухший мой
Уж взоров друга не встречает,
Но сердцу внятный голос твой
Глубоко в душу проникает.
О, долго в дальней стороне
Ты зажился, наш путник милый![2]
И сей разлуки год унылый,
Мой друг, был черным годом мне!
Но я любить не разучился,
Друзей моих не забывал,
От них нигде не отставал
И часто мысленно носился
С тобою выше облаков,
В стране, где посреди снегов[3]
Весна роскошно зеленеет,
Где виноград душистый рдеет,
Дубровы мирные шумят,
Луга красуются цветами
И вековые льды горят
Небесной радуги огнями.
И часто, часто я с тобой
Альпийских ветров слушал вой,
И мрачных сосн суровый ропот,
И тайный их полночный шепот;
Смотрел, как с гор поток там бьет
И грохот в рощах раздается;
Здесь, рухнув, ла́вина падет,
Чрез села страшный путь берет
И лавой снежною несется.
Но вид угрюмой красоты

От сердца гонит прочь мечты —
И нас в священный трепет вводит.
Бывало, чаще в мысль приходит,
Когда уж месяц над рекой,
Что друг вечернею порой
В раздумье по долинам бродит,
Плывет по тихим озерам
И, к синим их склонен струям,
В часы сердечного мечтанья
Чужим передает волнам
Родимых волн воспоминанья
И дальних милых тех полей,
Где он в беспечности своей
Жизнь встретил, счастью доверяясь,
Когда надежда, улыбаясь,
Тропинкой призраков вела:
Там он лелеял грусть и радость,
И в вдохновеньях там цвела
Его задумчивая младость.
И кто ж весну свою забыл?
Кто не живет воспоминаньем?
И я его очарованьем
Бываю менее уныл,
Улыбку иногда встречаю
И, весь в минувшем, забываю,
Как в непреклонности своей
Судьба карать меня умеет, —
И память прежних светлых дней
Тоской отрадною мне веет.
И я, мой друг, и я мечтал!
Я видел сон любви и счастья,
Я свято сердцем уповал,
Что нет под небом им ненастья;
С зарей, ты знаешь, юных дней,
Пленен любимою мечтою,
Стремился я за ней одною,
И без нее мне белый свет
Казался степью лишь пустою;
С душой, наполненной огнем,
Я волн и бурь не устрашился
И в легком челноке моем
Отважно по морю пустился.
Меня манил надежды луч,
И, как гроза ни бунтовала,
Мне из-за гневных, черных туч
Звезда приветная сияла, —
Что сердцу снилось, все сбылось!
Ах, для чего же, молодое,

Мое ты счастье золотое,
Так быстро, быстро пронеслось!
Иль видно, друг, сказать с тобою:
Не у меня ему гостить!
Так мы слыхали, что порою
Случайно птичка залетит
От южных островов прекрасных
В страну дней мрачных и ненастных,
Где дикий дол и темный лес
Не зрели голубых небес,
И там эфирною красою
И пенья нежностью простою
Угрюмый бор развеселит,
Минутной негой подарит!
Но край, где буря обитает,
Ей не родная сторона,
И, лишь залетная, она
Мелькнет, прельстит и улетает.

Пять раз зеленые поля
Весна цветами обновляла,
С тех пор как, друг, она меня
В тенистых рощах не видала.
Пять целых лет, в борьбе страстей,
В страданьях, горем я томился,
Окован злой судьбой моей,
Во цвете лет уж я лишился
Всего, что в мире нас манит,
Всего, что радость нам сулит.
Могу ли усыпать цветами
Жизнь той, кем жизнь моя цвела,
Которая в груди зажгла
Пыл страстный райскими мечтами
И в даль туманную со мной
Шла радостно рука с рукой!..
Мой друг, простясь с очарованьем,
Душою быть семьи своей,
Щитом, отрадой, упованьем
Подруги милой и детей,
Уже дружился я с тоскою,
Забыл себя, стал ими жить,
Умел их окружить собою,
В одно мои все чувства слить,
Любовью счастье заменить...
Но что ж!.. и божий свет скрываться
Вдруг начал от моих очей!
И я... я должен был расстаться
С последней радостью моей.

Напрасно для меня, напрасно
И солнце мир животворит,
И негой дышит месяц ясный
И зыбь потоков серебрит!
Не буду зреть полей зеленых,
Лазури светлой чистых вод,
Ни дня торжественных красот,
Ни звезд, во тьме ночной зажженных.
Но, друг, тогда, как надо мной
Рок свирепел и вечной мглой
И безотрадными годами
Мою он душу ужаснул,
Я, день и ночь встречав слезами,
На поле, рощи не взглянул,
Забыл проститься с небесами:
Ах, на жену и на детей
Хотело сердце насмотреться!..
Хотел я, чтоб в душе моей
Уже вовек не мог стереться
Очам незримый образ их!..
«О! — думал я, — в бедах твоих
Одно лишь счастье оставалось,
Чтоб тех, кто сердцу милы, зреть,
И сердце ими любовалось,
И мог ты радости иметь.
Смотри на них! уж наступает
Тот грозный мрак, в котором ты
Не узришь их!.. Детей черты,
Ты знаешь, время изменяет,
С годами новый вид дает;
Страшись же: вид сей изменится,
И будет образ их не тот,
Который в сердце сохранится!»
И я с отчаянной тоской
На них стремил взор тусклый мой,
На миг покинуть их боялся,
К моей груди их прижимал,
От горя думать забывал,
Смотрел на них... но уж скрывался
Мне милый вид в какой-то тьме:
Он исчезал, сливался с мглою,
И то, что есть, казалось мне
Давно минувшею мечтою.
Угас, угас луч светлый дня,
И сердце кровью обливалось,
И все в грядущем для меня
Как бездна гибели являлось.
Навеки окружен я тьмой!

Любовь, жизнь, счастье, все — за мной!
К чему же мне души волненье?
К чему мне чувства жар святой?
О радость! ты не жребий мой!
Мне нет сердечных упоений;
Я буду тлеть без услаждений!..
Так догорает, одинок,
Забытый в поле огонек;
Он никого не согревает,
Ничьих не радует он глаз;
Его в полночный путник час
С каким-то страхом убегает.
О друг! поверь, единый Бог,
В судьбах своих непостижимый,
Лишь Он, всесильный, мне помог
Стерпеть удар сей нестерпимый!
Уже я духом упадал,
Уже в отчаянье томился;
Хотя роптать и не дерзал,
Но, ах, и уповать страшился!
Уже в печали дикой сей
Мои все мысли затмевались:
И жизнь и смерть в судьбе моей
Равно ужасными казались.
Но вдруг... хвала тебе, Творец!
Ты не забыл Свое творенье!
Ты видишь глубину сердец,
Ты слышишь тайное моленье.
Хвала тебе, мой страх исчез!
Как ангел мирный, благодатный,
Как вестник милости небес,
Незримый, тайный, но понятный,
Носилось что-то надо мной,
Душа отрадный глас ловила —
И вера огненной струей
Страдальцу сердце оживила.
Мне мниться стало, что и я
Еще дышать любовью смею,
Что тяжкой участью моею
Он — мой Отец, не Судия —
Дает мне способ с умиленьем
Его о детях умолять
И им купить моим терпеньем
Его святую благодать!
И с сей надеждою бесценной
Мне сила крест нести дана;
И с ней в душе моей смятенной
Опять родилась тишина.

Но как навек всего лишиться?
Как мир прелестный позабыть?
Как не желать, как не тужить?
Живому с жизнью как проститься?..
Когда в священной красоте
Внезапно дружба мне предстала:
Она так радостно сияла!
В ее нашел я чистоте
Утеху, нежность, сожаленье,
И ею жизнь озарена.
Ты правду нам сказал: она
Второе наше провиденье!
Светлана добрая твоя[4]
Мою судьбу переменила,
Как ангел Божий низлетя,
Обитель горя посетила —
И безутешного меня
Отрадой первой подарила.
Случалось ли когда, что вдруг,
Невольной угнетен тоскою,
Я слезы лил, — тогда, мой друг,
Светлана плакала со мною;
В надеждах веры устремлять
Все чувства на детей искала,
И чем мне сердце услаждать,
Своим то сердцем отгадала;
И вслед за ней явились мне
Те добродетели святые,
Всегда, везде ко всем благие
И лишь могущие одне
Печаль и горести земные
В блаженный превращать удел.
А там с улыбкой прилетел
И новый ангел-утешитель[5],
И сердца милый ободритель,
Прекрасный друг тоски моей:
Небесной кротостью своей
И силой нежных увещаний
Она мне сладость в душу льет,
Ласкает, радует, поет, —
И рой моих воспоминаний,
С цветами жизни молодой,
Как в блеске радужных сияний,
Летает снова надо мной.
Еще, мой друг, два утешенья
Остались мне: то легких снов
И призраков ночных явленья
И вас, возвышенных певцов,

Божественные песнопенья.
Так, снов пленительный обман
В замену истины мне дан;
Он жизни памятью остался;
О том, с чем я навек расстался,
Правдивую дает мне весть;
Опять мне кажет мир приветный,
Разнообразный, разноцветный,
Почти таким, каков он есть;
Он мне любимое являет
Мечтой отрадною своей
И за́весу с моих очей
Волшебной силою снимает.
Ах! удается часто мне
Смотреть на Божий свет во сне,
Пленять мой жадный взор лесами,
Рекою, нивами, полями
И всей знакомой красотой
Тех мест, где прежнею порой
Я часто ею любовался!
Как ты, мой друг, я не скитался
В чужих далеких сторонах:
Все родина в моих мечтах.
Однажды как-то я забылся
Обманчивым, но сладким сном:
И вдруг далеко очутился
Один на берегу крутом,
Там, у родной Москвы*. День знойный,
Мне снилось, ярко догорал,
И вечер пламенно-спокойный
Во всей красе своей блистал;
Внизу Москва-река сверкала,
Игриво рощу обтекала;
В дали гористой под селом
Был виден лес, желтели нивы,
А близ Дербента**, над прудом
Тенистые дремали ивы,
И зеленело за рекой
Девичье поле пред глазами,
И монастырь белел святой
С горящими, как жар, крестами;
От стен к приманчивым струям
Долинка ясная пестрела;

---

* Здесь описывается Васильевское, загородный дом князя Юсупова, близ Воробьевых гор.

** Сад графини Пушкиной.

Тут домик сельский; в липах там
Часовня спрятаться хотела;
На всех соседственных холмах
Сады и дачи красовались
И в ярких вечера огнях
Струей багряной освещались;
И зелень рощей и полян
Сливалась с твердью голубою,
И стлался золотой туман
Над белокаменной Москвою.
Не знаю, друг, но вряд ли где
Подобный вид тебе являлся!
Опять однажды, все во сне,
Я ночью по Неве катался,
Между роскошных островов
Летел прозрачною рекою;
И вид красивых берегов,
Дач, рощей, просек и садов,
Осеребряемых луною,
И озаренный Божий храм,
И царский дом, и мост чрез волны,
Легко так брошенный, — все там
Пленяет взор. Но вздох невольный
От сердца тяжко вылетал.
Ты часто, милый край, видал
Меня близ вод твоих струистых,
На изумрудных берегах,
И в цветниках твоих душистых,
И в темных рощах, и в садах:
До поздней ночи там с тоскою
Сижу, бывало, над Невою;
И часто ранняя заря
Меня в раздумье заставала.
Но, ах, уж радость для меня
Давно с зарей не расцветала!
Еще ж случается, что я
Сны боле по сердцу видаю:
Я вижу вас, мои друзья,
Мою жену, детей ласкаю.
О, для чего ж в столь сладком сне
Нельзя мне вечно позабыться!
И для чего же должно мне
Опять на горе пробудиться!

Когда же я в себе самом,
Как в бездне мрачной, погружаюсь, —
Каким волшебным я щитом
От черных дум обороняюсь!

Я слышу дивный арфы звон,
Любимцев муз внимаю пенье,
Огнем небесным оживлен;
Мне льется в душу вдохновенье,
И сердце бьется, дух кипит,
И новый мир мне предстоит;
Я в нем живу, я в нем мечтаю,
Почти блаженство в нем встречаю;
Уж без страданья роковой
Досуг в занятьях протекает;
Беседа мудрых укрепляет
Колеблемый рассудок мой;
Дивит в писателях великих
Рассказ деяний знаменитых;
Иль нежной звучностью своей
Лелеют арфы золотые
Мятежный жар души моей
И сердца тайны дорогие.
О, счастлив тот, кто обнимать
Душ возвышéнных, чувства, мненья
Стремится с тем, чтоб поверять
Свои сердечные движенья!
Мы с ними чувствуем живей,
Добрее, пламенней бываем, —
Так Русь святая нам святей,
Когда Карамзина читаем[6];
Так пыл встревоженных страстей
Твой гений услаждать умеет,
И нам любовь небесным веет,
Когда над Ниною твоей[7]
Невольно слезы наши льются, —
И весело часы несутся!
О друг, поэзия для всех
Источник силы, ободренья,
Животворительных утех
И сладкого самозабвенья!
Но для меня лишь в ней одной
Цветет прекрасная природа!
В ней мир разнообразный мой!
В ней и веселье и свобода!
Она лишь может разгонять
Души угрюмое ненастье
И сердцу сладко напевать
Его утраченное счастье.

Теперь ты зришь судьбу мою,
Ты знаешь, что со мной сбылося;
О, верь, отрадно в грудь твою

Мое все сердце излилося!
Несносный страх душой остыть
Всего ужасней мне казался, —
И я стал пламенней любить,
Чем боле чувствами стеснялся.
Изведал я, что убивать
Не могут грозные страданья,
Пока мы будем сохранять
Любви чистейшей упованья.
И здесь ли, друг, всему конец?
Взгляни... над нашими главами
Есть небо с вечными звездами,
А над звездами их Творец!

1822

21. К ЖУКОВСКОМУ

Уже бьет полночь. Новый год, —
И я тревожною душою
Молю Подателя щедрот,
Чтоб Он хранил меня с женою,
С детьми моими — и с тобою,
Чтоб мне в тиши мой век прожить,
Все тех же, так же все любить.

Молю Творца, чтоб дал мне вновь
В печали твердость с умиленьем,
Чтобы молитва, чтоб любовь
Всегда мне были утешеньем,
Чтоб я встречался с вдохновеньем,
Чтоб сердцем я не остывал,
Чтоб думал, чувствовал, мечтал.

Молю, чтоб светлый гений твой,
Певец, всегда тебя лелеял
И чтоб ты сад прекрасный свой
Цветами новыми усеял,
Чтоб аромат от них мне веял,
Как летом свежий ветерок,
Отраду в темный уголок.

О друг! Прелестен Божий свет
С любовью, дружбою, мечтами;
При теплой вере горя нет;
Она дружит нас с небесами.
В страданьях, в радости Он с нами,

Во всем печать Его щедрот:
Благословим же Новый год!

1 января 1832

В. И. ТУМАНСКИЙ

22. К СЕСТРЕ

(При посылке ей сочинений Жуковского)

Тому, кто с ранних лет душою
Святую правду возлюбил
И первых мыслей чистотою
Себя от черни оградил;
Кто смелым, огненным желаньем
Законы неба одолел
И в горний мир перелетел
Восторгом, чувством и мечтаньем, —
Тому, шум зависти презрев,
Ценить, в порывах благородных,
Балладника прекрасных дев
И летописца битв народных.
Тому любить и понимать
Высоких чувствований сладость,
И тихих дум живую радость,
И беспокойных дум печать,
И голос сердца потаенный
О благах дальних, но святых...
Блажен, кто, свыше вдохновенный,
Поэта чистый огнь постиг!
Но славен и блажен стократно
Питомец избранный судьбы —
От колыбели непонятный,
И вождь и властелин толпы,
Приявший жизнь с бессмертным правом
На лире воспевать богов
И лиры сладостным уставом
Богам, в гармонии стихов,
Передавать мольбы сынов.
Ему не страшно мира мненье!
Хвалу людей отвергнув сам,
Он, бросив мир, в уединенье
Хранит в душе одно презренье
К его тиранам и рабам,
Одну веселость и беспечность
И равнодушье простоты,

С надеждой тайною, что вечность
Его наследует мечты.

1822

В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР

23. ИЗ ПОЭМЫ «КАССАНДРА»

В. А. Жуковскому

В уединенье сладком возрастая,
В твой голос вслушалась душа моя;
И се! вдруг оперилась молодая: —
Тобой впервые стал Поэтом я![1]
С того часа, меня не покидая,
Небесных муз прелестная семья
Мне подала восторженную лиру,
Мне показала путь к иному миру!
Певец! прими певца родного дар!
Внемли, чему был первый ты виновник,
И, если мой тебя подвигнет жар, —
О верь! — мне лавром будет тот терновник[2],
Который растерзал мое чело, —
И гордый презрю я земное зло!

1822—1823

П. А. ПЛЕТНЕВ

24. ЖУКОВСКИЙ ИЗ БЕРЛИНА

Свершились думы прежних лет
И давние желанья:
Уже приветствовал поэт
Края очарованья,
Певцов возвышенных страну,
Тевтонские дубравы,
Поля, где Клейст свою весну,
Питомец Муз и славы,
Счастливой кистью рисовал.
Простясь с страной родною,
На берег чуждый я вступал
С знакомою мечтою.

Полей необозримый вид,
Потоков водопады —
Все здесь для сердца говорит
И обольщает взгляды.
Смотрю ли на лазурь небес,
На льющияся воды,
Вхожу ль в дубовый древний лес
Под вековые своды —
Мне тайный слышится привет
Поэтов, мной любимых;
Мне видится их свежий след
В окрестностях, мной зримых..
Душа горит огнем живым
Святого вдохновенья,
И я спешу к струнам своим
В восторге наслажденья.
Но первый звук страны родной
Опять меня уносит
В поля отчизны дорогой,
И сердце снова просит
Веселья юношеских дней,
Поры уединенной,
Вас, незабвенных мне друзей
Под кровлей незабвенной!
И скоро ли увижу я,
Чужбины посетитель,
Тебя, бесценная семья,
И тихую обитель,
Где я так счастлив с Музой был,
Где дружбы верной гений
И хлад тоски со мной делил,
И пламень наслаждений.
Быть может, странствия предел
Мой рок еще отдвинул;
Быть может, тайно он велел,
Чтоб я друзей покинул
На долгий срок; но сердце вас
Нигде не позабудет —
И невнимаемый мой глас
Везде просить вас будет.

1821

25. ПОСЛАНИЕ К Ж<УКОВСКОМУ>

Внушитель помыслов прекрасных и высоких,
О ты, чей дивный дар пленяет ум и вкус,

Наперсник счастливый не баснословных муз,
Но истины святой и тайн ее глубоких!
К тебе я наконец в сомненье прихожу.
Давно я с грустию на жребий наш гляжу, —
Но сил недостает решительным ответом
Всю правду высказать перед неправым светом.

В младенческие дни, когда ни взор, ни слух
За тесный наш предел с заботой не стремятся,
Когда нам резвые забавы только снятся
И пламени страстей не знает кроткий дух,
Зачем уроками возвышенных деяний
С душой роднить толпу чарующих мечтаний?
Смотри на юношу, как жадно ловит он
Движенье, взгляд иль звук, где чувство промелькнуло!
Счастливец молодой, он видит милый сон:
Еще его надежд ничто не обмануло.
Душа напоена и тем, что свято есть,
Что за предел земной все мысли увлекает,
И тем, что изрекла в законах вечных честь,
И тем, что нежный вкус, что строгий ум питает;
Свобода, слава, долг на поприще зовут;
И выбран жизни путь: пришла пора желаний;
Там дружба и любовь в объятия нас ждут
С богатством пылких чувств, сих милых нам стяжаний.
Мечты прелестные, чистейший огнь души,
Не исходите вы из стен, где освящали
Утехи кроткие и кроткие печали!
Останьтеся навек в неведомой тиши!
На жизненном пиру, в веселых сонмах света,
Не ждите вы себе ни места, ни привета!
Бездушные рабы смешных уму забав
Не знают нужды в вас: они свой сан презрели
И, посмеянием все лучшее поправ,
Идут своим путем без мыслей и без цели.

Какое чувство там удастся разделить,
Где встретится с тобой иль шут, или невежда,
Где жребий твой решит поклон или одежда
И где позволено лишь глупость говорить?
Отрадно ли душе, желаньем увлеченной
Возвышенной любви и милых сердцу уз,
Любовию сгорать к красавице надменной,
Для коей твой наряд есть разум твой и вкус?
Я с горем оценил сей пышный цвет природы,
Сих похитительниц веселья, сна, свободы.
Их сладость голоса, искусство ног и рук;
Наружностью одной глаза они пленяют:

Так вазы чистые пред зеркалом сияют —
Но загляни, что в них, — огарок иль паук.

Один несчастный был: он, гладом изнуренный,
В ужасной нищете добыча мрачных дум,
Не призренный никем и дружбою забвенный,
Судьбы не победил и свой утратил ум.
Но в памяти его осталося желанье
От глада лютого себя предохранять:
Он камни счел за хлеб и стал их сберегать;
И с благодарностью он брал их в подаянье,
Когда без умысла игривою толпой
С сим даром вкруг него детей сбирался рой.
И что же наконец? Он, бременем томимый,
Упал и подавлен был ношею любимой.
Вот страшный жребий наш! Ослеплены мечтой,
Мы с наслаждением спешим в свой век младой
Обогатить себя высоким и прекрасным;
Но, может быть, как он, с сокровищем опасным
Погибель только мы найдем в пути своем
И преждевременно для счастья с ним умрем:
Оно к земным бедам свои беды прибавит,
Рассудок омрачит и сердце в нас раздавит.

1824

Ф. Н. ГЛИНКА

26. В. А. ЖУКОВСКОМУ

С прелестною душой, Поэт у нас известный!
Ты в храм бессмертия поставил целый ряд
Красами чудными блистающих баллад:
Твои стихи легки и полновесны!

<1825>

27. ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПРИЕЗД В. А. ЖУКОВСКОГО В МОСКВУ

Собирайтеся, поэты!
Стройте лиры и сердца,
Сыпьте розы и куплеты
На любимого Певца:
На Певца, что в шуме битвы
Год великий наш воспел,

Год страданий, год молитвы,
Год заветных русских дел.

Наш Певец был в грозных драках,
Был бойцом в войне святой
И коптился на биваках
С лирой звонко-золотой.
И усатые гусары,
И железный кирасир,
И посадские, и бары,
Весь крещеный русский мир,
Гимн Певца в устах носили
И читали и твердили
Барда Руси звонкий стих!..
Одинокий, в дворском шуме
Тихой он звездой сиял
И *чего-то* в тайной думе,
В думе сердца *пожелал...*

Нет блаженства в наших славах,
В буревой игре страстей,
В раззолоченных забавах,
Под полудою честей!

У широкой, у далекой
Европейския реки
Ты найдешь, Певец высокой,
То пожатие руки
И ту прелесть поцелуя,
От которого, тоскуя,
Загораются сердца!

Собирайтесь же, поэты!
Сыпьте розы и куплеты
На любимого Певца!..

1841

28. РЕЙН И МОСКВА

Я унесен прекрасною мечтой,
И в воздухе душисто-тиховейном,
В стране, где грозд янтарно-золотой,
Я узнаю себя над *Рейном.*
В его стекле так тихи небеса!
Его брега — расписанные рамки.
Бегут по нем рядами паруса,
Глядят в него береговые замки,

И эхо гор разносит голоса!
Старинные мне слышатся напевы,
У пристаней кипит народ;
По виноградникам порхает хоровод;
И слышу я, поют про *старый* Реин *девы.*

«Наш Рейн, наш Рейн красив и богат!
Над Рейном блестят города!
И с башнями замки, и много палат,
И сладкая в Рейне вода!..
И пурпуром блещут на Рейне брега:
То наш дорогой виноград;
И шелком одеты при Рейне луга:
Наш реинский берег — Германии сад!

И славится дева на Рейне красой,
И юноша смотрит бодрей!
О, мчись же, наш Рейн, серебрясь полосой,
До синих, до синих морей!..»

Но чье чело средь праздничного шума,
Когда та песня пронеслась,
Подернула пролетной тенью дума
И в ком тоска по родине зажглась?..
Он счастлив, он блажен с невестой молодою,
Он празднует прекрасный в жизни миг;
Но вспомнил *что-то* он над реинской водою...
«Прекрасен Реин *твой* и тих
(Невесте говорит жених),
Прекрасен он — и счастлив я тобою,
Когда в моей дрожит твоя рука;
Но от тебя, мой юный друг, не скрою,
Что мне, на севере, милей *одна река:*
Там родина моя, там жил я, бывши молод;
Над бедной той рекой стоит богатый город;
По нем подчас во мне тоска!
В том городе есть башни-исполины!
Как я люблю его картины,
В которых с роскошью ковров
Одеты склоны всех *семи холмов* —
Садами, замками и лесом из домов!..
Таков он, город наш *стохрамый, стопалатный!*
Чего там нет, *в Москве*, для взора необъятной?..
Базары, площади и *целые поля*
Пестреются кругом высокого *Кремля!*
А этот *Кремль,* весь золотом одетый,
Весь звук, когда его поют колокола,
Поэтом для тебя не чуждым Кремль воспетый

Есть колыбель Орла
Из царственной семьи великой!
Не верь, что говорит в чужих устах молва,
Что будто север наш такой пустынный, дикой!..
Увидишь, какова Москва,
Москва — святой Руси и сердце и глава! —
И не покинешь ты ее из доброй воли:
Там и в мороз тебя пригреют, угостят;
И ты полюбишь наш *старинный* русский град,
Откушав русской хлеба-соли!..»

1841

В. Г. БЕНЕДИКТОВ

29. ВОСПОМИНАНИЕ

Посвящено памяти Жуковского
и Пушкина

И Жуковский отлетел от мира,
Кончена молитва этой жизни,
Пережит он нами — чудный старец,
Вечно юный. Он был представитель
Чистого стремления души
К неземной, божественной отчизне,
Взор его сиял тем кротким светом,
При котором так просторно мыслям,
Так отрадно сердцу, так тепло;
На челе задумчивость святая
Тихо почивала, райской гостьей
Прилетела на уста поэта
Мирная улыбка, чтоб на них
Отдохнуть под свежей тенью грусти —
Вестницы другого назначенья,
На лице его напечатленной.
Речь его таинственно текла
Из душевной глубины, подъемлясь
Легким паром мощного вулкана,
В думу погруженного, который
Скрыл свой пламень в потаенных недрах,
Чтоб, земли напрасно не колебля,
Лишь слегка дымящимся дыханьем
Возвещать ей о великой силе,
Самовластно сжавшей свой порыв, —
Тихим звуком намекать о громе,
Нам не слышном. Помню я собранья

Под его гостеприимным кровом —
Вечера субботние[1], — рекою
Наплывали гости, и являлся
Он — чернокудрявый, огнеокий,
Пламенный Онегина создатель,
И его веселый, громкий хохот
Часто был шагов его предтечей;
Меткий ум сверкал в его рассказе;
Быстродвижные черты лица
Изменялись непрерывно; губы
И в молчанье жизненным движеньем
Обличали вечную кипучесть
Зоркой мысли. Часто едкой злостью
Острие играющего слова
Оправлял он; но и этой злости
Было прямодушие основой —
Благородство творческой души,
Мучимой, тревожимой, язвимой
Низкими явленьями сей жизни.

Как теперь гляжу на них обоих —
На того и этого. *Один,*
Весь проникнут таинством мечтанья,
Не легко мог ладить с этой жизнью,
С этою существенностью, где
Иногда вменяют в преступленье
И мечту святую. Оторваться
Трудно было жертвоносцу музы
От заветной думы, от приманки
Тайной мысли — даже и тогда,
Как бывал он в чинной раме света,
Где поэту надо спрятать душу,
Чтоб спастись порою от насмешки
Жалкой и тупой, но ядовитой.
В мире, где и добродетель даже
Не всегда терпима и уместна,
В этом мире, где она должна
Время знать и появляться кстати,
Неизбежны тяжкие боренья
Для души, прекрасным увлеченной.
Но певец Ундины мог зато
Ладить сам с собою в глубине
Теплой веры, с глазу на глаз с сердцем,
Будучи земли сей милым гостем,
Он умел и здесь, в гостях, быть дома, —
И сгущенный мрак земной невзгоды
В мощной ширине души поэта
Должен был редеть и уясняться,

Разрешаяся в туман прозрачный,
Озаренный радугой фантазий.
Страсть его в молитву обращалась,
В фимиам и жертву Божеству.
А *другой* — стать властелином жизни
Был способен, силой крепкой воли
Отрешиться от мечты порою
И взглянуть на вещи метким взором,
Проницающим и самый камень,
Светом называемый; зато
Совладать с собою было трудно
Этому гиганту, — с бурным чувством —
С этим африканским ураганом —
Он себя не мог преодолеть.

Но земное резкое несходство
Двух поэтов — их не удаляло
Друг от друга, — общий признак Бога —
Вдохновенье — ставило их рядом
Под одно Божественное знамя,
Братской дружбой руки их смыкая. —
Отчего ж, я думаю порой,
Меж людьми горят вражда и злоба?
Ратники несходных вер и мнений,
Разных сил, в вооруженьях разных —
Разве не должны они как братья
Узнавать друг друга по призванью,
Ясному в значенье человека?
Не одно ль над ними веет знамя —
Божье знамя? Не к одной ли битве
Против зла — единого врага —
Ополчил их вечный Вождь Небесный?

Помню: уезжая в край далекий,
Где ждала невеста молодая
Нашего Жуковского, он молвил:
«Вот — нашел я музу на земле.
Еду к ней под золотое небо.
Там я кончу поприще земное.
Вспоминайте обо мне! Простите!»
Он уехал. Много дней промчалось.
Там — в Германии — полуродной
Нашему мечтателю, в отчизне
Шиллера, которого нам, русским,
Воссоздал он, чью живую душу
Из своей всеемлющей души
Перелил в доступное нам слово, —
Там — в беседе с мудрецом Гомером

Жил он и, божественного старца
Восприемля вещие рассказы,
Отражал их нам в волшебных звуках
Русского гекзаметра и веял
В сердце наше греческою жизнью.
Так себя он продолжал и кончил.

Тот — кипучий, прежде отлетевший
В лучший мир, безвременною смертью
Сорван был, когда поэта гений
Лишь вполне развил свою могучесть.
Он широким, львиным перескоком
В вечность перенесся, до конца
Верный быстроте своих движений.
Вдруг сказал он: «Кончено», — и, бросив
Нам свой прах, душой воспрянул к небу.
Этот — от своих единоземцев
В удаленье — долго испарялся,
Чистым воздымаясь фимиамом.
Он, вдали, как призрак светоносный,
Более и более терялся
В глубине безоблачного неба,
И, как звук, эоловою арфой
Изнесенный, замирая сладко,
Утихал он, — и — конца не слышно, —
Он и исчезая продолжился.

Тот хотел как будто б самой смертью
Вдруг расторгнуть вечную преграду,
Что живых от мертвых отделяет, —
Распахнуть нам настежь эти двери
И открыть нам миром в полном блеске
Неба светозарного пучину.
Этот, мнится, возносясь, хотел лишь
Отодвинуть только край завесы,
Между небом и землей простертой,
Чтоб не вдруг сиянием безмерным
Поразить нам немощные очи,
К сумраку привыкшие земному.

И его не стало... Нет обоих!
Их не стало, но святые звуки
Лир их сладкострунных вечно живы.
Тот нам в душу пламенные ямбы
Мечет и, упругой сталью слова
Проводя глубокие бразды
По сердцам, оледенеть готовым,
Вспахивает почву, обжигая

Корни закоснелые, и зерна
Вбрасывает мысли плодотворной
И живого, трепетного чувства
В этот прах, побеги вызывая
Чудной жизни из юдольной грязи.
Этот — льется звучными слезами,
Жаркими, истекшими из сердца,
Где горит огонь неугасимый,
Но, в земной прохладной атмосфере
Освежаясь, падают оне,
Как роса, на грудь земли несчастной,
Чтоб ее, иссохшую, увлажить,
Умягчить и утолить ей жажду,
А потом они восходят снова
Легким паром, смешанным с дыханьем
Ими орошенных злаков дольних
И цветов, в свое родное небо —
К вечному истоку своему.

1852

Ф. И. ТЮТЧЕВ

30. ПАМЯТИ В. А. ЖУКОВСКОГО

1

Я видел вечер твой. Он был прекрасен!
В последний раз прощаяся с тобой,
Я любовался им: и тих, и ясен,
И весь насквозь проникнут теплотой...
О, как они и грели и сияли —
Твои, поэт, прощальные лучи...
А между тем заметно выступали
Уж звезды первые в его ночи...

2

В нем не было ни лжи, ни раздвоенья —
Он все в себе мирил и совмещал,
С каким радушием благоволенья
Он были мне Омировы читал...[1]
Цветущие и радужные были
Младенческих, первоначальных лет...
А звезды между тем на них сводили
Таинственный и сумрачный свой свет...

3

Поистине, как голубь, чист и цел
Он духом был; хоть мудрости змииной
Не презирал, понять ее умел,
Но веял в нем дух чисто голубиный.
И этою духовной чистотою
Он возмужал, окреп и просветлел.
Душа его возвысилась до строю:
Он стройно жил, он стройно пел...

4

И этот-то души высокий строй,
Создавший жизнь его, проникший лиру,
Как лучший плод, как лучший подвиг свой,
Он завещал взволнованному миру...
Поймет ли мир, оценит ли его?
Достойны ль мы священного залога?
Иль не про нас сказало Божество:
«Лишь сердцем чистые, те узрят Бога!»[2]

Конец июня 1852

31

* * *

Прекрасный день его на Западе исчез[1],
Полнеба обхватив бессмертною зарею,
А он из глубины полуночных небес —
Он сам глядит на нас пророческой звездою.

11 апреля 1857

32. 17-е АПРЕЛЯ 1818

На первой дней моих заре,
То было рано поутру в Кремле,
То было в Чудовом монастыре,
Я в келье был, и тихой и смиренной,
Там жил тогда Жуковский незабвенный.
Я ждал его, и в ожиданье
Кремлевских колколов я слушал завыванье.
Следил за медной бурей,
Поднявшейся в безоблачном лазуре

И вдруг смененной пушечной пальбой, –
Все вздрогнули, понявши этот вой.
Хоругвью светозарно-голубой
Весенний первый день лазурно-золотой
Так и пылал над праздничной Москвой.
Тут первая меня достигла весть,
Что в мире новый житель есть
И, новый царский гость в Кремле[1],
Ты в этот час дарован был земле.
С тех пор воспоминанье это
В душе моей согрето
Так благодатно и так мило –
В теченье стольких лет не измен<яло>,
Меня всю жизнь так верно провожало, –
И ныне, в ранний утра час,
Оно, все так же дорого и мило,
Мой одр печальный посетило
И благодатный праздник возвестило.
Мнилось мне всегда,
Что этот раннего событья самый час
Мне будет на всю жизнь благим
предзнаменованьем,
И не ошибся я: вся жизнь моя прошла
Под этим кротким, благостным влияньем.
И милосердою судьбою
Мне было счастье суждено,
Что весь мой век я <над собою>
Созвездье видел все одно –
Его созвездие, – и будь же до конца оно
Моей единственной звездою
И много-много раз
Порадуй этот день, и этот мир, и нас...

17 апреля 1873

А. Н. МАЙКОВ

33. ЖУКОВСКИЙ

В младенческих годах моих далеко
Мне видится его чудесный образ...
Как будто бы меня, еще ребенка,
При факелах, в готическом соборе,
Средь рыцарей, он, величавый старец,
В таинственный союз их посвящает...
И рыцарства высокие обеты

Я говорю за ним — и чую в страхе,
Что прозреваю в мир, тогда впервые
Открывшийся очам моим духовным...
Он говорит о Вере, о Надежде,
И о Любви, и о загробной жизни
И сам как бы на рубеже земного
Стоит, вперяя взор открытый в Вечность...
И у меня в восторге бьется сердце,
И отдаюсь я весь святому старцу,
И странствовать иду за ним по свету...

По манию жезла его повсюду
Из глубины времен миры выходят...[1]
Таинственный Восток разоблачился —
Та даль веков, когда между людьми,
Прияв их образ, странствовали боги,
Их посвящая в тайны искупленья, —
Та даль веков, когда богатыри,
Как первые избранники из смертных,
Вступали в бой со злобной силой мрака
И обществам в основу полагали
Служенье духу и предвечной правде...
От Индии и от пустынь Турана,
От вечного Голгофского креста,
Сквозь темный мир Европы феодальной —
К горящему меня привел он граду[2]...
Я увидал средь пламени и дыма,
Порою разрывавшихся от вихря,
Кремлевские белеющие стены.
«Вот, — он сказал, — вот жертва искупленья,
Пред коей выше — только крест Голгофский!
Мы принесли ту жертву всем народом,
Да тленные сокровища искупят
Сокровища, которые прияли
С Евангельем в свой дух мы с дня крещенья
И множили веками бед великих, —
Сокровища, которыми в народах
Отличена и создалась Россия!
Пади ж пред ней, пылающей Москвой!
Ее святынь уразумей глаголы!
Пади пред ней, благодаря Творца,
Что жребий дан тебе ее быть сыном!
Моли Творца, чтоб и свою крупицу
Ты в общее принес бы достоянье,
Для высшего приготовляясь мира!
Здесь свято долг свой на земле исполни, —
Да общим всех трудом на благо ближних,
Проникновеньем сердца благодатью

И просветленьем разума любовью
Рассеется господство лжи — и будет
Мир на земле, благоволенье в людях
И прославленье здесь и в вышних Бога!»

Великий старец! Он свою «крупицу»
Принес и, светлый, в мир переселился,
В который здесь, как бы сквозь тонкий за́вес,
Уж прозревал душою детски чистой...
И на Руси недаром прозвучали
Его слова... Нет!.. Падали, как зерна,
Они в сердца, уготовляя их
К великому... И между посвященных
Им отроков и тот был — кроткий сердцем, —
Кого Господь благословил на деле
Осуществить во благо миллионов
Учителя высокие заветы...

1883

Я. П. ПОЛОНСКИЙ

34. ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ ЯНВАРЯ

Две Музы на пути его сопровождали:
Одна — как бы ночным туманом повита́,
С слезою для любви, с усладой для печали,
Была верна, как смерть, прекрасна — как мечта;

Другая — светлая, — покровы обличали
В ней девы стройный стан; на мраморе чела
Темнел пахучий лавр; ее глаза сияли
Земным бессмертием — она с Олимпа шла.

Одна — склонила путь, певца сопровождая
В предел, куда ведет гробниц глухая дверь,
И, райский голос свой из вечности роняя,
Поет родной душе: «Благоговей и верь!»

Другая — дочь богов, восторгом пламенея,
К Олимпу вознеслась и будет к нам слетать,
Чтоб лавр Жуковского задумчиво вплетать
В венок певца скорбей бессмертных Одиссея.

1883

В. С. СОЛОВЬЕВ

35. РОДИНА РУССКОЙ ПОЭЗИИ

*По поводу элегии «Сельское кладбище»**

Посвящается П В Жуковскому[1]

Не там, где заковал недвижною бронею
Широкую Неву береговой гранит
Иль где высокий Кремль над пестрою Москвою,
Свидетель старых бурь, умолкнувший, стоит,

А там, среди берез и сосен неизменных,
Что в сумраке земном на небеса глядят,
*Где праотцы села в гробах уединенных***,
Крестами венчаны, сном утомленных спят, —

Там на закате дня, осеннею порою,
Она, волшебница, явилася на свет,
И принял лес ее опавшею *листвою*
И тихо шелестел печальный свой привет.

И песни строгие к укромной колыбели
Неслись из-за́ моря[2], с туманных островов,
Но, прилетевши к ней, они так нежно пели
Над вещей тишиной родительских гробов

На сельском кладбище явилась ты недаром,
О гений сладостный земли моей родной!
Хоть радугой мечты, хоть юной страсти жаром
Пленяла после ты, — но первым лучшим даром
Останется та грусть, что на кладби́ще старом
Тебе навеял Бог осеннею порой

12 октября 1897

* Эта известная элегия (вольный перевод с английского) была написана В. А. Жуковским осенью 1802 г. в селе Мишенском, близ Белева, и напечатана в «Вестнике Европы» Карамзина (ч. 6, № 24, с. 319). Несмотря на иностранное происхождение и на излишество сентиментальности в некоторых местах, «Сельское кладбище» может считаться началом истинно человеческой поэзии в России после условного риторического творчества державинской эпохи.
** Стих Жуковского.

КОММЕНТАРИИ

Настоящее издание свода воспоминаний о В. А. Жуковском является первой попыткой их систематизации. Разбросанные по различным изданиям, часто малодоступным, содержащиеся в «большом тексте» дневников, записок, писем, они впервые собраны и по возможности подробно прокомментированы.

Три хронологических слоя воспоминаний: прижизненные, посмертные и ретроспективные — позволяют проследить эволюцию восприятия личности и творчества первого русского романтика, увидеть движение самих мемуарных форм, выявить с наибольшей полнотой круг авторов, писавших о Жуковском. Около 60 мемуарных свидетельств, собранных в настоящем издании, дают представление о различных гранях творческой индивидуальности Жуковского. Принципиально включение в книгу подборок писем великих современников Жуковского — К. Н. Батюшкова, А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, П. А. Вяземского, так как это важнейшие источники сведений о поэтическом развитии поэта, становлении его личности.

Собранный материал нелегко выстроить в хронологической последовательности. И все-таки предпринята попытка организации источников внутри определенных хронологических гнезд: детские годы Жуковского, 1812 г. в его жизни, предарзамасский и арзамасский период, 1820-е — 1830-е годы и путешествие с наследником по России в 1837 г., 1840-е годы. Условность такой периодизации несомненна, но она продиктована во многом самим материалом, отразившим узловые моменты биографии поэта. Мемуары, охватывающие всю жизнь Жуковского или какие-то ее периоды, отнесены к тому из периодов, который отражен в них наиболее полно. Очерк К. К. Зейдлица, дающий представление о всей жизни Жуковского, вынесен в начало книги как своеобразный путеводитель по биографии поэта.

Специально относящиеся к Жуковскому мемуарные очерки публикуются нами полностью; из обширных дневников и статей в подборке писем выделены те фрагменты, которые посвящены непосредственно Жуковскому — характеристике его личности и поэзии. При сокращении учитывается необходимость сохранения последовательности изложения, в подборках писем — хронологическая последовательность. Редакционные купюры обозначаются отточием в ломаных скобках. Части воспоминаний, выбранные из «большого текста», отделены друг от друга пробелами. Отрывочные свидетельства о поэте, наряду с эпистолярными источниками, обширно использованы во вступительной статье и комментариях.

Воспоминания печатаются по журнальным публикациям или иным печатным источникам; в ряде случаев обращение к архивным материалам позволило уточнить их текст или же включить новые мемуары. Источник, по которому печатается текст, указан перед реальными комментариями. Под строкой, отмеченные звездочкой, даются переводы иноязычных текстов. Небольшие и конкретные авторские примечания даются построчно, обширные — выносятся в реальный комментарий, со специальной оговоркой авторства. Часто повторяющиеся источники обозначаются сокращенно (см. Принятые сокращения).

Справочный аппарат издания состоит из преамбул, в которых дана характеристика мемуаристов, история их взаимоотношений с Жуковским, общая оценка их воспоминаний, и реального комментария. Учитывая почти совершенную неизученность мемуарных источников о Жуковском, в преамбулы и комментарии вводится дополнительный материал, извлеченный из архивов, учитываются также исследования, посвященные библиотеке поэта. Обилие собственных имен, упоминающихся в тексте воспоминаний и примечаний, определило особое значение в настоящем издании аннотированного указателя, который естественно дополняет реальный комментарий.

К. К. Зейдлиц

Карл Карлович Зейдлиц (1798—1885) — доктор медицины, воспитанник Дерптского университета, ученик И. Ф. Мойера, автор нескольких работ по медицине. Некоторое время (1821—1822) жил в доме у И. Ф. и М. А. Мойер (урожд. Протасовой). Мария Андреевна нашла в нем преданнейшего друга, о чем сообщала А. П. Киреевской и Жуковскому (*УС*, с. 256—257, 269—270). Зейдлиц увидел впервые Жуковского еще в студенческие годы, но их дружеские отношения складываются уже после смерти Маши, в 1823 г., а еще более развиваются после 1829 г., когда Зейдлиц берет на себя заботу об А. А. Воейковой (*Салупере*, с. 433—434). Жуковский высоко ценил порядочность, честность своего дерптского друга, считая его «истинным ангелом-хранителем», «облегчителем последних минут» Саши Воейковой, называл его письмо о последних ее минутах «истинным благодеянием сердцу» (*ПЖкТ*, с. 251). При жизни Жуковский поддерживал с Зейдлицем переписку, а после смерти завещал быть своим душеприказчиком за его «совестливую точность».

После смерти Жуковского Зейдлиц, выйдя в отставку, берет на себя миссию биографа поэта. Характеристику его жизни он дал в трех богатых по материалу и проникнутых теплым чувством к другу сочинениях: 1) Очерк развития поэтической деятельности В. А. Жуковского (*ЖМНП*. 1869); 2) Wassily Andrejewitsch Joukoffsky: Ein russisches Dichterleben. Mitau, 1870; 3) Жизнь и поэзия В. А. Жуковского: По неизданным источникам и личным воспоминаниям. СПб., 1883. Все три сочинения — варианты единого замысла создания первой полной биографии Жуковского; разночтения — отражение истории публикации, издательских установок. К юбилею Жуковского в 1883 г. Зейдлиц активизирует свою деятельность по увековечению памяти поэта. Кроме создания биографии Жуковского, получившей высокую оценку современников, он участвует в публикации писем Жуковского (*РС*. 1883. Т. 38—40).

Книга Зейдлица — особая страница в биографической литературе о Жуковском. Она не столько имеет мемуарный характер, сколько представляет очерк жизни и творчества «по неизданным источникам и личным воспоминаниям». Воспоминания как бы объективированы, включены в общую летопись жизни Жуковского. Но при всем том они часто единственный источник в освещении многих этапов биографии поэта, особенно дерптского периода, истории трагической любви Маши Протасовой и Жуковского, которую Зейдлиц называл «порой горя и нравственного торжества в жизни русского поэта» (*РС*. 1883. Т. 37. С. 196). Именно «Зейдлиц более других был посвящен в сердечные тревоги его юности» (*Веселовский*, с. V). Менее удачно выглядят в книге анализ поэзии Жуковского и описание событий, очевидцем которых автор не был. Критерием отбора и сокращений материала из объемной книги была прежде всего новизна фактов, мемуарная основа текста.

ИЗ КНИГИ «ЖИЗНЬ И ПОЭЗИЯ В. А. ЖУКОВСКОГО. ПО НЕИЗДАННЫМ ИСТОЧНИКАМ И ЛИЧНЫМ ВОСПОМИНАНИЯМ»

(Стр. 37)

Зейдлиц, с. 3—5, 11—20, 22—23, 26—27, 30, 31, 33—36, 41—53, 56, 58—63, 65, 67—68, 71—72, 77—84, 90—96, 98—99, 103—104, 107, 109—110, 112—114, 119—125, 127—129, 131—132, 134—135, 137—141, 144—145, 149, 151—152, 155—158, 161—163, 165—168, 171—176, 179—187, 190—191, 195—196, 203, 205, 208—209, 212—215, 218—220, 222—224, 234—238, 240, 246—248.

[1] В описании детства Жуковского, как указывает и сам автор, использованы материалы воспоминаний А. П. Зонтаг.

[2] Баллады Жуковского, его многочисленные переводы из драматургии Шиллера, Софокла, комедийные опыты пародийного характера опровергают это мнение (подробнее см.: Лебедева О. Б. Место и значение драматургических опытов в эстетике и творчестве В. А. Жуковского: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Томск, 1980).

[3] *И ты глубоко вдохновенный...* — цитата из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина (гл. восьмая, первоначальный вариант пятой строфы).

[4] К сожалению, о времени учебы Жуковского в Университетском пансионе и его дружбе с братьями Тургеневыми, в особенности со старшим — Андреем Ивановичем, почти не осталось мемуарных свидетельств. Этот пробел восполняют письма Андрея Тургенева к Жуковскому (см.: Жуковский и русская культура. Л., 1987. С. 350—431).

[5] Первая редакция перевода «Сельского кладбища» была сделана Жуковским в 1801 г., переработана по совету Н. М. Карамзина.

[6] Жуковский так объяснял выбор этой печати: «Я когда-то сказал: счастие жизни состоит не из отдельных наслаждений, но из наслаждений с *воспоминанием*, и эти наслаждения сравнил я с фонарями, зажженными ночью на улице: они разделены промежутками, но эти промежутки *освещены*, и вся улица светла, хотя *не вся* составлена из света. Так и *счастие жизни!* Наслаждение — фонарь, зажженный на дороге жизни; воспоминание — свет, а счастие — ряд этих фонарей, этих прекрасных, светлых воспоминаний, которые всю жизнь озаряют» (*Кульман Н. К.* Рукописи В. А. Жуковского, хранящиеся в библиотеке гр. А. А. и А. А. Бобринских. СПб., 1901. С. 7). Истоки этой философии воспоминания относятся к 1815 г., а ее принципы изложены в дерптском дневнике Жуковского (*Гофман М. Л.* Пушкинский музей А. Ф. Онегина в Париже. Париж, 1926. С. 129).

[7] Этот план относится, видимо, к концу 1807— 1808 г. (см.: *Шевырев С. П.* О значении Жуковского в русской жизни и поэзии // *Москв.*, 1853. № 2. С. 147—149, примеч. 35).

[8] *ВЕ* Жуковский редактировал в 1808—1809 гг. Там были напечатаны его первые баллады, ряд статей по вопросам эстетики, морали.

[9] Образ Минваны проходит через ряд произведений Жуковского 1806—1814 гг. Он возникает в первоначальном варианте элегии «Вечер» (1806); по-

весть «Три сестры» (1808) имеет подзаголовок «Видение Минваны», наконец, героиня баллады «Эолова арфа» (1814) получает это имя.

[10] *Тускулум* — местность недалеко от Рима, где находилась вилла Цицерона. Зейдлиц, видимо, не случайно сравнивает построенный по проекту Жуковского дом в деревеньке Холх, недалеко от протасовского Муратова, с местом создания «Тускуланских бесед» Цицерона. Это произведение — объект пристального изучения Жуковского в эти годы (*Описание*, № 818).

[11] Речь идет о Чернско-Муратовском обществе, своеобразном прообразе арзамасской галиматьи. Игра «Секретарь», домашние журналы «Муратовская вошь» и «Муратовский сморчок», юмористическая поэзия, шуточные пьесы определяют жизнь этого общества (см.: *Соловьев Н. В.* История одной жизни. А. А. Воейкова // Светлана. Пг., 1916. Т. 2).

[12] *Елизавета Дементьевна* Турчанинова (Сальха) умерла 25 мая 1811 г., через 10 дней после смерти М. Г. Буниной, во время своего краткого приезда в Москву. Жуковский похоронил свою мать на кладбище Ново-Девичьего монастыря и поставил над могилой скромный памятник с буквами «Е. Д.» (*Афанасьев В.* «Родного неба милый свет...» М., 1980. С. 186).

[13] Многочисленные стихотворения, обращенные к Маше Протасовой, Жуковский вписывал в специальный альбом, который он подарил ей в 1806 г. (*Веселовский*, с. 112—113). Этот альбом сохранился в архиве поэта (*РГБ.* Ф. 286. Оп. 1. Ед. хр. 14).

[14] Вероятно, имеются в виду воспоминания И. П. Липранди «И. Н. Скобелев и В. А. Жуковский в 1812 году» (см. наст. изд.).

[15] Подробно о своей «военной карьере» Жуковский говорит в письме к А. И. Тургеневу от 9 апреля 1813 г., где, в частности, замечает: «...а так как теперь война не внутри, а вне России, то почитаю себя вправе сойти с этой дороги, которая мне противна и на которую могли меня бросить одни только обстоятельства» (*ПЖкТ*, с. 98).

[16] История сложных отношений Жуковского с А. Ф. Воейковым воссоздана самим поэтом в дерптском дневнике (*Гофман М. Л.* Пушкинский музей А. Ф. Онегина в Париже. С. 122—128).

[17] *Долбинские стихотворения* — своеобразный поэтический цикл Жуковского, включающий баллады, послание «Императору Александру», шутливые стихи и характеризующийся единством настроения, выраженного в следующих строках:

Вас брат ваш, долбинский минутный житель,
Благодарит растроганной душой за те немногие
мгновенья,
Которые при вас, в тиши уединенья,
Спокойно музам он и дружбе посвятил!

[18] Как убедительно доказано в последнее время, тесные дружеские отношения Зейдлица и Жуковского начались после смерти М. А. Мойер в 1823 г., а Жуковский узнал о Зейдлице лишь, видимо, в 1820 г. (*Салупере*, с. 433—434), хотя, как сообщает сам мемуарист, Жуковского он увидел впервые в 1815 г.

[19] Подробно о дерптских знакомых Жуковского см.: *Петухов Е. В.* В. А. Жуковский в Дерпте // Памяти Н. В. Гоголя и В. А. Жуковского. Юрьев, 1903. С. 45—89; *Егоров Б. Ф.* Жуковский и Тарту // Альманах «Эстония». Таллин,

1956, с. 237—246, а также: *Салупере*, с. 431—455. Сведения о них см. в Указателе имен.

[20] Все шесть томов «Бесед о физике» (Дерпт, 1819—1824) имеются в библиотеке Жуковского. Здесь же находятся и другие сочинения Паррота, некоторые с его дарственными надписями (*Описание*, № 1810—1815). В своем отзыве на «Беседы о физике» Жуковский, в частности, писал: «...когда я находился в Дерпте, то почтенный автор, удостоивающий меня дружбы своей, сам читал мне первый том своей книги» (*ВЕ*. 1818. № 8).

[21] А. Вейраух создал на стихи Жуковского 19 песен (*Eichstädt H.* Žukovskij als Übersetzer. München, 1970. S. 37—88; *Салупере*, с. 449—455). Жуковского и Вейрауха связывали дружеские отношения. Благодаря Жуковскому он вошел в дом Мойеров, о чем пишет М. А. Мойер в письмах к родным 1820 г.: «Ты нас сблизил с Вейраухом, надеюсь, что теперь навсегда»; «Добрый Вейраух посидел минуточку, от него стало как-то полегче и повеселее» (*УС*, с. 220, 237). В одном из писем Жуковский так характеризовал Вейрауха: «Это человек с необыкновенными дарованиями, поэт в обширном смысле сего слова...» (*ПЖкТ*, с. 162).

[22] *«Критический очерк истории Ливонии»*. — Эта книга с дарственной надписью автора, графа Л. де Брэ, имеется в библиотеке Жуковского (*Описание*, № 725), так же как и многочисленные труды Эверса-младшего (*Там же*, № 1005—1007). В сочинениях последнего — многочисленные пометки и записи поэта.

[23] Это предположение Зейдлица подтверждается: в библиотеке Жуковского книга Г. Эше даже не разрезана (*Описание*, № 1378).

[24] История создания стих. «Старцу Эверсу» неразрывно связана с тем нравственным смыслом, который придавал Жуковский Лоренцу Эверсу. «Первый человек (который заставляет благодарить Творца за то, что создал свет и на этом прекрасном свете его и меня) есть Лоренц Эверс. Вообрази, что этот прелестный старик заключает в себе все, что мы с тобой видали, читали и воображали хорошего», — пишет он А. П. Киреевской (УС, с. 155). А в неопубликованных письмах-дневниках 1815 г., обращенных к Маше Протасовой, Жуковский вновь говорит об Эверсе как символе нравственной философии. «Заглядывай всегда в окно, когда нужно будет тебе утешение; ты увидишь домик Эверсов — в этом уголку прекрасное, угодное Богу творение! Посмотри, как он спокойно смотрит на прошедшую жизнь свою, как *всё* ему друг; это плод чистоты душевной!..» (*РГБ*. Ф. 104. Карт. 8. Ед. хр. 53. Л. 5 об.).

[25] В 1883 г. Зейдлиц передает эту переписку П. Висковатову для публикации (*РС*. 1883. Т. 37—40). Другая часть этой переписки опубликована М. Гофманом в книге «Пушкинский музей А. Ф. Онегина в Париже» (с. 38—52).

[26] *Кто слез на хлеб свой не ронял...* — отрывок перевода стих. Гете, сделанного Жуковским в начале 1816 г. В прижизненные собрания сочинений Жуковский его не включал, хотя однажды (впервые) напечатал его в 1818 г. в сб. «Für wenige. Для немногих».

[27] *Прошли, прошли вы, дни очарованья...* — перевод стих. французского поэта Ф.-О. де Монкрифа «Воспоминание» (1816). История публикации та же, что и предыдущего произведения.

[28] Зейдлиц цитирует отрывок из книги П. А. Плетнева «О жизни и сочинениях В. А. Жуковского» (СПб., 1853). См. наст. изд.

[29] Ученица так позднее вспоминала об этих занятиях: «В то же время я принялась серьезно за уроки русского языка; в учителя мне был дан Василий

Андреевич Жуковский, в то время уже известный поэт, но человек он был слишком поэтичный, чтобы оказаться хорошим учителем. Вместо того чтобы корпеть над изучением грамматики, какое-нибудь отдельное слово рождало идею, идея заставляла искать поэму, а поэма служила предметом для беседы; таким образом проходили уроки. Поэтому русский язык я постигала плохо, и, несмотря на мое страстное желание изучить его, он оказывался настолько трудным, что я в продолжение многих лет не имела духу произносить на нем цельных фраз» (*РС*. 1896. № 10. С. 32).

[30] *...мы ничего не имеем в печати об этих странствованиях.* — Уже после напечатания воспоминаний Зейдлица вышли «Дневники» Жуковского, изд. И. А. Бычковым (СПб., 1901).

[31] *И много милых теней встало!* — неточная цитата из посвящения к поэме «Двенадцать спящих дев» Жуковского (правильно: «И много милых теней восстает»).

[32] Зейдлиц приводит отрывки из письма Жуковского к вел. кн. Александре Федоровне от 23 июня 1821 г., появившегося в 1878 г. в изд. Ефремова (т. 5, с. 460). Поэт на всю жизнь сохранил любовь к живописи К.-Д. Фридриха, картины которого украшали его квартиру (см. воспоминания И. В. Киреевского в наст. изд.). Жуковский был обладателем большой коллекции рисунков и картин немецкого художника-романтика.

[33] О своем знакомстве с немецким поэтом-романтиком Л. Тиком Жуковский подробно пишет в том же письме к вел. княгине. Об интересе Жуковского к личности и творчеству Тика см.: *Тик Л.* Странствия Франца Штернбальда. М., 1987. С. 341—346.

[34] Зейдлиц цитирует отрывки из писем к вел. кн. Александре Федоровне, написанных Жуковским во время первого заграничного путешествия (см. примеч. 35).

[35] Упоминавшиеся отрывки из путешествия в форме писем к вел. княгине были опубликованы Жуковским в различных изданиях: «Путешествие по Саксонской Швейцарии» и «Рафаэлева мадонна» («Полярная звезда на 1824 год»); «Отрывок из письма о Саксонии» («Московский телеграф», 1827. Ч. 13, № 1); «Отрывки из письма о Швейцарии» («Полярная звезда на 1825 год»). Включал их поэт и в прижизненные собрания сочинений в прозе.

[36] Жуковский неоднократно обращался к переводу отрывков из трагедий Шиллера «Дон Карлос», «Дмитрий Самозванец», «Пикколомини», «Смерть Валленштейна» (см.: *Лебедева О. Б.* В. А. Жуковский — переводчик драматургии Ф. Шиллера // Проблемы метода и жанра. Томск, 1979. Вып. 6. С. 140—156). Следов его работы над переводом трагедии Шиллера «Вильгельм Телль» не обнаружено, хотя еще в 1802 г. был опубликован его перевод одноименной повести Флориана.

[37] *Долбинскому своему ареопагу.* — Имеется в виду прежде всего семья Киреевских-Елагиных.

[38] Приводится отрывок из письма к А. П. Елагиной от 11-го февраля 1823 г. (*УС*, с. 37), где речь идет о цензурной судьбе «Орлеанской девы» Жуковского. Цензурный запрет на постановку ее на сцене тяготел до 1884 г.

[39] Подробно история освобождения Жуковским своих крепостных воссоздана в его письмах к А. П. Елагиной от июня — декабря 1822 г. (*УС*, с. 32—36). Об

этом же говорится и в письме к московскому книгопродавцу И. В. Попову от сентября-декабря 1822 г. (*РА*. 1865).

[40] *Белевский Максим.* — Старый и любимый слуга Жуковского был отпущен на волю в 1823 г. Его имя часто упоминается в письмах поэта (*УС*, указ. имен). С ним связана история стихотворения «Максим» — перевода популярных французских куплетов (см.: *Изд. Вольпе*, т. 2, с. 523—524). У Жуковского был и другой слуга, по имени Максим (Григорьев), которого он освободил еще в 1817 г. (*УС*, с. 27). Видимо, «белевский Максим» стал героем повести А. П. Зонтаг «Путешествие на луну» (*РА*. 1904. Кн. 3).

[41] Перевод шиллеровского стих. «Drei Wörter des Glaubens» («Три слова веры») отсутствует в бумагах Жуковского и не обнаружен до сих пор. Письмо к А. П. Елагиной от 11 февраля 1823 г., которое цитирует Зейдлиц: «Очень рад, что мои эсклавы получили волю...» (*УС*, с. 37), не содержит сведений об этом переводе.

[42] Как установлено, это был дом Меншикова на углу Невского проспекта и Караванной улицы (ныне дом № 64 по Невскому проспекту). Эта квартира Воейкова-Жуковского вскоре превратилась в литературный салон, хозяйка которого, А. А. Воейкова, была музой-вдохновительницей И. И. Козлова, Е. А. Баратынского, Н. М. Языкова (см.: *Иезуитова*, с. 176—181).

[43] *Отымает наши радости...* — Зейдлиц приводит первую строфу из вольного переложения Жуковским стих. Байрона «Stanzas for music» («Стансы для музыки»).

[44] Как убедительно доказано И. М. Семенко (*Жуковский В. А.* Соч.: В 3 т. М., 1980. Т. 1. С. 414), название стихотворения связано не с датой получения Жуковским известия о смерти М. А. Мойер —19 марта 1823 г., а с последним их свиданием 9 марта этого же года, о чем свидетельствует и автограф. Поэтому произведение должно иметь заглавие «9 марта 1823».

[45] О смерти Карамзина Жуковский узнал из газет уже в конце июня 1826 г. В письме к А. И. Тургеневу из Эмса он упрекает его и Вяземского, что не сообщили ему об этом раньше, и добавляет: «Он был другом-отцом при жизни... Карамзин — в этом имени было и будет все, что есть для сердца высокого, милого, добродетельного. Воспоминание об нем есть религия» (*ПЖкТ*, с. 214).

[46] Будущий тесть Жуковского, Герхард Вильгельм фон Рейтерн, проводил лето 1826 г. в Эмсе и именно тогда сблизился с Жуковским (см.: Gerhardt von Reutern. Ein Lebensbild. Spb., 1894. S. 48—50). Ранее Жуковский только мельком на балу видел Рейтерна в Дерпте (Рус. беседа. 1859. Кн. 3. С. 17).

[47] Подробно о смерти А. А. Воейковой, участии в ее судьбе Зейдлица Жуковский сообщает А. И. Тургеневу в письме от 16/28 марта 1829 г., где, в частности, пишет: «Нежнейший товарищ моей души оторвался от нее. Зейдлиц был истинным ее ангелом-хранителем» (*ПЖкТ*, с. 251).

[48] Речь идет о «Войне мышей и лягушек», которую Жуковский передал сыну А. П. Елагиной И. В. Киреевскому для редактируемого им журнала «Европеец», во втором номере которого она была напечатана. О «Войне мышей и лягушек» как «зашифрованной сатире» на Булгарина см.: *Изд. Вольпе*, т. 2, с. 473—478.

[49] История замысла «Ундины» изложена самим Жуковским в прозаическом предисловии к повести в изд. 1837 г., где говорится о желании вел. кн.

Александры Николаевны (а не имп. Александры Федоровны, как указано у Зейдлица) видеть «Ундину» на русском языке; ей же повесть и посвящена.

[50] Следов работы Жуковского над «Ундиной» в 1817 г. не обнаружено. Речь может только идти о замысле переложения повести Ламотт-Фуке в проектируемом им совместно с Д. В. Дашковым альманахе «Аониды» (*РА*. 1868. № 4—5. С. 839) и о желании получить немецкий ее текст в 1816 г. (*ПЖкТ*, с. 159—161). Жуковский получил немецкое издание «Ундины» 16 сентября 1816 г. от своего дерптского друга М. Асмуса (*Салупере*, с. 442).

[51] В дневниковых записях Жуковского за январь — февраль 1821 г. имя Ламотт-Фуке встречается неоднократно, правда без всяких оценок (*Дневники*, с. 97, 98, 102, 106).

[52] О совместных прогулках с Гоголем по Риму, участии в карнавале, посещении мастерских художников Жуковский постоянно говорит в «Дневнике» (записи от декабря 1838 — января 1839 г.). 6/18 января 1839 г. он, в частности, записывает: «Ввечеру Гоголь читал главу из „Мертвых душ“. Забавно и больно» (*Дневники*, с. 459).

[53] В венских дневниках за 19—28 февраля 1839 г. (*Дневники*, с. 471—472) упоминаний о виденном спектакле по «Камоэнсу» нет.

[54] Вероятно, речь идет о портрете Жуковского, написанном в феврале 1839 г. венским художником Ранфтлом. Именно его послал он в конце марта — начале апреля 1839 г. А. П. Елагиной (*УС*, с. 64—65).

[55] Об этом см. письмо к И. И. Козлову от 4/16 ноября 1838 г. (*Изд. Семенко*, т. 4, с. 637—640). Книга А. Манцони с его дарственной надписью, приводимой в этом письме, хранится в библиотеке Жуковского (*Описание*, № 1595).

[56] См. указ. выше письмо к И. И. Козлову. Сочинения С. Пеллико имеются в библиотеке Жуковского (*Описание*, № 1825—1827). В «Дневнике» о встрече с ним Жуковский пишет так: «Посещение Сильвио Пеллико, который имеет всю физиономию своих сочинений: простота и ясность» (*Дневники*, с. 468—469).

[57] *Я счастья ждал — мечтам конец...* — цитата из стих. Жуковского «Певец».

[58] Вероятно, речь идет о бюсте (барельефе) Жуковского работы баденского скульптора Лоча (Lotsch), сделанном в Риме в 1833 г. (*Дневники*, с. 295).

[59] *Для сердца прошедшее вечно!* — стих из «Теона и Эсхина» Жуковского.

[60] *Вот история всех революций...* — Зейдлиц приводит фрагмент из большого письма Жуковского к наследнику цесаревичу от 1 января 1833 г., видимо, по изданию Ефремова 1878 г. (т. 5, с. 498); у Ефремова адресат письма не указан. Впервые он обозначен в изд. Архангельского (т. 12, с. 29).

[61] Жуковский высоко ценил рисунки Рейтерна, считая их «истинно образцовыми произведениями», особенно отмечая в них отсутствие манерности (*РВ*. 1894. № 9. С. 232—234). Подробнее об этом см. воспоминания Е. А. Жуковской в наст. изд.

[62] Подробнее об этом см. воспоминания В. А. Жуковской в наст. изд.

[63] *И заключен святой союз сердцами...* — строфа из баллады Жуковского «Эльвина и Эдвин» (1814).

[64] *...верить, верить, верить!* — слова из письма к имп. Александре Федоровне от марта 1842 г., которое Зейдлиц цитирует в выпущенном фрагменте текста.

[65] Речь идет о созданной Жуковским в 1843 г. стихотворной повести «Капитан Бопп».

[66] *...уныние образует животворную скорбь...* — слова из письма Жуковского к П. А. Вяземскому от 3/15 марта 1846 г., опубликованного позднее под названием «О меланхолии в жизни и в поэзии».

[67] *...писать кое-какие «Размышления».* — Речь идет о сборнике прозаических произведений Жуковского 1840-х годов, озаглавленном «Мысли и замечания», которые не были опубликованы при жизни поэта по цензурным обстоятельствам (см. заключение Дубельта из «Старой записной книжки» П. А. Вяземского в наст. изд.).

[68] *...о помолвке Екатерины Ивановны Мойер...* — Речь идет о дочери М. А. Протасовой-Мойер, свадьба которой с Василием Алексеевичем Елагиным состоялась 14 января 1846 г. Жуковский хотел благословить Катю «отцовским единственным благословением» (образом Спасителя), но затем все же решил, что этот образ должен остаться в его семье. Он и до сих пор хранится в Париже у правнучки поэта, Марии Алексеевны Янушевской (Жуковский В. А. Баллады. Наль и Дамаянти... М., 1987. С. 478; примеч. И. М. Семенко).

[69] Имеется в виду письмо Жуковского к Гоголю от 29 декабря 1847 г., опубликованное под названием «О поэте и современном его значении» (*Москв.* 1848. № 4).

[70] П. А. Вяземский и П. А. Плетнев в 1847 г. предполагали отметить юбилей 50-летней поэтической деятельности Жуковского, но министр просвещения С. С. Уваров, по существу, отменил его, так как стало известно, что Жуковский не сможет приехать в Россию. Только 29 января 1849 г. (в день рождения Жуковского) был устроен скромный праздник в доме П. А. Вяземского.

[71] Зейдлиц имеет в виду письмо к С. С. Уварову от 12/24 сентября 1847 г. Отрывок из него был опубликован еще при жизни поэта (Стихотворения В. Жуковского. СПб., 1849. Т. 8). Письмо имело программный характер для понимания творческой истории «Одиссеи».

[72] *Мне рок судил... Так, петь есть мой удел.* — Контаминация строк из элегии Жуковского «Вечер» (1806).

[73] Речь идет об «Отрывках из „Илиады“, опубликованных Жуковским в «Северных цветах на 1829 год».

[74] Приводится отрывок из письма к С. С. Уварову (см. примеч. 71).

[75] См. воспоминания И. И. Базарова «Последние дни жизни В. А. Жуковского» в наст. изд.

А. П. Зонтаг

Анна Петровна Зонтаг, урожд. Юшкова (1786—1864), племянница Жуковского, дочь его сестры по отцовской линии В. А. Юшковой, старшая сестра А. П. Елагиной-Киреевской, детская писательница, переводчица, мемуаристка. Детство и молодость провела в селе Мишенском, родовом поместье Буниных, в Туле и Москве. В 1817 г. вышла замуж за офицера русской службы американца Е. В. Зонтага и уехала с ним в Одессу, где и жила до смерти мужа (1841), а затем до замужества и отъезда за границу дочери (1842). После этого переселилась в Мишенское и прожила там до самой смерти.

Наряду с А. П. Елагиной А. П. Зонтаг относилась к числу наиболее близких Жуковскому людей. Воспитание и образование она получила в доме своей бабушки М. Г. Буниной, где воспитывался и внебрачный сын ее мужа, А. И. Бунина, В. А. Жуковский, с которым мемуаристку связывала детская дружба, позже сохранившаяся как родственная привязанность на всю жизнь. Период особенно интенсивного общения А. П. Зонтаг и Жуковского ограничен детством и юностью поэта (до 1815 г.). Позже А. П. Зонтаг — постоянный корреспондент Жуковского и предмет его родственных забот.

По совету и под руководством Жуковского А. П. Зонтаг начала заниматься литературной деятельностью (переводы с иностранных языков) в 1808—1811 гг., когда Жуковский редактировал журнал «Вестник Европы», он же доставлял ей и некоторые заказы (*РБ*, с. 110—112, 116, 117). О постоянной материальной помощи, которую оказывал Жуковский своей племяннице, свидетельствуют письма А. П. Зонтаг к А. М. Павловой, приводящиеся в настоящем издании.

Писать воспоминания о детстве поэта А. П. Зонтаг начала довольно рано. Жуковский сам подал ей эту мысль. В апреле 1836 г. он писал А. П. Зонтаг: «Я бы вам присоветовал сделать и другое: напишите свои воспоминания или, лучше сказать, наши воспоминания» (*УС*, с. 111). С тех пор Зонтаг периодически посылала Жуковскому и А. П. Елагиной свои письма с воспоминаниями об их детстве. Незадолго до своей смерти поэт так отозвался об одном из таких писем: «Оно заставило меня плакать, так живо и так много милых встало из глубины прошедшего перед глазами моими» (там же, с. 130). До сих пор воспоминания А. П. Зонтаг, наиболее ценная часть ее литературного наследия, являются самым авторитетным и, по сути, единственным источником сведений о детстве Жуковского.

История текста и публикаций мемуаров А. П. Зонтаг достаточно сложна. Первый их вариант, статья «Несколько слов о детстве В. А. Жуковского», была написана по просьбе М. П. Погодина, редактора журнала «Москвитянин», и опубликована без указания авторства (*Москв.* 1849. № 9). После смерти Жуковского статья А. П. Зонтаг, под тем же названием, была Погодиным перепечатана (там же, 1852. № 18).

Второй, более пространный, вариант воспоминаний А. П. Зонтаг написан в форме писем последней к П. А. Вяземскому в 1854 г., по его просьбе, как это видно из начальных строк текста. Но при жизни Зонтаг эти письма опубликованы не были. Текст второй редакции подготовлен к печати К. К. Зейдлицем к столетию со дня рождения Жуковского, им же сделаны небольшие примечания (см.: Рус. мысль. 1883. Кн. 2).

Две редакции мемуаров А. П. Зонтаг имеют незначительные расхождения в деталях, при том что события, описанные в них, совпадают. Поэтому текст, воспроизводимый в настоящем издании, представляет собой контаминацию этих двух редакций. В основу положен текст публикации «Русской мысли» как более подробный; он дополнен фрагментами публикации «Москвитянина», воссоздающими некоторые подробности, отсутствующие в основном тексте. Эти дополнения заключены в прямые скобки. Общий заголовок мемуаров А. П. Зонтаг «Несколько слов о детстве В. А. Жуковского» дан по названию хронологически самой ранней публикации «Москвитянина».

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ДЕТСТВЕ В. А. ЖУКОВСКОГО

(Стр. 92)

Москв. 1849. № 9. С. 3—13; со сверкой по рукописи (*РГБ*, Пог. III, карт. 5. Ед. хр. 19); Рус. мысль. 1883. Кн. 2. С. 266—285; со сверкой по рукописи (*РНБ*. Ф. 286. Оп. 2. Ед. хр. 280—281).

[1] К названию публикации «Русской мысли» «*Письма Анны Петровны Зонтаг, урожд. Юшковой, к князю П. А. Вяземскому. 1854 г.*» редактор журнала П. А. Висковатов сделал следующее примечание: «По сообщениям Зейдлица, письма эти никогда не доходили до кн. Вяземского. Князь сам высказал это Зейдлицу, когда последний обращался к нему по поводу издания биографии Жуковского. Все письмо списано с чернового наброска Анны Петровны Зонтаг самим Зейдлицем». Действительно, две сохранившиеся в архиве поэта рукописи воспроизводят и черновой набросок Зонтаг, и копию Зейдлица, явившуюся и наборной рукописью «Русской мысли» (см.: Отчет Имп. публичной библиотеки за 1908 г. СПб., 1911. С. 220). Однако кроме них сохранился еще неполный беловой автограф этой редакции мемуаров А, П. Зонтаг (*ЦГАЛИ*. Ф. 198. Оп. 2. Ед. хр. 29), имеющий незначительные разночтения с публикацией в «Русской мысли», но оформленный именно в виде писем, пронумерованных рукой автора.

[2] М. Г. Бунину Жуковский тепло вспоминал всю жизнь. Уже в конце жизни он говорил: «Жена моя может быть свидетелем, как мне дорога память нашей бабушки, которая так нежно меня любила; у меня всегда согревается сердце, когда я об ней вспоминаю» (*УС*, с. 80—81).

[3] Речь идет о русско-турецкой войне 1768—1774 гг.

[4] Жуковский сохранил добрую память о своем крестном отце, свидетельство тому — деятельное участие в судьбе его сына Павла: по его ходатайству он был зачислен в Кадетский корпус, потом в 1817 г. учился в Дерпте и жил в доме М. А. Мойер, племянницы Жуковского, по окончании курса наук жил на содержании Жуковского в Петербурге и был определен им в военную службу (*УС*, с. 41—42, 202; *РБ*, с. 102—104; *РА*. 1908. № 11. С. 391—392).

[5] Имеются в виду сестры А. П. Зонтаг, урожденные Юшковы: Мария (в браке Офросимова), Авдотья (в первом браке Киреевская, во втором — Елагина) и Екатерина (в браке Азбукина).

[6] В письме от 6/18 марта 1849 г. Жуковский назвал А. П. Зонтаг и А. П. Елагину «соколыбельницами» (*УС*, с. 126).

[7] *Он был строен и ловок...* — фрагмент из первой публикации (*Москв.* 1849. № 9. С. 3—4).

[8] *Еким Иванович.* — Этого своего учителя, а также Х. Ф. Роде и Ф. Г. Покровского, о которых речь идет ниже, Жуковский вспоминает в письме А. П. Елагиной от 1848 г. (*РБ*, с. 129).

[9] Журнал «Приятное и полезное препровождение времени» издавался в Москве с 1794 по 1799 г. Редактором журнала был П. А. Сохацкий. В журнале сентименталистской ориентации наряду с произведениями Г. Р. Державина, Н. М. Карамзина, И. И. Дмитриева печатались первые опыты студентов Московского университета и воспитанников Университетского благородного пансиона. На страницах журнала состоялся литературный дебют юного Жуковского. Здесь были опубликованы: «Мысли при гробнице» (1797, ч. XVI), «Майское утро»

(там же), «Добродетель» (1798, ч. XVIII), «Мир и война» (1798, ч. XX), «Жизнь и источник» (там же).

[10] *Он имел очень небольшое состояние...* — К этим словам К. Зейдлиц сделал следующее примечание: «Протасов был богат, но промотал или проиграл состояние в карты».

[11] Примеч. К. Зейдлица: «Деньги эти были Жуковским отданы в приданое племяннице его, Александре Андреевне Протасовой, вышедшей замуж за А. Ф. Воейкова».

[12] Перевод «Элегии, написанной на сельском кладбище» Т. Грея (1802) не был первым стихотворением, опубликованным Жуковским (см. примеч. 9). Он считался литературным дебютом Жуковского по вызванному им резонансу и по известности, которой с его публикацией стал пользоваться Жуковский.

[13] *Поля, холмы родные...* — цитата из стих. Жуковского «Певец во стане русских воинов» (1812).

[14] Весьма вероятно, что это была известная впоследствии поэтесса А. П. Бунина, бывшая в родстве с тульскими Буниными; в описываемый А. П. Зонтаг период ей было 18— 20 лет. Поскольку А. П. Бунина рано лишилась родителей и жила у разных родственников (см.: Поэты 1790—1810 годов. Л., 1971. С. 447), она могла оказаться и в гостеприимном доме В. А. Юшковой.

[15] В черновой рукописи А. П. Зонтаг недостает одного листа, что и отмечено в примеч. К. Зейдлица: «Здесь недостает листа, затерявшегося и до сих пор не отысканного. Вероятно, здесь был рассказан эпизод об исключении Жуковского Ф. Г. Покровским». Отсутствие этого листа восполняется соответствующим фрагментом первой редакции мемуаров (*Москв.* 1849. № 9. С. 9—10).

[16] Заключительная часть воспоминаний А. П. Зонтаг приводится целиком по первой редакции (*Москв.* 1849. № 9. С. 11—13), поскольку здесь более подробно и связно освещены события биографии Жуковского 1802—1805 гг.

[17] *...в Орловской деревне.* — Речь идет о селе Муратове Орловской губернии, где жила Е. А. Протасова с дочерьми Машей и Сашей. В полуверсте от Муратова находилась деревня Холх, где в 1811 г. в собственном доме жил Жуковский, а неподалеку от Муратова — имение родственника Протасовых и друга Жуковского А. А. Плещеева Чернь, где в 1811—1814 гг. поэт часто гостил (см. об этом воспоминания Т. Толычевой в наст. изд.).

[18] А. П. Зонтаг ошибается: В. А. Жуковский покинул Муратово в начале сентября 1814 г. в связи с отказом Е. А. Протасовой выдать за него свою старшую дочь М. А. Протасову (*ПЖкТ*, с. 124—126).

[19] *О родина моя, Обурн благословенный!* — первая строка стих. Жуковского «Опустевшая деревня» (из О. Голдсмита, 1805).

[20] Матфей, 5, 8.

ИЗ ПИСЕМ К А. М. ПАВЛОВОЙ

(Стр. 108)

Отчет Имп. публичной библиотеки за 1893 г. СПб., 1896. С. 130—135.

[1] Павлова Анна Михайловна, урожд. Соковнина, — сестра С. М. Соковнина, соученика Жуковского и братьев Тургеневых по Университетскому благородному пансиону, предмет увлечения Андрея и Александра Тургеневых (*Письма*

Андрея Тургенева, с. 373). Жуковский был поверенным в отношениях Александра Тургенева и А. М. Соковниной (*ПЖкТ*, с. 41—42). Имение Соковниных находилось недалеко от Белева; их московский дом был одним из самых близких Жуковскому в период его ранней молодости. Сестре А. М. Павловой, Екатерине Михайловне, он посвятил стих. «К Е. М. С-ной» (1803).

[2] *...исход зимы 1815 года.* — Ошибка памяти А. П. Зонтаг. Описанное ею происшествие случилось осенью 1816 г. О нем подробно рассказывает М. А. Мойер в письме к А. П. Елагиной от 14 февраля 1817 г. (*УС*, с. 192—193). Это письмо подтверждает истинность рассказа Зонтаг, кажущегося маловероятным, но совпадающего до мелких подробностей с письмом М. А. Мойер, которое могло быть источником воспоминаний Зонтаг.

[3] Рассказ Жуковского о представлении имп. Марии Федоровне см.: *УС*, с. 15; *РА*. 1865. № 7. С. 803—806.

[4] А. А. Воейкова прожила в Италии два года (1827—1829). Умерла в 1829 г. от туберкулеза в Ливорно, где и похоронена.

[5] М. Е. Зонтаг, единственная дочь А. П. Зонтаг, вышла замуж за австрийского консула в Одессе Людвига Гутманстaля-Бенвенути в 1842 г. и уехала с ним за границу.

[6] Первое издание поэмы Жуковского «Наль и Дамаянти» вышло в 1844 г.

[7] *Сашка, Сашка! // Вот тебе бумажка...* — Текст этого шутливого стихотворения, обращенного к Саше Протасовой, Зонтаг приводит неточно, видимо по памяти (ср.: *Жуковский В. А.* Соч.: В 3 т. Т. 1. С. 353). Датируется 1814 г.

С. П. Жихарев

Степан Петрович Жихарев (1788—1860) — переводчик, театрал, мемуарист, автор «Записок современника» и «Воспоминаний старого театрала». Учился в Университетском благородном пансионе (1805—1806), служил в коллегии иностранных дел, впоследствии сенатор и действительный тайный советник.

Первое знакомство Жихарева с Жуковским относится к 1805 г., когда Жихарев поступил в Благородный пансион, а Жуковский жил в доме его директора, своего бывшего наставника А. А. Прокоповича-Антонского. О встрече в доме Антонского говорится в «Записках современника». Особенно близким и регулярным общение Жихарева и Жуковского стало позже, в период организации и деятельности литературного общества «Арзамас» (1815—1818). Жихарев присутствовал на премьере комедии А. А. Шаховского «Липецкие воды» 23 сентября 1815 г. Выпады Шаховского против Жуковского послужили поводом к созданию «Арзамаса», а Жихарев под прозвищем Громобой был принят в члены общества 29 октября 1815 г., на втором ординарном заседании (*Арзамасские протоколы*, с. 97—101).

В 1816—1818 гг. Жихарев — постоянный корреспондент Жуковского. «Но куда бы ты ни поехал и где бы ты ни сидел, люби меня по-старому, по-арзамасски, как я сам тебя люблю», — писал Жуковский Жихареву в 1816 г. (*ПЖкТ*, с. 154). Позднее отношения Жихарева с арзамасцами осложнились в связи со злоупотреблениями Жихарева в денежных делах А. И. Тургенева, который сде-

лал его своим поверенным (там же, с. 242). «Ты успел захватить последние остатки совести в душе Громобоя» — так прокомментировал этот случай Жуковский в письме А. И. Тургеневу от 20-х чисел сентября 1831 г. (там же, с. 259).

«Записки современника» — один из канонических мемуарных сводов для начала XIX в., особенно ценный тем, что повествует о событиях непосредственно по мере их совершения и в этом смысле имеет дневниковый характер. (Об истории создания и источниках текста «Записок» см.: *Жихарев С. П.* Записки современника / Под ред. и с коммент. Б. М. Эйхенбаума. М.; Л., 1955. С. 672—690.) «Записки» охватывают период с 1805 по 1809 г., поэтому упоминаний о Жуковском в них немного. Но даже и те небольшие замечания, которые в них содержатся, свидетельствуют о широкой популярности личности и особенно поэзии молодого Жуковского среди его младших современников, а также о неприятии творчества поэта литераторами старшего поколения. Воспоминания Жихарева восполняют пробел в освещении жизни Жуковского после окончания пансиона, и в этом их безусловная ценность.

ИЗ «ЗАПИСОК СОВРЕМЕННИКА»

(Стр. 114)

Жихарев С. П. Записки современника. М.; Л., 1955 (серия «Лит. памятники»). С. 14, 165—166, 438—439.

[1] *Антон Антонович* — А. А. Прокопович-Антонский, профессор Московского университета по кафедре естественной истории, в 1791—1817 гг. инспектор Благородного пансиона, наставник и друг В. А. Жуковского.

[2] *...сотрудником Каченовского в издании «Вестника Европы»...* — Это одно из наиболее ранних свидетельств о намерении Жуковского издавать журнал. Жуковский редактировал *ВЕ* в 1808—1809 гг., позднее активно сотрудничал в нем. Об этом см.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома. 1979. Л., 1981. С. 89—106.

[3] *...Поэзия! с тобой...* — отрывок из стих. Жуковского «К поэзии» (1805), приведенный не вполне точно.

[4] *...господа здешние литераторы...* — Имеются в виду члены петербургского литературного общества «Беседа любителей русского слова», руководимого А. С. Шишковым, заседания которого Жихарев посещал в 1806—1811 гг.

[5] *Павлом Ивановичем.* — П. И. Голенищев-Кутузов, почетный член «Беседы», перевел элегию Т. Грея в 1803 г.

[6] *Гаврила Романович.* — Г. Р. Державин, почетный член «Беседы», в доме которого происходили заседания общества.

М. А. Дмитриев

Михаил Александрович Дмитриев (1796—1866) — поэт и критик пушкинской поры, автор воспоминаний «Мелочи из запаса моей памяти». Племянник

известного поэта И. И. Дмитриева, он рано остался без родителей. В 1806 г. поступает в «высший класс» Благородного пансиона при Московском университете, где еще была жива память о Жуковском, а в 1812 г. был принят в Московский университет и одновременно приступил к службе в архиве иностранной коллегии. Художественные вкусы Дмитриева формируются под влиянием Державина и Жуковского. В 1815 г. он живет в доме своего дяди, где собиралась «вся Москва». Этот дом поистине стал для него литературной академией. Через дядю он познакомился с виднейшими писателями, в том числе и с Жуковским.

Молодой Дмитриев внимательно следит за литературными баталиями 1815—1818 гг., и в подражание «Арзамасу» в конце 1820-х годов он и несколько его университетских друзей учреждают «Общество любителей громкого смеха». Активная литературная деятельность Дмитриева начинается в 1823—1825 гг. Громкую известность ему принесли полемические критические выступления, направленные против предисловия Вяземского к «Бахчисарайскому фонтану» А. С. Пушкина и грибоедовского «Горя от ума». За эти выпады против романтизма Вяземский окрестил своего противника «Лже-Дмитриевым». Эти критические эскапады принесли Дмитриеву репутацию «классика последнего и самого твердого устоя упадавшего классицизма» (*Колюпанов Н.* Биография А. И. Кошелева. М., 1889. Т. 1. С. 32). В последующие годы Дмитриев выступает и как поэт (цикл «Московских элегий»), и как критик, примкнувший к кругу участников журнала «Москвитянин».

Но главным детищем его становится книга воспоминаний «Мелочи из запаса моей памяти» (1854) — своеобразные мемуарные очерки литературной жизни пушкинской эпохи, портреты ее деятелей. Видное место в ней занимает фигура В. А. Жуковского. Контакты Дмитриева с Жуковским были особенно тесными в начале 1840-х годов, когда последний приезжает в 1841 г. в Москву. В неопубликованных дневниках Жуковского этого времени многочисленны указания о вечерах, проведенных вместе, визитах друг к другу: «17/29 янв. 1841. На вечер к Дмитриеву», «25 января/6 янв. Вечер у Орлова с Чадаевым, <...> Дмитриевым»; «20 января/4 февраля. У меня Дмитриев, который рассказывал о своих предчувствиях» — и т. д. (*ЦГАЛИ*. Ф. 198. Оп. 1. Ед. хр. 37). Интересна следующая запись: «13/25 <января>... Дмитриев М. Ал. с балладою» (там же, л. 79 об.). В конце 1830 — начале 1840-х годов Дмитриев пишет три пародийные баллады, «ориентированные на известные образцы этого жанра Жуковского и направленные против популярных журналистов и критиков того времени: «Новая Светлана» (сатира на Н. Полевого), «Двенадцать сонных статей» (против М. Т. Каченовского), «Петербуржская Людмила» (сатира на А. А. Краевского и Белинского). Видимо, первая пародия и стала известна Жуковскому, так как в «примечании сочинителя» указано, что эпиграф к ней «прибран В. А. Жуковским».

Воспоминания М. Дмитриева о Жуковском отрывочны, полемичны, но в них ощутимо чувствуется позиция автора и имеются существенные штрихи к творческому портрету Жуковского, отсутствующие в других мемуарах.

М. А. Дмитриев

ИЗ КНИГИ «МЕЛОЧИ ИЗ ЗАПАСА МОЕЙ ПАМЯТИ»

(Стр. 117)

Дмитриев М. А. Мелочи из запаса моей памяти: Вторым тиснением, с значительными дополнениями по рукописи автора. М., 1869. С. 178—194.

[1] *...слушал потом лекции университета.* — Сведений об этом нет. В «Автобиографии» (раздел 8-й — «Московская жизнь») Жуковский говорит только о «пенсионском образе жизни» и службе в Соляной конторе (*Дневники*, с. 38—39).

[2] *Николай Васильевич Сушков* — поэт и драматург, стал позднее своеобразным летописцем Московского благородного пансиона. См.: Сушков Н. В. Московский университетский благородный пансион. М., 1858.

[3] *...пансионское общество словесности...* — Речь идет об учрежденном в 1799 г. директором пансиона А. А. Прокоповичем-Антонским «Собрании воспитанников Университетского благородного пансиона» под председательством Жуковского. Протоколы заседаний, составленные Жуковским, дают представление о характере интересов пансионеров, их речах (см.: *Изд. Ефремова*, т. 5, с. 550—551).

[4] Список произведений Жуковского, помещенных в этих изданиях и включающий более 10 названий, составлен Н. С. Тихонравовым (*Москв.* 1853. № 2. С. 156—157).

[5] Жуковский называл Дмитриева своим «учителем в поэзии». В письме к И. И. Дмитриеву от 11 февраля 1823 г. он писал: «Ваши стихи „Размышление по случаю грома“, переведенные из Гете, были первые, выученные мною наизусть... вы способствовали мне познакомиться с живыми наслаждениями поэзии» (*РА*. 1866. Стб. 1632). Жуковский ценил поэта как представителя «карамзинского духа», как друга и ближайшего сподвижника Карамзина. «Вы останетесь для меня навсегда, — писал он Дмитриеву 19 февраля 1834 г., — на всю мою жизнь второю ипостасью нашего незабвенного Николая Михайловича» (там же, стб. 1638). В свою очередь, И. И. Дмитриев рано выделил среди молодых поэтов Жуковского, который «оживлял его одиночество» и «поныне услаждает мои воспоминания» (*Дмитриев И. И.* Соч. СПб., 1893. Т. 2. С. 56).

[6] *Д. Н. Б ва* — Дмитрия Николаевича Блудова.

[7] *Где время то, когда наш милый брат...* — Приводится фрагмент послания Жуковского «Тургеневу, в ответ на его письмо» (1813).

[8] *Угрюмой осени мертвящая рука...* — цитируется начало «Элегии» (1802) Андрея Тургенева, опубликованной в карамзинском *ВЕ* почти одновременно с «Сельским кладбищем» Жуковского. «Элегия» была высоко оценена Карамзиным и оказала влияние на поэтов пушкинского поколения. Так, Кюхельбекер говорил об Андрее Тургеневе как о «счастливом сопернике Жуковского» (запись от 2 июля 1832 г. в его «Дневнике»).

[9] Перевод флориановского «Дон-Кишота», как убедительно доказано (см., например: Багно В. Е. Жуковский — переводчик «Дон-Кихота» // Жуковский и русская культура. Л., 1987), конечно же, сделан «не из-за денег», не по заказу. Он органичное звено в развитии Жуковского-романтика, «живое явление русской прозы».

[10] Имеется в виду труд проф. Московского университета, автора целого ряда произведений по теории словесности И. И. Давыдова.

[11] Речь идет о рецензии на 5-е изд. «Стихотворений В. Жуковского», по всей вероятности написанной редактором журнала «Библиотека для чтения» О. И. Сенковским. Здесь и далее Дмитриев цитирует отрывки из этой рецензии (см.: Библиотека для чтения. 1852, июнь. Отдел «Критика». С. 22, 29—30).

[12] *Жуковский начал несколько участвовать в «Вестнике Европы» с 1807 года...* — Точнее будет сказать о конце 1806 г., когда в последнем номере *ВЕ* за этот год было опубликовано стих. Жуковского «Песнь барда над гробом славян-победителей».

[13] Обычно говорят о 16 баснях — переводах из Флориана и Лафонтена, напечатанных в *ВЕ* в 1807 г.

[14] Дмитриев говорит о четвертом издании произведений поэта: *Жуковский В.* Стихотворения. Пб., 1835—1844. Т. 1—9.

[15] Издателем *ВЕ* Жуковский становится в 1808 г., о чем свидетельствует обложка первого номера, на которой впервые написано: «Вестник Европы, издаваемый Василием Жуковским». Здесь же было опубликовано «Письмо из уезда к издателю» — программа Жуковского-редактора.

[16] *С каким бы торжеством я встретил мой конец...* — отрывок из цит. дальше стих. «К Филалету» (1808).

[17] *Мой век был тихий день; а смерть успокоенье!* — заключительная строка из басни «Сон могольца», переведенной Жуковским в 1806 г. из Лафонтена.

[18] Речь идет о рецензии Н. Г. Чернышевского на первое издание «Мелочей из запаса моей памяти» (*Совр.* 1855. № 1. С. 11—17).

[19] *«Львы в провинции»* — повесть И. И. Панаева.

[20] *Я узнал Жуковского или в конце 1813, или в начале 1814-го...* — Как точно указал в своих воспоминаниях И. И. Дмитриев, его московская жизнь «возобновилась» 20 сентября 1814 г. (*Дмитриев И. И.* Указ. соч. Т. 2. С. 144), а Жуковский приехал впервые после Отечественной войны в Москву и посетил дом Дмитриева, где жил его племянник, в конце января 1815 г. (*ПЖкТ*, с. 135). Поэтому М. А. Дмитриев мог узнать Жуковского не раньше января 1815 г.

[21] Написанная в октябре 1814 г. и включенная Жуковским в план собр. соч. 1815—1816 гг. баллада «Старушка» (из Р. Саути) впервые была напечатана в «Балладах и повестях В. А. Жуковского» (СПб., 1831) из-за цензурного запрета. Цензором было сделано следующее заключение: «Баллада „Старушка“, ныне явившаяся „Ведьмой“, подлежит вся запрещению как пьеса, в которой дьявол торжествует над церковью, над Богом» (*PC*. 1887. Т. 56. С. 485).

[22] История этого издания «Певца во стане русских воинов» подробно воссоздана как в письмах И. И. Дмитриева к Жуковскому от февраля — мая 1813 г., так и в письмах Жуковского к А. И. Тургеневу этого же времени и в основных своих моментах совпадает с воспоминаниями М. А. Дмитриева.

[23] Этот факт творческой истории послания «К кн. Вяземскому и В. Л. Пушкину» (1814) подтверждается свидетельством П. А. Вяземского (см.: «Объяснения к письмам Жуковского» в наст. изд.).

[24] Об этом же говорил и М. П. Погодин: «...все литераторы и не литераторы носят его на руках... Всякому хочется видеть у себя и угостить знаменитого гостя, воспитанника и певца Москвы» (*Барсуков*, кн. 6, с. 18).

[25] В неопубликованном дневнике Жуковского об этом визите сообщено лаконично: «15/27 февраля (1841). Поездка к Глинке с Дмитриевым» (*ЦГАЛИ*. Ф. 198. Оп. 1. Ед. хр. 37. Л. 86).

[26] Судьба этого альбома неизвестна.

И. П. Липранди

Иван Петрович Липранди (1790—1880) — участник наполеоновских войн с 1807 г., в том числе и Отечественной войны 1812 г., отмечен многими боевыми наградами. С 1822 г. — отставной полковник, после чего состоял чиновником по особым поручениям при М. С. Воронцове. Привлекался к следствию после восстания декабристов, но был освобожден с оправдательным документом. С 1832 г. — генерал-майор, служил при министерстве внутренних дел и был тайным агентом правительства (в этом качестве он выступил в деле петрашевцев). Человек необыкновенно противоречивый, во многом загадочный, со сложной биографией (см.: *Эйдельман Н. Я.* «Где и что Липранди?» // Путь в незнаемое. М., 1972. С. 125—158), Липранди обладал, по словам Пушкина, «ученостью истинной», которая сочеталась «с отличными достоинствами военного человека» (*Пушкин*, т. 11, с. 294). Липранди — автор воспоминаний о Пушкине, которые справедливо считаются «главнейшим источником сведений о южном периоде биографии» поэта (А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1985. Т. 1. С. 513).

Мемуарный очерк Липранди «И. Н. Скобелев и В. А. Жуковский в 1812 году» — органичная часть историко-критических его трудов об Отечественной войне. В них он проявил себя как замечательный критик военной литературы 1812 г., что высоко ценил, например, Л. Н. Толстой, подаривший ему роман «Война и мир» с дарственной надписью. Особая ценность мемуаристики Липранди определяется тем, что она восходит к его дневникам, которые он вел всю жизнь, имел в руках еще в 1876 г. и которые позднее таинственно исчезли (об этом см.: *Тартаковский А. Г.* 1812 год и русская мемуаристика. М., 1980. С. 80—86, 109—110). В этом смысле очерк Липранди о Скобелеве и Жуковском — одно из немногочисленных свидетельств очевидца о деятельности Жуковского в ставке Кутузова. Несмотря на то что факты, приводимые мемуаристом, подтверждаются Н. А. Старынкевичем (см. его воспоминания в наст. изд.), А. П. Ермоловым, вспоминавшим о том, что Жуковский «помогал Скобелеву писать бюллетени и по своей скромности дозволил ему пользоваться незаслуженною славою» (*РА*. 1863. № 5—6. Стб. 438—439), очерк Липранди вызвал и критические замечания. Так, В. Баюшев, пытаясь защитить своего «отца командира», писал: «Оригинальный слог сочинений И<вана> Н<икитича>, начиная с реляций 12 года и кончая статьями его в журнале „Чтение для солдат", издававшемся им спустя тридцать лет после того, нисколько не изменился и совсем не похож на слог „Певца во стане русских воинов" (*Баюшев В. И.* Н. Скобелев и В. А. Жуковский: Поправка на статью И. Липранди // Совр. известия. 1877. 28 нояб., № 328).

Сведений о встречах Жуковского и Липранди после 1812 г. не сохранилось. Правда, в примечании к очерку Липранди сообщает: «После сего я только один раз встретил Жуковского — у Вигеля в Петербурге; но он, кажется, меня не узнал, а я не находил нужным напоминать ему, тем более что знакомство наше было очень поверхностное, как это бывает часто во время войны» (Древняя и новая Россия. 1877. № 10. С. 173, примеч. 5).

Очерк Липранди снабжен его собственными примечаниями, которые использованы в реальном комментарии.

И. Н. СКОБЕЛЕВ И В. А. ЖУКОВСКИЙ В 1812 ГОДУ. *ОТРЫВОК ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ*

(Стр. 128)

Древняя и новая Россия. 1877. № 10. С. 168—173.

[1] К этому месту очерка Липранди делает большое примечание, где, в частности, говорит: «Эриксон был оригинал даже и по тому времени; чрезвычайно низенького роста, очень толстый, с короткой шеей, большим, круглым, чухонским красным лицом, сильно пострадавшим от оспы; необыкновенно хладнокровной храбрости, любимый всеми чинами как за это, так за честность и простоту обращения...»

[2] «Это были большого размера, — замечает в примечании Липранди, — тогдашнего фасона дрожки, с дверцами (род коляски), густого желто-оранжевого цвета, с сундуками и вожжами. Скобелев, вместо того чтобы ехать верхом, садился с Жуковским».

[3] Комментируя это место очерка, Липранди замечает: «Слова эти так записаны в дневнике Д. Н. Бологовского, и впоследствии многое, излагаемое здесь мною, было подтверждено Михайловским-Данилевским, у которого в записках очень немного сказано о литературных достоинствах Скобелева».

[4] Речь идет об «Истории Отечественной войны 1812 года по достоверным источникам» М. И. Богдановича (СПб., 1859. Т. 1—2).

[5] Исследователь русской мемуаристики о 1812 г. высказывает предположение, что записки Михайловского-Данилевского, где говорится о привлечении Скобелева и Жуковского к писанию военно-агитационных документов штаба, утеряны (*Тартаковский А. Г.* Указ. соч. С. 110).

[6] О стиле скобелевских рассказов, которые сопоставляли с афишками гр. Ростопчина (*РА*. 1911. № 11. С. 304), их значении существовали различные точки зрения. Так, Булгарин считал, что «Скобелев имел свой собственный слог, писал не для глаз, а для уха, писал как говорил» (*Булгарин Ф. В.* Воспоминания об И. Н. Скобелеве. СПб., 1850. С. 13). Другие отмечали, что до конца жизни он не был «в состоянии ни строки написать по-русски, без орфографических ошибок» (*Кубасов И. А.* И. Н. Скобелев: Опыт характеристики. СПб., 1900. С. 1).

Н. А. Старынкевич

Николай Александрович Старынкевич (1783—1857) — литератор, государственный деятель. Уроженец Белоруссии, сын священника, он учился в Благородном пансионе Московского университета «под покровительством отца Тургеневых» (*Вигель Ф. Ф.* Записки. М., 1928. Т. 2. С. 131), дружбу с которыми, особенно с Александром, сохранил на всю жизнь. Участник Отечественной войны 1812 г., он был директором канцелярии штаба у П. И. Багратиона, а после его смерти у М. А. Милорадовича. Характеристику его бурной жизни в 1818—1819 гг. дает несколько предвзято Вигель, хотя и он отмечает «природные способности», «быстроту понятия», «удивительную легкость в работе» (там же, с. 131—133). Вольнолюбиво настроенный, идейно и дружески связанный с широким кругом декабристов (см.: Пушкин и его время. Л., 1962. Вып. 2. С. 93—96), он был в начале 1826 г. арестован в Ковенской губернии «по подозрению в связях с членами тайных организаций и препровожден в Варшаву» (*Тартаковский А. Г.* 1812 год и русская мемуаристика. М., 1980. С. 75). Обостряются его отношения с цесаревичем Константином Павловичем (*РА*. 1889. Кн. 3. С. 679). Для доказательства своей непричастности к декабристскому движению он пишет пространные записки, где приоткрывает «завесу над малоизвестными сторонами деятельности русского штаба в 1812—1814 гг.» (*Тартаковский А. Г.* Указ. соч. С. 76).

Воспоминания Старынкевича о Жуковском — органичная часть этих записок. Они, во многом подтверждая и уточняя рассказ И. П. Липранди, дают интересный материал для характеристики деятельности поэта в 1812 г.

Старынкевич хорошо знал Жуковского. Их добрые отношения прошли испытание временем. После одновременной учебы в Благородном пансионе они встречались в 1809 г. в Петербурге, о чем мемуарист писал так: «Тургенев, Блудов (нынешний граф) и аз грешный составляли как бы одно семейство — мы были неразлучны. Жуковский присоединился к нам, жил с нами, занимался» (*РЛ*. 1986. № 1. С. 138). О встречах со Старынкевичем Жуковский неоднократно упоминает в «Дневнике» во время своего пребывания в Варшаве, где Старынкевич в конце 1820-х годов состоял при Н. Н. Новосильцеве, а позднее стал сенатором Варшавского департамента. Так, 16 мая 1829 г. Жуковский записывает: «У Бенкендорфа о Старынкевиче» (*Дневники*, с. 209—210), что дает основание предполагать хлопоты поэта о «гонимом». Во время посещения Варшавы в 1840 г. поэт вновь встречается с ним 12—13 марта и в один из вечеров ему и другим присутствующим рассказывает «о погребении Пушкина» (там же, с. 518).

Написанные в 1852—1853 гг., воспоминания Н. А. Старынкевича — дань памяти Жуковского. Впервые эти воспоминания опубликованы и подробно прокомментированы С. В. Березкиной в статье «А. С. Кайсаров и В. А. Жуковский в военной типографии при штабе Кутузова. По неопубликованным воспоминаниям Н. А. Старынкевича» (*РЛ*. 1986. № 1. С. 138—147). В примечаниях к «Воспоминаниям» использованы материалы этой статьи.

Н. А. Старынкевич

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

(Стр. 135)

РЛ. 1986. № 1. С. 144—147. Публикация С. В. Березкиной по рукописи: *РГБ*. Ф. Елагиных. Оп. 23. Ед. хр. 7 «Маленькие примечания». Лл. 1—2, 8—8 об., 12—14, 23 об. — 24.

[1] Речь идет о статье Ф. В. Булгарина «Журнальная всякая всячина» (Сев. пчела. 1852. № 93). По существу, воспоминания — возражения на эту публикацию.

[2] Как точно установлено, год рождения Жуковского — 1783-й. Что касается года рождения Старынкевича, то иногда (см., например: Русский биографический словарь. СПб., 1909. С. 356) указывается 1784 г.

[3] По воспоминаниям Н. В. Сушкова, «размещение воспитанников по комнатам — сообразно их возрасту... Кроме этих подразделений, были еще комнаты *отличных* и *полуотличных*» (*Сушков Н*. Воспоминания о Московском университетском благородном пансионе. М., 1848. С. 16).

[4] Н. В. Сушков писал: «Вот как действовали в Благородном пансионе на самолюбие воспитанников: наблюдалось старшинство мест — в классах, по степени прилежания и успехов» (*Сушков Н*. Указ. соч. С. 25).

[5] Ф. Вигель в своих «Записках» подтверждает эту особенность характера Старынкевича, говоря, что и позднее он «слишком любил житейское, веселые холостые беседы», «а привычка делать долги обратилась у него в страсть» (*Вигель Ф. Ф.* Указ. соч. С. 131).

[6] Н. А. Бунина была замужем за Н. И. Вельяминовым, который служил в Соляной конторе и помог Жуковскому устроиться на службу. Называя М. Г. Бунину матерью поэта, мемуарист ошибается: Жуковский был побочным сыном А. И. Бунина.

[7] Жуковский уволился из Соляной конторы 30 апреля 1802 г. (*РА*. 1902. № 5. С. 85). Поводом был действительно арест, о котором друг поэта Андрей Тургенев получил известие 5 мая 1802 г.: «Сейчас, брат, я получил твое письмо об аресте... Меня это возмутило» (*Письма Андрея Тургенева*, с. 405).

[8] Старынкевич, излагая события службы Скобелева, его отношений с Жуковским, во многом совпадает с Липранди. Неточность лишь одна: Скобелев при Кутузове исполнял должность квартирьера.

[9] См. об этом письмо Жуковского к А. И. Тургеневу от 9 апреля 1813 г. (*ПЖкТ*, с. 98).

[10] Как справедливо замечает С. В. Березкина, опираясь на документальные источники, «А. Кайсаров не был в петербургском ополчении, которым командовал Кутузов. Он был вызван в действующую армию из Тарту Барклаем-де-Толли» (*РЛ*. 1986. № 1. С. 145, примеч. 61).

[11] Вопрос об авторстве этих писем подробно рассматривается в статье С. В. Березкиной (примеч. 65, 66).

[12] Описание этого эпизода ср. с воспоминаниями И. П. Липранди.

[13] Жуковский писал А. И. Тургеневу в июле 1813 г.: «О брате Андрее я погрустил. Славная, завидная (смерть! <...> Надобно друга и товарища помянуть стихами. Напишу и доставлю к тебе» (*ПЖкТ*, с. 103). Стихи в память

А. С. Кайсарова неизвестны, хотя в бумагах поэта среди перечня задуманных им в 1813 г. произведений читаем: «На смерть Кутузова. На с<мерть> Кайсарова» (*РНБ*. Ф. 286. Оп. 1. Ед. хр. 78. Л. 30).

Ф. Н. Глинка

Федор Николаевич Глинка (1786—1880) — поэт и публицист, участник Отечественной войны, гвардейский полковник, чиновник по особым поручениям при петербургском военном генерал-губернаторе М. А. Милорадовиче; член общества «Зеленая лампа», Союза спасения и Союза благоденствия, видный деятель умеренного крыла декабристов. За причастность к декабристскому движению был выслан из Петербурга, определен на гражданскую службу сначала в Петрозаводск, а затем в Тверь и Орел.

Жуковский принимал активное участие в судьбе сосланного Глинки, о чем свидетельствует письмо Глинки к Н. И. Гнедичу от 24 марта 1829 г.: «Как мне благодарить благороднейшего Василия Андреевича за деятельность по освобождению бедной души из чистилища!» (Отчет Имп. публичной библиотеки за 1895 год. СПб., 1898. С. 37—38). Это подтверждает и А. Ф. Воейков в письме Глинке 12 июня 1830 г.: «Смею вас уверить, что Василий Андреевич Жуковский всегда принимал в вашем несчастии самое живое участие, и, без всякого сомнения, вы ему обязаны» (Лит. вестн. 1902. Кн. 8. С. 348). Подробнее об участии Жуковского в судьбе сосланного Глинки см.: *Иезуитова Р. В.* К истории ссылки Ф. Н. Глинки (1826—1834): По архивным материалам // Лит. наследие декабристов. Л., 1975. С. 323—346. Жуковский встречается с Глинкой 27 октября 1831 г. в Твери (*Дневники*, с. 215). Книги Ф. Н. Глинки и его жены, поэтессы А. Глинки, имеются в библиотеке Жуковского (*Описание*, № 74—77, 2567). Жуковский же содействовал напечатанию «Очерков Бородинского сражения» Ф. Глинки в 1839 г. (*Дубровин*, с. 112—114). Высоко ценил Жуковский и поэтический талант Ф. Глинки. В «Конспекте по истории русской литературы» (1826—1827) среди писателей, которые «подают надежды», он называет Глинку, «лирического поэта, полного воодушевления» (*Эстетика и критика*, с. 326).

Для Глинки Жуковский не только «благороднейший человек», но и большой русский поэт. К нему Глинка обращает ряд своих стихотворений. Так, в 1825—1826 гг. он пишет стих. «В. А. Жук<овско>му», где дает лаконичную характеристику его поэзии:

С прелестною душой, поэт у нас известный,
Ты в Храм *бессмертия* поставил целый ряд
Красами чудными блистающих *баллад:*
Твои стихи — легки и полновесны!!!

(Цит. по: *Глинка Ф. Н.* Письма русского офицера. М., 1985. С. 267, где это стих. печатается впервые). Глубокое уважение к Жуковскому чувствуется и в стих. «Приглашение на приезд В. А. Жуковского в Москву» (1841), где Глинка особенно славит Жуковского — певца 1812 г.:

...Весь крещеный русский мир
Гимн Певца в устах носили
И читали и твердили
Барда Руси звонкий стих!

Совр. 1841. Т. 23. С. 16,2

Воспоминания Ф. Н. Глинки о Жуковском тоже обращены к событиям 1812 г. Два приводимых фрагмента — из «Писем русского офицера», созданных непосредственно по следам событий Отечественной войны, и из «Очерков Бородинского сражения», написанных в конце 1830-х годов, — отражение устойчивой репутации Жуковского как певца 1812 г. в литературном и общественном сознании эпохи.

Ф. Н. Глинка

ИЗ «ОЧЕРКОВ БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ»

(Стр. 139)

Очерки Бородинского сражения: Воспоминания о 1812 годе / Сочинение Ф. Глинки. М., 1839. С. 18.

[1] *...наш Кернер.* — Жуковский сравнивается с немецким поэтом и драматургом Теодором Кернером, автором патриотических песен и гимнов, погибшим в боях с наполеоновскими войсками. Жуковский перевел в 1818 г. его стих. «Верность до гроба».

[2] Источник этой записи установить не удалось.

ИЗ «ПИСЕМ РУССКОГО ОФИЦЕРА»

(Стр. 139)

Глинка Ф. Н. Письма русского офицера. 2-е изд. СПб., 1815—1816.

И. И. Лажечников

Иван Иванович Лажечников (1792—1869) — писатель, автор исторических романов «Последний Новик», «Ледяной дом». Участник Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов русской армии, он передал свои впечатления от увиденного в «Походных записках русского офицера», вышедших в 1820 г. Воспоминания Лажечникова — живой и непосредственный отклик на происходящее. Точно датированные записи превращают это произведение в путевой дневник, но вместе с тем эмоциональный их стиль передает энтузиазм молодого человека. Подвиг Жуковского — Певца во стане русских воинов — во многом стимулировал интерес Лажечникова к истории. Не случайно и позднее мир поэзии Жуковского оживает в исторических романах Лажечникова. Так, текст «Последнего Новика» насыщен цитатами из «Орлеанской девы» Жуковского. В «Ледяном доме» — цитаты из «Светланы», «Мщения», «Голоса с того света», в

«Басурмане» — отзвуки «Сказки о царе Берендее...», «Громобоя». О немногих личных встречах писателей можно узнать из воспоминаний Лажечникова.

И. И. Лажечников

ИЗ «ПОХОДНЫХ ЗАПИСОК РУССКОГО ОФИЦЕРА»

(Стр. 140)

Походныя записки русского офицера, изданныя И. Лажечниковым. М., **1836.** С. 69—75, 240—243.

[1] Данный отрывок из «Записок» датирован 20 декабря 1812 г. Впервые «Певец во стане русских воинов» появился в последней, декабрьской, книжке *ВЕ* за 1812 г. Видимо, о чтении этого номера журнала и идет речь.

[2] О картинности, живописности как отличительной черте «Певца...» Жуковского говорили многие современники. Так, М. Бестужев-Рюмин в брошюре «Рассуждение о Певце в стане русских воинов» (СПб., 1822) настойчиво говорил об «очаровательной кисти Поэта-Живописца», ее «разительности» и сделал даже попытку выбрать в стихотворении «живописные места», которые «можно иллюстрировать» (с. 50—56).

[3] На основании «Писем русского офицера» Ф. Н. Глинки и «Записок» Лажечникова можно более точно говорить как о времени прибытия Жуковского в Вильну (середина декабря), так и о характере его болезни.

[4] Благодаря хлопотам Жуковского и А. И. Тургенева (см.: *ПЖкТ*, с. 107—113) А. Ф. Воейков получил место профессора русского языка и словесности в Дерптском университете, которое он занимал с 1815 по 1820 г. Видимо, первые лекции Воейкова имели успех.

Т. Толычева

Татьяна Толычева — псевдоним писательницы, мемуаристки и собирательницы воспоминаний очевидцев о 1812 г. Екатерины Владимировны Новосильцевой (ум. 1885 г.). Характер отношения Толычевой к семействам из окружения Жуковского — Юшковых, Протасовых, Киреевских — точно не устанавливается; известно только, что брат А. И. Протасова (мужа Е. А. Буниной-Протасовой), Павел Иванович, был женат на М. И. Новосильцевой (степень ее родства с Толычевой также не ясна) и оба они принимали активное участие в семейной истории Жуковского на стороне его и М. А. Протасовой (*УС*, с. 293—296).

В любом случае, основаны ли записки Толычевой на ее собственных воспоминаниях или представляют собой запись рассказов кого-нибудь из членов перечисленных семейств, они дают необыкновенно конкретное и живое представление о быте владельцев Муратова, Долбина и Черни, составлявших родственный и дружеский кружок Жуковского. Хотя о нем самом здесь говорится мало, тем не менее записки Толычевой вносят необходимый штрих для полноты представления об этом периоде жизни Жуковского, мало освещенном в мемуаристике.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

(Стр. 144)

РА. 1877. Кн. 2. № 7. С. 365—367; под общим заглавием «Рассказы и анекдоты».

[1] После смерти В. И. Киреевского в 1812 г. его жена А. П. Киреевская (урожд. Юшкова) переселилась с тремя детьми в Муратово, к своей тетке К. А. Протасовой. Весной 1813 г. сюда приехали ее племянницы А. П. и Е. П. Юшковы.

[2] Жуковский вышел в отставку в декабре 1812 г., после пребывания в военном госпитале в Вильне.

[3] В судьбе Бонами Жуковский принимал деятельное участие, исхлопотав ему через А. И. Тургенева разрешение остаться в Орле для поправления здоровья (*ПЖкТ*, с. 99, 102).

[4] *Друзья, я восемьсот...* — Полный текст этого стихотворения приводится в кн.: *Соловьев Н. В.* История одной жизни: А. А. Воейкова // Светлана. Пг., 1916. Т. 2. С. 116—117.

[5] Осенью 1814 г. Жуковский покинул Муратово в связи с решительным отказом Е. А. Протасовой выдать за него свою старшую дочь Марию и уехал с А. П. Киреевской и ее детьми в ее имение Долбино, где и прожил до конца 1814 г.

[6] А. А. Плещеев, сын сестры А. И. Протасова, доводился М. А. и А. А. Протасовым двоюродным братом. Его имение Большая Чернь находилось недалеко от Муратова; и Жуковский неоднократно бывал у него и раньше, принимал участие в увеселениях Плещеева. Для его домашнего театра он написал несколько шуточных пьес, из которых сохранилась одна — «Коловратно-куриозная сцена между Леандром, Пальясом и важным г-ном доктором» (1811). А. А. Плещеев — будущий арзамасец — адресат многих посланий Жуковского и персонаж его шуточных стихотворений 1812—1814 гг.

[7] Примеч. П. И. Бартенева: «Игра *секретарь* состоит в следующем: все играющие садятся около стола, каждый пишет какой ему вздумается вопрос на клочке бумаги, который свертывает потом трубочкой. Эти записки кладутся в корзину или ящик; всякий берет наудачу которую-нибудь из них и пишет ответ на предлагаемый вопрос». Двенадцать таких экспромтов Жуковского, представляющих ответы на вопросы в игре «Секретарь», опубликованы в кн.: *Соловьев Н. В.* Указ. соч. С. 119—121.

[8] Примеч. П. И. Бартенева: «Sceaux» и «sots» произносятся одинаково по-французски, но первое значит «печати», а второе — «дураки», и надпись, которую француз носил на груди, значила: «хранитель дураков».

[9] Перевод трагедии Софокла «Филоктет» на французский язык принадлежит Ж.-Ф. Лагарпу. В 1811 г. Жуковский перевел начало трагедии «Филоктет», воспользовавшись при этом переводом Лагарпа, на русский язык (см.: Жуковский и русская культура. Л., 1987. С. 273—278).

[10] *Амфитрион* — здесь: гостеприимный, расточительный хозяин. Восходит к древнегреческому мифу. Нарицательный смысл приобрело после комедии Ж.-Б. Мольера «Амфитрион».

А. П. Петерсон

Александр Петрович Петерсон (1800 — не ранее 1887) — побочный сын П. Н. Юшкова, сводный брат А. П. Елагиной и А. П. Зонтаг. Учился в Дерпте, был знаком с Н. М. Языковым; в московском салоне Елагиных познакомился с А. С. Пушкиным.

В детстве А. П. Петерсон жил в доме Киреевских; в Дерпте — у Воейковых и Мойеров (*УС*, с. 209—212). Жуковский виделся с Петерсоном в 1837 г. на юге, путешествуя по России с наследником, а 11 сентября 1839 г. присутствовал на его свадьбе (*Дневники*, с. 353, 505). Как свидетельствуют письма Жуковского к Зонтаг и письма А. П. Зонтаг к А. М. Павловой, Петерсон с семьей в 1840-х годах поселился у А. П. Зонтаг в Мишенском (*УС*, с. 124).

Воспоминания А. П. Петерсона, повествующие о жизни в родовом поместье Киреевских Долбине, органично дополняют аналогичные записки Т. Толычевой, как это явствует из подзаголовка публикации Петерсона: «К рассказам и анекдотам г-жи Толычевой». Жуковский мог быть участником подобных святочных маскарадов и церковных празднеств в Долбине, Муратове или Черни, поскольку рассказ Петерсона в долбинском быте отражает типичные черты повседневной жизни дворянских поместий.

ЧЕРТЫ СТАРИННОГО ДВОРЯНСКОГО БЫТА

(Стр. 148)

РА. 1877. Т. 2. № 8. С. 479—482.

[1] *...увеселительная прислуга бар, упоминаемая в «Причуднице» Дмитриева...* — Имеется в виду строка из стих. сказки И. И. Дмитриева «Причудница», перевода из Вольтера: Гуслиста, карлицу, шутов и дур содом» (*Дмитриев И. И.* Соч. СПб., 1893. Т. 1. С. 24).

[2] *Варлашку* Жуковский часто вспоминал и любил рассказывать о нем (см. воспоминания А. О. Смирновой-Россет в наст. изд.).

[3] *Эзоп* — древнегреческий баснописец, создатель жанра басни, согласно легендам обладавший внешностью юродивого.

[4] *Успеньев день* — религиозный праздник, храмовый в Успенской церкви села Долбина. Успенье Богородицы — 15/27 августа.

К. Н. Батюшков

Константин Николаевич Батюшков (1787—1855) — поэт, наряду с Жуковским основатель «школы гармонической точности», один из его ближайших друзей.

Поэты познакомились в начале января 1810 г. в Москве в доме С. Н. Глинки. Их личные симпатии и близость литературных взглядов быстро переросли в дружбу. Весной и летом 1810 г. Батюшков активно сотрудничает в «Вестнике Европы», редактируемом Жуковским; поэты часто встречаются за совместным

чтением, обмениваются замыслами. 12 мая Жуковский подарил Батюшкову записную книжку с рассуждениями на этические темы, которые тот по-своему продолжил (см.: Изв. АН СССР. ОЛЯ. 1955. Т. 14, вып. 4. С. 305—370. Публикация Н. В. Фридмана). В июне — июле 1810 г. они три недели провели в Остафьеве в обществе Н. М. Карамзина, И. И. Дмитриева, П. А. Вяземского. Серьезные разговоры о литературе в «легкой», дружеской манере остафьевского лета способствовали появлению поэтической переписки Батюшкова («Мои пенаты», «К Жуковскому») и Жуковского («К Батюшкову»), утвердившей в русской поэзии жанр дружеского послания.

Война 1812 г. и события личной жизни на несколько лет разлучили поэтов, что помогло им осознать свою творческую самостоятельность, привело к осмыслению их отношений как поэтического состязания. Новому пониманию Батюшковым и Жуковским своей судьбы, поэзии и взаимоотношений соответствуют два их произведения, написанных почти одновременно и независимо друг от друга: элегия Жуковского «Теон и Эсхин» (1814) и стихотворная сказка Батюшкова «Странствователь и домосед» (1815), которые явились их поэтическими манифестами,

Очередной период их интенсивных встреч, литературных споров, шуточных состязаний приходится на 1817—1818 гг. В августе 1817 г. Батюшков навещает Жуковского в Царском Селе, они участвуют в заседаниях «Арзамаса», где Батюшков получил прозвище Ахилл; вместе с А. С. Пушкиным и А. А. Плещеевым сочиняют экспромты («Писать я не умею...» и «Вяземскому» — «Зачем, забывши славу...»). Летом 1818 г. Жуковский выхлопотал Батюшкову разрешение поступить на дипломатическую службу. Перед отъездом Батюшкова в Италию осенью 1818 г. они встречались в Петербурге на «субботах» Жуковского, на проводах Батюшкова в Царском Селе. Дружеские отношения поэтов в этот период складывались под влиянием общности мировоззренческих проблем, волновавших того и другого, и стремлением найти свои, возможно разные, принципы художественного выражения. Как показало время, при всей разнохарактерности дарований Батюшкова и Жуковского они тем не менее развивались в едином — романтическом — направлении. Следующая встреча поэтов состоялась в сентябре 1821 г., когда уже появились признаки душевной болезни Батюшкова. Дальнейшие их отношения сводятся к заботам Жуковского о больном друге.

Творческая биография Батюшкова прервалась задолго до того возраста, когда пишутся мемуары. Однако характеристика Батюшковым личности Жуковского воссоздается по письмам поэта, что требует от читателя определенной подготовки. Прежде всего следует учитывать, что облик Жуковского часто преображен дружеской иронией автора писем, а также то, что письма дают не устоявшиеся, выверенные временем суждения Батюшкова о Жуковском, а его современный самим событиям отклик, иногда неадекватный, эмоционально преувеличенный. Кроме того, в письмах отразилось изменение взглядов Батюшкова, в том числе и на личность Жуковского, который в свою очередь тоже претерпевает творческую эволюцию. Как источник характеристики личности Жуковского, с учетом сказанного, письма Батюшкова дают уникальный материал, обычно недоступный мемуарам: облик Жуковского еще не завершен, перед нами процесс его формирования, который частично зависел от оценок, критических замечаний в дружеском окружении поэта и в большой мере от мнения Батюш-

кова. Батюшков с чуткостью поэта уловил нравственную доминанту личности Жуковского, определив ее в классической формуле: «сердце на ладони».

К. Н. Батюшков

ИЗ ПИСЕМ

(Стр. 150)

Фрагменты писем (Батюшкова печатаются по следующим изд.: *Майков*, т. 3, с. 65, 68, 73, 76, 87—88, 94, 110—112, 114, 119—121, 138—139, 150, 152, 154—155, 168, 193—195, 207, 215, 227—228, 273, 299, 316—317, 319, 367, 390, 395—396, 413—414, 416—417, 427—428, 451, 466, 491, 500—505, 509—510, 516—517, 524—525, 529, 532— 533, 535, 781—782; *Батюшков К. Н.* Избр. соч. / Сост. А. Л. Зорина, А. М. Пескова. М., 1986. С. 346—347, 369, 388—390, 393, 402—403; *Он же.* Нечто о поэте и поэзии / Сост., вступ. статья, коммент. В. А. Кошелева. М., 1985. С. 219, 226—227, 266—267, 285, 344—345.

[1] *...весь Парнас, весь сумасшедших дом...* — перефразированная цитата из стих. И. И. Дмитриева «Послание от английского стихотворца Иона к доктору Арбутноту» («Я вижу весь Парнас, весь сумасшедших дом...»). Сатирическое сравнение современной литературы с домом сумасшедших было популярным в 1810-е годы. Свое законченное выражение оно получит в знаменитой сатирической поэме А. Ф. Воейкова «Дом сумасшедших» (1814).

[2] *...твое послание ко мне с моим ответом...* — Послание Н. И. Гнедича «К Б<атюшкову>» и «Ответ Гнедичу» Батюшкова были опубликованы в *ВЕ*. 1810. № 3. С. 186—187.

[3] *...писать поэму: «Распрю нового языка со старым»...* — Этот замысел Батюшкова не был осуществлен.

[4] *...отрывок из Мильтона о слепоте...* — Имеется в виду стих. Гнедича «Мильтон, сетующий на слепоту свою». Отрывок из III книги «Потерянного Рая», которое Жуковский поместил в «Собрании лучших русских стихотворений» (М., 1811. Ч. 5).

[5] *...девицу Жуковскую...* — Среди друзей Жуковского было принято подшучивать над его целомудрием. Кроме того, этим прозвищем Батюшков намекает на баллады Жуковского, к которым относился иронически.

[6] *...Жуковский печатает... литанию на смерть Боброва...* — Некролог С. С. Боброву появился в *ВЕ*. 1810. № 11 вместе с эпиграммами П. А. Вяземского на смерть поэта.

[7] *...который, между нами сказано будь, великий чудак.* — «Чудачество» для Батюшкова прежде всего признак неординарной личности, каковой он считал Жуковского. Но, кроме того, называя здесь Жуковского «великим чудаком», Батюшков, видимо, иронизирует над его пристрастием к мистике в балладах.

[8] *Я с ним жил три недели у Карамзина...* — В конце июня — первой половине июля 1810 г. по приглашению П. А. Вяземского Батюшков и Жуковский в обществе Н. М. Карамзина, И. И. Дмитриева провели три недели в родовом подмосковном имении князей Вяземских Остафьево.

[9] *...не высылаешь «Перуанца»...* — Стих. Гнедича «Перуанец к испанцу» было напечатано в «Собрании лучших русских стихотворений» (СПб., 1811. Ч. 4), подготовленном Жуковским.

[10] *...балладу, в которой... сюжет взят на Спасском мосту.* — Речь идет о балладе Жуковского «Громобой» (первая часть «Двенадцати спящих дев»). «Называя сюжет баллады взятым „на Спасском мосту“, Батюшков дает понять, что он сказочный: у Спасских ворот Московского Кремля и на Спасском мосту еще с XVII в. велась торговля лубочными картинками и сказками печатными и рукописными» (*Майков*, т. 3, с. 647).

[11] *Гаснет пепел черных пней...* — цитата из «Сна воинов» Батюшкова.

[12] *...ничего моего не поместил.* — В подготовленном Жуковским «Собрании лучших русских стихотворений», о котором идет речь в письме, были помещены несколько стихотворений Батюшкова: «К Мальвине», «Воспоминание», «Ложный страх», «Счастливец» и др.

[13] *Morton.* — Происхождение этого прозвища неизвестно.

[14] *...называет арлекином...* — Речь идет об элегии Батюшкова «Мечта», которая в сильно переработанном по сравнению с первой редакцией виде была напечатана в «Собрании лучших русских стихотворений» (М., 1811. Ч. 5). Множество вариантов «Мечты», видимо, и вызвало такую оценку Жуковского.

[15] *...Жуковский добрый мой...* — цитата из стих. Батюшкова «Мои пенаты. Послание к Ж<уковскому> и В<яземскому>» (1811).

[16] *Что делает балладник?* — Батюшков, иронически относившийся к балладам Жуковского, часто использует это шутливое прозвище. Ср., например, послание «К Жуковскому» («Прости, балладник мой...»).

[17] *...стихов тысячи полторы...* — Вероятно, речь идет об ответном послании Жуковского «К Батюшкову» («Сын неги и веселья...»).

[18] *...певец Асмодея...* — Жуковский изобразил Асмодея в балладе «Громобой».

[19] *...чем черт не шутит!* — намек на мистические мотивы баллад Жуковского, иронизируя над которыми Батюшков писал в своем прозаическом опыте «Прогулка по Москве», что существуют писатели, «которые проводят целые ночи на гробах и бедное человечество пугают привидениями, духами, Страшным судом» (*Майков*, т. 2, с. 22).

[20] *...читал балладу Жуковского...* — Батюшков читал «Светлану», вероятно, в рукописи, так как она была напечатана в *ВЕ*. 1813. № 1.

[21] *...иные говорят — в армии, другие — в Туле.* — Жуковский в это время действительно был в армии в составе московского ополчения.

[22] *Второе послание к Арб<еневой>...* — Первое послание к Арбеневой неизвестно, сохранилось только одно послание Жуковского «К А. Н. Арбеневой» («Рассудку глаз, другой воображенью...»).

[23] *...прислал... своего «Певца»... с посвящением...* — «Певец во стане русских воинов» через И. И. Дмитриева был преподнесен не жене Александра I Елизавете Алексеевне, как пишет Батюшков, а его матери, имп. Марии Федоровне, которая и подарила поэту перстень.

[24] *Переводом Драйдена я не очень доволен...* — Имеется в виду перевод Жуковского из Драйдена «Пиршество Александра, или Сила гармонии» (1812).

[25] *...мои замечания на стихи Жуковского.* — Письмо посвящено разбору послания Жуковского «Императору Александру» (1814). Жуковский воспользовался почти всеми замечаниями Батюшкова при подготовке послания к печати.

[26] *...Жуковско<го> стихи несовершенно понравились нашим Лебедям и здешние Гуси ими не будут восхищаться.* — Поэтическое новаторство посла-

ния Жуковского было холодно воспринято в литературных кругах Москвы, арзамасцами («Лебеди») и представителями петербургской «Беседы», которых называли «Гусями».

[30] *...Жуковскому дали Анну 2-й степени.* — Эти сведения не подтвердились.

[28] *...насчет издания.* — Жуковский по договоренности с Батюшковым должен был участвовать в издании «Обитателя предместья» и «Эмилиевых писем» М. Н. Муравьева, но, отвлекаемый другими делами, устранился от этого. Однако уже в декабре 1815 г. он начинает работу по редактированию сочинений М. Н. Муравьева (см.: *БЖ*, ч. 1, с. 71—104).

[29] *...напал на Жуковского.* — Речь идет о премьере комедии А. А. Шаховского «Липецкие воды», где в образе поэта Фиалкина был осмеян Жуковский.

[30] *Он печатает свои стихи.* — Первый том «Стихотворений Василия Жуковского» вышел в 1815 г.

[31] *Для дружбы — все, что в мире есть...* — цитата из «Певца во стане русских воинов» Жуковского.

[32] *...все Грибоедовы исчезнут.* — А. С. Грибоедов был одним из участников журнальной полемики 1815—1816 гг. вокруг жанра баллады и выступал с критикой Жуковского. Батюшков, не принимавший этого жанра вообще, тем не менее был на стороне Жуковского.

[33] *...для моего издания...* — В это время Батюшков готовил к печати второй том своих сочинений (Опыты в стихах. СПб., 1817) и хотел показать «рукопись и печатные листы» Жуковскому, который в это время был в Дерпте.

[34] *...имеет независимость...* — Батюшков слишком восторженно отнесся к назначению Жуковскому в конце 1816 г. ежегодной четырехтысячной пенсии.

[35] *...предложение трудиться с ним...* — В это время Жуковский планировал периодическое издание «альманашного типа», где предлагал Батюшкову заняться итальянской словесностью (см.: Эпоха романтизма. Л., 1975. С. 258—260).

[36] *...в новую придворную должность.* — Жуковский был назначен учителем русского языка при вел. кн. Александре Федоровне.

[37] *Жуковский пишет письмо к государю.* — Жуковскому удалось выхлопотать Батюшкову разрешение поступить на дипломатическую службу.

[38] *...Жуковский решит.* — Далее в письме следует приписка: «Останется. Жуковский»; и действительно, Батюшков выехал в Одессу около 20 июня.

[39] Речь идет о четвертом выпуске альманаха Жуковского «Für wenige. Для немногих», куда вошел и перевод «Горной песни» Ф. Шиллера.

[40] *...надолго отправиться из родины!* —19 ноября 1818 г. Батюшков выехал в Италию; на его проводах в Царском Селе среди прочих присутствовали А. С. Пушкин и Жуковский.

[41] *...членами оной Академии.* — Жуковский был избран в члены Академии 19 октября 1818 г.

[42] *...прекрасными стихами Жуковского...* — Речь идет об элегии «На кончину ея величества королевы Виртембергской».

Д. В. Дашков

Дмитрий Васильевич Дашков (1788—1839) — литератор, государственный деятель, активный член «Арзамаса». Уже с начала 1810-х годов он включается в литературную борьбу, является членом Вольного общества любителей словесности, наук и художеств, сотрудником многих журналов. В 1810— 1811 гг. выходят его критико-полемические работы, направленные против А. С. Шишкова. Они не только принесли ему известность блестящего полемиста, но во многом подготовили эстетические принципы «Арзамаса», стиль пародийных речей. Дашков становится одним из основателей и активных участников «Арзамаса». Он готовит уставные документы, читает несколько речей, сочиняет «Письмо к новейшему Аристофану» и пародийную кантату против Шаховского (см.: *Арзамасские протоколы*, указ. имен). Несмотря на то что в 1820-е годы он отходит от активной литературной деятельности, уйдя в дипломатию и политику, его переводы из антологии греческой эпиграммы, другие опыты имели «важное значение для развития поэтических стилей в XIX веке» (см.: Поэты 1820—1830-х годов. Л., 1972. Т. 1. С. 69).

Самые тесные дружеские отношения связывали арзамасцев Жуковского и Дашкова. Оба они были воспитанниками Благородного пансиона, оба увлекались немецкой литературой. Не случайно Жуковский в письме от 1817 г., ярчайшем образце арзамасского стиля, где Дашков назван шутливо «Чуркой» (от арзамасского прозвища — Чу!), предлагает ему издавать альманах немецкой словесности (*РА*. 1868. № 4—5. С. 838). «Дашенька», как ласково и шутливо (Дашков был мощного телосложения) называл друга Жуковский, постоянно присутствует на страницах его писем (*ПЖкТ*, указ. имен). Он постоянный член критического Ареопага, на суд которого отдает Жуковский свои произведения.

Письмо Дашкова к П. А. Вяземскому — важнейший документ арзамасского общества, воспроизводящий его атмосферу, ритуалы. Многие ситуации, о которых рассказывает Дашков, прочно вошли в литературу о той эпохе. Публикация письма в данном издании определяется значимостью его для понимания характера, значения арзамасской деятельности бессменного секретаря общества Жуковского — Светланы.

ИЗ ПИСЬМА К П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

(Стр. 161)

РА. 1866. Стб. 499—501. Под общим названием «Выдержки из старых бумаг Остафьевского архива».

[1] *Светлана* — арзамасское прозвище Жуковского, взятое из его одноименной баллады.

[2] Первое собрание «Арзамаса», согласно дате «протокола первого совещания», состоялось 14 октября 1815 г. (*Арзамасские протоколы*, с. 261).

[3] *...говорил... похвальную надгробную речь.* — В протоколе первого заседания записано: «...положили брать напрокат покойников между халдеями „Беседы“ и Академии, каждый нововходящий читает панегирик одному из халдеев» (*Арзамасские протоколы*, с. 84).

[4] К 26 ноября 1815 г., когда написано письмо, прошло пять заседаний, на которых были «отпеты» Шаховской, Шишков, Жихарев как бывший беседчик, Хвостов и Бунина.

[5] *Хлыстов* — Д. И. Хвостов.

[6] Речь Светланы, посвященная «отпеванию» Хвостова, вся построенная на цитатах из басен «халдея», — высочайший образец арзамасской критики. Книга Хвостова «Избранные притчи» (1802), как вспоминал П. А. Вяземский, с легкой руки Жуковского «была настольною и потешною книгой в „Арзамасе“. Жуковский всегда держал ее при себе и черпал в ней нередко свои „арзамасские“ вдохновения. Она послужила ему и темою для вступительной речи при назначении его членом Арзамасского общества» (*РА*. 1866. Стб. 478—479). Показательно, что при очередном издании своих басен Хвостов учел критику Жуковского (*Арзамасские протоколы*, с. 53—54).

[7] Имеется в виду 9-й пункт устава «Арзамаса»: «...очередной председатель отсутствует ему <нововходящему>, хваля того же покойника и примешивая искусно к сим похвалам лестные приветствия новому своему другу» (*Арзамасские протоколы*, с. 84),

[8] См. «Ответ Светланы на речь Громобоя» (*Арзамасские протоколы*, с. 97—100).

[9] *«Атрей»*. — Речь идет о переводе С. П. Жихаревым трагедии П.-Ж. Кребийона.

[10] «Атрей» в речи Жуковского назван «тяжким, дрожащим, ноздреватым, царственным наростом» (*Арзамасские протоколы*, с. 98).

[11] См. об этом воспоминания П. А. Вяземского («Выдержки из старых бумаг Остафьевского архива») в наст. изд.

[12] Принцип галиматьи, проповедуемый Жуковским, — отражение своеобразной смеховой культуры «Арзамаса», который «родился в бушующих волнах сатирической стихии» (*Гиллельсон*, с. 150). Вместе с тем буффонада, насмешка — формы борьбы с догмами, утверждение новых форм критического мышления.

[13] *«Беседиада»* — замысел пародийно-сатирической поэмы, о которой мечтали арзамасцы, но которую так и не создали.

Ф. Ф. Вигель

Филипп Филиппович Вигель (1786—1856) — видный чиновник, литератор и мемуарист, автор широко известных «Записок». Чиновник коллегии иностранных дел, сослуживец братьев Тургеневых, Д. Н. Блудова и Д. В. Дашкова, дослужился до тайного советника.

Первое знакомство Вигеля с Жуковским относится к 1804—1805 гг. Впоследствии Вигель — один из постоянных членов литературного окружения Жуковского, активный член «Арзамаса» (арзамасское прозвище — Ивиков Журавль). В период службы на юге Вигель был знаком с А. П. Зонтаг; Жуковский осведомляется о нем в письме к последней от 2 апреля 1828 г.: «Видаете ли Вигеля? Он от вас в восхищении...» (*УС*, с. 104). В 1830-е годы Вигель — постоянный посетитель «суббот» Жуковского в Шепелевском дворце. В последнее пре-

бывание Жуковского в Москве (январь — начало марта 1841 г.) Вигель — один из постоянных его собеседников (*ЦГАЛИ*. Ф. 198. Оп. 1. Ед. хр. 37. Л. 86 об. — 88 об.).

«Запискам» Вигеля принадлежит значительное место в русской мемуаристике. Галерея портретов современников в них отличается почти исчерпывающей полнотой. Хотя характеристики Вигеля не всегда объективны, часто окрашены недоброжелательным пристрастием автора, который справедливо пользовался репутацией человека злобного, желчного и порочного, они обнаруживают тем не менее острую наблюдательность Вигеля и бытовую конкретность описания, которые высоко ценились уже его современниками.

Жуковский в «Записках» Вигеля — один из немногих людей, о которых мемуарист пишет с неизменной любовью и восхищением. Может быть, «Записки» злоречивого Вигеля — наиболее убедительное свидетельство того, насколько однозначно современники воспринимали личность поэта, чья доброта, щедрость и нравственное совершенство были вне всякого сомнения. «Записки» создавались в 1830—1840-е годы; Вигель их охотно читал в петербургских салонах, но появились они впервые в печати в 1864 г.

ИЗ «ЗАПИСОК»

(Стр. 162)

Вигель Ф. Ф. Записки / Под ред. С. Я. Штрайха. М., 1928. Т. 1. С. 69, 198—199, 293, 342—343; т. 2. С. 57—58, 60—61, 63—64, 66—67, 94, 99, 101—103, 107, 111, 124.

[1] *...известие об экзамене...* — Ошибка памяти Вигеля. Жуковский кончил пансион в 1801 г.; описываемые же события происходят в конце 1798 — начале 1799 г. Известие об акте в Благородном пансионе, прочитанное Вигелем в «Московских ведомостях», могло относиться к акту 22 декабря 1798 г., на котором Жуковский читал стихотворение «Добродетель».

[2] *Мерзляков возгремел одой молодому императору...* — Речь идет об «Оде на коронование государя императора Александра I» (1801).

[3] *...описываемого времени...* — Речь идет о 1802 г.

[4] *...в «Узника» и «Мотылька»...* — Имеется в виду стих. Жуковского «Узник к мотыльку, влетевшему в его темницу» (1813), перевод с французского из Ксавье де Местра.

[5] *«Погребение кота»* — популярная лубочная картинка XVIII в., использованная Жуковским при создании «Войны мышей и лягушек».

[6] *...в 1803 или 1804 году...* — Ошибка Вигеля: Жуковский начал печататься с 1797 г.; подразумеваемая здесь публикация элегии «Сельское кладбище» относится к 1802 г.

[7] *...не замечен толпою обыкновенных читателей...* — Публикация элегии, напротив, принесла Жуковскому известность в литературных кругах и считается его литературным дебютом.

[8] *...падших в поражении Аустерлицком.* — Подразумевается стих. «Песнь барда над гробом славян-победителей» (1806).

[9] Сюжет известной баллады Ф. Шиллера «Геро и Леандр», восходящий к «Героидам» Овидия.

[10] Имеется в виду баллада Жуковского «Людмила», вольный перевод баллады немецкого поэта Г.-А. Бюргера «Ленора».

[11] *...всю низость настоящего он смолоду еще позабыл и пренебрег.* — неточная цитата из стих. Жуковского «Мотылек и цветы»:

И с вами низость настоящего
И пренебрег и позабыл.

[12] Имеется в виду стих. Жуковского «Императору Александру».

[13] *Тщеславный и ленивый Тургенев...* — Характеристика Александра Ивановича Тургенева, как указывает комментатор «Записок» Вигеля С. Я. Штрайх, объясняется личными счетами мемуариста, который завидовал ему по *службе* (*Вигель Ф. Ф.* Указ. соч. Т. 1. С. 29).

[14] Дом А. Н. Оленина был местом встреч цвета петербургской дворянской интеллигенции. Здесь бывали И. А. Крылов, Н. И. Гнедич, А. С. Пушкин и др. Жуковский познакомился с Олениным в 1815 г. и сразу стал завсегдатаем его салона (*УС*, с. 13).

[15] Премьера трагедии Ж. Расина «Ифигения в Авлиде» в переводе М. Е. Лобанова состоялась 6 мая 1815 г. (История русского драматического театра. М., 1977. Т. 2. С. 481).

[16] *...певцу славы русского воинства...* — Речь идет о стих. Жуковского «Певец во стане русских воинов».

[17] Пенсион Жуковскому был назначен по ходатайству А. И. Тургенева после чтения во дворце послания «Императору Александру» (*РА*. 1864. Стб. 448—452). Рескрипт о назначении был написан А. И. Тургеневым и зачитан им на 17-м ординарном заседании «Арзамаса» 6 января 1817 г. Это событие было воспринято как торжество «Арзамаса» над «Беседой» и отмечено в протоколе заседания (*Арзамасские протоколы*, с. 187—188).

[18] В. Л. Пушкин был принят в «Арзамас» на организационном собрании общества, а ритуал его приема состоялся на девятом ординарном заседании в марте 1816 г. и отличался особой выдумкой (*Арзамасские протоколы*, с. 140—152).

[19] Привилегии старосты «Арзамаса» перечислены в протоколе десятого ординарного заседания (*Арзамасские протоколы*, с. 155).

[20] Отношения Жуковского с А. Ф. Воейковым были близкими и дружескими только до его женитьбы на А. А. Протасовой; вскоре после свадьбы Воейков резко изменил отношение к Жуковскому (см.: *ПЖкТ*, с. 133).

[21] С М. А. Мойер Вигель познакомился в Дерпте, где был проездом за границу, с Д. Н. Блудовым, в 1818 г.

В. Ф. Одоевский

Владимир Федорович Одоевский (1804—1869) — писатель, журналист, литературный и музыкальный критик, один из виднейших представителей фило-

софского романтизма. Образование получил в Московском университетском пансионе, куда поступил учиться в 1816 г. Его имя значилось на почетной доске пансиона среди имен его лучших питомцев, в том числе Жуковского. Жуковский был для Одоевского первым литературным учителем. В конце 1820 — начале 1830-х годов между ними устанавливаются личные связи. По воспоминаниям М. П. Погодина, Жуковский «постоянный посетитель» литературного салона Одоевского (В память о князе В. Ф. Одоевском. М., 1869. С. 57). Образы поэзии Жуковского (Аббадона, Ундина) активно входят в мир прозы Одоевского; привлекает его внимание статья Жуковского «Взгляд на землю с неба» (см.: *Сакулин П. Н.* Из истории русского идеализма: Князь В. Ф. Одоевский. Мыслитель. Писатель. М., 1913. Т. 1, ч. 2. С. 319—320). Особенно Жуковский и Одоевский сближаются в 1837—1840 гг. Их многочисленные записки друг другу — отражение общей деятельности по изданию сочинений Пушкина, *Совр.* (*РА*. 1900. Кн. 3; *РС*. 1904. № 7). Залогом этих отношений стало посвящение Жуковскому повести «Необойденный дом» (1840). Одоевский принимает активное участие в юбилее Жуковского в доме Вяземского 29 января 1849 г. и обещает написать Жуковскому об этом событии. Но, как сообщает Жуковский Вяземскому в письме от 19 февраля 1849 г., «Одоевский только обещался написать, но не пишет» (*ПВЖ*, с. 66).

Предлагаемый фрагмент из воспоминаний о Жуковском сохранился в бумагах Одоевского и, по мнению Сакулина, является частью приветствия на юбилее 1849 г. (*Сакулин П. Н.* Указ. соч. С. 320). Возможно, Одоевский хотел включить их в обещанное письмо, о чем говорят последние слова, на которых обрывается рукопись. Но как бы то ни было, небольшие по объему воспоминания — отражение отношения к поэзии Жуковского не только самого мемуариста, но и всего молодого поколения 1820-х годов.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

(Стр. 172)

Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма: Князь В. Ф. Одоевский. Мыслитель. Писатель. М., 1913. Т. 1, ч. 1. С. 90—91. Сверено по рукописи: *РНБ*. Ф. 539. Оп. 1. Ед. хр. 96. Л. 238—239; Ед. хр. 13. Л. 117.

* Имя М. М. Хераскова, характерного представителя русского классицизма, автора «Россиады», как одного из попечителей Московского университета и пансиона, пользовалось большой популярностью в его стенах. Еще в 1799 г. Жуковский посвящает ему стих. под заглавием «М. М. Хераскову от воспитанников Университетского благородного пансиона». Разумеется, в 1816 г., когда Одоевский поступил в пансион, сочинения Хераскова вызывали уже другое отношение.

И. И. Козлов

Иван Иванович Козлов (1779—1840) — поэт и переводчик. Жуковский был одним из самых близких и заботливых друзей Козлова, пораженного слепотой и параличом. Вероятно, к концу 1818 г., ко времени несчастий, постигших поэта, восходят дружеские отношения Козлова и Жуковского. Благодаря Жуковскому Козлов приобщается к английской поэзии, открывает для себя Байрона, Мура и переводит их. Он посещает салон племянницы Жуковского А. А. Воейковой — «Светланы», где встречает представителей литературного Петербурга. Жуковский принимает самое активное и заинтересованное участие в публикации его произведений, заботясь, чтобы «не напечатать даром и с убытком» (*ПЖкТ*, с. 227, 229—230, 236). В неопубликованном «Обзоре русской литературы за 1823 год», предназначенном для «особ императорского дома», Жуковский дает не только историю жизни Козлова, оценку его поэзии, но и обращает внимание на его бедственное положение (*Эстетика и критика*, с. 313). И после смерти поэта Жуковский публикует в *Совр.* (1840. Т. 18, № 2) статью-некролог «О стихотворениях И. И. Козлова», которую можно рассматривать как благотворительную акцию в пользу семьи покойного. В свою очередь, Козлов видел в Жуковском друга и наставника в поэзии, что выразил в стих. «К другу В. А. Жуковскому» (1822) и «К Жуковскому» (1832). «Но сердцу внятный голос твой // Глубоко в душу проникает»— так определил он значение Жуковского в своей жизни.

«Дневник» Козлова, несмотря на лаконизм многих записей, воссоздает летопись отношений двух поэтов и вносит существенные штрихи в образ Жуковского — «ангела-хранителя русской литературы».

ИЗ «ДНЕВНИКА»

(Стр. 173)

Старина и новизна: Ист. сборник. СПб., 1906. Кн. 11. Подлинник по-французски. Публикация К. Я. Грота, с. 39—42, 45—53, 56, 58—63, 66.

[1] *«Child Harold»*— поэма Д.-Г. Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда».

[2] *«Освобожденный Иерусалим»* — поэма Т. Тассо.

[3] *Чудные стансы... к почившей в. к. Екатерине Павловне.* — Речь идет об элегии «На кончину ея величества королевы Виртембергской».

[4] *«Гяур»* — поэма Д.-Г. Байрона.

[5] *«Bride of Abydos»* — поэма Д.-Г. Байрона «Абидосская невеста». Речь, видимо, идет о переводе Козловым байроновской поэмы на французский язык, о чем 22 октября 1819 г. А. И. Тургенев писал П. А. Вяземскому: «Постараюсь прислать тебе перевод И. И. Козлова... Байрона „Bride of Abydos" на французском» (*ОА*, т. 1, с. 335—336). Впоследствии Козлов перевел «Абидосскую невесту» на русский язык.

[6] *...стихи... по поводу цветка.* — Имеется в виду стих. «Цвет завета», опубликованное в *Совр.* (1837. Т. 5) под заглавием «Цветок» и с пометой «1 июля 1819».

[7] *«Мазепа»* — поэма Байрона.

[8] Об этом письме к секретарю имп. Елизаветы Алексеевны Н. М. Лонгинову Жуковский замечает в «Дневнике» (запись от 1 сентября): «Письмо к Лонгинову» (*Дневники*, с. 70), а 3 сентября вновь сообщает: «К Лонгинову» (с. 70). Видимо, речь шла о пожаловании Козлову перстня за его перевод «Абидосской невесты», чего Жуковский и добился.

[9] *«Манфред»* — драма Д.-Г. Байрона. Об интересе Жуковского к этому произведению см.: *БЖ*, ч. 2, с. 420—422.

[10] *...романическую балладу...* — Речь идет о балладе «Узник», которую Жуковский читал накануне Козлову (Старина и новизна. СПб., 1906. Кн. 2. С. 42).

[11] *Иша* — сын Козлова Иван.

[12] Лука, 18, 10—14.

[13] *Светлана* — А. А. Воейкова, в салоне которой часто был Козлов и которой он посвятил несколько стихотворений.

[14] *Алинька* — дочь поэта Александра, находившаяся в самых дружеских отношениях с Жуковским до конца его жизни (см.: *Грот К. Я.* В. А. Жуковский и А. И. Козлова // *РА*. 1904. Кн. 1. С. 283—285).

[15] *...моряк Бестужев.* — Имеется в виду Н. А. Бестужев — морской офицер, писатель-маринист, художник, декабрист.

[16] *Читали «Цыган».* — Речь идет о поэме А. С. Пушкина.

[17] *Перовский читал мне «Исидор и Анна»...* — Имеется в виду повесть А. А. Перовского (Антония Погорельского) «Изидор и Анюта», вошедшая позднее в его сборник «Двойник, или Мои вечера в Малороссии».

[18] *Мой брат* — Аполлон Иванович Козлов.

[19] *...соч. Moore...* — Т. Мур, английский поэт-романтик, стихотворения которого позднее переводил И. И. Козлов.

[20] Жуковский принимал активное участие в печатании поэмы Козлова «Чернец», о чем подробно говорит в письме А. И. Тургеневу от 31 января 1825 г. (*ПЖкТ*, с. 199).

[21] Иоанн, 9.

[22] *Catiche* (далее: *Катиш В.*) — дочь А. А. Воейковой Катя.

[23] *...чудное послание ко мне своего брата Александра...* — Имеется в виду стих. «Козлову» («Певец! Когда перед тобой//Во мгле сокрылся мир земной!..»), написанное по случаю получения А. С. Пушкиным от Козлова повести «Чернец» с дарственной надписью.

[24] *Андрей М.* — А. Н. Муравьев, поэт, писатель, автор книг духовного содержания.

[25] *...письмо от милого Жуковского.* — Речь идет о большом письме Жуковского к Козлову от 27 января 1833 г. из Верне с подробным описанием Швейцарии, с рассуждениями о Байроне, Руссо (*Изд. Семенко*, т. 4, с. 598—601).

[26] Речь идет о гипсовом бюсте Жуковского, выполненном в 1833 г. в Берлине скульптором Вихманом (*Дневники*, с. 311). В апреле — мае 1834 г. он посылает копии этого бюста А. П. Елагиной, А. А. Прокоповичу-Антонскому, И. И. Дмитриеву (*УС*, с. 108). «Со словом Христос воскресе имею честь поднести вам, вместо красного яйца, гипсовый экземпляр себя самого, — писал он И. И. Дмитриеву 28 апреля 1834 г. — Не знаю, найдете ли этот бюст сходным. Он сделан был в Берлине тамошним скульптором Вихманом, который захватил меня на проезде и сам захотел предать бессмертию. От него я получил несколько экземпляров» (*Изд. Ефремова*, т. 6, с. 434—435).

[27] Возможно, имеется в виду написанный Г. Рейтерном в 1832 г. акварельный портрет, запечатлевший Жуковского на берегу Женевского озера.

[28] В упоминавшемся выше письме Жуковского к Козлову из Венеции от 4/16 ноября 1838 г. Жуковский, в частности, говорит: «Он [Манцони] мне сказал, что знает тебя, и подал мне экземпляр твоих стихов с твоей подписью, поручив при свидании нашем сказать от него тебе поклон» (*Изд. Семенко*, т. 4, с. 640).

[29] Речь идет об Иосифе, сыне Михаила Юрьевича Вьельгорского, талантливом юноше, который вскоре умер в Риме.

[30] *...говорил о своем «Камоэнсе»...* — Речь идет о программном произведении Жуковского — «драматическом отрывке» «Камоэнс», вольном переводе поэмы немецкого поэта Фр. Гальма.

[31] *...я ему прочел мой сонет...* — Имеется в виду сонет «Молитва», написанный 3 декабря 1839 г.

Н. М. Языков

Николай Михайлович Языков (1803—1846) — поэт. Необычайно плодотворными в творческой биографии Языкова были годы его учебы в Дерптском университете (1822—1829). Большую роль в его поэтическом развитии сыграла А. А. Воейкова, которая поистине стала его музой. В доме сестры А. А. Воейковой — М. А. Мойер Языков познакомился с Жуковским. Это знакомство определило направление поэзии молодого Языкова. Он отводит ему вместе с Карамзиным роль главы литературы (Языковский архив. СПб., 1913. Вып. 1. С. 250), встречи с ним считает событием. В свою очередь и Жуковский рано разглядел в Языкове талант. Уже в «Обзоре русской литературы за 1823 год» он так характеризует его: «Языков — молодой студент Дерптского университета, имеет слог поэтический; он еще не написал ничего важного, но во всем, что написал, видно дарование истинное, настоящее; он чувствует свое дарование и хочет воспользоваться своей молодостью, чтобы образовать познаниями дар природы» (*Эстетика и критика*, с. 312). В «Конспекте по истории русской литературы» (1826—1827) он ставит Языкова в ряд писателей, которые «подают надежды» (там же, с. 326). Жуковский не забывает своего поэтического крестника и позднее. В «Дневнике» (запись от 7 ноября 1831 г.) от отмечает на вечере в доме А. П. Елагиной «чтение Языкова» (*Дневники*, с. 217). Этот интерес активизируется в период сближения Языкова с людьми, близкими Жуковскому: братьями Киреевскими и домом А. П. Елагиной. Языков связывается в сознании Жуковского с памятью о Дерпте, сестрах Протасовых. Узнав о его смерти, Жуковский в письме к Н. В. Гоголю от 10 февраля 1847 г. создает своеобразный реквием по Языкову: «Языкова нет на свете. Кто бы мог подумать!.. Жаль, что этот гармонический голос для нас замолчал, что это знакомое нам существо, живое, доброе, милое, теперь заперто в тесной могиле и навсегда пропало из глаз наших» (*Изд. Семенко*, т. 4, с. 542).

Залогом творческих и дружеских связей двух поэтов стали находящиеся в библиотеке Жуковского сборники «Стихотворений Н. Языкова» изд. 1833 и 1844 гг. с дарственными надписями автора (*Описание*, № 2569—2570).

Другим важным свидетельством этого стали письма Языкова к родным, прежде всего к брату Александру Михайловичу, относящиеся к дерптскому периоду. Эти письма — своеобразный дневник-хроника студенческой жизни поэта — существеннейший источник для понимания драматической страницы биографии В. А. Жуковского. Во многом не осведомленный, очевидец этих событий, Н. М. Языков сумел воссоздать тяжелое состояние поэта, его поведение до и после смерти Маши Протасовой (М. А. Мойер).

При публикации писем снято указание на конкретного адресата, ибо письма Языкова обращены к родным вообще.

<ИЗ ПИСЕМ К РОДНЫМ>

(Стр. 178)

Письма Н. М. Языкова к родным за дерптский период иго жизни (1822—1829) / Под ред. и с объяснит. примеч. Е. В. Петухова. СПб., 1913. С. 54—55.

[1] Языков еще в петербургский период познакомился с мужем А. А. Воейковой, издателем «Русского инвалида», А. Ф. Воейковым. Видимо, на литературных вечерах в его доме в 1822 г. он увидел его жену, которая стала подлинным ценителем и критиком его стихов. Увлечение ею нашло отражение в большинстве элегий 1820-х годов.

[2] О Парроте и отношении к нему Жуковского см. примеч. 20 к разделу «К. К. Зейдлиц».

[3] Эти стихи были написаны Языковым и посланы родным (см.: Письма Н. М. Языкова к родным... С. 61—62).

[4] *Жуковский... напишет стихи на смерть ее.* — См. примеч. 18 к воспоминаниям К. К. Зейдлица в наст. изд.

[5] Отрывки из «Путешествия по Саксонской Швейцарии» были опубликованы Жуковским в различных изданиях в 1824—1827 гг. (см. примеч. 35 к воспоминаниям Зейдлица).

[6] *...купить для Параши...* — сестра Языкова, Прасковьи Михайловны Языковой, в замужестве Бестужева.

[7] Эти события Жуковский так излагает в письме к А. П. Зонтаг из Дерпта от июня 1824 г.: «Возил сумасшедшего Батюшкова, чтобы отдать его в Дерпт на руки докторам. Но в Дерпте это не удалось, и я отправил его оттуда в Дрезден, в зонненштейнскую больницу: уже получил оттуда письмо, он, слава Богу, на месте. Но будет ли спасен его рассудок? Это уже дело Провидения» (*УС*, с. 40—41).

А. И. Дельвиг

Андрей Иванович Дельвиг, барон (1813—1887), двоюродный брат поэта А. А. Дельвига, инженер, при Александре II — генерал и сенатор, руководитель министерства путей сообщения. Следов знакомства Жуковского с ним в дневниках, переписке не обнаружено, хотя оно не вызывает сомнения. Свидетельство тому — воспоминания А. И. Дельвига.

Хотя в этих воспоминаниях, которые и современники ценили за точность, Жуковский предстает эпизодически и по разным поводам, Дельвиг своими наблюдениями внес определенный вклад в освещение личности поэта. У Дельвига Жуковский открывается в контексте литературно-общественной жизни, через восприятие его творчества, в суждениях о жизни. Все эти штрихи литературно-бытового портрета по-своему уникальны, так как не повторяют других воспоминаний.

Публикуемые отрывки написаны в 1870-е годы. Отдельным изданием (с цензурными изъятиями и редакционной правкой) мемуары вышли в 1912 г. (*Дельвиг А. И.* Мои воспоминания. М., 1912—1913. Т. 1—4; пропуски восстановлены в изд.: *Дельвиг А. И.* Полвека русской жизни: Воспоминания. М.; Л.: Academia, 1930. Т. 1.

ИЗ КНИГИ «ПОЛВЕКА РУССКОЙ ЖИЗНИ. ВОСПОМИНАНИЯ»

(Стр. 181)

Дельвиг А. И. Полвека русской жизни: Воспоминания / Ред. и вступ. статья С. Я. Штрайха. М.; Л.: Academia, 1930. Т. 1. С. 67—68, 85, 142—143, 523—524.

[1] Баллада «Замок Смальгольм, или Иванов вечер», перевод из В. Скотта, была написана в 1822 г., но напечатать Жуковскому ее удалось только в 1824 г. из-за цензурных придирок. Она была воспринята цензурой как безбожная и безнравственная (об этом см.: *РС*. 1900. № 4. С. 71—89). Друзья Жуковского были осведомлены об этих его мытарствах, что способствовало интересу к балладе.

[2] Действительно, баллада Жуковского оказалась прекрасным материалом для создания литературных пародий (см. пародии «Русская баллада», «Барон Брамбеус» К. Бахтурина в сб.: Русская стихотворная пародия. Л., 1960, раздел «В. А. Жуковский»).

[3] Далее пропущена одна строфа, есть разночтения с каноническим текстом (ср.: Русская стихотворная пародия. С. 252—253).

[4] *...Пушкин в «Онегине» сказал, что он не может себе представить русскую даму с «Благонамеренным» в руках»*. — См.: «Евгений Онегин», гл. третья, строфа XXVII:

> Я знаю: дам хотят заставить
> Читать по-русски. Право, страх!
> Могу ли их себе представить
> С «Благонамеренным» в руках!..

Н. М. Коншин

Николай Михайлович Коншин (1793—1859) — поэт, прозаик, мемуарист. Участник Отечественной войны, до 1824 г. на военной службе; в 1818—1823 гг.

сослуживец Баратынского по Нейшлотскому полку в Финляндии. С 1824 г. на штатской службе, в том числе директор училищ в Твери (место, полученное им при содействии Пушкина и Жуковского, — *РА*. 1877. Т. 3. С. 402—403; *Пушкин*, т. 16, с. 201).

Знакомство Н. М. Коншина с Жуковским, состоявшееся в начале 1830-х годов, когда мемуарист служил правителем канцелярии главнокомандующего Царским Селом (1830— 1837), было кратковременным и поверхностным. Впрочем, о каких-то личных и более поздних отношениях между ними свидетельствует тот факт, что в библиотеке Жуковского сохранилась книга «Амарантос, или Розы возрожденной Эллады» (СПб., 1843) с надписью: «Сия книга подарена Николаю Михайловичу Коншину И. Лебединским» (*Описание*, № 7).

В мемуарах Коншина Жуковский предстает больше как поэт, властитель дум молодежи, нежели человек, лично ему знакомый. О том, что Коншин плохо знал Жуковского, свидетельствует его готовность усомниться в легендарной доброте и отзывчивости Жуковского, неоднократно описанной близкими поэту людьми.

ИЗ «ЗАПИСОК»

(Стр. 185)

РС. 1897. № 2. С. 274—277; под заглавием «Жуковский и Дельвиг в изображении современника». Сверено по рукописи (*РНБ*. Ф. 369. Оп. 1. Ед. хр. 3).

[1] Публикатор воспоминаний Коншина, его биограф А. И. Кирпичников, делает к «Запискам» следующее примечание: «Характеристика Жуковского, как увидят читатели, грешит односторонностью и заключает в себе фактические ошибки...»

[2] *...Расступись, моя могила!..* — цитата из третьей строфы баллады Жуковского «Людмила» (1808); две предыдущие строки — свободная вариация самого Коншина на тему баллады «Людмила».

[3] *«Песнь барда Победительных»* — искаженное название стих. Жуковского «Песнь барда над гробом Славян-победителей» (1806).

[4] *Штабс капитану, Гете, Грею...* — Эта стихотворная записка А. С. Пушкина Жуковскому по другим источникам неизвестна; в современных собраниях сочинений Пушкина печатается по этому тексту.

[5] *В это время... Рылеев переделал его «Певца»...* — А. И. Кирпичников, комментируя эту фразу, считает, что Коншин ошибся и приписал Рылееву пародию К. Н. Батюшкова на «Певца во стане русских воинов» — «Певец в беседе славянороссов». Но из контекста ясно, что Коншин атрибутирует Рылееву цитируемую ниже эпиграмму, которая является пародией на стих. Жуковского «Певец» (1811).

[6] *...Надел ливрею...* — Коншин неточно цитирует известную эпиграмму А. А. Бестужева на Жуковского, которая распространялась устно и в списках в разных редакциях.

[7] *«Отчеты о Луне»*. — Имеются в виду послание В. А. Жуковского «Государыне императрице Марии Феодоровне» (1819) и «Подробный отчет о луне. Послание к государыне императрице Марии Феодоровне» (1820).

[8] *...барон Розен (поэт)...* — Е. Ф. Розен, совместно с которым Н. М. Коншин в 1830 г. издал альманах «Царское Село». В судьбе Розена Жуковский принимал активное участие, редактируя его трагедии, помогая ему в создании либретто оперы «Иван Сусанин» (см.: *БЖ*, ч. 1, с. 126—129).

[9] Е. Ф. Розен был назначен личным секретарем наследника великого князя Александра Николаевича в 1835 г. по рекомендации Жуковского.

[10] Примеч. А. И. Кирпичникова: «Оставляем рассказ на ответственность барона Розена; но просим читателей иметь в виду, что в юности Жуковский не выезжал из пределов России и что едва ли кто решится писать по-латыни важное деловое письмо человеку, заведомо не получившему хорошего классического образования».

[11] *Сей друг...* — цитата из стих. Жуковского «Песнь араба над могилою коня» (1810).

П. А. Вяземский

Петр Андреевич Вяземский (1792—1878) — поэт, журналист и литературный критик, один из главных участников литературного общества «Арзамас», друг Жуковского. Дружеские отношения между поэтами начинают складываться в 1807—1808 гг. и продолжаются до самой смерти Жуковского. Первый этап этих отношений (1807—1815) характеризуется интенсивным обменом стихотворными посланиями, которые и выполняли роль дружеской переписки, и способствовали выработке принципов школы «гармонической точности» (*Гинзбург Л. Я.* О лирике. Л., 1974. С. 34—36). «Брат, твоя дружба есть для меня великая драгоценность, и во многие минуты мысль об ней для меня ободрительна», — писал Жуковский 19 сентября 1815 г. (*Изд. Семенко*, т. 4, с. 565).

Период «Арзамаса» и арзамасского братства (1815—1818) — новая страница их дружеских и творческих контактов. Поэты — единомышленники в литературной борьбе. Позднее, в статье «По поводу бумаг В. А. Жуковского» (1875), Вяземский заметит: «Мы уже были арзамасцами между собою, когда „Арзамаса“ еще и не было. Арзамасское общество служило тогда только оболочкой нашего нравственного братства» (*Вяземский*, т. 7, 411). Оппозиционно настроенный Вяземский в 1821—1824 гг. нередко критикует Жуковского за односторонность, предлагает ему искать «вдохновение в газетах» (*ОА*, т, 2, с. 170), но для него бесспорен поэтический масштаб «чародея Жуковского», он защищает его от нападок критиков. В его критических статьях Жуковский стоит в одном ряду с Карамзиным и Пушкиным как носитель нравственных понятий века.

В 1820—1830-е годы Жуковский и Вяземский рядом в борьбе с торговым направлением в литературе, в утверждении пушкинских принципов. Жуковский вступается за друга в конце января 1829 г., когда Вяземского обвиняют в политической неблагонадежности и в развратном образе жизни. В письме к Николаю I он решительно заявляет: «Благородство истинное, ничем не измененное, было основанием всей его жизни», «Я с ним друг от малолетства...» (*ЦГАЛИ*. Ф. 198. Оп. 1. Ед. хр. 35. Л. 56). Действенный гуманизм Жуковского не мог не вызвать уважения Вяземского, который говорил: «У тебя тройным

булатом грудь вооружена, когда нужно идти грудью на приступ для доброго дела» (*РА*. 1900. № 3. Стб. 3852). Гибель Пушкина, деятельность в *Совр*., общие утраты сблизили поэтов.

Их переписка 1840-х годов — поистине «проникновенный реквием временам давно прошедшим, временам литературного братства, навсегда оставившего свой след в истории „золотого века" русской литературы» (*ПВЖ*, с. 38. Вступ. статья М. И. Гиллельсона).

Вяземский не оставил связных и подробных воспоминаний о Жуковском, хотя внутренне готовился к этому, систематизируя материалы своего архива, публикуя извлечения из своих бумаг. В письмах к издателю «Русского архива» П. И. Бартеневу от 1876 г. он дает комментарий к различным фактам биографии Жуковского, восстанавливает имена на месте «загадочных звездочек», провоцирует еще живых друзей Жуковского (например, А. П. Зонтаг) на создание мемуаров. Наконец, в записях под общим названием «Старая записная книжка», которая предназначалась для публикации в *РА*, он вновь и вновь возвращается к эпизодам из жизни Жуковского, к оценке его личности. Так создается в 1870-е годы своеобразная мозаика воспоминаний Вяземского о Жуковском, в которых сквозь отрывочность, сквозь одно слово, одну строку возникает «полный образ, весь человек, все минувшее».

ПО ПОВОДУ БУМАГ В. А. ЖУКОВСКОГО

(Два письма к издателю «Русского архива»)

(Стр. 187)

Вяземский, т. 7, с. 405—407, 411—416, 419—421, 423—424.

[1] Письма обращены к издателю *РА* П. И. Бартеневу. В номере, о котором идет речь (*РА*. 1875. Кн. 11. С. 317—375), были напечатаны письма к Жуковскому Ф. Гизо, А. И. Тургенева, К. Н. Батюшкова и др.

[2] *Где прежний я, цветущий, жизнью полный?* — цитата из послания Жуковского «Тургеневу, в ответ на его письмо» (1813), в которой Вяземский заменил местоимение «ты» на «я».

[3] *...письмо неизвестного лица.* — Речь идет в этом письме о стих. П. А. Вяземского «К подруге» (1815).

[4] *...из куплетов, сочиненных Д. В. Дашковым.* — Имеется в виду кантата «Венчание Шутовского» (Гимн на голос: de Buhamel), которая распевалась арзамасцами на их дружеских собраниях и пирушках (см.: Эпиграмма и сатира: Из истории литературной борьбы XIX века / Сост. В. Орлов. М.; Л.: Academia, 1931. Т. 1. С. 95—97).

[5] Это празднество происходило в доме А. П. Буниной (*РА*. 1899. Т. 2. С. 341—342).

[6] Подробнее обстоятельства итого дела см.: *Дубровин*, с. 47—94. Об отношениях Жуковского и Н. И. Тургенева см.: *БЖ*, ч. 1, с. 472—482.

[7] Работа над «Запиской о Н. И. Тургеневе» занимала важное место в общественном развитии Жуковского. В архиве поэта (*ЦГАЛИ*. Ф. 198. Оп. 1. Ед. хр. 35) сохранились многочисленные ее черновые варианты, где Жуковский ищет тон, аргументы для оправдания декабриста перед Николаем I.

ЖУКОВСКИЙ В ПАРИЖЕ. 1827 ГОД. МАЙ. ИЮНЬ

(Стр. 193)

Вяземский, т. 7, с. 470—484.

[1] Точно время пребывания Жуковского в Париже определяется на основании рукописи его парижского дневника (*ЦГАЛИ*. Ф. 198. Оп. 1. Ед. хр. 35. Лл. 1—10 об.): 11/23 мая — 28 июня/10 июля 1827 г.

[2] В письме к А. П. Елагиной от 7/19 февраля 1827 г. из Дрездена Жуковский так писал о предстоящем путешествии в Париж: «В конце апреля отправлюсь в Париж, также для покупки французских книг и в то же время, чтобы сказать самому себе: я видел Париж» (*УС*, с. 45).

[3] Таблицы занимали особое место в педагогической деятельности Жуковского. В «Проекте плана учения наследника» Жуковский пишет: «Нужно будет гравировать или литографировать карты и таблицы по мере того, как они будут составляться» (*Изд. Архангельского*, т. 10, с. 13). Этой стороне педагогической деятельности Жуковского посвятил специальную статью «Об исторических таблицах Жуковского» А. А. Краевский (*ЖМНП*. 1836. № 6). В библиотеке Жуковского сохранился отдельный оттиск этого сочинения (*Описание*, № 185).

[4] *Поэзия есть добродетель!* — цитата из стих. Жуковского «К кн. Вяземскому и В. Л. Пушкину» (1814).

[5] Подробнее см. раздел «А. И. Тургенев» в наст. изд.

[6] В парижском дневнике есть следующая запись: «20/1 пятница [мая 1827]. Кончина Сергея»; «В понедельник [т. е. 23 мая/4 июня] похоронили Сергея <...> на кладбище Per La Chaise» (*ЦГАЛИ*. Ф. 198. Оп. 1. Ед. хр. 35. Л. 3 об.).

[7] Так, например, в письме к имп. Александре Федоровне из Дрездена от 2/14 октября 1826 г. он замечает: «Я нахожусь теперь в Дрездене, где намерен провести всю зиму. К счастью, я нашел здесь моих друзей — Тургеневых, с которыми я живу вместе, и мне кажется, будто я не покидал Петербурга: в такой степени я вернулся к моему обычному образу жизни» (*Изд. Ефремова*, т. 6, с. 273).

[8] *«Белева мирный житель»* — цитата из послания К. Н. Батюшкова «К Ж<уковско>му» (1812). Этот стих применил позднее к Жуковскому П. А. Вяземский в своем послании «К Батюшкову» (1816).

[9] Подробнее об отношении к Гизо, которого Жуковский называл «очень интересным человеком», «одним из тех ученый, которых ценишь больше, познакомившись ближе» (*Изд. Ефремова*, т. 6, с. 513), см.: *Янушкевич А. С.* Этапы и проблемы творческой эволюции В. А. Жуковского. Томск, 1985. С. 173—176.

[10] Речь идет о французском политическом деятеле Луи-Адольфе Тьере. Вяземский видел финал его политической карьеры, истоки которой лежали в 1836 г., когда пал кабинет доктринеров во главе с Гизо и о чем подробно в письмах к Вяземскому писал А. И. Тургенев (*Тургенев*, с. 93—95).

[11] О переводе этой трагедии С. И. Висковатовым Жуковский написал специальную статью «Радамист и Зенобия» (*ВЕ*. 1810. Ч. 54, № 22. С. 102—120).

[12] Гастролям французской актрисы Жорж Жуковский посвятил три театральные рецензии из цикла «Московские записки» (*ВЕ*. 1809. Ч. 48, № 22—23). Подробнее см.: *Эстетика и критика*, с. 395—396.

[13] *Оросман, Ипполит, Орест* — герои трагедий «Заира» Ф.-М. Вольтера, «Федра» Ж. Расина, «Электра» (к сюжету этой трагедии обращались многие драматурги, в том числе П.-Ж. Кребийон и Ф.-М. Вольтер).

[14] *«Меропа»* — трагедия Ф.-М. Вольтера.

[15] Меткое слово Ф. И. Тютчева о В. П. Титове, отличавшемся особой методичностью (*РА*. 1892. Т. 1, № 1. С. 90).

[16] Вероятно, это передача Вяземским устного высказывания А. С. Пушкина, так как эти слова отсутствуют в печатных источниках.

ИЗ СТАТЬИ «ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ И ВОСПОМИНАНИЕ О ГРАФЕ РОСТОПЧИНЕ»

(Стр. 203)

Вяземский, т. 7, с. 504.

* Репутация Жуковского-якобинца была устойчива. Так, Зейдлиц, рассказывая о деяниях Жуковского по освобождению своих крепостных в 1821—1822 гг., замечает: «Вот поступки, которые заслужили ему в ту пору в высших кругах общества название страшного либерала, якобинца» (*Зейдлиц*, с. 125).

ИЗ «ОБЪЯСНЕНИЙ К ПИСЬМАМ ЖУКОВСКОГО»

(Стр. 204)

Выдержки из старых бумаг Остафьевского архива. М., 1867. С. 151—153.

[1] *На этой почте все в стихах...* — цитата из «Послания к кн. Вяземскому и В. Л. Пушкину» (1814).

[2] Имеется в виду публикация в *РА* (1866. № 6) двух «Посланий к кн. Вяземскому и В. Л. Пушкину» и стих. «К кн. Вяземскому» («Благодарю, мой друг, тебя за доставленье...») — оригинальных образцов арзамасской критики.

[3] Поэма «Агасфер. Странствующий жид» создавалась во 2-й половине 1851 и начале 1852 г. Текст записан под диктовку поэта, утратившего к этому времени зрение. Сам Жуковский называл ее своей «лебединой песней».

[4] Поэтическая переписка Жуковского с Плещеевым относится к 1812—1813 гг. См.: *Изд. Архангельского*, т. 2, с. 19; а также: *Соловьев Н. В.* История одной жизни: А. А. Воейкова // Светлана. Т. 2. С. 111—115.

[5] Имеется в виду «Послание к Александру Алексеевичу Плещееву» («Мой друг! вступая в шумный свет...»), написанное в 1794 г. Плещеев был по протасовской линии одновременно родственником и Карамзина, и Жуковского (*УС*, родословные таблицы).

[6] *...в Орловской деревне.* — Речь идет об имении Плещеева Чернь (см. воспоминания Т. Толычевой в наст. изд.).

[7] См. пародийную «Коловратно-курьезную сцену между господином Леандром, Пальясом и важным господином доктором», написанную около 1810—1811 гг. Впервые напечатано в *Изд. Архангельского*, т. 1, с. 94—97.

[8] Следы этого произведения не обнаружены, но можно предполагать, что и оно имело пародийный характер. «Груздочкин-траголюб» — так назван в послании «К Воейкову» переводчик и автор трагедий А. Н. Грузинцев.

9 Впервые большая подборка шутливых долбинских стихотворений была опубликована П. И. Бартеневым, который писал, что «веселая шутка во всю жизнь составляла принадлежность его необычайно доброго и уживчивого характера» (*РА*. 1864. № 10. Стб. 1005). Стихи сохранились в архиве Елагиных-Киреевских и были переданы его владельцами для публикации.

ИЗ «СТАРОЙ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»

(Стр. 206)

Вяземский, т. 8, с. 253, 271, 275, 323, 371, 378, 432—433, 435, 448, 487, 491; т. 9, с. 30, 48. Датируется 1860-ми годами.

1 См. примеч. 12 к разделу «Жуковский в Париже».

2 Эти воспоминания Вяземского перекликаются с воспоминаниями С. П. Жихарева в наст. изд.

3 Ср.: «...она положила руку на мою и произнесла: „Клопшток!“» (*Гете И.-В.* Собр. соч.: В 10 т. М., 1978. Т. 6. С. 24).

4 Лотта имеет в виду известную оду немецкого поэта Ф. Клопштока «Весеннее празднество».

5 *...в старом русском переводе романа...* — Подобное недоразумение встречается в двух первых переводах «Вертера»: Ф. Галченкова (1781) и И. Виноградова (1798). Об этом см.: *Жирмунский В. М.* Гете в русской литературе. Л., 1982. С. 35—38.

6 Имеются в виду «Мысли и замечания» — сборник прозаических произведений нравственно-философского, общественного характера. При жизни Жуковского напечатаны не были. Сохранившиеся черновые варианты книги свидетельствуют о резкости оценок Жуковским общественного состояния России (*РНБ*. Ф. 286. Оп. 1. Ед. хр. 50).

ИЗ «ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК»

(Стр. 211)

1 *...о бездействии Д.* — Имеется в виду Д. В. Дашков, бездействием которого в это же время был недоволен и А. И. Тургенев.

2 Записи от 24 июня и 6 июля 1830 г. перекликаются с рассуждениями в «Старой записной книжке».

3 *...два спора... за Бордо и Орлеанского.* — Имеются в виду два кандидата на французский престол: Шамбор Анри Шарль Фердинанд, герцог Бордоский («Генрих V», «Бордо» — кандидат легитимистов), и Орлеанский герцог, Фердинанд, — французский наследный принц. Разговоры и споры о них продолжались в течение всего 1830 г. Так, А. И. Тургенев записывает в «Дневнике» 11 декабря: «К Пушкину. <...> Говорили <...> о Франции (зачем отстранили Бордо)» (А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1985. Т. 2. С. 30).

4 *...видеть поэзию в бомбах, в палисадах.* — Вяземский намекает на две строфы из «Русской песни на взятие Варшавы»:

Чу! как пламенные тромбы,
Поднялися и летят
Наши мстительные бомбы
На кипящий бунтом град.
....
Что нам ваши палисады — и т. д.

[5] В 1831 г. вышла брошюра, содержащая стих. Пушкина «Клеветникам России» и «Русскую песнь на взятие Варшавы» Жуковского. Взятие Варшавы было одновременно подавлением польского восстания 1831 г. Отношение к этим событиям было различным в русском обществе.

[6] Имеется в виду Елизавета Рейтерн, ставшая в 1841 г. женой Жуковского.

ИЗ СЕДЬМОЙ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ (ДОПОЛНЕНИЕ)

(Стр. 214)

Вяземский П. А. Записные книжки (1813—1848). М., 1963. С. 87.

[1] См. письмо А. С. Пушкина к П. А. Вяземскому около 25 января 1829 г. (*Пушкин*, т. 14, с. 37—38).

[2] В том же письме Пушкин сообщает: «Был я у Жуковского. Он принимает в тебе живое, горячее участие, арзамасское — не придворное. Он было хотел, получив первое известие от тебя, прямо отнестися письмом к государю, но раздумал, и, кажется, прав» (там же). Текст письма Жуковского к Николаю I опубликован в сб.: Проблемы метода и жанра. Томск, 1986. Вып. 13. С. 65—66.

[3] *В любви я знал одни мученья* — неточная цитата из стих. «Певец» Жуковского: «Увы! он знал любви одну лишь муку».

ИЗ СТАТЬИ «ЖУКОВСКИЙ. — ПУШКИН. — О НОВОЙ ПИИТИКЕ БАСЕН»

(Стр. 215)

Вяземский, т. 1, с. 183. Впервые: *МТ*. 1825. Ч. 1. С. 352.

[1] 25 мая 1825 г. Пушкин писал Вяземскому, комментируя его статью: «Но ты слишком бережешь меня в отношении к Жуковскому. Я не следствие, а точно ученик его и только тем и беру, что не смею сунуться на дорогу его, а бреду проселочной» (*Пушкин*, т. 13, с. 183).

[2] Статья была полемически направлена против Булгарина, противопоставлявшего поэтов «...Жуковский не первый поэт нашего века, — писал он. — Выше, гораздо выше его Пушкин...» (*СО*. 1825. № 2. С. 204).

[3] Вяземский перефразирует выражение Пушкина из его письма к Рылееву от 25 января 1825 г.: «Зачем кусать нам груди кормилицы нашей? потому что зубки прорезались? Что ни говори, Жуковский имел решительное влияние на дух нашей словесности; к тому же переводной слог его останется всегда образцовым» (*Пушкин*, т. 13, с. 134).

ИЗ ПЕРЕПИСКИ С А. И. ТУРГЕНЕВЫМ

(По материалом Остафьевского архива князей Вяземских)

(Стр. 215)

ОА, т. 1, с. 116, 227, 232, 284—285, 288, 291, 298—299, 304—305, 326—327, 334, 341; т. 2, с. 121, 163, 170—171; т. 3, с. 54, 85—86, 285, 300; т. 4, с. 74—75, 297.

[1] *...наслаждался «Аббадоною».* — Перевод Жуковского из «Мессиады» Клопштока (1814). Впервые: *СО*. 1815. № 22. Вяземский, вероятно, читал «Аббадону» во втором изд. «Стихотворений В. Жуковского» (СПб., 1818).

[2] Имеются в виду послание «Государыне в. кн. Александре Феодоровне. На рождение в. кн. Александра Николаевича» (1818) и элегия «На кончину ея величества королевы Виртембергской» (1819).

[3] *И мертвое отзывом стало...* — цитата из стих. «Мечты» Жуковского, вольного перевода стих. Ф. Шиллера «Идеалы».

[4] Речь идет о стих. «Цветок», подражании романсу Ш. Мильвуа «La fleur».

[5] Подробнее о чтении Жуковским произведений Байрона, в том числе «Манфреда», см.: *БЖ*, ч. 2, с. 418—450.

[6] *«Орлеанская ————»...* — Имеется в виду перевод «Орлеанской девы» Ф. Шиллера, законченный Жуковским в 1821 г.

[7] *«Вильгельм Телль»*— трагедия Ф. Шиллера.

[8] *...ухо и звезда Лабзина* — намек на мистико-масонские увлечения А. Ф. Лабзина, редактора журн. «Сионский вестник».

[9] См. примеч. 5.

[10] *«Пилигрим».* — Речь идет о поэме Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда».

[11] *...твое... послание, подражание Буало.* — «К В. А. Жуковскому (подражание сатире II Депрео)», написанное в августе 1819 г. Стих из него «В боренье с трудностью силач необычайный» неоднократно использовал при оценке поэзии Жуковского А. С. Пушкин.

[12] *...Парнас — в Лайбахе.* — Вяземский намекает на проходивший в это время (с 26 января 1821 г.) Лайбахский конгресс, на который собрались монархи, принадлежавшие к Священному союзу. Конгресс был созван по инициативе Меттерниха для защиты Европы от революций. Говоря о «Парнасе — в Лайбахе», Вяземский призывает Жуковского к общественной активности в поэзии.

А. И. Тургенев

Александр Иванович Тургенев (1784—1845) — воспитанник Благородного пансиона при Московском университете и Геттингенского университета, общественный деятель, археограф и литератор. Близкий друг и единомышленник Жуковского. Их дружба началась еще во время учебы в пансионе, в начале 1800-х годов, но в это время на первом месте в сердце Жуковского был старший брат Тургенева — Андрей. Ранняя смерть Андрея Тургенева (1803), а затем

И. П. Тургенева (1807), которого Жуковский называл «батюшкой», навсегда сблизила друзей. Учеба в Благородном пансионе, дружеское литературное общество, совместные занятия историей в 1810-е годы, «Арзамас», где Тургенев получил прозвище Эолова Арфа, ставшее его псевдонимом, общие несчастья, связанные со смертью Александры Воейковой и Сергея Тургенева, с изгнанием из России Николая Тургенева, гибелью Пушкина, путешествие «под одним плащом» по Европе в 1830-е годы — все это вехи их сорокалетней дружбы, отражение духовной близости и подлинного идейного братства. Если Жуковского по праву называли ангелом-хранителем русской литературы, то и Тургенев «был, так сказать, долгое время посредником, агентом, по собственной воле уполномоченным и аккредитованным поверенным в делах русской литературы при предержащих властях и образованном обществе» (*Вяземский*, т. 8, с. 281). Смерть А. Тургенева, простудившегося во время очередного филантропического мероприятия на Воробьевых горах, где находилась «пересыльная» тюрьма, еще раз выявила то, что так ценил в нем Жуковский. «Мне так ясно, так вполне видится, — писал он А. Я. Булгакову после смерти друга, — его прекрасная, добрая, высокая душа, не омраченная никаким дурным помыслом, всегда готовая на добро, всегда полная участия, до конца сохранившая свою чистоту и свое благородство. По всем качествам, составляющим прямо доброго человека, он был, конечно, между нами лучший...» (*Изд. Ефремова*, т. 6, с. 566).

О родстве душ свидетельствует и многолетняя (с 1805 по 1844 г.) переписка Жуковского и Тургенева (см.: *ПЖкТ*), но не менее отчетливо оно проявляется и в богатейшем, еще во многом не собранном и не систематизированном литературном наследии А. И. Тургенева (об этом см.: *Гиллельсон М. И.* А. И. Тургенев и его литературное наследство // *Тургенев*, с. 441—504).

А. И. Тургенев не оставил подробных и цельных воспоминаний о Жуковском, но так как мысли и память о нем сопровождали его постоянно, то можно сказать, что в дневниках, письмах, «Хронике русского» он воссоздал живой образ друга и духовного брата. Все эти источники — живые и непосредственные свидетельства внутренней жизни «гения России», как называл А. И. Тургенев Жуковского.

ИЗ «ДНЕВНИКА» (1803)

(Стр. 220)

АТ (Письма и дневник Александра Ивановича Тургенева геттингенского периода (1802—1804 гг.) и письма его к А. С. Кайсарову и братьям в Геттинген 1805—1811 гг. С введением и примеч. В. М. Истрина). СПб., 1911. С. 184, 235—236.

[1] Фридрих Бутервек, профессор нравственной философии в Геттингенском университете, был популярен и как автор «Эстетики» (об интересе к ней Жуковского и Тургенева см.: *ПЖкТ*, с. 32), и как поэт. Позднее, в 1807—1814 гг., Тургенев посылает Жуковскому его сочинения. Интересно суждение Жуковского о Бутервеке в письме от 30 марта 1814 г.: «Бутервека получил. Не знаю, но он мне мало нравится. Он более философ, нежели поэт...» (там же, с. 114).

[2] *...к Св.....* — Имеется в виду Мария Николаевна Свечина, увлечение которой пережил молодой Жуковский (*Веселовский*, с. 74—78). Любопытно, что

Андрей Тургенев сравнивал ее с героиней романа Бутервека «Граф Донамар» — Франциской фон Штернах (*Письма Андрея Тургенева*, с. 392).

[3] *Лаура, или M-me de Sade* — одно и то же лицо; возлюбленная Петрарки Лаура была замужем за знатным авиньонским рыцарем Уго де Садом.

[4] А. Ф. Мерзляков в 1801—1803 гг. был членом своеобразного творческого триумвирата: Андрей Тургенев — Жуковский — Мерзляков. К нему обращены многие письма Андрея Тургенева. Поэтому после его смерти Мерзляков для Ал. Тургенева — это еще и символ высокой дружбы. Позднее пути Мерзлякова и А. И. Тургенева разошлись.

ИЗ ПИСЕМ К БРАТУ, Н. И. ТУРГЕНЕВУ (1808—1810)

(Стр. 220)

АТ, с. 362, 406, 429.

[1] *Жуковский пишет прекрасно об игре Жорж...* — Речь идет о статьях Жуковского из цикла «Московские записки», посвященных гастролям французской актрисы Жорж (*ВЕ*. 1809. Ч. 48. № 22—23).

[2] Так, в письме от августа 1810 г. Жуковский сообщает: «Я не хочу быть историком, но хочу иметь основательное понятие о древности славянской и русской» (*ПЖкТ*, с. 56). И далее в письме от 12 сентября подробно развивает свою теорию исторического образования (там же, с. 59).

ИЗ «ДНЕВНИКОВ» (1825—1826)

(Стр. 221)

Тургенев, с. 288—289, 381, 427—431.

[1] Далее А. И. Тургенев рассказывает о своем посещении К. Н. Батюшкова, душевно заболевшего в начале 1820-х годов и находившегося в 1825 г. на лечении за границей, в специальной лечебнице.

[2] *Катерина Федоровна* — Е. Ф. Муравьева, родственница К. Н. Батюшкова, принимавшая живое участие в его тяжелой судьбе.

[3] В письме к Е. Г. Пушкиной от 24 февраля 1826 г., которая в то время жила в Дрездене, недалеко от Зонненштейна, Жуковский просит ее быть «ангелом-хранителем Батюшкова и его несчастной сестры», прилагает «второй вексель для Батюшкова» и добавляет: «первый давно послан» (*Изд. Семенко*, т. 4, с. 586—587).

[4] *Получил письмо... от Жуковского...* — Имеется в виду пространное письмо от 16/28 декабря 1825 г. с изложением событий 14-го декабря (*ПЖкТ*, с. 204—211).

[5] *...в самый день казни!* — Именно 13 июля 1826 г. состоялась казнь декабристов.

[6] *...в обвинениях на брата...* — Тургенев вспоминает о Николае Ивановиче Тургеневе, заочно привлеченном к следствию по делу декабристов.

[7] *Сережа* — брат Сергей Иванович Тургенев.

[8] О совместном чтении соч. О. Минье «История французской революции» и его значении для общественного образования Жуковского см.: *Тургенев*, с. 459—460.

ИЗ ПИСЕМ К БРАТУ, Н. И. ТУРГЕНЕВУ (1827)

(Стр. 223)

Письма Александра Ивановича Тургенева к Николаю Ивановичу Тургеневу. Лейпциг. 1872. С. 19—20, 32, 38, 53—54, 74, 114, 118, 307.

[1] Черновой вариант этой притчи, с многочисленными поправками Жуковского, находится в архиве поэта (*ЦГАЛИ*. Ф. 198. Оп. 1. Ед. хр. 35. Л. 12 об.). О ее месте в творчестве Жуковского см.: *Реморова Н. Б.* Басня в творчестве Жуковского // Жуковский и русская культура. Л., 1987. С. 108—110.

[2] Подробнее см. воспоминания Вяземского в наст. изд.

[3] О личности Фотия Ильича Швецова — талантливого горного инженера, демидовского крепостного, в освобождении которого принимали активное участие Жуковский и братья Тургеневы, см.: *Курочкин Ю. М.* Уральские находки. Свердловск, 1982. С. 191—192.

[4] В архиве поэта (*ЦГАЛИ*. Ф. 198. Оп. 1. Ед. хр. 35) сохранились многочисленные варианты «Записки о Тургеневе», начало работы над которой на основании контекста можно датировать концом мая 1827 г. Черновой вариант был закончен, видимо, уже к концу июня.

[5] *...прочел я статью твою «Нечто о крепостном состоянии в России»...* — Эта статья Н. И. Тургенева написана в 1819 г. и через петербургского генерал-губернатора гр. М. А. Милорадовича была представлена Александру I, прочитана им, но последствий не имела. Впервые была опубликована самим автором в книге «Взгляд на дела России» (Лейпциг, 1862).

[6] Стихотворение «К Гете» было первоначально написано по-русски, а затем сам Жуковский перевел его 7 сентября 1827 г. на немецкий и преподнес Гете. Жуковский был в Веймаре с 4 по 7 сентября 1827 г. и бывал у Гете 4, 5 и 6-го числа. Подробнее см.: *Изд. Вольпе*, т. 2, с. 535—536.

[7] В свою очередь, и Николай Тургенев высоко ценил Жуковского. Гр. Разумовская, близко знавшая его, писала А. И. Тургеневу 21 июня 1827 г.: «Надо послушать Николая, как он отзывается о нем; он говорит о нем лучше, чем вы, ибо вы обладаете и пользуетесь; он же говорит о нем с жаром и энтузиазмом, который, по контрасту с его обычною холодностью, еще более трогателен» (*РА*. 1892. Кн. 2. С. 502).

[8] *Милый С.* — С. И. Тургенев.

ИЗ «ХРОНИКИ РУССКОГО»

(Стр. 225)

Тургенев, с. 17, 84, 114—115, 118, 157—158, 204, 218, 243.

[1] *Эрнест Боссе* — уроженец Риги, был проф. С.-Петербургской академии художеств. В 1826—1828 гг. работал в Дрездене. Портрет Жуковского, видимо,

создавался в конце ноября 1826 г., о чем свидетельствуют записи в «Дневнике» от 21 и 22 ноября (*Дневники*, с. 191—192).

[2] *...за Мильтона...* — Речь идет о шатобриановском переводе «Потерянного Рая».

[3] *Свободным гением натуры вдохновенный...* — Это четверостишие приводит Андрей Тургенев в письме к Жуковскому от 11 августа 1800 г. Оно же было записано автором на отдельном листке, приклеенном к экземпляру «Вертера» (*Goethe*. Leiden des jungen Werters. Leipzig, 1781), подаренному им Жуковскому и хранящемуся в библиотеке поэта (*Описание*, № 2636). Стихи сопровождены припиской: «Ей-Богу, ничего лучше придумать не могу, как того, что я вечно хотел бы быть твоим другом, чтобы дружба наша временем укреплялась, чтобы я был достоин носить имя друга, и твоего друга». Надпись послужила источником стих. Жуковского «К портрету Гете» (1819).

[4] Речь идет о Дружеском литературном обществе, созданном в 1801 г. воспитанниками Благородного пансиона при Московском университете.

[5] *...увековечена в посвящении...* — Имеется в виду «Сельское кладбище» Жуковского, перевод из Т. Грея, опубликованный в *ВЕ* (1802. № 24) с посвящением Андрею Тургеневу.

[6] *Где время то?* — повторяющееся начало двух стихов в послании «Тургеневу, в ответ на его письмо» (1813).

[7] Жуковский так комментировал эти слова в письме от 4 августа 1815 г.: «На свете много прекрасного и без счастия. Давеча поутру я нечаянно развернул Бутервека и прочитал написанное на одной странице карандашом: „Le bonheur consiste dans la vertu qui aime et dans la science qui éclaire“. Это стало мне теперь понятнее...» (*ПЖкТ*, с. 151). Книга (Gedichte von Friedrich Bouterweck. Reutlingen, 1803) с записью этих слов А. И. Тургеневым на с. 11 сохранилась в библиотеке Жуковского (*Описание*, № 720).

[8] О И. Е. Бецком и посещении им Жуковского во Франкфурте см. его воспоминания в наст. изд.

[9] О посещении братьями Тургеневыми Ж.-П. Рихтера в сентябре 1825 г. А. И. Тургенев писал в «Дневнике», где, в частности, указано: «Говорили... о Жуковском, о новом издании его сочинений в будущем году» (*Тургенев*, с. 300).

ИЗ «ДНЕВНИКА» (1832—1837)

(Стр. 228)

А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1985. Т. 2. С. 206—220; с сокращениями. Публикация М. И. Гиллельсона.

[1] Речь идет о проекте издания газеты «Дневник», о которой в это время думал Пушкин.

[2] Запись об отъезде Жуковского и Тургенева имеется в «Дневнике» Жуковского (*Дневники*, с. 218).

[3] «Эта краткая запись скрывает разговор на острую политическую тему. С. С. Кушников „проврался“, то есть проговорился о пристрастном заступничестве Аракчеева за новгородского губернатора Д. С. Жеребцова, который бесчеловечно вел следствие над лицами, заподозренными в убийстве Минкиной,

любовницы временщика» (коммент. М. И. Гиллельсона в кн.: А. С. Пушкин в воспоминаниях современников, т. 2, с. 472).

[4] Речь идет об аморальном поведении генерал-майора И. О. Сухозанета, назначенного осенью 1833 г. директором Пажеского и всех сухопутных корпусов.

[5] С. А. Бобринская, урожд. Самойлова. Ей было посвящено несколько посланий Жуковского 1818—1820 гг.

[6] По предположению М. И. Гиллельсона, речь идет о тосте за декабриста Николая Тургенева (А. С. Пушкин в воспоминаниях современников, т. 2, с. 473).

[7] *Семейство Сусанина* — опера М. И. Глинки «Иван Сусанин», в создании которой принимал участие Жуковский.

[8] *Строганов* — Г. А. Строганов, член Верховного суда над декабристами.

[9] *О записке Карамзина...* — Имеется в виду «Записка о древней и новой России» Карамзина, запрещенная цензурой к печатанию в *Совр*. Об участии в ее публикации Жуковского см.: *Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И.* Сквозь «умственные плотины». М., 1986. С. 109—112.

[10] *...выговаривал ему [Пушкину] за словцо о Жуковском...* — Речь идет о словах Пушкина из «Объяснения» к публикации стих. «Полководец»: «Но не могу не огорчиться, когда в смиренной хвале моей вождю, забытому Жуковским [в „Певце во стане русских воинов“], соотечественники мои могли подозревать низкую и преступную сатиру...» (*Совр*. СПб., 1836. Т. 4. С. 297).

[11] *Письмо к Бенкендорфу* — один из значительных обличительных документов, связанных с дуэлью Пушкина. Подробнее об этом см.: *Левкович Я. Л.* Заметки Жуковского о гибели Пушкина // Временник Пушкинской комиссии. 1972. М.; Л., 1974.

Н. И. Греч

Николай Иванович Греч (1787—1867) — писатель, журналист, редактор журнала «Сын Отечества» (1812—1839), соиздатель (с Ф. В. Булгариным) газеты «Северная пчела», мемуарист, автор «Записок о моей жизни». Близкий к либеральным кругам, Греч после 1825 г. резко поворачивает вправо, становится представителем реакционного направления в русской общественной жизни.

Знакомство Жуковского с Гречем относится к 1815 г., времени переселения поэта в Петербург. В это время Жуковский сотрудничает в «Сыне Отечества», и Греч даже приглашает его в соредакторы. В дальнейшем отношения Жуковского и Греча носят официальный характер: деловые встречи, участие в общих литературных мероприятиях. В библиотеке Жуковского сохранились сочинения Греча с его дарственными надписями (*Описание*, № 96—98). Сохранились письма Жуковского Гречу конца 1830-х годов (см.: Сборник Пушкинского дома на 1923 год. Пг., 1922. С. 113—116). В «Конспекте по истории русской литературы» Жуковский так охарактеризовал деятельность Греча: «...не нужно, однако, среди такого множества посредственных писателей в прозе забывать Греча, слог которого имеет живопись, но не свободен от дурного вкуса. В течение 15 лет он является редактором лучшего русского журнала: это уже заслуга. Кроме того, он занимается составлением русской грамматики, которая, несомненно, будет трудом, достойным уважения» (*Эстетика и критика*, с. 326).

«Записки о моей жизни» Н. И. Греча, несмотря на очевидные субъективизм и пристрастие автора (относящиеся главным образом к его конкурентам на поприще журналистики), а иногда и прямую фальсификацию фактов, являются тем не менее ценным документом эпохи, позволяющим «выслушать и другую сторону», одиозность имени Греча до сих пор препятствует объективной оценке его мемуарного наследия, что выражается в невключении его воспоминаний в современные мемуарные подборки. Между тем записки Греча не лишены ни остроумия, ни наглядной конкретности описаний. Эти их качества очевидно обнаруживаются в эпизодах, героем которых является Жуковский. Не ставя себе целью создание литературного портрета поэта, Греч прекрасно воссоздает бытовую, иногда анекдотическую суть его образа. Всеобщий заступник и ходатай, особенно привлекательно выглядит Жуковский в эпизодах с Воейковым, которого Греч, страстно его ненавидевший, не пощадил в своих воспоминаниях. Способность Жуковского мгновенно улаживать всякого рода затруднения обрисована в записках Греча едва ли не особенно отчетливо.

ИЗ «ЗАПИСОК О МОЕЙ ЖИЗНИ»

(Стр. 232)

Греч Н. И. Записки о моей жизни / Под ред. С. Я. Штрайха. М.; Л., 1930. С. 463, 493, 565—566, 624—629, 633—634, 637—640, 642, 648, 656—661.

[1] *Карамзинолатрия* — здесь: почитание, доходящее до обожествления (от греч. latreca — культ, служение).

[2] *Сеид* — букв. «господин» (арабский титул высокой аристократии); здесь: фанатик.

[3] Тон подобных характеристик Греча, опирающихся в отдельных случаях на действительные факты, излишне резок.

[4] *Собинка* — ласкат.: милый, дорогой (см.: *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955. Т. 4. С. 253).

[5] *«Пантеон русской поэзии»* (СПб., 1814—1815) — изд. П. И. Никольским, вышел в 6 частях, где были напечатаны некоторые произведения Жуковского.

[6] *Тут я предложил отпраздновать его юбилей.* — Мысль о праздновании юбилея И. А. Крылова принадлежала не Гречу, а Н. А. Кукольнику.

[7] Греч не называет Жуковского среди членов-учредителей комитета, добавляя ниже, что он был включен в комитет С. С. Уваровым. Это не соответствует действительности. Жуковский состоял в комитете изначально и играл в нем значительную роль. Не случайно он произнес на юбилее речь о Крылове.

[8] Отсутствие Греча и Булгарина на юбилее Крылова явилось причиной вызова Греча к Л. В. Дубельту и составления объяснительной записки на его имя. В тексте этой записки, составленной после юбилея, есть существенные фактические разночтения с текстом мемуаров (см.: *РС*. 1905. № 4. С. 201—203).

[9] Юбилей Крылова почти совпал с годовщиной гибели Пушкина.

[10] *...стихи его на выздоровление Шереметева.* — Имеется в виду стихотворение-памфлет А. С. Пушкина «На выздоровление Лукулла» (1835), направленные против С. С. Уварова.

[11] Речь Жуковского о Крылове была опубликована впервые в составе корреспонденции Б. Ф. (Б. М. Федорова) «Обед, данный Ивану Андреевичу Крыло-

ву в зале Благородного собрания...» (*ЖМНП*. 1838. С. 213—233). Цензурных изъятий в речи Жуковского не было.

[12] Жуковский был знаком с Воейковым с осени 1800 г., когда начались собрания в доме Воейкова в Поддевичьем переулке; из «поддевиченской» компании в январе 1800 г. образовалось Дружеское литературное общество (*ЖМНП*. 1910. № 8, отд. 2. С. 283).

[13] Отношение Греча к А. Ф. Воейкову стало резко враждебным с 1823 г. С этого времени в изд. Греча и Булгарина («Северная пчела», *СО*) появляется целый ряд выпадов против Воейкова. Со своей стороны Воейков включил убийственные характеристики Булгарина и Греча в свою сатиру «Дом сумасшедших».

[14] Участие А. Ф. Воейкова в Отечественной войне 1812 г. — один из наиболее непроясненных эпизодов его биографии. Поэтому нельзя однозначно сказать, справедливо или нет выражаемое Гречем сомнение. Ю. М. Лотман отмечает, что «Воейков был причастен к литературному кружку Тарутинского лагеря (штаб Кутузова) и, по некоторым сведениям, принимал участие в партизанской войне» (Поэты 1790— 1810-х годов, с. 259).

[15] Свою балладу «Светлана» Жуковский посвятил А. А. Воейковой, которую с тех пор стали называть в литературных кружках и салонах «Светланой».

[16] В примеч. Греч приводит текст этой эпиграммы. Сегодня проблема ее авторства считается решенной в пользу А. А. Бестужева.

[17] Подробнее историю доноса Воейкова на Булгарина и Греча см.: *Греч Н. И.* Записки о моей жизни. М.; Л., 1930. С. 830—835.

А. Д. Блудова

Антонина Дмитриевна Блудова (1813—1891) — дочь графа Д. Н. Блудова, камер-фрейлина, мемуаристка. Была известна своею деятельностью по насаждению православия в польских губерниях.

Дочь одного из давних и близких приятелей Жуковского, арзамасца, А. Д. Блудова часто видела Жуковского в доме своих родителей; благодаря близости Д. Н. Блудова к оленинскому кружку встречала его в салоне Олениных, наконец, при дворе. Сохранились письма Блудовой к поэту (*РА*. 1902. № 6. С. 335—363) и письмо Жуковского к ней от февраля 1849 г. (*Изд. Ефремова*, т. 6, с. 653).

Записки А. Д. Блудовой не только начали печататься при ее жизни (*РА*, 1872—1875, 1878), но и вышли отдельным изданием в 1888 г. Записки камер-фрейлины — это автобиография великосветской дамы. Личные воспоминания о Жуковском относятся к периоду детства мемуаристки, в остальном она пользуется рассказами и письмами своего отца.

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

(Стр. 238)

Воспоминания графини Антонины Дмитриевны Блудовой. М., 1888. С. 6—7, 25, 27; *РА*. 1872. Стб. 1240; *РА*. 1875. Т. 1. С. 143.

[1] *Дада* — кормилица и няня, шведка по национальности, в доме Блудовых в Стокгольме, где в 1813—1814 гг. служил Д. Н. Блудов (см.: *Вигель Ф. Ф.* Записки. М., 1928. Т. 2. С. 331); *Гаврила* — слуга Д. Н. Блудова.

[2] А. Д. Блудова цит. стих. Ф. И. Тютчева «Душа моя, Элизиум теней...».

[3] *И сколько, сколько их восстает около меня...* — реминисценция из «Посвящения» к поэме «Двенадцать спящих дев» Жуковского. Ср.: «И много милых теней восстает». Вторая часть поэмы — баллада «Вадим» — посвящена отцу мемуаристки, Д. Н. Блудову.

[4] Этот эпизод относится к зиме 1819—1820 гг.

[5] Картина К.-Д. Фридриха; ср. описание этой же картины в воспоминаниях И. В. Киреевского в наст. изд.

[6] Речь идет о двух брошюрах, изданных в сентябре 1831 г. в связи с польскими событиями 1831 г.: «На взятие Варшавы», в которой были напечатаны стих. Жуковского «Старая песня на новый лад» и Пушкина «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина»; вторая брошюра — отдельно изданное стих. Жуковского «Русская слава». Блудова приводит фрагмент из письма к ней отца, сопровождающего посланные им брошюры.

[7] Ср. очень близкий к рассказу Блудова собственный рассказ Жуковского об этом же событии в письме к А. И. Тургеневу от 20-х чисел сентября 1831 г. (*ПЖкТ*, с. 260—261).

А. О. Смирнова-Россет

Александра Осиповна Смирнова, урожд. Россет (1809— 1882), — фрейлина, мемуаристка. Умная, разносторонне образованная, остроумная и привлекательная женщина, она была дружна с Пушкиным, Жуковским, Тургеневым, Вяземским, Карамзиными, позднее с Лермонтовым и Гоголем; адресат многочисленных стихотворных посвящений. Пушкин высоко ценил талант Смирновой-рассказчицы и первым советовал ей писать свои воспоминания.

История отношений Смирновой и Жуковского с достаточной полнотой воссоздана в тексте ее воспоминаний. Стиль отношений Жуковского и Смирновой ярче всего рисуют, с одной стороны, письма поэта, написанные в лучших традициях арзамасской галиматьи, с другой — участие Смирновой в делах благотворительности Жуковского, из которых самым значительным были их совместные хлопоты о назначении пенсиона Гоголю в 1845 г. В 1840-х годах Жуковский был постоянным связующим звеном между Смирновой и Гоголем; поздняя переписка Смирновой и Жуковского свидетельствует об их непрекращающемся личном и эпистолярном общении вплоть до смерти Гоголя и Жуковского в 1852 г.

«Воспоминания о Жуковском и Пушкине», написанные А. О. Смирновой по просьбе П. И. Бартенева в 1869 г., были опубликованы при ее жизни (*РА*. 1871. Т. 3. Стб. 1869—1883; датировка Смирновой в конце текста публикации). Этот текст входит в основной корпус ее достоверных в текстологическом отношении мемуаров. Кроме этих воспоминаний, многочисленные рассказы о Жуковском содержатся в автобиографических записках Смирновой. Вопрос о достоверно-

сти записок Смирновой, о подлинном их тексте остается открытым (об этом см.: *Житомирская С. В.* К истории мемуарного наследия А. О. Смирновой-Россет // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1979. Т. 9. С. 329—344). Но прижизненная публикация ее воспоминаний о Жуковском — лучшее свидетельство их подлинности.

Воспоминания А. О. Смирновой о Жуковском дают уникальную возможность увидеть поэта глазами духовно близкого ему человека. Конечно, Смирнова не была единственным близким другом, способным не только воспринять, но и передать многогранность его личности. Душевная чистота и высокий строй чувств поэта, отзывчивость, легендарная щедрость и постоянная готовность помочь, веселость и остроумие в быту — все это в мемуарах Смирновой делает облик Жуковского на редкость рельефным и совершенно лишенным хрестоматийного глянца.

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ О ЖУКОВСКОМ И ПУШКИНЕ»

(Стр. 240)

Смирнова А. О. Записки, дневник, воспоминания, письма / Со статьями и примеч. Л. В. Крестовой. М., 1929. С. 296—310.

[1] «Воспоминания о Жуковском и Пушкине» написаны в форме письма к П. И. Бартеневу. В публикации *РА* они начинаются следующим образом: «Кроме приведенных мною писем Жуковского, более нет у меня имеющих общий интерес; еще есть куча записок из Эмса в Баден-Баден в 1844 году и три письма шуточные, которые он сам называл *галиматьей*. Он очень любил писать такого рода шутки и говорил: „*Ведь у меня целый том галиматьи*“. Если вам угодно получить несколько подробностей о Жуковском, сообщаю их вам, как умею. Не ждите ни слога, ни порядка в изложении». Этот выпущенный нами фрагмент служит переходом от публикации писем Жуковского к А. О. Смирновой к тексту собственно воспоминаний. Все обращения в тексте воспоминаний относятся к П. И. Бартеневу.

[2] На выпускной акт в Екатерининском институте 1826 г. Жуковский написал стихи «Хор девиц Екатерининского института на последнем экзамене, по случаю выпуска их, 1826 года февраля 20 дня».

[3] 11 мая 1826 г. Жуковский уехал за границу и вернулся в октябре 1827 г. (*ПЖкТ*, с. 222).

[4] В 1828 г. Жуковский был в Павловске, в то время как император был при действующей армии, а императрица в Одессе (см. письмо к имп. Александре Федоровне от 25 июля 1828 г. в *Изд. Ефремова*, т. 6, с. 301—309).

[5] Имп. Мария Федоровна умерла 24 октября 1828 г. Стихи Жуковского, написанные на ее кончину, — «У гроба государыни императрицы Марии Феодоровны».

[6] О местонахождении Шепелевского дома и описание квартиры Жуковского см.: *Иезуитова*, с. 215—221.

[7] *...литературно-дружеские вечера.* — известные «субботы» Жуковского 1830-х годов.

[8] Подробнее об этом см. комментарий в разделе «Т. Г. Шевченко».

[9] Гравированные самим Жуковским виды села Мишенского, родины поэта, выполненные пером в излюбленной контурной манере, созданы осенью 1836 г. (*УС*, с. 112—113). Видимо, в это же время они были посланы и Смирновой (*РБ*, с. 78—79).

[10] Каспар Давид Фридрих — один из любимых художников Жуковского. См. об этом воспоминания А. Д. Блудовой, И. В. Киреевского и М. П. Погодина в наст. изд.

[11] *Land meiner seligsten Gefühle...* — цитата из перевода на немецкий язык стих. Жуковского «Там небеса и воды ясны!..» (1816), источником которого, в свою очередь, является романс Ф.-Р. Шатобриана. В «Автобиографии» Смирнова однозначно указывает, что текст этого стихотворения положен на музыку дерптским поэтом и композитором А. Вейраухом (см. ниже). Доказательств этого нет.

[12] *«Память сердца»* — поэтическая формула К. Н. Батюшкова, восходящая к его стих. «Мой гений» (1815), одному из любимых стихотворений мемуаристки (Смирнова-Россет А. О. Автобиография. М., 1931. С. 130).

[13] *О милый гость, святое Прежде...* — цитата из стих. Жуковского «Минувших дней очарованье...» (1818).

[14] См. воспоминания И. И. Базарова «Последние дни жизни Жуковского» в наст. изд.

[15] Примеч. А. О. Смирновой: «Бык было шуточное прозвание Жуковского еще в мое пребывание во фрейлинских коридорах».

[16] Быт. 37, 28.

[17] Осень 1831 г. в творческих отношениях Жуковского и Пушкина ознаменовалась известным «сказочным соревнованием». В эту пору Жуковский написал «Сказку о царе Берендее...», «Спящую царевну», «Войну мышей и лягушек».

[18] *Дульчецы* — от *итал.* сладости.

[19] «Сказка о попе и о работнике его Балде» при жизни Пушкина не печаталась. В первой публикации (*СО*. 1840. № 5) заглавие изменено цензурой на «Сказка о купце Кузьме Остолопе и работнике его Балде».

[20] *...издание сочинений Жуковского с виньетками.* — Вероятнее всего, речь идет о двух иллюстрированных изданиях «Баллад и повестей» Жуковского 1831 г.

[21] Цитируемое Смирновой стих. Д. И. Хвостова является откликом на стихотворное «Письмо к А. Л. Нарышкину» (1820) В. А. Жуковского, в котором поэт обращается к адресату с просьбой о новом помещении в Петергофе:

Нельзя ль найти мне уголок
(Но не забыв про камелек)
В волшебном вашем Монплезире!

Монплезир — жилой парковый павильон в Петергофе; А. Л. Нарышкин — гофмаршал, ведавший в том числе распределением жилых комнат и дворцовыми службами.

[22] В полном виде это послание Жуковского было опубликовано Я. П. Полонским, который служил у Смирновой учителем ее детей и списал послание с автографа Жуковского (Голос минувшего. 1917. № 11—12. С. 153. Ср.: *Изд. Вольпе*, т. 2, с. 269).

[23] Взятием Варшавы (26 августа 1831 г.) завершилось подавление польского восстания. *Суворов* — кн. Александр Аркадьевич, внук генералиссимуса А. В. Су-

ворова, курьер главнокомандующего русскими войсками И. Ф. Паскевича. О брошюрах, в которых были напечатаны стих. Жуковского и Пушкина по поводу этих событий, см. примеч. 6 к воспоминаниям А. Д. Блудовой в наст. изд.

[24] Текст письма Пушкина Смирнова цитирует неточно. В письме речь идет о том, что такой же точно экземпляр с такой же точно стихотворной надписью (исключая второй стих) был послан графине Ламберт, которая, так же как и Смирнова, известила его о взятии Варшавы (*Пушкин*, т. 14, с. 223).

[25] Смирнова неточно воспроизводит одну из двух излюбленных Пушкиным цитат из романа Ф.-Р. Шатобриана «Рене». Любопытно, что эту же цитату находим в альбоме А. А. Протасовой (Воейковой), записанную под датой «1811 год», с комментарием Жуковского: «Это потому, что у вас любящее сердце. Для того, кто умеет любить, что может быть дороже привычки?» (*РС*. 1902. № 11. С. 121—133).

[26] Стих. Пушкина, посвященное А. О. Смирновой, «В тревоге пестрой и бесплодной...» датировано в рукописи 18 марта 1832 г. Оно должно было служить эпиграфом к запискам, которые Пушкин просил Смирнову вести в подаренном им альбоме. Пушкин озаглавил этот альбом «Исторические записки А. О. С***».

[27] Работу над «Историей Пугачева» Пушкин закончил в Болдино, 2 ноября 1833 г. Чтение ее в доме Смирновой состоялось, вероятно, в период между серединой октября 1834 г. (приезд в Петербург присутствовавшего на чтении А. И. Тургенева) и концом декабря 1834 г. (выход в свет «Истории Пугачевского бунта»).

[28] *О милых спутниках...* — цитата из стих. Жуковского «Воспоминание» (1821).

ИЗ «ЗАПИСОК»

(Стр. 249)

Смирнова А. О. Записки... М., 1929. С. 196.

[1] Описываемые Смирновой события относятся к 1820—1821 гг. Об этом празднике с живыми картинами на сюжет поэмы Т. Мура «Лалла Рук» см.: *Дневники*, с. 100.

[2] В 1819—1820 гг. Жуковский и его близкий друг В. А. Перовский пережили одновременное сильное увлечение фрейлиной имп. Марии Федоровны С. А. Самойловой. Ей посвящены три послания Жуковского 1819 г. Интересные воспоминания об этом событии оставил Ю. А. Нелединский-Мелецкий (см.: Хроника недавней старины: Из архива князя Оболенского-Нелединского-Мелецкого. СПб., 1876. С. 241—242).

ИЗ «АВТОБИОГРАФИИ»

(Стр. 249)

Смирнова-Россет А. О. Автобиография: (Неизданные материалы) / Подгот. к печати Л. В. Крестова; предисл. Д. Д. Благого. М., 1931. С. 106, 144, 173—177, 191, 202, 224, 254, 265, 272, 274, 284—285, 287—288, 291, 294, 297.

[1] *Прелестная Иосифовна... свиную образину?* — контаминация письма и стихотворного послания Жуковского А. О. Смирновой, приведенных в ее «Воспоминаниях о Жуковском и Пушкине» (см. выше) — типичный образец повтора в «Автобиографии» по отношению к другим мемуарам Смирновой. «Автобиография» очень сложна по своей структуре: она представляет собой автобиографические записки Смирновой о ее детстве, юности и так называемом «баденском романе» — увлечении Н. Д. Киселевым летом 1836 г. Передавая свои разговоры с Киселевым, Смирнова включает в них свои воспоминания. Отсюда — хронологические скачки и повторы, которые в дальнейшем не оговариваются.

[2] Жуковский провел зиму 1832—1833 гг. в швейцарском городке Верно с художником Г. Рейтерном, своим будущим тестем, творчество которого он высоко ценил. В августе 1830 г. Жуковский просил Рейтерна приехать в Царское Село, может быть для того, чтобы представить его ко двору (*Эстетика и критика*, с. 368—370).

[3] *Что ж делать, бес...* — неточная цитата из стих. Пушкина «Сцена из Фауста» (1825).

[4] Смирнова ошибается в 1841 г., когда Жуковский женился на Елизавете Рейтерн, ему было 58 лет, а его жене — 20.

[5] Речь идет об убийстве Павла I (11 марта 1801 г.). Рассказ о беседе Жуковского со Скарятиным на балу записан в дневнике Пушкина под датой 8 марта 1834 г. (см. в наст. изд.).

[6] Рассказ Жуковского о посещении им дома Ж.-П. Рихтера см. в воспоминаниях И. Е. Бецкого в наст. изд.

[7] Смирнова ошибается: сочельник — канун Рождества Христова, 25 декабря, а Жуковский родился 29 января.

[8] Этот эпизод относится ко второй половине 1844 г. Душевнобольной С. И. Викулин, приятель Жуковского, Вяземского, Гоголя и А. И. Тургенева, был предметом их постоянных забот. В письме к А. И. Тургеневу от 5/17 июля 1844 г. Жуковский, сообщая о приезде во Франкфурт и состоянии здоровья Викулина, упоминает и о Смирновой (*ПЖкТ*, с. 302).

[9] *Елизавета Евграфовна* — жена Жуковского (Евграфом Романовичем звали ее отца, Герхардта Рейтерна, его русские друзья). При крещении наречена Елизаветой Алексеевной.

[10] Гоголь жил во Франкфурте у Жуковского с конца сентября 1844 г. по январь 1845 г. «Наверху у меня гнездится Гоголь: он обрабатывает свои „Мертвые души“», — писал Жуковский в октябре—ноябре 1844 г. (*ПЖкТ*, с. 305). О плохом самочувствии Гоголя в это время Жуковский говорит в письмах А. И. Тургеневу (там же, с. 303) и А. О. Смирновой (*Изд. Ефремова*, т. 6, с. 303).

[11] Просьба Жуковского, о которой говорит Смирнова, касалась назначения Гоголю ежегодного денежного пенсиона из сумм государственного казначейства. Об этом подробнее см.: *ИВ*. 1907. № 10. С. 164—168.

[12] *Голубые штаны* — Имеются в виду голубые мундиры жандармов. Жуковский, как это следует из письма к А. О. Смирновой, писал шефу жандармов А. Ф. Орлову по делу назначения пенсиона Гоголю (*Смирнова А. О.* Записки... С. 349).

[13] Гоголь написал благодарственное письмо министру народного просвещения С. С. Уварову, через которого шло назначение пенсиона. Это письмо Уваров

использовал в своих интересах, о чем упомянул В. Г. Белинский в «Письме к Гоголю».

[14] Гоголь уехал в Иерусалим в январе 1848 г., хотя собирался совершить это паломничество еще в 1846 г.

Н. М. Смирнов

Николай Михайлович Смирнов (1808—1870) — чиновник министерства иностранных дел, камер-юнкер, калужский, затем петербургский губернатор, сенатор, муж А. О. Смирновой-Россет.

В ноябре—декабре 1834 г. Н. М. Смирнов вел памятные записки, на основе которых в 1842 г. были подготовлены его воспоминания о Пушкине (*РА*. 1882. Кн. 1). Эти же заметки включают и краткую характеристику В. А. Жуковского. По воспоминаниям А. О. Смирновой-Россет (см. в наст. изд.), 1832—1834 гг. — период их наиболее интенсивного общения с Жуковским. В марте 1835 г. Н. М. Смирнов получил назначение в Берлинскую дипломатическую миссию, и семья Смирновых уехала за границу (они возвратились в Россию в 1837 г.). Будучи страстным любителем живописи и известным коллекционером, Смирнов в мае 1836 г. обратился к Жуковскому с письмом, в котором размышлял о причинах расцвета немецкой живописи и просил Жуковского помочь ему в представлении официальной записки о мерах поощрения русской живописи и организации вернисажей (*РА*. 1899. № 4. С. 623—625). Имя Смирнова упоминается в письмах Жуковского 1830-х годов (*ПЖкТ*, с. 258, 287).

<ИЗ ЗАПИСОК. ЖУКОВСКИЙ>

(Стр. 257)

Временник Пушкинской комиссии. 1967—1968. Л., 1970. С. 5—6. Публикация К. П. Богаевской.

[1] Ср. дневник А. И. Тургенева 1834 г. (А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1985. Т. 2. С. 209—210).

[2] Смирнову, видимо, не было известно о любви Жуковского к М. А. Протасовой (Мойер).

[3] Строки о воспитании наследника пропущены в публикации К. П. Богаевской. Смирнов идеализирует отношения Жуковского и вел. князя. Как раз в 1834 г. эти отношения резко обострились, о чем свидетельствует дневник Жуковского 1834 г. (см.: *Иезуитова Р. В.* Пушкин и «Дневник» В. А. Жуковского 1834 г. // Пушкин: Исследования и материалы. Т. 8. С. 219—247).

М. И. Глинка

Михаил Иванович Глинка (1804—1857) — композитор, родоначальник русской классической музыки. Образование получил в Благородном пансионе при Петербургском педагогическом институте, где его воспитателем был В. К. Кюхельбекер. Летописью его жизни стали автобиографические «Записки», включающие события 1804—1854 гг. и воссоздающие около 30 лет творческой жизни. В этой жизни поэзия и личность В. А. Жуковского занимает особое место. Романсы на стихи Жуковского, сотрудничество в период работы над оперой «Иван Сусанин», встречи на «субботах» Жуковского — все это запечатлено в «Записках» как существенные факты биографии композитора. Поэзия Жуковского и музыка Глинки — таков главный угол зрения мемуариста.

«Записки» Глинки были написаны в период с 3 июня 1854 г. до конца марта 1855 г. по просьбе его сестры Л. И. Шестаковой. Все упоминания имени Жуковского в них тесно связаны с творческими замыслами композитора и в своей совокупности обогащают наше представление о месте Жуковского в музыкальной жизни его времени, о восприятии его романтической поэзии в музыке.

ИЗ «ЗАПИСОК»

(Стр. 259)

Записки М. И. Глинки / Под ред., со вступ. статьей и примеч. А. Н. Римского-Корсакова. М.; Л.: Academia, 1930. С. 76, 88, 97, 125, 144, 147, 153—154, 156, 169, 174, 180, 184, 339.

[1] Романс «Светит месяц» написан на текст стих. Жуковского «Утешение» (со второй строфы) — перевод стих. Л. Уланда «Die Nonne» («Монахиня»). Был издан в 1829 г. фирмой «Одеон» под заглавием «Нет его! на том он свете...» (по второй строфе).

[2] Из стих. Жуковского «Бедный певец» Глинкой взяты частично 4-я и полностью 5-я строфы. Романс был издан в 1829 г.

[3] Никаких следов этого знакомства обнаружить не удалось. Дневники Жуковского за это время отсутствуют.

[4] Романс «Голос с того света» («Не узнавай, куда я путь склонила») написан на слова стих. Жуковского, представляющего собой перевод из Ф. Шиллера,

[5] Романс «Победитель» написан на основе перевода одноименного стих. Л. Уланда. По воспоминаниям Н. Кукольника, «довольно часто Глинка певал одно из произведений своей юности — романс „Победитель", написанный в 1832 г. в Милане, на слова Жуковского» (Записки М. И. Глинки, с. 539).

[6] Романс «Дубрава шумит» написан на стих. Жуковского «Тоска по милом», перевод из Ф. Шиллера.

[7] *«Марьина роща. Старинное предание»* — повесть Жуковского, написанная и опубликованная в 1809 г.

[8] *Марья Петровна* (урожд. Иванова) — будущая жена композитора, на которой он женился 26 апреля 1835 г.

[9] Говоря об участии Жуковского в разработке либретто оперы «Ивана Сусанина», Глинка упоминает лишь текст песни Вани «Ах, не мне, бедному». На

самом деле Жуковский написал либретто всей последней сцены. Черновой автограф: *РНБ*. Ф. 286. Оп. 1. Ед. хр. 26. Л. 136. Опубликовано: *Изд. Архангельского*, т. 4, с. 24—25.

[10] Жуковский неоднократно правил трагедии Розена, помогал в его творческом становлении (см.: *БЖ*, ч. 1, с. 126—128).

[11] Интересно, что Жуковский сделал даже два наброска декораций эпилога, которые сохранились в архиве (Об этом см.: *Глинка М. И.* Полн. собр. соч. М., 1973. Т. 1. С. 388).

[12] Стихотворение Жуковского, на которое написана фантазия Глинки, представляет собой перевод стих. И.-Х. Цедлица «Die nachtliche Heerschau». Глинка дважды, в конце 1830-х годов и в 1855 г., оркестровал фантазию.

[13] Как установлено В. А. Киселевым (Сов. музыка. 1937. № 6. С. 84), Глинка ошибается в определении года исполнения «Ночного смотра». Это могло быть только во второй половине февраля — начале марта 1836 г.

И. В. Киреевский

Иван Васильевич Киреевский (1806—1856) — критик и публицист, сотрудник «Московского вестника», издатель журнала «Европеец», впоследствии славянофил. Был родственником Жуковского по материнской линии: его мать, А. П. Киреевская-Елагина, была племянницей Жуковского. Своеобразный культ Жуковского в семье Киреевских—Елагиных был воспринят и молодым Киреевским, который считал его своим учителем и духовным наставником. Жуковский очень рано вошел в жизнь Ивана Киреевского. «Ванька», «Ванюша», «Ваня», «Иван», «Иван Васильевич» — все эти обращения к Киреевскому в письмах Жуковского передают эволюцию их отношений. Жуковский рано разглядел в нем писательский талант: «Я уверен, что Ваня может быть хорошим писателем. У него все для этого есть: жар души, мыслящая голова, благородный характер, талант авторский» (Татевский сборник. М., 1899. С. 72). Прозорливо наставник разглядел и философское направление таланта воспитанника. «Ваня — самое чистое, доброе, и умное, и даже философическое творение» (*УС*, с. 50). «Я читал в „Московском вестнике“ статью Ванюши о Пушкине и порадовался всем сердцем. Благословляю его обеими руками писать — умная, сочная, философическая проза. Пускай теперь работает головою и хорошенько ее омеблирует — отвечаю, что у него будет прекрасный язык для мыслей» (*ЛН*. М., 1952. Т. 58. С. 108).

Жуковский заботился и об образовании Ванюши: в письмах к А. П. Елагиной он дает развернутую программу (*РБ*, с. 95, 102—103). Особое значение для укрепления их отношений имели события, связанные с запрещением журнала «Европеец», который возглавлял Киреевский. Жуковский лично обращается к Николаю I, Бенкендорфу, защищая честь редактора (об этом см.: *Гиллельсон М. И.* Письма В. А. Жуковского о запрещении «Европейца» // *РЛ*. 1965. № 4. С. 114—124; *Фризман Л. Г.* К истории журнала «Европеец» // *РЛ*. 1967. № 2. С. 118—119). Опекунство после смерти отца в 1812 г., постоянное наставничество в 1824—1827 гг., активная помощь в борьбе вокруг «Европейца» в 1832 г. и сотрудничество

в «Москвитянине» в 1840-е годы — таковы основные этапы отношений Жуковского и Киреевского. «Удивительный человек этот Жуковский! Хотя, кажется, знаешь необыкновенную красоту и возвышенность его души, однако при каждом новом случае узнаешь, что сердце его еще выше и прекраснее, чем предполагал», — писал Киреевский к матери незадолго до кончины Жуковского (*Киреевский И. В.* Полн. собр. соч. М., 1911. Т. 1. С. 5).

Публикуемые письма 1830 г. И. В. Киреевского к родным — яркое свидетельство его отношения к Жуковскому, они позволяют понять роль поэта в становлении личности Киреевского и в то же время дают интересный материал для характеристики Жуковского начала 1830-х годов, на пороге его нового поэтического взлета. Ценность их как мемуарного источника определяется и непосредственностью реакции, точностью в передаче впечатлений.

ИЗ ПИСЕМ К РОДНЫМ

(Стр. 262)

Киреевский И. В. Полн. собр. соч.: В 2 т. М., 1911. Т. 1. С. 15—19, 21; т. 2. С. 228.

[1] Коллективный адресат писем И. В. Киреевского — вся дружная семья: мать — А. П. Киреевская-Елагина, отчим — А. А. Елагин, много сделавший для философского образования пасынка, брат Петр — будущий известный фольклорист и сестра Мария.

[2] *А. П.* — видимо, А. П. Зонтаг, тетка Киреевского, к которой адресованы некоторые его статьи, например «О русских писательницах», «Публичные лекции профессора Шевырева».

[3] *М. А.* и *А. А.* — сестры Протасовы, подруги молодости А. П. Елагиной, в замужестве М. А. Мойер и А. А. Воейкова.

[4] Жуковский в это время жил в Шепелевском доме (см.: *Иезуитова*, с. 234, 244).

[5] *...бюст покойной прусской королевы...* — Имеется в виду королева Вюртембергская — Екатерина Павловна, на смерть которой Жуковский написал известную элегию.

[6] *Картины Фридрихса.* — Речь идет о немецком художнике-романтике К.-Д. Фридрихе, горячо любимом Жуковским. О встречах с ним Жуковский подробно рассказал в письмах к вел. кн. Александре Федоровне (см. воспоминания Зейдлица в наст. изд.).

[7] Речь идет о С. И. Тургеневе, который был похоронен в Париже в 1827 г. Жуковский вместе с А. И. Тургеневым был свидетелем его мучительной болезни и смерти.

[8] *«Выжигин»*, *«Самозванец»* — романы Ф. В. Булгарина «Иван Выжигин» и «Дмитрий Самозванец». Любопытно мемуарное свидетельство гр. С. Г. Строганова: «Весною 1829 г. гр. Строганов поехал опять в Варшаву на коронацию государя. Он ехал вместе с Ж<уковским>. Дорогою Ж. читал „Ивана Выжигина“ и говорил своему спутнику, что впечатление от этого романа (второго у нас после повестей Нарежного) похоже на то, как в немецких городах идешь по улице, глазеешь и вдруг с 3-го этажа кто-нибудь обольет тебя помоями» (*РА.*

1896. Кн. 2. С. 291). Подробнее об отношениях Жуковского и Булгарина см.: *Изд. Вольпе*, т, 2, с. 476—478. Свой взгляд на роман Булгарина Киреевский высказал в статье «Обозрение русской словесности 1829 года», с которой познакомил Жуковского.

[9] *«Юрий Милославский»* — роман М. Н. Загоскина, действительно получивший высокую оценку Жуковского. В письме автору от 12 января 1830 г., т. е. написанном в день приезда Киреевского, он подробно говорит о своем впечатлении, в частности замечая: «Вы теперь попали на ту дорогу, по которой можете идти твердым шагом, *исторический* роман Ваше дело...» (*Эстетика и критика*, с. 371).

[10] О шуточном журнале «Полночная дичь», издававшемся долбинской молодежью, см.: *УС*, с. 51. В письме к А. П. Елагиной от 22 января 1830 г. Жуковский, комментируя материалы журнала, говорит: «...в вашей семье заключается целая династия хороших писателей — пустите их всех по этой дороге» (там же, с. 50).

[11] *...взял мою статью...* — Имеется в виду статья «Обозрение русской словесности 1829 года», опубликованная в альманахе «Денница» на 1830 г. См.: *Киреевский И. В.* Критика и эстетика. М., 1979. С. 395—396 (коммент. Ю. В. Манна).

[12] *Душегрейка ему не понравилась...* — Речь идет о том месте статьи, где говорилось о Дельвиге: «...если бы на ее классические формы он не набросил душегрейку новейшего уныния». Это выражение вызвало много насмешек в критике. Так, например, А. С. Пушкин, в целом высоко оценив статью, писал: «Выражение, конечно, смешно. Зачем не сказать было просто: в стихах Дельвига отзывается иногда уныние новейшей поэзии?» (*Пушкин*, т. 7, с. 178).

[13] Как вспоминает присутствовавший в этот вечер у Жуковского К. С. Сербинович, «Василий Андреевич показывал нам в своем альбоме надпись Гете, Жан-Поля, Тика и других, стихи Батюшкова...» (*ЛН*. М., 1952. Т. 58. С. 258).

[14] *...просил... «Зиму»...* — произведение неизвестного автора из долбинского шутливого журнала «Полночная дичь».

[15] Имеется в виду статья А. С. Пушкина «О записках Самсона», опубликованная в «Литературной газете» (1830. № 5).

[16] Подробное описание этого вечера имеется в дневнике К. С. Сербиновича (*ЛН*. Т. 58. С. 258—259).

[17] *Dubois et Andrieux* — Дюбуа и Андрие, владельцы рестораций в Петербурге 1830-х годов.

[18] Имеются в виду павловские послания 1819—1820 гг. к фрейлинам С. А. Самойловой, А. Г. Хомутовой, Е. П. Шуваловой, к директору театров А. Л. Нарышкину и т. д.

[19] *Поэтическое дело...* — должность воспитателя наследника престола. Сам Жуковский в письмах к А. П. Елагиной постоянно говорил о своей должности как поэтической: «Поэзия меня не покинула, хотя и перестал писать стихи, хотя мои занятия и могут показаться со стороны механическими» (*УС*, с. 45).

[20] Об этом Жуковский подробно рассказывает в письме к А. П. Елагиной от 22 января 1830 г.: «Я снабдил его письмами в Ригу, Берлин и Париж...» — и называет Гуфланда, А. И. Тургенева, Петерсона (*УС*, с. 49—50).

[21] *Петруша* — брат мемуариста, П. В. Киреевский.

[22] Жуковский сдержал слово, доказательство чему — письмо от 22 января (*УС*, с. 49—50).

[23] Речь идет о рижском обер-прокуроре Густаве Петерсоне, которого Жуковский характеризует в указанном выше письме как «доброго приятеля, который поможет ему уладить свои экономические дела» (*УС*, с. 49). См. также о нем: *Салупере*, с. 444—445.

[24] *Studiosus Петерсон* — студент А. П. Петерсон, сводный брат А. П. Елагиной, учившийся в Дерптском университете в 1818—1822 гг. и, видимо, пользовавшийся именем однофамильца-прокурора на станциях.

[25] *А. А.* — А. А. Воейкова.

И. С. Тургенев

Иван Сергеевич Тургенев (1818—1883) — писатель. Поэзия Жуковского была для юного Тургенева, как и для многих его современников, школой нравственности и высокого творчества. Имя Жуковского, цитаты из его произведений часто появляются в письмах В. П. Тургеневой, страстной поклонницы поэта, к сыну (Рус. мысль, 1915. Кн. 6. С. 105, 107). В годы учебы в Московском пансионе Тургенев читал Жуковского, многие его произведения знал наизусть, о чем свидетельствуют его письма 1831 г. к дяде, И. П. Тургеневу (*Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т.: Письма. М., Т. 1. С. 119—130). И позднее имя Жуковского, цитаты из его произведений будут появляться на страницах произведений Тургенева (см. указ. имен к Полн. собр. соч.). Дружеские отношения связывали И. С. Тургенева с сыном поэта — Павлом Васильевичем. Эта дружба ознаменовалась тем, что последний подарил Тургеневу знаменитый перстень-«талисман», который Жуковский получил от умирающего Пушкина (см. тургеневские «Записи, посвященные пушкинским реликвиям» — *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т.: Сочинения. М., 1986. Т. 12. С. 375).

Единственная встреча с В. А. Жуковским шестнадцатилетнего Тургенева воспроизведена в его «Литературных и житейских воспоминаниях» (раздел «Гоголь»), создававшихся в конце 1860-х годов. Между встречей и ее описанием прошло около 35 лет, но в воспоминаниях запечатлелась отчетливость почти каждого ее мгновения, поразительная зримость облика поэта.

ИЗ «ЛИТЕРАТУРНЫХ И ЖИТЕЙСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ»

(Стр. 267)

Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Сочинения. М., 1983. Т. 11. С. 68—70.

[1] *...посетил... мою матушку...* — Эти посещения Жуковским В. П. Тургеневой в Спасском-Лутовинове могли быть в 1814 г., когда поэт жил в Муратове и Долбине, т. е. в 30— 40 верстах от Спасского (см.: *Чернов Н.* Глава из детства // Лит. газета. 1970. № 29).

[2] *...изгладилось самое воспоминание* о *деревенской барышне...* — Видимо, это не совсем точно. Из воспоминаний В. Н. Житовой известно, что в Петербурге в 1838 г. Варвару Петровну Тургеневу «часто навещал» В. А. Жуковский. Вот это воспоминание, заслуживающее внимания как мемуарный источник: «Весьма часто навещали нас Родион Егорович Гринвальд... и Василий Андреевич Жуковский, которого я тогда очень не любила за то, что почти к каждому его приезду я должна была выучивать стихи из его „Ундины" и декламировать перед ним. При этом я обнаруживала самую черную неблагодарность, так как он привозил мне всегда великолепные конфеты, а я, уничтожая их, тем не менее соображала своим пятилетним разумом, что за них придется опять вызубрить со слов самой Варвары Петровны несколько стихов из „Ундины"» (И. С. Тургенев в воспоминаниях современников. М., 1983. Т. 1. С. 31—32). Жуковский в неопубликованном дневнике 1841 г. записывает: «2/14 марта. К Варваре Петровне Тургеневой...» (*ЦГАЛИ*. Ф. 198. Оп. 1. Ед. хр. 37. Л. 89).

[3] *...послала к нему в Зимний дворец* — в Шепелевский дом, прилегающий к дворцу. Здесь в 1827—1840 гг. жил Жуковский как воспитатель наследника.

[4] *Воин Иванович Губарев* — пансионский товарищ Жуковского, был близким знакомым В. П. Тургеневой. Возможно, он привозил в 1814 г. поэта в Спасское, так как именно к этому времени относятся их тесные дружеские отношения. Его упоминает Жуковский в конце «Послания к А. А. Плещееву» от 14 октября 1814 г., о нем как о добровольном переписчике долбинских стихотворений говорит в письмах (*ПЖкТ*, с. 130, 132, 134). В 1818 г., ходатайствуя об устройстве его на службу, Жуковский замечает: «...вообще он благородный человек и стоит твоего дружеского покровительства» (там же, с. 189).

[5] Сохранилось письмо Губарева Жуковскому от 4 июля 1835 г., где говорится: «Благодарю Вас усердно за... подарок Вольтера; — я один в сем мире чувства истинного уважения к Вам сохраню до гроба» (*ИРЛИ*, 28024/СС1б. 70. Цит. по: *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т.: Сочинения. М., 1983. Т. 11. С. 362; коммент. Л. Н. Назаровой).

В. А. Соллогуб

Владимир Александрович Соллогуб (1813—1882) — граф, писатель, мемуарист. Учился в Дерптском университете, с 1835 г. — чиновник особых поручений при министерстве внутренних дел, постоянный посетитель великосветских салонов Петербурга; в салоне Карамзиных завязал литературные знакомства с Пушкиным, Жуковским, Вяземским, Баратынским, А. И. Тургеневым, Лермонтовым и др. Период наибольший популярности Соллогуба как писателя — 1840-е годы. В это время появляется его повесть «Тарантас», получившая высокую оценку Белинского.

Знакомство Соллогуба с Жуковским относится к дерптскому периоду жизни мемуариста; с 1826 г. в Дерпте жило семейство Карамзиных, которых Жуковский посещал, бывая в Дерпте (братья Карамзины — Александр и Андрей — были однокашниками Соллогуба). Более регулярными встречи Соллогуба и Жуковского сделались в 1835—1836 гг. в Петербурге. Общение и сотрудничество

Соллогуба и Жуковского не прервалось и с отъездом Жуковского за границу: в 1844 г. они оба участвуют в издании сборника «Вчера и сегодня» (*РС*. 1901. № 7). Повесть «Тарантас» заслужила высокую оценку Жуковского (*РА*. 1896. Кн. 1. С. 460—462).

В 1870-х годах начинают публиковаться воспоминания Соллогуба, повествующие главным образом о литературном быте великосветских салонов. Мемуары отличаются широким временным охватом (1820—1870-е годы) и достоверностью: так, воспоминания о Пушкине — один из важнейших документальных источников событий последнего года жизни поэта и его дуэли. Жуковский в воспоминаниях Соллогуба — фигура эпизодическая, что, видимо, объясняется поверхностностью их отношений. Но отдельные наблюдения мемуариста дают возможность лучше представить Жуковского в драматические дни преддуэльной истории Пушкина.

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

(Стр. 270)

Соллогуб В. А. Воспоминания / Под ред. С. П. Шестерикова. М.; Л., 1931. С. 153, 370, 518—519.

[1] *...всем известное письмо к голландскому посланнику.* — Соллогуб имеет в виду текст письма Пушкина Луи де Геккерну от 25 января 1837 г. (*Пушкин*, т. 16, с. 221—222). Однако Пушкин прочитал ему другой, очень близкий, текст чернового не отосланного и впоследствии разорванного письма от 17—21 ноября 1836 г. (там же, 189—191).

[2] О «субботах» В. Ф. Одоевского см.: Литературные салоны и кружки: Первая половина XIX века. М.; Л., 1930. С. 431—465.

[3] Жуковский мог прямо после разговора с Соллогубом пойти к Пушкину, поскольку дом Одоевского в Мошковом переулке находился очень близко от последней квартиры Пушкина на Мойке. Ближайшим результатом вмешательства Жуковского была аудиенция, данная Пушкину Николаем I в присутствии А. Х. Бенкендорфа, и прекращение ноябрьского дела о дуэли (см.: *Абрамович С. Л.* Пушкин в 1836 году. Л., 1984. С. 156—166).

[4] Соллогуб ошибается: Пушкин был с Жуковским на «ты», о чем свидетельствуют его письма.

[5] Жуковский был в Англии с 21 апреля по 18 мая 1839 г. (*Дневники*, с. 479—493).

[6] В январе 1838 г. Жуковский написал статью «Пожар Зимнего дворца», предназначавшуюся для публикации в *Совр.*; статья не была пропущена цензурой.

[7] В 1833 г., узнав о создании Киевского университета, Гоголь добивался кафедры всеобщей истории при помощи Плетнева и Жуковского. Места в Киеве Гоголь не получил, но в июле 1834 г. он был назначен, по протекции друзей, адъюнкт-профессором по кафедре всеобщей истории в Петербургском университете.

А. С. Пушкин

На протяжении всей жизни А. С. Пушкина Жуковский — его ближайший спутник, «гений-хранитель», как называл его сам поэт. Предполагается, что еще ребенком Пушкин видел Жуковского в доме своих родителей. Достоверно устанавливаемое личное общение Жуковского и Пушкина начинается в лицейский период: 19 сентября 1815 г. Жуковский писал П. А. Вяземскому: «Я сделал еще приятное знакомство! С нашим молодым чудотворцем Пушкиным... Это надежда нашей словесности... Нам всем надобно соединиться, чтобы помочь вырасти этому будущему гиганту, который всех нас перерастет!» (*Изд. Семенко*, т. 4, с. 564—565). В петербургский период (1817—1820) Пушкин, член «Арзамаса», по прозвищу Сверчок, часто видится с Жуковским, пишет ему послание, стихотворные шутливые записки, создает известную «надпись к портрету» «Его стихов пленительная сладость...», читает на его «субботах» главы из поэмы «Руслан и Людмила». Сохранились многочисленные апокрифы, свидетельствующие о безмерном уважении Пушкина к таланту Жуковского (см.: *Анненков П. В.* Материалы для биографии А. С. Пушкина. М., 1984. С. 69, 81—82). В свою очередь, залогом признания Жуковским масштаба пушкинского дарования и внутренней связи становится надпись на портрете, подаренном 26 марта 1820 г. Пушкину: «Победителю-ученику от побежденного учителя — в тот высоко торжественный день, в который он окончил свою поэму „Руслан и Людмила“».

И в последующие годы Жуковский рядом с Пушкиным: он принимает активное участие в хлопотах о смягчении участи опального поэта, улаживает его дела, заботится о его здоровье, является его ходатаем при дворе. Жуковский пристально следит за ростом творческого гения Пушкина, глубоко постигая суть его развития. «По данному мне полномочию предлагаю тебе *первое* место на русском Парнасе. И какое место, если с *высокостью гения* соединишь и высокость цели!», «Ты имеешь не дарование, а гений. <...> ты рожден быть великим поэтом, будь же этого достоин» (*Изд. Семенко*, т. 4, с. 510—511) — вот лейтмотив отношения Жуковского к Пушкину на всех этапах их дружбы. В свою очередь Пушкин, при всех колебаниях оценок поэзии Жуковского в критике 1820-х годов, сохраняет твердую убежденность в непреходящем значении его поэзии.

Личное общение Жуковского и Пушкина возобновляется осенью 1827 г., по возвращении Жуковского из-за границы, но характер особенной доверительности и творческой связи оно приобретает летом и осенью 1831 г. в Царском Селе. 1830-е годы Жуковский и Пушкин прожили рядом — и по мере углубления общественной драмы Пушкина возрастала мера деятельного участия его «гения-хранителя» в его непростых отношениях с людьми и эпохой. В 1834 г. Жуковский улаживает острый конфликт Пушкина с Николаем I по поводу намерения поэта уйти в отставку, гасит скандалы, готовые возникнуть из-за предвзято прочитанных при перлюстрации частных писем Пушкина. В 1836 г. Жуковский предотвращает ноябрьскую дуэль Пушкина с Дантесом, а после январской дуэли не отлучается из дома умирающего поэта. Конспективные заметки Жуковского о дуэли и смерти Пушкина, его письма отцу поэта, С. Л. Пушкину, и Бенкендорфу — важнейшие документальные источники и акт гражданского мужества Жуковского. И после гибели Пушкина Жуковский, разбирая его ру-

кописи, издавая его сочинения, участвуя в редактировании *Совр.*, публично читая письмо к С. Л. Пушкину, увековечивает память друга и великого русского поэта. В сознании Жуковского Пушкин навсегда остался высшим критерием творчества. «Жалею, что нет для меня суда Пушкина: в нем жило поэтическое откровение», — писал он уже в конце своей жизни (*УС*, с. 126).

Воспоминаний в строгом смысле слова Пушкин о Жуковском не оставил. Но его дневники и письма — летопись личных и творческих отношений двух поэтов — создают особенный, не повторяющийся в других мемуарах образ Жуковского, по-пушкински лаконичный и по-пушкински глубокий. Эти беглые упоминания Жуковского в дневниках и письмах Пушкина в чем-то подобны дневникам его старшего друга. Они как «колья» Жуковского, которыми он помечал в своих дневниках самую суть достойного памяти события для того, чтобы в случае необходимости ассоциативно восстановить его. Упоминания имени Жуковского, емкие оценки — это, в сущности, опорные точки для летописи жизни и творчества Жуковского за все время заочного и личного общения двух поэтов.

ИЗ «ДНЕВНИКА 1833—1835 гг.»

(Стр. 272)

Пушкин, т. 12, с. 314, 317, 321, 324, 326, 328—330, 337.

[1] Запись в «Дневнике» 1833 г. фиксирует первую встречу Пушкина с Жуковским после долгой разлуки: Жуковский в июне 1832 — сентябре 1833 г. уезжал за границу, Пушкин осень 1833 г. тоже провел в разъездах.

[2] *...ц. н. ...* — Относительно этого сокращения существуют различные точки зрения. См.: *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. М., 1964. Т. 8. С. 510, где предлагается расшифровка: «царские наложницы».

[3] Ср. этот же рассказ о беседе Жуковского с Я. Ф. Скарятиным в записках А. О. Смирновой-Россет в наст. изд.

[4] Имеется в виду запрещение журнала Н. А. Полевого «Московский телеграф», поводом к чему послужила отрицательная рецензия на драму Н. В. Кукольника «Рука всевышнего Отечество спасла», удостоившуюся высочайшего одобрения.

[5] *...дворянский бал...* — бал, который петербургское дворянство дало 29 апреля по случаю совершеннолетия наследника, воспитанника Жуковского вел. кн. Александра Николаевича. Об этом же бале см. записи в дневнике от 14 апреля и 3 мая. На балу Пушкин не был.

[6] Дневники Жуковского и Пушкина 1834 г. обнаруживают сходный интерес к историческому анекдоту. В свой дневник 1834 г. Жуковский включил четыре анекдота о Екатерине II со слов кн. А. Н. Голицына; на занятиях с наследником он говорит о правлении и личности императрицы (см.: *Иезуитова Р. В.* Пушкин и «Дневник» В. А. Жуковского 1834 г. С. 229—231, 235—236).

[7] Начало дневниковой записи от февраля 1835 г. перекликается со стихотворением Пушкина «На выздоровление Лукулла», которое послужило последней причиной резко враждебных отношений Пушкина и министра народного просвещения С. С. Уварова.

ИЗ ПИСЕМ

(Стр. 273)

Пушкин, т. 13, с. 15, 34, 40, 42, 45, 48, 54, 80, 98, 118, 121—122, 135, 153, 158, 175, 178—179, 182—183, 195, 204, 226, 240, 248—249, 256, 266; т. 14, с. 37—38, 118, 158, 162—163, 170, 175, 185, 189, 203—205, 207—208, 220—221, 223; т. 15, с. 26, 86, 88, 90, 180; т. 16, с. 202.

[1] *«Голос с того света»* — перевод Жуковским стих. Ф. Шиллера. Каламбурное обыгрывание названия стихотворения Пушкиным связано с тем, что в 1820-е годы Жуковский почти не печатает своих новых произведений.

[2] *«Лалла Рук»* — поэма английского поэта-романтика Т. Мура, фрагмент которой под названием «Пери и ангел» Жуковский перевел в 1821 г.). Стих «Гений чистой красоты» из Жуковского («Лалла Рук», «Явление поэзии в виде Лалла Рук») переходит в творчество Пушкина.

[3] *«Тристрам Шенди»* — роман английского писателя Л. Стерна.

[4] Жуковский возвратился в Россию из первого заграничного путешествия 6 февраля 1822 г.; письмо Жуковскому, о котором упоминает Пушкин, не сохранилось. О том, что Жуковский не получал писем Пушкина из Кишинева и Одессы, свидетельствует первое из дошедших до нас писем Жуковского Пушкину от 1 июня 1824 г.: «Ты уверяешь меня, Сверчок моего сердца, что ты ко мне писал, писал и писал, — но я не получал, не получал и не получал твоих писем» (*Изд. Семенко*, т. 4, с. 509).

[5] Поэма Байрона «Шильонский узник» в переводе Жуковского вышла в свет летом 1822 г.

[6] Имеются в виду баллада «Громобой» — первая часть поэмы «Двенадцать спящих дев» и «Баллада о старушке...» — перевод из Р. Саути.

[7] *...песни Маттисона...* — Пушкин имеет в виду переводы Жуковского стих. немецкого поэта Ф. Маттисона «Элизиум» и «К Филону».

[8] *...поэма «Родрик» Саувея...* — Речь идет о поэме Р. Саути «Родрик, последний из готов», которую Жуковский начал переводить в апреле 1822 г., а Пушкин предпринял ее перевод в 1835 г. Об этом см.: *Костин В. М.* Жуковский и Пушкин: Проблема восприятия поэмы Р. Саути «Родрик, последний из готов» // Проблемы метода и жанра. Томск, 1979. Вып. 6. С. 123—139.

[9] *...молдованно и тошно...* — перифраза заключительной строки эпиграммы Пушкина на Кюхельбекера: «И кюхельбекерно, и тошно».

[10] Речь идет о переведенной Жуковским в 1821 г. трагедии Ф. Шиллера «Орлеанская дева», которая была запрещена для постановки на сцене цензурой.

[11] *«Смерть Роллы»* — трагедия А. Коцебу, премьера которой состоялась в Петербурге 17 января 1817 г.

[12] *Приехали «Пленники»...* — Пушкин сообщает о получении экземпляров первого издания поэмы «Кавказский пленник» и поэмы «Шильонский узник» Жуковского.

[13] *...в бореньях с трудностью силач необычайный!* — Стих из послания П. А. Вяземского «К В. А. Жуковскому» (1819).

[14] *«Разбойники».* — Речь идет о поэме Пушкина «Братья-разбойники».

[15] *...чем я хуже принцессы Шарлотты...* — имеется в виду вел. кн. Александра Федоровна, которой Жуковский регулярно писал из-за границы, а затем

опубликовал эти письма под названием «Рафаэлева Мадонна», «Путешествие по Саксонской Швейцарии» в «Полярной звезде».

[16] Поэму Д.-Г. Байрона «Гяур» Жуковский не переводил.

[17] *...Жуковского я получил...* — Речь идет о получении трехтомного издания «Стихотворений В. Жуковского», вышедшего в свет в марте 1824 г.

[18] Речь идет о ссоре Пушкина с отцом, С. Л. Пушкиным, которому А. Н. Пещуров, наблюдавший за сосланным в Михайловское поэтом, предложил распечатывать его переписку. Пушкин прибег к помощи Жуковского во избежание распространения слухов в Петербурге (см. подробное письмо В. А. Жуковскому от 31 октября 1824 г.).

[19] Речь идет о неосторожно отправленном Пушкиным письме псковскому гражданскому губернатору Б. А. Адеркасу, в котором он просил заменить ему ссылку в Михайловское заключением в крепость.

[20] *...о критической статье Плетнева...* — Речь идет о «Письме к графине С. И. С. о русских поэтах» («Северные цветы на 1825 год»).

[21] *За что казнит, за что венчает?* — автореминисценция из стих. «Разговор книгопродавца с поэтом» (1824). Ср.: «Поэт казнит, поэт венчает...»

[22] Речь идет о подготовке первого издания «Стихотворений Александра Пушкина» (вышло в свет 30 декабря 1825 г.).

[23] *Он мнил, что вы с ним однородные...* — цитата из стих. Жуковского «Мотылек и цветы» (1824).

[24] *Я «Телеграфом» очень доволен...* — Журнал Н. А. Полевого «Московский телеграф» начал издаваться с января 1825 г. В 1825 г. Пушкин опубликовал на его страницах ряд своих произведений (см.: Смирнов-Сокольский Н. П. Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина. М., 1962. С. 528). Жуковский начал печататься в «Московском телеграфе» с 1827 г.

[25] Это письмо — отклик на статью А. А. Бестужева «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов» («Полярная звезда на 1825 год»).

[26] Отклик Пушкина на статью П. А. Вяземского «Жуковский — Пушкин. О новой пиитике басен» (Моск. телеграф. 1825. Ч. 1, № 4).

[27] *Былое сбудется опять...* — цитата из стих. Жуковского «Я музу юную, бывало...» (1824).

[28] Пушкин имеет в виду хлопоты Жуковского об операции аневризма.

[29] *...что царь меня простит за трагедию...* — Речь идет о трагедии «Борис Годунов», на которую Жуковский возлагал особые надежды. В письме к Пушкину от 12 апреля 1826 г. он говорит: «Пиши „Годунова“ и подобное: они отворят дверь свободы» (*Изд. Семенко*, т. 4, с. 515).

[30] *...пародировать Жуковского.* — Речь идет о «драматической шутке» Кюхельбекера «Шекспировы духи», насыщенной комической перелицовкой стихов из баллад и «Орлеанской девы» Жуковского.

[31] *Он принимает в тебе живое, горячее участие...* — Об участии Жуковского в судьбе оклеветанного в 1828 г. Вяземского см. во вступ. заметке к разделу «П. А. Вяземский» в наст. изд.

[32] *Князь Дмитрий* — московский генерал-губернатор Д. В. Голицын.

[33] *...бабочка-Филимонов* — Такое шутливое прозвище поэта и журналиста, автора поэмы «Дурацкий колпак» В. С. Филимонова, объясняется тем, что он с 1829 г. начал издавать журнал «Бабочка. Дневник новостей, относящихся до

просвещения и общежития». О поездке к нему и ее последствиях см. воспоминания П. А. Вяземского в наст. изд.

[34] *...каков его Гомер...* — В «Северных цветах на 1829 год» были опубликованы «Отрывки из Илиады» в переводе Жуковского. В это же время Н. И. Гнедич печатал свой перевод «Илиады» и был недоволен конкуренцией Жуковского.

[35] *...перевел неоконченную балладу Вальтер Скотта «Пильгрим»...* — Имеется в виду перевод баллады В. Скотта «The gray brother» («Серый монах»), получившей у Жуковского название «Покаяние».

[36] *...пишет сказку... вроде... «Красного карбункула»...* — Речь идет о стихотворной повести «Две были и еще одна» — свободном переложении баллад Р. Саути и рассказа И.-П. Гебеля, выдержанном в манере поэзии Гебеля, в том числе его «Красного карбункула». Эту сказку Гебеля Жуковский переложил еще в 1816 г.

[37] *Россети черноокая...* — парафраз стиха «Черноокая Россети» из стихотворной шутки Пушкина «Полюбуйтесь же вы, дети...» (1830).

[38] Ср. «Воспоминания о Жуковском и Пушкине» А. О. Смирновой-Россет в наст. изд.

[39] П. А. Вяземский получил звание камергера 5 августа 1831 г. Знаком камергерского звания был золотой ключ, который носился на мундире.

[40] *...разом начал 6 стихотворений...* — В 1831 г. Жуковский написал гекзаметрами «Неожиданное свидание» (из Гебеля), «Две были и еще одна», «Сражение с змеем» и «Суд Божий» (из Шиллера), «Сказку о царе Берендее...», «Войну мышей и лягушек».

[41] *Дона Соль* — шутливое прозвище А. О. Смирновой-Россет, отличавшейся южным типом красоты, по имени героини драмы В. Гюго «Эрнани». Видимо, прозвище имело в виду и острословие Россет.

[42] *«Marmion»* — поэма В. Скотта, отрывок из которой под названием «Суд в подземелье» перевел Жуковский.

[43] *Жуковский заступился за вас...* — Речь идет о запрещении журнала И. В. Киреевского «Европеец» (см. вступ. заметку к разделу «И. В. Киреевский» в наст. изд.). В дополнение приводим малоизвестное свидетельство А. П. Елагиной: «Киреевский официально был признан человеком неблагомыслящим и неблагонадежным. Его даже хотели удалить из Москвы, но энергичное заступничество Жуковского спасло его от этого нападения. Между государем и Жуковским произошла сцена, вследствие которой Жуковский заявил, что коль скоро и ему не верят, то он должен тоже удалиться, на две недели приостановит он занятия с наследником престола. Любвеобильным вмешательством государыни Александры Феодоровны прекращены эти неприятности. Государь, встретив Жуковского, обнял его и сказал: „Кто старое помянет, тому глаз вон“» (*РС*. 1894. № 7. С. 337).

[44] Речь идет о попытке Пушкина летом 1834 г. уйти в отставку и переселиться в деревню. Об участии Жуковского в этом деле см.: Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1978. Т. 8. С. 219—247.

[45] 20 декабря 1836 г. Коншин писал Пушкину и просил его содействовать назначению директором училищ Тверской губернии через министра народного просвещения С. С. Уварова (*Пушкин*, т. 16, с. 201). Пушкин, находившийся с Уваровым в конфликте, привлек к этому делу Жуковского, который и помог Н. М. Коншину получить должность.

А. М. Тургенев

Александр Михайлович Тургенев (1772—1862) — герой Отечественной войны 1812 г., один из просвещенных деятелей первой половины XIX в., сначала на военном, а затем и на гражданском поприще (см.: *РС*. 1885. Т. 47. С. 365—373), автор «Записок» о событиях конца XVIII — начала XIX в.

С Жуковским его связывала многолетняя дружба. Их переписка 1833—1851 гг. (там же, 1892. № 11. С. 361—397; 1893. № 1. С. 249—253) — свидетельство глубокой духовной связи. «Ермолафушка» (как называл Жуковский друга) был предметом его постоянных забот. Он помогает ему материально в дни «денежного отлива» (там же, 1892. № 11. С. 365), морально по случаю смерти жены (там же), «готов быть опекуном Ольги [его дочери] делом, а не званием» (там же, с. 367). В письме из-за границы от 12 октября 1841 г., рассказывая о своей женитьбе, Жуковский добавляет: «Одно только знай, что не проходило дня, в который бы я о тебе не думал с любовью, в который бы не желал всем сердцем, чтобы ты был свидетелем моей семейной жизни... До сих пор я все твой по-прежнему и на всю остальную жизнь...» (*РС*. 1885. № 11. С. 428). В 1840-е годы из-за границы он обращается к А. П. Елагиной (*РБ*, с. 113, 116), П. А. Вяземскому (*ПВЖ*, с. 66) с просьбой помнить «старика Ермолафа».

В свою очередь, А. М. Тургенев называл Жуковского «любезный, искренний, истинный друг мой, родной не по телу, родной мне по душе, добрый мой, чистая душа Андреевич» (*РС*. 1893. № 1. С. 249). Он был спутником поэта в Москве в 1837 г., куда Жуковский приехал с наследником, и описал прогулки, свои впечатления в дневнике. Этот дневник с 27 июля по 4 августа имеет обращение к Жуковскому со следующей за ним надписью: «Ермолафия, собственно до тебя относящаяся» (этим семинарским словом, означающим «чепуха», «дребедень», многословная болтовня, иронически озаглавил он свои записки), за что и получил прозвище Ермолаф. Текст этого обращения — своеобразный эпиграф к дневниковым записям:

«На тебя смотрит вся Россия, вся Европа! Первая утешает себя мыслью упования наслаждаться благоденствием, уготованным трудами и попечением твоими при развитии душевных качеств высокого питомца твоего. Вторая знает тебя как знаменитого автора. Ты не принадлежишь сам себе; имя твое будет известно в позднейшем потомстве. Роль твоя à peu près* роль Адашева. В этих отношениях ты ходишь, как говорят, по ножевому острию. Ты всем известен добротою души и сердца твоего. Все знают, что душа твоя светла, как зеркало, с которого и малейшее дуновение мгновенно исчезает. Но знай, что ты имеешь много людей недоброжелательствующих тебе. Всем тем, которых называют у нас родовыми, ты не угоден потому, что у тебя нет трехсаженной поколенной ермолафии...» (Памяти В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя. СПб., 1907. Вып. 1. С. 6—7 второй пагинации).

---

* почти (*фр.*).

<В. А. ЖУКОВСКИЙ В МОСКВЕ В 1837 ГОДУ>

(Стр. 283)

Грот К. Я. В. А. Жуковский в Москве в 1837 году // Памяти В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя. СПб., 1907. Вып. 1. С. 8, 12—14, 17, 20, 27—28, 30—32.

1 *...чистой души Андреевича...* — так Тургенев постоянно называет ласково В. А. Жуковского.

2 *...начал снимать вид...* — Рисование с натуры, особенно пейзажей, было любимым занятием Жуковского во время путешествий. Поэт признавался, что «путешествие сделало меня рисовальщиком» (см.: *РБ*, с. 41—88).

3 *...надгробный камень Осляби и Пересвета...* — Родион Ослябя и Александр Пересвет — герои Куликовской битвы, монахи Троице-Сергиева монастыря; в настоящее время их могила находится на территории московского завода «Динамо».

4 *Лизин пруд* — пруд около Симонова монастыря, в котором, согласно сюжету повести Н. М. Карамзина «Бедная Лиза», утопилась героиня.

5 *...мне навязали Муравьева...* — Речь идет об А. Н. Муравьеве, который, как знаток «древних святынь» Москвы, по протекции Жуковского сопровождал наследника. См. об этом воспоминания А. Н. Муравьева в наст. изд.

ЗАМЕТКА А. М. ТУРГЕНЕВА, НАПИСАННАЯ ПОСЛЕ СМЕРТИ В. А. ЖУКОВСКОГО

(Стр. 287)

РС. 1893. № 1. С. 252—253.

А. А. Кольцов

Алексей Васильевич Кольцов (1809—1842) — поэт, сын воронежского мещанина, торговца скотом. Его знакомство с Жуковским относится к январю 1836 г., когда Кольцов приехал в Петербург хлопотать «по тяжебному делу о землях и пастбищах». Благодаря помощи Жуковского и В. Ф. Одоевского дело было выиграно. Тогда же на «субботах» у Жуковского Кольцов получил его благословение и познакомился с петербургскими литераторами, в том числе с Пушкиным. «Памятником этих вечеров, — вспоминал позднее А. А. Краевский, — осталась картина, изображающая большую часть посетителей, между которыми изображен и Кольцов» (*ЛН*. М., 1952. Т. 58. С. 126). По воспоминаниям того же Краевского, Жуковский «пришел в восторг» от «Думы» Кольцова, а «Пушкин и Жуковский говорят, что ничего не читали выше его стихотворений» (там же, с. 124—125). И позднее Жуковский постоянно помогает Кольцову в его судебных тяжбах и на поэтическом поприще, что нашло отражение в письмах. Кольцов посвятил Жуковскому стих. «Великое слово» (*Совр*. 1838. Т. 11. С. 197).

Апогеем отношений двух поэтов и помощи Кольцову стало посещение Жуковским Воронежа во время путешествия с наследником по России в июле 1837 г. В сознании современников — друзей Кольцова это событие было переломным (см. воспоминания В. Г. Белинского, А. В. Станкевича, А. М. Юдина в кн.: Современники о Кольцове. Воронеж, 1959. С. 48, 83, 93). Память об этом событии сохранил до конца жизни и сам Кольцов. Незадолго до смерти, 27 февраля 1842 г., он писал В. П. Боткину: «И как был Жуковский, он дал мне большой вес...»

Кольцов не оставил специальных мемуаров о Жуковском, но в его письмах «в сладком воспоминании» воскрешаются встречи с поэтом, рождаются живые образы, картины, дополняющие представление о доброте, щедрости первого русского романтика. Эти письма — важная страница в книге воспоминаний о Жуковском.

ИЗ ПИСЕМ

(Стр. 288)

Кольцов А. В. Соч. М., 1984. С. 202—203, 220—222, 237, 252—254, 300, 313.

[1] О пребывании в Воронеже и встречах с Кольцовым в 1837 г. Жуковский писал: «6 июля. Пребывание в Воронеже. В 5 часов с Кольцовым. Рисовал... В гимназии...; 7 июля. Переезд из Воронежа в Елец. Кольцов у меня...» (*Дневники*, с. 337—338).

[2] Кольцов вспоминает «субботы» Жуковского в 1836 г., где он встречался с Пушкиным, Вяземским (*ЛН*, т. 58, с. 126). Что касается Дельвига, умершего в 1831 г., то видеть его Кольцов вряд ли мог.

[3] Подробности этого дела Кольцов излагает в письме к А. А. Краевскому от ноября 1839 г. Оно касалось отца поэта, имевшего «много дурных дел судопроизводных». Жуковский и Вяземский приняли активное участие в урегулировании этого дела.

[4] *...посылаю одну пьеску...* — Речь идет о приложенном к письму стихотворении «Лес» («О чем шумит сосновый лес?..»), напечатанном в *ОЗ* (1840. № 12. С. 114).

[5] В неопубликованных дневниках Жуковского за 1841 г. в записях от 23 и 29 января сообщается о визитах Кольцова, причем во втором случае об этом говорится так: «Утром у меня Кольцов, который стал что-то развязан» (*ЦГАЛИ*. Ф. 198. Оп. 1. Ед. хр. 37. Л. 81 об. — 82).

[6] Жуковский сложно относился к немецкой философии. В одном из писем к А. П. Елагиной от 7/19 февраля 1827 г., не одобряя увлечения И. В. Киреевского Шеллингом, Жуковский говорил: «Я не враг метафизики. Знаю цену высоких занятий ума. Но не хочу, чтобы ум жил в облаках...» (*УС*, с. 103). А в другом письме к ней же (без даты, но примыкающем к предыдущему) разъяснял: «Нам еще не по росту глубокомысленная философия немцев, нам нужна простая, мужественная, практическая нравственная философия, не сухая, матерьяльная, но основанная на высоком, однако ясная и удобная для применения к деятельной жизни» (Татевский сборник. М., 1899. С. 72).

М. Ф. де Пуле

Михаил Федорович де Пуле (1822—1885) — воронежец, преподаватель истории и словесности в Воронежском кадетском корпусе и гимназии, затем инспектор гимназий в Вильно и Полтаве, публицист и критик (подробнее об этой стороне его деятельности см.: *Суворин А. С.* Письма к М. Ф. де Пуле / Публикация М. Л. Семановой // Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1979 год. Л., 1981. С. 114), биограф А. В. Кольцова.

Работу над книгой о Кольцове де Пуле начинает в 1877 г. Сохранились его письма к А. А. Краевскому от апреля — мая 1877 г., где он просит последнего ответить на целый ряд вопросов о петербургской жизни Кольцова, и ответы Краевского (*ЛН*, т. 58, с. 125—126). К 1878 г. книга была закончена. С тех пор это один из важнейших источников для изучения жизни и творчества Кольцова. Страницы о Жуковском, точнее, о приезде Жуковского в Воронеж в 1837 г. — постскриптум к письмам Кольцова и вместе с тем конкретное воспоминание очевидца об одном из многочисленных добрых дел «рыцаря на поле словесности и нравственности», как называли Жуковского.

ИЗ КНИГИ «АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КОЛЬЦОВ В ЕГО ЖИТЕЙСКИХ И ЛИТЕРАТУРНЫХ ДЕЛАХ И В СЕМЕЙНОЙ ОБСТАНОВКЕ»

(Стр. 291)

Де Пуле М. Алексей Васильевич Кольцов в его житейских и литературных делах и в семейной обстановке. СПб., [1878]. С. 93—95.

[1] Лаконичная запись об этом посещении сохранилась в «Дневнике» Жуковского: «В гимназии. Весьма худое помещение. Книга с сочинениями учеников» (*Дневники*, с. 338).

[2] *Константин Иванович Арсеньев* — известный географ и историк, профессор Петербургского университета, с 1841 г. академик, преподавал наследнику статистику и сопровождал его во время путешествия по России. Жуковский высоко ценил его труды и еще в «Обзоре русской литературы за 1823 год» назвал его «Краткую всеобщую географию» «весьма хорошей учебной книгой» (*Эстетика и критика*, с. 314).

[3] В «Дневнике» Жуковский писал о Воронеже: «Город оригинален, на каждом месте вид» (*Дневники*, с. 338). Не случайно он здесь много рисовал: и «сад Петра» (там же, с. 337), и Острожную гору. Его воронежские рисунки были обнаружены и дают представление о заинтересовавших поэта видах (см.: *Корниенко Н. Г.* В. А. Жуковский в Воронеже // Записки воронежских краеведов. Воронеж, 1987. Вып. 3. С. 91—108).

[4] Об этом же говорит в своих воспоминаниях друг Кольцова А. М. Юдин: «Патриарх русских поэтов и сам посетил Кольцова в его доме, во время проезда своего чрез Воронеж с государем наследником. Здесь поручил он Кольцову собирать народные песни...» (Современники о Кольцове. Воронеж, 1959. С. 93). Сохранились тетради с записями песен, которые имеют общий заголовок: «На-

родные песни, собранные Алексеем Кольцовым. Воронеж, 1837» — и которые позднее оказались у П. В. Киреевского (*ЛН*. М., 1968. Т. 79. С. 281—338).

А. И. Герцен

Александр Иванович Герцен (1812—1870) — писатель и общественный деятель, автор мемуарной эпопеи «Былое и думы». Знакомство с Жуковским относится ко времени пребывания поэта с наследником в Вятке (май 1837 г.). Жуковский в течение всего путешествия с наследником старался по возможности облегчить участь ссыльных, талантливых самоучек, бедствующих художников. В Вятке его внимание кроме Герцена привлекли архитектор А. Л. Витберг и художник Д. Я. Чарушин (об этом см.: *Изергина Н. И.* А. И. Герцен и В. А. Жуковский в Вятке // Писатели и Вятский край. Киров, 1976. С. 62). Такая активная доброта Жуковского не могла не вызвать симпатии Герцена. «В знак глубокого почитания» он высылает в декабре 1837 г. Жуковскому напечатанную в местной типографии «Речь, сказанную при открытии Публичной библиотеки для чтения в Вятке» (там же, с. 63). После возвращения из Вятки Герцен неоднократно встречался с Жуковским, и тот постоянно выступал в роли его заступника перед Николаем I. Так, в апреле 1841 г. в связи с перехватом властями письма Герцена к отцу, где он неосторожно передавал уличный слух о том, что «полицейские солдаты режут людей на улицах», последовало распоряжение отправить Герцена снова в ссылку в Вятку. Жуковский предпринимает усилия, чтобы Вятку заменили Новгородом (об этом см.: *Гиллельсон М. И.* Последний приезд Лермонтова в Петербург // Звезда. 1977. № 3. С. 198—199).

Жуковский для Герцена был не только спасителем, добрым человеком, но и великим поэтом. Письма открывают эту грань восприятия Герценом первого русского романтика. Мир поэзии Жуковского входит в раннее творчество писателя. Так, в романе «Кто виноват?» Круциферский читает вслух Любоньке стихотворения Жуковского, и молодые люди «раздували свою любовь Жуковским». Круциферский же «свято верил в действительность мира, воспетого Жуковским»

Отрывки из «Былого и дум» и писем — дань признательности Герцена Жуковскому — человеку и поэту. Написанные непосредственно по следам событий письма и отдаленные временно́й дистанцией мемуары дополняют друг друга.

ИЗ «БЫЛОГО И ДУМ»

(Стр. 293)

Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. 8. С. 294.

[1] Об отношениях ссыльного Герцена с вятским губернатором Тюфяевым см.: *Герцен А. И.* Указ. соч. С. 247, 295—296.

ИЗ ПИСЕМ

(Стр. 294)

Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1961. Т. 21. С. 170—172, 176, 179, 194, 241—243, 258—259, 263, 274, 300, 324, 378; М., 1962. Т. 22. С. 42, 48, 64, 67, 70.

[1] Описание бала в Вятке по случаю посещения ее наследником см.: «Былое и думы» (т. 8, с. 294—295).

[2] Описание своей встречи с Жуковским Герцен положил в основу третьей части несохранившейся повести «Maestri», о которой он постоянно говорит в последующих письмах.

[3] *...прочел я «Ундину» Жуковского...* — Герцен имеет в виду отдельное издание: «Ундина, старинная повесть, рассказанная в прозе бароном Ламот-Фуке, на русском в стихах В. Жуковским» (СПб., 1837).

[4] *«Встреча», которая у тебя...* — Речь идет о повести Герцена «Вторая встреча» («Человек в венгерке»).

[5] О чтении Жуковским повести «Maestri» и пометах в ней говорится в письмах Герцена неоднократно, но следы этого чтения, как и самой повести, не обнаружены.

[6] *..Арсеньев и Жуковский работают...* — К. И. Арсеньев, так же как и Жуковский, сопровождавший наследника, принял участие в облегчении участи ссыльного Герцена. В письмах его имя упоминается неоднократно (см.: *Герцен А. И.* Указ. соч. Т. 21. Указ. имен).

[7] Герцен вновь вспоминает тот день, когда он давал на выставке в Вятке пояснения наследнику и его свите и когда на него обратили они внимание.

[8] Об этом финале Н. А. Захарьина писала так: «Конец „Maestri“ страшен, я только прочитала его с содроганьем» (Сочинения А. И. Герцена и переписка с Н. А. Захарьиной: В 7 т. СПб., 1905. Т. 7. С. 435). А. Л. Витберг писал 15 февраля 1838 г.: «Не знаю, угадал ли я, но думаю, что вымаранные Жуковским слова должны быть те, которыми описали вы карикатурность Тюфяева. Я, по крайней мере, их считал слишком некстати и слишком желчными» (*Герцен А. И.* Указ. соч. Т. 21. С. 551).

[9] А. Л. Витберг встречался с Жуковским в мае 1837 г., когда тот приезжал с наследником в Вятку.

[10] Речь идет о проекте храма-памятника, первоначальный вариант которого разработал Витберг на месте снесенного Девичьего монастыря, на берегу Москвы-реки, близ Каменного моста. Храм был сооружен по проекту архитектора Тона.

[11] *Виделся... с Жуковским...* — Жуковский, сопровождавший Николая I и наследника, находился в Москве с 20 августа по 15 сентября 1839 г. В «Дневнике» за эти дни встреч с Герценом не зафиксировано (*Дневники*, с. 504—505).

[12] В Петербурге Герцен встречался с Жуковским 17 и 20 декабря 1839 г. Видимо, во время этих встреч был разговор и о Витберге. По воспоминаниям сына Витберга, Жуковский предлагал ему просить пенсию в размере тысячи рублей за прежние заслуги, но он отвечал, что так как он лицо обвиненное и оправдаться еще не успел, то не может рассчитывать на пенсию (*Герцен А. И.* Указ. соч. Т. 21. С. 320).

В. К. Кюхельбекер

Вильгельм Карлович Кюхельбекер (1797—1846) — поэт и литературный критик, издатель альманаха «Мнемозина» (совместно с В. Ф. Одоевским), лицейский друг Пушкина, декабрист. Осужденный к 20 годам каторги, он пробыл в разных местах Сибири (Баргузин, Акша, Курган, Тобольск) до самой смерти.

Кюхельбекер рано (по его собственным словам, в 1817 г.) познакомился с Жуковским и сразу же стал его «обожателем». По воспоминаниям Н. А. Маркевича, воспитанника Благородного пансиона при Главном педагогическом институте в Петербурге, где в 1817—1820 гг. преподавал Кюхельбекер, он «Жуковского изучал и давал изучать» (Писатели-декабристы в воспоминаниях современников. М., 1980. Т. 2. С. 291—292). Позднее, в статьях 1824—1825 гг., Кюхельбекер будет полемизировать с Жуковским, обвиняя его в подражательности, распространении унылой элегии. Но в начале 1820-х годов Жуковский был поистине духовным наставником молодого поэта. Кюхельбекер обращается к нему в самые тяжелые минуты жизни, когда думает даже о самоубийстве (*РА*. 1871. № 2). Письмо Жуковского к нему от конца 1823 г. — выражение нравственной философии поэта. Вместе с тем оно — поддержка и опора для Кюхельбекера. «Составьте себе характер, составьте себе твердые правила, понятия ясные; если вы несчастны, боритесь твердо с несчастьем, не падайте — вот в чем достоинство человека! Сделать из себя кусок мертвечины, в котором будут гнездиться несколько минут черви, весьма легко... Как ваш духовный отец, требую, чтоб вы покаялись и перестали находить высокое в унизительном. Вы созданы быть *добрым*, следовательно, должны любить и уважать жизнь, как бы она в иные минуты ни терзала» (*Изд. Семенко*, т. 4, с. 580—581).

В годы ссылки Кюхельбекер видел в Жуковском своего «спасителя из мрака забвения». Поэтому именно к нему обращается в 1839—1840 гг. из Баргузина, а в 1845 г. из Кургана с просьбой походатайствовать о печатании его произведений «хотя бы без подписи своего имени». 22 ноября 1839 г. Жуковский записывает в «Дневнике»: «О Кюхельбекере с Бенкендорфом» (*Дневники*, с. 512), а в письме к шефу жандармов так объясняет свою позицию: «Писать для изгнанника, если он только для того имеет талант, есть великое нравственное лекарство; оно поддерживает душу от совершенного упадка... Мне кажется, что было бы несправедливо отказать в этом Кюхельбекеру» (*РС*. 1902. № 4. С. 107). Общение поэтов, их переписка продолжаются и позднее (см.: *Дубровин*, с. 94—111).

В. К. Кюхельбекер не оставил законченных мемуаров о Жуковском, но отрывки из его «Дневника», воссоздающего напряженную духовную жизнь ссыльного поэта-декабриста, письма, наконец, оригинальная «Молитва господня...» во многом реконструируют текст воспоминаний о «духовном отце» и дополняют представление об отношении Жуковского к ссыльным декабристам.

ИЗ «ДНЕВНИКА»

(Стр. 297)

Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи / Изд. подгот. Н. В. Королева, В. Д. Рак. Л., 1979 (сер. «Лит. памятники»). С. 153, 155, 159, 172, 177, 181, 192, 195, 197, 203, 245, 255, 265, 267, 274—275, 277, 286, 338, 390—392, 396.

[1] Об «Элегии» Андрея Тургенева см. воспоминания М. А. Дмитриева в наст. изд. (примеч. 9).

[2] Речь идет об исторической повести «Вадим Новогородский», опубликованной в *ВЕ* (1803. № 23—24). К словам Жуковского: «Тебе, увядший на заре прелестной, тебе посвящает она [муза] первый звук своей лиры» — сделано следующее редакторское примечание: «Сия трогательная дань горестной дружбы принесена автором памяти Андрея Ивановича Тургенева, недавно умершего молодого человека редких достоинств. — К<арамзин>».

[3] Об отношении Жуковского-арзамасца к сочинениям Хвостова см. примеч. 6 к письму Д. В. Дашкова в наст. изд.

[4] В 1807 г. в *ВЕ* (№ 4—8, 10, 14, 15, 17—19) Жуковским было опубликовано 18 басен, переводов из Флориана и Лафонтена и подборка эпиграмм (№ 4).

[5] Жуковский уделял большое внимание оформлению *ВЕ* в период своего редакторства. Он впервые ввел отдел «Обозрение произведений искусства», к которому прилагал снимки с картин, скульптур. Не исключением были и тома 37—39 *ВЕ* за 1808 г. Они иллюстрированы гравюрами с картин Карафа, Пуссена, Гогарта и т. д.

[6] *В «Певце во стане русских воинов»...* — Ранний вариант произведения Жуковского был напечатан в *ВЕ*. 1812. Ч. 66, № 23—24.

[7] *...еще послание Жуковского к императрице...* — «К ее имп. величеству вдовствующей государыне императрице Марии Феодоровне» (*ВЕ*. 1814. Ч. 73, № 4. С. 283—286).

[8] *...послание к Воейкову...* — Имеется в виду послание «К Воейкову» («Добро пожаловать, певец...»), см.: *ВЕ*. 1814. Ч. 74, № 6. С. 97—106; оно имело огромный успех, так как в нем Жуковский воссоздал мир русских сказок, дал яркие зарисовки Кавказа.

[9] Тема судьбы, рока — одна из устойчивых в поэтическом мировоззрении Жуковского (см.: *БЖ*, ч. 1, с. 201—207, 301—331).

[10] *...посланием к Батюшкову!* — «К Батюшкову» (*ВЕ*. 1813. № 5. С. 32; с подзаголовком: «В мае 1812»). Ответ на стих. К. Н. Батюшкова «Мои пенаты. Послание к Ж<уковскому> и В<яземскому>».

[11] *...перевод Шиллеровой баллады...* — «Граф Габсбургский» (*ВЕ*. 1818. Ч. 100, № 13. С. 17—22).

[12] *...эпилог к своей поэме...* — Речь идет о поэме «Юрий и Ксения» Кюхельбекера.

[13] Жуковский активно пользовался октавой в произведениях 1817—1819 гг. («Опять ты здесь, мой благодатный гений...» — посвящение к «Двенадцати спящим девам», элегия «На кончину ея величества королевы Виртембергской», «Цвет завета», «Утро на горе» и др.).

[14] *«Наташа» Катенина* — *СО*. 1815. Ч. 21, № 13. С. 16—18. Именно баллады Катенина были в полемике 1816 г. противопоставлены балладам Жуковского.

[15] *...сказка Глинки...* — «Бедность и Труд» Ф. Н. Глинки.

[16] *...Жуковский перевел несколько Гетевых оттав...* — Речь идет о вступлении к поэме «Двенадцать спящих дев» («Опять ты здесь, мой благодатный гений...»), переводе посвящения первой части «Фауста» Гете. Было напечатано отдельно, под названием «Мечта» (*СО*. 1817. Ч. 29, № 32) и прямо предшествовало публикации «Осеннего чувства» Ф. Глинки (*СО*. 1817. Ч. 41, № 42).

[17] *Описание несчастий фон Б...в...* — Эпизод о трагическом положении чиновника фон Б., посаженного в тюрьму за долги, о сборе пожертвований в его пользу (*СО*. 1820. Ч. 60, № 11).

[18] *«Отчет о луне»* — стих. «Подробный отчет о луне, представленный ее имп. величеству государыне императрице Марии Феодоровне 1820 июня 18 в Павловске» (отд. изд. — СПб., 1820).

[19] *Отрывок «Цеикс и Гальциона».* — Имеется в виду перевод Жуковского из «Превращений» Овидия (*СО*. 1821. Ч. 68, № 9. С. 73—92).

[20] *«Отчет о солнце»* — стих. Жуковского «О солнце. Ее имп. величеству государыне императрице Марии Феодоровне в июне 1819 года» (*СО*. 1821. Ч. 67, № 1. С. 21—31).

[21] *«Жизнь»* — стих. В. А. Жуковского (*СО*. 1821. Ч. 67, № 6. С. 271—274).

[22] *Статья Одоевского (Александра)...* — Речь идет о статье «О трагедии „Венцеслав", сочинения Ротру, переделанной г. Жандром» А. И. Одоевского (*СО*. 1825. Ч. 99, № 1. С. 100—105). Отрывки из переделки Жандра были опубликованы в альманахе «Русская Талия» на 1825 г., в то время как отрывки из «Орлеанской девы» Жуковского печатались в «Полярной звезде» на 1823 и 1824 гг., а первое действие «Аргивян» (пролог) в «Мнемозине» на 1824 г.

[23] Имеется в виду перевод Жуковского «Божий суд» (1831) // Библиотека для чтения. 1834. Т. 6, отд. 1. С. 11—15.

[24] *4-е издание* — Стихотворения В. А. Жуковского. СПб., 1835—1844. Т. 1—9.

[25] *Переделка «Батрахомиомахии»...* — Имеется в виду сказка Жуковского «Война мышей и лягушек» (1831). Далее Кюхельбекер называет ее «Кот Мурлыка».

[26] Перечисляются следующие переводы Жуковского: «Перчатка» (из Шиллера), «Неожиданное свидание» (из Гебеля), «Две были и еще одна» (из Саути и Гебеля), «Красный карбункул» (из Гебеля).

[27] *Царевич Белая Шубка* — персонаж сказки Жуковского «Война мышей и лягушек».

[28] *...письмо от Жуковского из Дармштадта...* — 17/29 июля 1840 г. Жуковский писал Плетневу: «...передайте приложенное письмо генералу Дубельту. В нем находится письмо к Кюхельбекеру, которому я не успел написать при отъезде моем за границу; но это письмо лежит у меня на сердце...» (*Изд. Семенко*, т. 4, с. 641).

[29] *«Воздушный корабль»... Зейдлица* — стихотворение М. Ю. Лермонтова, подражание балладам австрийского поэта Ж.-Х. Цедлица «Die nachtliche Heerschdu» («Ночной смотр») и «Das Geisterschiff» («Корабль-призрак»). Первую балладу из Цедлица (а не Уланда, как говорит Кюхельбекер) перевел Жуковский в 1836 г.

ИЗ ПИСЕМ

(Стр. 301)

I. *РА*. 1871. Т. 1. Стб. 0174—0175; II. *РА*. 1871. № 2. Стб. 0178—0179; III. *PC*. 1902. № 4. С. 108.

[1] *«Вадим»* — вторая баллада из поэмы Жуковского «Двенадцать спящих дев», над которой поэт работал в 1814—1817 гг. Посвящена Д. Н. Блудову.

[2] Об этом см. воспоминания Н. А. Маркевича в кн.: Писатели-декабристы в воспоминаниях современников. М., 1980. Т. 2. С. 291—292.

[3] Речь идет, видимо, о критическом отношении декабристов к поэзии Жуковского в 1823—1825 гг., которое разделял и Кюхельбекер.

[4] В 1825 г. возобновляются контакты поэтов, о чем свидетельствует письмо-записка Жуковского к Кюхельбекеру от второй половины 1825 г.: «Благодарю вас за ваш подарок. Но на предложение ваше, к сожалению, должен отвечать: нет. Не имею времени заняться переводом „Макбета", как бы ни приятно было потрудиться вместе с вами...» (*Изд. Семенко*, т. 4, с. 586).

[5] *...Поэзия есть добродетель!* — цитата из стих. «К кн. Вяземскому и В. Л. Пушкину» («Друзья, тот стихотворец-горе...»).

[6] См. примеч. 28 к «Дневникам» Кюхельбекера.

[7] Имеется в виду квартира на Невском проспекте (дом Блудовой, Литейная часть, д. 177). См.: *Иезуитова*, с. 289.

[8] ...*«Для немногих»*... — Пять выпусков альманаха «Для немногих. Für wenige» вышли в Москве в апреле — мае 1818 г. небольшим тиражом. Сюда вошли лучшие переводы Жуковского.

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ, ОБЪЯСНЕННАЯ СТАРИКОМ УЧИТЕЛЕМ СВОЕЙ ДВЕНАДЦАТИЛЕТНЕЙ УЧЕНИЦЕ

(Стр. 303)

ЛН. М., 1954. Т. 59. С. 512. Рукопись — Отдел письменных источников Гос. Исторического музея (шифр 74279). Датируется 1845 г.

Н. И. Лорер

Николай Иванович Лорер (1795—1873) — декабрист. Приговорен к 12 годам каторги, срок которой был сокращен до 8 лет. С 1832 г. находился на поселении в Кургане. В 1837 г. переведен рядовым на Кавказ, в 1840 г. за отличие в боях произведен в прапорщики. Н. И. Лорер был родным дядей А. О. Смирновой-Россет.

В 1862—1865 гг. Лорер, живя в имении брата, в селе Водяном Херсонской губернии, записывал свои воспоминания о прошлом. Лорер славился умением рассказывать. «Лорер был такой искусный рассказчик, — писал М. Бестужев, — какого мне не случалось видеть» (Воспоминания Бестужевых. М.; Л., 1951. С. 263). Этот дар отразился и в его «Записках», которые были напечатаны с купюрами в *РА* (1874) и «Русском богатстве» (1904). Полный текст «Записок декабриста» Н. И. Лорера вышел лишь в советское время, подготовленный к печати и прокомментированный М. В. Нечкиной (М., 1931). Ею же подготовлено и 2-е издание (Иркутск, 1984).

Эпизод о встрече ссыльных декабристов в Кургане с В. А. Жуковским в 1837 г. занимает особое место в «Записках» Лорера. И дело было не в том, что последовала «амнистия» — отправка на Кавказ, которая не особенно облегчила

участь ссыльных. Важнее было нравственное значение свидания. Декабристы в лице Жуковского почувствовали, что мыслящая Россия помнит о них; они прикоснулись к событиям последних лет. «Целая ночь пролетела незаметно для нас» — эти слова косвенно свидетельствуют о родстве душ. Отрывок из «Записок» в совокупности с дневниковыми и эпистолярными источниками приоткрывает важную страницу общественной деятельности Жуковского, то, чему Пушкин дал точное определение: «и милость к падшим призывал».

ИЗ «ЗАПИСОК ДЕКАБРИСТА»

(Стр. 304)

Лорер Н. И. Записки декабриста. 2 изд. / Подгот. М. В. Нечкиной. Иркутск, 1984. С. 176—178.

[1] Об отношениях Жуковского и Бригена см. во вступ. заметке к разделу «А. Ф. Бриген» в наст. изд.

[2] Дневниковые записи показывают, что отношение Жуковского к Сибири не было уж столь благодушным: он увидел произвол, злоупотребление властью в «горных промыслах». Записи «О состоянии Сибири», «О ссыльных», «О составе сибирского общества», «Ужасное состояние острога и больницы ссыльных», «нынешнее безнаказанное состояние» (*Дневники*, с. 323—325) свидетельствуют о достаточно трезвом взгляде поэта на сибирскую жизнь.

[3] *Елизавета Петровна* — жена декабриста М. М. Нарышкина.

А. Е. Розен

Андрей Евгеньевич Розен (1799—1884) — декабрист. Был осужден по пятому разряду и приговорен к каторжным работам на 10 лет. Каторгу отбывал в Чите и Петровском заводе, жил на поселении с 1832 г. в Кургане. В июле 1837 г. определен рядовым в Кавказский отдельный корпус, в январе 1839 г. вышел в отставку по болезни с позволением поселиться в имении брата в Эстляндской губернии.

«Записки» Розена появились на немецком языке в Лейпциге в 1869 г. Русское издание (*Розен А. Е.* Записки декабриста. СПб., 1870) было подвергнуто аресту и не поступило в продажу. Полный текст на русском языке впервые появился в Лейпциге в 1870 г. без упоминания имени автора.

Эпизод о встрече с Жуковским в Кургане дополняет рассказ Н. И. Лорера. Это еще один факт действенного гуманизма поэта. Положение Розена осложнялось тем, что он сильно вывихнул ногу и ходил на костылях. В «Дневнике» (запись от 6 июня 1837 г.) Жуковский отмечает: «У меня Розен. Его изломанная нога. Необходимость съездить в Тобольск» (*Дневники*, с. 322). Об этом же он пишет императрице (*Изд. Ефремова*, т. 6, с. 306). Хлопоты Жуковского не остались без последствий: как замечает Розен, «приехал корпусный штаб-доктор с предписанием от генерал-губернатора освидетельствовать меня» (*Розен А. Е.*

Указ. соч. С. 318). Последующее переселение на Кавказ Розен тоже воспринял как благо, ибо оно давало возможность «вывезти из Сибири жену и детей» (там же).

ИЗ «ЗАПИСОК ДЕКАБРИСТА»

(Стр. 306)

Розен А. Е. Записки декабриста / Изд. подгот. Г. А. Невелевым. Иркутск, 1984. С. 314—316.

[1] *Жена Розена* — дочь директора Царскосельского лицея В. Ф. Малиновского, Анна Васильевна, последовавшая в 1830 г. за мужем в Сибирь, вполне могла встречаться с Жуковским в Царском Селе.

[2] «Ундина» Жуковского вышла отдельным изданием в начале 1837 г. Уже в июне о ней писал из Вятки А. И. Герцен (см. письмо к Н. А. Захарьиной в наст. изд.). Вероятно, ко времени прибытия Жуковского в Курган (6 июня 1837 г.) она дошла и туда.

[3] А. И. Одоевский в это время находился в ссылке в Тобольске. Жуковский мог познакомиться со стихотворениями Одоевского по публикациям их в «Литературной газете» и «Северных цветах» (1831; без автора). Публикацию подготовили П. А. Вяземский и А. А. Дельвиг.

[4] См. примеч. к «Запискам декабриста» Н. И. Лорера в наст. изд.

[5] Ср. с «Дневниками» Жуковского: «Выезд мой из Тюмени был несчастный. В толпе народа, стремившегося за в<еликим> к<нязем>, женщина подвернулась под лошадей, и ее ушибло колесом. Я оставил ее на руках нашего подлекаря; не знаю еще, что он скажет. Городничему дано 200 рублей для леч<ения>. Но этого мало» (*Дневники*, с. 321, примеч. 2).

[6] Об этом письме неизвестно. О ссыльных декабристах он постоянно ходатайствовал перед имп. Александрой Федоровной. Подробнее см.: *Дубровин*, с. 45—119.

М. Я. Диев

Михаил Яковлевич Диев (1794—1866) — протоиерей, исследователь старины и быта Костромского края. По окончании курса учения в Костромской семинарии был посвящен в священники Успенской церкви с. Тетеринского. Член Имп. общества истории и древностей Российских, с 1830 г. — сотрудник Общества любителей российской словесности. Награжден дипломом Исторического общества за сочинение «История владык Новгородских». Диев помогал И. М. Снегиреву в его этнографических и фольклорных разысканиях, был в переписке с митрополитом Евгением Болховитиновым (см.: *Полетаев Н.* Протоиерей М. Я. Диев и его историко-археологические и этнографические труды. Кострома, 1891). Ученые труды доставили Диеву сан протоиерея, но вызвали неудовольствие со стороны непосредственного начальства.

В воспоминаниях Диев прежде всего говорит о своих благодетелях. Поэтому и весь эпизод встречи с Жуковским, рассказ о его помощи включен в ряд человеческих благодеяний. Ценность рассказа Диева определяется и тем, что в «Дневниках» Жуковского между записями от 12 мая и 15 мая 1837 г. — пробел. Воспоминания священника Диева восполняют его. В общем ряду хлопот, заступничества, помощи Жуковского во время путешествия с наследником в 1837 г. история протоиерея небезынтересна.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ «БЛАГОДЕТЕЛИ МОИ И МОЕГО РОДА»

(Стр. 308)

Благодетели мои и моего рода: Воспоминания священника Михаила Диева / С предисл. А. А. Титова // *РА*. 1891. № 5. С. 66—67. Автограф: *ИРЛИ*. Ф. 265. Оп. 2. Ед. хр. 3691.

[1] Имеется в виду соч. М. Диева «История владык Новгородских».

[2] В «Автобиографии» (раздел «Прошедшая жизнь») Жуковский упоминает Бошняка (*Дневники*, с. 41). А. К. Бошняк действительно был сокашником Жуковского и Тургеневых. Он много занимался ботаникой, и Жуковский даже предрекал ему славу «русского Бюффона» (*РС*. 1879. Т. 26. С. 214—215).

[3] Рядом с фамилией Бошняка в упоминавшейся выше «Автобиографии» имеется запись: «М. Семеновна» (*Дневники*, с. 41), которая никак не комментируется издателем «Дневников» И. А. Бычковым. Думается, воспоминания Диева дают возможность говорить, что речь идет о Марии Семеновне Аже.

А. Н. Муравьев

Андрей Николаевич Муравьев (1806—1874) — поэт, драматург, автор книги духовного содержания, мемуарист. В 1820-х годах — член литературного кружка С. Е. Раича, близкого к любомудрам, в 1836 г. — сотрудник пушкинского *Совр*.

Знакомство Муравьева с Жуковским относится к 1831 — началу 1832 гг. 18 июня 1832 г. Муравьев упомянут в дневнике Жуковского среди других лиц (Вьельгорский, Вяземский, Пушкин), провожавших поэта за границу (*Дневники*, с. 218). В 1837 г. Жуковский, встретив Муравьева в Полотняном заводе, куда он заехал навестить Н. Н. Пушкину, увез его с собой в Москву, познакомил с великим князем и воспользовался его услугами в качестве экскурсовода по «святым местам» столицы. В библиотеке Жуковского сохранились основные сочинения Муравьева (*Описание*, 233—235). В неопубликованном дневнике Жуковского 1838—1841 гг. есть запись о чтении книги Муравьева «Путешествие по Святым местам в 1830 году» со следующим комментарием: «Ее восторженный тон мешает делу: мало остается в уме фактического. Надобно более простоты исторической» (*ЦГАЛИ*. Ф. 198. Оп. 1. Ед. хр. 37. Л. 24). Накануне своего отъезда за границу в 1841 году Жуковский несколько раз виделся с Муравьевым в Петербурге и в Москве (*Дневники*, с. 501, 515).

Воспоминания Муравьева о его знакомстве с русскими поэтами, написанные в конце 1860-х годов на основе его записок 1820—1830-х годов, отличаются точностью. При этом они отмечены определенной тенденциозностью: будучи глубоко религиозным человеком, Муравьев склонен акцентировать эту грань мировоззрения и личности тех писателей, литературные портреты которых он дает в своих воспоминаниях. Жуковский предстает в мемуарах Муравьева идеальным христианином, и это вряд ли стоит рассматривать как искажение истинного облика поэта: в этом восприятие его личности Муравьевым перекликается со многими свидетельствами современников Жуковского.

ИЗ КНИГИ «ЗНАКОМСТВО С РУССКИМИ ПОЭТАМИ»

(Стр. 309)

Муравьев А. Н. Знакомство с русскими поэтами. Киев, 1871. С. 17—19, 25—26, 31.

[1] *...в доме тетушки...* — Имеется в виду Е. Ф. Муравьева, вдова поэта и историка М. Н. Муравьева, дом которой Жуковский посещал постоянно. С ней он разделял заботы о больном Батюшкове, племяннике Е. Ф. Муравьевой; в письмах 1826—1827 гг. к Е. Г. Пушкиной он беспокоится о самочувствии матери декабристов А. М. и Н. М. Муравьевых (*Изд. Ефремова*, т. 6, с. 480).

[2] Записки о путешествии А. Н. Муравьева на Восток вышли в 1832 г.

[3] Имеется в виду митрополит Московский Филарет (Василий Дроздов); 24 июля 1837 г. он произнес приветственную речь, обращенную к наследнику престола, которая произвела большое впечатление на Жуковского (*Изд. Ефремова*, т. 6, с. 309).

[4] Трагедия А. Н. Муравьева «Битва при Тивериаде» шла на сцене Александрийского театра 13 и 20 октября 1832 г. Отрывок из трагедии был опубликован во 2-м номере пушкинского *Совр*.

[5] Письмо Жуковского И. И. Козлову, которое имеет в виду Муравьев, написано 27 декабря/8 января 1833 г. из Верне (см.: *Изд. Семенко*, т. 4, с. 598—601). Но еще до этого между Жуковским и А. Н. Муравьевым состоялся обмен письмами: 30 октября/12 ноября Жуковский получил письмо от Муравьева, а 2/14 декабря «писал Муравьеву» (*Дневники*, с. 250).

[6] Описываемые события относятся к 1834—1836 гг. Насколько Муравьев точен в своих воспоминаниях о составе посетителей Козлова, свидетельствует запись в дневнике Жуковского от 19 января 1840 г., сделанная за несколько дней да смерти Козлова: «Вечер у Козлова с гр. Лаваль и Муравьевым» (*Дневники*, с. 515).

[7] Ошибка памяти Муравьева: стихи на этот сюжет написал не Козлов, а Жуковский (см.: *БЖ*, ч. 1, с. 201—206).

[8] Ср. запись в днёвнике Жуковского от 29 июля 1837 г.: «В половине первого отправился на Полотняный завод после грозы. <...> Нашел Андрея Муравьева. Антресоли. Негодный бюст Пушкина; внизу галерея, терраса и регулярный сад...» (*Дневники*, с. 343—344).

[9] Жуковский переселился из Франкфурта в Баден-Баден во второй половине 1848 г., а работа над переводом «Одиссеи» была закончена в апреле 1849 г.; следовательно, в чем-то Муравьев ошибается, скорее всего во времени окончания работы над «Одиссеей».

[10] Имеется в виду сказка «Кот в сапогах» (1845), стихотворное переложение известной сказки Ш. Перро.

[11] Имеется в виду последняя поэма Жуковского «Агасфер, или Странствующий жид» (1851—1852), над которой Жуковский начинал работу в 1831 г. и которую смерть помешала ему закончить.

Я. К. Грот

Яков Карлович Грот (1812—1893) — филолог, историк литературы, друг и постоянный адресат П. А. Плетнева, через которого в начале 1838 г. и познакомился с Жуковским. Многолетняя переписка Плетнева и Грота (см. в наст. изд.), в которой Жуковский едва ли не главная фигура, стала для будущего историка литературы источником знаний о поэте, изложенных с таким увлечением близко знавшим Жуковского учителем.

К столетнему юбилею Жуковского Грот создает «Очерк жизни и творчества Жуковского» (1883). Это сочинение — изложение академической речи Грота — дает представление о поэте, его творчестве, но не включает мемуарного материала. Восполняя этот пробел, при публикации «Очерка...» Я. К. Грот снабдил его примечаниями, написанными «по собственным воспоминаниям». Точность их подтверждается перепиской Жуковского и Плетнева 1840-х годов, где говорится о Гроте. Краткие воспоминания Грота дополняют портрет Жуковского — наставника молодых талантов, ходатая, популярного поэта.

ИЗ ПРИМЕЧАНИЙ К «ОЧЕРКУ ЖИЗНИ И ПОЭЗИИ ЖУКОВСКОГО»

(Стр. 312)

Очерк жизни и поэзии Жуковского / Сост. Я. К. Гротом. СПб., 1883. С. 29—31.

[1] Гротовский перевод «Мазепы» Байрона удостоился похвалы Жуковского. См.: К биографии Якова Карловича Грота. СПб., 1895. С. 7.

[2] Встретиться с Тегнером Жуковскому, видимо, не удалось, так как в дневнике в записях о пребывании в Швеции имя Тегнера не упоминается (*Дневники*, с. 382—386).

[3] В письме к Плетневу от 4/16 ноября 1838 г. из Венеции Жуковский просил его «передать приложенный манускрипт нашему молодому поэту», которого он побуждал «убедительно продолжать прекрасный труд сей и не выпускать его из рук, пока его поэтическая совесть не будет совершенно в ладу сама с собою» (Изв. Отд. рус. яз. и словесности. СПб., 1901. Т. 6, кн. 2. С. 19). В ответе Жуковскому Плетнев писал: «Манускрипт Гроту я доставил. Он в восхищении

от вашего одобрения — выпросил у меня позволение переписать для себя ваше письмо ко мне» (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома, 1980. Л., 1984. С. 119). В 1841 г. перевод Грота выходит отдельной брошюрой (Фритиоф, скандинавский богатырь / Поэма Тегнера в русском переводе Я. Грота. Гельсингфорс, 1841), а уже 2 июня 1841 г. Плетнев сообщает Жуковскому: «Но думаю, что истинное доставил вам удовольствие присылкою „Фритиофа", что мне поручил Грот» (там же, с. 124). В библиотеке Жуковского сохранился, видимо, этот экземпляр, к сожалению без обложки, где могла быть дарственная надпись (*Описание*, № 398).

[4] *...положенное на музыку стихотворение «Дубрава шумит».* — Существовало два романса на слова стих. Жуковского «Тоска по милом»: А. Н. Верстовского (1827) и М. И. Глинки (1833), который озаглавил его «Дубрава шумит». Но так как речь идет о времени, когда еще не появился романс Глинки (Грот учился в Лицее в 1826—1832 гг.), то, видимо, пели лицеисты романс Верстовского, который появился почти одновременно с кантатою «Черная шаль» на стихи Пушкина того же композитора.

Т. Г. Шевченко

Тарас Григорьевич Шевченко (1814—1861) — украинский поэт и художник, революционный демократ. В 1838 г. был выкуплен из крепостной неволи. Окончил Петербургскую академию художеств (1838—1845). За участие в тайном Кирилло-Мефодиевском обществе арестован и отдан в солдаты (1847—1857). В 1840 г. в Петербурге вышел единственный сборник его стихов «Кобзарь».

Жуковский занимает особое место в биографии украинского поэта. Он был одним из его освободителей от крепостной зависимости. История с портретом Жуковского, написанным К. Брюлловым и разыгранным в лотерею, воссоздана самим Шевченко в автобиографической повести «Художник», А. Мокрицким в «Записках художника», Жуковским в письме к Ю. Барановой. С нее начались непродолжительные контакты двух поэтов. Их связывала и общая любовь к живописи.

Дневниковые записи Шевченко 1839 г. и отрывок из письма редактору журнала «Народное чтение» вносят дополнительные штрихи в общую, еще далеко не восстановленную картину отношений русского романтика и украинского поэта-демократа. Но и они важны для понимания личности Жуковского-гуманиста, собирателя и знатока живописи.

ИЗ «ДНЕВНИКА»

(Стр. 314)

Шевченко Т. Г. Собр. соч.: В 5 т. М., 1965. Т. 5. С. 54—55. Датировано 10 июля 1857 г.

[1] Жуковский в это время пристрастился к собиранию рисунков и гравюр, которые покупал во время путешествия по Италии и Германии. По воспомина-

ниям С. Т. Аксакова, «рисунки эти хранились в особом альбоме, оценивавшемся в то время в 40 000 руб.» (*Аксаков С. Т.* История моего знакомства с Гоголем. М., 1960. С. 32). Особую любовь Жуковский испытывал к живописи «назарейцев», наиболее яркими представителями которых были Корнелиус, Овербек, Фюрих, Кох и др.

[2] Отношение Жуковского к творчеству К. Брюллова было в основном положительным. Он видел в нем главу русской школы живописи и, видимо, не случайно, по воспоминаниям учеников Брюллова, называл его Карлом Великим. Но вместе с тем он не идеализировал его направление. Так, в дневнике (запись от 6/18 мая 1833 г.) он в связи с «Последним днем Помпеи» замечает: «Его картина и талант: он в опасности избрать ложный путь» (*Дневники*, с. 288). По словам А. Н. Струговщикова, Жуковский не видел «в этой картине исторического, стоящего особенного внимания момента, потому что тут действует природа, которой трагикомедии необъяснимы...» (*РС*. 1880. Т. 27. С. 190—191).

[3] Оценка живописи Бруни во многом совпадает с мнением самого Жуковского. В его картинах он видит «толпу фигур, без мысли», не находит «локальной истины» (*Дневники*, с. 294).

ИЗ ПИСЬМА РЕДАКТОРУ ЖУРНАЛА «НАРОДНОЕ ЧТЕНИЕ»

(Стр. 315)

Шевченко Т. Г. Указ. соч. С. 248. Впервые: Народное чтение. 1860. Кн. 2. С. 229—236.

[1] Об обстоятельствах освобождения Шевченко и участии в нем Жуковского см. воспоминания А. Н. Мокрицкого в наст. изд. Безусловный интерес также представляет письмо Жуковского к Ю. Ф. Барановой от апреля 1838 г. (*РС*. 1902. № 4. С. 128—132).

А. В. Никитенко

Александр Васильевич Никитенко (1805—1875) — литературный критик, профессор русской словесности Петербургского университета, впоследствии академик, с 1833 г. — цензор. Автор «Дневника» — ценнейшего источника о литературно-общественной жизни XIX в. Имя Жуковского неоднократно и по разным поводам упоминается в «Дневнике». В этом смысле «Дневник» — своеобразная летопись встреч двух деятелей русской культуры. В неопубликованном дневнике Жуковского за 1840—1841 гг. есть две записи об этих встречах: «30/12, суббота, [ноября 1840]. Утро дома. У меня Никитенко. Печальные вести об университете...»; «13/25, воскресенье [апреля 1841]. <...> Никитенко, которого родные получили свободу...» (*ЦГАЛИ*. Ф. 198. Оп. 1. Ед. хр. 37. Л. 72, 94 об.). Эти лаконичные записи уточняют и проясняют характер взаимоотношений Жуковского и Никитенко.

После смерти поэта А. В. Никитенко написал о нем статью «В. А. Жуковский со стороны его поэтического характера деятельности» (*ОЗ*. 1853. Т. 86.

№ 1, отд. 2. С. 1—36), получившую признание современников. Заканчивается статья следующими словами: «...Жуковский был высоким нравоучителем своего поколения... Творения Жуковского были такою школою вкуса, в которой, вместе с чистыми понятиями о прекрасном, мы все, в лучшую, плодотворнейшую пору жизни почерпали светлые идеи о достоинстве и назначении жизни» (там же, с. 36). Эти слова вполне подтверждаются записями Никитенко в «Дневнике», где прежде всего раскрывается нравственный облик поэта.

ИЗ «ДНЕВНИКА»

(Стр. 316)

Никитенко А. В. Дневник: В 3 т. / Подгот. текста, вступ. статья и примеч. И. Я. Айзенштока. М.: Гослитиздат, 1955. Т. 1. С. 132, 198—199, 219—220, 230—231, 266, 353, 357—358, 423—424, 439, 443, 458, 466.

[1] *...драму «Россия и Баторий».* — Имеется в виду: Россия и Баторий: Историческая драма в 5-ти действиях / Соч. барона Розена. СПб., 1833.

[2] Следы редакторской работы В. А. Жуковского сохранились в архиве (*РНБ*. Ф. 286. Оп. 1. Ед. хр. 26. Л. 152—155 об.) и библиотеке поэта (*Описание*, № 328). В экземпляре трагедии «Россия и Баторий» Жуковский вычеркивает целый ряд сцен, делая ее более сценичной, а с другой стороны — пригодной для цензуры, хотя трагедия так и не была поставлена. Подробнее о Жуковском — редакторе трагедий Розена см.: *БЖ*, ч. 1, с. 126—128.

[3] *Мне жаль князя...* — Речь идет о председателе цензурного комитета князе М. А. Дондукове-Корсакове. В записи от 30 марта 1837 г. Никитенко рассказывает о том, как «держал бой с председателем цензурного комитета князем Дондуковым-Корсаковым за сочинения Пушкина, цензором которых я назначен» (*Никитенко А. В.* Указ. соч. Т. 1. С. 198).

[4] *...к изданным уже семи томам.* — Здесь Никитенко неточен: первое посмертное собрание сочинений Пушкина (СПб., 1838) включало восемь томов.

[5] *...новых сочинений три тома.* — Имеются в виду три дополнительных тома к первому посмертному собранию сочинений Пушкина (СПб., 1841. Т. 9—11).

[6] Задуманная Никитенко книга характеристик русских поэтов не была осуществлена. Характеристику Батюшкова, которую «очень хвалил» Жуковский, Никитенко напечатал в «Одесском альманахе на 1840 год» (с. 458—462).

[7] Видимо, жалобы Жуковского относятся к статье В. Г. Белинского по поводу «Бородинской годовщины» Жуковского (*ОЗ*. 1839. № 9, отд. VII. С. 1—13), где о Жуковском говорится как о «знаменитом поэте, лавровенчанном ветеране нашей поэзии».

[8] Жуковский приехал из Москвы, куда уезжал для прощания с родными и близкими перед отъездом за границу, днем 21 марта (см. неопубликованный дневник: *ЦГАЛИ*. Ф. 198. Оп. 1. Ед. хр. 37. Л. 89 об.).

[9] Об этом Жуковский записал в дневнике: «Никитенко, которого родные получили свободу...» (там же, л. 94 об.).

[10] Перевод Жуковским эпизода «Наль и Дамаянти» из «Махабхараты» сделан с немецкого переложения Ф. Рюккерта (*Описание*, № 1986). Как показывают рукописи, Жуковский работал над переводом повести с 21 мая 1837 г. по 16 де-

кабря 1841 г. (*Изд. Вольпе*, т. 2, с. 545). Вышла в свет повесть отдельной книгой: Наль и Дамаянти / Индейская повесть В. А. Жуковского; рисунки по распоряжению автора выполнены г. Майделем. Изд. Фишера, 1844.

[11] *...читал... мою статью о Жуковском.* — Речь идет о статье «В. А. Жуковский со стороны его поэтического характера и деятельности».

[12] *...обещал ее Краевскому.* — А. А. Краевский — редактор журнала «Отечественные записки», где статья была напечатана.

[13] *...посмертных сочинений Жуковского, которые хотят издать.* — Речь идет о пятом издании сочинений Жуковского (Пб., 1849—1857. Т. 1—12).

А. Н. Мокрицкий

Аполлон Николаевич Мокрицкий (1810—1870) — художник, ученик А. Г. Венецианова и К. П. Брюллова, впоследствии академик живописи. Автор «Дневника», записи в котором относятся к 1834—1840 гг. Имя В. А. Жуковского появляется на его страницах в 1836—1838 гг. при изложении двух взаимосвязанных событий: истории создания его портрета Брюлловым и освобождения Т. Г. Шевченко из крепостной неволи. «Старательный ученик и восторженный почитатель Великого Карла», Мокрицкий смотрит на Жуковского больше как на натуру для портрета Брюллова, тем более он сам копировал этот портрет, участвовал в написании картины «Субботнее собрание у В. А. Жуковского». Но его специфический взгляд небезынтересен: в «Дневнике художника» раскрывается не только внешний облик поэта, но и его душа, действенный гуманизм. Эскизные заметки Мокрицкого — дополнение к общему портрету Жуковского периода гибели Пушкина и путешествия с наследником по России.

ИЗ «ДНЕВНИКА ХУДОЖНИКА»

(Стр. 321)

Дневник художника А. Н. Мокрицкого / Сост., вступ. статья и примеч. Н. Л. Приймак. М., 1975. С. 88, 111, 114—116, 136—137, 144, 151—155.

[1] *...экземпляр Милленя от переводчика.* — Речь идет о переведенной М. Д. Киреевым с французского книге А. Л. Милленя «Мифологическая галерея, или Собрание памятников, служащих к изучению олицетворенной искусствами древности» (СПб., 1836).

[2] *Барон Брамбеус* — литературный псевдоним О. И. Сенковского, писателя и журналиста, редактора журнала «Библиотека для чтения», где печатались Жуковский и Пушкин.

[3] *...письмо, писанное Жуковск<им> к отцу Пушкина.* — Известное письмо к С. Л. Пушкину от 15 февраля о последних часах жизни Пушкина было написано в расчете на широкое распространение. В нем Жуковский использовал свидетельства друзей, записки врачей и составил, как говорил П. А. Вяземский, «общую реляцию из очных наших ставок» (*РА*. 1879. Кн. 2. С. 247).

[4] *Василий Иванович* — В. И. Григорович, земляк и покровитель Мокрицкого, издатель «Журнала изящных искусств» (1823—1825), экземпляры которого с дарственными надписями Григоровича есть в библиотеке Жуковского (*Описание*, № 137).

[5] Современники высоко оценили этот портрет. Так, Гоголь утверждал: «Это лучший из портретов, написанных с Жуковского» (*ОЗ*. 1855. Т. 12. С. 182). Портрет был разыгран в лотерее «между императорской фамилии» в апреле 1838 г. Но отпускную Шевченко выкупили у помещика ранее получения денег из дворца, в результате розыгрыша копии портрета, сделанной Н. Д. Быковым. Ныне этот портрет работы Брюллова находится в Киевском гос. музее Т. Г. Шевченко.

[6] *...портрет Демидовой...* — Речь идет о портрете А. К. Демидовой, урожд. Шернваль, во втором браке Карамзиной, работы К. Брюллова.

[7] *Большая картина «Христос»...* — Имеется в виду запрестольный образ «Распятие», написанный Брюлловым для лютеранской церкви Петра и Павла в Петербурге.

[8] Видимо, не случайно именно эту думу А. В. Кольцов посвятил Жуковскому.

[9] Мемуарист имеет в виду следующую строфу из стих. Кольцова: «Но слово „да будет!“ <...> Терновый венец...»

[10] *...читать «Квентина»...* — роман В. Скотта «Квентин Дорвард».

[11] *«Пертская красавица»* — роман В. Скотта.

[12] Т. Г. Шевченко в повести «Художник», где рассказ ведется от имени художника Сошенко, так описывает эту сцену: «Вошел в мастерскую Карл Великий в сопровождении графа Виельгорского и В. А. Жуковского. Жуковский вынул из кармана форменно сложенную бумагу и, подавая мне, сказал: „Передайте это ученику вашему“. Я развернул бумагу. Это была его отпускная, засвидетельствованная графом Виельгорским, Жуковским и К. Брюлловым» (*Шевченко Т. Г.* Собр. соч. Киев, 1949. Т. 2. С. 430—431).

[13] В «Дневнике» Мокрицкого сохранился рисунок, изображающий руки Жуковского на портрете Брюллова. Позже Брюллов убрал перчатки, о которых пишет мемуарист.

[14] *Воспоминание и я — одно и то же...* — цитата из стих. Жуковского «К своему портрету», датируемое 1837 г. Не исключено, что его создание было вызвано написанием брюлловского портрета.

Ю. К. Арнольд

Юрий Карлович Арнольд (1811—1898) — композитор, музыкальный критик, мемуарист, автор «Воспоминаний», изданных незадолго до его смерти (1892), в которых содержатся краткие сведения о его знакомствах с русскими писателями.

Арнольд встречался с Жуковским незадолго до окончательного отъезда поэта за границу зимой 1840—1841 гг. Знакомство было мимолетным и практически не оставило следов в переписке и дневниках Жуковского. Может быть, его имеет в виду Жуковский, записывая фамилию Арнольда в дневнике под датой 23 фев-

раля/4 марта при перечислении посетителей салона Карамзиных, где он провел этот вечер (*ЦГАЛИ*. Ф. 198. Оп. 1. Ед. хр. 37. Л. 91).

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

(Стр. 325)

Арнольд Ю. К. Воспоминания. М., 1892. Вып. 2. С. 203—204.

[1] Имеются в виду баллада «Светлана» Жуковского, журнал «Пантеон русского и всех европейских театров», издававшийся в 1840—1841 гг. под ред. Ф. А. Кони.

[2] Речь идет о серии «Современники. Собрание литографированных портретов» (СПб., 1821—1828), выходившей отдельными выпусками. Описанный Арнольдом портрет Жуковского входит в нее под № 10.

[3] Зимой 1840—1841 гг. Жуковский еще не был мужем Э. фон Рейтерн; официальная помолвка состоялась в августе 1840 г., а свадьба — в мае 1841 г.

Е. А. Жуковская

Елизавета Алексеевна Жуковская, урожд. Э. фон Рейтерн (1821—1856), — жена В. А. Жуковского, дочь его близкого друга, художника, офицера русской службы Герхардта (Евграфа Романовича) фон Рейтерна. В 1826—1827 гг. Жуковский близко подружился с Рейтерном и его семьей. Свою будущую жену, Элизабет фон Рейтерн, Жуковский знал с ее детства. Их свадьба состоялась 21 мая 1841 г.

Е. А. Жуковская, которая пережила мужа всего на четыре года, не оставила о нем воспоминаний. Сохранились только наброски вступления к задуманным запискам о ее жизни в браке с поэтом (*РГБ*. Ф. 104. Оп. 2. № 22). Текст, печатаемый в настоящем издании, представляет собой изложение ее рассказа о зарождении чувства к Жуковскому и обстоятельствах, предшествовавших их помолвке, протоиерею И. И. Базарову, который готовил Е. А. Жуковскую к переходу из лютеранской в православную веру. Достоверность его записи подтверждается краткой передачей подобного же рассказа Е. А. Жуковской в дневнике И. В. Киреевского: «13 [сентября 1853 г.] Жуковская. — Она рассказывала нам со всеми подробностями свое первое знакомство с Жуковским до самого замужества. Очень интересно. Истина ее рассказа подтверждается тем, что он совершенно, даже во всех мелочах, совпадает с тем, что Жуковский писал о себе и о своем знакомстве...» (*Киреевский И. В.* Избранные статьи. М., 1984. С. 285—286).

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

(Стр. 326)

РА. 1869. Стб. 2023—2026. Под общим названием «Воспоминания об Е. А. Жуковской протоиерея И. И. Базарова».

[1] Речь идет о зиме 1832—1833 гг. Жуковский и Рейтерн поселились сначала в Веве (21 августа/3 сентября), но вскоре получили известие от семьи Рейтерна, жившей в замке Виллингсгаузен близ Касселя, что в городе холера. Было решено, что семья Рейтерна приедет в Швейцарию. 14/26 ноября все переехали в Верне, где и прожили до отъезда Жуковского в Италию в апреле 1833 г. (*Дневники*, с. 241, 248, 264).

[2] Здесь имеется в виду путешествие по Западной Европе, предпринятое наследником с июня 1838 по июнь 1839 г. Жуковский, сопровождавший наследника, посетил Рейтернов в Виллингсгаузене в июне 1839 г. В этот приезд и состоялся разговор с Рейтерном о возможности женитьбы на его дочери. В рассказе Е. А. Жуковской спутана дата: летом 1840 г. состоялась уже ее помолвка с Жуковским.

[3] Официальному предложению Жуковского, сделанному 3/15 августа 1840 г. (ср. запись в дневнике: «Лучший день в жизни. Разговор в саду с Рейтерном. Возвращение и часы» // *ЦГАЛИ*. Ф. 198. Оп. 1. Ед. хр. 37. Л. 56 об.), предшествовали следующие события: весной 1840 г. Жуковский сопровождал наследника в Германию и давал уроки его невесте, принцессе Марии Гессен-Дармштадтской. 2/14 июня он посетил Рейтерна в Дюссельдорфе, и между ними состоялся «решительный разговор» (там же, л. 33). Только 7/29 июля он получил положительный ответ: «Я возвратился домой без всякого ожидания, А неожиданное тут. С сердца свалилась гора» (там же, л. 50 об.). 3/15 августа 1840 г. Элизабет фон Рейтерн сделалась невестой поэта.

А. Ф. Бриген

Александр Федорович Бриген (фон дер Бриген, 1792—1859) — участник Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов в составе Измайловского полка, декабрист, член Северного общества. По приговору Следственной комиссии отнесен к VII разряду. После каторжных работ живет на поселении в Тобольске, Пелыме. В 1836 г. переведен в Курган. По «милости» царя и по протекции Жуковского в 1838 г. поступает на государственную службу в курганский суд. Один из образованнейших декабристов, Бриген в 1840-е годы углубленно занимается философией, историей, литературой, ведет споры на философские темы с Кюхельбекером, занимается переводами. Н. И. Тургенев, друг Бригена еще с 1813 г., писал Жуковскому 3 августа 1847 г.: «Какую силу духа должно иметь, чтобы искать в Кургане услаждения в Канте» (*Ланский Л.* Из эпистолярного наследия декабристов: Письма Н. И. Тургенева к В. А. Жуковскому // Вопр. лит. 1975. № 11. С. 224).

Жуковский дважды вошел в жизнь ссыльного декабриста. 6 июня 1837 г. в Кургане он «в течение ночи» беседует с ним и другими ссыльными. Н. И. Лорер так передает встречу Жуковского с Бригеном: «Где Бриген?» — спросил Василий Андреевич и хотел бежать к нему, но мы не пустили и послали за Бригеном. Когда он входил, Жуковский со словами: „Друг мой Бриген!“ — кинулся к нему на шею» (*Лорер Н. И.* Записки декабриста. 2-е изд. Иркутск, 1984. С. 176). Сам Жуковский, позднее ходатайствуя за Бригена перед Дубельтом, писал: «Вы, мо-

жет быть, спросите, давно ли я знаю фон дер Бриггена! Я его всего на все видел один раз в Кургане, при моем проезде через этот город с государем наследником. Все наше знакомство ограничено одним часом, который я провел с ним в его курганском домике...» (*Дубровин*, с. 115). Итогом этой встречи была «милость» императора.

Вторая встреча была заочной, но не менее значимой по своим последствиям. Среди важнейших событий 1845 г. Жуковский отмечает: «Моя переписка с Бриггеном» (*Дневники*, с. 534). Их переписка продолжалась в течение 1845—1850 гг. Жуковский, находясь за границей, стал ходатаем за Бригена: он прежде всего добивается духовной амнистии ссыльного. В цитированном выше письме к Дубельту, где Жуковский просит разрешения на печатание перевода «Записок Юлия Цезаря», читаем: «Но я весьма рад, что он доставляет мне способ содействовать ему в таком труде, на который, конечно, и правительство обратит благосклонное внимание. Кто после двадцатилетнего несчастия может так заниматься, как фон дер Бригген, тот доказывает, что мысли его мирны и что это тяжелое несчастие, заблуждением молодости на него навлеченное, не расстроило, а привело в желаемый порядок его душу» (*Дубровин*, с. 115). Жуковский делает все возможное для публикации перевода. И. И. Пущин в письме к Бригену от 13 сентября 1846 г. сообщает: «Басаргин порадовал меня известием о „Кесаре“. Помоему, тут Жуковский действует лучше самого героя. Спасибо, что он так мило берется быть повивальной бабушкой...» (*Пущин И. И.* Записки о Пушкине. Письма. М., 1956. С. 218—219). И хотя перевод так и не был опубликован, эпистолярные беседы Бригена с Жуковским были для ссыльного пиршеством духа.

Письма А. Ф. Бригена к старшей дочери Марии (в замужестве Туманской) и младшей дочери Любови (в замужестве Гербель), к Н. И. Тургеневу, к самому Жуковскому — та часть обширного эпистолярного наследия декабриста, где возникает образ поэта — духовного спасителя, собеседника. И это еще одно существенное дополнение к большой теме «В. А. Жуковский и декабристы». Залогом дружбы ссыльного декабриста и поэта стала надпись на хранящейся в архиве Жуковского рукописи «Записок Юлия Кесаря»: «Посвящаю Василию Андреевичу Жуковскому, душою и стихом поэту и другу человечества, в знак истинного уважения и преданности нелицемерной» (*РНБ*. Ф. 286. Оп. 2. Ед. хр. 265. Л. 1).

ИЗ ПИСЕМ

(Стр. 328)

Бриген А. Ф. Письма. Исторические сочинения / Изд. подгот. О. С. Тальской. Иркутск. 1986. С. 172, 191—193, 199—200, 208, 234—235, 304, 371—372, 404.

[1] Написание фамилии декабриста через одно «г», как это делал сам Александр Федорович и его современники, убедительно обосновано в статье О. С. Тальской (см.: *Бриген А. Ф.* Указ. соч. С. 66).

[2] *...перевод «Записок Кесаря»...* — Речь идет о переводе Бригеном «Записок о галльской войне» Юлия Цезаря, работа над которым была завершена в 1845 г.

Подробнее об этом см.: *Тальская О. С.* К истории перевода А. Ф. Бригеном «Записок» Гая Юлия Цезаря // Сибирь и декабристы. Иркутск, 1983. Вып. 3.

[3] См. об этом во вступ. заметке.

[4] В. А. Перовский — друг-соперник Жуковского (см. историю соперничества за руку С. А. Самойловой: *Изд. Вольпе*, т. 2, с. 530—531), был сослуживцем Бригена по Измайловскому полку. Скорее всего знакомство Бригена с Жуковским произошло в 1818—1819 гг., когда общение Жуковского с Перовским было особенно интенсивно. Следы этого знакомства в дневниках и письмах поэта не обнаружены.

[5] В ответ на это письмо Бригена Жуковский сообщал ему 18/30 июня 1845 г.: «Сердечно благодарю вас как за дружеские сказанные мне слова, так и за желание ваше посвятить мне ваш перевод Кесаря, на что с благодарностью соглашаюсь». И далее излагает проект покупки рукописи за 2500 руб. ассигнациями, с тем чтобы «по напечатании книги и по выручке денег, употребленных на напечатание, все, что составит чистый барыш, было доставлено вам» (*Изд. Семенко*, т. 4, с. 645—646). Так был найден повод для материальной помощи Бригену, о чем известно из последующих писем.

[6] Речь идет о цитированном выше письме Жуковского от 18/30 июня 1845 г.

[7] В письме от 18/30 июня 1845 г. Жуковский говорил: «Долг платежом красен. Я поручил своему корреспонденту доставить Л. В. Дубельту для пересылки к вам экземпляр моих сочинений (если полный найдется в продаже). Когда напечатается „Одиссея“, вы также ее получите; но это еще долгая песня...» (*Изд. Семенко*, т. 4, с. 648).

[8] В письме от 1/13 июня 1846 г. Жуковский отвечал Бригену: «Вы желаете знать от меня, кого бы я предпочел из двух: *Саллюстия* или *Гиббона?* Без всякой остановки говорю: Саллюстия...» (*Изд. Семенко*, т. 4, с. 656). Уже 19 июля 1846 г. Бриген сообщал дочери о том, что принимается за перевод труда римского историка Саллюстия «Заговор Катилины», а еще через год, 19 июня 1847 г., писал Жуковскому об окончании работы над этим сочинением, которое представляет, по его мнению, «сокровище политической мудрости» (*Бриген А. Ф.* Указ. соч. С. 215, 224). Показательна приписка Бригена к письму дочери от 19 июля 1846 г.: «Вас<илий> Андреевич всегда предлагает выслать мне все нужные мне книги, которые найдутся в его библиотеке. Я полагаю, если скажу ему хоть слово, он кончит тем, что вышлет ее мне полностью» (там же, с. 215).

[9] А. Ф. Бриген особенно был дружен с Н. И. Тургеневым, знакомство с которым произошло еще в 1813 г. «Этот человек был моим коротким приятелем, — писал Н. И. Тургенев Жуковскому 21 июня 1845 г. и просил помочь ему, добавляя: „...вы сделаете приятное одному из благороднейших людей в мире“» (Вопр. лит. 1975. № 11. С. 211).

[10] В указанном издании сочинений и писем Бригена (с. 404) при публикации по автографу (*ИРЛИ*. Ф. 309. № 2646. Л. 7 об.) ошибочно прочитано: о Радищеве. Речь, конечно же, идет о биографическом очерке «Иосиф Радовиц», который был впервые опубликован в дополнительном томе к 5-му изданию «Сочинений В. А. Жуковского».

Н. В. Гоголь

В кругу друзей Гоголя Жуковскому принадлежит особое место. Их личные и творческие отношения в течение 20 лет — сложная историко-литературная проблема, но несомненно одно: в самые трудные дни и в годы творческих кризисов Гоголь искал в Жуковском нравственную поддержку.

Первый период их отношений (1831—1836) — время становления Гоголя-художника, его вхождения в большую литературу — невозможно представить без Жуковского и Пушкина. Их встречи в Царском Селе в 1831 г., почти одновременный выход в свет «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Гоголя, «Повестей Белкина» Пушкина, «Баллад и повестей» Жуковского укрепили это духовное и творческое родство.

После смерти Пушкина отношения Жуковского и Гоголя пронизаны памятью о нем. Жуковский делает все возможное для облегчения материального положения автора «Мертвых душ». Под одной крышей, в дюссельдорфском доме Жуковского, они создают свои итоговые произведения: Гоголь — «Мертвые души» и «Выбранные места из переписки с друзьями», Жуковский — перевод «Одиссеи», «Мысли и замечания». Известие о смерти Гоголя потрясло Жуковского. «И вот уж его нет! — писал он П. А. Плетневу 5 марта 1852 г. — Я жалею о нем несказанно собственно для себя: я потерял в нем одного из самых симпатических участников моей поэтической жизни и чувствую свое сиротство в этом отношении... Какое пустое место оставил в этом маленьком мире мой добрый Гоголь! Жалею об нем еще для его начатых и незаконченных работ; для нашей литературы он потеря незаменяемая» (*Изд. Семенко*, т. 4, с. 674). Жуковский пережил друга всего на полтора месяца.

О Жуковском Гоголь, по существу, вспоминает постоянно. В его творческом сознании, творческой биографии Жуковский — фигура безусловная по своему значению и масштабу. В письмах Гоголя живет память о встречах с Жуковским; он восстанавливает дни и часы этих свиданий как «чудных сновидений». В 1840-е годы в статьях «Выбранных мест из переписки с друзьями» он ищет слова для определения места и значения Жуковского в истории русской литературы и — шире — русской общественной жизни. Статья «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность» содержит фрагмент о Жуковском, в котором раскрывается оригинальность его поэзии; в статье «Об „Одиссее“, переводимой Жуковским» — определено его место в современном нравственном сознании. И та и другая статья существуют не сами по себе, а в целостном мире «Выбранных мест...» и потому несут на себе следы гоголевской концепции художника-проповедника. В этих статьях нет ярко выраженного мемуарного начала, хотя в них ощутим голос друга, очевидца творческих поисков поэта, но без этих статей невозможно понять, почему взор многих лучших людей России и в 1840-е годы был обращен к Жуковскому. Своим духовным наставником его считали не только славянофилы. Чаадаев страстно зовет Жуковского на родину: «...приезжайте с нами пожить да нас поучить. Не поверите, как мы избаловались с тех пор, как живем без пестунов... На прощанье вторично повторяю свое челобитье о возвращении вашем на родину. Худо детям жить без дядьки...» (*Чаадаев П. Я.* Статьи и письма. М., 1987. С. 300—302). В своих статьях, письмах, несмотря на некоторые преувеличения. Гоголь воссоздал порт-

рет Жуковского-поэта, творческой личности, то, что не удалось сделать многим мемуаристам.

ИЗ СТАТЬИ «В ЧЕМ ЖЕ, НАКОНЕЦ, СУЩЕСТВО РУССКОЙ ПОЭЗИИ И В ЧЕМ ЕЕ ОСОБЕННОСТЬ»

(Стр. 331)

Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. М.: Изд-во АН СССР, 1952. Т. 8. С. 376—379. Датируется 1845—1846 гг.

[1] *...в герое его баллады Вадиме...* — Речь идет о балладе «Вадим», второй части поэмы Жуковского «Двенадцать спящих дев». Ее герой постоянно слышит глас судьбы, «звонка призывны звуки», которые он рассматривает как свою миссию освободителя, нравственного спасителя.

[2] *Под надзирание ты предан...* — из стих. Г. Р. Державина «Победителю» (1785).

[3] *Пушкин сильно на него сердился за то, что он не пишет критик.* — Это свидетельство Гоголя подтверждает и Плетнев: «Разительно подъемлющийся ряд произведений его открывает в нем сверх поэтического дарования тот критический ум, которому не без причины удивлялся еще Пушкин» (*Плетнев*, т. 1, с. 29).

[4] *«Отчет о солнце»* — стих. Жуковского «О солнце. Ее имп. величеству государыне императрице Марии Феодоровне» (*СО*. 1821. Ч. 67, № 1. С. 21—31).

[5] *«Отчет о луне»* — стих. «Подробный отчет о луне, представленный ее имп. величеству государыне Марии Феодоровне 1820 июня 18 в Павловске» (отд. изд. — СПб., 1820).

[6] *Его «Славянка» с видами Павловска...* — Элегия «Славянка» Жуковского (1815) — своеобразный поэтический путеводитель по Павловскому парку (*Иезуитова*, с. 89). Позднее Жуковский создал 18 гравюр (с помощью Н. Уткина) видов Павловска, которые были отпечатаны в 1823 г. Двенадцать из них были включены П. Шторхом в его «Путеводитель по саду и городу Павловску» (1843). Не исключено, что Гоголь имеет в виду, когда говорит о «точной живописи», и поэтические, и живописные опыты Жуковского.

[7] *Немецкий пересказчик...* — Речь идет об авторе прозаической повести «Ундина», послужившей источником для стихотворной поэмы Жуковского, немецком романтике Ф. Ламотт-Фуке.

ОБ «ОДИССЕЕ», ПЕРЕВОДИМОЙ ЖУКОВСКИМ

(Стр. 333)

Гоголь Н. В. Указ. соч. С. 236—244. Датируется 1846 г.

[1] Статья Гоголя написана на основе его письма к Н. М. Языкову, который живо интересовался переводом Жуковского. В начале января 1845 г. Гоголь писал ему: «Перевод этот решительно есть венец всех переводов, когда-либо совершавшихся на свете, и венец всех сочинений, когда-либо сочиненных Жуковским» (*Гоголь*, т. 12, с. 444). Видимо, подробно эти мысли Гоголь развил в другом, не дошедшем до нас, письме, о котором писал П. А. Плетневу от 4 июля

1846 г.: «В прошлом году я писал Языкову о том, чем именно нужна и полезна в наше время „Одиссея“ и что такое перевод Жуковского. Теперь я выправил это письмо и посылаю его для напечатания вначале в твоем журнале, а потом во всех тех журналах, которые больше расходятся в публике, в виде статьи, заимствованной из „Современника“ (*Гоголь*, т. 13, с. 84). О том, какое значение Гоголь придавал этой статье, свидетельствует тот факт, что в течение 1846 г. она была напечатана им трижды: в *Совр.* (1846. Т. 43. С. 175—188), *Москв.* (1846. № 7, отд. 5. С. 19—27), „Московских ведомостях“» (1846. № 89, 25 июля).

[2] С этой оценкой Гоголя перекликается и оценка И. В. Киреевского, который писал 28 января 1845 г. Жуковскому: «„Одиссея“ Ваша должна совершить переворот в нашей словесности, своротив ее с искусственной дороги на путь непосредственной жизни...» (*Киреевский И. В.* Критика и эстетика. С. 368). А весной 1849 г. в письме к нему же добавлял: «...он [перевод „Одиссеи“] будет действовать не только на литературу, но и на нравственное настроение человека» (там же, с. 374).

[3] Гоголевское понимание перевода «Одиссеи» имело принципиальное значение для эстетики Жуковского. В своих программных письмах к С. С. Уварову, И. В. Киреевскому, П. А. Плетневу о переводе «Одиссеи» он развивает идеи Гоголя о «воссоздании, восстановлении» Гомера.

[4] *...козлы, их предводившие...* — В письме к Н. Прокоповичу от 20 июня 1847 г. Гоголь утверждал, что это место статьи обращено не к Белинскому, а к «журналисту вообще» (*Гоголь*, т. 13, с. 324).

[5] *Как глупы немецкие умники...* — Здесь Гоголь полемизирует с Ф. Вольфом и его последователями, которые видели в гомеровских поэмах собрание отдельных песен и сомневались в авторстве Гомера вообще. Жуковский, как и Гоголь, скептически отзывался об этой теории в письме к И. В. Киреевскому (*Изд. Ефремова*, т. 6, с. 49).

[6] *...толки... будут раздаваться у нас в журналах в продолжение многих лет.* — Здесь Гоголь не ошибся. Полемика о переводе Жуковского — важная и интересная страница русской литературной жизни 1840-х годов (см.: *Егунов А. Н.* Гомер в русских переводах XVIII—XIX веков. М.; Л., 1964. Гл. 10).

[7] *...за пировою критерою...* — Критера — большой сосуд для вина у древних греков.

ИЗ ПИСЕМ

(Стр. 340)

Гоголь, т. 10, с. 214; т. 11, с. 48, 75, 111, 192, 195, 197; т. 14, с. 33, 36.

[1] Речь идет о холерном бунте в июне 1831 г., который был подавлен вооруженной силой.

[2] *«Кухарка»* — поэма А. С. Пушкина «Домик в Коломне» (1830).

[3] Имеется в виду «Сказка о попе и работнике его Балде» (1830).

[4] *У Жуковского тоже русские народные сказки...* — В это время Жуковский закончил «Сказку о царе Берендее...» и начал работу над сказкой «Спящая царевна».

[5] Книга «Баллад и повестей» Жуковского (СПб., 1831) появилась в продаже только в декабре 1831 г.

[6] *...в вашем кабинете...* — Гоголь вспоминает знаменитые «субботы» Жуковского в Шепелевском доме, на которые собирался весь литературный Петербург и где Гоголь познакомился с Жуковским.

[7] *Я получил... вспоможение.* — Речь идет о денежной помощи в сумме 5000 руб., которую Жуковский выхлопотал у Николая I. В записке на его имя Жуковский писал: «Молодой русский писатель, уже имевший счастие обратить на себя животворное внимание вашего императорского величества, Гоголь, автор комедии „Ревизор", отправившийся за границу для поправления своего здоровья и терпящий там все бедствия нищеты, осмеливается обратиться прямо к милосердию вашему...» (*Изд. Архангельского*, т. 12, с. 24).

[8] Жуковский приехал в Рим 16 декабря 1838 г. И с этого дня в дневнике появляются записи о постоянных встречах с Гоголем, совместных прогулках по Риму, участии в карнавале, посещении мастерских художников. Так, 6/18 января 1839 г. Жуковский записывает: «Ввечеру Гоголь читал главу из „Мертвых душ". Забавно и больно» (*Дневники*, с. 459). Их общение продолжалось до отъезда Жуковского из Рима 31 января/12 февраля 1839 г.

[9] В это время Жуковский не только много рисует, о чем свидетельствуют папки итальянских рисунков, сохранившиеся в архиве поэта, но и постоянно размышляет об истории живописи (*РБ*, с. 72—74).

Ф. И. Тимирязев

Тимирязев Федор Иванович (1831—?)— саратовский губернатор и сенатор, мемуарист, сын Ивана Семеновича Тимирязева, адъютанта вел. кн. Константина Павловича. Воспоминания Ф. И. Тимирязева посвящены литературным знакомствам его отца. Знакомство Жуковского с И. С. Тимирязевым, который был родственником его друга А. А. Плещеева, произошло в 1826 г. В дневнике поэта сохранились записи о посещении им дома Тимирязевых (*Дневники*, с. 178, 513).

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

(Стр. 343)

РА. 1884. Кн. 1, №2. С. 300, 320, 325.

[1] Имеется в виду отдельное иллюстрированное издание поэмы Жуковского «Ундина» (Ундина: Старинная повесть, рассказанная в прозе бароном Ламотт-Фуке, на русском в стихах В. Жуковским. С рисунками Г. Майделя. СПб., 1837).

[2] О праздновании в доме Вяземского 50-летнего юбилея литературной деятельности Жуковского см. воспоминания П. А. Вяземского, П. А. Плетнева, М. И. Глинки, Н. П. Барсукова в наст. изд.

И. Е. Бецкий

Иван Егорович Бецкий (1817—1891) — писатель, переводчик, издатель харьковского альманаха «Молодик», страстный поклонник Гоголя. В октябре 1844 г. Бецкий посетил В. А. Жуковского и жившего у него Н. В. Гоголя во Франкфурте. Позже, в январе 1845 г., он встретился в Париже с А. И. Тургеневым и рассказал ему о визите к Жуковскому. В «Хронике русского» есть следующая запись: «Я бы желал, чтобы г. Б<ецкий> доставил мне для „Москвитянина" посещение его и описание салона и образа жизни Жуковского: это по всему принадлежит „Москвитянину", ибо и гений Жуковского — истый москвитянин, и Москва была его колыбелью. При первом свидании я напомню об этом г. Б<ецкому>» (*Тургенев*, с. 243). Таким образом, можно считать, что воспоминания Бецкого о встрече с Жуковским во Франкфурте написаны по заказу А. И. Тургенева для журнала «Москвитянин», где и были опубликованы.

ИЗ «ДНЕВНИКА». ЗАПИСЬ О СВИДАНИИ С В. А. ЖУКОВСКИМ ВО ФРАНКФУРТЕ

(Стр. 344)

Москв. 1845. Ч. 3. С. 241—250; под загл.: Листик из дорожного дневника за границею. 1/13 октября 1844. Франкфурт-на-Майне. Проверено по рукописи: *РГБ*. Ф. 104. Оп. 10. № 22.

[1] В дневниках Жуковского за 1820—1821 гг. записи о посещении Байрейта и встрече с Жан-Полем не сохранились. Единственное упоминание его имени в дневнике — запись от 2/14 августа 1824 г.: «Посещение гроба Жан-Пауля и встреча на гробе его брата» (*Дневники*, с. 189).

[2] *«Титан»*, *«Геспер»* — романы Жан-Поля. *«Левана»* — роман-трактат о воспитании. 13 февраля 1829 г. Жуковский писал А. П. Елагиной: «*Леваны* переводить не советую, ибо ее нельзя перевести, и по-русски выйдет галиматья из того, что по-немецки превосходно» (*РБ*, с. 106). А. П. Елагина все же перевела «Левану», однако ее перевод не был издан (*РА*. 1877. Кн. 2, № 5. С. 487).

[3] Эти же полки с ящиками запомнились А. И. Тургеневу во время его посещения рабочего кабинета Жан-Поля: «Он показывал мне тогда шкаф с ящичками, в кои бросал разного рода мысли, блестящие или оригинальные выражения, предоставляя себе вынимать их — и вставлять туда, где они понадобятся» (*Тургенев*, с. 243).

[4] И. Е. Бецкий имеет в виду свое собственное издание: Антология из Жан-Поля Рихтера. СПб., 1844, в которой он подписал свое предисловие криптонимом «Б.».

[5] Здесь Бецкий описывает два одновременно созданных портрета Жуковского и его жены. Портрет Жуковского был заказан Гильдебрандту, портрет Э. фон Рейтерн—Зону в Дюссельдорфе накануне свадьбы.

ИЗ НЕМЕЦКИХ ВОСПОМИНАНИЙ О В. А. ЖУКОВСКОМ

(Стр. 347)

Gerhardt D. Aus deutschen Errinnerungen an Joukowskij // Orbis scriptus Dmitrij Tschiżewskij. München, 1966. S. 249—254, 258, 261—262, 264, 267—268.

Раздел, озаглавленный «Из немецких воспоминаний о Жуковском», представляет собой выборку мемуарных текстов из работы немецкого слависта ДитрихаГерхардта под таким же названием. Некоторые из собранных здесь фрагментов введены в научный оборот еще в конце XIX в.: *Haape W. W.* A. Schukowsky und seine Beziehungen zu Deutschland und Baden. München, 1899. S. 16, 23 (воспоминания Ю. Кернера и А. Ф. фон Шака), а вслед за ним и А. Н. Веселовским (*Веселовский*, с. 453). Как правило, это воспоминания людей, знавших Жуковского неподолгу и неблизко (за исключением И. Радовица) и не сумевших оценить истинный масштаб его личности из-за незнания его творчества. Тем более показательно, что впечатление значительного человека русский поэт производил на всех своих немецких знакомых.

Генрих Йозеф Кениг

Генрих Йозеф Кениг (1790—1869) — немецкий поэт и журналист, автор широко известной книги (*Koenig H. I.* Litterarische Bilder aus Russland. Stuttgart; Tübingen, 1837), при его жизни переведенной на русский язык: *Кениг Г.* Очерки русской литературы. Пб., 1862. Познакомился с Жуковским в Эмсе 5/17 августа 1838 г. (*Дневники*, с. 406; запись: «Кениг и Розен»). В библиотеке Жуковского сохранились различные сочинения Кенига, в том числе с пометами владельца (*Описание*, № 1440—1441).

[1] Речь идет о книге Кенига «Litterarische Bilder aus Russland» (букв.: «Литературные картины России»), изд. в 1837 г. Наличие двух экземпляров этой книги в библиотеке Жуковского позволяет предположить, что один экземпляр поэт приобрел сам, а второй, более тщательно переплетенный и с приложением литографированных портретов Державина и Пушкина, получил в подарок от Кенига.

[2] Версия полунемецкого происхождения Жуковского имеет легендарный характер. Очевидно, до Кенига дошли какие-то слухи о незаконнорожденности Жуковского.

Август Теодор Гримм

Август Теодор (Август Федорович) Гримм (1805— 1868) — переводчик, педагог, мемуарист. Преподаватель вел. князей, биограф имп. Александры Федоровны. В письме А. И. Тургеневу от 5/17 июля 1844 г. Жуковский так отзывался о Гримме, своем давнем коллеге: «Гримм человек образованный, и всегда я знал его за благонамеренного человека; он при великом князе Константине Николаевиче. Был при мне...» (*ПЖкТ*, с. 302). В библиотеке Жуковского сохранился немецкий перевод поэмы Байрона «Паризина», принадлежащий перу А.-Т. Гримма и изданный отдельным оттиском из «Санкт-Петербургского жур-

нала». Гримм упоминается в дневнике Жуковского 1840 г. (*Дневники*, с. 508, 510, 511).

[1] Жуковский был назначен воспитателем наследника в феврале 1826 г.

[2] Имеется в виду восстание декабристов 14 декабря 1825 г.

[3] Гримм недооценивает уровня образованности Жуковского. Несмотря на то что образование поэта не было систематическим, оно было глубоким и разносторонним. Историю, эстетику, грамматику Жуковский изучал специально и обладал профессиональными навыками преподавания этих дисциплин, о чем свидетельствуют его исторические таблицы и планы обучения наследника (*Изд. Архангельского*, т. 10, с. 3—13).

[4] Сразу же после назначения его воспитателем наследника престола Жуковский в марте 1826 г. едет за границу для формирования учебной библиотеки и личного ознакомления с педагогическими системами Песталоцци, Фелленберга, Дежерандо.

Великая княжна Ольга Николаевна

Великая княжна Ольга Николаевна (1822—1892) — дочь Николая I и Александры Федоровны, одна из учениц Жуковского. В 1846 г. вышла замуж за Карла, короля Вюртембергского. Автор воспоминаний, написанных на французском языке. Немецкий перевод: Podevil Dorothea. Aus den Aufzeichnungen der Königin Olga von Würtemberg «Traum der Jugend, goldner Slern». Pfullingen, 1955. Жуковский встречался с Ольгой Николаевной в 1840-х годах, после ее переезда в Германию. 16/28 августа 1846 г. он писал Н. В. Гоголю: «Я намерен съездить в Веймар, для встречи там великой княгини Ольги Николаевны. Она приезжает в Веймар 4/16 сентября и пробудет там 5/17» (Отчет Имп. публичной библиотеки за 1887 год. СПб., 1890. С. 46—47). Сохранилось письмо к нему Ольги Николаевны, относящееся к этому времени (*РА*. 1895. Кн. 2, № 8. С. 447—448). Ольга Николаевна прислала своего секретаря на похороны Жуковского.

[1] Это свидетельство Ольги Николаевны противоречит воспоминаниям коллег Жуковского по воспитанию наследника, и в частности запискам Павского (*РА*. 1870. Ч. 1—3).

[2] Имеется в виду так называемая Школа трех общин, основанная в Петербурге в 1818 г. пастором реформатской общины Мюральтом, швейцарцем по национальности, теологом по образованию и одним из учителей школы Песталоцци.

[3] Жуковский был дружен с Рейтерном задолго до женитьбы на его дочери; с Радовицем его познакомил Рейтерн осенью 1827 г.

[4] Имеется в виду книга И. Радовица «Gespräche aus der Gegenwart über Staat und Kirche» (Stuttgart, 1846).

Мартин Вильгельм Мандт

[1] Мартин Вильгельм Мандт (1799—1858) — лейб-медик Николая I и Александры Федоровны.

Адельгейда фон Шорн

Адельгейда фон Шорн (1841 — не ранее 1913) — дочь веймарского искусствоведа Людвига фон Шорна, автор записок «Zwei Menschenalter. Erinnerungen und Briefe aus Weimar und Rom» (Stuttgart, 1913). Жуковский познакомился с директором Веймарского института изящных искусств Людвигом фон Шорном и его семьей 28 июля/9 августа 1838 г. и виделся с ним ежедневно в течение трех дней пребывания наследника в Веймаре (*Дневники*, с. 409—410). Вторично Жуковский увиделся с Шорном 26—27 марта 1840 г. (*Дневники*, с. 522—523). Воспоминания Адельгейды фон Шорн относятся к 1849 г.

[1] 28 августа 1849 г. в Веймаре праздновался столетний юбилей Гете; последний приезд Жуковского в Веймар и последняя встреча его с Шорном, которую вспоминает мемуаристка, совпали с этим праздником.

[2] Жуковский впервые посетил Веймар 29—30 октября 1821 г. (*Дневники*, с. 166—167). Вторичное посещение Веймара 4—7 сентября 1827 г. ознаменовалось его ежедневным общением с Гете (*Дневники*, с. 203—204).

[3] У Жуковского не было своего собственного поместья с крепостными крестьянами. Две семьи крепостных, принадлежащих ему, он отпустил на волю 17 октября 1823 г. (*РА*. 1863. № 8—9. С. 708—709).

Иосиф Радовиц

Иосиф Радовиц (1797—1853) — прусский государственный деятель, публицист и религиозный мыслитель, один из близких друзей Жуковского в Германии. Жуковский познакомился с Радовицем в 1827 г. через Рейтерна; с этого времени его имя постоянно упоминается в дневнике Жуковского (*Дневники*, с. 211—212, 246—247, 253—254, 311—312, 373, 400—402, 408, 523—524, 529—532, 535). В библиотеке Жуковского сохранились три книги Радовица (*Описание*, № 2738— 2740). В 1850 г. Жуковский написал о нем биографический очерк «Иосиф Радовиц», который был издан и в Германии. Радовиц был значительной фигурой в жизни Жуковского: для русского поэта он воплощал практическую жизненную философию гуманизма и веры. «Это теплая, крепкая душа; он на все глядит своими глазами, но при нем нельзя не мыслить и не чувствовать. В системе Радовица особенно прекрасно то, что она не только в голове его, но и в жизни, во всякую минуту жизни» (*ПЖкТ*, с. 271—272). Как и многие друзья Жуковского, Радовиц был предметом его постоянных забот. В 1848 г., когда его финансовое положение пошатнулось, Жуковский предложил прусскому королю Фридриху-Вильгельму IV приобрести свою богатейшую коллекцию рисунков, чтобы вырученные деньги были отданы Радовицу. В результате хлопот Жуковского Радовицу была назначена пенсия (*РБ*, с. 176—181).

[1] Радовиц ошибается: Жуковский с семьей переехал во Франкфурт в начале 1844 г.

Юстинус Кернер

Юстинус Кернер (1786—1862) — немецкий поэт, прозаик, переводчик. В 1949—1850 гг. перевел «Сказку о Иване-царевиче и Сером Волке» и несколько стихотворений Жуковского, которые вошли в специальное издание: Ostergabe für

das Jahr 1850: Sechs Dichtungen Joukowsky's von einem seiner deutschen Freunde für die andern übersetzt. В состав чрезвычайно редкого издания кроме «Сказки...» вошли «Призвание поэта» (фрагмент из 4-го явления «Камоэнса»), «Воскресное утро» (вольный перевод из Гебеля), «Море», «Два изображения луны» (фрагменты из стихотворных «Отчетов о луне...»), посвящение к поэме «Наль и Дамаянти». После смерти Жуковского перевод «Сказки...» вышел отдельным изданием (Stuttgart, 1852) с предисловием Ю. Кернера, фрагмент из которого представляют приводимые воспоминания. Кроме того, Ю. Кернер, издавший несколько сборников рассказов о привидениях, упоминается в статье Жуковского «Нечто о привидениях» (1850); три книги сочинений Кернера, из которых одна — с дарственной надписью — сохранилась в библиотеке Жуковского (*Описание*, № 1415, 1416, 1582).

Адольф Фридрих фон Шак

Адольф Фридрих фон Шак (1815—1894) — немецкий поэт, мемуарист. Был знаком с Жуковским во Франкфурте и Бадене. В библиотеке Жуковского среди книг, принадлежащих членам его семьи, сохранился сборник стихотворений Шака «Эпизоды» (Берлин, 1869; см.: *Описание*, № 2485). А.-Ф. фон Шаку принадлежат воспоминания: Ein halbes Hahrhundert. Stuttgart, 1894, фрагментом из которых является приводимый в наст. изд. текст.

[1] Дом, в котором Жуковский жил в Бадене и где он умер, находился на Софи-штрассе у Грабена (*Haape W. W.* A. Joukowsky und seine Beziehungen zu Deutschland und Baden. München, 1899. S. 23, 28).

[2] *Мур* — река в Бадене.

[3] О судьбе переводов Шака из Жуковского ничего достоверно не известно.

[4] Имеется в виду перевод Юстинуса Кернера (см. выше).

А. С. Стурдза

Александр Скарлатович Стурдза (1791—1854) — чиновник министерства иностранных дел, дипломат, автор статей по религиозным и политическим вопросам. Первое свидетельство сравнительно раннего знакомства Жуковского и Стурдзы — запись в дневнике от 17 октября 1817 г. (*Дневники*, с. 53). В сентябре 1819 г. Жуковский обсуждает с Карамзиным скандал вокруг книги Стурдзы «Mémoire sur l'état actuel de l'Allemagne» (1818); А. Коцебу, разделивший идеи этой книги, был убит 23 марта 1819 г. студентом Карлом Зандом как шпион русского правительства. Стурдза должен был срочно покинуть Германию (там же, с. 72). В ноябре 1820 г., будучи за границей в свите Александры Федоровны, Жуковский знакомится с тестем Стурдзы, знаменитым немецким врачом Гуфландом, и обсуждает с ним эту историю (*Дневники*, с. 90).

В июне 1826 г. Жуковский встречается со Стурдзой в Эмсе и беседует с ним о воспитании, что было связано с новыми интересами поэта, назначенного воспитателем наследника (*Дневники*, с. 184—185). 30 августа 1837 г. во время путешествия с наследником по России Жуковский посетил Стурдзу в Одессе (там

же, с. 354). Ко времени пребывания Жуковского за границей (1841—1852) относится его переписка со Стурдзой, главным образом касающаяся его теологических штудий и перевода «Одиссеи» (*Изд. Ефремова*, т. 6, с. 537—546; *Изд. Семенко*, т. 4, с. 663—665). Жуковский ценил теологическую образованность Стурдзы и его познания в древних языках. В библиотеке Жуковского сохранилось множество книг А. С. Стурдзы политического и религиозного содержания, большинство с дарственными надписями, а также пометами и записями владельца (*Описание*, № 388—392, 1363, 2208—2215, 2258—2259).

Воспоминания А. С. Стурдзы о Жуковском написаны сразу же после смерти поэта, в 1852 г. Главное, что сближало Жуковского и Стурдзу, — это глубокая религиозность поэта в 1840-е годы. Поэтому в воспоминаниях Стурдзы акцент сделан именно на этой грани личности поэта. Фактов биографии Жуковского Стурдза приводит немного, но приведенные — достоверны и точны.

ДАНЬ ПАМЯТИ ЖУКОВСКОГО И ГОГОЛЯ

(Стр. 353)

Москв. 1852. Кн. 2, № 20. С. 215—223.

[1] *...в письме священника...* — Имеется в виду письмо И. И. Базарова «Последние дни жизни Жуковского» (см. в наст. изд.).

[2] *Певцом во стане русских воинов* Стурдза называет Жуковского по названию его популярного стихотворения.

[3] Ср. запись в дневнике Жуковского: «*31 <августа 1837>...* У Стурдзы в доме. Обедал у Стурдзы на хуторе (M-me Sturdza, жена и дочь (Маша) Стурдзы, гр. Каподистрия, гордый доктор, Анна Петровна Зонтаг)» (*Дневники*, с. 354).

[4] *Le double parallèle*, ou l'Eglise en présence de la papauté et de la reforme du XVI siècle. Athènes, 1849 — брошюра Стурдзы, сохранившаяся в библиотеке Жуковского (*Описание*, № 2215), содержит пометы и записи поэта.

[5] *...несколько разного рода рассуждений в прозе...* — Речь идет о «Мыслях и замечаниях» Жуковского (1845—1850).

П. А. Плетнев

Петр Александрович Плетнев (1792—1865) — поэт и критик, профессор российской словесности (с 1832 г.) и ректор Петербургского университета (1840—1861), видный литературный деятель пушкинской поры, друг Пушкина, Баратынского, Гоголя, Жуковского. Плетнева и Жуковского дружеские отношения связывали на протяжении более чем 30 лет. О начале их свидетельствует письмо Плетнева от 25 декабря 1845 г.: «Ровно <...> двадцать пять [лет], как я представился вам» (*Плетнев*, т. 3, с. 565—566). Уже в 1821 г. Плетнев пишет стихотворение «Жуковский из Берлина» (*СО*. 1822. Ч. 75, № 7. С. 327—329), где подтверждает свою близость к поэту. Одновременно начинается осмысление творчества Жуковского. В «Заметке о сочинениях Жуковского и Батюшкова», которую Н. И. Греч включил в свой «Опыт краткой истории русской литературы»

(СПб., 1822), Плетнев пишет: «Жуковский, воспитанник и основатель в России *романтической* школы...» Это было одно из первых историко-литературных определений места и значения Жуковского. В тяжелое для Жуковского время смерти Маши Протасовой Плетнев, зная об этом, деликатно берет на себя труд по изданию его сочинений, поддерживает друга (письмо от 4 апреля 1823 г. // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1980 год. Л., 1984. С. 117—118. Публикация Е. П. Горбенко). В стихотворном «Послании к Ж<уковскому>» (1824) он называет его «внушитель помыслов прекрасных и высоких...», а затем в «Письме к графине С. И. С. о русских поэтах» (1825) развивает мысль о Жуковском как «первом поэте золотого века нашей словесности». По рекомендации Жуковского в 1826 г. Плетнев начинает преподавать русский язык и словесность вел. кн. Марии и Ольге, а с 1828 г. — наследнику. Упоминания о встречах с Плетневым в 1830-е годы редки в дневниках Жуковского, что объясняется их отсутствием за многие годы. Но в неопубликованных записях за 1834, 1840—1841 гг. Жуковский все время говорит о нем. Плетнев — постоянный участник «суббот» Жуковского, свидетельство чего — мемуарный фрагмент о них в статье «Жизнь и сочинения Ивана Андреевича Крылова» и фигура Плетнева на картине «Субботнее собрание у В. А. Жуковского». В 1840-е годы Плетнев — один из главных адресатов Жуковского. Их переписка, в совокупности с обширной перепиской Плетнева и Я. К. Грота, — важнейший источник наших знаний о жизни и творчестве Жуковского 1840-х годов.

После смерти Жуковского Плетнев — хранитель памяти о поэте. По словам И. С. Тургенева, «он не расставался с дорогими воспоминаниями своей жизни, он лелеял их, он трогательно гордился ими. Рассказывать о Пушкине, о Жуковском — было для него праздником» (*Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем. М., 1983. Т. 11. С. 19).

П. А. Плетнев был поистине летописцем творческой жизни поэта. Он создал статьи обо всех этапных его произведениях: о «Шильонском узнике», «Орлеанской деве», «Ундине», «Нале и Дамаянти». Но он был и летописцем его жизни вообще. Статьи, письма Плетнева насыщены мемуарным материалом. И в «Письме к графине С. И. С. о русских поэтах», и в письмах к Гроту, и в статье о Крылове Плетнев выступает как биограф Жуковского. В этом отношении особенно выделяется итоговая работа Плетнева — «О жизни и сочинениях В. А. Жуковского», которую можно назвать «взглядом на жизнь нашего поэта». Эта статья — попытка через события жизни поэта, эпистолярные документы, обильно цитируемые автором, через собственные воспоминания восстановить поэтический образ Жуковского. В своей совокупности факты и свидетельства Плетнева — ценнейший мемуарный материал, без которого облик Жуковского оказался бы значительно обедненным.

ИЗ «ПИСЬМА К ГРАФИНЕ С. И. С. О РУССКИХ ПОЭТАХ»

(Стр. 359)

Плетнев, т. 1, с. 174—176. Впервые: Северные цветы на 1825 год. С. 1—80. Адресат письма — графиня Софья Ивановна Соллогуб, урожд. Архарова, мать писателя В. А. Соллогуба.

[1] Стих. «Весеннее чувство» написано в 1816 г. Впервые: Соревнователь просвещения и благотворения. 1821. Ч. 13, № 1.

[2] Плетнев первым в русской критике назвал Жуковского «основателем в России романтической школы» (см. вступ. заметку).

ПУТЕШЕСТВИЕ В. А. ЖУКОВСКОГО ПО РОССИИ

(Стр. 360)

Плетнев, т. 1, с. 404—415. Впервые: *Совр.* 1838. Т. 12. С. 5—22.

[1] Жуковский придавал большое значение этому путешествию. В письме к матери наследника, имп. Александре Федоровне, от 10 мая 1837 г. он говорил: «Наше путешествие можно сравнить с чтением книги, в которой теперь князь прочтет одно только оглавление... Эта книга Россия» (*Изд. Ефремова*, т. 6, с. 213). Многочисленные благодеяния Жуковского во время путешествия (Кольцов, Герцен, Витберг, Ершов, ссыльные декабристы и т. д.) выявляют еще одну его задачу: приучить наследника к милосердию. Составляемое им под непосредственным влиянием В. А. Жуковского письмо об амнистии декабристов подтверждает это предположение (см.: *Дубровин*, с. 97—98). Видимо, это не соответствовало пониманию «узнания России» Николаем I, который, по словам флигель-адъютанта С. А. Юрьевича, повелел, «...чтобы видели вещи так, как они есть, а не поэтически. Поэзия в сторону, я не люблю ее там, где нужна существенность» (цит. по: *Курочкин Ю. М.* Уральские находки. Свердловск, 1982. С. 178).

[2] О сибирских «очерках» Жуковского см.: *Курочкин Ю. М.* Уральский вояж поэта Жуковского // Рифеи: Уральский лит.-краеведческий сб. Челябинск, 1981. С. 194—255 (с ил.). О крымских рисунках поэта см.: Юность. 1964. № 2. С. 103—104.

[3] См. примеч. 6 к разделу «Н. В. Гоголь. Из статьи „В чем же, наконец, существо русской поэзии...“» в наст. изд.

[4] См. воспоминания М. П. Погодина и П. М. Мартынова в наст. изд.

[5] *...явился к нему молодой человек...* — Здесь и далее речь идет о тобольском поэте-самоучке Е. Л. Милькееве. В библиотеке Жуковского находится экземпляр «Стихотворений Е. Милькеева» (М., 1843) со специальным посвящением Жуковскому (*Описание*, № 223). Встреча Жуковского с Милькеевым в Тобольске зафиксирована в его дневнике: «*2 июня (1837)*. Пребывание в Тобольске... Евгений Милькеев» (*Дневники*, с. 320). Любопытно, что вслед за фамилией Милькеева названа фамилия еще одного поэта — П. П. Ершова, автора сказки «Конек-Горбунок». Жуковский и ему оказал помощь.

ИЗ ПИСЕМ К Я. К. ГРОТУ

(Стр. 365)

ПГП: В 3 т. СПб., 1896. Т. 1. С. 35, 90, 127, 129—130, 138, 153, 163, 176, 214—215, 226—227, 279—280, 282; т. 2. С. 112, 274—275, 299, 318, 495, 616; т. 3. С. 17—18, 32, 76—77, 380—381, 400, 432, 470, 473, 503, 556, 588, 595—596, 657.

[1] *От Ал<ександры> Ос<иповны>...* — А. О. Смирнова-Россет.

[2] Об этом см. воспоминания Е. А. Жуковской в наст. изд.

[3] *Живописица* — так Плетнев в письмах называет вел. кн. Ольгу Николаевну, которой он преподавал русский язык и словесность.

[4] Переписка поражает обширностью (Грот и Плетнев писали друг другу обычно два раза в неделю). Поэтому нередко переписка включает дневниковые записи Плетнева, обозначенные в тексте писем как «журнал».

[5] Все рассказанные Плетневым события совпадают с дневниковой записью Жуковского от 5/17 ноября 1840 г.: «К Карамзиным... Рассказ. Портрет. После приход Плетнева» (*ЦГАЛИ*. Ф. 198. Оп. 1. Ед. хр. 37. Л. 67 об.).

[6] Хроника написания этого портрета (10—26 августа 1840 г.) воссоздана в неопубликованном дневнике Жуковского (*ЦГАЛИ*. Ф. 198. Оп. 1. Ед. хр. 37. Л. 57—60). О таинственной истории, связанной с этим портретом, Жуковский рассказал в статье «Нечто о привидениях» (*Изд. Архангельского*, т. 10, с. 93—94).

[7] В письме прусского короля Фридриха-Вильгельма IV к Жуковскому от 25 июля 1840 г. по случаю награждения русского поэта бриллиантовой звездой ордена Красного Орла второй степени читаем: «...вдохновенный поэт имел бы право обидеться, увидев себя в некотором роде смешанным с толпою придворных, если бы я не был уверен, что сердце не научило его распознавать дружеские намерения... Выполнив свою задачу, обнимаю Вас еще раз в приятной надежде, что буду часто Вас видеть и что Вы никогда не покраснеете за дружбу, которую Вы питаете ко мне!..» (*РБ*, с. 152. Подлинник по-французски).

[8] *«Ивангое»* — роман В. Скотта «Айвенго», который Жуковский постоянно читал в октябре 1840 г. (*ЦГАЛИ*. Ф. 198. Оп. 1. Ед. хр. 37. Л. 66). Это сообщение Плетнева тем более интересно, что в 1830—1840-е годы Жуковский неоднократно обращался к прозе западноевропейских романтиков для переложения ее в стихи. Никаких следов переложения романа В. Скотта Жуковским пока не обнаружено.

[9] *Константин Карлович* — младший брат Я. К. Грота, в будущем видный общественный деятель.

[10] *Муравьева* — В. А. Муравьева, в замужестве Бакунина.

[11] Жуковский принимал активное участие в судьбе М. Ю. Лермонтова. Среди дневниковых записей от 11/23 и 13/24 апреля 1841 г. сохранился черновик его письма великому князю о прощении Герцена и Лермонтова (*ЦГАЛИ*. Ф. 198. Оп. 1. Ед. хр. 37. Л. 94). Опубликовано: *Гиллельсон М. И.* Последний приезд Лермонтова в Петербург // Звезда. 1977, № 3. С. 190—199.

[12] Плетнев, друживший с Баратынским, написал о нем специальную статью «Евгений Абрамович Баратынский» (1844).

[13] *«О старом и новом слоге»* — сочинение А. С. Шишкова «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка» (1803).

[14] *А. Тургенев — Громобой... В. Пушкин — Чу!..* — Неточность Плетнева: арзамасские прозвища А. И. Тургенева — Эолова Арфа, В. Л. Пушкина — Вот; Громобоем был С. П. Жихарев, а прозвище Чу! было присвоено Д. В. Дашкову.

[15] Плетнев посвятил этому переводу Жуковского статью «Наль и Дамаянти», повесть В. А. Жуковского (1844).

[16] *...у вашего канцлера.* — Канцлером Гельсингфорского университета, где преподавал Я. К. Грот, был наследник цесаревич.

[17] Этот юбилей в 1847 г. не состоялся. Министр просвещения С. С. Уваров отменил его, так как стало известно, что Жуковский не сможет приехать в Россию.

[18] Этот протокол был получен Жуковским, о чем он писал П. А. Вяземскому из Баден-Бадена 19 января/3 февраля 1849 г.: «...твое письмо и все, что ты прислал мне, глубоко меня порадовало и тронуло...» (*ПВЖ*, с. 64).

[19] *...прочел я презанимательную статью о детстве Жуковского.* — См. воспоминания А. П. Зонтаг в наст. изд.

[20] *...дюссельдорфский профессор...* — Имеется в виду эллинист Х. Грасгоф, который помогал Жуковскому при переводе «Одиссеи». О его подстрочнике, которым пользовался Жуковский, см.: *Егунов А. Н.* Гомер в русских переводах XVIII—XIX веков. М.; Л., 1964. С. 359—363.

[21] См.: *ОЗ*. 1849. Т. 65, № 8, отд. V. С. 1—23.

[22] *...начал писать собственную свою поэму.* — Имеется в виду поэма «Агасфер», над которой Жуковский работал до конца жизни.

[23] К переводу «Илиады» Жуковский обращался дважды: в «Северных цветах на 1829 год» он опубликовал «Отрывки из „Илиады“» — своеобразную «Ахиллиаду», соединив отрывки из различных песен (VI—XX) о подвигах Ахилла; в конце жизни, в 1849 г., он начал работу над полным переводом поэмы, успев закончить лишь перевод первой и части второй песни.

[24] *...займется окончанием элементарного своего курса воспитания...* — В последние годы жизни Жуковский разработал для собственных детей особую систему образования и воспитания. «Мои педагогические труды, — писал он Плетневу 6 марта 1850 г., — могут после быть приведены в порядок, изданы и могут составить курс предварительного учения, которым могут воспользоваться наши отцы и матери семейства» (*Изд. Семенко*, т. 4, с. 671).

[25] *...большой статьи моей о Жуковском...* — Имеется в виду статья Плетнева «О жизни и сочинениях В. А. Жуковского».

[26] *«О милых спутниках...»* — Текст знаменитого четверостишия Жуковского, получившего название «Воспоминание» (1821), цитируется Плетневым неточно.

О ЖИЗНИ И СОЧИНЕНИЯХ В. А. ЖУКОВСКОГО

(Стр. 376)

Плетнев, т. 3, с. 60—148.

[1] См. примеч. 5 к разделу «В. К. Кюхельбекер. Из писем».

[2] Этот распорядок дня определился у Жуковского еще в молодости. Так, в его рукописях 1804—1807 гг. есть такой план: «Вставать в пять часов, ходить. От 6-ти до 8-ми. Перевод. От 8 до 10-ти. Сочинять. Писать» (*РНБ*. Ф. 286. Оп. 1. Ед. хр. 12. Л. 15 об.).

[3] Эту любовь к аккуратности и порядку он сохранил на всю жизнь. В письме к А. И. Тургеневу от октября 1844 г. он писал: «Некоторые замечания в письме твоем насчет моей роскошной, сибаритской, как ты называешь ее, жизни справедливы, но не совсем. Я мог бы иные издержки и устранить, но ты совершенно ошибаешься насчет причины, побуждающей меня устроивать красно и чисто мои горницы: я это делаю *не для других*, а чисто для себя. Если б у меня был дом на необитаемом острове, и тот бы устроил приятным для глаз образом. Опрятность и comfort в семейной жизни есть то, что гармония и чистота языка в стихах» (*ПЖкТ*, с. 305).

[4] *Пушкин говаривал: «Один глупец ни в чем не переменяется».* — неточная цитата из статьи Пушкина «Александр Радищев». Правильно: «Глупец один не изменяется» (*Пушкин*, т. 12, с. 30). Не исключено, что Плетнев слышал эти слова в устной передаче Пушкина.

[5] *Он родился 29 января 1784 года...* — Как сейчас точно установлено, год рождения Жуковского — 1783-й.

[6] *Но не сетуй, старец, пращур лебединый...* — цитата из стих. Жуковского «Царскосельский лебедь» (1851).

[7] *...восьмое ноября изменило положение...* — Имеется в виду один из первых указов имп. Павла I, от 8 ноября 1796 г., о запрещении принимать на военную службу малолетних детей.

[8] В «Речи на акте в Университетском благородном пансионе, 14 ноября 1798 года» Жуковский так характеризовал М. М. Хераскова: «Херасков, добрый, чувствительный, незабвенный основатель сего благотворного места, воспитанию благородных юношей посвященного, Херасков с досточтимыми своими сотрудниками нас руководствует» (*Изд. Ефремова*, т. 5, с. 230).

[9] *...в редакторы устава.* — Устав «Собрания», протоколы см.: *Сушков Н. В.* Московский университетский Благородный пансион. М., 1858. С. 37—52 (приложение).

[10] *...вышедши в отставку...* — Вопрос об отставке встал перед Жуковским в апреле 1802 г., после ареста. 30 апреля 1802 г. он уже уволился из Соляной конторы (*РА*. 1902. № 5. С. 85).

[11] Речь идет об А. А. Протасовой-Воейковой, которую все позже звали «Светланой».

[12] О приезде Батюшкова в гости к Жуковскому в Белев до сих пор нет единого мнения: документальными источниками этот визит не подтверждается.

[13] *Прости, балладник мой...* — отрывок из послания К. Н. Батюшкова «К Жуковскому», включенного в письмо к Жуковскому от июня 1812 г. (*Батюшков К. Н.* Соч. Пб., 1887. Т. 3. С. 189—190).

[14] История взаимоотношений Жуковского и М. Т. Каченовского в связи с редактированием *ВЕ* подробно воспроизведена в их переписке 1810 г. (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1979, с. 89—106. Публикация Р. В. Иезуитовой).

[15] *Мне рок судил...* — отрывок из элегии Жуковского «Вечер» (1806).

[16] О Плещееве и атмосфере в его имении Чернь см. воспоминания Т. Толычевой в наст. изд.

[17] *...занимался... составлением сборника.* — Речь идет о «Собрании русских стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских и из многих русских журналов» (М., 1810—1811. Ч. 1—5). «Я издаю не *примеры*, — писал Жуковский А. И. Тургеневу 15 сентября 1809 г., — но полное собрание лучших стихотворений российских — книгу, которая могла бы заместить для людей со вкусом и для не весьма богатых людей собрание всех сочинений русских поэтов каждого порознь» (*ПЖкТ*, с. 48).

[18] *...отвечал ему Тургенев.* — Державин выражал неудовольствие за помещение многих его од в первых двух частях «Собрания...», считая это «похищением чужих трудов и обогащением за счет ближнего» (Сочинения Державина. СПб., 1876. Т. 6. С. 208—210). Тургенев по поручению Жуковского (*ПЖкТ*,

с. 91—93) ответил Державину с разъяснением позиции издателя (там же, с. 214). В трех последующих частях «Собрания...» произведений Державина нет.

[19] *На лиру с гордостью подъемлет взор певец...* — цитата из послания Жуковского «Императору Александру» (1814).

[20] *Мой слабый дар царица ободряет...* — первый стих из послания Жуковского «Государыне императрице Марии Феодоровне» (1813).

[21] *...у Кашина моста...* — Имеется в виду дом Брагина на Крюковом канале, где Жуковский и Плещеев жили в 1818—1819 гг. (*Иезуитова*, с. 290).

[22] *...за обработывание грамматики русского языка...* — Об интересе Жуковского к проблемам русской грамматики и особенно глаголов свидетельствуют пометы Жуковского в «Пространной русской грамматике» Н. И. Греча (СПб., 1827). Любопытно, что в предисловии к ней выражается благодарность В. А. Жуковскому, «отдавшему в мое распоряжение составленные им в рукописи отдельные правила грамматики русской» (с. IX). Подробнее об этом см.: *БЖ*, ч. 1, с. 36—37.

[23] *...прибавив... стихи, которые написал перед своим «Фаустом» Гете...* — Имеется в виду вступление к поэме «Двенадцать спящих дев» — «Опять ты здесь, мой благодатный гений...», перевод посвящения к первой части «Фауста». Жуковский опубликовал его и отдельно под названием «Мечта» (*СО*. 1817. Ч. 29, № 32).

[24] *...чудный маскарад в восточном вкусе.* — Описание этого праздника см. в письме Жуковского к А. И. Тургеневу от 19 января/6 февраля 1821 г., где, в частности, говорится: «Здесь был несравненный праздник, который оставил во мне глубокое впечатление...» (*Гофман М*. Пушкинский музей А. Ф. Онегина в Париже. Париж, 1926. С. 153).

[25] *Мнил я быть в обетованной...* — отрывок из стих. Жуковского «Лалла Рук» (1821).

[26] *Так пролетела здесь, блистая...* — цитата из стих. Жуковского «Явление поэзии в виде Лалла Рук» (1821).

[27] *«Самая лучшая эпоха жизни моей...»* — Далее цитируется письмо к А. П. Зонтаг от 11 января 1823 г. (*УС*, с. 95).

[28] Петербургские адреса Жуковского в 1822—1826 гг. см. в кн.: *Иезуитова*, с. 290.

[29] *...в одном его письме в Николаев...* — Цитируемое далее письмо от 11 января 1823 г. обращено к А. П. Зонтаг (*УС*, с. 96). Обозначенные в нем начальными буквами фамилии обозначаются так: *губернатор П.* — Н. А. Перовский; *родственник Ш.* — П. А. Шипилов, муж сестры Батюшкова.

[30] *Не узнавай, куда я путь склонила...* — цитируются три первые строфы стих. Жуковского «Голос с того света» (1815), вольного перевода из Шиллера.

[31] *«Какая-то Немезида преследует меня...»* — цитируется письмо к А. П. Зонтаг от 5 марта 1824 г. (*УС*, с. 97).

[32] *«Ваше письмо точно было голос с того света...»* — цитируется письмо к А. П. Зонтаг от 21 февраля 1826 г. (*УС*, с. 99).

[33] *«Я недаром ездил за границу...»* — из письма к А. П. Зонтаг от 27 октября 1827 г. (*УС*, с. 100).

[34] В специальной заметке «Польза истории для государей» он говорил: «Сокровище просвещения царского есть „история“, наставляющая опытами прошедшего, ими объясняющая настоящее и предсказывающая будущее. Она зна-

комит государя с нуждами его страны и его века. Она должна быть главною его наукою» (Собиратель. 1829. № 1. С. 8).

[35] *Взор его был грустно-ясен...* — отрывок из стих. «Видение» Жуковского.

[36] Речь идет о балладе Жуковского «Ленора» (1831), третьем (см. «Людмила», «Светлана») переложении баллады Бюргера «Lenore».

[37] Впервые к переводу шиллеровского «Кубка» Жуковский обратился около 1825 г. Пушкин в письме к нему от мая — июня 1825 г. просил: «Кончи, ради Бога, „Водолаза“» (у Шиллера баллада называется «Der Taucher»). Возвратился Жуковский к переводу лишь в 1831 г. и закончил 10 марта 1831 г. (*Изд. Вольпе*, т. 1, с. 408).

[38] *«Романсы о Сиде»*. — Речь идет о переложении испанских романсов о Сиде 1831 г., опубликованном в «Муравейнике» (1831. № 1. С. 9—12; № 2. С. 11—19). Как установлено в последнее время, Жуковский впервые обратился к романсам о Сиде в 1820 г., использовав обработку Гердера (см.: *БЖ*, ч. 1, с. 209—300).

[39] *«Теперь 4 января... день ясный и теплый...»* — фрагмент из письма к государю наследнику цесаревичу от 1 января 1833 г., где Жуковский развивает свою «историю всех революций, всех насильственных переворотов» (*Изд. Архангельского*, т. 12, с. 24—30).

[40] *Вы, верно, думаете обо мне на берегу Черного моря...* — Плетнев цитирует с небольшими пропусками и неверным прочтением отдельных слов письмо Жуковского к А. П. Зонтаг (*УС*, с. 108—109).

[41] *Его умилительная песнь...* — Речь идет о стих. «Песнь на присягу наследника» (1834).

[42] *«Три народные песни»*. — Имеются в виду: «Боже, царя храни!», «Слава на небе солнцу высокому...», «Боже, царя храни! Славному долги дни..» (*Изд. Архангельского*, т. 4, с. 23).

[43] *«Повинуясь воле... я рассказал русскими стихами „Ундину“»*. — Из прозаического предисловия к отдельному изданию «Ундины» (СПб., 1837). Впоследствии оно было снято самим Жуковским.

[44] *...посвятительные перед «Ундиною» стихи...* — Стихотворное посвящение к «Ундине» («Бывали дни восторженных видений...») обращено к вел. кн. Александре Николаевне.

[45] *«Праматерь внуке»*. — Это стихотворение Жуковского, как указывается в издании сочинений поэта 1849 г., «написано на причащение ея имп. высочества в. кн. Марии Николаевны».

[46] *...в ...письме к отцу незабвенного поэта*. — Имеется в виду письмо Жуковского к С. Л. Пушкину от 15 февраля 1837 г.

[47] *«Как жаль, что нет для меня суда Пушкина...»* — слова из письма к А. П. Зонтаг от 6/18 марта 1849 г. (*УС*, с. 126).

[48] *«Россия лишилась своего любимого национального поэта»*. — Из письма Жуковского к С. Л. Пушкину от 15 февраля 1837 г.

[49] См.: «Путешествие В. А. Жуковского по России» в наст. изд.

[50] См. статью Жуковского 1838 г. «Пожар Зимнего дворца» (*Изд. Архангельского*, т. 10, с. 63—71). При жизни поэта не была опубликована.

[51] *«Очерки Швеции»*. — Письмо к вел. кн. Марии Николаевне от 4 июня 1838 г., основанное на дневниковых записях (*Дневники*, с. 382—386), было опубликовано в виде статьи в *Совр.* (1838, т. 11).

[52] Второй перевод «Сельского кладбища» напечатан в *Совр.* (1839, т. 16) со следующим примечанием: «Находясь в мае месяце нынешнего (1839) года в Виндзоре, я посетил кладбище, подавшее Грею мысль написать его элегию. <...> там я перечитал прекрасную Грееву поэму и вздумал снова перевести ее как можно ближе к подлиннику. Этот второй перевод, почти через сорок лет после первого, посвящаю Александру Ивановичу Тургеневу в знак нашей с тех пор продолжающейся дружбы и в воспоминание о его брате».

[53] *«Вечер этого дня провел я в лагере».* — Плетнев приводит отрывок из письма к вел. кн. Марии Николаевне, послужившего основой статьи «Бородинская годовщина» (*Совр.*, 1839, т. 16).

[54] *...его «Посвящения»...* — Переводу поэмы «Наль и Дамаянти» Жуковский предпослал посвящение вел. кн. Александре Николаевне «В те дни, когда мы верим нашим снам...», где вспоминал о берлинских празднествах 1821 г., об умерших племянницах Протасовых, рассказывал о своей нынешней жизни.

[55] В неопубликованных дневниках 1841 г. он записывает: «25 декабря/7 генваря. Утром в то время, когда писал к Анне Петровне, приехали муратовцы. Все утро провел с ними» (*ЦГАЛИ*. Ф. 198. Оп. 1. Ед. хр. 37. Л. 82 об.).

[56] *«Я еду через десять дней...»* — Отрывок из письма Жуковского к А. П. Зонтаг, где конец выглядит так: «Число это уже вырезано на обручальных кольцах, которые прислала мне Дуняша и для которых все мои (и вы с Машею и с Зонтагом) сложились...» (*УС*, с. 117).

[57] *...я увидел // Себя на берегу реки широкой...* — отрывок из «Посвящения» к поэме «Наль и Дамаянти».

[58] *«Какое письмо!..»* — отклик А. И. Тургенева в «Хрониках русского» (запись от 28 июня/10 июля 1841 г.; см. в наст. изд.) на письмо Жуковского от 21 мая/3 июня 1841 г. (*ПЖкТ*, с. 291—292).

[59] *«Маттео Фальконе»* — перевод Жуковского стих. повести А. Шамиссо.

[60] *...к двум академикам...* — Речь идет о П. А. Плетневе, издателе *Совр.*, и С. П. Шевыреве, одном из издателей *Москв.*

[61] Замысел «Повестей для юношества», «самой образовательной детской книги», оформляется у Жуковского к середине 1840-х годов. В его рукописях сохранился черновой проект книги, включающей десятки сказок, повестей, народных и библейских сказаний, отрывки из моралистов, сюжеты русской истории (*РНБ*. Ф. 286. Оп. 1. Ед. хр. 53. Л. 1—2).

[62] Показательно в этом отношении признание П. А. Вяземского, прочитавшего перевод Жуковского: «Я плакал, как ребенок, как баба или просто как поэт — если я и не поэт на стихах, то поэт на слезах, — читая последние главы. Бой отца с сыном, кончина сына — все это разительно, раздирательно хорошо» (*ПВЖ*, с. 57).

[63] *...сводную повесть о войне троянской.* — Историю этого замысла и текст повести, обнаруженный в архиве, см.: *БЖ*, ч. 2, с. 532—546.

[64] Здесь и далее Плетнев приводит обширные фрагменты из писем Жуковского к нему, которые впоследствии П. А. Ефремов выделил из статьи и напечатал отдельно (*Изд. Ефремова*, т. 6, с. 592—600).

ИЗ СТАТЬИ
«ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНИЯ ИВАНА АНДРЕЕВИЧА КРЫЛОВА»
Субботы В. А. Жуковского

(Стр. 437)

Плетнев, т. 2, с. 80—82.

[1] *Есть очень любопытная картина...* — Речь идет об известной картине группы художников, учеников А. Г. Венецианова, «Субботнее собрание у В. А. Жуковского».

В. Кальянов

Василий Кальянов (? — после 1887) — секретарь и камердинер В. А. Жуковского с 1847 по 1852 г. Многие поздние рукописи Жуковского, страдавшего болезнью глаз и почти ослепшего, переписаны Василием под диктовку поэта. Имя Василия упоминается в воспоминаниях И. И. Базарова, в поздних письмах Жуковского. Так, в письме П. А. Вяземскому от 2—3 апреля 1852 г. он замечает: «Писать к тебе много не могу. Мой камердинер, который служил мне и глазами для чтения, и рукою для письма, занемог, и я вовсе ничего не могу делать» (*ПВЖ*, с. 71). Видимо, В. Кальянов переехал в Россию с семейством Жуковского в 1853 г., после смерти поэта. Сохранилось его письмо к П. И. Бартеневу от 23 января 1873 г. из Петербурга, где он сообщает адрес сына Жуковского — Павла Васильевича (*ЦГАЛИ*. Ф. 46. Оп. 1. Ед. хр. 565. Л. 91).

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О НЕЗАБВЕННОМ В. А. ЖУКОВСКОМ

(Стр. 439)

ИРЛИ. Онегинское собрание. 27. 851. СС.б 8. Л. 1—4. Написаны в 1887 г., ранее не публиковались.

[1] Ср. воспоминания И. И. Базарова в наст. изд.
[2] *19 февраля 1861 г.* — день опубликования манифеста об отмене крепостного права.
[3] *1 марта 1881 г.* — день убийства Александра II.

А. И. Кошелев

Александр Иванович Кошелев (1806—1883) — видный деятель славянофильства, публицист, мемуарист. К петербургскому периоду его жизни (1826—1831) относится знакомство с Жуковским через семейство Елагиных-Киреевских.

Общение с поэтом возобновляется ненадолго в конце января 1851 г., перед смертью поэта. Запись об этой встрече в Баден-Бадене — единственный относящийся к Жуковскому эпизод в обширных «Записках» Кошелева, касающихся больше социально-политической, нежели литературной жизни России 1810—1880-х годов.

ИЗ «ЗАПИСОК»

(Стр. 443)

Кошелев А. И. Записки (1812—1883). Берлин, 1884. С. 31, 79.

[1] Указанию мемуариста на пребывание его в Бадене в феврале 1851 г. противоречат записи в его дневнике и письмо Жуковского к Гоголю от 1/13 февраля 1851 г. В дневнике Кошелева от 20 января 1851 г. читаем: «В 2 часа пришел к нам Жуковский и просидел до 4-х. Был очень мил, жив и разговорчив. Позвал меня к себе, обещая сообщить в рукописи свои последние сочинения и кое-что прочесть у себя только для меня... Я еще более полюбил его: душа чистейшая, благороднейшая; простота и прямодушие просто детские. Смело можно сказать, что подлость и неправда никогда не коснулись его души». И еще: «1 февраля 1851. <...> В дороге я все думал о Жуковском. Очень рад, что я с ним сошелся: славный человек и по душе, и по уму. Трудолюбие его замечательно: работает так, что нам надобно у него учиться» (Цит. по кн.: *Жуковский В. А.* «Все необъятное в единый вздох теснится...» М., 1986. С. 262—263). Со своей стороны, Жуковский пишет Гоголю 1 февраля 1851 г.: «Здесь, в Бадене, Кошелев (который, однако, нынче отъезжает)» (*Изд. Семенко*, т. 4, с. 554).

[2] О планах переселения в Москву см. письма Жуковского к А. П. Елагиной и А. П. Зонтаг (*УС*, с. 82, 130—131).

[3] Общество любителей российской словесности функционировало при Московском университете с 1811 по 1826 г. под председательством А. А. Прокоповича-Антонского. После длительного перерыва возобновило свою работу в 1858 г. Кошелев некоторое время занимал пост его председателя.

И. И. Базаров

Иоанн Иоаннович Базаров (1819—1895) — протоиерей, духовник особ царствующего дома, автор богословских трудов, мемуарист. О широкой образованности Базарова свидетельствует его участие во втором карлсруйском издании поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон» (1857). (См.: *Лермонтов М. Ю.* Полн. собр. соч. / Ред. текста и коммент. Б. М. Эйхенбаума. М.; Л.: Academia, 1935. Т. 3. С. 631).

Базаров — один из близких Жуковскому людей в заграничный период его жизни. Он его духовник, подготовил к принятию православия жену поэта. Сохранились письма поэта к Базарову (*РА*. 1869. Стб. 87—99).

«Воспоминания о В. А. Жуковском» и письмо «Последние дни жизни Жуковского» — непосредственный отклик Базарова на смерть поэта. «Воспоминания протоиерея» И. И. Базаров писал в конце 1880 — начале 1890-х годов по желанию королевы Вюртембергской Ольги Николаевны.

ВОСПОМИНАНИЯ О В. А. ЖУКОВСКОМ

(Стр. 445)

Известия Отделения русского языка и литературы. 1853. Т. 2, № 8—9. С. 139—144.

[1] Ошибка памяти Базарова: Жуковский переселился из Дюссельдорфа во Франкфурт-на-Майне не в 1843, а в начале 1844 г.

[2] Упоминаемая И. И. Базаровым книга Э.-Р. Штира находится в библиотеке Жуковского с многочисленными пометами поэта и записями Базарова (*Описание*, № 2191).

[3] *...безверие...* — очень часто употребляемая Жуковским метафора политической жизни Европы 1840-х годов (см., например, статью «О происшествиях 1848 года» — *Изд. Архангельского*, т. 10, с. 119).

[4] *...человек, служивший при нем до последней минуты* — камердинер Жуковского Василий Кальянов.

[5] *...радостное событие...* — решение Е. А. Жуковской принять православную веру.

[6] Речь идет о смерти жены И. И. Базарова, последовавшей в 1850 г.

[7] *...указал мои ошибки...* — Здесь скорее всего имеется в виду критический разбор Г. Дестуниса «О переводе Одиссеи В. А. Жуковского» (*ЖМНП*. 1850. Ч. 57, кн. 8, отд. II. С. 59— 98), отличающийся вниманием к буквальной точности перевода; *...поскалил зубы... наговорил чепухи...* — Эти слова, вероятно, относятся к статье Е. Ф. Розена «Поэма Н. В. Гоголя об Одиссее» (Северная пчела. 1846. № 181. С. 712), содержащей грубые выпады в адрес Гоголя и его статьи «Об „Одиссее“, переводимой Жуковским».

[8] Имеется в виду запись И. И. Базаровым рассказа Е. А. Рейтерн об истории ее любви к Жуковскому, печатаемая в наст. изд. под названием: Е. А. Жуковская. Из «Воспоминаний».

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ ПРОТОИЕРЕЯ»

(Стр. 450)

РС. 1901. № 2. С. 292—294, 300.

[1] П. В. Жуковский родился 1/13 января 1845 г.

[2] Имеется в виду путешествие наследника по России в 1837 г.

[3] Речь идет о публикации письма «Последние дни жизни Жуковского».

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЖИЗНИ ЖУКОВСКОГО

(Стр. 451)

РА. 1869. Стб 99—111.

[1] Воспоминания И. И. Базарова написаны в форме письма неустановленному адресату. Наличие французского текста этого письма в архиве П. А. Вяземского (*ЦГАЛИ*. Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 950а) позволяет предположить, что адресатом письма о. Базарова был именно он.

[2] В 1852 г. Пасха (по старому стилю) приходилась на 30 марта; Жуковский просил Базарова приехать на шестой неделе Великого поста, т. е. 17—22 марта.

[3] *Фомина неделя* — вторая по Пасхе, начинается воскресеньем (Красной горкой). Понедельник Фоминой недели в 1852 г. — 7 апреля (по ст. стилю).

[4] *Петровский пост* — пост перед Петровым днем (29 июня по ст. стилю).

[5] На время Петровского поста был назначен обряд перехода Е. А. Жуковской в православную веру. В связи со смертью Жуковского этот обряд был отложен до сентября 1852 г.

[6] О Юстинусе Кернере см. коммент. к разделу «Из немецких воспоминаний о Жуковском» в наст. изд. Поэму «Странствующий жид» Кернер не переводил.

[7] Мат. 24, 20—44; Мар. 24, 17—41; Лук. 22, 14—46.

[8] Вел. кн. Ольга Николаевна, с 1846 г. — королева Виртембергская.

[9] Имеется в виду ветхозаветная легенда о великом потопе и о Ное, который узнал о прекращении потопа, выпустив из ковчега голубя; в первый день голубь принес в клюве масличную ветвь, а во второй — не вернулся (Быт. 13, 8—12).

[10] Место временного захоронения тела Жуковского было отмечено камнем с надписью из стих. «Воспоминание» (*ПГП*, т. 3, с. 657).

[11] Имеется в виду средневековый апокриф, рожденный местными палестинскими преданиями, связанными с неясными упоминаниями Евангелия о награждении и каре бессмертием (Мат. 16, 28; Иоан. 20, 22; Лук. 9, 27; Мар. 9, 1). В начале XVII в. в Германии на основе этого апокрифа была создана народная книга Ahasverus, которая и послужила источником многочисленных литературных обработок.

[12] По первоначальному замыслу Жуковского стихотворное переложение Апокалипсиса должно было войти в поэму «Странствующий жид». Но переложение так разрослось, что поэт выделил его в самостоятельное произведение, написав сокращенный вариант для поэмы.

[13] *...статейки религиозного содержания.* — Речь идет о цикле прозаических статей «Мысли и замечания», куда вошли статьи философско-религиозного содержания.

[14] *А когда допел он...* — цитата из стих. «Царскосельский лебедь» Жуковского.

[15] Аллегорическую природу стих. «Царскосельский лебедь» почувствовал П. А. Вяземский. 20 января/3 февраля 1852 г. он писал Жуковскому: «Ах ты мой старый лебедь, пращур лебединый, да когда же твой голос состареется? Он все свеж и звучен, как и прежде... Да что это за лебедь, вымысел, аллегория или быль?» (*ПВЖ*, с. 70).

Вл. Кривич

Сведений об авторе воспоминаний обнаружить не удалось.

НА КЛАДБИЩЕ АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ ЛАВРЫ 29-го ИЮЛЯ 1852 ГОДА

(Стр. 459)

СО. 1852. Т. 7: Смесь. С. 1—6.

[1] *О дети, о друзья...* — цитата из «Стихов, вырезанных на гробе А. Ф. Соковниной» (1808) Жуковского.

[2] *Не в радостях быстрых, не в ложных мечтах...* — цитата из стих. Жуковского «Теон и Эсхин» (1814).

[3] Здесь имеется в виду перевод «Илиады» Гомера, над которым Н. И. Гнедич работал с 1807 по 1828 г.

[4] Вл. Кривич цитирует известную пушкинскую надпись «К портрету Жуковского» (1818). На надгробном памятнике Жуковского вырезаны любимые им евангельские стихи, которые он выбрал и для надгробных памятников М. А. Мойер и А. А. Воейковой: «Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Мя веруйте; в дому Отца Моего обители многи суть: аще ли же ни, рекл бых вам: иду уготовати место вам, и аще уготовлю место вам, паки прииду и поиму вы к Себе: да, иде же есмь Аз, и вы будете».

«Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененнии, и Аз упокою вы. Возьмите иго Мое на себе и научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем и обрящете покой душам вашим; иго бо Мое благо, и бремя Мое легко есть» (Иоан. 14, 1—3; Мат. 11, 28—30).

[5] *И пусть у гробового входа...* — цитата из стих. А. С. Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» (1829).

М. П. Погодин

Михаил Петрович Погодин (1800—1875) — писатель, журналист, издатель журналов «Московский вестник» и *Москв.*, историк, профессор Московского университета, видный деятель славянофильства. Знакомство Жуковского с Погодиным относится скорее всего к 1826 г. в доме Елагиных-Киреевских; в конце 1820-х годов они уже переписываются по поводу издания «Московского вестника». Летом 1831 г. в Царском Селе Погодин читал Жуковскому и Пушкину свою трагедию «Петр I». Жуковский был знаком и с другими произведениями Погодина (*Барсуков*, т. 2, с. 166; т. 3, с. 344, 346). В библиотеке поэта сохранились многочисленные сочинения Погодина, в том числе с дарственными надписями (*Описание*, № 67, 120, 158, 259, 293—297, 312, 441, 467). Интенсивным было общение Жуковского и Погодина в конце 1830 — начале 1840-х годов, о чем свидетельствуют неопубликованные дневники Жуковского (*ЦГАЛИ*. Ф. 198.

Оп. 1. Ед. хр. 37. Л. 79 об. —89 об.). В 1842 г. Погодин посетил Жуковского в Дюссельдорфе и оставил описание его дома (см. свидетельства Н. П. Барсукова в наст. изд.). Сохранилась их переписка за эти годы (*РА*. 1899. Кн. 3, № 10. С. 302—310).

В 1869 г. М. П. Погодин совершил своеобразное паломничество на родину Жуковского и своего друга И. В. Киреевского. Он остановился в Петрищеве у А. П. Елагиной и съездил в Мишенское, где прошли детские годы Жуковского, и в Белев. Воспоминания об этой поездке Погодин, видимо, хотел напечатать, но статья осталась незаконченной и недоработанной. Текст воспоминаний публикуется по рукописи с небольшим сокращением. В рукописи воспоминаний М. П. Погодина находится копия записки А. П. Елагиной о Жуковском, составленной, по свидетельству Погодина, для С. П. Шевырева. Окончание этой записки обнаружено в отдельной единице хранения в том же фонде М. П. Погодина.

ПОЕЗДКА В БЕЛЕВ

(Стр. 464)

РГБ. Пог. I. К. 42. Ед. хр. 1 в. Л. 7—12, 14—15, 17—24, 26—28; Пог. III. К. 18. Ед. хр. 23. Л. 29.

[1] *Авдотья Петровна* — А. П. Елагина-Киреевская.

[2] См. изложение этого эпизода в воспоминаниях К. К. Зейдлица в наст. изд.

[3] Вероятно, речь идет о той же самой картине, которую описал И. В. Киреевский, — три мужские фигуры у решетки (см. наст. изд.).

[4] Этот же рассказ А. П. Елагиной Жуковский приводит в своей статье «Нечто о привидениях» (ср.: *Изд. Архангельского*, т. 10, с. 96).

[5] *Н. А.* — Николай Алексеевич Елагин, старший сын А. П. Елагиной от второго брака.

[6] *...вдову Ивана Васильевича* — Н. П. Киреевскую, урожд. Арбеневу.

[7] Ошибка памяти Погодина: элегия «Сельское кладбище» была опубликована в 1802 г.

[8] *Уже бледнеет день...* — цитата из элегии «Сельское кладбище».

[9] Свой дом в Белеве Жуковский начал строить в 1804 г. (*РА*. 1871. Стб. 0147); к началу зимы 1805 г. он уже поселился в нем. Позже, в 1806—1807 гг., он бывал в нем наездами.

[10] Пропуск для даты в рукописи. Должно быть, зиму 1805—1806 гг.

[11] Во время путешествия наследника по России 19—22 июля 1837 г. Жуковский и наследник посетили Белев.

[12] Эта история с протоколистом Емельяновым подтверждается дневниковой записью Жуковского от 20 июля 1837 г.: «...Протоколист сходит с ума» (*Дневники*, с. 343) и письмом С. А. Юрьевича, флигель-адъютанта наследника (*РА*. 1887. Кн. 2. С. 63).

[13] Хронологическая неувязка в воспоминаниях Погодина: 80-летний юбилей Гете праздновался в 1829 г.; в 1832 г. поэт умер, а Елагина прожила за границей два года (1835—1836), поэтому никак не могла быть свидетельницей увенчания Гете.

<РЕЧЬ М. П. ПОГОДИНА НА ОБЕДЕ, ДАННОМ В ЕГО ЧЕСТЬ>

(Стр. 467)

[1] *...краткую записку о Жуковском...* — Вероятно, она была написана Елагиной после смерти Жуковского для Шевырева, который работал над статьей «О значении Жуковского в русской жизни и в поэзии».

[2] *...запискою ее покойной сестры...* — Имеется в виду статья А. П. Зонтаг «Несколько слов о детстве Жуковского», написанная по просьбе М. П. Погодина для *Москв.*

[3] Ошибка памяти А. П. Елагиной: Жуковского только собрались записать в военную службу, как вышел указ Павла I о запрещении записывать малолетних дворян в военную службу; поэтому Жуковский пробыл в отъезде не 2—3 года, а несколько месяцев.

[4] *...комедии Коцебу...* — В 1802 г. Жуковский перевел комедию Коцебу «Ложный стыд». Другие переводы комедий Коцебу Жуковским неизвестны, хотя, по свидетельству А. И. Тургенева, связавшего переводы с Дружеским литературным обществом, «с поправками Жуковского появился в печати почти весь театр Коцебу» (*РА.* 1877. № 8. С. 487).

[5] Имеется в виду роман А. Коцебу, переведенный Жуковским в 1800 г. под названием «Мальчик у ручья».

[6] *...в деревне у тетки моей Протасовой...* — В деревне Муратове, принадлежавшей Е. А. Протасовой, Жуковский жил в 1811—1814 гг.

[7] Это свидетельство А. П. Елагиной расходится с воспоминаниями И. П. Липранди в наст. изд.

[8] Ошибка памяти Елагиной: преподавателем русского языка при вел. княгине Жуковский был назначен в октябре 1817 г.

Н. П. Барсуков

Николай Платонович Барсуков (1838—1906) — историк, археограф, библиограф — не мог быть знаком с Жуковским. Материалы его многотомного труда «Жизнь и труды М. П. Погодина» (СПб., 1888—1901. Кн. 1—22) — дополнение к воспоминаниям не только Погодина, но и многих других современников Жуковского. В этом труде имя Жуковского встречается часто, но главные документальные источники (прежде всего дневниково-эпистолярные), цитируемые автором, позволяют увидеть поэта в контексте русской общественно-литературной жизни 10—40-х годов XIX в. Н. П. Барсуков в большей степени, чем мемуаристы-друзья, очевидцы, показал Жуковского — литературного деятеля, участника и вдохновителя многих журнальных замыслов. Он сумел как бы реконструировать на основе мемуарных источников еще одну грань его творческой деятельности, и в этом безусловная ценность его «заочных воспоминаний».

ИЗ КНИГИ «ЖИЗНЬ И ТРУДЫ М. П. ПОГОДИНА»

(Стр. 471)

Барсуков, кн. 2, с. 100—101, 135; кн. 4, с. 10—11, 388—389; кн. 5, с. 8—9, 108; кн. 6, с. 18—22; кн. 7, с. 48—49; кн. 10, с. 182—185, 186—188, 192—193; кн. 11, с. 414—415; кн. 12, с. 18—26.

[1] *Жуковский прожил здесь почти два года.* — Барсуков неточен: в Долбино Жуковский жил с начала сентября 1814 до конца января 1815 г.

[2] *...принять на себя опекунские заботы.* — Муж А. П. Киреевской умер в 1812 г. На ее руках осталось трое детей, заботу о которых и хотел взять на себя Жуковский. В письмах к А. П. Киреевской 1815 г. мысль об опекунстве звучит постоянно (*УС*, с. 7—9).

[3] *...производит во мне род Heimweh.* — В письме к А. П. Киреевской от 11 июня 1815 г., варьируя все эти образы и мотивы, он пишет: «Дайте мне устроить свое здешнее, и я опять у вас, опять в своей семье, опять (как пишет друг Анета) в прекрасном родимом краю... Знаете ли, что всякий ясный день, всякий запах березы производит во мне род — Heimweh...» (*УС*, с. 10).

[4] Подробнее см. вступ. заметку к разделу «И. В. Киреевский. Из писем» в наст. изд.

[5] *...его узнать покороче весело.* — Из письма Жуковского к А. П. Елагиной от 22 января 1830 г., написанного в связи с пребыванием И. В. Киреевского у Жуковского в Петербурге, перед поездкой за границу (*УС*, с. 50).

[6] *...по свидетельству А. П. Елагиной...* — См.: *РА*. 1862. № 6. С. 194—197. Подробнее о запрещении «Европейца» и об участии в судьбе И. В. Киреевского Жуковского см.: *Гиллельсон М. И.* Письма В. А. Жуковского о запрещении «Европейца» // *РЛ*. 1965. № 4. С. 114—124.

[7] *Порицать Россию за то...* — из воспоминаний Д. Н. Свербеева (*РА*. 1868. Стб. 986).

[8] *Во время пребывания Жуковского в Москве...* — Речь идет о посещении Жуковским Москвы в январе — марте 1841 г., когда он неоднократно встречался с М. П. Погодиным.

[9] Вероятно, этот вечер почему-либо не состоялся так как в неопубликованном подробном дневнике Жуковского упоминаний о нем нет.

[10] Активное участие Жуковского на всех этанах существования *Москв.* можно проследить как на материале его публикаций в журнале, так и в переписке с Погодиным и Киреевским. Так, И. В. Киреевский, приступая в 1845 г. к редактированию журнала, пишет своему наставнику: «...Прошу сказать мне подробно Ваше мнение об этом номере: оно будет мне руководством дли других» (*Киреевский И. В.* Полн. собр. соч. М., 1911. Т. 2. С. 237).

[11] В дневнике Жуковского постоянны записи о его визитах к Антонскому (*ЦГАЛИ*. Ф. 198. Оп. 1. Ед. хр. 37. Л. 80 об., 83 об.).

[12] Оба эти факта пребывания Жуковского в Москве зафиксированы в его неопубликованном дневнике. Только их последовательность иная: 20 января — вечер у Хомякова, 21 января — обед у Черткова (*ЦГАЛИ*. Ф. 198. Оп. 1. Ед. хр. 37. Л. 81—81 об.).

[13] Все приведенные Барсуковым материалы о последствиях погодинской публикации об обеде у Черткова (*Москв.* 1841. № 2) являются единственным систематизированным источником сведений об этих событиях.

[14] *...Погодин отправился в Дюссельдорф.* — Речь идет о путешествии М. П. Погодина в 1842 г.

[15] Ср.: *Аксаков И. С.* Письма к родным. 1844—1849 / Изд. подгот. Т. Ф. Пирожкова. М., 1988. С. 462.

[16] Письмо Н. В. Гоголя от 3 апреля 1849 г. (*Гоголь* т. 14, № 85).

[17] Историю публикации воспоминаний А. П. Зонтаг см. в наст. изд.

[18] *...поставило в тупик слово бурн...* — Речь идет о недоразумении, связанном с неправильным прочтением стиха из перевода Жуковским «Опустевшей деревни» О. Голдсмита (1805). Обурн (транскрипция англ. Auburn) — в поэме Голдсмита название вымышленного села, разоренного и опустевшего в результате огораживания общинных земель.

[19] О воспоминаниях И. И. Базарова, истории их публикации см. в наст. изд.

[20] *Лебедь благородный дней Екатерины...* — отрывок из стих. Жуковского «Царскосельский лебедь» (1851).

[21] *«Воспоминания о В. А. Жуковском».* — Имеются в виду воспоминания А. П. Зонтаг «Несколько слов о детстве В. А. Жуковского».

[22] Замечания М. А. Дмитриева на появившиеся публикации о Жуковском см. в его «Мелочах из запаса моей памяти» в наст. изд.

П. М. Мартынов

Петр Мартынович Мартынов (1828—1895) — тульский краевед, публиковавшийся в журнале «Исторический вестник». Его очерк «Село Мишенское, родина В. А. Жуковского», созданный в начале 1870-х годов, — опыт краеведческих мемуаров. Мартынов попытался через конкретные реалии воссоздать мир, окружавший Жуковского в юности, питавший его поэтическое воображение. В этом смысле очерк Мартынова — важнейший источник для биографов поэта, комментаторов его поэзии.

СЕЛО МИШЕНСКОЕ, РОДИНА В. А. ЖУКОВСКОГО

(Стр. 488)

ИВ. 1887. Т. 27. С. 110—126. К очерку приложены три гравюры с видами Мишенского. Впервые: Тульские губ. ведомости. 1872. В примеч. к очерку использованы авторские комментарии, специально оговоренные в тексте.

[1] *Река Большая Выра...* — Примеч. автора: «В Оку около Белева впадают четыре Выры: Большая (Фатьяновская), Малая (в самом городе), Вежна (под Жабынью) и Говтунская Выра вероятно, происходит от глагола *вырывать*, означая бурное свойство воды при разлитии весною, когда целые береговые местности смываются и засоряют фарватер Оки, и без того здесь маловодной» (с. 110).

[2] *Ты помнишь ли наш пруд спокойной?..* — цитата из стих. «Там небеса и воды ясны...», посланного в письме к А. П. Киреевской в 1816 г. с таким комментарием: «Все, что на милой родине, здравствуй! Я было начал стихи к родине» <...> (*ЖМНП*. 1869. С. 142, 377).

[3] *Гремячий колодезь.* — Об этом Гремячем ключе Жуковский вспоминал неоднократно (см.: *УС*, с. 18) и запечатлел его в 1837 г. на рисунке (*Милонов*, с. 47).

[4] Об этом см. примеч. 17 к воспоминаниям К. К. Зейдлица в наст. изд.

[5] Примеч. автора: «Мишенское есть в Одоевском уезде, в 6 верстах от города; Мишина Поляна — в Белевском» (с. 112).

[6] *...рода Буниных... — См.* об этом: *Долгова Р. С., Кононова А. Ю.* Новые материалы о родине и предках поэта (по документам ЦГАДА) // Жуковский и русская культура. Л., 1987. С. 342—345.

[7] *...каменный храм...* — См. офорт Жуковского «Вид церкви от дома к воротам» (*Милонов*, с. 34, 45).

[8] Примеч. автора: «Об этом я узнал от одного отставного чиновника, он же, в свою очередь, слышал о подобном наименовании от своей родной бабки, жившей в детстве у священника Петра Петрова, который крестил Жуковского. Бабка, бывши маленькою, по ее словам, хаживала на господскую усадьбу играть с Васенькою; 26 лет тому назад старушка умерла» (с. 117).

[9] Об этом говорил и сам Жуковский (*УС*, с. 109). В мишенских офортах Жуковского холм постоянно присутствует как важнейшая часть пейзажа (*Милонов*, с. 29, 46).

[10] Примеч. автора: «В 1855 году нам довелось видеть Зонтаг и ее домашнюю обстановку; несмотря на свои 70 лет, она казалась вполне бодрою и гораздо моложе своих лет» (с. 117).

[11] Примеч. Мартынова: «В гостиной есть небольшой портрет жены Василия Андреевича, Елизаветы Алексеевны, с сыном, небольшим мальчиком» (с. 118).

[12] Гутмансталь, за которого вышла замуж единственная дочь А. П. Зонтаг, был австрийским консулом в Одессе (*РБ*, с. 118). Как сообщает Мартынов, «у супругов Гутмансталей в Австрии трое детей: два женатые сына и замужняя дочь» (с. 120).

[13] *Друзья, любите сень родительского крова!..* — отрывок из стих. «Сон могольца» (1806).

[14] В дневнике об этом событии Жуковский писал так: «У нас все представились: Саша, Маша, Арбенева и Плещеев. Приезд Петра Плещеева, Варвары с мужем, Левицкой Натальи Алексеевны и мужа ее» (*Дневники*, с. 342).

[15] Об этом см. воспоминания М. П. Погодина в наст. изд.

ПРИЛОЖЕНИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ЖУКОВСКОМУ

Поэтический и человеческий облик Жуковского вряд ли раскроется во всей своей полноте без обращения к многочисленным стихотворениям, ему посвященным. Дружеские послания современников, поэтические некрологи, юбилейные стихотворения — все это своеобразная поэтическая летопись бытования Жуковского в русской духовной жизни и литературе.

В предлагаемую подборку включены далеко не все стихотворения, обращенные к «Коломбу русского романтизма», ибо количество их безбрежно, а собранные вместе (с учетом посланий европейских поэтов), они могли бы составить специальную книгу. Цель наша другая — выделить в «поэтической жуковиане» то, что на протяжении почти века (с 1803 по 1897 г.) несло в себе отзвуки поэтической традиции Жуковского, формировало в сознании людей XIX в. представления о нравственном и поэтическом значении первого русского романтика. Можно без преувеличения сказать, что авторы всех 35 произведений — единомышленники Жуковского, наследники его романтизма. Вместе с тем они хранители памяти о нем. Поэтому большинство отобранных стихотворений — характерные образцы поэтической мемуаристики. Слова «помню я», «мне видится», «то было», «я видел» и т. д. естественны в тексте этих произведений: их авторы воссоздают средствами поэзии хрупкий мир воспоминаний.

Условно все эти стихотворения-воспоминания можно разделить на две хронологические группы: написанные до 1852 г., до смерти Жуковского, и после его смерти. Первая группа стихотворений хранит тепло живого Жуковского, встреч и расставаний с ним, размышлений о его поэзии, обращений за советом. К нему обращаются его друзья-арзамасцы, его ученики и поклонники. Вторая группа стихотворений уже отделена дистанцией времени: в ней отчетливее попытка дать обобщенный образ поэта, определить его в беге времени. Если современники поэта пытались дать надписи к его портрету, уловить еще не устоявшееся и не определившееся до конца, то потомки стараются написать портрет, выявить поэтическую традицию Жуковского как живую, плодотворную. Различны масштабы дарований поэтов, жанры, к которым они обращаются, но объединяет их «память сердца». В этом смысле поэтическая мемуаристика — органичная часть воспоминаний о Жуковском, ибо к фактическим сведениям добавляет определенное настроение, чувство, а главное — поэты поэтическим языком говорят о поэте.

Комментарий к «Приложению» структурно не отличается от примечаний к материалу общего корпуса книги. Для удобства все отобранные стихотворения имеют сплошную нумерацию. Биографические сведения об авторах даны в том случае, если они отсутствуют в общем корпусе издания. В примечаниях указывается первая публикация стихотворения, а также проясняются необходимые биографические реалии и факты литературного быта.

А. И. ТУРГЕНЕВ

Андрей Иванович Тургенев (1781—1803) — старший из четырех братьев Тургеневых, с которыми Жуковского связывали тесные дружеские отношения. Но дружба с Андреем имела для него особое значение, о чем свидетельствует их переписка (см.: *Письма Андрея Тургенева*, с. 350—431). Талантливый поэт, переводчик Шиллера, Шекспира, Франклина, один из организаторов Дружеского литературного общества, он был поистине идейным учителем и поэтическим вдохновителем Жуковского. Не случайно ему Жуковский посвятил свой первый перевод «Сельского кладбища» (1802). Его ранняя смерть была пережита Жуковским как огромная личная драма. Памяти друга он посвятил стихотворение «На смерть Андрея Тургенева» и повесть «Вадим Новогородский» (1803).

1. Автограф — *ИРЛИ* (фонд Тургеневых). Ф. 309. № 4759. Стихотворение в виде извлечения из письма к Жуковскому из Вены от 12 января 1803 г. как самостоятельное произведение впервые опубликовано в кн.: *Веселовский*, с. 55. В письме оно было сопровождено следующими словами: «Прости, брат, эти дурные стихи, в которых я не мог выразить чувств своих, бесконечных, разнообразных» (*Письма Андрея Тургенева*, с. 418).

К. Н. БАТЮШКОВ

Три стихотворения Батюшкова, обращенные к другу-сопернику, отражают различные этапы творческого развития самого Батюшкова, выявляют характер взаимоотношений поэтов в различные годы. От послания 1812 г., пронизанного предарзамасским озорством, лежит путь к стих. 1821 г., предвещающему трагическую историю сумасшествия поэта. Но и в нем «память сердца», воспоминание о дружбе поэтов звучат сильнее, чем тяжелые предчувствия.

2. Пантеон русской поэзии. СПб., 1814. Ч. 2; с ошибкой в датировке (1811). Написано в июне 1812 г. и послано при письме к Жуковскому от июня 1812 г. из Петербурга. Послание получило хвалебную оценку Пушкина в его заметках на полях «Опытов...» Батюшкова: «Прекрасно, достойно блестящих и небрежных шалостей фр<анцузского> остроумия — и везде язык поэзии» (*Пушкин*, т. 12, с. 276).

[1] *Белева мирный житель.* — Жуковский в это время жил в имении Буниных около Белева, Тульской губернии. Позднее этот стих использовал применительно к Жуковскому П. А. Вяземский в послании «К Батюшкову» (1816).

[2] *Амальтеи рог* — рог изобилия, происхождение которого связано с греческим мифом о нимфе Амалфее.

[3] *...как древле Громобою...* — Имеется в виду эпизод из баллады Жуковского «Громобой» (первая часть поэмы «Двенадцать спящих дев»).

[4] *Свистов* — прозвище Д. И. Хвостова; позднее им активно пользовались арзамасцы.

[5] *Его покорный бес...* — намек на басню А. Е. Измайлова «Стихотворец и черт», где черт выступает единственным слушателем Хвостова.

3. *ВЕ*. 1817. Ч. 91, № 3. С. 183. Подпись: *К. Б.* Было сопровождено следующим редакторским (М. Т. Каченовского) примечанием: «Предлагая сию над-

пись, уведомляем наших читателей, что постараемся и самой портрет приложить к одной из книжек „Вестника Европы" текущего года. По желанию многих почитателей г-на Жуковского, готовится еще другого формата портрет его для известного собрания *Переводов в прозе*. Не угодно ли будет нашим господам стихотворцам (разумеется, общим приятелям В--я А--а) прислать к нам надпись для другого портрета?» В ответ на это предложение в шестом номере появились «Надписи к портрету В. А. Жуковского» В. Л. Пушкина (см. наст. изд.) и Н. Иванчина-Писарева. В № 20 появился портрет Жуковского работы П. Соколова, гравированный А. Флоровым, с той же надписью Иванчина-Писарева:

Красавицы! Он вас Людмилами дарил,
Героев гимнами, друзей дарил собою;
Дарил несчастных он — чем только мог — слезою
От Славы сам венец в подарок получил.

Надпись Батюшкова была помещена под этим же портретом Жуковского в изданных Каченовским «Переводах в прозе» Жуковского (ч. 5. М., 1817).

[1] *Тиртей* — греческий поэт 2-й пол. VII в. до н. э, призывавший к военной и гражданской доблести. Впервые этим именем Жуковского назвал Вяземский в послании «Тиртею славян» (см. наст. изд.). Уподобление Жуковского Тиртею связано с его участием в Отечественной войне 1812 г. и созданием стих. «Певец во стане русских воинов».

[2] *...новый Грей...* — Жуковский был автором перевода элегии английского поэта Т. Грея «Сельское кладбище».

4. *РС*. 1887. Т. 54, № 4. С. 240. Стихотворение было вписано Батюшковым 4 ноября 1821 г. в альбом Жуковского, с которым он встретился в Дрездене, точнее, в местечке Плаун под Дрезденом, где находился на лечении.

[1] Первое двустишие восходит к предсмертному стих. Р. Державина «Река времен в своем стремленье...» (1816).

[2] Плетаев — иронически переиначенная фамилия П. А. Плетнева, на которого Батюшков был обижен в связи с публикацией его стих. «Б<атюшко>в из Рима» (см.: *Батюшков. К. Н.* Полн. собр. стихотворений. М.; Л., 1964. С. 320—321).

В. Л. ПУШКИН

Василий Львович Пушкин (1770—1830) — поэт, дядя А. С. Пушкина, активный участник борьбы карамзинистов с беседчиками. Позднее — арзамасец. Именно к этому времени относится сближение Жуковского и В. Л. Пушкина. В трех посланиях Жуковского «К кн. Вяземскому и В. Л. Пушкину» (1814), образцах критики «школы гармонической точности» (Л. Я. Гинзбург), отчетливо обозначается отношение Жуковского к адресату. Стих. послания В. Л. Пушкина, обращенные к Жуковскому, его надпись к портрету поэта — свидетельство духовной близости поэтов и яркий образец литературного быта 1810-х годов.

5. Цветник. 1810. № 12. С. 357; без эпиграфа. Печатается по изд.: Сочинения В. Пушкина. СПб., 1822. Об отношении к этому посланию и причинах его

неопубликования в *ВЕ* Жуковский подробно говорит в письме к А. И. Тургеневу от 12 сентября 1810 г.: «А стихов его я не поместил для того, что они слабы, заключают в себе одну только брань, которая есть бесполезная вещь в литературе; впрочем, поместить их более не хотел Каченовский, не желая заводить ссоры, в чем и я согласен» (*ПЖкТ*, с. 63).

[1] Намек на злоупотребление А. С. Шишковым церковнославянизмами.

[2] *Кто русской грамоте... писать трагедии пустился...* — намек на А. А. Шаховского, трагедия которого «Дебора, или Торжество веры» была поставлена в Петербурге 24 января 1810 г.

[3] *Поэма громкая, в которой плана нет...* — Речь идет о поэме С. А. Ширинского-Шихматова «Петр Великий».

[4] *Синопсис* — сокращенное изложение Священного писания.

[5] *Степенная книга* — выборка из летописей и хронографов, составленная в XVI в. для систематизации летописных известий.

[6] *И Пиндар наших стран...* — намек на статью С. Н. Глинки о поэме С. А. Шихматова «Петр Великий» (см.: Поэты 1790—1810-х годов / Б-ка поэта. Б. серия. Л., 1971. С. 864).

[7] *Балдус* — прозвище А. С. Шишкова.

[8] *Любимец Аонид...* — Имеется в виду И. Ф. Богданович.

[9] *Дмитрев-Лафонтен.* — Речь идет об И. И. Дмитриеве, которого современники сравнивали с Лафонтеном за его любовь к басне и стихотворной сказке.

[10] *Арист* — А. С. Шишков.

[11] *Лагарпов курс.* — Имеется в виду «Лицей, или Курс древней и новой литературы» французского критика и историка литературы Ж.-Ф. Лагарпа. В 1809 г. А. С. Шишков издал «Перевод двух статей из Лагарпа».

[12] *Нам нужны не слова, нам нужно просвещенье.* — Этот стих пародийно использован А. А. Шаховским в его поэме «Расхищенные шубы» (1811), где В. Л. Пушкин высмеян под именем Спондея.

6. *ВЕ*. 1817. Ч. 92, № 6. С. 100. См. примеч. к № 3.

7. Лит. газета. 1830. Т. 1, № 19. С. 150.

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ

8. Труды Общества любителей российской словесности. М., 1816. Ч. 6. С. 35. Сохранился автограф с поправками Жуковского, учтенными позднее Вяземским. Он датирован 1813 г., что точнее даты в подзаголовке, так как Вяземский вернулся в Москву из Вологды лишь в начале 1813 г.

[1] *Летит теперь, отмщеньем вдохновенный...* — Вероятно, речь идет о К. Н. Батюшкове, который в июле 1813 г. отправился в Германию, чтобы догнать русскую армию.

9. *Вяземский*, т. 3, с. 39—40. Автограф имеет заглавие «Тиртею Андреевичу». Датируется 1813 г. по содержанию: стихотворение явилось откликом на смерть М. И. Кутузова.

[1] О происхождении названия см. примеч. 1 к № 3.

[2] *Победу пел перед вождем побед?* — Жуковский посвятил Кутузову стих. «Вождю победителей» (*ВЕ*. 1812. № 21—22), вышедшее отдельной брошюрой под заглавием «Князю Смоленскому» (СПб., 1813).

[3] *О, сколь тебе прекрасен перед строем...* — парафраз посвященных Кутузову стихов Жуковского из «Певца во стане русских воинов»: «О, сколь с израненным челом // Пред строем он прекрасен!»

[4] *Внезапно смерть простерла ночи тень...* — Кутузов, возглавивший в 1813 г. заграничный поход русской армии, внезапно умер в силезском городе Бунцлау 16 апреля 1813 г.

10. *СО*. 1821. № 10; с цензурными купюрами. Датируется августом 1819 г.

[1] *Подражание сатире Н. Депрео.* — Речь идет о второй сатире французского поэта Никола Буало-Депрео, посвященной проблеме рифмы. Об этом сам Вяземский писал А. И. Тургеневу 7 августа 1819 г.: «Этот обер-черт Жуковский! Письмо твое со стихами пришло в то самое время, когда я кончал подражание сатире Депрео к Мольеру о трудности рифмы, и мои стихи так мне огадились, что я не в силах продолжать» (*ОА*, т. 1, с. 284). В подзаголовке первой публикации в *СО* было неточное указание на третью сатиру, которое нередко сохраняется в современных публикациях.

[2] *В боренье с трудностью силач необычайный...* — Эти слова поистине стали крылатыми. Их использовал для характеристики таланта Жуковского А. С. Пушкин в письмах Н. И. Гнедичу от 27 сентября 1822 г. и Вяземскому от 15 мая — июня 1825 г.

[3] В послании «К кн. Вяземскому» (1815), разбирая его стих. «Вечер на Волге», Жуковский писал: «<...> Но рифма вздорная косится и брюзжит! // Как быть? Она деспот, и гнев ея ужасен! // Нельзя ли рифму нам другую приискать, // Не опасаяся, чтоб вздорщицу смутили...». Вопрос о трудностях в поиске рифм возникал и в других посланиях Жуковского к Вяземскому.

[4] *...а вздорщица свое...* — Выражение принадлежит Жуковскому (см. предшествующее примеч.).

[5] *Державин рвется в стих, а втащится Херасков.* — По указанию самого Вяземского (*Вяземский*, т. 1, с. XLII), эти слова — переложение стиха Буало «La raison dit Virgile et la rime Quinault» («Разум говорит — Вергилий, а рифма — Кино»). В письме от 9 марта 1821 г. А. И. Тургенев сообщал автору, что «цензура не пропустила» выражения «втащится Херасков» (*ОА*, т. 2, с. 175).

[6] *Я в пляску здесь пустить и горы и леса...* — Любопытный парафраз стиха из басни И. А. Крылова «Квартет»: «У нас запляшут лес и горы!»

11. Русский инвалид. 1849. № 25. Написано к 50-летию литературной деятельности Жуковского и оглашено Блудовым во время юбилея на квартире Вяземского (см. воспоминания Вяземского, М. Глинки в наст. изд.).

[1] *Баден-Баден* — курортный город в Германии, где провел последние годы своей жизни Жуковский.

В. Ф. РАЕВСКИЙ

Владимир Федосеевич Раевский (1795—1872) — поэт, «первый декабрист». Участник Отечественной войны 1812 г., в составе артиллерийской бригады сражался под Бородином. В 1819—1820 гг. становится членом Союза благоденствия, принимает активное участие в организации ланкастерской школы взаимного обучения для солдат, где одновременно с обучением занимается революционной пропагандой, используя с этой целью, в частности, стихи о смерти героя, павшего «во искупление свободы» из поэмы «Пери и ангел», переведенной Жуковским из Т. Мура (*ЛН*. М., 1982. Т. 91. С. 678—679).

12. Литературный Ульяновск. 1947. № 1. Время написания определяется реалиями, имеющимися в стихотворении: после появления «Певца во стане русских воинов» Жуковского (декабрь 1812 г.) и до смерти М. И. Кутузова (16 апреля 1813 г.).

А. Ф. ВОЕЙКОВ

Александр Федорович Воейков (1778 или 1779—1839) — поэт, журналист и критик. Активный член Дружеского литературного общества, позднее арзамасец. Находился в дружеских отношениях с Жуковским; в 1814 г. женился на младшей из сестер Протасовых — Александре Андреевне, племяннице Жуковского, воспетой им под именем Светланы. О сложности личных отношений двух поэтов впоследствии см.: *Соловьев Н. В.* История одной жизни. А. А. Воейкова // Светлана. Пг., 1915—1916. Т. 1—2. Между тем постоянная помощь Жуковского семейству Воейковых, благодарные отзывы Воейкова о Жуковском, обмен посланиями свидетельствуют о неоднозначности их творческих контактов и эволюции их отношений.

13. *ВЕ*. 1813. № 5—6. С. 26. Послание Воейкова — изложение представлений литературных кругов, близких к «Арзамасу», о той поэтической задаче, которую на Жуковского возлагали: от него ожидали народной поэмы в «русском духе» на историческом материале. В ответном послании «К Воейкову» («Добро пожаловать, певец...» — *ВЕ*. 1814. № 6. С. 97), имевшем огромный успех, Жуковский воссоздал мир русской мифологии, создал удивительные по описанию картины Кавказа, оказавшие воздействие на последующую русскую поэзию.

[1] *...учитель мой в описательной поэзии!* — Воейков был автором целого ряда описательных поэм, в том числе перевода «Садов» Делиля, пользовавшегося большой популярностью в 1810-е годы (см.: *Лотман Ю. М.* «Сады» Делиля в переводе Воейкова // Жак Делиль. Сады / Сер. «Лит. памятники». Л., 1988. С. 191—209). Отрывки из этих поэм первоначально публиковались в *ВЕ*, редактором которого был Жуковский. Как образец для описательной поэзии, Воейков высоко ценил элегии Жуковского,

[2] *О друзья мои!* — Далее Воейков воссоздает поэтическую речь Жуковского, сотканную из мотивов и образов его лирики, в частности элегий «Сельское кладбище» и «Вечер», посланий «К Филалету», «К Делию», «Песни в веселый час».

[3] *Топишь в чашу белый ярый воск...* — пересказ отрывка из баллады Жуковского «Светлана». Речь идет о гаданье на Крещенье.

[4] *Напиши четыре части дня, // Напиши четыре времени...* — Воейков призывает Жуковского обратиться к тематике описательных поэм Делиля «Воображение» и «Сельский житель» и Дж. Томсона «Времена года».

14. Сборник, издаваемый студентами... С.-Петербургского ин-та. СПб., 1857. Вып. 1. С. 339 (24 строфы с пропусками, частично с указанием подлинных имен). Сатирическая поэма «Дом сумасшедших» создавалась в 1814—1839 гг., распространялась в списках и была ярчайшим памятником неофициальной литературы XIX в., памятником литературного быта. Пародийный образ Жуковского в этой поэме прежде всего определяется мотивами и образами его баллад, и в частности «Баллады о старушке» (из Р. Саути). Не случайно в вариантах поэмы Жуковский назван «Балладин».

А. С. ПУШКИН

15. При жизни Пушкина не печаталось. Вероятно, этим стихотворением Пушкин хотел открыть сборник своих стихов, который он задумывал в сентябре — октябре 1816 г. Стихотворение в автографе подписано «Арзамасец», хотя в 1816 г. Пушкин формально еще не был членом «Арзамаса».

[1] *Могу ль забыть я час...* — Эти строки, видимо, вызваны воспоминанием о встрече лицеиста Пушкина с Жуковским в сентябре 1815 г., по поводу которой Жуковский писал П. А. Вяземскому 19 сентября 1815 г.: «Я сделал еще приятное знакомство! С нашим молодым чудотворцем Пушкиным. <...> Это надежда нашей словесности...» (*Изд. Семенко*, т. 4, с. 564—565).

[2] Выделенные в тексте послания курсивом слова — реминисценции из произведений Жуковского. Ср.: «Лети в безвестну даль; // Твой гений над тобою...» («К Блудову», 1810); «Он кроток сердцем был, чувствителен душою» («Сельское кладбище», 1802).

[3] *Во мгле два призрака склонилися главами.* — Имеются в виду Тредиаковский и Сумароков.

[4] Под именем *Мевия* (плохого поэта, врага Вергилия) разумеется А. С. Шишков.

[5] *Явится Депрео, исчезнет Шапелен.* — Имеется в виду жестокая критика, которой Буало-Депрео подверг поэму Шапелена «Орлеанская девственница», после чего пострадала репутация последнего как поэта.

[6] *Тот, верный своему мятежному союзу...* — Этот и последующие стихи относятся к А. А. Шаховскому, автору комедии «Урок кокеткам, или Липецкие воды», направленной против Жуковского и ставшей поводом для создания «Арзамаса».

16. *СО*. 1821. № 52; под заглавием «К Ж***» по прочтении изданных им книжек «Для немногих». Перепечатывая стихотворение в своем собрании стихотворений, Пушкин его сократил.

[1] *...творишь ты для немногих...* — Выделенные в тексте послания слова «для немногих» намекают на изданные Жуковским в ограниченном количестве экземпляров в 1818 г. пять выпусков книжек «Для немногих. Für wenige», содержащих переводы Жуковского вместе с оригиналом.

[2] *Не для завистливых судей...* — Эта и четыре последующие строки непосредственно перекликаются с мыслями Жуковского о независимости поэта, изложенными в послании 1814 г. «К кн. Вяземскому и В. Л. Пушкину» («Друзья, тот стихотворец-горе...»). Ср.: «Рука завистников судей...»; «Поем для муз, для наслажденья, // Для сердца верного друзей...» и т. д.

17. Благонамеренный. 1818. № 7. Есть основания думать, что это отклик Пушкина на объявленный в 1817 г. в *ВЕ* конкурс на надпись к портрету Жуковского (см. примеч. к № 3), но в силу осложнения отношений с редактором журнала М. Т. Каченовским надпись Пушкина не была помещена в *ВЕ*.

М. В. МИЛОНОВ

Михаил Васильевич Милонов (1792—1821) — поэт, воспитанник Московского университетского пансиона, знакомый Жуковского. Современники больше всего ценили в Милонове талантливого сатирика. Но несомненное воздействие оказала на него и поэзия первого русского романтика. Отзвуки Жуковского можно найти в элегии «Уныние», «Монастырь», «В колыбели сиротки»; нередко ощутимо в его творчестве соперничество с ним (см.: *Удодов Б. Т.* «С величьем народа родится поэт...» // Марин С. Н. М. В. Милонов. Стихотворения. Драматические произведения, сцены и отрывки. Письма. Воронеж, 1983. С. 155). Послания Милонова воссоздают историю этих отношений.

18. Благонамеренный. 1818. № 8. С. 129.

[1] Речь идет о появившихся в 1818 г. «Стихотворениях В. Жуковского» в 3-х частях.

19. Впервые (частично) — Карамзин и поэты его времени. Л., 1936; полностью — Поэты-сатирики конца XVIII — начала XIX века. Л., 1959.

[1] *С галиматьею ты...* — Имеются в виду шуточные арзамасские произведения Жуковского и сам принцип «Арзамаса», проповедуемый им: «ехать верхом на галиматье».

[2] *А Блудов, кажется, меж нами не судья.* — Речь идет о Д. Н. Блудове, друге Жуковского и члене «Арзамаса», пытавшемся занять позицию законодателя вкусов, за что А. С. Пушкин называл его «маркизом», говорил об «односторонности его вкуса» и отсутствии «бескорыстной любви» к Жуковскому (письмо к Жуковскому от второй половины 1825 г.).

И. И. КОЗЛОВ

20. Впервые — в отдельном издании поэмы Козлова «Чернец» (1825).

[1] Написано по поводу возвращения Жуковского из первого заграничного путешествия по Германии и Швейцарии в начале февраля 1822 г.

[2] Путешествие Жуковского длилось около полутора лет (с 3 октября 1820 по 6 февраля 1822 г.).

[3] *В стране, где посреди снегов...* — Речь идет о Швейцарии, более подробно описанной Козловым в первоначальном тексте стихотворения.

[4] *Светлана добрая твоя...* — Имеется в виду племянница Жуковского А. А. Воейкова, воспетая им под именем Светлана, принимавшая самое живое участие в судьбе несчастного Козлова.

[5] *И новый ангел-утешитель...* — Козлов говорит о Марии Аркадьевне Суворовой, внучке полководца, певице, помогавшей больному поэту в тяжелые минуты.

[6] *Когда Карамзина читаем...* — Речь идет об «Истории государства Российского», имевшей огромный успех у русской читающей публики.

[7] *...над Ниною твоей...* — Имеются в виду два послания Жуковского «К Нине» (1808).

21. Впервые — «Собрание стихотворении И Козлова» (1833).

В. И. ТУМАНСКИЙ

Василий Иванович Туманский (1800—1860) — один из наиболее значительных элегиков 1820-х годов, развивавших поэтическую традицию Жуковского.

22. Благонамеренный. 1823. № 5. С. 326; обращено к Софье Григорьевне Туманской — двоюродной сестре и близкому другу поэта.

В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР

23. При жизни Кюхельбекера не печаталось. Стихотворение представляет собой посвящение к поэме Кюхельбекера «Кассандра». Работа над ней была закончена не позднее начала февраля 1823 г.; 17 февраля список ее Кюхельбекер из Закупа посылает В. А. Жуковскому одновременно с письмом, где говорит о посвящении ему поэмы и просит похлопотать о ее издании. По своему сюжету «Кассандра» как бы продолжает одноименную балладу Жуковского, переведенную из Шиллера.

[1] *Тобой впервые стал Поэтом я!* — Кюхельбекер познакомился с Жуковским, оказавшим на него большое нравственное влияние, в 1817 г. (см. воспоминания Кюхельбекера в наст. изд.).

[2] *О верь! — мне лавром будет тот терновник...* — Поэма была написана в тяжелый для Кюхельбекера период вынужденного пребывания в Закупе после высылки из Парижа в 1821 г. и неприятностей на Кавказе (дуэль с Похвисневым, отставка в 1822 г.).

П. А. ПЛЕТНЕВ

24. *СО*. 1822. Ч. 75, № 7. С. 327—329. Написано в 1821 г. в связи с первым заграничным путешествием Жуковского, и в частности с его пребыванием в Берлине.

25. Соревнователь. 1825. Ч. 29, № 1. С. 3—6; без подписи. Написано в 1824 г. В стихотворении отразилось представление Плетнева о Жуковском как «первом поэте золотого века нашей словесности» (см. «Письмо к графине С. И. С. о русских поэтах» Плетнева в наст. изд.).

Ф. Н. ГЛИНКА

26. Новости литературы. 1825. Кн. 14. С. 186.

27. *Совр.* 1841. Т. 23. С. 161—163. О пребывании Жуковского в Москве и оказанном ему приеме см. воспоминания М. А. Дмитриева в наст. изд.

28. *Москв.* 1841. № 7. С. 7—9; с пометой: «23 февраля». Поводом к написанию стихотворения явился отъезд Жуковского в Германию в связи с предстоящей женитьбой на Е. Рейтерн.

В. Г. БЕНЕДИКТОВ

Владимир Григорьевич Бенедиктов (1807—1873) — поэт, стихотворения которого пользовались шумным успехом, хотя и вызывали противоречивые отклики. По воспоминаниям Е. А. Карлгоф, знакомство Бенедиктова с Жуковским относится к 1836 г.: «Жуковский, который жил тогда в Зимнем дворце и принимал по субботам, написал мужу премилую записку, прося его привезти непременно Бенедиктова» (Жизнь прожить — не поле перейти. Записки неизвестной // Русский вестник. 1881. № 9. С. 141—142). Отзвуки поэзии Жуковского ощутимы в творчестве Бенедиктова, и в этом смысле его «Воспоминание» — дань признания и благодарности.

29. Стихотворения В. Бенедиктова. СПб., 1856. Т. 3. С. 97—104. Датируется на основании упоминания о смерти Жуковского, который умер 12 апреля 1852 г.

[1] *Вечера субботние...* — Речь идет о «субботах» Жуковского в Шепелевском доме Зимнего дворца, где он жил в 1827— 1840 гг. и где собирался весь литературный Петербург. Воспоминание Бенедиктова относится к 1836 г.

Ф. И. ТЮТЧЕВ

Федор Иванович Тютчев (1803—1873), может быть, как никто другой в русской поэзии воспринял нравственное содержание поэзии Жуковского. «Он стройно жил, он стройно пел...» — эта поэтическая тютчевская формула выразила неразрывность в его сознании личности и творчества первого русского романтика. Запись в дневнике Жуковского от 28 октября 1817 г.: «Обедал у Тютчева. Вечер дома. Счастие не цель жизни...» (*Дневники*, с. 55—56) — фиксирует возможную встречу с будущим поэтом в доме его отца, но слова из письма Ф. И. Тютчева к Жуковскому от 6/18 октября 1838. г.: «Вы недаром для меня перешли Альпы... Вы припасли с собою то, что после нее (умершей жены) я более всего любил в мире: отечество и поэзию... Не вы ли сказали где-то: *в жизни много прекрасного и кроме счастия*. В этом слове есть целая религия, целое откровение» (*Тютчев Ф. И.* Соч.: В 2 т. М., 1980. Т. 2. С. 33) — подтверждают, что память об этой встрече сохранилась надолго. Письма Тютчева к Жуковскому и с упоминанием его имени пронизаны чувством глубокой любви: «Я не знал человека, чьи деяния заставляли бы менее ощущать ужас перед бренностью бытия, который охватывает нас, когда мы заглядываем в невозвратное прошлое <...> столь поистине достойной была его жизнь» (там же, с. 275). В свою очередь Жуковский так отзывался о Тютчеве: «Он человек необыкновенно гениаль-

ный и весьма добродушный, мне по сердцу» (*Изд. Ефремова*, т. 6, с. 502). 29 июля 1852 г. Тютчев присутствовал на похоронах Жуковского, тело которого было перевезено из Баден-Бадена и погребено в Александро-Невской лавре. Память о Жуковском он сохранил до конца жизни, и в этом смысле поэтический триптих Тютчева о Жуковском — характерный образец поэтической мемуаристики.

30. *Совр*. 1854. Т. 64. С. 46; под заглавием «На смерть Жуковского».

[1] *Он были мне Омировы читал...* — 18 августа 1847 г. в Эмсе Жуковский читал Тютчеву свой перевод «Одиссеи» Гомера. «Я провел несколько прекрасных мгновений с Жуковским, занимаясь чтением его „Одиссеи“ и с утра до вечера болтая о всевозможных вещах, — писал тогда же Тютчев жене. — Его „Одиссея“ будет действительно величественным и прекрасным творением...» (*Тютчев Ф. И*. Соч. М., 1984. Т. 2. С. 140).

[2] *Лишь сердцем чистые, те узрят Бога!* — несколько перефразированное евангельское изречение (Мат. 5, 8).

31. Временник Пушкинского дома. Пг., 1914. С. 40 (по списку в письме к П. В. Жуковскому, сыну поэта). Написано в пятую годовщину со дня смерти В. А. Жуковского, в 1857 г., на форзаце несохранившегося экземпляра 10-го тома его сочинений (СПб., 1857), подаренного Тютчевым дочери Дарье. Тютчев был членом комитета по редактированию этого издания.

[1] *...на Западе исчез...* — намек на то, что Жуковский умер в Германии, где провел свои последние годы.

32. *РА*. 1874. Вып. 10. Стб. 18 (и в первом издании аксаковской «Биографии Ф. И. Тютчева»). Датируется 17 апреля 1873 г. по списку Д. Ф. Тютчевой. Воспоминание о посещении с отцом 15-летним Тютчевым Жуковского, который был в то время учителем русского языка вел. княгини Александры Федоровны и жил в Кремле, в Чудовом монастыре.

[1] Речь идет о рождении Александра II, к 55-летию которого и было написано это стихотворение.

А. Н. МАЙКОВ

Аполлон Николаевич Майков (1821—1897) вступил на поэтическое поприще, когда Жуковский уже завершал его. Незадолго до смерти через посредство П. А. Плетнева Жуковский познакомился с ранними поэтическими опытами Майкова. «Благодарю вас за доставление стихов Майкова, — писал Жуковский Плетневу, — я прочитал их с величайшим удовольствием. Майков имеет истинный поэтический талант, я не читал его других произведений; слышу, что он еще молод; следовательно, перед ним может лежать еще долгий путь. Дай Бог ему понять свое назначение, дай Бог ему приобресть взгляд на жизнь с высокой точки, то есть быть тем поэтом, о котором я говорю в моем письме к Гоголю, и избежать того эпикуреизма, который заразил поэтов и осквернил поэзию нашего времени» (*Плетнев*, т. 3, с. 716—717). В письме к М. П. Погодину того же времени Жуковский говорит, что Майков «может начать разряд новых русских

талантов, служащих высшей правде, а не материальной чувственности» (*Барсуков*, кн. 11, с. 415). Благословение «Коломба русского романтизма», его завещание во многом определило творческое развитие Майкова, его отношение к Жуковскому, свидетельством чего является посвященное ему стихотворение.

33. *РВ*. 1883. № 1. С. 384, под заглавием «К юбилею Жуковского 29 января 1883» и с ред. примеч. под строкой: «К дню 29 января сотой годовщины рождения Жуковского мы получили это стихотворение А. Н. Майкова для напечатания в „Моск<овских> вед<омостях>“». Спешим поместить его одновременно в «Русском вестнике». 30-го января на торжественном собрании в Имп. Академии наук после речи О. Ф. Миллера это стихотворение прочитал сам Майков.

[1] *По манию жезла его...* — Речь идет о переводческой деятельности Жуковского, в частности поэмах «Наль и Дамаянти», «Рустем и Зораб», воспроизводящих истории «таинственного Востока»: индийского и персидского эпоса.

[2] *К горящему меня привел он граду...* — Имеется в виду Москва. Далее воображаемая речь поэта перекликается с содержанием его стих. «Певец в Кремле» (1814—1816).

Я. П. ПОЛОНСКИЙ

Яков Петрович Полонский (1819—1898) — продолжатель поэтической традиции Жуковского. Общение с А. П. Зонтаг, А. П. Елагиной, А. О. Смирновой-Россет внутренне «приблизило» Полонского к Жуковскому еще в молодости. Их рассказы о Жуковском служили надежным источником сведений о нем, открывали мир его поэзии. Позднее, в стих. «Для немногих» (1859), Полонский выразил свое следование поэтическим принципам Жуковского.

34. *ВЕ*. 1883. Кн. 2. С. 813. Написано к 100-летию со дня рождения В. А. Жуковского (29-го января 1883 г.).

В. С. СОЛОВЬЕВ

Владимир Сергеевич Соловьев (1853—1900) — философ, критик, виднейший представитель русского символизма, оказавший огромное влияние на становление поэтического мировоззрения А. Блока. В мире Соловьева и Блока, их окружения поэзия Жуковского занимала особое место: с ней они связывали «начало истинно человеческой поэзии в России», в ней видели истоки символистского мышления в романтизме.

35. *ВЕ*. 1897. № 11. С. 347. Примеч. в тексте принадлежат Соловьеву.

[1] Павел Васильевич Жуковский — сын В. А. Жуковского, художник, близкий к кругу московских символистов.

[2] *...песни... Неслись из-за моря...* — указание на то, что элегия Жуковского «Сельское кладбище» — перевод одноименной элегии английского поэта Т. Грея.

ПОДГОТОВКА ТЕКСТА, ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ И ПРИМЕЧАНИЯ

О. Б. Лебедева — А. П. Зонтаг, С. П. Жихарев, Т. Толычева, А. П. Петерсон, Ф. Ф. Вигель, Н. М. Коншин, Н. И. Греч, А. Д. Блудова, А. О. Смирнова-Россет, Н. М. Смирнов, В. А. Соллогуб, А. С. Пушкин, А. Н. Муравьев, Ю. К. Арнольд, Е. А. Жуковская, Ф. И. Тимирязев, И. Е. Бецкий, «Из немецких воспоминаний о Жуковском», А. С. Стурдза, В. Кальянов, А. И. Кошелев, И. И. Базаров, Вл. Кривич, М. П. Погодин.

А. С. Янушкевич — К. К. Зейдлиц, М. А. Дмитриев, И. П. Липранди, Н. А. Старынкевич, Ф. Н. Глинка, И. И. Лажечников, Д. В. Дашков, В. Ф. Одоевский, И. И. Козлов, Н. М. Языков, А. И. Дельвиг, П. А. Вяземский, А. И. Тургенев, М. И. Глинка, И. В. Киреевский, И. С. Тургенев, А. М. Тургенев, А. В. Кольцов, М. Ф. де Пуле, А. И. Герцен, В. К. Кюхельбекер, Н. И. Лорер, А. Е. Розен, М. Я. Диев, Я. К. Грот, Т. Г. Шевченко, А. В. Никитенко, А. Н. Мокрицкий, А. Ф. Бриген, Н. В. Гоголь, П. А. Плетнев, Н. П. Барсуков, П. М. Мартынов, раздел «Приложение».

П. Ф. Подковыркин — К. Н. Батюшков.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Арзамасские протоколы — Арзамас и арзамасские протоколы / Вводная статья, редакция протоколов и примеч. М. С. Боровковой-Майковой. Л., 1933.

АТ — Архив братьев Тургеневых. СПб., 1911. Вып. 2.

Барсуков — *Барсуков Н.* Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1888—1901. Кн. 1—22.

БЖ — Библиотека В. А. Жуковского в Томске. Томск, 1978—1988. Ч. 1—3.

ВЕ — Вестник Европы.

Веселовский — *Веселовский А. Н.* В. А. Жуковский: Поэзия чувства и «сердечного воображения». СПб., 1904.

Вяземский — *Вяземский П. А.* Полное собрание сочинений. СПб., 1878—1896. Т. 1—12.

Гиллельсон — *Гиллельсон М. И.* Молодой Пушкин и арзамасское братство. Л., 1974.

Гоголь — *Гоголь Н. В.* Полное собрание сочинений. М.; Л., 1937—1952. Т. 1—14.

Дневники — Дневники В. А. Жуковского / С примеч. И. А. Бычкова. СПб., 1903.

Дубровин — *Дубровин Н. Ф.* Василий Андреевич Жуковский и его отношения к декабристам // *РС.* 1902. № 4. С. 45—119.

ЖМНП — Журнал министерства народного просвещения.

ИВ — Исторический вестник.

Иезуитова — *Иезуитова Р. В.* Жуковский в Петербурге. Л., 1976.

Изд. Архангельского — *Жуковский В. А.* Полное собрание сочинений / Под. ред., с биограф. очерком и примеч. А. С. Архангельского. СПб., 1902. Т. 1—12.

Изд. Вольпе — *Жуковский В. А.* Стихотворения / Ред. и примеч. П. Вольпе. Л., 1939—1940. Т. 1—2. (Библиотека поэта. Большая серия).

Изд. Ефремова — *Жуковский В. А.* Сочинения. 7-е изд., испр. и доп. / Под ред. П. А. Ефремова. СПб., 1878. Т. 1—6.

Изд. Семенко — *Жуковский В. А.* Собрание сочинений / Вступ. статья И. М. Семенко; подготовка текста и примеч. И. М. Семенко, Н. В. Измайлова, В. П. Петушкова, И. Д. Гликмана. М. ; Л., 1959—1960. Т. 1—4.

ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский дом). Рукописный отдел. СПб.

ЛН — Литературное наследство.

Майков — Сочинения К. Н. Батюшкова / Изд. П. Н. Батюшковым; Вступ. статья Л. Н. Майкова; Примеч. Л. Н. Майкова и В. И. Саитова. СПб., 1885—1887. Т. 1—3.

Милонов — *Милонов Н. А.* Тульский край в рисунках В. А. Жуковского. Тула, 1982.

Москв. — Москвитянин.

ОА — Остафьевский архив князей Вяземских / Под ред. и с примеч. В. И. Саитова. СПб., 1899—1913. Т. 1—5.

ОЗ — Отечественные записки.

Описание — Библиотека В. А. Жуковского (Описание) / Сост. В. В. Лобанов. Томск, 1981.

ПВЖ — *Гиллельсон М. И.* Переписка П. А. Вяземского и В. А. Жуковского (1842—1852) // Памятники культуры: Ежегодник. 1979. Л., 1980.

ПГП — Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 1—3.

ПЖкТ — Письма В. А. Жуковского к Александру Ивановичу Тургеневу. М., 1895.

Письма Андрея Тургенева — *Вацуро В. Э., Виролайнен М. Н.* Письма Андрея Тургенева к Жуковскому // Жуковский и русская культура. Л., 1987.

Плетнев — Сочинения и переписка П. А. Плетнева. СПб., 1885. Т. 1—3.

Пушкин — Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. М.; Л., 1935—1959. Т. 1—17.

Резанов — *Резанов В. И.* Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского. Пг., 1916. Вып. 2.

РА — Русский архив.

РБ — Русский библиофил. 1912, ноябрь—декабрь (спец. выпуск, посвященный В. А. Жуковскому).

РВ — Русский вестник.

РГБ РО — Российская государственная библиотека. Рукописный отдел. Москва.

РЛ — Русская литература.

РНБ — Российская национальная библиотека. Санкт-Петербург.

PC — Русская старина.

Салупере — *Салупере М. Г.* Забытые друзья Жуковского // Жуковский и русская культура. Л., 1987. С. 431—455.

СО — Сын Отечества.

Совр. — Современник.

Тургенев — *Тургенев А. И.* Хроника русского: Дневники (1825—1826 гг.) / Изд. подгот. М. И. Гиллельсон. М.; Л., 1964.

УС — Уткинский сборник: Письма В. А. Жуковского, М. А. Мойер, Е. А. Протасовой / Под ред. А. Е. Грузинского. М., 1904.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва).

Эстетика и критика — *Жуковский В. А.* Эстетика и критика. М., 1985.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН[1]

[1] Указатель содержит имена, встречающиеся в основном тексте; из комментариев и вступительной статьи вошли имена, связанные с окружением Жуковского и мемуаристов. Общеизвестные имена и имена мемуаристов не аннотируются (последние отмечены звездочкой).

УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ВАСИЛИЯ АНДРЕЕВИЧА ЖУКОВСКОГО

Научное издание

В. А. ЖУКОВСКИЙ
В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

Издательство «Наука»

Редакция «Наука–культура»

Издательство Школа
«Языки русской культуры»
Издатель А. Кошелев

Редактор В. С. Матюхина

Подписано в печать 11 03.99. Формат 70x100 1/16
Бумага офсетная № 1 Печать офсетная Гарнитура "Школьная"
Усл печ л 59,2 Усл кр -отт 59,2 Уч-изд л 50,13
Тип зак 1024

Издательство «Наука»
117864 ГСП-7. Москва В-485, Профсоюзная ул., 90
ЛР № 020297 от 23 06.1997

Издательство Школа «Языки русской культуры»
129345 Москва, Оборонная ул , 6-105; ЛР № 071105 от 02.12.94
Тел.: 207-86-93. Факс: (095) 246-20-20 (для аб. M153)
E-mail: mik@sch-Lrc.msk.ru
Каталог в ИНТЕРНЕТ
http://postman.ru/~lrc-mik

Отпечатано с оригинал-макета, подготовленного
ТОО Школа «Языки русской культуры»,
во 2-й типографии РАН
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6